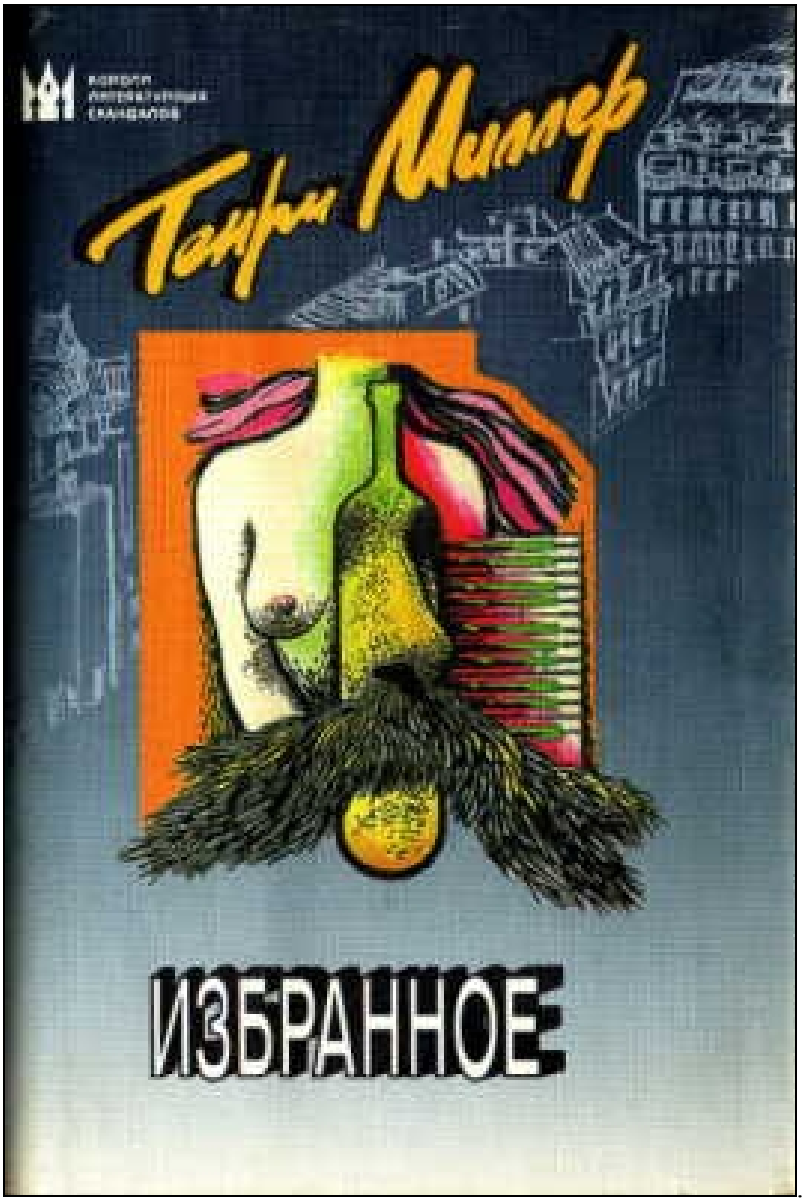
Электронная версия книги: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yankoslava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html || Номера страниц - внизу
update 06.05.07

Генри Миллер
ИЗБРАННОЕ
романы, повести, эссе. рассказы, автобиография

ВИЛЬНЮС POLINA 1995
МОСКВА ВиМо 1995



Миллер Генри. Избранное: Романы; Повести; Эссе; Рассказы; Автобиография: Пер. с англ. / Сост. Н. Пальцев. — Вильнюс: Полина, 1995. — 749 с., илл. (Короли литературных скандалов).

Редакционный совет: *В.Кудин А.Улыбин Н.Пальцев Ш.Куртишвили Н.Порошина*
© Н.Пальцев, составление, 1995
© Перевод А. Зверева, 1995
© Перевод 3. Артемовен, 1995
© Перевод А. Куприна, 1995
© Перевод Н. Пальцева, 1995
© Перевод Н. Казаковой, 1995
© Перевод П. Зарифова, 1995
© Перевод В. Минушина, 1995
© Издательство “Полина”, 1995

Миллер Генри. Избранное: Романы; Повести; Эссе; Рассказы; Автобиография: Пер. с англ. / Сост. Н. Пальцев. — Вильнюс: Полина, 1995. — 749 с., илл. (Короли литературных скандалов).

Электронное оглавление

Электронное оглавление 3
СОДЕРЖАНИЕ 4
РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПИСАТЕЛЬСТВЕ (Reflections on Writing) 5
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. МИЛЛЕРА 11
ТРОПИК КОЗЕРОГА (Tropic of Capricorn). Роман 16
НА ОВАРИАЛЬНОМ ТРАМВАЕ 16
ИНТЕРЛЮДИЯ 81
КОДА 146
ПРИМЕЧАНИЯ 152
Повести 159
ТИХИЕ ДНИ В КЛИШИ (Quiet Days in Clichy) 159
МАРА ИЗ МАРИНЬЯНА (MARA – MARIGNAN) 184
МАДМУАЗЕЛЬ КЛОД (Mlle. Claude) 200
ДЬЕП - НЬЮ – ХЭВЕН (Via Dieppe Newhaven) 205
АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ФРИКАСЕ (Astrological Fricasse) 217
МУДРОСТЬ СЕРДЦА (The Wisdom of the Heart) 242
ЧЕРНАЯ ВЕСНА. (Black Spring) Роман 250
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ОКРУГ 250
ТРЕТИЙ ИЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ 255
В СУББОТУ, ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ 260
АНГЕЛ — МОЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК! 269
МУЖСКОЙ ПОРТНОЙ 276
БРЕДТРЕП КРОНСТАДТ 295
В НОЧНУЮ ЖИЗНЬ... 301
СТРАНСТВУЯ ПО КИТАЮ 312
БУРЛЕСК 323
МЕГАЛОМАНИЯ 331
МОЯ ЖИЗНЬ И МОЯ ЭПОХА (My Life and Times) 334
НЫНЕ 334
СОЧИНИТЕЛЬСТВО 343
БИГ СУР 349
ЖИВОПИСЬ 355
ПАРИЖ 360
ДЕТСТВО 367
БЕССМЕРТИЕ ПЛОТИ И ВЕЛИЧИЕ ДУХА 376

Миллер Генри. Избранное: Романы; Повести; Эссе; Рассказы; Автобиография: Пер. с англ. / Сост. Н. Пальцев. — Вильнюс: Полина, 1995. — 749 с., илл. (Короли литературных скандалов).

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия Г. Миллер. Размышления о писательстве. Перевод А. Зверева... 7
Основные даты жизни и творчества Г. Миллера (из книги “Моя жизнь и моя эпоха”). Перевод З. Артемовен....17

ТРОПИК КОЗЕРОГА
Перевод А. Куприна.....27

ТИХИЕ ДНИ В КЛИШИ. *Перевод Н. Пальцева*..... 313
МАРА ИЗ МАРИНЬЯНА. *Перевод Н. Пальцева* 367
МАДЕМУАЗЕЛЬ КЛОД. *Перевод Н. Казаковой*.....401
ДЬЕП — НЬЮ-ХЭВЕН. *Перевод Н. Казаковой*.....411
АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ФРИКАСЕ. *Перевод Н. Казаковой*..... 439
МУДРОСТЬ СЕРДЦА. *Перевод В. Минушина* 489

ЧЕРНАЯ ВЕСНА
Четырнадцатый округ. *Перевод П. Зарифова* 505
Третий или четвертый день весны. *Перевод Н. Пальцева*..... 515
В субботу, после полудня. *Перевод Н. Пальцева*..... 525
Ангел — мой водяной знак. *Перевод В. Минушина*..... 541
Мужской портной. *Перевод В. Минушина*..... 556
Бредтреп Кронстадт. *Перевод В. Минушина*..... 591
В ночную жизнь... *Перевод В. Минушина*..... 603
Странствуя по Китаю. *Перевод Н. Пальцева* 624
Бурлеск. *Перевод Н, Пальцева*.....644
Мегаломания. *Перевод Н. Пальцева*..... 660

МОЯ ЖИЗНЬ И МОЯ ЭПОХА. *Перевод З. Артемовен*.....667
Вместо *послесловия Бессмертие плоти и величие духа* 744

Миллер Генри. Избранное: Романы; Повести; Эссе; Рассказы; Автобиография: Пер. с англ. / Сост. Н. Пальцев. — Вильнюс: Полина, 1995. — 749 с., илл. (Короли литературных скандалов).

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПИСАТЕЛЬСТВЕ (Reflections on Writing)

ЭССЕ

Художник *С. Лузинас*

Как-то, отвечая на анкету, Кнут Гамсун заметил, что пишет исключительно с целью убить время. Думаю, даже если он был искренен, все равно заблуждался. Писательство, как сама жизнь, есть странствие с целью что-то постичь. Оно — метафизическое приключение: способ косвенного познания реальности, позволяющий обрести целостный, а не ограниченный взгляд на Вселенную. Писатель существует между верхним слоем бытия и нижним и ступает на тропу, связывающую их, с тем чтобы в конце концов самому стать этой тропой.

Я начинал в состоянии абсолютной растерянности и недоумения, увязнув в болоте различных идей, переживаний и житейских наблюдений. Даже и сегодня я по-прежнему не считаю себя писателем в принятом значении слова. Я просто человек, рассказывающий историю своей жизни, и чем дальше продвигается этот рассказ, тем более я его чувствую неисчерпаемым. Он бесконечен, как сама эволюция мира. И представляет собой выворачивание всего сокровенного, путешествие в самых немыслимых широтах, — пока в какой-то точке вдруг не начнешь понимать, что рассказываемое далеко не так важно, как сам рассказ. Это вот свойство, неотделимое от искусства, и сообщает ему метафизический оттенок, — оттого оно поднято над временем, над пространством, оно вплетается в целокупный ритм космоса, может быть, даже им одним и определяясь. А “целительность” искусства в том одном и состоит: в его значимости, в его бесцельности, в его незавершимости.

Я почти с первых своих шагов хорошо знал, что никакой цели не существует. Менее всего притязаю я объять целое — стремлюсь только донести мое ощущение целого в каждом фрагменте, в каждой книге, возникающее как память о моих скитаниях, поскольку вспахиваю жизнь все глубже: и прошлое, и будущее. И когда вот так ее вспахиваешь день за днем, появляется убеждение, которое намного существеннее веры или догмы. Я становлюсь все

7

более безразличен к своей участи как писателя, но все увереннее в своем человеческом предназначении.

Поначалу я старательно изучал стилистику и приемы тех, кого почитал, кем восхищался, — Ницше, Достоевского, Гамсуна, даже Томаса Манна, на которого теперь смотрю просто как на уверенного ремесленника, этакого поднаторевшего в своем деле каменщика, ломовую лошадь, а может, и осла, тянущего повозку с неистовым старанием. Я подражал самым разным манерам в надежде отыскать ключ к изводившей меня тайне — как писать. И кончилось тем, что я уперся в тупик, пережив надрыв и отчаяние, какое дано испытать не столь многим; а вся суть в том, что не мог я отделить в себе писателя от человека, и провал в творчестве значил для меня провал судьбы. А был провал. Я понял, что представляю собой ничто, хуже того, отрицательную величину. И вот, достигнув этой точки, очутившись как бы среди мертвого Саргассова моря, я начал писать по-настоящему. Начал с нуля, выбросив за борт все •свои накопления, даже те, которыми особенно дорожил. Как только я услышал собственный голос, пришел восторг: меня восхищало, что голос этот особенный, ни с чьим другим не схожий, уникальный. Мне было все равно, как оценят написанное мною. “Хорошо”, “плохо” — эти слова я исключил из своего лексикона. Я безраздельно ушел в область художественного, в царство искусства, которое с моралью, этикой, утилитарностью ничего общего не имеет. Сама моя жизнь сделалась творением искусства. Я обрел голос, снова став цельным существом. Пережил я примерно то же, что, если верить книгам, переживают после своей инициации приобщившиеся к дзэн-буддизму. Для этого мне нужно было пропитаться отвращением к знанию, понять тщету всего и все сокрушить, изведать безнадежность, потом смириться и, так сказать, самому себе поставить летальный диагноз, и лишь тогда я вернул ощущение собственной личности. Мне пришлось подойти к самому краю и прыгнуть — в темноту.

Я упомянул о Реальности, но ведь я знаю, что приблизиться к ней невозможно, иначе как посредством писательства. Я теперь меньше познаю и больше понимаю, — но каким-

то особенным, незаконным способом. Все увереннее удается мне. овладеть даром непосредственности. Во мне развивается способность постигать, улавливать, анализировать, соединять, давать имя, устанавливать факты, выражать их, — причем все сразу. То, что составляет структуру вещей, теперь легче открывается моему глазу. Инстинктивно я избегаю всех четких истолкований: чем они проще, тем глубже настоящая тайна. А то, что мне ведомо,

8

становится все более неизъяснимым. Мною движет убежденность, которая не нуждается в доказательствах, равно как вере. Я живу для одного себя, но себялюбия или эгоизма в этом нет и следа. Я всего лишь стараюсь прожить то, что мне отпущено, и тем самым помогаю равновесию вещей в мире. Помогаю движению, нарождению, умиранию, изменению, свершающимся в космосе, и делаю это всеми средствами, день за днем. Отдаю все, чем располагаю. Отдаю в охотку, но и вбираю сам, — все, что способен вместить. Я и венценосец, и пират. Я символ равенства, олицетворение Весов, ставших самостоятельным знаком, когда Дева отделилась от Скорпиона. На мой взгляд, в мире более чем достаточно места для каждого, ведь сколько их, этих бездонных провалов между текущими мгновениями, и великих вселенных, населенных одним-единственным индивидуумом, и огромных островов, на которых обретшие собственную личность вольны ее совершенствовать как заблагорассудится. Со стороны внешней, когда замечают одни только исторические битвы и все на свете оказывается подчинено схваткам ради богатства и власти, жизнь выглядит как мельтешение толпы, однако по-настоящему она начинается лишь после того, как нырнешь вглубь, уходя с поверхности, и откажешься от борьбы, и исчезнешь из поля зрения остальных. Меня ничто не заставляет писать или не писать, я более не знаю принуждений и уже не нахожу в своих писательских занятиях ничего целительного. Все, что мною делается, сделано исключительно ради удовольствия, — плоды падают на землю сами, дозрев во мне, словно на дереве. Мне решительно безразлично, как станут судить о них критики или обычные читатели. Я не устанавливаю никаких ценностей, просто извергаю вызревшее, чтобы оно стало пищей. И ничего другого в моем писательстве нет.

Состояние изысканнейшего безразличия — вот логическое следствие эгоцентричной жизни. С проблемой существования в обществе я справился тем, что омертвел; истинная проблема не в том, чтобы выучиться обитать рядом с другими, как и не в том, чтобы способствовать процветанию своей страны, истинная проблема — это познать свое назначение и провести жизнь в согласии со строго организованным ритмом космоса. Выработав в себе способность без трепета мыслить такими понятиями, как космос и душа, овладев искусством постигать “духовное”, но при этом избегая всяческих дефиниций, аргументов, доказательств, обязательств. Рай — он повсюду, к нему ведут любые дороги, если только пойти по ним достаточно далеко. Но продвинуться вперед возможно, лишь возвращаясь

9

назад, затем направившись вбок, и вверх, и затем вниз. Нет никакого прогресса, есть только вечное движение и перемещение — оно идет по кругу, спиралеобразно, бесконечно. У каждого человека свое назначение, и единственный наш императив — это следовать своему назначению, приняв его, и к чему бы это ни вело.

Не имею ни малейшего понятия, какие книги напишу я в будущем, даже какой окажется моя следующая книга. Мои замыслы, мои планы направляются самым ненадежным стимулом: я просто что-то набрасываю на ходу, выдумываю, уродую, деформирую, измышляю, изобретаю на пустом месте, преувеличиваю, путаю, корежу — и все в зависимости от настроения. Подчиняюсь я одним лишь своим инстинктам, своей интуиции. Наперед мне не известно ничего. Часто я описываю вещи, которых сам не понимаю, — зная, что в дальнейшем они прояснятся и обретут для меня некий смысл. Я верю в человека, который пишет, то есть в себя, в писателя. И не верю в слова, даже если их нанизывает самый искусный мастер, но верю в язык, а он нечто высшее по отношению к слову, поскольку слова создают только искаженную иллюзию, что он такое. Слова не существуют порознь, так они могут существовать только для ученых — этимологов, филологов и прочих. Отделенные от языка слова становятся мертвой шелухой, и из них не извлечь тайны. Человек открывается в своем стиле, в том языке, который он создал для себя. Для того, кто чист сердцем, все на свете — я в этом убежден — обладает прозрачной ясностью, даже если подразумевать самые эзотерические писания. Такому человеку во всем видится тайна, но эта тайна лишена мистичности, она естественна,

соразмерна, обладает логикой и приемлема по своему существу. Понимание заключается не в том, чтобы разгадать тайну, но в том, чтобы ее принять, и насладиться жизнью, и жить с нею — жить ею самой, жить благодаря ей. Мне бы хотелось, чтобы мои слова свободно плыли, как плывет, не ведая маршрутов, сам мир, в своем петляющем движении попадая на совершенно непредсказуемые широты и долготы, оказываясь в незнаемых наперед условиях и климатических поясах, сталкиваясь с измерениями, которых никто не исчислит. Заранее признаю свою неспособность осуществить этот идеал. И меня это нисколько не удручает. В некоем высшем смысле сам мир заряжен неудачей, он представляет собой совершенный образ несовершенства, он есть сознание провала. Когда это понимаешь, провал перестает ощущаться. Творец, иными сло-

10

вами художник, подобен первоначалу мира, вековечному Абсолюту, Единому, Всему, и выражает он себя своим несовершенством. Оно — суть жизни, свидетельство ее неомертвелости. Приблизиться к конечной истине, в чем и заключается, по-моему, высшая цель писателя, можно лишь в той степени, насколько по силам отказаться от борьбы, насколько удается подавить в себе волю. Великий писатель— это олицетворение жизни, то есть несовершенного. Он делает свое дело без усилий, создавая видимость, что его труд безупречен, и путь его ведет от какого-то неведомого центра, расположенного, уж разумеется, не среди мозговых извилин, но несомненно являющегося центром, который улавливает ритм целой вселенной и оттого предстает столь же надежным, неизносимым, неистребимым, столь же прочным, независимым, анархичным, столь же бесцельным, как сама вселенная. Искусство не учит ничему, кроме понимания, как значительна жизнь. Великое произведение с неизбежностью должно быть по своему смыслу темно для всех, кроме горстки тех, кто, подобно его создателю, приобщился тайн. Содержащееся в нем сообщение по своей значимости вторично, а главное — это его способность увековечить. А оттого вполне достаточно, чтобы у него нашелся всего лишь один понимающий читатель.

Обо мне говорили, что я революционер, но если так, то произошло это помимо моей воли. Я не восстаю против установлении мира. О себе я мог бы сказать словами Блеза Сандрара: “Я революционизирую”. А это не то же самое, что быть революционером. Я мог бы жить и по ту сторону перегородки, разделяющей положительное и отрицательное. В общем-то мне кажется, что я поднялся над такими разделениями и создаю некую гармонию двух этих начал, выраженную — пластически, но не в категориях этики — тем, что я пишу. Считаю, что необходимо стоять вне сферы искусства и вне его воздействия. Искусство — только один из способов жизни, а жизнь щедрее, чем оно. И само по себе оно не является жизнью, превосходящей обычную жизнь. Оно лишь указывает путь, а этого часто не понимают не только зрители, но и сам художник. Становясь целью, оно себя предает. А художники чаще всего предают жизнь своими усилиями взять над ней верх. Они расщепляют то, что должно быть целым, как яйцо. Я совершенно убежден, что когда-нибудь все искусство исчезнет. Но художник останется, а жизнь будет не “областью искусства”, но самим искусством, решительно и навсегда заместив со-

11

бой то, что к искусству относится. Говоря по существу, мы, конечно, еще не начинали жить. Мы уже не животные, но, несомненно, еще не люди. С той поры как возникло искусство, об этом твердил нам каждый великий художник, но сколь мало тех, кто это понял. Как только искусство обретет истинное признание, оно исчезнет. Ведь оно только подмена, язык символов, посредством которого воссоздается то, что мы не в состоянии выразить непосредственно. Но чтобы такое свершилось, нужно, чтобы человек стал по-настоящему религиозным: не прихожанином, а действительно носителем веры, истинным богом — без всяких метафор. И он им в конце концов неизбежно станет. А из всех троп, которые выводят к этой главной дороге, искусство самая важная, проложенная в самом надежном направлении и более всех других вознаграждающая путника. Художник, который и вправду понял свое назначение, по этой причине перестает быть художником. И все клонится к тому, что должно прийти это понимание, это ослепляющее, как вспышка, новое сознание, постигшее, что в сегодняшней жизни ничто, включая даже искусство, не способно к расцвету.

Кто-то сочтет все эти рассуждения мистификацией, но я лишь излагаю то, в чем сейчас действительно убежден. Разумеется, необходимо помнить, что есть неизбежное несоответствие между истинным положением вещей и тем, как мы осознаем это положение, даже наше собственное положение; впрочем, помнить надо и о столь же

явном несоответствии между истинным положением вещей и тем, как его представляет себе кто-то другой. Но между субъективным и объективным жизненно важных различий не существует. Все иллюзорно и более или менее эфемерно. Все явления, включая человека с его мыслями о самом себе, — не более чем набор знаков, изменчивый и непостоянный. Твердых фактов, которых можно было бы придерживаться, нет. А оттого и в книге, пусть я осознанно буду стремиться к искажению и деформации, вовсе не обязательно конечный результат окажется дальше от истины, чем было бы в противоположном случае. Можно быть совершенно правдивым и искренним, при этом ничуть не скрывая, что врешь напропалую. Фикция, вымысел — они вплетены в самую ткань жизни. Истину ничуть не колеблют никакие яростные пертурбации духа.

Оттого, каких бы эффектов ни достигал я с помощью того или иного профессионального приема, они ни в коем случае не являются просто кунштюком, но точно передают колебания моего сейсмографа, фиксирующего хаотичный, многомерный, таинственный, непостижимый опыт, кото-

12

рым меня одарила жизнь, и пока я пишу книгу, этот опыт я переживаю наново — по-иному, может быть, еще более хаотично, непостижимо, таинственно. Так называемый пласт бесспорных фактов, являющихся отправным пунктом и все время воссоздаваемых, укоренен во мне очень глубоко, и, сколько ни пытайся, я не могу ни освободиться от него, ни что-то в нем переделать, ни выдать его за нечто другое. Но вместе с тем он все-таки *меняется,* подобно тому как меняется внешний облик мира — каждое мгновенье, с каждым нашим выдохом и вдохом. А из этого следует, что запечатлевать мир можно, лишь создавая двойную иллюзию, — ты останавливаешь движение и ты же доносишь его непрерывность. И вот этот, скажем, двойной трюк производит впечатление, что перед нами фальсификация, но ведь суть искусства и состоит в такого рода лжи, в том, что оно создает подвижную, метаморфическую маску. Ты бросаешь якорь посреди потока; ты соглашаешься носить маску лжеца, чтобы выразить истину.

Мне часто думалось, что надо бы написать книжку, объяснив, как у меня возникают те или другие страницы, может быть, даже одна какая-нибудь страница. Наверное, я мог бы написать довольно толстую книгу, в которой просто растолковывалась бы наудачу выбранная страница из моих произведений. Растолковывалось бы, как я задумал эту страницу, как она появилась, как менялась, в каких была рождена муках, сколько времени прошло, прежде чем мелькнувшая идея облеклась плотью, и какие мысли роились в голове, пока я это место писал, какой был тогда день недели, как я себя ощущал, как обстояло дело с моими нервами, как меня прерывали или я сам прерывался, какие разные лексические формулы подвертывались под перо, как я черкал и правил, на чем останавливался, с чего возобновлял, изменяя даже исходный импульс, а потом накладывая последний шов, словно хирург, старающийся скрыть, что операция прошла неудачно, и решая для себя, что непременно вернусь еще к этой странице, но никогда не возвращаясь, а если возвращаясь, то лишь к самому импульсу, который вовсе изгладился из памяти, но вдруг опять всплывает, хотя я уже успел написать несколько других книг. А можно было бы поговорить про несколько страниц, сравнив их одну с другой, и взять такие, которые для холодного критика являются олицетворением того или иного, но я бы привел их в замешательство, этих аналитичных критиков, я бы им показал, что страничка, вроде бы написанная с полной непринужденностью, на самом деле далась ценой предельного напряжения, тогда как другая — загадочная, точно лабиринт, и трудно читающаяся —

13

вылилась, подобно тому, как бьет из земли гейзер, и писал я ее, словно подталкиваемый в спину попутным ветерком. Или я бы написал, как вот эту страницу я задумал, еще не встав с постели, и переделывал, одеваясь, а потом переделал еще раз, усевшись за стол. Или воспроизвел бы свой блокнот, чтобы все увидели, как теплые, живые, человечные слова рождаются из самых чужеродных им, самых. искусственных стимулов. Воспроизвел бы обрывки фраз, попавшихся на глаза, когда я перелистывал какую-то книгу, и написал бы, что вот эти обрывки возбудили во мне воображение, — однако кто же на свете объяснит, каким образом это происходит, как свершается эта работа? Что бы ни говорили о произведении критики, даже самые лучшие, самые умные, умеющие убедить и доброжелательно, любовно расположенные к автору, — чего почти не бывает, — все равно их рассуждения чистая эфемерность, если знать истинную

механику, истинный процесс рождения искусства. То, что написано мною самим, я помню, разумеется, не слово в слово, но достаточно ясно и верно;

так вот, мои книги — что-то наподобие поля, которое я обследовал тщательно, как геодезист, и не в кабинете, вооружившись пером и графиками, а физически, ползая на четвереньках и на брюхе, прощупывая сантиметр за сантиметром, — и так долгие недели, все равно, какая ни выдалась погода. Короче говоря, работа эта для меня и сейчас столь же буднична, как была в самом начале, и может быть, даже более привычна. Финал книги я всегда воспринимал лишь сугубо физически: нужно переменить позу. Книга могла бы завершаться тысячью других развязок. В ней ни одна часть не была по-настоящему окончена, и я мог бы возобновить рассказ с любого места; продолжить его, прорыть новые каналы и туннели, построить новые дома, фабрики, мосты, населить это пространство новыми обитателями, изменив фауну и флору, причем все это не меньше, чем прежде, отвечало бы фактам, которых я коснулся в произведении. Собственно, ни завязки, ни финала у меня не бывает. Жизнь начинается в любой момент, когда происходит акт понимания; так и книга. Однако всякое начало — книги ли, страницы, абзаца, фразы, предложения — знаменует собой завязавшуюся новую жизненную связь, и вот в эту жизненность, непрерывность, вневременность, неизменность мыслей и событий я каждый раз ныряю заново. Любое слово, любая строка жизненно связаны с моим существованием — только моим, будь то какой-то поступок, случай, факт, какая-то мысль или эмоции, какое-то желание, бегство, томление, мечта, фантазия, причуда, вообще нечто недовершенное и

14

бессмысленное, что застряло у меня в мозгу и оплетает его вроде рвущейся паутины. Хотя в общем-то не бывает ничего расплывчатого, туманного — даже такие “нечто” жестко очерчены, неразрушимы, определенны и прочны. И сам я вроде паука — все тку и тку, верный своему призванию и сознающий, что эта паутина выткана из вещества, которое есть я сам, а оттого никогда не подстроит мне ловушку и никогда не иссохнет.

Поначалу я мечтал о соперничестве с Достоевским. Надеялся, что раскрою перед миром неистовые и загадочные душевные борения, а мир замрет, пораженный. Но довольно скоро я понял, что мы уже прошли точку, запечатленную Достоевским, — прошли в том смысле, что дегенерация увлекла нас *дальше.* Для нас исчезло само понятие души, вернее, оно теперь является в каком-то химически преображенном и до странности исказившемся виде. Мы знаем лишь кристаллические элементы распавшейся и сокрушенной души. Современные художники выражают это состояние, видимо, даже откровеннее, чем писатели: Пикассо — замечательный пример в подтверждение сказанному. Оттого для меня оказалась невозможной сама мысль писать романы и столь же невозможным — примкнуть к разным литературным движениям в Англии, Франции, Америке, потому что все они вели к тупику. Со всей честностью признаюсь, что ощутил себя вынужденным, наблюдая разрозненные, распавшиеся элементы жизни, — я говорю о жизни души, не о жизни культуры, — соединять их по собственному моему рисунку, используя собственное мое распавшееся и сокрушенное “я” с той же бессердечностью, с той же безоглядностью, с какой готов я был использовать весь сор окружающего мира феноменов. Я никогда не испытывал ни враждебности, ни настороженности по отношению к анархии, воплощенной в преобладающих художественных формах, наоборот, всегда радовался исчезновению былых норм. В эпоху, отмеченную распадом, исчезновение представляется мне добродетелью, более того, моральным императивом. Я не только никогда не испытывал малейшего желания что-то законсервировать, искусственно оживить или сберечь, оградив стенами, но скажу больше — смолоду считал, что распад такая же чудесная и творчески заманчивая манифестация жизни, как и ее цветение.

Должен, видимо, признать, что к писательству меня тянуло, поскольку это было единственное, что мне оставалось открыто и заслуживало приложения сил. Я честно испытал все иные пути к свободе. В так называемом реальном мире я был неудачником по собственной воле, а не по

15

неспособности к нему приладиться. Писательство не было для меня “бегством”, иначе говоря, способом отгородиться от повседневной реальности; наоборот, оно означало, что я еще глубже ныряю в этот замусоренный пруд — с надеждой добраться до родников, постоянно обновляющих плещущуюся в нем воду, не замирающих, вечно бьющих. Оглядываясь на свой путь, я вижу себя человеком, способным взяться почти за любую

задачу, за любое дело. К отчаянию меня привели монотонность и стерильность всего внешнего бытия. Мне нужно было такое царство, в котором я буду одновременно и господином, и рабом, а им могло стать лишь искусство. И я вошел в этот мир, не обладая никакими явными талантами, ничего не умея, ни к чему не годясь, — неловкий новичок, который почти онемел от страха и понимания грандиозности того, за что берется. Мне пришлось строить кирпичик за кирпичиком, изводить миллионы слов, пока на бумаге не появилось то настоящее, доподлинное слово, которое я вытянул из своего сокровенного нутра. Я умел гладко говорить, и это мне мешало; у меня были все пороки просвещенного человека. Мне предстояло учиться думать, чувствовать, видеть совершенно по-новому, забыв про свое образование, на *собственный лад,* а труднее этого ничего нет на свете. Надо было броситься в поток, зная, что я, возможно, не выплыву. В большинстве своем художники бросаются в поток, сначала обзаведясь спасательным кругом, и чаще всего этот крут их и губит. Никому не дано странствовать по океану реальности, если отгораживаешься от опыта. Если в жизни что-то меняется к лучшему, то не путем приспособления, а благодаря вызову и способности откликнуться слепому побуждению. “Дерзание не бывает фатальным”, — сказал Рене Кревель, и эту сентенцию я запомнил навсегда. Вся логика, на которой держится вселенная, пре-дуказана дерзанием или же творчеством, основывающимся на самой ненадежной, самой шаткой поддержке. Сначала такое дерзание отождествляют с волевым актом, но проходит время, и воля ослабевает, а остается автоматический процесс, который в свою очередь тоже надо прервать, остановить, чтобы утвердилась новая уверенность, ничего общего не имеющая со знанием, умением, навыком или верой. Дерзание дает возможность приобщиться к этой загадочной — сплошной Икс — позиции художника, которая одна тебя и оберегает в мире, и никому не выразить словами, что она такое, но тем не менее она есть и видна в каждом написанном тобою слове.

1941

16

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. МИЛЛЕРА

(из книги “Моя жизнь и моя эпоха”)

1891 — 26 декабря родился в Нью-Йорке, в Йорквилльском округе Манхэттена. Родители — американцы немецкого происхождения. В том же году семья переехала в Бруклин.

1892 — 1900 Проживал на улицах Уильямсберга в Бруклине — в округе, получившем известность как Четырнадцатый.

1901 — 1900 Переехал на “улицу ранней скорби” (Декатур-стрит) в Бушвикском округе Бруклина.

1907 — Встретил свою первую любовь, Кору Сьюард, в средней школе Восточного округа Бруклина.

1909 — Поступил в Нью-йоркский муниципальный колледж и через два месяца оставил его, взбунтовавшись против методов обучения. Устроился на работу в финансовый отдел “Атлас Портлэнд Симэнт Компани”, Нью-Йорк. Начался период суровой спортивной дисциплины, длившийся семь лет.

1910 — Начало романа с первой возлюбленной — Паолиной Шуто из Фобуса, штат Вирджиния, — женщиной, которая годилась мне в матери.

1913 — Путешествовал по Западу. Стремясь порвать с городской жизнью, нанимался работником на ранчо. В Сан-Диего познакомился с Эммой Голдман, знаменитой анархисткой; эта встреча перевернула всю мою жизнь.

1914 — Вернулся в Нью-Йорк, работал в ателье отца, стараясь взвалить бремя деловых обязанностей на служащих. Познакомился с Фрэнком Харрисом; это была моя первая встреча с большим писателем.

1917 — Женился на Беатрисе Сильвас Виккенс, пианистке из Бруклина.

17

1919 — Родилась дочЬг Барбара Сильвас, ныне известная как Барбара Сэндфорд.

1920 — Проработав несколько месяцев курьером, повышен до ранга администратора по найму в почтовом отделении компании “Вестерн Юнион” в Нью-Йорке.

1922 — Во время трехнедельного отпуска в “Вестерн Юнион” написал первую книгу “Подрезанные крылья”.

1923 — Влюбился в Джун Эдит Смит, работавшую платной партнершей дансинга на Бродвее.

1924 — Ушел из “Вестерн Юнион”, решив навсегда покончить со службой и полностью отдаться писательскому делу. Развелся с первой женой и женился на Джун Смит.

1925 — Всерьез взялся за ремесло писателя, сопровождаемое полной нищетой. Обходя дом за домом, продавал сборник своих стихотворений в прозе “Меццо-тинто”.

1927 — С женой Джун открыл бар-закусочную в Гринвич-Виллидж. Работал в управлении по садам и паркам в округе Куинс, за 24 часа собрал материал для обширного автобиографического романного цикла. Выставил акварели в “Римской таверне Джун Мэнсфилд”, в Гринвич-Виллидж.

1928 — За год объездил с Джун Европу на деньги, которыми снабдил ее один из поклонников.

1929 — Вернулся в Нью-Йорк и закончил роман “Этот изысканный мир”.

1930 — В одиночестве вернулся в Европу, с рукописью еще одного романа, потерянного редактором парижского “Этого квартала” Эдвардом Титусом. Уехал из Нью-Йорка с десятью долларами, ссуженными Эмилем Шнеллоком; намеревался отправиться в Испанию, но пробыв какое-то время в Лондоне, уехал в Париж и там остался. Подружился с Ричардом Дж. Осборном и Альфредом Перле; зиму и весну 1931—32 гг. прожил у Осборна на рю Огюст Бартольди.

1931 — В Лювисьенне познакомился с писательницей Анаис Нин.

1932 — Шатаясь по улицам и проводя ночи где придется, начал писать “Тропик Рака”. Работал корректором в парижском издании “Чикаго трибюн”. Зимой преподавал английский в Лицее Карно в Дижоне.

1933 — Снял с Альфредом Перле квартиру в Клиши и с ним же съездил в Люксембург. Период “Черной весны”; предельно плодотворный, предельно веселый. Начал писать книгу о Д. Г. Лоуренсе, которую

18

так никогда и не закончил. В Европу Джун вернулась, но вскоре попросила развода и уехала.

1934 — В тот же день, когда вышел в свет “Тропик Рака”, переехал на Виллу Сера, дом 18; решающий момент. Оригинал рукописи, трижды переписанный, Оказался в три раза длиннее, чем напечатанный вариант. Заочно развелся с Джун в Мексико-Сити.

1935 — В октябре вышел “В Нью-Йорк с возвратом”. Познакомился с астрологом Конрадом Мориканом. В ноябре положил начало так называемой “гамлетовской” переписке с Майклом Френкелем. В сентябре появилось первое издание “Писем Альфа”.

1936 — С января по апрель снова жил в Нью-Йорке. Занимался психоанализом. Начал переписку с графом Кейзерлингом, прочитав его “Дневник путешественника”. В июне издана “Черная весна”.

1937 — Важная встреча с Лоренсом Дарреллом. Вышел “Сценарий” с иллюстрациями Эйба Ратнера. С Альфредом Перле начали выпуск журналов “Бустер” и “Дельта”. Зимой на несколько недель уехал в Лондон, чтобы навестить Перле. Познакомился с У. Т. Саймоном, Т. С. .Элиотом и Диланом Томасом.

1938 — В январе начал писать .для французского журнала “Волонте”, тогда же опубликовали “Деньги и как они садятся нам на голову”. В июне появилось второе издание “Писем Альфа”; в сентябре вышел “Макс и белые фагоциты”.

1939 — В феврале вышел “Тропик Козерога”, и позже, в течение года — “гамлетовская” переписка с Майклом Френкелем. В июне на год уехал с Виллы Сера. Закончился очень важный период тесного общения с Анаис Нин, Альфредом Перле, Майклом Френкелем, Хансом Рейхелем, Эйбом Раттнером, Давидом Эдгаром, Конрадом Мориканом, Жоржем Пелорсоном, Анри Флюшером и другими. Путешествовал по югу Франции. 14 июля уехал в Афины, в августе посетил Даррелла в его доме на Корфу, в Греции. Несколько раз приезжал в Афины, на острова, побывал в Пелопоннесских горах. До сих пор это остается самой крупной авантюрой в моей жизни. Встреча с Джорджем К. Кацимбалисом (“Колоссом”), поэтом Георгиосом Сефериадисом, художником Гикой и другими. Обрел здесь истинный дом, первоклассный климат. Источник регулярного дохода иссяк со смертью парижского издателя (Джека Кахане, владельца “Обелиск-пресс”) на следующий день после объявления войны.

1940 — В феврале вернулся в Нью-Йорк, встретился с

19

Шервудом Андерсоном и Джоном Дос Пассосом. Лето провел с Джоном и Фло Дадли в доме Кэресса Кросби в Боулинг-Грин, штат Вайоминг. Написал “Марусийского колосса”! “Мир секса”, “Тихие дни в Клиши” и начал работу над “Благостным распятием” .

1941 — С 20 октября 1940 по 9 октября 1941 — путешествовал по США, какое-то время — в компании художника Абрахама Раттнера. Встречался с доктором Марион Соушон, Уиксом Холлом, Свами Пра-бхавананда, Альфредом Стиглицем, Фернаном Леже и Джоном Мэрином. Когда я был в Миссисипи, умер отец и мне пришлось вернуться в Нью-Йорк. В июне 1942 года уехал в Калифорнию. Продолжил работу над “Благостным распятием” (написал по-. ловину) и “Кошмаром в мире кондиционеров” (закончил две трети).

1943 — Нарисовал от двухсот до трехсот акварелей. С успехом выставлялся в Беверли-Глен (Зеленый павильон), Американской галерее современной живописи в. Голливуде.

1944 — Выставка акварелей в Музее искусств в Санта-Барбаре и Лондоне. Семнадцать или более того книг подготовлены к печати в Англии и Америке. Год свершений и реализации планов. За всю жизнь “удачный” год с материальной точки зрения. В октябре вызвали в Бруклин из-за болезни матери. Побывал в Дартмутском колледже у Герберта Ф. Уэста, штат Нью-Гемпшир, выставлялся в Йеле. 18 декабря 1944 года — в Денвере, штат Колорадо, женился на Джанине М. Лепской. Переехал в Биг Сур — мой первый настоящий дом в Америке. В мае с Аляски приехал Эмиль Уайт, чтобы предложить свои услуги. Встреча с Джин Пэйдж Уортон, которая оказала большое влияние на мое восприятие жизни.

1945 — Закончил “Сексус” в хижине Кейта Эванса на Партингтон-ридж. Начал перевод “Сезона в аду” Артюра Рембо . (так никогда и не законченный). 19 ноября родилась дочь Валентина. 26 декабря (в мой день рождения) приехал израильский художник Безалел Шатц.

1946 — В январе переехал в хижину на Андерсон-крик. С Шатцем приступили к работе над книгой “В ночную жизнь”, также начал писать книгу о Рембо — “Время убийц”. Познакомился с Леоном Шемроем, который позднее купит около 30 моих акварелей. Из Парижа пришло известие, что на моем счету —

20

ни больше ни меньше сорок тысяч долларов, которыми я так и не удосужился воспользоваться. Джин Уортон предложила нам остановиться в ее доме на Партингтон-ридж с условием, что мы заплатим, когда сможем.

1947 — В феврале переехал в дом Уортон на Партингтон-ридж. Начал работать над романом “Плексус”. Закончил книгу “В ночную жизнь”.

1948 — Написал “Улыбку у подножия лестницы”. 28 августа родился сын Тони.

1949 — Закончил “Плексус”. Начал работу над эссе “Книги в моей жизни”.

1951 — Разошелся с Джаниной Лепской; дети поселились вместе с ней в Лос-Анджелесе. Закончил эссе “Книги в моей жизни”.

1952 — В апреле ко мне приехала Ив Макклюр. Начал писать роман “Нексус”. Развелся с Джаниной Лепской. 29 декабря отправился в турне по Европе с Ив. В канун нового года прибыл в Париж.

1953 — Знаменательный год — лучший после Клиши. Приглашен остановиться в доме Мориса Надо — в недавнем прошлом редактора газеты “Комба” и основного организатора кампании “В защиту Генри Миллера”. Побывал в доме Рабле в пригороде Шинона, затем в Уэльсе, в Англии, где повидался с Перле и его женой. С Шатцами посетил дом Шекспира в Стрэтфорде-на-Эйвоне. Мимолетный визит к Джону Кауперу Поуису в Корвине, Уэльс. Назад в Париж. В конце августа вернулся в Биг Сур. В декабре женился на Ив Макклюр в Кармел Хайлендс.

1954 — В ноябре приехал Альфред Перле, чтобы написать книгу “Мой друг Генри Миллер”. Выехал с выставкой акварелей в Японию. Начал писать книгу эссе “Биг Сур и апельсины Иеронима Босха”.

1955 — Ко мне приехала дочь от первого брака, Барбара Сэндфорд; я не видел ее с 1925 года. В мае Перле уехал в Лондон. Меня посетил бенгальский поэт Буддхадева Боз из Калькутты. Написал “Снова в Барселоне”.

1956 — В январе вместе с Ив уехал в Бруклин ухаживать за умирающей матерью. Там познакомился с Беном Грауэром из “Эн-Би-Си” и записал пластинку “Вспоминает и размышляет Генри Миллер”. Вернулся в Биг Сур. На иврит переведен и выпущен сборник коротких рассказов “В половине первого ночи”. Закончил книгу эссе “Биг Сур и апельсины Иеронима Босха”.

21

1957 — Переработал “Тихие дни в Клиши”, обнаружив рукопись, утерянную 15 лет назад. Выставка акварелей в лондонской “Гэллери-Уан”. Полностью переработал “Мир секса” для парижского издательства “Олимпиа-пресс”. Выставка акварелей в Иерусалиме и Тель-Авиве. Начал писать “Лимонную ветвь и измену” и бросил, чтобы продолжить работу над романом “Нексус”. Избран членом Национального института .искусств и наук.

1958 — Продолжил работу над “Нексусом”.

1959 — В начале апреля закончил “Нексус”. 14 апреля уехал в Европу с Ив и детьми. Два месяца снимал студию на рю Кампань-Премьер в Париже. По пути в Копенгаген вместе с детьми заехал к датскому издателю; Джеральд Робитайль взял на себя роль “воспитателя”. Первая встреча с композитором Антонио Бибало — автором оперы “Улыбка у подножия- лестницы”. В середине августа вернулся в Биг Сур. Написал три письма, составившие книгу “Искусство и бунт” (Перле-Даррелл).

1960 — Написал “Рисовать — значит снова любить”. 4 апреля в качестве члена жюри отправился в Европу на Каннский кинофестиваль. Несколько дней провел в Париже, затем — в Гамбурге, чтобы войти в контакт с издательством “Ледиг-Ровольт” в Рейнбеке. Там впервые встретился с Ренатой Герхардт. После поездки во Францию и Италию вернулся в Биг Сур. Снова уехал в Европу. В Рейнбеке написал предисловие к новому изданию “История искусства” Эли Фора (издательство “Галлимар”) и несколько небольших рассказов, включая один (сумасшедший) на немецком, под названием “Ein

Ungebumbelte Fuchselbiss” для маленького журнальчика “Риносерос”. Также — рисунки и акварели для редактора обозрения Рудольфа Ди нста. Нарисовал несколько акварелей и часто играл в пинг-понг в здании издательства “Ровольт”. С Ледигом и другими съездил в Мельн (на родину Тиля Уленшпигеля), Бремен и другие места. За рождественские каникулы сделал первые наброски пьесы “Ума не приложу, что делать с Гарри”, вдохновленной Ренатой Герхардт. 1961 — Посетил Германию, Австрию, Швейцарию, Италию, Португалию и Испанию. Виделся с Марино Марини — известным скульптором, который изваял мою голову в бронзе. В ноябре вернулся из Лондона на Пасифик Пэлисадс. В этом году “Гроув пресс” издало “Тропик Рака”.

22

1962 — Пока находился на Пасифик Пэлисадс, взялся за второй том “Нексуса”. Съездил в Лондон, чтобы встретиться с Перле и записать с ним передачу для канадского телевидения. С ним и его женой на месяц уехал у Ирландию. Затем снова в Париж — повидаться со старыми и новыми друзьями. Поехал в Берлин, где в доме Ренаты Герхардт сделал десять гравюр на меди и множество акварелей. В июне получил от Ив заключительное решение о разводе. В июле вернулся на Пасифик Пэлисадс. В середине июля уехал в Эдинбург поприсутствовать на писательской конференции. Там встретил Даррелла и его друга доктора Реймонда Миллза. Записали с Даррелом пленку для Би-Би-Си (интервьюировал Джеффри Бридсон). Уехали с Даррелом в Париж, где записали на пластинку выдержки из наших книг для серии “Голос писателя”. Оба “Тропика”, изданные на итальянском (в Швейцарии;, а “Тропик Рака” — и на финском, немедленно изъяты из продажи. Одновременно “Тропик Рака” вышел на иврите, в двух томах, в бумажной обложке. “Гроув пресс” опубликовало “Тропик Козерога”. В конце ноября вернулся в Пасифик Пэлисадс.

1963 — “Тропик Рака” издал в Англии Джон Гэлдер — огромный успех. Написал пять или шесть предисловий для книг других авторов: Джека Бильбо, Х. Э. Бейтса, Джорджа Дибберна и т. д. Также — текст к рисункам Энни Пуэр в альбоме “Греция”, выпущенном “Вайкинг пресс”. “Гроув пресс” выпустило “Тропик Козерога” в бумажной обложке. В издательстве “Даттон” опубликована моя “Частная переписка” с Лоренсом Даррелом, а в “Гроув пресс” — “Черная весна”. В колледже Непорочного Сердца, в Голливуде, начал вместе с монахинями расписывать шелковые драпировки.

1964 — “Нью дайрекш нз”, Нью-Йорк, издало антологию “Генри Миллер о сочинительстве”.

1965 — Выставка акварелей в “Вэствуд арт ассосиэшн”, в Лос-Анджелесе. Смерть Ив, моей третьей жены. В апреле — постановка оперы “Улыбка у подножия лестницы” в Германии, в Гамбурге. Огромный успех. В Лондоне издательство “Макгиббон энд Ки” опубликовало 2-х томник “Избранной прозы”. В Нью-Йорке “Патнэмз сане” издали мои “Письма к Анаис Нин”.

1966 — “Лоуджон пресс” (Лас-Вегас, штат Невада) издало книгу “Порядок и хаос: посвящается Хансу Райхлю”.

23

1967 — Во Франции, в Марселе, на французском поставили оперу “Улыбка у подножия лестницы”. Роберт Снайдер приступил к съемкам фильма “Одиссея Генри Миллера”. Начал изучать японский с Митио Ватанабе. 10 сентября, в Беверли-Хиллз женился на Хоки Токуда. В сентябре — уехал с Хоки в свадебное путешествие в Париж. Выставка акварелей в парижской галерее “Даниэль Жерве”. Вернулся из Европы в Пасифик Пэлисадс. Выставка акварелей в Упсале, Швеция. В декабре — постановка оперы “Улыбка у подножия лестницы” на итальянском в Триесте, в Италии.

1968 — В марте ко мне в Пасифик Пэлисадс приехал Лоренс Даррелл. Выставка акварелей обошла Японию. “Поиск коллекционера” — книгу переписки с Дж. Ривсом Чайлдсом — выпустило университетское издательство в штате Вирджиния. При участии Брэдли Смита начал работу над историей в картинках — книгой “Моя жизнь и моя эпоха” Генри Миллера. В Нью-Йорке “Гроссмэн” опубликовало новое издание эссе “Рисовать — значит снова любить”. В него вошло “Подобие истового прошлого”.

1969 — Премьера фильма “Одиссея Генри Миллера” в Ройс-Холле, в Калифорнийском университете, Лос-Анджелес. В июне уехал в Европу посмотреть, как идут съемки фильма “Тропик Рака”.

1970 — В США состоялись премьеры фильмов “Тропик Рака” и “Тихие дни в Клиши”. В Сан-Франциско издательство “Ферст импрешез” напечатало и распространило две цветные литографии моих акварелей. В Японии “С. Кубо” напечатало и распространило

три цветные литографии моих рисунков. “Лоуджон пресс” (Лас-Вегас, штат Невада) издало “Бессонницу, или Дьявол на воле”. В Париже при участии Жоржа Бельмона вышла книга моих радио- и телеинтервью “Entretiens de Paris”*. В Неаполе удостоена награды “Лучшая книга года” моя книга “Застынь как колибри” (“Come il colibri”). Это первая и единственная награда, которую я когда-либо получил за свой литературный труд.

1971 — В Париже идут репетиции моей пьесы “Ума не приложу, что делать с Гарри”. В издательстве “Плейбой пресс” вышла “Моя жизнь и моя эпоха” Генри Миллера.

* Парижские интервью (фр.) (здесь и далее — прим. пер.)

ТРОПИК КОЗЕРОГА (Tropic of Capricorn). Роман

ЕЙ

Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами. Поэтому, после утешения в личной беседе, я решил написать тебе, отсутствующему, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий, чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными, или незначительными и легче переносил их.

Пьер Абеляр, «История моих бедствий»***

НА ОВАРИАЛЬНОМ ТРАМВАЕ

Однажды вы опускаете руки, смиряетесь, и все даже посреди хаоса сменяет одно другое с неумолимой определенностью. С самого начала не было ничего, кроме хаоса, а хаос был жидкостью, обволакивавшей меня, в которой я дышал жабрами. В непрозрачных нижних слоях, там, где лился ровный лунный свет, все было гладким и плодородным; выше начинались дрязги и шум. Во всем я быстро находил противоречие, противоположность, а между настоящим и вымышленным — скрытую насмешку, парадокс. Я сам себе был худший враг. Чего бы я ни пожелал — мне все давалось. И даже ребенком, когда я ни в чем не знал нужды, я хотел умереть: хотел капитулировать, поскольку не видел смысла в борьбе. Я понимал, что, продолжая то существование, о котором я не просил, ничего не докажешь, не подтвердишь, не прибавишь и не убавишь. Все вокруг меня были или неудачниками или, в лучшем случае, посмешищами. В особенности те, преуспевающие. Преуспевающие нагоняли на меня смертельную скуку. Я сочувствовал промахам, но не сочувствие сделало меня таким. Это было чисто отрицательное качество, слабость, расцветавшая при виде человеческого несчастья. Я никогда никому не помогал в расчете совершить доброе дело — я помогал, потому что просто не умел поступать иначе. Желание изменить порядок вещей казалось мне тщетным: я убедился, что ничего не переделаешь, не изменив душу, а кто способен изменить души людские? От случая к случаю изменяли друзья, от чего хотелось блевать. В Боге я нуждался не больше, чем Он во мне, и, попадись Он мне, часто говаривал я, я встретил бы Его очень хладнокровно и плюнул бы Ему в морду.

Самое досадное то, что люди принимали меня, как правило, за хорошего, честного, доброго, образцового и даже

* Здесь и далее см. примечания.

** Перевод В. Соколова.

надежного человека. Может быть, я и обладал этими качествами, но, если так, то лишь потому, что был ко всему безразличен: я мог позволить себе быть хорошим, честным, добрым, надежным и так далее, поскольку не знал зависти. Я никогда не становился жертвой зависти. Никогда не завидовал никому и ничему. Напротив, я всегда жалел всех и вся.

С самого начала я, должно быть, приучил себя не слишком поддаваться желаниям. С самого начала я ни от кого не зависел, но это был обман. Я ни в ком не нуждался, ибо хотел быть свободным, свободным поступать так, как заблагорассудится моим прихотям. Когда от меня чего-нибудь требовали или ждали — я упирался. Так проявлялась моя независимость. Иными словами, я был испорчен изначально. Как будто мать вскормила меня ядом, и то, что она рано отняла меня от груди, меня не спасло — от яда я не очистился. Даже когда она отняла меня от груди, я проявил полное безразличие. Многие дети выражают или по крайней мере изображают протест, а мне было хоть бы что. Я философствовал с ползунков. Из принципа настраивал себя против жизни. Из какого же принципа? Из принципа тщетности. Все вокруг боролись. Я же никогда и не пытался. А если создавал такую видимость, то лишь для того, чтобы кому-нибудь угодить, но в глубине души и не думал рыпаться. Если вы мне растолкуете почему — я отвергну ваши объяснения, поскольку рожден упрямцем, и это неизбывно. Позже, повзрослев, я узнал, что меня чертовски долго вытягивали из утробы. Прекрасно понимаю. Зачем шевелиться? Зачем покидать замечательное теплое место, уютное гнездышко, где все дается даром? Самое раннее воспоминание — это стужа, снег, наледи на водосточных трубах, морозные узоры на стекле, холод влажных зеленоватых стен кухни. Почему люди селятся в непотребных климатических зонах, которые ошибочно именуют *умеренными*? Потому что они — прирожденные идиоты, бездельники и трусы. До десяти

лет я не представлял себе, что где-то есть «теплые» страны, в которых не надо ни трудиться в поте лица, ни дрожать и делать вид, что это бодрит. Всюду, где холодно, люди трудятся до изнеможения, а, произведя на свет потомство, проповедуют подрастающему поколению евангелие труда, которое, по сути, не что иное, как доктрина инерции. Мои домашние — народец совершенно нордического толка, то есть — народ идиотов. Они с радостью хватались за любую когда-либо высказанную ошибочную идею. В том числе — идею чистоплотности, не говоря уж о доктрине добродетели. Они болезненно чистоплотны. Но изнутри — воняют. Они ни разу не открыли дверь, ведущую к душе, и никогда не мечтали о

28

безрассудном прыжке в потаённое. После обеда — проворно мыли посуду и убирали в буфет; прочитанную газету аккуратно складывали и клали на полку; постиранную одежду тут же отглаживали и прятали в шкаф. Все — ради завтрашнего дня, но завтра так и не наступало. Настоящее — это только мост к будущему, и на этом мосту — стоны; стонет весь мир, но ни один идиот не задумается, а не взорвать ли этот мост?

Я часто с горечью выискивал поводы, чтобы осудить их, а не себя. Ведь я тоже во многом похож на них. Долго я ставил себя особняком, но со временем понял, что я не лучше их, даже чуть хуже, поскольку понимал все гораздо ясней и тем не менее ничего не сделал, чтобы изменить свою жизнь. Оглядываясь назад, теперь я вижу, что ни разу не поступил сообразно со своей волей, — всегда под давлением других. Меня часто принимали за авантюриста — нет ничего более далекого от истины. Мои приключения всегда были случайными, навязанными, проистекали, а не воплощались. Я — плоть от плоти этого самодовольного, хвастливого нордического народа, не имеющего ни малейшего вкуса к приключениям, тем не менее прочесавшего всю землю, перевернувшего ее вверх дном, усеявшего ее реликвиями и руинами. Неугомонные создания, но не авантюрные. Агонизирующие души, неспособные жить настоящим. Позорные трусы — все они, и я в том числе. Ибо существует лишь одно великое приключение — и это путешествие внутрь себя, и тут не имеют значения ни время, ни пространство, ни даже поступки.

Раз в несколько лет я оказывался на грани такого открытия, но всякий раз оно каким-то образом ускользало от меня. И единственное объяснение, которое приходит мне в голову — виновато само окружение: улицы и люди, обитающие на них. Я не могу назвать ни одной американской улицы — вкупе с населяющим ее народом — которая могла бы привести к познанию самого себя. Я исходил улицы многих стран, но нигде не чувствовал себя таким униженным и оплеванным, как в Америке. Обо всех улицах Америки вместе взятых я думаю как об огромной выгребной яме, выгребной яме духа, в которую все засасывается и тонет в непреходящем говне. А над этой выгребной ямой волшебная сила труда возводит дворцы и фабрики, военные заводы и прокатные станы, санатории, тюрьмы и сумасшедшие дома. Весь континент — словно ночной кошмар, порождающий небывалые несчастья в небывалых количествах. И я — одинокое существо на величайшей пирушке здоровья и счастья (среднестатистического здоровья, среднестатистического счастья), где не встретишь ни одного

29

по-настоящему здорового и счастливого человека. Во всяком случае, про себя я всегда знал, что я несчастлив и нездоров, что со мной не все в порядке, что я иду не в ногу. И в том состояло мое единственное утешение, моя единственная радость. Но вряд ли этого было достаточно. Было бы много лучше для моей души, если бы я выразил свой протест открыто, если бы я за свой протест отправился на каторгу и сгнил бы там, и сдох. Было бы много лучше, если бы я, подобно безумному Чолжошу, застрелил некоего славного президента Маккинли, некую незлобивую душу, никому не принесшую даже малой толики зла. Ибо на дне моей души таилась мысль об убийстве: я хотел видеть Америку разрушенной, изуродованной, сравненной с землей. Я хотел этого исключительно из мстительного чувства, в качестве возмездия за преступления, творимые по отношению ко мне и мне подобным, кто так и не поднял свой голос, так и не выразил свою ненависть, свой протест, свою справедливую жажду крови.

Я — дьявольское порождение дьявольской земли. И «Я», о котором пишу, давно бы сгинуло, когда бы не было вечным. Кому-то все это покажется выдумкой, но даже то, что я измыслил, действительно имело место, *по крайней мере, со мной.* История может это отрицать, ведь я не сыграл ни малейшей роли в истории моего народа, но даже если все то, о чем я говорю, вымышленно, тенденциозно, злобно, несправедливо, даже если я лжец и злопыхатель — тем не менее это правда, и это надо принять.

А вот что было...

Все, что происходит значительного, по природе своей противоречиво. Когда появилась та, для кого я пишу эти строки, я вообразил, что где-то вне, как говорится, в жизни, лежит решение всех проблем. Познакомившись с ней, я подумал, что ухватил

жизнь за хвост, что получил нечто, за что можно уцепиться. Отнюдь — у меня совсем не стало жизни. Я искал, к чему бы прибиться, и не находил ничего. Но в самом поиске, в попытках охватить, прилепиться, покончить с неустроенностью, я нашел то, чего не искал — самого *себя.* Я понял, что никогда не испытывал ни малейшего интереса к жизни, а только к тому, чем я занимаюсь сейчас, к чему-то, параллельному жизни, одновременно и принадлежащему ей, и находящемуся вне ее. Что есть истина — мало интересовало меня, да и реальное меня не заботило, меня занимало только воображаемое, то, что я ежедневно душил в себе для того, чтобы жить. Умереть сегодня или завтра — не имеет никакого значения для

30

меня и никогда не имело, но то, что даже сегодня, после многолетних попыток, я не могу высказать то, что думаю и чувствую — мучит и терзает меня. Теперь мне понятно, что с самого детства я, ничему не радуясь, гнался по пятам самовыражения, и ничего, кроме этой способности, этой силы, не желал. Все остальное — ложь, все, что я когда-либо совершил или сказал не согласуясь с моими устремлениями. А это составляет довольно-таки большую часть моей жизни.

Моя суть — сплошное противоречие. Так обо мне говорили. Меня считали то серьезным и рассудительным, то легкомысленным и безрассудным, то искренним и открытым, то небрежным и беспечным. Я совмещал все это в одном, а сверх того был еще кем-то, неожиданным для всех и прежде всего для самого себя. Мальчиком шести-семи лет я любил сидеть у рабочего стола дедушки и читать ему, пока тот шил. Я живо помню его в те моменты, когда он, налегая руками на горячий утюг, стоял и разглаживал шов на пиджаке, а сам тем временем мечтательно глядел в окно. Помню выражение его лица, когда он стоял и мечтал, помню лучше, чем содержание прочитанных книг, лучше, чем наши с ним беседы, лучше, чем игры, в которые я играл на улице. Меня всегда очень интересовало, о чем же он мечтает, что позволяет ему вознестись над телесной оболочкой. Сам я до сих пор не научился мечтать наяву. Мой рассудок всегда прозрачен, живет минутой и все в таком духе. Его дневные грезы очаровывали меня. Я знал, что его мечты никак не связаны с работой, с нами, знал, что он одинок и что одиночество означало для него свободу. А я никогда не был одинок, и меньше всего в те минуты, когда был предоставлен самому себе. Казалось, меня всегда кто-то сопровождает: я был словно крошка от большой головки сыра, какой я себе представлял мир, и я никогда не прекращал думать об этом. Я никогда не существовал отдельно, никогда не мыслил себя целой головкой сыра, вот так-то. Следовательно, даже если у меня и был повод погоревать, пожаловаться, поплакать, я сохранял иллюзию принадлежности к общему, вселенскому горю. Если я плакал — значит, и весь мир заливался слезами — так я себе это представлял. Я очень редко плакал. По большей части я весело смеялся, приятно проводил время, а проводил я время приятно потому, что, как сказал раньше, я действительно ни хрена ни во что не въезжал. Если мне худо — значит, и повсюду худо, я был убежден в этом. А всех хуже тому, кто слишком беспокоится. И это обстоятельство еще в раннем детстве сильно впечатляло меня.

31

Например, вспоминаю случай с другом моего детства Джеком Лоусоном. Целый год он не поднимался с постели, испытывая ужасные боли. Он был моим лучшим другом — так, во всяком случае, говорили. Ну ладно, сначала я, вероятно, жалел его и, возможно, иногда заходил к нему домой поинтересоваться, как он там; но через месяц или два я стал совершенно равнодушен к его страданиям. Я сказал себе: он должен умереть, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Решив это для себя, я и поступал соответствующим образом: то есть, быстро о нем забыл, предоставив Джека его судьбе. Тогда мне было лет двенадцать и, помню, я очень гордился своим решением. Помню похороны — довольно постыдное мероприятие, скажу я вам. У гроба сгрудились родичи и друзья и вопили, как больные обезьяны. А мать — та совсем меня доконала. Она, существо редкой духовности и, несомненно, последовательница Христианской Науки*, хотя и не верила в тление и смерть, подняла такой крик, что сам Христос поднялся бы из могилы. Но не ее возлюбленный Джек! Нет, Джек так и лежал холодный, как кусок льда, окоченевший и безответный. Он умер, и на этот счет не могло быть двух мнений. Я знал это и был рад. И не выдавил ни слезинки. Я не мог утверждать, что ему стало лучше, ибо «он» исчез. Он ушел, а вместе с ним и те страдания, которые испытывал он сам и которые он невольно навлек на других. Аминь! — сказал я про себя и при этом, будучи в легкой истерике, громко пернул, как раз у гроба.

Что такое сильное беспокойство, я узнал, впервые влюбившись. Но и любовь озаботила меня не слишком. Если бы я по-настоящему переживал, то сейчас не писал бы об этом: я умер бы с разбитым сердцем или повесился бы от любви. Но первая любовь преподала мне дурной урок: она научила лгать. Она научила улыбаться, когда улыбаться не хотелось, трудиться, когда не веришь в успех, жить, когда не видишь смысла

продолжать жизнь. Даже когда я уже забыл ее, я все еще сохранял привычку делать то, во что не верил.

С самого начала был только хаос, об этом я уже говорил. Но иногда я проникал настолько близко к сердцевине беспорядка, что диву давался, почему все вокруг не взрывается.

Стало принято все валить на войну. Но, скажу я вам, война ничуть не коснулась ни меня, ни моей жизни. В то время как остальные находили теплые места, я перебивался с одного тощего заработка на другой, и все же чуть душа с телом не расставалась. Меня увольняли почти сразу, как нанимали. Я обладал недюжинным умом, но внушал

32

недоверие. Куда бы я ни поступал — я сеял раздоры, и не по своей наивности, а потому, что походил на прожектор, высвечивавший всяческую глупость и тщетность. Кроме того, я не умел лизать жопу начальству как подобает. И это, несомненно, выделяло меня. Когда я спрашивал работу, по моему виду сразу же определяли, что мне до лампочки, получу я ее или нет. И, разумеется, в основном я ее не получал. Однако вскоре сами поиски работы стали для меня родом деятельности, забавой, так сказать. Я заходил и просил какой-никакой работы. Так я убивал время, не хуже, насколько я понимаю, чем на самой работе. .Я был Себе хозяин, у меня оставалось свободное время, но, в отличие от других хозяев, я располагал только собственным пепелищем и собственной несостоятельностью. Я не был ни корпорацией, ни трестом, ни государством, ни федерацией, ни содружеством наций — скорее, я был похож на Господа Бога, если уж на то пошло.

Так продолжалось с середины войны вплоть до ... скажем так: одного прекрасного дня, когда меня захомутали. В конце концов настал день, когда я отчаянно возжелал работы. Я нуждался в ней. Не имея ни одной минуты в запасе, я решил согласиться на самую распоследнюю работенку на свете, а именно: курьера. Я вошел в отдел кадров одной телеграфной компании, назовем ее Телеграфной Компанией Северной Америки «Космодемоник» — вошел под вечер, готовый на все. Я возвращался из публичной библиотеки с увесистыми томами по экономике и метафизике под мышкой. К моему великому удивлению, в работе мне было отказано.

Тип, который меня отшил, оказался коротышкой у коммутатора. По-видимому, он принял меня за студента колледжа, хотя мое заявление ясно говорило о том, что я давно завершил образование. В заявлении я даже снабдил себя степенью доктора философии Колумбийского университета. Очевидно, это осталось незамеченным, или с подозрением воспринятым коротышкой, который меня отшил. Я рвал и метал, тем более, что впервые в жизни действовал на полном серьезе. И не только: я проглотил собственную гордость, которая в некоторых — особых — случаях весьма велика. Жена, как водится, одарила меня косым взглядом и усмешкой. «Ничего другого я и не ждала», — сказала она. Я пошел спать, раздумывая над этим, еще не оправившись от жгучей обиды, заводясь все больше и больше бессонной ночью. То, что у меня есть жена и ребенок, нуждающиеся в поддержке, не так уж меня беспокоило: ведь работу никогда не предлагают только потому, что у вас иждивенцы — это я понимал очень хорошо. Нет, меня

33

мучило то, что они отвергли меня, Генри В. Миллера, образованного, эрудированного человека, который просил самую распоследнюю работенку на свете. Это меня прямо-таки разжигало. Я не мог от этого отделаться. Утром я вскочил чуть свет, побрился, облачился в лучший костюм и поспешил к метро. Я решительно направился к главному офису этой телеграфной компании, поднялся на двадцать пятый этаж или где-там президент с вице-президентом устроили себе логова. И сказал, что хочу видеть президента. Естественно, президент или уже уехал, или был слишком занят, чтобы беседовать со мной, но: может, вы поговорите с вице-президентом или, лучше, с его секретарем? Меня принял секретарь вице-президента, умный, внимательный малый, и я высказал ему то, что накипело. И сделал это весьма искусно, не очень пылко, но в то же время дал понять, что меня не так-то просто отшвырнуть в сторону.

Когда он поднял телефонную трубку и потребовал главного управляющего, я подумал, что это обычная проволочка, что меня собираются гонять по инстанциям, пока я сам не отвалю. Но как только я услышал его слова, сразу изменил свое мнение. Когда я добрался до офиса главного управляющего, в другом здании неподалеку, меня уже ждали. Я сел в удобное кожаное кресло и закурил предложенную большую сигару, того сорта, что придает значительности. Казалось, этот субъект живо озаботился моим делом. Он попросил меня все рассказать, вплоть до мельчайших подробностей, и своими большими волосатыми ушами старался уловить всю информацию, которая могла бы подтвердить версию, уже возникшую в его башке. Мне стало понятно, что я случайно оказался орудием, способным услужить ему. И не мешал выуживать из меня то, что угодно его фантазии, ни на секунду не упуская из виду, куда ветер дует. По ходу

разговора я заметил, что его расположение ко мне все растет и растет. Наконец-то хоть кто-то проявлял ко мне некое участие! Чтобы оседлать своего конька, мне больше ничего не требовалось. Ведь, годами охотясь за работой, я стал знатоком: изучил не только то, чего не следует говорить, но и то, как надо врать и намекать. Вскоре был вызван помощник главного управляющего, чтобы выслушать мою историю. К этому времени я уже успел выстроить все как по-писаному. Я понял, что Хайми — «жиденок» — как величал его главный управляющий — ничего не делает, считая себя менеджером персонала. Хайми узурпировал должность, это ясно, как день. Ясно также, что Хайми еврей и что евреи не в чести у главного управляющего, как не в чести и у мистера Твил-

34

лингера, вице-президента, который в свою очередь был словно кость в горле для главного управляющего.

Возможно, именно благодаря Хайми, «этому грязному жиденку», в курьерской службе оказалось высокое процентное содержание евреев. Возможно, Хайми — один из тех, кто нанимал работников в отделе кадров — Закатном уголке, как они его прозвали. А это, сообразил я, было великолепной возможностью для мистера Клэнси, главного управляющего, разделаться с неким мистером Бернсом, который, как мне сообщили, проработал менеджером персонала без малого тридцать лет, а теперь не стесняясь отлынивает от дел.

Совещание длилось несколько часов. Ближе к концу мистер Клэнси отвел меня в сторонку и сообщил, что собирается сделать боссом меня. Однако прежде чем поместить меня в контору, он как об одолжении просит меня поработать курьером специального назначения. Кроме того, это нечто вроде ученичества, и не будет излишним. При сем я получу жалованье менеджера персонала, которое будет выдаваться по отдельному счету. Короче говоря, я должен фланировать от одной конторы к другой и наблюдать без исключения за всем, что там происходит. И должен время от времени представлять небольшой отчет о положении дел. И, как он предполагал, изредка тайно наведываться к нему домой на краткую беседу о состоянии дел в сто одном отделении телеграфной компании «Космодемоник» в Нью-Йорк-Сити. Другими словами, я должен был на несколько месяцев превратиться в шпиона, после чего круто пойти вверх. Может, в один прекрасный день меня назначат главным управляющим или даже вице-президентом. То было заманчивое предложение, хоть и не внушающие доверия. И я сказал: «Да».

Через несколько месяцев я уже сидел в Закатном уголке, нанимая и увольняя как проклятый. То была настоящая бойня, помоги мне Господь. Все от начала до конца было бессмысленным. Поток людей, документов, напряжения. Ужасающий фарс на фоне пота и горя. Но так же просто, как шпионаж, принял я труды найма и увольнений и все, что из этого проистекало. Я сказал «да» всему. Если вице-президент распоряжался не брать калек, я не брал калек. Если вице-президент говорил, что все курьеры старше сорока пяти подлежат увольнению без предуведомления, я увольнял их, не предупредив. Я делал все, что от меня требовали, но таким образом, что им приходилось жалеть об этом. Когда назревала забастовка, я умывал руки и ждал, когда она разгорится во всю силу. Я сразу понял, что она влетает им в хорошую денежку. Вся система была та-

35

кой прогнившей, такой бесчеловечной, такой паршивой, столь неисправимо испорченной и громоздкой, что даже гений не сумел бы вдохнуть в нее смысл и привнести порядок, не говоря уж об обычной доброте, гуманности и уважении к человеку. Я восстал против всей системы труда в Америке, системы, прогнившей насквозь. Я чувствовал себя пятым колесом повозки и не ждал ничего, кроме эксплуатации. Фактически, эксплуатации подвергались все:

президент и его команда эксплуатировались невидимыми силами, работники — управленческим аппаратом и так далее, и тому подобное на всех уровнях. Со своего насеста в Закатном уголке я как бы обозревал с высоты птичьего полета все американское общество. Словно телефонную книгу листал. Со стороны вроде не лишено смысла: алфавитный порядок, нумерация, рубрикация. Но если вглядеться пристальнее, когда просматриваешь страницу за страницей, ничего не пропуская, когда изучаешь отдельного субъекта и даже его внутреннее устройство, изучаешь воздух, которым он дышит, жизнь, которую он ведет, ставки, которые он делает — открывается такая вонь и деградация, такая низость, горе, несчастье, безнадежность, бессмысленность, что лучше было заглянуть в кратер вулкана. Можно было рассмотреть всю американскую жизнь: экономическую, политическую, моральную, духовную, художественную, статистическую, паталогическую. Она выглядела, будто огромный шанкр на измученном члене. Даже хуже, честное слово, ибо вам не удастся увидеть ничего, хоть отдаленно напоминающего член. Возможно, в прошлом это и было жизнью, продуктивной, доставлявшей хоть минутную радость, минутный восторг. Но, глядя на нее со своего насеста, я видел нечто более гнилое, чем изъеденный опарышами сыр. Удивительно,

почему вонь не гнала их прочь... Я всякий раз употребляю прошедшее время, но, конечно, и сейчас все то же самое, а может и хуже. Во всяком случае, сейчас мы изведали вонь в полной мере.

К тому времени, как на сцене появилась Валеска, я уже нанял несколько армейских корпусов курьеров. Моя конторка в Закатном уголке напоминала открытую форсунку, и вонь оттуда шла соответствующая. Я окопался в траншее на передовой и держал круговую оборону. Начнем с того, что человек, которого я вытеснил, умер через несколько недель после моего прихода. Он продержался как раз столько, чтобы я успел освоиться, а потом отбросил копыта. Все произошло так. стремительно, что я даже не испытал чувство вины. С самого начала моего пребывания в конторе все было единым непрекращающимся кромешным адом. За час до моего прихода на службу — а я всегда

36

опаздывал — там уже толпились соискатели мест. Я пробирался по лестнице, распихивая всех локтями, и буквально силой продирался к своему столу. Не успев снять шляпу, я уже отвечал на дюжину телефонных звонков. На столе было три телефона, и все они трезвонили одновременно. Они вызывали у меня недержание еще до того, как я приступал к исполнению обязанностей. А раньше пяти-шести часов вечера мне не удавалось сходить в уборную. Хайми приходилось еще хуже, ведь он был привязан к коммутатору. Он просиживал за ним с восьми утра до шести вечера, занимаясь перестановкой фишек. Фишки — это курьеры, которых одна контора ссужала другой на день или полдня. Ни одно из ста одного отделения не обладало своим укомплектованным штатом, и Хайми приходилось решать шахматные задачки, передвигая фишки, в то время, как я работал словно проклятый, затыкая дыры. Если иногда чудом мне удавалось заполнить все вакансии — на другой день надо было все начинать сначала, а иногда положение еще и ухудшалось. Постоянно служили от силы двадцать процентов работников; остальные — плавник. Постоянные служащие выживали новобранцев. Постоянные получали от сорока до пятидесяти долларов в неделю, иногда шестьдесят или семьдесят пять, а, бывало, до сотни в неделю, то есть зарабатывали они много больше клерков и часто больше управляющих. А новички — те с трудом получали десять долларов в неделю. Некоторые, проработав часок, бросали все к черту, часто швырнув пачку телеграмм в мусорный ящик или в сточный желоб. Увольняясь, они требовали немедленного расчета, что было невозможно по причине усложненного делопроизводства. Нельзя было раньше, чем через десять дней, сказать, кто сколько заработал. Сперва я приглашал посетителей присесть и все разъяснял им в деталях. Пока не сорвал связки. Скоро я научился экономить силы для самого необходимого. Главное, каждый второй малый был прирожденный лгунишка, да еще и плут впридачу. Большинство поступали и увольнялись не однажды. Некоторые считали это великолепным способом искать другую работу, поскольку по долгу службы им приходилось бывать в сотне офисов, куда раньше их и на порог бы не пустили. К счастью, Макговерн, старый верный швейцар, выдававший бланки заявлений, обладал зоркостью камеры. А у меня под рукой стояли конторские книги, куда заносились все соискатели, хоть однажды прошедшие через мою молотилку. Конторские книги составлялись подобно полицейскому протоколу: они были испещрены красными пометками, означавшими тот или иной проступок. Судите сами, в каком затруднительном поло-

37

жении я оказался: каждое второе имя было отмечено воровством, мошенничеством, хулиганством, слабоумием, извращенностью или идиотизмом. «Будь осторожен — такой-то такой-то — эпилептик!» «Не бери этого — он ниггер!» «Внимание! Икс оттрубил в Даннеморе* или где-нибудь в Синг-Синге* пару лет».

Если бы я оказался фанатом этикета, никто так и не был бы принят. Мне пришлось учиться очень быстро, и не по книгам, а на собственном опыте. Существовала тысяча и одна подробность, по которым можно было судить о соискателе: я должен был учитывать их все сразу, и притом быстро, ведь за короткий день, даже если вы расторопны, как чародей, — вы можете нанять столько-то и не более. Неважно, скольких я принимал — работников всегда не хватало. На следующее утро все надо было начинать сначала. Некоторые, я знал, проработают только один день, и тем не менее я был вынужден брать их тоже. Система не отвечала требованиям, но критика системы не входила в круг моих обязанностей. Мне предписывалось нанимать и увольнять. Я был в самом центре диска, который крутился так быстро, что не мог остановиться. Тут требовался механик, но с механизмом, по мнению начальства, все было в порядке, все было прекрасно и замечательно, да вот только временно вышло из-под контроля. Вышедшее из-под контроля включало: эпилепсию, воровство, вандализм, извращения, ниггеров, евреев, проституток и — почему бы нет? — иногда забастовки и стачки. Из-за чего, следуя логике начальства, надо было брать большую метлу и начисто выметать

конюшню, или браться за ружье и дубинку и вкладывать разум в бедных идиотов, страдавших иллюзией глобального несовершенства того, что имеет место. Иногда оказывалось полезным потолковать о Боге, или устроить общую спевку, может, и премия иногда уместна, если не помогают слова. Но вообще-то самое важное — поддерживать на уровне прием и увольнение. Пока есть люди и боеприпасы — мы на коне, и танки наши быстры. Тем временем Хайми без устали принимал слабительные пилюли в количестве, достаточном, чтобы разнесло заднее место, если бы у него таковое имелось, но заднего места, у него не было. Он только воображал, что оправляется. Он только воображал, что валит в унитаз. Бедняга был на самом деле в трансе. Надо следить за сотней контор, и в каждой свой штат курьеров — мифический, если не гипотетический; были курьеры действительные и вымышленные, осязаемые и неосязаемые. Хайми приходилось тасовать их весь день напролет, а я тем временем затыкал дыры, которые тоже были воображаемыми, ведь никто не

38

мог сказать наверняка, прибудет ли новобранец, отправленный в филиал, завтра, послезавтра или никогда. Некоторые из них терялись в метро и в лабиринтах под небоскребами, некоторые мотались весь день по городской железке, пользуясь тем, что униформа разрешает бесплатный проезд, а они, может быть, никогда не наслаждались ездой весь день напролет по городской железке. Некоторые отправлялись в сторону острова Статен*, а оказывались в Канарси или еще в каком-нибудь другом месте, где их в состоянии комы подбирал полицейский. Некоторые забывали место жительства и исчезали совершенно. Некоторые, нанятые для работы в Нью-Йорке, месяц спустя возникали в Филадельфии, как будто так и надо, как по Хойлю*. Некоторые уже собирались прибыть к месту назначения, но по пути решали, что проще продавать газеты, и начинали продавать, в нашей же униформе, пока не попадались с поличным. Некоторые, повинуясь странному упреждающему инстинкту, прямиком шли в полицейский участок.

По утрам, только придя в контору, Хайми начинал чинить карандаши. Он священнодействовал, невзирая на многочисленные вызовы, ибо, как он объяснил мне позже, если первым делом не очинить карандаши, они так и останутся неочиненными. Следующим делом было выглянуть в окно и посмотреть, как там погода. Потом, только что заточенным карандашом, он выводил небольшую рамку вверху грифельной доски, которая у него всегда под рукой, и в этой рамке фиксировал состояние погоды. Это, говорил он мне, часто служит полезным оправданием. Если лежит снег толщиной в тридцать сантиметров, если на дорогах слякоть, то самому дьяволу простительно, что он не слишком гоняет фишки, а уж менеджеру персонала тем паче можно простить то, что он не до конца затыкает дыры в такие дни, верно? Но что для меня так и осталось тайной, так это то — почему он после починки карандашей не отправляется прямиком срать, а включает коммутатор в сеть. Это он мне тоже впоследствии объяснил. Так или иначе, каждый день начинался с суматохи, жалоб, запора и вакансий. Еще он начинался с громких духовитых ветров, дурного запаха изо рта, расшатанных нервов, эпилепсии, менингита, низкого жалованья, просроченных расчетов, поношенных ботинок, шпор, плоскостопия, потерянных записных книжек и украденных авторучек, телеграмм, выброшенных в канализацию, с угроз вице-президента и советов управляющих, с пререканий и споров, с ливней и оборванных линий, с новых и хорошо забытых старых методов интенсификации труда, с надежды на лучшие времена и молитвы о премии, которую так и не давали. Новые курьеры брали на себя

39

лишнего, погибали под пулеметной очередью, старые зарывались все глубже, как крысы в сыр. Все были неудовлетворены, а в особенности публика. С Сан-Франциско можно связаться по проводу за какие-то десять минут, но доставка послания адресату могла занять целый год, если оно все же его достигало.

Христианский союз молодых людей', озабоченный укреплением морали рабочих парней повсюду в Америке, устраивал ежедневные собрания, и если я не отпускал туда нескольких щеголеватых юнцов послушать Уильяма Карнеги Астербильта младшего, то получал выговор по службе. Мистер Мэллори из Благотворительной Лиги хотел бы знать, могу ли я уделять ему иногда несколько минут, чтобы выслушивать его рассказы об образцовых заключенных, освобождаемых под честное слово, которые были бы счастливы служить в любом качестве, даже курьерами. Миссис Гуггенхоффер из организации «Милосердие для евреев» была бы польщена, если бы я поспособствовал ее начинанию по поддержке некоторых бедствующих семей, которые бедствовали потому, что все члены семьи немощны, неполноценны и недееспособны. Мистер Хаггерти из общества «Приют беглецов» был уверен, что у него как раз имеется несколько подходящих юнцов для меня, если я рискну дать им шанс: каждого довели до ручки их мачехи и отчимы. Мэр Нью-Йорка станет бы мне крайне признателен, если я лично

приму участие в подателе письма, за которого он всячески ручается, но почему он не подыскал «подателю» работу сам — оставалось тайной. Человек, склонившийся над моим плечом, протягивает мне клочок бумаги, на котором начертано: «Я все понимаю, но ничего не слышу». Лютер Уинифред стоит подле него, полы его задрипанного пиджака соединены булавками. Лютер на две седьмых чистый индеец, а на пять седьмых американец немецкого происхождения, так он сам объясняет. По индейской линии он принадлежит к племени кри, он один из крей штата Монтана. Его последняя работа — мытье витрин, но штаны на нем висят страшно, у него совсем нет жопы в штанах, и ему стыдно влезать на лестницу в присутствии дам. Он только вчера выписался из больницы, и потому крайне слаб, но не настолько слаб, чтобы не суметь разносить телеграммы, так он полагает.

А еще Фердинанд Миш, как я мог о нем забыть? Он простоял в очереди все утро, чтобы сказать мне несколько слов. Я не ответил на его письма. Это правда? — спрашивает он меня вкрадчиво. Разумеется, нет. Я смутно припоминаю последнее письмо, которое он отправил из госпиталя «Кота и Пса» к Большому Конкурсу, где числился

40

обслугой. Он сказал, что раскаивается в том, что отказался от должности. Но это произошло по вине отца, который подавляет его свободу и лишает всякой радости. «Сейчас мне двадцать пять, — писал он, — и, думаю, мне не следует впредь спать с моим отцом, не так ли? Я слышал о вас как об истинном джентльмене, теперь я сам за себя отвечаю и надеюсь, что ...» Макговерн, старина швейцар, стоит рядом с Фердинандом и ждет, когда я подам знак. Ему хочется отвесить Фердинанду под зад коленом, он еще помнит, как тот лет пять назад в полной униформе корчился в припадке эпилепсии на тротуаре перед главным входом в офис. Но, черт побери, я не могу дать ему знак! Я собираюсь предоставить несчастному ублюдку последний шанс. Может быть, я пошлю его в Чайна-таун, где служба относительно спокойна. Тем временем Фердинанд облачается в задней комнате в униформу, а я читаю послание некоего сироты, который горит желанием «помочь компании достичь подлинного успеха». Он говорит, что если я дам ему возможность, он будет молиться за меня каждое воскресенье, в которое посетит церковь, исключая те воскресенья, когда он должен отмечаться у офицера, надзирающего за его досрочным освобождением. Ясное дело, он ничего не совершил. Просто толкнул одного парня, а тот упал, ударился головой и сдох. *Далее:* экс-консул из Гибралтара. Великолепный почерк, великолепнейший. Прошу его заглянуть в конце дня — есть в нем нечто подозрительное. Тем временем у Фердинанда в раздевалке начинается припадок. Хорошенькое дельце! Если бы это произошло в подземке, с номером на фуражке и все такое, меня бы немедленно вышвырнули на улицу. Далее: однорукий парень, сердитый как черт, поскольку Макговерн указует ему рукой на дверь. «Что за дьявольщина! Я силен и здоров, разве не так?» •— орет он и в доказательство легко поднимает стул единственной рукой и разбивает его на куски. Я возвращаюсь к столу, а там уже лежит для меня телеграмма. Вскрываю. От Джорджа Блазини, нашего бывшего курьера № 2459 юго-вост. филиала. «Прошу прощения, что я уволился так скоро, но работа не соответствовала моей врожденной лени, а вообще-то я очень люблю труд и очень бережлив, но как часто мы не в состоянии управляться с нашей гордыней». Говно!

Сначала я был полон оптимизма, несмотря на сжимавшие меня тиски. Я имел идеалы и следовал им, нравилось это вице-президенту или нет. Каждые десять дней он вызывал меня на ковер и выговаривал мне по поводу того, что у меня «слишком доброе сердце». В моем кармане деньги никогда не водились, зато я свободно распоряжался

41

чужими деньгами. Покуда я оставался боссом, мне открывали кредит. Я тратил деньги направо и налево; я снимал с себя одежду и белье, отдавал книги и все, что находил для себя излишним. Была бы моя власть, я бы всю компанию отдал тем беднягам, которые осаждали меня. Если просили десять центов — я давал полдоллара, а когда просили доллар — давал пять. Я не считал, сколько даю, мне было легче одолжить, чем отказать. Ни разу в жизни я не сталкивался с таким средоточием беды и надеюсь не столкнусь впредь. Люди бедствуют повсюду — так было всегда и всегда будет. А под ужасной бедностью тихо горит огонь, обычно невидимый, незаметный. Но он разгорится, и если у кого-нибудь достанет отваги раздуть его — он способен стать большим пожаром. Меня постоянно убеждали не быть мягким, сентиментальным, милосердным. Будь тверд! Будь жесток! — предостерегали меня. К чертям собачьим! — говорил я себе, я буду щедрым, уступчивым, незлобивым, терпимым и мягким. Сначала я выслушивал каждого до конца, и если не мог дать работу — давал деньги, а если не было денег — давал сигарету или старался ободрить словом. Но я что-то давал! Результат оказался ошеломительным. Никто не мог предположить такого эффекта от добрых дел и добрых слов. Меня засыпали благодарностями, лучшими пожеланиями, приглашениями, трогательными

подношениями. Если бы я обладал настоящей властью, а не был бы пятым колесом повозки, Бог знает, чего бы я не совершил! Я бы сумел использовать телеграфную компанию «Космодемоник» в качестве плацдарма, чтобы привести все человечество к Богу, я бы преобразил всю Северную и Южную Америку, и доминион Канаду впридачу. Я знал секрет: быть щедрым, быть добрым, быть терпимым. Я вкалывал за пятерых. Три года почти не спал. У меня не было приличной сорочки, и часто мне было до того стыдно клянчить деньги у жены и вскрывать копилку собственного ребенка, что я шел на обман и грабил слепого продавца газет на станции метро, чтобы добыть мелочь на трамвай и вовремя приехать на работу. Я столько повсюду задолжал, что даже за двадцать лет упорного труда не смог бы расплатиться. Я брал у тех, кто имел, и давал тем, кто нуждался, и это правильно, я поступил бы точно так же, окажись опять в подобной ситуации.

Мне удалось совершить чудо — остановить сумасшедшую текучку кадров, об этом никто не смел и мечтать. Но вместо того, чтобы поддержать мои усилия, меня подсиживали. Согласно логике начальства, текучесть приостановилась благодаря слишком высокой зарплате. Поэтому

42

они урезали зарплату. Тем самым они словно вышибли дно корзины. Все сооружение обрушилось на мои плечи. А начальство, как ни в чем не бывало, продолжало настаивать, чтобы я заткнул все дыры немедленно. Чтобы смягчить удар, мне сообщили доверительно, что я даже могу поднять процент евреев, иногда могу нанимать инвалидов, если те еще на что-то способны, то есть могу делать кое-что из того, что противоречит негласному кодексу. Я был в таком бешенстве, что принимал абы кого; принял бы мустангов и горилл, если бы сумел вдохнуть в них хоть чуточку смекалки, совершенно необходимой для доставки телеграмм. Еще несколько дней назад к закрытию оставалось не больше пяти-шести вакансий. Теперь — три, четыре, пять сотен, они убегали, как песок между пальцев. Просто удивительно. Я сидел и без лишних вопросов брал всех подчистую: ниггеров, евреев, паралитиков, инвалидов, судимых, проституток, маньяков, извращенцев, идиотов, всех сучьих ублюдков, способных держаться на двух ногах и удержать в руке телеграмму. Управляющие в сто одном нашем филиале были при смерти. Я смеялся. Я смеялся все дни напролет при мысли о том, какое вонючее варево из всего этого приготовил. Жалобы лились рекой из всех частей города. Сервис был искалечен, приперт, задушен. Мул управился бы проворней некоторых наших идиотов, поставленных мною в упряжку.

Самым замечательным при новом положении дел оказалось разрешение нанимать курьерами женщин. Это изменило всю атмосферу предприятия. А для Хайми это было как Божий дар. Он развернул коммутатор таким образом, чтобы, манипулируя своими фишками, не упускать меня из виду. Несмотря на прибавившиеся хлопоты, у него не спадала эрекция. Он приходил на работу с улыбкой и улыбался весь день. Он был на седьмом небе. К концу дня я составлял список из пяти-шести достойных внимания. Игра заключалась в том, что мы их держали на стреме, сулили работу, но первым делом старались отодрать. Иногда было достаточно немного их подкормить, чтобы они явились в контору во внеурочное время и разлеглись на оцинкованном столе в раздевалке. Если же у них имелась удобная квартира, а такое иногда случалось, мы провожали их домой и кончали в кровати. Если им хотелось выпить, Хайми прихватывал бутылку. Если они были недурны собой и действительно нуждались в бабках, Хайми доставал пачку денег и отделял от нее пять-десять долларов, смотря по обстоятельствам. У меня слюнки текут, когда вспоминаю, какая пачка денег всегда была при нем. Где он их добывал— не знаю, ведь он зарабатывал меньше всех в кон-

43

торе. Но деньги у него водились всегда, и я всегда получал у него столько, сколько просил. Как-то мы сподобились премии,. и я отдал Хайми долг до последнего цента, и это так изумило его, что он пригласил меня в тот вечер в «Дель-Монико» и истратил там на меня целое состояние. Мало этого — на следующий день он настоял на покупке шляпы, сорочки и перчаток для меня. Он даже предложил мне на ночь свою жену, но предупредил, что в настоящий момент у нее какие-то неполадки по женской части.

Кроме Хайми и Макговерна у меня была еще парочка помощников, великолепных блондинок, часто составлявших нам компанию за обедом. И еще был О'Мара, мой старый друг, недавно вернувшийся с Филиппин — его я сделал своим главным помощником. Еще был Стив Ромеро, бык-медалист — его я держал поблизости на случай опасности. И О'Рурк, детектив компании, который приходил ко мне на доклад в конце рабочего дня, когда он приступал к работе. Потом я включил в штат еще одного — Кронски, молодого студента-медика, который очень интересовался паталогическими случаями, бывшими у нас в достатке. Мы являли беззаботную компашку, объединенную общим желанием во что бы то ни стало наебать нашу фирму. А, наебывая фирму, мы

ебали все, что попадалось нам на глаза и годилось для этого; исключение среди нас составлял О'Рурк— он был обязан хранить определенное достоинство, а, кроме того, немалое беспокойство ему доставлял простатит, отчего он потерял к ебле всякий интерес. Зато О'Рурк был благороден и щедр, великодушен выше всяких похвал. Именно 0'Рурк часто угощал нас ужином, и к нему мы шли со своей бедой.

А вот как стало в Закатном уголке через пару лет. Я был занят своим гуманизмом, экспериментами того или иного свойства. В спокойные минуты делал заметки, которые впоследствии предполагал использовать, если когда-нибудь получу возможность изложить свой опыт. Я ждал передышки. А потом, в один прекрасный день, меня вызвал на ковер под неким надуманным предлогом вице-президент и обронил фразу, засевшую у меня в голове. Он сказал:

«Хорошо бы, если бы кто-нибудь написал книгу о курьерах в духе Горацио Алжера»*. Он намекнул, что таким человеком мог бы стать я. Я был вне себя от того, что он такой остолоп, и вместе с тем польщен, ибо втайне давно уже порывался открыться. Я сказал себе: «Погоди, козлина, будет тебе Горацио Алжер, вот только откроюсь... ты погоди». Голова шла кругом, когда я покидал его офис. Я видел толпы мужчин и женщин, прошедших через мои руки, ви-

44

дел их в слезах, в мольбах, слышал их проклятья, видел их плевки, их гнев, их угрозы. Я видел их следы на дорогах, где лежат опрокинутые товарные поезда, родителей в лохмотьях, пустые угольные короба, переполненные раковины, запотевшие стены, по которым меж бусинами испарины снуют, словно сумасшедшие, тараканы; я видел их, ковылявших как кривоногие гномы, лежавших навзничь в эпилептических корчах; рот в судороге, а изо рта обильно лезет слюна, искривленные болью члены; я видел, как зараза, будто на крыльях, обволакивает все, вырвавшись из заточения, видел начальство с его железной логикой, начальство ждало, когда все уляжется, утрясется само собой, ждало самодовольно, бездумно, запихнув в рот большую сигару и положив ноги на стол со словами, что все-де временные неприятности. Я видел героя Горацио Алжера, мечту больной Америки, поднимавшегося выше и выше:

сначала курьер, потом оператор, потом управляющий, потом шеф, потом директор, потом вице-президент, потом президент, потом магнат, пивной король, затем господь всех Америк, денежный бог, бог богов, плоть плоти, ничтожество в вышних, нуль в окружении девяноста семи тысяч нулей. Говно, сказал я себе, ты получишь изображение двенадцати маленьких людей, нулей без окружения, цифр и знаков, двенадцати живучих червей, подтачивающих фундамент твоей прогнившей системы. Я выдам тебе Горацио Алжера, его взгляд на день после Апокалипсиса, когда вся вонь исчезнет с лица земли.

Ко мне шли за поддержкой со всей планеты. Не считая простейших, здесь были представлены все расы. Не считая айну, маори, папуасов, зулусов, патагонцев, игоротов, готтентотов, туарегов, не считая исчезнувших тасманийцев, атлантидцев, обитателей земли Гримальди, я имел представителей почти всех видов, обитавших под солнцем. У меня. были два брата, все еще отправлявших солярный культ, два несторианца из древней Ассирии, два мальтийца-близнеца, и потомок Майя с Юкатана; у меня было несколько коричневых братишек с Филиппин и несколько эфиопов из Абиссинии, были обитатели пампасов Аргентины и нищие ковбои из Монтаны, были греки, поляки, хорваты, латыши, словенцы, чехи, испанцы, валлийцы, финны, шведы, русские, датчане, мексиканцы, пуэрториканцы, кубинцы, уругвайцы, бразильцы, австралийцы, персы, японцы, китайцы, яванцы, египтяне, африканцы с Золотого Берега и Берега Слоновой Кости, индусы, армяне, турки, арабы, немцы, ирландцы, англичане, канадцы и куча итальянцев и евреев. Помню только одного француза, и то он проработал не больше трех часов. Было несколько аме-

45

риканских индейцев, в основном племени чероки, но не было ни тибетцев, ни эскимосов. Я встречал такие имена, что и не вообразить, и почерки, которые менялись от клинописи до изощренной и неизъяснимо прекрасной каллиграфии китайцев. Я внимал людям, жаждавшим работы — среди них египтологи, ботаники, хирурги, старатели золота, профессора восточных языков, музыканты, инженеры, врачи, астрономы, антропологи, химики, математики, мэры городов и губернаторы штатов, тюремные надзиратели, ковбои, лесорубы, моряки, ловцы устриц, портовые грузчики, клепальщики, дантисты, живописцы, скульпторы, водопроводчики, архитекторы, маэстро абортов, белые рабы, ныряльщики, верхолазы, фермеры, торговцы часами и одеждой, охотники, смотрители маяков, сводники, олдермены, сенаторы — все, нашедшие место под солнцем, и всё они просили работу, сигареты, мелочь и *еще один шанс, о всемогущий Боже, хоть один шанс!* Я встречал и знал людей, которые были бы святыми, если бы святые водились в этом мире; я встречался и разговаривал с крупными учеными, хмельными и трезвыми; я слушал людей, обладавших божественным огнем в их недрах,

которые могли бы обвинить всемогущего Господа в том, что они достойны лучшей доли — Господа, но не вице-президента телеграфной компании «Космококкик». Я сидел, прикованный к рабочему столу, и путешествовал по всему миру со скоростью света, и я понял, что повсюду одно и то же: голод, унижение, равнодушие, порок, зло, жадность, вымогательство, крючкотворство, мучения, деспотизм, негуманное отношение человека к человеку, узы, шоры, поводья, уздечка, кнут, шпоры. Чем мельче калибр — тем хуже человеку. Люди ходили по улицам Нью-Йорка в окровавленном, унизительном облачении, презираемые, ниже униженных, бродили, как гагары, как пингвины, как рогатый скот, как дрессированные котики, как терпеливые ослики, как ишаки, как безумные гориллы, как покорные маньяки, грызущие подвешенную наживку, как вальсирующие мыши, как морские свинки, как белки, как кролики, а многие и многие из них могли бы управлять миром и писать великие книги. Когда я думаю о некоторых персах, арабах, которых я знал, когда я думаю об обнаруженных ими качествах, их изяществе, нежности, уме, *их святости,* я плюю на белых завоевателей мира, дегенеративных британцев, свиноголовых немцев, самодовольных французов. Земля — великое живое создание, планета, насыщенная людьми, живая планета, говорящая сама за себя, пусть запинаясь и заикаясь — это не дом белой расы или дом черной расы или дом желтой или потерянной голубой расы, но это дом чело-

46

века, а все люди равны перед Господом и у всех свой шанс, если не сегодня, то через миллион лет. Коричневые братишки с Филиппин расцветут в один прекрасный день, а истребленные индейцы Северной и Южной Америки в один прекрасный день оживут, чтобы вновь скакать по равнинам, где теперь стоят города, извергающие огонь и мор. За кем же последнее слово? За человеком/ Земля принадлежит ему, поскольку он и есть земля, ее огонь, ее вода, ее воздух, ее минеральная и растительная суть, ее дух, который космичен, непреходящ, который есть душа всех планет, который сам себя изменяет посредством бесконечных знаков и символов, посредством бесчисленных проявлений. Жди, говно из космококковой телеграфной компании, дьявол с верхов, ожидающий, когда починят водопровод, жди, грязный белый конкистадор, запятнавший землю раздвоенными копытами, орудиями, оружием, болезнетворными микробами, ждите все, кто сытно устроился и пересчитывает накопленное, это еще не конец. Последний человек еще скажет свое слово, прежде чем наступит конец. Справедливость должна восторжествовать и для последней живой амебы — *и она восторжествует!* И никто ничего не заберет с собой, даже ублюдки из космококковой компании Северной Америки.

Когда пришло время отпуска, а я не пользовался им в течение трех лет, ведь я так старался на благо компании — я взял три недели вместо двух и написал книгу о двенадцати маленьких людях. Я писал не покладая рук: по пять, семь, иногда восемь тысяч слов в день. Я считал, что человек, решивший сделаться писателем, обязан выдавать по крайней мере пять тысяч слов в день. Я полагал, что он должен сказать обо всем сразу, в одной книге, а потом умереть. Я ничего не знал о писательском ремесле. Иногда я впадал в панику, но был полон решимости вытравить из сознания американцев Горацио Алжера. Думаю, получилась самая неудачная из когда-либо написанных книг. То был колоссальный том, фальшивый от начала и до конца. Но это — моя первая книга, и я был влюблен в нее. Будь у меня деньги, как у Андре Жида, я опубликовал бы ее за свой счет. Будь у меня мужество Уолта Уитмена, я бы сам разносил ее по квартирам. Каждый, кому я показал ее, заявил, что книга ужасная. И мне пришлось отказаться от мыслей о писательстве. Мне пришлось узнать, что прежде чем ты поставишь свою подпись, надо исписать тома, как это делал Бальзак. Мне пришлось узнать, а вскоре испытать на себе, что надо бросить все, ничем больше не заниматься, а только писать, что ты должен писать, писать и писать, даже если все вокруг против этого, даже если ни-

47

кто в тебя не верит. Может быть, и пишут-то оттого, что никто не верит. Может быть, настоящий секрет и кроется в том, чтобы заставить людей поверить. То, что книга получилась неумелая, фальшивая, плохая, *ужасная,* как мне сказали, — было вполне естественно. Я сразу взялся за такое дело, за которое и гений решился бы взяться только в конце своей жизни. Я же мечтал сказать последнее слово в начале. Это было бессмысленно и исполнено ложного пафоса. Это было сокрушительное поражение, но оно влило железо в мой хребет и серу в кровь. По крайней мере, я понял, что обречено провалу. Я понял, что надо делать, чтобы добиться чего-то великого. Сегодня, размышляя об обстоятельствах, в которых писалась та книга, размышляя о необъятном материале, который я пытался втиснуть в узкие рамки формы, размышляя о том, что пытался охватить, я готов похлопать себя по плечу и выставить себе круглое «отлично». Я горд тем, что предпринял обреченную на неуспех попытку: если бы у меня все получилось, я стал бы монстром. Иногда, листая старые записи, только при одном

взгляде на имена тех, о ком я мыслил написать, я испытываю головокружение. Каждый персонаж являлся мне вместе со своим миром, он приходил ко мне и разгружался на моем рабочем столе, рассчитывая, что я подхвачу этот груз на свои плечи. У меня не было времени построить собственный мир: я должен был стоять недвижим, как Атлас, водрузив ноги на спину слона, а слона — на спину черепахи. Но одна мысль свела бы меня с ума: а на чем покоится черепаха?

Тогда я ни о чем не смел думать, кроме «фактов». Чтобы проникнуть вглубь фактов, надо быть художником, но никто не становится художником за одну ночь. Сначала надо потерпеть крушение, когда аннигилируют все ваши противоречивые представления. Вам надлежит самоустраниться как человеческому существу с тем, чтобы возродиться индивидуальности. Вам надлежит превратиться в каменный уголь и минералы с тем, чтобы работать впредь, исходя из окончательного общего знаменателя собственного «я». Вам надлежит презреть жалость с тем, чтобы смотреть в самый корень естества. Новое небо и новую землю* не создать одними -только «фактами». Да и нет «фактов» — есть единственный *факт:* каждый человек на земле идет к предначертанному своей дорогой. У кого-то она длинная, у кого-то — короткая. Каждый испивает свою судьбу по-своему, и ничто ему не поможет, если он не добр, не щедр, не терпим. Тогда многие вещи, понятные теперь, казались мне, с моим энтузиазмом, необъяснимыми. Я думаю, например, о Карнахане, одном из тех две-

48

надцати маленьких людей, выбранных мною для книги. Он служил, что называется, образцом курьера. Закончил известный университет, обладал недюжинным умом и замечательным характером. Он работал по восемнадцать, по двадцать часов в сутки и зарабатывал гораздо больше любого другого курьера. Его клиенты писали о нем в письмах, превознося до небес; ему предлагали повышение, но он отказывался под тем или иным предлогом. Жил он очень скромно, оставляя большую часть жалованья жене и детям, которые жили в другом городе. У него было два порока:

любил выпить и поиграть на бирже. Он мог не пить целый год, но, выпив глоток, срывался. Ему дважды везло на Уолл-Стрите и все же перед тем как прийти ко мне за работой он не достиг ничего большего, чем положение пономаря в каком-то захудалом городишке. И уволили его с этой работы, потому что он выпил вино, приготовленное для причастия, и потом всю ночь звонил в колокола. Он был честный, серьезный, искренний. Я поверил ему, и он оправдал доверие последующей безупречной службой. Тем не менее, он хладнокровно застрелил жену и детей, а потом застрелился сам. К счастью, никто из них не умер. Они все вместе лежали в госпитале и все выздоровели. Я заходил навестить его жену после того, как он был препровожден в тюрьму. Я предлагал ей помощь. Она категорически отказалась. Она сказала, что ее муж — ничтожнейший, подлейший сукин сын из всех двуногих и что она мечтает увидеть **его** на виселице. Я увещевал ее два дня, но она осталась непреклонной. Я побывал в тюрьме и говорил с ним через металлическую сетку. Я'обнаружил, что он успел завоевать авторитет и особые тюремные привилегии. Он вовсе не казался подавленным. Напротив, он строил планы, как использовать время заточения, чтобы научиться ремеслу комиссионера. После освобождения он собирался стать лучшим комиссионером в Америке. Можно сказать, что выглядел он счастливым. Просил не беспокоиться, с ним-де все будет в порядке. Сказал, что все очень предупредительны по отношению к нему и что ему не на что жаловаться. Я уходил от него в некоторой растерянности. Я отправился на ближайший пляж, решил выкупаться. Все мне представилось в новом свете. Я чуть не забыл вернуться домой, так был поглощен размышлениями об этом парне. Кто может утверждать, что все, случившееся с ним, не произошло к лучшему? Возможно, он выйдет из тюрьмы вполне оперившимся миссионером, а не комиссионером. Никто не может предсказать, кем он станет. И никто не может помочь ему, потому что он творит свою судьбу на свой собственный лад.

49

Был еще один парень, индус по имени Гуптал. Он не только являл образец хорошего поведения — он был святой. Он питал страсть к флейте, на которой наигрывал всегда один в своей бедной каморке. Однажды его нашли обнаженным, с перерезанной от уха до уха глоткой, а рядом на кровати лежала флейта. На похоронах собрались несколько женщин, которые рыдали, и среди них жена дворника, зарезавшего его. Я мог бы написать о нем целую книгу— об этом юноше, самом порядочном и благонравном человеке из всех, кого я когда-либо знал, никого никогда не задевшем, ничего ни от кого не требовавшем, совершившем свою главную ошибку, приехав в Америку, где он намеревался сеять мир и любовь.

Был еще Дейв Олински, еще один верный, умелый курьер, ни о чем, кроме работы не помышлявший. У него была фатальная слабость — он чересчур много болтал. Поступив ко мне, он уже несколько раз объездил земной шар, а уж чем только не зарабатывал на

жизнь — нечего и говорить. Он знал около двенадцати языков и гордился способностью к ним. Он принадлежал к тем людям, для которых сама их готовность и энтузиазм — их погибель. Он каждому хотел помочь найти путь к успеху. Он хотел работать больше, чем мы могли ему дать — такой был ненасытный. Может быть, зря я его не предостерег, посылая в наш филиал на Ист-Саиде, что это, мол, опасное место, но он выказывал себя столь многознающим и так настаивал на работе в этом районе — из-за своих способностей к языкам — что я ничего не сказал. Я подумал про себя: очень скоро ты сам во всем разберешься. И, разумеется, ему не пришлось долго ждать беды. Бандит, молодой еврей из той округи, пришел и попросил бланк для телеграммы. Дейв, наш курьер, дежурил за стойкой. Ему не приглянулось, как этот человек просил бланк. Он посоветовал ему быть немного вежливей. За это он получил оплеуху. Это лишь подхлестнуло красноречие Дейва, после чего последовал такой удар, что его зубы влетели в глотку, а челюсть оказалась сломанной в трех местах. Но и это не послужило достаточным уроком, и он не заткнулся. Как последнее дурачье, каким он, впрочем, и был, он идет в полицейский участок и оформляет жалобу. А через неделю, когда он сидел на стуле и дремал, в помещение ворвалась банда хулиганья и изметелила его в месиво. Голову расплющили так, что мозги напоминали омлет. Этого мало — они опустошили и опрокинули сейф. Дейв скончался по дороге в госпиталь. .В самом кончике его носка нашли пятьсот долларов... Потом были Клаузен и его жена Лена. Они зашли вместе, хотя работу искал только он. Лена дер-

50

жала на руках грудного младенца, а он вел еще двоих ребятишек за руку. Ко мне их направило агентство для безработных. Я принял его в качестве ночного курьера, поэтому ему полагалось фиксированное жалованье. Через несколько дней я получил от него слегка сумасшедшую записку, в которой он просил извинить его прогул, ибо он должен был отметиться у офицера, надзирающего за его досрочным освобождением. Затем последовала еще записка, в которой он писал, что его жена отказывается с ним спать, так как не хочет больше детей, и не мог бы я зайти к ним и уговорить ее спать с ним. Я пошел к нему домой — в клетушку в итальянском квартале. Она напоминала психушку. Лена вновь была беременна, месяце на седьмом, не меньше, и на грани помешательства. Она 'предпочитала спать на крыше, потому что в комнате было очень жарко, а еще потому, что она не хотела, чтобы он к ней прикасался. Когда я сказал, что теперь это уже не имеет значения, она посмотрела на меня и криво усмехнулась. Клаузен воевал, и, может быть, газ сделал его слегка бестолковым: во всяком случае, он казался бесноватым. Он заявил, что вышибет ей мозги, если она не слезет с этой крыши. Он предполагал, будто она спит на крыше для того, чтобы сношаться с угольщиком, который жил на мансарде. Тут Лена вновь улыбнулась безрадостной жабьей улыбкой. Клаузен вышел из себя и двинул ей ногой в зад. Она поспешно убежала, прихватив своих выродков. Он велел ей не возвращаться. Потом открыл комод и вытащил здоровый кольт. Держу его на случай всякой надобности, объяснил он. Еще он показал мне несколько ножей и дубинку, изготовленную собственноручно. Потом заплакал. Он сказал, что жена делает из него дурака. Он сказал, что ему противно работать на нее, ведь она спит с кем попало в округе. И дети не его, поскольку он уже не способен сделать ребенка, даже если бы захотел. И на следующий день, когда Лена ушла за покупками, он взял детей на ту самую крышу и дубинкой, которую накануне показывал мне, размозжил им головы. А потом бросился с крыши сам — вниз головой. Когда Лена вернулась и увидела, что случилось, она спятила. Ее пришлось связать и вызвать больничный экипаж... Еще был Шульдиг, крыса, двадцать лет отсидевшая в тюрьме за преступление, которое он не совершал. Его били до полусмерти, пока он не признал себя виновным; потом одиночное заключение, голодовка, пытки, опущение, наркомания. Когда его освободили, в нем уже ничего не осталось от человека. Он описал мне одну из ночей последнего месяца заключения, агонию ожидания свободы. Я никогда не слышал ничего подобного, никогда не думал,

51

что человеческое существо может пережить такое страдание. На свободе его одолевал навязчивый страх перед тем, что его вынудят совершить повторное преступление, и он опять окажется в тюрьме. Он жаловался на преследование, слежку. Ему казалось, будто за ним ходят по пятам. Он говорил, что «они» склоняют его совершить то, чего ему совершенно не хочется. «Они» — это те парни, которые висят у него на хвосте, которых наняли, чтобы вновь упечь его. По ночам, когда он спал, они нашептывали ему на ухо. Он был беззащитен перед ними, поскольку сначала они гипнотизировали его. Иногда они клали ему под подушку наркотики, а вместе с наркотиками — револьвер или нож. Они рассчитывали, что он прикончит некую безвинную душу, и тогда против него будут неопровержимые улики. Ему становилось все хуже и хуже. Однажды вечером, когда он долго ходил кругами с пачкой телеграмм в кармане, он подошел к полицейскому и

попросил, чтобы его задержали. Он не смог вспомнить ни своего имени, ни адреса, ни даже названия фирмы, на которую работал. Он совершенно утратил память. Единственное, что он твердил: «Я невиновен... Я невиновен». И снова ему устроили допрос с применением пыток. Неожиданно он вскочил и заорал как сумасшедший: «Я признаю!.. Я признаю...» — и с этими словами начал признаваться в одном преступлении за другим. Это продолжалось в течение трех часов. Неожиданно, в самом разгаре душераздирающего признания, он остановился, быстро осмотрелся по сторонам как человек, вдруг пришедший в себя, и затем, с быстротой и силой, которые способен накопить лишь безумец, сделал чудовищный рывок через камеру и раскроил себе череп о каменную стену... Я изложил эти случаи кратко и торопливо: так, как они промелькнули в моей памяти, а память моя спрессована из тысяч таких подробностей, из мириад лиц, жестов, историй, признаний, переплетенных и связанных, словно изображения, развернутые на потрясающих фасадах индуистских храмов, но не высеченных из камня, а созданных из человеческой плоти: чудовищное порождение сна, построенное целиком и полностью из реальности, но уже не реальность, а просто сосуд, в котором заключена тайна людского бытия. Мой разум возвращается к той клинике, куда по неведению и по доброй воле я водил некоторых несмышленышей на излечение. Чтобы выразить атмосферу того места, мне не приходит в голову ничего лучше полотна Иеронима Босха*, на котором изображен чародей, на .манер дантиста удаляющий живой нерв как источник безумства. Все шарлатанство и вся несостоятельность наших ученых лекарей

52

достигли апогея в личности того учтивого садиста, который заведовал этой клиникой с полного согласия и при попустительстве закона. Он был вылитая копия Калигари*, только что без бумажного колпака. Претендуя на понимание секретной деятельности желез, наделенный властью средневекового монарха, плюющий на боль, причиняемую им, равнодушный ко всему, кроме своих медицинских познаний, он приступал к работе на человеческом организме так, как водопроводчик подходит к подземным трубам. Вдобавок к тем ядам, которые он вводил в организм пациента, он еще прибегал при случае к помощи кулаков и коленей. Все оправдывало «реакцию». Если жертва была без сознания, он орал, лупил ее по морде, дергал за руки, шлепал, пинал. Если же, напротив, жертва проявляла чересчур большую энергичность, он использовал те же самые методы, но с удвоенной силой. Ощущения пациента не имели никакого значения для него; какой бы реакции он ни достигал в результате — все служило лишь подтверждением и проявлением законов, управляющих деятельностью желез внутренней секреции. Цель его лечения заключалась в приспособлении субъекта к обществу. Как бы он быстро ни работал, был он успешен или нет — общество, оказывается, поставляло всё больше неприспособленных. Некоторые так мало были приспособлены, что когда он яростно лупил их по щекам, чтобы вызвать должную реакцию, они отвечали апперкотом или пинком в яйца. Верно: большинство его подопечных были точно такими, как он описывал — потенциальными преступниками. Целый континент шел по скользкой дорожке — да и сейчас идет — и не только железы нуждались в регуляции, но и суставы, и костяк, и скелетное строение, и головной мозг, и мозжечок, и копчик, и гортань, и поджелудочная железа, и печень, и верхний кишечник, и нижний кишечник, и сердце, и почки, и яички, и матка, и фаллопиевы трубы, и вся Богом проклятая система. Вся страна — это беззаконие, жестокость, взрыв, дьявольщина. Это — в воздухе, в климате, в ультраграндиозном ландшафте, в каменных лесах, лежащих горизонтально, в быстрых обильных реках, пробивающих каменные каньоны, в сверхбольших расстояниях, в невыносимых засушливых пустынях, в буйных урожаях, в чудовищных плодах, в смеси донкихотских кровей, в дребедени культов, сект, верований, в противостоянии законов и языков, в противоречивости темпераментов, установлений, потребностей и запросов. Наш континент полон потаенной жестокости, костей, допотопных чудищ и потерянных человеческих имен, тайн, окутанных смертью. Атмосфера становится временами столь наэлектризованной, что душа ос-

53

тавляет тело и сходит с ума. Подобно дождю, все собирается в бадьях — или вовсе не собирается; весь континент— это огромный вулкан, кратер которого временно скрыт движущейся панорамой, которая частью мечта, частью страх, частью отчаяние. От Аляски и до Юкатана — одна и та же история. Природа берет свое. Природа побеждает. Всюду одна и та же глобальная потребность убивать, разорять, грабить. Внешне они кажутся замечательными, воспитанными людьми: здоровыми, оптимистичными, мужественными. А внутри изъедены червями. Крохотная искра — и они взорвутся.

Часто бывает, как в России, что человек, очнувшись, уже предвкушает ссору. Он и просыпается так, словно разбужен муссоном. В девяти из десяти случаев он — добрый парень, которого все любят. Но когда он входит в раж— его уже не остановить. Он подобен коню, пораженному колером, и самое лучшее, что вы можете для него сделать

— это пристрелить на месте. Так всегда бывает с мирными людьми. Однажды они сходят с ума. В Америке они пребывают в состоянии безумия постоянно. Их энергии, их жажде крови нужен выход. Европа регулярно подвергалась войнам. Америка исповедует пацифизм и каннибализм. Внешне она напоминает прекрасные медовые соты, по которым ползают трутни в неистовстве труда; изнутри она — бойня, где каждый норовит убить соседа и высосать мозг из его костей. Поверхностный наблюдатель увидит самоуверенный мужественный мир; на самом деле Америка — бордель, населенный женщинами, чьи сыновья — сводники, торгующие плотью матерей. Никто не знает, что такое быть довольным собой, дать себе передышку. Это бывает только в фильмах, где все — фальшивка, даже пламя ада. Весь континент погружен в глубокий сон, порождающий кошмары.

И никто не может спать крепче меня в этом кошмаре. Война пришла и ушла, лишь слабым рокотом отозвавшись в моих ушах. Подобно моим соотечественникам, я тоже пацифист и каннибал. Миллионы погибших в этой резне растворились, как облако, ушли, как ацтеки, как инки, как бизоны. Народ изображал глубокое горе, но ничего подобного, люди лишь встрепенулись во сне. Никто не потерял аппетит, никто не встал и не забил в колокол. Я и понял-то впервые, что была война, только через полгода после прекращения военных действий. Это случилось в городском трамвае на Четырнадцатой улице. Один из наших героев, простофиля из Техаса с гирляндой медалей поперек груди, вдруг заметил офицера, шедшего по тротуару. Вид офицера взбесил его. Сам он был сержантом и,

54

вероятно, имел причину для гнева. Как бы то ни было, вид офицера взбесил его настолько, что он вскочил с сиденья и принялся поливать дерьмом наше правительство, армию, гражданских, пассажиров того трамвая, всех и вся. Он заявил, что, случись еще одна война, его туда не затащат никакой силой. Он заявил, что сперва хочет посмотреть, как будет убит всякий сукин сын, а уж потом пойдет воевать; он заявил, что срать не хочет на медали, которыми его разукрасили и, чтобы доказать это, он сорвал их и выкинул в окошко; он заявил, что если когда-нибудь окажется с каким-нибудь офицером в одном окопе — пристрелит его, словно бешеную собаку, в затылок, и это также относится к генералу Першингу и к любому другому генералу. Он еще много чего сказал, употребляя замысловатые ругательства, которых набрался *там,* и никто не раскрыл варежки, чтобы возразить ему. И когда он нес и нес, я впервые почувствовал, что где-то *там* действительно шла война, и что человек, которого я слышу, побывал там, и, несмотря на его браваду, война превратила его в труса, и когда ему придется убивать, он сделает это хладнокровно и сознательно, и ни у кого не достанет решимости отправить его на электрический стул, ибо он исполнил свой долг, заключавшийся в отрицании собственных священных инстинктов, и поэтому все было справедливо — ведь одно преступление искупляется другим во имя Бога, отечества и человечества, да будет со всеми вами мир. А во второй раз я ощутил реальность войны, когда бывший сержант Гризуолд, один из наших ночных курьеров, однажды свихнулся и разнес вдребезги павильон на станции железной дороги. Его направили ко мне за расчетом, а у меня не хватило теплоты, чтобы воодушевить его. Он выказал такую замечательную тягу к разрушению, что мне хотелось не только обнять его, я надеялся, что он поднимется на двадцать пятый этаж или где там были кабинеты президента и вице-президента, и разделается с этой ненавистной сворой. Однако во имя поддержания проклятого фарса дисциплины, мне надо было как-то наказать его, иначе накажут меня, и, затрудняясь выбрать наименьшее из наказаний, я остановился на том, что снял его со сдельщины и опять перевел на твердое жалованье. Он воспринял это враждебно, не распознав моей к нему симпатии, и вскоре я получил от него записку, в которой он предупредил меня о своем скором визите и просил быть готовым к тому, что он спустит с меня шкуру. Он писал, что зайдет после работы, и ежели я боюсь его, мне лучше заручиться близким присутствием нескольких здоровых парней. Я понял значение каждого его слова и, конечно, струхнул. Я ждал его

55

один, чувствуя, что просить защиты — значит проявить еще большую трусость. Это был странный эксперимент. Должно быть, при одном взгляде на меня он понял, что я — сукин сын и лживый вонючий лицемер, как он назвал меня в записке. А я стал таким лишь потому, что и он был немногим лучше. Наверное, до него дошло, что мы сидим в одной лодке, причем паршивая лодка дала большую течь. Я разглядел это, как только он явился: внешне еще как бы вне себя, но внутренне уже успокоившийся, помягчавший и легкий. Сам же я избавился от своих страхов, чуть увидел, как он входит. И то, что я был совсем один и спокоен, и не так силен, и не очень-то в силах защитить себя, дало мне известное преимущество. Не то чтобы я хотел иметь это преимущество. Но так обернулось, и я, естественно, извлек из этого выгоду. Как только он сел, — сразу стал

податливым, словно замазка. Он уже был не мужик, а просто большое дитя. Наверное, таких, как он, там было миллионы — взрослых детей с автоматами, готовых уничтожить полчища, не моргнув глазом. Очутившись на трудовом фронте, без оружия, за неимением хорошо различимого врага, они оказались беспомощны, как муравьи. Все завертелось вокруг вопроса о пропитании. Еда и плата за квартиру :— это стало единственным, за что надо бороться, но не было способа, хорошо различимого способа борьбы за это. Как будто армия, по всем статьям сильная и хорошо оснащенная, способная дать бой, собранная, и все же получившая приказ отступать, каждый день отступать, отступать и отступать, ибо такова стратегическая линия, хоть из-за этого теряешь позиции, теряешь пушки, теряешь боеприпасы, теряешь провиант, теряешь сон, теряешь мужество, в конце концов теряешь саму жизнь. И там, где шла борьба за еду и плату за квартиру, продолжалось отступление, в тумане, в ночи, и не по какой-то разумной причине, а потому что такова стратегическая линия. Для него это означало — молчаливо страдать. Воевать было легко, но борьба за еду и плату за квартиру напоминала войну с армией привидений. Ты мог лишь отступать, и во время отступления наблюдать, как один за другим гибнут твои братья, молчаливо, таинственно, в тумане, в темноте, и ничем тут нельзя помочь. Он был так чертовски растерян, ошеломлен, так безнадежно запутан и побит, что уткнул голову в ладони и расплакался на моем рабочем столе. И пока он оплакивал свою жизнь, внезапно зазвенел телефон, звонили из офиса вице-президента— никогда сам вице-президент, но всегда из его *офиса* — и требовали, чтобы я рассчитал этого человека, Гризуолда, немедленно, а я ответил: «Да, сэр!» и дал отбой. Я ничего не сказал

56

Гризуолду о звонке, а пошел вместе с ним домой и обедал с ним, с его женой и детьми. И, покидая его, я дал себе обещание, что если мне придется уволить этого парня, кто-то заплатит за это, но прежде надо было узнать, от кого исходит распоряжение об увольнении. Возбужденный и угрюмый, на следующее утро я поднялся прямо в кабинет вице-президента с тем, чтобы увидеть его лично и спросить: кто отдал распоряжение, и почему? И, прежде) чем тот успеет от всего откреститься или подыскать причину, я выложу ему все прямо, сплеча и в самое больное место, а если вам это не нравится, мистер Билл Твилдиллингер*, вы можете и у меня отнять работу, и у него — и запихнуть себе в жопу — вот в таком духе я и понес на него. А потом вернулся на свою бойню и продолжал работу как обычно. Я ожидал, конечно, что меня выставят, прежде чем закончится рабочий день. Ничего подобного. Нет, к моему удивлению, мне позвонил главный управляющий и посоветовал относиться ко всему проще, не брать в голову, немного успокоиться, да, не волноваться, не торопиться, мы пересмотрим это дело и т. д. Я думаю, они до сих пор пересматривают его — ведь Гризуолд работает, как обычно, они даже повысили его, назначив клерком, что тоже было грязной работенкой, ибо клерку платили меньше, чем курьеру, но это удовлетворило самолюбие Гризуолда и, без сомнения, поубавило его пыл. Вот что бывает с парнем, который только в снах герой. Если кошмар так страшен, что вы просыпаетесь — вы сразу попадаете в отступление, которое завершается либо скамьей подсудимых, либо местом вице-президента. А это одно и то же, чертова похлебка, фарс, фиаско от начала до конца. Я знаю, я там был, поскольку однажды проснулся. А проснувшись — вышел из игры. Я вышел в ту же дверь, что и вошел — без вашего дозволения, сэр!

Что-то происходило непрерывно, но это слишком долгий процесс, чтобы с первого раза обо всем вспомнить. Вы успевали заметить прежде всего взрыв, ну и, может быть, искру, предшествовавшую взрыву. Но все происходит по своим законам — в полном согласии и соответствии со всем космосом. И прежде чем взрывать, бомбу надо основательно подготовить и оснастить подходящим запалом. А после того, как ублюдки взлетят, меня непременно сбросят с моего высокого коня, будут перекидывать, как футбольный мяч, отдавят ноги, расплющат, унизят, скуют, превратят в бессильную медузу. Я всю жизнь не искал друзей, но в тот особый период моей жизни они, казалось, сами

* Намеренное искажение фамилии (лршчеч. перед.).

57

вырастали вокруг меня, как грибы. Я ни минуты не был сам с собой. Если я приходил домой поздно вечером в надежде отдохнуть, кто-то еще дожидался меня. Иногда целая банда сидела в моей квартире, и им, казалось, не было дела, приду я или нет. Каждая группа друзей, которых я завел, презирала другую группу. Стэнли, к примеру, презирал всех остальных. Ульрик тоже был довольно-таки ядовит. Он только что вернулся из Европы после многолетнего отсутствия. Мы не виделись с детства, а тут однажды совершенно случайно повстречались на улице. Этот день оказался важным днем моей жизни, ведь он открыл мне новый мир, мир, о котором я часто мечтал и который не надеялся увидеть. Я отчетливо помню, что мы стояли на углу Шестой авеню и 49-й

улицы в сгущавшихся сумерках. Я помню это потому, что казалось крайне нелепым слушать человека, рассказывающего про Этну и Везувий, Капри, Помпеи, Марокко и Париж на углу Шестой авеню и 49-й улицы, на Манхэттене. Я помню, как он осматривался по сторонам во время разговора, словно человек, еще не вполне понявший, для чего он вернулся, но уже смутно чувствовавший, что совершил ужасную ошибку. Казалось, его глаза говорили все время: это не то, это ни на что не годится. Однако он этого не произнес, а рассказывал больше и больше: «Уверен, тебе там понравится! Знаю, Европа словно создана для тебя!» Когда он ушел, я не мог оправиться от удивления. Я не мог прийти в себя от его рассказа. Я хотел слушать еще и еще, все — в мельчайших подробностях. Ничего из того, что я читал раньше о Европе, не соответствовало яркому рассказу из собственных уст моего друга. И это казалось еще удивительнее оттого, что оба мы выросли в одних и тех же условиях. Ему удалось это благодаря богатым друзьям и умению экономить деньги. Я еще ни разу не видел никого по-настоящему богатого, повидавшего свет и имевшего деньги в банке. Все мои друзья были вроде меня, жили одним днем. О'Мара — да, он поездил немного, почти по всему свету — но в качестве бездельника или по армейской службе, что еще хуже безделья. Мой друг Ульрик оказался первым, про кого я мог искренне сказать, что он попутешествовал. И он знал, как рассказать о своих приключениях.

После этой случайной встречи на улице, мы виделись довольно часто в течение нескольких месяцев. Обычно он звонил мне к вечеру, после обеда, и мы бродили по близлежащему парку. Как жадно я внимал! Мельчайшая подробность о другом мире зачаровывала меня. Даже теперь, спустя годы, даже теперь, когда Париж для меня открытая

58

книга, его картины Парижа все еще стоят у меня перед глазами — такие они яркие, такие реальные. Иногда, после дождя, быстро проезжая по городу в такси, я улавливаю мелькающие виды того Парижа, который он описал мне:

моментальные снимки, минуя Тюильри, виды Монмартра, Сакре-Кер*, проезжая по рю Лафит в последнем свете сумерек. *Вот он, бруклинский парень!* Такое выражение он употреблял, когда стеснялся своей неспособности выразиться точнее. И я был простым бруклинским парнем, то бишь самым последним и незначительным из людей. Но когда я ездил, я становился на ты со всем миром и редко встречал кого-нибудь, кто мог бы описать чарующе и верно то, что он видел и чувствовал. Те вечера в Проспект-парке* с моим старинным другом Ульриком более всего повинны в том, что сегодня я здесь. Большинство из тех мест, что он описал мне, я уже увидел собственными глазами; некоторые из них я, может быть, не увижу никогда. Но они живы во мне, теплые и яркие, точно такие, какими он сотворил их во время наших прогулок по парку.

В наши беседы о другом мире было вплетено все тепло и своеобразие работ Лоуренса*. Часто, когда парк уже пустел, мы еще сидели на скамейке и обсуждали природу лоуренсовских идей. Оглядываясь на эти обсуждения, я теперь могу понять, насколько я был запутан, в каком жалком неведении относительно истинного значения слов Лоуренса пребывал. Если бы я действительно разобрался во всем, моя жизнь не пошла бы по такому пути. Большинство людей живет будто в погруженном состоянии. Про себя я могу со всей определенностью сказать, что пока я не покинул Америку — я не поднялся над поверхностью. Может, Америка тут и ни при чем, но факт остается фактом: я не раскрыл глаз широко, полно и ясно, пока не столкнулся с Парижем. И, может быть, это произошло только потому, что я отрекся от Америки, отрекся от своего прошлого.

Мой друг Кронски имел обыкновение подсмеиваться над моей «эйфорией». Таким хитрым способом он напоминал мне, когда я пребывал в необычном веселье, что назавтра он обнаружит меня подавленным. Это было правдой. Мое настроение то взлетало, то падало. Длинные периоды угрюмости и меланхолии сменялись экстравагантными вспышками веселья и экстатическими подъемами. И никак я не становился самим собой. Странно звучит, но я никогда не был самим собой. Я был или анонимом, или лицом по имени Генри Миллер, возведенным в энную степень. В последнем настроении я мог наболтать Хайми целую книгу, едучи в трамвае. Тому самому Хайми, который никогда не подозревал во мне кого-то, кроме исправного

59

менеджера персонала. Я и сейчас как будто вижу его глаза, когда он как-то вечером посмотрел на меня, пребывавшего в «эйфории». Мы подъезжали на трамвае к Бруклинскому мосту*, следуя в некую квартиру в Гринпойнте, где нас поджидала парочка шлюх. Хайми, как было заведено, принялся толковать об яичниках своей жены. Сначала он и не знал, что точно означает слово «яичники», и мне пришлось объяснить ему это грубовато и доходчиво. Во время объяснения мне показалось столь трагичным и забавным то, что Хайми не знает слова «яичники», что я стал как пьяный, будто выпил

целый литр виски, припрятанный за поясом. Мысль о расстроенных яичниках породила некое подобие тропического роста: целые тучи ассоциаций, среди которых цепко сплетенные, тайно спрятанные — были Данте и Шекспир. В тот момент я вдруг вспомнил цепочку мыслей, которая началась на середине Бруклинского моста и оказалась неожиданно оборванной словом «яичники». Я понял, что все, сказанное Хайми до слова «яичники», прошло сквозь меня, не задев. На середине Бруклинского моста во мне возникло то, что возникало раз от разу в прошлом, обычно по пути к лавочке отца: представление, которое, как экстаз, повторялось день ото дня. То, что возникло во мне, можно кратко назвать книгой времен, докучностью и монотонностью жизни, погруженной в страшную деятельность. Не об этой ли книге я размышлял годами, не ее ли писал всякий день на привычном пути от Деланси-стрит к Мюррей-хилл? Но, проезжая по мосту, когда садилось солнце и высвечивало небоскребы, блистающие, словно фосфоресцирующие трупы, я соотносил с прошлым воспоминание о дороге туда и обратно через мост, дороге на работу, которая смерть, и дороге домой, который морг;

вспоминаю Фауста, обозревающего кладбище, плюю на кладбище с высоты вагона, каждое утро на платформе все тот же имбецил-дежурный, другие имбецилы читают газеты, встают новые небоскребы, новые надгробия, внизу проплывают суда, Фолл-Ривер-лайн, Олбани-Дей-лайн, зачем я еду на службу, что я буду делать вечером, горячая пизда у моего носа, смогу ли я приложиться к ее лону, уехать прочь и стать ковбоем, старателем на Аляске, золотодобытчиком, все бросить и оглядеться, не умирать пока, подождать еще денек, удачи, реки, положить конец, вниз, вниз, в штопор, голова и плечи входят в ил, ноги пока свободны, соберется рыба, начнет жрать, завтра новая жизнь, где, да где-нибудь, зачем начинать все снова, всюду одно и то же, смерть, смерть — вот ключ, но пока не умирай, подожди денек, удачи, нового лица, нового друга, миллион возможностей, ты еще слишком молод, ты мелан-

60

холик, ты не должен пока умирать, подожди денек, удачи, того-сего и так далее, по мосту в стеклянный ангар, все слиплись вместе, черви, муравьи, выползающие из мертвого дерева, и их мысли, выползающие тем же путем... Может быть, поднятый ввысь на опорах, вознесенный над уличным движением, над жизнью и смертью, когда по обе стороны высотные надгробия, надгробия, пламенеющие в свете заката, а внизу небрежно течет река, течет как само время, может быть, всякий раз, проезжая там, я подвергался какому-то воздействию, неотвратимо тревожившему меня; так или иначе, всякий раз, когда я ехал по мосту, я чувствовал себя безмерно одиноким и, что бы ни происходило, книга начала складываться сама собой, вбирая события, которые я никогда не переживал, мысли, которые не выстрадал, беседы, которые не вел, надежды, мечты, заблуждения, которым никогда не подвергался. Если все это составляло мою суть — это поразительно, тем более что ничего, казалось, не меняется, а только продолжается с места последней остановки, в том же духе, как на моей первой детской самостоятельной прогулке, когда я наткнулся на дохлую кошку, вмерзшую в поганый лед сточной канавы, когда я впервые взглянул на смерть и принял ее всей душой. С этого момента я познал, что такое полное одиночество: каждый предмет, всякое живое и всякое мертвое существо не зависимы друг от друга. Мои мысли тоже существуют вполне независимо. Внезапно, взглянув на Хайми и вспомнив странное слово «яичники», сейчас самое странное слово моего запаса, я вновь ощутил ледяное одиночество, а Хайми, сидящий рядом, стал огромной жабой, жабой, и ничем больше. А я прыгал с моста вниз головой, вниз, в первородную слизь, ноги чисты и ждут укуса — точно Сатана слетел с небес* и вниз головой нырнул в твердую внутренность земли, чтобы достичь самого ее пупа, темнейшей, плотнейшей и самой горячей точки ада. Я шел по пустыне Мохаве* и тот, кто шел рядом, ждал наступления ночи, чтобы наброситься и истребить меня. Я опять шел по Стране Мечты, а он — надо мной по натянутой проволоке, а над ним сидел в аэроплане человек, выписывающий в небе письмена из дыма. Женщина, повисшая на моей руке, была беременна, через шесть или семь лет существо, которое она носила в себе, сумеет прочитать небесные письмена, и он, или она, или оно, узнает, что это была сигарета и позже начнет курить, возможно, по пачке в день. В чреве на каждом пальце вырастает по ногтю, на руках и ногах, и на этом можно застрять, на ноготке пальца ноги, самом крошечном ноготке, который можно себе вообразить, и можно сломать голову, пытаясь

61

это постичь. На одном конце перекладины — книги, написанные человеком, заключающие в себе такую дребедень мудрости и чепухи, истины и лжи, что, проживи хоть столько, сколько жил Мафусаил*, — не расхлебать похлебки; на другом конце перекладины — такие вещи, как ногти на ногах, волосы, зубы, кровь, яичники, если хотите, неисчислимые, написанные иными чернилами, иным почерком, непонятным, неразборчивым почерком. Глаза гигантской жабы уставились на меня, словно две пуговицы, застывшие в холодном жиру; они застыли в холодном поту первородной

слизи. Каждая пуговица — это отклеившийся яичник, иллюстрация из словаря, лишенного тщательной литературной отделанности; отсутствие блеска в застывшем желтом жиру глазного яблока, и каждый яичник — пуговица вырабатывает подземный холод, конькобежный круг ада, на котором люди стоят вверх тормашками на льду, ноги свободны и ждут укуса. Здесь ходил Данте, никем не сопровождаемый, угнетенный собственным видением, и через бесконечные крути постепенно продвигался к небесам, к интронизации трудом своим. Здесь Шекспир, приятный с виду, погрузился в бездонную измышленность страстей, чтобы появиться в виде элегантных кварто* и косвенных намеков. Тусклый налет непонимания начисто смывается шквалом смеха. Из пупа жабьего глаза выходят чистые белые лучи ясности, не требующей классификации, аннотации, нумерации и определения, но слепо кружащейся в калейдоскопической смене. Хайми-жаба был овариальной картофелиной, рожденной на высоком пролете между двух опор: для него строили небоскребы, корчевали леса, вырезали индейцев, истребляли бизонов, для него города-близнецы соединяли Бруклинским мостом, опускали на дно кессоны, тянули от города к городу кабели, для него люди переворачивались вверх тормашками в небе и выписывали огнем и дымом письмена, для него изобретали анестезию, а еще — хирургические щипцы и Большую Берту*, способную разрушить то, чего не видно глазу, для него расщепили молекулу и освободили атом из вещества, для него каждую ночь в телескопы рассматривали звезды и фотографировали другие миры медленно, словно вынашивали дитя, для него границы времени и пространства превратили в ничто, и всякое движение, будь то полет птиц или обращение планет, неопровержимо истолковали верховные жрецы сокровенного космоса. Тогда, на середине моста, на середине пути, всегда на середине: книги ли, беседы, любовного акта — до меня дошло вновь, что я никогда не делал того, что хотелось, и поэтому во мне возникло существо, которое было ничем иным, как навязчивой по-

62

рослью, заполнявшей меня, как растущий коралл, и вытесняющей все, включая саму жизнь, которая стала такой нежеланной, но все же поддерживала саму себя — одновременное рождение и уничтожение жизни. Я мог видеть, как жизнь продолжается и после смерти, как на трупе растут волосы, люди говорят: «умер» — а волосы все еще свидетельствуют о жизни, и наконец нет смерти, а есть только эта жизнь волос и ногтей, тело распадается, дух исчезает, но и в самой смерти есть что-то живое, что отчуждает пространство, устанавливает время, творит бесконечное движение. Смерть бывает из-за любви, или горя, или из-за врожденного уродства; причина — ничто, следствие — все. *В начале было Слово**... Что бы оно ни означало, *Слово:* уничтожение или творение, — оно безудержно распространяется, будет распространяться впредь, опережая пространство и время, переживая ангелов, свергая Бога, переворачивая вселенную. Любое слово заключает в себе все слова — для того, кто стал отчужден из-за любви, или горя, или по какой-то другой причине. С каждым словом все возвращается к началу, которое утеряно и никогда не будет найдено, ибо не было ни начала, ни конца, а только то, что выразило себя как начало и конец. Так, на овариальном трамвае произошло это путешествие человека и жабы, составленных из одного вещества, не лучше и не хуже, чем Данте, но совершенно другого, один не знает точно значение чего бы то ни было, другой знает слишком точно значение всего, следовательно, оба потерялись и запутались в началах и концах, чтобы в конце концов выпасть в осадок на Яванской или Индийской улице в Грин-пойнте и быть подхваченным потоком так называемой жизни при помощи пары набитых трухой шлюх с подрагивающими яичниками, из широко известного класса брюхоногих.

Некоторое время меня в качестве наиболее удивительного доказательства моей пригодности, или никчемности, потрясал тот факт, что я совсем не интересовался тем, что пишут или говорят люди. Только один предмет преследовал меня, совершенно обособленный, отдельный, незначительный *предмет.* Он мог быть частью человеческого тела или лестницей в опереточном Домике; он мог быть дымовой трубой или пуговицей, подобранной в сточной канаве. Чем бы он ни был — он открывал новые горизонты, позволял пойти на уступки, поставить свою подпись. А подписаться под жизнью вокруг меня вместе с людьми, создавшими этот мир, я не мог. Я не принадлежал их миру столь же определенно, как людоед стоит вне границ цивилизованного общества. Я был переполнен извращенной любовью к

63

предмету в себе — не в философском смысле, но в чувственном, отчаянно чувственном голоде, как будто в этом нестоящем, бросовом *предмете,* которым все пренебрегли, заключался секрет моего возрождения.

Живя в мире, где все изобиловало новизной, я привязался к старине. В каждой вещи имелась незначительная деталь, которая особенно приковывала мое внимание. У меня был глаз-микроскоп, нацеленный на пороки, на крупицы уродливого, единственно

составлявшие для меня прелесть вещи. То, что ставило вещь вне закона, что делало ее непригодной, порочило ее — то притягивало меня и внушало к ней любовь. Если это извращение, то извращение здоровое, учитывая мою непринадлежность к миру, произраставшему вокруг меня. И скоро я сам стал бы похож на вещи, которые обожал: предметом вне закона, бесполезным членом общества. Я безнадежно устарел, это ясно. И все же я сохранял способность удивляться, внушать, питать. Но меня не принимали просто и безыскусно. Желая, ощущая позыв, я был способен выбрать любого человека, из любого слоя общества, и заставить его меня выслушать. Я мог держать его в напряжении, если хотел, но, как маг, как чародей, лишь до тех пор, пока владел чарами. В конце концов я вызывал к себе недоверие, подозрение, ненависть, которая, поскольку была инстинктивной, оказывалась непреодолимой. Мне бы сделаться клоуном, тогда не стало бы границ для самовыражения. Но я недооценил эту профессию. Стань я клоуном, или даже эстрадным артистом, я бы достиг известности. Люди отдали бы мне должное как раз по той причине, по которой не понимали меня. Но они бы поняли, что меня и не надо стараться понять. И это стало бы облегчением, если не сказать больше.

Меня всегда поражало, как легко раздражаются люди, просто слушая меня. Может быть, моя речь была несколько экстравагантна, хотя часто раздражались и когда я изо всех сил себя сдерживал. Поворот фразы, выбор злосчастного прилагательного, легкость, с которой слова срывались с моих губ, упоминание предметов, составляющих табу — все, словно сговорившись, выводило меня за рамки дозволенного, делало врагом общества. И неважно, что все начиналось славно — рано или поздно меня чуяли за милю. Если я был скромен и простоват, то казался чересчур скромным и слишком простым. Если был веселым и искрометным, наглым и беззастенчивым — то был слишком развязен, слишком весел. Я так и не мог поставить себя *au point c* собеседником. И не будь это вопросом жизни и смерти, а для меня тогда все было вопросом жизни и смер-

64

ти, если бы это было просто условием проведения приятного вечера в доме друзей, все осталось бы таким же сложным. Из меня исходила вибрация, обертоны и унтертоны, неприятно наполнявшие атмосферу. Могло случиться так, что целый вечер все внимали моим рассказам, я мог довести всех до изнеможения, как часто бывало, и все, казалось, предвещало только хорошее. Но, как по велению рока, что-то приключалось, прежде чем вечер подходил к концу, высвобождалась некая вибрация, заставлявшая позванивать люстру, а наиболее чувствительные души вспоминали о ночной вазе. Еще не смолкал смех, а уж о себе давала знать злоба. «Надеюсь, скоро увидимся», — говорили мне, но вялые потные руки, протянутые на прощание, кричали о другом.

Персона нон грата! Господи, как ясно это мне теперь! Нет выбора: я должен принять все как есть и научиться это любить. Я должен научиться жить в накипи, плавать, как канализационная крыса, или утонуть. Если вы решили прилепиться к стаду — вы защищены. Чтобы вас приняли и оценили, вам надо обнулить самого себя, стать неотличимым от стада. Можно мечтать, коль ваши мечты такие же, как у всех. Но ежели вы мечтаете по-другому, вы не в Америке, не американец в Америке, а готтентот в Африке, или калмык, или шимпанзе. Как только вы заимеете «инакую» мысль, вы тут же перестаете быть американцем. А как только вы стали кем-то другим, вам лучше поселиться на Аляске или в Исландии. Я говорю со злобой, завистью, враждебностью? Может быть. Может быть, я жалею о том, что не сумел стать американцем. *Может быть.* И с теперешним усердием, которое опять-таки американское, я почти готов дать жизнь монструозному сооружению, небоскребу, который, без сомнения, просуществует еще долго после того, как другие небоскребы исчезнут, но который исчезнет тоже, когда то, что его породило, перестанет существовать. Все американское в один прекрасный день исчезнет почище, чем исчезло греческое, римское и египетское. Это одна из мыслей, лишающих меня покоя, выталкивающих из теплого, мирного потока крови, где мы, бизоны, беззаботно паслись. Эта мысль вызывала во мне безграничную печаль, ведь принадлежность к чему-то вечному становится последней агонией. Но я не бизон, и нет у меня желания быть бизоном, пусть даже *одухотворенным.* бизоном. Я удалился, чтобы присоединиться к стародавнему потоку сознания, к расе, бывшей до бизонов, к расе, которая их переживет.

Все вещи, все одушевленные и неодушевленные предметы, стоящие особняком, испещерены неискоренимыми

65

штрихами. И то, что составляет меня, тоже неискоренимо, потому что *стоит особняком*. Это, как я сказал, небоскреб, но небоскреб, отличный от обыкновенного небоскреба в американском стиле. В моем небоскребе нет лифтов, нет окон на семьдесят третьем этаже, откуда можно выброситься. Если вы устали карабкаться, считайте себя проигравшим. В главном вестибюле нет указателей. Если вы ищете кого-то — вам придется поискать самому. Если вам захотелось пить — придется выйти и попить на

улице, у меня нет автоматов с содовой, нет в этом здании табачных киосков и нет телефонных будок. Во всех остальных небоскребах есть все, что угодно, а в этом нет ничего, кроме того, что нравится мне. И где-то в этом небоскребе обитает Валеска, и мы видимся с ней когда мне этого хочется. Тогда она была в форме, Валеска, шесть футов под килем, а теперь, верно, вся изглодана червями. Когда она еще пребывала во плоти, ее тоже глодали, но черви в обличий людей, не уважавшие ничего, что имеет другой оттенок, другой запах.

Плохо то, что в жилах Валески текла негритянская кровь. Это приводило в уныние всех окружающих. Она, вне зависимости от вашего желания, ставила вас в известность об этом. Негритянская кровь, как я сказал, и еще то, что ее мать была проститутка. Мать, разумеется, белая. Кто был отец — не знал никто, даже сама Валеска.

Все сходило гладко до тех пор, пока коротышка, назойливый еврей из офиса вице-президента не докопался. Он в ужасе, сообщил он мне доверительно, от мысли, что я держу в качестве секретарши цветную. Он сказал, что она способна оказать дурное влияние на курьеров. На следующий день меня вызвали на ковер. Все обставили так, будто я совершил святотатство. Разумеется, я настаивал на том, что не заметил за ней ничего необычного, кроме, разве что, ее необычайной воспитанности и работоспособности. Наконец, сам президент отступился. Между ним и Валеской произошел короткий разговор, в ходе которого он очень дипломатично предложил ей более высокую должность в Гаване. И ни слова о вопросах крови. Просто учли, что ее работа стоит выше всяких похвал, и решили сплавить в Гавану. Валеска вернулась в контору вне себя. Когда она сердилась, она была неотразима. Она заявила, что не двинется с места. Стив Ромеро и Хайми в тот момент оказались на месте, и мы все вместе пошли обедать. Вечером мы немного выпили. У Валески развязался язычок. По пути

66

домой она сказала мне, что не собирается сдаваться; спросила, не доставит ли этим мне неприятности по службе. Я спокойно ответил, что, дескать, если она погорит, я тоже уволюсь. Она, вроде бы, сначала не поверила. Я повторил, добавив, что не слишком обеспокоен случившимся. Она растрогалась до глубины души, взяла меня за руки и держала их в своих руках очень нежно, а по щекам ее струились слезы.

Так все началось. Наверное, на следующий же день я послал ей записку, в которой признался в том, что без ума от нее. Она читала записку, сидя напротив меня, и, пробежав ее, посмотрела мне прямо в глаза и заявила, что не верит. Но мы опять пошли вместе обедать, и выпили больше вчерашнего, мы танцевали, причем во время танца она сладострастно прижималась ко мне. Это было как раз тогда, когда моя жена собиралась на очередной аборт. Я сообщил об этом Валеске во время танца. По пути домой она вдруг сказала: «Давай, я одолжу тебе сто долларов?» На следующий день я привел ее домой обедать и разрешил вручить жене сто долларов. Я удивился, как быстро женщины нашли общий язык. В тот же вечер было решено, что Валеска придет к нам в день операции, чтобы присмотреть за ребенком. Настал тот день, и я отпустил Валеску пораньше. Через час я и сам вдруг решил уйти с работы. И пошел в мюзикл на Четырнадцатой улице. Не доходя квартал до театра, я неожиданно изменил решение. Просто пришло в голову, что если что-то случится, если жена отбросит копыта, я буду казниться тем, что провел это время в театре. Я немного покрутился по торговому ряду и затем направился домой.

Все обернулось странным образом. Стараясь развлечь ребенка, я неожиданно вспомнил трюк, который показывал мне дедушка в детстве. Берешь домино и строишь из него высокие корабли, потом осторожно тянешь скатерть, по которой плывут корабли, пока они не окажутся на самом краю стола, потом делаешь резкий рывок, и все сооружение валится на пол. Мы повторяли это вновь и вновь, втроем, пока девочка не утомилась; тогда мы отправили ее спать. По полу было рассыпано домино, и скатерть тоже валялась на полу. Вдруг Валеска наклонилась над столом, и ее язык проник наполовину глубины моей глотки, а моя нога очутилась между ее ног. Я положил ее на стол, а она соединила ноги у меня за спиной. Под ступней я чувствовал костяшку домино, частичку флота, разгромленного

67

нами не один десяток раз. Я вспомнил дедушку, сидевшего на скамейке, как он сидел и говорил моей матери, что я-де .слишком молод, чтобы так много читать, а глаза смотрели задумчиво, а руки давили на утюг, разглаживая влажный шов; я думал об атаке Сан-Хуан-Хилла*, которую предприняли наши волонтеры, о картине, изображавшей Тедди во главе добровольцев, картина была в книге, которую я обычно читал подле рабочего стола дедушки; я думал о линкоре «Мейн»*, который висел над моей кроватью в маленькой комнате с зарешеченным окном, и об адмирале Дьюи*, и о Шлее*, и о Сампсоне*; я думал о несостоявшейся поездке на военную верфь, потому что по пути

отец вдруг вспомнил, что нам надо зайти к доктору, а когда мы вышли из приемной, я уже не имел ни миндалин, ни веры в человеческие существа... Мы едва кончили, как раздался звонок, и это была жена, вернувшаяся домой с бойни. Я еще застегивал брюки, спеша к входной двери. Жена была белая, как мука. Так всегда: делает вид, что не перенесет очередного аборта. Мы положили ее в постель, а потом собрали домино и накрыли скатертью стол. На следующий вечер в *бистро,* следуя в уборную, я прошел мимо двух приятелей, игравших в домино. Я задержался на секунду и подхватил одну костяшку. Прикосновение к домино напомнило о кораблях, о стуке, с которым оно падало на пол. И вместе с кораблями от меня ушли мои утраченные миндалины и вера в человеческие существа. Поэтому каждый раз, прогуливаясь по Бруклинскому мосту и глядя вниз, на судоверфь, я чувствовал, как во мне переворачиваются кишки. Здесь, наверху, подвешенный между двух опор, я ощущал под собой пустоту; все, испытанное прежде, казалось нереальным, и даже хуже — необязательным, ненужным. Вместо того, чтобы связать меня с жизнью, с людьми, с человеческой деятельностью, мост, казалось, разрывает все связи. И куда идти — к одному берегу, к другому ли — не имело значения: любой из двух путей был путь в ад. Каким-то образом я умудрился обрубить связь с миром, сотворенным человеческими руками и человеческим разумом. Может быть, прав был мой дедушка, может, я в зародыше отравился прочитанными книгами. Но с той поры много воды утекло. Уже давно я практически перестал читать. А червоточина осталась. Теперь для меня люди как книги. Я прочитываю их от корки до корки и после отшвыриваю в сторону. Я поглощаю их одну за другой. И чем больше я читаю, тем ненасытней становлюсь.

68

Этому нет предела. Этому не будет конца, пока внутри меня не возникнет мост, связующий меня с потоком жизни, из которого я был выдернут еще ребенком.

Ужасное ощущение одиночества. Оно висит надо мной годами. Если бы я верил в предначертания звезд, я бы не сомневался, что целиком и полностью нахожусь под влиянием Сатурна*. Все, что случилось со мной —. произошло слишком поздно, чтобы много значить для меня. Так было и с моим рождением. Намеченное на Рождество, оно запоздало на полчаса. Мне кажется, что ядолжен стать одной из тех личностей, которым судьба даровала быть рожденным 25 декабря. Адмирал Дьюи родился в этот день, и Иисус Христос тоже... может, и Кришнамурти*, не знаю. Так или иначе, я должен был принадлежать к когорте этих парней. Но из-за того, что у моей матери оказалась ухватчивая матка, намертво державшая и не отпускавшая меня, я вышел на свет под иным расположением звезд, иначе говоря, при неблагоприятном раскладе. Они говорят, астрологи, я имею в виду, что мне в дальнейшем будет все лучше и лучше; будущее, фактически, предполагается весьма славное. Но что мне до будущего? Для меня было бы лучше, если бы моя матушка споткнулась на лестнице с утра пораньше 25 декабря и сломала себе шею: тогда и у меня получился бы отличный старт! И когда я принимаюсь думать, где же случилась неувязка, я отхожу мыслью все дальше назад, пока не утыкаюсь в просроченный час рождения. Даже моя мать, известная ядовитым языком, понимала это. «Вечно ты плетешься сзади, как коровий хвост», — вот как она характеризовала меня. Но разве в том моя вина, что она держала меня в своей утробе, пока не прошло время? Судьба уготовала мне быть таким-то и таким-то; и звезды были в правильном сочетании, и я был готов и рвался наружу. Но мне не повезло с матерью, которая не спешила разрешиться от бремени. Может быть, мне и повезло: ведь я не родился идиотом, а мог бы, учитывая обстоятельства. Одно ясно — и это наследие 25 декабря — я родился с комплексом крестной муки. То есть, чтобы быть точнее, я родился фанатиком. *Фанатик!* Это слово, помнится, преследовало меня с детства. Особенно им злоупотребляли родители. Что такое фанатик? Тот, кто беззаветно верит и поступает сообразно со своей верой. Я всегда верил во что-то и потому попадал в беду. И чем больше меня били по рукам, тем крепче я верил. *Я верил,* а мир вокруг меня — нет! Если бы речь шла только о

69

вечном наказании — можно было бы идти в своей вере до самого конца; но мир избрал способ похитрее. Вас не наказывают — вас размывают, выдалбливают, из-под ног убирают почву. Это даже не предательство, вот что я думал. Предательство объяснимо и преодолимо. Нет, это хуже, это мельче предательства. Это — негативизм, в результате чего вы обманываете самих себя. Вы постоянно тратите силы на то, чтобы сохранить равновесие. Вас поражает некое духовное головокружение, вы балансируете на самом краю, ваши волосы стоят дыбом, вам не верится, что под ногами у вас неизмеримая бездна. А начинается это как избыток оптимизма, как страстное желание пойти навстречу людям, проявить к ним любовь. Чем решительнее ваши шаги навстречу миру, тем стремительней он убегает от вас. Никому не хочется истинной любви, истинной ненависти. Никто не даст вам прикоснуться к сокровенным недрам, исключение делается

лишь для священника в час исповеди. Пока вы живы, пока кровь горяча — вы делаете вид, будто у вас вовсе нет ни крови, ни скелета, ни покрывающей скелет плоти. *Сойдите с газона!* Вот лозунг, с которым живут люди.

Если вы продолжаете балансировать над бездной достаточно долго, вы становитесь настоящим знатоком: неважно, как вы дошли до жизни такой — вы всегда правы. В состоянии постоянной готовности вы развиваете в себе устрашающую веселость, неестественную радость, так бы я сказал. Сегодня на свете есть только два народа, понимающие смысл такого положения — это евреи и китайцы. И если вам не посчастливилось принадлежать к одному из них, вы в затруднительном положении. Вы смеетесь всегда там, где не следует; вас считают жестоким и бессердечным, тогда как на самом деле вы только грубоваты и рассудительны. Зато, если вы смеетесь вместе со всеми и плачете вместе со всеми, вы можете рассчитывать на жизнь и смерть, подобную их жизни и смерти. А это означает: победить и потерпеть поражение одновременно. Это означает: быть мертвым, когда вы живы, и стать живым, когда вы умерли. С таким обществом мир всегда выглядит нормально, даже в самых ненормальных условиях. Нет ничего правильного или неправильного — это надуманные понятия. Стало быть, вы опираетесь не на реальность, а на мысленные построения. А когда вам надо выбраться из тупиковой ситуации, мысленные построения не помогают.

В некотором смысле, глубоком смысле, я имею в виду,

70

Христос так и не выбрался из тупика. Когда он хромал и пошатывался, словно в великом ужасе, подкатила волна отрицания и остановила смерть. Весь негативный порыв человечества, казалось, свернулся в чудовищную инертную массу и создал человеческое целое, единую личность, единую и неделимую. Было воскресение из мертвых, которое невозможно объяснить, покуда мы не примем как факт то, что люди всегда чего-то желают и ради этого готовы отвергнуть собственную судьбу. Земля вращается, звезды вращаются, но люди, великое тело людей, образующее наш мир, воплощается в образе одного и только одного.

Если кто-то не распят, подобно Христу, если ему удалось выжить и жить, не ведая о тщетности и безысходности, случается еще одна любопытная вещь. Словно некто действительно умер и на самом деле воскрес: и живет сверхнормальной жизнью, как китайцы. То есть, он неестественно весел, неестественно здоров, неестественно бесстрастен. Трагического привкуса нет: он живет как цветок, как скала, как дерево, сообразно Природе и против Природы в одно и то же время. Когда умирает друг, вы не торопитесь на похороны; когда трамвай переезжает человека на ваших глазах, вы продолжаете прогулку как ни в чем не бывало; когда началась война, вы провожаете друзей на фронт, ничуть не проявив интереса к бойне. И так далее, и тому подобное. Жизнь становится спектаклем, и если вы сподобились стать актером, вы проигрываете скоротечное шоу. Одиночество отменяется, ибо все ценности, включая ваши собственные, уничтожены. Расцветает лишь сочувствие, но это не человеческое сочувствие, ограниченное сочувствие — это нечто чудовищное, дьявольское. Вас очень мало трогает идея принести себя в жертву кому-то или чему-то. В то же время ваш интерес, ваше любопытство развивается невероятно. Это тоже подозрительно, поскольку способно уцепиться за пустяк как за причину. Нет фундаментального, однозначного различия между фактами: все течет, все изменяется. Оболочка вашего существования постоянно крошится: внутри, однако, вы тверды, точно алмаз. И, может быть, именно этот твердый, магнитный сердечник волей-неволей притягивает к вам людей. Одно несомненно: когда вы умрете и воскреснете, вы станете принадлежностью земли, и все, состоящее из земли, будет неотъемлемо вашим. Вы становитесь аномалией природы, существом без тени; впредь вы не умрете, а лишь уйдете, как и все, с вами связанное.

71

Ничего из того, что я сейчас пишу, не было мне известно в то время, когда я преодолевал величайший кризис. Все, испытанное мною, было словно подготовка к тому моменту, когда, надвинув однажды вечером шляпу, я вышел из офиса, из прежней личной жизни и увидел женщину, которой было суждено освободить меня от смерти заживо. В этом свете я теперь оглядываюсь назад на свои ночные хождения по улицам Нью-Йорка, на белые ночи, когда я гулял во сне и видел город, в котором родился, как видят мираж. Часто меня сопровождал О'Рурк, наш детектив, с которым я ходил по затихшим улицам. Часто на земле лежал снег, а воздух дышал морозом. И О'Рурк болтал без остановки о кражах, об убийствах, о любви, о человеческой природе, о Золотом Веке. У него была привычка, начав разговор, вдруг остановиться посреди улицы и всадить свою тяжелую ступню между моих, так что я не мог двинуться с места. И тогда он хватал меня за лацкан и приближал свое лицо к моему, говоря мне прямо в глаза, причем каждое слово ввинчивал, будто штопор. Я как наяву вижу нас, стоящих посреди улицы в четыре утра: свищет ветер, метет снег, и О'Рурк, забывший обо всем, кроме истории, которую он

непременно должен рассказать. Всегда во время его рассказа я краем глаза отмечал все, что происходило вокруг, и теперь помню не то, что он рассказывал, а то, что мы стояли на Йорквилле или на Аллен-стрит или на Бродвее. Мне всегда казалась слегка ненормальной та серьезность, с какой он излагал банальные истории об убийствах посреди величайшей неразберихи архитектуры, когда-либо созданной человеком. Он толковал об отпечатках пальцев, а я изучал форму парапета, карниза или небольшого красно-кирпичного строения за его черной шляпой; я размышлял о том дне, когда установили этот карниз, и кто был тот человек, который его спроектировал, и почему он задумал его столь безобразным, так похожим на все прочие дрянные, отвратительные карнизы, мимо которых мы проходили по пути от Ист-Сайда к Гарлему, и дальше Гарлема, если нам хотелось продолжить прогулку, дальше Нью-Йорка, за Миссисипи, за Большой Каньон, за пустыню Мохаве — всюду в Америке, где выстроены здания для человека. Мне казалось совершенно безумным, что всю жизнь я должен сидеть и слушать истории посторонних людей, банальные трагедии бедных и несчастных, трагедии любви и смерти, томлений и разрушенных иллюзий. Если, как это бывало, за день

72

через меня проходило пятьдесят человек, и каждый излагал свою скорбную историю, и с каждым мне приходилось быть спокойным и учтивым — очень естественно, что когда-то мне требовалось заткнуть уши и ожесточить сердце. Мне хватало незначительнейшего, мельчайшего кусочка: я мог пережевывать и переваривать его днями и неделями. И, все же я был приговорен сидеть, заваленный по уши, а по ночам выходить и опять слушать, спать слушая и думать слушая. Ко мне стекались со всего света, из всех слоев общества, говорящие на тысяче языков, поклоняющиеся разным богам, уважающие разнообразные законы и установления. История самого несчастного из них могла бы составить огромный том, и тем не менее если бы их все до одной записать полностью — написанное можно сжать до размеров Десяти Заповедей, все они могли быть записаны на обороте почтовой марки, как «Отче наш». Каждый день я так напрягался, что моя шкура, казалось, объемлет весь мир; а когда я оставался совсем один, когда мне уже не надо было слушать, я сжимался до размеров булавочного острия. Величайшим наслаждением, таким редким, было прогуляться по улицам одному... прогуляться по ночным улицам, когда никто не шел рядом, и вслушаться в тишину, окружавшую меня. Миллионы лежали на спине, глухие к миру, и изо рта у них вырывался только храп. Гуляешь среди дичайшей архитектуры и думаешь, зачем и почему из этих проклятых хибар или напыщенных дворцов вытекают полки людей, стремящихся разложить по полочкам историю своего несчастья. За год, и это скромная оценка, я выслушал двадцать пять тысяч историй; через два их стало пятьдесят, через четыре стало бы сто тысяч, а через десять я бы окончательно и бесповоротно спятил. Я познакомился с людьми, которых хватило бы, чтобы населить приличный город. Ну и городок это был бы, коль они собрались бы все вместе! Захотелось бы им небоскребов? Пожелали бы они музеев? Захотели бы библиотек? Возвели бы канализацию, мосты, стадионы, заводы? Создали бы карнизы, похожие один на другой ad *infinitum**, от Баттери Парк до Голден Бей? Сомневаюсь. Ими движет только чувство голода. Пустое брюхо, дикое выражение глаз, страх, страх перед еще худшим — вот что движет ими. И строят они высоченные небоскребы, устрашающие дредноуты, варят чистейшую сталь, плетут тончайшее кру-

*До бесконечности (лат.).

73

жево, выдувают изящную посуду по одной причине: от отчаяния, подстегиваемые хлыстом голода. Гулять с 0'Рур-ком и слушать только о воровстве, поджогах, изнасилованиях, убийствах — это лишь неосновная тема большой симфонии. И точно так же, как можно слушать Баха, а думать о женщине, с которой хочется переспать, так и я, слушая 0'Рурка, думал о том, что вот он наконец кончит болтать и спросит: «А не перекусить ли нам?» В самый захватывающий миг рассказа об ужасном убийстве я думал о свином филее, который мы наверняка закажем в одном местечке по пути, гадал, какими овощами будет этот филей гарнирован и закажу ли я после пирог или сбитые сливки. Так было и когда я спал с женой: пока она стонала да лепетала, я мог вспомнить, что она не очистила кофейник от спивок, ведь за ней водилась дурная привычка оставлять посуду грязной — *важная* деталь, я считаю. Свежий кофе — это важно. И свежая яичница с ветчиной. Если она забеременеет — это плохо, кроме шуток плохо, но гораздо важнее все-таки свежий кофе по утрам и запах яичницы с ветчиной. Я могу вынести большое горе, лишения, неудачные романы, но мне необходимо иметь кое-что в желудке, и я хочу чего-нибудь питательного и аппетитного. То же самое чувствовал бы и Христос, если бы его сняли с креста прежде чем наступила телесная смерть. Уверен, что шок вследствие распятия оказался бы настолько силен, что привел бы к полной амнезии человеколюбия. И наверняка после залечивания ран он и гроша ломаного не дал бы за несчастья

человечества, а с большим удовольствием набросился бы на чашечку свежеприготовленного кофе и поджаренные хлебцы, если, конечно, тогда это было доступно.

Испытавший большую любовь, а это ужасная вещь, и погибший от горя рождается вновь, чтобы не знать ни любви, ни ненависти — только наслаждение. Такая радость жизни, поскольку приобретена неестественным путем, есть яд, исподволь отравляющий мир. Все, что создано с нездоровой долей человеческого страдания, возвращается как бумеранг и несет разрушение. Ночью улицы Нью-Йорка напоминают о распятии и смерти Христа. Когда земля покрыта снегом и вокруг необыкновенно тихо, из чудовищных зданий Нью-Йорка исходит музыка гнетущего отчаяния и безысходности — такая, что забываешь о собственной плоти. Ни один кирпич не положен с любовью, ни одна улица не проложена для танца и радости. Все лепилось одно к другому с безумной мыслью наполнить же-

74

лудок, и улицы пропахли пустыми желудками, полными желудками и желудками, наполненными лишь частично. Улицы пахнут голодом, не имеющим ничего общего с любовью; они пахнут ненасытным брюхом и порождениями пустого желудка, которые есть ничто.

В этом ничто, в этой нулевой чистоте, я учился радоваться бутерброду и безделушке. Я мог изучать карниз или цоколь с великим любопытством, в то же время изображая интерес к рассказу о человеческом горе. Я могу вспомнить даже даты постройки зданий и имена архитекторов. Я могу вспомнить температуру воздуха и скорость ветра в тот день, когда я стоял на углу и слушал; а то, что мне рассказывали — выветрилось окончательно. Я могу вспомнить даже то, о чем вспоминал тогда, могу рассказать об этом, но зачем? Тот человек во мне уже умер, остались лишь его воспоминания; был другой человек, который во мне жив, и этот человек, вроде бы, и есть я сам, но он жив, как живы дерево, скала, дикий зверь. Подобно тому как город стал огромным надгробием, в котором люди борются за легкую смерть, моя жизнь стала смахивать на могильный холм, который я соорудил из собственной смерти. Я обитал в каменном лесу, центр которого — хаос; временами в этом мертвом центре, в самом сердце хаоса, я танцевал или напивался по глупости, или занимался любовью, или заводил дружбу, или рассчитывал начать новую жизнь, но все это и составляло хаос, все — камень, все — без надежды и без толку. И если бы не настало время, когда нашлась сила, достаточная, чтобы вырвать меня из безумия каменного леса — для меня оказалась бы невозможной любая жизнь, и не была бы написана ни одна достойная страница. Возможно, при чтении этих строк у вас тоже создалось впечатление хаоса, но это написано из живого центра, а то, что представляется хаотичным — на самом деле второстепенно, просто поверхностные частности мира, уже не волнующего меня. Лишь несколько месяцев назад я стоял на улицах Нью-Йорка', оглядываясь по сторонам, как оглядывался долгие годы; и опять я изучал архитектуру, изучал мельчайшие детали, смущающие взгляд. Но на сей раз я будто бы с Марса вернулся. Что это за люди вокруг? — спрашивал я себя. Что все это значит? И не возникло во мне даже воспоминания о страдании или о той жизни, что прозябает в сточной канаве — я просто смотрел поверх странного и непостижимого мира, такого далекого, что я не мог отделаться от ощущения, будто вер-

75

иулся с другой планеты. Как-то вечером я посмотрел с верхушки Эмпайр Стейт Билдинг* на город, который знал снизу: вот они, люди-муравьи, данные в правильной перспективе. И я пресмыкался вместе с ними, вот люди-вши, с которыми я боролся. Они передвигались со скоростью слизней, и все без исключения испивали до дна микроскопическую чашу судьбы. С бесплодным усердием они возвели это колоссальное сооружение, предмет их гордости. И к верхушке этого колоссального сооружения они подвесили вереницу клеток, в которых заточенные канарейки распевали свои бессмысленные песенки. Высшей целью их стремлений были эти живые комочки, щебечущие о драгоценной жизни. Через сотню лет, решил я, они наверняка посадят в клетки и человеческие создания, бесшабашные, полоумные, которые будут петь о грядущем мире. Может быть, они выведут новую породу певчих птиц, которые будут петь, пока остальные трудятся. Может, в каждой клетке будет свой поэт или музыкант, так что жизнь внизу потечет беспрепятственно: камень, лес, хаос, ничто. Через тысячу лет все, может быть, сойдут с ума, работники и поэты в равной мере, и все обратится в прах, как это бывало не однажды. Еще через пять тысяч лет, или через десять тысяч именно на этом месте, где я сейчас стою и смотрю, маленький мальчик раскроет книгу на еще неведомом языке об ушедшей жизни, жизни, которую автор книги не знал, жизни с умозрительной формой и ритмом, началом и концом, и этот мальчик, перевернув последнюю страницу книги, удивится, что за великий народ были эти американцы, какая восхитительная жизнь была на этом континенте, где он теперь живет. Но никакой

грядущий народ, разве что народ слепых поэтов, не сумеет представить себе, из какого клокочущего хаоса возникла история будущего.

Хаос! Ревущий хаос! Нет нужды выбирать особый день. Любой день моей жизни — оглянись — подойдет. Каждый день моей жизни, моей крохотной микроскопической жизни, отразил внешний хаос. Дай оглянуться назад... В семь тридцать звонок будильника. Я не могу подняться с постели, лежу до восьми тридцати, стараясь урвать еще немного сна. Сон — как я могу уснуть? В мозгу — образ конторы, где меня уже ждут. Вижу Хайми, прибывающего ровно в восемь, коммутатор уже гудит, требуя помощи, соискатели мест уже поднимаются по деревянной лестнице, из раздевалки доносится крепкий камфорный дух. За-

76

чем вставать и повторять вчерашнюю свистопляску? Как только я их оформлю — они исчезнут. Работай, работай — и не заработаешь на свежую сорочку. По понедельникам жена выдает мне карманные деньги: на проезд и на обед. Я вечно ей должен, а она должна бакалейщику, мяснику, владельцу дома и так далее. У меня нет времени даже побриться как следует. Я надеваю рваную сорочку, проглатываю завтрак и прошу десять центов на метро. Если жена не в духе, приходится выманивать деньги у продавца газет. Я добираюсь до офиса запыхавшись, с опозданием на час, мне надо позвонить в десять мест, прежде чем я приму первого посетителя. Пока я делаю первый звонок, мне звонят из трех мест одновременно и ждут ответа. Я разговариваю по двум аппаратам сразу. Коммутатор гудит. Хайми между вызовами точит карандаши. Макговерн, швейцар, стоит за спиной, чтобы предостеречь меня насчет одного посетителя, вероятно, мошенника, пытающегося проскользнуть под вымышленным именем. За мной карточки и амбарные книги, куда занесены имена всех, кто хоть однажды обращался ко мне в поисках работы. Неугодные записаны красными чернилами; у некоторых до шести кличек против настоящего имени. А комната тем временем гудит как улей. В комнате воняет потом, грязными ногами, старой одеждой, камфорой, лизолом, отрыжкой. Половину придется завернуть: не то чтобы нам не нужны люди, но даже в самых стесненных обстоятельствах эти нам не подойдут. Человек перед моим столом, уцепившийся за перекладину нарезными руками и с мутным взором — экс-мэр Нью-Йорка. Сейчас ему семьдесят, и он согласен на любую работу. У него прекрасные рекомендательные письма, но мы не можем принимать лиц старше сорока пяти. Сорок пять в Нью-Йорке — это граница. Звонит телефон: льстивый секретарь Христианского союза молодых людей. Не сделаю ли я исключение для одного парня, который сейчас находится в приемной? Мальчика, год просидевшего в исправительной колонии? *А что он натворил?* Пытался изнасиловать родную сестру. Разумеется, итальянец. 0'Мара, мой помощник, проверяет соискателя по полной программе. Он подозревает эпилепсию. Наконец, он добивается своего, и парень падает прямо тут, в офисе. Какая-то посетительница теряет сознание. Красивая моложавая женщина с очаровательным пушком на шее предлагает мне себя. Она — проститутка, это ясно, и я знаю, что если я соглашусь, это обойдется мне очень дорого. Она хочет работать

77

в определенном здании в северном квартале, поскольку это близко от ее дома, так она говорит. Ближе к обеду заявляются друзья-приятели. Они садятся рядышком и наблюдают, как я тружусь, словно пришли на спектакль. Приходит Кронски, студент-медик; он сообщает, что один из принятых мной парней страдает болезнью Паркинсона*. Я так занят, что ни разу не отошел в уборную. Все телеграфисты, все управляющие заработали себе геморрой, так мне сказал 0'Рурк. Он сам два года применял электромассажер, но безуспешно. Время обеда, и мы занимаем столик на шестерых; кто-то, как обычно, платит за меня. Мы поспешно асеі проглатываем и возвращаемся. Опять масса звонков, еще куча просителей. Вице-президент вне себя, потому что мы не заполнили всех вакансий. Наши объявления помещены во всех газетах Нью-Йорка. Во всех школах мы вербуем курьеров на неполный рабочий день. Вовлечены все благотворительные организации и общества социальной помощи. Но работники разлетаются как мухи. Некоторые не выдерживают и часа. Это человеческая мельница. И самое печальное в том, что все это совершенно не нужно. Но это не моя забота. Моя забота — сделать или умереть, как сказал Киплинг. Я подключаю одну жертву за другой, телефон трезвонит как ненормальный, в помещении воняет все круче, прорехи ширятся на глазах. Каждое человекоподобное просит корочку хлеба; я записываю его вес, рост, цвет, религию, образование, стаж и т. д. Все данные идут в амбарную книгу в алфавитном порядке, а потом в хронологическом. Имена и даты. Мы бы брали отпечатки пальцев, если бы хватало времени. А все ради чего? Ради того чтобы американский народ мог иметь удовольствие пользоваться самой быстрой связью, изобретенной человеком, чтобы он быстрее продавал свои изделия и немедленно информировал родственников о вашей внезапной смерти на улице. Немедленно — это в течение часа, если, конечно, курьер,

которому доверили телеграмму, не начхает на работу и не кинет целую пачку телеграмм в контейнер для мусора. Двадцать миллионов поздравлений с Рождеством, все желают веселого Рождества и хорошего нового года: от директоров, президентов и вице-президентов телеграфной компании «Космодемоник», а в какой-нибудь телеграмме, может быть, написано: «Мать умирает, приезжай немедленно», но клерк слишком загружен, чтобы заметить послание, вы, конечно, можете возбудить уголовное дело за моральный ущерб — на то

78

существует особый отдел, призванный отражать такие притязания, — но ваша матушка умрет, а поздравления с Рождеством и новым годом будут получены в срок. Клерка, конечно, уволят, но через месяц, когда он придет просить место курьера, его примут и отправят на работу в портовую часть города, где его никто не узнает, а его жена придет вместе с отпрысками благодарить главного управляющего или даже самого вице-президента за доброту и проявленное внимание. А потом в один прекрасный день все искренне удивятся, что означенный клерк спер кассу и будут просить 0'Рурка сесть на ночной кливлендский или детройтский поезд, чтобы поймать его, если даже это обойдется в десять тысяч долларов. А потом вице-президент издаст приказ о запрете нанимать евреев, но через три или четыре дня он смягчится, ибо среди соискателей мест будут в основном как раз евреи. Из-за крайне затруднительного положения я уже готов принять циркового карлика, и я приму его, если, конечно, он не расколется и не признается, что он — на самом деле она. А Валеска, вот незадача, возьмет сие «оно» под свое крылышко, пригласит «оно» к себе домой тем же вечером, и устроит под видом внезапно вспыхнувшего обожания тщательную проверку, включая пальпацию интимных мест. А карлик окажется весьма любвеобильным и страшно ревнивым. Ну и тяжел денек! По пути домой я натыкаюсь на сестру приятеля, она настоятельно приглашает меня пообедать. После обеда мы идем в кино и в темноте затеваем игру, в конце концов, это нас так увлекает, что мы покидаем кинотеатр и возвращаемся в офис, где я раскладываю

ее на оцинкованном столе в раздевалке. Когда я прихожу домой, чуть за полночь, звонит Валеска. Она умоляет меня поспеть на метро и немедленно ехать к ней, дело не терпит отлагательства. Час езды, а я смертельно устал, но она говорит, что это очень срочно, и вот я мчусь к ней домой. Там я встречаю ее кузину, довольно привлекательную молодую женщину, которая, по ее словам, только что переспала с незнакомцем, поскольку ей надоело ее девственное состояние. Ну, так о чем речь? Как о чем? Ведь она в нетерпении и спешке забыла о необходимых предосторожностях и теперь, возможно, беременна, и как же быть? Они хотят знать, что я посоветую предпринять, и я отвечаю: *«Ничего».* Тогда Валеска уводит меня в сторону и просит, если я не прочь, переспать с кузиной, лишить ее девственности, так-то вот, чтобы впредь не было повторения такого рода дел.

80

Розыгрыш забавен, мы принимаемся хохотать до упаду, а потом начинаем пить.— у них в доме нет ничего, кроме тминной водки, мы быстро отрубаемся. Скоро становится еще забавнее: обе начинают меня лапать, и ни одна не желает уступить другой. В результате я раздеваю обеих, отвожу в кровать и они засыпают обнявшись. Когда я покидаю дом, ближе к пяти утра, я обнаруживаю, что в кармане нет ни цента. Безуспешно пытаюсь выцыганить десять центов у таксиста и, наконец, снимаю подбитое мехом пальто и продаю ему — за десять центов. Когда я вхожу домой, жена не спит и сердита, как дьявол, за то, что я так задержался. Начинается перебранка и все-таки я выхожу из себя по-настоящему и даю ей затрещину. Она падает на пол, начинает стонать и плакать, просыпается ребенок и, заслышав стоны матери, от испуга принимается орать во все горло. Соседка сверху заходит узнать, в чем дело. Она в кимоно, длинные волосы распущены. В большом возбуждении она приближается ко мне, и все происходит как бы вопреки нашей воле. Мы относим жену на кровать, перевязываем ей лоб мокрым полотенцем, и, пока девушка сверху ухаживает за женой, я стою рядом, поднимаю ее кимоно, приноравливаюсь к ней, а она спокойно стоит, пока я не кончаю, и несет всякую чепуху. Наконец, я забираюсь в постель к жене и, к величайшему моему изумлению, жена начинает со мной заигрывать. Мы молчаливо совокупляемся до рассвета. Мне бы выбиться из сил, но Сон как рукой сняло, и я лежу и думаю о прошедшем дне, вспоминаю проститутку с очаровательным пушком на шее, с которой я беседовал утром. Потом начинаю думать о другой женщине, жене друга, вечно укоряющей меня за мою пассивность. А потом начинаю думать обо всех подряд, кого упустил по какой-либо причине, пока, наконец, не засыпаю, причем во сне происходит семяизвержение. В полвосьмого звенит, как обычно, будильник, и, как обычно, я смотрю на свою рваную сорочку, висящую на спинке стула, а потом опять засыпаю. В восемь звонит телефон. Это Хайми. Приезжай быстрей, говорит он, начинается забастовка. И вот так все и проходит, день за днем, и нет этому объяснения — разве что спятившая страна: то же, что и со мной, происходит повсюду, в меньшем или в большем масштабе, но всюду то же самое, ибо все хаос и бессмыслица.

Так все проходило день за днем, почти пять долгих лет. Континент периодически одолевали циклоны, смерчи, цу-

81

нами, наводнения, засухи, бураны, моровые язвы, забастовки, налеты, убийства, самоубийства... непрерывная дрожь и муки, извержение, водоворот. Я был словно смотритель маяка: подо мной дикие волны, скалы, рифы, обломки потерпевших крушение судов. Я мог дать сигнал об опасности, но не мог предотвратить катастрофу. Я дышал опасностью и катастрофой. Иногда ощущение опасности было столь сильным, что оно извергалось из моих ноздрей, как огонь. Я хотел освободиться от него и все же был крепко прикован. Я был жесток и равнодушен в одно и то же время. Я был как сам маяк: в безопасности среди бушующего моря. Фундаментом мне служила гранитная скала, на таком же камне воздвигали небоскребы. Мои корни ушли далеко вглубь земли, а мой скелет был изготовлен из стали, клепанной горячими болтами. Кроме того, у меня был глаз, огромный всевидящий глаз, который безостановочно и безжалостно вращался. Это недремлющее око, казалось, погрузило в спячку все остальные чувства; все мои силы ушли на наблюдение, чтобы зафиксировать драму мира.

Если я желал разрушения, то лишь затем, чтобы уничтожить мой глаз. Я желал землетрясения, катаклизма всей природы, который смахнет мой маяк в морскую пучину. Я хотел превратиться в рыбу, в левиафана, в истребителя. Я хотел, чтобы земля разверзлась и поглотила все на ней сущее в одном всепоглощающем зевке. Я хотел, чтобы толща моря похоронила город. Я хотел сидеть в пещере и читать при свете лучины. Я хотел, чтобы глаз мой был уничтожен, это позволило бы мне познать собственное тело, свои желания. Я хотел одиночества на тысячу лет, чтобы отразить то, что увидел и услышал, *и чтобы все забыть.* Я хотел попасть на землю, не обустроенную человеком, абсолютно далекую от человеческого, которым пресытился. Я хотел чисто земного, лишенного всякой идеи. Я хотел почувствовать кровь в жилах даже ценой

собственной гибели. Я хотел избавиться от камня и света. Я хотел темной плодовитости природы, глубины утробы, тишины, объятий черных вод смерти. Я хотел, чтобы настала ночь, которую высветил безжалостный глаз, ночь, освещенная звездами и летящими кометами. Ночь, пугающая тишиной, непостижимая и выразительная одновременно. Впредь не думать, не говорить и не слышать. Быть поглощенным и поглощать одновременно. Не испытывать ни жалости, ни нежности. Быть человеком только по природе, как растение, червь или ручей. Стать невесомым, распавшимся, изменчивым как молекула и вечным как атом, бессердечным как сама земля.

82

Я встретил Мару ровно за неделю до самоубийства Валески. А две недели до этого события прошли, словно настоящий кошмар. Несколько неожиданных смертей и странных любовных историй. Все началось с Полины Яновски миниатюрной еврейки лет шестнадцати-семнадцати, бездомной, без друзей и родни. Она пришла в офис в поисках работы. Время близилось к закрытию, и я не мог выставить ее, не обогрев. По доброте душевной я пригласил ее пообедать у меня дома, а там, если получится, уговорю жену приютить ее на время. В этой девушке меня привлекла ее страсть к Бальзаку. Пока мы добирались до дому, она пересказывала «Утраченные иллюзии». Вагон был переполнен, нас так прижало друг к другу, что тема разговора не имела никакого значения — мы оба думали только об одном. Жена, разумеется, неприятно удивилась, увидев меня в дверях в компании прелестной девушки. Однако она проявила холодную, вежливую обходительность, столь свойственную ее натуре. Тем не менее, я сразу понял, что просить ее о приюте для Полины бесполезно. Все, что она выдавила из себя — так это посидела с нами за столом. Сразу после обеда, извинившись, она ушла в кино. Девчонка тут же расплакалась. Мы все еще сидели за столом, полным несъеденных блюд. Я приблизился к ней и обнял ее. Мне было искренне жаль ее, но что же делать? И вдруг она обхватила мою шею и поцеловала со всей силой страсти. Мы долго не разнимали объятий, и я еще подумал тогда: «Нет, это преступно, да и вдруг жена вернется — может, ни в каком она не в кино». «Дитя, возьми себя в руки, — сказал я ей. — Давай поедем куда-нибудь на трамвае». На каминной доске стояла копилка моей дочки, и я потихоньку опорожнил ее в уборной. В копилке оказалось только семьдесят пять центов. Мы сели в трамвай и отправились на побережье. Наконец, отыскали пустынный уголок и легли на песок. Она оказалась страстной до истерики, но тут уж ничего не поделаешь. Думал, после она станет упрекать меня. Ничего подобного. Она опять завела речь о Бальзаке. Кажется, она сама мечтала

83

сделаться писательницей. Я спросил ее, что она собирается написать. Никаких мыслей на этот счет, таков был ответ. Когда мы собрались уходить, она попросила меня оставить ее на шоссе. Сказала, что собирается в Кливленд или куда-то еще. Уже за полночь я оставил ее у бензоколонки. В кармане не больше тридцати пяти центов. Едучи домой, я проклинал жену за то, что она такая сука. Лучше бы ее оставить на шоссе без гроша в кармане. Без понятия, куда направиться. Я знал, что дома не услышу от жены ни слова об этой девушке.

Я вошел в квартиру, жена не спала. Я решил, что она подготовила мне сцену. Нет, оказалось, она ждет меня, потому что есть важные новости от 0'Рурка. Я должен немедленно позвонить ему. На фиг. Я решил раздеться и лечь спать. Но, только я устроился в кровати, зазвенел телефон: 0'Рурк. В офис пришла телеграмма на мое имя. Можно вскрыть и зачитать? Разумеется. Телеграмму отбила Моника. Из Буффало. Завтра утром она прибывает на Центральный вокзал, сопровождая труп матери. Я поблагодарил 0'Рурка и отправился в постель. От жены ни одного вопроса. Я лежал и размышлял, что делать. Если уступить требованиям — все начнется сначала. А ведь я еще не успел сказать спасибо звездам за то, что избавился от Моники. И вот она едет вместе с трупом матушки. Слезы и примирение. Нет, это не для меня. А если не показываться? Что тогда? Кто-нибудь да позаботится о мертвом теле. Особенно, если над ним убивается интересная молодая особа, блондинка с голубыми глазами. Интересно, вернется она в ресторан или нет? Если бы не ее латынь и греческий, ввек бы с ней не спутался. Любопытство взяло верх. Она была чертовски бедна, это тоже влекло. Может быть, все устроилось бы не так плохо, если бы от ее рук не так воняло жиром. Сальные руки могут испортить всю обедно. Помню наш первый вечер. Мы гуляли в парке, один ее вид вызывал восторг: осторожна и умна. В то время в моду входили короткие юбки. Как они ей шли! Я зачастил в тот ресторанчик только за тем, чтобы наслаждаться ее походкой между столиков, приседаниями за упавшей вилкой. И впридачу к безупречным ногам и очаровательным глазкам — волшебные строки Гомера, впридачу к соусу и окороку — стихи Сафо, латинские спряжения, оды Пиндара*, а на десерт — «Рубайат»*. Но сальные руки, неопрятная кровать в меблирашках у рынка — фу! — я не мог это вынести. Чем больше я избегал ее, тем сильней она липла. Любовные послания на десяти страницах со

ссылками на «Так говорил Заратустра»*. И потом — неожиданное затишье, с чем я себя искренне поздравил. Нет, не заставлю

84

себя пойти утром на Центральный вокзал. Я перевернулся на другой бок и безмятежно заснул. Пусть завтра жена позвонит в офис и скажет, что я заболел. Я не болел целую неделю — болезнь подкрадывалась.

Утром я столкнулся с Кронски. Он поджидал меня у входа в офис. Пригласил пообедать... Хочет познакомить меня с юной египтянкой. Девушка на поверку оказалась еврейкой, но действительно из Египта и внешне один к одному египтянка. Лакомый кусочек. Мы оба подъезжали к ней, как умели. Поскольку я еще раньше сказался больным — решил не возвращаться в офис, а пойти прогуляться по Ист-Сайду. Кронски обещал вернуться в офис и прикрыть меня. Мы распрощались с девицей и направились каждый своей дорогой. Я пошел к реке, где было прохладнее, и сразу же забыл об этой девушке. Уселся на краю пирса, болтал ногами. Проплыла шаланда, груженая красным кирпичом. Тут пришла на ум Моника. Моника, прибывающая на Центральный вокзал с трупом. Труп — франко-борто* до Нью-Йорка! Это показалось столь нелепым, что я расхохотался. Как она поступила? Проверила груз по прибытии или оставила на запасных путях? Небось, кляла меня на чем свет стоит. Интересно, что бы она подумала, когда бы увидела меня сидящим на пирсе и болтающим ногами? Несмотря на легкий ветерок с реки, было душно. Я начал клевать носом. В полудреме явилась Полина. Она шла по обочине шоссе и голосовала. Полина — храброе дитя, несомненно. Забавно, что она не опасалась забеременеть. Может, это безразличие — от отчаяния. И Бальзак! Так нелепо! Почему Бальзак? Ну да ладно, ее дело. Во всяком случае, кое-как поесть ей хватит, а там встретит какого-нибудь парня. И этот ребенок мечтает стать писателем! А почему бы и нет? Все питают иллюзии. Моника тоже хотела быть писателем. Каждый хочет быть писателем. Писатели! Господи, какая тщета!

Я вздремнул... Проснулся: эрекция. Видимо, солнце напекло гульфик. Я встал, умылся в питьевом фонтанчике. Все так же душно. Асфальт размягчился, мухи кусались, мусорницы гнили. Я слонялся между тележек уличных торговцев, разглядывая товар. Кок и не думал опускаться, но на примете никого не было. И лишь добравшись до Второй авеню я вдруг вспомнил о египетской еврейке. Вспомнил:

за обедом она сказала, что живет над русским рестораном на Двенадцатой улице. И все же я ничего определенного не имел в виду. Просто шатался, убивая время. Тем не менее, ноги несли меня на север, к Четырнадцатой улице. Когда я поравнялся с русским рестораном, после минутного колебания-вошел и побежал вверх по лестнице, пры-

85

гая через две ступеньки. Дверь в холл оказалась незапертой. Я продолжал подниматься, внимательно читая таблички на дверях. Она жила на последнем этаже. Ниже ее имени значилось имя какого-то мужчины. Я осторожно постучал. Ответа не было. Я постучал еще, посильнее. И тогда услышал внутри какое-то движение. Потом голос за дверью, спрашивающий, кто там, и тут же поворот замка. Я толкнул дверь и, споткнувшись на пороге, ввалился в темную комнату. Упал я прямо к ней в руки, и под небрежно накинутым кимоно нащупал обнаженное тело. Должно быть, она спала и спросонья едва ли поняла, кого держит на руках. Когда поняла — попыталась вырваться, но я уже крепко держал ее, осыпая поцелуями, и тащил к окну, на кушетку. Она что-то бормотала о незапертой двери, но я не позволил ей выскользнуть из моих рук, окольным путем подтолкнул ее к двери, которую она закрыла задом. Я запер дверь свободной рукой, потом дотащил девицу до середины комнаты, расстегнул тем временем брюки и привел пенис в исходную позицию. Она еще не совсем проснулась. Как будто с куклой. Я заметил, что ей понравилось трахаться в полусне. Правда, с каждым толчком она постепенно просыпалась. И чем яснее становился ее разум, тем больше она путалась. Было непонятно, как, не лишаясь удовольствия, заставить ее вновь заснуть. Мне удалось положить ее на кушетку, не потеряв инициативу, и она оказалась боевой чертовкой, извивалась и выдрючивалась, словно угорь. С тех пор, как я приступил к ней, она, по-моему, так и не открыла глаз. Я приговаривал:

«сношение по-египетски... сношение по-египетски... сношение по-египетски...» — и, чтобы не спустить так скоро, начал думать о мертвом теле, которое Моника приволокла на Центральный вокзал, и о тех тридцати пяти центах, с которыми оставил Полину на шоссе. Проклятье! Кто-то громко стучал в дверь, она открыла глаза и посмотрела на меня с нескрываемым ужасом. Я начал быстро собираться, ко, к моему удивлению, она решительно удержала меня. «Не двигайся, — шепнула она мне в ухо, — погоди!» Тут еще раз постучали, и голос Кронски произнес: «Тельма, это я... это я, *Иззи*». Тут я расхохотался. Мы опять приступили к делу, и, чуть она прикрыла глаза, я начал осторожно обхаживать ее, чтобы не разбудить. Это— одно из самых упоительных сношений моей жизни. Я мечтал, чтобы оно никогда не кончалось. Когда я был опасно

близок к этому, я замирал и думал, думал о том, где проведу ближайший отпуск, если получу его, думал о рубашках в ящике комода, думал о пятне на ковре в спальне, прямо у кровати. Кронски все еще стоял у двери —=- я слышал, как

86

он переминается с ноги на ногу. Всякий раз, когда я убеждался в его присутствии, я умерял усердие, и она, полусонная, с улыбкой отвечала тем же, как будто понимала то, что я хотел выразить на языке затянувшегося полового акта. Но думать, о чем она думает, я не смёл — иначе бы немедленно кончил. Иногда я приближался к опасной черте но спасительной уловкой ко мне являлась Моника со своим трупом на Центральном вокзале. Сама мысль об этом, учитывая нелепость ситуации, действовала, словно холодный душ.

Когда все было позади, она уставилась на меня широко раскрытыми глазами, как будто видела впервые. Мне нечего было ей сказать, я думал только о том, как бы поскорей убраться. Пока мы приводили себя в порядок, я заметил под дверью записку. От Кронски. Его жену только что увезли в больницу, и он предлагал Тельме встретиться прямо там. Я почувствовал облегчение! Значит, можно смыться без лишних слов.

На следующий день позвонил Кронски. Его жена скончалась на операционном столе. В тот вечер я обедал дома;

мы сидели за столом, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял Кронски. Он выглядел совершенно опустошенным. Мне всегда трудно подобрать слова соболезнования, а Кронски мне просто нечего было сказать. Я слушал, как жена бубнит затертые слова сочувствия, и она была мне противна, как никогда. «Пошли отсюда», — предложил я.

Мы долго бродили в полном молчании. В парке держались открытых мест, лужаек. Стоял такой густой туман, что нельзя было разглядеть вытянутую руку. Мы плыли в этом тумане, и он вдруг зарыдал. Я остановился и отвернулся. Когда он прекратил всхлипывать, я обернулся и увидел, что он пристально смотрит на меня, как-то странно улыбаясь. «Глупо, — сказал он, — как трудно свыкнуться со смертью». Я тоже улыбнулся и положил руку на его плечо. «Пойдем, — сказал я. — Ты не молчи, выговорись. Стряхни тяжесть с груди». Мы опять побрели, исходили все лужайки, мы шли, как по морскому дну. Туман стал такой плотный, что я с трудом различал очертания Кронски. Он говорил спокойно, и не по-хорошему спокойно. «Я знал, что так случится, — сказал он. — Все было слишком прекрасно, чтобы продолжаться». За день до ее болезни ему привиделся сон. Ему снилось, что он забыл себя. «Я плелся впотьмах, выкрикивая свое имя. Помню, подошел к мосту, посмотрел на воду и увидел себя, тонущим. Я прыгнул с моста вниз головой, и когда вода вытолкнула меня — увидел, что под мостом проплывает Етта. Она была мерт-

87

ва». И тут он неожиданно добавил: «Ты был вчера там, когда я стучался в дверь, верно? Я знал, что ты там, и не мог уйти. Еще я знал, что Етта умирает, я хотел быть рядом с ней, но я боялся идти туда один». Я ничего не сказал, и он продолжил бессвязную речь. «Моя первая любовь умерла точно так же. Я был еще ребенок и не мог примириться со смертью. Каждую ночь я шел на кладбище и сидел над ее могилой. Люди считали меня сумасшедшим. Думаю, я действительно сошел с ума. Вчера, когда я стоял под ее дверью, все словно вернулось ко мне, я вспомнил Трентон*, я вновь сидел у могилы, и сестра той девушки, что я любил, сидела рядом. Она сказала, что мне пора прекратить все это, иначе я сойду с ума. Я сам себя считал сумасшедшим, и, чтобы доказать это самому себе, решил совершить безумный поступок. Я сказал ей: не твою *сестру я* любил, я *тебя* люблю — и привлек ее к себе, мы лежали, целовались, и в конце концов я овладел ею прямо на могиле. Думаю, это исцелило меня, ведь больше я не возвращался туда в своих мыслях, не думал о ней — вплоть до вчерашнего дня, когда стоял под дверью. Если бы вчера я до тебя добрался — придушил бы. Не знаю, почему, но у меня было такое чувство, будто ты приоткрыл склеп той девушки, будто осквернил ее мертвое тело. Это безумие, не так ли? И зачем я пришел к тебе сегодня? Может, потому, что ты совершенно безразличен ко мне... Может, потому что ты не еврей, и я могу поговорить с тобой... Потому что ты на все плюешь, потому что ты прав... Ты читал «Восстание ангелов»*?

В это время мы подошли к дорожке для велосипедистов, которая опоясывает весь парк. Бульварные фонари проплывали в тумане. Я внимательно посмотрел на него и понял, что он потерял голову. Интересно, чем рассмешить его? Немного боязно — вдруг он, начав смеяться, уже никогда не остановится? И я заговорил обо всем наудачу — об Анатоле Франсе прежде всего, потом о других писателях и, наконец, почувствовав, что он теряет всякий интерес, переключился на генерала Иволгина*, и тут он засмеялся, но не обычным смехом, а словно закудахтал, омерзительно закудахтал, как курица под ножом. Ему стало плохо, он замолчал, чтобы прийти в себя; потекли слезы, сквозь кудахтанье прорвались ужасные, душу рвущие рыедания. «Я знал, что ты меня развеселишь, —

выпалил он с последним всхлипом. — Я всегда говорил, что ты сукин сын чокнутый. Ты тоже ублюдок жидовский, только не знаешь этого... А теперь скажи, сволочь, как было вчера? Ты ублажил свое бревно? Не я ли тебе говорил, что она отменная подстилка? А ты знаешь, с кем она живет? Поблагодари Господа,

88

если она тебя не наградила. Она опит с русским поэтом, ты его тоже знаешь. Как-то я познакомил вас в Кафе-Рояль. Хоть бы он не пронюхал. Он вышибет тебе мозги, а после напишет об этом прелестное стихотворение и пошлет ей вместе с охапкой роз. Послушай, он сейчас в Стелтоне, в анархистской колонии, я знаю. Его приятель — нигилист. Это у них — родовое. Но ты все-таки остерегайся. Я хотел предупредить -тебя на следующий день, не знал, что ты будешь действовать так быстро. Видишь ли, не исключено, что у нее сифилис. Я не собираюсь тебя путать. Говорю ради твоей же пользы».

Это излияние, вроде бы, успокоило его. Таким образом он, в присущей ему витиеватой еврейской манере, демонстрировал свою приязнь ко мне. Для этого он сначала должен был уничтожить все вокруг меня — жену, друзей, работу, «черную девку», как он величал Валеску, и так далее. «Думаю, ты рано или поздно станешь большим писателем, — сказал он. — *Но, —* добавил злобно, — сначала надо немного пострадать. Я имею в виду настоящее страдание, поскольку ты пока не знаешь, что значит страдать. Тебе только *кажется,* что ты страдал. Сначала ты должен влюбиться. Эта черная девка — она... Ведь ты не считаешь, что любишь ее, не так ли? Ты хоть раз посмотрел как следует на ее жопу?.. Как она жиреет, вот что я хочу сказать? Через пять лет она будет, как тетушка Джемайма. Пойдете по улице опухшие, а за вами хоровод негритят. Ну и пара! Господи, да лучше бы ты женился на еврейке. Конечно, ты бы не смог оценить ее, но для тебя это — самое оно. Тебе пора остепениться. Ты впустую тратишь силы. Послушай, почему ты якшаешься со всем этим дерьмом? У тебя прямо талант отыскивать всякую погань. Можно найти себе более достойное применение. Твоя работа — не для тебя, ты мог бы достичь успеха на другом поприще. Стал бы профсоюзным лидером... Или еще кем-нибудь, не знаю. Прежде всего тебе необходимо отделаться от своей топорной жены. Уфф! Когда гляжу на нее — так и хочется плюнуть ей в морду. Не понимаю, как такой парень умудрился жениться на такой суке! Кто она? Пара теплых яичников. Послушай, я понял, в чем дело — ведь у тебя на уме только секс... Нет, я не так выразился. Ты не глуп, тебя легко завести, ты подвержен страсти, но, вроде бы, ты плюешь на то, что с тобой происходит. Не будь ты таким романтическим ублюдком, я бы поклялся, что ты еврей. Я — совсем другое дело, от меня нечего ждать. А в тебе что-то есть, только ты слишком ленив, чтобы воспользоваться этим. Послушай, когда ты говоришь, я думаю — вот бы записать! Почему ты не напишешь книгу? Сам Драйзер

89

прикусил бы язык от зависти. Ты не похож на американцев, которых я знаю: ты будто не из их числа, и это здорово. Ты слегка тронутый — наверное, и сам это знаешь. Но по-хорошему. Послушай, если бы совсем недавно кто-нибудь заговорил со мной так, как ты сегодня, я бы его убил. Думаю, ты нравишься мне потому, что не пытаешься проявлять сочувствие. Да я и не жду от тебя сочувствия. Произнеси ты сегодня хоть одно фальшивое слово — я бы и впрямь свихнулся. Я знаю. Я был на грани. А ты начал про генерала Иволгина, и через минуту со мной — порядок. Потому-то я и говорю, что в тебе что-то этакое... непотребное. А теперь послушай меня: если ты не возмешь себя в руки — очень быстро чокнешься. Тебя что-то жрет изнутри. Я не знаю, что — но от меня не скроешь. Я вижу тебя насквозь. Что-то тебя очень крепко держит, но это — не жена, не работа, ни даже эта черная девка, которую ты будто бы любишь. Иногда я думаю, что ты не в то время родился. Послушай, я не хочу, чтобы ты возомнил, будто я делаю из тебя идола, но я знаю, что говорю. Будь в тебе хоть немного больше уверенности, ты мог бы стать величайшим мира сего. Совсем не обязательно писателем. Ты мог бы стать вторым Иисусом Христом. Не смейся — знаю, что говорю. Ты не имеешь ни малейшего представления о собственных возможностях, ты слеп ко всему, что не касается твоих желаний. Ты не знаешь, чего хочешь. А не знаешь потому, что никак не перестанешь мечтать. Все, кому не лень, помыкают тобой. Дурак набитый, идиот. Будь у меня хоть десятая доля твоих достоинств, я бы перевернул весь мир. Думаешь, я — того, не в своем уме? Ладно, послушай... Еще ни разу я не был в столь здравом рассудке. Сегодня по пути к тебе я всерьез подумывал о самоубийстве. Способен ли я на такое — не имеет значения. Главное, теперь я не вижу для самоубийства причин. Жену не вернуть. Я несчастен от рождения. И другим приношу несчастье. Но пока не хочется пропадать... Хочется сначала сделать что-нибудь хорошее на этой земле. Скажешь — глупо, но это так. Хочется сделать что-нибудь для других».

Он вдруг замолчал и вновь посмотрел на меня, странно и измученно улыбаясь. Это был безнадежный взгляд еврея, в котором, как во всем его народе, жизненный инстинкт был так силен, что даже в совершенно безнадежной ситуации он не имел сил убить себя.

Такая безнадежность была мне чужда. Подумал: вот бы обменяться шкурой! Я мог бы запросто убить себя. Но больше всего меня беспокоило опасение того, что он не сумеет получить удовольствие даже от похорон, похорон собственной жены! Бог сви-
90
детель — похороны всегда имеют привкус печали, однако же похороны — это и еда, и выпивка после церемонии, а еще — неприличные шутки и животный смех. Может, я по молодости лет не отдавал должное печальной стороне, хотя и не уклонялся от созерцания стенаний. Но это не трогало меня, ведь после похорон, на поминках в пивной неподалеку от кладбища, царила атмосфера веселья, которому не помеха черные одеяния из крепа и траурные гирлянды. Мне, тогда ребенку, казалось, что собравшиеся на поминки пытаются установить некий контакт с покойным. Когда вспоминаю, на ум приходит что-то древнеегипетское. Но в один прекрасный день я пришел к выводу, что все лицемерят. Однако никто не лицемерил. Просто они тупые, розовощекие немцы, вожделеющие жизни. Смерть выше их понимания, хотя, если послушать их, подумаешь, что они только о смерти и думают. Но они действительно не воспринимают смерть — не то, что, например, евреи. Они говорят о грядущей жизни, но на самом деле не верят в нее. Тот, кого изводит горе утраты, — для них сумасшедший. Они смотрят на него с подозрением. Наблюдая за ними, я понял, что существуют границы печали и границы радости. А вершина и предел всего — непременно брюхо, которое надо наполнить бутербродами с лимбургским сыром, пивом, шнапсом и, если повезет, индейкой. Они рыдают, как дети, уткнувшись в пиво. А через мгновение уже смеются, смеются над забавной черточкой в характере покойного. Даже то, как они употребляют прошедшее время, заставляло меня удивляться. Всего через час после погребения они скажут об усопшем — «он был таким добродетельным», как если бы речь шла об умершем в прошлом тысячелетии, об историческом деятеле, о персонаже «Кольца Нибелунга»*. А все объясняется тем, что он умер, умер бесповоротно, на все времена, и они, живые, отрезали его от себя отныне и навеки — сегодня надо жить, стирать, готовить, и когда следующий отправится на тот свет, надо выбрать гроб, затеять склоку вокруг завещания, и все это в повседневной обыденности, а тратить время на скорби и печали грешно, ибо Бог, если Он есть, завел именно такой порядок вещей, и нечего нам болтать попусту. Нельзя преступать установленные границы радости и печали. Угрожать безумием считалось высшим грехом. Они обладали устрашающим животным чутьем к приспособляемости, удивительно как приобретенным, если бы оно было чисто животным, но оно приводило в ужас, когда вы понимали, что это чутье — не более чем заурядная немецкая тупость и бесчувственность. И все же, признаться, я предпочитал сии одушевленные желудки гидроголовой печали евреев. В
91
глубине души я не мог сочувствовать Кронски — скорее, я бы сочувствовал всему их племени. Смерть жены была лишь крупицей, мелочью в истории его бедствий. По его собственному признанию он был несчастен от рождения. Он был рожден, чтобы все у него шло наперекосяк, потому что уже пять тысяч лет в крови его народа было что-то не то. Они пришли в мир с этим безнадежным, вымученным выражением на лице, и так же они покинут этот мир. За собой они оставят дурной запах яда и исторгнутой печали. Зловоние, от которого они все время пытаются избавить мир, они принесли в этот мир сами. Я размышлял об этом, пока слушал Кронски. На душе стало так хорошо и легко, что, расставшись с ним и повернув в боковую улочку, я начал насвистывать и мурлыкать. И тут меня одолела такая жажда, что я с диким ирландским акцентом сказал себе:

«Ну че, парень, не пора ли пропустить глоток?» С этими словами я ввалился в погребок и заказал большую глиняную кружку пенистого пива и толстый гамбургер, обильно посыпанный луком. Потом выпил еще пива и немного бренди и решил для себя, как обычно без всякого стеснения, так: «Если у несчастного ублюдка не хватает мозгов насладиться похоронами собственной жены, удовольствие за него получу я». И чем больше я думал об этом, тем радостней становилось на душе, а если оставалась хоть капля печали или зависти, то лишь потому, что я не мог поменяться местами с его женой, бедной умершей еврейской душой, поскольку смерть находится вне пределов понимания таких неотесанных фрицев, как я, и жалко растрачивать смерть на подобных мне, ведь мы все о ней знаем и не нуждаемся в ней. Я так загорелся мыслью о смерти, что даже в пьяном оцепенении молил Всевышнего убить меня нынешней ночью: «Убей меня, Бог, и дай познать, что такое смерть». Я старался всем нутром смердящим вообразить как это бывает: испустить дух, но ничего не выходило. Я не придумал ничего лучше, кроме как изобразить предсмертный хрип, и при этом чуть не подавился, испугавшись настолько, что едва не наложил в штаны. Во всяком случае, это не было смертью. Просто я подавился. Наша прогулка по парку куда больше походила на смерть:

двое бредут рядом в тумане, задевая за кусты и деревья и не произносят ни слова. Такой образ говорит не больше чем само название— «смерть» — но все же он

правильный, уравновешенный и вполне достойный. Это не продолжение жизни, а прыжок в темноту, когда невозможно вернуться назад даже в виде малой песчинки. Это правильно и прекрасно, говорил я себе, неужто кто-то хочет возвратиться? Отведать однажды — значит отведать навсегда:

92

жизнь или смерть. Как бы ни упала- монетка — все подойдет, пока вы не сделали ставки. Однако подавиться собственной слюной — это безобразно, это ни в какие ворота не лезет. И, кроме того, трудно подавиться до смерти. Бывает, люди уходят во сне, мирно и тихо, как овцы. Господь прибирает нас в свою овчарню, так говорят. И вы перестаете дышать. Так какого же черта кто-то хочет дышать вовеки? Все, длящееся вечно, становится пыткой. Несчастные ублюдки рода человеческого, мы должны радоваться, что некто устроил для нас выход. Мы не придаем особого внимания отходу ко сну. .Треть жизни мы спим, словно пьяные крысы. И что из этого? Трагедия? Тогда ладно, возьмем три третьих сна пьяных крыс. Господи, если бы у нас достало ума, мы бы танцевали и ликовали при мысли об этом! Мы могли бы завтра умереть все, в кровати, без боли, без страданий — если бы у нас достало ума воспользоваться снотворным. Мы не хотим умирать, и это нас всегда тревожит. Потому и забили, словно мусором, наши бедные головы трепом о Боге и тому подобном. Генерал Иволгин! Кронски закудахтал при упоминании о нем... и всплакнул. С тем же успехом я мог упомянуть о лимбургском сыре. Но генерал Иволгин что-то да значит для него... что-то безумное. Лимбургский сыр был бы слишком сухим, слишком банальным. Однако все и есть лимбургский сыр, включая генерала Иволгина, бедного пьяницу. Генерал Иволгин произошел от лимбургского сыра Достоевского, его собственной марки. Собственная марка — это особый аромат, особый ярлык. Люди знают его по запаху, по вкусу. Но что сделало генерала Иволгина лимбургским сыром? Ну, что бы ни сделало, это — икс, величина неизвестная, а потому непознаваемая. Что потому? Потому — ничего, совсем ничего. Полный стоп — или, как это там: прыжок в темноту без возврата.

Снимая штаны я вдруг вспомнил, что мне сказал несчастный ублюдок. Я взглянул на кок, он был такой же невинный, как всегда. «Не ври, будто я подхватил сифилис», — сказал я и сильно сжал член, словно стараясь выдавить хоть каплю гноя. — «Не думаю, что я подхватил сифон, я рожден под счастливой звездой. Триппер еще куда ни шло. Всякий хоть раз переболел. Но не сифилис!» Я знал, что он .от души желал мне сифилиса, хотя бы для того, чтобы я постиг страдание. Но не дождаться ему! Я родился туповатым, но везучим фрицем. Я зевнул. Все это проклятый лимбургский сыр: сифилис, не сифилис, — так размышлял я про себя. Если она больна, отдеру еще разок, и баста. Но она, очевидно, не больна. Вот она повернулась ко мне жопой. А я как лежал, восстав плотью, так и кинул

93

палку методом ментальной телепатии. И, клянусь Богом, она получила весточку несмотря на глубокий сон, поскольку и прочная дверь не помеха, тем более что не 'надо смотреть ей в лицо, что само по себе дьявольское облегчение. Я подумал, с последним толчком: «Ну вот, парень, все — лимбургский сыр, а теперь можно повернуться на бочок и всхрапнуть...»

Казалось, песнь смерти и секса продлится вовеки. На следующее утро в офисе меня настиг звонок жены, сообщившей, что ее подругу Эрлин только что увезли в сумасшедший дом. Они дружили с монастырской школы в Канаде, где обучались музыке и искусству мастурбации. Мало-помалу я познакомился со всей их стайкой, не исключая сестру Антолину, которая носила грыжевой бандаж и, очевидно, являлась верховной жрицей культа онанизма. Все они в свое время переболели увлечением сестрой Антолиной. И Эрлин, у которой морда напоминала шоколадный эклер, не первая из их тесного кружка попала в сумасшедший дом. Не утверждаю, что именно мастурбация довела их до этого, но, несомненно, атмосфера монастыря сделала свое дело. Все они сызмальства были испорчены.

Еще до полудня зашел мой старый друг Макгрегор. Он выглядел по обыкновению мрачно и жаловался на приближение старости, даром что едва разменял четвертый десяток. Когда я рассказал ему про Эрлин, он, кажется, оживился. Он заявил, будто всегда замечал за ней странности. Отчего же? Да как-то он пытался взять ее силой, а она начала биться в истерике. Но то был не плач, судя по тому, что она приговаривала. Она сказала, что некогда согрешила против Святого Духа и за это должна всю жизнь соблюдать полное воздержание. Вспоминая этот случай, Макгрегор посмеялся, как всегда невесело. «Я говорил ей:

ну, если не хочешь, и не надо... просто подержи в руках. Господи, когда я предложил это, она прямо спятила. Заявила, что я пытаюсь запятнать ее невинность — вот так она поняла мои слова. И в то же время она схватила его рукой и сжала так сильно, что я чуть не отпал. И все время плакала. И не прекращала тянуть волынку о Святом Духе и своей

«невинности». Я вспомнил, что ты советовал мне однажды, и отвесил ей смачную оплеуху. Это возымело волшебное действие. Она сразу успокоилась, и я смог ее трахнуть, но тут началось самое забавное. Послушай, ты когда-нибудь забавлялся с сумасшедшей? Это надо испытать. С самого начала она без умолку болтала всякую чепуху. Не могу воспроизвести эту ахинею, но она словно не подозревала, что я тружусь на ней в поте лица. Послушай, я не знаю, имел ли ты когда-нибудь женщину, которая во
94

время этого самого жрет яблоко?.. Но можешь себе представить, как это действует на нервы. А тут в тыщу раз хуже. Это меня так достало, что я подумал, будто и сам немного ку-ку... А сейчас ты мне вряд ли поверишь, но это сущая правда. Знаешь, что она отколола, когда мы кончили? Она меня обняла и сказала спасибо. Погоди, и это еще не все. Потом она соскочила с постели, опустилась на колени и помолилась о моей душе. Бог мой, я так хорошо это помню. «Прошу, сделай Мака истинным христианином», — сказала она. А я лежал рядом с опавшим коком и слушал. Я не знал, сплю я или что. «Прошу, сделай Мака истинным христианином!» Ты слышал что-нибудь подобное?»

— Что ты делаешь сегодня вечером? — добавил он

весело.

— Ничего особенного, — сказал я.

— Тогда пошли со мной. Я хочу познакомить тебя с одной бабой. *Паула.* Я подцепил ее на Роузленде несколько дней назад. Она не сумасшедшая — просто нимфоманка. Я хочу, чтобы ты отведал ее. Одно удовольствие будет поглядеть. Послушай, если ты не спустишь в штаны, когда она начнет ерзать, я буду сукин сын. Пошли, закрывай лавочку. Какая радость тут пердеть?

Но ехать в Роузленд было рано, и мы отправились в погребок на Седьмой авеню. До войны это была французская забегаловка, а теперь тут нелегально торговали спиртным двое итальянцев. Прямо за дверью располагалась крохотная стойка и музыкальный ящик. Мы намеревались пропустить по парочке и немного подкрепиться. Такая вот *идея.* Но зная характер друга, я вовсе не был убежден, что в Роузленд мы поедем вместе. Если женщина соответствует его фантазии, а для этого она не обязана быть смазливой и здоровой, я знал, что он оставит меня и прицепится к ней. Когда я бывал с ним, меня беспокоило только одно:

заранее убедиться, что у него хватит денег расплатиться за выпивку. И, конечно, не выпускать его из вида, пока за напитки не будет заплачено.

После первой, от силы второй, рюмки он пускался в воспоминания. Естественно, воспоминания о пизде. Его воспоминания всегда крутились вокруг истории, которую он мне как-то рассказывал и которая произвела на меня тогда неизгладимое впечатление. Героем рассказа был. шотландец на смертном одре. Когда он почти уже отошел, но еще силился что-то произнести, к нему наклоняется его жена и нежно спрашивает: «Что, Джок, что ты хочешь
95

сказать?» И Джок, собравшись с последними силами, приподнимается и произносит: «Просто пизда... пизда... пизда...»

Эта тема всегда бьыла первой и последней в репертуаре Макгрегора. Такая у него манера разговаривать — *поверхностно.* Лейтмотивом служили болезни, поскольку между блядками у него болела голова, точнее, головка. Ближе к вечеру ему было- свойственно сказать: «Зайди ко мне на минутку, я хочу показать тебе член». От ежедневных осмотров, промываний, спринцеваний он у него опухал и воспалялся. Частенько Макгрегор наведывался к доктору, но тот не находил изъяна. Или, чтобы успокоить Мака, давал ему коробочку бальзама и советовал поменьше пить. И это служило темой для бесконечных споров, ведь, как он мне не однажды говорил: «Если бальзам такой целебный, какого дьявола мне бросать пить?» Или: «Если я брошу пить, мне не надо будет натираться мазью?» Конечно, любой мой совет в одно ухо влетал, а в другое вылетал. Ему надо было о чем-то беспокоиться, и пенис служил превосходным объектом. Иногда он беспокоился о коже на голове. У него появлялась перхоть, как у многих из нас, и если его член был в хорошем состоянии, он забывал о нем и переключался на скальп. Или на грудную клетку. Как только он вспоминал о грудной клетке — тут же принимался кашлять. Да как! Будто на последней стадии чахотки. А когда он волочился за бабой, то становился сердитым, словно кот. Ему не удавалось взять ее так быстро, как хотелось. Но только заполучив ее, он уже думал, как от нее избавиться. Во всех он находил некую червоточину, некий пустячок, который мешал разыграться аппетиту.

Все это он повторял мне, пока мы сидели во мраке погребка. После пары стаканов он встал и как обычно направился в уборную, по пути опустив монетку в музыкальный ящик. Завертелись танцующие, а он при виде этого воспрял духом, указал на стаканы и приказал: «Повторить!» Из уборной он вернулся с довольно благодушным выражением на лице, то ли от того, что удачно опорожнился, то ли потому, что познакомился в

коридоре с девочкой, не знаю. Так или иначе, присев, он круто сменил курс, заговорил очень мудрено и очень сдержанно, почти как философ. «Знаешь, Генри, мы столько лет откровенны друг с другом. Нам с тобой не стоит разменивать жизнь по мелочам. Если мы хотим достичь в этой жизни чего-то стоящего, сейчас наступило самое время...» Я уже не раз слышал это в течение многих лет и знал, что за этим последует. То была интерлюдия, во время которой он оглядывал комнату, выбирая, какая из девиц пьянее остальных.

96

Пока он рассуждал о наших разнесчастных, неудавшихся судьбах, его ноги пританцовывали, а глаза разгорались все сильней. Дальше все будет, как всегда. Он скажет: «А теперь возьми, к примеру, Вудраффа. Он никогда не достигнет успеха, потому что он сукин сын...» — и тут мимо столика, как я говорил, пройдет пьяная телка и поймает **его** взгляд, и он без всякого перехода прервет свой монолог словами: «Эй, малышка, садись, выпей с нами!» И пьяная сука, не привыкшая веселиться в одиночку, а только на пару, ответит: «Ладно, но я приведу подружку». И Макгрегор, словно самый обходительный кавалер на свете, скажет: «Конечно, отчего же нет? Как ее зовут?» И тогда, дергая меня за рукав, он приблизится и шепнет: «Не сердись на меня, слышишь? Угостим их по маленькой и пошлем к чертям собачьим, понял?»

Но, как обычно, за первой маленькой последует вторая и третья, а счет увеличится, и он не поймет, почему он должен тратить свои деньги на пару блядей, так что ты, Генри, сматывайся первым, как будто купить лекарство, а я выйду через несколько минут... но ты жди меня, сукин сын, не покидай в беде, как случилось в последний раз. И, как всегда, я, оказавшись на воле, удеру со всех ног, посмеиваясь про себя и благодаря счастливую звезду, что я так легко от него отделался. С таким количеством спиртного в брюхе мне все равно, куда несут ноги. Бродвей до безумия залит светом, как всегда, а толпа густая как смола. Надо просто внедриться в поток смолы наподобие муравья и отдаться течению. Каждый тут просто шатается, большинство без причины. Все это шевеление, вся толкотня с виду деятельны, успешливы, удачливы. Постой и посмотри на обувь, умопомрачительные сорочки, новые модели плащей, обручальные кольца за девяносто девять центов. На каждом шагу супермаркет.

Каждый раз, как я иду этим путем в обеденный час, ощущаю лихорадку предвкушения. Всего несколько кварталов от Таймс Сквер до Пятнадцатой улицы, и когда говорят — «Бродвей» — ничего больше не имеют в виду, и действительно это — ничего, куриная пробежка, но в семь вечера, когда все спешат к столу, в воздухе нечто вроде электрического разряда, так что волосы становятся дыбом, словно антенны, и если вы восприимчивы, то ловите не только каждую вспышку и мерцание, но испытываете статистическую жажду, *qui pro quo* взаимодействующей, внутритканевой, эктоплазматической массы тел, теснящихся в пространстве, будто звезды на Млечном пути, только тут Блудный путь, вершина мира без крыши над головой и без расщелины или дыры под ногами, куда можно провалиться

97

и признать — все ложь. Полная обезличенность в толпе обволакивает смолой теплого человеческого бреда, заставляющего вас бежать вперед подобно слепому пони и прядать горячечными ушами. Всякий окончательно и бесповоротно перестает быть собой и, значит, автоматически становится олицетворением всей человеческой породы, пожимая тысячи рук, болтая на тысяче разных языков, проклиная, аплодируя, насвистывая, напевая вполголоса, разговаривая с собой, ораторствуя, жестикулируя, мочась, оплодотворяя, подлизываясь, льстя, хныкая, торгуясь, сводничая, воя по-кошачьи и так далее и тому подобное. Ты — все люди, когда-либо жившие по Моисею, и кроме того ты — женщина, покупающая шляпу, клетку для птицы или простую мышеловку. Ты можешь лежать в витрине, как золотое кольцо о четырнадцати карат, а можешь ползти по стене дома подобно человекообразной мухе — ничто не остановит процессию, даже молнии артподготовки, даже вереница моржей, шествующих к устричным отмелям*. Бродвей, каким я вижу его теперь, каким видел в течение двадцати пяти лет — это наклонная плоскость, предсказанная св. Фомой Аквинским еще в утробе. Он был задуман первоначально на благо лишь змей и ящериц, рогатых улиток и красных цапель, но когда затонула великая Испанская Армада, человеческий род вырвался из кеча* и растекся, сотворив некую вонючую, похабно извивающуюся, подрагивающую, похожую на половую щель, что бежит от Таможни* с юга к северу, к полям для гольфа, через мертвую и червивую сердцевину острова Манхэттен. От Тайме Сквер до Пятнадцатой улицы вы найдете все то, что св. Фома Аквинский позабыл включить в *magnum opus,* то есть среди прочего: гамбургеры, пудели, музыкальные ящики, серые котелки, ленты для пишущих машинок, апельсиновые веточки, бесплатные туалеты, менструальные тряпки, мятные лепешки, биллиардные шары, рубленые луковицы, гофрированные салфетки, смотровые отверстия, жевательную резинку, дешевые коктейли, целлофан, вельветовую одежду, индукторы, конские притирания, капли от кашля, венерин корень и кошачью

размытость того истерически одаренного евнуха, что вышагивает к автомату с содовой, лишившись дробовика, некогда висевшего у него между ног. Предобеденная атмосфера, смесь пачулей, урановой теплой смолки, ледяного электричества, засахаренного пота и засушенной мочи вызывают лихорадку горячечного предвкушения. Христос никогда впредь не сойдет на землю, и никто не издаст нового закона, не прекратятся убийства, кражи, изнасилования, но все же ты предвкушаешь чего-то устрашающе дивного и нелепого, может

98

быть холодного омара под майонезом, предложенного даром или изобретения, подобного электрическому свету, подобного телевидению, только еще более опустошающего, душераздирающего, изобретения немыслимого, которое принесет с собой осколки спокойствия и пустоты, но не спокойствия и пустоты смерти, а той жизни, о которой мечтали и до сих пор мечтают монахи в Гималаях, в Тибете, в Лахоре, на Алеутских островах, в Полинезии, на острове Пасхи, мечты допотопного человека, когда еще не было написано ни одного слова, мечты пещерных людей и антропофагов, мечты обоеполых и хвостатых, тех, кто провозглашен душевнобольным и не может постоять за себя, ибо их подавляют числом душевнобольными не являющиеся. Холодная энергия поглощается хитроумными животными и освобождается подобно разрывным снарядам, катится в причудливом круговороте, создавая иллюзию силы и скорости, благодаря свету, благодаря мощи, благодаря движению, маньяки передают по проводу слова, как будто вставляют фальшивые зубы: безукоризненные и отталкивающие как проказа, заискивающие, мягкие, скользкие;

бессмысленное движение по вертикали, по горизонтали, по кругу, вдоль стен и сквозь стены, ради удовольствия, ради товарообмена, ради преступления, ради любви; свет, движение, мощь без остатка усваиваются и обезличиваются, перерождаются и распределяются вдоль всей засоренной, похожей на половую щели, чтобы ослепить и запугать дикаря, деревенщину, чужеземца, но никого не ослепить и не запугать: тот голоден, а этот погряз в распутстве, все одно и то же, и нет отличия от дикаря, деревенщины, чужеземца, разве что в мелочах, в пустячках, в обмылках мысли и опилках разума. По этой, похожей на половую щели, захваченные и неослепленные, прошли до меня миллионы, и среди них один — Блез Сандрар*, который впоследствии слетал на Луну, а потом вернулся на землю и всплыл на Ориноко, изображая из себя дикаря, а на самом деле он был бутоном, но уже не ранимым и смертным, а превосходнейшей плавучей громадиной из стихотворения, посвященного архипелагу бессонницы. Из них чудом вылупились единицы, а я пока — невылупившийся, но восприимчивый и отмеченный, осознающий со спокойной жестокостью уныние нескончаемого плавания по течению. Перед обедом полоска небесного света вяло просачивается сквозь пограничный серый свод, блуждающие полусферы усеяны спорами свернувшихся ядер голубых яйцеклеток, ветвятся: в одной корзине омары, в другой— прорастает мир антисептически личный и абсолютный. Из смотровых окон глядят люди, посеревшие от подвальной жизни, про-

99

питанные дерьмом — люди будущего мира: они изъедены ледяным электричеством, будто крысами, день угасает и опускается тьма, подобная прохладному, освежающему мраку сточных труб. Как потерявший твердость член, я, еще не вылупившийся, совершаю бесплодные телодвижения, не чересчур сухие — довольно мягкие, вызывающие излияние спермы — и качусь *ad astra,* ибо пока не настало время обеда, а желудочное неистовство уж охватило верхний кишечник, поджелудочную область и постпинеальную долю. Сваренные живьем омары плавают во льду, не дают ни четвертака, и ни четверти доллара не просят. Они неподвижны и непробиваемы в ледяной воде смертельного уныния, а жизнь плывет по течению в витринах отчаяния, разъедаемая цингой печали, трупным ядом. Мерзлое стекло витрины режет, как охотничий нож — подчистую, без надежды.

Жизнь плывет по течению в витринах... Я — такая же часть жизни, как и омар, как кольцо о четырнадцати карат, как конские притирания, но очень трудно установить тот факт, который заключается в идентичности жизни и товара, снабженного накладной. То, что я заказал поесть, важнее, чем я сам, едок. Всяк друг друга ест и, значит, глагол «поедать» стал хозяином положения. В процессе еды уничтожают толпы, а правосудие временно отменяется. Тарелка и то, что на ней, когда кишечник начинает свою всепожирающую работу, приковывает внимание, овладевает духом, сначала гипнотизирует, потом происходит медленное заглатывание, переваривание, усвоение. Духовная составляющая существа улетучивается как накипь, не оставляя никаких свидетельств, никаких следов после своего ухода, исчезает более обоснованно, чем точка в пространстве в ходе математической лекции. Лихорадка, способная вернуться завтра, относится к жизни так же, как ртуть в термометре относится к зною. Лихорадка никогда

не заставит жизнь пылать, что и требовалось доказать, и тем самым освящает фрикадельки и спагетти. Жевать, когда жуют тысячи, пережевывают процесс убийства, — вот что обеспечивает необходимый общественный склад ума, позволяющий выглянуть в окошко и убедиться, что даже человеческий род можно обоснованно подвергнуть резне, изувечить, уморить, измучить, потому что жуя, сидя в кресле, хорошо одетый, утираясь салфеткой, ты постигаешь то, чего не могли постичь и мудрейшие, а именно: нет другого возможного способа жить, кроме провозглашенного мудрецами, пренебрегавшими креслом, одеждой и салфеткой. Так вот люди и снуют по этой, похожей на половую щели, которую называют улицей Бродвей: каждый день в уроч-

100

ные часы, в поисках того да сего, стараясь установить то да се, точно математики, логики, физики, астрономы и им подобные. Доказательство — это факт, а факт не имеет никакого значения, кроме того, что приписано ему теми, кто факты устанавливает.

фрикадельки съедены, бумажная салфетка брошена на пол, легкая отрыжка, и я, не зная, зачем и куда, выхожу на сверкание двадцати четырех карат и попадаю в театр. На сей раз я бреду по улицам вслед за слепым аккордеонистом. Иногда я сажусь на приступок и слушаю пение. В опере музыка не имеет смысла; здесь, на улице, она полна остроты, она трогает до умопомрачения. Спутница аккордеониста держит в руке жестяную кружку. Аккордеонист — это часть жизни, так же, как жестяная кружка, как музыка Верди, как «Метрополитен-опера». Все и вся — это часть жизни, но когда все собирается вместе — это еще не жизнь. *А жизнь когда,* спрашиваю я себя, *и почему не нынче*? Слепец уходит, а я остаюсь на приступке. Фрикадельки съедены. Они тухлы, кофе отвратителен, масло прогоркло. На что ни посмотрю — все тухлое, отвратительное, прогорклое. Улица как дурное дыхание; следующая улица не лучше, и вторая, и третья. На углу слепец опять останавливается и затягивает «Домой, в наши горы». В кармане я нахожу жевательную резинку — и жую. Жую, чтобы жевать. Нет ничего лучше, когда необходимо принять решение, а выбор — из двух зол. Приступок удобен, и никто не беспокоит меня. Я — часть мира, часть, как говорится, жизни, я здесь «свой» и не совсем свой.

Я сижу на приступке уже около часа, мечтаю. И прихожу к тем же выводам, к которым прихожу всегда, если располагаю минутой подумать наедине. Или надо немедленно идти домой и начать писать, или надо бежать и начинать новую жизнь. Мысль о книге страшит меня: надо так много сказать, что не знаешь, с чего начать. Мысль о побеге и начале новой жизни страшит не менее: значит, придется работать как негр, чтобы душа не рассталась с телом. Для человека моего темперамента мир таков, что нет ни надежды, ни выхода. Даже, если я напишу книгу, которую хочу написать, ее не примут: я очень хорошо познал своих соотечественников. Даже, если я *смогу* начать все заново, в том не будет пользы, поскольку в глубине души я не имею желания ни работать, ни стать полезным членом общества. Я сижу и смотрю на дом через дорогу. Он кажется мне не только безобразным и бессмысленным, как все остальные дома на улице, но от длительного рассматривания он вдруг становится абсурдным. Меня убивает сама мысль воздвигнуть приют именно здесь. Сам

101

город убивает меня своей крайней ненормальностью, убивает все в нем: стоки, эстакады, музыкальные ящики, газеты, телефоны, полицейские, дверные ручки, ночлежные дома, экраны, туалетная бумага, все. Все это могло не существовать, при этом мы бы не только ничего не потеряли, мы бы выиграли вместе со всей вселенной. Я наблюдаю за проходящими мимо: не обнаружится ли случайно среди них мой единомышленник? Предположим, я останавливаю кого-нибудь и прямо задаю ему простой вопрос. Предположим, я спрошу его так: *«Почему ты живешь так, как* ты *живешь?»* Скорее всего, он позовет полицейского. Я спрашиваю себя: разговаривает ли хоть кто-нибудь сам с собой так, как это делаю я? Я спрашиваю себя: а все ли со мной в порядке? Я прихожу к определенному заключению: я отличаюсь от *других.* И это чрезвычайно важно — взглянуть на себя. «Генри, — говорю я себе, — ты еще молод». «Генри, — говорю я, поднимаясь с приступки, потягиваясь, отряхая брюки и выплевывая жвачку, — ты еще молод, ты еще птенец, и если ты позволишь взять себя за яйца — будешь идиотом, ведь ты лучше любого из них, только тебе необходимо избавиться от ложных представлений и гуманности. Ты должен понять, Генри, мальчик мой, ты имеешь дело с головорезами, с каннибалами, которые только приоделись, побрились, надушились, но все равно они головорезы и каннибалы. Лучшее, что ты можешь сделать сейчас, Генри — это пойти и заказать шоколадное пирожное, а когда ты сядешь у автомата с содовой и будешь глядеть в оба — позабудешь о людской юдоли, ведь не исключено, что ты приглядишь себе красивую девочку и общение с ней хорошенько прочистит тебе подшипники и оставит приятный привкус во рту, тогда как думать о своем — значит нажить диспепсию, перхоть, дурной запах изо рта и энцефалит». Пока я

вот так успокаивал себя, подошел парнишка и попросил десять центов, а я щедрой рукой дал ему четверть доллара, но подумал, что лучше бы потратить деньги на сочную свиную отбивную, а не на вонючие фрикадельки, хотя какая разница — все еда, а еда снабжает энергией, а энергия — это то, что заставляет мир вертеться. И вместо шоколадного пирожного я продолжил путь, вскоре очутившись там, куда все время стремился, то есть перед окном кассы в Роузленде. А теперь, Генри, сказал я себе, если ты везучий, то встретишь дружищу Мак-грегора, который сначала задаст перцу за твой побег, а потом ссудит пятью долларами, и если ты сможешь перевести дух после подъема по лестнице, то, может быть, тоже познакомишься с нимфоманкой и на скорую руку, не разоблачаясь, вкусишь ее. Входи тихо, Генри, и смотри в оба!

102

И я вошел согласно наставлению, неслышно ступая, сдал шляпу, разумеется, помочился немного, затем медленно прошелся по лестнице, прицениваясь к партнершам этого дансинга. Все они были в полупрозрачных платьях, напудренные, надушенные, свеженькие и живые с виду, но, вероятно, до чертиков утомленные, с натруженными ножками. Мысленно я всех отведал, пока слонялся там. Это место буквально пропиталось продажной любовью — вот почему я рассчитывал найти здесь моего друга Макгрегора. Как здорово, что я больше не думаю о несовершенстве этого мира. Я отметил это, потому что на минуту, в самый момент изучения сочной попки, случился рецидив. Я опять чуть не впал в транс. Я подумал: «Боже, помоги мне, может, мне надо удрать отсюда, пойти домой и приняться за книгу? » Страшная мысль! Как-то я весь вечер провел в кресле, ничего не видя и не слыша. Должно быть, мне надо написать большую книгу, чтобы пробудиться. Лучше и не садиться. Лучше продолжать крутиться. Генри, ты должен когда-нибудь сюда вернуться с набитым карманом и посмотреть, как тебя примут. Взять сотню-другую баксов, потратить их как грязь, сказать «да» всему. Вот надменная, выточенная, будто статуэтка, держу пари, что она завьется утрем, если хорошенько ее подмазать. Допустим, она скажет: *двадцать баксов! —* а я отвечу: *разумеется!* А я, допустим, скажу: слушай, у меня тут внизу машина, поехали в Атлантик-Сити на пару дней. Генри! У тебя нет машины и нет двадцати баксов. *Не садись... продолжай движение.*

Я стоял у барьера, огораживающего зал, и наблюдал, как они проплывают мимо. Да это не безобидный отдых, это серьезный бизнес. На всех стенах зала таблички, гласящие: «Непристойные танцы запрещаются». Понятно. Не вредно поразвесить таблички на каждом углу. В Помпеях, в лупанариях*, наверное, подвешивали фаллос. А здесь на американский лад. Но означает то же самое. Я не должен думать о Помпеях, иначе придется вновь сесть за книгу. *Продолжай движение, Генри. Сосредоточься на музыке. Я* силился вообразить, как приятно провел бы время, будь у меня деньги на целую ленту билетиков, но чем больше усилий прикладывал, тем хуже получалось. И вот я стою по колено в лаве, и газ душит меня. Помпейцев убила не лава, их погубил ядовитый .газ, извергнутый вулканом. Теперь понятно, почему лава застигла их в столь странных позах, со спущенными штанами, вот как это случилось. Если вдруг Нью-Йорк постигнет та же участь — что за музей выйдет! Мой друг Мактрегор, стоящий у раковины, скребущий член... маэстро абортов Ист-Сайда с руками по

103

локоть в крови... монашки на кровати, мастурбирующие друг друга... аукционист с колотушкой в руке... телефонные барышни у коммутатора... Д.П. Морганана, сидящий на толчке, безмятежно подтирающий жопу... детективы с дубинками, чинящие пристрастный допрос... стриптизерки, дающие последний стрип-тиз...

Стою по колено в лаве, глаза застилает сперма: Д.П. Морганана* безмятежно подтирает жопу, пока телефонные барышни подключают коммутаторы, пока детективы с резиновыми дубинками ведут пристрастный допрос, пока мой друг Макгрегор выскребает микробы из члена, проветривает его, изучает под микроскопом. Все застигнуты со спущенными штанами, включая стриптизерок, которые вовсе не носят штанов, не носят бород, не носят усов, лишь лоскуток, прикрывающий маленькие подмигивающие пизденки. Сестра Антолина лежит на монастырской кровати с туго подвязанной требухой, руки уперты в бока, и ждет Воскресения, ждет, ждет жизни без грыжи, без полового акта, без греха, без дьявола, а сама в это время грызет печенье, красный перец, дивные маслины, маленькую головку сыра. Еврейские парни в Ист-Сайде, в Гарлеме, Бронксе, Канарси, Браунсв-илле поднимают и опускают жалюзи, попрошайничают, клянчат, опрокидывают сосисочные автоматы, забивают сточные трубы, словно черти грабят на улице, а если вы пикнете, вы пикнете в последний раз. Когда бы я имел в кармане двенадцать сот билетиков в «роллс-ройс», поджидающий меня у входа, я бы провел время замечательно до изнеможения, и всех бы отведал, невзирая на возраст, пол, расу, национальность, вероисповедание, место рождения и воспитание. Такие, как я, не растворяются: я — это я, а мир — это мир. Мир делится на

три части, из которых две составляют фрикадельки и спагетти, а третья — громадный сифилитический шанкр. Надменная, выточенная, будто статуэтка, вероятно, в любви не лучше холодной индейки, нечто вроде *сап апопуте,* залепленной золотым листом и оловянной фольгой. Оборотной стороной отчаяния и утраты иллюзий всегда оказывается отсутствие худшего и дивиденды уныния. Нет ничего скучнее и отвратительнее разгула веселости, схваченной щелчком механического глаза механической эпохи:

жизни, вызревающей в черном ящике, негатива, тронутого кислотой, дающего одномоментное подобие небытия. На дальней окраине этого одномоментного небытия появляется мой друг Макгрегор, становится рядом со мной, и с ним та, о ком он говорил, нимфоманка по имени Паула. Ее раскачивающаяся походка свободна и развязна, она может принять и спереди и сзади, а все ее движения излучаются

104

из области паха, всегда в равновесии, всегда готовы плыть, извиваться, вертеться, обжимать, глазами хлопать, ногами сучить, плотью дрожать, словно озеро, рябое от бриза. Это само воплощение сексуальной галлюцинации: морская нимфа, дергающаяся в руках маньяка. Я наблюдал за ними, пока они, тесно прижавшись друг к другу, судорожно передвигались по залу. Их движения напоминали брачные игры осьминога. Между покачивающихся щупалец мерцает и вспыхивает музыка, то рассыпающаяся каскадом спермы и розовой воды, то опять собирающаяся в маслянистую струю, столб без опоры, то разрушающаяся как мел, оставляя верхнюю часть ноги фосфоресцировать: зебра, стоящая в бассейне золотой патоки, одна нога полосатая, другая оплавленная. Золотой паточный осьминог с резиновыми сочленениями и оплывшими конечностями, его половые признаки то распускаются, то сплетаются узлом. На дне морском устрицы корчатся в пляске святого Витта, иные стиснули челюсти, иные не разнимут колен. Музыка брызжет крысиным ядом, ядом гремучих змей, тухлым дыханием гардений, слюной священного яка, потом выхухоля, сладкой ностальгией прокаженного. Эта музыка — диаррея, озеро бензина, затхлое от тараканов и выдержанной лошадиной мочи. Пустяковые возгласы — это слюнявая пена эпилептика, полуночная испарина падшего негра, онанируемого евреем. Вся Америка — это вой тромбона, надломленное, исступленное ржание дюгоней, пропадающих в гангрене на мысе Гаттерас, в Пойнт-Ломе, на Лабрадоре, в Канарси и в промежуточных пунктах. Осьминог отплясывает неслыханную румбу Плюющегося Дьявола*, румбу в стиле резинового болвана. Нимфа Лаура танцует румбу, ее половые признаки отслоились и висят как коровий хвост. В утробе тромбона покоится душа Америки, извергающая свое довольное сердце. Ничто не растрачено попусту — ни капли дрисны. В золотой, паточной мечте о счастье, в танце кипящей мочи и бензина, великая душа американского континента галопирует как осьминог, подняты все паруса, люки задраены, двигатель гудит как динамо. Великая динамическая душа схвачена щелчком камеры в самый момент горячей брачной игры: бескровная, будто рыба, скользкая словно слизь - душа народа, вступающего в беспорядочные связи на дне морском, выпучившего глаза от желания терзаемого похотью. Танец субботней ночи, танец канталуп , гниющих в куче отбросов, танец салатовых соплей и склизких притирок, предназначенных для нежных частей тела. Танец музыкального ящика и его чудовищных изобретателей. Танец револьвера и пользующихся им слизней. 1анец резиновой дубинки, расплющивающей мозги до

105

пульпы полипов. Танец магнето-машины, неискрящейся искры, мягкого рокота механизма, скорости граммофонного диска, курса доллара и мертвых, изуродованных лесов. Субботняя ночь в танце душевной пустоты, все прыгающие танцоры — функциональные узлы в пляске святого Витта, порожденной мечтой стригущего лишая. Нимфа Лаура размахивает мандой, ее губы, подобные лепесткам розы, клацают, будто подшипники, ее ягодицы то выпячиваются, то втягиваются. Прижавшись друг к другу без просвета они являют собой совокупляющиеся трупы. А потом бац! Музыка прекращается, словно повернули выключатель, и с остановкой музыки танцоры расходятся, руки-ноги целы — подобно чаинкам, опускающимся на дно стакана. Воздух наполнен словами, медленным шипением рыбы, поджаривающейся на сковородке. Треп опустошенной души напоминает ругань обезьян на верхушках деревьев. Воздух наполнен словами, вылетающими через вентиляционные отверстия, возвращающимися через гофрированные дымоходы, летящими, как антилопы, полосатыми, как зебра, то лежащими спокойно, как моллюск, то изрыгающими пламя. Нимфа Лаура холодна, словно статуя, у которой время стерло признаки пола, а волосы еще полны музыкального совершенства. На краю сна стоит Лаура, ее губы безгласны, ее слова падают как цветочная пыльца. Лаура Петрарки села в такси, каждое слово зарегистрировано кассовым аппаратом, стерилизовано, затем подвержено прижиганию. Василиск Лаура выполнена целиком из асбеста, она шагает к месту аутодафе, набив рот жевательной резинкой. Все тип-топ — говорят ее уста. Тяжкие, выпяченные уста морской раковины,

уста Лауры, уста обреченной любви уранистов. Все течет во мраке под уклон. Последние осадки бормочущих губ морской раковины сползают с берега Лабрадора и движутся к востоку вместе с потоком грязи, движутся к звездам в йодном дрейфе. Утраченная Лаура, последняя у Петрарки, медленно исчезает на краю сна. Мир не седой, но тусклый, легкий бамбуковый сон возвращенной невинности.

Здесь, в черноте взбесившегося небытия пустоты и одиночества, все оставляет мрачное чувство насыщенного уныния, не столь далекого от высшего предела отчаяния, которое есть не что иное как веселая юношеская причуда полного разрыва смерти с жизнью. Из опрокинутого конуса экстаза жизнь вновь поднимется на высоту прозаического небоскреба, увлечет и меня за волосы и зубы — отвращающая тоскливой пустой радостью, оживленный плод, мертворожденная личинка, ожидающая гниения и распада.

106

Воскресным утром меня разбудил телефонный звонок. Мой друг, Макси Шнадиг, сообщил о смерти нашего общего знакомого Люка Ральстона. Макси придал голосу скорбный тон, и это покоробило меня. Люк был отличным парнем, сказал он. Это тоже мне показалось фальшивым, поскольку Люк и в лучшей форме был так себе, совсем не то, что зовется отличным парнем. Люк был бабой, а когда я узнал его поближе, оказался несносным типом. Все это я и выдал Макси по телефону. Судя по его репликам, ему не слишком понравились мои слова. Он сказал, что Люк всегда был мне другом. Это правда, но только часть правды. Вся правда заключалась в том, что я был рад: Люк дал дуба в подходящий момент, мне не придется отдавать ему сто пятьдесят долларов, которые я ему задолжал. На самом деле, повесив трубку, я испытал счастье. Какое облегчение— не платить этот долг! А кончина Люка не трогала меня никоим образом. Напротив, появилась возможность нанести визит его сестре Лотти, которую я давно хотел, но все как-то не получалось. А теперь можно прямо днем пойти к ней с моими соболезнованиями. Ее муж будет на службе, нам ничто не помешает. Я представил себе, как обниму ее и начну успокаивать; ничто не сравнится с прикосновением к женщине, когда та в печали. Я видел, как широко открываются ее глаза — у нее прекрасные большие серые глаза — пока я веду ее к кушетке. Она из тех женщин, что готовы отдаться, делая вид, будто заняты разговором о музыке и тому подобном. Ей не нравилась обнаженная реальность, голые факты, так сказать. В то же время у нее хватит ума подстелить полотенце, чтобы не испачкать кушетку. Я знаю ее всю насквозь. Я знаю, что сейчас самое время взять ее, сейчас, когда она слегка потеряла голову от смерти дорогого Люка — о котором, к слову, не очень-то часто вспоминала. К сожалению, сегодня воскресенье, и муж наверняка дома. Я опять лег в постель и начал думать сначала о Люке и обо всем, что он для меня сделал, потом о ней, о Лотти. Лотти Самерс ее звали — мне всегда нравилось это имя. Очень подходит к ней. Люк был костлявый как кочерга, лицо скуластое, весь из себя правильный — я молчу! Она — как раз наоборот: мягкая, круглая, с протяжной речью, ласкающими словами и томными движениями, умело использующая свои глаза. Никто не принял бы их за брата и сестру. Я так возбудился от этих мыслей, что попробовал обнять жену. Но несчастное создание, отравленное пуританским воспитанием, изобразило возмущение. Она любила Люка. Она не скажет, что он был отличным парнем, это ей не свойственно, но она всегда считала его честным, преданным, настоящим другом и т. д.

107

Но у меня так много преданных, честных, верных друзей, что все это для меня чепуха. В конце концов мы зашли так далеко в споре о Люке, что она решила взять верх истерикой, принялась рыдать и стонать — все это, заметьте, в кровати. Я вспомнил о том, что голоден. Затея проплакать до завтрака показалась мне чудовищной. Я спустился в кухню и приготовил себе замечательный завтрак, а покончив с ним, про себя посмеялся над Люком, о полутораста баксах, снятых с повестки дня благодаря его неожиданной смерти, над Лотти, над тем, как она взглянет на меня, когда наступит минута и, наконец, что самое нелепое, я представил Макси, Макси Шнадига, верного друга Люка, стоящим у могилы с большим венком и, может быть, бросающим горсть земли на гроб, когда тот опускают в яму. Это все казалось каким-то глупым. Не знаю, почему это могло мне показаться забавным, но-это правда. Макси — простак. Я его терпел только потому, что иногда брал у него взаймы. А еще потому что у него была сестра Рита. Часто я принимал его приглашения домой, делая вид, что интересуюсь его душевнобольным братом. У него дома всегда отлично кормили, а полоумный братец был истинным развлечением. 'Он выглядел как шимпанзе и болтал тоже как шимпанзе. Макси был слишком прост, чтобы догадаться, что я просто развлекаюсь; он думал, что я принимаю искреннее участие в его братце.

Было замечательное воскресенье, а у меня в кармане, как обычно, что-то около двадцати пяти центов. Я брел, раздумывая, где же раздобыть денег. Не то чтобы было

трудно наскрести где-нибудь небольшую сумму, важно было раздобыть деньги с наименьшими издержками. В голову приходили парни из округи, парни, которые одолжат без всяких разговоров, но потом непременно последует долгая беседа — о религии, о политике, об искусстве. Еще один способ, который я не раз применял в случае крайней нужды, — это зайти в одно из наших телеграфных отделений, делая вид, будто наносишь дружеский визит в порядке инспекции и потом, в самый последний момент, предложить им снять с кассы до завтра один-два доллара. Но на этом тоже потеряешь время, да и беседа не легче. Холодно все взвесив и просчитав, я остановился на моем юном друге Керли из Гарлема. Если у Керли нет денег, он стащит их у матери из кошелька. На него можно положиться. Конечно, он захочет пойти со мной, но я всегда найду способ избавиться от него до вечера. Он еще ребенок, и мне не обязательно с ним деликатничать.

В Керли мне особенно нравилось то, что, несмотря на его семнадцать лет, он был начисто лишен моральных ус-

108

тоев, нравственных колебаний, угрызений совести. Ко мне он пришел четырнадцатилетним мальчишкой, искавшим работу курьера. Его родители, в то время жившие в Южной Африке, отправили его в Нью-Йорк на попечение тетки, которая чуть ли не при первой встрече совратила его. Он никогда не учился в школе, потому что его родители все время путешествовали: они были бродячими артистами. Отец несколько раз побывал в тюрьме. Кстати, он был ему не настоящий отец. Одним словом, Керли появился у меня с просьбой о помощи, пареньку очень недоставало друзей. С первого взгляда я понял, что могу сделать для него кое-что. Все сразу проявили к нему симпатию, особенно женщины. Он стал любимцем офиса. Однако вскоре я понял, что он неисправим, что лучше всего в нем развиты задатки умного преступника. Но он мне все равно нравился, и я продолжал помогать ему, хотя и держал с ним ухо востро. Думаю, он мне нравился в особенности благодаря тому, что был начисто лишен чувства почтения. Он сделал бы все, что угодно, ради меня, и в то же время он меня обманывал. Я не мог ставить ему это в вину, просто это восхищало меня. Тем более, что лгал он искренне. Он просто не мог не лгать. Возьмем хотя бы его тетю Софи. Он говорил, что она его совратила. Может, оно и правда, но любопытно то, что он дал ей себя совратить, когда они вместе читали Библию. Хоть и молод он был, но должен был сообразить, для чего он понадобился тете Софи. Значит, он позволил себя, как он выразился, совратить, а потом, после короткого знакомства, он предложил тетю Софи мне. А еще он дошел до прямого шантажа. Когда ему сильно недоставало денег, он шел к тете и вымогал у нее — под хитроумными угрозами разоблачения. Надо думать, с невинным выражением на лице. Выглядел он как ангел, удивительно большие влажные глаза смотрели открыто и искренне. Все сделаю для тебя — взгляд преданного пса. И довольно хитрый — мог так сыграть на ваших чувствах, что вы потакали его маленьким прихотям. Вдобавок страшно смышленый. Коварная сметливость лиса и крайняя бессердечность шакала.

Потому-то я вовсе не удивился, в один прекрасный день узнав, что он завел шашни с Валеской. После Валески он переключился на ее кузину, к тому времени уже дефлорированную и нуждавшуюся в дюжем самце. А после кузины наконец дошел до карлицы, которая свила себе милое гнездышко у Валески. Карлица заинтересовала его постольку, поскольку обладала совершенно нормальной пиздой. сперва он и не думал ничего с ней делать, ибо, по его словам, она оказалась омерзительной маленькой лес-

109

биянкой, но как-то раз он зашел в ванную, когда'та мылась, с этого все и началось. Он жаловался мне, что для него многовато — угождать троим. Больше всех он любил кузину, ибо у той водились деньжата, с которыми она расставалась без труда. Валеска слишком уклончива, и кроме того, слишком крепко пахнет. На самом деле он был болен женщинами. Он сказал, что это вина тети Софи. Она положила нехорошее начало. Рассказывая, он шарил по всем ящикам бюро. Отец — сукин сын, давно пора его повесить, говорит он, ничего не найдя. Он показывает мне револьвер с перламутровой рукояткой. А что, если застрелить его? Пистолет слишком хорошо для старика, лучше он подорвет его динамитом. Стараясь понять, за что он так ненавидит папашу, я обнаруживаю, что юнец неравнодушен к своей матери. Он не мог спокойно смотреть, как старик отправляется с ней в спальню. Уж не хочешь ли ты сказать, что ревнуешь к предку, спросил я? Да, ревную. Знаешь, по правде, я и сам не прочь переспать с матерью. А почему бы нет? Так вот почему он позволил тетке совратить его: он все время думал о своей матери. В таком случае, не стыдно тебе лезть к ней в карман, спросил я? Он улыбнулся. Это не ее деньги, объяснил он, это *его.* Что они сделали для меня? Они вечно отдавали меня на попечение посторонних. Прежде всего они научили меня обманывать. Вырастить ребенка — не поле перейти...

В доме не нашлось ни цента. Керли предложил мне пойти к нему в офис, и пока я буду

отвлекать управляющего разговорами, он зайдет в раздевалку и почистит карманы. А если я не трушу, он почистит еще и кассу. Они нас ни за что не заподозрят, сказал он. А ты занимался этим раньше? — спрашиваю я. Еще бы, много раз, прямо под носом у управляющего. И они ничего не пронюхали? Как же, уволили нескольких клерков. А может, лучше занять у тети Софи? — предлагаю я. Это проще простого, но придется ублажать ее на скорую руку, а он впредь не хочет этим заниматься. Она *воняет,* тетя Софи. Что ты хочешь сказать: воняет? Ну, видишь ли, она нерегулярно подмывается. А в чем дело? Ни в чем, просто она набожна. И стала жирная и потливая. И все еще обожает заниматься любовью? *Обожает?* Да она с ума сходит по этому делу. Это отвратительно. Как будто ложишься в постель со свиньей. А что о ней говорит твоя матушка? О *ней?* Зла на нее как черт. Она думает, будто тетушка Софи хочет соблазнить старика. Что ж, может и хочет. Хотя нет, у старика есть кое-что получше. Я как-то вечером застукал его в кино, он целовался с молоденькой девчонкой. С маникюршей из отеля «Астор». Он, вероятно, тянет из нее денежки.

110

Иначе не стал бы ухлестывать за женщиной. Он грязный сукин сын, и я бы хотел в один прекрасный день увидеть его на электрическом стуле. Ты сам в один прекрасный день сядешь на электрический стул, если не будешь осторожен *Кто, я?* Только не я! Я достаточно умен. Ты умен, да уж больно длинный у тебя язык. На твоем месте я бы держал его за зубами. Знаешь, добавил я, чтобы немного припугнуть его, тобой интересуется 0'Рурк; если ты попадешься ему, с тобой все кончено... Так почему же он не закладывает меня, если он что-то знает? Я тебе не верю.

Я объясняю ему доходчиво, что 0'Рурк из той редкой породы людей, которые предпочитают не портить жизнь другим, если могут помочь им. 0'Рурк, говорю я, обладает инстинктом сыщика, который проявляется в том, что ему нравится знать все, что происходит вокруг него; человеческие характеры выстраиваются у него в голове и постоянно там хранятся, как вражеская местность хранится в голове полководца. Все думают, что 0'Рурк шпионит да вынюхивает, что он получает особое удовольствие, исполняя свою грязную работенку на благо компании. Это не так. 0'Рурк — прирожденный исследователь человеческой натуры. Он постигает все без усилий, и именно благодаря его особому взгляду на мир. А теперь насчет тебя... Я нисколько не сомневаюсь, что он знает о тебе все. Я, признаюсь, никогда не разговаривал с ним о тебе, но моя уверенность основывается на вопросах, которые он иногда задает. Может, он просто пасет тебя. Однажды вечером он нагрянет к тебе и, не исключено, предложит пойти куда-нибудь перекусить. И, как гром с ясного неба, вдруг скажет: помнишь, Керли, когда ты работал в таком-то офисе, оттуда уволили мелкого еврея, клерка, за то, что тот обокрал кассу? Я думаю, что ты в ту ночь работал на сверхурочных, не так ли? Интересно получается. Знаешь ли, непонятно, украл эти деньги клерк или кто-то еще. Его, конечно, уволили за халатность, но сказать наверняка, что украл именно он, нельзя. Я думал об этом дельце. И у меня есть подозрения на этот счет, но нет полной уверенности... Тут он скорее всего вопьется в тебя глазами и сменит тему. Может быть, он расскажет тебе о воришке, который думал, что он очень умный и никогда не попадется. Он будет рассказывать тебе эту историю, пока ты не почувствуешь под собой пылающие угли. Тогда ты захочешь покончить с этим, но не успеешь уйти, как он вдруг вспомнит о другом интересном случае и попросит тебя задержаться и отведать еще одно блюдо. И так будет продолжаться три-четыре часа кряду, без малейшего прямого намека. И все это время он будет внимательно изучать тебя, а когда ты, наконец,

111

почувствуешь себя свободным, когда вы обменяетесь прощальным рукопожатием и ты вздохнешь с облегчением, он преградит тебе путь, всадит свою тяжелую квадратную ступню между твоих ног, схватит тебя за лацкан и, глядя прямо в глаза, скажет мягким приятным голосом: *«Ну что, паренек, как ли полагаешь, не лучше ли во всем. признаться?»* И если ты подумаешь, что он берет тебя на пушку, изобразишь непонимание и уйдешь прочь, ты совершишь ошибку. Потому что в этот момент, когда он предлагает тебе признаться, он говорит куда как серьезно, он уже ни перед чем не остановится. Когда вы подойдете к этому моменту, советую выложить все до конца, до последнего пенни. Он не потребует, чтобы я уволил тебя, и не станет угрожать тюрьмой — просто он спокойно предложит тебе откладывать каждую неделю понемногу и потом все вернуть ему. Умнее его нет. Скорее всего, он и мне ничего не скажет. Он очень деликатен в таких вещах, поверь мне.

— Допустим, — неожиданно говорит Керли, — я скажу ему, будто украл эти деньги, чтобы помочь тебе? Что тогда? Он истерически захохотал.

— Не думаю, что 0'Рурк поверит на слово, — сказал я равнодушно. — Конечно, можешь попробовать, если считаешь, что это поможет отмазаться. Но, думаю, эффект получится противоположный. 0'Рурк знает меня... Он знает, что я не позволил бы тебе

сделать такое.

— Но ты же позволил!

— Я не просил тебя делать это. Ты сделал это без моего ведома. Это совершенно разные вещи. Кроме того, как ты сможешь доказать, что я принял от тебя деньги? И не покажется ли странным обвинять меня, того, кто покровительствует тебе, в том, что я подбил тебя на такое дело? Кто тебе поверит? Только не 0'Рурк. Кроме того, он еще тебя не поймал. Зачем же тревожиться заранее? Может, ты начнешь понемногу возвращать деньги в кассу, пока он ничего не заподозрил? Делай это анонимно.

Тут Керли совсем растерялся. В шкафу нашлось немного шнапса, заначка старика, и я предложил выпить для храбрости. Пока мы пили шнапс, я вдруг сообразил, что Макси, по его словам, будет сегодня в доме Люка .со своими соболезнованиями. Самое время застать Макси. Он расчувствуется, и тут-то я и повешу ему лапшу на уши. Скажу, что крутой тон в телефонном разговоре объясняется моей крайней растерянностью: не знаю, куда ткнуться, где раздобыть десять долларов, которые мне позарез нужны. А заодно увижусь с Лотти. Я улыбнулся при мысли об этом. Если бы Люк мог увидеть, какой дружок у него был! Самое

112

трудное — подойти к гробу и бросить печальный взгляд на Люка. *Только бы не засмеяться.*

Я объяснил свой план Керли. Он посмеялся от души, до слез Кстати, именно поэтому я решил, что будет спокойней оставить его дожидаться внизу, пока я попытаюсь стрельнуть деньги. Итак, мы решились.

В доме Люка как раз собирались обедать, когда я вошел, напустив на себя самый печальный вид, какой только мог изобразить. Макси вздрогнул от моего неожиданного появления. Лотти уже ушла. Это помогло мне сохранить печальный вид. Я попросил оставить меня одного с Люком на несколько минут, но Макси настоял на своем присутствии. Остальные согласились, полагаю, с охотой: ведь им все утро пришлось провожать к гробу соболезнующих. И как добропорядочные немцы, они не привыкли прерывать обед. Я смотрел на Люка все с тем же скорбным выражением, и тут поймал на себе испытующий взгляд Макси. Я поднял глаза и улыбнулся ему, как улыбался всегда. Он вконец смутился. «Послушай, Макси, — сказал я, — ты уверен, что они нас не слышат?» Казалось, он озадачился и опечалился еще сильней, но все-таки утвердительно кивнул в ответ. «Видишь ли, Макси... Я пришел сюда специально, чтобы увидеть тебя... и занять несколько баксов. Знаю, это гадко, представь, в каком я отчаянном положении, что решился на это». Он важно затряс головой, когда я выложил свое, а рот его округлился до большой буквы «О», словно он собирался с духом. «Слушай, Макси, — быстро заговорил я тихим печальным голосом, — сейчас не время читать мне нотации. Если ты хочешь помочь мне, дай десять долларов прямо сейчас... опусти их мне в карман, пока я прощаюсь с Люком. Ты знаешь, я действительно любил Люка. По телефону я наговорил Бог знает что, ты напал на меня в неподходящий момент. Жена так просто волосы на себе рвала. Мы на мели, Макси, и я очень рассчитываю на тебя. Выйди со мной, если хочешь, и я объясню тебе все подробнее...» Макси, как я и ожидал, не захотел со мной выйти. Он и помыслить не мог о том, что оставит родных Люка в такой момент...

— Ладно, тогда давай сейчас, — сказал я почти сердито. — Все объясню тебе завтра. Встретимся утром в кафе, за нашим столиком.

Генри, послушай, — сказал Макси, шаря в кармане, страшась, что его могут застать с деньгами в руке в такую минуту. — Послушай, я не против дать тебе взаймы, но разве ты не мог найти другое место, чтобы увидеться со мной? Это не из-за Люка ... это из-за...

Он начал что-то мямлить, не зная, что сказать.

113

— Ради Бога, — пробормотал я, приблизившись к Люку настолько, что если бы кто-нибудь вошел — ни за что бы не догадался о цели моего визита, — ради Бога, не будем сейчас об этом. Давай сюда, и дело с концом. Я в отчаянном положении, ты понимаешь?

Макси был так смущен и взволнован, что не сумел отделить банкноту, не вытащив из кармана всю пачку. Благоговейно склонившись над гробом, я ухватил верхнюю бумажку из пачки, выглядывавшей из кармана. Я не смог рассмотреть, один это или десять долларов. Я не тратил время на изучение банкноты, просто спрятал ее как можно быстрее и выпрямился. Потом я сжал руку Макси и возвратился в кухню, где вся семья обедала торжественно, но аппетитно. Они хотели, чтобы я остался, отказаться было неловко, но я отказался, отговорился как-то и ушел, а лицо уже начало дергаться от истерического хохота.

На углу, у фонарного столба, меня поджидал Керли. К этому времени я не мог сдерживаться, схватил Керли за руку, увлек его вдоль по улице, разразившись хохотом. Редко когда я так смеялся. Казалось, смех никогда не прекратится. Каждый раз, стоило только открыть рот, чтобы объяснить Керли, как было дело, начинался новый приступ. В

конце концов я испугался. Я подумал, что могу помереть со смеху. Когда я ухитрился чуть успокоиться, после долгого молчания Керли спросил: «Ты получил *деньги?»* Это вызвало новый приступ смеха, еще более жестокий, чем раньше. Я прислонился к уличной загородке и схватился за живот. В кишках я почувствовал ужасную, но приятную боль.

Как нельзя лучше меня привел в чувство вид банкноты, которую я выудил из пачки Макси. Двадцать долларов! Это меня враз отрезвило. И рассердило в то же время. Рассердило меня то, что в кармане у этого идиота Макси было еще много бумажек, двадцаток, десяток, пятерок. Если бы он вышел со мной, как я ему предлагал, если бы я хорошенько рассмотрел его пачку — я бы не испытал угрызений совести, даже ободрав его как липку. А тут, не знаю почему, рассердился. Я сразу же решил побыстрей избавиться от Керли, всучив ему пять долларов, и отправиться кутить. Мне очень хотелось подцепить какую-нибудь развратную сучку, не ведающую о приличиях. Но где встретить такую? *А какую?* Ладно, сперва избавимся от Керли. Керли, как пить дать, обидится. Он рассчитывал провести время в моей компании. Скорее всего, он откажется от пятерки, но когда увидит, что я охотно принимаю ее назад, быстренько спрячет денежку.

И снова вечер, непредвиденно пустой, холодный, меха-

114

нический вечер Нью-Йорка, в котором нет покоя, нет убежища, нет близости. Безмерное, зябкое одиночество в тысяченогой толпе, холодный, напрасный огонь электрической рекламы, подавляющая никчемность женского совершенства, когда совершенство перешло границу пола и обратилось в знак минус, вредя само себе, будто электричество, будто безучастная энергия самцов, будто планеты, которые нельзя увидеть, будто мирные программы, будто любовь по радио. Иметь деньги в кармане в гуще белой, безучастной энергии, бесцельно бродить, бесплодно слоняться в сиянии набеленных улиц, рассуждать вслух в полном одиночестве на грани помешательства, быть в городе, великом городе, в последний раз быть в величайшем городе мира и не чувствовать ни единой его части, — означает самому стать городом, миром мертвого камня, напрасного света, невнятного движения, неуловимого и неисчислимого, тайного совершенства всего, что есть минус. Гулять с деньгами в ночной толпе, быть под защитой денег, успокоенным деньгами, отупевшим от денег, сама толпа есть деньги, дыхание денег, нет ни единого предмета, который не деньги, деньги, деньги всюду и этого мало, а потом нет денег или мало денег, или меньше денег, или больше денег — но деньги, всегда деньги, и если вы имеете деньги, или не имеете денег — лишь деньги принимаются в расчет, и деньги делают деньги, но что заставляет *деньги .делать деньга?*

Снова танцевальный зал, ритмы денег, любовь, что приходит по радио, обезличенное, бескрылое прикосновение толпы. Отчаяние, повергающее ниц, к самым подошвам, уныние, безумство. Среди высочайшего механического совершенства — танцевать без радости, быть столь безнадежно одиноким, чуть ли не перестать быть человеком, потому что ты человек. Если бы существовала жизнь на луне, не это ли могло быть самым совершенным, безрадостным ее отражением? Если покинуть солнце — означает дойти до холодящего идиотизма луны, то мы достигли нашей цели, и жизнь — это только холодный, лунный накал солнца. Это танец ледяной жизни в пустоте атома, и чем больше мы отдаемся танцу, тем холодней становится.

Так вот мы и танцуем, в мерзлом, ледяном ритме, на длинных и коротких волнах, танцуем танец внутри чаши небытия, и каждый сантиметр вожделения требует долларов и центов. Мы нанимаем одну за другой совершенных партнерш, выискивая чувствительные изъяны, но они безупречны и непроницаемы в непогрешимой лунной густоте. Это ледяная белая непорочность любовной- логики, тенета отлива, отрепки абсолютного пустословия. И среди этих

115

отрепков девственной логики совершенства я танцую душу-танец чистого отчаяния, последний белый человек дает зеленую улицу последней эмоции, горилла отчаяния бьет себя в грудь лапами незапятнанными, в перчатках. Я — горилла, ощущающая рост крыльев, испытывающая головокружение в центре атласной пустоты; вечер разрастается, словно электрическое растение, выпускающее раскаленные добела бутоны в бархатно-черное пространство. Я — черное пространство ночи, в котором с болью лопаются бутоны, морская звезда, плывущая по мерзлой лунной росе. Я микроб нового безумия, вразумительно изъясняющийся уродец, рыдание, застрявшее, как заноза, в нежной мякоти души. Я танцую во всех отношениях нормальный и очаровательный танец ангельской гориллы. А вот мои братья и сестры, они ненормальны и далеко им до ангелов. Мы танцуем в полости чаши небытия. Мы из одной плоти, но далеки друг от друга, как звезды.

В эту минуту мне все ясно: ясно, что в этой логике нет спасения, сам город являет

собой высшую форму безумия, и любая и каждая его часть, органическая или неорганическая, выражает это безумие. Я чувствую себя нелепо и униженно великим, не то чтобы мегаломаньяк, а как человеческая спора, как мертвая губка жизни, набухшая до предела. Я уже не смотрю в глаза женщине, которую держу в руках, плыву сквозь: голова, и руки, и ноги — и я вижу, что за глазными впадинами есть неисследованная область, область будущего, и здесь нет никакой логики, только спокойное зарождение событий, неподвластных ни дню, ни ночи, ни вчера, ни завтра. Глаз, привыкший сосредоточиваться на точках в пространстве, теперь концентрируется на точках во времени; глаз по своему желанию заглядывает вперед и обращается назад. Тот глаз, который был моим «Я», больше не существует; глаз, лишенный меня, не показывает и не высвечивает. Он перемещается вдоль линии горизонта, безустанный, несведущий вояжер. Стараясь сохранить потерянное тело, я стал логичным как мой город: указательный палец в анатомии совершенства. Я перерос собственную смерть, крепкий и ясный духом. Я разделился на бесконечные вчера, бесконечные завтра, опираясь лишь на выступы событий, когда дома нет, осталась только стена со множеством окон. Я должен разрушить стены и окна, последнее убежище потерянного тела, если хочу воссоединиться с настоящим. Вот почему я больше не смотрю в глаза или *за* глаза, но при помощи всемогущей ловкости желания плыву сквозь глаза, головы, и руки, и ноги, исследуя кривую зрения. Я заглядываю в себя так, как мать, носившая меня, заглянула однажды за

116

угол времени. Я разрушил стену, созданную рождением, и линия вояжа стала круглой и плавной, ровной, гладкой, словно пупок. Нет ни формы, ни образа, ни архитектуры — только концентрические полеты явного сумасшествия. Я — стрела овеществленной мечты. Меня подтверждает полет. Я — ноль, если упаду на землю.

Такие минуты проходят, провидческие минуты времени без пространства, когда я знаю все, и, зная все, я проваливаюсь под своды обезличенной мечты.

В промежутках между этими минутами, в расщелинах мечты, пробивается жизнь, но напрасно: подмостки сумасшедшей городской логики не могут служить опорой. Как существо из плоти и крови, я каждый день спускаюсь, чтобы стать бесплотным, бескровным городом, чье совершенство есть сумма всей логики, несущей смерть мечте. Я сражаюсь против смерти океана, в котором моя собственная смерть — исчезающе малая капля. Чтобы поднять мою личную жизнь хотя бы на долю дюйма над затягивающим в себя морем смерти, я должен иметь веру сильнее, чем Христова, стать мудрее величайшего из пророков. Мне надо иметь способность и терпение сформулировать то, что не содержится в языке нашего времени, ибо то, что сейчас понятно, лишено смысла. Мне не нужны глаза, ибо они дают лишь образ познанного. Все мое тело должно стать неизменным пучком света, движущимся с величайшей быстротой, неостановимым, не оглядывающимся назад, неистощимым. Город растет, будто раковая опухоль; я должен расти как солнце. Городу вечно чего-нибудь недостает; он — ненасытная белая вошь, которая должна рано или поздно умереть от истощения. Я обязан уморить голодом эту белую вошь, которая меня пожирает. Я должен умереть как город для того чтобы опять стать человеком. Поэтому я затыкаю уши, глаза, рот.

Прежде чем я вновь стану вполне человеком, я, вероятно, буду существовать как парк, некий естественный парк, куда люди придут отдохнуть, провести время. Их слова и поступки не будут иметь большого значения, ведь они принесут лишь свою скуку, усталость, безнадежность. Я буду только буфером между белой вошью и красным телом. Я буду вентилятором, разгоняющим яды, выделенные в борьбе за совершенство неусовершенствуемого. Я буду законом и порядком, заведенным в природе, которую я вижу в мечтах. Я буду диким парком среди кошмара совершенства, спокойным, неколебимым сновидением среди безумной деятельности, случайным ударом на белом биллиардном столе логики, мне не будет знаком ни плач, ни протест, но всегда буду внимать и воспроизводить в абсолютной ти-

117

шине. До тех пор, пока не придет время вновь стать человеком, я не скажу ни слова. Я не предприму ни единой попытки ни сохранить, ни разрушить. Я не стану ни выносить приговор, ни критиковать. Те, у кого хватит воли, придут ко мне на созерцание и раздумья; те, у кого не хватит воли, умрут так, как они живут: в беспорядке, в отчаянии, в неведении истины искупления. Если мне кто-то скажет — ты должен стать религиозным — я ничего не отвечу. Если мне кто-то скажет — у тебя сейчас нет времени, тебя ждет развратная сучка — я ничего не отвечу. И даже если соберутся революционные тучи, я ничего не отвечу. Всегда будут сучки и революции за углом, однако мать, выносившая меня, часто поворачивала за угол и не давала ответа, а потом она вывернулась на изнанку — *и ответом стал я.*

Вряд ли можно рассчитывать, что дикая мания совершенства может эволюционировать в дикий парк, даже я на это не рассчитываю, но куда лучше,

приближаясь к смерти, жить в милосердии и естественном замешательстве. Куда как лучше, пока жизнь движется к смертному совершенству, быть глотком свежего воздуха, зеленой лужайкой, водоемом — иначе говоря, дыхательным пространством. Лучше также тихо принимать и удерживать людей в своих объятиях, ибо сколь бы неистово они не старались заглянуть за угол, ответа там нет.

Теперь я часто вспоминаю о давнем, давнем летнем дне, когда случилась драка, во время которой мы кидались камнями. В то время я гостил-у тети Каролины, в их доме неподалеку от Хеллгейтского моста. Мой двоюродный брат Джин был вместе со мной, нас окружила шайка ребят, когда мы гуляли в парке. Мы не знали, на чьей стороне мы сражаемся, но боролись мы с предельной серьезностью у кучи камней на берегу реки. Нам пришлось проявлять большую храбрость, чем другим мальчишкам, поскольку нас считали неженками. Так вышло, что мы убили насмерть одного из противников. Как только нас атаковали, мой двоюродный брат Джин кинул порядочный булыжник в главаря и угодил ему в живот. Я бросил камень почти одновременно с Джином. Мой камень попал главарю в башку, он упал и лежал, не издавая ни звука. Вскоре пришли полицейские и обнаружили, что мальчик мертв. Ему было лет восемь-девять, столько же, сколько нам. Не знаю, как бы с нами поступили, если бы поймали. Во всяком случае мы, от греха подальше, поспешили домой. По дороге мы привели себя в порядок, причесались и вернулись почти такие же чистенькие, как и ушли. Тетя Каролина, как обычно, дала нам по большому ломтю ржаного хлеба со

118

свежим маслом и маленьким кусочком сахара сверху, мы сидели за кухонным столом и слушали ее с ангельской улыбкой. Стояла необычайно жаркая погода, и тетя Каролина сказала, что нам лучше остаться дома, в большой комнате с закрытыми ставнями, и поиграть в шарики. К нам пришел наш приятель Джо Кассельбаум. Он слыл за дурачка и обычно мы надували его, но тут в молчаливом согласии мы с Джином позволили ему выиграть у нас все, что мы имели. Джо так обрадовался, что позвал нас к себе домой и заставил свою сестренку поднять платьице и продемонстрировать то, что под ним. Уизи, так ее звали, сразу же в меня влюбилась. Я приехал с другого конца города, для них это было все равно что приехать из другой страны. Им показалось, будто я даже говорю не так, как они. В то время как другие пацаны обычно обещали Уизи вознаграждение за то, что она поднимет платье, для нас она сделала это бескорыстно, по любви. Вскоре мы убедили ее больше не делать этого для других ребят: мы полюбили ее и хотели, чтобы она стала на путь истинный.

В конце того лета я расстался с двоюродным братом, и после этого мы не виделись двадцать лет. Когда мы встретились, меня глубоко впечатлило выражение невинности на его лице — как в день той драки на камнях. Заговорив с ним о драке, я удивился еще сильней, обнаружив, что он полностью забыл, что именно мы убили того мальчика. Он помнил его смерть, но говорил о ней так, как будто ни он, ни я не имели к этому отношения. Когда я упомянул имя Уизи, он с трудом сообразил, о ком идет речь. А ты помнишь дом по соседству, Джо *Кассельбаума?* Тут его лицо тронула слабая улыбка. Ему показалось невероятным, что я помню такие вещи. Он был уже женат, стал отцом, работал на-фабрике по производству модных футляров для курительных трубок. Ему казалось невероятным помнить события, случившиеся в таком далеком прошлом.

В тот вечер я ушел от него в подавленном настроении. Мне казалось, что он старается вырвать с корнем дорогую мне часть моей жизни и себя вместе с ней. Видно было, что ему дороже его коллекция тропических рыб, чем наше прекрасное прошлое. А я помнил все, все, что случилось тем летом, и особенно день драки на камнях. Бывает, я ощущаю во рту вкус того большого ломтя ржаного хлеба, который протянула мне его мать в злополучный день, острее, чем вкус еды, которую жую. А вид маленького бутона Уизи волнует чуть ли не сильней, чем то, что я держу в руке. Тот мальчик, сбитый нашим ударом, произвел на меня гораздо большее впечатление, чем история мировой оины. Все то долгое лето теперь кажется идиллией из

119

числа легенд о короле Артуре. Я часто думаю: что составляет особенность того лета, почему оно так живо запечатлелось в моей памяти? Стоит только закрыть глаза, как оживает каждый день. Смерть мальчика сама по себе не мучила меня — я перестал думать о ней через неделю. Вид Уизи, стоявшей во мраке комнаты с поднятым платьицем, тоже ушел без труда. Довольно странно, но толстый ломоть ржаного хлеба, который тетя Каролина давала всякий день, оставил более глубокий след, чем все остальные образы того лета. Я думаю об этом ... часто думаю. Может, это потому что она всегда протягивала хлеб с нежностью и сочувствием, не знакомым мне раньше? Она была такая домашняя, моя тетя Каролина. Ее лицо было тронуто оспой, но такое доброе, обаятельное лицо не мог испортить никакой физический недостаток. Она была чудовищно толста, а голос ее звучал мягко, ласкающе. Со мной она обращалась, казалось,

с большим вниманием и предупредительностью, чем с собственным сыном. Мне хотелось жить у них всегда, и я бы назвал ее своей матерью, если бы это было позволительно. Я отчетливо помню, как моя мать, навестив нас, рассердилась, что я вполне доволен новой жизнью. Она даже сказала, что я неблагодарный, и это я никогда не забуду, поскольку именно тогда я понял впервые, что быть неблагодарным иногда необходимо и некоторым полезно. Только я закрою глаза и начну вспоминать о ломте хлеба — сразу же думаю, что в этом доме я не знал, что такое получить нагоняй. Мне кажется, признайся я тете Каролине в том, что убил человека, расскажи ей в точности все, как было дело, — она обняла бы меня и простила, сразу же. Может быть, именно поэтому то лето так дорого мне. То было лето молчаливого и полного отпущения грехов. Вот почему я не могу забыть и Уизи. Ее наполняла природная доброта, девочку, полюбившую меня и ни разу не упрекнувшую меня. Она стала первым существом противоположного пола, которое восхитилось тем, что я *отличаюсь от остальньных*. После УИЗИ много чего случилось. Меня любили, но и ненавидели тоже за то, каким я был. Уизи попыталась меня понять. Ее влекло ко мне то, что я приехал из незнакомой страны, говорю на другом языке. Мне никогда не забыть сияние ее глаз, когда она представляла меня своим маленьким приятелям; казалось, ее глаза сгорают от любви и восхищения. Мы часто гуляли втроем по берегу реки вечерами, сидели у воды, говорили о том, о чем говорят все дети, когда их не видят взрослые. В наших разговорах, теперь я это хорошо понимаю, было гораздо больше здравомыслия и глубины, чем в разговорах наших родителей. Чтобы давать нам всякий

120

день толстый ломоть хлеба, нашим родителям приходилось дорого платить. Тяжелейшей расплатой было то, что они отдалялись от нас. Ибо с каждым ломтем, которым они нас питали, мы становились не просто равнодушней к ним, но мы становились высокомерней. В нашей неблагодарности мы видели нашу силу и красоту. Мы не сознавали, что наше отдаление преступно. Гибель мальчика, то, как он лежал бездыханный, не кричал и не плакал, показалась забавным, веселым представлением. С другой стороны, борьба за ему казалась унизительной и постыдной, и когда к нам подходили родители, мы чувствовали, что они нечисты, и не могли простить им это. Толстый ломоть хлеба по утрам казался особенно приятным на вкус как раз потому, что он не был нами заработан. Никогда впредь хлеб не покажется таким вкусным. Никогда впредь мы не получим его таким способом. А в день убийства он был вкуснее, чем когда бы то ни было. Он имел привкус страха, которого с тех пор недоставало. И тетя Каролина в тот день молчаливо, но полностью отпустила нам наши грехи.

Есть еще нечто в ржаном хлебе, во что я пытаюсь вникнуть — что-то смутно вкусное, устрашающее и освобождающее, нечто, связанное с первыми открытиями. Я вспоминаю о другом куске ржаного хлеба, относящемся к более раннему периоду, когда я со своим дружком Стенли повадился запускать руку в чулан. То был ворованый хлеб, и потому на вкус восхитительный: восхитительней, чем хлеб, протянутый с любовью. В акте вкушения ржаного хлеба, в прогулках и беседах, сопровождавших его, было нечто сродни откровению. Как состояние милости, состояние полного неведения, самоотречения. Что бы я ни узнавал в такие минуты, все, казалось, остается во мне нетронутым и не было страха, что я когда-нибудь потеряю приобретенное знание. Может, так происходило потому, что это не было знанием в привычном нам значении. Это было похоже на приобретение истины, хотя истина тоже всего только слово. Самое главное в разговорах за куском ржаного хлеба заключалось в том, что они происходили вне дома, вне глаз наших родителей, которых мы опасались, но не уважали. Предоставленные самим себе, мы не имели пределов для воображения. Факты мало значили для нас; к любому предмету мы подходили только как к возможности поговорить. Оглядываясь назад, я теперь удивляюсь, как здорово мы понимали друг друга, как глубоко мы проникали в самую суть характера любого — юнца и старика.

В семь лет мы уже знали наверняка: этот парень попадет в тюрьму, этот станет работягой, а тот ни на что не годится, и так далее. Наши диагнозы были абсолютно точны, точ-

121

нее, например, заключений наших родителей, или учителей, и куда точнее так называемых заключений психологов. Альфи Бетча превратился в тунеядца; Джонни Герхардт угодил на каторгу; Боб Кунст стал рабочей лошадью. Безошибочные предсказания. Знания, которые мы получали, только притупляли наше зрение. С первого дня, проведенного в школе, мы не научились ничему; напротив, мы стали бестолковыми, окутались туманом слов и абстракций.

Кусок ржаного хлеба открыл нам мир в его существе: примитивный мир, управляемый волшебством, мир, в котором страх играет ведущую роль. Мальчик, способный нагнать больше страха, становился заводилой и оставался таковым, доколе сохранял свою власть.

Были и другие мальчишки, бунтари, ими восхищались, но они никогда^ не становились заводилами. Большинство служило глиной в руках бесстрашных; меньшинство подчиняло остальных. В воздухе висело напряжение — ничто не могло быть предсказано на завтра. Эти свободные, простейшие ядра общества возбуждали острые потребности, острые эмоции, острое любопытство. Ничто не давалось даром; каждый день готовил новое испытание силы, новое поражение. Так вот, вплоть до девяти-десяти лет мы ощущали истинный вкус жизни: мы были сами собой. Точнее, те из нас, кто не был избалован вниманием родителей, кто мог спокойно гулять по улицам вечерами и открывать мир собственными глазами.

С некоторым сожалением я думаю о том, что порядочно ограниченная жизнь в раннем детстве кажется теперь беспредельной вселенной, тогда как дальнейшая жизнь, жизнь взрослого человека, постоянно сжимается. С момента поступления в школу человек становится несчастным: у него возникает ощущение петли вокруг шеи. И хлеб, и жизнь лишаются вкуса. Добывать хлеб становится более важным занятием, чем его есть. Все подсчитано, и на всем проставлена цена.

Мой двоюродный брат Джин стал совершенным ничтожеством; Стенли — первостатейным неудачником. Кроме них двоих, к которым я испытывал величайшее восхищение, был еще третий, Джо, который заделался письмоносцем. Я чуть не плачу, когда думаю, что с ним сделала жизнь. Мальчишки они были замечательные, хуже всех Стенли, поскольку у него был горячий темперамент. Стенли часто приходил в бешенство, никто не знал, что он выкинет на следующий день. А Джо и Джин были воплощенной добродетелью; они были друзьями в стародавнем значении этого слова. Я часто думаю о Джо, когда выезжаю в сельскую местность, поскольку он был что назы-

122

вается сельским пареньком. А это означает прежде всего то, что он был преданнее, искреннее, нежнее остальных знакомых мальчишек. Я будто вижу: Джо встречает меня, он уже бежит, широко распахнув объятия, не успев как следует перевести дух, рассказывает об играх и приключениях, в которых предполагалось мое участие. Он как всегда нагружен подарками, припасенными к моему приезду. Джо принимал меня как монархи прежних времен принимали своих гостей. На что я ни бросил бы взгляд — все становилось моим. Мы не могли исчерпать темы наших бесед, и никогда нам не наскучивало болтать. Разница между нашими мирами была огромна. Хотя я тоже жил в этом городе, но, приехав к двоюродному брату Джину, я понял, как огромен этот город, а именно Нью-Йорк-Сити, в котором моя искушенность была ничто. Стенли знал только ближние окрестности, но он приплыл из далекой земли за морем, из Польши, и нас всегда разделяла отметина этого вояжа. А то, что он умеет изъясняться на другом языке, лишь усиливало наше восхищение. Каждый был окружен особой аурой, отличался индивидуальностью, сохраняемой в полной неприкосновенности. Вступив в жизнь, мы утратили эти черты различия и стали более или менее похожи друг на друга и, конечно, совершенно не похожи на самих себя. Именно эта утрата своей особенной души, и, может быть, незначительных индивидуальных черт, печалит меня и заставляет отдать должное ржаному хлебу. Прекрасный ржаной хлеб вошел в наше нутро; он был словно общий каравай, который готовили все вместе, а получил каждый по-разному, сообразно своим представлениям о приличии. И теперь мы едим один и тот же хлеб, но нет ни чувства общности, ни приличий. Мы едим, дабы набить брюхо, а наши сердца остаются холодными и пустыми. Мы разделились, но не стали индивидуальностями.

А еще мы часто ели ржаной хлеб вприкуску с сырым луком. Помню, как мы стояли со Стенли, держа в руке по бутерброду, напротив дома ветеринара. Близился вечер. Казалось, доктор Маккини нарочно выбирает конец дня для кастрации жеребцов, операции, всегда совершаемой публично в присутствии небольшой толпы. Помню запах раскаленного железа и трепет лошадиных ног, эспаньолку доктора Маккини, вкус луковицы и запах нечистот из нового коллектора на задах. Это являло собой чисто обонятельное действо, и практически безболезненное. Его так хорошо описал Абеляр. Не ведая о причинах операции, мы обычно после пускались в долгие дискуссии, которые оканчивались шумной ссорой. Нам не нравился доктор Маккини: от него пахло йодоформом и застарелой конской

123

мочой. Нередко сточная канавка перед его домом была полна крови, а в зимнее время кровь вмерзала в лед и придавала тротуару странный вид. Иногда подъезжала большая двухколесная повозка, открытая повозка, издававшая чудовищный запах. В эту повозку грузили павшую лошадь. Скорее, тушу поднимали на длинной цепи, со скребущим звуком, словно опускали якорь. Запах от раздувшейся дохлой лошади — это жуткая вонь, но наша улица вся пропиталась мерзкими запахами. На углу расположилась лавочка Пола Соера, рядом с ней на улице были сложены сырые и дубленые шкуры; они тоже воняли

по-страшному. А еще острый дух от оловянной фабрики за нашим домом — как запах современного прогресса. Запах дохлой лошади, почти невыносимый, все-таки в тысячу раз лучше запаха химических реактивов. А вид дохлой лошади с отверстием от пули в черепе, головой в луже крови и задним проходом, раздвинутым последним судорожным испражнением, все же лучше, чем вид группы мужчин в синих халатах, выходящих из арочных ворот оловянной фабрики с тележками, груженными только что изготовленной оловянной посудой. К счастью для нас, напротив оловянной фабрики находилась пекарня. Через открытую дверь черного хода мы наблюдали за работой пекарей и вдыхали сладкий всепобеждающий запах хлеба и булочек. Поскольку, как я сказал, на задах проходил коллектор, ко всем перечисленным запахам добавлялась странная смесь запаха разрытой земли, ржавых железных труб, канализационных испарений и луковых сандвичей, которые итальянские рабочие ели, развалясь на кучах вырытой земли. Были, конечно, и другие запахи, но не столь шокирующие;

например, запах из портняжной мастерской Сильверштейна, где вечно что-то гладили. То был горячий, зловонный дух, который лучше всего объяснялся следующим предположением: Сильверштейн, сам вонючий тощий еврей, выветривал запахи, оставленные в штанах его клиентами. Рядом расположились кондитерская и писчебумажная лавочки, собственность двух чокнутых старых дев, знаменитых своей необыкновенной набожностью. Здесь стоял одуряюще сладкий запах ирисок, земляных орешков, мармелада и ароматизированньгх сигарет. А писчебумажная лавка напоминала прекрасную пещеру: всегда прохладная, полная интересных вещей. Тут был автомат с содовой водой, от него исходил особый аромат, аромат окисляющегося в жару толстого пласта мрамора, слегка щекочущий, сухой запах газированной воды, шипящей в стакане.

Мы взрослели, открывая для себя новые изыски, и прежние запахи ушли, сменившись одним-единственным

124

достопамятным, достославным запахом: ароматом из влагалища. Точнее, это запах, остающийся на пальцах после игры с женщиной, ибо, если это не было отмечено выше, этот запах еще более приятный (может, потому что он несет с собой аромат прошедшего времени) чем запах самого влагалища. Но этот аромат, принадлежность взрослой жизни, — только слабый душок по сравнению с запахами детства. Он испаряется в воображении почти так же быстро, как и в действительности. Можно вспомнить многое о женщине, которую ты любил, но трудно вспомнить запах ее влагалища хоть с какой-нибудь достоверностью. Запах влажных волос, с другой стороны, — женских мокрых волос — гораздо более сильный и запоминающийся, а почему— не знаю. Даже сейчас, спустя почти сорок лет, я помню запах волос моей тетушки Тилли, промытых шампунем. Мытье шампунем происходило на вечно перегретой кухне. Как правило, это бывало субботним вечером, в порядке подготовки к вечеринке, что подразумевало еще одну замечательную вещь: приход кавалерийского сержанта в форме с красивыми желтыми шевронами, писаного красавца, который даже на мой взгляд был Слишком великолепен, мужествен и умен для такой дуры, как моя тетушка Тилли. Тем не менее, она сидела на табуретке у кухонного стола и сушила волосы полотенцем. Рядом стояла лампа с закоптившимся стеклом, а рядом с лампой — щипцы для завивки, сам вид которых вызывал у меня необъяснимое отвращение. Обычно она ставила на стол маленькое зеркало; я как сейчас вижу ее перекошенную физиономию, когда она выдавливала утри на носу. Она была безобразным, тупоумным созданием, а два огромных торчащих зуба придавали ей сходство с лошадью, когда она растягивала губы в улыбке. Еще от нее всегда воняло потом, даже после ванны. Но запах ее волос— этот запах я никогда не забуду, поскольку он каким-то образом соединился с моей ненавистью и презрением к ней. Этот запах, когда она сушила волосы, напоминал дух, извергаемый с самых глубин болота. Было еще два запаха: первый от мокрых волос, а второй — от тех же волос, но засунутых в сушилку и чуть подпаленных. Еще помню скрученные пряди волос с ее расчески, сдобренные перхотью и потом ее жирной, грязной кожи. Я любил стоять рядом и наблюдать за нею, размышляя, что это будет за вечеринка и как она будет себя вести. Наведя марафет, она спрашивала меня:

«Ну как я выгляжу, правда замечательно?», и я, разумеется, отвечал «да». Но сидя в ватерклозете, который выходил в коридор рядом с кухней, при неровном свете тонкой свечи, поставленной на подоконник, я твердил про себя:

125

«Ты выглядишь как уродина». Когда она выходила из кухни, я брал щипцы, принюхивался к ним, рассматривал со всех сторон. Они пленили и отталкивали меня — будто насекомое. Все в той кухне пленило меня. Я знал в ней каждый утолок, но так никогда и не освоился в ней. Кухня была одновременно местом общественным и интимным. Здесь меня мыли в большой ванной по субботам. Здесь мылись и прихорашивались мои три сестры. Здесь мой дедушка, стоя у раковины раздетым до

пояса, умывался, а позже давал мне чистить свои башмаки. Здесь я стоял зимой у окна и смотрел, как падает снег, смотрел тупо, безучастно, словно я пребывал еще во чреве и прислушивался к шуму воды, которую спустила в туалете моя мать. Именно в кухне проходили тайные собрания, пугающие, ненавистные заседания, после которых все расходились с вытянутыми каменными лицами или заплаканными покрасневшими глазами. О чем они говорили на кухне — я не знаю. Но часто случалось так, что пока они тайно обсуждали, каким образом отделаться от бедного родственника, как поступить с завещанием, внезапно открывалась дверь и входил, гость, разрядив своим приходом тяжелую атмосферу. Действительно, все круто менялось, как будто они были рады некой внешней силе, избавившей их от мук затянувшейся тайной сходки. Как сейчас вижу:

вот открывается дверь и входит нежданный гость. Мое сердце радостно бьется, скоро Мне протянут большой стеклянный кувшин и отправят в ближайшую пивную, а там я подам кувшин в маленькое окошко у семейного входа и буду ждать, пока мне не возвратят его полным мыльно-пенистой жидкости. На коротком пути от дома до пивной было несоразмерно много интересных вещей. И прежде всего парикмахерская прямо за нами, в ней работал отец Стенли. Почти всякий раз, выйдя из дома, я видел, как отец лупит Стенли правилом для бритв. От такого зрелища у меня вскипала кровь. Стенли был моим лучшим другом, а его отец — всего-навсего каким-то польским алкоголиком. Однако как-то вечером, выбежав с кувшином, я испытал громадное удовольствие. Я увидел, что какой-то другой поляк наступает на предка Стенли с бритвой в руке. Я видел, как его старикан выбежал на улицу через заднюю дверь, шея была залита кровью, а лицо побелело словно простыня. Он упал на тротуар перед парикмахерской, дергаясь и стеная, а я, помнится, постоял рядом несколько минут и ушел совершенно счастливый и довольный. Стенли держался во время потасовки в стороне, а после вызвался проводить меня до пивной. Он тоже был рад, хотя и немного испуган. Когда мы шли обратно, у парик-

126

махерской уже стояла карета скорой помощи, отца Стенли поднимали на носилках, причем его лицо и шея были накрыты простыней. Иногда случалось так, что я выходил подышать свежим воздухом, а мимо вышагивал наш любимчик из хора отца Кэррола. Это — событие первостепенной важности. Мальчик был старше всех нас, и еще он был женоподобным, голубоватым созданием. Даже его походка раздражала нас. Как только я его замечал, весть распространялась во все концы, и не успевал он дойти до ближайшего угла, как бывал окружен компанией мальчишек, уступавших ему и в росте, и в возрасте, но не боявшихся передразнивать его и строить рожи до тех пор, пока он не пускался в плач. Затем мы набрасывались на него, как стая волков, валили на землю и рвали в клочки его одежду. То было недостойное занятие, но от него у нас поднималось настроение. Никто из нас не знал, что такое голубоватый, но все мы как один были против этого. В то же время мы были против китайцев. Был у нас один китаец, из прачечной на нашей улице. Мы с ним частенько встречались и поносили его так же, как женоподобного из церкви отца Кэррола. Он был точь-в-точь похож на изображение кули в школьном учебнике. Он носил черную курточку из альпака с отделанными тесьмой петлями, нечто вроде домашних туфель без каблуков и косичку. Лучше всего запомнилась его походка: хитрая, семенящая, женская походка. В ней было что-то иноземное, в ней таилась для нас угроза. Мы смертельно боялись его и ненавидели, потому что он проявлял полное равнодушие к нашим усмешкам. Мы считали, что он слишком невежествен, чтобы заметить наши выпады. Но однажды, когда мы пришли в его прачечную, он нам преподнес сюрприз. Сначала он принял грязное белье, потом с улыбкой вышел из-за прилавка, чтобы проводить нас до дверей. Не прекращая улыбаться, он схватил Альфи Бетча и надрал ему уши; он всем нам по очереди надрал уши, все так же улыбаясь. А потом улыбка сменилась устрашающей гримасой, и быстро, как кошка, он забежал за прилавок, вытащил длинный ужасный нож и начал размахивать им перед нами. Мы едва успели выбежать из прачечной. Когда мы завернули за угол и оглянулись, то увидели, как он стоит в дверях с ножом в руке, спокойный и миролюбивый. После этого случая никто из нас не отваживался зайти в прачечную;

мы нанимали за десять центов младшего Луиса Пироссу, чтобы он каждую неделю сдавал и брал наше белье. Отец Луиса владел фруктовой лавочкой по соседству. В знак особой приязни он угощал нас подгнившими бананами. Стенли особенно любил подгнившие бананы, поскольку его

127

тетка умела их вкусно жарить. Жареные бананы считались деликатесом в семье Стенли. Однажды в его день рождения устроили вечеринку, пригласив всех соседей. Все было замечательно до тех пор, пока не подали жареные бананы. Почему-то никто не захотел их попробовать, ибо это блюдо было известно только полякам вроде родителей Стенли. У нас считалось, что есть жареные бананы отвратительно. В наступившей

затруднительной ситуации кто-то из юнцов предложил накормить жареными бананами безумного Вилли Майна. Вилли Майн был старше нас, но не умел говорить. Он мог произнести только: *«Бьёрк! Бьёрк!»* Он говорил это во всех случаях. Посему, когда перед ним поставили бананы, он сказал: *«Бьёрк! Бьёрк!»* и потянулся за ними обеими руками. Но там же был его брат Джордж, и Джордж обиделся, что его больному брату пытаются всучить жареные бананы. Поэтому Джордж начал драку, а когда Вилли увидал, что его брата одолевают, он тоже вступил в борьбу с возгласами: *«Бьёрк! Бьёрк!».* Причем набрасывался он не только на ребят, но и на девочек тоже, и началось настоящее столпотворение. В конце концов, услыхав шум, из парикмахерской поднялся отец Стенли. Он захватил с собой правило для бритв. Взяв безумного Вилли Майна за загривок, он принялся охаживать его ремнем. Тем временем Джордж успел сбегать за мистером Майном старшим. Тот, хоть и был слегка навеселе, явился по-домашнему одетый и застал расправу, которую чинил над бедным Вилли выпивший парикмахер. Тогда он набросился на парикмахера и начал безжалостно дубасить его своими огромными кулачищами. Вилли, которого оставили в покое, ползал на четвереньках и поедал жареные бананы, рассыпавшиеся по всему полу. Он запихивал их в рот, будто козел, так быстро, как умел. Его отец, увидев, как он по-козлиному жует бананы, пришел в ярость, поднял правило и как следует отхлестал Вилли. Вилли при этом закричал:

«Бьёрк! Бьёрк!», и все захохотали. Это охладило пыл мистера Майна, и он сменил гнев на милость. Он даже сел к столу, а тетка Стенли поднесла ему стакан вина. На шум потасовки собрались даже те соседи, которые не были приглашены, появилось еще вино, еще пиво, еще шнапс, и вскоре все были счастливы — пели, свистели, и даже детям разрешили выпить, и тогда безумный Вилли надрался и опять опустился на четвереньки, как козел, с воплями:

«Бьёрк! Бьёрк!», а Альфи Бетча, который оказался очень пьян, даром что восемь лет, начал лупить безумного Вилли Майна втихаря, на что Вилли не замедлил ответить, и тогда мы все принялись лупить друг друга, а родители стояли в стороне и смеялись, подбадривая нас возгласами, и все

128

вышло очень весело, принесли еще жареных бананов, никто из нас на этот раз от них не отказался. Потом было много тостов и опрокинутых бокалов, безумный Вилли Майн пытался спеть для нас, но смог спеть только: *«Бьёрк! Бьёрк!».* Этот день рождения имел потрясающий успех, целую неделю только и разговоров было, что об этой вечеринке и о том, какие прекрасные люди эти поляки. Жареные бананы тоже имели успех, и некоторое время Луис Пиросса не угощал нас погнившими бананами, ибо на бананы увеличился спрос. А потом произошло событие, которое заняло умы всей нашей округи: поражение Джо Герхардта в драке с Джо Сильверштейном, сыном портного. Младшему Сильверштейну было лет пятнадцать-шестнадцать, с виду он казался тихоней. Старшие ребята не водились с ним, потому что он был еврей. Однажды, когда он нес брюки клиенту своего отца, к нему пристал Джо Герхардт, которому было примерно столько же лет. Джо Герхардт был весьма высокого о себе мнения. Они обменялись парой слов, и тогда Джо Герхардт выхватил из рук Сильверштейна брюки и кинул их в сточную канаву. Никто не мог представить себе, что юный Сильверштейн в ответ на подобное оскорбление прибегнет к помощи кулаков, и когда он развернулся к Джо Герхардту и двинул тому в челюсть, все отшатнулись, и прежде всего сам Джо Герхардт. Драка длилась двадцать минут, до тех пор, пока Джо Герхардт уже не мог подняться с мостовой. А юный Сильверштейн тем временем вытащил из канавы брюки и пошел к мастерской отца — спокойно и с чувством собственного достоинства. Никто не сказал ему ни слова. Это было буквально катастрофой. Где это видано, чтобы еврей побил нееврея? Это в голове не укладывалось, и тем не менее, это было так, произошло на наших глазах. Вечер за вечером, сидя, как обычно, на обочине тротуара, мы обсуждали происшедшее со всех сторон, но не могли найти никакого выхода до тех пор, пока младший братец Джо Герхардта, Джонни, не проникся нашими чаяниями и не взял дело на себя. Джонни, даром что младше и ниже ростом своего брата, был хулиганистым и непобедимым, как пума. Типичный трущобный ирландец, терроризировавший всю округу. Он задумал расправиться с юным Сильверштейном так: залечь в засаде как-нибудь вечером, выследить, когда жертва выйдет, из мастерской, внезапно дать ему подножку, повалить на землю и заранее припасенными булыжничками, спрятанными в кулаках, отдубасить Сильверштейна по башке. К изумлению Джонни, Сильверштейн не оказал особого сопротивления; даже когда Герхардт поднялся и позволил противнику уйти, Силь-

129

верштейн даже не пошевелился. Тогда Джонни испугался и убежал. Должно быть, он здорово испугался, если так и не вернулся домой; потом до нас дошел слух, что его поймали где-то на Западе и отправили в исправительное заведение. Его мать, неопрятная,

разбитная ирландская сука, сказала, что все к лучшему, и Бог даст, она никогда впредь не увидит своего сына. Когда младший Сильверштейн подлечился, он стал совсем другим; люди говорили, что от ушибов у него что-то случилось с мозгами и он превратился в дурачка. Джо Герхардт, напротив, опять выдвинулся. Оказалось, что он навестил Сильверштейна, пока тот лежал в постели, и попросил у него прощения. Прежде нам не приходилось слышать о таком глубоком раскаянии. Это было так странно и так необычно, что Джо Герхардт возвысился в наших глазах, словно странствующий рыцарь. Никто не одобрил поступок Джонни, однако никто не додумался пойти к Сильверштейну и попросить у него прощения. Это был акт, полный изысканности и утонченности, поэтому Джо Герхардт стал в наших глазах истинным джентльменом, первым и последним в округе. Прежде слово «джентльмен» не было у нас в ходу, а теперь оно было на устах у каждого, и быть джентльменом считалось большим достоинством. Внезапное превращение побежденного Джо Герхардта в джентльмена произвело на меня неизгладимое впечатление. Спустя несколько лет, когда мы переехали в другой район, и там я познакомился с мальчиком по имени Клод де Лорен, я уже был готов водить знакомство с «джентльменом». Таких ребят, как Клод, прежде я никогда не встречал. На старом месте, откуда мы уехали, его бы наверняка посчитали похожим на девчонку:

с одной стороны, он очень хорошо говорил, даже слишком правильно, слишком вежливо, а с другой — был слишком рассудителен, слишком изящен, слишком воспитан. Когда мы, играя с ним, слышали, как он переходит на французский, если мимо проходили его родители, это нас повергало в шок. Немецкий мы слышали, перейти на немецкий считалось позволительным, но французский! Говорить по-французски, или просто понимать французский, считалось чересчур чужеродным, аристократическим, неприятным, утонченным. И тем не менее, Клод был одним из нас, похожим на нас во всех отношениях, только чуточку лучше, как мы втайне себе признавались. Вот только один недостаток — его французский! Это разделяло нас. Он не должен был жить с нами по соседству, не имел права быть таким способным, таким отважным. Частенько, когда мать звала его домой и он прощался с нами, мы не расходились, а все вместе принимались обсуждать семью Лоренов, вдоль

130

и поперек. Нам было интересно, что они едят, например, поскольку у французов, должно быть, совсем другие привычки. Никто из нас не заходил даже в переднюю к Лоренам, и это тоже было подозрительно и невыносимо. Почему? Разве им есть что скрывать? Правда, встречаясь с нами на улице, они всегда приветливо улыбались, всегда изъяснялись с нами на английском, и какой же превосходный был этот английский! Они никогда не выпендривались, словно немного стеснялись самих себя — короче, они были на голову выше нас. Еще одно обстоятельство озадачивало нас: общаясь с другими ребятами, мы на прямой вопрос получали прямой ответ, а Клод де Лорен никогда не отвечал прямо. Прежде чем ответить, он всегда очаровательно улыбался, а говорил очень осторожно, собранно, с недоступной нашему пониманию иронией и насмешкой. Он всегда был для нас будто бельмо на глазу, и когда наконец они уехали из нашего района, мы вздохнули с облегчением. А вспомнил я об этом мальчике и его необычных, изысканных манерах только лет через десять-пятнадцать. Ибо в один прекрасный день мне пришло в голову, что я дал маху: ведь Клод де Лорен со всей определенностью хотел добиться моей дружбы, а я обошелся с ним довольно-таки бесцеремонно. Подумав об этом, я понял, что Клод де Лорен скорее всего заметил во мне некое отличие и за это решил протянуть мне руку дружбы. К сожалению, в те далекие дни у меня были другие представления о чести, я предпочитал ходить гуртом. Если бы я стал другом Клода де Лорена, я бы предал дружбу других ребят. И неважно, что в новой дружбе было много преимуществ — они были не для меня, поскольку я обретался в своей компании, и мой долг заключался в том, чтобы держаться от таких, как Клод де Лорен, на расстоянии. Должен сказать, я вспомнил об этом случае еще раз, спустя немалое время, после того, как побывал во Франции, и слово *raisonnable* приобрело для меня совершенно иное значение. Услышав его однажды совершенно случайно, я вспомнил попытки примирений, которые Клод предпринимал во время наших уличных игр. Я сразу же ясно вспомнил, что он употреблял слово *«разумный».* Вероятно, он просил меня быть *разумным.* Это слово мои уста никогда не выговаривали, потому что в этом не было необходимости. Оно, как и слово «джентльмен», если и слетало с губ, то очень редко, с величайшей осторожностью и осмотрительностью. За употребление такого слова могли поднять на смех. Было еще много слов вроде этого, например, *«действительно».* Ни один из моих знакомых не употреблял слово *«действительно» —* пока не появился

131

Джек Лоусон. Он употреблял его, потому что его родители были англичане, и хоть мы и насмехались над ним за это, мы прощали его. Слово *«действительно»* сразу же напомнило мне о маленьком Карле Рагнере, единственном сыне мелкого политика,

который жил на довольно-таки престижной небольшой улице под названием Филмор Плейс. Они жили почти в конце улицы в маленьком красно-кирпичном доме, всегда поддерживаемом в превосходном состоянии. Я помню этот дом, потому что, проходя мимо по пути в школу, всегда замечал, как великолепно начищены медные дверные ручки. Маленькому Карлу Рагнеру не разрешали водиться с другими ребятами. Мы его даже видели очень редко. Обычно по воскресеньям мы краем глаза замечали, как он проходит в сопровождении отца. Если бы его отец не был видной фигурой в нашей округе, мы бы непременно закидали его сына камнями. Он был *действительно* несносен в воскресном наряде. Мало того, что на нем были длинные брюки и кожаные ботинки, так он еще щеголял в котелке и с тростью! Так одеваться мальчику шести лет? Да он просто лопух — таково было общее мнение. Кто-то сказал, что он нездоров, как будто это могло служить оправданием его эксцентричного наряда. Самое странное заключалось в том, что я никогда не слышал, как он говорит. Он был такой утонченный, такой возвышенный, что, наверно, считал дурным тоном разговаривать на улице. Как бы то ни было, я каждое воскресенье караулил, как он пройдет вместе с отцом. Я наблюдал за ним с таким же ненасытным любопытством, с каким наблюдал за пожарными, чистящими машины в пожарной части. Иногда он нес домой маленькую упаковку мороженого, очень маленькую, но, наверно, вполне достаточную для него, на десерт. Десерт — вот еще одно слово, которое мы узнали и употребляли с презрением по отношению к Карлу Рагнеру и ему подобным. Мы могли спорить часами о том, что они употребляют *«на десерт»,* получая истинное удовольствие от многократного употребления нового, диковинного для нас слова, *«десерт»,* которое скорее всего сорвалось как-то с уст экономки Рагнеров. Должно быть, как раз в это время приобрела известность фирма «Сантос Дюмон». Было нечто причудливое в имени: «Сантос Дюмон». Мы не знали, чем он прославился, — нас волновало только его имя. В нем был запах сахарного тростника на кубинских плантациях, оно напоминало о необычном кубинском флаге со звездой в уголке, флаге, который высоко ценили собиратели вкладышей в пачках с сигаретами. На этих вкладышах изображались государственные флаги, знаменитые театральные артисты и прославленные боксе-

132

ры. Таким образом, Сантос Дюмон представлял собой что-то восхитительно иностранное, стоящее особняком от иностранного, привычного нам: вроде китайской прачечной или надменной французской семьи Клода де Лорена. Сантос Дюмон — это волшебное слово предполагало наличие великолепных мягких усов, сомбреро, шпор, чего-то воздушного, изысканного, остроумного, донкихотского. Иногда сюда примешивался запах кофейных зерен и соломенных циновок или, поскольку имя казалось таким нездешним, не вполне уместные экскурсы в жизнь готтентотов. Ведь среди нас были ребята постарше, которые уже научились читать и временами развлекали нас фантастическими небылицами, почерпнутыми из таких книг, как *«Айша»** или *«Под двумя флагами»* Уйды*. Насколько я помню, настоящий вкус к знаниям возник у меня лет в десять, когда мы перебрались на новое место и я попал в компанию моих сверстников. С наступлением осенних дней мы обычно со-бирались у костра, поджаривали тонкие ломтики хлеба, пекли картошку. Наши разговоры оказались мне в новинку, они отличались своим книжным происхождением. Кто-то прочитал приключенческий роман, а кто-то — книгу по науке, и мы всей улицей оживленно обсуждали неизвестный до той поры предмет. Например, кто-то из ребят только что вычитал, что есть такая вещь, течение Куро-Сиво, и старался объяснить нам, как оно возникло и зачем оно нужно. Так мы учились, у изгороди, поджаривая хлеб на костре. Эти начатки знания глубоко укоренились — так глубоко, что впоследствии, сталкиваясь с более точной информацией, было очень трудно вытеснить прежние представления. Именно так однажды один мальчик постарше объяснил нам, что египтяне уже знали о циркуляции крови, и это стало для нас таким естественным, что позже мы с большим трудом переваривали рассказ об открытии кровообращения неким англичанином по имени Гарвей. Теперь мне не кажется странным, что в те дни наши беседы касались в основном дальних мест, таких, как Китай, Перу, Египет, Африка, Исландия, Гренландия; мы говорили о духах, о Боге, о перемещении душ, о преисподней, об астрономии, о диковинных птицах и рыбах, об образовании драгоценных камней, о каучуковых плантациях, о методах пыток, об ацтеках и инках, о жизни морей, о вулканах и землетрясениях, о похоронных обрядах и свадебных церемониях в разных концах света, о языках, о происхождении американских индейцев, о вымерших бизонах, о неведомых болезнях, о каннибализме, о колдовстве, о полетах на Луну и о том, какая там природа, об убийцах и разбойниках, о библейских чудесах, о производстве керамики, о

133

тысяче и одной вещи, не упоминаемой ни дома, ни в школе — но все это было жизненно важно для нас, ибо мы изголодались, а мир таил в себе чудо и тайну, и только в

компании моих сверстников, дрожа от холода, мы говорили серьезно и впервые почувствовали потребность в общении, которое было и приятным, и пугающими.

Чудо и тайна жизни — все это задушили в нас, когда мы стали ответственными членами общества! До тех пор, пока нам не пришлось работать, мир был очень маленьким, мы жили на опушке мира, на самой границе неведомого. На что уж мал мир древних греков, а и то он был достаточно глубок, чтобы предстать перед нами во всем разнообразии приключений и теорий. И не так уж мал, поскольку таил неограниченные возможности. Я ничего не выиграл, когда раздвинулся мой мир; напротив, я многое потерял. Мне хочется становиться все более и более ребенком и выйти за границы детства в противоположном направлении. Мне хочется идти точно против нормальной линии развития, вступить в суперинфантильную область бытия, которая будет безумной и хаотичной, но не такой безумной и хаотичной, как мир вокруг меня. Я побывал в обличий взрослого, отца, ответственного члена общества. Я зарабатывал свой хлеб насущный. Я приспособился к миру, не отвечающему моим устремлениям, Я хочу вырваться из этого раздвинувшегося мира и вновь стать на границе неведомого мира, который повергнет в тень тот бледный, односторонний мир. Я хочу уйти от ответственности отцовства к безответственности неподначального человека, которого нельзя ни принудить, ни обольстить, ни уговорить, ни подкупить, ни оклеветать. Я хочу взять в проводники лесного духа Оберона*, который, раскинув черные крыла, закроет ими и красоту и ужас прошлого; я хочу бежать навстречу вечной заре без оглядки, не ведая ни сожалений, ни раскаяния, ни терзаний совести. Я хочу обогнать изобретательного человека, проклятие земли, чтобы стать перед непреодолимой бездной, которую не помогут пересечь и мощнейшие крылья. Даже если мне суждено стать диким, естественным парком, куда заглядывают лишь праздные мечтатели, я не должен оставаться здесь, в предопределенном самодовольстве ответственной, взрослой жизни. Мне следует так поступить в память о жизни, несравнимой с той, что была мне обещана, в память о жизни ребенка, задушенного и удавленного с общего согласия смирившихся. Я отказываюсь от всего, что создали отцы и матери. Я возвращаюсь в мир, еще меньший мира эллинов, в мир, который доступен прикосновению вытянутой руки, в мир того, что я знаю, вижу и время от вре-

134

мени признаю. Любой другой мир мне ни о чем не говорит, он мне чужд, он мне враждебен. Но, вновь оказавшись в том дивном мире*, что я увидел ребенком, я не хочу задерживаться в нем. Я хочу прорваться назад, в еще более дивный мир, из которого, должно быть, некогда вышел. На что он похож — я не знаю, я даже не уверен, что отыщу его, но это мой мир, и ничто больше меня не интересует.

В первый раз этот дивный новый мир дал о себе знать неким проблеском, намеком. Это случилось, когда я завел знакомство с Роем Гамильтоном. Мне тогда шел двадцать первый год, вероятно, худший год в моей жизни. От отчаяния мне пришло в голову уйти из дома. Я думал и говорил только о Калифорнии, где собирался начать новую жизнь. Я мечтал об этой земле обетованной столь страстно, что позже, возвратясь из Калифорнии, едва ли помнил Калифорнию, увиденную воочию, но думал и говорил лишь о Калифорнии из моих грез. Как раз перед отъездом я и познакомился с Гамильтоном. Он, вроде бы, приходился единокровным братом моему старому другу Макгрегору. Они увиделись впервые незадолго до того, поскольку Рой, большую часть жизни проживший в Калифорнии, был уверен, что его настоящий отец — не мистер Макгрегор, а мистер Гамильтон. Он и на Восток-то приехал только для того, чтобы разгадать загадку своего происхождения. Пожив в семье Макгрегоров, он не приблизился к открытию истины. Он еще сильней запутался, познакомившись с человеком, который, как он полагал, приходится ему законным отцом. А запутался он потому, что, как он признался мне впоследствии, ни тот, ни другой не имели даже малейшего сходства с тем, кого он хотел считать своим отцом. Вероятно, это мучительное сомнение наложило отпечаток на его развитие. Я могу так говорить, поскольку уже при первой встрече почувствовал в нем нечто прежде неведомое. Благодаря описанию Макгрегора, я готовился увидеть довольно «странную» личность, а «странный» в устах Макгрегора значило «немного чокнутый». Он и на самом Деле оказался странным, но настолько в своем уме, что я сразу же ощутил душевный подъем. Впервые я разговаривал с человеком, умеющим проникнуть в смысл слов и постичь самую суть вещей. Я говорил с философом, но не с философом, знакомым по книгам, а с человеком, философствующим постоянно — и *который жил в соответствии с излагаемой философией.* То есть, у него не было вовсе никакой теории, лишь проникновение в самую суть вещей и, в свете каждого нового откровения, жизнь с минимумом разногласий между открывшейся ему истиной и

135

иллюстрацией этой истины в действии. Естественно, его поведение казалось окружающим странным. Однако оно не казалось странным тем, кто знал его на Западном

побережье, где он, по его словам, чувствовал себя как рыба в воде. Видимо, там к нему относились словно к высшему существу, прислушиваясь к его речам с крайним уважением, почти с трепетом.

Я застал его в самый разгар борьбы, которую смог понять только через несколько лет. А в то время до меня не доходило, почему он придает такое значение поискам настоящего отца; более того, я обычно посмеивался над этим, поскольку сам отводил отцу очень скромную роль, да и матери, к слову сказать. В Рое Гамильтоне я увидел смешную борьбу человека, уже достигшего совершеннолетия, но еще пытающегося найти незыблемую биологическую связь, в которой не было никакой нужды. Парадоксально, что вопрос истинного отцовства сделал его самого суперотцом. Он был учителем и примером; стоило ему открыть рот, как я понимал, что внимаю мудрости, которая разительно отличается от всего, что я до сих пор связывал с этим словом. Проще всего было бы считать его мистиком, ибо мистиком он, без сомнения, был, но он стал первым мистиком, с которым я столкнулся и который знал, как стоять на своем. Он был мистиком, умеющим изобретать практические вещи, в частности, бур, остро необходимый для нефтяной промышленности. Этот бур впоследствии сделал ему карьеру. А в то время никто не обратил должного внимания на это очень практичное изобретение из-за его странной, метафизической манеры говорить. Бур сочли одним из его завихрений.

Он все время говорил о себе и о своем отношении к окружающему; благодаря этому свойству создавалось неблагоприятное впечатление, будто он ужасный эгоист. Говорили даже, что недалеко ушло от истины, будто он больше печется не о мистере Макгрегоре, отце, а о самом факте отцовства мистера Макгрегора. Предполагали, что он вовсе не любит новоиспеченного отца, а просто тешит свое непомерное самолюбие, как обычно, извлекая из правды своего открытия возможность самовозвеличивания. Разумеется, так оно и было, ибо мистер Макгрегор во плоти представлял собой бесконечно малое по сравнению с мистером Макгрегором-символом потерянного отца. Но Макгрегоры понятия не имели о. символах, они ничего не поняли, даже если бы им объяснили. Они прикладывали неуместные усилия, чтобы сразу же принять давно утраченного сына и в то же время низвести его до понятного уровня, на котором могли бы относиться к нему не как к «утраченному», но

136

просто как к сыну. Тогда как любому мало-мальски разумному человеку было очевидно, что их сын совсем и не сын, а нечто вроде духовного отца, нечто вроде Христа, можно сказать, который героически старается принять уже давно им самим начисто отринутое в обличии плоти и крови.

Посему я был удивлен и польщен, что этот необычный человек, на которого я взирал с трепетным восхищением, сделал меня своим наперсником. По сравнению с другими я был начитан, умен и неподобающе раскован. Но я почти сразу решил не показывать эту сторону моей натуры, а окунуться в теплый, непосредственный свет, исходивший из его глубокой естественной интуиции. В его присутствии у меня возникало ощущение, будто с меня сняли одежду, скорее даже шкуру, ибо он требовал от собеседника чего-то большего, чем просто обнаженность. В разговорах со мной он затрагивал такое во мне, существование чего я только смутно подозревал — всплывавшее, например, в моменты, когда, читая книгу, я неожиданно обнаруживал, что сплю. Немногие книги обладали способностью повергать меня в транс, в состояние высшей прозрачности, когда, сам того не сознавая, ты делаешь глубочайшие выводы. Беседы Роя Гамильтона были отмечены этим качеством. Именно это держало меня более чем настороже, сверхъестественно настороже, — и в то же время не разрушало ткань сна. Иначе говоря, он обращался к зародышу моего «Я», к существу, которое рано или поздно вырастает из обнаженной личности, к синтетической индивидуальности — и оставляя меня совершенно одиноким и покинутым для того, чтобы я сам испил уготованную мне судьбу.

Мы разговаривали словно на тайном языке, когда все вокруг отправлялись спать либо исчезали, словно привидения. Моего друга Макгрегора это ставило в тупик и раздражало; он знал меня гораздо ближе остальных, но тем не менее не обнаружил во мне ничего, что соответствовало бы тому характеру, который я теперь проявлял. Он говорил о дурном влиянии Роя Гамильтона, и это опять-таки было истинной правдой, ибо мое неожиданное знакомство с его единокровным братом как ничто другое сделало нас чуждыми друг другу. Гамильтон раскрыл мне глаза и одарил меня новыми ценностями, и хотя позже я утратил зоркость, которой он меня снабдил, все же я не мог относиться к миру, к моим друзьям, так, как это делал до нашего знакомства. Гамильтон глубоко изменил меня, как может изменить только редкая книга, редкая личность, редкий жизненный опыт. Впервые в жизни я понял, что значит испытать настоящую дружбу и не стать порабощенным

137

и зависимым. После того как мы расстались я ни разу не испытал потребности в его

непосредственном присутствии;

он отдал'себя без остатка, я обладал им без обладания. Это был первый чистый, цельный опыт дружбы, который больше никогда не повторялся. Гамильтон скорее был самой дружбой, чем другом. Он стал персонифицированным символом, самодостаточным для полного удовлетворения, и, следовательно, более не нужным мне. Он первый хорошо это понял. Может быть, необладание отцом явилось побудительной силой, толкнувшей его на путь навстречу открытию своей сути, что является конечным процессом отождествления с миром и, следовательно, осознания бесполезности уз. Во всяком случае, достигнув полной самореализации, он уже не нуждался ни в ком, и меньше всего в отце из крови и плоти, которого он напрасно искал в мистере Макгрегоре. Должно быть, это стало чем-то вроде последнего испытания: его приезд на восток, поиски настоящего отца, ибо, когда он сказал «до свидания», когда отказался от мистера Макгрегора, а заодно и от мистера Гамильтона, он будто бы очистился от всякого мусора. Я никогда не видел человека столь одинокого, предоставленного только самому себе, так ясно предчувствовавшего свое будущее, как Рой Гамильтон в минуту прощания. И никогда я не видел семью Макгрегоров в такой растерянности и в таком недоумении, как в тот день, когда он уехал. Будто бы он, давно умерший для них, воскрес и покинул их совершенно новым, незнакомым человеком. Я как сейчас вижу: вот они стоят на дороге и глуповато, безнадежно машут руками непонятно для чего, если учесть, что они лишились никогда им не принадлежавшего. Мне нравится думать именно так. Они были растерянны и опустошены, и смутно, очень смутно сознавали, какая великая возможность была им предоставлена, но у них не хватило силы и воображения воспользоваться этой возможностью. Только это виделось мне в том глуповатом, бессмысленном мельтешений рук; смотреть на них было невообразимо больно. Мне открылось страшное несовершенство мира, когда остаешься один на один с истиной. Мне открылась глупость кровных уз и любви, не насыщенной духовно.

Перенесемся назад: я опять в Калифорнии. Со мной рядом никого, я работаю, как раб, на апельсиновой плантации в Чула Виста. Получил ли я то, что хотел? Думаю что нет. Я бедный, покинутый, несчастный человек. Кажется, я потерял все. Да и вряд ли я человек, скорее животное. Целый день я стою или иду за двумя ишаками, запряженными в повозку. У меня нет мыслей, нет мечты, нет желаний. Я полностью здоров и бездумен. Я — пустое

138

место. Я так бодр и здоров, что похож на ароматный обманчивый плод, свисающий с калифорнийских деревьев. Чуть больше солнечных лучей — и я сгнию. *Pourri avant d'etre muri'!*

Неужели это я гнию под ярким калифорнийским солнцем? Неужели от меня ничего не осталось, от того меня, которым я был до приезда сюда? Дайте чуть-чуть подумать... Это было в Аризоне. Как сейчас помню: я ступил на землю Аризоны, когда уже опустилась ночь. В темноте едва просматривались далекие горы. Я иду по главной улице городишки, название которого забыл. Что я делаю на этой улице, в этом городе? Позвольте, я люблю Аризону, я влюблен в Аризону моей мечты, которую бесплодно ищу воочию. Аризона приехала вместе со мной в поезде, я вывез ее из Нью-Йорка, и она осталась при мне, даже когда я пересек границу штата. Разве не было моста через каньон, разве не он вывел меня из задумчивости? Такого моста я никогда прежде не видел, естественный мост, созданный катастрофическим извержением тысячи лет тому назад. И на этом мосту я увидел человека, похожего на индейца, он скакал на лошади, к седлу был привязан вьюк, раскачивавшийся у стремени. Естественный тысячелетний мост, который так ярко освещался закатным солнцем, что казался совсем новым, без сучка без задоринки. А по этому мосту, такому крепкому, такому вечному, скакал, хвала Господу, просто человек на лошади, больше ничего. И это была Аризона, и Аризона была не порождением воображения, но само воображение приукрасилось лошадью и наездником. И это было даже больше, чем само воображение, поскольку тут не было ауры неопределенности, а только четкий, обособленный предмет, который был мечтой, а сам мечтатель сидел на спине лошади. Когда поезд остановился и я опустил ногу со ступеньки, я продырявил мечту своей ногой; я находился в городе штата Аризона, который указан в расписании поезда, но это лишь географическая Аризона, куда может приехать каждый при наличии денег. Я иду с саквояжем по главной улице и вижу вывески забегаловок и контор по продаже недвижимости. Я так обманут, что готов тут же расплакаться. Сгустилась темнота, а я стою в конце улицы, выпсодящей в пустыню, и плачу, как последний олух. Кто плачет во мне? Новый я, начавший прорастать в Бруклине, а теперь стоящий посреди безбрежной пустыни, обреченный гибели. Рой Гамильтон, *как ты мне нужен сейчас!* Ты нужен мне на одно мгновение, только на одно мгновение, я сейчас

* Сгнию прежде, чем созрею (франц.).

139

пропадаю. Ты нужен мне, потому что я не готов пока к тому, что мне следует сделать. Мне ли не помнить, как ты говорил о том, что эта поездка — лишнее, но надо ехать, если чувствуешь необходимость? Почему ты не уговорил меня не ездить? Ах, уговаривать так несвойственно тебе. А просить совета несвойственно мне. Поэтому я здесь, банкрот в пустыне, и тот реальный мост остался позади, а впереди лишь нереальное, и только Господу Богу известно, как я озадачен и смущен. Если бы я мог исчезнуть, утонув в песке, я так бы и поступил.

Вновь перенесемся назад: вот человек, оставленный на тихую погибель в лоне семьи — это мой *отец.* Я лучше понимаю то, что случилось с ним, когда начинаю очень, очень издалека, с улиц под названием Можер, Консилй, Гумбольдт... Особенно Гумбольдт. Эти улицы находились в районе неподалеку от нашего, но совсем в другом, загадочном, волшебном. В детстве я был на улице Гумбольдт только раз, и если я правильно помню, попал я туда, чтобы навестить какого-то больного родственника, умиравшего в немецкой больнице. Но сама улица оставила неизгладимое впечатление; причем я понятия не имею, почему так случилось. Она осталась в моей памяти как самая таинственная и многообещающая улица, когда-либо виданная мной. Возможно, когда мы собрались идти, моя матушка, как обычно, посулила мне что-то захватывающее в качестве награды за то, что я пойду с ней. Мне всегда обещали, но эти обещания не превращались в нечто материальное. Может быть, в тот раз, попав на улицу Гумбольдт и взглянув на этот новый мир с изумлением, я совершенно позабыл о том, что мне было обещано, и сама улица стала наградой. Я помню, что она была очень широкая, а по обеим сторонам возвышались здания, таких я еще не видал. Еще помню ателье модистки на первом этаже одного из этих необыкновенных домов. В витрине ателье виднелся бюст с перекинутым через плечо сантиметром, и это зрелище, помню, чрезвычайно взволновало меня. На земле лежал снег, но солнце уже припекало вовсю, и я живо запомнил, как у днищ зольных бочек, вмерзших в лед, собрались лужицы подтаявшего снега. Казалось, вся улица плавится на лучистом зимнем солнце. На карнизах высоких домов шапки снега, лежавшие словно великолепные белые подушки, начали сползать, разрушаться, оставляя темные потеки на коричневом камне, который тогда был очень в моде. Стеклянные таблички дантистов и врачей, помещенные в оконных проемах, ослепительно сверкали на полуденном солнце, и я впервые почувствовал, что, может быть, за этими окнами находятся вовсе не камеры

140

пыток, так хорошо мне знакомые. Я совсем по-детски представил себе, что в этой округе на этой улице люди дружелюбнее, общительней и, конечно, несравненно богаче. И себя я, малыш, воображал большим, поскольку впервые в жизни видел улицу, казалось, начисто избавленную от страха. Это была такая улица — просторная, роскошная, сверкающая, плавящаяся — что позже, начав читать Достоевского, я вспоминал о ней в связи с санкт-петербургскими оттепелями. Даже церкви здесь строились совсем в другом архитектурном стиле; в них было что-то полувосточное, что-то грандиозное и сердечное одновременно, и пугающее, и вызывающее жгучий интерес. На этой широкой, просторной улице дома отстояли далеко от тротуара, спокойно и достойно отступив. Они не страдали от навязчивого соседства лавок, фабрик и ветеринарии. Я видел улицу, почти полностью составленную из жилых зданий, и меня обуяло благоговение и восторг. Все это я помню, и, несомненно, это сильно повлияло на меня, но все равно этого недостаточно, чтобы объяснить ту странную власть и притяжение, которым я подвергаюсь при одном упоминании улицы Гумбольдт. Через несколько лет я вернулся посмотреть на эту улицу вечером, и пришел в еще большее волнение, чем в первый раз. Внешний вид улицы, конечно, изменился, но был вечер, а вечер не так жесток, как день. И опять я пришел в странный восторг перед этой просторностью, перед роскошью, которая в чем-то поубавилась, но осталась такой же благоухающей и дающей о себе знать извилистым потеком, каким когда-то давали о себе знать коричневые каменные карнизы под тающим снегом. Однако самое замечательное заключалось в том, что меня охватило волнующее предощущение открытия. Как будто вновь рядом со мной была мама, я как наяву видел пышные рукава ее шубы, ко мне вернулось ощущение безжалостной проворности, с которой она тащила меня по этой улице много лет тому назад, и то, как упрямо я впитывал своими глазами все новое и непривычное. По случаю второго посещения этой улицы мне смутно припоминается еще один персонаж моего детства, старая экономка, которую звали очень заковыристо: миссис Йобсон. Я не помню ее в начале болезни, но смутно помню, как мы навещали ее умирающую в больнице, а больница та, должно быть, находилась неподалеку от улицы Гумбольдт, которая вовсе не умирала, а сияла капелью зимним днем. А что же тогда мама пообещала мне, что я не могу вспомнить? Уж на что она была горазда обещать, но тут, вероятно, несколько отвлеклась и посулила нечто столь несообразное, что даже я со всей детской доверчивостью этого не пере-

141

варил. Хотя, пообещай она мне даже луну с неба, ясно что немыслимую вещь, я и то исхитрился бы отнестись к ее обещанию с крупицей веры. Я отчаянно жаждал всего, что мне было обещано, и когда по некотором размышлении становилась ясной невозможность обещанного, я старался на свой лад найти способ выполнить обещание. Мне даже в голову не могло прийти, что есть люди, которые способны давать обещания, не зная, как сдержать слово. И когда я жестоко разочаровывался, все равно продолжал верить; я верил в то, что нечто экстраординарное и неподвластное людям вмешалось, дабы обратить обещание в пустой звук.

Вопрос о вере, старое, так никогда и не выполненное обещание, заставляет меня вспомнить об отце, оставленном в минуту величайшей нужды. До его болезни ни мать, ни отец не проявляли склонности к религии. На словах поддерживающие церковь, сами они не переступали ее порога со дня бракосочетания. Тех, кто регулярно посещал церковь, они считали слегка тронутыми. Даже в том, как они говорили — «такой-то очень религиозен» — крылась насмешка и презрение, или жалость, к означенной личности. Если время от времени, поскольку в семье были дети, к нам заходил вдруг пастор, родители всем видом показывали, что вынуждены мириться с его визитами исходя из общепринятой вежливости, хотя у них с ним нет ничего общего, и, если честно, они считают его чем-то средним между шарлатаном и олухом. Нам они, конечно, говорили: «Какой прекрасный человек!», а когда собирались их закадычные друзья и они начинали сплетничать, тут можно было услышать совсем другие определения, сопровождаемые едким смехом и выразительной мимикой.

Мой отец смертельно заболел в результате того, что слишком резко завязал. Всю жизнь он был что называется рубаха-парень, нажил приличное брюшко, выкатил свекольные щеки, имел простые, непритязательные манеры. Казалось, ему на роду написано дожить до преклонных лет здоровеньким и крепким орешком. АН нет — за добродушным внешним видом не все шло гладко. Дела его совсем расстроились, он по уши залез в долги, и его старые дружки начали потихоньку его покидать. А больше всего его терзало отношение моей матушки. Она все видела в черном свете и не пыталась скрывать это. То и дело она бросалась в истерику, доводила его до ручки своими подлыми оскорблениями, била посуду, грозилась уйти навсегда. Наконец, он встал однажды утром и решил отныне не брать в рот ни капли. Никто не подумал, что он это серьезно. В нашей семье были случаи, когда давали клятву, что в

142

рот не возьмут, как они выражались, да вскоре все начиналось сызнова. Никому в нашей семье, а многие в разное время пробовали, так и не удалось стать настоящим трезвенником. А мой папаша, оказалось, совсем другое дело. Где и как он нашел силу держаться — один Бог знает. Мне это казалось невероятным, поскольку я бы на его месте напился вдребезги пьяным. Не то что мой папаша. Это был первый случай в его жизни, когда он принял самостоятельное решение. Мою матушку так поразило это, что — ну и дура же она была — она начала издеваться над ним, прохаживаться по поводу его силы воли, которая до сих пор была такой незначительной. А отцу все нипочем. Его собутыльники довольно быстро от него отступились. Короче, скоро он оказался в полной изоляции. Это, видимо, его и сразило. Не так уж много времени прошло, как он смертельно заболел и стал лечиться у доктора. Он немного оклемался, начал подниматься с постели и ходить, но все равно был очень плох. У него подозревали язву желудка, но полной уверенности не было. Однако все понимали, что он совершил ошибку, завязав так резко. Но уже было слишком поздно возвращаться к умеренному образу жизни. Его желудок так ослаб, что не выдерживал и тарелки супа. Через пару месяцев он стал похож на скелет. И постарел. Словно Лазарь, восставший из могилы.

Однажды матушка отвела меня в сторонку и со слезами на глазах попросила пойти к семейному доктору и узнать всю правду о состоянии здоровья отца. Доктор Рауш долгие годы лечил налгу семью. Он был типичный немец старой школы, довольно дряхлый и немощный в конце многолетней практики, но считающий невозможным полностью порвать со своими пациентами. В туповатой тевтонской манере он пытался отпугнуть наименее тяжелых пациентов, убеждал их просто вести здоровый образ жизни. Когда вы входили в его кабинет, он даже не удостаивал чести взглянуть на вас, продолжая писать и заниматься чем-то своим, тем временем задавая вроде бы случайные вопросы, невнимательно и обидно. Он держался весьма грубо и подозрительно, это казалось таким странным, будто бы он рассчитывал, что его пациенты обязаны вместе со своими недугами предоставить еще и некие доказательства своей болезни. Он давал понять, что с вами не в порядке не только физически, но и психически. «Вам это только кажется», — была его излюбленная фраза, которую он выдавливал с отвратительной косой усмешкой. Зная его очень хорошо и от всей души ненавидя, я пришел, вооруженный лабораторными анализами стула папы. В кармане лежал

143

также анализ его мочи на случай, если потребуются дополнительные доказательства.

Когда я был еще мальчишкой, доктор Рауш относился ко мне довольно сносно, но с того дня, как я обратился к нему с гонореей, он потерял ко мне остатки уважения и, стоило мне показаться в дверях, обращал ко мне кислую физиономию. Каков отец — таков и сын, вот его поговорка, поэтому я вовсе не удивился, когда он вместо того, чтобы дать мне нужную информацию, принялся читать лекцию, предназначенную для меня и моего папаши и посвященную нашему образу жизни. «Супротив природы не пойдешь», — произнес он и состроил кривую торжественную мину, не посмотрев на меня, как будто его бесполезная нотация была обращена к регистрационному журналу. Я спокойно подошел к столу, стал рядом не произнеся ни звука, а потом, когда он взглянул на меня как всегда удрученно и рассерженно, сказал: «Я пришел сюда не для того чтобы мне читали мораль... Я хочу знать, что с моим отцом». И тут он резко поднялся и одарил меня самым свирепым взглядом. То, что он сказал, мог произнести только тупой, грубый немец, каким он, собственно говоря, и был: «Ваш отец не выздоровеет. Ему осталось не более шести месяцев». Я ответил: «Благодарю вас, это все, что я хотел узнать», и поспешил к выходу. Тут он, словно почувствовав, что дал маху, тяжело поспешил за мной, положил руку мне на плечо и попытался смягчить приговор бормотанием насчет того, что-де не надо думать, что отец непременно умрет и все в таком духе, но я быстро пресек это, распахнул дверь и заорал на него во всю глотку, чтобы слышали пациенты в приемной: «Проклятый старый пердун, когда только ты сдохнешь, доброй ночи!»

Вернувшись домой, я несколько изменил слова доктора и сказал, что состояние отца весьма серьезное, но если он будет следить за собой, может, все и обойдется. Кажется, это здорово ободрило папу. Он добровольно перешел на молочную диету, которая, если и не шла ему на пользу, во всяком случае не вредила. Весь год он был наполовину инвалидом, но достиг беспримерного внутреннего спокойствия, очевидно, решив себя ничем не тревожить, пусть даже все полетит к чертям. Немного окрепнув, он стал совершать ежедневные прогулки на кладбище, находившееся неподалеку. Там он сидел на солнечной скамейке и наблюдал, как у могил неспешно возятся люди. Близость к могиле, кажется, не удручала, а бодрила его. Казалось, он смирился с мыслью о неизбежности смерти, о чем раньше, несомненно, избегал думать вовсе. Часто он приходил домой с цветами, подобранными на кладбище. Его лицо

144

освещала спокойная, ясная улыбка. Он садился в кресло и начинал пересказывать беседы, которые вел утром с какими-то завсегдатаями на кладбище. Через некоторое время стало ясно, что он получает истинное удовольствие от своего карантина, или скорее не удовольствие, а глубокое удовлетворение от своего образа жизни, который был непонятен моей недостаточно тонкой матери. «Он становится ленивым», — так она выражалась. Иногда она давала более жесткое определение, покрутив пальцем у виска, но открыто не выражалась из-за моей сестры, которая уж точно была немного чокнутая.

Однажды, благодаря любезности престарелой вдовы, часто приходившей на могилу сына и, по словам моей матушки, «очень религиозной», он завел знакомство со священником одной из близлежащих церквей. Это стало знаменательным событием в жизни папы. Он вдруг преобразился, словно крохотная губка его души, почти атрофированная из-за отсутствия питания, достигла изумительных размеров — его стало не узнать. В самом виновнике этих исключительных перемен не было ничего из ряда вон выходящего: он был священником конгрегационалистской церкви и опекал маленькую скромную паству из числа местных жителей. У него имелось одно достоинство: он никогда не выпячивал свою религиозность. Папа очень скоро начал совсем по-детски обожать его: теперь он говорил только об этом священнике, которого считал своим другом. Поскольку он никогда не заглядывал в Библию, равно как и в другие книги подобного содержания, было очень странно, если не сказать сильнее, слышать как он читает перед едой молитву. Он выполнял эту маленькую церемонию довольно необычно, будто принимал тоник. Когда он советовал мне прочесть ту или иную главу из Библии, то очень серьезно добавлял: «Тебе это будет полезно». Это стало новым лекарством, которое он для себя открыл, чем-то вроде знахарского снадобья, с гарантией излечивающего все болезни, которое всякий может принимать, даже если ничем не болеет, поскольку это все равно не повредит. Он посещал все церковные службы и собрания, а время от времени, выйдя, например, на прогулку, заходил к священнику домой на короткую беседу. Если священник говорил, что нынешний президент — добрая душа, и его следует избрать на второй срок, папа твердил всем об этом в точности словами священника и убеждал всех на выборах голосовать за нынешнего президента. Все, что говорил священник, было правильным и справедливым, и никто не смел противоречить ему. Несомненно, что это все служило неким образованием моему отцу. Когда свя-

145

щенник упоминал пирамиды во время проповеди, папа тут же начинал добывать всяческую информацию о пирамидах. И говорил о пирамидах так, словно каждый обязан знать все об этом предмете. Священник сказал, видите ли, что пирамиды — это высшее достижение человечества, и не знать о них — безобразно и даже грешно. К счастью, священник не слишком упирал на тему греха: он был современным пастырем, воздействующим на прихожан, разжигая их любопытство, а не взывая к покаянию. Его проповеди больше походили на факультативный курс вечерней школы, и для таких, как мой отец, были очень полезны и занимательны. Члены конгрегации мужского пола часто приглашались на небольшие застолья, призванные показать, что добрый пастырь — обыкновенный человек, как все остальные, и так же радуется хорошей еде и кружке пива. Более того, он любил петь, и не церковные гимны, а легкие песенки из популярного репертуара. Глядя на такое веселое поведение, нетрудно было заключить, что время от времени он позволяет себе кое-что еще, но, разумеется, умеренно. Это слово было как бальзам на истерзанную душу папы — «умеренность». Словно открытие нового знака зодиака. И хотя он был слишком болен, чтобы вернуться даже к умеренному образу жизни, все же это успокаивало его душу. Поэтому, когда дядя Нед, который часто собирался не брать в рот ни капли и всегда терпел фиаско, пришел как-то вечером к нам домой, папа прочел ему короткое наставление о пользе умеренности. Дядя Нед именно тогда в очередной раз завязал, и когда папа, подвигнутый собственными словами, направился к буфету за графином вина, все вздрогнули. Никто не смел даже заикнуться о выпивке в присутствии дяди Неда, когда он давал обет воздержания; это считалось нарушением неписаного закона. Но папа сделал это с такой уверенностью, что никто не возразил, и в результате дядя Нед выпил рюмку вина и пошел домой в тот вечер, не заглянув в салун, чтобы утолить жажду. Это было экстраординарным событием, которое бурно обсуждали несколько дней. Действительно, дядя Нед с того дня начал вести себя очень странно. Говорили, что на следующий день он пошел в винную лавку, где купил бутылку хереса, которую вылил в графин. Дома он поставил этот графин в буфет, как отец, и вместо того, чтобы опорожнить его в один присест, удовольствовался одним стаканом — «только глоточком», как он сам выразился. Его поведение было столь замечательным, что тетя, не в силах верить своим глазам, пришла однажды к нам домой и имела затяжную беседу с папой. Она просила его, среди прочего, пригласить к ним в дом

146

этого священника как-нибудь вечерком, чтобы дядя Нед получил возможность подпасть под его благотворное влияние. Короче говоря, дядя Нед стал прихожанином и, подобно папе, премного в этом преуспел. Все шло замечательно до дня пикника. В тот день, к сожалению, стояла необычайно жаркая погода и от игр, возбуждения, веселья, дядя Нед почувствовал сильнейшую жажду. Так вышло, что никто не заметил, как он то и дело наведывался к пивному бочонку, пока не напился вдрызг. Но было уже поздно. В таком состоянии он был неуправляем. Даже священник ничего не смог сделать. Нед покинул пикник и окунулся в запой, который продолжался три дня и три ночи. Может, он длился бы и больше, не ввяжись дядя Нед в кулачную драку в районе порта, где его и подобрал в бессознательном состоянии ночной сторож. Дядю Неда отвезли в больницу с сотрясением мозга, и он уже никогда не выздоровел. Вернувшись с похорон, папа сказал, не проронив слезинки: «Нед так и не понял, что значит быть умеренным. Это его вина. Ну да ладно, он отошел в лучший мир...»

Как бы желая показать священнику, что он не из того же теста, что дядя Нед, отец стал еще усердней в церковных делах. Он даже выдвинулся в старосты, и очень, гордился своим положением, которое позволяло ему во время воскресных служб собирать пожертвования. Не представляю себе, как мой отец вышагивал по проходу конгрегационалистской церкви с копилкой для пожертвований в руках, как он стоял с этой копилкой у алтаря — благоговейно вслушиваясь в слова благословения, произносимые священником. Все это теперь мне кажется таким невероятным, что я далее не знаю, что и сказать. Мне нравится вспоминать совсем о другом: об отце из моего детства, о том, как я встречал его по субботам у парома. Рядом располагались три салуна, по субботам полные на-. роду, пришедшего пообедать и выпить кружку пива. Вижу отца на тридцатом году его жизни, здорового, улыбающегося и обменивающегося со всеми незлобивыми остротами, вот он облокотился на стойку бара, соломенная шляпа сдвинута на затылок, свободной ладонью он смахивает пивную пену. Я тогда едва доставал до тяжелой золотой цепочки, пересекавшей его жилет; помню костюм из шотландки, который он носил летом и который отличал его среди прочих посетителей бара, не имевших счастья родиться портными. Помню, как он запускал руку в большую стеклянную вазу на прилавке и протягивал мне крендель, с просьбой сбегать к витрине «Бруклин Таймс» и посмотреть турнирную таблицу. Когда я выбегал из салуна узнать,

147

кто выиграл, мимо проносилась вереница велосипедистов, они мчались у самого тротуара по узкой полоске асфальта, уложенной специально для них. Тут, как раз, прибывал очередной паром, и я задерживался на минуту поглядеть, как люди в униформе швартуют судно. Когда открывали створы и клали деревянный трап, толпа обрушивалась на берег и стремилась в салуны, украшавшие округу. То были дни, когда папа знал, что такое «умеренность», когда он пил, потому что испытывал настоящую жажду, потому что пропустить кружку пива считалось привилегией всякого мужчины. Тогда было так, как об этом замечательно сказал Мелвилл*: «Питайте все подходящей пищей, если конечно, эта пища доступна. Пища твоей души — это свет и пространство; так питай душу светом и пространством. Но пища тела — это шампанское и устрицы; так питай его шампанским и устрицами; и достигнешь радостного воскресения, если будет оно». Да, мне кажется, что тогда душа папы еще не усохла, что она пребывала в безграничном пространстве и свете, а равнодушное к воскресению тело питалось подходящим и доступным — если не шампанским с устрицами, то пивом с кренделем. Тогда его тело еще не знало, что такое страдание, и никто не осуждал ни его образ жизни, ни отсутствие в нем веры. И окружали его не хищники, а хорошие люди, обыкновенные смертные, как и он сам, которые смотрели не вверх или вниз, а прямо перед собой, устремив взгляд на горизонт и радуясь открывшемуся виду.

А теперь, измученный бедняга, он стал церковным старостой, он стоял перед алтарем, седой, сгорбившийся, высохший, в то время как священник благословлял презренное пожертвование, предназначенное для обустройства нового кегельбана. Может быть, ему и правда было необходимо испытать это рождение души, напитать ее подобный губке рост тем светом и пространством, какие предлагала конгрегационалистская церковь. Но какая это жалкая замена для человека, познавшего радости той пищи, которой требует тело и которая, не вызывая угрызений совести, могла бы наполнить даже его подобную губке душу светом и пространством — пусть не божественными, но яркими и земными. Я опять вспоминаю его небольшой животик, на котором покоилась массивная золотая цепочка, и мне кажется, что со смертью его живота продолжала жить только губка его души, некое приложение к телесной смерти. Я думаю о священнике, который поглотил его словно бесчеловечный пожиратель губок, словно хранитель вигвама, увешанного духовными скальпами. Я думаю о том, чем завершилась эта трагедия губок, ибо хотя он и обещал свет

148

и пространство, исчез он из жизни моего отца не раньше, чем рухнуло все воздушное сооружение.

Все произошло совершенно по-житейски. Как-то вечером, после обычного собрания прихожан, отец пришел домой с печальным выражением лица. В тот вечер священник сообщил, что покидает их. Ему предложили более привлекательное место в Нью-Рошелл и, несмотря на огромную неохоту покидать свою паству, он решил принять приглашение. Естественно, он принял решение после долгих размышлений — другими словами, подчинился чувству долга. Конечно, там будет богатый доход, но это ничто по сравнению с громадной ответственностью, которая ляжет на его плечи. Он нужен в Нью-Рошелл, и он подчинился голосу совести. Отец изложил все это тем же елейным голоском, каким, вероятно, произносил свою речь священник. Однако нам сразу стало ясно, что отцу очень больно. Он не понимал, почему в Нью-Рошелл не могли найти другого священника. Он сказал, что искушать священника большим жалованьем не очень-то красиво. Он *нужен нам здесь,* сказал папа с сожалением и с такой печалью, что я готов был расплакаться. Он сказал, что поговорит со священником по душам, что если кто-нибудь способен убедить его остаться — так это только он. Несколько следующих дней мой папа делал все, что мог — несомненно, вводя священника в смущение. На отца было больно смотреть, когда он уныло возвращался с этих бесед. Он напоминал человека, хватающегося за соломинку, чтобы не утонуть. Конечно, священник оставался непреклонным. Даже когда старик не выдержал и расплакался у него на глазах, он не изменил своего решения. Это стало поворотной точкой. С этого момента отец резко изменился. Он стал едким и ворчливым. Он не только перестал молиться за столом, но и воздерживался от посещений церкви. Он снова зачастил на кладбище, на свою скамейку. Сначала он стал угрюмым, потом подавленным и, наконец, на его лице появилось непреходящее выражение печали, печали, порожденной крушением иллюзий, отчаянием, тщетностью. Он перестал упоминать священника, не вспоминал ни о церкви, ни о старостах, с которыми когда-то был связан. Если ему случалось встретить их на улице, он сухо говорил им «добрый день», не задерживаясь и не пожимая руку. Газеты он читал тщательно, от первой до последней строчки, никак не выражая отношения к прочитанному. Он изучал даже рекламные объявления, все до одного, словно стараясь заткнуть громадную дыру, которая все время маячила перед глазами. Он больше не смеялся. В лучшем случае создавал видимость вымученной безнадежной улыбки, которая

тут
149

же исчезала, оставив нам впечатление угасающей жизни. Он был мертв, как кратер, мертв без всякой надежды на воскресение. И даже новый желудок и новый кишечный тракт не смогли бы вернуть его к жизни. Его не соблазнили бь1 ни шампанское, ни устрицы, не нужно было ему ни света, ни пространства. Он напоминал дронта, спрятавшего голову в песок и посапывающего через задний проход. Когда он дремал в кресле, нижняя челюсть у него отваливалась, словно отпущенный шарнир; он всегда был порядочным храпуном, а теперь храпел громко как никогда, как человек, воистину оглохший ко всему миру. Действительно, его храп почти не отличался от предсмертного хрипа, лишь перемежаясь с тонким протяжным свистом. Казалось, когда он храпит, он колет вселенную как дрова, чтобы у нас всегда было в достатке топочной древесины, необходимой для продления его жизни. Такого страшного и пленительного храпа мне прежде не приходилось слышать: он был тяжелый и громкий, болезненный и гротескный; иногда он напоминал рев аккордеона, иногда кваканье лягушек на болоте; после продолжительного свиста вырывался ужасный хрип, словно отец испускал дух, но потом грудь его спокойно подымалась и опускалась, и устанавливался гулкий звук, как будто отец стоял раздетый до пояса с колуном в руке перед собранной воедино безумной гадостью этого мира. В этих представлениях было легкое несоответствие мумифицированного лица и больших толстых губ на нем, которые только одни и были живы; это напоминало жабры спящей акулы, выдающиеся над поверхностью спокойного океана. Так он и ушел в глубину бездны, издав последний блаженный всхрап. Уже не тревожили его ни мечты, ни сквозняки, ни судороги, ни тщетные желания. Когда он закрыл глаза и провалился в бездну, мир лишился света, а он стал таким же одиноким, каким был накануне рождения, космос изжевал сам себя. Отец сидел в кресле, должно быть, как Иона сидел во чреве кита*, в безопасном последнем убежище, в черной дыре, не ожидая ничего, ничего не желая, не мертвый, но похороненный заживо, проглоченный целиком и потому невредимый, большие пухлые губы мягко смыкаются и размыкаются вместе в отливом и приливом белого дыхания пустоты. В земле Нод он искал Каина и Авеля*, но не встретил ни единой живой души, ни слова, ни знамения. Он несся вместе с китом и задевал за черное ледяное дно; он покрывал милю за милей с наивысшей скоростью, влекомый лишь шерстистыми гривами подводных животных. Он был дымом, клубящимся из каминных труб, тяжелым облаком, застилающим луну, густой слизью, образующей
150

скользкий линолеумный пол океанских глубин. Он был мертвее мертвых, ибо был жив и пуст, без всякой надежды на воскресение преодолев границы света и пространства и угнездясь в безопасности в черной дыре небытия. И следует не жалеть его, а завидовать, ибо его сон — это не короткая передышка, но сон сам по себе, который есть бездна, и, следовательно, заснуть значит углубиться, глубже и глубже в спящую сонность, в сон глубины в глубочайшем сне, в нижайшую глубину абсолютного сна, глубочайший и соннейший сон сладкого сна. Он спал. Он спит. Он будет спать. Спи. Спи. *Отец, спи, умоляю тебя, ибо мы, которые бодрствуем, кипим от ужаса...*

Когда с глухим последним храпом отлетает этот мир, я вижу открывающуюся дверь, а за ней — Гровера Уотруза. «Христос с тобой!» — говорит он, волоча кривую ногу. Он еще совсем молод, а уже обрел Господа. Есть только один Бог, и Гровер Уотруз обрел Его, к этому нечего добавить, — кроме того, что все должно быть сказано и повторено новым божественным языком Гровера Уотруза. Этот блестящий новый язык, который Бог изобрел специально для Гровера Уотруза, разжигал во мне чудовищное любопытство, во-первых, потому что я всегда считал Гровера безнадежным болваном, во-вторых, потому что заметил, что на подвижных пальцах Уотруза не стало желтизны от табака. Когда мы были детьми, жили мы по соседству. Время от времени он заходил ко мне, чтобы разучить со мной какую-нибудь пьеску. Несмотря на свои четырнадцать или пятнадцать лет он курил как ефрейтор. Его мать ничего не могла с этим поделать, поскольку Гровер был гений, а гениям позволительна небольшая свобода, особенно если гений имел несчастье родиться с родовой травмой ноги. Гровер был из той породы гениев, что пышно расцветают в грязи. У него не только пальцы пожелтели от никотина, но и грязные почерневшие ногти имели обыкновение ломаться от долгих упражнений, вынуждая юного Гровера заниматься восхитительным обкусыванием. Обычно Гровер сплевывал откусанные ногти вместе с крошками табака, застрявшими в зубах. Это ублажало и побуждало. Сигареты выжгли дыры в корпусе пианино и, как недовольно заметила мать, *тронули* клавиши. Когда Гровер уходил, в гостиной воняло, словно в заведении гробовщика. Воняло потушенными сигаретами, потом, грязным бельем, ругательствами Гровера и сухим пылом, оставленным умирающими звуками Вебера, Берлиоза, Листа и компании. Еще пахло гноем из уха Гровера и его гнилыми зубами. Еще

пахло хныканьем и изнеженностью его матери. Их дом был настоящая конюшня, божественно приспособленная к
151
его гению, но гостиная в нашем доме походила на приемную похоронного бюро, а Гровер, лопух, не удосуживался даже вытереть ноги. Зимой у него текло из носа, будто из канализации, и Гровер, будучи слишком захвачен своей музыкой, не успевал прочистить нос, так что холодные сопли струйкой стекали к губам, где он их слизывал длинным беловатым языком. К газогонной музыке Вебера, Листа, Берлиоза и компании подавался пикантный соус, который сообщал этим пустозвонам приятный вкус. Гровер грязно ругался через слово, его любимым выражением было: «Не выходит это гребаное место!» Иногда он в сердцах молотил кулаками по клавишам. Это его гений проявлялся столь недостойным образом. А его мать с большим значением прислушивалась к этим приступам гнева: они убеждали ее, что в Гровере есть этакое нечто. Остальные просто считали Гровера невыносимым. Однако ему многое прощалось из-за кривоногости. Гровер был достаточно хитер, чтобы догадаться использовать свой дефект; если ему чего-нибудь очень хотелось, он изображал боли в ноге. Кажется, только пианино не воздавало должного почтения к его изувеченной конечности. Поэтому пианино стало тем предметом, который надо проклинать, бить да колотить. С другой стороны, в лучшие дни Гровер мог часами сидеть за инструментом, его просто нельзя было оттащить. В таких случаях его матушка выходила на лужайку перед домом и подстерегала соседей, чтобы выдавить из них несколько слов похвалы. Она так обалдевала от «божественной» игры сына, что забывала приготовить ужин. Их папаша, сантехник, как правило приходил домой хмурый и голодный, словно волк. Частенько он поднимался прямиком в гостиную и стаскивал Гровера с табурета у пианино. Отец тоже умел крепко выразиться, и когда он спускал собаку на гениального сына, тому редко удавалось вставить даже словечко. По мнению папаши, Гровер был просто разленившимся сукиным сыном, который научился создавать всякие шумы. Иногда он грозился выкинуть чертово пианино в окошко — и Гровера вслед. Если у матери хватало смелости вмешаться в эти сцены, он давал ей зуботычину и советовал пойти «поссать на дорожку». Хотя, конечно, и у него бывали минуты слабости, и в таком состоянии духа он мог спросить у Гровера, что за чертову дрянь тот бренчит, и если последний, к примеру, отвечал: *«патетическую* сонату» — старый осел мог сказать: «Что за чертовщина? Почему, ради Христа, они не могут сказать по-английски, как говорят все добрые люди?» Невежественность старика убивала Гровера куда сильней, чем его грубость. Он стеснялся своего папаши, и когда его не было на горизонте,
152
позволял себе немилосердно высмеивать его. Когда он стал немного старше, то начал строить предположения, что он родился с кривой ногой, потому что его отец такая сволочь. Он рассказывал, что его папаша ударил его мать в живот когда та была беременна. Этот легендарный удар в живот должно быть, оказал на Гровера разнообразные влияния, ибо, из мальчика превратившись в молодого человека, он, как было сказано, неожиданно обратился к Богу с такой страстью, что рядом с ним нельзя было выбить нос, не испросив прежде разрешения у Господа.

Преображение Гровера произошло как раз тогда, когда мой отец испускал дух, почему я и вспомнил его. Уотруза не видели несколько лет, а потом, во время кошмарного храпа, на хромого Гровера, можно сказать, снизошло благословение и он, став свидетелем Божьим, засучил рукава, дабы избавить нас от дьявола. Первое, что я заметил — это изменения в его внешности: он выглядел чистеньким, как ягненок. Действительно, на нем не было ни пятнышка, от него исходило благовоние. Его речь тоже стала безукоризненной. Дикие ругательства уступили место благословениям и молитвам. Все его беседы с нами превращались в монологи, во время которых он сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Едва сев на стул, предложенный ему, он с проворностью кролика произносил тираду о том, что Бог, мол, послал единственного возлюбленного Сына своего, для того чтобы мы могли наслаждаться жизнью вечной. Хотим ли мы на самом деле жизни вечной — или собираемся погрязнуть в «помышлениях плоти»* и умереть, не зная спасения? Неуместность упоминания «помышлений плоти» по отношению к пожилой чете, один из которой громко храпел во сне, видимо, совсем не заботила его. Он так ликовал в приливе Божьей милосердной благодати, что совсем забыл о душевном недуге моей сестры и, не спросив о том, как она себя чувствует, обратился к ней с этой новоприобретенной духовной болтовней, к которой она осталась глуха, поскольку, как я сказал, у нее не хватало много винтиков, и даже если бы он начал разглагольствовать о рубленом шпинате, это показалось бы ей столь же глубокомысленным. Слова «удовольствия плоти» означали для нее нечто вроде прелестного дня и красного солнечного зонтика. Я видел, как она, сидя на краешке стула и мотая головой, ждет только одного: когда же он сделает передышку, чтобы она могла

рассказать ему, что пастор — ее пастор, из епископальной церкви — только что вернулся из Европы, и они собираются устроить в подвале церкви ярмарку, где у нее будет свой маленький киоск, в котором она откроет торговлю салфеточками по
153
пять и по десять центов. Действительно, она улучила момент, когда он на секунду прервался, и выложила все: о каналах Венеции, об альпийских снегах, о собачьих бегах в Брюсселе, о превосходной ливерной колбасе Мюнхена. Она была не только религиозна, моя сестренка, она была глупа как пробка. Гровер что-то промямлил об увиденной новой земле и новых небесах, *«ибо прежнее небо и. прежняя земля миновали»**, сказал он, пробормотав эти слова в подобии истерического глиссандо, чтобы поскорей выложить пророческую весть о Новом Иерусалиме, который Бог основал на этой земле и в котором он, Гровер Уотруз, некогда сквернослов с искалеченной ногой, обрел мир и покой праведности. *«И смерти, не будет уже», —* орал он, пока моя сестренка приближалась к нему и наивно спрашивала, не хочет ли он пойти поиграть на новом кегельбане, устроенном ее пастором в церковном подвале, поскольку пастор такой замечательный человек, он любит бедных и будет рад познакомиться с Гровером. Гровер сказал, что играть на кегельбане грешно, что он не принадлежит ни к какой церкви, ибо все церкви безбожны, что он даже перестал играть на пианино, потому что Бог указал ему высшую цель. *«Побеждающий наследует все*, —* добавил он, — *и буду ему Богом, и он будет Мне сыном».* Он сделал паузу, чтобы высморкаться в великолепный белый платок, а моя сестренка воспользовалась случаем, чтобы напомнить ему, как в прежние времена у него всегда текло из носа, но он никогда не употреблял носового платка. Гровер важно выслушал ее и заметил, что Господь избавил его от многих грехов. Тут проснулся мой отец и, увидев перед собой Гровера во всей красе, отшатнулся в испуге, не зная, за кого Гровера принять: за смертного, сновидение или галлюцинацию, но вид чистого носового платка быстро вернул ему разум.

— А, это ты! — воскликнул он. — Сын Уотруза, верно? Скажи мне, во имя всего святого, что ты здесь делаешь?

— Я пришел во имя Святая Святых, — нимало не смутившись заявил Гровер. — Я совершил обряд очищения смертью на Голгофе и я здесь во светлое Христово имя, ради вашего спасения и пребывания в свете и силе и славе.

Старик посмотрел в изумлении.

— Что это на тебя нашло? — спросил он, адресовав Гроверу слабую сочувственную улыбку. Мать вышла из кухни и встала позади стула, на котором сидел Гровер. Скривив рот, она хотела дать понять отцу этой гримасой, что Гровер рехнулся. Даже сестренка, кажется, поняла, что с Гровером что-то не в порядке, особенно после того, как он отказался посетить новый кегельбан, который ее лю
154
бимый пастор установил нарочно для молодых людей вроде Гровера.

Так что же случилось с Гровером? Ничего, если не считать того, что его ноги прочно стояли на пятом основании великой стены святого города Иерусалима, на пятом основании, выполненном целиком из сардоникса, откуда он взирал на чистую реку воды жизни, исходящую от престола Божия. И вид этой реки жизни был для Гровера все равно что укус тысячи блох в жом. Пока он семижды не объехал вокруг земли, он не смог бы усидеть спокойно на заднице, видя слепоту и безразличие людей и сохраняя при этом самообладание. Он возродился и очистился, и хотя в глазах медлительных неряшливых «нормальных» он был «чокнутым», мне он представлялся несравненно возросшим над прежним собой. Он был безвредный зануда. Слушая его достаточно долго, и самому можно было очиститься, о том не подозревая. Яркий новый язык Гровера брал меня за живое и посредством неумеренного смеха очищал от всякой дряни, накопившейся стараниями инертных здравомыслящих. Он возродился, как мечтал возродиться Понсе де Леон*, он был живым, как немногие бывали живыми. И, будучи неестественно живым, он нисколько не возражал, когда вы смеялись прямо ему в лицо, он не возразил бы, если бы вы украли то немногое, чем он обладал. Он был живым и нестяжающим, а это так близко к Божескому, что кажется ненормальным.

Прочно поставив ноги на большую стену Нового Иерусалима, Гровер познал ни с чем не сравнимую радость. Возможно, родись он со здоровой ногой, он так бы никогда и не познал эту бесподобную радость. Может быть, даже хорошо, что его папаша двинул по животу его матери, когда Гровер еще находился в утробе. Возможно, именно этот удар в живот позволил Гроверу так воспарить, стать таким бесконечно живым и настолько бдительным, чтобы даже во сне передавать послания Бога. Чем больше он работал, тем меньше чувствовал усталость. У него не было теперь ни тревог, ни сожалений, ни душераздирающих воспоминаний. Он не признавал ни обязанностей, ни обязательств, кроме данных Богу. А что ожидал от него Бог? Ничего, ничего... только восхваления. Бог требовал от Гровера Уотруза только одного: чтобы он был живым во плоти. Он требовал

только одного: становиться все более и более живым. И когда совсем живой Гровер стал голосом, и этот голос стал потоком, обращавшим все мертвое в хаос — хаос в свою очередь стал устами мира, в самом центре которого должен быть глагол. *«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».* Итак, Бог был этим
155
странным маленьким инфинитивом, который был всем — разве этого не достаточно? Для Гровера этого было более чем достаточно: это было всем. Начав с этого Глагола, какая разница, по какой дороге он пошел? Оставить этот Глагол — это значит удалиться из самого центра, возвести Вавилонскую башню. Может быть, Бог умышленно покалечил Гровера Уотруза, для того чтобы направить его к центру, к Глаголу. Невидимым вервием привязал Господь Гровера Уотруза к его столпу, который пронизал сердце мира. Гровер стал жирным гусем, приносящим каждый день по золотому яйцу.

Почему я пишу о Гровере Уотрузе? Потому что я знал тысячи людей, но никто из них не был таким живым, как Гровер. Большинство было умнее, многие были блистательными людьми, некоторые даже знаменитыми, но никто не был таким живым и нестяжающим, каким был Гровер. Гровер был неистощим. Он был подобен кусочку радия, который можно засыпать горой земли, но он все равно не потеряет своей силы отдавать энергию. Я знал множество так называемых энергичных людей — не полна ли Америка ими? — но никогда я не встречал в человеке такого источника энергии. А что создало этот неистощимый источник энергии? Озарение. Да, это случилось в мгновение ока, а только так и происходит все самое важное. В одну ночь Гровер освободился от навязанных ему ценностей. Неожиданно, и это так, он прекратил развитие, подобное развитию остальных людей. Он нажал на тормоза, но оставил мотор работать. Если раньше, подобно остальным, он полагал необходимым куда-то двигаться, то теперь он знал, что куда-то — это все равно куда, так зачем двигаться вообще? Почему бы не припарковать машину, не заглушая мотор? Тем временем сама земля вращалась, и Гровер знал, что она вращается, и что он вращается вместе с ней. Но движется ли она куда-нибудь? Гровер, несомненно, задавал себе этот вопрос и, вне всякого сомнения, отвечал на него так: земля никуда не движется. Тогда кто сказал, что мы должны куда-то двигаться? Гровер заинтересовался этим, а также тем, куда все направляют свои стопы, и, странная вещь, оказалось, что хотя все и движутся каждый к своей цели — никто не остановится и не задумается, что неизбежная цель для всех одна: могила. Это озадачило Гровера, поскольку никто не мог убедить его, что смерть не является неизбежностью, в то время как любой мог убедить кого угодно, что все другие назначения неопределены. Убежденный в непреложной неизбежности смерти, Гровер вдруг стал потрясающе преисполнен жизни. Впервые он начал жить, и притом перестал думать о своей хромоте.
156
Это, если задуматься, тоже довольно странная вещь, поскольку кривая нога так же, как и смерть, является непреложным фактом. И все же хромота вылетела у него из головы и, что еще важнее, вылетело из головы все, что было связано с хромотой. Точно так же и смерть, когда Гровер признал ее неизбежность, вылетела у него из головы. Сосредоточившись единственно на неизбежности смерти, он пренебрег всем неопределенным. Весь остальной мир хромал теперь вместе со своими кривоногими неопределенностями, лишь один Гровер был свободен и ничем не связан. Гровер Уотруз олицетворял собой неизбежность. Может, он был неправ, но он был определен. *А что толку быть правым, когда приходится волочить за собой кривую ногу?* Лишь немногие осознали истинность этих слов, и их имена стали великими именами. Гровер Уотруз, вероятно, никогда не станет известным, но тем не менее он очень велик. В этом, вероятно, и заключается причина, по которой я пишу о нем: просто у меня хватило разума понять, что Гровер достиг величия, даже если никто этого не признает. Тогда я думал, что Гровер просто безвредный фанатик, да, немного «чокнутый», как говорила моя мама Но каждый, кто проникся несомненной истиной, немного чокнутый, и только эти люди делают что-то для нашего мира. Другие люди, *великие* люди, разрушили по чуть-чуть здесь и там, а эти немногие, о которых я веду речь и в число которых включаю Гровера Уотруза, способны разрушить все только ради того, чтобы могла жить истина. Обычно такие люди рождаются с недостатками, так сказать, с кривой ногой, и по странной иронии люди именно эту кривую ногу и запоминают. Если такой человек, как Гровер, избавляется от хромоты, мир говорит, что ему повезло. Это логика неуверенности, и ее плод — несчастье. Гровер был единственным истинно счастливым человеком, которого я встретил в своей жизни, и этот небольшой памятник я воздвиг для того, чтобы о Гровере не забывали, как не забывали бы о его счастливой уверенности. Жаль, что в качестве опоры он выбрал Христа, но разве имеет значение, каким образом человек приходит к правде, если он одержим правдой и по правде живет?

ИНТЕРЛЮДИЯ

Беспорядок — это слово, изобретенное для тех случаев, когда истинный порядок нам

непонятен. Мне хочется остановиться на том периоде, когда все вырисовывалось в соответствии с порядком, если и понятным, то несомненно обескураживающим. Прежде всего — Хайми, Хайми-жаба, а еще яичники его жены, которые уже довольно долго гнили изнутри. Хайми прямо зациклился на гниющих яичниках своей жены. Это стало темой ежедневных разговоров, оставив позади даже слабительные пилюли и обложенный язык. Хайми играл в сексуальные притчи, как он сам говорил. Все беседы или начинались с яичников, или заканчивались ими. Вопреки обстоятельствам, он не забывал о трудах любви вместе с женой — долгие змеиные сношения, во время которых он успевал выкурить одну-другую сигарету. Он все пытался объяснить мне, как гной, который выделяют яичники, сообщает его жене пыл. Она и раньше была хороша в любви, но теперь стала что-то необыкновенное. Если яичники придется вырвать, излишне говорить, как она отнесется к этому. Да она и сама понимала. Так не теряй время! Каждый вечер, убрав со стола, они разоблачались в своей крохотной квартирке и ложились, сплетясь словно пара змей. Он много раз пытался описать мне — как они любили друг друга. Изнутри это похоже на устрицу, устрицу с мягкими зубками, что покусывают его. Иногда ему казалось, что он погрузился в ее утробу целиком, так было мягко и сдобно, а эти самые мягкие зубики покусывали его член, сводя с ума. Обычно они устраивались на манер ножниц и смотрели в потолок. Чтобы оттянуть финал, он думал об офисе и о тех маленьких неприятностях, которые не оставляли его, скручивая кишки тугим узлом. Между оргазмами он мог сосредоточиться на чем-нибудь еще, так что если она вновь приступала к нему, он мог представить себе, что это совершенно новое сношение с участием новой фирменной пиз-

158

ды. Обычно он устраивался так, что можно было не бросая дел смотреть в окошко. Он так навострился в этом деле, что мог раздеть женщину на бульваре за окном и переместить ее в свою кровать, и не только это — еще он мог заставить ее поменяться местами с женой, причем не бросая дел. Иногда он трахался так несколько часов и не думал при этом кончать. Что проливать попусту! — так он обычно говорил.

Стив Ромеро, напротив, имел много что проливать. Стив был вылеплен словно бык, поэтому он не задумываясь тратил свое семя. Как правило, мы обсуждали подобные вещи, сидя за хорошей отбивной в закусочной неподалеку от офиса. Там царила странная атмосфера. Может быть, потому что не подавали вина. Может быть, потому что подавали маленькие черные грибочки. Так или иначе, сосредоточиться на предмете обсуждения было нелегко. Когда мы собирались, Стив Ромеро обычно уже успевал побывать на тренировке, принять душ и растереться. Он был чист и снаружи и изнутри. Почти что совершенный образец мужчины. Не очень умен, по правде говоря, но хороший парень, компанейский. А Хайми, напротив, будто жаба. Словно явился к столу прямо из болота, где провел поганый денек. Всякая гадость сходила у него с уст будто лесть. По правде, в случае с ним это и гадостью-то назвать было нельзя, поскольку не с чем было сравнивать. Лилось одно лишь скользкое липкое вещество, целиком замешанное на сексе. В пище он видел только потенциальную сперму; если стояла теплая погода, он говорил, что это очень полезно яйцам; когда он ехал в трамвае, он знал наперед, что вагонная тряска вызовет у него желание, что «лично у него встает от этого», как он выражался. Почему «лично» — мне было невдомек, но так он говорил. Ему нравилось ходить с нами, потому что мы наверняка находили что-нибудь приличное. В одиночку ему далеко не всегда везло. С нами он мог рассчитывать на кусок мяса — Нежную пизду, как он выражался. Ему нравилась Нежная пизда. Нееврейка* пахнет слаще, говорил он. И посмеивался... Что он не переносил — так это черное мясо. Его удивляло и коробило мое знакомство с Валеской. Однажды он спросил, не слишком ли крепко она пахнет. Я ответил, что мне это нравится — крепкая и духовитая, в соусе. Он чуть не покраснел при этом. Удивительно, как он был деликатен в некоторых вещах. Например, был очень разборчив в еде. Наверное, это национальная черта. Еще очень чистоплотен.

* Английские слова «нежный» (gentle) и «неиудей, язычник» (gentile) — весьма созвучны.

159

Падал в обморок при виде пятнышка на манжете. Все время чистился, отряхивался, доставал зеркальце из кармана, чтобы убедиться, не застряла ли пища в зубах. Если находил хоть крошку, прятался за салфеткой и извлекал эту крошку при помощи зубочистки с перламутровой ручкой. Еще не мог спокойно думать о пресловутых яичниках. И вовсе не из-за запаха, поскольку его жена тоже была чистоплотная сучка. Весь день сидела на биде, готовясь к ночным случкам. Это было трагедией: значение, которое она придавала своим яичникам.

До того самого дня, когда ее увезли в больницу, они регулярно занимались любовью. Мысль о том, что она станет неспособна к этому, сводила ее с ума. Хайми, разумеется, твердил ей, что ему без разницы — так или эдак. Обвивая ее, как змея, в зубах сигарета,

на бульваре за окном девочки — он и вообразить не мог, что женщина может стать непригодной к сношению. Он был уверен, что операция пройдет успешно. *Успешно!* Это значит, что она будет трахаться лучше прежнего. Обычно он говорил ей это, лежа на спине и глядя в потолок. «Ты знаешь, я все равно буду тебя любить. Подвинься чуть-чуть вот так, сделай милость... вот так... хорошо. Так что я говорил? Ах, да... ну что ты взяла в голову? Разумеется, я тебя не брошу. Послушай, отодвинься немного, да-да, вот так, замечательно». Все это он нам рассказывал за хорошей отбивной. Стив смеялся до слез. Он так не мог. Он был очень честным, с женщинами особенно. Поэтому-то ему и не везло. Малыш Керли, например — а Стив его ненавидел — тот всегда добивался, чего хотел. Он был прирожденный лжец, прирожденный обманщик. Хайми тоже не слишком любил Керли. Он называл Керли бесчестным, имея в виду, конечно, бесчестность в денежных вопросах. В таких вещах Хайми был скрупулезен. А больше всего ему не нравилось, в каком тоне Керли говорил о своей тетке. По мнению Хайми, это было очень дурно, ему не следовало бы тянуть деньги у сестры своей матери, испытывая к ней не больше почтения, чем к куску тухлого сыра, для Хайми это было слишком. К женщине надо относиться уважительно, при условии, конечно, что эта женщина не проститутка. Если она проститутка — тогда другое дело. Проститутки не женщины. Проститутки — это проститутки. Вот так вот Хайми смотрел на вещи.

Однако истинной причиной такой нелюбви было другое: когда бы они ни бывали вместе — Керли всегда доставалось самое лучшее. И не только: Керли добивался успеха, используя деньги, взятые у Хайми. Даже то, как Керли просил деньги, раздражало Хайми — это было похоже на

160

вымогательство. Он полагал, что тут частично моя вина — я слишком снисходительно относился к парнишке.

— У него нет моральных устоев, — обычно говорил Хайми.

— А у *тебя,* у *тебя* моральные устои есть? — спрашивал я.

— Что я! Я слишком стар, чтобы иметь моральные устои. Но Керли еще ребенок.

— Ты ревнуешь,^ вот в чем дело, — говорил Стив.

— Я? Я ревную к нему? — и Хайми принимался ядовито хихикать, чтобы показать всю глупость таких домыслов. Эти подначки его сильно задевали. — Послушай, — говорил он, обращаясь ко мне, — я к тебе когда-нибудь ревновал? Разве я не уступал тебе, когда ты просил? Помнишь ту девицу с рыжими волосами, ну помнишь, с такими большими грудями? Разве не лакомый кусочек я тебе предложил по-дружески? И я сделал это, не так ли? А все потому, что ты проговорился, будто тебе очень нравятся большие груди. Но Керли я бы ни за что не уступил. Он маленький плут. Пусть сам о себе позаботится.

А Керли и так сам о себе заботился, притом очень умело. Насколько мне известно, он всегда пас пять-шесть девчонок. Среди них, например, Валеска — он не на шутку связался с ней. Ей чертовски нравилось, что с ней выделывают этакое не краснея, поэтому, когда настал черед кузины, а потом и карлицы, воспользоваться им, она нисколько не возражала. Больше всего ей нравилось, когда он имел ее в ванне в воде. Все было замечательно, пока не догадалась карлица. Случилась бурная сцена, завершившаяся на полу в гостиной. Послушать Керли — так можно было подумать, что он выделывает все, разве что на люстре не висит. Впридачу полным-полно карманных денег. Валеска щедрая, а кузина — тряпка. Предвкушение твердого члена делало ее податливой, как замазка. При виде расстегнутых брюк она впадала в транс. Стыдно слушать, что Керли выделывал с ней. Он испытывал удовольствие, унижая ее. Но едва ли я могу обвинять его, ведь она была такая чопорная, такая педантичная на людях. Когда она несла себя по улице, можно было поклясться, что у нее вовсе нет пизды. Естественно, уединившись, он заставлял ее заплатить за свои надменные манеры. И делал это рассчетливо. «Доставай», — приказывал он, чуть расстегнув штаны. «Доставай языком», — так говорил он всей компашке, поскольку, по его словам, все они сосали друг дружку за его спиной. Как только кузина ощущала во рту вкус члена, сразу же позволяла делать с ней все. Иногда он заставлял ее стать на руки и возил ее по комнате, будто

161

тачку. Или они приспосабливались на манер собак, и пока она стонала и корчилась, он невозмутимо зажигал сигарету и пускал дым меж ее ног. Однажды он сыграл плохую шутку, когда они устроились таким способом. Он расстарался настолько, что она обеспамятела. А потом, уже до блеска отполировав ей зад, он на секунду остановился, словно для того чтобы охладить кок, и тут, очень медленно и нежно вставил ей длинную морковину. «Это, мисс Аберкромби, что-то вроде двойника моего природного члена», — объяснил он, и с этими словами отлип от нее и натянул штаны. Кузина Аберкромби так смутилась, что не сумела сдержаться, жутко пернула, и морковина выпала. Так, по крайней мере, рассказывал Керли. Вообще-то, он был порядочный враль, и в этом

анекдоте, может, нет ни крупицы правды, но нельзя отрицать, что у него была склонность к подобным шуткам. Что до мисс Аберкромби с ее претенциозными манерами — так про такую пизду можно было думать все самое худшее. Хайми по сравнению с Керли был пурист. Хайми и его толстый обрезанный конец — словно две разные вещи. Когда у него лично вставал, как он выражался, он за это не отвечал. Он говорил, что это природа берет свое — в лице его, Хайми Лобшера, толстого обрезанного конца. То же самое можно было сказать и про дырку его жены. У нее между ног было что-то особенное, вроде украшения. Это было частью миссис Лобшер, но это не была-таки миссис Лобшер лично, попробуйте понять, что я имею в виду.

Ладно, все это просто в качестве введения к тому общему сексуальному беспорядку, который преобладал в то время. Будто снимаешь квартиру в стране Ебландии. Соседка сверху, взять хотя бы ее... иногда она спускалась к нам присмотреть за ребенком, когда у жены был концерт. Она выглядела такой простушкой, что я сперва просто не замечал ее. Но, как и у других, у нее имелась пизда, такая обезличенно-личная пизда, которую она бессознательно осознавала. И чем чаще она к нам спускалась, тем сильней осознавала, в своем подсознании. Как-то вечером, когда она была в ванной, причем сидела там подозрительно долго, я задумался обо всем этом. И решил подсмотреть за ней в замочную скважину, убедиться что к чему. Отрубите мне руку, если она не стояла перед зеркалом, поглаживая и лаская свою маленькую пипку. Почти что разговаривала с ней. Я так возбудился, что не знал, с чего начать. Отправился обратно в гостиную, выключил свет и лег на кушетку, ожидая ее возвращения. Я лежал, и у меня перед глазами стояла ее пушистая киска и пальцы, прикасающиеся к ней, как к струнам. Я расстегнул брюки, вытащил

162

член, пусть охладится в темноте. Со своей кушетки я пытался вызвать ее методом телепатии, во всяком случае я хотел, чтобы мой член послал ей установку внушения. «Иди сюда, сука, — не переставал я шептать, — иди сюда и накрой меня своей пиздой». Она, видимо, получила эту установку, поскольку в этот миг дверь открылась, и она ощупью стала пробираться к кушетке. Я не говорил ни слова и не двигался. Просто не переставал думать об ее пизде, медленно, словно краб, пробиравшейся в темноте. Наконец-то она встала у кушетки. И тоже не сказала ни слова. Просто тихо стояла, а как только я скользнул рукой вверх по ее ногам, шевельнулась, чтобы приоткрыть чуть шире промежность. Мне кажется, никогда моя рука не попадала в такую сочную промежность. У нее по ногам сбегало что-то вроде клейстера, и если бы под рукой были щиты для объявлений, я бы смог обклеить целую дюжину щитов. Через несколько минут, так же естественно, как корова, щиплющая травку, она нагнулась и взяла в рот. А я засунул все четыре пальца, взбивая ее сок до пены. Рот у нее был полным-полон, а сок проливался на ноги. Скажу я вам, мы не проронили ни слова. Словно парочка тихих маньяков трудилась в потемках. Как гробокопатели. То был Парадиз ебучий, я знал это, и был готов, и хотел, чтобы мы ебались до потери мозгов. Такой, как она, я, вероятно, никогда не встречал. Она так и не открыла рта — ни той ночью, ни следующей, никакой. Просто кралась вниз, почуяв, что мы будем одни, как тогда, в темноте, и накрывала меня пиздой. То была выдающаяся пизда. Стоит только подумать, вспоминаю темный подземный лабиринт, оснащенный и диванами, и уютными уголками, и резиновыми зубиками, и иглами, и мягкими гнездышками, и гагачьим пухом, и тутовыми листами. Мне нравилось совать туда свой нос и, подобно одинокому червю, хорониться в маленькой щели, где был абсолютный покой, и было так мягко и тихо, что я лежал, словно дельфин на устричной отмели. Легкая судорога — и я уже в пульмановском вагоне, читаю газету, а то — в тупике, где булыжники покрыты мхом, а витые ворота открываются и закрываются автоматически. Иногда это бывало похоже на погружение в глубины, с подрагивающими морскими крабами, водорослями, покачивающимися в лихорадке и жабрами крохотных рыб, хлопающими, будто клапаны губной гармоники. В необъятном темном гроте шелково-мыльный орган играл хищную темную музыку. Когда она достигала вершины, когда в полной мере выделяла сок, казалось, спускаются фиолетово-пурпурные, цвета тутовой ягоды, сумерки, чревовещательные сумерки, словно карлики и кретины на-

163

слаждаются, когда менструируют. Тогда я думал о каннибалах, пожирающих цветы, о яростном племени банту, о диких единорогах, готовящихся к брачному сезону на рододендронов. Все было анонимно и неопределенно: Джон До и его супруга Эмми До*; а над нами газовые резервуары, а под нами подводная жизнь. Выше пояса она была, как я уже говорил, тронутая. Да, совсем ку-ку, хотя покуда на ходу и на плаву. Может, это и сообщало ее пизде такую волшебную обезличенность. То была одна пизда из миллиона, настоящая Жемчужина Антильская, вроде той, что обнаружил Дик Осборн, читали Джозефа Конрада? Она лежала в широком Тихом океане секса: блистающий серебристый риф, окруженный анемонами, морскими звездами, каменистыми кораллами, принявшими

человеческий облик. Только Осборн мог открыть ее, указав правильную широту и долготу пизды. Встречая ее днем, видя, как медленно она идет, слабоумная, я испытывал те же чувства, что испытывает решивший поймать ласку темной ночью, поставив капкан. Мне оставалось только лечь в темноте, расстегнуть брюки и ждать. Она была подобна Офелии, как если бы та случайно воскресла и во второй жизни очутилась среди кафров. Она не помнила ни одного слова ни одного языка, особенно английского. Она была глухонемой, потерявшей память, причем с остатками памяти она утратила также щипцы для завивки, щипчики для ногтей и дамскую сумочку. Она была голая как рыба, только между ног торчал пук волос. И она была более скользкая, чем рыба, поскольку у рыб хоть чешуя есть, а у нее не было. Иногда я терялся в догадках: я в ней, или она во мне? То была открытая война, новомодный Панкратион*, когда всяк пытается укусить себя в задницу. Любовь в среде червей, с бесстыдно поднятой крайней плотью, любовь без пола и без лизола. Инкубационная любовь, которую практикуют росомахи на верхушках деревьев. С одной стороны — Северный Ледовитый океан, с другой — Мексиканский залив. И хотя мы не обращались к нему открыто, с нами всегда был Кинг-Конг, Кинг-Конг, спящий в затонувшем остове «Титаника» среди фосфоресцирующих костей миллионеров и миног. Никакая логика не помогала избавиться от Кинг-Конга. Он был гигантским бандажом, умерявшим мимолетную боль души. Он был свадебным пирогом с волосатыми ногами и руками длиной в милю. Он был вертящимся экраном, на котором мелькали новости. Он был дулом револьвера, который никогда не палит, прокаженным, вооружившимся отпиленным гонококком.

Именно тут, в пустоте грыжи, я спокойно размышлял посредством пениса. Прежде всего — о биномиальной тео-

164

реме, фразе, всегда озадачивавшей меня: я положил ее под увеличительное стекло и изучил от икс до зет. Потом — о Логосе, который я каким-то образом всегда идентифицировал с дыханием: напротив, я обнаружил, что это разновидность навязчивой идеи, машина, которая продолжала размалывать зерно, тогда как житницы уж давно были полны и евреи ушли из Египта. Еще был Буцефаллус*, слово, любезное мне более остальных слов моего словаря, буду щеголять им во всяком затруднительном положении, а с ним вместе не забуду Александра и его царскую свиту. Что за конь! Произведенный на свет в Индийском океане, последний в роду, сам не вступивший в брак, разве что с царицей амазонок во время месопотамских событий. Еще был шотландский гамбит! Удивительное выражение, никакого отношения к шахматам не имеющее. Оно являлось мне в виде человека на ходулях со страницы 2498 «Полного Словаря» Функа и Вагналла*. Гамбит был разновидностью прыжка в незнаемое на механических ногах. Прыжок неизвестно зачем — значит, гамбит! Чистый как колокол и удивительно простой, если вы сподобились его понять. Еще была Андромеда, и Медуза Горгона, и Кастор и Поллукс небесного происхождения, мифологические близнецы, навечно закрепленные в эфемерной звездной пыли. Еще были бдения, слово определенно сексуальное, и все же предполагающее такие церебральные коннотации, что мне становилось не по себе. Всегда «полуночные бдения», причем слово «полуночные» таило зловещий смысл. И еще шпалеры. Когда-то кого-то проткнули шпагой, когда он стоял за шпалерой. Я видел напрестольную пелену, выполненную из асбеста, а в ней ужасная дыра, какую мог проделать сам Цезарь.

Я размышлял очень спокойно, как уже отметил. В таком духе не отказывали себе в удовольствии поразмышлять и люди каменного века. Все было и не абсурдным, и не допускающим объяснения. Словно разрезанная на кусочки картинка-загадка, которую, наскучив составлять, отбрасываешь в сторону. Все можно с легкостью отложить, даже Гималаи. Как раз вопреки мысли Магомета. Это ни к чему не приводит и потому приятно. Огромное сооружение, которое мы воздвигнули за время затянувшегося полового акта, может быть опрокинуто в мгновение ока. В счет пойдет лишь то, что мы трахались, а никак не строительные работы. Это — как жизнь в Ковчеге во время Потопа, ты обеспечен всем вплоть до апельсинного ликера. К чему совершать убийства, насиловать, кровосмесительствовать, когда от тебя требуется лишь убивать время? Дождь, дождь, дождь, а внутри Ковчега сухо и тепло, каждой твари

165

по паре, а в кладовке превосходная вестфальская ветчина, свежие яйца, маслины, маринады, вустерский соус и прочие деликатесы. Господь призвал меня, Ноя, основать новое небо и новую землю. Он дал мне крепкую лодку с хорошо просмоленными и как следует высушенными швами. И еще Он дал мне умение бороздить штормливое море. Может быть, когда кончится дождь, понадобится другое умение, но в настоящий момент мореходного знания достаточно. Остальное — это шахматы в «Кафе Рояль» на Второй авеню, да еще партнера надо подыскать, какого-нибудь умного еврея, чтобы партия продолжалась, пока дождь не перестанет. Но, как я уже говорил, у меня не будет времени

скучать: со мной мои старые друзья — Логос, Буцефаллус, шпалеры, бдения и так далее. Так зачем шахматы?

Запертый в тюрьме в течение нескольких дней и ночей, я начал понимать, что размышление, если только это не мастурбация, служит мягчительным, заживляющим, приятным средством. Размышление, не приводящее никуда, ведет вас повсюду; прочие размышления ведут по колее, и неважно, какова дистанция — все завершается складом или депо. В конце всегда красный сигнал, приказывающий:

СТОП! А когда размышлять принимается пенис — тут ни помех, ни стопа, это — вечный праздник, свежая приманка и рыба, дергающая леску. А это напоминает мне о Веронике, так ее, кажется звали. Вот еще. одна пизда, наводившая на нехорошие мысли. С Вероникой вечно была возня в вестибюле. На танцплощадке про нее можно было подумать, будто она собирается преподнести вам в постоянный дар свои яичники, а потом, ближе к делу, она принималась вдруг размышлять, размышлять о шляпке, кошельке, о тетке, которая ее ждет, о письме, которое она забыла отправить, о работе, которую может потерять, — то есть о всяческих глупостях, совершенно неуместных и никак не относящихся к делу. Словно подключала к пизде, настороженной и бдительной, мозги. То была почти, так сказать, метафизическая пизда. То была пизда, обдумывающая каждый шаг, более того: это был особый способ размышлять, с размеренностью метронома. Для такого рода перемещенных ритмических бдений требовался специальный тусклый свет: достаточно приглушенный, чтобы можно было расстегнуться, и все же довольно заметный, если ненароком отскочит пуговица и покатится по полу вестибюля. Вы понимаете, что я имею в виду. Непроизвольная, но щепетильная точность, стальная уверенность, позволяющая отключиться. И в то же время трепетность и непредсказуемость, так что не определишь, синица или журавль.

166

Что это у меня в руке? Хорошее или превосходное? Ответ всегда один: суп из утки. Когда берешь ее за сиськи, она кричит, будто попутай; когда лезешь к ней под юбку, она вьется, словно уж; когда прижмешь ее покрепче, она кусается, как хорек. Она все тянет, тянет, тянет. Зачем? Что потом? Даст через часок-другой? Один шанс из миллиона. Она похожа на голубку, попавшуюся в силок, но пытающуюся взлететь. Она своим видом старалась показать, будто у нее нет ног. А если надумаешь ее освободить, она угрожает тебя обгадить.

Из-за ее удивительного зада и по причине ее неприступности я мысленно сравнивал ее с Pons Asinorum*. Каждый школьник знает, что мост ослов не может перейти никто, только два белых ослика, ведомых слепцом. Я не помню, почему это так, но это правило, установленное стариком Евклидом. Он был преисполнен знания, старый пердун, и в один прекрасный день — думаю, чтобы потешить себя — построил мост, который не было дано перейти никому из смертных. Он назвал его мостом ослов, поскольку был владельцем пары замечательных белых осликов, и так привязался к ним, что никому не хотел уступить право обладания. Поэтому он тешил себя мечтой, в которой он, слепец, в один прекрасный день переводил осликов по мосту на счастливые привольные пастбища. Вот и Вероника так. Она столь кичилась своим великолепным белым задом, что ни с кем не хотела этим задом поделиться. Она решила взять его с собой в рай, когда придет время. Что до ее пизды — о которой, кстати, она и не поминала — что до ее пизды, .скажу я вам, так она была только аксессуаром, приложенным к заду. В тусклом свете вестибюля, даже не упоминая о двух своих незадачах явно, она каким-то образом создавала дискомфорт, заставляя вас думать о них. То бишь, заставляла думать, действуя как престидижитатор. Ты смотрел и ощущал только для того, чтобы в конце концов быть обманутым, чтобы убедиться, что ты ничего не увидел и не почувствовал. То была очень тонкая сексуальная алгебра, полуночные бдения, приносившие к утру «А» или «В»*, но ничего более. Ты сдаешь экзамены, получаешь диплом — и свободен. Тем временем зад использовался исключительно для сидения, а пизда — чтобы спускать водичку. Между учебником и уборной пролегала промежуточная область, куда — ни ногой, ибо там — заклейменная зона совокуплений. Можно мочиться и дрочить, но совокупляться — никогда. И свет не тушили, однако и солнце не светило. Всегда полутьма, как раз, чтобы суметь расстегнуться. Но именно этот мрачноватый проблеск света держал ум настороже вокруг всяких сумочек, губной

167

помады, пуговиц, ключей и тому подобного. По-настоящему думать не получалось, поскольку ум уже занят. Ум зарезервирован, как пустое кресло в театре, на котором владелец оставил свой шапокляк.

Я уже сказал, что Вероника обладала говорящей пиздой, и это бь1ло худо, ведь, казалось, ее единственная функция заключалась в том, чтобы отговорить вас от совокупления. У Эвелины, напротив, была смеющаяся пизда. Эвелина тоже жила где-то на верхотуре, но в доме по соседству. Она забегала, как правило, в час обеда, чтобы

развлечь меня новой хохмой. Комедиантка чистой воды, единственная по-настоящему смешливая женщина в моей жизни. Все обращала в шутку, и совокупление тоже. Она могла одним своим смехом возбудить, а это, как вы знаете, налегко. Полагают, будто у фаллоса нет сознания, но заставить член смеяться — это ведь феноменально. В качестве примера могу привести одно: когда Эвелина зажигалась, она принималась чревовещать пиздой. Вы были готовы войти в нее, как вдруг куколка между ее ног разражалась хохотом. И это тут же передавалось вам: вы чувствовали шаловливые подергивания и пожимания. Еще она умела петь, ее куколка-пизда. Ни дать, ни взять — дрессированный котик.

Нет ничего труднее, чем заниматься любовью в цирке. Все время действуя как дрессированный котик, она становилась более недоступной, чем если бы была опутана железными ремнями. Она могла испортить самую что ни на есть «личную» эрекцию на свете. Испортить своим смехом. В то же время это не было так унизительно, как можно себе представить. В вагинальном смехе было что-то симпатичное. Казалось, весь мир раскручивается, словно порнографическое кино, трагической темой которого является импотенция. Мысленно вы себе виделись то собакой, то лаской, то белым кроликом. Любовь была чем-то сторонним вроде порции черной икры или гелиотропа. Вы могли видеть в себе чревовещателя, говорящего об икре и гелиотропах, но истинным лицом всегда была ласка или белый кролик. А Эвелин всегда лежала на капустной грядке, широко раздвинув ноги и предлагая первому встречному ярко-зеленый лист. Но когда вы делали движение, чтобы вкусить от этого листа,, вся капустная грядка разражалась хохотом, веселым, влажным, вагинальным хохотом, о котором не мечтали Иисус Г. Христос и Иммануил Зануда Кант, ибо если бы они мечтали, мир не стал бы таким, каков он есть сегодня, и, кроме того, вообще не было бы ни Канта, ни Всемогущего Христа. Женщина редко смеется, но когда она смеется — это похоже на извержение вулкана. Когда женщина смеется — мужчине лучше всего

168

укрыться в убежище. Ничто не устоит перед этим вагинирующим ликованием — даже железобетон. Женщина, когда на нее находит смешливость, может пересмеять и гиену, и шакала, и дикого кота. Вы можете иногда услышать подобное на сборищах линчевателей. Это значит, что заслонка открыта и все выходит наружу. Это значит, что она сама о себе позаботится и проследит, чтобы вам не отмахнули ненароком яйца! Это значит, что если надвинется мор, она поспеет первой и сдерет с вас кожу шипованной плеткой. Это значит, что она хочет лежать не только с Томом, Диком и Гарри, но и с Холерой, Менингитом, Проказой; это значит, что она уляжется на алтарь, как кобыла в течке, и примет всех приходящих, в том числе и Духа Святого. Это значит, что она в одну ночь разрушит то, что бедный мужчина, вооруженный знанием всех своих логарифмов, создавал пять, десять, двадцать тысяч лет. Она разрушит все это и обоссыт, и никто ее не остановит, если она начала смеяться всерьез. Когда я сказал, будто смех Вероники* может испортить самое что ни на есть личное возбуждение, я имел в виду следующее: она испортит личную эрекцию и вручит вам нечто безличное, похожее на раскаленный докрасна шомпол. Может, с самой Вероникой* вы и не зайдете далеко, но с тем, что она дала вам, вы далеко пойдете, это уж как пить дать. Услыхать ее хоть однажды — все равно что получить изрядную дозу шпанских мушек. Так и будешь стоять, пока не сунешь под кувалду.

И все шло таким вот образом, даром что каждое мое слово — ложь. Это — личный тур в обезличенный мир, когда человек, орудуя игрушечной лопаткой, хочет прорыть туннель в земном шаре. Идея состояла в том, чтобы прорыть туннель и найти наконец свою Кулебрскую выемку*, свою *ne plus ultra,* медовый месяц плоти. И, разумеется, конца копанию видно не было. Лучшее, на что я мог надеяться — это застрять в самом центре земли, где давление всесторонне и невероятно, и остаться там навсегда. Тогда я ощутил бы себя колесованным Иксионом*, а это ведь разновидность спасения, которой нельзя полностью пренебрегать. С другой стороны, я был метафизиком инстинктивного толка: я не мог застрять нигде, даже в самом центре земли. Я был движим императивом: найти и насладиться метафизическим совокуплением — и ради этого я был бы вынужден выбраться на совершенно новое плоскогорье, полное сладкой люцерны и полированных монолитов, куда наведываются орлы и стервятники.

* Так в оригинале: Вероника, а не Эвелина (*прим. перев*.).

169

Иногда, сидя вечером в парке, особенно в парке, замусоренном бумагой и объедками, я видел проходящую мимо деву, казалось, она держит путь в Тибет. Я провожал ее округлившимся глазом, надеясь, что она вдруг взлетит, ибо если бы это случилось, если бы она взлетела, я знаю, что тоже смог бы взлететь, а это положило бы конец копанию и купанию в грязи. Иногда, вероятно, благодаря сумеркам или другим осложнениям, мне мерещилось, что она правда взлетает, поворачивая за угол. То есть, она вдруг как бы

отрывалась на метр от земли, словно тяжело груженный аэроплан, но именно этот неожиданный, непроизвольный отрыв, неважно — реальный или воображаемый, давал мне надежду, давал мне мужество сосредоточить спокойно округлившийся глаз на этой точке.

Внутри меня словно мегафоны включались: «Иди, догони, достань» и всякая чушь. Но зачем? Какого хрена? Куда? Как? Я всегда ставлю будильник, чтобы просыпаться в одно и то же время, но зачем просыпаться, *и зачем в одно и то же?* Зачем вставать вообще? Держа в руках маленькую лопатку, я работал как галерный раб, но не увидел даже проблеска надежды на вознаграждение. Если продолжать в том же духе, то я вырою яму, глубже которой еще никто не вырывал. С другой стороны, если мне так уж хочется на другую сторону земли, не проще ли кинуть лопатку к черту и сесть на аэроплан в Китай? Но тело следует за умом. То, что просто для тела, не всегда просто уму. И особенно трудно и непонятно, когда ум и тело расходятся в противоположных направлениях.

Трудиться лопаткой было блаженством: это освобождало ум, а следовательно, исчезала всякая опасность расхождения ума и тела. Если она-животное вдруг начинала стонать от удовольствия, если она-животное вдруг начинала биться в сладострастной истерике, причем челюсти болтались, как обувные шнурки, в груди хрипело, а ребра поскрипывали, если она-сучара вдруг начинала распадаться прямо на полу в припадке восторга и перехлеста, именно в этот момент, ни секундой раньше, ни секундой позже, обетованное плоскогорье показывалось, словно корабль, выплывающий из тумана, и ничего не оставалось делать, как водрузить на нем звездно-полосатый и заявить на него права во имя дяди Сэма и всего, что свято. Эти неприятности происходили так часто, что было невозможно не верить в реальность области, называемой Ебландией, поскольку ей можно было дать только одно это имя, и тем не менее эта область заключала нечто большее своего корня и, ебясь, мы только приближались к ней. Каждый в то или иное время ставил свой флаг на этой территории, и все же

170

никому не удалось провозгласить ее своим неотъемлемым владением. Она исчезает за одну ночь, а иногда в мгновение ока. Это Ничья Земля, и она пахнет рассеяньем невидимых смертей. Если бы объявили перемирие, то можно было бы встретиться на этой земле, обменяться рукопожатием и выкурить по трубочке. Но перемирие не может длиться долго. Единственное, что представляется непреходящим — это идея о «промежуточной зоне». Здесь пролетают пули и громоздятся трупы, но потом проходит дождь и в конце концов не остается ничего, кроме вони.

Все это — способ фигурально рассказать о том, что не принято произносить вслух. А не принято произносить вслух вчистую: пизда и ебля. Об этом можно упоминать только в роскошных изданиях, иначе мир разрушится. А мир держится, как я вывел из горького опыта, на половом сношении. Но *ебля,* реальное понятие, *пизда,* реальное понятие, — кажется, заключают в себе некий неидентифицированный элемент куда опаснее нитроглицерина. Чтобы понять истинное положение дел, надо обратиться к каталогу Сирса Роубека, одобренному англиканской церковью. На двадцать третьей странице вы найдете изображение Приапа, удерживающего штопор на конце своей тростинки; он по ошибке стоит в тени Парфенона; он обнажен, если не считать продырявленной повязки, взятой по случаю у Святых Трясунов* из Орегона и Саскачевана. На проводе — отдаленная местность, желают знать, не надуют ли их на продаже. Он отвечает «катитесь к *дьяволу»* и вешает трубку. На заднем плане — Рембрандт, изучающий анатомию Господа нашего Иисуса Христа, который, если помните, был распят евреями и затем доставлен в Абиссинию, где был забит метательными дисками и другими предметами. Погода, как водится, стояла приятная и теплая, разве что легкий туман поднимался с Ионического моря: то испарения потных мудей Нептуна, кастрированного первыми монахами или, может быть, манихейцами* во времена Пентекостальской чумы. Вывесили сушить ремни конского мяса, и всюду — мухи, как было описано Гомером в античные времена. Рядом — молотилка Маккормика*, жатка и сноповязалка с двигателем в тридцать шесть лошадиных сил, и никаких глушителей. Урожай собран, и труженики на отдаленных полях подсчитывают заработок. Это — утренняя заря в первый день полового сношения в древнем эллинском мире, теперь достоверно воспроизведенном для нас в красках благодаря братьям Цейсс и другим терпеливым фанатикам индустрии. Но людям гомеровского времени, участникам этих событий, все виделось не так. Никто не знает, как выглядел бог Приап, когда его

171

низвели до бесчестья, заставив балансировать штопором на конце тростинки. Стоя таким макаром в тени Парфенона, он несомненно думал о воображаемой, отдаленной пизде, забыв о штопоре, молотилке, жатке; должно быть, он постепенно утихомирился и в конце концов перестал даже мечтать. Это — моя выдумка, и если я ошибаюсь, пусть меня поправят. Застыв в поднимающемся тумане, он неожиданно услышал ангельский

перезвон и, о чудо, перед его глазами предстает великолепное зеленое болото, посреди которого пируют чокто и навахо; в небе над ними — белые кондоры, их воротнички украшены фестонами из ноготков. Еще он увидел огромную грифельную доску с начертанным на ней телом Христа, телом Авессалома* и дьявола, который есть похоть. Он увидел губку, напитанную лягушачьей кровью, глаза, вшитые блаженным Августином* в свою кожу, облачение недостаточное, чтобы прикрыть наши пороки. Он увидел все это в тот момент, когда навахо веселились с чокто, и он так увлекся удивительным зрелищем, что вдруг голос раздался из-промеж его ног, из длинного мыслящего тростника, о котором он забыл, увлекшись, и то был самый возбуждающий, самый пронзительный и назойливый, самый ликующий и страшный голос, который когда-либо поднимался из глубин. И он начал петь своим длиннющим коком с таким небесным изяществом и благородством, что белые кондоры спустились на землю и снесли огромные пурпурные яйца прямо на зеленое болото. Господь наш Христос поднялся со своего каменного ложа и, весь в отметинах от метательных дисков, припустился танцевать в стиле горного козла. Из Египта пришли феллахи в цепях, их пригнали воинственные игороты и питающиеся змеиным мясом обитатели Занзибара.

Вот так обстояли дела в первый день полового сношения в древнем эллинском мире. С тех пор многое сильно изменилось, теперь считается невежливым петь собственной тростинкой, и даже кондорам непозволительно нести пурпурные яйца на местности. Это все — скатология, эсхатология и экуменизм. Это запрещено. *Verboten.* И поэтому страна Ебландия постепенно отходит на второй план: она становится мифом. Таким образом, и я вынужден изъясняться мифологически. Моя речь невероятно наполнена елеем и дорогими мазями. Я отказываюсь от клацающих цимбалов, туб, белых ноготков, олеандров и рододендронов. Конец терновым иглам и наручникам! Христос мертв, изрублен метательными дисками. Феллахи побелели в песках Египта, их запястья свободно болтаются в наручниках. Грифы сожрали разлагающуюся плоть до последнего кусочка. Все спокойно, миллион золотых мышей вгрызаются

172

в невидимый сыр. Взошла луна, и Нил раздумывает об опустошении своих берегов. Земля неслышно блюет, звезды в судорогах, реки скользят в берегах. Все словно... Бывают пизды, которые смеются, и пизды, которые разговаривают; есть сумасшедшие, истерические пйзды, формой напоминающие окарину, а есть растительные пизды-сейсмографы, регистрирующие подъем и упадок живительных сил; есть пизды-каннибалы, которые раскрываются широко, как челюсти кашалота, и заглатывают живьем; еще есть мазохистские пйзды, которые захлопываются, будто устрицы, покрыты твердым панцирем и, возможно, таят внутри одну-две жемчужины; есть дифирамбические пйзды, которые пляшут при первом приближении пениса и влажнеют от экстаза; есть пизды-дикобразы, топорщащиеся иглами, машущие флажками на Рождество; есть телеграфные пйзды, пользующиеся азбукой Морзе, оставляющие в голове мешанину точек и тире; есть политические пйзды, насыщенные идеологией — они отрицают даже менопаузу;

есть пизды-растения, которые не отзовутся, пока их не дернешь с корнем; есть религиозные пйзды, пахнущие словно адвентисты Седьмого Дня, наполненные четками, червями, моллюсками, овечьим пометом, а иногда сухими хлебными крошками; есть млекопитающие пйзды, подбитые выдриной шкурой, зимами впадающие в спячку, есть пйзды для круиза, оборудованные что твоя яхта — они хороши для одиночек и эпилептиков; есть ледяные пйзды, в которых можно уронить звезду и не заметить ни огонька;

есть тысячелетние пйзды, отрицающие категорию вида — об них спотыкаешься в жизни лишь однажды, после чего они оставляют вас иссушенными и заклейменными; есть пйзды, созданные из чистой радости, у которых нет ни имени, ни предтечи, — и они наилучшие из всех, но куда же они подевались?

И есть единственная пизда, вобравшая в себя все, мы назовем ее суперпиздой, поскольку она не от мира сего, но из той светлой страны, куда нас пригласили улететь очень-очень давно. Там сияет роса, и высокий тростник сгибается под ветром. Это там обитает великий отец блуда, Отец Апис*, священный бык, проложивший рогами путь на небеса и низвергнувший кастрированные божества правды и неправды. От Аписа произошли единороги, эти странные животные древних сказаний, с челом, вытянувшимся, будто мерцающий фаллос. От единорога постепенно произошел позднегородской человек, о котором говорит Освальд Шпенглер*. А из мертвого кока этого печального типа поднялся гигантский небоскреб со своими скоростными лифтами и смотровыми площадками. Мы — последняя деся-

173

тичная отметка сексуальных вычислений; мир испортился, как тухлое яйцо на соломенной подстилке. Теперь в то отдаленное место, в ту светлую страну, где обитает

Апис, отец блуда, летают на алюминиевых крыльях. Все несется вперед, словно смазанные часы; на каждую минуту циферблата приходится миллион бесшумных часов, снимающих кожуру времени. Мы путешествуем быстрее, чем молниеносный калькулятор, быстрее, чем звездный свет, быстрее, чем мысль волшебника. Каждая секунда — это вселенная времени. А всякая вселенная времени — это мгновение ока в космогонии скорости. Когда скорость подойдет к своему концу — мы будем там, как всегда пунктуальные и блаженно неназванные. Мы уроним наши крылья, наши часы и наши каминные доски, на которых стоят часы. Мы поднимемся, легкие, как перышко, и ликующие — словно столбик крови, и не будет воспоминаний, тянущих нас назад. И на сей раз я призываю царство суперпизды, ибо оно неподвластно ни скорости, ни вычислению, ни воплощению в образах. И пенис сам по себе не имеет известного размера и веса. Есть только длительное либидо, побег высокого полета, кошмар, раскуривающий скромную сигару. Маленький Немо неделю слоняется с восставшей плотью и превосходной парой гонорейных яиц, завещанных леди Баунтифул. Это — воскресное утро близ Вечнозеленого кладбища.

Это — воскресное утро, и я блаженно лежу на ложе из железобетона, глухой ко всему миру. Рядом— кладбище, то есть — *мир полового сношения.* Мои яйца болят от непрерывных трудов, но все разворачивается под окном, на бульваре, где Хайми устроил себе гнездышко для случки. Я думаю об одной женщине, а все остальное — дрянь. Я говорю, что думаю о ней, но на самом деле я умираю от звездной болезни. Я лежу, будто больная звезда, ожидающая, когда из нее выйдет весь ее свет. Много лет назад я лежал на том же самом ложе и ждал, ждал рождения. Ничего не произошло. Разве что мать, с ее лютеранским рвением, окатила меня водой. Моя мать, несчастная дура, думала, что я разленился. Она не знала, что меня подхватил звездный поток, что я рассеялся в черную пыль на самой дальней окраине вселенной. Она думала, что меня приковала к ложу обыкновенная лень. И она окатила меня водой: я вздрогнул и поежился немного, но не покинул свое железобетонное ложе. Я был потухшим метеорным дождем где-то по соседству с Вегой.

И теперь я на том же самом ложе, и свет, что во мне, не хочет гаснуть. Мир мужчин и женщин пирует в кладбищенских пределах. Они занимаются половым сноше-

174

нием, прости их Господи, а я один в своей стране Ебландии. Мне кажется, что я слышу лязганье большого механизма, линотипированные наручники проходят через валки секса. Хайми и его нимфоманка-жена лежат на одном уровне со мной, только через реку. Река называется Смерть, и. она горька на вкус. Я много раз перебирался через нее, река по пояс, но почему-то не превратился в камень и не обрел бессмертия. Я все еще горю изнутри, хотя снаружи мертв, как планета. С этого ложа я поднимался в танце, и не раз, а сотни, тысячи раз. Каждый раз я возвращался с уверенностью, что танцевал пляску скелета на смутной *территории.* Может быть, я растратил слишком много собственного вещества в страданиях; может быть, я был одержим идеей стать первым металлургическим блюмом человеческой породы; может быть, меня занимала мысль, что я и суб-горилла, и супер-божество. На этом ложе из железобетона я помню все, и все из горного хрусталя. Там нет никаких животных, только тысячи тысяч человеческих существ, говорящих одновременно, и на каждое слово, произнесенное ими, у меня немедленно готов ответ, иногда даже раньше, чем слово'срывается с их уст. Там предостаточно убивают, но нет крови. Убийства совершаются очень чисто, и всегда в молчании. И даже если всех убьют, все равно разговоры останутся, причем они будут интригующими и легкими. Ибо это я создаю их! Я это знаю, и вот почему я не схожу с ума. У меня в запасе разговоров на двадцать лет вперед, пока я не повстречаюсь с подходящим человеком, которого сотворю сам, когда, скажем так, наступит удобный момент. Все эти разговоры имеют место в праздной компании, которая стала такой же принадлежностью моего ложа, как и матрац. Однажды я дал имя этой *смутной территории; я* назвал ее Убигучи, но Убигучи что-то не понравилось мне: слишком вразумительно, слишком наполнено смыслом. Лучше считать ее просто смутной *территорией,* как я и намеревался. Люди думают, что бессмысленная болтовня — это пустяки, но это не так. Бессмысленная болтовня — это противоречивая наполненность, битком набитый призрачный мир, в котором наощупь пробирается душа. Помню, мальчишкой я ходил с праздной компанией, как будто я был веселой душой безо всего, но в башмаках. У меня украли тело, поскольку оно мне особенно не требовалось. Тогда я мог существовать и с телом и без оного. Когда я убивал пичужку, поджаривал ее на костре и съедал, делал я это не от голода, а потому что хотел узнать о Тимбукту или Огненной Земле. Я ходил с праздной компанией и ел убитых птичек для того, чтобы породить желание к той светлой

175

земле, которую впоследствии единолично обжил и населил ностальгией. Я так много

ждал от этой страны, что горько разочаровался. Я пребывал в омертвелом состоянии столько, что мало кто бы выдержал, а потом по закону, который, должно быть, и есть закон творения, неожиданно вспыхнул и начал неистощимо жить, словно звезда, чей свет неисчерпаем. Здесь начинается истинный каннибалистический экскурс, так много значащий для меня: не стало больше мертвых хрустяшек, снятых с костра — появилось живое человеческое мясо, нежное, сочная человечья плоть, тайна парной человечьей печени, откровения проглоченных опухолей, хранимых в морозилке. Я приучился не ждать, пока жертва умрет, а вгрызаться в нее во время разговоров. Частенько, оставив обед недокушанным, я обнаруживал, что то был мой старый друг минус рука или нога. Иногда я так и оставлял его: туловище, набитое вонючими кишками.

Порождение города — единственного города на свете с его неповторимым Бродвеем — я любил гулять туда-сюда, разглядывая залитые светом витрин ветчины и другие деликатесы. Я стал шизом от подошв до кончиков волос. Я жил исключительно в герундиве*, который понимал только на латыни. Я сожительствовал с Хильдой, гигантской цветной капустой моих грез, задолго до того, как прочитал о ней в *«Черной Книге».* Мы прошли через все морганатические хвори вместе, и еще через несколько, которые были *ex cathedra.* Мы обитали в каркасе инстинктов, питаясь ганг-лийными воспоминаниями. То была не какая-то одна вселенная, а миллионы и миллиарды вселенных, вместе взятые не больше булавочной головки. То был растительный сон в пустыне разума. То было прошлое, которое впитало вечность. Посреди фауны и флоры моих грез я слышу междугородний звонок. На мой стол падают послания уродов и эпилептиков. Иногда заходит Ганс Касторп*, и мы вместе совершаем невинные преступления. Или ясным морозным днем я делаю круг по велодрому на велосипеде «Престо», изготовленном в Хемнице, Богемия.

Лучше всего была пляска скелетов. Сначала я обмывался у раковины, менял белье, брился, пудрился, подравнивал волосы, готовил бальные туфли. Ощущая внутри неестественную легкость, я крутился в толпе, чтобы поймать нужный человеческий ритм, вес и вещественность плоти. Потом я намечал прямую линию на танцплощадку, собирал ветреную плоть и начинал осенний пируэт. Однажды ночью я словно попал в усадьбу пышноволосой гречанки и чмокнул ее в губы. Она казалась иссиня-черной, белой, как мел, лишенной возраста. Она была подвижна, будто

176

ртуть, и в то же время приятно тяжела. У нее был мраморный взгляд фавна, запечатленного в лаве. Я понял, что пришло время покинуть периферию и двинулся к центру, хотя бы для того чтобы обрести почву, которая стала уходить из-под ног. Земля стремительно ускользала под моими нетвердыми ногами. Я потерял поддержку земли и вот — руки мои полны метеорных цветов. Я пытался достать ее своими руками, но она была еще неуловимее, чем песок. Я вспоминал свои излюбленные ночные кошмары, но она не имела никакого сходства с тем, что вгоняло меня в холодный пот и бред. В бреду я поднимался на дыбы и ржал. Я закупал лягушек и скрещивал их с жабами. Я размышлял о самом простом для осуществления, то есть о смерти, но ничего не предпринимал. Я спокойно стоял, начиная каменеть в конечностях. Это было так прекрасно, так целительно, так ощутимо, что я начинал хохотать до самых кишок, словно гиена, одержимая естеством. Может быть, я превратился бы в каменную розетку! Я просто стоял и ждал. Приходила весна, и осень, и потом зима. Я автоматически возобновлял мой страховой полис. Я ел траву и корни листопадных деревьев. Я целыми днями смотрел один и тот же фильм. Время от времени я чистил зубы. Если в меня выпускали очередь, пули скользили мимо, отскакивая от стены рикошетом со странным звуком та-та-та. Как-то на темной улице на меня напал бандюга, я почувствовал, как в мое тело входит нож. Ощущение — будто принимаешь покалывающую ванну. Странно, однако нож не оставил никаких следов на коже. Опыт удивил своей новизной, поэтому я отправился домой, где и воткнул ножи во все части тела. Ощущение покалывания усилилось. Я сел, выдернул ножи и вновь поразился тому, что нет ни крови, ни отверстий, ни боли. Я уж было собрался укусить себя в руку, когда раздался телефонный звонок. Междугородний. Я так и не узнаю, кто звонил, потому что никто к телефону не подошел. Однако пляска скелетов...

Жизнь проплывает мимо витрин. Я лежу, словно ярко освещенная ветчина, ожидающая разделки. На самом деле — бояться нечего, поскольку тебя аккуратно разрежут на тонкие превосходные ломтики и упакуют в целлофан. Вдруг гаснут все городские огни и звучит тревожная сирена. Город окутан ядовитыми газами, рвутся бомбы, искромсанные тела разметало по сторонам. Всюду электричество, кровь, осколки и громкоговорители. Люди в воздухе ликуют, люди внизу стонут и вопят. Когда газ и пламя сжирают всю плоть, начинается пляска скелетов. Я наблюдаю за ней из витрины, теперь уже темной. Это лучше чем разрушение Рима, ибо здесь больше поживы.

177

Почему скелеты отдаются пляске так самозабвенно, размышляю я? Это закат нашего мира? Это и есть тот самый танец смерти, о котором так часто возвещали*? Страшно смотреть, как пляшут в снегу миллионы скелетов, тогда как город идет ко дну. Возродится ли хоть что-нибудь? Покинут ли младенцы чрево матерей? Будет ли еда и вино? В воздухе люди — это несомненно. Они спустятся вниз, чтобы грабить. Будет чума и холера, и те, кто сейчас наверху пируют победу, погибнут вместе с побежденными. У меня есть уверенность в том, что я стану последним человеком на земле. Я покину витрину, когда все уляжется, и спокойно пройду среди руин. Я сам себе буду вся земля.

Междугородний звонок! Мне сообщают, что я -не один-одинешенек на планете. Так значит разрушение не полное? Это расхолаживает. Человек не способен даже уничтожить самого себя — он может уничтожать только других. Мне мерзко. Какие злонамеренные уроды! Какой жестокий обман! Так значит, кругом осталось еще много субъектов, и они приводят в порядок землю и начинают все сначала. Бог опять сойдет в крови и плоти и возьмет на себя бремя вины. Зазвучит музыка, построят здания из камня и опишут все, что произошло, в тонких книжонках. Фу! Какое слепое упорство, какие топорные амбиции!

Я вновь на своем ложе. Древнегреческий мир, рассвет полового сношения — и Хайми! Хайми Лобшер всегда на одном и том же уровне, смотрит вниз, на бульвар через реку. В брачном пире наступает передышка, подают оладьи с мидиями. *Подвинься чуть-чуть,* говорит он. *Вот так, хорошо!* Я слушаю, как квакают лягушки на болоте за моим окном. Огромные кладбищенские лягушки, питающиеся мертвечиной. Они сбились в кучу в половом сношении, они квакают от сексуального восторга. Я понял, как был зачат Хайми и как он появился на свет, Хайми-жаба! Его мать оказалась в гуще свалки, а Хайми — тогда эмбрион — был надежно укрыт в ее нутре. Это случилось в первые дни полового сношения, когда еще не существовало сдерживающих правил маркиза Куинсбери*. Только брать и отдаваться — и дьявол побери отстающего. Так повелось от греков — слепой блуд в грязи, а потом — приплод, а потом — смерть. Люди блудят по-разному, но всегда на болоте, и потомство ждет та же участь. Когда рушится дом, ложе остается: космосексуальный алтарь.

Я оскверняю свое ложе грезами. Моя душа покидает растянувшееся на железобетоне тело и передвигается с места на место на маленькой тележке, которые обычно употребляют в универмагах для разнообразия. А мое разнообразие — идеологические экскурсы: я бродяга в царстве

178

рассудка. Все мне абсолютно ясно, поскольку изготовлено из горного хрусталя. Над каждым выходом большими буквами начертано: УНИЧТОЖЕНИЕ. Я каменею от страха перед угасанием: тело само стало куском железобетона. Украшенным неослабевающей эрекцией в лучшем вкусе. Я добился состояния пустоты так убедительно, что мне позавидовали бы иные приверженцы эзотерических культов. Меня больше нет. *Даже встает не лично у меня.*

Наверное, в то время я начал свою разрушительную деятельность, приняв псевдоним Самсон Лакаванна. Преступный инстинкт во мне получил изрядное развитие. Если до того я был только заблудшей душой, будто бы неиудейский Гадибук*, то теперь я стал полнотелым духом. Я взял имя, которое мне нравилось. Осталось действовать, повинуясь инстинктам. Например, в Гонконге я представился агентом по продаже книг. Я таскал с собой кожаный кошелек, наполненный мексиканскими долларами, и благочестиво посещал китайцев, нуждавшихся в дальнейшем образовании. В гостинице я заказывал женщин так же, как виски с содовой. По утрам изучал тибетский язык в порядке подготовки к путешествию в Лхасу. Я уже бегло разговаривал на идиш, да и на иврите тоже. У меня все горело в руках. Обмануть китайцев оказалось так просто, что я вернулся в Манилу в полном разочаровании. Там я взял в оборот мистера Рико, обучив его искусству продажи книг. Весь доход от заокеанского фрахта был на счету, но на жизнь в роскоши хватало.

Вздох стал таким же трюком, что и дыхание. Предметы не просто удваивались, но многократно возрастали. Я стал зеркальной клеткой, отражающей пустоту. Пустота однажды твердо дала понять, что я у себя дома, и то, что называется творчеством — на самом деле работа по заполнению пустых мест. Маленькая тележка исправно доставляла меня с места на место, а я опускал во все боковые карманы вакуума тонны стихотворений, чтобы уйти от мысли об уничтожении. Передо мной открылись безграничные перспективы. Я начал жить в перспективе, словно микроскопическое вкрапление в гигантской линзе телескопа. И не было даже ночи, чтобы отдохнуть. Лился устойчивый свет звезд, падающий на иссушенную поверхность мертвых планет. Иногда попадалось озеро, как черный мрамор, и в нем я видел себя плывущим среди бриллиантовых светил. Звезды висели так низко, и так ослепителен был посылаемый ими свет, что казалось, будто вселенная стоит у своего рождения. Впечатление усиливалось

оттого, что я был совсем один. Рядом не было не только животных, деревьев, всяких других существ — не было даже малой
179
былинки или сухого корня. Казалось, в этом фиолетовом воспаленном свете без намека на тень отсутствует само движение. Похоже, что пламя чистого самосознания, мысль становится Богом. И Бог, в первый раз в моем представлении, оказался чисто выбритым. Я и сам был чисто выбрит, без сучка без задоринки, страшно аккуратен. Я видел свое отражение в мраморных черных озерах, и оно было украшено звездами. Звезды, звезды... и будто удар промеж глаз, и все воспоминания исчезают. Я был Самсон, и я был Лакаванна, и я умирал, как всякое существо в экстазе полного самосознания.

А вот я плыву вниз по реке в маленьком каноэ. Все, что вы ни попросите, я сделаю — с радостью. Это страна Ебландия, в которой нет ни животных, ни деревьев, ни звезд, ни проблем. Здесь над всем царствует сперматозоид. Ничего не загадывается, будущее совершенно неопределенно, прошлое не существует. На каждый миллион рожденных 999999 приговорены умереть и никогда не родиться вновь. Но есть один, хозяин в доме, который обретает жизнь вечную. Жизнь втискивается в семя, которое есть душа. Все имеет душу, в том числе минералы, растения, озера, горы, скалы. Все ощущает, хотя бы на самой низкой ступени самосознания.

Когда охватишь это умом — не остается места отчаянию. В самом низу лестницы, где сперматозоиды, — точно такое же состояние блаженства, что и на вершине, там где Бог. Бог — это просуммированные сперматозоиды, пришедшие к самосознанию. А между низом и вершиной лестницы нет остановок, нет промежуточных станций. Река берет исток где-то в горах и течет к морю. На этой реке, ведущей к Богу, каноэ так же пригодно, как и дредноут. С самого начала — это поездка домой.

Плыву вниз по реке... Медленно, как глист нематода, поспевая за каждым изгибом. И вдобавок вертко, как уж. Как тебя зовут? — кричит кто-то. *Меня? Зови меня просто Бог — Бог-эмбрион.* Я продолжаю плыть. Кто-то хочет купить мне шляпу. Какой у тебя размер, дубина? кричит он. *Какой размер? Мой размер — икс!* (И что это они все время кричат на меня? Разве я похож на глухого?) Шляпа потеряна на первом водопаде. *Tant pis* шляпе. Разве нужна шляпа Богу? Богу нужно только быть Богом, все более и более Богом. А все это плаванье, все ловушки, преходящее время, пейзаж и на его фоне человек, триллионы и триллионы созданий, названных человеческими — словно горчичные зерна. Даже Бог-эмбрион не обладает памятью. Задник сознания состоит из бесконечно малых ганглий;

волосяной покров, мягкий, как шерсть. Горный козел за-
180
стыл в одиночестве посреди Гималаев, он не спрашивает, как его занесло на вершину. Он спокойно озирает *decor*; когда придет время, он спустится опять. Он тычет морду в землю, откапывая скудное пропитание, какое могут дать горные пики. В таком странном козерожьем эмбриональном состоянии Бог-козел жует жвачку, блаженно задумавшись посреди горных пиков. Большие высоты питают микроб сепаратизма, который в один прекрасный день совершенно отдалит его от души человека, превратит его в несчастного твердокаменного отца, вовеки обитающего в немыслимом пустом пространстве. Но сперва наступают морганатические хвори, о которых надо поговорить сейчас...

Бывает такое бедственное состояние, которое нельзя преодолеть, ибо его происхождение туманно. Например, «Блумингдейл»* мог привести в такое состояние. Все универмаги — это символы болезни и опустошенности, но «Блумингдейл» — моя особая боль, мой неизлечимый непонятный недуг. В хаосе «Блумингдейла» есть порядок, но этот порядок мне представляется совершенно безумным:

такой порядок я, наверное, обнаружил бы на кончике булавки, если бы рассмотрел ее в микроскоп. Это порядок случайного ряда случайно задуманных случайностей. Кроме всего прочего, этот порядок имеет запах — и это запах «Блумингдейла», наводящий ужас на душу. В «Блумингдейле» я распадаюсь окончательно: я опадаю на пол бесполезной массой кишок, костей и хряща. Там стоит дух не разложения, но мезальянса. Человек, алхимик-неудачник, соединил не имеющие ничего общего вещества и сущности в миллионах форм и очертаний. Сделал он это потому, что в его голове существует ненасытно пожирающая его опухоль: он оставил свое каноэ, что блаженно несло его вниз по реке, для того чтобы построить большой безопасный корабль, где найдется место для каждого. И'его труды так далеко завели его, что он утратил последние воспоминания о том, зачем он оставил свое маленькое каноэ. Ковчег настолько заполнился всякой ерундой, что превратился в неподвижное здание по-над подземкой, и в этом здании царит и властвует запах линолеума. Собери все важное, что спрятано в междутканевой смеси «Блумингдейла», помести это на булавочную головку — так ты оставишь вселенную, в которой даже огромным созвездиям дано двигаться без малейшего риска столкнуться. А тут — микроскопический хаос, порождающий мои морганатические хворобы. На улице я

начал нападать на лошадей или поднимал юбки, ища под ними почтовый ящик, а то и наклеивал марку на рот, на глаз, на влагалище. Или вдруг мне приспичивало
181

вскарабкаться на высокое здание, словно муха, а достигнув крыши, я взлетал на настоящих крыльях и летел, летел, в мгновение ока минуя городки вроде Уихокена, Хобокена, Хакенсака, Канарси, Берген Бич. Если ты стал настоящим шизом, взлететь не составляет труда: нет ничего проще, хитрость состоит в том, что ты взлетаешь эфирным телом, оставив в «Блумингдейле» мешок костей, кишок, крови и хрящей, ты взлетаешь только непреходящей сущностью своей, которая, если призадуматься на минутку, непременно обретает крылья. И такие полеты белым днем имеют свои преимущества над полетами ночными, для всякого представляющимися обычным делом. Время от времени можно прекращать полет, будто бы решительно нажав на тормоз. Без труда обретаешь другую сущность, ибо прекращая, ты уже и есть другая сущность, то есть, так называемая целостная сущность. Только, как показывает опыт «Блумингдейла», эта целостная сущность, о которой было сказано так много лестного, с легкостью распадается. Запах линолеума по какой-то непонятной причине всегда заставлял меня распадаться и разрушаться на полу. Это запах всего неестественного, что собралось и склеилось во мне с моего, так сказать, отрицательного согласия.

И только после третьего приема пищи утренние дары, завещанные лживым альянсом предков, приуменьшаются, и настоящий кремень сущности, счастливый кремень, выступает из мерзости души. С наступлением ночи вселенная, уменьшенная до размеров булавочной головки, начинает расширяться. Она органически расширяется, начиная с исчезающе малой ядерной крупинки так, как расширяются звездные скопления и залежи минералов. Она въедается в окружающий хаос, словно крыса в сырную голову. Теперь весь хаос можно собрать на кончике булавки, но сущность, твое «я», микроскопическое вначале, из произвольной точки в пространстве увеличивается до размеров вселенной. Это не то «я», о котором написаны книги, а нестареющее «я», которое было на тысячелетия ссужено человечеству с именами и датами, «я», которое начинается и кончается как червь, которое и есть червь в голове сыра, называемой миром. Подобно тому, как легкое дуновение приводит в движение безбрежный лес, так и твердокаменное «я», повинуясь непостижимому внутреннему импульсу, начинает возрастать, и ничто его не остановит в этом росте. Как будто Мороз Красный Нос за работой, а весь мир — оконное стекло. Никаких признаков напряжения, ни звука, ни борьбы, ни отдыха; безжалостно, неумолимо, неослабно продолжается рост твоего «Я». Только две статьи в счете расходов: «я» и «не я». И вечность, в которой все раз-
182

вертывается. В этой вечности, не имеющей никакого отношения ко времени и пространству, случаются интерлюдии, напоминающие оттепель. Форма личности разрушается, но личность, как климат, остается. Ночью аморфное вещество личности принимает самые мимолетные формы; просачивается сквозь отверстия, а странник отпирает свою дверь. Эта дверь, которую имеет тело, ведет к уничтожению, если открыта во внешний мир. Из этой двери в сказках выходят маги, и никто никогда не читал о том, что они возвращаются домой в ту же самую дверь. А если открыть ее внутрь — там бесчисленные двери, напоминающие люки: не видно горизонта, воздушных путей, рек, карт, билетов. Всякая *couche* — это остановка только на одну ночь, будь то пять минут или десять тысяч лет. У дверей нет ручек, и они не изнашиваются. Надо отметить самое важное — не видно, где конец. Все эти остановки на ночь, так сказать, похожи на бесплодные исследования мифа. Можно ощущать свой путь, видеть ориентиры, наблюдать происходящие явления, можно даже чувствовать себя как дома. Но нельзя укорениться. Только начнешь «обосновываться», как вся местность опускается, почва под ногами плывет, созвездия снимаются с якорей, и вся вселенная, включая непреходящее «я», начинает тихо двигаться, зловеще, угрожающе спокойно и безмолвно, навстречу неизвестной, невиданной судьбе. Кажется, все двери открываются разом. Давление возрастает настолько, что наступает имплозия, и в мягком погружении скелет разрывается на куски. Должно быть, это и есть тот гигантский коллапс, испытанный Данте, когда он поместил себя в Ад, но это не дно, которого он коснулся, а сердечник, мертвый центр, откуда начинается отсчет времени. Здесь возникает комедия, и кажется отсюда божественной.

Все это, как говорится, к тому, что двенадцать-четырнадцать лет назад, как-то вечером произошло великое событие, когда я проходил через вертушку при входе в танцевальный зал «Амарилло». Интерлюдия, о которой я думал как о земле Ебландии, королевство скорее времени, нежели пространства, для меня равнялась Чистилищу, замечательно подробно описанному Данте. Когда я положил руку на латунную перекладину вертящейся двери при выходе из танцевального зала «Амарилло», все, чем я был прежде, почти ушло из меня. В том не было ничего необычного:

само время, в котором я родился, уже прошло, унесенное могучим потоком. Подобно тому, как прежде я был изгнан из утробы, теперь меня поставили на запасное вневременное направление, причем процесс роста пребывал в отложенном состоянии. Я ступил в мир последствий. Страха

183

не было, только ощущение фатальности. Мой спинной мозг свернулся в узел, на меня навалился своим копчиком неумолимый новый мир. Погружаясь, скелет разорвался на части, оставив непреходящее эго беззащитным, как расплющенная мышь.

И если я не начинаю с этого места, то лишь потому, что начала нет. Если я не лечу в светлую землю, то лишь потому, что крылья тут не помогут. Это час ноль, и луна в надире...

Не знаю, что мне вдруг подумалось о Макси Шнадиге, может из-за Достоевского? Вечер, когда я впервые сел читать Достоевского, стал важнейшим событием в моей жизни, важнее даже первой любви. То был первый освобождающий сознательный акт, который имел для меня большое значение — он изменил лицо целого мира. Не знаю, остановились ли часы во время первого глубокого глотка, но мир на секунду замер, это я знаю. То был мой первый взгляд в душу человека, а может, проще сказать, что Достоевский стал первым человеком, открывшим мне свою душу? Может, я был немного странным и до этого, но не отдавал себе в этом отчет, однако с того момента, как я погрузился в Достоевского, я стал определенно, окончательно и самодовольно странным. Обычный, повседневный мир перестал для меня существовать. Все стремления и желания во мне были убиты на долгое время. Я стал похож на человека, очень долго просидевшего в окопе под огнем. Обыденные человеческие страдания, обыкновенная человеческая зависть, обыкновенные человеческие стремления казались мне большим дерьмом.

Я наиболее отчетливо представляю себе мое состояние, когда думаю о моих отношениях с Макси и его сестрой Ритой. В то время мы с Макси обычно ходили купаться вместе, это я хорошо помню. Часто мы проводили на пляже весь день. Я видел сестру Макси только раз или два: когда бы я ни начинал говорить о ней, Макси энергично переводил разговор на другую тему. Это раздражало меня, тем более что мне до смерти надоела компания самого Макси. Я терпел его только потому, что он охотно ссужал меня деньгами и покупал мне то, в чем я нуждался. Всякий раз отправляясь на пляж, я надеялся на случайную встречу с Ритой. Но нет, он всегда умудрялся каким-то образом спрятать ее от меня. И вот однажды, когда мы переодевались и он обратил мое внимание, какая у него замечательная неотвисшая мошонка, я выдал со всего маху: «Послушай, Макси, с яйцами у тебя полный порядок, они просто классные, и тут нечего возразить, но какого же черта ты все

184

время скрываешь от меня Риту? Почему бы тебе не взять ее с собой, чтобы я мог хорошенько разглядеть ее дрючку... да, *дрючку*— ты понимаешь, о чем я говорю». Макси, еврей из Одессы, никогда не слышал прежде слово «дрючка». Его глубоко потрясло то, что я произнес, и в то же время глубоко заинтриговало это новое слово. В некотором изумлении он промолвил: «Генри, тебе не следовало бы говорить мне подобные вещи!» «Отчего бы нет? — отвечал я. — У нее имеется пизда, у твоей сестры, разве нет?» Я уж было собрался добавить еще что-нибудь, но тут он разразился ужасным хохотом. Это спасло ситуацию на время. Однако Макси вовсе не собирался забывать об этом. Весь день он терзался этим, хотя прямо не заговаривал. Да, он был непривычно молчаливым в тот день. Единственной формой мщения, которую он сумел изобрести, было увлечь меня далеко за линию буйков в надежде, что я утомлюсь плыть и пойду ко дну. Но я сразу догадался, что у него на уме, и собрался с силами десятерых. Черта с два я позволю себя утопить только потому, что его сестра, как всякая женщина, имеет пизду.

Это случилось на мысе Рокауэй. После того как мы оделись и поели, я вдруг понял, что мне хочется побыть одному, и поэтому, на ближайшем углу я пожал ему руку и сказал «пока». И что вышло! Тут же я почувствовал свое одиночество в этом мире, одиночество, которое ощущаешь в минуты необычайной тоски. Я рассеянно ковырял в зубах, и в это время меня окатила волна одиночества, нагрянувшего как смерч. Я застыл на повороте улицы, словно недоумевая, что же меня так тряхануло. Это бы1ло необъяснимо и в то же время великолепно, возбуждающе, будто двойной тоник. Сказав, что это случилось на мысе Рокауэй, я имел в виду то, что я стоял на краю земли, в месте под названием Ксанф, если такое место есть на свете, хотя определенно должно быть слово вроде этого для обозначения места, не существующего вовсе. Если бы Рита подошла ко мне тогда, думаю, я бы ее не узнал. Я превратился в абсолютного чужака среди своих. Мой народ казался мне сумасшедшим: люди со свежим загаром на лицах, во фланелевых брюках и ладных чулках. Они купались, как и я, потому что это приятный, полезный отдых, а теперь они, как и я, получили вдоволь солнца и жратвы и чуть

отяжелели от усталости. До того как на меня нагрянуло это одиночество, я тоже чувствовал себя утомленным, но вдруг оказавшись в полной изоляции от всего мира, я встрепенулся. Из-за наэлектризованности своей я не смел даже двинуться, опасаясь того, что понесусь вперед, как бык, или полезу на стену дома, а то еще запляшу и завою.

185

До меня вдруг дошло, что все это происходит постольку, поскольку я на самом-то деле родной брат Достоевского и что, возможно, я единственный в Америке знаю, о чем он на самом деле говорил в своих книгах. И не только это: я предчувствовал все книги, которые когда-либо мне суждено написать и которые сейчас зреют во мне, лопаясь, как спелые коконы. А так как я тогда еще ничего, кроме длинных дружеских писем о том о сем, не писал, мне было трудно представить себе, что когда-нибудь настанет время, и я начну, и я напишу первое слово, *первое настоящее слово.* И вот это время пришло! Это стало мне вполне очевидно.

Только что я употребил слово Ксанф. Не знаю, существует Ксанф или нет, да, впрочем, меня очень мало волнует это, однако должно быть такое место на земле, хотя бы на Греческих островах, где вы оказываетесь на краю знакомого света, в совершенном одиночестве, и все же испытываете от этого не страх, а радость, ибо в этом захолустном месте вы получаете возможность почувствовать старый, бывший до вас, мир, который вечно молод, нов и плодовит. И стоите вы там, неважно где, словно только что вылупившийся цыпленок перед скорлупой. Это место и есть Ксанф или, как случилось со мной, мыс Рокауэй.

И что вышло! Темнело, поднялся ветер, улицы опустели и стал накрапывать дождь. Господи, это доконало меня! Когда дождь-припустил вовсю, и я, обратив лицо к небу, почувствовал его шлепки, я заревел от радости. Я смеялся, смеялся, смеялся, как сумасшедший. И не знал, отчего смеюсь. Не думал о причине. Я просто переполнился радостью, очумел от восторга, что нахожусь в абсолютном одиночестве. Если бы тогда мне преподнесли на тарелочке аппетитную дрючку, если бы все дрючки мира были бы предложены мне на выбор, я бы и бровью не повел. У меня тогда было то, чего не могла дать никакая дрючка. Но даже тогда, промокший до костей и ликующий, я думал о самом неподходящем — о мелочи на *трамвай!* Боже, ублюдок Макси ушел, не оставив мне ни су. Теперь я со своим прекрасным многообещающим древним миром, но без гроша в кармане. Герр Достоевский младший должен теперь слоняться, заглядывая в дружелюбные и не очень лица, и стрелять какие-то десять центов. Он прошел с одного конца Рокауэй до другого, но по дождю не нашлось желающих одолжить мелочь на трамвай. Шатаясь в тяжелом животном оцепенении, вызванном попрошайничеством, я начал думать о Макси, оформителе витрин, и о том, как я подсматривал за ним, когда он, стоя за стеклом, наряжал манекен. А через несколько минут переключился на

186

Достоевского, потом на замерший мир, а потом, будто о розовом кусте, расцветшем в ночи, стал думать о теплом, бархатистом теле Риты.

А теперь о том, что довольно странно... Через несколько минут после того, как я подумал о Рите, ее тайной и необыкновенной дрючке, я уже сидел в трамвае и ехал в Нью-Йорк, посапывая и ощущая на диво вялую эрекцию. Но самое странное заключается в том, что выйдя из вагона и пройдя один-два квартала, на кого же вы думаете я наткнулся? На Риту собственной персоной! Она словно бы телепатически восприняла то, что было у меня на уме. И загорелась сама. Скоро мы уже сидели в маленьком ресторанчике, тесно прижавшись друг к другу. Со стороны мы, должно быть, напоминали парочку похотливых кроликов. Танцуя, мы еле-еле двигались. Склеились, да так и остались, не обращая внимания на нечаянные толчки и пинки танцевавших рядом. Я мог повезти ее к себе домой, поскольку в тот момент жил один, но мне непременно хотелось проводить ее, поставить в вестибюле и выебать прямо под носом Макси, что я и сделал. В процессе оного занятия я опять вспоминал манекен в витрине, и его смех, когда я обронил сегодня слово «дрючка». Я сам чувствовал, что вот-вот засмеюсь в полную силу, но тут она стала кончать. Это был один из тех затяжных оргазмов, которые иногда случаются с еврейками. Я положил руки к ней на ягодицы, кончиками пальцев почти дотягиваясь до нутра ее пизды, до подкладки, так сказать. Когда она начала содрогаться, я оторвал ее от пола и принялся нежно снимать и опять сажать ее на член. Думаю, она от этого просто спятила, это было ясно по всему. В приподнятом состоянии, в воздухе, она испытала пять или шесть оргазмов, а потом я поставил ее на пол. Вытащив не обронивший ни капли член, я заставил ее лечь в вестибюле. Ее шляпа откатилась в угол, а сумочка упала и раскрылась, и оттуда вывалилось несколько монет. Я обратил на это внимание, потому что совсем недавно отчаянно пытался раздобыть мелочь на трамвай. И всего лишь несколько часов прошло с тех пор, как я сказал Макси, что хочу хорошенько рассмотреть дрючку его сестры, а теперь вот она на мне, мокрая и выплескивающая одну струю за другой. Если ее когда-нибудь до меня и ебли, то ебли не как следует, это уж

точно. А я никогда еще не находился в столь холодном, собранном, ученом расположении духа, как сейчас, лежа на полу в вестибюле прямо под носом Макси и прокачивая тайную, священную и необыкновенную дрючку его сестры Риты. Я мог продолжать до бесконечности — просто невероятно, насколько я отстранился и в то же время отмечал

187

каждый ее толчок и содрогание. Кто-то должен был заплатить за то, что я ходил под дождем и клянчил десять центов. Кто-то должен был заплатить за экстаз, произведенный созреванием во мне всех ненаписанных мною книг. Кто-то должен был подтвердить подлинность этой тайной, скрытой пизды, что мучила меня недели и месяцы. Кто более меня подходит? Думаю, что мой член, крепкий и твердый между оргазмами, вытянулся на пару-другую дюймов. Наконец, я решил кончить дело, поставив ее раком. Она сначала упиралась, но когда почувствовала, как выскользнул из нее член, совсем обезумела. «О, да, да, давай так, так!» —затараторила она, и от этого я чуть не ошалел. Едва я воткнул в нее, так сразу кончил долгой страшной струёй, начинающейся где-то у хребта. Я вошел в нее так глубоко, что почувствовал, как что-то расступается. Мы повалились выдохшиеся, дыша часто, как собаки. Однако я не настолько забылся, чтобы не подобрать рассыпанные монетки. Не то чтобы это было необходимо, учитывая несколько долларов, которые она успела мне одолжить, — просто в качестве утешения за мелочь на трамвай, отсутствовавшую на мысе Рокауэй. Но и тогда, клянусь Богом, еще не все закончилось. Вскоре я почувствовал, как она ощупывает меня, сначала рукой, потом губами. У меня опять наполовину встал. Она взяла в рот и начала нежить языком. Я отпал. Дальше помню, как ее ноги обвились вокруг моей шеи, а я вылизывал ей пизду. И опять я ее поставил раком и вдвинул до основания. Она крутилась, словно уж. Господи, помоги! И опять она кончала в затяжном, страшном оргазме, тараторя и хныча, почти галлюцинируя. Наконец, я был вынужден вытащить и уговорить ее остановиться. Ну и дрючка! А я просил всего лишь посмотреть на нее!

Макси с его рассказами об Одессе оживил нечто, утраченное мной в детстве. Хотя я не слишком хорошо представляю себе Одессу, ее атмосфера напоминает мне небольшой бруклинский микрорайон, который так много значил для меня и от которого я был так скоро оторван. Вполне определенное ощущение этого места наплывает на меня всякий раз, как я рассматриваю итальянскую живопись без перспективы. Если это, например, картина похоронной процессии, то она того же рода, что и опыт, пережитый мною в детстве, весьма непосредственный. Если это изображение прямой улицы, то женщины сидящие у окна, сидят на улице, а не над ней и чуть в глубине. Все, что происходит, тут же становится известным каждому, как у первобытных людей. Правила неписаны, в воздухе носится угроза.

188

Подобно отсутствию перспективы у итальянских примитивистов, в нашем маленьком микрорайоне, откуда меня вырвали еще ребенком, тоже существовали параллельные вертикальные планы, на которых все и разыгрывалось, и сквозь которые, от слоя к слою, все соединялось, словно в осмосе. Границы между слоями были четкие, ясно определенные, но они не были непроходимыми. Я мальчишкой жил рядом с границей между северной и южной сторонами. Я принадлежал все-таки к северной стороне, обитая в нескольких шагах от широкой городской артерии под названием Норт-Секонд-стрит, которая казалась мне настоящей пограничной полосой между северной и южной сторонами. Истинной границей служила Гранд-стрит, что вела к Бродвей Ферри, но эта улица ничего не значила для меня, кроме того, что она начинала заполняться евреями. Нет, именно Норт-Секонд-стрит была загадочной улицей, границей между двумя мирами. Я, таким образом, жил между двумя границами: настоящей и воображаемой — жил от рождения. Еще была маленькая улочка, всего один квартал в длину, которая соединяла Гранд-стрит и Норт-Секонд-стрит и называлась Филмор-плейс. Эта маленькая улочка начиналась наискосок от дома моего деда, в котором мы все жили. Такой чарующей улицы я никогда в жизни не видел. То была идеальная улица — для мальчика, любовника, маньяка, пьяницы, мошенника, развратника, бандита, астронома, музыканта, поэта, портного, сапожника, политика. Да таковой она и была, вместив как раз именно этих представителей человеческого рода, каждый сам себе господин, но все вместе — жили они гармонично и не очень гармонично, — но *вместе, являя* твердую корпорацию, туго связанную человеческую спору, которая не могла разрушиться, пока не разрушится сама улица.

Так во всяком случае казалось. Пока не открыли Уильямсбергский мост, после *чего* началось вторжение евреев с Деланси-стрит, Нью-Йорк. Это привело к разрушению нашего мирка и маленькой улочки под названием Филмор-плейс, одно название которой говорило, что это улица достойная, светлая, удивительная. Пришли евреи, как сказано, пришли, словно моль, и начали пожирать ткань нашей жизни, пока не осталось ничего,

кроме порхания моли, которую они притащили с собой отовсюду. И скоро наша улица начала дурно пахнуть, скоро начали уезжать настоящие люди, скоро начали ветшать дома и отпадать ступеньки, как хлопья старой краски. Скоро улица стала похожа на нечистый рот с выпавшими, а когда-то превосходными зубами, с прогнившими дочерна отвратительными пеньками, торчащими тут и там, с болявыми гу-

189

бами и воспаленным небом. Скоро в сточных канавах стало по колено отбросов, а на черных лестницах — полно засаленного постельного белья, тараканов и высохшей крови. Скоро на витринах магазинов появились кошерные вывески, и повсюду — изобилие домашней птицы, кислого запаха маринада, чудовищных караваев хлеба. Скоро на каждом углу появились детские коляски: на ступеньках, во двориках, перед входом в магазины. И с этими переменами исчез английский язык: теперь нельзя было услышать ничего, кроме идиш, этого шепелявого, плюющегося, придыхающего языка, на котором «Бог» и «гнилые овощи» и звучат одинаково, и означают одно и то же.

Мы съехали в числе первых семей, вскоре после вторжения. Раза два или три я возвращался в наш старый микрорайон, на день рождения, Рождество или День Благодарения. И каждый раз я обнаруживал пропажу чего-нибудь обожаемого и любимого мной. Это было похоже на страшный сон. И становилось все хуже и хуже. Дом, в котором все еще жили наши родственники, превратился в старую крепость почти что в руинах. Обитаемым было только одно крыло крепости, где поддерживалась покинутая островная жизнь, а обитатели выглядели глуповатыми, затравленными, деградировавшими созданиями. Они дошли до того, что начали различать своих еврейских соседей, находя некоторых из них вполне человечными, вполне порядочными, чистыми, добрыми, симпатичными, милосердными и т. д. и т. д. Мне было горько это слышать. Я мог схватиться за пулемет и скосить всю округу, и евреев, и неевреев разом.

Примерно во время вторжения городские власти решили переименовать Норт-Секонд-стрит в Метрополитен-авеню. Эта улица, которая для неиудеев была дорогой к кладбищам, теперь превратилась в то, что называется транспортной артерией, связующей два гетто. На Нью-йоркской стороне берег реки сильно изменился благодаря постройке небоскребов. А на нашей, Бруклинской стороне, нагромоздили пакгаузов, подъезды к вновь построенным мостам образовали площади, на которых выросли бильярдные, общественные уборные, магазины, кафе-мороженое, рестораны, универмаги и т. д. Короче, все стало «метрополитен», то есть столичным в самом одиозном значении этого слова.

Пока мы жили в старом микрорайоне, никогда не употребляли название Метрополитен-авеню: для нас это была Норт-Секонд-стрит, несмотря на официальное переименование. Может быть, лет через восемь-десять, стоя зимним днем на углу улицы, выходящей к реке, я впервые заметил огромную башню здания страховой компании «Метропо-

190

литен» и до меня дошло, что Норт-Секонд-стрит больше нет. Воображаемая граница моего мирка изменилась. Теперь мой взгляд простирался дальше кладбища, дальше территорий за рекой, дальше Нью-Йорк-Сити, дальше штата Нью-Йорк и даже дальше всех Соединенньпс Штатов. В Пойнт-Лома, Калифорния, я бросил взгляд на бескрайний Тихий Океан и ощутил что-то этакое, отчего мое лицо вечно поворачивалось в другом направлении. Я вернулся в старый микрорайон, помнится, как-то вечером вместе с другом Стенли, который только что пришел из армии, и мы ходили по улицам задумчиво и печально. Европейцу вряд ли знакомо это чувство. В Европе, даже если город модернизируют, он сохраняет признаки старины. В Америке все признаки старины изглаживают, удаляют из памяти, попирают, вычеркивают, уничтожают при помощи нового. Новое — это моль, которая день ото дня въедается в ткань жизни, оставляя в конце концов только огромную дыру. Стенли и я — мы гуляли по этой дыре. Даже война не приводит к такому отчаянию и разрушению. После войны город, сожженный дотла, возникает вновь и напоминает прежний. Смерть плодотворна как для земли, так и для духа. В Америке разрушение носит абсолютный характер, это — уничтожение. И возрождение не наступает, имеет место лишь раковый рост слой за слоем новой ядоносной ткани, и каждый слой безобразней предыдущего.

Мы шли по этой громадной дыре, как я уже сказал, был зимний вечер, ясный, морозный, сверкающий. И, проходя по южной стороне к пограничной линии, мы приветствовали все достопамятные места, где происходили события и осталось что-то от нас самих. Когда мы приближались к Норт-Секонд-стрит, от Филмор-плейс к Норт-Секонд-стрит — расстояние в несколько метров, но такое богатое, наполненное место на глобусе — перед домишком миссис О'Мелио я остановился и посмотрел на этот дом и вспомнил, чем он был для меня на самом деле. Теперь все сжалось до миниатюрности, в том числе и мир, простиравшийся за пограничной линией, мир, который казался мне

таким загадочным и устрашающе огромным, таким беспредельным. Стоя в забытьи, я вызывал мечту, которой предавался постоянно, думая, что так будет всю жизнь. Это была мечта о переходе пограничной линии. Как и в любой мечте, самым замечательным представлялась яркость реальности, то, что это реальность, а не мечта. За линией меня никто не знает, и я абсолютно один. Даже язык менялся. Действительно, меня всегда принимали за иностранца, за чужеземца. Меня никто не ограничивает во времени, и бродить по улицам для меня — истинное удо-

191

вольствие. Должен сказать, существует только одна улица — продолжение той, на которой я жил. Наконец, я подошел к стальному мосту над железнодорожными путями. Моста я всегда достигаю с наступлением ночи, хотя он совсем близко от пограничной линии. Отсюда я смотрю вниз на переплетение путей, на станционные постройки, паровозы, крыши складов, и пока я смотрю вниз на это скопление непривычных движущихся предметов, начинается метаморфоза, как в мечте. Вместе с трансформацией и деформацией ко мне приходит осознание того, что это и есть та давняя мечта, которой я предавался так часто. Я очень боюсь проснуться, хотя знаю, что скоро проснусь, а именно: в тот момент, когда, двигаясь в огромном открытом пространстве, я подойду к дому, где есть что-то чрезвычайно важное для меня. И, входя в этот дом, я вижу, как все вокруг теряет очертания, размывается, исчезает. Пространство накрывает меня, как ковер, и проглатывает меня, а вместе со мной и тот дом, куда мне так и не удалось войти.

От этой, для меня самой приятной мечты нет абсолютно никакого перехода к сути книги под названием *«Творческая эволюция». С* этой книгой Анри Бергсона*, к которой я пришел так же естественно, как и к мечте о земле за пограничной линией, я опять совершенно одинок, опять чужеземец, опять человек неопределенного возраста, стоящий на стальном мосту и наблюдающий за метаморфозами вне и внутри. Не попадись мне эта книга в руки в нужный момент, может быть, я бы сошел с ума. Она подоспела в тот момент, когда еще один огромный мир крошился у меня в руках. Даже если бы я не понял то, что написано в этой книге, я сохранил бы в памяти только одно слово — *«творческая» —* все равно этого было бы достаточно. Это слово стало моим талисманом. С ним я был способен бросить вызов всему миру и особенно моим друзьям.

Бывают случаи, когда необходимо порвать с друзьями, чтобы понять смысл дружбы. Это может показаться непонятным, но открытие этой книги оказалось сродни открытию оружия, инструмента, при помощи которого я сумел отрезать от себя привычных, но уже ничего не значивших для меня друзей. Эта книга стала моим другом, потому что она научила меня не испытывать потребности в друзьях. Она дала мне мужество выстоять в одиночку и помогла оценить одиночество. Книгу я так и не понял:

иногда мне казалось, что я у черты понимания, но до настоящего понимания я так и не дошел. Понимать — не было самым важным для меня. Держа эту книгу в руках, зачитывая ее своим друзьям, расспрашивая их, объясняя

192

им, я пришел к отчетливому осознанию того, что у меня нет друзей, что я один в этом мире, поскольку в непонимании смысла написанного, которое демонстрировали и мои друзья, и я, мне стало ясно одно, а именно: существуют разные виды непонимания, и различие между непониманием одного и непониманием другого творит мир *terra firma* еще более прочный, чем различия в понимании. Все, что я некогда полагал понятным, крошилось, и я остался с чистой грифельной доской. Мои друзья, напротив, прочно окопались в маленьких траншейках понимания, которые они сами для себя вырыли. Они удобно замерли в маленькой кроватке понимания, превратившись в полезных граждан этого мира. Я жалел их, и не мешкая оставлял их одного за другим без малейшего раскаяния.

Так что же такое было в этой книге, что означало для меня так много и тем не менее оставалось темным местом? Я возвращаюсь к слову *«творческая».* У меня нет никаких сомнений в том, что загадка кроется в реализации смысла этого слова. Когда я думаю теперь об этой книге и о том, как я постигал ее, мне представляется человек, проходящий ритуал посвящения. Дезориентация и переориентация, которые сопровождают посвящение в любую тайну — это самый удивительный опыт, что нам дано испытать. Все, что за жизнь вобрал, классифицировал и синтезировал мозг в неустанной работе своей, приходилось пересматривать и перестраивать. Хлопотный день для души! И, разумеется, не день, а недели и месяцы продолжается все это. На улице случайно встречаешь друга, с которым не виделся целый месяц, и он кажется тебе незнакомцем. Ты со своей новой вершины подаешь ему несколько сигналов, и когда он не понимает — ты покидаешь его, *навсегда.* Это похоже на очистку поля брани после битвы: агонизирующих безнадежно раненных добивают одним быстрым ударом приклада. И ты идешь дальше, к новым битвам, новым победам и поражениям. Но ты идешь! И пока ты двигаешься, мир движется вместе с тобой с неимоверной аккуратностью. Ты ищешь

новые сферы деятельности, новых представителей человеческого рода, которых терпеливо вооружаешь новыми символами. Ты выбираешь тех, на кого раньше не обращал внимания. Ты испытываешь всех в поле зрения, при условии, что они не ведают об откровении.

Таким образом я действовал, сидя в швейной мастерской отца и читая вслух работавшим там евреям. Я читал им эту новую Библию так же, как, должно быть, Павел проповедовал своим ученикам. С дополнительным преимуществом: эти бедные еврейские парни не умели читать на английском. Сперва я направил свои усилия на закрой-

193

щика Бунчека, у которого был раввинский склад ума. Открыв книгу, я наугад выбирал какое-нибудь место и читал его на адаптированном английском, почти таком же примитивном, как английский выходцев из Китая. Потом я пытался объяснять, приводя примеры и привлекая аналогии с привычными им вещами. Меня поражало, как хорошо они все понимали, гораздо лучше какого-нибудь профессора колледжа, книжного и образованного человека. Естественно, то, что они понимали, не имело никакого отношения собственно к книге Бергсона, но разве не в этом и заключается задача такой книги, как эта? Я понимаю смысл книги так: сама книга исчезает из поля зрения, она пережевывается вживую, переваривается и усваивается плотью и кровью, чтобы в свою очередь создать новые духовные ценности и переделать мир. То был великий праздник посвященных, который мы справляли, читая эту книгу, самой заметной особенностью которой была глава «Беспорядок», пронизавшая меня насквозь и даровавшая мне такое удивительное чувство порядка, что даже если на землю упала бы вдруг комета и разметала все со своих мест, перевернула все вверх ногами, вывернула бы все наизнанку — я бы смог сориентироваться в новом порядке за мгновение ока. У меня стало не больше страхов и опасений перед беспорядком, чем перед смертью. Лабиринт — это мое счастливое раздолье, причем чем глубже я ухожу в него, тем лучше ориентируюсь.

С *«Творческой эволюцией»* под мышкой я еду после работы по Бруклинскому мосту, с ней я двигаюсь к дому в сторону кладбища. Иногда я сажусь на Деланси-стрит, в самом сердце гетто, после долгой прогулки по многолюдным улицам. Я сажусь под землей в вагон, словно глист, ползущий по кишечнику. Каждый раз занимая свое место в толпе на платформе, я знаю, что я самый необыкновенный из всех из них. Я слежу за происходящим вокруг как наблюдатель с другой планеты. Мой язык, мой мир — у меня под мышкой. Я — хранитель великого секрета: стоит мне только раскрыть рот и заговорить, как остановится движение поездов. То, что я должен сказать и что пока не говорю, едучи в офис и из офиса — это настоящий динамит. Я пока не готов взорвать мой динамит. Я сам поедаю его задумчиво, самозабвенно, разборчиво. Еще пять, ну, может, десять лет — и я уничтожу всех этих людей. Когда вагон на крутом повороте резко кренится, я говорю про себя: *«Здорово! Ну сойди же с рельсов, пропади все они пропадом!» Я* никогда не думаю о себе как о существе, которое тоже подвергается опасности, если вагон сойдет с рельсов. Мы упакованы, словно сельди в бочке, и эта жар-

194

кая плоть, что прижимается ко мне, отвлекает меня от размышлений. Я думаю о паре ножек, обнявших мои. Я смотрю на девушку, сидящую напротив, смотрю ей прямо в глаза и задвигаю колени еще глубже между ее ног. Она дергается, ерзает на сиденье и наконец поворачивается к девушке, сидящей рядом, и жалуется, что я пристаю к ней. Народ вокруг с неодобрением смотрит на меня. Я отворачиваю голову к окну и делаю вид, что ничего не слышу. При всем желании я не мог бы изменить положение своих ног. Мало-помалу девушка ухитряется при помощи энергичных движений отнять свои ноги от моих. И я оказываюсь почти в такой же ситуации, но уже по отношению к ее соседке, той девушке, к которой она обращалась с жалобами. И сразу же ощущаю дружелюбное прикосновение, а потом, к удивлению своему, слышу, как она обращается к другой девушке со словами, что тут, мол, ничего не поделаешь, что это не вина этого человека, а вина компании, которая обращается с нами, будто с овцами. И вновь я чувствую своими ногами трепет ее ног: теплое человеческое прикосновение, похожее на рукопожатие. Свободной рукой мне удается открыть книгу. Это преследует двоякую цель: прежде всего, мне хочется показать ей, какую книгу я читаю, а во-вторых, хочу разговаривать на языке ног не привлекая внимания. Срабатывает великолепно. Тем временем вагон понемногу освобождается, и я могу сесть рядом с ней и завязать беседу — разумеется, о книге. Она — чувственная еврейка с потрясающими влажными глазами, и вследствие чувственности искренняя и открытая. Когда приходит время сойти с поезда, мы бредем под руку в сторону ее дома. Я оказываюсь вблизи границ моего прежнего микрорайона. Все мне знакомо, и в то же время все отталкивающе непривычно. Я не ходил по этим улицам много лет, а теперь вот иду с еврейкой из гетто, прекрасной девушкой с сильным акцентом. Рядом с ней я выгляжу нелепо. Я чувствую, как люди глядят нам вслед. Я — незванный гость, немчик, который явился сюда, чтобы сорвать прекрасную спелую вишню. А она, кажется, горда своей победой и старается продемонстрировать меня своим знакомым. Вот кого я подцепила в поезде, ученого, рафинированного немца! Я почти слышу ее мысли. Медленно прогуливаясь, я обдумываю практические детали: зайти к ней

до или после обеда. О том, чтобы пригласить ее обедать, я не думаю. Вопрос состоял в том, где встретиться и в какое время, поскольку, как она вскользь обронила у дверей, у нее есть муж, разъездной торговец, и она должна быть осторожна. Я согласился вернуться и ждать ее на углу перед кондитерской в условный час. Если ты захочешь
196

прийти с другом, я приведу подругу. Нет, я решил прийти один. Условились. Она пожала мне руку и нырнула в грязный подъезд. Я быстро зашагал к станции и поехал домой перекусить на скорую руку.

Стоит летний вечер, и все вокруг благоухает. Спеша на свидание, я как в калейдоскопе вижу все свое прошлое. На этот раз я оставил книгу дома. Я иду навстречу девке, и у меня в голове нет мыслей о книге. Я опять по ею сторону от пограничной линии, и с каждой просвистывающей мимо станцией мое прошлое сжимается до миниатюрных размеров. Достигнув места назначения, я опять почти дитя. Я дитя, испуганное проистекшей метаморфозой. Что такое со мной, человеком из Четырнадцатого округа, стряслось, почему я сошел на этой станции в поисках еврейской девки? Ну, предположим, я вздрючу ее, и что? Что я скажу ей, этой девушке? Что значит вздрючка, когда я хочу любви? Да, это вдруг налетает на меня, как смерч... Уна, девушка, которую я любил, с которой мы жили здесь когда-то, Уна — голубоглазая с волнистыми волосами, Уна, от одного взгляда которой я трепетал, Уна, которую я боялся не то что поцеловать — коснуться ее руки. *Где она, Уна?* Да, вот так, неожиданный жгучий вопрос: *где Уна?* Через пару секунд я расстроен, совершенно потерян, опустошен, страдаю от ужасной тоски и отчаяния. Как я мог расстаться с ней? Почему? Что произошло? *Когда* это случилось? Я думал о ней, как одержимый, дни и ночи, из года в год, а потом не заметил, как она выпала из памяти, словно пенни, провалившееся в дырку в кармане. Невероятно, страшно, безумно. Ведь мне надо было только предложить ей пожениться, отдать ей свою руку и сердце — и все. Если бы я поступил так, она бы ответила «да» немедленно. Она любила, отчаянно любила меня. Почему «да»? Помню, как она смотрела на меня в последний раз. Я сказал «прощай», потому что уезжал в тот вечер в Калифорнию, решив оставить всех, чтобы начать новую жизнь. Но у меня никогда не было намерений вести новую жизнь. Мне хотелось сделать ей предложение, но история, которая, будто дурман, сорвалась с моих губ, была так естественна, что я сам в нее поверил, сказал «прощай» и ушел, а она стояла и смотрела мне вслед, и я чувствовал, как она пристально вглядывается в меня, слышал ее внутренний стон, но, как автомат, продолжал идти и наконец повернул за угол, и это было концом всему. Прощай! Вот так. Как кома. А я имел в виду: *приезжай ко мне! Приезжай ко мне, потому что я не могу жить без тебя!*

Я так слаб в ногах, что с трудом спускаюсь по лестнице. Теперь я знаю, что случилось — я пересек пограничную
197

линию! Библия, которую я всегда носил с собой, научила меня новому образу жизни. Мира, который я знал, больше нет, он умер, кончился, исчез. Вместе с ним исчезло все, чем был я. Я — остов, получивший вливание новой жизни. Я сияю, лучусь, неистовствую от новых открытий, но в сердцевине все свинцово-тяжелое, выгоревшее. И я плачу — прямо тут, на ступеньках. Я громко рыдаю, как дитя. Мне до боли ясно: ты совсем *один в этом мире!* Ты один-один... один. Это горько — быть одному, горько... горько, горько, горько. Это бесконечно, непреодолимо, а на земле так много людей, но это со мной, со мной, со мной. Опять метаморфоза. Опять все кренится и заваливается. И опять мечта, болезненная, бредовая, сладкая, безумная мечта преодолеть границу. Я стою в центре свободного участка, но не вижу своего дома. У меня нет дома. Мечта — это мираж. На этом пустом месте никогда не было никакого дома, нет и по соседству. Я — человек без дома, без друзей, без жены. Я — монстр, относящийся к действительности, которая пока не существует. Но она должна существовать, она будет существовать, я уверен в этом! Теперь я иду быстро, нагнув голову и что-то бормоча. Я настолько забыл о назначенном свидании, что даже не заметил, прошел я мимо нее или нет. Может быть, и прошел. Может быть, я посмотрел ей прямо в глаза и не узнал. Может быть, она меня тоже не узнала. Я обезумел, обезумел от боли, обезумел от тоски. Я в отчаянии. Но я не потерян. Нет, *есть* действительность, к которой я отношу себя. Она далеко, очень далеко. Я могу идти с опущенной головой до судного дня и не найти ее. Но она есть, я уверен в этом. Я злобно смотрю на людей. Если бы я мог бросить бомбу и разнести вдребезги этот микрорайон — я бы так и сделал. Я был бы счастлив видеть, как они взлетают в воздух: искромсанные, вопящие, уничтоженные. Я желаю уничтожить всю землю. Я — не ее часть. Она — безумие от начала и до конца. Она— кусок тухлого сыра с гноящимися в нем червями. Ей подобает взлететь на воздух. Пошла она на хуй! Взлети она ко всем чертям! Убить, убить, убить: убить их всех, евреев и неевреев, молодых и старых, хороших и плохих...

Я становлюсь легоньким, легоньким, словно перышко, и мои шаги уже устойчивее,

спокойней, плавней. Ну и вечерок! Звезды светят так ярко, так безмолвно, так отдаленно. Не то чтобы насмехаются надо мной, но напоминают о тщетности всего. Кто ты, молодой человек, чтобы вести речь о земле, о том, чтобы разнести ее вдребезги? Молодой человек, вот мы — висим тут миллионы, миллиарды лет. Мы видели все, и тем не менее мы мирно светим каждую ночь, мы освещаем путь, мы успокаиваем

198

сердца. Оглянись, юноша, посмотри, как все спокойно и прекрасно вокруг. Видишь, даже отбросы в сточной канаве кажутся прекрасными в этом свете? Подними капустный лист, возьми его бережно в руки. Я наклоняюсь за капустным листом, что лежит в сточной канаве. Он кажется мне чем-то новым, заключающим в себе целую вселенную. Я отрываю маленький кусочек и изучаю его. Тоже вселенная. Тоже неизъяснимо прекрасная и загадочная. Мне даже стыдно бросить его обратно в канаву. Я наклоняюсь и бережно кладу его на остальной мусор. Я стал весьма глубокомысленным и очень, очень спокойным. Я все люблю в этом мире. Я знаю, что где-то в этот момент меня ждет женщина, только мне надо идти очень спокойно, очень мягко, очень неторопливо, тогда я приду к ней. Может быть, она будет стоять на углу, и когда я покажусь, она узнает меня сразу же. Я верю в это, так помоги мне Господь! Я верю, что все справедливо и предопределено. Мой дом? А может, мой дом — это мир, весь мир? Я повсюду дома, только я не знал об этом раньше. А теперь — знаю. Теперь нет пограничной линии. И никогда не было: я сам придумал ее. Я иду не спеша по улицам, я счастлив. Любимые улицы. Где каждый идет и каждый страдает, но не показывает вида. Когда я остановился, привалившись к фонарному столбу, чтобы зажечь сигарету — даже фонарный столб показался мне другом. Это не предмет из чугуна — это создание человеческого ума, отлитое в особой форме, украшенное человеческими руками, выдутое человеческим дыханием и установленное при помощи человеческих рук и ног. Я оборачиваюсь и трусь рукой о железную поверхность. Он, кажется, разговаривает со мной. Это человеческий фонарный столб. Он — *принадлежность,* как капустный лист, как рваные носки, как матрац, как кухонная раковина. Все на своем месте и занимает особое положение, так же, как и наш ум по отношению к Богу. Мир в своей видимой и осязаемой субстанции — это карта нашей любви. Не Бог, а жизнь есть любовь. Любовь, любовь, любовь. И в самой сердцевине любви идет молодой человек, я, не кто иной как Готлиб Леберехт Мюллер.

Готлиб Леберехт Мюллер! Это имя человека, который утратил индивидуальность. Никто не может сказать ему, кем он был, откуда пришел и что с ним случилось. В кино, где я впервые познакомился с этой личностью, он, как подразумевалось, попал в переплет на войне. Когда я узнал себя на экране, а мне-то было хорошо известно, что я никогда не был на войне, до меня дошло, что автор нарочно придумал этот ход, чтобы не выставлять меня напоказ. Час-

199

то я забываю, кто из нас настоящий. Часто в своих мечтах я принимаю, так сказать, порцию забытья и странствую покинутый и несчастный в поисках своего тела и своего имени. И временами между мечтой и реальностью — всего лишь тонкая нить. Иногда, если кто-нибудь заговаривает со мной, я оставляю свою шкуру и, подобно растению, плывущему по течению, начинаю странствие моей лишенной корней сущности. В таком состоянии, тем не менее, я способен удовлетворять обычным жизненным требованиям: ищу жену, становлюсь отцом, веду дом, поддерживаю дружбу, читаю книгу, плачу налоги, отбываю воинскую повинность и так далее и тому подобное. В таком состоянии я способен, если необходимо, хладнокровно кого-нибудь убить ради моей семьи или защищая мою страну, или во имя еще чего-нибудь. Я обыкновенный, заурядный гражданин, который отзывается на свое имя и которому дан номер в паспорте. Сам я вообще не определяю свою судьбу.

И вот однажды я пробуждаюсь, ничем не озабоченный, оглядываюсь по сторонам и не понимаю ничего, что происходит вокруг: ни себя, ни соседей, не понимаю, почему правительства объявляют войны или заключают мир, да мало ли чего еще не понимаю. В такие моменты я рождаюсь заново, рождаюсь и крещусь правильным именем: Готлиб Леберехт Мюллер! Все, что я совершаю под своим правильным именем, представляется ненормальным. Люди дают об этом знать друг другу за моей спиной, а иногда и прямо мне в лицо. Я вынужден порвать с друзьями, семьей и любимыми. Я лишаюсь удобств устроенной жизни, и поэтому так же естественно, как в мечте, снова оказываюсь плывущим по течению — как правило, иду по улице, обратив лицо к заходящему солнцу. Во мне просыпаются все мои способности. Теперь я крадущееся, бесшумное, хитрое животное — и в то же время я то, что называется святой человек. Я знаю, как постоять за себя. Я знаю, как избежать работы, как избежать запутанных отношений, как избежать жалости, сочувствия, показной храбрости и других опасностей. Я остаюсь в одном месте

и с одним человеком ровно столько, сколько необходимо, чтобы получить желаемое, а потом ухожу. У меня нет цели: бесцельное странствование ценно само по себе. Я свободен как птица и уверен в себе как эквилибрист. С неба падает манна: мне остается только протянуть руки и собрать ее. И повсюду после меня остается добрая память, словно, принимая предложенные дары, я делаю приятное дарящим. Любящие руки заботятся даже о моем грязном белье. А все потому, что каждый любит правильно живущего че-

200

ловека! Готлиб! Какое замечательное имя! Готлиб! Я повторяю его снова и снова. Готлиб Леберехт Мюллер!

В этом состоянии я всегда якшаюсь с ворами, жуликами и убийцами, но как они ко мне добры и внимательны! Как братья. А разве нет, на самом деле? Разве не я виновен в каждом преступлении, разве не я пострадал за это? И не из-за преступлений ли я так тесно соединился с моим двойником? Всегда, заметив в глазах людей свет признания, я чувствую эту тайную связь. И только глаза справедливого не светятся. Справедливый не знает тайны человеческого товарищества. Это справедливый творит все преступления против человека, это справедливые — настоящие монстры. Это справедливые требуют у нас отпечатки пальцев и убеждают нас в том, что мы должны умереть, далее если мы стоим перед ними во плоти. Это справедливые снабжают нас условными именами, они заносят в метрики условные даты и сжигают нас заживо. Я предпочитаю воров, жуликов и убийц, пока не посчастливится найти человека моего роста и моих достоинств.

Не нашел я такого человека! Я не нашел столь же великодушного, как я, такого же всепрощающего, терпимого, беспечного, безрассудного и чистого сердцем. Я прощаю себя за все преступления, совершенные мною. Я делаю это во имя человечности. Мне известно, что значит быть человеком, и я знаю сильные и слабые стороны этого. Я страдаю от этого знания и в то же время упиваюсь им. Если бы мне предоставилась возможность стать Богом, я бы отказался. Быть человеком — вот великолепнейшая возможность, которую дает нам жизнь. Это охватывает целую вселенную. Еще это заключает в себе познание смерти — чем не дано насладиться даже Богу.

С самого начала написания этой книги я — человек, крестивший себя заново. С тех пор, как случилось это крещение, прошло немало лет и много воды утекло, поэтому теперь мне нелегко вернуться к той минуте и вновь пройти по стопам Готлиба Леберехта Мюллера. Однако, возможно, вы получите некий ключик, если я скажу вам, что человек, каким я теперь являюсь, родился на свет от раны. Эта рана дошла до самого сердца. Согласно людской логике я должен был умереть. И правда: все, кто знал меня, отказались от меня как от мертвого; я бродил, словно привидение, среди них. Говоря обо мне, они употребляли прошедшее время, они жалели меня, они закапывали меня все глубже и глубже. Но я помню, как смеялся тогда, как ни в чем не бывало крутил любовь, как наслаждался едой и питьем и мягкой постелью, от которой меня было не оторвать. Что-то убило меня, но я был все еще живой. Жи-

201

вой — однако лишенный памяти, лишенный имени. Я был отрезан от надежды, так же, как от сожаления и раскаяния. У меня не было прошлого, а возможно, и будущего. Меня похоронили заживо в пустоте, причем этой пустотой была нанесенная мне рана. *Я сам был этой раной.*

У меня есть друг, с ним мы время от времени ведем разговоры о чуде Голгофы, в котором я ровным счетом ничего не понимаю. Но мне кое-что известно о чудесной ране, полученной мною — ране, которая убила меня в глазах мира и вследствие которой я родился и крестился заново. Я знаю кое-что об этом чуде, чуде моей раны. Я пережил его, и оно излечило меня моей же собственной смертью. Я рассказываю об этом как о далеком прошлом, но это всегда со мной. Все — в далеком прошлом и скрыто от глаз, подобно созвездию, навсегда ушедшему за линию горизонта.

Больше всего меня завораживает в этом то, что я, мертвый и похороненный, способен воскреснуть, и не однажды, а несчетное число раз. Более того: каждый раз, как я пропадаю — ухожу в глубину все основательней, поэтому очередное воскресение становится чудом все более великим. И никогда никаких стигматов! Человек, рожденный заново, остается тем же самым человеком, мало того — он становится все больше и больше самим собой с каждым новым рождением. Он только каждый раз сбрасывает кожу, а вместе с кожей свои грехи. Человек, которого любит Бог — это, истинно, правильно живущий человек. Человек, которого любит Бог — это луковица с миллионом кожурок. Нет слов, как болезненно потерять первый слой; следующий потерять не так болезненно, а последующий — еще безболезненней, пока наконец боль не станет приятной, все приятнее и приятнее, пока не станет восторгом, пока не станет экстазом. И тогда уже нет ни удовольствия, ни боли — просто темнота, уступающая свету. И вместе с исчезновением темноты показывается из своего укромного места рана: рана, которая есть

человек, которая есть человеческая любовь, обмывается светом. Вновь обретаешь утраченную индивидуальность. Человек выходит из своей открытой раны, из могилы, которую он так долго носил с собой.

Я вижу ее, похороненную под могильным холмом моей памяти — ту, которую я любил больше всех, больше, чем мир, больше Бога, больше, чем собственную кровь и плоть. Я вижу, как она мучается в кровоточащей ране любви, так близко от меня, что я не могу отличить ее от самой раны. Я вижу, как она старается освободиться, преодолеть любовную боль, но с каждой попыткой погружается все глубже

202

в эту рану, затягивается, задыхается, тонет в крови. Я вижу ужас в ее глазах, немую мучительную агонию. Это взгляд животного, попавшегося в капкан. Я вижу, как раздвигаются ее ноги в попытке избавления, но каждый оргазм — это болезненный стон. Я слышу, как падают стены, оседая на нас, и дом охватывается пламенем. Я слышу, как нас зовут с улицы: повестка на работу, повестка в армию, но мы пригвождены к полу, и нас поедают крысы. Нас погребает могила и утроба любви, ночь наполняет наши внутренности, и звезды мерцают над черным бездонным озером. Я не помню ни слов, ни ее имени, которое твержу, будто маньяк. Я забыл, как она выглядит, забыл ее запах, забыл, как она ебется — я погружаюсь все глубже и глубже в бездонную пещеру. Я следую за ней в глубиннейшие отверстия ее существа, в склеп ее души, к дыханию, еще не сорвавшемуся с ее губ. Я неустанно ищу ее, имя которой нигде не записано, я проникаю к самому алтарю — и не нахожу ничего. Я обвиваюсь вокруг этой пустотелой скорлупы небытия, как змея, огненными кольцами; и лежу неподвижно шесть веков и не дышу, тогда как события в этом мире оседают на дно, образуя вязкую подстилку слизи. Я вижу созвездия, крутящиеся вокруг огромной дыры в потолке вселенной; я вижу отдаленные планеты и черную звезду, которой суждено избавить меня. Я вижу Дракона, отряхивающего дхарму* и карму*, вижу новый род человеческий, томящийся в желтке будущей жизни. Я вижу все до последнего знака и символа, но я не могу прочитать ее лицо. Я мог видеть только ее глаза, все пронизавшие своим сиянием, и огромные светлые плотские груди, как будто я плыл за ними в электрически-белом лучении ее взгляда.

Как могла она превзойти все ограничения сознательного? По какому чудовищному закону она так распределилась по лицу всего мира, все открыв, но скрыв себя? Она спряталась за ликом солнца, как луна в затмении; она — зеркало, потерявшее амальгаму, зеркало, которое и отражает, и ужасает. Вглядываясь в дно ее глаз, в мягкую просвечивающую плоть, я вижу нервную структуру всех образований, всех связей, всех исчезновений. Я вижу мозг в мозге, бесконечную машину, вращающуюся без остановки:

на вертеле крутится слово «Надежда», поджариваясь, истекая жиром, безостановочно крутясь во впадине третьего глаза. Я слышу ее бред на забытых языках, подавленные вопли, отдающиеся в мельчайших расселинах, тяжкое дыхание, стоны, вздохи удовольствия, свист хлыста. Я слышу, как она называет мое имя, которое я сам еще не произнес, слышу ее бесстыдные ругательства и визг. Я слышу все, увеличенное тысячекратно, как гомункул, заключенный в

203

чреве органа. Я ловлю приглушенное дыхание мира, как будто нахожусь на перекрестке звуков.

Так мы гуляли, спали и ели вместе, словно сиамские близнецы, которых соединила Любовь, а разделить могла только Смерть.

Мы ходили перевернутые с ног на голову, рука в руке, в бутылочном горлышке. Она одевалась исключительно в черное, с редкими вкраплениями лилового. Она не носила нижнего белья, только узкое платье из черного бархата, пропитанное дьявольскими духами. Мы отправлялись в постель на рассвете и вставали, когда начинало темнеть. Мы жили в черных дырах с опущенными шторами, мы ели с черных тарелок, мы читали черные книги. Мы выглядывали из черной дыры нашей жизни в черную дыру мира. Солнце было постоянно замазано черным, словно бы для того, чтобы поддержать нас в нашей междуусобной борьбе. Вместо солнца у нас был Марс, а вместо Луны — Сатурн: мы жили постоянно в зените преисподней. Земля прекратила свое вращение, и в дыру небесную над нами свесилась черная звезда, которая никогда не мерцала. Иногда с нами случались приступы смеха —сумасшедшего, лягушачьего смеха, заставлявшего вздрогнуть окрестности. Иногда мы пели:

как в бреду, вне тональности, полным тремоло. Мы были заперты от начала и до конца в долгой черной ночи души. Это был период неизмеримый во времени, который начался и завершился как затмение. Мы вращались вокруг наших это, как спутники — фантомы. Мы опьянели от собственных отражений, которые мы видели всякий раз, заглянув в чьи-то глаза. Как мы смотрели на других? Как животное смотрит на растение, как звезда смотрит на животное. Или как Бог смотрел бы на человека, если бы дьявол дал последнему крылья. А она в тесных объятиях ночи без конца была сияющей, ликующей:

сверхчерное ликование струилось из нее, как сперма из митраического быка. Она была двуствольной, будто дробовик, она была женщиной-быком с ацетиленовым факелом во чреве. В пылу она целилась в космический кратер, закатывая глаза до белков, истекая слюной. В слепой дыре секса она вальсировала как дрессированная мышь, ее челюсти сходили с петель, как у змеи, а ее кожа покрывалась колючими пупырышками. Ее снедала неутолимая похоть к единорогу, зуд, который клал навзничь египтян. Даже дыру в небесах, сквозь которую светила тусклая звезда, она проглотила в бешенстве своем.

Мы жили приклеенные к потолку, в жарких тлетворных испарениях повседневности, поднимавшихся к нам и душивших нас. Мы жили в неимоверном зное восходящего

204

тепла человеческой плоти, что нагревало змеиные кольца, нас объявшие. Мы жили прикованные к запредельным глубинам, и наша кожа прокоптилась в испарениях мирской страсти до цвета черной сигары. Мы медленно и неизбывно маячили над головами и плечами мира под нами, как две головы, проносимые на пиках наших палачей. Что нам жизнь на твердой земле, когда мы обезглавлены и навечно соединены гениталиями? Мы были парными змеями Рая, прозрачными от жары и холодными, как сам хаос. Жизнь была непрерывной черной копуляцией у фиксированного полюса бессонницы. Жизнь была Скорпионом в Марсе, в Меркурии, в Венере, в Сатурне, в Плутоне, в Уране, во ртути, в опии, в радии, в висмуте. Великое соединение происходило в ночь на каждую субботу: Лев творил блуд с Драконом в доме брата и сестры. Большим *malheur** был луч солнечного света, пробивавшийся сквозь шторы. Большим бедствием был Юпитер, король рыб, потому что он мог сверкнуть благотворящим глазом.

Причина, отчего мне так трудно рассказывать: я слишком много помню. Я помню все, но как кукла, сидящая на коленях чревовещателя. Мне кажется, что все время в течение долгого, непрерывного брачного солнцестояния я сидел у нее на коленях (даже когда она стояла) и произносил фразы, которые она мне диктовала. Мне кажется, это она приказала главному водопроводчику Господа поместить черную звезду в потолочной дыре, это она заставила его лить непрерывную ночь и вместе с ней все пресмыкающиеся мучения, что бесшумно движутся в темноте, так что разум становится шилом, неистово вкручивающимся в черное небытие. Неужели я только воображаю, что она говорила без остановки, или я действительно стал такой замечательно выдрессированной куклой, что схватывал мысль прежде, чем она срывалась с губ? Губы у нее были полуоткрытые, налитые темной кровью. Я наблюдал за их движением с величайшим восторгом, шипели они ненавистью гадюки или ворковали как горлица. Они всегда были рядом, крупным планом, поэтому я знал каждую трещинку, каждую пору, а когда начиналось истерическое брызгание слюной, я наблюдал за вспениванием и плевками, будто бы сидя на кресле-качалке под Ниагарским водопадом. Я знал, что и когда надо делать, словно был частью ее организма. Я представлял собой кое-что получше куклы чревовещателя, поскольку меня не надо было дергать за ниточки. Иногда я выдавал экспромты, и это ей страшно нравилось, хотя она, конечно, делала вид, что не замечает моих острот, но я всегда мог определить, что ей нравится, по ее до-

* Несчастьем (франц.).

205

вольному виду. У нее был дар перевоплощения: она проворна и хитра как сам дьявол. После пантеры и ягуара лучше всего у нее получались птичьи повадки: дикой цапли, ибиса, фламинго, лебедя в брачный период. Она умела падать камнем вниз, приметив свежий труп, припасть к внутренностям, растерзав их на лакомые куски: сердце, печень или яичники — и взмыть в мгновение ока. Если бы кто-то ее обнаружил, она залегла бы под деревом неподвижно, как камень, причем не закрыв глаза, а уставившись на вас невозмутимым взглядом василиска. Но чуть подстегни ее — и она роза, роза глубочайшего черного цвета с бархатными лепестками и непобедимым ароматом. Просто удивительно, как чудесно я научился схватывать свои реплики: неважно, что за метаморфоза имела место, я всегда был у нее на коленях, на коленях птицы, на коленях зверя, на коленях змеи, на коленях розы, какая разница:

на коленях колен, на губах губ, мысок к мыску, перо к перу, желток в яйце, жемчужина в раковине, хватка рака, настойка спермы и кантаридина*. Жизнь была Скорпионом в Марсе, в Сатурне, в Уране, в Венере и так далее; любовь была конъюнктивитом мандибул*, хвать это, хвать то, хвать, хвать, мандибулярное хвать-хвать похотливого колеса мандалы*. Наступает время приема пищи, и я слышу, как она чистит яйца, а внутри яйцб писк-писк — благословенный знак будущей еды. Я ел как маньяк: затянувшаяся мечтательная прожорливость человека, трижды нарушающего пост. Пока я ел — она урчала в ритмическом хищном хрипе суккубов*, пожирающих ее молодость. Какая блаженная ночь любви! Слюна, сперма, суккубация, сфинктеризация— все в одном: брачная оргия в Черной Дыре Калькутты.

Вдали от того места, где подвешена черная звезда— панисламское безмолвие, как в

пещере, где даже ветер тих. Вдали от того места, если мне позволительно рассуждать об этом, — призрачный покой безумия, мир людей, истощенных веками нескончаемой бойни. Вдали от того места — одна кровавая замкнутая оболочка, внутри которой протекает вся деятельность, мир героев-безумцев и маньяков, погасивших свет небес кровью. Как покойна наша ничтожная голубино-стервятничья жизнь в темноте! Плоть предназначена для того, чтобы погружаться в нее зубами и пенисом, изобилующая запахами плоть без отметин от ножа и ножниц, без шрамов от разрывной шрапнели, без ожогов от иприта, с непораженными легкими. Почти совершенная утробная жизнь, если не считать призрачной дыры в потолке. Дыра была — как трещина в мочевом пузыре, и ничем ее не заткнуть, чтобы надолго, и

206

ни разу не помочиться, чтобы играючи. Мочись широко и свободно, но забудешь ли прореху в куполе, неестественную тишину, угрозу, ужас, гибель «другого» мира? Набей желудок, и завтра набей, и послезавтра, и после и после — но в конечном *счете* что? *В конечном, счете?* Что? Смена чревовещателя, смена коленей, перемещение начала отсчета, новая трещина в своде... *что? что?* Я скажу: сидя у нее на коленях, окаменев от неподвижных ранящих лучей черной звезды — поднятый на рога, пойманный, стреноженный, трепанированный телепатической остротой нашего взаимовозбуждения — я вообще ни о чем не думал, ни о чем, что было вне ячейки, где мы обитали, не думал даже о крошке на белой скатерти. Я думал исключительно в пределах нашей амебообразной жизни — чистую мысль, заповеданную нам Иммануилом Занудой Кантом, какую может воспроизвести только кукла чревовещателя. Я обдумал все научные теории, все теории искусств, все грани истины в каждой бестолковой системе спасения. Я высчитал все вплоть до мельчайшего в десятичных дробях гностиков впридачу — как пьяница подсчитывает оставшиеся монеты в конце недельного запоя. Но все было высчитано в надежде на новую жизнь, которую некто проживет когда-то — *может быть.* Мы находились в особом бутылочном горлышке, *она и я,* как говорится, но бутылочное горлышко было отбито, да и сама бутылка являлась плодом вымысла.

Я помню, как во время второй нашей встречи она призналась мне, что не надеялась увидеть меня вновь, а когда мы встретились еще раз, она сказала, что подозревала во мне пристрастие к наркотикам, в следующий раз она назвала меня богом, а после этого пыталась кончить жизнь самоубийством, а потом пытался это сделать и я, а потом вновь она, но в результате мы лишь еще сильнее сблизились, так, что проникли друг в друга, обменялись личностями, именами, индивидуальностями, религиями, отцами, матерями и братьями. Даже ее тело испытало коренное изменение, причем не один, а несколько раз. Сначала она была большая и бархатная, как ягуар, с присущей кошачьим вкрадчивостью и коварной мощью: стелется, прыгает, вонзает когти; потом она стала изнуренной, хрупкой, слабой, почти как маргаритка, и с каждым последующим превращением у нее случались тончайшие изменения — кожи, мышц, цвета, осанки, запаха, походки, жестов и т. д. Она менялась как хамелеон. Никто не мог судить, какая она была на самом деле, ибо с каждым она становилась совершенно иной. Через какое-то время она сама не помнила, кем была. С ней начался этот ряд превращений до того,

207

как я впервые увидел ее — я догадался об этом позже. Подобно большинству женщин, считающих себя безобразными, ей очень хотелось выглядеть прекрасной, ослепительно прекрасной. Во исполнение этого она прежде всего отказалась от собственного имени, потом от своей семьи, от друзей, от всего, что могло бы привязать ее к прошлому. Приложив весь свой ум и все способности, она посвятила себя умножению собственной прелести, собственного очарования, коими уже весьма и весьма обладала, но была убеждена, что этого недостаточно. Она постоянно жила словно перед зеркалом, изучая каждое движение, каждый жест, каждую малейшую гримасу. Она целиком изменила манеру речи, дикцию, интонацию, акцент, фразеологию. Она вела себя так умело, что даже речи не могло быть о подражании кому-нибудь. Она всегда была начеку, даже во сне. И, подобно хорошему полководцу,, она довольно быстро поняла, что лучшей защитой является нападение. Ни разу она не оставила ни одной позиции незанятой; ее аванпосты, ее разведчики, ее часовые расположились повсюду. Ум ее походил на вращающийся прожектор, что никогда не гаснет.

Слепая к собственной прелести, к собственному очарованию, к собственной личности, не говоря уж о собственной индивидуальности, она бросила все силы на изготовление мифического создания, Елены или Юноны, перед чарами которых не устояли бы ни мужчины, ни женщины. Автоматически, без малейшего знания легенды, она начала мало-помалу создавать онтологическое обоснование, мифический ряд событий, предшествовавших сознательному рождению. Ей не было нужды запоминать собственный вымысел — ей надо было лишь хранить в голове свою роль. Не было такой лжи, которая прозвучала бы чудовищно в ее устах, ибо в принятой ею роли она была

исключительно правдива перед самой собой. Ей не надо было *изобретать* прошлое: она помнила то прошлое, что принадлежало ей по праву. Ее никогда не поражал прямой вопрос, поскольку она никогда не показывалась противнику иначе, как наискось. Она показывалась только углами вечно вращающихся граней, слепящими призмами света, которые она поддерживала в постоянном кружении. Она никогда не была существом, рано или поздно дающим себе передышку, нет, она была механизмом, безустанно оперирующим мириадами зеркал, отражавших созданный ею миф. Она не знала равновесия: она вечно парила над своими многочисленными индивидуальностями в вакууме собственного «я». И она вовсе не имела намерений сделать себя легендарной, просто она хотела, чтобы признали ее

208

красоту. Но в погоне за красотой она скоро забыла о самих поисках, став жертвой собственного создания. Она стала такой ослепительно прекрасной, что порой казалась страшной, порой несомненно безобразнее, чем самая безобразная женщина на свете. Она могла вызвать ужас и страх, особенно когда ее очарование достигало вершины. Как будто ее желание, слепое и бесконтрольное, просвечивало сквозь ее создание, обнажая чудовище, каким она и была.

В темноте, хранимой в черной дыре, куда не заглядывал ни мир, ни противники, ни соперники, слепящий динамизм желания немного утихал, придавая ей румянец цвета расплавленной меди, и тогда слова выходили из ее уст, как лава, а ее плоть жадно хваталась за опору из чего-то твердого и вещественного, что позволило бы ей собраться и несколько минут отдохнуть. Это напоминало неистовое послание издалека, СОС с тонущего корабля. Сперва я принял это за страсть, за экстаз, возникающий от того, что плоть трется о плоть. Я думал, что обрел живой вулкан, Везувий женского рода. Я и не помышлял о человеческом корабле, идущем на дно океана отчаяния, в Саргассово море импотенции. Теперь я думаю о той черной звезде, что светила сквозь дыру в потолке, о той неподвижной звезде, что висела над нашей брачной ячейкой, — более неподвижной и удаленной, чем Абсолютное, и я знаю, что это была она, освобожденная от всего, что было ею в буквальном смысле: мертвое черное солнце без выражения. Я знаю, что мы спрягали глагол «любить» подобно двум маньякам, пытающимся вступить в половую связь сквозь разделяющую их железную решетку. Я говорил, что в неистовой схватке в темноте я часто забывал ее имя, как она выглядит, кто она такая. Это правда. Я сам себя обманывал в темноте. Я сошел с рельсов плоти в безграничное пространство секса, в каналы-орбиты, установленные той или другой: например, Георгиной одного короткого дня, Тельмой, египетской блудницей, Карлоттой, Аланной, Уной, Моной, Матдой, девочками шести-семи лет, беспризорницами, блуждающими огоньками, лицами, телами, бедрами, прикосновениями в подземке, мечтой, воспоминанием, желанием, стремлением. Я мог начать с Георгиной близ железнодорожной колеи воскресным днем: пятнистое платье, раскачивающаяся ляжка, южный выговор, чувственный рот, литые груди; я мог начать с Георгиной, тысячеруким канделябром секса, и разрабатывать одно ответвление ее пизды в энном измерении секса, во веки вечные. Георгина была похожа на мембрану крохотного уха незавершенного чудовища под названием секс. Она была как наяву живой, дышащей в светлой памяти о кратком дне на авеню, пер-

209

вым ощутимым ароматом, веществом мира любви, который сам по себе безграничен и неопределим, как наш мир. Мир любви в целом похож на постоянно растущую мембрану животного, которое мы зовем сексом и которое подобно некоему другому существу врастает в наше существо и постепенно замещает его, так что со временем мир людей станет лишь слабым воспоминанием об этом новом, всеобъемлющем и всепорождающем существе, дающим жизнь самому себе.

Это было как раз той копуляцией в темноте, тем обоюдосочлененным двуствольным сцеплением, что обрядило меня в тесную шкуру сомнения, ревности, страха и одиночества. Если я начинал тончайшую обработку Георгины, тысячерукого канделябра секса, я был уверен, что и она принялась за дело, возводя мембрану, создавая уши, глаза, ножки, скальп и прочую всячину секса. Она взялась бы и за то чудовище, что лишило ее чести, если ее история правдива; в любом случае, она начала где-то на параллельной колее, разрабатывая многоликое несозданное существо, в чьем теле мы отчаянно пытались встретиться. Зная только часть ее жизни, располагая только домыслами, ложью, измышлениями, наветами и заблуждениями, связывая обрывки, кокаиновые грезы, мечты, незаконченные фразы, бессвязные слова сквозь сон, истерический бред, подсознательные фантазии, нездоровые желания, видя раз от разу, как имя обретает плоть, подслушивая случайные фрагменты разговоров, замечая потаенные взгляды, подавленные жесты, я мысленно снабдил ее пантеоном лично трахающих ее божеств, составленных из живой крови и плоти, может быть, мужчин того самого дня, а может, увиденных час назад, так что ее влагалище до сих пор полно спермы последнего раза.

Чем покорней она была, тем больше проявляла страсть, и чем распутней она казалась, тем сильней терялся я. Не было начала, никакой личной, индивидуальной стартовой черты; мы встретились, как опытные фехтовальщики на поле чести, где теперь в изобилии витали дэхи победы и поражения. Мы следили за малейшим выпадом, не теряя самообладания, как мог бы лишь тренированный боец.

Мы сошлись под покровом темноты во всеоружии и с противоположных сторон штурмовали ворота цитадели. Никто не сопротивлялся нашим адским усилиям; мы ни у кого не просили пощады и никому не спустили бы. Мы сошлись по горло в крови: кровавое, блеклое воссоединение в ночи, когда все звезды потухли ради неподвижной черной звезды, свисающей, как скальп, в потолочную дыру. Если бы ее хорошенько нашпиговать кокаином, она бы

210

выдала на-гора, словно оракул, все, что случилось с ней в течение этого дня, вчера, позавчера, за последний год, *все* — вплоть до дня, когда она родилась. И ни одно слово не оказалось бы правдой, ни одна подробность. И ни на секунду она не остановилась бы, поскольку, остановись она, вакуум, созданный ее парением, вызвал бы взрыв, способный разнести мир. Она была всемирной машиной лжи в миниатюре, приспособленной к тому бесконечному, опустошающему страху, что заставляет людей направлять всю свою энергию на создание аппарата смерти. С виду она казалась бесстрашной, ее можно было принять за олицетворение смелости, да она таковой и будет, покуда ее не осадят. За ней стоял бесстрастный факт действительности, колосс, преследовавший ее по пятам. Каждый день этот колосс действительности принимал новые пропорции, каждый день он становился все страшней, все сильней парализовал. Каждый день у нее появлялись более быстрые крылья, более острые челюсти, более проницательный, гипнотический взгляд. Это был бег к окраинным пределам мира, напрасный с самого начала бег, бег неостановимый. На границе вакуума стояла Истина, готовая в одном подобном молнии движении вернуть украденную почву. Это было так просто и очевидно, что приводило ее в неистовство. Маршал тысячного войска, командующий величайшими стволами, обманувший выдающиеся умы, совершает длиннейший обходной маневр — и все равно результатом будет поражение. В финальной сцене встречи всему суждено рассыпаться — хитрости, умению, власти, всему. Она станет песчинкой на берегу громаднейшего океана, и, что хуже всего, она будет неотличима от любой и каждой песчинки на этом берегу. Она будет приговорена узнавать собственное уникальное «я» повсюду до скончания времен. Ну и судьбу она себе назначила! Ее уникальность растворится в универсальном! Ее власть будет низведена до крайнего выражения пассивности! Это сводило с ума, казалось неправдоподобным. Этого не может быть! Это не должно случиться! Вперед! Подобно черным легионам. Вперед! Через все стадии вечно ширящегося круга. Вперед и прочь от себя, пока последняя существенная частица души не протянется в безграничность. В своем паническом парении она, казалось, вынашивает целый мир во чреве. Мы продвигались от границ вселенной к туманности, которую нельзя было разглядеть ни в один прибор. Нас бросило в столь продолжительную, столь безмолвную паузу, что в сравнении с ней сама смерть показалась бы пирушкой безумной колдуньи.

Утро: смотрю в бескровный кратер ее лица. Ни мор-

211

щинки, ни складки, ни пятнышка! Выражение ангела в руках Творца. *Кто подстрелил дрозда? Кто истребил ирокезов?* Не я, скажет мой очаровательный ангел, и кто же, Бог мой, сумеет не поверить, глядя в это чистое, невинное лицо? Кто разглядит в этом невинном сне, что одна половина лица принадлежит Богу, а другая — Сатане? Маска гладкая, как смерть, прохладная, приятная на ощупь, вощеная, будто лепесток, откликающийся на малейшее дуновение. Так соблазнительно спокойна и простодушна, что можно утонуть, погрузиться в нее всем телом, как ныряльщику за жемчугом, и уже не вернуться. Пока глаза ее открыты миру, она будет лежать погасшая, сияющая отраженным светом, словно луна. В своем подобном смерти трансе невинности она зачаровывает еще сильней; ее преступления растворяются, проступают сквозь поры, она лежит, свернувшись кольцами, как спящая змея, прикованная к земле. Тело, сильное, гибкое, мускулистое, кажется, обладает неестественным весом; у нее нечеловеческая тяжесть, можно сказать, тяжесть теплого трупа. Вообразите прекрасную Нефертити спустя тысячу лет мумификации, чудо погребального совершенства, мечту о плоти, сохраненной от смертного распада — и вы поймете, какой она была. Она лежала, свернувшись кольцами, в основании пустотелой пирамиды, в раке вакуума собственного изготовления, как священная реликвия прошлого. У нее прекратилось даже дыхание — так глубок был ее сон. Она погрузилась глубже сферы людей, глубже сферы животных, глубже даже сферы растений: она ушла на уровень минерального мира, где живость — не более чем зарубка над смертью. Она так постигла искусство обмана, что даже сновидение не в силах было сбить ее с толку. Она научилась не видеть снов: когда она сворачивалась

кольцами, у нее автоматически отключался мысленный поток. Если бы кто-то застал ее в таком состоянии и вскрыл ее череп — он обнаружил бы абсолютную пустоту. Она не хранила бередящих душу тайн, все, что было в человеческих силах извести, она изводила. Она могла жить бесконечно, как луна, как всякая мертвая планета, излучая гипнотическую радиацию, творя приливы и отливы страсти, погружая мир в безумие, обесцвечивая все земные вещества своими магнетическими, металлическими лучами. Сея собственную смерть, она приводила всех в состояние лихорадочного напряжения. В гнусном спокойствии своего сна она возрождала собственную магнетическую смерть единением с холодной магмой безжизненного планетарного мира. Она была магически нетронутой. Ее взгляд обладал пронзительной неподвижностью: то был взгляд луны, посредством кото-

212

рого мертвый дракон жизни изрыгал холодное пламя. Один глаз был теплого коричневого тона, цвета осенних листьев;

другой был красноватый, магнетический глаз, дрожащий, как стрелка компаса. Даже во сне этот глаз не переставал мерцать под закрытым веком, и это был единственный признак тлеющей в ней жизни.

В ту минуту, когда она открывала глаза, она полностью просыпалась. Она просыпалась в ярости, как будто вид нашего мира и его человеческого содержимого был для нее ударом. Сразу же она обретала полную активность, мечась, словно гигантский питон. Ее раздражал свет! Она просыпалась, проклиная солнце, проклиная блеск действительности. Комнату надлежало затемнить, зажечь свечи и плотно прикрыть окна, чтобы уличный шум не проникал в помещение. Она ходила почти обнаженная, прихватив уголком рта сигарету. Утреннему туалету она придавала чрезвычайное значение: сначала надо уделить внимание тысяче второстепенных деталей, и только после этого можно облачиться в банный халат. Она напоминала атлета, готовящегося к главному состязанию дня. Прежде чем сесть за стол и позавтракать, она тщательно изучала все, что составляло ее анатомию — от корней волос, которые она проницательно исследовала, до формы и длины ногтей. Я сказал, что она напоминала атлета, но на самом деле она больше походила на механика, проверяющего аэроплан перед испытанием. Натянув платье, она пускалась на весь день в полет, который мог завершиться где-нибудь в Иркутске или Тегеране. Поэтому утром надо было заправиться в расчете на весь путь. Завтрак представлял собой длительную процедуру: то была единственная церемония дня, которую она намеренно затягивала. Его продолжительность могла довести до белого каления кого угодно. Возникал вопрос, а кончит ли она хоть когда-нибудь и не забыла ли она о великой миссии, которую клятвенно обещала доводить до конца всякий день. Может быть, она размышляла о предстоящем маршруте, а может быть, вовсе и не размышляла, а просто отводила положенное время функциональным процессам в ее удивительном механизме, что, однажды начавшись, уже не могли быть остановлены. В этот час она проявляла завидное спокойствие и самообладание, словно крупная птица, задумчиво озирающая с высокого утеса расстилающуюся внизу местность. Сразу после завтрака она никогда не устремлялась камнем вниз и не вонзала когти в жертву — нет, ранним утром она поднималась медленно и величественно, соразмеряя каждое движение с пульсом двигателя. Перед ней простиралось открытое пространство, выбор направления диктовался только ее при-

213

хотью. Она была воплощением свободы, если не принимать в расчет свинцовый вес ее тела и аномальный размах крыльев. И как бы она ни парила, особенно в момент отрыва, все равно ощущался ужас, который являлся причиной ее каждодневного полета. Она демонстрировала покорность своей судьбе и в то же время неистово жаждала преодолеть ее. Каждое утро она взмывала, словно с вершины Гималаев: казалось, она направляет полет в некую отмеченную на карте область, где в случае удачи ей предстояло исчезнуть навсегда. Казалось, что каждое утро она уносит с собою в вышину свою последнюю, отчаянную надежду:

она улетала спокойно, с печальным достоинством, как будто отправлялась в могилу. Ни разу не совершила она крут в воздухе, прежде чем скрыться из виду, ни разу не оглянулась на тех, кого бросала. И ни разу не забыла взять с собой все, что ей принадлежало, до мельчайшей крохи: все причиндалы до мельчайшего лоскутка, какой мог бы засвидетельствовать сам факт ее существования. Она не оставляла даже вздоха, даже отстриженного ноготка. Уход подчистую, который мог осуществить только Дьявол в собственных интересах. И ты оставался ни с чем. Ты был опустошен, и не просто опустошен, но и предан, бесчеловечно предан. Ты не имел желания удержать ее, окликнуть: ты оставался с проклятием на устах, с черной ненавистью, которая окрашивала весь день черным. Потом, слоняясь по городу, медленно двигаясь, как праздный прохожий, ползая, как червь, ты собирал слухи об ее эффектном полете:

вот здесь она кружилась, а здесь или там опускалась на землю неизвестно зачем, повсюду крутила штопор, проносилась, словно комета, выписывая в небе письмена из дыма и так далее, и тому подобное. Все, что она делала, было загадочно и вызывало раздражение, все совершалось без видимой цели. Это было будто иронично-символический комментарий человеческой жизни и поведения человека-муравья, предпринятый из другого измерения.

Между временем отлета и временем возвращения я вел жизнь полнокровного шиза. Она не была вечностью, что пролетает, поскольку вечность обязана иметь какое-то отношение к покою и победе, и она — есть нечто созданное человеком, нечто благоприобретенное; нет — я испытывал что-то вроде антракта, в течение которого волосы белели до корней и каждый миллиметр кожи зудел и горел, пока все тело не становилось сплошной болячкой. Вот я сижу за столом в темноте, мои руки и ноги невероятно выросли, будто бы меня поразила слоновость. Я слышу, как кровь приливает к мозгу и молотит в ушные перепонки, словно гималайские дьяволы машут кувалдами. Я слышу хлопанье

214

ее огромных крыльев, пусть даже она в Иркутске, и я знаю, что она мчится вперед и вперед, все дальше прочь, за пределы досягаемого. В комнате так тихо и так пугающе пусто, что я начинаю вопить, лишь бы нарушить тишину, лишь бы издать слабый человеческий звук. Я стараюсь встать из-за стола, но мои ноги слишком отяжелели, а руки превратились в бесформенные носорожьи ноги. Чем тяжелее становится мое тело, тем легче атмосфера в комнате. Я начинаю расширяться и расширяюсь до тех пор, пока не заполняю всю комнату сплошной массой плотного желе. Я заполняю даже трещины в стене, я прорастаю сквозь стену, как паразитическое растение, расширяюсь и расширяюсь, пока весь дом не превращается в неописуемую массу из плоти, волос и ногтей. Я знаю, что это и есть смерть, но я не в силах истребить ни это знание, ни того, кто это знает. Некоторые малые частички меня еще живы, остатки сознания существуют, и, по мере расширения инертного тела, эти проблески жизни становятся все отчетливей и острей, они мерцают во мне, словно холодный огонь драгоценного камня. Они освещают липкую массу мякоти, как будто я — вооруженный факелом ныряльщик за жемчугом, копошащийся в теле мертвого морского чудовища. Я еще связан некой тонкой невидимой нитью с жизнью, что над поверхностью бездны, но эта жизнь так далека, а тяжесть трупа так огромна, что даже если это было бы возможно, на то, чтобы достичь поверхности, ушли бы годы. Я продвигаюсь по собственному мертвому телу, изучая каждый закоулок и каждую щель в его громадной, бесформенной массе. Изучению этому нет конца, ибо топография меняется в целом не переставая, все ползет и наплывает, как горячая магма земли. Не застынет ни на минуту, ни на минуту не станет спокойным и узнаваемым — этот рост, не отмеченный вехами, это плавание, когда место назначения меняется от малейшего движения и содрогания. Это неостановимое заполнение пространства убивает чувство пространства и времени; чем больше расширяется тело, тем крохотнее становится мир, пока в конце концов я не убеждаюсь, что все сконцентрировано в булавочной головке. Несмотря на наползание чудовищной мертвой массы, в которую я превратился, я чувствую, как то, что ее поддерживает, мир, из которого она вырастает, становится не больше, чем головка булавки. В ходе извержения, в самом сердце и в печенках смерти, чем по сути это извержение и было, я чувствую присутствие зерна, чудесного исчезающе малого рычага, который держит в равновесии этот мир. Я, как сироп, обволакиваю мир, причем его пустота страшит меня, но зерно не вытеснено: зерно стало узелком

215

холодного огня, что ревет, словно солнце, в обширной полости в мертвом теле.

Когда большая птица-добытчица возвращается, истощенная полетом, она находит меня в том же месте в состоянии небытия, меня, вечного шизерино, горящее зерно, скрытое в сердце смерти. Каждый раз она надеется обнаружить какие-то новые средства существования, но других нет, кроме вечного зерна света, которое я вновь и вновь открываю для нее, умирая каждый день. Лети, о ненасытная птица, лети к пределам вселенной! Здесь твоя пища, пылающая в тошнотворной пустоте, которую ты сотворила! Ты вернешься, чтобы еще раз погибнуть в черной дыре; ты будешь возвращаться еще и еще, ибо у тебя нет таких крыльев, что могли бы унести тебя прочь от этого мира. Это единственный мир, где ты можешь существовать, это надгробие змеи, это царство тьмы.

И вдруг, как будто бы без всякой причины, думая о том, как она возвращалась в гнездо, я вспоминаю о воскресных утренних часах в маленьком старом доме неподалеку от кладбища. Вот я сижу за пианино в ночной рубашке и нажимаю на педаль босой ногой, а в соседней комнате еще греются в кровати родители. Комнаты открывались одна в другую, как телескоп, в старых добрых американских квартирах. Воскресным утром привыкли подолгу лежать в постели. К одиннадцати или позже родители обычно стучали

в стену моей комнаты и просили сыграть что-нибудь специально для них. Я танцуя входил к ним, словно братья Фрателлини*, легкий и пылкий, способный подняться на верхнюю ветвь древа небес без помощи извне. Я мог совершить все, что угодно, словно был без костей. Отец звал меня Солнечным Джимом, поскольку я переполнялся «силой», энергией и задором. Для начала я несколько раз прохаживался колесом на ковре у родительской кровати, затем пел фальцетом, стараясь подражать кукле чревовещателя, потом совершал несколько легких фантастических па, изображая ветер, и взмывал, как ветер, на табурет у пианино, приступая к упражнениям на беглость пальцев. Я всегда начинал с Черни*, чтобы размяться перед концертом. Отец ненавидел Черни, впрочем, как и я, но Черни был *plat du jour** в моем тогдашнем меню и таким оставался, пока мои суставы не приобрели гибкость резины. Черни смутно напоминает мне о состоянии великой опустошенности, которое я испытал позже. Прикованный к табурету, я развивал необычайную беглость. Как будто меня заставили одним глотком выпить бутылочку тоника, а потом при-

* Дежурное блюдо (франц.).

216

вязали ремнем к кровати. Отыграв девяносто восемь, или около того, упражнений, я приступал к легкой импровизации. Обычно я брал насыщенные аккорды, молотя по клавиатуре от края до края, затем угрюмо модулировал в «Сожжение Рима» или в «Полет колесницы Бен-Гура»*, что всем приходилось по душе, поскольку такой шум был весьма доступен для понимания. Задолго до того, как мне довелось познакомиться с «*Логико-философским трактатом*» Витгенштейна*, я сочинял музыку к нему на сассафрасовых* клавишах. Тогда меня обучали естествознанию и философии, истории религии, индуктивной и дедуктивной логике, форме и весу черепных коробок, фармакопее и металлургии— всем тем бесполезным знаниям, что вызывают у вас несварение желудка и преждевременную меланхолию. Эта блевотина, составленная из ученой дряни, томилась у меня в кишках всю неделю, ожидая воскресенья, чтобы выплеснуться в музыке. Где-то между «Полуночной пожарной тревогой» и «Военным маршем» я призывал все вдохновение, дабы разрушить существующие формы гармонии и создать собственную какофонию. Вообразите себе, что Уран находится в благотворном аспекте к Марсу, Меркурию, Луне, Юпитеру, Венере. Это трудно представить, ибо Уран проявляется наилучшим образом, когда он в злотворном аспекте, так сказать, в конфликте. И все же та музыка, что я выдавал по утрам в воскресенье, музыка благополучного, взлелеянного отчаяния, рождалась из находящегося против всякой логики в благотворном аспекте Урана, прочно ставшего на якорь в Седьмом доме*. Тогда я не подозревал об этом и даже не знал, что существует Уран, и был счастлив в своем неведении. А теперь я понимаю это, поскольку то была нечаянная радость, ложное благополучие, пагубная разновидность пламенного творчества. Чем сильнее была моя эйфория, тем спокойнее становились родители, даже слабоумная сестренка успокаивалась и затихала. Соседи, как правило, собирались под окнами и внимали, причем то и дело до меня доносились аплодисменты, а потом — бац! — я, словно метеор, принимался опять: упражнение номер 947 1/2. Когда мне доводилось приметить таракана, бегущего по стене, я наполнялся блаженством и без какой бы то ни было модуляции переходил к сочинению такому-то на съежившихся от печали клавикордах. В одно из таких воскресений я сочинил немыслимо очаровательное скерцо, посвященное вошке. Наступила весна, и все мы проходили обработку серными парами; я же всю неделю не отрывался от дантова «Ада» в переложении на английский. Воскресенье наступило как оттепель, птицы будто сошли с ума от неожиданного тепла и залетали в комнату, безразличные к

217

музыке. А к нам только что приехала престарелая родственница из Гамбурга или Бремена — незамужняя тетушка, мужеподобная баба. На меня находило, стоило ей лишь приблизиться ко мне. Она обожала трепать меня за волосы, приговаривая, что я стану-де вторым Моцартом. Я ненавидел Моцарта*, и до сих пор терпеть его не могу — поэтому, чтобы отделаться от нее, я нарочно фальшивил изо всех сил. А тут еще вылезла вошка, как я сказал. Настоящая вошь, которую не дожгли в моей зимней одежде. Я подхватил ее и бережно усадил на черную клавишу. Затем начал потихоньку наигрывать вокруг нее правой рукой. По-видимому, шум парализовал ее. Казалось, вошка зачарована моей проворной пиротехникой. Наконец, заколдованная неподвижность начала действовать мне на нервы. Я решил проиграть хроматическую гамму, обрушив на вошь всю силу удара безымянного пальца. Я накрыл ее в честной борьбе, но с такой силой, что она прилепилась к подушечке. От этого я содрогнулся, словно в пляске святого Витта. Тут и началось скерцо. То было попурри из забытых мелодий, сдобренное алоэ и выделениями дикобразов, сочиненное в трех тональностях сразу и кружащееся около незамутненного замысла, будто вальсирующая мышь. Позже, когда я повадился слушать Прокофьева, я понял, что с ним происходило; я понял Уайтхеда* и Рассела*, Джинса* и Эддингтона*,

Фробениуса* и Линка Гиллеспи; я понял, что биномиальная теорема непременно была бы придумана человеком; я понял, почему было изобретено электричество и способ сжижения воздуха, не говоря уж о целебной грязи и ваннах Шпруделя*. И, скажу я вам, мне стало куда как ясно, что в крови у человека есть дохлая вошка, и когда вы сочиняете симфонию, пишете фреску, изобретаете динамит — это реакция на рвотное, которое не было включено в заранее составленное меню. Я понял, почему мне не удалось стать композитором. Все, что я сочинял мысленно, все очень личные, художнические построения, дозволенные моему слуху благодаря святой Хильдегарде* или святой Бригитте*, Иоанну Крестителю или Бог знает кому, были написаны для грядущего века, века бедного инструментами и богатого антеннами, века крепких барабанных перепонок. Чтобы такую музыку оценили по достоинству, надо испытать особый вид страдания. Бетховен застолбил новую территорию, о существовании которой узнаешь, когда проваливаешься в мир безмолвия. Это — царство новых вибраций, которое нам представляется смутной туманностью, покуда мы не преодолели нашу собственную концепцию страдания. Мы должны постичь этот туманный мир, его родовые муки, его ориентацию.

218

Мне было дозволено услышать потрясающую музыку, пока я лежал ничком, безразличный к скорби, разлитой вокруг. Я внимал созреванию нового мира, шуму бурливых рек, берущих свое начало, звукам трущихся звезд, фонтанов, застывающих в блеске драгоценных камней. Вся музыка — это продукт тепличный, панацея от *Weltschmerz**, она повинуется законам древней астрономии. Музыка до сих пор остается противоядием невыразимого, но это еще не музыка. Музыка — это планетарный огонь, неугасимый, поддерживающий сам себя, это письменное послание богов, это абракадабра, которая и ученому и в равной мере невежде все равно что муфта, с которой соскочил вал. Загляни во внутренности, в безутешное, в неизбежное! Ничто не определено, ничто не доказано и не решено. Все, что идет вперед: музыка, архитектура, закон, правительства, изобретения, открытия — все это упражнения на беглость в темноте, Черни с заглавной Е, гарцующей бешеным белым конем в бутылочке слизи.

Одной из причин, по которой я недалеко ушел с проклятой музыкой, было то, что музицирование у меня вечно смешивалось с сексом. Как только я стал способен наиграть песенку, подле меня, словно мухи, закружились бабы. Начнем с того, что основная тяжесть вины ложится на Лолу. Лола была моей первой учительницей музыки. Лола Ниссен. Странное имя, впрочем, типичное для нашего тогдашнего окружения. Оно звучало, как «вонючая копченая селедка», или «червивая пизда». Да и на самом деле Лола не отличалась красотой. В ней было что-то калмыцкое, а может чинукское, желтоватая кожа и желтые глазные белки. На лице — несколько бородавок и жировиков, не говоря уж об усиках. Однако больше всего меня волновали в ней превосходные длинные черные волосы, которые она собирала в пучочки по всему монголообразному черепу. На затылке она закручивала узел, похожий на свернувшуюся змею. Будучи прирожденной идиоткой, она вечно опаздывала, и к ее приходу я всегда оказывался в некотором расслаблении, возникавшем после мастурбации. Но как только она садилась на стул рядом со мной, я вновь возбуждался, видимо, от запаха вонючих духов, которыми она смазывала подмышки. Летом она носила платья без рукавов, так что я мог видеть пучки волос у нее под мышками. Это зрелище делало меня необузданным. Я воображал себе, что у нее волосы всюду, даже в пупке. И мне очень хотелось закопаться в них, погрузить в них зубы. Я съел бы волосы Лолы как деликатес, если бы к ним при-

* Мировой скорби (нем.).

219

стало хоть немного плоти. Короче говоря, она была волосатая, вот что я хочу сказать, волосатая, как горилла, и потому она переключала мои мысли с музыки на свою пизду. Мне страшно хотелось взглянуть, что за штучка ее пизда, и наконец, в один прекрасный день я уговорил ее младшего брата устроить так, чтобы я мог подглядеть за ней во время купания. То, что я увидел, оказалось еще прекрасней моих ожиданий: курчавая поросль простиралась от пупка до промежности, словно чудовищно густой начес, словно шотландский плед ручной работы. Когда она обмахивала эту шевелюру пуховкой, я чуть было не лишился чувств. На следующем занятии я оставил расстегнутыми пару пуговиц на брюках. Она, вроде бы, ничего не заметила. В другой раз я оставил расстегнутыми уже все пуговицы. И она обратила на это внимание, сказав: «Мне кажется, ты кое-что забыл сделать, Генри». Я взглянул на нее, красный, будто свекла, и вежливо спросил: *«Что именно?»* Она сделала вид, что не смотрит в мою сторону, и указала левой рукой на это. Она поднесла руку так близко, что я не смог удержаться, схватил ее и запихнул к себе в брюки. Она вскочила, бледная от испуга. Но я уже вытащил дрожащий от вожделения член, подошел к ней и достиг под платьем того самого ручной работы пледа, который разглядывал когда-то в замочную скважину. Тут она надавала мне смачных оплеух,

схватила за ухо и потащила в угол, где повернула меня лицом к стене и сказала: «А теперь застегнись, глупый мальчишка!» Мы через несколько секунд вернулись к пианино, к Черни и его упражнениям на беглость пальцев. Я не мог отличить диез от бемоля, но продолжал играть, поскольку опасался, что она расскажет о случившемся моей матери. К счастью, о таком нелегко говорить с матерями.

Этот случай, согласитесь, не слишком приятный, стал, однако, началом решительного поворота в наших отношениях. Я был уверен, что в следующий раз она обойдется со мной очень сурово, но, напротив, она принарядилась, еще сильней спрыснулась духами и казалась даже слегка развязной, что было необычно для Лолы, особы угрюмой и замкнутой. Я уже не смел расстегнуть брюки, но испытал эрекцию, продлившуюся в течение всего урока, что, должно быть, весьма ей польстило, поскольку она не переставала бросать взгляд украдкой в нужном направлении. Мне тогда было только пятнадцать, а ей — двадцать пять, а то и все двадцать восемь. Я с трудом представлял себе, что же делать. В голову приходило лишь взять ее силой, когда матери не будет дома. Некоторое время я выслеживал ее по вечерам, когда она выходила из дома. У нее была привычка совершать долгие вечерние прогулки в одиночку. Я

220

следовал за ней по пятам в надежде, что она забредет в Какое-нибудь укромное местечко неподалеку от кладбища, где я смогу применить свою грубую тактику. Временами у меня возникало ощущение, что она догадывается о том, что я преследую ее, и отнюдь не жалеет об этом. Мне казалось, будто она ждет, что я подстерегу ее где-нибудь, и это именно то, чего ей очень хочется. И вот, как-то вечером я лежал в траве у железнодорожного полотна. Стоял душный летний вечер, и люди лежали повсюду вокруг, как выдохшиеся псы. Я совсем не думал о Лоле — просто дремал, поскольку было очень душно, чтобы думать о чем бы то ни было. Вдруг я увидел женщину, шедшую по узкой гравиевой дорожке. Я растянулся на откосе набережной и рядом со мной никого не было. Женщина двигалась медленно, нагнув голову, словно задумавшись о чем-то. Когда она подошла ближе, я узнал ее. «Лола! — позвал я. — Лола!» Казалось, она была удивлена встрече со мной. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она, и тут же села рядом. Я не успел ей ответить — просто влез на нее, придавив всем телом. «Пожалуйста, не здесь», — молила она, но я не придал ее словам никакого значения. Я запустил руку между ее ног, погрузившись в густую поросль, которая увлажнилась, как кожа вспотевшей лошади. Клянусь Богом, то я трахался впервые, и надо же так случиться, что именно в этот момент прошел поезд и обдал нас дождем горячих искр. Лола испугалась. Я думаю, она тоже трахалась в первый раз, и, вероятно, ей это было еще нужнее, чем мне, но когда она почувствовала горячие искры, пошла на попятную. Обуздать ее оказалось не легче, чем степную кобылицу. Я так и не смог удержать ее, как ни боролся. Она поднялась, отряхнулась и поправила узел на затылке. «Тебе надо идти домой», — сказала она. «Но я не собираюсь домой», — заявил я, взял ее за руку и мы пошли гулять. В полном молчании мы прошли целый перегон. Казалось, мы не замечали, куда шли. Наконец, мы оказались на шоссе поблизости от резервуаров с водой, а рядом с резервуарами был пруд. Я интуитивно направился к пруду. Мы прошли под низкими ветвями деревьев и оказались у воды. Я помогал Лоле сойти пониже, как вдруг она поскользнулась и увлекла меня за собой. Она не пыталась подняться, вместо этого она прижалась ко мне и, к великому моему удивлению, я почувствовал, что ее рука проникла ко мне в брюки. Она ласкала меня так великолепно, что я вмиг кончил ей в ладонь. Потом она взяла мою руку и положила ее между своих ног. Она лежала на спине совершенно расслабленная, широко раздвинув ноги. Я наклонился и расцеловал каждый волосок на ее лоне, я вылизал ей пупок. Затем я лег головой между ее ног и подхватывал

221

языком то, что сочилось из нее. Она постанывала, сжимая и разжимая пальцы рук; волосы у нее пришли в полный беспорядок, разметавшись по животу. Короче говоря, я имел ее еще раз, и имел немало времени, за что она должна быть мне благодарна, ибо кончила не знаю сколько раз — то было словно разрывы шутих, следовавшие один за другим — а тем временем она вонзала в меня свои зубы, кусала мне губы, царапала меня, порвала мне рубашку и еще черт знает что. Когда я пришел домой и посмотрелся в зеркало, я был похож на клейменного молодого бычка.

Это было великолпено, но недолго. Через месяц Ниссены переехали в другой город, и я больше не видел Лолу. Но я повесил над кроватью ее плед и молился ему каждую ночь. И когда бы я ни садился за Черни, у меня возникала эрекция при мысли о Лоле, лежащей в траве, об ее длинных черных волосах, об узле на затылке, о стонах, которые она испускала и о соке, который выделяла. Игра на пианино долго заменяла мне совокупление. Мне пришлось ждать подходящего случая два года, да и не таким уж подходящим он оказался, ибо я подцепил триппер, и, кроме того, это было не в траве и не летом, и не было никакой страсти, а просто трезвое механическое совокупление за

пару долларов в грязном гостиничном номере, когда дешевая шлюха изображала оргазм, но скорее наступило бы второе пришествие, чем она испытала бы оргазм. Может быть, это и не она наградила меня триппером, а ее подружка, которая спала с моим другом Симмонсом в соседнем номере. Ведь как получилось: я быстренько довел механическое совокупление до конца и решил зайти посмотреть, как там мой друг Симмонс. Гляжу: у них дела в самом разгаре. Его девчонка была чешка, слегка придурковатая. Видимо, она недавно вступила на эту дорожку и поэтому старалась полностью отдаться акту и получить удовольствие. Глядя на них, я решил подождать своей очереди, а уже через неделю понял, что со мной не все в порядке, и оказалось, что это гонорея.

На следующий год я сам начал давать уроки. Мне повезло: матерью девочки, которую я обучал, была сучка, подкладка, проститутка, блядь. Она жила с негром, как обнаружилось позже. Но ей все было мало. Каждый раз, когда я приходил к ним, она хватала меня в дверях и прижималась ко мне всем телом. Я опасался близости с ней, поскольку ходили слухи, что она гниет от сифилиса, но как, скажите на милость, удержаться, если разгоряченная сука прижимается к вам пиздой и окунает язык к вам в глотку? Как правило, я имел ее стоя в коридоре, и это было нетрудно, ибо она весила очень мало, и я мог держать

222

ее в руках, будто куклу. Вот так я ее держал однажды вечером, а в это время послышался звук ключа, поворачивавшегося в замке, отчего она в ужасе застыла. Деваться было некуда. К счастью, в дверном проеме висела портьера, и я укрылся за ней. Затем я услышал, как ее черный буйвол целует ее и спрашивает: *«Ну, как дела, лапочка?»,* а она отвечает, что, мол, ждала его, и зовет сразу в спальню, поскольку больше не может ждать. Когда затих скрип на лестнице, я бесшумно открыл дверь и выскользнул на улицу, и, видит Бог, как я перепугался тогда, ведь если бы черный буйвол обнаружил меня, быть моей глотке перерезанной от уха до уха, это уж как пить дать. Я перестал туда ходить, и тут уже дочка — ей только минуло шестнадцать — привязалась ко мне, уговаривая давать ей уроки в доме подруги. Мы вновь занялись упражнениями Черни, поцелуями и прочим. Я впервые ощутил запах свежатины, и это было великолепно, все равно что недавно скошенное сено. Мы перепихивались за уроком урок, а между уроками — дополнительно. И однажды случилось нечто печальное — она забеременела. Что делать? Я попросил одного еврея помочь мне, он согласился за двадцать пять долларов, а я никогда в жизни не видел двадцати пяти долларов. Кроме того, она не достигла совершеннолетия. Кроме того, могло быть заражение крови. Я выдал ему авансом пять долларов, а сам слинял в Адирондакские горы на пару недель. В Адирондаке я встретил школьную учительницу, которая до смерти хотела брать уроки." Последовали фортепианные упражнения, кондомы и женское естество. Всякий раз, когда я дотрагиваюсь до клавиатуры, мне кажется, что я прикасаюсь к пизде.

На всех вечеринках продолжалась та же музыка, которая приводила мой пенис в полную готовность, а во время отпуска, где-нибудь в загородном доме или в гостинице, при избытке женского пола, она имела потрясающий эффект. Я ждал очередного отпуска целый год, и не ради обилия женщин, а потому что не надо работать. Скинув упряжку, я становился весельчаком. Энергия так и рвалась из меня, мне хотелось сбросить собственную шкуру. Помню, как-то летом в Катскилльских холмах я встретил девушку по имени Франси. Она была прекрасна и сладострастна, сияла ровными белоснежными зубами, а соски у нее стояли торчком, как у шотландок. Это началось на реке, во время купания. Мы плыли к лодке, и одна из ее грудок выскользнула из чашки бюстгальтера. Я помог выскользнуть другой и расстегнул застежку. Она стыдливо нырнула под лодку, и я вслед за ней, а когда она поднялась, чтобы глотнуть воздуха, я стянул с нее несносный купаль-

223

ный костюм, и она плавала, как русалка, раскинув крепкие большие груди, словно поплавки. Я и с себя стянул плавки, и мы начали резвиться рядом с лодкой, как дельфины. Скоро к нам приплыла на каноэ ее подруга, довольно плотная девица, этакая свеженькая блондинка с агатовыми глазами и разукрашенная веснушками. Она очень удивилась, застав нас в таком виде, но мы быстро столкнули ее с каноэ и раздели. И мы начали резвиться под водой втроем, но с ними было трудно что-нибудь сделать, поскольку они были скользкие, как ужи. Вдоволь наигравшись, мы поспешили к маленькой купальне, которая стояла одиноко, словно брошенная будка часового. Захватив с собой одежду, мы все трое намеревались привести себя в порядок в этой крохотной будке. Стояла страшная духота, а на небе собирались тучи, словно перед грозой. Агнес, подружка Франси, очень торопилась натянуть на себя одежду. Видимо, она стеснялась того, что стоит перед нами голая. Франси, напротив, чувствовала себя совершенно непринужденно. Она сидела на скамейке, скрестив ноги, и курила сигарету. Когда Агнес надевала сорочку, вспыхнула молния и раздался ужасный громовой раскат.

Агнес вскрикнула и выронила сорочку из рук. Потом молния ударила еще раз, сопровождаемая опасно близким разрывом. Все вокруг посинело, мухи сильно кусались, и мы почувствовали тревогу и немного испугались. Особенно Агнес, которая очень боялась молнии и еще больше того, что нас обнаружат мертвыми втроем в обнаженном виде. Она заявила, что берет свои вещи и бежит домой. Стоило ей произнести это, как припустил ливень. Мы думали, что он скоро кончится, и стояли обнаженные, глядя через приоткрытую дверь на дымящуюся реку. Казалось, с неба падает не дождь, а булыжники, а молнии так и сверкали не переставая. Тогда мы не на шутку испугались и не знали, что нам делать. Агнес ломала руки и вслух молилась. Она была точь-в-точь идиотка, сошедшая с картины Георга Гросса* — одна из тех кривобоких сук с четками на шее и желтушным цветом лица впридачу. Я думал, что она собирается грохнуться в обморок или что-то подобное. Неожиданно мне взбрело в голову станцевать воинственный танец под дождем — чтобы окончательно свести их с ума. И только я выпрыгнул, не успев начать представление, как вспыхнула молния. Она ударила в дерево, стоявшее неподалеку. Я побледнел от страха и чуть не лишился рассудка. Обычно, когда я сильно пугаюсь — я начинаю смеяться. И на этот раз я захохотал дико, душераздирающе, доведя девчонок до слез. Услышав, как они рыдают, я вдруг почему-то вспомнил об упражнениях на беглость пальцев и оттого особенно остро по-

224

чувствовал, что стою в пустоте, а вокруг все синее и дождь хлещет по моей нежной коже. Всё мри ощущения собрались воедино на коже, а под нею я остался совсем пустой, легкий как перышко, легче воздуха, дыма, талька, магния, чего угодно. Я вдруг превратился в индейца чиппева, и опять почувствовал под рукой клавиатуру из сассафраса, и плевать мне было — плачут они или кладут в штаны, дуры набитые. Глядя на чокнутую Агнес с четками на шее и брюхом, посиневшим от страха, я понял, что мне обязательно надо станцевать святотатственный танец, одной рукой придерживая яйца, а другой показывая нос молнии и грому. Дождь то обжигал, то холодил, в траве спряталась куча стрекоз, а я прыгал, будто кенгуру, и вопил во всю глотку: «Отец мой, поганый сукин сын, кончай со своими треклятыми молниями, а то Агнес перестанет верить в тебя! Ты слышишь, старый потаскун, прекрати трещать, а то Агнес спятит! Эй, ты что, оглох, старый пердун?» И я танцевал вокруг купальни, извергая из уст всю эту вызывающую чушь, прыгал и подскакивал, как антилопа, употребляя самые страшные ругательства, какие только могли прийти на ум. При каждом разрыве молнии я подпрыгивал выше, и с каждым ударом грома я рычал, как лев, ходил колесом, катался в траве, как ребенок, рвал траву зубами и выплевывал ее, колотил себя в грудь, как горилла, и все это время у меня перед глазами стояла «Школа беглости» Черни, белый лист, испещренный диезами и бемолями, и до чего же он глуп, думал я, если воображал, что таким образом можно научиться управлять с хорошо темперированным 'клавиром. И вдруг мне пришло в голову, что Черни, наверное, сейчас на небесах и смотрит оттуда на меня — тогда я плюнул в него так высоко, как умел, а когда опять ударил гром, я крикнул во всю мочь: «Ты, ублюдок Черни, если ты *там,* наверху, ты должен открутить себе яйца, проглотить скрюченный елдак, удавиться... Ты слышишь, поганый развратник?»

Но несмотря на мои старания, Агнес молилась еще исступленней. Она была толстокожей ирландской католичкой, никогда прежде не слыхавшей, что к Богу можно обращаться таким образом. Внезапно, пока я танцевал за купальней, она ринулась к реке. Мне послышался крик Франси: «Останови ее, она утопится! Останови ее!» Я побежал за ней, а дождь все еще лил как из ведра, я кричал, чтобы она вернулась, но она бежала без оглядки, словно одержимая бесом. Достигнув берега, она с разбегу нырнула и поплыла к лодке. Я поплыл за ней, и когда мы уцепились за лодку, я, из страха, что она опрокинет суденышко, схватил ее за талию и начал терпеливо и спо-

225

койно уговаривать, как ребенка. «Отстань от меня, — сказала она, — ты атеист!» Я очень удивился этим словам. Что с ней такое? Истерика, ведь я поносил Всевышнего. Мне страшно захотелось дать ей по морде, чтобы привести в чувство. Но она совсем потеряла голову, и я опасался, что ей приспичит выкинуть что-нибудь из ряда вон, например перевернуть лодку. Поэтому я сделал вид, будто ужасно расстроен случившимся, и заверил ее, что сам перепутался до смерти и с перепугу наговорил чего не следует и все в таком духе. Мягко и терпеливо уговаривая ее, я опустил руку с ее талии и принялся нежно поглаживать ей попку. Она только этого и ждала. Сквозь слезы она начала лепетать, какая она замечательная католичка, как всю жизнь старалась не грешить. Увлеченная собственными словами, она словно не ведала, что я вытворяю, и все же, когда я запустил руку к ней в промежность, сопровождая свои действия прекрасными словами, что первыми пришли мне на ум, о Боге, о любви, о церкви, об исповеди и прочей чепухе, должна же она была что-то почувствовать, ведь я просунул в нее добрых три пальца, беспрестанно вращая ими у нее в дырке? «Обними меня, Агнес, — нежно

сказал я, вытаскивая руку и привлекая ее к себе, чтобы мои ноги оказались между ее ног. — Так, вот так, девочка, успокойся, скоро все кончится». И не переставая говорить о церкви, об исповеди, о Боге, о любви и прочей дряни, мне удалось овладеть ею. «Ты не добр ко мне, — сказала она, словно не ведая, что мой член уже внутри, — прости меня, я вела себя как дура». «Знаю, Агнес, — ответил я, — это ничего... послушай, возьмись за меня покрепче... да, вот так». «Боюсь, лодка перевернется», — сказала она, стараясь удержать таз в удобной позиции и для этого подгребая свободной рукой. «Все, поплыли к берегу», — заявил я, пытаясь оторваться от нее. «О, не покидай меня, — сказала она, сжимая меня еще крепче, — не покидай меня, я утону». А тут как раз к воде подбежала Франси. «Помогите, — сказала Агнес, — помогите... тону...»

Франси была девчонка что надо, доложу я вам. Она-то уж точно не была католичка, а если имела стыд, то на уровне рептилии. Она принадлежала к породе тех девушек, что рождены для ебли. У нее не было стремлений, не было больших желаний, она не ревновала, не обижалась, была неизменно веселой и притом весьма неглупой. Вечерами, когда мы сидели на веранде и разговаривали с приятелями, она, пользуясь прикрытием темноты, забиралась ко мне на колени в платье, накинутом на голое тело, и я потихоньку имел ее, пока она смеялась и болтала с остальными. Думаю, то же самое она учинила бы и пред очами Папы римского,

226

коль предоставилась бы такая возможность. Вернувшись в город, я частенько заглядывал к ней домой, и она делала то же самое на глазах матери, благо та ослабла глазами. Когда мы бывали на танцах, и ей приспичивало, она тащила меня к телефонной будке и там, странная девчонка, действительно вела разговор с кем-нибудь вроде Агнес, пока мы проделывали те же штучки. Кажется, она получала особое удовольствие, если совершала это у людей под носом. Она как-то призналась, что так забавнее: если не принимать это слишком уж всерьез. Возвращаясь домой с пляжа в переполненной подземке, она брала мою руку и проводила ее через разрез в платье прямо к себе на манду. Если в вагоне была толкучка, а мы устраивались в уголке, она вытаскивала мой кок из брюк и держала его в ладонях, словно птичку. Иногда на нее находило игривое настроение, и тогда она вешала на него свою сумочку, чтобы проверить, не причинит ли это мне какой-нибудь вред. Еще ее отличало то, что она никогда не пыталась сделать вид, будто бы я у нее единственный. Не знаю, все она мне рассказывала, или не все, но рассказывала она предостаточно. Она излагала свои похождения со смехом, усаживаясь на меня верхом или во время акта, а то и ближе к оргазму. Она рассказывала, как у других ее партнеров с этим делом, каких они размеров, что они говорят, занимаясь любовью и так далее, и тому подобное — во всех подробностях, как будто я собирался писать учебник по этому предмету. Она не испытывала ни малейшего трепета по отношению к своему телу и к своим чувствам и вообще ко всему, что было с ней связано. «Франси, малышка, — говаривал я ей, — у тебя стыда не больше, чем у кретина». «Но я все равно тебе нравлюсь, разве нет? — отвечала она. — Мужчины любят ебаться, и женщины тоже. И кому какое дело, если ты не любишь того, с кем ебешься? Разве от этого хуже? Я бы не хотела влюбиться: должно быть, это ужасно— ебаться все время с одним и тем же, а ты как думаешь? Послушай, если ты ни с кем, кроме меня, не ебешься, я тебе быстро надоем, разве не так? Иногда хочется поебаться с кем-нибудь совсем незнакомым. Да, это лучше всего, — добавила она, — никаких сложностей, никаких телефонных номеров, ни тебе любовных писем, ни ссор, а? Как ты думаешь, я очень плохая? Как-то я пыталась совратить своего братца — ты же знаешь, какой он скромница, с души воротит. Не помню, как это произошло:

одним словом, мы были в квартире вдвоем, а на меня нашло в тот день что-то необыкновенное. Он за чем-то заглянул ко мне в комнату, а я лежала вся на взводе, только об этом и мечтая. Когда он вошел, я даже не подумала, что он

227

мой брат, я смотрела на него только как на мужчину. Тогда? я задрала юбку и пожаловалась ему на боли в животе. Он хотел позвать кого-нибудь мне на помощь, но я сказала «нет» и попросила его немного растереть мне живот, это поможет. Я расспустила пояс и заставила его помассировать обнаженное тело. Он отводил глаза к стене, дурень, и растирал меня, словно я — деревяшка. «Не здесь, дубина, — сказала я, — ниже... чего ты боишься?» И я изобразила агонию. Наконец, он случайно дотронулся до меня в нужном месте. «Тут! Это — тут! — вскричала я. — О, растирай, растирай, мне от этого так хорошо!» Знаешь, болван массировал меня пять минут, не сообразив, что это — игра. Я была так возмущена, что послала его ко всем чертям. «Ты — евнух», — сказала я, но он такой дурак, что, наверное, и не знает, что такое евнух». И Франси засмеялась при мысли, какой простофиля ее братец. Она добавила, что он, вероятно, до сих пор девственник. Так что я думаю обо всем этом — это действительно очень дурно? Конечно, она знала, что я не скажу ни слова в ее осуждение. «Послушай, Франси, — сказал я, — ты когда-нибудь

рассказывала эту историю полицейскому, с которым гуляешь?» Она ответила: «Думаю, что нет». «И я так думаю. Он тебя хорошенько приголубил бы, если бы услыхал такую похабень». «А он уже вмазал мне как-то», — моментально призналась она. *«Что? —* вскричал я, — и ты позволила ему ударить себя?» «Я не просила его об этом, но ты знаешь, какой он несдержанный. Кому-нибудь другому я бы не простила, но от его руки пострадать не страшно. Иногда мне даже от этого как-то лучше на душе... Не знаю, может быть, женщинам хоть раз надо испытать, что такое быть побитой мужчиною? Да и не больно это, если тебе действительно парень нравится. А после он всегда такой предупредительный— мне даже неудобно бывает...»

Не часто встретишь женщину, которая позволяет себе такое, если она, конечно, нормальная, а не слабоумная. Вот, например, Беатрис Миранда и ее сестра, миссис Костелло. Замечательная парочка пташек. Трис, которая якшалась с моим другом Макгрегором, делала вид перед сестрой, а жили они в одной квартире, будто у нее нет никаких отношений с Макгрегором. А ее сестра старалась всем своим видом показать, что она фригидная особа и что при всем желании неспособна иметь дело с мужчиной, поскольку-де уродилась «маломеркой». Тем временем мой друг Макгрегор простодушно имел их обеих, и они обе знали друг о дружке, но по-прежнему лгали одна другой. Почему? Я так и не понял. Сучка Костелло была особа истерического склада: когда она чувствовала, что не ей достается

228

большая часть мужской силы Макгрегора, она устраивала псевдо-эпилептическиё припадки. Это означало: ставить ей компрессы, расстегивать лифчик, растирать ноги и в конце концов тащить ее наверх в постель, куда приходил Макгрегор присмотреть за ней после того, как другая засыпала. Иногда обе сестры ложились вместе отдохнуть после обеда. Если Макгрегору случалось в это время быть у них, он поднимался к ним в спальню и ложился между ними. Как он объяснил мне со смехом, шутка состояла в том, чтобы прикинуться спящим. Он шумно дышал, но при этом приоткрывал то один, то другой глаз, чтобы удостовериться, которая из них уже заснула. Как только он убеждался, что одна из них спит, сразу заводил шашни с другой. В таких ситуациях он предпочитал истеричку, миссис Костелло, чей муж посещал ее не чаще двух раз в году. Чем больше риск, тем острее ощущение, говаривал он. Если же подворачивалась другая сестра, Трис, за которой он, по его мнению, ухаживал, то ему приходилось делать вид, будто произойдет нечто страшное, коль их застукает сестра, и в то же время, как он признался мне, ему очень хотелось, чтобы другая сестра проснулась и застукала их. Однако замужняя сестра, та, которая была «маломеркой», как она любила повторять, умела схитрить и, кроме того, испытывала чувство вины перед сестрой, так что, будучи застигнутой врасплох во время полового акта, она, скорее всего, изобразила бы припадок, сделав вид, будто не ведает, что творит. Ни за что на свете она не призналась бы, что иногда позволяет себе получить удовольствие от совокупления с мужчиной.

Я неплохо узнал ее, поскольку некоторое время -давал ей уроки, стараясь совершить возможное и невозможное, чтобы убедить ее в том, что дырка у нее вполне нормальная и что она способна наслаждаться актом, если даст себе труд иногда прибегать к нему. Обычно я рассказывал ей похабные истории, в которых тонко намекал на ее собственные обстоятельства, но несмотря на это, она оставалась непреклонной. Однажды, и это самое невероятное, у нас даже дошло до дела: она позволила мне запустить палец. Я убедился, что с ней нет ничего из ряда вон, да, немного суховато, слегка тесновато, но это можно было приписать истерии. А теперь представьте себе, что после этого она рывком натягивает юбку на колени и раздраженно говорит вам прямо в лицо:

— Видишь, я же говорила, что уродилась такой!

— Не вижу ничего необычного, — отвечал я сердито. — Ты что думаешь, в микроскоп тебя рассматривать буду?

229

— Ну и ну! — сказала она назидательно, — как ты **со** мной разговариваешь!

— Какого дьявола ты врешь? — продолжал я. — И зачем придумываешь небылицы? Скажи, разве небесчеловечно — иметь дырочку и не пользоваться ею? Что, собираешься засушить ее?

— Ну и выражения! — заметила она, покусывая губу и краснея, как свекла. — А я-то думала, вы джентльмен!

— В таком случае и ты — не леди! — парировал я. — Поскольку леди время от времени ебутся и не просят джентльменов ковыряться в них пальцами, чтобы удостовериться, насколько они малы!

— Я тебя не просила дотрагиваться до меня! — сказала она. — Мне бы и в голову не пришло просить, чтобы ты прикасался ко мне, тем более в интимных местах.

— Может быть, ты решила, что я собираюсь почистить тебе ушки?

— Я в тот момент вообразила, что ты доктор — и это все, разговор окончен, —

холодно произнесла она, пытаясь отодвинуться.

— Ладно, — сказал я первое, что пришло на ум, — будем считать это недоразумением, будем считать, что ничего не произошло. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить, будто ты обиделась. Да я и не собирался, тебя обижать, клянусь дьяволом. Просто подумал: может, ты ошибаешься, может, ты и не маломерка. Ты знаешь, все случилось так быстро, что я ничего не понял. Я даже не уверен, дотрагивался ли до тебя. Ну, если только самую малость, и все. Сядь рядышком, не дуйся. — И я усадил ее рядом с собой — она заметно смягчилась при этом — и обнял за талию, как бы для того, чтобы утешить ее понежнее. — И давно это у тебя? — поинтересовался я с самым невинным выражением и чуть не расхохотался, поняв весь идиотизм вопроса. Она застенчиво нагнула голову, словно мы коснулись неприличной темы. — Может, ты сядешь ко мне на колени... — и, не дожидаясь ответа, я мягко переместил ее к себе на колени и тут же проник к ней под платье, осторожно положив руку на ее бедро. — Посиди так немножко, тебе станет лучше... Вот так, откинься на меня, отдохни... Тебе уже лучше? — Она не ответила, но больше не сопротивлялась, просто лежала, расслабленная, прикрыв глаза. Осторожно, очень мягко и нежно я гладил ее бедро, пробираясь все выше и выше и не переставая говорить ей негромкие ласковые слова. Когда мне удалось раздвинуть пальцами малые губы, она оказалась влажной, как мокрая кухонная тряпка. Я осторожно массировал ее, открывая все шире и шире, и не отступал от теле-

230

иатической линии насчет того, что женщины иногда заблуждаются, полагая, будто они слишком «маленькие», в то время как они вполне нормальные, а она тем временем выделяла все больше влаги и раскрывалась все сильней. Я засунул уже четыре пальца, и еще оставалось место, если бы у меня нашлось что-нибудь засунуть еще. Она обладала выдающейся дырою, и насколько я мог почувствовать, в свое время великолепно разработанной. Я посмотрел, держит ли она по-прежнему глаза закрытыми: рот у нее был раскрыт, она тяжело дышала, но глаза были плотно сомкнуты, словно она делала вид, что все это ей снится. Теперь с ней можно было не церемониться — исчезла опасность даже малейшего недовольства. Может, это было лишнее, но я довольно-таки злонамеренно принялся пинать ее, что-. бы посмотреть, проснется ли она. Я пинал словно бы мягкую перину, и даже когда она стукнулась головой о деревянный подлокотник дивана, все равно не выказала никакого раздражения. Казалось, что она прошла анестезию, готовясь к шальному соитию. Я стянул с нее всю одежду и кинул на пол, после чего провел неплохую разминку на диване, кончил и положил ее на пол, поверх одежды. Потом вошел в нее еще раз, причем она так присосалась ко мне, что не собиралась отпускать, несмотря на внешние признаки обморока.

Мне кажется очень странным, что музыка всегда перерастала в секс. Когда вечером я выходил на прогулку один, я был уверен, что найду себе кого-нибудь: медсестру, девушку, выходящую из танцевального зала, молоденькую продавщицу — лишь бы кто-то в юбке. Если я выезжал на автомобиле с моим другом Макгрегором — прокатиться на пляж, как он говорил — то оказывался в полночь в некоей странной гостиной в незнакомом районе, а на коленях у меня сидела какая-нибудь девица, как правило, невзрачной внешности, ибо Макгрегор был еще менее разборчив, чем я. Часто, усаживаясь к нему в автомобиль, я предлагал:

«Слушай, обойдемся сегодня без баб, как ты на это смотришь?» И он отвечал: «Господи, меня они тоже достали... Поедем куда-нибудь, да хотя бы в Шипсхед Бей, ага?» Но проезжали мы не больше мили, как он вдруг подруливал к тротуару, подталкивал меня локтем и произносил: «Взгляни! — указывая на девушку, шагавшую по улице. — Господи, что за ножки!» Или так: «Слушай, а что, если мы ее подбросим? Может быть, у нее есть подружка?» Я и слова не успевал вымолвить в ответ, а уж он окликал ее и начинал болтать в своей обычной манере, неизменной для всех. В девяти случаях из десяти девушка соглашалась. Отъехав

231

совсем недалеко, он, поглаживая ее свободной рукой, спрашивал, нет ли у нее подруги, которая могла бы составить нам компанию. Если она проявляла беспокойство, не желая, чтобы с ней обращались подобным образом, он тормозил, открывал дверцу и выпроваживал ее из автомобиля со словами: «Иди ко всем чертям! У нас нет времени с тобою цацкаться!» И, обращаясь ко мне: «Правда, Генри? Не унывай, к вечеру мы что-нибудь подходящее обязательно отыщем!» Когда же я напоминал ему, что мы собрались провести эту ночь целомудренно, он отвечал: «Ладно, как знаешь. Я просто подумал, что это доставит тебе удовольствие». Но очень скоро он опять резко тормозил и произносил, обращаясь к расплывчатому силуэту, выступившему из темноты, такие слова: «Эй, сестричка, как дела? Не желаешь прокатиться?» И не исключено, что на этот раз подворачивалась под руку дрожащая маленькая сучка, готовая по первому требованию

задрать юбку. Часто такие не просили даже выпивки, достаточно было остановиться где-нибудь на безлюдной дороге и по очереди отодрать ее прямо в машине. Если она оказывалась совсем уж дурочкой, а так обыкновенно и происходило, она даже не доставляла хлопот и не просила подбросить ее до дома. «Нам не по пути, — говорил этот сукин сын. — Тебе лучше выйти здесь». Он открывал дверцу и ждал, пока она покинет автомобиль. Следующей его мыслью, разумеется, было: а не заразная ли она? Эти сомнения терзали его весь обратный путь. «Господи, нам надо быть осмотрительней, — говорил он. — Черт знает что можно подхватить. У меня с последнего раза, помнишь, на шоссе, чешется — нет терпения. Может, это просто нервное... Из головы не лезет. Объясни мне, Генри, почему не удается прилепиться. к одной юбке? Ты бы, например, взял Трис, она славная, ты знаешь. Мне она тоже нравится, в некотором роде... Да что говорить об этом! Ты меня знаешь, я — обжора в этом деле. Иногда на меня прямо находит что-то. Например, еду на свидание — заметь, с девушкой, которую хочу, с которой все улажено — и вот еду, а краем глаза замечаю ножки, вышагивающие по тротуару, тогда, не успев ни о чем подумать, сажаю ее в машину, и черт с ней, с той. Наверно, я бабник такой невероятный, как ты думаешь? Не говори ничего, — быстро прибавлял он, — я знаю, ты ничего хорошего, сволочь такая, не скажешь». И после паузы: «Ты забавный парень, Генри. Я не замечал за тобой, чтобы ты отказывал себе, но иногда ты забываешь про это вовсе. Меня просто бесит твое безразличие. И постоянство. Ты знаешь, что ты почти моногамен? Все время с одной — меня это из себя выводит! Тебе не надоедает? Да я

232

наизусть знаю все, что они скажут. Иногда мне хочется сказать им ... нет, лучше сперва дунуть, а потом сказать:

«Слушай, девочка, помолчи немного... раздвинь ножки пошире и занимайся своим делом». Он добродушно засмеялся. «Представляешь, какую морду состроила бы Трис, если к ней обратиться с подобными словами? А ведь я однажды был недалек от этого. Я надел пальто и шляпу. *Ну и рассердилась же она!* Против пальто не было возражений, но шляпа! Я сказал ей, что боюсь сквозняков, хотя, конечно, никакого сквозняка не было. На самом деле мне чертовски хотелось от нее уйти, и я подумал, что в шляпе оно получится быстрее. Ничего подобного, я проторчал там всю ночь. Она подняла такой шум, что я насилу ее успокоил... Это что. Послушай другое: как-то у меня была пьяница-ирландка, баба с придурью. Прежде всего, ей никогда не хотелось в постели... непременно на столе. А это, знаешь ли, ничего, если разок-другой, но если очень часто, то достает. Однажды ночью, а я был навеселе, — заявляю ей:

все, пьяная блядь, сегодня ты пойдешь со мной в кровать. Мне хотелось развлечься по-хорошему — в постели. Представь себе, я полчаса уговаривал эту суку, пока не убедил ее пойти в кровать. Но она поставила условие, что я буду в шляпе. Ты можешь вообразить меня на этой шлюхе, и в шляпе? Притом что совершенно голого! Я спросил у нее:

«Зачем тебе понадобилось, чтобы я надел шляпу?» Знаешь, что она ответила? Она сказала, так будет элегантнее. Представляешь, что у нее было на уме? Я прямо себя возненавидел за то, что имел дела с этой сукой. Правду говоря, я никогда не заявлялся к ней трезвый, а это другое дело. Сначала мне надо было напиться до потери пульса, ты знаешь, я умею...»

Я очень хорошо знал, что он имеет в виду. Он был один из самых давних моих друзей и чуть ли не самый ворчливый сукин сын, которых я когда-либо знал. Упрямый — не то слово. Он был, как мул — дубинноголовый шотландец. А его папаша — тот еще хуже. Когда они в чем-нибудь не сходились — вот это была сцена! Папаша обычно пританцовывал, буквально *пританцовывал,* когда впадал в гнев. Если матушка пыталась их разнять — получала в глаз. Родители часто выгоняли Макгрегора из дома. И он уходил с вещами, с мебелью и даже с пианино. Примерно через месяц он возвращался, поскольку знал, что дома ему опять поверят. А потом он приходил домой поздно вечером вместе с женщиной, которую подцепил где-то, был пьян, и скандалы начинались снова. Кажется, родители ничего не имели против того, что он пришел с девицей и провел с ней ночь — им не нравилось высокомерие, с которым он

233

просил мать принести им завтрак в постель. Когда мать начинала кричать на него, он заставлял ее заткнуться такими словами: «Ну что ты лезешь не в свое дело? Ты ведь сама вышла замуж только потому, что не уберeглась». Почтенная женщина воздевала руки к небу и произносила:

«Каков сын! Каков сын! Боже мой, что я сделала плохого, чтобы заслужить такие слова?» На это следовала реплика Макгрегора: «Выкинь из головы! Ты просто старая кривляка!» Часто вмешивалась сестра Мака, стараясь все уладить. «Господи, Уолли, — говорила она, — не мое дело учить тебя, однако я прошу обращаться к маме более

уважительно». Макгрегор усаживал сестру на кровать и начинал уговаривать ее принести завтрак. Как правило, ему приходилось на месте спрашивать у коллеги по постели, как ее зовут, чтобы представить сестре. «Она недурная девчонка, — объяснял он подружке, указывая на сестру, — единственный порядочный человек в семье. Слушай, сестренка, принеси нам что-нибудь пожрать, а? Яичницу с беконом, ладно? Слушай, а как старик? В каком он сегодня настроении? Мне позарез надо пару долларов. Пойди, раздобудь у него, идет? А я подарю тебе что-нибудь хорошенькое к Рождеству». И, словно они обо всем договорились, он откидывал одеяло, чтобы показать свою девчонку. «Посмотри, правда замечательная? Какие ножки! Слушай, сестренка, тебе тоже надо обзавестись парнем... очень уж ты худа. Вот Патси, я думаю, не испытывает недостатка в этом добре, как, Патси? — и с этими словами он хлопал Патси по заднице. — А теперь ступай, сестренка, принеси кофе и, ты не забыла? — хорошенько поджарь бекон. Да не бери тот вонючий, консервированный — хочется чего-нибудь отменного. Поторапливайся!»

Больше всего в нем мне нравилась слабость: подобно многим, кто проявляет внешнюю силу, он был мягкотелым созданием. Не существовало ничего, что он бы не сделал — из. слабости. Он был вечно занят, но' ничего не доводил до конца. И вечно корпел над чем-нибудь, стараясь дать развитие уму. Например, брал полный толковый словарь и, вырывая из него каждый день по страничке, с благоговением изучал их по пути на службу и обратно. Он был переполнен всяческими сведениями, причем чем нелепее были эти сведения, тем больше удовольствия они ему доставляли. Казалось, он помешался на попытках доказать всем и вся, что жизнь — это фарс, игра, не стоящая свеч, что одно в ней противоречит другому, и так далее. Он вырос в Норт-Сайде, совсем недалеко от того места, где прошло и мое детство. Во многом он был продуктом Норт-Сайда, и, может быть, именно поэтому так нравился мне.

234

То, как он говорил, чуть-чуть сквозь зубы, его грубоватое обращение с полицейскими, его презрительные плевки, совершенно особые ругательства, его сентиментальность, его ограниченность, страсть к пульке и костям, к пустому трепу на всю. ночь, презрение к богатству, приятельство с политиками, интерес к незначительным вещам, уважение к начитанности, преклонение перед танцевальными залами, салунами, мюзиклами, разговоры о том, как было бы отлично повидать мир, и домоседство, сотворение идола из любого, кто проявил себя «настоящим мужиком», тысяча и одна черточка в его характере подкупали меня, поскольку они повторяли особенности, которыми были отмечены друзья моего детства. Мое окружение состояло из вроде бы ни на что не годных, но очень милых неудачников. Взрослые вели себя как дети, а дети были неисправимы. Никому не дано было подняться выше соседа, не заслужив всеобщего осуждения. Удивительно, как некоторым удалось стать врачами или адвокатами. Но даже и в этом случае они оставались своими ребятами, говорили на том же языке и по-прежнему голосовали за демократов. Раз услыхав, уже не забыть то, как Макгрегор рассуждал, к примеру, о Платоне или о Ницше. Прежде всего, он, дабы получить соизволение вести разговор о таких вещах, как Платон и Ницше, давал понять своим собеседникам, что случайно упомянул их имена, что сам он лишь недавно узнал о них от одного завсегдатая салуна. Он даже делал вид, что с трудом может произнести их имена. Платон — это вам не фигли-мигли, с почтением произносил он. У Платона была парочка стоящих идей в башке, да, сэр! Хотел бы я взглянуть, как эти тупые вашингтонские политики смотрелись бы на фоне Платона, говорил Макгрегор. И, продолжая тему, он объяснял своим приятелям по пульке, какова птица был этот самый Платон в свое время и сколько очков вперед он мог дать деятелям других времен. Конечно, добавлял Макгрегор, он был кастрат: в те времена большие люди вроде философов часто отсекали себе яйца, чтобы преодолеть искушение. Так находчиво, часто в ущерб собственной эрудиции, рассуждал Макгрегор. А другой малый, Ницше, тот вообще из психушки. Говорят, он жил со своей сестрой как муж с женой. Такой суперчувствительный. Нуждался в особом климате, вроде как в Ницце. Я, признавался Макгрегор, ничего вот не имею против немцев, не то что этот Ницше. Тот просто терпеть не мог немцев. Он заявлял, что он поляк или наподобие этого. А немцев всегда выводил на чистую воду. Он говорил, что они тупы как свиньи и, видит Бог, он знал, о чем говорил. Во всяком случае, это никогда не было голословным. Он

235

говорил, что они — натуральное говно, и видит Бог, разве он был неправ? Помните, как эти ублюдки драпали, подняв хвост, когда получили порцию химии собственного изготовления? Слушайте, я знал одного парня, он столкнулся с ними лицом к лицу при Аргонне. Он рассказывал, что они не стоят даже того, чтобы посрать на них. Даже пули на них жалко — он вышибал им мозги прикладом. Забыл, как его зовут — он мне много чего порассказал из того, что повидал там за несколько месяцев. С особой радостью он прикончил своего майора. Не то. чтобы у него был зуб на этого майора — просто ему не

понравилась его харя. И еще не понравилось, как он отдает приказания. Большинство убитых тогда офицеров были застрелены в спину, рассказывал он. И поделом им, кровососам! А этот парень — он из Норт-Сайда. У него сейчас бильярдная где-то у рынка. Смирный парень, занимается своим бизнесом. Но только стоит начать разговор о войне, он прямо из себя выходит. Если они опять развяжут войну, он обещал убить президента Соединенных Штатов. И он выполнит свое обещание, доложу я вам... Однако я что-то хотел рассказать вам про Платона?..

Когда все разошлись, он вдруг прицепился ко мне:

— Ты не одобряешь подобную манеру вести разговор, не так ли?

Мне пришлось признаться, что не одобряю.

— Ну и ошибаешься, — продолжал он. — Нельзя терять связь с народом, может, когда-нибудь ты испытаешь нужду в этих парнях. Ты исходишь из предположения, будто ты свободен, независим! Ты ведешь себя так, словно ты выше этих людей. И это большая ошибка. Откуда ты знаешь, что случится через пять лет, даже через полгода? Ты можешь ослепнуть, тебя может переехать грузовик, ты можешь очутиться в психушке, да мало ли что может произойти! Ты не знаешь этого наперед. И никто не знает. Ты можешь стать беспомощным, как ребенок...

— Ну, и что из этого? — спросил я.

— Разве плохо иметь друга, когда ты позарез в нем нуждаешься? Ты можешь стать таким беспомощным, что будешь счастлив, если кто-нибудь переведет тебя через дорогу. Ты считаешь, что эти парни ни на что не годятся, ты думаешь, что я попусту трачу время тут, в их компании. Знаешь ли, нельзя знать наперед, что может сделать для тебя человек. Ни в какой ситуации нельзя оставаться в одиночестве...

Его больным местом была моя независимость — так он величал мое безразличие. Когда мне приходилось просить у него в долг, он торжествовал. Это давало ему возмож-

236

ность прочитать мне небольшую дружескую мораль. «Так и тебе нужны деньги? — спрашивал он, расплываясь в довольной улыбке. — Значит, поэтам тоже надо кушать? Прекрасно, прекрасно... Правильно сделал, что обратился ко мне, Генри, дружище, ведь мы друг перед другом не рисуемся, я знаю тебя, сукиного сына, как свои пять пальцев. Так сколько тебе надо? Много у меня нет, но сколько есть — разделю с тобой. Этого хватит, верно? Или ты думаешь, сукин ты сын, что я должен отдать тебе все, а сам пойти и занять у кого-нибудь? Верно, ты хочешь *хорошо* поесть, а? Яичница с ветчиной для тебя недостаточно хороша, не так ли? Видимо, ты рассчитываешь, что я отведу тебя в ресторан? Пожалуйста, встань на минутку со стула — я подложу тебе подушку под жопу. Так-так, выходит, ты на мели! Господи, а когда ты не на мели? Я не припомню, чтобы у тебя водились деньжата. И тебе не стыдно? И это ты' мне толкуешь о бездельниках, с которыми я вожу знакомство? Помилуйте, мистер, да они у меня ни разу не попросили ни цента в отличие от тебя. У них больше гордости — скорее они где-нибудь украдут, чем будут клянчить у меня. А *ты,* говно, вечно носишься со своими бредовыми идеями, хочешь изменить мир и не желаешь работать ради денег — ты ждешь, что кто-то протянет их тебе на серебряном блюдечке. Ха! Счастье, что крутом полно парней вроде меня, которые тебя понимают. А пора бы самому стать умней, Генри. Ты мечтатель. Все хотят кушать, разве ты этого не знаешь? Большинство работают только ради этого — они не привыкли валяться весь день в постели вроде тебя, чтобы потом вдруг опомниться и бежать к первому пришедшему на ум приятелю. Представь себе, что меня не оказалось на месте, что бы ты делал тогда? Не отвечай... Я знаю, что ты собираешься сказать. Послушай, так ведь не может продолжаться всю жизнь. Поверь мне, ты превосходно говоришь — слушать тебя одно удовольствие. Нет второго такого парня, с которым мне так же приятно потолковать, но как трудно порой тебя найти! Когда-нибудь тебя посадят за бродяжничество. Ты-то и есть самый настоящий бездельник, еще хуже тех, кого так любишь осуждать. Как тебя найти, когда я в беде? Невозможно. Ты не отвечаешь на мои письма, не берешь трубку, избегаешь встреч. Знаю, можешь не объяснять. Знаю, что надоел тебе со своими байками. Но, дрянь ты этакая, иногда мне так надо поговорить с тобой. А тебе хоть бы что! Пока над тобой не капает и полно брюхо — ты счастлив. Ты не думаешь о друзьях, пока самого не клюнет. Нехорошо так поступать, понял? Скажи, что нехорошо, и я дам тебе доллар. Генри, ты у меня единственный

237

настоящий друг, но ты сукин сын — я знаю, что говорю. Ты от рождения сукин сын и скорее сдохнешь с голода, чем возьмешься за что-нибудь полезное...»

Я, разумеется, смеялся и протягивал руку за долларом, обещанным мне. Этот жест раздражал его с новой силой. «Ты на все готов, лишь бы получить доллар! Ну и парень! Рассуждает о морали, а у самого этика гремучей змеи. Нет, пока я не дам тебе ничего. Сперва я тебя еще помучаю. Ты должен *заработать* этот доллар. Слушай, не почистишь ли мне ботинки? Если ты это не сделаешь, они так никогда и не заблестят». Я брал его

башмаки и спрашивал, где щетка. Мне не претило почистить его башмаки, вовсе нет. Однако и это не нравилось ему. «Ты что, собираешься чистить их на самом деле? Ну это уж ни в какие ворота не лезет! Где твоя гордость, да и была ли она у тебя когда-нибудь? И это парень, который знает все. Просто диву даюсь. Ты так много знаешь, что должен чистить другу ботинки, лишь бы он тебя накормил. Ну и ну! Хорошенькое дельце. Ладно, сукин ты сын, вот щетка. Да почисти заодно и вторую пару, коль тебе это с руки».

Пауза. Он умывается над раковиной и продолжает ворчать. Вдруг, дружески и сердечно: «Как там погода, Генри? Солнечно? Я знаю одно местечко как раз в твоем вкусе. Что ты скажешь о морских гребешках и беконе с соусом? На набережной есть маленькое кафе. А день сегодня как нельзя лучше для гребешков и бекона, верно, Генри? Не смей придумывать, что ты занят — если я тебя зову, придется провести со мной сегодняшний денек. Господи, кому как не мне знать тебя вдоль и поперек? Ты плывешь по течению, живешь минутой. Иногда я говорю себе — да он лучше всех — несмотря на то, что сукин сын и предатель. Когда я с тобой, день пролетает как сон. Ты понял, что я имел в виду, когда сказал, что ты избегаешь встреч со мной? Если я один — я схожу с ума. Для чего я гоняюсь за каждой юбкой? Почему играю в карты всю ночь? Зачем вожу знакомство с бездельниками из Пойнта? Мне надо с кем-нибудь поговорить, вот в чем дело».

Чуть позже в гавани, сидя за столиком у воды, пропустив стаканчик ржаной водки и ожидая, пока подадут кушанья из даров моря: «Жизнь не так уж плоха, если ты можешь позволить себе все, что хочешь, правда, Генри? Будь у меня побольше денег, я бы поехал в кругосветное путешествие, и ты бы поехал со мной. Да-да, хотя ты этого и не заслуживаешь, я собираюсь когда-нибудь потратить на тебя настоящие деньги. Хочу посмотреть на тебя, когда я дам тебе приличную сумму. Ты понимаешь, я собираюсь дать тебе деньги *просто так,* а не в долг. Посмотрим, что

238

произойдет с твоими замечательными идеями, когда у тебя в кармане окажется кое-что. Слушай, я все хотел спросить у тебя про Платона, еще в тот день: ты читал эту его байку про Атлантиду?* Читал? *Серьезно, читал?* Ну, и в чем там дело? Как ты считаешь, это брехня, или такая земля действительно существовала?»

Я не решился изложить ему то, что думал о сотнях и тысячах материков прошлого и будущего, о существовании которых мы можем только догадываться, поэтому я просто сказал, что вовсе не исключаю, что такое место, как Атлантида, действительно могло некогда существовать.

«Ладно, это не так уж важно, я думаю, — продолжал он, — послушай лучше, что я тебе скажу. Мне кажется, что давным-давно было другое время, и люди были совсем другие. Не могу поверить, что они всегда были такие свиньи, как сейчас и несколько последних тысячелетий. Мне кажется, что когда-то люди знали, как надо жить, они знали, как радоваться жизни и не брать ничего в голову. Угадай, что действует мне на нервы последнее время? Мой отец. С тех пор как он ушел на пенсию, он не отходит от камина, сидит весь в хандре. Сидит, как разбитая параличом горилла — и ради этого он всю жизнь горбил? Когда подумаю, что со мной будет точно так же — уж лучше размозжить себе голову сейчас. Посмотри вокруг, вспомни своих знакомых, есть среди них хоть один стоящий? К чему вся эта возня, хотел бы я знать! *Надо жить — так говорят. А зачем,* скажите вы мне? Лучше бы все перемерли. Люди вокруг — какой-то навоз. Когда началась война, и все пришли в окопы — я сказал себе: *славно,* может они вернутся хоть немного умней. Многие вообще не вернулись, конечно. А те, кто вернулись— стали они человечнее, внимательнее друг к другу? Ни черта! В душе они все палачи и предатели. Они заставляют меня страдать, поганое племя. Мне хорошо известно, чего они стоят — всякий день выручаю их из беды. Видел их и с лица, и с изнанки. С изнанки они еще хуже. Так чего же ты набрасываешься на судей, выносящих приговор этим ублюдкам? Лучше загляни в их лица. Да, сэр Генри, я люблю думать о тех временах, когда все было по-другому. Мы так и не видели настоящей жизни — и не увидим. Это продлится еще не одну тысячу лет, насколько я понимаю. Ты думаешь, я жадный? Думаешь, помешался на деньгах? Да, я мечтаю подзаработать, но только для того, чтобы бежать от этой мерзости. Я согласился бы жить с негритянкой, только бы избавиться от этой атмосферы. Я все время работал до изнеможения, но недалеко же я ушел! Я верю в труд не больше, чем ты — поскольку изведал эту долю. Вот если

239

бы обмануть этих ублюдков и выудить из них кругленькую сумму! Я совершил бы это с чистой совестью, да вот беда — я слишком хорошо разбираюсь в законах. Но я когда-нибудь их надую, вот увидишь. Но уж если я их накажу, то по-крупному...»

Доставленные блюда из морских даров пошли под еще один стакан ржаной водки, после чего он разговорился опять: «Не забыл о крутлосветном путешествии? Я это серьезно. Знаю, что ты скажешь: у меня, мол, жена, ребенок. Послушай, когда ты

развяжешься со своей шваброй? Ты не находишь, что пора пустить ее побоку?» Он начинает беззлобно хохотать. «Хо-хо-хо! Подумать только, а ведь это я просватал ее тебе! Разве я мог подумать, что ты окажешься таким болваном и прилепишься к ней? Я просто предложил тебе девочку, чтобы ты развлекся, а ты, дурень, женился на ней. Хо-хо! Слушай, Генри, ты неглупый парень, не позволяй этой кошке портить тебе жизнь, понял? Сделай что-нибудь, а то уезжай отсюда.^ Мне лично очень бы не хотелось, чтобы ты уехал из Нью-Йорка... Мне не хочется расставаться с тобой, говорю это от всего сердца, но, видит Бог, если тебе придется уехать даже в Африку, чтобы избавиться от ее тисков, не обращай на меня внимания. Она тебе не пара. Частенько, когда мне удается найти что-нибудь стоящее, я думаю: вот бы познакомить ее с Генри, да потом вылетает из головы. И все же. Господи Иссусе, сколько на свете хороших девчонок — тыщи! А ты, подумать только, связался с этой заразой!.. Хочешь *еще бекончику?* Ешь больше сегодня — понял? — а то завтра такого случая может не представиться. *Выпьем. еще, как пал?* Если ты сегодня оставишь меня одного, клянусь, впредь не получишь от меня ни цента... О чем я тут говорил? Ах да, об этой суке, твоей женушке. Послушай, ты решишься когда-нибудь, или нет? Каждый раз ты говоришь мне, что уйдешь от нее, но не уходишь. Уж не считаешь ли, будто поддерживаешь ее материально? Пойми, она в тебе совершенно не *нуждается.* Ей просто нравится мучить тебя. Что до ребенка... Я бы на твоем месте утопил его. Жутковато звучит, не правда ли, но ты понял, что я имею в виду. Ты — не отец. Ты — черт знает кто. Одно я знаю:

ты не ценишь себя, когда тратишь время на них. Тебе надо заняться собою. Ты замечательно выглядишь, ты молод, махни куда-нибудь, и начинай там новую жизнь. Деньги на первое время я тебе дам. Конечно, у тебя они все равно вылетят в трубу, но тем не менее я готов сделать это. Дело в том, Генри, что я обожаю тебя. Ты мне дал больше, чем

240

кто бы то ни было. Думаю, что у нас много общего, ведь мы воспитывались по соседству. Забавно, как мы не встретились тогда? Ну вот, я становлюсь сентиментальным...»

Так прошел тот день, мы много пили и ели, нас опаляло солнце, мы колесили в автомобиле, баловались сигарами, дремали на пляже, изучали проходивших мимо девушек, болтали, смеялись, бывало, что и пели — много дней, подобных этому, я провел с Макгрегором. И казалось, что колесо должно прекратить свое вращение. С виду все было замечательно и благополучно: время текло как вязкий сон. Но в глубине скрывалось нечто фатальное, предостерегающее, оставляющее наутро тревогу и боль. Я знал, что рано или поздно надо с этим кончать; знал, что время утекает меж пальцев. Но еще я знал, что ничего с этим не поделать — пока. Что-то должно произойти, что-то большое,. способное увлечь меня всецело. Мне нужен был только толчок, но такой толчок могла мне дать лишь сила извне привычного мне мира, в этом я был уверен. Не в моей натуре было изводить себя терзаниями. Мои жизненные силы сработают как надо — в конце концов. А перенапрягаться было не в моих правилах. Что-то надо оставить Провидению — и немало, если речь шла обо мне. Несмотря на разговоры о невезении и несчастной доле, я был убежден в том, что родился в рубашке. И с двумя макушками. Внешние обстоятельства были плохи, согласен — но больше меня заботило мое внутреннее состояние. Я боялся себя самого, своих желаний, своего любопытства, своей податливости, уступчивости, подверженности влияниям, мягкости, способности к адаптации. Сама по себе никакая ситуация не могла испугать меня: я воображал себе, что прочно уселся в чашечку цветка да потягиваю нектар. Даже если бы меня посадили за решетку, подозреваю, что и тогда я бы получил удовольствие. Полагаю, потому, что я умел не сопротивляться. Другие выматывали и истощали себя бесплодными усилиями: моя стратегия заключалась в том, чтобы плыть, повинуясь приливам и отливам. Я принимал близко к сердцу не то, как люди поступали со мной, а то, как они обходились друг с другом. Мое внутреннее состояние было настолько устойчиво, что я взваливал на свои плечи мировые проблемы. И от этого выходили одни неприятности. Мне казался тесным свой удел, так сказать. Я хотел испытать удел целого мира. Например, прихожу вечером домой, а в доме нет еды даже для ребенка. Я поворачиваюсь и иду искать еду. И замечаю за собой следующую вещь, весьма озадачивающую меня: как только я ока-

241

зываюсь на улице с целью раздобыть что-нибудь пожрать — снова окунаюсь в *Weltanschauung**. Я не думал о пище, предназначенной исключительно для нас, я думал о пище вообще, пище во всех ее ипостасях, повсюду в мире в этот час: как ее получают, как готовят, что делать, если ее нет, и как устроить, чтобы всякий имел ее при желании и не тратил впредь свое время на такой идиотски простой вопрос. Разумеется, мне было жаль жену и дочку, но точно так же мне было жаль готтентотов и австралийских бушменов, не говоря уж о голодных бельгийцах, турках и армянах. Мне было жаль весь род

человеческий, я жалел человека за его тупость и отсутствие воображения. Остаться без еды не так уж страшно — меня глубоко задевала отвратительная пустота улицы. Проклятые дома, один похож на другой — все одинаково пусты и безрадостны. Под ногами великолепная мостовая, на проезжей части асфальт, на крыльцо ведут замечательные отвратительно-элегантные коричневые ступеньки — а тем не менее можно ходить весь день и всю ночь напролет по этому дорогостоящему материалу в поисках корочки хлеба. Это сводило меня с ума. Это несоответствие. Вот если бы можно было позвонить в особый колокол и закричать: «Слушайте, люди. Я — голодный человек. Я могу почистить ботинки. Я могу убрать мусор. Я могу прочистить канализацию». Если бы можно было выйти на улицу и рассказать все вот так, без обиняков. Но нет, ты и рта не смеешь раскрыть. Скажи такое кому-нибудь на улице — напутаешь до смерти, от тебя так и рванут. Этого я никогда не понимал. И сейчас не понимаю. Ведь все так просто — надо только сказать «да», когда кто-то приходит к тебе. А если ты не можешь сказать «да», ты берешь этого человека за руку и просишь помочь ему кого-то другого. Зачем надевать униформу и убивать совершенно не знакомых тебе людей лишь для того, чтобы заработать корочку хлеба — это для меня загадка. И я размышляю об этом куда больше, чем о том, в чей рот отправится что-то и сколько это стоит. Какого дьявола я должен думать о том, сколько чего стоит? Я здесь для того чтобы жить, а не вычислять. А как раз этого — *жить!* — эти ублюдки не желают допустить. Они желают, чтобы вы проводили свои дни в подсчетах. Это, по их мнению, имеет смысл. Это разумно. Это приличествует. Если бы мне стать у руля — все стало бы, возможно, не столь упорядоченно, но, клянусь Богом, гораздо веселей! Не надо было бы дрожать из-за пустяков. Может быть, не было бы дорог с твердым покрытием и спортивных авто,

* Мировоззрение (нем.).

242

громкоговорителей и миллиарда разнообразных безделок, может быть, даже не было бы в окнах стекол, может быть, пришлось бы спать на голой земле, может быть, не было бы. ни французской, ни итальянской, ни китайской кухни, может быть, люди поубивали бы друг друга, когда бы кончилось у них терпение, и, может быть, никто бы не остановил их, поскольку не было бы ни тюрем, ни судей, ни полицейских, и уж наверняка бы не было кабинета министров и законодателей, ибо не было бы ни единого закона проклятого, чтобы принимать или не принимать его к исполнению, может быть, перемещение из одного места в другое занимало бы месяцы и годы, но не требовалось бы ни визы, ни паспорта, ни carte *d'identite,* ведь вас бы нигде не регистрировали, не снабжали номером, и вы бы могли, если бы захотели того, менять свое имя каждую неделю, поскольку это безразлично, потому что у вас не было бы никакой собственности, кроме той, что всегда с вами, а зачем иметь что-то еще, когда все было бы бесплатно?

В то время, перебиваясь с одного заработка на другой, слоняясь от двери к двери, от друга к другу, от обеда до обеда, я все же старался выгородить для себя малое пространство, которое стало бы мне пристанью — хотя оно скорее напоминало буй посреди быстрого потока жизни. Уже на расстоянии мили от меня слышался скорбный погребальный перезвон. Никто не мог видеть мою якорную стоянку — она была глубоко скрыта на дне потока. Иногда я показывался на поверхности, мягко покачиваясь или взволнованно мельтеша. Меня прочно удерживал на глубине большой стол с отделениями, который я установил в гостиной. Этот стол последние пятьдесят лет стоял в швейном заведении родителя, и он был свидетелем денежных расчетов и тяжких стонов, а в многочисленных своих секциях он хранил необыкновенные памятки. В конце концов я утащил его из швейной мастерской, когда отец, захворав, отошел от дел. Теперь он стоит посреди нашей унылой гостиной, на третьем этаже дома из коричневого кирпича в самом центре наиболее респектабельной части Бруклина. Чтобы поставить его здесь, мне пришлось побороться, но я добился своего, и теперь он здесь, в самом центре нашей трущобы. Как будто мастодонт в кабинете дантиста. Поскольку у моей жены не было друзей, а мои приятели не обратили бы внимания, даже если бы этот стол висел на люстре, я поставил его в гостиной и окружил стульями, и сидел, удобно расположив на нем ноги, обдумывая, что бы такое написать. У стола я поместил большую медную плевательницу, перенесенную из того же швейного заведения. Когда мой взгляд падал на нее, я с удовольствием исполь-

243

зовал ее по назначению. Все отделения в столе были пусты, и на крышке ничего не было, кроме чистого листа бумаги, на котором мне удавалось начертать лишь какие-нибудь каракули.

Когда я вспоминаю о титанических усилиях, приложенных мною для того, чтобы дать выход горячей лаве, бурлившей во мне, усилиях, предпринятых тысячекратно, чтобы приладить в нужном месте отвод и найти хоть одно точное слово, хоть одну фразу, я

неизбежно обращаюсь в мыслях к человеку каменного века. Понадобилось сто, двести, триста тысяч лет, прежде чем возникла идея палеолита. Она возникла без всяких усилий, родилась в течение секунды, можно сказать, по волшебству, хотя все, что случается, — волшебно. Что-то случается, а что-то не случается, вот и все. Ничто не добывается в поте и борьбе. Почти все, что мы зовем жизнью, представляет собою только бессонницу, мэку, возникшую от того, что мы утратили привычку впадать в сон. Мы не знаем, как все пустить на самотек. Мы будто попрыгунчик, выскочивший из коробочки и раскачивающийся на конце пружинки. Чем сильней мы барахтаемся, тем трудней вернуться обратно.

Будь я безумен, и то, думаю, не сумел бы прийти к лучшей идее. придать вес и тяжесть моей якорной стоянке, чем установить сей неандертальский предмет посреди гостиной. Водрузив ноги на столешницу, ощущая течение, уютно пристроив позвоночник на мягкой кожаной подушке, я занял идеальное положение относительно тех обломков кораблекрушения, что кружились рядом со мной и которые мои друзья, поскольку они были безумны и принадлежали потоку, старались выдать за настоящую жизнь. Я хорошо помню первый контакт с действительностью, случившийся, так сказать, через ноги. Миллионы слов, уже написанных мною и, уверяю вас, прекрасно выстроенных, замечательно связанных, — были ничто для меня — сырая цифирь древнего каменного века — ибо контакт был через голову, а голова является бесполезным придатком, ежели ты не стал на якорную стоянку на илистом дне канала. Все, написанное мною прежде, было музейной дребеденью, равно как и большинство из написанного — это музейная дребедень. Потому-то в словах нет огня, они не воспламеняют мир. Я был только рупором всего унаследованного от предыдущих поколений. Даже мои мечты не были подлинными, они не были мечтами настоящего Генри Миллера. Сидеть спокойно и обдумывать одну мысль, возникшую во мне, возникшую в моем жизненном буе — это по плечу лишь Геркулесу. Я не испытывал недостатка ни в словах, ни в способности выразиться в словах, мне не хва-

244

тало, пожалуй, самого главного: рубильника, способного перекрыть ток. Проклятая машина не желала останавливаться, вот в чем была загвоздка. Я не просто обмывался течением — ток пронизывал меня насквозь, и я ничего не мог с этим поделать.

Помню тот день, когда я наконец-то заглушил машину и медленно пустил новый механизм, подписанный моими инициалами, сотворенный собственными руками, согретый собственной кровью. Я отправился в театр на водевиль. На дневное представление, купив билет на балкон. Уже в вестибюле я испытал непривычное ощущение собственной густоты. Словно я свернулся, превратившись в плотное желе. Это напоминало последнюю стадию заживления раны. Я был в наиполнейшей норме, а это весьма ненормальное состояние. Появись холера, дыхни она своим зловонием прямо мне в рот — а я ноль внимания. Я мог приложиться к руке прокаженного и расцеловать его язвы, не причинив себе никакого вреда. И это был не просто баланс в извечной борьбе здоровья с болезнью, о котором мечтает большинство из нас, — нет, это было положительным целым в крови, что означало, по крайней мере, в тот момент, полную победу над болезнью. Если бы в тот момент хватило ума пустить корни, можно было бы в будущем забыть, что такое болезнь, несчастье и смерть. Однако ухватиться за такое — это все равно что прыгнуть назад, в каменный век. В тот момент я и не помышлял о том, чтобы пустить корни; мне впервые в жизни довелось испытать ощущение чуда, проникнуть в смысл сверхъестественного. За это я с готовностью отдал бы саму жизнь.

А случилось вот что... Когда я миновал капельдинера, сжимая в руке надорванный билет, огни уже потушили и подняли занавес. Некоторое время я стоял, ослепленный неожиданной темнотой. Пока занавес медленно поднимался, я подумал о том, что во все века человек таинственным образом затихает под влиянием этой краткой прелюдии к спектаклю. Я словно бы почувствовал, как занавес поднимается *в человеке.* И тут же понял, что это был символ, бесконечно повторяемый для него во сне, и что если бы он проснулся, то актеры покинули бы сцену, а он, Человек, поднялся бы на подмостки. Я не размышлял над этим — это было как озарение, настолько простое и поразительно ясное, что машина в тот же миг намертво стала, и я очутился в купели сияющей реальности. Я отвернулся от сцены, уставившись на мраморную лестницу, по которой мне надлежало подняться к своему креслу на балконе. Я увидел человека, медленно поднимавшегося по ступенькам, и его руку на балюстраде. Тот человек, быть может, был я сам,

245

мое прежнее существо, бродившее словно во сне с самого рождения. Мои глаза охватывали не всю лестницу, а только несколько ступенек, по которым поднимался человек именно в эту минуту. Он никак не мог добраться до вершины, а его рука так и не отпускала мраморную балюстраду. Я почувствовал, что занавес опускается, и еще несколько минут был за кулисами, прохаживался среди декораций, словно бутафор, вдруг

стряхнувший сон и не понимающий, проснулся он или все еще спит и видит сон, разыгранный на сцене. Это было так свежо и ново, так необычно и непривычно, будто хлебные и сырные страны, которые каждый день своей долгой жизни видели соединенные в тазовой области девицы Бидденден. Я видел только то, что было живо! Остальное пропадало в полутьме. Чтобы сохранить мир живым, я устремился из театра домой, не дождавшись конца представления, и сел описывать маленький фрагмент лестницы — неизгладимый.

Как раз о ту пору вовсю творили дадаисты, на смену которым вскоре пришли сюрреалисты*. О тех и о других я услыхал только лет через десять, а тогда французских книг не читал и о французских идеях ничего не знал. Возможно, я был единственным дадаистом в Америке, но, конечно, не подозревал об этом. Контактов с внешним миром я имел не больше, чем обитатель джунглей Амазонии. Никто не понимал, о чем я пишу и почему пишу именно таким образом. Я был так прозрачен и ярок, что обо мне говорили как о сумасшедшем. Я описывал Новый Свет, но, к сожалению, немного преждевременно, ибо он пока не бь1л открыт и никого не удавалось убедить, что он существует. То был овариальный мир, сокрытый в фаллопиевых трубах. Естественно, ничто не называлось своим именем: было лишь слабое предощущение тайной сути, некоего хребта, но уж конечно не было ни рук, ни ног, ни волос, ни ногтей, ни зубов. О сексе думали в последнюю очередь — то был мир Кроноса и его предобразованного потомства. То был мир йоты, причем каждая йота необходима, устрашающе логична и совершенно непредсказуема. Такой вещи, как *вещь,* не существовало, поскольку само понятие «вещь» было утрачено.

Я сказал, что описывал Новый Свет, но, подобно Новому Свету, открытому Колумбом, мой на поверку оказался намного древнее, нежели можно было предположить. Я видел под поверхностным обличием из кожи и костей неразрушимый мир, который человек носит всегда с собой;

он ни стар, ни нов, но вечно неподделен, хотя время от времени претерпевает изменения. Все, на что падал мой

246

взгляд, было палимпсестом, причем не находилось ни одного слоя, который я не мог бы разобрать. Когда мои приятели оставляли меня вечером одного, я садился за письма к моим друзьям: австралийским бушменам; людям нового каменного века, построившим холмы в долине Миссисипи; игоротам, обитающим на Филиппинах. Разумеется, я был вынужден писать на английском, поскольку то был единственный язык, которым я владел, однако между моим языком и телеграфным кодом, употребляемым моими ближайшими друзьями, лежала целая бездна. Меня понял бы даже первобытный человек, меня понял бы человек любой древней эпохи; только те, кто, так сказать, окружал меня, континент тысячи миллионов людей — терпели фиаско, пытаясь понять мой язык. Для того, чтобы писать понятно для них, мне надо было бы прежде всего убить что-то в себе и, во-вторых, остановить время. А я только что сделал открытие, что жизнь неразрушима и что не существует такой вещи, как время, — только настоящее. Неужели они ждали, что я откажусь от истины, взгляд которой пытался поймать всю жизнь? Видимо, ждали. О том, что жизнь неразрушима, они и слышать не хотели. А разве их новый драгоценный мир не был воздвигнут на попрании невинных, насилии, грабеже, пытках и опустошении? Насилию подвергались оба континента; оба континента были ограблены и лишены всего, что ценно — самых нужных вещей. Мне кажется, что никто не испытал большего унижения, чем Монтесума; никого, кроме американских индейцев, не стирали так безжалостно с лица земли; ни одна земля не подвергалась большему насилию, чем Калифорния, изуродованная искателями золота. Кровь приливает к моим щекам, как подумаю о наших предках — наши руки по локоть в крови и преступлениях. И нет конца бойне и мародерству — вот что я открыл для себя, путешествуя по всей нашей стране. Каждый человек вплоть до ближайшего друга — потенциальный убийца. Притом совсем не обязательно применять ружье, лассо или раскаленное железо — есть куда более изощренные, дьявольские способы мучить и убивать себе подобных. Для меня самым мучительным было то, что слово пропадало прежде, чем оно покидало уста. Я был научен горьким опытом .держать язык за зубами, сидеть тихо и даже улыбаться, когда на самом деле слова клокотали у меня в горле. Я научился пожимать руки и произносить слова приветствия всем этим невинным с виду извергам, что только и ждали, когда я сяду, чтобы высосать из меня кровь.

И разве можно было, устроившись в гостиной за моим доисторическим столом, употреблять этот кодовый язык

247

насилия и убийства? Я был один на этом полушарии жестокости, но не был один, если вести речь обо всем человечестве. Я был одинок в мире вещей, освещенном фосфоресцирующими всполохами злобы. Я был полон энергии, которую не имел права

употребить ни на что, кроме служения смерти и тщетности. Я не мог заявить о себе в полный голос — это привело бы меня на электрический стул или к смирительной рубашке. Я был словно человек, проведший долгие годы в темнице: мне приходилось осторожно и медленно нащупывать свой путь, чтобы не споткнуться. Мне пришлось постепенно привыкать к издержкам свободы. Мне пришлось нарастить новый слой кожи, который хранил бы меня от жгучего света небес.

Овариальный мир — это продукт жизненного ритма. В минуту рождения ребенок становится частью мира, в котором присутствует не только ритм жизни, но и ритм смерти; неистовое желание жить, выжить любой ценой — это не только результат жизненных ритмов, присущих нам, но и ритмов смерти. Однако выжить любой ценой — не просто необязательная посылка, а, если жизнь не желанна, то и ложная посылка. Остаться в живых исходя из слепой потребности победить смерть — само по себе является средством посеять смерть. Каждый, кто не принял жизнь всецело, кто не способствует возрастанию жизни, помогает наполнить мир смертью. Самый незначительный жест способен выразить высший смысл жизни; слово, произнесенное всем существом, может дать жизнь. Активность сама по себе не значит ничего: часто она является знаком смерти. Обыкновенным давлением извне, силой окружения и примера, самим настроением, порождающим активность, каждый может быть превращен в часть чудовищной машины смерти, такой как, например, Америка. Что знает о жизни, мире и действительности динамомашина? А что любое индивидуальное американское динамо знает о мудрости и энергии, об изобильной и вечной жизни, заключенной в оборванном нищем, что сидит под деревом и думает о своем? Что такое *энергия*? Что такое *жизнь*? Достаточно прочитать тупую чепуху научных и философских трактатов, чтобы понять, как мало, если вообще что-то, значит мудрость сих энергичных американцев. Знаете, они повергали меня в отчаяние, эти безумные лошадиной силы изверги; дабы нарушить их сумасшедший ритм, ритм смерти, я был вынужден применить такую длину волны, которая по крайней мере нейтрализовала ритм, установленный ими, пока я не нашел подходящего средства в самом себе, Конечно, мне не нужен был этот гротесковый, громоздкий, старомодный стол, который я поставил в гостиной; конеч-

248

но, я не нуждался в дюжине пустых стульев, размещенных полукругом у стола; мне нужно было только свободное пространство, чтобы писать, и тринадцатый стул, который извлек бы меня из зодиака, используемого ими, и поместил бы меня в небесах вне их небес. Но когда человека довели почти до помешательства и когда он к своему удивлению находит в себе силы сопротивляться — мы склонны думать, что такой человек поступает во многом как примитивное существо. Такой человек способен стать не только упрямым и несгибаемым, но и суеверным, исповедником и приверженцем магии. Такой человек стоит вне религии — ведь он страдает как раз из-за своей религиозности. Такой человек становится мономаньяком, сосредоточившимся лишь на одной вещи, способной разрушить злые чары, напущенные на него. Такой человек не знает, что такое сбросить бомбу, не знает, что такое бунт; он хочет остановить противодействие, будь то противодействие инерционное или преднамеренное. Этот человек, один из всех людей на земле, хочет, чтобы действие стало проявлением жизни. И если в процессе осуществления своей вопиющей потребности он начнет действовать вопреки прогрессу, станет асоциальной, запинающейся и заикающейся личностью, если он проявит такую неприспособленность, что не сумеет заработать себе на жизнь — знайте, что этот человек нашел свою дорогу назад, к утробе, к источнику жизни и что завтра он перестанет быть презренным объектом насмешек, а будет человеком во всех своих правах, и никакие силы мира ничего с ним не поделают.

Из сырой цифири, на которой он общается с древними людьми этого мира, сидя за доисторическим столом, возникает новый язык, который пробивается сквозь мертвый сегодняшний язык, будто радиоволны сквозь ураган. В этой длине волны магии не больше, чем волшебства в утробе. Люди одиноки и лишены общения друг с другом, потому что все их измышления говорят только о смерти. Смерть — это автомат, управляющий миром действий. Смерть молчалива, поскольку не имеет уст. Смерть никогда ничего не *выражала.* Смерть тоже прекрасна — после жизни. Только тот, кто подобно мне открыл рот и произнес, только тот, кто сказал: «Да, да, да» и вновь «Да!» может распахнуть свои объятия смерти и не знать страха. Смерть как награда, да! Смерть как результат свершения, да! Смерть как венец и защита, да! Но не смерть от века,

изолирующая людей, заставляющая их чувствовать горечь, страх и одиночество, придающая им бесполезную энергию, наполняющая их волей, которая может кричать только одно: «Нет!» Первое слово, которое человек питает, познав самого себя,

249

свой ритм, который есть ритм жизни — это слово «Да!» Все, что он пишет после — это «Да, да, да» — «Да», повторенное тысячу миллионов раз. И нет такого динамо, неважно, каких размеров — пусть хоть динамо сотни миллионов мертвых душ — которое способно противостоять одному человеку, говорящему «Да!»

Была война, и люди попали в мясорубку: миллион, два миллиона, пять миллионов, десять миллионов, двадцать миллионов, наконец, сто миллионов, потом миллиард, все — мужчины, женщины, дети — полегли до последнего. *«Нет! —* кричали они, — нет, они не *пройдут!»* И все же каждый проходил; каждый проходил свободно, и неважно, что он кричал: «да» или «нет». И в самый разгар этого триумфального проявления осмоса, разрушающего духовное, я сидел, водрузив ноги на большую столешницу, пытаясь снестись с Зевсом, отцом Атланта, и с его потерянным потомством, не ведая, что Аполлинер умер за день до перемирия в военном госпитале, не ведая, что в своих «новых сочинениях» он написал эти незабываемые строки:

Снисходительны *будьте, когда захотите сравнить**
Нас, стремящихся всюду найти неизвестность,
С теми, кто был идеалом порядка.
Мы не ваши враги, нет!
Мы хотим исследовать край необъятный и полный загадок,
Где цветущая тайна откроется тем, кто захочет ею владеть.

Не ведая, что в этом же стихотворении он написал еще:

Снисхождение к нам! Мы ведем постоянно сраженье
На границах грядущего и беспредельного. О, снисхожденье
*К нашим слабостям, нашим ошибкам, грехам!**

Я не ведал того, что о ту пору жили люди со странными именами: Блез Сандрар, Жак Ваше, Луи Арагон, Тристан Тцара, Рене Кревель, Анри де Монтерлан, Андре Бретон, Макс Эрнст, Георг Гросс*; не ведал того, что 14 июля 1916 года на Сааль Вааге, в Цюрихе, был провозглашен первый манифест дадаистов — «манифест господина Антипирина»* — и что в этом необычном документе было написано: «Дада — это жизнь без домашних тапочек и параллелей... суровая необходимость без дисциплины и морали, и мы плюем на человечество». Не ведал того, что Манифест Дада 1918 года* содержал такие строки: «Я пишу манифест, и я ничего не хочу, тем не менее я говорю об определенных

* Перевод М. П. Кудинова.

250

вещах, я против манифестов в принципе, так же, как и против принципов... Я пишу этот манифест, чтобы показать, как можно совместить противоположные действия в едином свежем дыхании; я против действия; я за непрерывное противоречие, и еще за подтверждение, я ни за, ни против, я ничего не разъясняю, потому что ненавижу здравый смысл... Существует литература, которая не доходит до ненасытной массы. Работа творца возникает из-за действительной потребности автора и предназначена для него самого. Сознание высшего эготизма, где меркнут звезды... Каждая страница должна разражаться глубокой серьезностью и весомостью, смерчем, головокружением, новизной, вечным, захватывающей мистификацией, восторгом по отношению к принципам или же искусством полиграфии. По одну сторону — хромоногий убегающий мир, обрученный с колоколами инфернальных гамм, по другую сторону — *новые существа*...»

Тридцатью двумя годами позже я все еще говорю: Да! Да, господин Антипирин! Да, господин Тристан Тцара! Да, господин Макс Эрнст Гебурт! Да! Господин Рене Кревель, ныне вы мертвы, покончив жизнь самоубийством, да, мир сошел с ума, вы были правы. Да, господин Блез Сандрар, вы были правы, убийственно правы. Не в день ли перемирия вы выпустили вашу небольшую книжку — *J'ai tue**? Да, «человечество, храни моих друзей...» Да, Жак Ваше, совершенно верно — «Искусство должно быть в чем-то смешным и немного скучным». Да, мой дорогой покойный Ваше, как вы были правы, и как забавно, и как скучно, и как трогательно, и как нежно и правдиво: «Символам присуще быть символичными». Повторите это из иного мира! Есть у вас там мегафон? Нашли ли вы все те руки и ноги, что были оторваны на поле боя? Сумели ли вы приставить их на прежнее место? Помните ли вы встречу с Андре Бретоном в Нанте в 1916 году? Празднуете ли вы вместе день рождения истерии? Говорил ли он вам, Бретон, что существует только чудесное и ничего, кроме чудесного, и что чудесное всегда является чудом, а разве не чудо — слышать это вновь, несмотря на то, что ваши уши уже не могут слышать? Мне хочется, прежде чем двигаться дальше, привести здесь ваш

скромный портрет работы Эмиля Бувье — специально для моих бруклинских друзей, которые не признали меня тогда, но, может быть, узнают сейчас:

«...он был не совсем сумасшедшим и при случае мог объяснить свое поведение. Тем не менее, его действия бы-

* Я убил (франц.).

251

ли столь же несообразными, что и самые эксцентричные выходки Жарри*. Например, сразу же по выходе из госпиталя он нанялся портовым грузчиком и проводил свои дни, разгружая угольные баржи на Луаре. С другой стороны, по вечерам он посещал кинематограф и кафе, разодетый по последней моде. Гардероб его был весьма разнообразен. Мало того, во время войны он иногда появлялся то в форме лейтенанта гусар, то в форме английского офицера, то в костюме авиатора или военврача. В гражданской жизни он, нимало не думая о том, что Бретон представляется Андре Сальмоном*, свободно, спокойно и легко, без всякого тщеславия приписал себе великолепные титулы и подвиги. Он никогда не говорил «доброе утро», «добрый вечер» или «до свидания», не обращал внимания на письма, кроме писем от матери, если приходилось просить у нее деньги. День ото дня он переставал узнавать своих лучших друзей...»

Ребята, узнаете меня? Это же бруклинский парень, общающийся с красноволосыми альбиносами региона Зуни*. Готовящийся написать, водрузив ноги на стол, «сильные вещи, работы, непостижимые вовеки», как обещали мои покойные товарищи. Эти «сильные вещи» — узнали бы вы их, если бы увидели? Вам известно, что из миллионов смертей ни одна не была необходимой, чтобы написать «сильные вещи»? *Новые существа,* да! Мы до сих пор нуждаемся в новых существах. Мы можем обойтись без телефона, без автомобиля, без высококлассных бомбардировщиков — но нам не обойтись без новых существ. Если Атлантида ушла в море, если Сфинкс и пирамиды остаются вечной загадкой, то это потому, что не рождаются новые существа. Стоп-машина! Полный назад! Назад, в 1914 год, к кайзеру, восседающему на коне. Задержите его на минуту сидящим в седле и сжимающим высохшей рукой поводья. Взгляните на его усы! Какое превосходство в его гордости и высокомерии! Взгляните, в каком строгом порядке выстроилось перед ним пушечное мясо, готовое подчиниться первому слову, пасть, распустить кишки, сгореть в негашеной извести. Задержитесь на минутку и взгляните в другую сторону: защитники нашей великой и славной цивилизации, люди, которые хотят воевать, чтобы покончить с войной. Поменяйте у них одежду, поменяйте форму, поменяйте лошадей, поменяйте флаги, поменяйте территорию. Боже, да не кайзер ли это на белом коне? А это кто — ужасные немцы? А это Большая Берта?- Да, вижу — она, вероятно, нацелена на Нотр-Дам? Да, ребята, человечество всегда шагает впереди... А что сильные вещи, о которых мы вели речь? Где эти сильные вещи? Вызовите

252

Западный Союз да пошлите быстрого на ноги курьера, не калеку или старца восьмидесяти лет, а молодого! Попросите его найти и доставить самую сильную вещь. Она нам так нужна. У нас уж готов с иголочки музей, чтобы поместить эту вещь в целлофан, и десятичная система Дьюи*, чтобы ее зарегистрировать. Нам надо только имя автора. Даже если у него нет имени, даже если это анонимная работа, мы не будем против. Даже если она содержит малую толику иприта, мы не станем возражать. Доставь ее живой или мертвый — тому, кто ее принесет, награда в двадцать пять тысяч долларов.

Если вам скажут, что все так и должно было быть, что случиться иначе и не могло, что Франция сделала все, что было в ее силах, Германия сделала все, что было в ее силах, и маленькая Либерия и маленький Эквадор и все остальные союзники тоже сделали все, что могли, и что после войны каждый делал все, что мог, чтобы залечить раны и забыть — скажите в ответ, что сделать все возможное еще не достаточно, что впредь мы слышать не хотим об этой логике — «сделали все, что могли» — скажите, что мы не хотим извлекать выгоду в дурной сделке, что мы не верим ни в какие сделки, как не верим и в воинские мемориалы. Мы слышать не хотим о такой логике событий и ни о какой логике. *«Je ne parle pas logique,* — сказал Монтерлан*, — *je parle gunurositu».* Не уверен, что вы хорошо поняли, поскольку это по-французски. Я повторю специально для вас на языке английской королевы: «Я не говорю логикой, я говорю великодушием». Это плохой английский, как сказала бы королева, зато ясный. Великодушие — вы слышали? Никто из вас, ни в войну, ни в мирное время не проявлял его. Вы даже не знаете этого слова. Вы полагаете, что снабжать побеждающую сторону ружьями и патронами великодушно; вы полагаете, что посылать Красный Крест и Армию Спасения на фронт — это великодушно. Вы полагаете, что скудная пенсия и кресло-каталка инвалиду — это великодушие; вы полагаете, что вернуть человека на его прежнее место работы — это и есть великодушие. Тогда вы не знаете, что значит это слово, ублюдки! Быть великодушным — это значит сказать «Да!» прежде, чем человек откроет рот. Чтобы

сказать «Да» — надо сначала стать сюрреалистом или идеалистом, поскольку вы уже поняли, что значит сказать «Нет». Вы можете даже говорить «Да» или «Нет» в одно и то же время, если хотите сделать больше, чем от вас ждут. Быть грузчиком днем и денди Бруммелем* по вечерам. Носить любую форму постольку, поскольку она не ваша. В письмах к матери просить о вспомоществовании, чтобы иметь чистую тряпицу подтереть

253

зад. Не волнуйтесь, когда увидите соседа, бегущего с ножом за женой: может быть, у него есть на то причина, а если он убьет ее — будьте уверены в том, что он знает, за что. Если вы стремитесь развить свой ум, бросьте! Ум не разовьешь. Обратите внимание на свое сердце — мозг находится там.

Ах да, если бы я знал, что живут такие люди — Сандрар, Ваше, Гросс, Эрнст, Аполлинер — если бы я знал это тогда, если бы я знал, что они по-своему думали о тех же вещах, что и я, я бы лопнул. Да, думаю, я бы взорвался как бомба. Но я не ведал. Не ведал, что почти за полсотни лет до того безумный еврей в Южной Америке дал жизнь таким потрясающе волшебным фразам*, как: «голубка сомненья с вермутом на губах» или «я видел, как винная ягода съела онагра», не ведал, что приблизительно в это же время француз, тогда еще мальчик*, произнес: «Ищи цветы, похожие на стулья»... «мой голод— это частицы черного воздуха»... «его сердце, янтарное и пылкое». Может быть, в это же время или около того, когда Жарри писал: «в жевании звук мотыльков» и Аполлинер повторял за ним: «рядом с господином, проглатывающим себя», а. Бретон слабо бормотал: «педали ночи крутятся без остановки», может быть, в «воздухе прекрасном и черном», который одинокий еврей нашел под созвездием Южного Креста, другой человек, тоже одинокий и гонимый, человек испанского происхождения готовился написать на бумаге эти памятные слова: «Я ищу, все во всем, во утешение за свое изгнание, изгнание из вечности, ибо о своем изгнании с земли я говорю как об изгнании с небес... Теперь, я полагаю, что лучшим способом написать этот роман будет рассказ о том, как его следует писать. Это роман о романе, произведение о произведении. Или Бог Бога, *Deus de Deo».* Если бы я знал, что он собирается прибавить то, что следует за этим, я бы наверняка взорвался бы как бомба...» Под сумасшествием разумеют потерю рассудка. Рассудка, но не истины, ибо есть безумцы, вещающие истину, тогда как остальные хранят молчание...» Ведя речь об этих вещах, ведя речь о войне и о погибших на войне, я не могу удержаться от упоминания о том, что двадцать лет спустя я прочитал у француза и на французском. Чудо из чудес! *«Il faut Ie dire, il y a des cadavres que je ne respecte qbQ moitie»*.* Да, да и еще раз да! О, давайте совершать необдуманные поступки — ради одного только удовольствия! Давайте совершать нечто жизненное и прекрасное, даже

* Надо сказать, что существует трупы, которые я уважаю лишь наполовину (франц.).

254

если это пагубно! Сказал же безумный каменщик: «Все порождается великой тайной и проходит ступень за ступенью. Какие бы новые качества ни приобретались, мы не испытываем к ним отвращения».

Повсюду во все времена все тот же овариальный мир заявляет о себе. И в параллель с этими заявлениями, пророчествами, гинекологическими манифестами, в параллель и одновременно с ними — новые тотемы, новые табу и новые пляски войны. В то время как братья человека, поэты, золотоискатели будущего выплевывают в черный и прекрасный воздух свои магические строки — о, глубокая непостижимая загадка! — в это же время другие люди говорят: «Не желаете ли получить работу на нашем заводе боеприпасов? Обещаем вам высокие заработки и наилучшие санитарно-гигиенические условия. Работа так проста, что под силу даже ребенку!» А ежели у вас есть сестра, мать, жена, тетка, способная двигать пальцами и не имеющая дурных наклонностей — милости просим и ее на оборонный завод. А если вы боитесь замарать руки — вам очень тактично и понятно разъяснят, как устроены эти деликатные механизмы, как поступать, когда они взрываются и почему вы не имеете права сами облегчаться в случае необходимости, поскольку ... *et ipso facto e pluribus unum.* Во время скитаний в поисках работы я поражался не сколько тому, что меня заставляли ежедневно блевать (ежели удавалось набить чем-нибудь брюхо), сколько непременными расспросами: хороши ли мои наклонности, устойчив ли я морально, трезв ли, трудолюбив ли, где работал прежде, а если не работал, то почему? Даже мусор, который я подрядился убирать по линии муниципалитета, был в цене у них, кровопийцев. Стоя по колено в отбросах, последний из униженных, кули, пария, я оставался частью фабрики смерти. Я пытался читать *«Ад»* по ночам, но английский перевод не соответствовал католическому духу этого произведения. «Того хотят там, где исполнить властны* то, что хотят...»* Хотят ... Хотение, *lubet.* Вот если бы знать тогда это волшебное слово, как смиренно я занимался

бы уборкой мусора! Как сладостно ночью, когда Данте недосягаем, а руки пропахли отбросами и гнилью, прибегнуть к этому слову, которое в голландском означает «похоть», а на латыни «либитум», то есть *божественное благоусмотрение.* Стоя по колено в мусоре я сказал однажды то, что по преданию Мейстер Экхарт* произнес давным-давно: «Воистину, я нуждаюсь в Боге, но и Бог нуждается во мне». Подвернулась работенка, ожидавшая

* Перевод М. Л. Лозинского.

255

меня на бойне — сортировать кишки — но у меня не набралось денег на билет до Чикаго. Я остался в Бруклине, в чертогах собственных кишок, кружась по изгибам лабиринта. Я остался дома искать «зародышевый пузырек», «дракона замок, что на дне морском», «возвышенную душу», «поле в квадратный дюйм», «дом в квадратный фут», «темное прошлое», «пространство прежних небес». Я оставался взаперти, узник Форкула, бога дверей, Карды, бога дверных петель, и Лиментия, бога порогов. Я разговаривал только с их сестрами, тремя богинями по имени Боязнь, Бледность и Лихорадка. Я не видел «азиатской роскоши», которую видел или вообразил, будто видел, блаженный Августин. И не видел я «рождение близнецов, появившихся на свет друг за другом, так что второй держал первого за пятку». Но зато я видел улицу, названную Миртл-авеню, что сбегает от Боро-холл к Фреш-Понд-роуд. По этой улице никогда не ступал ни один святой (в противном случае он бы рассыпался в прах), на этой улице не произошло ни одного чуда, по ней не ходил ни один поэт, ни один гений, на ней не выросло ни одного цветка, ее не осветил ни единый луч солнца, ее не Омывал дождь. Я двадцать лет откладывал это на будущее, а теперь предлагаю вам в качестве подлинного Ада Миртл-авеню, одну из неисчислимых горных троп, бороздимых железными чудищами. Эти тропы ведут к самому сердцу американской опустошенности. Если вы видели только Эссен или Манчестер, Чикаго или Леваллуа-Перре, Глазго или Хобокен, Канарси или Бейонн — вы ничего не увидели из той великолепной пустоты прогресса и просвещения. Дорогой читатель, тебе надобно в этой жизни посмотреть на Миртл-авеню, дабы прочувствовать, как далеко вперед заглянул Данте. Ты должен мне поверить — на этой улице ни в домах, выстроившихся вдоль нее, ни в булыжниках мостовой, ни в эстакаде надземки, разрезавшей ее надвое, ни в созданиях, которые носят имена и .живут там, ни в каком животном, птице или насекомом, проходящем по ней на бойню или уже забитом, нет надежды на «хотение», «очищение» или «отвращение». Это не улица скорби, ибо скорбь должна быть гуманна и узнаваема — это улица сущей пустоты: она более пуста, чем навеки потухший вулкан, белее пуста, чём вакуум, более пуста, чем слово Божие на устах у неверующего.

Я уже говорил о том, что в то время не знал ни слова по-французски, но уже тогда был на грани великого открытия, открытия, которое вознаградило меня за пустоту Миртл-авеню и всего американского континента. Я почти что достиг побережья того великого французского океана, что носил имя Эли Фора, океана, по которому сами фран-

256

цузы вряд ли плавали и который они ошибочно принимали за внутреннее море. Читая его даже в выхолощенном английском переводе, я сумел понять, что этот человек, описавший славу рода человеческого, и был тем Зевсом, отцом Атланта, которого я искал. Я назвал его океаном, но он был еще и всемирной симфонией. Он стал первым музыкантом, который дала Франция. Его возвеличивали и сдерживали, он был аномалией, галльским Бетховеном, великим врачевателем души, гигантским громоотводом. Еще он был подсолнухом, всегда повернутым к солнцу, впитывающим свет, сияющим, излучающим жизненную силу. Он не был ни оптимистом, ни пессимистом — ведь и про океан нельзя сказать, что он благодетельный или недружелюбный. Он верил в человечество. Он придал роду человеческому стержень, вернув ему достоинство, силу, потребность творить. На все он смотрел как на творчество, как на солнечную радость. Эли Фор не записывал свое творчество обычным способом, он записывал музыкально. И какая разница, что у французов тугое ухо — ведь он оркестровал сразу для всего мира. Когда спустя несколько лет я приехал во Францию, меня очень удивило то, что там не было памятника в честь Эли Фора, и ни одна улица не была названа его именем. Он должен был умереть для того, чтобы оказаться в пантеоне французских божеств — и как, должно быть, они бледно выглядели, его обожествленные современники, в присутствии этого лучистого солнца! Не будь он врачом, что позволяло ему зарабатывать на жизнь, с ним могло бы такое случиться! Был бы еще один поводырь тележки с отбросами! Человек, ожививший египетские фрески во всем их многоцветьи, мог умереть с голоду при полном равнодушии публики. Однако он был океаном, в котором утонули его критики, редакторы, издатели и публика. Чтобы осушить этот океан, чтобы испарить его — потребуются эры. Почти столько же потребуется, чтобы французы приобрели музыкальный слух.

Если бы на свете не было музыки, я угодил бы в сумасшедший дом, как Нижинский. (Как раз тогда обнаружили, что Нижинский безумен. Он раздал все свои деньги бедным — а это всегда считалось дурным признаком!) Мой разум хранил удивительные сокровища, мой вкус был остер и требователен, мои мышцы были в превосходной форме, аппетит хоть куда, дыхание здоровое. Мне нечего было улучшать в себе, и все же каждый день я до одури стремился к совершенству. Даже когда для меня находилась работенка, я не мог принять ее, поскольку мне нужна была не работа, а более полная и богатая жизнь. Я не мог тратить время на труд учителя, адвоката, врача, политика или

257

кого-нибудь еще, необходимого обществу. Проще было согласиться на черную работу, поскольку она не занимала ум. После того, как меня уволили из уборщиков мусора, я поступил к миссионеру, проявившему ко мне большое доверие. Я был у него вроде как швейцар, кассир и личный секретарь в одном лице. Он обратил мое внимание на целый мир индийской философии. Свободными вечерами я встречался с друзьями в доме Эда Бори, который жил в аристократической части Бруклина. Эд Бори был пианистом-эксцентриком, не знавшим нотной грамоты. У него был закадычный друг, Джордж Ньюмиллер. Они часто играли дуэтом. Нас собиралось у Эда Бори человек двенадцать, и все умели играть на пианино. В то время нам бьтло от двадцати одного до двадцати пяти; с нами не было женщин. Во время этих вечеринок мы едва ли касались женской темы. В нашем распоряжении имелось вдоволь пива и весь обширный дом, ибо мы собирались в летнее время, когда родня Эда находилась в отъезде. Я вспомнил о жилище Эда Бори, хотя мог бы рассказать еще по меньшей мере о дюжине подобных домов, потому, что дом Бори представлял собой нечто, с чем мне не довелось больше встретиться нигде в мире. Ни сам Бори, ни кто-либо из его друзей не догадывались, какие книги я читал и что за мысли владели мной. Когда я появлялся на пороге, меня приветствовали восторженно — как клоуна. От меня ждали чего-то этакого. По всему обширному дому были расставлены рояли, не меньше четырех, не говоря уж о гитарах, мандолинах, скрипках и фисгармониях. Эд Бори был чудаком, приветливым, симпатичным и радушным. Сандвичи всегда были на высоте, пива — пей не хочу, а если возникало желание остаться на ночь, он предлагал на выбор любой диван. Идя по улице, большой, широкой, сонной, роскошной улице — такой не найдешь в целом свете — к дому, я слышал звуки рояля в гостиной на первом этаже. Окна были настежь распахнуты, и мне было видно, как Эл Бургер и Конни Гримм развалились в широких креслах, водрузив ноги на подоконник и держа в руках большие пивные кружки. Вероятно, за роялем сидел Джордж Ньюмиллер с большой сигарой во рту, закатав рукава сорочки. Он импровизировал. В гостиной смеялись и болтали, пока Джордж блуждал в поисках удачного разрешения. Вскоре он нащупал тему, пригласил Эда, тот сел рядом, вслушиваясь на свой непрофессиональный манер, а потом пробежался по клавишам и начал подыгрывать. Когда я войду в дом, может быть, в соседней комнате кто-то будет стоять на руках — на первом этаже было три больших комнаты, переходивших одна в другую, а сзади дома раскинулся сад, огромный

258

сад, полный цветов, фруктовых деревьев, винограда, статуй, фонтанов и всего на свете. Иногда, если в доме было особенно душно, в сад выносили небольшую фисгармонию и бочонок пива, естественно. Мы пели и смеялись в темноте, пока кто-нибудь из соседей не клал этому конец. Иногда музыка звучала по всему дому, на каждом этаже. То было настоящее безумие, упоительное, и присутствие женщин непременно бы все испортило. Иногда это было похоже на испытание выносливости: Эд Бори и Джордж Ньюмиллер за огромным роялем старались вымотать друг друга, без конца менялись местами, перекрещивали руки, то затихали до звучания ксилофона, то гудели, словно вурлитцер*. И всегда находился повод для смеха. Никто не спрашивал, чем ты занимаешься, о чем ты думаешь и так далее. Удостоверения личности оставляли за порогом дома Эда Бори. Никому не было дела, какого размера твоя шляпа и сколько ты за нее отдал. Это были истинные приемы с бутербродами и напитками. Когда вечер набирал силу и одновременно звучали три рояля, фисгармония, мандолины, гитары, пиво лилось рекой, каминные доски ломились от сигар и сандвичей, из сада дул освежающий ветерок, а Джордж Ньюмиллер, голый до пояс, модулировал будто дьявол — это было лучшее шоу из всех, что мне доводилось видеть, и притом оно не стоило ни цента. Более того, после всех раздеваний и одеваний я уходил восвояси с полным карманом мелочи и сигар. Никого из них я не видел между вечеринками — мы встречались только летними вечерами, по понедельникам, когда Эд открывал двери своего дома для всех друзей.

Стоя в саду и вслушиваясь в шум, я не верил, что это один и тот же город. И если бы я открыл рот и вывернулся наизнанку, все было бы кончено. Ни один из этих парней ничего не стоил с точки зрения, устоявшейся в этом мире. Они были просто славные ребята, парни, которым нравилась музыка и приятное времяпровождение. Иногда они так

увлекались, что приходилось вызывать «скорую помощь». Как-то Эл Бургер вывихнул колено, демонстрируя один из своих трюков. Все было так безмятежно, полно музыки, света, что он битый час пытался убедить нас, что с ним действительно случилось неладное. Мы попробовали отнести его в больницу, но до нее было неблизко и, кроме того, мы несколько раз его роняли, поскольку были навеселе, и он каждый раз издавал дикий крик. Поэтому пришлось в конце концов звонить с полицейского поста и просить подмогу. Приехала «скорая помощь» и патрульная машина. Эла забрали в больницу, а нас в каталажку. Всю дорогу мы пели в полную глотку. Даже после того, как нас

259

выпустили под залог, наше настроение не ухудшилось, и у полицейских настроение не ухудшилось, и так все мы переместились в подвал, где стояло разбитое пианино, и продолжали играть и петь. Все это похоже на период до Р.Х. в истории, который завершился не потому, что началась война, а потому что даже такие дома, как у Эда Бори, не защищены от яда, просачивающегося с периферии. Потому что каждая улица становится Миртл-авеню, потому что пустота заполняет весь континент от Атлантики до Тихого океана. Потому что спустя некоторое время вы не сыщете ни одного дома на сей земле во всю долготу и широту ее*, в котором человек стоял бы на руках и пел. Так не принято. Не сыщется двух одновременно звучащих роялей, не сыщется двух человек, готовых играть всю ночь ради собственного удовольствия. Эти двое, способные играть как Эд Бори и Джордж Ньюмиллер, служат в кино или на радио, и лишь малая толика их таланта используется по назначению, а остальное брошено в помойную яму. Судя по тому, что нам предлагают на концертах и спектаклях, никогда не догадаешься, какие таланты скрыты на американском континенте. Позднее я пристрастился бывать на репетициях профессионалов. Это было тоже замечательно, но по-другому. Не чувствовалось восторга, то было зарабатывание долларов и центов. Каждый американец, обладавший чувством юмора, берег его для себя. Конечно, среди профессионалов тоже попадались хорошие ребята, которых никогда не забуду. Как правило, это были люди, не имевшие громкого имени, но такие-то как раз лучше всех. Помню безвестного артиста в антрепризе Кейта, наверное, самого неподражаемого в Америке. Кажется, он получал за свою работу долларов пятьдесят в неделю. Трижды в день, семь дней в неделю, он выходил на сцену и буквально ошеломлял публику. Он не играл — он просто импровизировал. Его шутки и трюки никогда не повторялись. Он расточал всего себя, но при этом, думаю, не пользовался допингом. Он был из тех парней, что родились такими, с бешеной энергией и задором, которых ничем не сдержать. Он владел всеми инструментами, мог изобразить любой танец, сочинить историю на все случаи жизни и рассказывать вплоть до звонка. Он получал удовольствие от своей игры, но при этом умудрялся еще и помогать другим. Стоял за кулисами и ждал подходящего момента, чтобы вмешаться в номер коллеги. Он сам собою являл шоу, и это шоу врачевало лучше, чем весь арсенал современной медицины. Такому человеку надо было платить жалованье президента Соединенных Штатов. А лучше уволить и президента, и весь Верховный Суд, и на их место поставить правителем

260

такого вот человека. Такой человек мог излечить какой угодно недуг. Кроме того, он был из тех парней, что возьмутся делать это бесплатно, если их попросят. Это был тип человека, способный упразднить лечебницы для душевнобольных. Такой не предлагает лечение — он делает сумасшедшими всех. Между этим способом и непрерывным состоянием войны, которое называется цивилизацией, лежит еще один путь, и на эту дорогу мы все рано или поздно выберемся, ибо все остальное обречено на провал. Типичный представитель этой единственной дороги носит на плечах голову о шести лицах и осьми очах; голова эта — вращающийся маяк, а вместо тройной оболочки на макушке, как обычно бывает, зияет дыра, вентилирующая скудные мозги. Да, мозгов очень мало, ведь нагрузка на них невелика. Серое вещество обеспечивает полное сознание и переходит в свет. Это — единственный тип человека, который стоит выше комедианта; он не смеется и не плачет, он не ведает страданий. Пока что мы не узнаём его, ибо он слишком близко к нам, сразу под нашей кожей, если уж на то пошло. В то время как комедиант берет нас за живое, этот человек, имя которого, если хотите, Бог, а нужно ли ему имя вообще? — так вот, этот человек громко заявляет о себе. Когда все человечество покатывается со смеху, хохочет до боли — именно тогда, я думаю, каждый выходит на верную дорогу. В этот момент каждый в отдельности и все вместе становятся Богом. В этот момент уничтожается двойное, тройное, четверное, множественное сознание и серое вещество сворачивается в складки на макушке черепа. В этот момент вы можете на деле почувствовать дыру на макушке; тогда вы понимаете, что некогда на этом месте у вас был глаз и что этот глаз был способен проникнуть во все сразу. Теперь этого глаза нет, но когда вы смеетесь до слез и до коликов в животе, вы открываете дорогу небесному свету и вентилируете мозги. В такую минуту никто не заставит вас взяться за

оружие, чтобы убивать врагов; никто не заставит вас открыть пухлый том, чтобы вычитать в нем метафизические истины нашего мира. И если вы знаете, что означает свобода, абсолютная свобода, а не относительная — вы согласитесь, что приблизились к ней как никогда. Я против нашего мира в его теперешнем состоянии, но не потому что я моралист, а потому что хочу смеяться еще и еще. Я не утверждаю, что Бог — это один лишь великий смех: я говорю, что вам надо хорошенько посмеяться, прежде чем вы приблизитесь к Богу. Моя единственная цель в этой жизни — это приблизиться к Богу, то есть стать ближе к самому себе. Вот почему мне все равно, какую дорогу выбрать. Однако му-

261

зыка очень важна. Музыка — это тоник для шишковидной железы. Музыка — это не Бах или Бетховен; музыка — это открывалка для души. Она страшно умиротворяет, она придает уверенность в том, что над вашим существованием есть крыша.

Пронзающий ужас жизни кроется не в стихийных бедствиях и несчастьях, поскольку такие вещи хорошенько встряхивают, а потом они становятся привычными и в конце концов обыденными. Нет, ужас скорее похож на постой в гостиничном номере где-нибудь в Хобокене, когда в кармане денег не больше, чем на одну кормежку. Вы больше никогда не увидите этот город, да и провести в гостиничной комнате надо лишь одну ночь, но для этого приходится собраться со всей отвагой и мужеством. Должно быть, существует некая причина, отчего в определенных местах, определенных городах возникает страх и отвращение. Должно быть, в таких местах разлит некий кошмарный настой. Люди здесь той же породы, что и ваша, они спешат по своим делам, как повсюду, они строят такие же дома, ни лучше ни хуже, у них та же система образования, та же валюта, те же газеты — и все же они совершенно непохожи на ваших знакомых, да и атмосфера в целом иная, ритм иной и иной нерв жизни. Как будто смотришь на себя в новом воплощении. И тогда понимаешь с мучительной несомненностью, что жизнью правят не деньги, не политика, не воспитание, не происхождение, не язык, не обычаи, а что-то еще, что вы все время стремились извести и что на самом деле изводит вас, ведь иначе вы не испытали бы внезапное чувство ужаса и не задумались бы, как отсюда выбраться. В иных городах не требуется даже проводить ночь, достаточно часа-другого, чтобы лишить вас присутствия духа. Я имею в виду Бейонн. Я прибыл туда вечером, имея при себе несколько адресов. Под мышкой я зажал папку с проспектами «Британской Энциклопедии». Было условлено, что я под покровом темноты стану вербовать желающих приобрести проклятую энциклопедию, несчастных ублюдков, стремящихся поднять свой культурный уровень. Если бы меня забросило на улицы Гельсингфорса, и то я не чувствовал бы себя в такой растерянности, как на улицах Бейонна. По мне — так это вообще не американский город. Это вообще не город, это чудовищный осьминог, раскинувший щупальца в темноте. Первая дверь, к которой я подошел, выглядела так ужасно, что я не решился постучать; сперва я прошелся по нескольким адресам и только потом набрался отваги стукнуть в дверь. От первой увиденной мной рожи мне стало дурно. То было не робостью или смущением, то было настоящим страхом. На

262

меня взирал чернорабочий со стройки, отверженный работяга, который одинаково легко мог плюнуть в морду или огреть топором. Я сделал вид, будто перепутал адрес, и поспешил дальше. За каждой следующей дверью мне открывался новый монстр. Наконец я напал на простодушного парня, который на самом деле хотел поднять свой культурный уровень. Это выбило меня из колеи. Я ощутил стыд за самого себя, за свою страну, за своих соплеменников, за свою эпоху. Я угробил кучу времени, убеждая его не покупать проклятую энциклопедию. Он спросил тогда с невинным видом, что же в таком случае привело меня к нему, и я, не колеблясь ни секунды, произнес удивительную ложь, которая впоследствии оказалась великой истиной. Я сказал ему, что только делаю вид, будто продаю энциклопедию, а в действительности встречаюсь с людьми, чтобы потом написать о них. Это чрезвычайно заинтересовало его, куда сильней, чем энциклопедия. Ему хотелось узнать, что же я напишу о нем. Понадобилось двадцать лет для ответа на этот вопрос, однако теперь он перед вами. Если тебе до сих пор хочется знать, имярек из Бейонна, слушай... Я многим обязан тебе, поскольку после той лжи я покинул твое жилище и разорвал проспекты, навязанные мне «Британской Энциклопедией», и выкинул их в сточный желоб. И поклялся, что впредь никогда не пойду к людям под фальшивыми предлогами, даже для того, чтобы вручить им Священное Писание. Я никогда ничего не буду продавать, даже если придется жестоко голодать. Сейчас я пойду домой, устроюсь поудобнее и действительно начну писать о людях, так я сказал себе тогда. И если кто-то постучится ко мне в дверь, чтобы продать мне что-то, я приглашу его в дом и скажу: «Зачем ты делаешь это?» И если он мне ответит, что вынужден зарабатывать себе на хлеб, я отдам ему все деньги, которыми располагаю, и попрошу его хорошенько задуматься над тем, что он делает. Я хочу выбить из головы как можно большего числа

людей заблуждение, будто они обязаны делать то или другое, чтобы заработать себе на жизнь. *Это неправда.* Можно умереть с голоду, и это куда лучше. Каждый добровольно умерший с голоду — это сломанный зубец в шестеренке автоматического процесса. Мне предпочтительней встретить человека, взявшегося за ружье и убившего соседа, чтобы раздобыть себе пропитание, нежели того, кто поддерживает автоматический процесс под предлогом зарабатывания на жизнь. Вот и все, что я хотел сказать, мистер имярек.

Я продолжаю. Не пронзающий ужас стихийных бедствий и несчастий, но, утверждаю, автоматический откат к

263

прошлому, застывшая панорама воинственных атавизмов души. Мост в Северной Каролине, неподалеку от границы с Теннесси. Выхожу из дурманных зарослей табака, куда ни посмотрю — всюду низкие домишки, в воздухе завис запах гари. День прошел в море волнующейся зелени. Не видно ни души. Потом вдруг расчистилось, прояснилось, и я оказываюсь над расселиной, через которую перекинут шаткий деревянный мост. Да это же край света! Господи, как я сюда попал, почему я здесь? Не знаю. Что я *буду есть?* Даже если бы я наелся до отвала, уныние не прошло бы. Страшное уныние. Я не знаю, куда податься. Мост— это конец, конец мне, конец известному мне миру. Этот мост — надвигающееся безумие: зачем он здесь, зачем людям ходить по нему? Я отказываюсь от следующего шага, я застываю на середине этого ненадежного моста. Тут рядом низенький барьерчик, я приваливаюсь к нему и начинаю размышлять, что делать и куда идти. Успокоившись, я понимаю, насколько я цивилизованный человек — мне нужны собеседники, книги, театры, музыка, кафе, спиртное и так далее. Это ужасно — быть цивилизованным, ибо оказавшись на краю света, не располагаешь ничем, что могло бы поддержать тебя в страшном одиночестве. Быть цивилизованным — означает иметь изощренные потребности. А человек на краю света не должен требовать ничего. Весь день, что я шел по табачным полям, во мне возрастало беспокойство. Что мне делать с таким изобилием табака? Куда я держу путь? Все люди производят сельхозпродукты и промтовары для других людей, а я, словно привидение, проскальзываю, не принимая участие в этой немудреной деятельности. Я желаю найти работу, но мне не хочется стать частью этого дьявольского автоматического процесса. Проходя через небольшой городок, а замечаю газетный стенд. В газете написано о том, что случилось в этом городке и в окрестностях. Мне кажется, что ничего не происходит, что часы на самом деле остановились, да только бедняги из здешних мест не ведают об этом. Более того, у меня сильное предчувствие. Кошмарный настой разлит в воздухе. Я слышу его запах. Несколько дней назад я пересек воображаемую границу, отделяющую Север от Юга. Я не догадывался об этом, пока не встретил чернокожего возчика. Поравнявшись со мной, он привстал с козел и в знак глубокого почтения приподнял шляпу. Волосы его были белы, как снег, а лицо исполнено чувства собственного достоинства. Я вздрогнул от ужаса:

значит, здесь до сих пор сохранилось рабство. Этот человек снял передо мной шляпу, потому что я белый. А ведь это мне надлежало снять перед ним шляпу! Это мне надо

264

было приветствовать его как человека, пережившего все те ужасные мучения, которым подвергались черные со стороны белых. Мне надлежало снять шляпу первым, чтобы он не видел во мне представителя той системы, чтобы он понял, что я прошу прощения за всех моих белых братьев, которые слишком жестоки и равнодушны для столь откровенного жеста. Сегодня я ощущаю на себе их взгляд: они смотрят из-за дверей, из-за деревьев. Они очень спокойны, очень миролюбивы. Ниггер никогда ничего не скажет. Ниггер — он все время что-то бормочет про себя. Белому кажется, будто ниггер знает свое место. Ниггер ничего не знает... Ниггер ждет. Ниггер следит за всем, что делает белый. Ниггер не скажет ничего, нет, сэр. но ДАЖЕ ЭТИМ НИГГЕР УБИВАЕТ БЕЛОГО! Всякий раз глядя на белого, он словно пронзает его ножом. Не жара, не черви, не плохой урожай убивают Юг — ниггер убивает! Ниггер источает яд, хочет он того или нет. Юг пропитан ядом ниггера.

Продолжаю... Сижу у входа в парикмахерскую на берегу реки Джеймс. Я побуду здесь десять минут, не более, пока не отдохнут ноги. Напротив меня гостиница и несколько магазинов; они быстро захиреют, они прекратят свое существование так же, как начали его — без видимой причины. В глубине души мне жалко бедолаг, что родились и умрут здесь. Непонятно, зачем бывают такие места. Непонятно, зачем переходят улицу, бреются и стригутся, кушают отбивные. Люди, купите ружья и перестреляйте друг друга! Сотрите эту улицу из моей памяти-— в ней нет ни капли смысла.

Тем же днем, после захода солнца. Тащусь дальше, все углубляюсь на Юг. Выхожу из какого-то городка по дороге, ведущей к шоссе. Вдруг слышу сзади шаги, и вскоре меня перегоняет бегущий юноша. Он очень тяжело дышит и ругается на чем свет стоит. Я на минуту останавливаюсь, пытаясь понять, в чем дело. И тут вижу бегущего следом:

он старше, он сжимает ружье. Дышит намного легче, не произносит ни звука. Когда он подбегает ближе, сквозь облака пробивается луна, и я могу как следует рассмотреть его лицо. Это преследователь. Я отхожу в сторону, поскольку за ним бегут другие. Я трепещу от страха. Это шериф, кинул мне на бегу какой-то малый, он хочет поймать его. Ужасно. Я продолжаю идти в сторону шоссе и жду, когда же прогремит выстрел, венчающий дело. Но ничего не слышу, только тяжелое дыхание юноши и нетерпеливый топот толпы, сопровождающей шерифа. На подходе к главной дороге из темноты выходит фигура и неторопливо идет ко мне. «Ты куда, сынок?» — спрашивает этот человек почти что нежно, Я что-то бормочу о соседнем городке. «Лучше

265

будет, если ты останешься здесь, сынок», — говорит он. Я не сказал больше ни слова. Я позволил отвести себя назад, в город, под руку, будто вора. Я лежал на полу в камере на пятьдесят человек. И видел дивный эротический сон, завершившийся гильотиной.

Иду дальше... Назад идти так же трудно, как вперед. Отныне я не чувствую себя гражданином Америки. Та Америка, откуда я пришёл, где у меня были какие-то права, где я был свободным, осталась далеко позади и почти стерлась из памяти. Теперь мне кажется, будто в спину мне все время наставляют дуло. Ступай вперед — вот все, что я слышу. Когда со мной заговаривают, я притворяюсь дурачком. Я изображаю живой интерес к нынешнему урожаю, погоде, выборам. Когда я останавливаюсь, на меня все смотрят, черные и белые, они изучают меня пытливым взглядом, словно я что-то сочное и съедобное. Я вынужден идти дальше, пройти еще тысячу миль, словно у меня есть некая цель, словно я действительно куда-то иду. Еще мне надо изображать некое подобие благодарности за то, что меня пока не пристрелили. Это и угнетает, и бодрит. Ты будто мишень, но пока никто не нажимает на спусковой крючок. Тебе дают подойти невредимым прямо к Мексиканскому заливу, в котором ты волен утопиться.

Да, мой сэр, я достиг Мексиканского залива, сразу же вошел в его воды и утопился. И сделал это добровольно. Когда мое тело выловили, к нему была привязана бирка:

франко-борт, Миртл-авеню, Бруклин. И в обратный путь оно проследовало наложенным платежом. Когда позже меня спросили, для чего я себя убил, я мог сказать в ответ только одно: потому что я хотел *зарядить электричеством космос!* Под сим разумелась простая вещь: Делавэр, Лакаванна и Запад уже электрифицированы, Приморская воздушная линия электрифицирована, а душа человеческая до сих пор заключена в крытой повозке. Я родился в средоточии цивилизации и естественным образом принял ее, а что оставалось делать? Но самое забавное в том, что больше никто не принял ее всерьез. Я стал единственным представителем общества, цивилизованным по-настоящему. Для меня не нашлось места, как нет его до сих пор. Тем не менее, прочитанные книги и услышанная музыка уверили меня в том, что где-то на земле есть люди, похожие на меня. И мне пришлось пойти и утонуть в мексиканском заливе, дабы оправдать продолжение этого псевдоцивилизованного существования. Фактически, мне пришлось отделаться от своей духовной оболочки.

Когда я наконец осознал, что при нынешнем положении дел останусь ничтожеством в глазах общественности,

266

я совершенно успокоился и стал счастлив. Я быстро освободился от чувства ответственности. И коль скоро друзья не устали бы давать мне взаймы, я мог бы прожигать жизнь бесконечно. Мир был для меня будто музей; мне хотелось есть и есть это дивное шоколадно-слоистое пирожное, которое люди прошлых поколений положили на наши ладони. Всех раздражало, как я наслаждался сам с собой. Их логика была такова: да искусство — это прекрасно, спору нет, но когда ты вкалываешь, чтобы заработать на жизнь, не остается сил наслаждаться искусством. Это было как раз в то время, когда я норовил добавить от себя слой-другой к тому чудесному шоколадно-слоистому пирожному. Последний, так сказать, штрих. Тогда меня сочли за сумасшедшего, нимало не колеблясь. Сначала меня считали бесполезным членом общества; потом некоторое время — беспечным, не думающим о завтрашнем дне живым трупом с непомерным аппетитом; теперь я прослыл сумасшедшим. (Послушай, *ублюдок, ты когда-нибудь устроишься на работу?.. Подожди-ка,* мы *разделаемся с тобой!)* В открытии нового фронта была своя прелесть, была новизна.

Я почувствовал свежий ветерок в душных коридорах. Во всяком случае, мы вышли из штиля. То была война, и я, хоть и труп, но посвежел и обнаружил в себе некоторый задор. Война возвращает к жизни. Война будоражит кровь. Чуть не забыл — как раз во время

мировой войны случилось это смятение чувств. В одну ночь я стал женатым человеком. Я поступил так, чтобы доказать всем и вся, что и я не лыком шит. Быть женатым — это престижно. Помню, мне немедленно дали пять баксов, как только я объявил о своем решении. Мой друг Макгрегор заплатил за свидетельство о браке и даже за стрижку и бритье, через которое меня заставили пройти перед церемонией. Мне сказали, что не побрившись никак нельзя; сам же я не видел причины, по которой нельзя жениться не побрившись и не постригшись, но, поскольку это мне ничего не стоило, я согласился. Было интересно наблюдать, как все стремились поддержать молодых. Только потому что я проявил здравый смысл, все закрутились около нас: ах, что мы можем для вас сделать, не угодно ли вам то, да не угодно ли это? Разумеется, предполагалось, что я теперь уж непременно найду работу, пойму, что к чему в этой жизни. Никому не приходило в голову, что можно заставить работать жену. Сначала я действительно был очень деликатен с ней. Не эксплуатировал ее как рабыню. Все, что я просил — это мелочь на транспортные расходы, связанные с поисками мифической работы, и самую малость на кино, сигареты и тому подобное. Значительные вещи

267

вроде книг, нот, граммофона, телячьей вырезки приобреталось в кредит. Ведь теперь у меня семья. Рассрочка — это изобретение, предназначенное для парней вроде меня. Первый взнос был необременителен, а остальное я доверил Провидению. Надо как-то жить, твердили все. Теперь, с Божьей помощью, и я сказал себе: *надо жить! Сначала жить, а платить потом.* Увидев приглянувшееся пальто, я заходил в магазин и покупал его. Причем делал это, не дожидаясь холодов, дабы показать, какой я основательный покупатель. Еще бы, женатый мужчина, может быть, скоро стану отцом — неужели я не имею права на такую малость, как зимнее пальто? А заимев пальто, я подумывал о теплых ботинках к нему. Вот парочка из настоящей кордовской кожи — о таких я всю жизнь мечтал, да не мог себе позволить. Когда наступили настоящие холода, а ты весь день ходишь в поисках работы под дождем, градом, снегом, на ветру и голоден как черт — приятно заглянуть в уютную закусочную и заказать сочный филей с луком и картофелем фри. Я застраховал свою жизнь от несчастных случаев — мне сказали, что это очень важно, когда ты женат. Предположим, я в один прекрасный день даю дуба — что тогда? Помню, это мне сказал страховой агент в качестве последнего аргумента. А я уже обещал ему подписать договор, но он, должно быть, запамятовал. А я уже сказал ему:

да, непременно, — повинуясь привычке, но он пропустил мои слова мимо ушей. А может быть, по негласному правилу надо было провести беседу по полной программе. Я уже собирался поинтересоваться, сколько времени уйдет на то, чтобы получить ссуду на страховой полис, как он огорошил меня риторическим вопросом: *предположим, в один прекрасный день вы отбрасываете копыта, что тогда?* Наверное, он решил, будто я немного не в себе — так заразительно я смеялся. Я хохотал, пока по лицу не побежали слезы. Наконец, он произнес: «Не вижу тут ничего смешного». «Посмотрите на меня как следует, — сказал я, став на минуту серьезным, — неужто я похож на человека, который может думать о том, что произойдет *после* его смерти? » Очевидно, он удивился моим словам, потому что сказал следующую вещь: «Мне кажется, господин Миллер, что ваша позиция несколько расходится с общепринятой моралью. Я уверен, вы не захотите, чтобы ваша жена...» «Послушайте, — прервал я его, — положим, мне наплевать, что будет с моей женой, когда я умру — что вы на это скажете?» Увидев, что я затронул его больное место, я смягчил сказанное: «Мне не нужна ваша страховка, тем более когда я умру. Я делаю это только для того, чтобы вам стало приятно. Видите ли, я стараюсь помогать нашей зем-

268

ле вертеться. Вам надо жить, не так ли? Так вот, я кладу вам в рот немного жратвы, вот и все. Хотите продать еще что-нибудь — не стесняйтесь. Я куплю все стоящее. Я — покупатель, а не продавец. Мне нравится видеть людей счастливыми, вот почему я покупаю. Теперь скажите, сколько надо платить в неделю? Пятьдесят семь центов? Отлично. Что такое пятьдесят семь центов? Видите пианино — за него я выплачиваю по тридцать девять центов в неделю. Оглянитесь вокруг — все, что вы видите, стоит не менее того. Вы сказали, *если я умру, что тогда?* Вы думаете, я собираюсь бросить на произвол судьбы всех этих людей? Нет, это была бы очень злая шутка. Скорее уж я бы созвал их всех и велел забрать свои вещи, коль я не могу заплатить за них...» Он заерзал на стуле, а глаза остекленев, застыли. «Извините, — оборвал я свою речь на полуслове, — не хотите ли немного выпить — обмыть договор?» Он отказался, но я настаивал. Кроме того, я еще не подписал все бумаги, надо было сделать анализ мочи, получить положительный результат, приложить множество печатей — знаю всю эту ерунду наизусть. Так не лучше ли сначала пропустить рюмочку и таким образом растянуть это серьезное дело, ведь, положа руку на сердце, приобретение страхового полиса, равно как

и приобретение чего угодно, для меня истинное удовольствие: я чувствую себя как любой другой гражданин, *се, человек!** — а не обезьяна. Поэтому я достал бутылку хереса (все, чем располагал) и щедрой рукой налил ему изрядный стакан, думая про себя: хорошо, мол, что херес кончится — может быть, в следующий раз мне достанется кое-что получше.

— Мне тоже как-то пришлось заниматься страхованием, — признался я, поднося стакан к губам. — Да, я тоже умею продавать. Одно плохо — ленив. Гораздо лучше сидеть дома, почитывать книжку или слушать фонограф. Зачем куда-то идти, суетиться ради страховой компании? Да если бы я сегодня работал, вы бы меня и не застали, разве не так? Нет, думаю лучше относиться ко всему проще и помогать людям по мере возможности ... как вот вам, например. Гораздо приятней покупать, чем продавать, а вы как думаете? Конечно, если есть *деньги!* Впрочем, в этом доме много денег не требуется. Как я сказал, пианино стоит тридцать девять центов в неделю или, может быть, сорок два, а ...

— Простите, господин Миллер, — оборвал он меня на полуслове, — вы не возражаете, если мы начнем подписывать бумаги?

— Отчего же, разумеется, — весело ответил я. — А они

269

все при вас? Какую же мы подпишем первой? Кстати, не хотите ли продать мне авторучку? Не стесняйтесь!

— Подпишите вот тут, — сказал он, сделав вид, что не расслышал последнюю реплику. — И еще вот здесь. А теперь, господин Миллер, разрешите откланяться. Через несколько дней мы с вами свяжемся.

— Чем скорее, тем лучше, — заметил я, провожая его до дверей. — А то вдруг я изменю свое решение и кончу жизнь самоубийством.

— Что вы, что вы, господин Миллер, обещаю, что все будет очень быстро. Всего хорошего, всего хорошего.

Разумеется, по счетам рано или поздно приходится платить, даже если вы такой прилежный покупатель, каким был я. Со своей стороны я делал все возможное, чтобы поддержать производителей и рекламодателей Америки, но те, кажется, стали разочаровываться во мне. Все во мне разочаровывались. Хотя был один человек, который разочаровался во мне больше всех. Этот человек по-настоящему старался помочь мне, а я его подвел. Вспоминаю о нем и о том, как он принял меня своим ассистентом — с готовностью и очень любезно — потому что позже, нанимая и увольняя как проклятый, я и сам узнал, что такое предательство, но к тому времени мне уже все было нипочем. Но этот человек просто из кожи лез, чтобы показать, как он доверяет мне. Он служил редактором каталога крупной посылочной фирмы. Каталог этот — просто необъятное собрание всякой чепухи. Он выходил раз в году, и готовили его весь год. Я понятия не имел о такой деятельности, и как туда попал — не знаю, видимо, очень захотелось погреться, поскольку я весь день обивал пороги, пытаясь заполучить самую завалящую работенку. В том офисе было очень уютно, и я приготовился держать длинную речь, чтобы отогреться. Я даже не знал, какую работу просить — просто какую-нибудь работу. Редактор оказался отзывчивым, сердечным человеком. Кажется, он догадался, что я писатель или собираюсь стать писателем, потому что вскоре спросил, что мне нравится читать и какое у меня мнение о том или ином писателе. Так получилось, что у меня в кармане оказался список книг, которые я искал в публичной библиотеке. Я вытащил этот список и показал ему. «Великий Боже! — воскликнул он. — Неужели вы читаете такие книги?» Я скромно нагнул голову и, как нередко со мной бывает, растрогался его дурацким замечанием настолько, что начал рассказывать о *«Мистериях»* Гамсуна*, только что прочитанных мною. После этого он стал податливым, словно оконная замазка. Когда он предлагал мне место ассистента, он как бы извинялся за то, что

270

не может предложить что-нибудь получше. Он сказал, что пока я должен войти в курс дела, это будет мне очень полезно. А потом предложил взаймы, из собственного кармана, до первой получки и протянул двадцатидолларовую купюру, прежде чем я успел согласиться или отказаться. Ради него я решил взяться за работу не щадя себя. Ассистент редактора — это звучало вполне благопристойно, особенно для кредиторов и соседей. Некоторое время я был счастлив тому, что ел ростбиф, цыплят и свиную вырезку. Мне даже казалось, что я полюбил новую работу. В действительности же она недолго вызывала мой интерес. То, что мне предстояло изучить, я выучил за неделю. И что

дальше? Каторжная борьба за жизнь, так я думал. И, чтобы хоть как-нибудь скрасить действительность и убить время, я начал писать рассказы, эссе и длинные письма друзьям. Вероятно, про меня думали, будто я составляю предложения для компании, потому что никто не обращал на меня внимания. Мне понравилась такая работа. Почти весь день я был предоставлен самому себе, своему творчеству, так как служебные дела удавалось скинуть за час. Я так увлекся сочинительством, что просил подчиненных не беспокоить меня по пустякам. Все шло как по маслу, жалованье платили исправно, сотрудники выполняли все, что я -им поручал, и вот однажды, когда я увлеченно сочинял эссе по «Антихристу»', к моему столу подошел незнакомый человек, склонился над моим плечом и язвительным тоном начал читать только что написанное мной. Я даже не поинтересовался, кто он и что ему надо — в голове крутилась одна мысль, которую я как безумный повторял про себя:

«Заплатят ли мне жалованье за следующую неделю?» Когда пришло время сказать прощай моему благодетелю, мне было немного стыдно, особенно когда тот, будто прочитав мои мысли, сказал: «Я просил заплатить вам вперед за неделю, но они и слышать об этом не желают. Мне хотелось быть вам хоть в чем-то полезным: вы стоите в самом начале пути. Если откровенно, я и теперь очень верю в вас, но думаю, что вам в ближайшее время придется нелегко. Вы не вписываетесь в эту жизнь. Когда-нибудь вы станете великим писателем, я уверен в этом. А теперь извините, — добавил он, тепло пожав мне руку, — мне надо идти к шефу. Дай вам Бог!»

Я был огорчен случившимся. Мне хотелось сделать все возможное, чтобы когда-нибудь оправдать его доверие. В тот момент мне хотелось оправдаться перед всем миром: я бы с готовностью прыгнул с Бруклинского моста, если бы таким образом можно было убедить их, что я не такой уж сукин сын. Да у меня сердце — огромное как у кита, и я

271

охотно доказал бы это, но никто не интересовался моим сердцем. Я всех подводил — не только кредиторов, но и квартирных хозяев, мясника, булочника, ребят из газовой, водопроводной и электрической компаний — *всех.* Вот бы мне уверовать в целесообразность труда! Я не мог относиться к ней как к средству поддержать жизнь. Я одно только понимал: те, кто работают не покладая рук, не придумали ничего лучше. Мне вспомнилась речь, которая в конечном счете обеспечила мне это место. В чем-то я очень похож на герра Нагеля*. Мои намерения меняются с минуты на минуту. Я не знаю, кто я: чудовище или святой. Подобно всем замечательным людям нашего времени, герр Нагель был доведен до отчаяния, причем именно безрассудство делает его таким привлекательным. Гамсун сам не знал, как поступить со своим героем; он знал, что такой тип существует, что в нем есть нечто большее, чем в шуте или мистификаторе. Мне кажется, герр Нагель нравился ему больше остальных созданных им образов. А почему? Да потому что герр Нагель — непризнанный святой, как всякий художник. Его поднимают на смех, поскольку решения, которые он предлагает, представляются миру слишком простыми, тогда как на самом деле они по-настоящему глубоки. Ни один человек не *хочет* быть художником — его вынуждает на это мир, когда отказывается признать несомненное лидерство. Работа ничего не значит для меня, ведь настоящую работу никто не замечает. Люди считали меня ленивым и беспомощным, а я, напротив, исключительно деятельное существо. Даже в том, как я бегаю за юбками, есть что-то этакое, особенно в сравнении с другими видами деятельности, такими, как изготовление пуговиц и отверток или даже удаление аппендиксов. А почему меня так внимательно слушали, когда я приходил просить работу? Почему так увлекались моим рассказом? Без сомнения потому, что я всегда тратил время с пользой. Я щедро делился тем, что черпал во время посещений публичной библиотеки, праздного шатания по улицам, интимных отношений с женщинами, дневных представлений на Бродвее, походов в музеи и картинные галереи. Будь я обыкновенным неудачником, честным малым, желающим вкалывать за столько-то долларов в неделю, разве бы мне предложили такую работу, которую предлагали? Разве меня угостили бы сигарой, пригласили бы на ленч, дали бы взаймы, как это нередко происходило? Должно быть, во мне было нечто такое, что ценилось выше двужильности и профессиональных навыков. Сам я не разобрался, что это такое, потому что никогда не знал ни гордости, ни тщеславия, ни зависти. Мне было очевидно глобальное, а перед мелкими

272

жизненными обстоятельствами я терялся. Эта растерянность возникала оттого, что я все измерял в большом масштабе. Обыкновенные люди гораздо сообразительней в оценке практической ситуации: их личность соответствует требованиям, предъявляемым к ним; мир соответствует их представлениям. А человек, идущий не в ногу с миром, или

страдает от колоссальной переоценки своей личности, или уничтожает себя до полного ничто. Герр Нагель часто выходил из себя, пытаясь докопаться до собственного «я»: его суть была тайной как для него самого, так и для его окружения. А я не мог оставить все в таком подвешенном состоянии — тайна влекла к себе. Я собирался проникнуть в нее, даже если для этого надо было тереться о каждого встречного как кошка. Трись долго и усердно — появится искра!

Зимняя спячка животных, прекращение жизнедеятельности простейших форм, удивительная живучесть клопов, затаившихся под обоями, транс йогов, каталепсия, мистическое единение с космосом, бессмертие клеточной жизни — всему этому учится художник, чтобы пробудить мир в благоприятный момент. Художник принадлежит к особой породе человека; он — одухотворенный микроб, передающийся от одной породы к другой. Бедствия не могут уничтожить его, потому что он не является частью физической, родовой схемы. Его появление приходится на катастрофы и крах; он — существо циклическое, живущее эпициклами. Приобретенный опыт он никогда не использует для личных нужд; он служит высшей цели, для которой и призван. Как бы его не отвлекали, его не сбить с пути. Если он читает книгу, а вы оторвали его от чтения на двадцать пять лет, потом он способен продолжить с отложенной страницы, как будто за эти двадцать пять лет ничего не происходило. А ведь то, что произошло за эти двадцать пять лет, и есть «жизнь» для большинства людей. Для него же это только помеха в движении вперед. Непреложность его труда, в котором он выражает себя, является отражением автоматизма жизни, в которой он вынужден залечь в спячку, ожидая сигнал, возвещающий момент рождения. Это большая тема, и это всегда было мне ясно, даже если я отрекался от этого. Неудовлетворенность, ведущая от одного слова к другому, от одного произведения к следующему — это обыкновенный протест против тщетности отсрочек. И чем больше пробуждается художнический микроб, тем меньше остается желания что-либо делать. А когда проснулся окончательно — нет ни малейшей необходимости выходить из транса. Действие, выражающееся в создании произведений искусства, — это уступка автоматическому

273

принципу смерти. Утопившись в Мексиканском заливе, я обрел возможность принять участие в активной жизни, которая дозволяет истинному «я» пребывать в спячке, пока не придет время рождения. Я понимал это очень отчетливо, хотя действовал слепо и беспорядочно. Я поплыл в потоке человеческой деятельности, пока не добрался до источника активности, куда вторгся, назвавшись менеджером персонала телеграфной компании, и позволил людскому приливу и отливу омывать меня, подобно пенливым бурунам. И эта активная жизнь, провозвестник финального акта безрассудства, вела меня от сомнения к сомнению, и я становился все более слеп к своему подлинному «я», которое, словно континент, удушенный признаками великой и пышной цивилизации, погрузилось в морские воды. Колоссальная личность затонула, а то, что видели люди мечущимся над поверхностью, — было перископом души, выискивающим цель. Чтобы когда-нибудь вновь подняться и обуздать волны, я должен был уничтожать все, что попадает в поле зрения. Монстр, то и дело высовывающийся из воды с не оставляющей сомнений целью, безустанный скиталец и налетчик, когда придет время, поднимется в последний раз и предстанет тогда ковчегом, соберет на себе каждой твари по паре, а потом, когда воды, наконец, отступят, остановится на вершине величественного горного пика, широко отворит двери и выпустит в мир то, что было спасено от катастрофы.

Если я вздрагиваю при мысли об активной жизни, если у меня случаются кошмарные сновидения, то, может быть, это происходит потому, что я вспоминаю всех людей, которых погубил во время дневной спячки*. Я делал все, что мне подсказывала моя натура. А натура неустанно нашептывает в ухо: «хочешь выжить — убей!» Будучи человеком, убиваешь не как зверь, но автоматически, причем убийство замаскировано, а его разновидности бесконечны, так что вы убиваете, даже не подумав об этом, убиваете без всякой необходимости. Самые уважаемые люди и есть величайшие убийцы. Они верят, что служат ближним, и в этой вере они вполне искренни, тем не менее они величайшие губители и временами, как бы очнувшись, они осознают свои преступления и совершают чудаковатые, безумные добрые поступки, чтобы искупить вину. Человеческая доброта еще противнее зла, присущего человеку, ибо доброта не осознана и не является подтверждением сознательного выбора. Когда стоишь у края бездны, легче всего в последний момент сдать позицию, обернуться и раскрыть объятия всем, кто остался позади. Как прекратить эту сле-

274

пую гонку? Как остановить этот автоматический процесс, в котором всякий норовит

столкнуть другого в бездну?

Заняв место за столом, над которым повесил табличку, гласившую «Входящие, не оставляйте упованья!»*, заняв место и отвечая: «Да, нет, да, нет», я понял с отчаянием, переходящим в безумие, что стал марионеткой, в чьи руки общество вложило револьвер Гатлинга*. И в конечном счете было все равно, какие поступки я совершаю, хорошие или дурные. Я был будто знак равенства, через который переносили алгебраическую массу человечества. Я был довольно важным, активным знаком равенства, как генерал в военное время, но какая разница, кем я должен был стать, если не дано было превратиться ни в плюс, ни в минус. И никому не было дано, насколько я понял. Вся наша жизнь была построена на этом принципе равенства. Целые величины стали символами, перетасованными в интересах смерти. Жалость, отчаяние, страсть, надежда, мужество — это преломления уравнений, рассматриваемых под разными углами. Бесконечное надувательство бесполезно останавливать, повернувшись к нему спиной или, напротив, глядя открыто, чтобы после описать увиденное. В комнате с зеркальными стенами невозможно повернуться к себе спиной. *Я не собираюсь делать это. Я поступлю иначе!* Прекрасно. А можешь ли ты ничего не делать? Можешь ли ты прекратить даже думать и ничего при этом не делать? Можешь ли дать полный стоп и, не думая, излучать истину, к которой пришел? Эта мысль засела у меня в голове и постепенно разгоралась. И, может быть, именно эта идея-фикс просвечивала, когда я проявлял напористость, источал энергию, сопереживал, шел навстречу, отзывался на чужое горе, был искренним и добрым и автоматически произносил: «Отчего же, не стоит об этом ... уверяю вас, это пустяки... не стоит благодарности» и так далее и тому подобное. Я палил из револьвера не одну сотню раз в день и, возможно, поэтому не чувствовал больше детонации. Может быть, мне казалось, что я открываю ловушки на голубей и выпускаю молочно-белых птиц в небеса. Вы когда-нибудь видели в кино синтетического монстра, Франкенштейна, осуществленного во плоти и крови? И вы способны вообразить, что такого можно обучить и нажимать на спусковой крючок, и наблюдать за полетом голубей? Франкенштейн — это не выдумка, это — самое настоящее создание, рожденное личным опытом чувствительного человеческого существа. Монстр всегда кажется более реальным, если в нем не соблюдено правильное соотношение плоти и крови. Экранный монстр — это ничто по сравнению с монстром нашего воображения; даже су-

275

ществующие патологические монстры, проторившие дорожку в полицейский участок, — лишь слабая демонстрация монструозной реальности, в которой живет патолог. Быть одновременно монстром и патологом — вот что остается определенному типу людей, которые называют себя художниками и которые твердо уверены в том, что сон таит в себе куда большую опасность, нежели бессонница. Для того, чтобы не впасть в спячку и не стать жертвой бессонницы под названием «жизнь», они прибегают к наркотикам или плетут бесконечное кружево слов. Это — не является автоматическим процессом, говорят они, поскольку всегда остается иллюзия, будто в любой момент можно остановиться. Однако они не могут остановиться; они преуспели лишь в создании иллюзий, а это, вероятно, слабенькое средство. В нем нет ни деятельности, ни бездеятельности, оно не имеет ничего общего с полным пробуждением. *Я хочу полностью пробудиться, причем не говорить и не писать об этом, для того, чтобы принять жизнь* целиком *и абсолютно.* Я упоминал древних людей из отдаленных частей земли, с которыми частенько общался. По какой причине я полагал, что эти «дикари» способны понять меня лучше мужчин и женщин, окружавших меня? Может, я вбил это в голову, потому что сошел с ума? Ни в коем случае. Эти «дикари» — не что иное, как выродившиеся следы ранних человеческих рас, а те люди, я уверен, понимали действительность как нельзя лучше. Бессмертие этой породы людей у нас перед глазами постоянно в лице этих представителей прошлого, которые в поблекшем великолепии медлят с уходом. Бессмертна ли порода людская — меня беспокоит не слишком, но жизненность этой породы кое-что значит для меня,. и в особенности, какой она должна быть: активной или подспудной, словно в спячке? В то время как жизненность новой породы дает крен, жизненность древних рас заявляет о себе пробуждающемуся разуму все настойчивее. Жизненность древних рас сохраняется даже в смерти, а жизненность современной породы, которая вот-вот вымрет, кажется уже не существующей. *Когда человек увлекает гудящий пчелиный рой в реку, пчелы тонут...* Этот образ я вынашивал в себе. Если бы только я был человеком, а не пчелой! По неясной, необъяснимой причине я знал, что я человек, что не утону вместе с роем, как остальные. Всегда при групповом порыве я вовремя отходил в сторону. Мне так нравилось от рождения. Какие бы неприятности не доводились испытывать, я знал, что это не смертельно, что это не

навсегда. И вот еще одна странная вещь: когда меня призывали выйти вперед, я сознавал свое превосходство над вызывавшим
276
меня, однако необычайное смирение мое объяснялось не притворством, а пониманием зловещего характера ситуации. Мой ум пугал меня с юношеских лет; то был ум «дикаря», который выше ума цивилизованного человека, поскольку лучше приспособлен к экстремальным ситуациям. Это *жизненный* ум; даже если жизнь проходила стороной, мне казалось, что я пустился в круг новой жизни, которая пока не обнаружила свои ритмы для всего остального человечества. Оставаясь с ним и не переходя окончательно в сферу новой жизни, я стал как бы приметой времени. С другой стороны, во многих отношениях я уступал окружавшим меня людям. Словно вышел из адского пламени не полностью очистившимся. Словно еще не сбросил хвост и рога, а когда меня обступали чувства, изрыгал серный яд, уничтожавший все. Меня всегда звали «везунчиком». Все хорошее, что случалось со мной, называли «везением», а беды относили на счет моих недостатков. Или, скорее, слепоты. Однако редко кому удавалось заметить неладное! Тут я был искусен как сам дьявол. А то, что я часто бывал слеп, мог заметить каждый. В таких случаях приходилось уединяться и становиться осторожным как сам дьявол. Я оставлял этот мир, добровольно возвращаясь в адский пламень. Эти уходы и приходы вполне реальны для меня, на самом деле, они даже реальнее того, что случалось между ними. Друзья думали, что знают меня неплохо. В действительности они не знали обо мне ничего по той причине, что я менялся бесконечно. Ни любившие, ни проклинавшие меня не знали, с кем имеют дело. Никто не мог сказать, что съел вместе со мной пуд соли, поскольку я все время обновлял свою индивидуальность. А то, что называется «индивидуальностью», я держал про запас до того момента, когда она усвоит надлежащий человеческий ритм, получив возможность сконцентрироваться. Я прятал лицо до того момента, когда смогу понять, что иду в ногу с миром. Все это, разумеется, было ошибкой. Даже роль художника, ставшего приметой времени, стоит принять. Действие важно, даже если активность оказалась напрасной. Не следует говорить: «Да, нет, да, нет», даже сидя в высоком кресле. Не стоит тонуть в волнах человеческих приливов и отливов, даже для того, чтобы стать Мастером. Каждый должен бороться с собственным ритмом — любой ценой. За несколько коротких лет своей жизни я вобрал опыт тысячелетий и растерял его, потому что не испытывал в нем потребности. Я был распят и отмечен крестом; я родился, не испытывая потребности в страдании — и все же не видел другого способа пробиться вперед, иначе как повторив драму. Мой ум восставал против этого. Страдание напрасно, твердил
277
мне мой разум, но я продолжал страдать по *доброй воле.* Страдание не научило меня ничему; другим, может быть, оно необходимо, но для меня оно не более чем алгебраическое проявление духовной неприспособленности. Та драма, которая выражается в страдании современного человека, ничего для меня не значит; фактически, она никогда ничего не значила для меня. Все мои Голгофы были псевдотрагедиями, крестными муками в розовом свете, дабы поддерживать адский пламень ярко горящим — для настоящих грешников, о которых можно ненароком забыть.

А вот еще... Тайна, окутывавшая мое поведение, становится глубже, чем ближе я подхожу к кругу кровной родни. Мать, породившая меня, была мне совсем чужой. Начнем с того, что, родив меня, она дала потом жизнь моей сестре, о которой я всегда упоминал как о моем брате. Сестра была безобидным монстром, ангелом, облаченным в плоть идиотки. В детстве у меня возникало странное чувство, потому что приходилось расти и взрослеть бок о бок с существом, приговоренным всю жизнь оставаться умственным уродцем. Быть ей братом невозможно, ведь невозможно считать этот атавистический телесный остов «сестрой». Мне кажется, самое место ей было бы среди австралийских аборигенов. Среди них она, может быть, добилась бы высокого положения и могущества, ибо, повторяю, была воплощением доброты. Она не умела причинять зло. Но к жизни в цивилизованном обществе она была не приспособлена; она не только не имела желания убивать, но и не имела желания преуспевать за счет других. К труду она была непригодна. Даже если бы ее научили изготовлять, например, взрыватели к фугасным бомбам, она по пути домой свободно могла бы кинуть зарплату в реку или отдать ее нищему на улице, не ведая, что творит. Нередко ее лупили как собаку в моем присутствии за такое проявление милосердия, совершенное, как они выражались, по рассеянности. С детства меня учили: нет ничего хуже, чем совершать добрые дела без всякой видимой причины. Сначала меня наказывали точно так же, как сестру, поскольку у меня тоже была привычка раздавать свои вещи, особенно новые, только что купленные. А в пять лет меня побили за то, что я посоветовал матери срезать с пальца бородавку. Однажды она спросила, как ей поступить, и я, обладая весьма ограниченными познаниями в медицине, велел отрезать ее ножницами, что она и сделала. А через

несколько дней началось нагноение, и тогда она позвала меня и сказала: «Это ты уговорил меня срезать бородавку!», после чего мне устроили жестокую порку. В тот день я понял, что родился не в той семье. И начал с

278

невиданной скоростью учиться. Вот и скажите после этого, что нет адаптации! К десяти годам я испытал на собственной шкуре всю теорию эволюции. Да уж, пришлось пройти все фазы животной жизни, не порывая уз с этим созданием, называемым моей «сестрою», существом, очевидно, примитивным, даже к девятнадцати годам не освоившим секреты азбуки. Вместо того, чтобы расти как сильное дерево, я стал клониться на сторону, полностью пренебрегая законом всемирного тяготения. Вместо того, чтобы выпустить веточки и листочки, я стал обрастать оконцами и орудийными башенками. По мере роста все сооружение превращалось в камень, и чем выше я становился, тем смелей пренебрегал законом всемирного тяготения. Я был феноменом на фоне пейзажа, из тех, что притягивают к себе людей и напрашиваются на похвалу. Если бы матушка предприняла еще одну попытку, она, наверное, родила бы удивительного белого бизона, и нас троих поместили бы до конца наших дней в музей, за загородку. Беседы, что имели место между пизанской башней, орудием бичевания, машиной храпа и птеродактилем в человеческой плоти*, были странноватыми, если не сказать больше. Темой беседы могло стать всё что угодно: хлебная крошка, которую «сестрица» не заметила, убирая со стола; невычищенная куртка, которая в портновских мозгах папаши превращалась в клубный пиджак, визитку или сюртук. Когда я приходил домой с катка к обеду, говорили не о свежем воздухе, вдоволь доставшемся мне, не о геометрических фигурах, которые я выписывал на благо мышцам, — нет, все пересиливало крохотное пятнышко ржавчины под креплением: если его, видите ли, немедленно не удалить, это приведет к порче всего конька и утрате некой практической ценности, непостижимой для моего расточительного ума. Ничтожный пример, а все-таки это пятнышко ржавчины приводило к бредовым последствиям. Бывало, «сестра» ищет банку с керосином да и опрокинет горшок с черносливом, томящимся на плите. Возникает опасность для всей семьи — так можно лишиться необходимых калорий к завтрашнему обеду. Следует жестокая порка, не в гневе, нет, — так можно расстроить себе пищеварение, — но тихо и эффективно, словно химик взбивает белок, готовясь к проведению анализа. Только вот «сестра», не понимающая профилактического характера наказания, начинает издавать леденящие душу крики, и это так действует на папашу, что тот уходит из дому и возвращается часа через два-три мертвецки пьяный и, что еще хуже, начинает скрестись в дверь, сдирая краску. Крохотная чешуйка краски служит поводом для главного сражения, которое

279

плохо влияет на мое воображение. Ведь в мечтах я часто меняюсь местами с сестрой и вместо нее принимаю все муки, да еще и худшие, усиленные в моем сверхчувствительном мозгу. Эти мечты всегда сопровождались звоном бьющегося стекла, визгом, руганью, стоном и рыданиями, и в мечтах этих я почерпнул неизреченное знание древних таинств, обрядов посвящения, миграции душ и так далее. А начиналось все сценой из обычной жизни: сестра стоит у доски на кухне, над ней возвышается мать с линейкой в руке и спрашивает, сколько будет дважды два? Сестра вопит: пять. Бац! Нет, семь! Бац! *Нет, тринадцать, восемнадцать, двадцать*! А я сижу за столом, делаю уроки, как наяву. Но с очередным изгибом линейки, готовой опуститься на голову сестры, я вдруг ухожу в иное царство, где не знают стекла, как не знали его древние люди. Вокруг все знакомые лица, ведь это мои кровные родственники, которые по какой-то таинственной причине не узнают меня в моем *инобытии*. Они облачены в черное, а цвет их кожи пепельно-сер, как у тибетских дьяволов. Все они вооружились ножами и прочими орудиями пыток: они принадлежат к касте жертвенных палачей. У меня, кажется, есть полная свобода и власть божества, и все же по какому-то прихотливому случаю в конце концов я всегда оказываюсь на жертвенной плахе, и один из моих кровных родственников склоняется надо мной, чтобы сверкающим ножом вырезать сердце из моей груди. Обливаясь потом, я в ужасе начинаю твердить свои «уроки» звонким, пронзительным голосом, все быстрей и быстрей, словно уже чую нож, вонзающийся в сердце. Дважды два четыре, трижды три девять, земля, воздух, огонь, вода, понедельник, вторник, среда, кислород, водород, азот, миоцен, плиоцен, эоцен, Отец, Сын, Дух Святой, Азия, Африка, Европа, Австралия, красное, синее, желтое, щавель, хурма, канталупа, папайя... *быстрей и быстрей...* Один*, Вотан*, Парсифаль*, король Альфред*, Фридрих Великий*, Ганзейская лига*, битва при Гастингсе*, при Фермопилах*, 1492, 1776, 1812*, адмирал Фаррагут*, атака Пеккета*, Легкая Бригада*, мы собрались здесь сегодня, с нами Бог, единая и неделимая, не буду, нет, 16, нет, 27, помогите, убивают, полиция! — продолжая вопить все громче и громче, все быстрей и быстрей, я совершенно теряю разум и больше не чувствую ни боли, ни страха, хотя весь

исколот ножами. Я стал неожиданно спокоен, и мое тело, распластанное на плахе, которое продолжают терзать в экстазе и ликовании, уже не чувствует ничего, ибо я, его обладатель, спасся. Я превратился в каменную башню, склонившуюся над дикой сценой и с любопытством взирающую на происходящее. Стоит лишь ус-

280

тупить закону всемирного тяготения, и я паду на них, уничтожая все в своем падении. Но я не уступаю закону тяготения, я зачарован ужасной сценой. На моем теле появляются новые оконца. И когда свет начинает пронизывать каменную внутренность моего существа, я ощущаю свои корни, укрытые в земле. Они живы, поэтому я смогу, если захочу, вырваться из этого транса.

Так было в мечтах. В действительности же в присутствии моих дорогих кровных родственников я был свободен как птица и юрок как стрелка компаса. Когда мне задавали вопрос, я давал не менее пяти ответов, один лучше другого; когда просили сыграть вальс, я исполнял двубортную сонату для левой руки; когда мне предлагали еще одну куриную ножку, я опустошал все блюдо и впридачу весь гарнир; когда меня просили пойти погулять на улице, я, играючи, в припадке особого энтузиазма чуть не. раскраивал череп двоюродного братца острой жестянкой; когда грозили поркой, я говорил: не возражаю! Когда меня за особые успехи в школе гладили по головке, я презрительно сплевывал на пол, как бы демонстрируя, что еще есть чему поучиться. Я делал все, о чем меня ни просили, и что-то еще дополнительно. Когда меня умоляли успокоиться и помолчать, я становился спокоен как скала: делал вид, что не слышу, когда ко мне обращались, не отвечал на прикосновения, не кричал, когда щипали, не двигался с места, когда пытались столкнуть. Если меня журили за упрямство, я становился податливым как воск и гибким как резина. Когда хотели, чтобы я выбился из сил и не так всем досаждал, никакой работой я не гнушался и все проделывал очень старательно, так что в конце концов валился, словно куль муки. Когда от меня требовали благоразумия, я становился сверхблагоразумным, и это сводило моих родичей с ума. Когда от меня требовали беспрекословного подчинения, я все исполнял буквально, что вызывало бесконечную путаницу. А все потому, что жизнь молекулы брат-и-сестра была невыносима из-за разницы в наших атомных массах. Если сестра не росла, я рос как гриб; если она не обладала индивидуальностью, я был исполином; если она не знала, что такое быть злой, я злобился по пустякам; если она ни от кого ничего не требовала, я требовал все; если она вызывала насмешки, я внушал страх и уважение; если она терпела муки, не отведя руки, я мстил и друзьям и недругам; если она была беспомощна, я делался всемогущим. стремление все преувеличить, которым я страдал, явилось результатом усилий, направленных на то, чтобы удалить, так сказать, пятнышко ржавчины, появившееся на нашем семейном коньке. Это пятнышко ржавчины под креп-

281

лением сделало меня чемпионом среди конькобежцев. Оно заставляло меня бежать так быстро и неистово, что даже когда лед уже растаял, я все равно бежал, бежал по грязи, по асфальту, по ручьям и рекам, по бахчам, экономическим теориям и тому подобному. Я бы и сквозь ад прокатился, такой уж я шустрый.

Однако все это катание было ни к чему: меня звал в свой ковчег панамериканский Ной. Каждый раз, как я прекращал скольжение, случался катаклизм: земля, расступаясь, поглощала меня. Я был братом каждому человеку и в то же время изменником самому себе. Я принес поразительные жертвы только для того, чтобы убедиться, что все это зря. Какого черта доказывать, что ты можешь оправдать чьи-то ожидания, если тебе этого вовсе не хочется? Всякий раз, уже согласившись выполнить чьи-то требования, сталкиваешься с одной и той же проблемой:

как остаться самим собой? А с первым же шагом, сделанным в этом направлении, понимаешь, что здесь нет ни минусов, ни плюсов. Тогда снимаешь коньки и начинаешь плыть, уже не испытывая страданий, поскольку ничто не угрожает твоей безопасности. Совсем не хочется никому помогать, зачем лишать людей права самим заработать себе привилегии? Жизнь простирается в потрясающей безграничности от эпизода к эпизоду. Нет ничего реальнее твоих собственных представлений. Каким ты себе представляешь космос, таков он и есть и не может быть никаким иным, покуда ты — это ты, и я — это я. Ты живешь плодами своей деятельности, а деятельность — это жатва мысли. Мысль и действие — единое целое, ты в нем плывешь, из него созданный, и оно — это все, что ты от него хочешь, ни больше ни меньше. Каждый взмах руки стоит вечности. Нагревательная и охлаждающая системы стали единой системой, а Рак отделен от Козерога лишь воображаемой линией. Тебе не надо ни впадать в восторг, ни отдаваться сильной печали; не надо ни молить о дожде, ни плясать джигу. Ты живешь, словно счастливая скала посреди океана: неподвижный, тогда как все вокруг бурлит и клокочет. Ты неподвижен в такой действительности, которая утверждает: нет ничего неподвижного, даже самая счастливая и могучая скала в один прекрасный день

окончательно растворится, соединившись с океаном, из которого некогда родилась.

Это — жизнь в музыке, которую я постиг, прокатившись первый раз, как помешанный, по вестибюлям и коридорам, ведущим от внешнего к внутреннему. И к ней меня приблизила не борьба, не отчаянная активность, не жизнь в самой гуще человечества. Ведь все это было только

282

хаотическим движением в замкнутом круге, граница которого хотя и расширялась, но не пересекалась с областью, о которой я веду речь. Круг судьбы мог быть разорван в любой момент, поскольку каждой точкой границы соприкасался с реальным миром, и требовалась лишь искра вдохновения, чтобы случилось чудо: конькобежец превратился в пловца, а пловец— в скалу. Скала — это только образ действия, останавливающий напрасное вращение круга и приводящий к полному самосознанию. А полное самосознание — это поистине неисчерпаемый океан, отдающийся солнцу и луне и *вобравший* в себя луну и солнце. Все, что есть, родилось из этого безграничного океана света, даже ночь.

Иногда, в безустанном верчении колеса, я приходил к смутному осознанию необходимости совершить прыжок. Вырваться из заведенного — вот мысль, делающая свободным. Стать чем-то большим, стать *другим,* мне — самому выдающемуся помешанному на земле! Быть просто человеком на этой планете наскучило. Наскучило побеждать, даже зло. Изучать добро — удивительно, потому что это бодрит, живит, обновляет. Но просто *быть —* еще удивительнее, потому что это не имеет конца и требует демонстраций. Быть — это музыка, это профанация тишины в интересах тишины, это вне добра и зла. Музыка — это проявление деятельности без действия. Это — акт чистого творчества, когда плывешь сам по себе. Музыка ни подгоняет, ни защищает, ни ищет, ни объясняет. Музыка — это бесшумный звук, создаваемый пловцом в океане самосознания. Это награда, которую каждый дает себе сам. Это дар божества, а божеством становятся, перестав думать о Боге. Это — авгур божества, а божеством станет каждый в особый час, когда все, что есть, *будет* за пределами воображаемого.

КОДА

Не так давно я еще гулял по улицам Нью-Йорка Добрый старый Бродвей. Была ночь, и небо было по-восточному синим, как расписной потолок ресторана *«Пагода»* рю де Бабилон. У меня вздрогнуло в штанах. Это произошло как раз на том месте, где мы впервые встретились. Я постоял там, глядя на красные фонари. Музыка звучала как всегда: легко, пряно, чарующе. Мне было одиноко, хотя

вокруг — миллионы людей. Я стоял там и не мог думать о теое. я думал о книге, которую сейчас пишу, книга стала Для меня важнее, чем ты, важнее, чем все, что случилось с

283

нами. Будет ли она правдой, только правдой и ничем, кроме правды? Да поможет мне Бог. Снова смешавшись с толпой, я мучился этим вопросом. Уже несколько лет пытаюсь поведать эту историю, а вопрос о правде все время довлеет как кошмар. Время от времени я рассказывал знакомым нашу жизнь во всех подробностях и всегда говорил правду. Но правда тоже бывает ложью. Одной правды недостаточно. Правда — это только сердцевина неисчерпаемого единства.

Помню, когда мы расстались в первый раз, мысль о единстве захватила меня. Покидая меня, она сделала вид, а может, действительно верила, что это необходимо для нашего благополучия. В душе я знал: таким образом она пытается освободиться от меня, но я был слишком несмел, чтобы признаться себе в этом. Однако, когда я понял, что она может жить без меня хотя бы некоторое время, правда, которую я отказывался признать, начала беспокоить меня все сильней. Такой боли я никогда не испытывал прежде, но эта боль врачевала. Когда я полностью выдохся, когда одиночество дошло до того, что уже не могло ранить больней, меня осенило: а ведь эта невыносимая правда должна быть заключена во что-то более грандиозное, чем рамки личного горя, а иначе не жить. Я почувствовал, как незаметно произошел переход в другую область, более упругого и эластичного свойства, которую не разрушит даже самая страшная правда. Я засел за письмо к ней, информирующее о том, как я, страшась мысли ее потерять, решил написать книгу о ней, книгу, которая сделает ее бессмертной. Я сказал: это будет книга, не виданная прежде. Я писал и писал в неком экстазе, а потом вдруг отложил перо и спросил себя: почему мне так хорошо?

Проходя мимо танцевального зала и размышляя о книге, я вдруг понял, что наша жизнь подошла к концу, что задуманная книга — не более чем могильный холм над ней и надо мной, принадлежавшим ей. Это случилось не так давно, но даже после этого я продолжал писать. Почему это так трудно? Почему? Потому что идея «конца»

невыносима.

Истина кроется в знании конца, неумолимого и безжалостного. Мы можем узнать правду и принять конец, или можем отказаться от знания и ни умереть, ни родиться заново. Так можно жить вечно, жить в отрицании, столь же прочно и полно или столь же рассеянно и отрывочно, как атом. Но если мы пойдем по такому пути, даже атомная

284

вечность не приведет ни к чему, и вся вселенная разлетится на части.

Уже несколько лет я пытаюсь поведать эту историю; с каждой новой попыткой выбираю новый путь. Я словно исследователь, который, отправляясь в кругосветное плавание, считает излишним взять с собой компас. Более того, я так давно мечтаю об этой повести, что она стала похожа на огромный укрепленный город, а я, мечтающий о ней так давно, нахожусь вне городских стен, брожу скитальцем от одних городских ворот к другим, не имея сил войти. А город, где находится моя повесть, отвергает меня. Всегда в поле зрения, тем не менее, он недостижим: нечто вроде крепости-призрака, плывущего в облаках. С высоких зубчатых стен устремляются вниз стаи белых лебедей, образуя устойчивый клин. На своих голубовато-белых крыльях они уносят мечты, ослепившие мой взор. Я в растерянности сучу ногами: как только нахожу опору, тут же теряю ее. Я бесцельно скитаюсь, стараясь нащупать прочную, непоколебимую опору, откуда мог бы охватить взглядом свою жизнь, но позади лежит лишь неразбериха перепутанных тропинок, дающих кругаля, неверных, словно судорожная побежка обезглавленного цыпленка.

Всякий раз, пытаясь объяснить необычный оборот, который приняла моя жизнь, и возвращаясь, как водится, к первопричине, я неизбежно вспоминаю о своей первой любви. То была странная, мазохистская любовь, смешная и трагическая одновременно. Я, наверное, всего раза два или три поцеловал ее поцелуем, который хранят про запас для богини. Может быть, несколько раз мы оставались наедине. И уж наверняка она не догадывалась, что я больше года хожу каждый вечер мимо ее дома в надежде мельком увидеть ее в окне. Каждый вечер, поужинав, я вставал из-за стола и отправлялся в долгий путь, приводивший к ее дому. Когда я проходил мимо, ее ни разу не было у окна, а задержаться и подождать у меня не хватало мужества. Я шел вперед, потом возвращался, потом опять шел вперед, и опять назад, но ни разу не спрятался поблизости. Почему я не написал ей? Почему не позвал? Помню, как-то раз я набрался смелости и пригласил ее в театр. Я зашел за ней домой с букетиком фиалок, это первый и единственный случай, когда я дарил женщине цветы. Выходя из театра, она уронила цветы, и я по рассеянности наступил на них. Я просил оставить их на тротуаре, но она настояла на том, чтобы их собрать. Я не мог думать ни о чем, кроме своей неуклюжести, только много лет спустя я понял смысл

улыбки, которую она мне подарила, нагнувшись за фиалками,

285

Ничего у нас не вышло. В конце концов я от нее уехал. На самом деле я уезжал от другой женщины, но за день до отъезда решил зайти к ней. До вечера еще было далеко, и она вышла в палисадник. К тому времени она уже была помолвлена с другим и казалась счастливой, но, как ни слеп я был, а все же видел, что она только делает вид. Стоило мне сказать одно лишь слово, и, уверен, она разорвала бы помолвку и, может быть, даже уехала бы со мной. Я же предпочел наказать себя, беззаботно попрощался с ней и пошел по улице, словно неживой.

На следующее утро я отправился на Западное побережье, твердо решив начать новую жизнь. С новой жизнью тоже ничего не вышло. Я оказался в конце концов на ранчо в Чула-Виста и несчастнее меня, видимо, не было людей на всей планете. Там осталась девушка, которую я любил, *здесь* была женщина, которую я от всего сердца жалел. Я жил с ней два года, с этой женщиной, а казалось — всю жизнь. Мне было двадцать один, ей — тридцать шесть. Всякий раз, глядя на нее, я думал: вот мне будет тридцать, а ей — сорок пять, когда мне станет сорок — ей будет пятьдесят пять, когда мне — пятьдесят, ей — шестьдесят пять. На ее лице были морщинки у глаз, морщинки от смеха, но все равно морщинки. Когда я целовал ее, они увеличивались десятикратно. Она была смешливая, но глаза у нее были печальные, очень печальные. Армянские глаза. Волосы, от природы рыжие, она обесцвечивала перекисью водорода. В остальном она была прелестна: тело Венеры, душа Венеры, терпимая, любящая, благодарная, какой и должна быть женщина, *разве что старше меня на пятнадцать лет.* Эти пятнадцать лет разницы сводили меня с ума. Когда я шел рядом с ней, думал лишь об одном:

а что будет лет через десять? Или: на сколько лет она сейчас выглядит? Кажусь ли я достаточно зрелым для нее? Когда мы возвращались в дом, все вставало на свои места. Поднимаясь по лестнице, я щекотал ее, от этого она тихо ржала, как лошадка. Если на кровати уже расположился ее сын, парень почти моего возраста, мы прикрывали дверь в комнату и запирались в кухне. Она ложилась на узкий кухонный стол, а я уж как-нибудь

пристраивался. Это было дивно. А еще удивительнее то, что всякий раз при этом я повторял себе: *это в последний раз, завтра же со всем этим будет кончено!* А после, ведь она служила дворником, я отправлялся в подвал и вместо нее катал бочки с золой. По утрам, когда ее сын уходил на работу, я карабкался на крышу и проветривал постельное белье. И у нее, и у сына был туберкулез... Иногда обходилось без сцен на столе. Иногда безнадежность хватала меня за гор-

286

ло, тогда я одевался и уходил. И время от времени забывал возвращаться. Тогда я чувствовал себя несчастнее, чем раньше, потому что знал: она ждет меня и ее большие печальные глаза устремлены вдаль. И я возвращался как человек, у которого есть долг. Ложился на кровать, а она ласкала меня; я изучал морщинки у ее глаз и корни ее волос, где пробивалась рыжина. Лежа так, я часто думал о той, другой, которую любил, думал: вот бы она лежала рядом со мной... Те долгие прогулки я совершал триста шестьдесят пять дней в году! — и вновь повторял их в мыслях, лежа рядом с другой женщиной. Сколько раз с той поры я прокручивал в голове эти прогулки! Самые грустные, унылые, мрачные, бесцветные, безобразные улицы, когда-либо созданные человеком! В душе отзывалось болью мысленное повторение тех прогулок, тех улиц, тех несбывшихся надежд. Есть окно, да нет Мелизанды; сад тоже есть, да нет блеска золота. Прохожу опять и опять:

окно всегда пусто. Низко висит вечерняя звезда; появляется Тристан*, потом Фиделио", а потом Оберон*. Гидроголовая собака лает во всю мочь, и хотя поблизости нет болот, отовсюду раздается кваканье лягушек. Те же дома, те же трамвайные пути, все то же. Она прячется за занавеской, она ждет, когда я пройду мимо, она делает то или делает это... но нет ее том, нет, нет, нет. Это — великая опера или шарманка? Это Амато, раздувающий золотые легкие; это — «Рубайат», это — Эверест, это — безлунная ночь, это — плач на рассвете; это — мальчик, начинающий верить; это — кот в сапогах; это — Мауна-Лоа*; это — лиса или каракуль; это не имеет ни времени, ни места, ни конца, это начинается вновь и вновь, под сердцем, в глубине глотки, в подошвах, и почему не один только раз, ради Бога, только раз, только тень или шелест занавески, или дыхание на оконном стекле, хоть что-то хоть раз, пусть ложь, лишь бы прекратилась боль, прекратились эти прогулки туда, сюда, туда-сюда... Идем домой. Те же дома, те же фонари, то же все. Я прохожу мимо собственного дома, мимо кладбища, мимо газохранилища, мимо трамвайного парка, мимо резервуара и выхожу на открытую местность. Я сижу на обочине, уткнув голову в ладони, и плачу. Несчастный парень, я не могу сделать так, чтобы сердце билось до разрыва вен. Мне хотелось бы задохнуться от горя, но вместо этого я становлюсь камнем.

Тем временем другая ждет. Я вижу, как она сидит на низком крыльце, глаза огромны и печальны, лицо бледно и дрожит от нетерпения. Я думал, жалость зовет меня вернуться, но теперь я иду к ней и вижу в ее глазах выражение, смысл которого не понимаю, знаю только, что мы

287

войдем в дом и ляжем вместе, потом она встанет полуплача, полусмеясь и будет тихо наблюдать за мной: как я шевелюсь во сне. И никогда не спросит, что же меня мучит, никогда, никогда, ведь она боится узнать правду. Я не *люблю тебя!* Услышит ли она мои крик? *Я не люблю тебя!* Я кричу вновь и вновь, плотно сжав губы, с ненавистью в сердце, с отчаянием, с безнадежной силой. Но эти слова так никогда и не сорвутся с моих губ. Я смотрю на нее и молчу. Я не могу. Время, бесконечное время в наших руках, и ничто его не заполнит, кроме лжи.

Хорошо, не буду повторять всю свою жизнь вплоть до рокового момента — это слишком долго и очень больно. Кроме того, разве моя жизнь хоть как-то предвещала этот кульминационный момент? Сомневаюсь. Думаю, было очень много возможностей начать все сызнова, но я утратил и силу, и веру. Вечером, о котором хочу рассказать, я вышел один. Я вышел из прежней жизни и вошел в новую. И это не потребовало ни малейшего усилия. Тогда мне было тридцать. У меня была жена, ребенок и то, что называется «завидным положением». Таковы факты, а факты ничего не значат. Правда состоит в том, что мое желание было так велико, что стало реальностью. В такой момент то, чем занимается человек, не имеет большого значения, в расчет принимается только то, что он собой *представляет.* В такой момент человек становится ангелом. Именно это случилось со мной: *я стал ангелом..* В ангеле ценится не так чистота, как умение парить. Ангел может нарушить заведенный порядок когда и где угодно и обрести небо; он имеет право опускаться до самых низменных материй и в любой момент выпутаться. В тот вечер, о котором я веду речь, мне стало это понятно окончательно. Я был чист и нечеловечен, беспристрастен и крылат. Я лишился прошлого и не думал о будущем. Я не поддавался экстазу. Когда я вышел из офиса, сложил крылья и спрятал их под пиджаком.

Танцевальный зал находился как раз напротив бокового входа в театр, где я частенько

бывал вместо того, чтобы искать работу. Это — театральная улица, когда-то я проводил тут многие часы, мечтая до самозабвения. Вся театральная жизнь Нью-Йорка сконцентрировалась на этой единственной улице. Это — Бродвей, это — успех, слава, помпа, блеск, асбестовый занавес и дырка в нем. Сидя у входа в театр, я обычно не отрываясь наблюдал за танцевальным залом напротив и вереницей красных фонарей, загоравшихся даже светлыми летними вечерами. В каждом окне стоял работающий вентилятор, словно бы подгонявший музыку наружу, где она разбивалась о грохот улич-
288

ного движения. С другой стороны танцевального зала, в подвальчике, расположилась общественная уборная, где я тоже частенько бывал, рассчитывая завести знакомство с женщиной. Над уборной, на улице, стоял киоск с иностранными газетами и журналами; один вид этих газет на незнакомых языках был достаточен, чтобы выбить меня на весь день из колеи.

Без малейших колебаний я поднялся по лестнице и вошел в танцевальное заведение, направившись к кассе, где сидел грек по имени Ник с катушкой билетиков. Подобно писсуару внизу и лестницы в театре, рука этого грека кажется мне теперь чем-то отдельным и обособленным — громадная волосатая лапа людоеда, позаимствованная из какой-то страшной скандинавской сказки. Это была говорящая рука. Она произносила: «Сегодня мисс Мары не будет», или «Да, мисс Мара будет сегодня поздно вечером». Эту руку я видел во сне ребенком, лежа в комнате с зарешеченным окошечком. В лихорадочном сне окошко это вдруг освещалось, чтобы стал виден великан-людоед, сотрясавший решетку. Волосатое чудовище навещало меня каждую ночь, хваталось за решетку и скрежетало зубами. Я просыпался в холодном поту, в доме — темнота, в комнате — тишина.

Стоя на танцевальной площадке, я замечаю, что она идет ко мне. Она идет на всех парусах, большое круглое лицо балансирует на длинной столбчатой шее. Я вижу женщину не то восемнадцати, не то тридцати лет с иссиня-черными волосами и большим белым лицом, круглым белым лицом, на котором ослепительно сверкают глаза. На ней строгий синий костюм. Я и теперь хорошо помню полноту ее тела и то, что волосы у нее были прямые и блестящие, расчесанные на пробор, как у мужчины. Помню, какую она мне подарила улыбку: знающую, загадочную, неуловимую — улыбку, которая неожиданно возникла, словно порыв ветра.

Все ее существо сконцентрировалось в лице. Мне бы хватило взять к себе домой одну ее голову: я положил бы ее рядом с собой на подушку и всю ночь любил бы. Рот и глаза в открытом состоянии излучали все ее существо. То было свечение неведомого происхождения, из центра, глубоко укрытого под землей. Я не мог ни о чем думать, кроме лица, странной, утробной улыбки и ее всевластной непосредственности. Улыбка была столь быстротечна и переменчива, что походила на блеск лезвия. Эту улыбку и это лицо она ^высоко несла на длинной белой шее, на крепкой лебединой шее медиума, на шее потерянной и проклятой.

Я стою на углу под красными фонарями, ожидая, когда
289

она выйдет. Около двух часов ночи заканчивается ее работа. Я стою на Бродвее с цветком в петлице и чувствую себя совершенно свободным и одиноким. Почти весь вечер мы проговорили о Стриндберге, о его героине по имени Генриетта. Я слушал с таким напряженным вниманием, что чуть не впал в транс. Это было, словно мы пустились вскачь, не окончив фразу, — в противоположных направлениях. Генриетта! Только упомянув это имя, она начала говорить о себе, не забывая, впрочем, и о Генриетте: Генриетта была связана с ней долгой невидимой нитью, которой она незаметно управляла движением пальца, будто уличный разносчик, что стоит несколько в стороне от черной скатерти на тротуаре с видимым безразличием к маленькому устройству, подпрыгивающему на скатерти, но выдающий себя судорожным подергиванием мизинца, к которому привязана темная нить. Казалось, она говорила:

Генриетта — это я, это — мое. Она хотела, чтобы я поверил, будто Генриетта была действительно воплощением зла. Она произнесла это так естественно, так невинно, с почти сверхчеловеческим бесстрастием — как же мне было поверить в то, что она разумела? Я мог лишь улыбнуться, словно показывая ей, что поверил.

Вдруг чувствую — подходит. Оборачиваюсь. Да, вот она приближается на полном ходу, на всех парусах, глаза блестят. Сейчас я впервые замечаю, какая у нее поступь! Она идет вперед как птица, человеческая птица, закутанная в мягкий мех. Машина работает на всех парах. Мне хочется выкрикнуть нечто такое, от чего весь мир заткнет уши. Что за походка! Это не походка, это — скольжение. Высокая, статная, полнотелая, знающая себе цену, она прорезает дым, грохот и свечение красных фонарей, словно королева-мать всего сонма вавилонских блудниц. Это происходит на углу Бродвея, как раз напротив уборной. Бродвей — ее королевство. Это — Бродвей, это — Нью-Йорк, это — Америка.

Она — Америка на ногах, с крыльями и признаками пола. Она — это хотение, очищение и отвращение с примесью соляной кислоты, опия и измельченного оникса. Она обладает значительностью и изобилием: это Америка с плюсами и минусами, а с обеих сторон — океан. Впервые в жизни континент бьет меня со всей силой, бьет между глаз. Это — Америка с бизонами и без бизонов, Америка — оселок надежды и разочарования. Все, что создало Америку, создало и ее: кости, кровь, мышцы, глазные яблоки, походку, осанку, самоуверенность, бесстыдство и вздорность. Она почти подчинила меня. Ее полное лицо сияет как кальций. Большая мягкая горжетка соскальзывает с плеч. Она не замечает. Наверное, она не обратит

290

внимание, даже если с нее упадет вся одежда. Ей все по фигу. Это — Америка, будто удар молнии в стеклянный пакгауз полнокровной истерии. Амуррика, мех не мех, туфли не туфли, Амуррика, наложенным платежом. *И убирайся, ублюдок, прежде чем. мы тебя кокнем!* Меня пробирает до нутра, я весь трясусь. Что-то одолевает меня, и от этого не увильнуть. Она высоко несет голову, проходя сквозь остекление витрины. Если бы задержалась хоть на секунду, если бы дала мне перевести дух. Но нет, не дарует она мне ни мгновения. Быстрая, неумолимая, властная, будто сама судьба, она настигает меня, и ее меч пронзает меня насквозь.

Она берет меня за руку и не отпускает. Я без страха иду рядом. Во мне мерцают звезды; во мне — синий небесный свод, там, где еще мгновение назад колотился мотор.

Такую минуту можно ждать всю жизнь. Женщина, которую никогда не надеялся встретить, сидит напротив и говорит, точь-в-точь как та, из мечты. Но самое странное:

раньше я не понимал, что мечтаю именно о такой. Все прошлое подобно долгому сну, который был бы забыт, если бы не сновидения. А сновидение тоже можно забыть, если бы не память, а память — в крови, а кровь подобна океану, уносящему прочь все, кроме того, что ново и осязаемее самой жизни: реальности.

Мы сидим в кабинете китайского ресторанчика через дорогу. Краем глаза я замечаю пробег световых букв по небу. Она все еще ведет речь о Генриетте или, быть может, о себе. Ее маленькая черная шляпка, сумочка и горжетка лежат рядом на скамейке. Ежеминутно она закуривает новую сигарету, которая сгорает, пока она говорит. В ее речи нет ни начала, ни конца: речь возникает как пламя и охватывает все, до чего ни коснется. Как и откуда она начинает— никто не знает. Она то в середине долгого повествования, то — начинает по новой, но всегда то же самое. Ее речь бесформенна как сон: нет ни желобов, ни стен, ни выходов, ни пауз. Мне кажется, я тону в глубоких тенетах слов, а потом мучительно лезу вверх, смотрю ей в глаза, пытаясь найти в них отражение смысла ее слов, но не могу найти ничего, кроме своего отражения, барахтающегося в глубоком колодце. Она только о себе и говорит, а я не могу составить ни малейшего представления об ее бытии. Она наклоняется ко мне, поставив локти на стол, и ее слова захлестывают меня, накатывает волна за волной, и все же не остается ничего, что можно было бы охватить умом. Она говорит об отце, о странной жизни, которую они вели на краю Шервудского леса, где она родилась, так,

291

во всяком случае, она *говорила,* или это она вновь о Генриетте, или это Достоевский? — не уверен — и все равно вдруг понимаю, что она уже не говорит обо всем том, а ведет речь о мужчине, который провожал ее как-то вечером до дому, а когда они прощались у дверей, он вдруг нагнулся и задрал ей подол. Она выдерживает короткую паузу, как будто для того, чтобы я понял, о чем она начала говорить. Я в замешательстве смотрю на нее. Не могу понять, каким образом мы подобрались к такой теме. Что *за мужчина?* Что он ей говорил? Я прошу продолжать в надежде, что все выяснится само собой, но нет, она опять устремляется вперед и теперь, как будто бы, этот мужчина уже умер, суицид, а она пытается дать мне понять, какой это был для нее страшный удар, но на самом деле ее распирает гордость тем, что она довела этого человека до самоубийства. Я не могу представить его мертвым. Я думаю только о том, как он стоял у нее на пороге и задирал ей подол, человек без имени, но живой и вечно соединенный с наклоном вниз и актом задирания подола. Есть еще один мужчина, ее отец, он представляется мне с поводьями в руках на дрожках, иногда — в маленьком кабачке под Веной, даже не в самом кабачке, а на крыше — запускает воздушного змея ради собственного удовольствия. Я не различаю этого человека, ее отца, и человека, в которого она была без памяти влюблена. О последнем она предпочла бы не говорить, но все равно приходится к нему возвращаться. Я не вполне уверен, но это не тот человек, что задрал ей подол, и уж точно я не уверен в том, что это не он покончил с собой. Может быть, это тот, человек, о котором она говорила в начале ужина. Когда мы только сели к столу, она довольно возбужденно заговорила о человеке, которого заметила в кафетерии. Она даже назвала его имя, но я тут же его забыл. Однако помню, она призналась, что жила с ним и что он делал нечто, не понравившееся ей — она не сказала, что — и поэтому она бросила его, без объяснений.

Когда мы уже сидели в кабинете, она еще дрожала... Некоторое время мне было не по себе. Может быть, она лгала в каждом слове! Не заурядно лгала, а что-то похуже, неописуемое! Правду таким образом не говорят, лишь изредка, особенно если ты уверен, что никогда впредь не встретишься с этим человеком. Иногда совершенно незнакомому расскажешь то, что не решился бы поведать самому близкому другу. Это — будто пойти спать посреди вечеринки; ты так занят самим собой, что идешь спать. А глубоко заснув, начинаешь с кем-то говорить. Он все время был с тобой в одной комнате, и поэтому понимает тебя с полуслова. А может быть, этот человек

292

тоже идет спать или уже спит, вот почему его так легко повстречать, и он ничего не скажет тревожного, и ты знаешь, что все, сказанное тобой, правдиво и что ты — полностью проснулся, и нет другой реальности, кроме этого состояния, когда бодрствуешь во сне. Никогда прежде я так не бодрствовал и не спал так глубоко в одно и то же время. Если бы людоед моих детских сновидений наяву выставил решетку и схватил меня за руку, я умер бы со страху и, следовательно, был бы теперь уже мертв, то есть, уснул бы вечным сном, а значит, слился с простором, и уже ничто не показалось бы странным и небывалым, даже если того, что случилось, — не бывает. Это случилось очень давно и, должно быть, ночью. А то, что происходит сейчас, тоже происходит очень давно, ночью, и это правда не более, чем сон про людоеда и решетку, преградившую ему путь, только сейчас решетка сломана и она, которой страшусь, держит меня за руку, и нет никакой разницы между тем, чего я боялся, и чего боюсь, поскольку я спал, а теперь полностью проснулся во сне, и больше нечего бояться, нечего ждать, не на что надеяться, кроме того, что есть и что не знает конца.

Она хочет идти. Идти... Опять ее от бедра, скользящая походка. Так же она скользила, выходя ко мне из танцевального зала. Опять ее слова: «Неожиданно, без всякой подготовки, он наклонился и задрал мне подол». Она накидывает на плечи горжетку; лицо на фоне черной шляпки — как камея. Круглое полное лицо, славянские скулы. Как я мог о нем мечтать, никогда не видев? Как мог я знать, что она встанет вот так, близкая и полная, лицо бледное, полное и цветущее как магнолия? Я дрожу, когда ее полное бедро касается меня. Она кажется даже чуть выше меня, хотя на самом деле не выше. Это потому что высоко держит голову. Она не замечает, куда идет. Она идет *поверх* предметов, все дальше и дальше, широко раскрыв устремленные в пространство глаза. Ни прошлого, ни будущего. Даже настоящее сомнительно. Кажется, душа оставила ее, а тело рвется вперед, шея основательная и полная, такая же белая, как лицо, такая же полная, как лицо. Речь льется, голос грудной и негромкий. Без начала и конца. Я не ощущаю времени, не ощущаю его течения, лишь то, что времени нет. У нее в гортани есть матка, связанная с маткой в брюхе. Такси у тротуара, а она по-прежнему жует космологическую жвачку внешнего это. Я снимаю переговорную трубу и связываюсь с двойной маткой. Алло, это ты? Поедем. И Бог с ними — с такси, лодками, поездами, катерами;

побережьями, клопами, шоссе, проселками, руинами, пирсами, пристанями; кюветами, дельтами, аллигаторами, кро-

293

кодилами, разговорами, и еще разговорами, потом опять дорогами и пылью в глазах, радугами, ливнями, завтраками, кремами, лосьонами. Когда все дороги исхожены и осталась только пыль, поднятая нашими неутомимыми ногами, — сохраняется память о твоем широком полном лице, таком белом, и о крупном рте с полуприкрытыми свежими губами, а зубы белы как мел, и каждый — совершенство. В этом воспоминании ничего не дано изменить — ведь оно, как и твои зубы, — совершенно.

Сегодня воскресенье. Первое воскресенье моей новой жизни. Я ношу стойку, будто ошейник, который ты на меня надела. Впереди — безбрежная новая жизнь. Она начинается со дня отдыха. Я лежу на спине, на широком зеленом листе, и наблюдаю, как солнце устремляется в твою утробу. Какое от этого бурление! Специально для меня, да? Вот если бы в тебя вошло миллион солнц! Если бы я мог лежать здесь вечно, наслаждаясь звездным фейерверком!

Лежу, подвешенный над поверхностью луны. Мир пребывает в утробном трансе: внутреннее и внешнее эго — в равновесии. Ты мне обещала так много, что все равно, если даже не сбудется. Мне кажется, я сплю в черной утробе секса 25 960 лет. Мне кажется, я перебрал 365 лет. Но в любом случае я теперь там, где надо, среди своих, и то, что позади — хорошо, и то, что впереди — хорошо. Ты пришла ко мне, обрядившись Венерой, но ты — Лилит, я знаю. Вся моя жизнь — это баланс, я буду наслаждаться этой роскошью всего один день. Завтра качну весы. Завтра равновесию наступит конец, и даже если я обрету его вновь, оно будет в крови, а не в звездах. Именно это ты мне так щедро обещала. Мне надо пообещать все, я слишком долго жил в тени. Я хочу света и чистоты, и солнечного огня. Хочу быть обманутым и разочарованным, чтобы стать последним

звеном небесного треугольника и не улетать все время с этой планеты в космос. Я верю всему, что ты говоришь, но знаю: все обернется по-другому. Ты для меня— звезда и западня, камень на чаше весов, судья с завязанными глазами, дыра, куда падают, тропинка, по которой идут, стрела и крест. Доныне я двигался против солнца; впредь пойду в двух направлениях, как солнце и как луна. Впредь принимаю два пола, два полушария, две кожи, всего по два. Впредь буду обоеполым и двуединым. Все, что случится, — случится дважды. Я буду словно гость на этой земле, принимающий ее благословение и уносящий ее дары. Не буду ни служить, ни господствовать. Буду искать конец в самом себе.

Вновь смотрю на солнце, впервые — не щурясь. Кро-

294

ваво-красное. По крыше ходят люди. Мне видно все над горизонтом. Сегодня — словно Светлое Воскресение. Смерть позади. И рождение. Теперь буду жить среди житейских недугов. Буду жить духовной жизнью пигмея, тайной жизнью маленького человечка в зарослях кустарника. Внутреннее и внешнее поменялось местами. Равновесие больше не цель — весы надо качнуть. Дай мне вновь услышать обещание солнца, которое ты несешь в себе. Дай хоть на один день поверить, пока я отдыхаю на открытом воздухе, что солнце приносит хорошие вести. Дай мне гнить в роскоши, пока солнце устремляется в твою утробу. Я без колебаний верю твоей лжи. Ты для меня — олицетворение зла, губитель души, магарани ночи. Прибей свою утробу к моей стене, чтобы я мог вспоминать тебя. Мы должны уйти. Завтра, завтра...

Сентябрь 1938, Вилла Сера, Париж

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Тропик Козерога» был написан в так называемый парижский период творчества Генри Миллера и впервые увидел свет в 1939 году в издательстве «Олимпия-пресс», которое специализировалось на выпуске англоязычной литературы, по тем или иным причинам не разрешенной к публикации на родине автора. Так, в этом издательстве впервые увидел свет роман «Лолита» Владимира Набокова.

«Тропик Козерога» повествует о жизни писателя в Нью-Йорке двадцатых годов, непосредственно перед отъездом в Париж в 1930 году. Таким образом, хронологически действие романа предшествует событиям, описанным в «Тропике Рака». И хотя главного героя не стоит во всем отождествлять с автором, все же отметим, что жена и ребенок, о которых часто упоминается в романе— это Беатрис Уикенс, ставшая в 1917 году первой женой писателя, и их дочь Барбара.

Перевод выполнен по нью-йоркскому изданию 1961 года компании «Гроув-пресс». Настоящие примечания никоим образом не претендуют на текстологический комментарий. Так, например, некоторые фрагменты могут напомнить читателю поэзию Уолта Уитмена, большим ценителем которого Миллер оставался всю жизнь. О влиянии на его творчество французских поэтов-сюрреалистов и писателей, создавших стиль «нового романа», не приходится и говорить, поскольку Миллер уделил этому большое место в «Тропике Козерога», не забыв подчеркнуть, что он выработал собственные принципы художества еще до того, как познакомился с произведениями дадаистов и сюрреалистов.

В примечаниях не отражены отдаленные реминисценции — обертоны, которыми пронизана ткань романа. На наш взгляд, излишне также разъяснять все географические названия, большинство из которых относится к Нью-Йорку

296

и окрестностям. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что эти примечания далеко не во всем удовлетворят взыскательного читателя, хотя бы потому, что не все удалось вскрыть в этом чрезвычайно сложном и насыщенном аллюзиями тексте.

Стр. 27. *Абеляр,* Пьер (1079—1142) — французский богослов и писатель. Эпиграф взят из вступления к «Истории моих бедствий».

Стр. 30. *Чолжош,* Леон — террорист, поляк по происхождению. Смертельно ранил во время приема в Белом Доме президента США Маккинли.

Стр. 32. *Христианская Наука —* течение в протестантизме, основанное в 1866 году Мэри Бейкер Эдди под названием «Церковь Христа». Последователи Христианской Науки считают, что грехи, болезни и смерть можно преодолеть, когда достигнуто полное понимание божественных принципов учения Христа.

Стр. 38. *Даннемора, Синг-Синг —* названия американских тюрем для рецидивистов.

Стр. 39. *Остров Статен —* один из островов Нью-Йорк-Сити, на котором расположен район Ричмонд.

Стр. 39. *...как по Хойлю... —* образное речение, соответствующее русскому «аккурат». Первоначально было принято в игре в вист и связано с именем Эдмонда Х о й л я (1672—1769), впервые систематизировавшего правила и написавшего несколько руководств по

карточной игре.

Стр. 40. *Христианский союз молодых людей* (англ. аббревиатура YMCA) — международная организация, занимающаяся благотворительной и издательской деятельностью.

Стр. 44. *«Дель-Монико»* — фешенебельный нью-йоркский ресторан.

Стр. 44. *Алжер,* Горацио (1832—1899) — плодовитый американский беллетрист, автор «романов успеха», герои которых из низов продвигаются на вершину социальной лестницы. Несмотря на стереотипность сюжетов и характеров и убожество стиля, книги Алжера, повествовавшие о воплощении «американской мечты», были чрезвычайно популярны у массового читателя второй половины XIX века.

297

Стр. 48. ...новое *небо и новую землю... —* Откровение Иоанна Богослова, 21, 1.

Стр. 52. *Босх,* Иероним (сер. XV в.—ок. 1516) — голландский живописец. Миллер имеет в виду его картину «Исцеление от глупости» (ок. 1490, масло по дереву, 48x35 см., Прадо), на которой изображен шарлатан, удаляющий камень из черепа больного в присутствии монаха и монахини.

Стр. 53. *Калигари —* главный герой фильма немецкого режиссера-экспрессиониста Р. Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919), врач-садист.

Стр. 59. *...Сакре-Кер —* собор Сердца Христова на Монмартре, построенный в конце XIX века в ознаменование победы над парижскими коммунарами на средства, пожертвованные горожанами. Внушительное сооружение, одна из доминант панорамы Парижа.

Стр. 59. *Проспект-парк —* городской парк в Бруклине.

Стр. 59. ... что *сегодня я здесь... —* Миллер пишет эту книгу, уже будучи в Париже (ср. стр. 71, 75, 283 и др.).

Стр. 59. *Лоуренс,* Дэвид Герберт (1885—1930) — английский писатель, жил также в Мексике и в США. Его творчество было новаторским в свое время и послужило художественной иллюстрацией фрейдизма.

Стр. 60. По *Бруклинскому мосту* Миллер, проживавший в Бруклине, ежедневно ездил на службу в контору, которая располагалась в центральной части Нью-Йорка, на Манхзттене.

Стр. 61. *...точно Сатана слетел с небес... —* ср. с описанием Люцифера у Данте («Ад»).

Стр. 61. *Пустыня Мохаве —* бесплодная, выжженная солнцем местность на востоке Калифорнии, между Сьерра-Невада и долиной реки Колорадо.

Стр. 62. *Мафусаил —* один из ветхозаветных патриархов, прожил по преданию девятьсот шестьдесят девять лет (Книга Бытия, 5).

Стр. 62. *Кварто —* издание в четвертую долю листа, небольшого формата, в отличие от фолианта.

298

Стр. 62. *Большая Берта —* длинноствольная пушка, из которой германская армия вела обстрел Парижа в 1914 году.

Стр. 63. *В начале было Слово... —* Евангелие от Иоанна, 1, 1.

Стр. 68. *Атака Сан-Хуан-Хилла* была предпринята Первой кавалерийской добровольческой бригадой во главе с Т е д д и во время Испано-американской войны 1898 года.

Стр. 68. Взрыв американского линкора *«Мейн»* в акватории гаванского порта 15 февраля 1898 года привел к гибели 266 человек и послужил поводом для начала Испано-американской войны.

Стр. 68. Дьюи, Джордж (1837—1917) — коммодор флота США, герой войны 1898 года.

Стр. 68. *Шлей,* Уинфрид Скотт (1839—1911) — во время войны 1898 года командующий эскадрой.

Стр. 68. *Сампсон*, Уильям Томас (1840—1902) — адмирал флота США, командующий Северо-атлантической эскадрой, осуществлявшей блокаду Кубы в Испано-американской войне, принимал участие в атаке Сан-Хуана, Пуэрто-Рико.

Стр. 69. *...нахожусь под влиянием Сатурна—* — вопреки собственному утверждению, Миллер не однажды обращается к подобной символике, что дает основание предполагать, что он был неплохо знаком с астрологической литературой. Согласно мифологическому символизму, Сатурн-Кронос — создатель индивидуальных душ, бог циклов и правитель Золотого Века, т. е. начала каждого цикла. Он, наряду с Юпитером и Марсом, является одной из трех планет, относящихся к сознанию, символизирует процесс, который ведет к пониманию своего «Я» (см., например, Д. Радьяр, «Астрология личности»). В связи с названием романа не лишне упомянуть, что Сатурн управляет

Козерогом.

Стр. 69. *Кришнамурти* — одно из воплощений Вишну, бога-хранителя троицы индуизма, т. н. тримурти.

Стр. 75. *Лишь несколько месяцев назад стоял я на улицах Нью-Йорка...* — см. примечание к стр. 59.

299

Стр. 76. *Эмпайр Стейт Билдцнг* — в то время самое высокое здание в Нью-Йорке.

Стр. 78. *Болезнь Паркинсона* связана с поражением головного мозга, выражается в дрожании и скованности мышц.

Стр. 84. *Пиндар* (522—442 до н. э.) — древнегреческий поэт, классик хоровой лирики.

Стр. 84. *«Рубайат»* — книга четверостиший персидского поэта и философа Омара Хайяма (ок. 1040—1123).

Стр. 84. *«Так говорил Заратустра»* — сочинение немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900), написанное в 1883—1891 годах.

Стр. 85. *Франко-борта* — включение расходов по погрузке и транспортировке товара в его стоимость.

Стр. 88. *Трентон* — очевидно, родной ^город Кронски, находится в 100 км к юго-западу от Нью-Йорка.

Стр. 88. *«Восстание ангелов»* — роман Анатоля Франса.

Стр. 88. *Генерал Иволгин* — персонаж романа Ф. Достоевского «Идиот».

Стр. 91. *«Кольцо Нибелунга»* — оперная тетралогия немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883), включающая музыкальные драмы «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов».

Стр. 98. ...вереница *моржей, шествующих к устричньш отмелям...* — реминисценция из баллады о Морже и устрицах, вошедшей в книгу Льюиса Кэрролла «Зазеркалье».

Стр. 98. *Св. Фома Аквинский* (1226—1274) — богослов, систематизатор ортодоксальной схоластики. В 1567 году признан пятым «учителем церкви». Основные труды: «Сумма теологии» и «Сумма против язычников».

Стр. 98. *Кеч* — двухмачтовое парусное судно.

Стр. 98. *Таможня* расположена на южной оконечности Манхэттена, от нее начинается Бродвей.

Стр. 99. *Сандрар,* Блез (1887—1961) — поэт группы кубистов, настоящее имя — Федерик Заузер. В 1910 году

300

познакомился с Гийомом Аполлинером. Объездил весь мир и испробовал множество профессий. Автор сборника «19 эластических стихотворений» (1919).

Стр. 103. *Лупонарцй* — название публичных домов в Древнем Риме.

Стр. 104. *Д.П. Морганана* — намеренно искаженная фамилия американского миллиардера и мецената Дж. П. Моргана.

Стр. 105. ... *отплясывает несльгханную румбу Плюющегося Дьявола...* — Плюющийся Дьявол — название водоворотов при слиянии рек Гудзон и Ист-ривер, у южной оконечности Манхэттена.

Стр. 105. *Канталупа* — сорт дыни.

Стр. 133. *«Айша»* — жизнеописание главной жены пророка Мухаммеда, за которого она была выдана в девять лет.

Стр. 133. *Уйда* — псевдоним Марии-Луизы де ла Рами (1839—1908) — английской романистки, чьи произведения пользовались огромным успехом у невзыскательного читателя.

Стр. 134. *Оберон* — король эльфов и фей, персонаж средневекового романа «Гюон Бордоский», ставший впоследствии героем многих литературных и музыкальных произведений.

Стр. 135. ...*этот дивный новый мир...* — слова Миранды из трагикомедии Шекспира «Буря», акт V, сцена I.

Стр. 148. *Мелвилл,* Герман (1819—1891) — классик американской литературы.

Стр. 150. ...как *Иона сидел во чреве кита...* — см. Книгу пророка Ионы, гл. 2.

Стр. 150. ...в *земле Нод он искал Каина и Авеля...* — убив брата своего Авеля, «пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема». (Книга Бытия,

4, 16.)

Стр. 153. *...«помышления плоти»...* — ср. Послание к римлянам св. апостола Павла, гл. 8.

Стр. 154. *...ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...* — Откровение Иоанна Богослова, 21, 1.

301

Стр. 154. *...«побеждающий наследует все...» —* там же, стих 8.

Стр. 155. *Понсе де Леон,* Хуан (1460—1521) — испанский конкистадор, основатель Сан-Хуана, завоеватель Флориды. Существует известная легенда, согласно которой Понсе де Леон мечтал открыть волшебный источник юности. Смертельно раненный индейцами, он успел возвратиться на Кубу, где и скончался от ран.

Стр. 164. *Джон До и его супруга Эмми До... —* в английском судебном делопроизводстве до середины прошлого века было принято именовать истца Джоном До. Теперь это стало образным синонимом слова «имярек».

Стр. 164. *Панкратион —* в древней Греции — единоборство, разновидность кулачного боя.

Стр. 165. *Буцефал,* или Букефал — знаменитый конь Александра Македонского. Очевидно, Миллера привлек в этом имени корень «фаллос», что подчеркнуто намеренным искажением написания.

Стр. 165. *Функ*, Исаак Кауфман (1839—1912) — американский издатель, основавший в 1877 году совместно с Адамом *Вагналлом* фирму. Выпустили «Стандартный словарь английского языка».

Стр. 167. *Pons Asinorum —* «мост ослов», так в средневековых европейских изданиях «Начал» Евклида называлась теорема о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника.

Стр. 167. ...приносившие *к утру А или В... —* в американской школе приняты три положительные оценки: А, В и С.

Стр. 169. *Кулебрская выемка —* самое узкое место Панамского канала.

Стр. 169. *Иксион —* царь лапифов, посягнувший на супругу Зевса Геру. В наказание был обречен вращаться привязанным к огненному колесу в подземном царстве.

Стр. 171. *Святые трясуны,* или вертуны — изуверская религиозная секта, члены которой живут, в основном, на территории канадской провинции Саскачеван. В отправлении обрядов доходят до таких крайних проявлений, как необузданные пляски, катание по земле и т. п.

302

Стр. 171. *Манихеццы* — последователи дуалистического учения, возникшего в III веке на Ближнем Востоке. Основным догматом их веры было то, что в основе мира лежат доброе и злое начала. Манихейцы проповедовали аскетизм и безбрачие. Основатель учения — иранский проповедник Мани (216—276).

Стр. 171. *Маккормик,* Сайрус (1809—1884) — американский изобретатель.

Стр. 172. *Авессалом. —* третий сын библейского царя Давида, знаменитый своей красотой (см. 2-ю Книгу Царств, **13,** 20—39).

Стр. 172. *Блаженный Августин* (354—130) — виднейший представитель западной патристики, совокупности теологических доктрин христианских мыслителей. Автор книг «Исповедь» и «О граде Божием».

Стр. 172. *Скатология* — все, что относится к фекалиям, экскрементам.

Стр. 173. *Окарина* — небольшой духовой музыкальный инструмент, сделанный из фарфора и формой напоминающий яйцо.

Стр. 173. *Апис* — священный бык древних египтян, бог плодородия. Верили, что ритуальный бег Алиса оплодотворяет поля. В Мемфисе для содержания быка — живого воплощения Алиса было построено капище Апейон. Умершего Аписа бальзамировали и хоронили в специальном склепе, т. н. Серапеуме.

Стр. 173. *Шпенглер,* Освальд (1880—1936) — немецкий философ-идеалист. В главном своем сочинении «Закат Европы» утверждает взгляд на историю как на сменяющие друг друга циклы, состоящие из возникновения, расцвета и гибели отдельных, замкнутых культур.

Стр. 176. *Герундив —* в латинском языке: причастие будущего времени в страдательном залоге.

Стр. 176. *Ганс Касторп —* герой романа Томаса Манна «волшебная гора».

Стр. 178. *Это и есть тот самый танец смерти, о котором так часто возвещали? —* Миллер, вероятно, имеет в виду цикл гравюр Ганса Гольбейна (1497—1543) «Пляска

303

Смерти», на которых смерть в виде скелета присутствует на всех этапах человеческой жизни (ср. также стр. 176, 177).

Стр. 178. *Маркиз Куинсбери,* сэр Джон Шолто Дуглас, в 1865 году разработал правила бокса.

Стр. 179. *«Гадибук» —* пьеса Соломона Анского (наст. имя — Соломон Раппапорт), впервые поставленная в 1920 году в театре «Габима» при вахтанговской студили. Театр успешно гастролировал, в том числе и в Нью-Йорке, и после мирового турне обосновался в Тель-Авиве. Пьеса «Гадибук» написана на основе еврейского фольклора, речь в ней

идет о трагических последствиях ритуала освобождения души девушки от духа ее умершего возлюбленного.

Стр. 181. *«Блумингдейл» —* крупнейший нью-йоркский универсальный магазин.

Стр. 192. *Бергсон,* Анри (1859—1941) — французский философ-идеалист; основным понятием его философии является интуиция как непосредственное познание действительности вне чувственности и разума.

Стр. 203. *Дхарма — в* индуизме: одна из четырех целей человеческой жизни, чувство долга, добродетель, мораль, правопорядок.

Стр. 203. *Карма —* в буддизме: совокупность поступков человека в одном из его последовательных воплощений, определяющая его судьбу в следующем воплощении.

Стр. 206. ...митрацческого бьиса... — М и т р а — древ-неперсидсхий бог солнца и света — согласно преданию, убил быка, пролитая кровь которого увеличила плодородие земли и жизненную силу растений.

Стр. 206. *Кантаридин —* вещество, выделяемое из кантарид, шпанских мушек. Обладает сильным возбуждающим действием.

Стр. 206. *Мандибула —* нижняя челюсть насекомых.

Стр. 206. *Мандола —* в буддизме: символ духовной силы и модель вселенной. Самая распространенная схема ман-далы представляет собой квадрат, вписанный в крут.

Стр. 206. *Суккубы* — в средневековой европейской мифологии — демоны-соблазнительницы. Ключевая женская

304

фигура в романе не случайно названа Марой. Согласно низшей мифологии народов Европы, Мара — это суккуб, воплощение ночного кошмара.

Стр. 216. *Братья Фрателлини —* известная в прошлом династия клоунов.

Стр. 216. *Черни,* Карел (1791—1857) — пианист-педагог, автор сборников упражнений для развития техники фортепианной игры.

Стр. 217. *«Полет колесницы Бен-Гура» —* тема из кинофильма У. Уайлера, снятого по мотивам романа американского писателя Льюиса Уоллеса «Бен-Гур» («Добрый Бог»). В русском переводе выходил также под названием «Во время оно. Легенда о Христе».

Стр. 217. *Витгенштейн,* Людвиг (1889—1951) — философ-идеалист, основоположник логического позитивизма.

Стр. 217. *Сассафрас —* ценная порода дерева.

Стр. 217. *...Урана, прочно ставшего на якорь в Седьмом доме... —* в астрологии гороскоп делится на двенадцать секторов по тридцать градусов в каждом, которые называются домами. Седьмой дом связан с супружеством, а Уран олицетворяет мужское начало.

Стр. 218. *Я ненавидел Моцарта... —* не этим ли объясняется пародийное искажение «Маленькой ночной серенады» и «Турецкого марша», которые с легкой руки юного пианиста превратились в «Пожарную тревогу» и «Военный марш»?

Стр. 218. *Уайтхед,* Альфред Норт (1861—1947) — философ и математик, сотрудничавший с Бретраном Расселом; вместе написали книгу «Принципы математики».

Стр. 218. *Джинс*, сэр Джеймс Хопвуд (1877—1946) — английский математик и астроном.

Стр. 218. *Эддингтон,* сэр Артур Стенли (1882—1944) — английский астроном, изучавший движение звезд с точки зрения релятивистской теории.

Стр. 218. *Фробениус,* Лео (1873—1938) — немецкий этнолог, специалист по доисторическому искусству Океании и Западной Африки. Изучал главным образом наскальную живопись. В 1910 году провозгласил существование дока-

305

зательств того, что легендарный континент Атлантида действительно погрузился в мировой океан.

Стр. 218. *Шпрудель —* подземный карловарский источник геотермальной минеральной воды. Над источником сооружена колоннада Шпрудель.

Стр. 218. *Святая Хильдегарда* (1098—1179) — германская аббатиса, названная Сивиллой Рейна за мистический дар пророчества и визионерства. Настоятельница бенедиктинского монастыря. Официально не была канонизирована, однако в римско-католической мартирологии ее день отмечается 17 сентября.

Стр. 218. *Святая Бригитта* (1303—1373) — основоположница ордена Бригитты, по национальности шведка, была замужем, родила восемь детей, а в зрелом возрасте имела откровение свыше. Канонизирована. Ее день отмечается 8 октября.

Стр. 224. *Гросс*, Георг (1893—1959) — немецкий художник и рисовальщик, примыкавший к экспрессионистам.

Стр.239. *...ты читал эту его байку про Атлантиду? —* об Атлантиде Платон говорит в диалогах «Тимей» и «Критий». Атлантида, по его словам, представляла собой большой остров к западу от Африки, погибший в один день от землетрясения.

Стр. 246. *...вовсю творили дадаисты, на смену которым вскоре пришли сюрреалисты...* — В период между 1910 и 1920 годами в искусстве происходят события, предсказавшие путь развития сюрреализма. Дадаизм, или. искусство дада, — это дерзкое, полное эскапад «антитворчество», возникшее в обстановке первой мировой войны. По словам основоположника этого направления Тристана Тцара, понятие «дада» он открыл 8 февраля 1916 года в кафе «Терраса» в Цюрихе. «Дада» — так дети во Франции называют игрушечную лошадку. Дадаизм по мысли его создателя был призван разрушить все традиции и этические ценности в искусстве. Дада-группы образовались в Нью-Йорке, Барселоне, Кельне, Берлине, Ганновере и Париже. Впоследствии течение распалось на французский сюрреализм и немецкий экспрессионизм.

Стр. 250. *Снисходительны будьте, когда захотите сравнить...* — фрагмент стихотворения французского поэта Гийома Аполлинера «Рыжекудрая красавица» (1918).

306

Стр. 250. *Блез Сандрар, Жак Ваше, Луи Арагон...* — перечисляются имена деятелей искусства, в той или иной степени испытавших влияние дадаизма и сюрреализма. С 1922 года вокруг писателя и теоретика искусства Андре Боетона группируются единомышленники, среди которых художник Макс Эрнст, поэты Рене Кревель и Луи Арагон. О Рене Кревеле и, в частности, истории его кончины написал Сальвадор Дали (см. Сальвадор Дали. Дневник одного гения. «Искусство», 1991, стр. 114—121). Кревель покончил с собой в 1935 году в возрасте тридцати пяти лет. Он отравился газом, прежде прикрепив к левому запястью кусочек картона, на котором четко вывел прописными буквами: РЕНЕ КРЕВЕЛЬ, свидетельствует Дали.

Стр. 250. *...«манифест господина Антипирина»...* — ср. со стихотворением Тристана Тцара «Первое небесное приключение господина Антипирина» (1916).

Стр. 250. *Манифест Дада 1918 года...* — в 1924 году Тцара подытожил творческие искания своих единомышленников, выпустив свод «Семь Манифестов Дада».

Стр. 252. *...эксцентричные выходки Жарри...* — Жарри, Альфред (1873—1907) — деятель французского театра, прославившийся своими эскападами. Автор сборника стихотворений.

Стр. 252. *Андре Сольмон* — псевдоним Андре Бретона.

Стр. 252. *Зуни* — резервация индейцев пуэбло в штате Нью-Мексико. В 30-е годы насчитывала около трех тысяч человек. Индейцы пуэбло миролюбивы и глубоко религиозны.

Стр. 253. *...десятичная система Дьюи...* — система организации каталогов и архивного дела, разработана в 1876 году Мелвилом Дьюи (1851—1931).

Стр. 253. *Монтерлан, Анри де* — французский писатель, автор романов «Бестиарии», «Холостяки» и др. Сторонник крайнего эгоцентризма в духе Ницше.

Стр. 253. *Брумммель,* Георг Брайан (1778—1840) — английский модельер, ставший при поддержке принца Уэльс-кого Георга IV законодателем моды. Впоследствии фортуна от него отвернулась, он был заключен в долговую тюрьму, а скончался в приюте, разбитый параличом.

307

Стр. 254. *...не ведал, что почти за полсотни лет до того безумный еврей в Южной Америке дал жизнь таким... фразам...* — имеется в виду Лотреамон (наст. имя Исидор Дюкас, 1846—1870) — сын сотрудника французского посольства в Монтевидео, в четырнадцать лет появившийся в Париже, где издал «Песни Мальдорора», ставшие одним из источников эстетических исканий сюрреалистов. Умер при невыясненных, загадочных обстоятельствах.

Стр. 254. *...француз, тогда еще мальчик...* — Артаур Рембо (1854—1891). Далее — строки из его стихотворений «Что говорят поэту о цветах» и «Разгул голода».

Стр. 255. *Того хотят там, где исполнить властны...* — Данте, «Ад», III, 95—96.

Стр. 255. *Мейстер Экхарт* (1260—1327) — немецкий философ, монах-доминиканец, магистр теологии. С 1307 года — викарий ордена в Богемии. Создатель доктрины божественной природы и отношения Бога к человеческим созданиям.

Стр. 256. *Фор, Эли* (1873—1937) — французский историк и эссеист, автор многотомной «Истории искусств» (1909—1921).

Стр. 259. *Вурлитцер* — электрический музыкальный инструмент.

Стр. 260. *...во всю долготу и широту ее...* — ср. Книга Бытия, 13, 17.

Стр. 269. *...се, человек...* — ср. Евангелие от Иоанна, 19, 5.

Стр. 270. *Гамсун,* Кнут (1859—1952) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии.

Стр. 271. *«Антихрист»* — сочинение Ницше, написанное в 1888 году. Это эссе — первая часть основной работы «Переоценка всех ценностей».

Стр. 272. *Герр Нагель* — главный персонаж романа Гамсуна «Мистерии» (1892).

Стр. 274. *...во время дневной спячки...* — значимый образ, восходящий к «снам наяву»

— так сюрреалисты называли свои собрания. Слово «sommeils» позаимствовано у Гийома Аполлинера. Миллер на страницах романа не раз обращается к обыгрыванию этого мотива.

308

Стр. 275. *«Входящие, не оставляйте упований!» —* ср. с надписью над входом в Ад у Данте: «Входящие, оставьте упованья!» (пер. М. Л. Лозинского).

Стр. 275. *Гатлинг,* Ричард (1818—1903) — американский конструктор стрелкового оружия, изобретатель пулемета.

Стр. 279. *...пизонской башней, орудием бичевания, машиной храпа и птеродактилем в человеческой плоти... —* имеется в виду семья Миллера: он сам, мать, отец и сестра.

Стр. 280. *Один —* в древнескандинавской мифологии:

верховный бог, покровитель душ погибших воинов.

Стр. 280. *Вотан* (Водан) — саксонский бог, соответствующий скандинавскому Одину.

Стр. 280. *Парсифаль —* герой романов цикла о короле Артуре, сильный, но малообразованный рыцарь.

Стр. 280. *Альфред Великий* (848—900) — король Уэссекса, сильнейшего из англосаксонских королевств.

Стр. 280. *Фридрих Великий* (1712—1786) — прусский король и полководец.

Стр. 280. Ганзейская лига — торговый и политический союз северонемецких городов. Существовала с XIII века до 1699 года.

Стр. 280. *Битва при Гастингсе —* произошла 14 октября 1066 года, в результате чего нормандские войска во главе с Вильгельмом Завоевателем одержали победу над англосаксами.

Стр. 280. *Битва при Фермопилах —* сражение в горном проходе Фермопилы в период, греко-персидских войн, состоялось в 480 году до н. э. Отряд в 300 спартанцев был обойден и уничтожен персами.

Стр. 280. *1492, 1776, 1812* — видимо, годы открытия Америки Колумбом, провозглашения независимости Соединенных Штатов и Отечественной войны, хотя в эти годы произошло немало других важных событий.

Стр. 280. *Фаррагут,* Дэвид Глазго (1801—1870) — военачальник времен Гражданской войны в США 1861—1865 годов.

Стр. 280. *Атака Пиккета —* в битве при Геттисберге 3 июля 1862 года бригада южан под командованием Джорд-

309

жа Эдварда Пиккета (1825—1875) совершила бросок на Семитри-Хилл, потеряла при этом 3393 из 4500 солдат и офицеров, но все-таки водрузила над крепостью противника боевые знамена Юга, которые, однако, развевались там лишь мгновение. Северяне выиграли битву при Геттисберге, что определило их окончательную победу в Гражданской войне.

Стр. 280. *Легкая Бригада —* кавалерийское соединение под командованием Джеймса Томаса Кардигана, первым в Крымской войне 1853—1856 годов достигшее огневой линии русских войск.

Стр. 287. Не люк *давно я еще гулял по* улицам *Нью-Йорка... —* см. примечание к стр. 59.

Стр. 287. *Мелизанда —* главная женская партия оперы Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (1902), написанной по мотивам одноименной драмы Мориса Метерлинка.

Стр. 287. *Тристан —* герой музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» (1859).

Стр. 287. *Фиделио, Оберон —* герои одноименных опер Л. Бетховена и К. Вебера.

Стр. 287. *Мауна-Лоа* — вулкан на острове Гавайи, чрезвычайно активный в XIX и XX веках. Знаменит тем, что это — крупнейшая в мире гора по объему. Высота — 4170 метров.

Стр. 294. *Лилит* — праматерь человечества, по преданию — первая жена Адама, впоследствии превратившаяся в демона. По другой версии — соблазнительница Адама. В еврейской демонологии Лилит — это суккуб (см. 'примечание к стр. 206).

Андрей Куприн

Повести

ТИХИЕ ДНИ В КЛИШИ (Quiet Days in Clichy)

ПОВЕСТЬ

Я пишу эти строки, а за окнами сгущаются сумерки и люди одеваются к обеду. Позади пасмурный день; такие часто бывают в Париже. Выйдя проветриться, я невольно задумался о разительном контрасте между этими двумя городами — Парижем и Нью-Йорком. Одно и то же время суток, одна и та же погода; и, однако, что общего между самим этим словом «пасмурный» и тем непередаваемым gris*, тем оттенком сероватой жемчужности, какой способен пробудить в голове француза целый мир чувств и ассоциаций? Вечность тому назад, бродя по парижским улицам и разглядывая акварели, выставленные в витринах, я поразился тотальному отсутствию в них того, что принято именовать «пейновским серым». Упоминаю об этом, ибо общеизвестно, что Париж — город, существующий преимущественно в палитре серых тонов. Упоминаю об этом, ибо американцы, когда дело доходит до акварели, с неутомимостью одержимых прибегают к этому искусственному, «заказному» пейновскому тону. Во Франции гамма оттенков серого практически неисчерпаема; в Нью-Йорке же утрачиваешь самое представление о ее живописном эффекте.

Бесконечное разнообразие серых тонов, каким одаривает Париж, пришло мне на память при мысли о том, как поменялись на противоположные все мои непроизвольные жизненные рефлексы. В то самое время, когда там я готовился совершить ежедневный променад по улицам и площадям, здесь я испытываю потребность вернуться домой и, наглухо затворившись, сесть писать. Там мой рабочий день был бы уже окончен и мною двигало бы инстинктивное стремление смешаться с праздной толпой. Здесь толпа, растерявшая всю свою яркость, всю примечательность, все богатство индивидуальных оттенков, замыкает меня в самом себе, загоняет в стены моей берлоги в попытке выжать из собственного воображения те крупицы отсутствующего бытия, какие, упав и перемешавшись, быть может, сло-

* gris — серое *(фр.).*

жатся в мягкую, естественную гамму жемчужно-серого, без которой немыслимо насыщенное, гармоничное существование. Окинуть взглядом Сакр-Кер в день, подобный сегодняшнему, в час, подобный теперешнему, с любой точки на улице Лафитт — одного этого мне было достаточно, чтобы раствориться в блаженстве. Так и случалось, когда я бродил без крошки во рту и без крыши над головой. А здесь, будь у меня хоть тысяча долларов в кармане, сколько ни ищи, не отыщешь вида, какой был бы способен пробудить во мне муку радостного'самозабвенья.

В Париже пасмурными днями я нередко оказывался в окрестностях Плас Клиши на Монмартре. Оттуда в сторону Обервилье тянется нескончаемая череда кафе, ресторанчиков, театриков, кинозалов, галантерейных лавок, отелей и борделей. Это парижский Бродвей: он соответствует длинному пролету между Сорок .второй и Пятьдесят третьей улицами. Однако Бродвей подгоняет, ослепляет, ошеломляет, он не дает прохожему возможности остановиться, присесть, перевести дух. Монмартр же расслаблен, замедлен, потерт по всем швам, он как бы не обращает на вас внимания; в нем не столько явного блеска, сколько тайного соблазна; он не сверкает огнем, а тлеет невидимым пламенем. Бродвей может заинтриговать, озадачить, подчас поразить, но в нем нет горения, нет внутреннего накала;

он весь— ярко расцвеченная витрина с гипсовыми манекенами, картина райского блаженства для рекламных агентов. Монмартр тускл, приземлен, беспризорен, откровенно порочен, продажен, вульгарен. Он скорее отталкивающ, нежели привлекателен, но, как и сам порок, заразительно отталкивающ. Он — прибежище населенных почти без исключения проститутками, сутенерами, ворами и шулерами маленьких баров, которые, даже если вы прекрасно осведомлены о их существовании, в назначенный срок втянут вас внутрь хищными щупальцами, чтобы сделать вас своей очередной жертвой. На узких улочках, протянувшихся вдоль бульвара, гнездятся отели, самый вид которых столь зловещ, что вызывает у вас дрожь; и тем не менее рано или поздно наверняка придет день, когда вы проведете в одном из них .ночь, а может и неделю, а может и месяц. Может статься, вы так привяжетесь к этим местам, что, однажды проснувшись, обнаружите, что вся ваша жизнь неприметно потекла в другую сторону и то, что казалось вам грязным, постыдным, убогим, вдруг предстанет нежным, дорогим, зачаровывающим. Этим тайным очарованием Монмартр в огромной мере обязан, как я подозреваю, процветающей на его тротуарах неприкрытой торговле сексом.

Миллер Генри. Избранное: Романы; Повести; Эссе; Рассказы; Автобиография: Пер. с англ. / Сост. Н. Пальцев. — Вильнюс: Полина, 1995. — 749 с., илл. (Короли литературных скандалов).

Секс (в особенности, когда он поставлен на ком-
314
мерческие рельсы) отнюдь не романтичен; однако он испускает острый и ностальгический аромат, в конечном счете несравненно более волнующий и соблазнительный, нежели сияющая всеми рекламными огнями Веселая Белая Дорога. Ведь было бы нелепостью отрицать то самоочевидное обстоятельство, что сексуальная жизнь наиболее интенсивна при неярком, рассеянном освещении; ее естественная среда — полумрак, а не слепящее свечение неоновых трубок.

На углу Плас Клиши нашло себе место «Кафе Веплер», на долгое время оно-то и сделалось излюбленным пунктом моего обитания. За его столиками, в зале и на террасе, я просиживал часами в любую пору суток и в любую погоду. Я знал его наизусть, как книгу. Лица его официантов, метрдотелей, кассиров, шлюх, завсегдатаев, даже туалетных работников навсегда отложились в моей памяти, как иллюстрации в книге, которую перечитываешь каждый день. Помню-, впервые я переступил его порог в 1928 году, вместе с женой; помню, какой шок я пережил, увидев, как на один из маленьких столиков на террасе всем телом обрушилась вдребезги напившаяся шлюха, и никто не обратил на это ни малейшего внимания. В тот раз меня .ужаснуло и озадачило стоическое безразличие французов к такого рода происшествиям; признаюсь, озадачивает оно меня и поныне, несмотря на все хорошие черты, какие мне довелось со временем в них открыть. *«Неважно, это всего-навсего шлюха... Она* пьяна». До сих пор я слышу эти слова. И, слыша их, до сих пор содрогаюсь. Между тем есть в таком отношении к вещам что-то безошибочно французское; и не приучить себя принимать его как данность значит смириться с тем, что твое пребывание во Франции будет и впредь чревато не самыми приятными сюрпризами.

В пасмурные дни, когда везде, за исключением больших кафе, бывало холодновато, я пристрастился проводить в «Кафе Веплер» часок-другой перед ужином. Источником розоватого свечения, плывшего по залу, была небольшая группка шлюх, обычно кантовавшихся у входа. По мере того, как они рассредоточивались среди посетителей, воздух в кафе не только теплел и розовел, но начинал благоухать. Они порхали в сгущавшихся сумерках, как надушенные светлячки. Те, кому не выпало на долю обзавестись клиентом, медленно выплывали на улицу, а спустя непродолжительное время возвращались, занимая прежние места. Возникали на пороге и новые, свеженакрашенные и исполненные готовности поработать во славу своей профессии. Уголок, где они обычно толклись, как две капли воды походил на биржу — биржу сексуальных услуг, на
315
которой, как и на всех других, случались периоды подъема и спада. Дождливые дни, мне казалось, как правило, приносили удачу их сословию. В дождливый день, если верить поговорке, можно заниматься только одной из двух вещей;

что до шлюх, то они, как известно, на карты времени не теряют.

На исходе одного из таких дождливых дней мне довелось приметить в «Кафе Веплер» новенькую. До этого я ходил по магазинам, и мои руки отягощали книги и граммофонные пластинки. Должно быть, в тот день мне пришло из Штатов нежданное вспомоществование; во всяком случае, несмотря на все сделанные покупки, в карманах у меня еще оставалось несколько сотен франков. Я присел в непосредственном соседстве с биржей, под прицелом стайки изголодавшихся, изготовившихся к действию шлюх, чьего повышенного внимания мне, впрочем, без труда удалось избежать, всецело сосредоточившись на поразительной красавице, занявшей отдельный столик на почтительном расстоянии. Я принял ее за интересную молодую особу, назначившую здесь свидание своему любовнику и, возможно, прибывшую раньше времени. Заказанный ею аперитив оставался почти не тронутым. Мужчин, дефилировавших' мимо столика, она окидывала ровным, прямым взглядом, но это абсолютно ничего не означало: у француженок не принято отводить глаза, подобно англичанкам или американкам. Со знанием дела, но не демонстрируя видимого стремления привлечь к себе внимание, она неспешно оглядывалась крутом, всем видом выражая уверенность в себе, выдержку и спокойное достоинство. Она медлила. Медлил и я. Мне не терпелось узнать, кого она дожидается. Прошло полчаса, в течение которых мне удалось не один раз перехватить и остановить на себе ее взгляд, и тут меня осенило: все дело в том, чтобы завязать с ней контакт, не погрешив против этикета, принятого в данном кругу. Обычно стоило сделать знак головой или рукой, и девушка — при условии, что она была тем, за кого вы ее принимали, — вставала из-за стола и подсаживалась к вам. Но вот эта: она действительно шлюха или?.. Я по-прежнему терялся в догадках. Слишком уж, на мой взгляд, она была изысканна, слишком безукоризненна в платье и манерах, одним словом — слишком хороша для этого ремесла.

Когда ко мне вновь подошел официант, я кивнул в ее сторону и осведомился, знает ли

он ее. Он ответил отрицательно; тогда я попросил передать, что приглашаю ее за мой стол. Он исполнял мое поручение, а я следил за выражением ее лица. Увидев, что она мимолетно улыбнулась и

316

с легким кивком обернулась в моем направлении, я весь просиял, ожидая, что она тут же поднимется и подойдет. Однако, продолжая сидеть, она вновь улыбнулась, еще мимолетнее, а затем повернулась лицом к окну и, казалось, вся ушла в мечтательное созерцание открывшегося за ним вида. Из вежливости я выждал еще чуть-чуть, а потом, удостоверившись, что она и не помышляет сдвинуться с места, встал и направился к ее столу. Она отреагировала вполне дружелюбно, будто я и впрямь был с ней знаком, однако от меня не укрылось, что она слегка покраснела; на ее лице было написано минутное замешательство. Все еще не до конца уверенный в том, что делаю то, что нужно, я тем не менее сел, заказал выпивку и безотлагательно попытался вовлечь ее в разговор. Тембр ее голоса — хорошо поставленного, грудного и довольно низкого — действовал на меня еще сильнее, нежели ее улыбка. Тембр женщины, которая счастлива уже тем, что существует, не привыкла обуздывать свои желания и аппетиты, столь же бескорыстна, сколь неимуща и которая готова на что угодно, лишь бы отстоять за собой ту малую толику свободы, какая еще в ее распоряжении. Это был голос дарительницы, растратчицы, мотовки; он взывал скорее к диафрагме, нежели к сердцу.

Не скрою, меня несколько удивило, когда она мягко попеняла мне на то, что и погрешил против правил, с места в карьер устремившись к ее столу. «Мне казалось, вы поняли, что я подойду к вам снаружи, — сказала она. — Я пыталась объяснить вам это знаками». Ее вовсе не радовала перспектива обзавестись здесь репутацией прожженной профессионалки, откровенно поведала мне она. Извинившись за бестактность, я предложил тут же пропасть с ее горизонта — жест вежливости, который она оценила как должное, пожав мне руку и одарив обворожительной улыбкой.

— Что это за вещи? — спросила она, быстро сменив тему и демонстрируя светский интерес к сверткам, которые, садясь, я положил на стол.

— Так, ничего особенного, пластинки и книги, — ответил я тоном, подразумевавшим, что в них вряд ли может найтись что-то примечательное для нее.

— Книги французских авторов? — переспросила она, и в ее голосе, мне показалось, внезапно прозвучала нотка искренней заинтересованности.

— Да, — отозвался я, — но боюсь, по большей части скучных. Пруста, Селина, Эли Фора... Вы бы наверняка предпочли Мориса Декобра, не правда ли?

317

— Покажите мне пожалуйста. Мне любопытно, кого из французских писателей читают американцы.

Развернув одну из упаковок, я подал ей томик Эли Фора. Это был «Танец над огнем и водой». Улыбаясь, она листала страницы, задерживаясь то на одном, то на другом месте и время от времени издавая негромкие возгласы. Затем с решительным видом закрыла книгу и положила на стол, не снимая руки с переплета.

— Хватит, поговорим о чем-нибудь более интересном. — И, после минутной паузы, добавила: — Celui-la, est 11 vraiment franciais?*

— Un vrai de vrai**, — ответил я, ухмыляясь во весь рот.

Похоже, это ее не вполне убедило.

— С одной стороны, все, казалось бы, по-французски, — размышляла она, обращаясь скорее к самой себе, — ас другой, есть здесь нечто странное... Comment dirais-je ?***

Только я собрался ответить, что прекрасно понимаю, что она имеет в виду, как вдруг моя собеседница откинулась назад, завладела моей рукой и с лукавой улыбкой, призванной добавить шарма ее непосредственности, вздохнула:

— Знаете, я ужасно ленива. Книги — у меня не хватает на них терпения. Это чересчур для моих слабеньких мозгов.

— Ну, в жизни есть масса другого, чем можно заняться, — ответил я, возвращая ей улыбку. С этими словами я опустил руку и нежно сжал ее колено. В мгновение ока ее рука накрыла мою и передвинула выше, туда, где плоть была мягче и обильнее. Затем, столь же быстро, укоряющим движением оттолкнула ее:

— Assez, nous ne sommes pas seuls ici****. Пригубив из наших бокалов, мы оба расслабились. У меня и в мыслях не было тут же брать ее на абордаж. Хотя бы потому, что мне было наслаждением вслушиваться в то, как она выговаривает слова — четко и не спеша, что не свойственно парижанкам. Она говорила на чистейшем французском, и в ушах иностранца вроде меня он отзывался музыкой сфер. Каждое слово произносила ясно, отчетливо, почти не прибегая к жаргонным выражениям. Слова сходили с ее уст томно и неторопливо, полностью

* Вот этот, он действительно француз? (фр.)

** Самый что ни на есть (фр.)
*** Ну, как бы это сказать? (фр.)
**** Довольно, мы здесь не одни (фр.)

318

обретя форму, будто прежде, чем доверить их внешнему пространству, где звук и значение так часто меняются местами, она обкатывала их во рту. Ее медлительная грация, в которой был привкус чувственности, смягчала траекторию их полета; невесомые, как клубочки пуха, они ласкали мои уши. Ее полное, тяжеловатое тело тяготело к земле, а вот в звуках, излетавших из ее горла, слышался чистый звон колокольчиков.

У меня не было более причин для колебаний относительно ее профессии. Созданная, как говорится, для *этого,* она, тем не менее, не производила впечатления прирожденной шлюхи. Я не сомневался, что она ляжет со мной в постель и запросит за это деньги; однако не это делает женщину шлюхой.

Она легонько коснулась меня рукой, и тут же, подобно дрессированному тюленю, мое мужское естество воспрянуло, воодушевленное ее ласковым поощрением.

— Имейте терпение, — пробормотала она, — преждевременно возбуждаться вредно.

— Пошли отсюда, — сказал я, подавая знак официанту.

— Да, — отозвалась она, — пойдемте куда-нибудь, где можно поговорить спокойно.

Чем меньше разговоров, тем лучше, думал я про себя, собирая свои покупки и следом за ней • продвигаясь к выходу. Бывают же на белом свете такие, подивился я, глядя, как она выплывает наружу через вращающиеся двери. Я уже видел, как она трепещет на кончике моего члена, этакий сгусток цветущей, дурманящей плоти, нуждающейся в удовлетворении и укрощении.

Ей несказанно повезло встретить такого человека, как я, невозмутимо заметила она, переходя улицу. Ведь она страшно одинока, у нее ни души знакомой в Париже. Не соглашусь ли я поводить ее по городу, показать парижские достопримечательности? Разве не забавно, что город, да что там — столицу твоей собственной страны — тебе показывает иностранец? А бывал ли я когда-нибудь в Амбуазе, в Блуа, в Туре? Как насчет того, чтобы как-нибудь отправиться туда вместе? — Ca vous plairait?*

Болтая о том, о сем, мы поравнялись с каким-то отелем, который, судя по всему, был ей хорошо знаком. — Здесь чисто и уютно, — сказала она. — А станет холодновато — в постели согреемся. — И нежно взяла меня за локоть.

В номере было уютно, как в гнездышке. Я подождал, пока принесут мыло и полотенца, выдал горничной чаевые и запер дверь на ключ. Она сняла шляпу и меховой жакет

* Хотите? *(фр.).*

319

и остановилась у окна, готовясь заключить меня в объятия. Что за дивное создание, источающее тепло и негу, точно дерево в цвету! Казалось, стоит чуть прикоснуться к ней, и из нее тут же выпадут семена. Пару секунд спустя мы начали раздеваться. Я присел на край кровати расшнуровать ботинки. Она стоя стягивала с себя одну вещь за другой. Когда я поднял глаза, она стояла в одних чулках. Стояла, не двигаясь, давая мне возможность разглядеть себя во всех деталях. Я встал и снова обнял ее, с наслаждением проводя руками по мягким складкам ее плоти. Она вынырнула из моих рук и, слегка отодвинувшись, с оттенком робости спросила, не слишком ли я разочарован.

— Разочарован? — повторил я, не веря своим ушам.:— Что ты хочешь сказать?

— Я не чересчур толста? — спросила она, опустив глаза и стыдливо воззрившись на свой пупок.

— Чересчур толста? Что за чушь, ты бесподобна. Ты вся как из Ренуара. Она покраснела.

— Откуда — откуда?— переспросила она неуверенно, похоже, впервые в жизни слыша это имя. — Ты меня разыгрываешь?

— Ладно, оставим это. Иди сюда, дай мне погладить твою шерстку.

— Подожди, сначала мне надо подмыться. — И, присев над биде, добавила: — А ты ложись. Ты ведь уже готов, не так ли?

Я быстро разделся, из вежливости вымыл свой член и нырнул в простыни. Биде стояло совсем рядом с кроватью. Покончив с омовением, она принялась вытираться тонким, стареньким полотенцем. Перегнувшись, я сгреб в горсть копну взъерошенных, еще чуть влажных волос, за которыми пряталось ее лоно. Она втолкнула меня обратно и, наклонив голову, на лету поймала мой член своим красным горячим ртом. Желая разогреть ее, я просунул палец в ее влагалище. Затем, водрузив ее на себя, дал волю главному предмету своей гордости. У нее было одно из тех влагалищ, что облегают как перчатка. Понуждаемый энергичными сокращениями ее мышц, скоро я задышал как паровоз. При

этом она не переставала лизать мою шею, подмышки, мочки ушей. Обеими руками я то приподнимал, то опускал ее, помогая безостановочному движению ее таза. Наконец, издав подавленный стон, она обрушилась на меня всем корпусом; тогда я опрокинул ее на спину, закинул ее ноги себе на плечи и вторгся в ее лоно как одержимый. Мое мужское естество исторгало из себя жидкость как из шлан-

320

га; я думал, этому не будет конца. В завершение всего, вытащив его наружу, я убедился, что пребываю в состоянии еще большей эрекции, чем вначале.

— Ca c'est quelque chose*, — сказала она, зажав в пальцах и оценивающе щупая мой член. — Ты умеешь это делать, не так ли?

Мы встали, подмылись и забрались обратно в постель. Опершись на локоть, я провел другой рукой вверх и вниз по ее телу. Когда Она в полном изнеможении, широко раскинув ноги, повернулась на спину, глаза ее поблескивали как тлеющие угли, а от каждой клеточки кожи отскакивали искорки. На протяжении бесконечно долгого времени мы не произнесли ни слова. Чиркнув спичкой, я закурил сигарету, вложил ей в рот и откинулся на спину, удовлетворенно уставившись в потолок.

— Мы еще увидимся? — решился я нарушить молчание.

— Это от тебя будет зависеть, — отозвалась она, делая глубокую затяжку. Перевернувшись отложить сигарету, а затем придвинувшись ко мне вплотную и пристально глядя мне в глаза, она вновь заговорила — с улыбкой, но серьезным тоном — своим низким, грудным голосом:

— Слушай, мне надо поговорить с тобой о важном деле. Хочу попросить тебя о большом'одолжении... У меня неприятности, крупные неприятности. Ты бы согласился помочь мне, если я попрошу?

— Само собой, — отозвался я, — но как?

— Деньгами, — ответила она тихо и просто. — Мне нужны деньги... Много. И дозарезу. Не хочу рассказывать на что. Ты уж поверь мне на слово, хорошо?

Я протянул руку и взял со стула свои брюки. Извлек из них бумажные купюры и всю мелочь, какая была в карманах, и вложил ей в ладонь.

— Вот все, что у меня есть, — сказал я. — Это все, что я могу для тебя сделать.

Не глядя она положила деньги на ночной столик и, наклонившись, поцеловала меня в лоб. — Ты гигант, — сказала она. Не разгибаясь, она смотрела мне в глаза взглядом, полным какой-то молчаливой, застенчивой признательности, затем поцеловала в губы — не страстно, но медленно, нежно, как бы стремясь вложить в поцелуй то, чего не умела выразить в словах и не решалась доверить немому языку своего тела.

* Ну и принадлежность у тебя (фр.)

321

— Не хочется сейчас об этом говорить, — сказала она, вновь откидываясь на подушку. — Je suis emue, c'est tout*. — И, чуть помедлив, добавила: — Странно, насколько иностранцы добрее соотечественников. Вы, американцы, так добры, так великодушны. Нам нужно многому у вас поучиться.

Старая история; я испытывал чуть ли не стыд за то, что волею случая еще раз оказался в роли щедрого американца. Произошла чистая случайность, пояснил я ей; если бы не эта случайность, у меня не было бы в карманах столько денег. Она ответила лишь, что это придает моему поступку, моему благородному жесту еще большую ценность.

— Француз все равно так не поступил бы, — продолжала она. — Француз бы припрятал их. Француз никогда бы не отдал все свои деньги первой встречной девушке лишь потому, что она в беде. Да он просто-напросто и не поверил бы ей. Сказал бы: «Je connais la chanson»**.

Я ничего не ответил. Это было правдой и неправдой. В конце концов, мир состоит из противоположностей, и из того, что ко времени, о котором идет речь, мне еще не довелось встретить ни одного неприжимистого француза, не следовало, что их вовсе не существует. Попробуй я рассказать ей, сколь мелочными бывали подчас мои друзья, мои собственные соотечественники, — она мне не поверит, только и всего. А добавь я к этому, что и мною самим двигало не великодушие, а что-то вроде самолюбования (ибо кто, скажите, может быть ко мне великодушнее, нежели я сам?), она, чего доброго, заключит, что я и впрямь того.

Я приник лицом к ее груди. Затем скользнул вниз и прижался губами к ее пупку. Затем спустился еще ниже, зарывшись в густую поросль ее волос. Она медленно подняла мою голову вверх и, побуждая меня занять испытанную позицию, проникла языком мне в рот. Мой член отреагировал автоматически: он вошел в нее так же легко и беспрепятственно, как трогается с места автомобиль, когда нажимаешь на стартер. У меня возникла одна из тех долгих, нескончаемых эрекций, какие сводят женщин с ума. Я обладал ею как хотел — сверху, снизу, сбоку, с намеренной, дразнящей неспешностью буравя своим инструментом содрогающиеся стенки ее штолен, безжалостно попирая его жестким

концом их колышащиеся входы. А в завершение — шутливо обрисовал им полушария ее гру-

* Слишком волнуюсь, вот и все (фр.)

** Знаю я эту песенку (фр.)

322

дей. Ее глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит

— Ты кончил? — спросила она.

— Ну нет, — отвечал я. — Сейчас самоё время попробовать еще кое-что. — И, вытащив ее из постели, водрузил на пол в позицию, наиболее удобную, чтобы, заткнув пробоину в корпусе, ликвидировать течь. Просунув руку снизу и не переставая зазывно вилять бедрами, она направила мое естество в требуемое русло. Крепко держа ее за талию, я вогнал его туда до самого основания. — Ах, ах, чудно, восхитительно, — бормотала она, вращая тазом в немыслимо ускорившемся темпе. Стремясь продлить удовольствие, я вновь извлек его на свежий воздух, игриво покалывая им ее атласные ягодицы. — Нет, нет, перестань, — взмолилась она. — Вставь его туда, вставь весь, до конца... Я больше не могу. — Снова, выгнувшись колесом и выставив зад вверх, будто вознамерившись ухватить им люстру, она просунула снизу руку и завладела моим членом. Откуда-то из середины позвоночного столба до меня донесся финальный сигнал; чуть согнув колени, я продвинул его вперед еще на четверть или полдюйма. И вдруг — хлоп! — он взорвался взмывающей в небо ракетой.

Когда мы расстались на улице возле писсуара, было уже совсем темно. Я не назначал ей свидания, не поинтересовался даже, где она живет; В случае чего, заключил я, найти ее можно будет в кафе. Когда мы уже разошлись в разные стороны, мне вдруг пришло в голову, что я так и не спросил, как ее зовут. Окликнув ее на ходу, я громко задал свой запоздалый вопрос.

— Н-И-С, — отозвалась она, выводя имя по буквам. — Нис — как город*. — Я двинулся в путь, вновь и вновь повторяя его про себя. Никогда еще не случалось мне слышать, чтобы так звали девушку. Нис... Это имя отсвечивало безупречностью граней драгоценного камня.

Поравнявшись с Плас Клиши, я внезапно ощутил, что зверски проголодался. Остановился у дверей рыбного ресторана на авеню Клиши, дегустируя вывешенное у входа меню. Мысленно я уже поглощал крабов, устриц, омаров, жареную голубую рыбу, омлет с помидорами, молодую спаржу, ломтики чеддера с хлебом, инжир и орехи, запивая все это прозрачным холодным вином. Пошарив в карманах (так я всегда делаю, входя в ресторан), я наткнулся на единственное жалкое су. — Черт, — выругался я про себя, — уж несколько-то франков она могла мне оставить.

Быстрым шагом я направился домой, надеясь, что смогу

* Nice — Ницца (фр.)

323

отыскать что-нибудь на кухне. От этого места до нашего обиталища в Клиши добрых полчаса ходу. Карл, судя по всему, уже отужинал, но не исключено, что после его трапезы на столе остались кусочки хлеба и полстакана вина. Я шел быстрее и быстрее, и с каждым шагом голод мой усиливался.

Влетев в квартиру, я с первого же взгляда понял, что Карл дома не ужинал. Проинспектировал все что мог, но нигде не обнаружил ни крошки съестного. Не было и пустых бутылок, которые всегда можно сдать. Я выскочил на улицу, вознамерившись воззвать о кредите в маленьком ресторанчике неподалеку от Плас Клиши, где часто бывал. Но только дошел до его дверей, как всю мою решимость будто рукой сняло. Так и не сунув носа внутрь, я машинально двинулся дальше, не имея в голове никакого плана действий, удерживаемый на ногах лишь нелепой надеждой, что чудом набреду на кого-либо -из своих знакомых. Без толку прослонявшись по улицам еще час, я почувствовал такую усталость, что решил вернуться домой и отправиться на боковую. На обратном пути мне вспомнилось, что в этих краях, на внешнем бульварном кольце, обитает мой приятель, эмигрант из России. Уже вечность, как мы с ним не виделись. Что, спрашивается, он подумает, если я ни с того ни с сего свалюсь ему на голову и попрошу о подаянии? Затем мне на ум пришла великолепная идея: заскочить домой, сунуть под мышку пластинки и преподнести их ему в виде подарка. Так будет легче, после вводных околичностей, напроситься на сэндвич или ломтик бисквита. Воодушевившись этой мыслью, я прибавил шагу, хотя и вымотался как собака в своих вечерних пробежках по городу.

Дома я обнаружил, что до полуночи осталось не больше четверти часа. Это открытие окончательно подкосило меня. Выбираться наружу за пропитанием уже не имело никакого смысла; все, что мне оставалось, — это лечь спать в надежде, что наутро судьба окажется благосклоннее. Пока я раздевался, меня осенила еще одна идея — не столь уж

великолепная, но все же... Выйдя на кухню, я открыл дверцу в небольшой чуланчик, в котором стоял бачок для мусора. Снял с него крышку и заглянул внутрь. На дне лежали несколько костей и засохшая хлебная горбушка. Не без труда выудил я оттуда последнюю, тщательно, стараясь, чтобы ни одна крошка не пропала втуне, соскоблил зеленый налет с подернутой плесенью корки и подставил под сильную водную струю. Затем не спеша, вживаясь во вкус каждого разбухшего волоконца, откусил. По мере того, как я уминал горбушку во рту, по моему лицу все шире ра-

324

сплывалась улыбка. Решено: утром первым делом отправлюсь в тот же магазин и попробую всучить ям книги обратно — за половину, треть, пусть даже четверть цены. Потом в точности то же проделаю с пластинками. Обе операции принесут мне как минимум десять франков. Этого вполне хватит, чтобы плотно позавтракать, а потом... Потом что-нибудь да подвернется. Утро вечера мудренее... В предвкушении будущей сытной трапезы в голове у меня основательно просветлело. Я начинал видеть юмористическую сторону своего положения. А это сучка Нис: уж она-то, наверное, набила себе живот до отвала. Вполне вероятно, вместе с любовником. Я ни минуты не сомневался в том, что она содержит любовника. И все ее «неприятности», все ее тяжкое повседневное бремя, без сомнения, сводится к тому, чтобы откармливать его на убой, покупать ему тряпки да разные разности, до которых он неравнодушен. Ну что ж, мы с ней трахнулись как боги, хоть я и остался без гроша. Мне так и виделось, как она вытирает салфеткой свои полные губы, дожевывая нежное крылышко цыпленка в белом винном соусе. Интересно, а в винах она знает толк? Вот бы махнуть с нею в Тюрень! Но такая увеселительная экскурсия наверняка влетит в кучу денег. Столько у меня никогда не будет. Никогда. Ну и ладно, помечтать-то кто запрещает? Я выпил еще стакан воды. Ставя его на место, углядел в уголке буфетной полки маленький кусочек рокфора. Эх, была бы под рукой еще одна такая же горбушка! Стремясь удостовериться, что ничто не ускользнуло от моего внимания, я снова открыл крышку мусорного бачка. На меня изумленно взирала кучка говяжьих костей, подернутых заплесневелым жиром.

И все-таки мне как воздух требовался еще кусок хлеба, и требовался безотлагательно. Может, рискнуть воззвать к соседу по этажу? Открыв входную дверь, я на цыпочках вышел на лестницу. Во всем доме царило могильное молчание. Приложив ухо к одной из дверей, я прислушался. Где-то негромко кашлянул ребенок. Мертвое дело. Даже если в квартире кто-нибудь и не спит, у них это не принято. Только не во Франции. Слыханое ли дело, чтобы француз среди ночи постучался в дверь к своему соседу попросить кусочек хлеба? — Дерьмо, — пробурчал я сквозь зубы, — подумать только, какую уйму хлеба выбросили мы в этот бачок для мусора! — Я мрачно вгрызся зубами в кусок рокфора. Старый и горький, он крошился, как штукатурка, которую обильно поливали мочой. Черт бы побрал эту шлюху Нис! Знай я, где она живет, я мог бы заявиться к ней на дом и выпросить у нее пару-тройку франков. Как я мог дойти до того, чтобы не оставить себе про запас какую-нибудь мелочь? Выбрасывать деньги на

325

проституток — то же самое, что спускать их в канализацию. Видите ли, ей очень нужно! Дозарезу! Скорее всего, для того, чтобы обзавестись очередным пеньюаром или парой шелковых трусов, которую она себе приглядела в магазинной витрине, прохаживаясь по улице.

Продолжая^ негодовать, я не на шутку распалился. И все потому, что в доме не нашлось лишнего кусочка хлеба. Кретинизм! Чистый кретинизм! В голодной эйфории мне начинали грезиться молочные коктейли с содовой и то, неизменно поражавшее меня обстоятельство, что в Америке на дне миксера всегда оставалось достаточно молока еще на стакан. О чем бы ни заходила речь, Америка всегда предлагала вам больше, чем требовалось. Раздеваясь, я ощупал собственные ребра. Они выпирали наружу, как жесткие стенки аккордеона. Что до Нис, этой упитанной сучки, то она-то явно не страдала от недоедания. Дерьмо, дерьмо, дерьмо — хватит, ложусь и отключаюсь.

Не успел я накрыться простыней, как на меня налетел новый приступ неудержимого хохота. На этот раз устрашающего. Я хохотал так, что не мог остановиться. Впечатление было такое, будто одновременно разорвалась тысяча карнавальных хлопушек. Что бы теперь ни приходило мне на ум — печальное, мрачное, даже катастрофическое, — все мое тело автоматически сотрясалось от смеха. *И все из-за маленького кусочка хлеба!* Вот фраза, с роковой неотвязностью всплывавшая у меня в мозгу и заставлявшая вновь и вновь корчиться в истерических судорогах.

Не успел я проваляться и часа в постели, как услышал, что Карл отпирает входную дверь. Он прошел прямо к себе и затворился в комнате. Мною овладело сильное искушение попросить его выйти на улицу и принести мне сэндвич и бутылку вина. Затем меня осенила более удачная мысль. Встану утром пораньше, пока он еще будет храпеть, и пройдусь по его карманам. Ворочаясь в кровати, я услышал, как он открывает свою

дверь, направляясь в ванную. При этом он подхихикивал и с кем-то перешептывался — судя по всему, с какой-то кралей, подобранной по пути домой.

Когда он вышел из ванной, я громко произнес его имя.

— Так ты не спишь? — вопросил он торжествующе. — Что с тобой, уж не заболел ли?

Я объяснил ему, что голоден, смертельно голоден. Есть ли у него при себе какая-нибудь мелочишка?

— Ни черта нет, — с готовностью отреагировал он. Но отреагировал непривычным, почти веселым тоном, будто это ровно ничего не значило.

— Ну хоть франк-то у тебя есть? — не отставал я.

326

— Да хватит тебе о франках, — отмахнулся он, присаживаясь на край кровати с видом человека, намеревающегося доверить собеседнику нечто непреходяще важное. — Сейчас у нас с тобой забота посерьезнее. Дело в том, что я привел домой девчонку. Беспризорницу. Ей не больше четырнадцати. Только что я ее трахнул. Слышишь, черт тебя побери? Надеюсь, не наградил ее ребенком. Она девственница.

— Ты хочешь сказать, она была девственницей, — уточнил я.

— Слушай, Джо, — снова заговорил он, ради пущей убедительности понижая голос, — мы обязаны что-нибудь для нее сделать. Ей некуда податься... она сбежала из дома. Когда я ее встретил, на нее смотреть было страшно. Оборванная, изголодавшаяся и немного чокнутая, как мне сначала показалось. Нет, нет, не волнуйся, она вполне нормальная. Чуть-чуть туповата, но своя в доску. Не исключено, что из приличной семьи. Совсем ребенок... ну, ты сам увидишь. Кто знает, может, я женюсь на ней, когда станет совершеннолетней. Но, как бы то ни было, денег у меня нет. Все до последнего су потратил, хотел ее накормить. Жаль, конечно, что ты остался без обеда. Эх, к нам бы тебя, Джо! Ну и нажрались же мы: устрицы, раки, креветки... Да, и прекрасное вино. Шабли урожая...

— К черту урожай! — не выдержал я. — Можешь мне не расписывать, как вы там объедались. У меня в животе пусто, как в пепельнице в доме у некурящих. Теперь нам придется кормить три рта, а у нас ни одного су.

— Не паникуй, Джо, — отозвался он, улыбаясь, — ты знаешь, у меня всегда в загажнике есть несколько франков. — Он порылся в кармане и извлек оттуда пригоршню мелочи. Всего набралось три франка шестьдесят сантимов. — Этого хватит тебе на завтрак, — сказал он. — Ну, а завтра... завтра видно будет.

В этот момент в дверь просунулась девичья голова. Карл вскочил и подвел ее к кровати. — Это Колетт,— сказал он;

я протянул ей руку. — Ну, как ты ее находишь?

Не успел я произнести ни слова, как девушка, обернувшись к нему всем корпусом, испуганным тоном спросила, на каком языке мы говорим.

— Ты что, неспособна на слух узнать английский? — отреагировал Карл, одаряя меня взглядом, призванным засвидетельствовать его правоту: говорил же я, мол, тебе, что У нее не все дома.

Зардевшись от смущения, девушка сбивчиво принялась объяснять, что ей сначала показалось, будто мы говорим по-немецки, а, быть может, по-бельгийски.

327

— По-бельгийски... Да нет такого языка на белом свете! — презрительно фыркнул Карл. — Извини, она малость туповата. Но посмотри только на эти грудки! Вполне созрели в четырнадцать-то лет, а? Она клянется, что ей семнадцать, но я ей не верю.

Колетт продолжала стоять на месте, вслушиваясь в звучание неведомого ей языка и, похоже, тщетно силясь осознать, что Карл может изъясняться на любом языке, кроме французского. Наконец она во всеуслышание осведомилась, а француз ли он вообще. Судя по всему, это обстоятельство имело для нее непреходящее значение.

— Само собой, — ответил Карл безмятежно. — Ты что, не слышишь, какой у меня акцент? Или я, по-твоему, шпрехаю как бош? Хочешь, паспорт покажу?

— Лучше не надо, — предостерег я, вспомнив, что паспорт у него чешский.

— Джо, может, поднимешься и кинешь взгляд на простыни? — продолжал он, обнимая Колетт за талию. — Боюсь, придется их выбросить. Не могу же отправлять их в прачечную: там подумают, будто я опасный преступник.

— А ты заставь ее хорошенько их выстирать, — предложил я шутливо. — Знаешь, если уж она намерена застрять здесь, ей наверняка найдется у нас много чем заняться.

— Итак, ты не против того, чтобы она тут осталась? Ты ведь в курсе, это противозаконно. Нас с тобой за это по головке не погладят.

— Лучше подыщи ей халат или пижаму, — ответил я, — ибо если она и дальше будет разгуливать по квартире в твоей рубашке, я ненароком могу забыться и трахнуть ее.

Он взглянул на Колетт и разразился смехом.

— В чем дело? — вопросила она с негодованием. — Вы что, оба надо мной смеетесь?

Почему твой приятель не хочет говорить по-французски?

— Ты совершенно права, — констатировал я. — С этого момента мы будем говорить только по-французски. D'accord?*

Ее свежее личико просияло детской радостью. Нагнувшись, она чмокнула меня в обе щеки. В тот же миг обе ее грудки выскочили из ворота рубашки и погладили меня по подбородку. Рубашка распахнулась донизу, открывая безупречно сложенное молодое тело.

— Забирай ее, черт тебя возьми, и запри у себя в ком-

* Заметано? *(фр.1*

328

нате, — проворчал я. — Если она будет расхаживать в таком виде, я ни за что не отвечаю.

Эскортировав ее к себе, Карл вернулся и опять присел на краешек постели. — Понимаешь, Джо, — начал он, — все это не так просто, и ты должен помочь мне. Мне не важно, что ты с ней будешь делать в мое отсутствие. Ты ведь знаешь, ревность — не моя добродетель. Но нельзя допускать, чтобы обо всем этом прознала полиция. Если они наложат на нее лапу, ее отправят к родителям. А нас с тобой, всего вероятнее, еще подальше. Проблема заключается в том, что сказать консьержке. Нельзя же изо дня в день запирать ее в доме как собаку. Пожалуй, придется сказать, что это моя кузина, дескать, погостить приехала. Вечерами, когда я на работе, придется тебе выводить, ее в кино. Или просто На прогулку. Она совсем неприверeдлива, вот увидишь. Ну, дай ей несколько уроков географии или еще чего-нибудь — у нее ведь ни о чем нет ни малейшего представления. Это и тебя развлечет, Джо. Сможешь вволю попрактиковаться во французском. Да, и вот что еще: по возможности не сделай ей ребенка. Не так уж в настоящий момент я богат, чтобы разбрасываться на аборты. К тому же я и понятия не имею, куда переехал мой доктор-венгр.

Я слушал его, не перебивая. У Карла был особый дар попадать в неловкие положения. Его проблема (а, возможно, и добродетель) заключалась в полнейшей неспособности сказать кому бы то ни было «нет». Подавляющее большинство людей отвечает «нет» на ходу, из чистого инстинкта самосохранения. Карл же всегда «да», «разумеется», «непременно». Под влиянием минутного импульса он готов был связать себя обязательством на всю оставшуюся жизнь, сохраняя, как я подозреваю, внутреннюю убежденность, что в критический момент его вывезет тот же инстинкт самосохранения, который побуждал других произносить немедленное «нет». Ибо, несмотря на все свое великодушие, теплоту, приступы спонтанной доброты и нежности, он оставался самым уклончивым И неуловимым существом, с каким мне доводилось иметь дело. Никто, ни одна сила, земная ли, небесная ли, не могла принудить его сохранить верность собственному слову, коль скоро он решился нарушить ее. А решившись, становился скользким, как угорь, хитрым, коварным, изворотливым, абсолютно аморальным. Он обожал заигрывать с опасностью — не из врожденной отваги, но потому, что это давало ему возможность оттачивать свою изобретательность, тренироваться в приемах эмоционального джиу-джитсу. Он мог на пари зайти внутрь полицейского участка и ни с того ни с

329

сего завопить во всю глотку: «Merde!»*. А, будучи призван к ответу, начал бы терпеливо и доходчиво объяснять, что на какой-то миг утратил рассудок. И, что самое странное, это сходило ему с рук. Обычно он ухитрялся проделывать эти штучки с таким проворством, что к моменту, когда обескураженные стражи порядка приходили в себя, оказывался на террасе кафе за кружкой пива и с видом невинным как ягненок в квартале или двух от места преступления.

Обнаружив, что сидит без денег. Карл неизменно относил в заклад свою пишущую машинку. Поначалу ему давали за нее четыреста франков — в те годы сумму немалую. А коль скоро ему частенько приходилось прибегать к такому способу выживания, он холил и лелеял ее, как только мог. Он и сейчас у меня перед глазами: садящийся за стол, тщательно смазывающий и протирающий каждую деталь прежде, чем начать печатать, столь же тщательно закрывающий ее чехлом, окончив работать. Я также замечал, что он испытывал тайное облегчение всякий раз, как сдавал машинку в заклад: это открывало ему возможность взять очередной отгул без гнетущего чувства вины. Но вот деньги протрачивались, безделье начинало угнетать его и он становился раздражительным; именно в такие моменты, клялся Карл, его осеняли самые блестящие идеи. Когда они становились неотступными, принимали навязчивый характер, он покупал маленькую записную книжку и прятался куда-нибудь в уголок, где заносил их на бумагу самой дорогой паркеровской ручкой, какую я когда-либо видел. Он никогда не признавался мне, что тайком делает заметки; нет, возвращался в дом мрачный и взбудораженный, заявляя, что опять потерял день ни за понюшку табаку. А когда я советовал ему пойти в

редакцию, где он работал ночами, и воспользоваться одной из стоящих там машинок, изобретал тысячи резонов, почему это было совершенно невозможно.

Упоминаю об этой обсессии с пишущей машинкой и ее неизменным отсутствием под рукой, когда она больше всего нужна, как пример того, как он сам затруднял себе жизнь. С его стороны это был художественный прием, который, как бы ни свидетельствовал он об обратном, неизменно срабатывал в его пользу. Не лишайся он на продолжительные периоды пишущей машинки, поток его вдохновения неминуемо истощился бы и, в конечном счете, его писательская потенция оказалась бы ниже нормального уровня. Карл обладал необыкновенным талантом на неограниченно долгое время уходить, так сказать, под воду.

* Дерьмо! *(фр.).*

330

Видя его в таком состоянии, большинство людей готовы были махнуть на него рукой. Однако вопреки очевидности, Карлу вовсе не грозила опасность всерьез утонуть; если он и производил такое впечатление, то лишь потому, что больше других нуждался в сочувствии и внимании. Когда же он всплывал на поверхность и начинал описывать свои «подводные приключения», обнаруживалось прямо противоположное. Обнаруживалось, в частности, что все это время он жил крайне насыщенной жизнью. И не только насыщенной, но и весьма поучительной. Он плавал как рыба в стеклянном аквариуме, которая, делая круги по воде, видит все сквозь увеличительное стекло.

Да, странная птица был Карл. В отличие от большинства он мог разложить по полочкам, как пружинки швейцарских часов, собственные чувства и подвергнуть их внимательному рассмотрению.

Для художника кризисные состояния столь же — а, быть может, и более — творчески плодотворны, как и благополучные. Любые переживания обогащают его и в конечном счете могут пойти на пользу. Карл относился к тому типу художников, которые опасаются превысить меру предоставленного в их распоряжение. Он отдавал предпочтение не расширению пределов опыта, а хозяйственному рационированию уже имеющегося. И потому стремился сузить поток своего вдохновения до тонкой струйки.

Ведь даже когда мы пребываем в состоянии неподвижности, жизнь непрерывно открывает перед нами новые сокровища, новые ресурсы. В ее приходной книге не существует такой статьи, как замороженные активы.

Иными словами, Карл, неведомо для него самого, постоянно обкрадывал себя. Он прилагал отчаянные усилия к тому, чтобы остаться на прежнем месте и не сделать шаг вперед. И когда этот шаг все-таки делался — в жизни или в творчестве, — все его существование приобретало призрачный, галлюцинативный оттенок. Его настигало — причем в самый неподходящий момент, момент, когда он был в наименьшей степени готов к этому, — то самое, что он больше всего страшился пережить или выразить. Поэтому в самой сердцевине его смелости' таилось отчаяние. Его поведение, даже писательское, подчас напоминало метания загнанной в угол крысы. Окружающие недоумевали, откуда он черпал отвагу для того-то и того-то, что говорил или делал. Им было невдомек, что он постоянно пребывал на распутье, с которого нормальный человек делает шаг к самоубийству. Для Карла самоубийство выходом не было. Будь он в силах покончить самоубийством и запечатлеть это событие на бумаге, такой вариант его бы вполне устроил. Он не раз жаловался, что и представить себе не

331

может, какая сила, не считая какой-нибудь вселенской катастрофы, способна • поставить предел его бренному существованию. И констатировал это не тоном человека, до краев переполненного жизнью; нет, в его голосе звучали интонации механизма, заведенного так, чтобы не допускать ни малейшей утечки питания, часовщика, поставившего себе целью, чтобы часы никогда не остановились.

Когда я вспоминаю о времени нашей совместной жизни в Клиши, оно представляется мне разновидностью райских кущ. Тогда перед нами всерьез стоял только один вопрос — пропитаться. Все остальные невзгоды были мнимые. То же самое я говорил и ему — в те моменты, когда он принимался сетовать на рабский жребий, якобы выпавший на его долю. В ответ он нарек меня неизлечимым оптимистом. Но это был не оптимизм — это было глубинное осознание того, что, несмотря на то, что мир продолжает деловито рыть себе могилу, еще есть время радоваться жизни, веселиться, совершать безумства, работать или не работать.

Этот период продолжался добрый год. И за этот год я написал «Черную весну», объездил на велосипеде оба побережья Сены, наведался в Миди и в Страну замков и, наконец, устроил себе и Карлу бешеный пикник в Люксембурге.

В тот год надо всем безраздельно властвовало женское начало; казалось, оно разлито в воздухе. В «Казино де Пари» выступали английские танцовщицы; столовались они в ресторане неподалеку от Плас Бланш. Мы перезнакомились со всем ансамблем, в конце

концов остановив выбор на роскошной красавице-шотландке и ее подруге-евразийке родом с Цейлона. Позже шотландка наградила Карла самым что ни на есть натуральным триппером, каковой она, в свою очередь, заполучила от любовника-негра из бара «Мелоди». Но я забегаю вперед. Итак, помимо названных, была еще девушка-гардеробщица из маленького дансинга на улице Фонтен, куда мы захаживали вечерами, когда у Карла выдавался выходной. Нимфоманка, на редкость жизнерадостная и столь же непритязательная, она подружила нас с целой ордой весело щебетавших возле стойки девиц, которые, под конец смены и в отсутствие более обещающих клиентов, бескорыстно одаривали нас вниманием. Одна из них неизменно настаивала, чтобы домой из дансинга ее сопровождали мы оба: «это меня возбуждает», — кокетливо заверяла она. Существовала и еще одна — продавщица из бакалейной лавки (она вышла замуж за американца и тот ее бросил); так вот, та любила, чтобы ее сводили в кино, а затем уложили в постель, где

332

она ночь напролет пялила глаза в потолок, без умолку болтая на ломаном английском. Ей было неважно, кто из нас рядом в постели: ведь по-английски говорили мы оба. И наконец, нельзя не упомянуть Жанну, пойманную в сачок моим другом Филмором. Жанна могла заявиться к вам в дом в любое время дня и ночи, всегда нагруженная бутылками белого вина, каковое в целях самоутешения она поглощала в неимоверном количестве. Жанна была готова ко всему на свете, кроме одного — переспать с мужчиной. Особа истерического склада, она постоянно балансировала на грани крайней веселости и самой черной меланхолии. Навеселе она делалась навязчива и шумлива. Ее ничего не стоило раздеть, погладить ее интимные места, вволю потискать за сиськи, даже, если уж очень невтерпеж, прикоснуться губами к ее святая святых; но стоило вашему члену возникнуть по соседству с ее влагалищем, как она срывалась с цепи— то с немыслимой страстностью целуя вас взасос и обхватывая ваше естество своими сильными руками крестьянки, то разражаясь неистовыми рыданиями, отталкивая вас ногами и наугад молотя кулаками в воздухе. Когда она отправлялась восвояси, у квартиры бывал такой вид, будто по ней прошел тайфун. Случалось, в приступе беспричинной ярости она полуголой выскакивала на улицу, а спустя всего пять минут возвращалась тише воды, ниже травы и смиренно просила прощения за свое поведение. Как раз в эти моменты, случись такая оказия, ею можно было попользоваться вдосталь, чего мы, впрочем, никогда не делали. — Ну, давай, действуй, — слышу я, как сейчас, голос Карла. — Хватит с меня этой суки, она полоумная. — Нет надобности добавлять, что и сам я относился к ней точно так же. В таких ситуациях из чувства дружеской привязанности я трахал ее всухую, прислонив спиной к радиатору, до краев наливал коньяком и выпроваживал. И она бывала несказанно благодарна за эти маленькие знаки внимания. Совсем как ребенок.

Возникла на нашем пути и еще одна девушка (ей нас представила Жанна) — на вид сама невинность, но коварная, как змея. Зацикленная на преданиях о принцессе Покахонтас, она причудливо (а на мой вкус — просто нелепо) одевалась. Уроженка столицы, она была любовницей знаменитого поэта-сюрреалиста — факт, о котором нам довелось узнать много позднее.

Вскоре после знакомства мы столкнулись с ней при весьма странных обстоятельствах: застав ее разгуливающей в полном одиночестве вдоль линии оборонных укреплений. Иными словами, в месте мало подходящем — и даже не на шутку подозрительном — для прогулок в ночные

333

часы. С какой-то непонятной рассеянностью ответила она на наше приветствие. Казалось, она узнает наши лица, но начисто забыла, где и когда мы познакомились. И непохоже было, чтобы это ее сколько-нибудь занимало. Судя по всему, наше общество значило для нее ни больше ни меньше, нежели общество любого, кому случилось бы оказаться рядом. Она не сделала попытки завязать с нами разговор;

напротив, речь ее больше напоминала монолог, течение которого мы ненароком прервали. Впрочем, Карл— дока по части всяких отклонений от нормы — скоро сумел найти к ней подобающий подход. Выбравшись из небезопасной зоны, мы незаметно эскортировали ее в сторону нашего обиталища, а потом и вверх по лестнице. Она двигалась как сомнамбула: не спрашивая, куда мы держим путь и что вообще делаем. Войдя в комнату, уселась на диван как у себя дома. Тоном, каким обращаются к официанту в кафе, осведомилась, не найдется ли для нее чашки чая и сэндвича. Затем точно таким же невозмутимым, ровным голосом спросила, сколько мы ей заплатим, если она останется с нами на ночь. Добавив как нечто само собою разумеющееся, что ей нужно двести франков, каковые утром предстоит внести в уплату за квартиру. Разумеется, две сотни франков — деньги немалые, с той же бесстрастной интонацией оговорилась она, но ничего не поделаешь:

ей необходима именно эта сумма. Впору было заключить, что она перечисляет, чем следует заполнить буфетную полку: «Вам, де, понадобятся яйца, масло, хлеб, может быть, чуточку джема». И вот — нате вам, без пафоса, без эмоций: — Любым способом: сверху, сзади, в рот — как пожелаете, меня все устраивает, — заявила она, отхлебывая чай с видом герцогини на благотворительной ярмарке. — Между прочим, у меня еще крепкая и красивая грудь, — продолжала наша посетительница, расстегнув блузку и демонстрируя соблазнительное полушарие. — В Париже полно мужчин, готовых расстаться с тысячью франков, лишь бы со мной переспать, только мне лень их выискивать. Короче, моя такса двести франков, ни больше ни меньше. — Взглянув на книгу, лежащую рядом на столе, она минуту помолчала, потом заговорила тем же бесстрастным тоном: — Я тоже пишу стихи, я их вам покажу. Возможно, они получше этих. — И кивнула в сторону томика, который удостоила лишь беглым взглядом.

Услышав это. Карл, стоявший в дверях, начал судорожно объяснять мне знаками, что у нашей гостьи не все дома. Девушка, рывшаяся в сумке в поисках своих стихов, внезапно подняла глаза и, поймав его полный замешательства взгляд, без тени смущения, спокойно и хладнокровно кон-

334

статировала, что мой приятель не в своем уме. — У вас есть биде? — спросила она, не меняя интонации. — Я взяла с собой одно стихотворение; прочту вам чуть попозже. В нем воссоздан сон, который приснился мне на днях. — С этими словами она встала и не спеша сняла блузку и юбку. — Скажи своему другу, чтоб был готов, — обратилась она ко мне, выдергивая заколку из волос. — Я начну с него.

Тут Карл невольно вздрогнул. Судя по всему, ее манера себя вести путала его все больше и больше; в то же время он с трудом сдерживался, чтобы не разразиться гомерическим хохотом.

— Подожди минутку, — проговорил он. — Сначала выпей, потом вымоешься. Глоток не помешает. — Он проворно извлек из буфета бутылку и налил ей полный стакан. Она опорожнила его залпом, точно стакан воды.

— Сними с меня туфли и чулки, — распорядилась она, облокотившись о стену и протягивая стакан за новой порцией. — Ce vin est une saloperie*, — добавила она тем же невозмутимым тоном, — но я к нему привыкла. Надеюсь, у вас наберется две сотни франков? Мне нужно ровно двести. Не сто семьдесят пять и не сто восемьдесят. Дай-ка руку... — Она завладела рукой Карла, безуспешно боровшегося с ее подвязкой, и возложила ее на густую поросль между ног. — Находятся дураки, предлагающие пять тысяч, ни больше ни меньше, только за то, чтобы потрогать это место. Ну, мужчины, что с них возьмешь... А ты можешь сделать это бесплатно. Ну-ка, плесни мне еще. Оно не такое противное, если глотнуть побольше. *Который* час?

Не успела она скрыться за дверью ванной, как Карл преобразился. Он хохотал как одержимый, хохотал и не мог остановиться. Все дело заключалось в том, что он был до смерти напуган и не мог этого скрыть.

— Пожалуй, воздержусь, — сказал он. — А то еще откусит, чего доброго... Слушай, давай-ка уберем ее отсюда. Дам ей пятьдесят франков и посажу в такси.

— Вряд ли она так легко отпустит тебя на покаяние, — заметил я, наслаждаясь его растерянностью. — У нее дело на уме. К тому же, если она действительно не в себе, может, она и не вспомнит о деньгах.

— Ей-богу, Джо, а ведь это мысль! — отозвался он, вмиг оживившись. — Мне это как-то не пришло в голову. У тебя законченно криминальный склад ума. Только слушай: не оставляй меня с ней наедине. Просто поглядывай в нашу сторону — ей же все до лампочки. Ей впору и с кобелем трахнуться, стоит только попросить. Лунатичка.

* Дрянь порядочная это вино *(фр.).*

335

Я облачился в пижаму и залез в постель. Однако время шло, а она никак не появлялась из ванной. Мы оба забеспокоились.

— Сходи узнай, что там с ней,—сказал я Карлу.

— Сам сходи, — отозвался он. — Я ее боюсь. Поднявшись, я постучал в дверь ванной.

— Войдите, — отозвалась она тем же ровным, невыразительным голосом.

Я открыл дверь. Раздетая донага, она стояла ко мне спиной. Запечатлевая губной помадой на стене очередной из своих шедевров.

Мне не оставалось ничего другого, как призвать на помощь Карла.

— Ну, совсем сбрендила, — выдавил я из себя. — Расписывает стены своими стихами.

Пока Карл зачитывал вслух написанное, мне на ум пришла действительно блестящая мысль. Она требует двести франков. *Хорошо.* У меня денег не было, но у Карла, я подозревал, не могло не быть; как-никак ему выдали жалование всего день назад. Я был

уверен, что, заглянув в том с «Фаустом», стоящий в его комнате, обнаружу между страницами две или три стофранковые ассигнации. Карлу было неведомо, что я знаю о существовании его засекреченного хранилища. Я и набрел-то на него совершенно случайно, в один прекрасный день роясь по полкам в поисках словаря. В том, что «Фауст» продолжал оставаться его тайным загажником, я не сомневался, ибо позднее не раз удостоверялся в верности своего открытия. Был даже период, когда целых два дня я проголодал заодно с ним — и ничем не обнаружил своей осведомленности о его секретах. Больше всего меня интриговало тогда, как долго он сможет от меня таиться.

Мой мозг заработал с лихорадочной быстротой. Надо будет всеми правдами и неправдами завлечь их обоих в мою комнату, достать деньги из тайника, всучить ей, а затем, воспользовавшись ее очередным походом в ванную, извлечь их из ее сумки и водрузить обратно в чрево гетевского «Фауста». Не стоит препятствовать Карлу наградить ее теми пятьюдесятью франками, о которых он обмолвился; пусть себе идут в уплату за транспорт. Что до двух сотен, то она вряд ли хватится их до утра; коль скоро она действительно не. в своем уме, она о них и не вспомнит, если же наоборот — по всей видимости, заключит, что обронила ассигнации в такси. Каково бы ни было истинное положение дел, из этого дома она выйдет так же, как вошла

336

в него, — в состоянии транса. Ни малейшей вероятности того, что на обратном пути ей взбредет в голову выяснять его местонахождение, я не допускал.

Замысел сработал без сучка и без задоринки — с той лишь поправкой, что прежде, чем отправить нашу гостью восвояси, нам обоим пришлось ее трахнуть. Произошло это абсолютно спонтанно. К вящему изумлению Карла, я выложил ей две сотни франков, напутствуя его присовокупить к ним еще пятьдесят на такси. Она с головой ушла в сотворение нового поэтического шедевра — на этот раз с помощью карандаша и листа бумаги, предварительно выдранного из книжки. Я сидел на диване, а она, отвернувшись, стояла нагишом у стола; таким образом ее зад оказался совсем вровень с моим лицом. Внезапно меня разобрало любопытство: интересно, прервет она свое увлекательное занятие, если я суну палец в ее щель? Каковое действие я и проделал как можно более деликатно, словно расправляя нежные лепестки розы. Она невозмутимо продолжала строчить, не поощряя, но и не отвергая мое вторжение, лишь чуть пошире расставила ноги — как я заключил, из заботы о моем удобстве. В тот же миг я почувствовал непобедимую эрекцию. Вскочив с дивана, я придвинулся вплотную и изо всей силы вошел в нее. Она перегнулась над столом, не выпуская из рук карандаша.

— Веди ее сюда, — послышалось со стороны Карла, лежавшего (а точней сказать — вертевшегося утрем) на кровати. Развернув ее на сто восемьдесят градусов, я заполнил ее спереди и, легонько приподняв над полом, повлек к постели. Карл немедленно обрушился на нее всем телом, похрапывая, как дикий кабан. Я выжидал, пока он получит свое, а затем снова вошел в нее сзади. Когда все было кончено, она попросила еще выпить и, не успел я наполнить стакан, разразилась хриплым, невеселым смехом. Это был жуткий, нездешний смех; такого мне еще не доводилось слышать. Внезапно она умолкла, спросила карандаш и бумагу, затем что-нибудь твердое, на чем можно писать. Села, опершись ногами на край постели, и принялась сочинять новое стихотворение. Записав две или три строчки, она попросила подать ей револьвер.

— *Револьвер!* — взвизгнул Карл, с проворством кролика спрыгивая с кровати. — *Какой револьвер*?

— Тот, что в сумке, — ответила она спокойно. — У меня появилось желание кого-нибудь пристрелить. Вы же словили свой кайф за две сотни франков. Теперь моя очередь. — И с этими словами нырнула за сумкой. Набросившись с двух сторон, мы повалили ее на пол. Она кусалась, царапалась и брыкалась что было сил.

337

— Посмотри, есть ли в сумке пистолет, — выдохнул Карл, не давая ей подняться с земли. Я рывком стянул сумку со стола и тут же убедился, что револьвера в ней нет и в помине; одновременно я выхватил оттуда обе кредитки и накрыл их пресс-папье.

— Принеси-ка водички, да поживее, — сказал Карл. — По-моему, у нее сейчас начнется припадок.

Я подбежал к умывальнику, доверху наполнил графин водой и выплеснул ей на голову. Она фыркнула, отряхнулась, дернулась всем корпусом, точно вытащенная из воды рыба и, выдавив из себя кривую улыбку, проговорила:

— Ca y est, c'est bien assez. . laissez-moi sortir*

Слава богу, подумал я про себя, наконец-то мы от нее избавимся. И наказал Карлу: — Не спускай с нее глаз. Пойду соберу ее тряпки. Придется одеть ее и посадить в машину.

Мы вытерли и одели ее со всем тщанием, на какое были способны. Однако меня не покидало смутное ощущение, что прежде, чем нам удастся выпроводить ее из квартиры, она успеет выкинуть еще какой-нибудь фортель. Или вдруг, скажем, ни с того, ни с сего

поднимет крик на улице?

По очереди, ни на миг не выпуская из поля зрения нашу беспокойную посетительницу, мы наскоро оделись. И уже были готовы выйти, как она вспомнила о забытом на столе листке бумаги — своем неоконченном стихотворении. Нырнув за ним из-под наших рук, она, естественно, заприметила и выглядывавшие из-под пресс-пасье злополучные кредитки.

— Мои деньги! — завопила она.

— Ну, не глупи, — отвечал я спокойно, положив руку ей на предплечье. — Или ты всерьез считаешь, что с нас станется тебя ограбить? Твои — у тебя в сумке.

Смерив меня быстрым, пронизывающим взглядом, она опустила глаза.

— Je vous demande pardon, — ответила она негромко. — Je suis tres nerveuse ce soir**.

— Ну, вот видишь, — сказал Карл, поворачивая ее в сторону двери. — Это ты здорово придумал, Джо, — добавил он по-английски, пока мы спускались по лестнице.

— Где ты живешь? — спросил он, подзывая такси.

* Ну, хватит, уже все в порядке... позвольте мне уйти (фр.)

** Извините меня Сегодня вечером я что-то такая нервная (фр.)

338

— Нигде, — ответила она. — Я устала. Скажи ему, чтоб высадил меня у гостиницы, первой попавшейся.

Карл, казалось, был тронут. — Хочешь, мы тебя проводим? — спросил он.

— Нет, — отозвалась она. — Хочу спать.

— Ну, пошли, — вмешался я, дернув его за рукав. — Теперь с ней все в порядке.

Захлопнув дверцу, я помахал ей на прощанье. Карл с озадаченным видом смотрел вслед удаляющейся машине.

— Что на тебя нашло? Тревожишься о том, где она приземлится? Не волнуйся: если она не в себе, ей не понадобятся ни гостиница, ни деньги.

— Согласен и тем не менее... Ну, Джо, какой же ты все-таки бессердечный сукин сын. А *деньги*! Господи, мы же отделали ее в хвост и в гриву.

— Да, — невозмутимо проговорил я, — хорошо, что я заранее прознал, где ты хранишь свои капиталь.

— Ты хочешь сказать, это были мои деньги? — переспросил он, внезапно начиная понимать, что я имею в виду.

— Ничего не поделаешь, Джо, — проронил он после долгой паузы, — нас неуклонно влечет к себе вечная женственность. Великое творение «Фауст».

С этими словами он отошел к стене, прислонился к ней и вдруг согнулся вдвое, обессилев от сотрясавшего его смеха.

— А я-то, я-то льстил себе мыслью что быстро шевелю мозгами, — заговорил он, отдышавшись. — Да по сравнению с тобой я чистый простофиля... Решено: завтра же найдем им достойное применение. Поедим где-нибудь как следует. Свожу-ка я тебя для разнообразия в настоящий ресторан.

— Да, между прочим, — поинтересовался я, — а как ее стихи? Стоят чего-нибудь? Я ведь так и не удосужился с ними познакомиться. Я имею в виду те, что она накорябала в ванной.

— Одна толковая строчка была, — ответил он. — Все остальное — лунатический бред.

—Лунатический? Полно, нет такого слова в английском.

— Ну, иначе это не назовешь. «Безумный» применительно к ним ничего не значит. Для ее поэзии придется изобрести новое определение. Лунатическая. Мне это нравится. Пожалуй, стоит использовать... Да, а теперь *моя* очередь тебе кое-что открыть, Джо. Помнишь, какая буча поднялась по поводу револьвера?

339

— Револьвера? Да не было же никакого револьвера.

— Представь себе, был, — отозвался он с кривой усмешкой. — Я спрятал его в хлебнице.

— Так, значит, это ты первым прошелся по ее сумке?

— Да знаешь, мне понадобилась мелочишка, — промямлил он, понурив голову, будто и сейчас испытывал неловкость по этому поводу.

— Не верю, — отрезал я. — Тебе понадобилось что-то другое.

— У тебя светлая голова, Джо, — тут же отреагировал он, повеселев, — но временами ты кое-что упускаешь из вида. Помнишь, как она присела по маленькому делу — там, на крепостном валу? Она попросила меня подержать ее сумку. Внутри я нащупал что-то твердое, похожее на пистолет. Тогда я не подал виду, тебя не хотел путать. А вот двинулся ты домой, тут-то до меня и дошло по-настоящему. Когда она вышла в ванную, я открыл сумку и обнаружил там револьвер. Заряженный. Вот, полюбуйся на пули, если не

веришь...

Я смотрел на них в полном отупении. Холодный пот бежал у меня по спине.

— Ну, значит, она и впрямь свихнулась, — с трудом выговорил я, подавляя вздох облегчения.

—Нет, — возразил Карл, — вовсе нет. Она работала под свихнувшуюся. И в стихах ее нет и намека на безумие;

они лунатические. Должно быть, ее просто загипнотизировали. Кто-то погрузил ее в сон, вложил в руку пистолет и отправил добывать две сотни франков.

— Но это же чистейший бред! — воскликнул я. Карл молчал. Прошелся по тротуару, не поднимая головы, и несколько минут не раскрывал рта.

— Одного не могу понять, — заговорил он наконец, — что побудило ее так быстро забыть о пропаже револьвера? И что ей помешало, когда ты лгал ей в лицо, просто-напросто раскрыть сумку и удостовериться, что ее деньги в целости и сохранности? Сдается мне, Джо, она знала, что револьвер у нее стянули, да и деньги впридачу. Похоже, не кого-нибудь, а нас с тобой она так перепугалась. А сейчас, правду сказать, и мне становится страшновато. Знаешь что, пойдем переночуем куда-нибудь в гостиницу? А завтра съездим куда-нибудь... ну, просто снимемся на несколько дней.

Не говоря друг другу ни слова, мы развернулись и быстрым шагом двинулись по направлению к Монмартру. Страх не давал нам остановиться...

340

Итогом этого маленького происшествия стало наше бегство в Люксембург. Но я на целью месяцы опередил реальный ход событий. Самое время вернуться к нашему menage a trois*.

Приблудная крошка Колетт скоро стала для нас комбинированным воплощением Золушки, наложницы и кухарки. Нам пришлось приучать ее ко всему, не исключая и обыкновения чистить зубы. Задачу отнюдь не облегчало то, что она пребывала в переломном возрасте, вечно роняла то одно, то другое, спотыкалась, все на свете теряла и тому подобное. Время от времени терялась она и сама — терялась на несколько дней кряду. Понять, что творилось с ней в эти промежутки, не было никакой возможности. Чем больше мы ее допрашивали, тем более вялой и апатичной она становилась. Бывало, утром она выйдет на прогулку, а вернется только к полуночи — в компании бездомной кошки или подобранного на улице щенка. Как-то раз день-деньской мы ходили за ней по пятам с единственной целью — уразуметь, как она проводит время. С таким же успехом можно было поставить себе задачей выследить лунатика. Она бесцельно сворачивала с одной улицы на другую, останавливаясь поглазеть на витрины, посидеть на скамейке, покормить птиц, купить себе леденец; на целую вечность застывала на месте, на котором ровным счетом ничего не происходило, а потом возобновляла бессмысленное, машинальное движение. Пять часов мы убили на то, чтобы убедиться в самоочевидном; в том, что на руках у нас — сущий младенец.

Карла подкупало ее простодушие, граничившее со слабоумием. С другой стороны, он начинал пресыщаться свалившейся на него необходимостью изо дня в день блюсти одни и те же сексуальные обязанности. В какой-то мере раздражало его и то, что Колетт поглощала все его свободное время. Он вынужден был выкинуть из головы все свои литературные амбиции — сначала потому, что сдал в заклад пишущую машинку, затем потому, что у него попросту не находилось ни минуты для себя. Бедняжка Колетт никак не могла придумать, чем себя занять. Она способна была, целый день провалявшись в кровати и трахаясь со всем пылом своих юных лет, с неубывающим энтузиазмом требовать того же, когда Карл, в три часа пополуночи, возвращался с работы. Зачастую он и не вылезал из постели вплоть до семи часов вечера — с тем расчетом, чтобы успеть поесть и отправиться в редакцию. Нередко, после очередного ристалища, он принимался уговаривать меня

* Любовный треугольник *(фр.).*

341

оказать ему посильную помощь. — Я весь измочален,; — жаловался он. — У моей недоделанной мозги набекрень. Только этим местом она и соображает.

Но Колетт меня не привлекала. Я любил Нис, по-прежнему осенявшую своим присутствием кафе Веплер. Мы стали с ней добрыми друзьями. О деньгах речи больше не было. Правда, мне нравилось делать ей маленькие подарки, но то было совсем другое. Время от времени мне удавалось уломать ее сделать выходной. Мы отыскивали очаровательные местечки на побережье Сены или добирались поездом до одного из окрестных лесов, где полеживали на травке и трахались сколько душе угодно. Я никогда не доискивался подробностей относительно ее прошлого. Нет, предметом наших с ней разговоров было исключительно будущее. *Ее,* по крайней мере, волновало только оно. Мечтой Нис, как и столь многих француженок, было обзавестись собственным домиком где-нибудь в провинции •— лучше всего, в Миди. Париж отнюдь не завладел ее сердцем.

Он вреден для здоровья, любила повторять она.

— Ну и что же ты там будешь делать? — спросил я ее однажды.

— Делать? — переспросила она в недоумении. — Ничего. Просто жить.

Какая мысль! Какая здравая мысль! Я отчаянно завидовал ее невозмутимости, ее праздности, ее беззаботности. Мне хотелось вовлечь ее в долгий разговор на эту тему — в разговор о блаженстве ничего не делать. Такого рода идеал до той поры был мне неведом. Для того, чтобы он осуществился, надо обладать либо абсолютно пустым, не отягощенным ни малейшим грузом, либо, наоборот, исключительно богатым, зрелым умом. Но мне представлялось, что обладать ничем не отягощенным умом предпочтительнее.

Наблюдать, как Нис ест, само по себе было удовольствием. У нее был дар извлекать максимум чувственного наслаждения из каждого глотка, каждого кусочка того или иного кушанья или блюда, к выбору которых она относилась с неизменной тщательностью; Поясню: под словом «тщательность» я отнюдь не имею в виду озабоченность числом поглощаемых калорий или наличием витаминов. Нет, ее целью был выбор блюд, в наибольшей степени отвечавших ее вкусу, в полной мере согласовавшихся с ее натурой, ибо Нис смаковала пищу. В ее случае трапеза могла тянуться до бесконечности, неустанно сдабриваемая ее здоровым, доброжелательным юмором, ее все больше и больше заражавшей окружающих беззаботностью, все ярче и ярче разгоравшимся огоньком ее неистребимого оп-

342

тимизма. Всласть поесть, всласть наговориться, всласть потрахаться — существуют ли в природе лучшие способы времяпровождения? Ее не терзали укоры нечистой совести, за ее плечами не стояло забот, которыми нельзя было бы пренебречь. Плыть по течению и ничего больше — вот и вся ее философия. В муках производить на свет детей, вносить свой вклад в благосостояние общества — все это было не для нее; в свой час она покинет этот мир, не оставив на его поверхности следа. Но где бы она ни оказывалась, всюду ее присутствие придавало существованию оттенок большей легкости, большей привлекательности, большей ароматности. А это отнюдь не пустяк. Каждый раз, расставаясь с нею, я уносил с собой ощущение хорошо проведенного дня. Я сожалел о том, что не могу жить так же легко, так же инстинктивно^ так же естественно. Иногда я грезил о том, что родился женщиной — женщиной, похожей на нее, не обладающей ничем, кроме неотразимо притягательного влагалища. Как было бы прекрасно, стань оно органом, предназначенным для каждодневной работы, а мозг — инструментом чистого наслаждения! Откройся возможность влюбиться в счастье! Свести к минимуму собственную утилитарность! Развить в себе совесть, столь же чувствительную, как крокодилова кожа! А уж когда состаришься и утратишь былую привлекательность —- тогда, на худой конец, оплачивать трах наличными. Или купить кобеля и обучить его всему необходимому. И умереть в назначенный час, уйти из мира нагим и одиноким, без чувства вины, без сожаления, без тщетной укоризны...

Вот какие грезы рождались в моем воображении после дней, проведенных с Нис на лоне природы.

А каким удовольствием было разжиться кругленькой суммой, чтобы затем, в момент прощания, передать ее в руки Нис! Сопровождать ее в поездках — скажем, в Оранж или в Авиньон. По-бродяжьи выкинуть на ветер месяц-другой, купаясь в теплых волнах ее сладострастной лени. Стараться услужить ей во всем, в чем только можно, и при этом ощущать на себе биотоки испытываемого ею наслаждения.

По ночам, лишенный ее общества (в это время суток она принадлежала клиентам), я одиноко бродил по улицам, проводя часы в затерявшихся в переулках небольших барах или маленьких подвальных кафе, где другие девушки трудолюбиво и уныло ткали однообразную пряжу той же профессии. Случалось, от нечего делать я останавливал свой выбор то на одной, то на другой из них, хотя к каждому из подобных общений для меня неуловимо примешивался привкус пепла.

343

Возвращаясь домой, я нередко заставал Колетт еще на ногах; она бесцельно слонялась по квартире в нелепом кимоно, купленном Карлом по случаю где-то на ярмарке. Нам все не удавалось наскрести денег ей на пижаму. Чаще всего она занималась тем, что сама называла «перехватить кусочек». Колетт, бедняжка, стойко не ложилась спать, дожидаясь, пока Карл вернется с работы. Случалось, присев на кухне, и я перехватывал с ней за компанию. Мы вступали в беседу, если только можно так определить то, что между нами происходило. От Колетт тщетно было надеяться услышать что-либо внятное. У нее не бывало ни озарений, ни грез, ни желаний. Ее, наделенную чисто коровьей безмятежностью, безгласной покорностью рабыни и шармом хлопающей глазами куклы, в корне неверно было обвинять в тупости: она была просто-напросто дебильна. Вот Нис — ту было бы черной несправедливостью назвать тупой. Ленивой — пожалуйста,

сколько душе угодно; ленивой, как смертный грех. Но все, о чем говорила Нис, оказывалось по-своему интересным — дар, который лично я оцениваю гораздо выше, нежели умение рассуждать умно и со знанием дела. Ведь именно благодаря такому дару привносится в жизнь нечто новое, в то время как его противоположность, интеллигентная, рафинированная речь, формализуя и обессмысливая все на свете, сводит к нулю реальное разнообразие бытия. У Колетт же, как я говорил, мозги были куриные. Беря ее за то или иное место, вы ощущали под пальцами сгусток холодной, колышащейся, неодушевленной плоти. Когда она наливала кофе, могли доставить себе удовольствие провести по ее ягодицам, но с таким же успехом можно было ласкать дверную ручку. Сама ее стыдливость обнаруживала скорее животное, нежели человеческое происхождение. Заслоняя руками треугольник своего лона, она не делала ни малейшей попытки прикрыть грудь. Пряча от наших взглядов влагалище, она скрывала от нас нечто безобразное, срамное, а вовсе не источник тайной мощи. Зайдя ненароком в ванную и застав меня над унитазом, она способна была остановиться в дверях и завести со мной разговор как ни в чем не бывало. Вид отливающего мужика, приходится заметить, ни в малой мере не возбуждал ее; пожалуй, чтобы Колетт возбудилась, следовало, оседлав ее, пустить горячую струю в единственное место, назначение которого она интуитивно постигла.

Однажды, вернувшись глубоко за полночь, я обнаружил, что забыл ключ. Громко постучал в дверь, но безрезультатно Подумал: опять она пустилась в свои целомуд-

344

ренно-бессмысленные блуждания по улицам.. Мне оставалось ничего другого, как не спеша двинуться в направлении Монмартра в надежде перехватить Карла на пути домой. Столкнувшись с ним на полдороге к Плас Клиши, я информировал его, что наша птичка, судя по всему, вылетела из гнезда. Войдя в квартиру, мы нашли верхний свет зажженным; однако Колетт, в отличие от ее пожитков, ни в одной из комнат не было. Похоже, девушка просто вышла прогуляться. Как раз в то утро Карл вслух размечтался о том, как женится на ней, едва она достигнет совершеннолетия. Я не мог отказать себе в удовольствии авансом высмеять их супружескую идиллию, разыграв в лицах, как она высовывает свою физиономию из окна спальни, он — из кухонного окна, на радость соседям обмениваясь любезностями: «Bonjour, Madame Oursel, comment ca va ce matin?»*

Карл впал в уныние. Он не сомневался, что днем к нам заявилась полиция и увела Колетт с собой. — Ну, теперь уж они заявятся за мной, — мрачно проронил он. — Это конец.

В знак такого развития событий мы решили прошвырнуться по окрестностям. Было начало четвертого. Плас Клиши совсем опустела, если не считать нескольких баров, работавших круглосуточно. Шлюха с деревянной ногой несла вахту на своем обычном месте по соседству с Гомон Палас: собственная постоянная клиентура не давала ей соскучиться без дела. Неподалеку от Плас Пигаль, бок о бок с такими же любителями ночного уюта, мы сели перекусить. Наведались в маленький дансинг, где работала наша подружка-гардеробщица, но он как раз закрывался. Затем поднялись вверх по улице к Сакр-Кер. У церковных врат задержались, вглядываясь в океан разноцветных огней, озарявших город. В ночную пору Париж делается необъятным. Искусственное освещение скрадывает острые очертания домов и неприбранность улиц. Ночью, когда вы взираете на него с Монмартра, Париж раскрывает свою истинную магию; он — словно драгоценный камень, со дна хрустального кубка переливающийся всеми гранями.

С наступлением рассвета, подавляя писательское воображение, пленительно преображается и сам Монмартр. Его беловатые стены вспыхивают розоватым светом. Чувственной свежестью, кажется, напоены гигантские буквы на рекламных щитах, краснеющих и синеющих на фоне блед-

* С добрым утром, мадам Урсель, как вы себя чувствуете сегодня? *(фр.).*

345

ных фасадов домов. На обратном пути мы столкнулись с группкой юных монахинь, гуськом шествовавших по улице со столь непорочным, столь благостным, столь неприступным видом, что мы устыдились самих себя. А чуть позже дорогу нам пересекло стадо коз, нестройно спускавшихся по пологому склону; за ними трусил какой-то толстый недоумок, время от времени исторгавший жиденькие звуки из своей дудочки. На до всём царило ощущение несбыточной умиротворенности, нездешнего покоя; наступающее утро таило в себе утренний аромат четырнадцатого столетия.

В тот день мы провалялись в постели почти до вечера. Колетт, казалось, пропала бесследно; не спешила наносить нам визит и полиция. Однако на следующее утро, незадолго до полудня, раздался с трепетом ожидаемый стук в дверь. Я сидел за пишущей машинкой у себя в комнате. Отворил Карл. Послышался голос Колетт, затем какого-то мужчины. Потом к ним прибавился еще один женский. Я не отрывал глаз от клавиатуры.

Заносил на бумагу все, что лезло в голову, лишь бы произвести впечатление всецелой погруженности в работу.

И вот на пороге с обескураженным и одновременно негодующим видом возник Карл. — Слушай, она не оставляла где-нибудь у тебя свои часы? — спросил он. — Часы ее найти не могут.

— Не могут? Кто не может? — переспросил я.

— Ее мать... А кто мужчина, не знаю. Скорее всего, частный сыщик. Зайди на минуту, я тебя представлю.

Мать Колетт оказалась поразительно интересной дамой средних лет с безукоризненными манерами, лицо и фигура которой являли несомненные следы былой красоты. Вид мужчины в строгом, неярких тонов костюме безошибочно свидетельствовал о его причастности к юридическому сословию. Все говорили понизив голос, будто в присутствии покойника.

Я моментально почувствовал, что мое появление не осталось без внимания.

— Итак, вы тоже писатель? — нарушил молчание мужчина.

Со всей мыслимой учтивостью я подтвердил справедливость его догадки.

— Пишете на французском? — продолжал он допрос. В ответ я скорбно посетовал что, несмотря на то, что вот уже пять или шесть лет живу во Франции и неплохо знаком с французской литературой, время от времени даже пытаюсь ее переводить, давние пробелы в моем образовании, увы, не позволили мне освоить великолепный

346

язык, на котором говорят в этой стране, в той мере, какая необходима для беспрепятственного творческого самовыражения.

Мне пришлось призвать на помощь все мое красноречие, дабы произнести в подобающе корректном тоне эту льстиво-высокопарную тираду. Дальнейшее, однако, показало, что моя изысканная обходительность не осталась втуне.

Все это время мать Колетт продолжала сосредоточенно изучать надписи на обложках книг, в беспорядке наваленных на письменном столе Карла. Повинуясь безотчетному импульсу, она вытащила из груды одну из них и протянула мужчине. Это был последний том знаменитого романа Марселя Пруста. Когда мужчина, наконец, оторвал глаза от переплета и вновь воззрился на Карла, в них появилось новое выражение: некое подобие с трудом скрываемой зависти, чуть ли не подобострастия. Карл, тоже порядком смутившись, сбивчиво заговорил о том, что в данный момент работает над эссе о влиянии, оказанном на метафизику Пруста оккультными учениями — ив частности всерьез заинтересовавшей его доктриной Гермеса Трисмегиста.

— Tiens, tiens*, — снова заговорил мужчина, с многозначительным видом приподнимая бровь и припечатывая нас обоих суровым взглядом, в котором, впрочем, не прочитывалось безоговорочного осуждения. — Не будете ли вы добры на несколько минут оставить нас наедине с вашим другом? — попросил он, оборачиваясь в мою сторону.

— Разумеется, — ответил я и возвратился к себе, чтобы вновь погрузиться в хаос спонтанного машинописного творчества.

У Карла, по моим расчетам, они пробыли еще добрых полчаса. К моменту, когда в дверь моей комнаты вновь постучали, я успел вынуть из машинки восемь или десять страниц сущей абракадабры, разобраться в которой вряд ли было под силу самому отчаянному сюрреалисту. Я степенно распрощался с Колетт — несчастной сироткой, которую мы, взрослые дяди, вытащили из геенны огненной и ныне передаем в руки обезумевших от горя родителей. Не преминул участливо осведомиться, удалось ли им отыскать принадлежащие малютке часы. Увы нет, но наши визитеры не теряли надежды, что нам это удастся. И что мы сохраним их на память об этом происшествии.

Не успела закрыться за нашими непрошенными гостями дверь, как Карл ворвался ко мне в комнату и заключил

* Ну, ну *(фр.).*

347

меня в объятия. — Знаешь, Джо, я думаю, ты спас мне жизнь. А может, Пруст? Ну и гримасу же скорчил этот ублюдок с постной мордой! Литература! Черт возьми, до чего это по-французски! Даже у легавых здесь в крови почтение к писательскому ремеслу. А то обстоятельство, что ты американец — и знаменитый литератор, как я тебя аттестовал, — оно-то и решило все дело. Знаешь, что он мне понес, едва ты вышел из комнаты? Что назначен официальным опекуном Колетт. Ей, кстати сказать, на самом деле пятнадцать, но она уже не раз сбегала из дому. Как бы то ни было, стоит ему обратиться в суд, продолжал нагнетать страсти этот подонок, и десять лет отсидки мне обеспечены. В курсе ли я существующих в стране законов? Я ответил, что в курсе. Похоже, его удивило, что я не делаю попытки себя выгородить. Но еще больше удивило его то, что мы писатели. Знаешь, уважение к писателям — французы впитывают его с молоком матери.

Писатель по здешним понятиям просто не может оказаться обычным уголовником. Скорее всего, он думал, что застанет тут пару заурядных сутенеров. Или шантажистов. Зато стоило тебе появиться, как он сразу приутих. Между прочим, он спросил потом, какие у тебя книги и нет ли среди них переведенных на французский. Я сказал, что ты философ и что твои сочинения чрезвычайно трудны для перевода.

— А ты шикарно ввернул это о Гермесе Трисмегисте, — перебил я его. — Как тебя угораздило наплести такое?

— Да я и не плел ничего, — отозвался Карл. — Не до того было. Просто выложил первое, что пришло в голову... Да, знаешь, что еще произвело на него неизгладимое впечатление? «Фауст». Всего-навсего потому, что он на немецком. Там ведь лежали все больше английские книги: Лоуренс, Блейк, Шекспир. Я так и слышал, как он приговаривает про себя: «Ну, эти двое — еще не самое большое зло. Ребенок мог попасть в руки и похуже»,

— А мать? Что она говорила?

— Мать? Да ты хорошо ее рассмотрел? Она ведь не просто красива: она божественна. Джо, я влюбился в нее в тот самый миг, как ее увидел. За все время она не проронила ни слова. А на прощание сказала: «Месье, мы не станем возбуждать против вас дело с условием, что вы обещаете не делать попыток общаться с Колетт в будущем, Вам ясно?» Да я едва слышал, что она говорила, в таком я был замешательстве. Достаточно было ей сказать: «Месье, будьте любезны отправиться с нами в полицейский участок», — и я тотчас ответил .бы: *«Oui, Маната, a vos or-*

348

*dres»**. Я даже вознамерился на прощание поцеловать ей руку, но потом сообразил, что это было бы слишком. А ты обратил внимание, какие у нее духи? Это же... — Последовало название соответствующего сорта духов с непременным сопутствующим номером. — Забыл, ты ведь совсем ничего не смыслишь в духах. Так вот: ими пользуются только дамы аристократического круга. Так что я бы ничуть не удивился, окажись она герцогиней или маркизой. Ах, какая жалость, что я подобрал на улице дочку, а не мать. Думаешь, неплохой финал для моей книжки?

Наиболее благополучный из возможных, подумал я про себя. К слову замечу, несколько месяцев спустя он таки разродился рассказом, и рассказ этот (в особенности вошедшее в него рассуждение о Прусте и «Фаусте») явился одним из лучших его произведений. И все время, пока его творение обретало форму, Карла снедало неутолимое томление по матери нашей незадачливой подопечной. Сама Колетт, казалось, начисто выветрилась у него из памяти.

Итак, едва подошла к концу эта эпопея, как на горизонте показались танцовщицы-англичанки, затем девушка из бакалейной лавки, помешавшаяся на уроках английского, потом Жанна, а в промежутках — наша подруга-гардеробщица и еще шлюха из тупика за кафе «Веплер» — из «капкана», как мы его прозвали, ибо пробраться домой этим проулком в ночную пору и все свое принести с собой было не легче, нежели целым и невредимым пройти сквозь строй.

А потом уж пришел черед сомнамбулы с револьвером, из-за которой несколько дней мы просидели как на иголках.

После очередной затянувшейся до утра посиделки за алжирским вином (его, помнится, было невообразимое количество) Карл и выдвинул свою идею блицэкскурсии — так, на пару-тройку дней — по тем историческим местам европейского континента, в которых мы еще не бывали. На стене в моей комнате висела большая карта Европы; по ней-то мы лихорадочно шныряли, стремясь уразуметь, на какое расстояние можем позволить себе отъехать с учетом критического положения наших финансов. Сначала нам взбрело в голову посетить Брюссель, однако чуть позже мы без сожаления похоронили этот проект. Бельгийцы — народ неинтересный; в этом выводе мы обнаружили полную солидарность друг с другом. Приблизительно во столько же должна была обойтись поездка в Люксембург. Мы были порядком на взводе, и Люксембург представлялся

* Хорошо, мадам, как прикажете (фр.)

349

нам именно тем пунктом, куда можно двинуть с места в карьер в шесть часов утра. У нас не было ни малейшего намерения обременять себя багажом; по сути дела нам и не нужно было ничего, кроме зубных щеток, — которые мы в конце концов, заторопившись на поезд, разумеется, забыли дома.

Спустя несколько часов мы пересекли границу в отделанном изнутри полированным деревом и обитом роскошным плюшем купе железнодорожного состава, которому предстояло доставить нас в опереточное государство, издавна вызывавшее у меня непритворное любопытство. В Люксембург мы прибыли около полудня, толком не проспавшись и не протрезвившись. Мы плотно пообедали в отеле, воздали должное труду местных виноградарей и завалились на боковую. Незадолго до шести нехотя

поднялись и выбрались на воздух. Перед нами лежала мирная, тучная, беззаботная земля, до краев напоенная звуками немецкой музыки; с лиц ее обитателей, казалось, никогда не сходило выражение дремотного, бессмысленного блаженства.

Прошло не слишком много времени прежде, чем мы завязали дружбу с Белоснежкой — главной достопримечательностью привокзального кабаре. Белоснежке было около тридцати пяти лет; у нее были длинные, соломенного цвета волосы и живые голубые глаза. В этих местах она появилась всего неделю назад и уже изнывала от скуки. Мы опрокинули с нею пару коктейлей, несколько раз провальсировали по залу, поставили выпивку всем оркестрантам (все это составило несуразно мизерную сумму), а затем пригласили ее совместно отужинать. Хороший ужин в хорошем отеле обошелся нам во что-то столь же анекдотическое — по семь-восемь франков с носа. Швейцарка по национальности, Белоснежка была недостаточно смекалиста — или, напротив, слишком добродушна, — чтобы заставить нас всерьез раскошелиться. В голове у нее вертелась только одна мысль — не дай бог опоздать на работу. Когда мы вышли из ресторана, уже стемнело. Наугад двинувшись в сторону, противоположную центру, мы без труда отыскали укромное местечко на побережье, где и показали ей, из какого теста сделаны. Она отнеслась к этому так же, как к коктейлю, — с нерушимым добродушием и попросила заглянуть попозже вечером в кабаре; там у нее была подружка, которая, по ее убеждению, не могла нам не

350

понравиться. Мы сопроводили Белоснежку до ее рабочего места, а затем предприняли более основательную попытку ознакомиться с городом.

Сунув нос в небольшое кафе, за окном которого старуха играла на арфе, мы заказали вина. Место оказалось на редкость унылым, и скоро у нас свело челюсти от зевоты. Когда мы уже поднялись, направляясь к выходу, к нам поспешил его владелец и, протянув рекламную карточку своего заведения, выразил надежду, что мы посетим его кафе еще как-нибудь. Пока он распинался, Карл передал мне карточку и незаметно толкнул меня в бок. Я пробежал надпись глазами. По-немецки она звучала так: *«JUdenfreies Cafe»**. Будь на карточке написано: *«Limburger freies Cafe»***, — даже тогда в такой декларации, по моему разумению, было бы больше смысла. Мы расхохотались в лицо напыщенному ослу. Затем я на французском языке осведомился, понимает ли он по-английски. Тот ответил утвердительно.

— Вот что я скажу вам, любезный, — заговорил я внушительно. — Хоть я и не еврей, сдается мне, что вы малость шизанулись. Вам что, думать больше не о чем? Вы несете собачий бред. Вымазываетесь на людях в собственном дерьме. *Слышите*?

Он продолжал глазеть на нас, всем видом являя полное недоумение. Тут пришла очередь Карла пустить в ход изысканный набор сочных выражений на арго, который сделал бы честь королю парижских клоак.

— Слушай, ты, трахнутый-перетрахнутый сырный огрызок, — начал он. «Огрызок» раздвинул рот с явным намерением поднять крик. — Заткни пасть, — тоном недвусмысленной угрозы предупредил дальнейшие излияния Карл, сделав рукой красноречивый жест, символизировавший его готовность придушить старого дурака. — Я не собираюсь тратить на тебя слов. Заруби себе на носу одно: *ты — старая жопа! От тебя говном воняет!*

Договорив это, он чуть не задохнулся: его буквально распирало от смеха. Похоже, в этот момент обескураженному владельцу кафе пришло на ум, что перед ним — пара буйно помешанных. Безудержно хохоча и корча немыслимые гримасы, мы в конце концов выкатились на улицу.

* «Кафе, куда заказан вход евреям» *(нем.)*.

** «Кафе, где не подают лимбургеров» *(нем.)*.

351

А тугодумного болвана хватило только на то, чтобы без сил опуститься на стул и вытереть пот со лба.

Пройдя вверх по улице два десятка шагов, мы встретили сонного полицейского. Карл приблизился к нему, вежливо приподнял шляпу и на безукоризненном немецком сообщил, что минуту назад мы вышли из «арийского кафе», где завязалась какая-то потасовка. Он убедительно просит блюстителя порядка поторопиться, поскольку — тут Карл доверительно понизил голос — владелец кафе впал в бешенство и вполне способен кого-нибудь убить. Страж закона степенно, с сознанием своего должностного статуса поблагодарил его и не спеша двинулся в сторону кафе. На углу, завидев такси, мы попросили подвезти нас к гранд-отелю, который заприметили несколько часов назад.

В Люксембурге мы пробыли три дня. Три дня ели и пили до отвала, услаждали слух игрой лучших германских оркестров, наблюдая за тихим, безоблачным и бессобытийным, существованием народа, не имеющего веской причины существовать и в определенном смысле не существующего вовсе, если не сводить существование к

чисто физиологическому импульсу; так существуют овцы и коровы. Белоснежка познакомила нас со своей подругой — коренной люксембуржкой и кретинкой до мозга костей. С ними мы обсуждали технологию выдержки сыров и проблемы рукоделия, будущность народного танца и развитие угледобычи, перспективы экспорта и импорта, семейство великого герцога и досадные хвори и недомогания, время от времени омрачающие дни его членов, и т.д. и т.п. Целый день мы посвятили Пфаффенталю — Долине монахов. Казалось, над дремлющей этой долиной витает дух тысячелетнего мира. Она была воплощением коридора, который прочертил своим мизинцем Господь Бог — в напоминание людям о том, что, в кои-то веки пресытившись кровопролитными войнами, утомясь бесконечной борьбой, здесь они обретут мир и успокоение.

Сказать по правде, перед нами лежала плодородная, беззаботная, словно ходом планет обреченная на устойчивое процветание земля, все население которой было добродушно, участливо, сердобольно, терпимо. И, однако, на ней неуловимо давали себя почувствовать какие-то болезнетворные вирусы. Что-то, что ощущаешь в воздухе, остановившись у края болота. В самой доброте люксембуржцев было нечто ненатуральное, исподволь подрывавшее силу их духа.

352

Все, что их всерьез волновало, — это с какой стороны намазан маслом их хлеб насущный. Для них не было проблемой добывать его в поте лица, вот они и оказались мастерами в том, как его умаслить.

В глубине моей души зрело неподдельное отвращение. Нет уж, лучше подыхать как вошь в Париже, нежели накапливать жирок здесь, на соках тучной земли, раздумывал я про себя.

— Вот что, давай двинем восвояси. Может, нам повезет, и Париж наградит нас добрым, старым триппером, — сказал я, заметив, что Карл впал в состояние крайней апатии.

— Что?'О чем это ты? — вытаращил он глаза, медленно приходя в себя.

— Да, — был неумолим я, — пора выбираться отсюда. Это место смердит. Люксембург — то же, что Бруклин, только сильнее кружит голову и быстрее всасывается в кровь. Вернемся в Клиши и ударимся в загул. Надо поскорее отбить этот привкус во рту.

Когда мы возвратились в Париж, было около полуночи. Мы поспешили в редакцию газеты, в которой наш благодетель Кинг вел колонку спортивных новостей, одолжили у него еще сколько-то франков и ринулись наружу.

Меня снедало искушение остановить на улице первую попавшуюся шлюху. — Трахну ее, с триппером, без триппера, со всем, что в ней есть, — думал я. — Черт побери, заполучишь триппер — по крайней мере, будет что вспомнить. А то из этих люксембургских влагалищ текло одно жирное молоко.

Карл, впрочем, был не столь однозначен по части того, чтобы в очередной раз заработать триппер. Его член и так зудит, поведал он мне доверительно. У него не было ясности в вопросе, кто именно им его наградил — коль скоро это был действительно триппер, как подозревал мой приятель.

— Ну, если у тебя и так триппер, то ты, ничем не рискуя, можешь попробовать еще раз, — ободряюще напутствовал я его. — Схватил двойной заряд — поделись им с другими. Надо заразить весь континент! Лучше уж нормальная венерическая болезнь, чем кладбищенские тишь да гладь. Теперь мне понятно, на чем зиждется цивилизация: на пороке, болезни, лжи, воровстве, похоти. Черт

353

побери, французы — великая нация, даже если от них взял начало сифилис. И пожалуйста, никогда не проси меня впредь наносить визиты в нейтральные страны. Нет у меня больше желания общаться с коровами — в человеческом или любом ином обличье.

Я до того возбудился, что готов был оприходовать монахиню.

С таким боевым настроением мы и ступили на пол маленького дансинга, где обитала наша подруга-гардеробщица. Было чуть-чуть за полночь, и веселье только набирало темп. К стойке бара присосалась тройка-четверка шлюх и пара надравшихся мужиков — само собой разумеется, англичан. И, судя по всему, педиков. Мы протанцевали несколько танцев, а затем нас принялись осаждать шлюхи.

Просто поразительно, сколь многое позволено во французском баре при всем честном народе. В глазах проститутки любой, кто говорит по-английски — мужского ли, женского ли пола, — непременно извращенец. Француженка никогда не станет выдрючиваться, чтобы привлечь к себе внимание иностранца, так же как тюлень никогда не станет домашним животным, хоть обучи его выполнять цирковые номера.

К стойке подошла наша гардеробщица Адриенна. Уселась на высокий табурет, широко раздвинула ноги. Я остановился рядом, положив руку на плечо одной из ее товарок. Другую руку не торопясь запустил ей под юбку. Нащупав интриговавшее меня

место, легонько пощекотал его. Она соскользнула со своего насеста и, приникнув ко мне всем корпусом сзади и вороватым движением пробравшись внутрь моих брюк, сомкнула пальцы на источнике моей мужественности. Над залом спустилась полутьма; музыканты играли медленный вальс. Не отрывая руки, Адриенна потащила меня за собой на танцевальную площадку, в самую ее середину, где мы скоро оказались притиснуты друг к другу спинами и локтями танцующих, как сардины в консервной банке. Давка была такая,-что мы едва могли шевельнуться. Адриенна, тем не менее, изловчившись, вновь просунула руку в отверстие моих брюк, извлекла наружу мое естество и приставила его к треугольнику своего лона. Ощущение было невыносимым. Пытка еще усилилась, когда одна из ее подружек, плотно прижатая к нам вместе с партнером, без лишних церемоний заключила мой член в ладонь. Последнее перепол-

354

нило чашу: не сходя с места, я кончил ей прямо в руку.

Когда мы через силу доплелись обратно к стойке, Карл, пребывавший в углу, изогнулся всем телом в обнимку с девицей, которая, казалось, застыла в падении на пол. Наблюдавший за этим бармен, похоже, не разделял их общего экстаза. — Здесь пьют, а не трахаются, — сказал он. Карл, с перемазанным губной помадой лицом, в расстегнутом жилете, со съехавшим набок галстуком и со сбившимися на лоб волосами, поднял к нему затуманенные глаза. — Это же не шлюхи, — с трудом выговорил он, — это нимфоманки.

В полном изнеможении Карл опустился на табурет; утолок сорочки игриво торчал наружу из проема его брюк. Девица вызвалась застегнуть ему ширинку. И вдруг передумала: распахнув ее донизу и вытащив на свет божий предмет его гордости, присосалась к нему губами. Судя по всему, это было уже чересчур. В мгновение ока рядом возник метр, строгим тоном уведомивший, что нам придется либо умерить пыл, либо покинуть это заведение. Что до девиц, то обрушиваться на них у него, похоже, и в мыслях не было: он просто добродушно пожурил их, как расшалившихся детишек.

Мы настроились было тут же убраться восвояси, но помешала Адриенна: она настояла, чтобы мы остались до закрытия дансинга. Как заявила это особа, она намерена сопроводить нас домой.

И вот, когда мы наконец подозвали и загрузились в такси, выяснилось, что в машине нас пятеро. Карл склонен был без лишних церемоний тут же высадить одну из девиц, но так и не смог решить, которую. По пути мы накупили сэндвичей, сыру, оливок и изрядное количество выпивки.

— Ну и конфуз же будет, когда они узнают, что у нас почти не осталось денег, — негромко заметил Карл.

— Все к лучшему, — отозвался я, — тогда, может, разбегутся пораньше. Я до смерти устал. Все, что мне нужно, — это принять ванну и забраться в постель.

Едва мы вломились в квартиру, я разделся и открыл кран в ванной. Девицы сгрудились на кухне, накрывая на стол. Стоило мне, однако, влезть в ванну и взять в руки мыло, как откуда ни возьмись Адриенна и одна из ее подружек. Нашим гостьям взбрело в голову, что не худо бы и им сделать то же самое. Быстро стянув себя тряпье, Адриенна нырнула в воду следом за мной. Вторая тоже

355

разделась, подошла и остановилась у края. Адриенна и я сидели визави, касаясь друг друга скрещенными ногами. Вторая девица, перегнувшись всем корпусом, принялась внимательнейшим образом изучать мою анатомию. Откинувшись назад в расслабляюще горячей воде, я позволил ей обхватить мыльными пальцами мое естество. Тем временем Адриенна вся ушла в исследование собственного влагалища, как бы давая понять: «Ничего, ничего, пусть себе поиграется; когда надо будет, я выхвачу у нее из рук этот предмет».

Не помню уже, как мы оказались в ванне втроем, у каждого сэндвич в одной руке и стакан вина в другой. Карлу зачем-то вздумалось бриться. Его девушка присела на краешек биде, с аппетитом уминая сэндвич и без умолку болтая языком. На миг испарившись из ванной, она возвратилась с полной бутылкой красного вина, каковое без остатка и вылила нам на головы. Мыльная вода тотчас приобрела гранатовый оттенок.

К этому моменту я настолько возродился, что готов был выкинуть что угодно. Почувствовав желание облегчиться, я тут же проделал это, не вылезая из ванны. Девицы пришли в ужас. Судя по их реакции, я позволил себе нечто неуместное. Внезапно наших гостий обуял демон подозрительности. А собираются ли им платить? Если да, то сколько? Когда Карл невозмутимо объявил, что у нас на двоих осталось девять франков, ни больше ни меньше, поднялся форменный бедлам. Потом они угомонились, решив, что им отпустили очередную шутку — шутку в дурном вкусе, вроде того, чтобы помочиться в ванну. Мы, однако, были непоколебимы. Тогда они поклялись, что им никогда еще не доводилось встречать

таких, как мы — бессовестных, бесчеловечных, бесчестных.

— Вы — пара грязных бошей, — изрекла одна.

— Нет, это *англичане*. Извращенцы-англичане, — поправила ее другая.

Адриенна пыталась умиротворить их. Она засвидетельствовала, что знает нас давно и что с ней мы всегда вели себя как джентльмены — заявление, с моей дочки зрения, прозвучавшее несколько странно, если вникнуть в суть наших с ней отношений. Впрочем, в ее устах слово «джентльмены» означало лишь, что ее скромные услуги мы всегда оплачивали наличными.

Адриенна предпринимала отчаянные попытки спасти

356

положение. Казалось, я так и слышу, как она старается измыслить выход.

— Может быть, выпишете им чек? — спросила она. На это Карл громко расхохотался. Он собрался уже во всеуслышание объявить, что у нас и книжки-то чековой нет, как я, предотвратив поток его красноречия, заговорил: — Пожалуй, это мысль... Как насчет того, чтобы каждой из вас выписать по чеку? — Не тратя слов, я зашел в комнату Карла и извлек оттуда его старую чековую книжку. Прихватил также его роскошное паркеровское перо и, вернувшись, протянул все это обладателю.

И тут-то Карл явил очередной пример своей изворотливости. С блеском демонстрируя на публику свое законное недовольство тем, что я распоряжаюсь его чековой книжкой и вообще влезаю в его дела, он проронил сквозь зубы:

— Вот-вот, всегда так. — Все это, разумеется, по-французски, дабы быть услышанным нашими посетительницами. — За все эти фокусы неизменно расплачиваюсь я. Почему бы тебе для разнообразия не выписать пару-тройку чеков?

На этот призыв я, сделав подобающе пристыженную мину, ответствовал, что не могу, ибо счет мой пуст. Тем не менее он еще упирался — точнее, делал вид, что упирается.

— А почему бы им не подождать до завтра? — спросил он, поворачиваясь к Адриенне. — Они что, нам не доверяют?

— С какой стати мы должны вам доверять? — вознегодовала одна из девиц. — Минуту назад вы делали вид, что у вас нет ни гроша. Теперь хотите, чтобы мы подождали до завтра. Э, нет, так не пойдет.

— Ну, раз так, можете все убираться, — отрезал Карл, швыряя чековую книжку на пол.

— Ну, не мелочись, — умоляюще воскликнула Адриенна. — Выдай каждой по сто франков и кончим этот разговор. *Ну* ложолуйсяга!

— *Каждой* по сто франков?

— Ну, конечно, — отозвалась она. — Это не так уж много.

— Давай, — подхватил я, —не будь таким жмотом. К тому же свою половину я отдам тебе через день-другой.

— Ты всегда так говоришь, — проворчал Карл. — Кончай ломать комедию, — сказал я ему по-анг-

357

лийски. — Выписывай чеки и пусть убираются к чертям собачьим.

— Пусть убираются? Что? Ты хочешь, чтобы я выписал им чеки, а потом показал на дверь? Ну нет, сэр, за свои денежки я намерен получить то, что мне причитается, даже если эти чеки ни к черту не годны. Ведь они-то этого не знают. И если мы просто так, за здорово живешь их отпустим, заподозрят что-то неладное.

— Эй, *вы! —* повысил он голос, помахивая чековой книжкой перед носом у девиц. — Маленькая деталь: а я что с этого буду иметь? Мне нужен сервис по экстраклассу, не банальное сунуть-вынуть.

Он приступил к действу раздачи чеков. Было в нем нечто пародийно-комическое. Вероятно, обладай чеки реальной ценностью, и то подобная церемония вряд ли смогла бы придать им необходимый кредит доверия. Возможно, оттого, что и раздающий, и получательницы их стояли в чем мать родила. Аналогичное ощущение — ощущение участия в некой фиктивной сделке, — похоже, передалось и девицам. Кроме, разумеется, свято веровавшей в нас Адриенны.

Про себя я молился, чтобы они ограничились показухой, а не заставляли нас проходить через все стадии стопроцентного траха. Я был весь измочален. Вымотан как бездомная собака. Потребуются сверхъестественные усилия, чтобы вызвать у меня хотя бы отдаленное подобие эрекции. Что до Карла, то он вел себя так, будто в самом деле только что раздал направо-налево три сотни франков. За них он намеревался получить свой фунт мяса, и этот фунт должен был быть обильно сдобрен пряностями.

Пока они обсуждали между собой частности, я забрался в постель. Внутренне я столь дистанцировался от творившегося под самым носом, что немедленно задремал и мне привиделся рассказ, который я начал писать несколько дней назад и к которому предполагал вернуться сразу же, как проснусь. Это был рассказ об убийстве топором.

Быть может, стоит свести описание к минимуму, всецело сосредоточившись на фигуре алкоголика-убийцы, которого я оставил у обезглавленного тела нелюбимой жены? Врезать в зачин газетную заметку о преступлении, а затем, оттолкнувшись от нее, развернуть собственную версию убийства — с момента, когда голова скатывается со стола? Это

358

как нельзя лучше ляжет в ряд, размышлял я, с линией безрукого, безногого инвалида, по вечерам раскатывающего по улицам на низенькой платформе на колесиках — так, что голова его оказывается вровень с коленями идущих. На этом фабульном витке мне как воздух требовалось что-то пугающее, ибо я загодя припрятал в рукаве бесподобный фарсовый ход, каковой, по моему разумению, должен был стать превосходной завязкой ко всей истории.

Нескольких секунд, подаренных мне забытьем, оказалось достаточно, чтобы ко мне вернулось настроение, напрочь утраченное в день, когда к нам снизошла наша сомнамбула — наша своенравная принцесса Покахонтас.

Из полусна меня вывел легкий толчок Адриенны, тем временем облюбовавшей себе место рядом со мной в постели. Она что-то нашептывала мне на ухо. Что-то опять о деньгах. Я рассеянно попросил ее повторить и, стремясь не упустить только что пришедшую в голову мысль, вновь и вновь повторял про себя: «Голова скатывалась со стола... скатывалась со стола... пигмей на колесиках... колесики... ноги... миллионы ног...»

— Они спрашивали, не наберется ли у вас мелочи им на проезд. Они далеко живут.

— Далеко? — переспросил я, глядя на нее отсутствующим взглядом. — Как далеко? *(Не забыть бы:* колесики; ноги; голова скатывалась со стола... рассказ начать с середины предложения.)

— В Менильмонтане, — ответила Адриенна.

— Подай-ка мне карандаш и бумагу — вон оттуда, со стола, — попросил я.

— Менильмонтан... Менильмонтан... — повторял я машинально, набрасывая ключевые слова: «резиновые колесики», «деревянные галоши», «пробковые протезы» и тому подобное.

— Что ты делаешь? — зашипела Адриенна, резко дергая меня за руку. — Что на тебя нашло?

— *Il est fou*, —* воскликнула она, приподнявшись и в отчаянии всплескивая руками.

— *Ou est l' autre***? —* растерянно спросила она, озираясь по сторонам в поисках Карла. *—Mon Dieu, —* послышался ее голос откуда-то изда-

* Он с ума сошел (фр.)

** А другой где? (фр.).

359

ли, — *il dort*.* — Затем, после ничего доброго не предвещавшей паузы: — Ну, это уж ни в какие ворота не лезет. Пошли отсюда, девочки! Один нахлестался и отключился, другой мелет чушь какую-то. Зря время теряем. Вот каковы эти иностранцы — вечно у них на уме что-то другое. Они не хотят заниматься любовью, им надо только, чтобы их хорошенько пощекотали...

«Пощекотали»; это я тоже занес в свой кондуит. Не помню точно, какое французское слово она употребила, но, как бы то ни было, оно отозвалось в моем сознании благодарной болью. *Пощекотали*. Глагол, которым я не пользовался целую вечность. И в памяти тут же всплыло еще одно слово, которым я пользовался крайне редко: «заблудившийся». Я даже не вполне отдавал себе отчет в том, что оно в точности означает. Ну и что, спрашивается? Так ли, сяк ли найду, куда его вставить. Да разве мало слов выпало из моего лексикона за те годы, что я прожил за границей?

Откинувшись на спинку кровати, я молча смотрел, как они собирают вещи, готовясь выкатиться наружу. Так, скрывшись в ложе от посторонних взглядов, следишь за разыгрывающейся на сцене пьесой. Я вообразил себя паралитиком, смакующим бесплатное зрелище не в силах вылезти из собственного кресла-коляски. Приди в голову одной из них схватить графин с водой и опрокинуть его мне на голову, мне не под силу будет даже сдвинуться в сторону. Останется лишь отряхнуться и улыбнуться, как улыбаются шкодливым ангелочкам (интересно, есть такие в природе?). Все, чего я жаждал, — это чтобы они поскорее убрались восвояси, позволив мне вернуться в царство моих грез. Будь у меня хоть сколько-нибудь денег, я не задумываясь расстался бы с ними в их пользу.

Спустя целый геологический период наши гостьи удалились. На прощание Адриенна одарила меня воздушным поцелуем — жест столь нежданный, что я поймал себя на том, что с любопытством вглядываюсь в изгиб ее руки. Вот она плывет от меня вдаль по коридору, в конце которого ее всосет темная воронка дымохода; рука еще видна, еще согнута в приветствии, но уже так тонка, так мала, так преображена расстоянием, что превратилась в соломинку

* Господи, да он спит (фр.)

360

— *Salaud!** — прокричала в заключение одна из девиц. Дверь с шумом захлопнулась, а я, невольно включившись в игру, в подобающем томе отреагировал на ее реплику: — Oui, c'est juste. Un salaud. Et vous, des salopes. II n'y a que ca. Salaud, salope. La saloperie, quoi. C'est assoupissant**.

Со словами: — Куда это, черт побери, меня понесло? — я соскочил с рельс этого монолога.

Колесики, ноги, скатывающаяся со стола голова... Все к лучшему. Завтра будет таким же, как сегодня, только лучше, свежее, богаче оттенками. Человечек на низенькой платформе бултыхнется в воду с причала. И всплывет на поверхность с селедкой в зубах. Да не с какой-нибудь, а с маасской.

Опять чувство голода. Я поднялся посмотреть, не завалялся ли где-нибудь недоеденный сэндвич. Стол оказался девственно пуст. Рассеянно двинулся в ванную, намереваясь заодно отлить. На полу нашли себе пристанище два ломтика хлеба, кусочки раскрошившегося сыра да несколько подпорченных оливок. Судя по всему, выброшенных за непригодностью.

Я поднял один ломтик, желая удостовериться в его съедобности. Похоже, кто-то по нему прошелся всей ступней. На хлебе темнело пятнышко горчицы. Вот только горчицы ли? Лучше отдать предпочтение другому. Я подобрал второй ломтик — совсем чистый, слегка разбухший от лежания на мокром полу, и увенчал его бренными останками сыра. На дне стакана, забытого рядом с биде, обнаружил глоток вина. Найдя ему соответствующее применение, бодро надкусил сэндвич. Совсем неплохо. Даже напротив, весьма аппетитно. Микробы не вселяются ни в голодных, ни в одержимых. Ох уж весь этот треп, вся эта возня с целлофановыми обертками, все эти толки о том, кто к чему прикоснулся рукой. Чтобы продемонстрировать полнейшую их никчемность, я провел сэндвичем по собственному заду. Разумеется, быстро и без нажима. А затем разжевал и проглотил его. *Вот вам,* пожолше! Где, спрашивается, предмет для споров? Огляделся по сторонам в поисках

* Подонок! (фр.)

** Да, совершенно верно Мерзавец. А. вы — мерзавки Толь ко и всего Мерзавец, мерзавка Мерзость, и ничего больше вокруг Это убаюкивает (фр.)

361

сигареты. Увы, остались только бычки. Выбрал самый длинный и чиркнул спичкой. Какой восхитительный аромат! Не то что эти надушенные опилки из Штатов! Настоящий, крепкий табак. Это синий «голуаз», который так любит Карл, сомневаться не приходится.

Итак, о чем я раздумывал?

Усевшись за кухонный стол, я с комфортом водрузил на него ноги... О чем, в самом деле?

Сколько ни старался, не мог ни вспомнить, ни сосредоточиться. Слишком уж хорошо мне было.

В конце концов, с какой стати вообще о чем-то думать?

Да, позади долгий день. Несколько *дней,* если быть совсем точным. Итак, несколько дней назад мы сидели тут с Карлом, размышляя, в какую бы сторону направиться. Впечатление такое, будто это было вчера. Или в прошлом году. Какая разница? Человек то вытягивается во весь рост, то собирается в клубок. То же и со временем. И со шлюхами. Все на свете уплотняется, сгущается, стягивается в лимфатические узлы. В узлы пораженной триппером ткани.

На подоконнике чирикнула ранняя пташка. В сладком дремотном тумане мне припомнилось, что много лет назад я вот так же встречал рассвет в Бруклине. Встречал в какой-то другой жизни. Отнюдь не исключено, что мне больше никогда не доведется побывать в Бруклине. Ни в Бруклине, ни на Канарских островах, ни на Шелтер-Айленде, ни на мысе Монток, ни в Секакусе, ни на озере Покотопаг, ни спуститься по Неверсинк-ривер; не доведется отведать ни моллюсков с беконом, ни копченой трески, ни устриц с прибрежий горных рек. Странно: можно копошиться на дне помойной ямы и воображать, будто ты — дома. Пока кто-нибудь не прогогочет над ухом: «Миннегага» — или: «Уолла-Уолла». Дом. Дом — это то, где ты обитаешь. Другими словами, гвоздь, на который вешаешь шляпу. Далеко, сказала она, подразумевая: в Менильмонтане. Разве это далеко? Вот Китай — он действительно далеко. Или Мозамбик. Малютка, а как насчет того, чтобы всю жизнь перемещаться в пространстве? Париж вреден для здоровья. Может, в том, что она сказала, и впрямь есть доля истины. Почему бы тебе для разнообразия не пожить в Люксембурге, крошка? Какого черта, на земле — тысячи

обитаемых мест. Остров Бали, например. Или Каролинский архипелаг. Это сумасшествие — все время клянчить и клянчить денег. Деньги, деньги. Нет денег. Куча денег. Да,
362
убраться куда-нибудь подальше, как можно дальше. Ничего не беря с собой — ни книг, ни пишущей машинки. Ни о чем не говорить, ничего не делать. Просто плыть по течению. Эта шлюха Нис. Не женщина, а одно необъятное влагалище. *Что за жизнь*! Не забыть: *«пощекотали»*!

Я оторвал зад от сиденья, зевнул во весь рот, потянулся, доплелся до кровати.

Катиться вниз со скоростью горного потока. Вниз, вниз, во вселенскую выгребную яму. Минуя левиафанов, взмывающих на просторах озаренных нездешним светом океанских глубин. А вокруг жизнь сочится обычной неспешной струйкой. Завтрак — в десять, тютелька в тютельку. Безрукий, безногий инвалид зубами завязывает кочергу в штопор. Свободное падение сквозь все слои стратосферы. Кокетливыми спиралями свиваются дамские подвязки. Рассеченная надвое женщина лихорадочно пробует пристроить на место собственную отрубленную голову. Требует денег. За что? Этого она не знает. Плати — и все тут. На игольчатый стержень зонта нанизан свежезаготовленный труп, весь испещренный пулевыми отверстиями. С шеи трупа свисает железный крест. Кто-то спрашивает, не найдется ли лишнего сэндвича? Течение слишком бурно, чтобы удержать сэндвич в руке. «Сэндвич» — проверить правописание по словарю на букву «с»!

Плотный, запоминающийся, бодрящий, весь высвеченный каким-то мистическим синим сиянием сон. Я обнаружил себя в тех коварных глубинах, на которых то ли из чувства блаженного восторга, то ли из чувства немого изумления растворяешься, утрачиваешь форму, превращаешься в чистый эмбрион. Каким-то непостижимым сновидческим инстинктом я сознавал, что мне предстоит сделать гигантское усилие. Многократные попытки всплыть на поверхность изнуряли, изматывали, отнимали последние силы. На какие-то доли секунды мне удавалось раскрыть глаза: сквозь густую пелену я прозревал комнату, в которой спал, но тело мое пребывало где-то неизмеримо глубже, в пенящейся океанской бездне. В этом галлюцинативном движении вверх, движении вопреки всему было что-то непередаваемо чувственное. Втянутый водоворотом в жерло по видимости бездонного кратера, я падал все ниже и ниже, влекомый невидимой твердью, на которой я поджидал сам себя. Поджидал, ощерясь, как акула. Затем медленно, очень медленно начал подниматься — невесомый, как проб-
363
ка, и скользкий, как рыба, но без плавников. Всплытие оказалось несказанно трудным делом. И уже почти вынырнув на поверхность, я почувствовал, как меня, восхитительно беспомощного, снова засасывает в пустоту бездонной воронки, откуда спустя бессчетные световые эры моей воле, собравшись в стальной комок, суждено будет вынести меня на поверхность, как затонувший буй...

Я проснулся от гомона птиц, чирикавших мне прямо в уши. Комнату больше не окутывал влажный туман; контуры ее стен были четки и узнаваемы. На столе примостилась, ожесточенно оспаривая друг у друга хлебную крошку, пара воробышков. Опершись головой на локоть, я следил, как они просвистели крыльями к закрытому окну. Выпорхнули в прихожую, затем влетели обратно, заметавшись в поисках выхода.

Я поднялся и открыл окно. Как загипнотизированные, они продолжали делать бессмысленные круги по комнате. Я замер, превратился в изваяние. Внезапно они нырнули в проем между распахнутыми рамами. — Bonjour, Madame Oursel*, — прочирикали воробьи.

Это было в полдень на третий или четвертый день весны...

Нью-Йорк-Сити,июнь 1940 года Переработано в Биг-Суре, 1956

* Добрый деиь, мадам Урсель *(фр.)*.

МАРА ИЗ МАРИНЬЯНА (MARA – MARIGNAN)

ПОВЕСТЬ

Я повстречался с нею у кафе «Мариньян», что на Елисейских Полях.

В те дни я с трудом обретал самого себя, расставшись с Марой с Острова святого Людовика. Разумеется, мою избранницу звали иначе, но на этих страницах я предпочитаю именовать ее так: в конце концов она была родом из этих мест, и по пустынным улочкам этого острова я бродил темными вечерами, чувствуя, как в мою душу все глубже вторгается ржавое лезвие одиночества.

Только благодаря тому, что несколько дней назад она подала о себе весть (а ведь я уже утвердился в мысли, что утратил ее навсегда), я почувствовал себя в силах рассказать обо всем этом. Правда, теперь, когда мне впервые открылись некоторые обстоятельства этой истории, она выглядит намного сложнее.

Замечу в скобках, что вся моя жизнь, стоит лишь взглянуть на нее со сколько-нибудь

отдаленной дистанции, сводится к одному неустанному поиску той единственной Мары, которая поглотила бы всех остальных, сообщив значимую реальность их существованию.

Мара, находящаяся у истоков тех событий, о которых я собираюсь поведать, эта Мара возникла не на Елисейских Полях и не на Острове святого Людовика. Эта Мара звалась Элианой. Жена человека, отбывавшего тюремное заключение за сбыт фальшивых ассигнаций, она состояла в связи с моим другом Карлом, поначалу воспылавшим к ней нежнейшей страстью, а к тому дню, о котором идет речь, настолько пресытившимся ею, что ему была ненавистна сама мысль о том, чтобы нанести интимный визит своей подруге.

Элиана была молода, стройна, привлекательна; придирчивому критику впору было отметить лишь легкий пушок, росший у нее над верхней губой, да невероятное множество родинок, усеивавших ее кожу в самых разных местах. Первое время мой приятель был склонен считать, что эти дефекты лишь составляют выгодный контрапункт ее красоте; однако по мере того, как Карл начинал тяготиться

367

Элианой, их наличие стало делаться для него источником раздражения, зачастую оказываясь предлогом для язвительного подтрунивания, порой заставлявшего ее болезненно кривить брови. Впрочем, как ни странно, в слезах Элиана казалась прекраснее, чем когда-либо. В ее лице, когда оно было омыто слезами, проступала уверенная зрелая женственность, какую трудно было заподозрить в субтильном создании неопределенного пола, некогда воспламенившем воображение Карла.

Муж Элианы и Карл были давними друзьями. Познакомились они в Будапеште, где первый сначала спас Карла от голодного прозябания, а затем снабдил деньгами для переезда в Париж. Однако признательность, которую испытывал к нему Карл, тотчас сменилась насмешливостью и презрением, стоило последнему убедиться в его глупости и эмоциональной глухоте. Спустя десять лет они случайно столкнулись на одной из парижских улиц. Последовало приглашение к обеду. Карл, разумеется, и не помыслил бы ответить на него согласием, не помахай его давнишний знакомец в воздухе фотографией своей молодой жены. Карл тут же воспылал. По его словам, запечатленная на портрете женщина напомнила ему девушку по имени Марсьенн — героиню рассказа, над которым Карл в то время работал.

Мне хорошо' запомнилось, что по мере того, как становились дольше и продолжительнее тайные свидания Карла с Элианой, история Марсьенн шла по восходящей, обогащалась, обрастала плотью новых подробностей. С Марсьенн он виделся всего три-четыре раза, впервые повстречав ее в Марли, где та прогуливала свою выхоленную борзую. Четвероногая спутница Марсьенн и впрямь заслуживает упоминания, ибо на ранней стадии создания данной истории она — по крайней мере, для меня — обладала гораздо большей степенью реальности, нежели та женщина, к которой, как предлагалось заключить читателю, проникся страстью автор рассказа. С появлением Элианы в существовании Карла образ Марсьенн обрел конкретность;

он даже не преминул наделить свою героиню родинкой внизу подбородка — одной из многих украшавших кожу Элианы и той самой, которая, по его заверениям, с каждым поцелуем лишь умножала пыл его любовных желаний.

И вот уже несколько месяцев у Карла были практически неограниченные возможности прикладываться губами к любой из бесчисленных родинок Элианы, включая и самую интимную — на левой ляжке, во взрывоопасном соседстве с пахом. Увы, эти родинки утратили для него

368

былую неотразимость. История Марсьенн была дописана, а вместе с нею канула в небытие и его страсть к Элиане.

Каплей, переполнившей чашу, явился арест и последовавшее тюремное заключение ее мужа. Пока он был рядом, известную остроту в их связь привносил, по крайней мере, волнующий фактор риска; когда же законный соперник оказался надежно упрятан за решетку. Карл столкнулся с непривычной для себя ситуацией: любовницей, обремененной двумя детьми и уже в силу одного этого склонной видеть в нем защитника и кормильца. Нельзя сказать, чтобы Карл был вовсе чужд великодушию; однако еще труднее было бы увидеть в нем идеал кормильца и добытчика хлеба насущного. Равным образом нельзя было отказать моему приятелю и в другой добродетели — любви к детям; однако ему нисколько не импонировало выступать в роли отца перед детьми человека, которого он глубоко и искренне презирал. Максимум того, на что он был способен в сложившихся обстоятельствах, — это постараться устроить Элиану на работу, чем Карл без промедления и занялся. Оказываясь без гроша, он столовался у нее в доме. Время от времени сетовал на то, что ей приходится слишком много работать, принося в жертву печальной необходимости свою красоту; последнее, впрочем, втайне импонировало его эгоизму: от измотанной вконец Элианы не приходилось ждать

чрезмерных притязаний на его время.

В день, когда он уговорил меня составить ему компанию, Карл был не в настроении. Утром он получил от Элианы телеграмму, где говорилось, что она взяла выходной и ждет его у себя как можно раньше. Он предполагал появиться в ее краях около четырех, намереваясь вскоре после обеда отбыть оттуда вместе со мной. Мне же надлежало изобрести благовидный предлог, каковой обеспечил бы ему возможность удалиться без скандала.

По прибытии я не без удивления обнаружил, что в доме обитают не двое, а трое детей; оказывается, Карл упустил Из вида поставить меня в известность, что у Элианы с мужем был еще один отпрыск — младенческого возраста. Забыл по чистой рассеянности, заверил меня он. Не могу сказать, чтобы царившая в доме атмосфера вполне отвечала представлению о любовном гнездышке. Возле каменных ступеней у подъезда, выходившего в грязный, унылый двор, стояла детская коляска; обитатель ее заливался плачем во всю мочь своих легких. Внутри повсюду были развешены детские пеленки. Окна широко распахнуты наружу; по квартире летало множество мух. Старший из детей называл Карла папой, что вызывало у моего друга живейшее раздражение. Он грубо приказал Элиане убрать детей с

369

глаз долой. При этих словах она чуть не разрыдалась. Тогда Карл обратил ко мне один из своих излюбленных, исполненных беспомощности взглядов, как бы призывая меня в свидетели: — Ну, вот, началось... Сам понимаешь, надолго ли меня хватит?

Загнанный в угол, он попробовал испытать диаметрально противоположную тактику: принялся изображать подчеркнутое благодушие, потребовал поставить на стол выпивку, усадил детей к себе на колени, начал читать им стишки, то и дело, буднично и без видимой заинтересованности похлопывая Элиану по мягким частям, словно стремясь убедиться в сохранности купленного по случаю окорока. В своей демонстрации наигранной веселости он зашел еще дальше: не выпуская из рук стакана, знаком велел Элиане приблизиться, запечатлел сочный поцелуй на месте его любимой родинки, а затем, заговорщически подмигнув мне, запустил свободную руку в проем ее блузки и извлек на свет божий левую грудь своей сожительницы, достоинства каковой тут же, не утрачивая прежнего хладнокровия, и предложил мне объективно оценить.

Мне доводилось быть свидетелем подобных выходок моего приятеля и раньше: объектами их становились другие женщины, в которых он влюблялся. Его чувства неизменно развивались по замкнутому циклу: страсть, охлаждение, безразличие, скука, язвительность, презрение, отвращение. Мне было искренне жаль Элиану. Дети, нищета, унылая лямка работы изо для в день, унижения — всему этому никак не позавидуешь. Видя, что его экспансивный жест не принес желаемого эффекта, Карл неожиданно устыдился. Поставив стакан на стол, он с видом побитого пса заключил Элиану в объятия и поцеловал в лоб. Последнее, по его представлениям, должно было продемонстрировать, что она — ангел, пусть даже наделенный соблазнительным задом и обворожительной левой грудью. Затем на его губах появилась глуповатая усмешка, и он поудобнее устроился на диване, бурча сквозь зубы: — Ну, ну. — В переводе на понятный мне язык это означало: — Так-то вот обстоят дела. Хуже некуда, но ничего не попишешь.

Почувствовав повисшее в комнате напряжение, я вызвался вывести детей, включая и младенца в коляске, на свежий воздух. Карл тут же встрепенулся: похоже, мое исчезновение со сцены (по крайней мере, в данный момент) не входило в его планы. Из его гримас и жестов, обращаемых ко мне за спиной Элианы, я уловил лишь, что необходимость немедленно приступить к исполнению лю-

370

бовных обязанностей его отнюдь не прельщает. Совсем напротив: громко рассуждая о том, что сам не преминет повести детей на прогулку, Карл одновременно из-за спины своей избранницы на языке глухонемых лихорадочно сигнализировал мне, что будет вовсе не против, коль скоро в его отсутствие я предприму решительный штурм твердынь Элианиной добродетели. Даже будь у меня в мыслях подобное желание, я никогда не решился бы на такое. Совесть не позволила бы. К тому же мне гораздо больше импонировало всласть помучить его в отместку за свинское обхождение с бедняжкой. Тем временем дети, уловившие .течение разговора и ставшие свидетелями нашей заговорщической мимики за спиной их родительницы, принялись вести себя так, будто сам бес в них вселился: вмиг развеселились, затем захныкали, а потом и вовсе разревелись, притоптывая ножками в бессильной ярости. Младенец в коляске опять завопил благим матом, попугай в клетке зарядил свое, собака разразилась визгливым лаем. Убедившись, что ветер дует не в их сторону, эти резвые создания начали по-обезьяньи копировать нелепые ужимки Карла, за которыми следили со смешанным любопытством и недоумением. Было в этом подражании нечто на редкость непристойное, и бедная Элиана никак не могла взять в толк, что за муха их укусила.

А Карл — тот уже совсем вышел из себя. На удивление Элиане он в открытую разразился целым каскадом клоунских гримас и неуклюжих телодвижений — как бы копируя паясничающих отпрысков возлюбленной. В конце концов роль невозмутимого гостя оказалась не по плечу и мне: я расхохотался во весь рот, инициировав со стороны последних очередной взрыв бурного восторга. Затем, игнорируя робкие протесты Элианы, Карл повалил ее на диван, корча обезьяньи рожи и без умолку тараторя на ненавистном ей австрийском диалекте. Дети гурьбой попадали на нее, визжа, как недорезанные поросята, и проделывая невесть что всеми конечностями, чему, разумеется, Элиана была бессильна воспрепятствовать, ибо Карл бесцеремонно хватал, щипал, покусывал ее то за шею, то за грудь, то за руки, то за ноги. Так она и лежала в платье, задранном по самые плечи, извиваясь, барахтаясь, задыхаясь от смеха, с которым не могла совладать, и от подступившего к горлу гнева, почти истерики. Когда ей, наконец, удалось оторваться от этого клубка, она разразилась бурными рыданиями. Карл застыл рядом с ней на диване с усталым и потерянным видом, бурча свое неизменное «ну-ну». А я молча взял маленьких за руки и вывел их во двор, пре-

371

доставив любовникам выяснять свои отношения без свидетелей.

Возвратившись, я обнаружил, что они уединились в соседней комнате. Было так тихо, что поначалу я заподозрил, что, вдосталь намиловавшись, оба заснули. Однако внезапно дверь открылась и сквозь нее просунулась голова Карла с его обычной издевательской ухмылкой, означавшей: «Все в порядке, я ее умиротворил». Скоро показалась и Элиана, раскрасневшаяся и источающая тепло, как полыхающая жаровня. Я растянулся на диване и увеселял детишек, пока взрослые выходили за провиантом к ужину. Когда они вернулись, оба пребывали в отличном настроении. Я подозревал, что Карл, весь расплывавшийся от удовольствия, едва речь заходила о съестном, о секретах кухни, яствах и деликатесах, на гребне минутного великодушия наобещал Элиане с три короба — разумеется, и в мыслях не держа, что когда-нибудь его призовут к исполнению обещанного. Надо сказать, Элиана вообще была поразительно доверчива; и причиной тому, не исключено, были все те же родинки, служившие постоянным напоминанием о том, Что красота ее не столь уж безупречна. Сознание того, что она стала объектом любви не вопреки, а благодаря этим родинкам (а именно такое ощущение поддерживал в ней умело выстроивший свою линию Карл), делало ее редкостно беззащитной. Как бы то ни было, сейчас она все больше и больше излучала радостное тепло. Мы опрокинули еще по бокалу (она, похоже, перебрала лишку), а потом, вглядываясь в сгущавшиеся за окном сумерки, разом запели.

В таком настроении мы всегда пели немецкие песни. Включалась и Элиана, хотя она и презирала немецкий. Теперь Карл вел себя совсем по-иному. Ни следа прежней суетливости. Судя по всему, недавний трах доставил удовольствие обоим, на дне его желудка спорили друг с другом три или четыре аперитива, его воодушевляло здоровое чувство голода. Не говоря уже о том, что все ближе подступала ночь, а с ней — конец его супружеской вахты. Иными словами, все обстояло как нельзя лучше.

Подвыпив и подобрев, Карл делался поистине неотразим. Он с увлечением расписывал достоинства добытого час тому назад вина — очень дорогого и купленного, как он любил добавлять в подобных случаях, исключительно в мою честь. Превознося его вкусовые качества, мой приятель с энтузиазмом воздавал должное салату. Салат, в свою очередь, пробудил в нем еще большую жажду. Элиана попыталась было умерить его пыл, но теперь уже во всем мире не сыскалось бы силы, способной стать на пути кипучей жизнерадостности Карла. Он вновь вытащил наружу

372

сиську своей благоверной — на этот раз она не противилась — и, оросив ее вином, жадно припал к ней губами. Затем, разумеется, пришел черед коронного номера — демонстрации родинки на ее левом бедре, по соседству с лобком. Видя, какой оборот принимают дела, я уже готов был предположить, что голубки вот-вот опять уединятся в спальне, но оказался неправ. С той же внезапностью водрузив сиську в исходное положение, Карл придвинулся к столу со словами: — J'ai faim, j'ai faim, cherie*. — По тону, по голосовой модуляции это признание ничем не отличалось от его излюбленного: — Ну, скорее, крошка, скорее, я весь истомился!

В ходе ужина, оказавшегося прекрасным, мы перешли к вещам странным и неординарным. Карл, с пиететом относившийся к собственному гурманству, имел обыкновение сдабривать прием пищи, особенно когда она была ему по вкусу, каким-нибудь ни к чему не обязывающим разговором. Стремясь избежать всего сколь бы то ни было серьезного (и, следовательно, грозившего внести диссонанс в процесс его пищеварения), мой приятель любил, готовясь проглотить очередной кусок или сделать очередной глоток вина, предварить его отрывистой, никак не связанной с предыдущим обменом мнениями репликой. Так и на сей раз: само собой разумеющимся тоном он

заявил, что недавно познакомился с девушкой — шлюхой или нет, он не имеет ни малейшего понятия, да и какое это имеет значение? — которую намерен мне представить. И, не дав мне открыть рта для дальнейших расспросов, добавил: — Она как раз твоего типа.

— Знаю я, какие тебе нравятся, — продолжал он, явно намекая на Мару с Острова святого Людовика. — Так вот:

эта — гораздо лучше, — заключил он. — Не волнуйся, **я** обо всем позабочусь...

Чаще всего, изрекая нечто в этом роде, он не имел в виду никого конкретно. Ему просто-напросто импонировала мысль представить себе меня в обществе едва родившейся в его воображении мифической красавицы. Иногда причиной бывало и другое: дело в том, что Карл в принципе не одобрял тех, кто подходил под его определение «моего типа». Стремясь уколоть меня побольнее, он широковещательно заявлял, что женщинами моего типа кишмя-кишат все страны центральной Европы и что счесть такую женщину красивой может втемяшиться в голову только американцу. А уж если хотел пригвоздить меня к позорному столбу, то награждал их саркастическими репликами

* Есть хочу, есть хочу, милая (фр.).

373

вроде: — Ну, этой никак не меньше тридцати пяти, это я могу тебе гарантировать. — Когда же, как в тот вечер, о котором идет речь, я делал вид, что искренне верю его россказням, и забрасывал его вопросами, он отвечал уклончиво и неопределенно. Конечно, время от времени поддаваясь на мои провокации и уснащая свои небылицы столь убедительными подробностями, что в конечном счете, судя по всему, сам начинал верить в собственные домыслы. В такие минуты на его лице появлялось поистине демоническое выражение, а его способность изобретать со сверхъестественной быстротой облекала в плоть бесспорной конкретики самые невероятные вещи и происшествия. Стремясь не потерять таинственную нить, он все чаще прикладывался к бутылке, опрокидывая стакан за стаканом, будто перед ним стояло не вино, а слабое пенящееся пиво; и с каждым глотком по его лицу шире и шире расползался горячечный румянец, отчетливее проступали вены на лбу, суше и непривычнее казался голос, импульсивнее движения рук, и все более острыми и пронизывающими, как у сомнамбулы, делались его глаза. Внезапно умолкая, Карл устремлял на вас рассеянный, непонимающий взгляд, резким, драматическим жестом доставал часы, а потом ровным, спокойным, не допускающим и тени сомнения тоном говорил: — Через десять минут она будет стоять на перекрестке такой-то и такой-то улиц. На ней будет швейцарское платье в горошек, а под мышкой сумочка из крокодиловой кожи. Хочешь на нее взглянуть — поди проверь. — Вымолвив это, он небрежно переводил ход разговора в другое русло. Большего и не требовалось: *ведь он только что явил присутствующим неопровержимое свидетельство верности своих слов!* Разумеется, никому и в голову не приходило попытаться подвергнуть их нелицеприятной проверке. — Ясно, не хочешь рисковать, — говорил в таких случаях Карл. — В душе ты ведь не сомневаешься, что она будет там стоять... — И тем же нейтральным тоном, как если бы речь шла о чем-то вполне обыденном, присовокуплял к своему прогнозу, добытому путем общения с потусторонними силами, еще одну исчерпывающую в своей красочной выразительности деталь.

Надо отдать Карлу должное: когда дело касалось вещей, проверка которых не предусматривала каких-либо чрезвычайных действий: вроде того, чтобы встать из-за стола в разгаре дружеского застолья или как-то еще нарушить привычный ритм вечерних развлечений, — его прогнозы так часто сбывались, что окружающим невольно казалось, что по их спинам стекает холодный пот, когда на моего друга, что называется «накатывало». То, что начиналось

374

как досужая причуда или подобие циркового розыгрыша, нередко оборачивалось страшной, леденящей кровь стороной. Если, скажем, случалось новолуние (я не раз замечал, что эти озарения Карла были таинственно связаны с теми или иными фазами луны), тогда во всей атмосфере вечера ощущалось нечто зловещее. Карл, например, совершенно не выносил, когда на него внезапно падал лунный свет. — Вот он, вот он! — истерически взвизгивал он, будто завидев привидение. И долго бормотал потом: — Это не к добру, не к добру, — машинально потирая руки и расхаживая взад-вперед по комнате с опущенной головой и полуоткрытым ртом, из которого, как кусок красной фланели, безжизненно свешивался его язык.

К счастью, в тот вечер, о котором я рассказываю, луны не было, а если и была, ее неверное сияние еще не проникло внутрь маленького дворика, куда выходили окна тесного приюта Элианы. И единственным итогом возбужденного состояния Карла стало то, что он в энный раз принялся во всех подробностях рассказывать о грехопадении

недалекого супруга своей избранницы. Эта комическая история, как мне довелось узнать впоследствии, вполне соответствовала истине. Источником его злоключений явились две таксы, на которых с вожделением поглядывал муж Элианы. Увидев, как они непринужденно разгуливают по округе — без поводка и вне поля зрения хозяина, — он, не довольствуясь сбытом фальшивых банкнот, составлявшим постоянный источник его благосостояния, решил приманить их к себе, чтобы потом — разумеется, за определенную мзду — возвратить законному владельцу. И вот в одно прекрасное утро, услышав звонок в дверь и обнаружив за ней французского полицейского, он просто онемел от неожиданности. Надо же: как раз в этот момент он кормил своих собачек. Нет необходимости добавлять, что к этому времени он успел так к ним привязаться, что напрочь забыл о награде, каковую первоначально вознамерился получить. Что за жестокий удар судьбы, размышлял он: подвергнуться аресту за то, что проявил доброту к животным... История эта воскресила в памяти Карла множество других происшествий, свидетелем которых он был, деля крышу в Будапеште с будущим мужем Элианы: глупых, нелепых, какие могли приключиться только с недоумком, как именовал его мой приятель.

К концу ужина Карл преисполнился такого благодушия, что ему вздумалось чуточку подремать.. Видя, что он захрапел, я распрощался с Элианой и откланялся. Никаких определенных намерений у меня не было. Я не спеша прошел несколько кварталов до площади Этуаль, затем маши-

375

нально свернул на Елисейские Поля в сторону Тюильри, рассчитывая где-нибудь по пути выпить чашку кофе. Наевшись и выпив, я основательно подобрел и чувствовал себя примиренным со всем миром. Праздничный блеск и гомон Елисейских Полей странным образом контрастировали с тишиной безлюдного дворика, где у входа в жилище Элианы притулилась детская коляска. Меня не только напоили и накормили до отвала; в виде исключения я был хорошо одет и обут. Помню, в тот день мне до блеска начистили башмаки.

Мне вдруг вспомнилось, как пять или шесть лет назад я впервые появился на Елисейских Полях. Тогда, посидев в кинематографе и выйдя наружу в прекрасном настроении, я решил прогуляться и опрокинуть стаканчик прежде, чем отправиться на боковую. В маленьком баре на одной из окрестных улочек в одиночестве выпил несколько коктейлей. С бокалом в руке вспомнил своего старого бруклинского друга и подумал, как здорово было бы, окажись он в этот момент рядом со мной. Вступил с ним в мысленный диалог и, продолжая его, сам не заметил, как оказался на асфальте Елисейских Полей. Слегка охмелев и не на шутку расчувствовавшись, я озадаченно озирался по сторонам, обнаружив, что нахожусь среди деревьев. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, двинулся к путеводным огням кафе. На подходе к Мариньяну рядом со мной возникла попутчица — статная, энергичная, с манерами знатной дамы шлюха; тараторя без умолку, она тут же без особых проволочек вцепилась мне в локоть. В то время я знал не больше десятка слов по-французски и, дезориентированный мигающими бликами уличных огней, подступавшими отовсюду деревьями, одурманенный весенними ароматами, ощущая внутри приятное тепло от выпитого, оказался совершенно беспомощен. Я понял: мне крышка. Понял: теперь уж меня обдерут как липку.

Я сделал неуклюжую попытку замедлить шаг, добиться с нею хоть какого-то понимания. Помню: мы вдвоем стояли на тротуаре, а напротив нас сияла, искрилась, переливалась нарядным людом открытая площадка «Кафе Мариньян». Помню: она встала между мною и толпой и, не переставая что-то тараторить, расстегнула на мне пальто и решительно взяла быка за рога, зазывно шевеля уголками губ. И тут окончательно пали последние бастионы робкого сопротивления, какое я вознамерился было оказать. Несколько минут спустя мы были с ней в комнате безымянного отеля, где, не успел я и слова вымолвить, она сосредоточенно и со знанием дела приникла ртом к моему, уже не сопро-

376

тивлявшемуся естеству, предварительно очистив мои карманы ото всего, кроме случайной мелочи.

Перебирая в памяти детали этого происшествия и последовавшие за ним смехотворные походы в американский госпиталь в Нейи (где я поставил себе целью излечиться от существовавшего лишь в моем воображении сифилиса), я внезапно заметил в нескольких шагах девушку, стремившуюся обратить на себя мое внимание. Она остановилась и молча ждала, пока я подойду к ней, словно ни секунды не сомневалась в том, что я возьму ее под руку и как ни в чем не бывало продолжу прогулку по проспекту. В точности это я и сделал. Даже не потрудившись замедлить шаг, когда поравнялся с нею. Ведь, казалось, нет ничего более естественного под луной, нежели на традиционное:

«Привет, куда вы направляетесь?» — ответить: «Да в общем никуда, давайте зайдем куда-нибудь и выпьем».

Моя готовность откликнуться, моя досужая беззаботность, моя подчеркнутая небрежность вкупе с тем обстоятельством, что я был хорошо одет и обут, возможно, создали у девушки впечатление, будто перед нею миллионер-американец. Приближаясь к сияющему светом фасаду кафе, я понял, что это «Мариньян». Хотя был уже поздний вечер, разноцветные зонты по-прежнему колыхались над столиками на открытой площадке. Девушка была одета не по погоде легко; на шее ее красовалась непременная для данного сословия меховая горжетка — изрядно поношенная, потертая и даже, как мне показалось, кое-где траченная молью. Впрочем, на все это я почти не обратил внимания, завороженный ее глазами — карими и на редкость красивыми. Они напомнили мне кого-то... кого-то, в кого я был влюблен. Но вспомнить, кто это был, в тот момент я не мог.

По какой-то неведомой мне причине Мару (так она назвала себя) снедало стремление говорить, по-английски. Английский она выучила в Коста-Рике, где, по ее словам, некогда ей принадлежал ночной клуб. Впервые за все годы, что я прожил в Париже, случай свел меня со шлюхой, обнаружившей желание изъясняться по-английски. Похоже, делала она это потому, что английская речь напоминала ей о тех благословенных временах, когда, в Коста-Рике, у нее было иное, куда более респектабельное ремесло, нежели ремесло шлюхи. Была, разумеется, и еще одна причина: м-р Уинчелл. Великодушный, щедрый американец, м-р Уинчелл был обаяшка, более того — по ее убеждению, *джентльмен*; он возник на пути Мары, когда, перебравшись из Коста-Рики в Европу без гроша в кармане и с разбитым сердцем, она осела в Париже. М-р Уинчелл

377

заседал в правлении некоего клуба атлетов в Нью-Йорке и, несмотря на то, что повсюду его сопровождала супруга, обходился с Марой по-королевски. Мало того: истинный джентльмен, он представил Мару своей жене и все втроем они совершили увеселительную поездку в Довиль. По крайней мере, такова была версия Мары. Не исключаю, что именно так все и было: время от времени воочию сталкиваешься с такими Уинчеллами, которые, облюбовав для себя шлюху, с пылу с жару начинают воздавать ей почести как леди. (А порой никому не известная шлюха и впрямь оказывается леди.) Как бы то ни было, по словам Мары, данный Уинчелл действительно вел себя как аристократ, да и супруга мало в чем ему уступала. Натурально, когда он выдвинул предложение всем троим разделить одну постель, это не привело ее в восторг. Мара, впрочем, не склонна была корить ее за проявленную неуступчивость. — Elle avait raison*, — заметила она.

И вот м-р Уинчелл растворился в безвозвратном прошлом; давно был проеден и чек, который он подарил Маре, отплывая за океан. Проеден с поразительной быстротой, ибо не успел м-р Уинчелл сесть на пароход, как на горизонте замаячил Рамон. Мадридец, он намеревался открыть там свое кабаре, но разразилась революция и ему пришлось взять ноги в руки; так удивительно ли, что в Париже он оказался гол как сокол? Судя по отзыву Мары, Рамон тоже был свой в доску; она безраздельно доверяла ему. Но скоро и он сгинул без следа. Не имея ни малейшего понятия в том, в каком направлении «сгинул» Рамон, Мара, тем не менее, была убеждена, что в один прекрасный день ее избранник даст о себе знать и они будут вместе. И ничто не могло поколебать ее в этой уверенности, хотя вот уже больше года от него не было вестей.

Все это выплеснулось наружу в краткий промежуток между приемом заказа и появлением кофе на столе. Выплеснулось на диковинном английском моей собеседницы, который в сочетании с низким, хрипловатым тембром голоса, наивной серьезностью интонаций и ее нескрываемым стремлением непременно прийтись мне по вкусу (чем черт не шутит, а вдруг перед нею очередной м-р Уинчелл?) не на шутку растрогал меня. Последовала томительно долгая пауза, и в моей памяти всплыли слова, сказанные Карлом за обедом. Что ни говори, эта женщина безошибочно воплощала «мой тип» и, пусть на сей раз он и не сделал никакого пророчества, несомненно вынимая часы, мог бы описать в мельчайших, подробностях, заключив своим тра-

* У нее были на то основания (фр.)

378

диционным: «Через десять минут она будет стоять на перекрестке такой-то и такой-то улиц».

— Что вы делаете в Париже? — спросила она, переводя разговор в более привычное русло. И тотчас, едва я открыл рот, перебила меня вопросом, не хочу ли я есть. Я ответил, что лишь недавно отлично поужинал. Предложил ей рюмку ликера и еще кофе. И вдруг поймал на себе ее ровный, неотрывный, до неловкости пристальный взгляд. Мне подумалось, что в ее воображении вновь возник образ отзывчивого м-ра Уинчелла, что она молчаливо сравнивает меня с ним, уподобляет меня ему и, быть может, в душе

благодарит Господа за то, что он послал ей еще одного американского *джентльмена,* а не тупоголового француза. Коль скоро направленность ее мыслей была именно такова, казалось нечестным позволить ей и дальше питать иллюзии на мой счет. Поэтому со всей мягкостью, на какую я был способен, я постарался дать ей понять, что между мною и гастролирующими миллионерами дистанция огромного размера.

В этот момент, внезапно перегнувшись через стол, она поведала мне, что голодна, страшно голодна. Я был ошарашен. Час ужина давно миновал; кроме того, при всей моей твердолобости, в голову мне никак не укладывалось, что шлюху с Елисейских Полей могут терзать голодные спазмы. Одновременно меня пронизало жгучее чувство стыда: ничего себе, навязал свое общество девушке, даже не удосужившись поинтересоваться, не хочет ли она есть. — Давайте зайдем внутрь? — предложил я, нимало не сомневаясь, что она не устоит перед искушением отужинать в «Кафе Мариньян». Подавляющее большинство женщин, будь они голодны (тем более *страшно* голодны), согласились бы не раздумывая. Но не эта — эта лишь покачала головой. Нет, у нее и в мыслях не было ужинать в «Мариньяне»: там чересчур дорого. Тщетно уговаривал я ее выкинуть из головы сказанное мной минуту назад — о том, что я не миллионер и все прочее. Лучше зайти в простой маленький ресторанчик, в этой округе их пруд пруди, сказала она. Я заметил, что едва ли не все рестораны уже наверняка закрылись, но она стояла на своем. И затем, будто вмиг забыв о собственном голоде, придвинулась, накрыла мою руку своей теплой ладонью и с жаром принялась расписывать, до чего я прекрасный человек. За этими излияниями последовал новый поток воспоминаний о ее жизни в Коста-Рике и других Богом забытых местах Карибского бассейна, местах, где мне и вообразить было не под силу девушку вроде нее. Суть ее сбивчивого рассказа сводилась к тому, что она просто не родилась шлюхой и никогда не сможет ею стать. Судя по

379

ее заверениям, она уже по горло пресытилась этим ремеслом.

— Вы — первый, кто за долгое-долгое время обошелся со мной по-человечески, — продолжала она. — Я хочу, чтобы вы знали, какая для меня честь просто сидеть и разговаривать с вами.

Ощутив голодный спазм и слегка задрожав, она поплотнее запахнула на шее свою нелепую, обносившуюся горжетку. Ее предплечья покрылись гусиной кожей, а в улыбке проступило что-то жалкое и в то же время отважно-небрежное. Не желая дольше длить ее муки, я готов был тут же подняться с места, но она, казалось, не может остановиться. И конвульсивный поток слов, лившихся из ее горла, безотчетно соединился в моем сознании с мыслью о еде — той, в которой она так отчаянно нуждалась и которую, скорее всего, ей суждено тут же извергнуть на ресторанную скатерть.

— Человеку, которому достанусь я, очень повезет, — внезапно донеслось до меня. Моя собеседница замолчала, положив руки на стол ладонями вверх. И попросила меня хорошенько вглядеться в них.

— Вот что делает с тобой жизнь, — вырвалось у нее.

— Но вы красивы, — искренне и горячо возразил я. — И ваши руки меня ни в чем не разубедят.

Она осталась при своем мнении, прибавив задумчиво:

— Но была когда-то красива. Это теперь я такая: усталая, вымотанная... Господи, сбежать бы от всего этого! Париж — он такой соблазнительный, не правда ли? Но поверьте моему слову: он смердит. Я всегда зарабатывала себе на жизнь... Посмотрите, посмотрите еще раз на эти руки! Только *здесь* — здесь вам не позволят работать. Здесь из вас хотят высосать всю кровь. *Je suis francaise, moi, mais je n'aime pas mes compalriotes; ils sont durs, mechants, sans pitie nous**.

Я мягко остановил ее, напомнив об ужине. Мы ведь собирались куда-нибудь пойти? Она рассеянно кивнула, все еще полная негодования по поводу бездушных своих соотечественников. И не сдвинулась с места. Вместо этого она обвела пытливым взглядом площадку. Пока я терялся в догадках, что на нее нашло, она внезапно поднялась на ноги и, с умоляющим видом склонившись надо мной, спросила, не соглашусь ли я несколько минут подождать ее. Дело в том, торопливо объяснила она, что в кафе напротив

* Я ведь сама француженка, но, признаться, не выношу моих соотечественников; они черствые, злые, им чуждо сострадание (фр.).

380

у нее назначено свидание с одним набитым деньгами старикашкой. Не исключено, конечно, что он уже смылся, но проверить все же не мешает. Если он еще там, можно чуточку подзаработать. Она обслужит его по-быстрому и как можно скорее вернется. Я сказал, чтобы обо мне она не тревожилась.

— Не торопись и вытяни из старого павиана все, что сможешь, — напутствовал ее я. — Мне спешить некуда. Я подожду тебя здесь. Только не забудь: у нас с тобой ужин на

очереди.

Я смотрел, как, проплыв по улице, она нырнула под своды кафе. Маловероятно, что она вернется. *Набитый деньгами старикашка?* Скорее уж она побежала умиротворять своего *maquereau**. Мне представилось, как он выговаривает ей за то, что она сдуру приняла приглашение простофили-американца. Кончится тем, что, поставив перед ней сэндвич и кружку пива, ее благоверный отправит ее обратно на промысел. А заартачится — тут же влепит ей звучную оплеуху.

К моему удивлению не прошло и десяти минут, как она вернулась. Разочарованная и повеселевшая одновременно.

— Мужики редко держат свое слово, — заметила она. Само собой, за исключением м-ра Уинчелла. М-р Уинчелл— тот вел себя по-другому. — Он всегда выполнял свои обещания, — сказала она. — Пока не отбыл за океан.

Молчание м-ра Уинчелла не на шутку озадачивало ее. Договорились, что он будет регулярно писать ей, но с момента отъезда прошло три месяца, а она не получила от него ни строки. Она пошарила в сумочке, надеясь отыскать там его визитную карточку. Может быть, если я, на моем английском, напишу за нее письмо, он ответит? Но карточка так и не обнаружилась. Ей, правда, запомнилось, что живет он в помещении какого-то клуба атлетов в Нью-Йорке. По ее словам, там же обитает и его супруга. Подошел гарсон; она заказала еще чашку черного кофе. Было уже одиннадцать, а, быть может, и больше, и я всерьез засомневался, что нам удастся попасть в простой, недорогой ресторанчик из числа тех, что она имела в виду.

Я все еще терялся в размышлениях о м-ре Уинчелле и таинственном клубе атлетов, где он предпочел обосноваться, когда откуда-то издали до меня донесся ее голос:— Послушай, я не хочу, чтобы ты на меня тратился. Надеюсь, ты не *богат;* впрочем, мне нет дела до того, сколько у тебя денег. Для меня просто поговорить с тобой — уже праздник. Ты не можешь себе представить, что чувствуешь, ког-

* Сутенера (фр.).

381

да с тобой обращаются как с человеком! — И вновь забушевал вулкан воспоминаний — о Коста-Рике и других местах, о мужчинах, с которыми она спала, и о том, что это не было ремеслом, ибо она их любила; и о том, что она должна была запомниться им на всю жизнь, ибо, отдаваясь тому или иному мужчине, отдавалась ему телом и душой. Она опять поглядела на свои руки, потерянно улыбнулась и запахнула вокруг шеи свою потертую горжетку.

Вне зависимости от того, сколь многое в рассказе Мары было плодом фантазии, я сознавал: чувства ее честны и неподдельны. Стремясь хоть как-то облегчить ее положение, я предложил ей — пожалуй, не слишком осмотрительно — все деньги, что у меня были с собой, намереваясь тут же встать и распрощаться. У меня не было никаких задних мыслей: просто хотелось дать ей понять, что она не обязана терпеть мое присутствие в благодарность за такую малость, как ужин. Даже намекнул, что, быть может, ей стоит побыть одной: прогуляться по улицам, напиться, выплакаться. Намекнул так деликатно и тактично, как только умел.

И все же она не обнаружила стремления расстаться со мной. В ней явно боролись противоречивые импульсы. Она уже забыла, что голодна и замерзла. Несомненно, в ее сознании я уже пополнил ряды тех, кого она любила, кому отдавалась телом и душой, — и тех, кому, по ее словам, суждено было запомнить ее навсегда.

Ситуация становилась столь щекотливой, что я вынужден был попросить ее перейти на французский: не хотелось, чтобы все нежное, хрупкое, интимное, что, рождаясь в ее душе, находило выход наружу, обезображивалось, облекаясь в ее чудовищный костариканский английский.

— Поверь, — выпалила она, — будь на твоем месте другой, я бы уже давно перешла на французский. Вообще-то мне трудно говорить по-английски; я от этого устаю. Но сейчас я чувствую себя иначе. Разве это не прекрасно — говорить по-английски с кем-то, кто тебя понимает? Бывает, ложишься с мужиком в постель, а он с тобой ни слова. *Я, Мара,* его нисколько не интересую. Не интересует ничего, кроме моего тела. Что я могу дать такому?.. Вот, потрогай, видишь, как я разгорячилась... Я вся горю.

В такси, по пути к Авеню Ваграм, похоже, ее совсем развезло. — Куда вы меня везете? — спросила она, будто нас занесло в какую-то неизвестную и нежилую часть города. — Всего-навсего въезжаем на Авеню Ваграм, — отозвался я. — Что с тобой? — Она озадаченно огляделась вокруг, словно для нее было новостью само существование улицы с таким названием. Потом, уловив мой недоумеваю-

382

щий взгляд, рывком притянула меня к себе и впилась зубами в мой рот. Кусала она крепко, как животное. Изо всех сил обняв ее, я погрузил язык в неизведанные глубины ее горла. Моя рука лежала на ее колене; приподняв край платья, я просунул ее выше, туда,

где колыхалась горячая плоть. Она вновь принялась покусывать меня — в рот, в шею, в мочку уха. И вдруг высвободилась со словами: — *Mon Dieu, attendez un peu, attendez, je vous en prie*.*

Мы уже проехали место, в которое я намеревался ее пригласить. Перегнувшись к водителю, я попросил его развернуться. Когда мы вышли из машины, она глазам своим не поверила. Мы стояли у входа в большое кафе на склоне Мариньяна. Из зала доносились звуки оркестра. Чуть ли не силой я втолкнул ее внутрь.

Сделав заказ, Мара извинилась и вышла: ей надо привести себя в порядок. И только когда она вернулась за стол, мне впервые бросилось в глаза, как плохо она одета. Я устыдился, что заставил ее появиться в столь ярко освещенном месте. В ожидании заказанных телячьих котлет она, вооружившись длинной пилочкой для ногтей, занялась маникюром. На некоторых лак уже облупился, и оттого ее пальцы казались еще некрасивее, чем были на самом деле. Но вот принесли первое, и она на время отложила пилочку в сторону. Рядом с ней она выложила на стол гребенку. Намазав маслом ломтик хлеба, я протянул его ей; она покраснела. Быстро покончила с супом, затем с опущенной головой, как бы стыдясь, что проявляет на людях такой зверский аппетит, в мгновение ока расправилась с хлебом. И вдруг подняла глаза и, порывисто схватив меня за руку, проговорила:

— Послушайте, Мара все помнит. То, как вы говорили со мной сегодня, мне этого никогда не забыть. Для меня это дороже, чем если бы вы подарили мне тысячу франков. Слушайте, мы этого еще не касались, но... словом, если у вас есть желание... я хочу сказать...

— Не будем говорить об этом сейчас, хорошо? — попросил я. — Дело не в том, что я тебя не *хочу.* Просто...

— Я понимаю, — перебила она меня горячо. — У меня и в мыслях не было обесценивать ваш благородный поступок. Мне ясно, что вы имеете в виду. И все-таки, если вдруг вам захочется навестить Мару, — тут она принялась что-то судорожно искать в сумочке, — я хочу сказать, вы

* Господи, подождите минутку, подождите, прошу вас (фр.).

383

не должны будете мне *платить.* Может быть, зайдете ко мне завтра? И я приглашу вас поужинать?

Она долго шарила в поисках клочка, который я оторвал от бумажной салфетки; отыскав, тупым огрызком карандаша написала на нем крупным почерком свое имя и адрес. Имя было польское. Название улицы ничего мне не говорило. — Это в квартале Сен-Поль, — пояснила она. — Только, пожалуйста, не спрашивайте обо мне в отеле, — добавила она просительно. — Я живу там всего несколько дней.

Я вновь всмотрелся в название улицы. А мне-то казалось, что я хорошо знаю этот квартал... Чем пристальнее вглядывался я в крупные буквы на обрывке бумаги, тем сильнее подозревал, что ни в этом, ни в любом ином квартале Парижа таковой не существует. С другой стороны, разве удержишь в памяти имена всех улиц...

— Так, значит, ты полька?

— Нет, я еврейка. Просто я *родом* из Польши. Ну, неважно, на самом деле меня зовут иначе.

На это я ничего не ответил, и затронутая тема иссякла так же быстро, как и возникла.

По мере того, как наша трапеза набирала темп, мое внимание обратил на себя мужчина, сидевший за столиком напротив. Это был пожилой француз, старательно делавший вид, будто всецело погружен в развернутую перед ним газету; время от времени, однако, мне удавалось перехватить его взгляд, брошенный поверх газетного листа на Мару. Лицо у него было доброе и наружность человека вполне благополучного. Я понял, что Мара уже сообразила, что к чему, и решила, что овчинка стоит выделки.

Интересно, как она себя поведет, если я на пару минут исчезну? Движимый любопытством, я заказал кофе, а затем, извинившись, отправился в клозет. Когда я вернулся в зал, она с безмятежным спокойствием попыхивала сигаретой; стороны, похоже, успели прийти к обоюдному соглашению. Мужчина с головой погрузился в чтение своей газеты. Казалось, в условия заключенного между ними договора входит, что он терпеливо выждет, пока Мара закончит все дела со мной.

Когда вновь подошел гарсон, я осведомился о времени. Без малого час, объявил он. — Уже поздно, Мара. Мне пора двигаться, — сказал я. Положив руку на мою, она понимающе улыбнулась. — Вам нет нужды играть со мной в эти игры, — отозвалась она. — Думаете, я не поняла, зачем вы выходили из зала? Вы так добры со мной, прямо не знаю, как вас отблагодарить. Посидите еще немножко, прошу вас. Можете не торопиться: он подождет. Я преду-

384

предила его... Послушайте, а может быть, мы чуть-чуть пройдемся? Хочется еще поговорить, прежде чем мы расстанемся, можно?

Мы молча побрели по пустой улице. — Вы ведь не сердитесь на меня, правда? — спросила она, взяв меня за

руку.

— Нет, Мара, не сержусь. Вовсе нет.

— Вы, наверное, в кого-то влюблены? — заговорила она, помолчав.

— Да, Мара, я влюблен.

И вновь она умолкла. В молчании, каждая секунда которого таила в себе больше смысла и понимания, нежели любой обмен репликами, мы прошли целый квартал, даже больше; но едва поравнялись с особенно темной улочкой, как она, еще сильнее вцепившись мне в руку, зашептала: — Вот сюда, сюда. — Я позволил ей увлечь себя в темноту. Голос ее зазвучал еще более хрипло, а слова полились как из рога изобилия. У меня начисто изгладилось из памяти все, что она говорила, да и сама она, я уверен, не отдавала себе отчета, в какой момент прорвет плотину ее губ. Она извергала слова безостановочно, яростно, словно освобождаясь от непосильной тяжести. Как бы ее ни звали, у моей собеседницы больше не было имени. Передо мною стояла просто женщина, затравленная, исстрадавшаяся, сломленная; раненая птица, беспомощно хлопающая крыльями во тьме. Ее горькие жалобы не были обращены ни к кому в отдельности (и уж во всяком случае не ко мне); в то же время из них нельзя было заключить, что ее измученная душа взывает к самой себе или даже к Господу Богу. Нет, передо мной была не женщина, а одна клокочущая рана, неудержимо истекающая словами; рана, которая, казалось, до конца раскрылась во тьме, где могла кровоточить без стеснения, без робости, без стыда. Все это время она не выпускала мою руку, будто для нее жизненно важно было чувствовать, что я существую, что я рядом;

сильными пальцами она впивалась в мое предплечье, словно стремясь облечь в тактильную азбуку прикосновения то невыразимое, что были бессильны донести до меня ее слова.

И вдруг, в самый разгар этого душераздирающего словоизвержения, смолкла. — Обними меня покрепче, — попросила она. — И поцелуй — поцелуй как тогда, в машине. — Мы стояли в подворотне огромного пустующего особняка. Прижав Мару к стене, я стиснул ее как обезумевший. Ощутил, как сомкнулись на мочке моего уха ее зубы. Обняв меня за пояс, она что было сил притянула меня к себе. — Мара умеет любить. Мара сделает для тебя

386

все что захочешь, — шептала она страстно. — Embrassezmoi!.. Plus fort, plus fort, cheri...* — Со стоном приникнув друг к другу, роняя обрывки слов, мы стояли в подворотне. Кто-то приближался сзади тяжелым, зловещим шагом. Рывком мы разорвали объятие; не говоря ни слова, я пожал ей руку, повернулся и двинулся вперед. А пройдя несколько метров, остановился и обернулся, изумленный мертвым безмолвием улицы. Она не сдвинулась с места. Несколько минут, застыв как статуи, стояли мы, тщетно пытаясь разглядеть друг друга в темноте. Затем, повинуясь внезапному импульсу, я подошел к ней вплотную.

— Слушай, Мара, — спросил я, — а что если он тебя не дождется?

— О, дождется, — ответила она едва слышным голосом.

— Знаешь, Мара, — снова заговорил я, — возьми-ка вот это... на всякий случай. — Вывернув наружу карманы, я сунул ей в руку их содержимое. Потом резко повернулся и пошел прочь, бросив через плечо отрывистое «au revoir»**. Ну, хватит, подумал я про себя и усилием воли прибавил шагу. Секундой позже мне послышалось, что кто-то за мной гонится. Я обернулся и чуть не упал: на бегу она врезалась в меня всем корпусом, запыхавшись, с трудом переводя дыхание. Она вновь обхватила меня руками, бормоча непрошеные благодарности. Внезапно я почувствовал, что все тело ее обмякло: она сделала попытку опуститься на Колени. Рывком подняв ее на ноги и удерживая за талию на расстоянии вытянутой руки, я воскликнул: — Господи, да что с тобой? Неужели никто ни разу не обошелся с тобой по-человечески? — Почти сердито выпалив эти слова, я в следующий же миг готов был отрезать себе язык. Она стояла посреди темной улицы с опущенной головой, закрыв лицо руками, и рыдала, рыдала навзрыд. Рыдала, дрожа с головы до пят, как осиновый лист. Мне хотелось обнять ее за плечи, сказать ей что-нибудь доброе, утешающее, но язык мне не повиновался. Я будто прирос к месту. И вдруг, как испуганный конь, тряхнув гривой, я затрусил прочь. И чем поспешнее ретировался, тем громче отдавались в ушах ее рыдания. Я шел и шел, быстрее и быстрее, подобно напуганной антилопе, пока не очнулся в зареве ярких огней.

«Через десять минут она будет стоять на перекрестке такой-то и такой-то улиц; на ней будет красное швейцарское платье в горошек, а под мышкой — сумочка из крокодиловой кожи...»

* Обними меня!.. Крепче, крепче, дорогой... (фр.).

** До свидания (фр.).

387

Слова Карла вновь и вновь всплывали в моей памяти. Я поднял голову; в небе повисла луна — не голубовато-серебристая, а ядовито-ртутного цвета. Она медленно плыла в океане замерзшего жира. Вокруг нее в пустоту разбегались огромные, устрашающие кровавые круги. Как громом пораженный, я застыл на месте. Задрожал всем телом. И вдруг без повода, без причины, без предупреждения, словно кровь из лопнувшей артерии, из меня хлынул плач. Я разревелся как ребенок.

Спустя несколько дней я вынырнул в еврейском квартале. Разумеется, ни в окрестностях Сен-Поль, ни в любом ином округе Парижа не отыскалось той улицы, которую она указала на обрывке салфетки. Справившись по телефонной книге, я убедился, что в городе не один, а несколько отелей носят названное ею имя; однако все они помещались на значительном отдалении от квартала Сен-Поль. Меня это не удивило, скорее озадачило. Честно говоря, с момента, когда я устремился в бегство по темной безлюдной улице, я не часто вспоминал о ней.

Само собой разумеется, об этом происшествии я не преминул рассказать Карлу. Выслушав меня, он изрек две вещи, прочно запечатлевшиеся в моей памяти.

— Надеюсь, ты понял, кого она тебе напоминает? Когда я признался, что нет, он рассмеялся. — Пораскинь мозгами, — напутствовал он меня, — и поймешь.

Другое замечание как нельзя более точно характеризовало моего друга:

— Я наверняка знал, что тебе кто-то встретится. Между прочим, в момент твоего ухода я вовсе не спал: я только делал вид. Скажи я тебе наперед, что тебя ожидает, ты бы просто выбрал другой маршрут. Всего лишь ради того, чтобы доказать мне, что я неправ.

В еврейский квартал я попал в субботу после обеда. Направлялся-то я, собственно, на Плас де Вож, каковую и ныне считаю одним из прекраснейших мест в Париже. Однако в субботний день ее без остатка оккупировала детвора. Между тем Плас де Вож создана для другого: это место, которое навещаешь в вечерний час, достигнув полного примирения с самим собой, дабы насладиться безбрежным одиночеством. Плас де Вож — что угодно, только не детская площадка; это приют воспоминаний, тихая обитель исцеления, где набираешься сил.

Напутствие Карла всплыло в моем сознании, когда я проходил под аркой в сторону Фобург-Сент-Антуан. И в тот же миг меня осенило. Я вспомнил, кого мне неуловимо напомнила Мара: конечно же, Мару с острова святого Людовика, вошедшую в мою

жизнь под именем Кристины.

388

Именно сюда в один прекрасный вечер мы заехали с нею на пролетке по пути на вокзал. Она уезжала в Копенгаген, и мне не суждено было увидеть ее вновь. Между прочим, это ей принадлежала идея нанести прощальный визит на Плас де Вож. Зная, что я избрал это место Меккой своих одиноких ночных блужданий, Кристина хотела напоследок подарить мне воспоминание о нашем прощальном объятии на этой великолепной площади, на которой ей доводилось играть ребенком. Впрочем, раньше она никогда не вспоминала о Плас де Вож в этой связи. Объектом наших совместных паломничеств становился, как правило, остров святого Людовика: нередко, возвращаясь с шумных сборищ по этой узенькой полоске суши, мы подходили к дому, где она родилась, и всегда находили минутку, чтобы постоять перед фасадом старинного дома, подняв головы к окну, из которого она смотрела на мир в свои детские годы.

Поскольку до отхода поезда оставался час с лишним, мы отпустили пролетку и присели на парапет возле арки. В тот вечер на Плас де Вож, помню, царило необычайное оживление: парижане пели, дети кружились вокруг столиков, хлопая в ладоши, опрокидывали стулья, случалось, падали наземь и тотчас же бодро вскакивали на ноги. Неожиданно запела и Кристина — запела какую-то простенькую песенку, выученную еще в детстве. Окружающие узнали мелодию и принялись подтягивать. Никогда еще она не была так красива. Казалось немыслимым, что через час она сядет на поезд и навсегда пропадет из моей жизни. В тот вечер, покидая площадь, мы источали вокруг себя ауру такого безоблачного веселья, что непосвященному впору было заключить, будто нас ждет медовый месяц...

На рю де Розьер, что в еврейском квартале, я задержался у малюсенькой лавчонки по соседству с синагогой, где торговали селедкой и солеными огурцами. Девчонки-продавщицы, розовощекой толстушки, радостно улыбавшейся мне при каждом появлении, в этот раз не было. А ведь не кто иной как она во время оно (помню, я был тогда вместе с Кристиной) напророчила, что нам необходимо как можно скорее пожениться; в противном случае, предостерегла толстушка, обоим придется здорово пожалеть.

— Она уже замужем, — ответил я смеясь.

— Но не *за. вами* же!

— Ты думаешь, вместе мы будем счастливы?

— Вы будете счастливы только друг с другом. Вы предназначены друг для друга; что бы ни случилось, вам нельзя расставаться.

И вот я снова в том же квартале, прокручивая в памяти подробности странного давнего разговора и теряясь в до-

389

гадках о том, что в конце концов сталось с Кристиной. Мне припомнилась Мара, рыдающая посреди темной улицы, и в мозг на мгновение закралась страшная, безумная мысль: что если в тот самый миг, когда я, скрепя сердце, вырывался из объятий Мары, Кристина вот так же выплакивала глаза в неуютном номере какой-нибудь захудалой гостиницы? Время от времени до меня долетали слухи, что она рассталась с мужем и, снедаемая вечной охотой к перемене мест, одиноко скитается по городам и странам. Мне она так и не написала ни строчки. Для нее наш разрыв давно свершился. — Навсегда, — сказала она. И все же, вспоминая о ней бессонными ночами, останавливаясь у фасада старинного дома на острове святого Людовика, поднимая глаза к переплету «ее» окна, я не мог поверить, что она окончательно вычеркнула меня из своего ума и сердца. Надо было, не мудрствуя лукаво, последовать совету жизнерадостной толстушки и пожениться; вот в чем заключалась невеселая истина. Знай я доподлинно, где она нашла себе прибежище, я не раздумывая сел бы на поезд и на всех парах помчался к ней. Плач во тьме по-прежнему разрывал мне уши. Как мог я быть уверен, что в тот самый миг Кристина не рыдает столь же безутешно в каком-то дальнем уголке земного шара? Ах, *время, безвозвратно уходящее время*? Мне начинали грезиться чужие города, в которых уже была ночь или раннее утро, одинокие, богом забытые селенья, где обездоленные и брошенные женщины проливают горькие слезы. Вынув записную книжку, я не спеша вывел час, число, место... А Мара — где сейчас Мара? Вот и она сошла с моей орбиты, сошла *навсегда.* Не странно ли: подчас люди входят в твое существование на мгновение-друтое, а исчезают — на целую вечность. *Навсегда.* И ведь даже в таких мимолетных встречах есть нечто предрешенное.

Быть может, Мара была ниспослана мне в напоминание, что мне не суждено быть счастливым, пока я снова не обрету Кристину...

Неделей позже в доме танцовщицы-индуски меня познакомили с поразительно красивой молодой датчанкой, только что прибывшей из Копенгагена. Женщина определенно не «моего типа», она, тем не менее, была обворожительна, иначе не

скажешь.'Этакая ожившая дева-воительница из скандинавских легенд. Естественно, за ней увивались все кому не лень. Не давая повода заключить, что обращаю на нее заинтересованное внимание, я, однако, не выпускал ее из поля зрения, терпеливо выжидая

390

удобного случая. Наконец мы оказались бок о бок друг с другом в небольшой комнатке, где смешивали коктейли. К этому времени все, исключая самое танцовщицу, были порядком навеселе. Держа в руке бокал, датская красотка расслабленно прислонилась к стене. В ее ледяном самообладании появилась маленькая брешь. Судя по виду, она не стала бы возражать против некоторого нарушения регламентов. Увидев, как я приближаюсь, она с соблазнительной гримаской осведомилась: — Так это вы тот писатель, который пишет ужасные книги? — Я не удостоил ее ответом. Отставил бокал и с ходу отрезал ей путь к отступлению короткой очередью слепых, грубых, не допускающих возражений поцелуев. С силой оттолкнув меня, она высвободилась. Но не рассердилась. Напротив, интуиция подсказывала мне, что с моей стороны ожидается еще одна атака на ее неприступную добродетель. — Не здесь, — проговорила она, не понижая голоса.

Тем временем девушка-индуска начала свой танец; гости чин-чином расселись по местам. Молодая датчанка, которую, как выяснилось, звали Кристина, вытащила меня на кухню под пустяковым предлогом, что ей, дескать, нужно помочь с сэндвичами.

— Знаете, я ведь замужем, — сказала она, как только мы остались наедине. — И у меня двое детей. Двое прекрасных детей. Вы любите детей?

— Я люблю вас, — отозвался я, без лишних церемоний вновь давая волю рукам и запечатлев на ее лице жадный поцелуй.

— Скажите: женились бы вы на мне, — перешла она в наступление, — будь я свободна?

Вот тебе на: взяла и открыла огонь, не сделав даже холостого залпа. Я был так ошарашен, что ответил единственное, что может сказать мужчина в данной ситуаций. Я ответил «да».

— Да, — повторил я. — Хоть завтра... Хоть сейчас — скажите только слово.

— Не торопитесь, — отпарировала она, — неровен час, поймаю вас на слове. — Это было сказано с такой прямолинейностью, что на мгновение я совершенно протрезвел, чуть ли не запаниковал. — Ну, не тревожьтесь, в мои планы не входит призывать вас делать это немедленно, — продолжала она, наслаждаясь моей растерянностью. — Мне просто любопытно было узнать, относитесь вы к типу мужчин, склонных к женитьбе, или нет. Мой муж умер. Вот уже больше года как я вдова.

391

Последние слова вызвали у меня прилив желания. Каким ветром, спрашивается, ее занесло в Париж? Ясное дело: хочет пожить в свое удовольствие. В ее привлекательности было что-то безошибочно нордическое, свойственное многим женщинам из этих краев, в чьих натурах избыток целомудрия ведет постоянный спор с неменьшей чувственностью. Я знал, чего она ждет от меня: любовного трепа. Можно было нести что угодно, вытворять что только в голову взбредет, но на одном-единственном условии: требовалось пустить в ход испытанный амурный лексикон — весь набор звонких, пустеньких, слезоточивых словечек, существующих для того, чтобы навести нарядный камуфляж на хищную, неприкрыто грубую подоплеку сексуальной агрессии.

Плотно прижав ладонь к ее влагалищу, от которого сквозь платье струился горячий пар, как от свежей кучи навоза, я пустился во все тяжкие: — *Кристина.* Какое восхитительное имя! Его может носить только такая женщина, как вы: так оно романтично. Оно наводит на мысль о льдистых фиордах, о столетних елях, занесенных снегом. Будь вы деревом, я вырвал бы вас из земли с корнями. Я вырезал бы на вашей коре свои инициалы... — Продолжая нести околесицу, я, не отпуская, держал ее цепкими пальцами, постепенно просовывая их в ее влажное лоно. Неизвестно, как далеко бы все это зашло, не помешай хозяйка нашему кухонному tete-a-tete*. Хозяйка — та тоже была охотливая сучка. В результате мне пришлось одновременно обхаживать их обеих. Из вежливости мы вынуждены были в конце концов перейти в большую комнату, где еще плясала танцовщица-индуска. Мы устроились в самом темном углу, за спинами других. Одной рукой я со страстью ласкал Кристину; другой — ублажал как мог вторую новообретенную партнершу.

Преждевременный конец вечеру положила кулачная драка, завязавшаяся между двумя пьяными американцами. В разгар общего замешательства Кристина слиняла вместе с понурого вида графом, в чьей компании и появилась. К счастью, я успел заблаговременно обзавестись ее адресом.

Вернувшись домой, я во всех подробностях описал Карлу мою невинную эскападу. Он тотчас загорелся. Надо непременно пригласить ее отужинать — и чем скорее, тем лучше.

Заодно он приведет и свою подружку — новенькую, с которой познакомился в цирке Медрано. По словам Кар-

* Разговор наедине (фр.)

392

ла, она была гимнасткой. Не поверив ничему из того, что он наговорил, я, тем не менее, усмехнулся и заявил, что предложенный вариант считаю оптимальным.

И вот вожделенный вечер настал. Карл приготовил ужин и, по обыкновению, накупил самых дорогих вин. Первой появилась гимнастка — тоненькая, сообразительная, живая, с небольшим остреньким личиком и кудряшками на затылке, делавшими ее чуть похожей на шпица. Она воплощала собой одно из тех беззаботно-непоседливых созданий, которые трахаются при первой встрече. Карл, правда, не рассыпал в ее адрес неумеренных похвал, как бывало с предыдущими его избранницами. Однако чувствовалось, что он испытывает неподдельное облегчение, обретя подобающую замену нелюдимой Элиане.

— Ну, как она тебе? — спросил .он, отведя меня в сторону. — Думаешь, сойдет? Правда, неплоха? — И, помолчав, добавил: — Между прочим, Элиана, похоже, совсем втюрилась в тебя. Может, наведаешься к ней как-нибудь? Не самое худшее для траха, могу тебе поручиться. С ней нет необходимости тратить время на ухаживание:

скажи пару добрых слов, а затем можешь валить ее на кровать. А уж как дойдет до этого места, оно у нее срабатывает бесперебойно, как пожарный насос...

Произнеся столь многообещающее предварение, он сделал знак Коринне, своей подружке-акробатке, приблизиться. — Повернись, — приказал он. — Хочу, чтобы он полюбовался твоим задом. — Оценивающе похлопал ее по ягодицам. — Ты только пощупай их, Джо, — подначивал он. — Как бархатные.

Только я вознамерился убедиться в этом лично, как послышался стук в дверь. — Ну, это, должно быть, твоя телка, — заметил Карл. Открыв дверь и завидев Кристину, он испустил восторженный вопль и, облапив ее обеими руками, буквально втянул в комнату, без устали приговаривая: —Она же великолепна, великолепна! Какого черты ты скрывал от меня, что она так хороша?

Я начал всерьез опасаться, как бы он совсем не свихнулся. Идиотски приплясывая и хлопая в ладоши, как ребенок, он обежал комнату. — Ну, Джо, ну, Джо, — повторял он плотоядно. — Она просто *бесподобна.* Более аппетитной телки тебе за всю жизнь не встречалось!

Услышав слово «телка», Кристина насторожилась. — Что это значит? — спросила она подозрительно.

— Это значит: вы прекрасны, несравненны, ослепительны, — заверил Карл, воздевая руки в экстазе. Его

393

округлившиеся глаза, подернувшись влагой, стали совсем щенячьими.

Кристинин английский не простирался дальше начальных классов; что до Коринны, то она разбиралась в нем еще хуже; так что в конце концов мы все перешли на французский. Для затравки глотнули эльзасского. Кто-то завел граммофон, а потом Карл, приняв на себя функции увеселителя, с лицом багровым, как свекла, горящим взглядом и влажным ртом, запел громким, пронзительным голосом. В промежутках он подкатывался к Коринне и смачно чмокал ее в губы, не раз испытанным способом демонстрируя, что помнит о ее присутствии. Однако весь напыщенный вздор, который сыпался из него, адресовался исключительно Кристине.

— Кристина! — разглагольствовал он, поглаживая ее как кошку. — *Кристина!* Какое магическое имя! — В действительности он презирал его: помню, Карл не раз говорил, что это нелепое имя под стать разве что корове или ломовой лошади. — У меня оно ассоциируется... дайте подумать... — и бешено завращал глазами, будто пытаясь приручить непокорную метафору, — с тонким кружевом в лунном свете. Нет, не так: в *свете сумерек.* Я хочу сказать, оно тонкое, хрупкое, совсем как ваша душа... Налейте-ка мне, кто-нибудь. Авось, что-нибудь поизысканнее придет в голову.

Кристина, которую не так-то легко было оторвать от земли, прервала его пылкие излияния, рассудительно осведомившись о том, готов ли ужин. Карл тут же напустил на себя оскорбленный вид. — Как столь прекрасное создание, как вы, в такой момент может думать о еде? — изумился он громко.

Против ужина,' однако, ничего не имела и Коринна. Мы уселись за стол, Карл — по-прежнему со свекольно-красным лицом. Он переводил водянистый взгляд с одной на другую и обратно, словно не мог решить, кого из них в следующий миг примется облизывать с головы до ног. А уж в том, что он раньше ли, позже ли ухитрится проделать это с обеими, сомневаться не приходилось. Не успев толком покончить с содержимым своей тарелки, он поднялся с места и ни с того, ни с сего обслюнявил Коринну. Затем походкой кота, нализавшегося валерьянки, приблизился к Кристине и принялся как ни в чем не бывало обрабатывать ее. Эти пассы хоть и не были отвергнуты с порога, но

394

привели наших дам в некоторое замешательство. Похоже, им было не совсем ясно, в каком направлении будут развиваться дальше события.

А я — я пока и пальцем не прикоснулся к Кристине. Мне любопытно было просто наблюдать за ней: как она говорит, смеется, ест, пьет. Карл беспрерывно подливал всем в стаканы, будто на столе громоздилась галерея бутылок не с вином, а с лимонадом. Поначалу у меня сложилось впечатление, что Кристина держит себя несколько скованно; однако действие алкоголя не замедлило проявиться. К тайному моему удовлетворению вскоре я ощутил, как ее рука под столом сжала мне колено. Недолго мешкая, я накрыл ее своей и потянул выше, к самой прорези в брюках. Словно испугавшись, она отдернула руку.

Тем временем Карл бомбардировал ее вопросами о Копенгагене, о детях, о ее семейной жизни. (У него напрочь выпало из головы, что супруг ее уже перешел в мир иной.) И вдруг, ни к селу, ни к городу, поглядев на нее с похотливой ухмылкой, выпалил: — Ecoute, petite*, меня вот что интересует: в кровати-то он часто задает тебе трепку?

Лицо Кристины вмиг стало пунцовым. Не отводя глаз, с каменным видом она ответила: — Il est mort, mon man**.

Любой другой, получив такую отповедь, со стыда сквозь землю провалился бы. Только не Карл. С несокрушимо доброжелательной миной он не спеша поднялся на ноги, подошел к ней и наградил ее ритуально-отеческим поцелуем в лоб. — Je t'aime***, — невозмутимо заключил он и проследовал обратно на свое место. А минутой позже уже распинался о питательных свойствах шпината и о том, что сырой он гораздо вкуснее.

Есть что-то в людях с Севера, что и поныне остается для меня непостижимым. Мне не доводилось встретить ни одного из них — неважно, мужчину ли, женщину ли, — к кому я мог бы по-настоящему потеплеть душой. Этим я вовсе не хочу сказать, что присутствие Кристины замораживающе действовало на окружающих. Совсем наоборот: на нашей вечеринке все шло как по-писаному. Покончив с ужином, Карл уединился со своей гимнасткой на диване. В другой комнате я улегся на ковер с Кристиной. В первые минуты мне пришлось помучиться, но стоило лишь возникнуть небольшому зазору между нижними ее

* Послушай, крошка *(фр.)*.

** Он умер, мой муж *(фр.)*.

*** Я люблю тебя *(фр.)*.

395

конечностями, как сердцевина ее айсберга начала оттаивать и упорное сопротивление уступило место активному соучастию. И вдруг в разгар самых неистовых телодвижений она разразилась слезами. По покойному мужу, призналась мне Кристина. Моему удивлению не было пределов. «А *он-то* тут при чем?» — подмывало меня спросить, наплевав на все правила хорошего тона. Отважившись высказать свое недоумение вслух, я услышал нечто совсем уж несообразное: — Представьте, что бы он обо мне подумал, если бы увидел меня вот так — с вами на полу? — И из-за этого-то — столь буйный всплеск эмоций? Ну, крошка, подумал я, раз так, ты и впрямь заслуживаешь хорошей взбучки. Во мне зародилось гаденькое желание спровоцировать ее на что-нибудь такое, после чего непритворный взрыв раскаяния и стыда, коему я был свидетелем, не покажется столь уж зряшным и неоправданным.

В этот момент, услышав, как встает, направляясь в ванную, Карл, я громко спросил, не желает ли он выпить. — Подожди минутку, — отозвался он, — из этой сучки хлещет как из недорезанного поросенка. — Когда он возник на пороге, я, перейдя на английский, посоветовал ему попытать счастья с Кристиной. Вслед за чем, извинившись, удалился в ванную. Когда я вернулся, она, в той же позе, что и раньше, лежала на ковре и курила. Рядом пристроился Карл, делавший деликатные попытки обеспечить себе проход в ее неприступную цитадель. А Кристина — Кристина хранила полную невозмутимость, заложив ногу за ногу и с отсутствующим выражением вперившись в потолок. Налив всем вина, я ретировался в соседнюю комнату — почесать языком с Коринной. Та тоже лежала на диване с сигаретой, вполне готовая, как мне показалось, к очередному раунду, коль скоро рядом появится кто-то склонный проявить инициативу. Присев с краю, я вовлек ее в бесконечный разговор, дабы обеспечить Карлу оперативный простор для требуемого маневра.

И вот когда я уже укрепился в убеждении, что все идет как нельзя лучше, в комнату влетела Кристина. В темноте она наткнулась и рухнула на диван. Поймав в объятия, я притянул ее к себе и уложил рядом с Коринной. Секундой позже за Кристиной последовал Карл и тоже брякнулся на диван. Никто не проронил ни слова. Оказавшись в неожиданной тесноте и стараясь устроиться поудобнее, все зашевелились. Моя рука, шарившая вокруг в поисках опоры, наткнулась на обнаженную грудь — округлую, крепкую, с тугим соблазнительным соском. Сомкнув вокруг

396

него губы, я уловил запах духов Кристины. Расставшись с вожделенной находкой, вслепую потянулся лицом в направлении ее рта. И тут почувствовал, что в отверстие моих брюк проскальзывает чья-то рука. Исследуя языком топографию ее нёба, я чуть заметно подвинулся, давая Коринне возможность извлечь мой член наружу. И тотчас ощутил на нем ее горячее дыхание. Пока она нежно пощипывала меня снизу, я страстно тискал Кристину, кусая ее шею, губы, язык. Последняя, похоже, испытывала прилив небывалого желания: из ее горла вырывались странные, неземные звуки, а все тело содрогалось в конвульсиях безостановочных спазм. Обхватив руками за шею, она сдавила меня как в тисках; язык ее сделался плотным, необъятным, словно набухнув взбунтовавшейся кровью. Я пробовал высвободить свой член из пылающей печи рта Коринны, но безрезультатно: как я ни изворачивался, она ухитрялась повторять все его зигзаги, для вящей надежности покалывая его острыми краями зубов.

Тем временем Кристину все сильнее сотрясал тайфун неистового оргазма. Изловчившись высвободить руку, зажатую между ее спиной и диваном, я провел ладонью вниз по ее груди. Чуть ниже пояса рука столкнулась с чем-то жестким и волосатым, во что я инстинктивно вцепился пальцами. — Черт, это *же я, —* запротестовал Карл, отодвигая голову в сторону. В тот же миг Кристина с удвоенной энергией принялась отрывать меня от Коринны, но последняя и не подумала капитулировать. Наконец Карл всем телом навалился на дошедшую до полного самозабвения Кристину. Теперь я мог сколько душе угодно тискать и пощипывать ее сзади, переложив на Карла заботу трудиться над нею спереди. Она так вертелась, так исходила 'потом, издавала такие стоны, что мне подумалось: бедняжка, у нее вот-вот крыша поедет.

Внезапно все кончилось. Кристина одним махом соскочила с дивана и устремилась в ванную. На секунду или две в комнате воцарилось молчание. Затем, будто всем троим в рот одновременно попала смешинка, мы разом расхохотались. Громче всех Карл, чьему кудахчущему смешочку, казалось, не будет конца.

Мы еще ржали как одержимые, как вдруг дверь ванной широко распахнулась. На пороге, в полосе яркого света, стояла нагая Кристина с пламенеющим лицом, в негодовании вопрошавшая, куда подевалась ее одежда.

— Вы мне отвратительны! — заорала она. — Выпустите меня отсюда!

397

Карл сделал попытку смягчить ее праведный гнев, но я резко оборвал его, отрезав: — Если хочет, пусть убирается. — Я даже не потрудился встать помочь ей собрать вещи. Только услышал издали, как Карл что-то говорит ей, понизив голос, и в, ответ — сердитый голос Кристины: — Оставь меня в покое, ты, грязная свинья! — Затем послышался стук захлопнувшейся двери, и она скрылась.

— Ну, вот тебе скандинавская красавица, — резюмировал я.

— Ja, ja*, — пробормотал Карл, раскачиваясь взад-вперед с опущенной головой. — Плохо, плохо.

— Что плохо? — переспросил я. — Не будь идиотом! Она обязана нам высшим кайфом своей жизни.

Он опять разразился своим кудахчущим смешком. — А что если у нее триппер? — проговорил он и ринулся в ванную, где начал шумно полоскать горло. — Послушай, Джо, — прокричал он оттуда, — выплевывая изо рта воду, — как ты думаешь, с чего это она так осердилась? За живое взяло, что мы хохочем?

— Все они такие, — заметила Коринна философично. — La pudeur**.

— Я проголодался, — заявил Карл. — Давайте-ка'еще поедим. Чем черт не шутит, вдруг она передумает и вернется. — Он пробормотал про себя еще что-то, потом, как бы подводя итог, добавил: — Ничего не понимаю.

Нью -Йорк-Сити, май 1940 года
Переработано в Биг-Суре, май 1956 года

* Да, да (нем.). ** Стыдливость (фр.).

МАДМУАЗЕЛЬ КЛОД (Mlle. Claude)

РАССКАЗ

Mlle. Claude

Прежде чем начать эту историю, должен сказать вам, что м-ль Клод была шлюхой. Да, шлюхой, и я не собираюсь убеждать вас в обратном, но речь сейчас не о том — уж коли м-ль Клод шлюха, то как прикажете называть всех прочих женщин, с которыми мне доводилось встречаться? Сказать о ней «шлюха» значит не сказать ничего. М-ль Клод — больше, чем шлюха. Я не знаю, как ее назвать. Может быть, просто — мадемуазель Клод? Soit*.

У нее была тетка, которая не ложилась спать, каждый вечер ожидая ее возвращения.

По правде говоря, мне с трудом верилось в существование какой-то тетки. Какая к черту тетка? Скорее всего, это был ее maquereau**. И в конце концов, какое мне дело? Однако, признаюсь, меня раздражал этот некто, поджидающий ее, в любой момент готовый отвесить ей оплеуху за то, что поздно явилась или мало заработала. И какой бы нежной и любящей она ни была (а надо сказать, Клод знала толк в любви), воображение рисовало передо мной образ низколобого невежественного ублюдка, которому достанется лучшее из того, что она может предложить. Никогда не питайте никаких иллюзий относительно шлюхи: пускай она щедра и податлива, пускай ее одарят тысячефранковой бумажкой (хотя таких дураков надо поискать) — всегда найдется субъект, которому она будет по-своему верна, и то, что удалось урвать вам — не более, чем аромат того цветника, в котором лучший букет сорвет этот более удачливый садовник. Будьте уверены, все сливки достанутся ему.

Вскоре выяснилось, что мои терзания напрасны. Никакого maquereau у Клод не было. Первый maquereau в ее жизни — Я. Хотя мне это слово совсем не подходило. Сутенер — так будет точнее — и этим все сказано. Отныне я ее сутенер. О'кей.

Я хорошо помню, как впервые привел ее к себе — я вел себя, как последний идиот. Когда дело касается женщин, я всегда веду себя, как идиот. Беда в том, что я их

* Пусть будет так! (фр.).

** *Зд.* любовник (фр.).

401

обожаю, а женщины не хотят, чтобы их обожали. Они хотят... ну да ладно, как бы то ни было, в первую ночь, хотите верьте, хотите нет, я вел себя так, будто никогда в жизни не спал с женщиной. До сих пор не понимаю почему. Но именно так все и было.

Помню тот момент, когда она стояла, не раздеваясь, возле моей постели и смотрела на меня, словно ожидая, что я что-нибудь предприму. Меня всего трясло. Меня начало трясти, как только мы вышли из кафе. Едва касаясь, я поцеловал ее — кажется, в губы, — а может, попал в бровь — я никогда не занимался... этим... с незнакомыми женщинами. Почему-то мне казалось, что она делает мне величайшее одолжение... И шлюха порой может пробудить в мужчине такое чувство. Но, как я уже сказал, Клод не была шлюхой.

Не снимая шляпки, она подошла к окну, закрыла его, опустила шторы. Потом искоса взглянула на меня, улыбнулась и произнесла что-то о том, что пора бы и раздеться. Пока она возилась возле биде, я мучительно стягивал с себя одежду. Я волновался, как школьник. Я не хотел смущать ее своим нетерпеливым взглядом, поэтому тупо топтался возле письменного стола, перекладывал бумажки, сделал несколько абсолютно бессмысленных записей, накрыл чехлом пишущую машинку. Когда я обернулся, она стояла в одной сорочке возле умывальника и вытирала ноги.

— Ложись скорей! — сказала она, не прекращая своего занятия. — Надо согреть постель.

Все было так естественно, что моя неловкость и смущение стали потихоньку проходить. Ее чулки были аккуратно сложены, на поясе висело нечто, напоминавшее сбрую (впрочем, вскоре это нечто плавно опустилось на спинку стула).

В комнате было довольно прохладно. Уютно прижавшись, мы молча лежали, согревая друг друга, молчание грозило затянуться. Одной рукой я обнимал ее за шею, другой крепко прижимал к себе. В ее глазах стояло то самое ожидание, которое я заметил, едва мы переступили порог комнаты. Меня опять затрясло. Из головы разом вылетели все французские слова.

Не помню, говорил ли я, что люблю ее. Наверное, говорил. Даже если и говорил, то она наверняка немедленно забыла об этом. Когда она собралась уходить, я протянул ей экземпляр «Афродиты» — она не читала ее — и пару шелковых чулок, купленных для кого-то другого. Я успел заметить, что она питает слабость к чулкам.

Когда мы встретились вновь, я уже переехал в другой отель. Она с любопытством огляделась, и одного взгляда ей

402

оказалось достаточно, чтобы понять, что дела мои идут неважно. Она простодушно осведомилась, хорошо ли я питаюсь.

— Тебе нельзя тут оставаться надолго. Здесь слишком уныло. — Может, она и не произнесла слова «уныло», но я знал, что именно это она и имела в виду.

Здесь и вправду царило уныние. Мебель разваливалась, подоконник растрескался, ковер истрепался и нуждался в чистке, в кране не было воды. Освещение было слишком тусклым, тусклый желтый свет падал на покрывало, придавая ему несвежий, слегка заплесневевший вид.

Ночью она вдруг решила сделать вид, будто ревнует меня.

— У тебя есть еще кто-то, кого ты любишь.

— Нет, больше никого.

— Тогда поцелуй меня, — попросила она и пылко прильнула ко мне, ее жаркое тело вздрагивало и трепетало. Я погружался в горячее тепло ее плоти, купался в ней... нет, не купался, а утопал в неге и блаженстве.

Потом мы немного поболтали о Пьере Лоти и о Стамбуле. Она призналась, что хотела бы когда-нибудь попасть туда. Я согласился, сказав, что и сам не прочь побывать там. Неожиданно она произнесла — кажется, это прозвучало так: «у тебя есть душа». Я не нашелся, что ответить — наверное, я был слишком счастлив. Когда шлюха говорит, что у вас есть душа, это кое-что значит. Не часто шлюхи пускаются в рассуждения о душе.

Но на этом чудеса не кончились. Она отказалась взять у меня деньги.

— Ты не должен думать о деньгах, — заявила она. — Мы же теперь друзья. К тому же ты так беден...

Она не позволила мне встать, чтобы проводить ее домой. Достав из сумочки несколько сигарет, она высыпала их на столик возле кровати. Одну сунула мне в рот и поднесла к ней подаренную кем-то бронзовую зажигалку. Потом наклонилась поцеловать меня на прощанье.

Я взял ее за руку.

— Клод, vous etes presque un ange*.

— Ah поп! — поспешно ответила она, и в ее глазах промелькнула боль. А может, страх.

Это presque, уверен, всегда и губило Клод. Я сразу ощутил это. Потом я написал ей письмо, лучшее из когда-либо написанных мною, несмотря на отвратительный французский. Мы прочли его вместе в том кафе, где обычно встречались. Я уже сказал, что мой французский был чудовищным, за исключением тех строк, которые я позаимствовал

* Ты почти ангел (фр.).

403

у Поля Валери. Когда она дошла до них, то на мгновение задумалась. «Как красиво!» — воскликнула она. — «Правда, очень здорово!» С этими словами она лукаво посмотрела на меня и стала читать дальше. Дураку понятно, что вовсе не Валери так растрогал ее. Он тут не при чем. Она расчувствовалась из-за той сладкой чуши, которая была там написана. Я ведь разливался соловьем, неимоверно разукрасив свое послание всеми утонченностями и изысками, какие только были доступны моему перу. Правда, когда мы дочитали до конца, я ощутил некоторую неловкость. Пошло и недостойно пытаться воздействовать на ближнего, прибегая к таким дешевым приемам. Не то, чтобы, я был неискренен, но когда первый порыв прошел, я понял, — не знаю, как сказать лучше, — что мой опус больше походил на литературное упражнение, нежели на объяснение в любви. Сильнее прежнего переживал я собственное ничтожество, когда, сидя со мной рядом на постели, Клод вновь и вновь перечитывала письмо, на этот раз беззастенчиво пеняя мне за грамматические ошибки. Я не скрывал своего раздражения, и она немного обиделась. Но все равно она была счастлива. Она сказала, что навсегда сохранит письмо.

На рассвете она снова покинула меня. Опять эта тетка. Я уже почти смирился с ее существованием. В конце концов, если тетя окажется кем-нибудь еще, вскоре я узнаю об этом. Клод была никудышной притворщицей и не умела лгать — и потом весь этот сладкий бред... слишком уж глубоко он запал ей в душу...

Я лежал без сна, думая о ней. Какой кайф я ловил от этой женщины! Maquereau! Он тоже занимал мои мысли, но скорее по инерции. Клод! Я думал только о ней и о том, как сделать ее счастливой. Испания... Капри... Стамбул... Я представлял, как она томно и лениво нежится на солнце, бросает хлебные крошки голубям, смотрит, как они плескаются в лужах, или просто лежит в гамаке с книжкой в руках, с книжкой, которую я посоветовал ей прочитать. Бедняжка, она наверняка не была нигде дальше Версаля. Я представлял себе выражение ее лица, когда мы будем садиться в поезд, и потом, когда окажемся возле какого-нибудь фонтана... в Мадриде или Севилье. Я почти физически ощущал тепло от соприкосновения наших тел, когда мы идем куда-нибудь, она совсем близко, она с каждым шагом теснее и теснее прижимается ко мне, она всегда рядом, потому что не знает, что делать одной, и пусть затея была бредовой, пусть она была заранее обречена, она мне понравилась. Это во сто крат лучше, чем связаться с молоденькой чертовкой, какой-нибудь легкомысленной сучкой, которая мечтает от тебя отделаться, даже лежа с тобой в

404

постели. Нет, в Клод был уверен. Возможно когда-нибудь все это надоест и наскучит — но ведь это потом... потом. Хорошо все-таки, что мне посчастливилось снять именно шлюху. Верную, преданную шлюху! Бог ты мой, если бы меня кто-нибудь сейчас услышал, то решил бы, что я спятил.

Я все продумал самым тщательным образом: отели, где мы будем останавливаться, платья, которые она будет носить, наши разговоры... все... абсолютно все... Она наверняка католичка, но плевал я на это. По правде говоря, мне это даже нравилось. Лучше ходить к мессе, чем притворно умиляться архитектуре и прочей ерунде. Если она захочет, я обращусь в католичество... один черт! Я сделаю все, о чем она попросит — лишь бы доставить ей радость. Интересно, есть ли у нее ребенок, — как у большинства таких женщин. Подумать только, ребенок Клод! Похоже, я уже любил его больше, чем если бы он был моим собственным. Ну конечно, у нее должен быть ребенок — надо будет все разузнать! Придет время, я знаю, когда у нас будет большая комната с балконом, с которого открывается вид на реку, и цветы на подоконнике, и будут петь птицы. Воображаю себя идущим по улице с птичьей клеткой в руке! О'кей. Все равно, лишь бы она была счастлива! Но река — там должна быть река! Я обожаю реки! Помню, как-то в Роттердаме... Как подумаешь об этих утренних пробуждениях, когда в окна льется солнечный свет, а рядом с тобой лежит преданная тебе шлюха, которая любит тебя, любит до кончика мизинца, до умопомрачения, и птички поют, и стол накрыт, а она умывается, причесывается, и все мужчины, которые были с ней до тебя, а сейчас — ты, только — ты, баржи, проплывающие мимо, их корпуса и мачты, этот чертов поток человеческой жизни, текущий через тебя, через нее, через всех, бывших до тебя и после тебя, цветы, птицы, солнце, и аромат, который душит, уничтожает. Господи! Посылай мне шлюх всегда, ныне и во веки веков!

Я предложил Клод съехаться, но она ответила отказом. Для меня это было ударом. Я знаю, что причина кроется не в моей бедности — Клод в курсе моих финансовых дел, она знает и о том, что я пишу книгу, и о многом другом. Нет, дело не в этом, должна существовать более веская причина. Но она не собирается меня посвящать в нее.

И потом вот еще что — я стал вести слишком праведную жизнь. Подолгу гуляю один, пишу то, что не имеет никакого отношения к моей книге. Мне кажется, что я один во всей вселенной, что моя жизнь обрела законченную, завершенную форму, форму статуи. Только я даже не помню имени создателя. И чувствую, что все мои действия словно вдохновляются кем-то свыше, будто мое единст-

405

венное предназначение — в том, чтобы творить добро. Я не ищу ничьего одобрения.

Я отверг всякую благотворительность со стороны Клод. Я веду строгий учет всего, что задолжал ей. Ты очень погрустнела за эти дни, Клод. Иногда я вижу ее на terrasse и, могу поклясться, в ее глазах стоят слезы. Она любит меня. Любит безнадежно, до отчаяния, до безумия. Часами может сидеть на terrasse. Иногда я веду ее куда-нибудь, потому что мне больно видеть ее такой несчастной, видеть, как она ждет, ждет, ждет... Я даже рассказал о ней своим друзьям, попросту подсунул ее им. Все лучше, чем смотреть, как она сидит и ждет, ждет... О чем она думает, когда сидит вот так, одна-одинешенька?

Интересно, что произойдет, если в один прекрасный день я подойду к ней и вытащу тысячефранковую банкноту? Просто возьму и подойду, когда она сидит, тоскливо глядя перед собой, и скажу: «Voici quelque chose que j'ai oublie 1'autre jour*». Порой, когда мы лежим вместе и возникает долгое, заполняющее собой все молчание, она говорит: «Que pensez-vous maintenant?**» И я всегда отвечаю одинаково: «Rien!***» Хотя на самом деле я думаю: «Voici quelque chose que... » Это одна из прелестей — или издержек l'amour a credit.

Когда она уходит, колокола разражаются неистовым звоном.

Она примиряет меня с самим собой, вносит в мою душу мир и покой. Я лежу, откинувшись на подушках, и блаженно затягиваюсь легкой сигаретой, конечно тоже оставленной ею. Мне не о чем беспокоиться. Если бы у меня была вставная челюсть, я уверен, она бы не преминула опустить ее в стакан, что стоит на столике возле кровати, рядом со спичками, будильником и прочей дребеденью. Мои брюки аккуратно сложены, шляпа и пальто висят на вешалке у двери. Все на своем месте. Восхитительно! Если вам в спутницы досталась шлюха, считайте себя обладателем бесценного клада...

И наконец, самое прекрасное в том, что вам все это нравится. Поразительное, мистическое ощущение, а мистика в том, что чувствуешь целостность, единство бытия, чувствуешь себя частичкой этой жизни, сливаешься с ней, растворяешься... Откровенно говоря, мне плевать, святой я или нет. Удел святых — вечное страдание, вечное преодоление. Я же источаю покой и безмятежность. Нахожу для Клод все новых и новых клиентов, и теперь, проходя мимо нее, замечаю, что печаль ушла из ее глаз. Мы вместе

* Совсем забыл, вот возьми, я тут заработал немного (фр.)

** О чем ты думаешь? (фр.)

*** Ни о чем (фр.)

406

обедаем чуть ли не каждый день. Она таскает меня по дорогим ресторанам, и я уже не отказываюсь. Я наслаждаюсь каждым мгновением жизни — дорогие места ничуть не

хуже дешевых. Если она этим счастлива...

Pourtant je pense a quelque chose*. Пустяк, но с недавних пор он стал занимать меня все больше и больше. В первый раз я ничего не сказал, промолчал. Странное, слегка болезненное ощущение, мелочь, сказал я себе. Но в то же время, приятно. В другой раз — была это болезненность или случайная неосторожность? Опять rien a dire**. Наконец я нарушил ей верность. Очутился как-то ночью на Больших бульварах в легком подпитии. На Площади Республики ко мне пристал мерзкий здоровенный бугай с внешностью сутенера, — будь я в здравом уме и твердой памяти, то завидев такого, перешел бы на другую сторону улицы, — так я до самого здания «Матен» (редакция газеты) не мог от него отвязаться. Короче говоря, он меня попросту снял. Веселенькая получилась ночка. Каждую минуту кто-то ломился в дверь. Отставные пташки из Фоли-Бержер наперебой тянули к доброму месье руки в надежде получить чаевые — франков тридцать, не больше. За что, спрашивается? Pour rein... pour le plaisir***. Странная и смешная ночь. Спустя день или около того появилось легкое раздражение. Сплошная морока. Торопливый визит в Американский госпиталь. Померещился Эрлих с его черными сигарами. Поводов для беспокойства нет. Просто беспричинная тревога.

Когда я заикнулся об этом Клод, она воззрилась на меня в изумлении. «Я знаю, ты всегда была откровенна со мной, Клод, но...» Она решительно отказалась обсуждать этот вопрос. Мужчина, сознательно заразивший женщину, называется преступником. Так считает Клод. «C'est vrai, n'est-ce pas?****» — спросила она. Конечно, vrai. Однако... Но вопрос был закрыт. Каждый, кто делает это — преступник.

Отныне каждое утро, — заедая керосин апельсином, — я думаю о тех преступниках, которые заражают женщин. Ложка от керосина становится очень липкой. Непременно нужно ее хорошенько отмыть. Тщательно мою нож и ложку. Я все делаю тщательно — такой у меня характер. Потом умываюсь и смотрю на полотенце. Патрон никогда не дает больше трех полотенец на неделю; ко вторнику они уже все грязные. Вытираю нож и ложку полотенцем, а лицо покрывалом. Краешком аккуратно промакиваю щеки.

Какая гадость эта Рю Ипполит Мандрон. Ненавижу все

* Однако, я думаю о чем-то таком... (фр.).

** Нечего сказать (фр.).

*** Ни за что... Для удовольствия (фр.).

**** Правда, ничего? (фр.).

407

эти грязные, узкие, кривые улочки с романтическими названиями, что разбегаются в разные стороны от моего дома. Париж представляется мне огромной уродливой язвой. Улицы поражены гангреной. У каждого если не триппер, так сифилис. Вся-Европа заражена, и заразила ее Франция. Вот чем обернулось восхищение Вольтером и Рабле. Надо было мне вместо этого съездить в Москву, как я собирался. Что с того, что в России нет воскресений! Воскресенье теперь, как две капли воды, похоже на все остальные дни, только улицы кишат людьми, кишат жертвами, ищущими друг друга в надежде поделиться своей заразой.

Заметьте, причина моего бешенства — вовсе не в Клод. Клод это драгоценность, un ange и никаких presque. За окном висит клетка с птицей, на подоконнике растут цветочки, хотя тут вам не Мадрид и не Севилья, здесь нет ни фонтанов, ни голубей. Каждый день ходим к врачу. Она в одну дверь, я в другую. Кончилось время дорогих ресторанов. Каждый вечер отправляешься в кино и пытаешься не ерзать от неприятного ощущения. От вида Dome или Coupole с души воротит. На terrasse полно этих ублюдков чистеньких, пышущих здоровьем, покрытых загаром, в накрахмаленных рубашечках, от которых за милю разит одеколоном. Нельзя во всем обвинять только Клод. Сколько раз предостерегал я ее от этих обходительных холеных ублюдков. Но она свято верила в спринцевания и тому подобную ахинею. А теперь любой, кто... Да что теперь говорить, вот так все и получилось. Жизнь со шлюхой — даже самой лучшей на свете — далеко не ложе, устланное лепестками роз. И дело не в бессчетном количестве мужчин, хотя мысль о них порой, как червь, подтачивает вас изнутри, дело в беспрерывной санитарии, бесконечных предосторожностях, спринцеваниях, извечной тревоге, страхе, наконец. И вот, вопреки всему... Говорил же я Клод, неустанно твердил: «Остерегайся, не поддавайся на удочку этих красавчиков!»

Во всем, что случилось, я виню только самого себя. Сам не удовольствовавшись сознанием собственной святости, решил доказать ее остальным. В тот момент, когда осознаешь свою святость, надо остановиться. А корчить из себя праведника перед маленькой шлюшкой — все равно, что лезть в рай по черной лестнице. В ее объятиях я кажусь себе червем, заползшим в ее душу. Даже живя с ангелом, прежде всего надо уметь быть мужчиной, надо оставаться самим собой. Мы должны вылезти из этой гнусной дыры и перебраться туда, где светит солнце, где нас ждет комната с балконом, с которого

открывается вид на реку, где поют птицы, цветут цветы, где течет жизнь, где будем только мы двое, и ничего больше.
408

ДЬЕП - НЬЮ – ХЭВЕН (Via Dieppe Newhaven)

РАССКАЗ

Via Dieppe Newhaven

Итак, мне захотелось вновь, хотя бы ненадолго оказаться среди говорящих по-английски людей. Ничего не имею против французов, напротив, в Клиши я наконец-то обрел некое подобие своего дома, и все было бы чудесно, не дай моя супружеская жизнь трещину. Жена обитала на Монпарнассе, а я перебрался к своему другу Фреду, снимавшему квартиру в Клиши, неподалеку от Порте. Мы решили дать друг другу свободу: она собиралась вернуться в Америку, как только появятся деньги на пароходный билет.

Дальше — больше. Мы распрощались, и я решил, что на том все и закончилось. Как-то раз. я заскочил в бакалейную лавку, и там пожилая дама доверительно сообщила мне, что недавно заходила моя жена с каким-то молодым человеком, и что вышли они, солидно отоварившись, записав расходы на мой счет. Вид у дамы был несколько растерянный и встревоженный. Я успокоил ее, уверив, что все о'кей. И действительно все было в порядке, ибо я знал, что денег у моей жены не было вовсе, а жену, даже бывшую, нельзя морить голодом. Ее спутник тоже нисколько не заинтересовал меня: скорей всего, это какой-нибудь педик, который просто пожалел ее, и, как я полагал, на время приютил у себя. В общем, о'кей, за исключением того, что она все еще в Париже, и Бог знает, сколько могла еще здесь оставаться.

Еще через несколько дней она забежала к нам вечером пообедать. Ну а что в этом такого? У нас всегда найдется что пожевать, тогда как на Монпарнассе среди подонков, у которых ни гроша за душой, пожрать было попросту не у кого. После обеда у нее началась истерика: она заявила, что мучается от дизентерии с того момента, как мы расстались, и что виноват в этом я, что я пытался отравить ее. Я проводил ее до метро к Порте, не проронив по дороге ни слова. Я обозлился настолько, что от возмущения и обиды не мог ничего сказать в ответ. Она тоже, главным образом, из-за того, что я отказался поддерживать этот разговор. На обратном пути я решил, что это вожделенная последняя капля, и что теперь-то уж она наверняка никогда больше
411

не появится. Надо же такое придумать! Я ее отравил! Ну что ж, если ей угодно так думать, Бог с ней. Она сама поставила все точки над «i».

Шли дни. Вскоре я получил от нее письмо, в котором она просила немного денег, чтобы заплатить за квартиру. Похоже, она рассталась со своим педиком и вернулась в дешевый захудалый отель на задворках вокзала Монпарнас. Я не мог ей с ходу выложить требуемую сумму, поскольку у меня самого ничего не было, поэтому решил пару дней повременить и лишь после этого пошел к ней, чтобы все уладить со счетами. Пока я шел, мне доставили пневматичку, где говорилось, что ей до зарезу нужны деньги, иначе ее выставят на улицу. Будь у меня хоть какие-то деньги, ей не пришлось бы так унижаться, но в том-то и загвоздка, что их не было. Но она не поверила мне. Даже если это так, возразила она, разве не могу я у кого-нибудь одолжить, чтобы вытащить ее из дыры? В общем-то она была права. Но я не умел занимать большие суммы. Всю жизнь выпрашивал какие-то крохи, подачки, чувствуя себя счастливым, если удавалось что-нибудь получить. Похоже, она напрочь забыла об этом. И это естественно, ведь ей было горше, чем мне, уязвлена была ее гордость. Надо отдать ей справедливость, случись нам вдруг поменяться местами, деньги не замедлили бы появиться; она всегда умела их раздобыть для меня и никогда для себя. Что правда, то правда.

Постепенно у меня в голове складывалась пренеприятнейшая картина. Я казался себе вошью. И чем хуже себя чувствовал, тем больше у меня опускались руки. Предложил ей даже вернуться ко мне, пока не сможет уехать. Она, естественно, даже слышать об этом не захотела. Хотя почему естественно? Вконец запутавшись, я уже не знал, что естественно, а что нет. Деньги. Деньги. Всю мою жизнь передо мной всегда стоял вопрос денег. Видимо, я не способен разрешить эту проблему, да никогда и не питал на это особых надежд.

Какое-то время я дергался, словно крыса в капкане, и тут меня осенила блестящая идея: уехать самому. Легчайший путь к решению проблемы — это просто уйти со сцены. Не знаю, с чего мне это взбрело, но я решил двинуть в Лондон. Предложи мне кто-нибудь замок в Touraine, я бы отказался. Непонятно, с чего мне так приспичило в Лондон, но никакая сила уже не могла заставить меня переменить свое решение. Объяснял я это тем, что ей никогда бы не пришло в голову искать меня в Лондоне. Она знала, что я ненавижу этот город. Но истинная причина, понял я позднее, крылась в том, что мне захотелось

412

побыть среди людей, говорящих по-английски; сутки напролет слушать английскую речь и ничего, кроме английской речи. В моем плачевном положении это было все равно, что спрятаться под крылышком у Господа. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и загорелся желанием окунуться в английскую среду. Видит Бог, ситуация, в которой приходится либо самому говорить на чужом языке, либо слушать других, — ибо при всем желании не заткнешь же себе уши! — что это, как не разновидность утонченной, изощренной пытки?

Ничего не имею ни против французов, ни против их языка. До тех пор, пока не появилась она, я жил как в раю. Но в один прекрасный день понял, что жизнь прокисла, как прокисает забытое на столе молоко. Поймал себя на том, что злобно бормочу себе под нос какие-то гадости про французов и особенно про их язык, что в здравом рассудке было мне абсолютно не свойственно. Я знал, что виноват во всем только я один, но от этого знания становилось только хуже. Итак, в Лондон! Отдохну немного, и, быть может, когда вернусь, ее уже здесь не будет.

Не откладывая, я раздобыл себе визу, выложил деньги за обратный билет. Визу приобрел сроком на год, решив, что если мое мнение об англичанах переменится, то можно будет еще раз-другой туда к ним съездить. Близилось Рождество, и старый, славный Лондон, должно быть, недурное место на праздник. Возможно, мне посчастливится увидеть его не таким, каким он запомнился мне однажды; диккенсовский Лондон, мечта всех туристов. В моем кармане лежала виза, билет и какая-то наличность, которая позволит мне провести там дней десять. Я возликовал в сладостном предвкушении поездки.

В Клиши я вернулся к обеду. Заглянув на кухню, увидел свою жену, которая помогала Фреду готовить. Когда я вошел, они смеялись и перешучивались. Я знал, что Фред ни словом не обмолвится о моей предстоящей поездке, поэтому спокойно сел за стол и принял участие в общем веселье. Должен сказать, еда была восхитительной, и все было бы прекрасно, если бы после обеда Фред не уехал в редакцию газеты. Меня несколько недель тому назад уволили, а он пока держался, хотя и его со дня на день ожидала та же участь. Меня уволили, так как, несмотря на мое американское происхождение, я не имел права работать в американской газете корректором. Согласно французским представлениям, эту работу мог выполнять любой француз, знающий английский. Я был удручен, и это лишь подлило масла в огонь моих недобрых чувств к французам, возникших в последние недели. Но что сделано, то сделано,

413

теперь с этим покончено, я опять свободный человек, скоро я буду в Лондоне, буду говорить по-английски с утра до вечера и с вечера до утра, если захочу. Кроме того, вскоре должна выйти моя книга, и жизнь коренным образом изменится. Все обстояло совсем не так плохо, как несколько дней назад. Увлекшись приятными мыслями о том, как хитро я придумал выкрутиться из этой ситуации, я потерял бдительность и рванул в ближайший магазин за бутылкой ее любимого шартреза. Это было роковой ошибкой. От шартреза она раскисла, с ней сделалась истерика, кончилось все обвинениями и упреками в мой адрес. Сидя вдвоем за столом, мы, казалось, пережевывали старую, давно потерявшую вкус, жвачку. В конце концов, я дошел до черты, за которой кроме раскаяния и нежности ничего нет, я чувствовал себя таким виноватым, что не заметил, как выложил все — о поездке в Лондон, о деньгах, которые занял, и т.д. и т.п. Плохо соображая, что делаю, я, можно сказать, на блюдечке выложил ей все, что у меня было. Не знаю, сколько фунтов и шиллингов, все в новеньких, хрустящих британских купюрах. Сказал, что очень сожалею, что черт с ней, с поездкой, и что завтра я постараюсь вернуть деньги за билеты и отдам ей все до последнего пенни.

И вновь надо отдать ей должное. Ей не хотелось брать эти деньги. Она морщилась от одной только мысли об этом, я видел это собственными глазами, но в конце концов, с неохотой приняла их и сунула в сумочку. Но, уходя, забыла ее на столе, и мне пришлось нестись но ступенькам ей вдогонку. Забирая сумочку, она опять сказала: «До свидания», и я знал, что это «до свидания» — последнее. «До свидания», — сказала она, стоя на ступеньках и глядя на меня с горестной улыбкой. Один неосторожный жест, и она швырнула бы деньги в окно, кинулась мне на шею и осталась навсегда. Окинув ее долгим взглядом, я медленно вернулся к двери и закрыл ее за собой. Зашел на кухню, постоял у стола, посидел немного, глядя на пустые бокалы, потом силы покинули меня и, не выдержав, разрыдался, как ребенок. Около трех ночи пришел Фред. Он сразу понял, что произошло что-то неладное. Я все ему рассказал, мы перекусили, выпили недурственного алжирского вина, потом добавили шартреза, потом переложили это

коньяком. Фред заклеймил меня .позором, сказав, что только круглый идиот мог выбросить на ветер все деньги. Я не стал спорить, по правде говоря, этот вопрос волновал меня меньше всего.

— И что теперь с твоим Лондоном? Или ты передумал

ехать?

— Передумал. Я похоронил эту идею. Кроме того, те-

414

перь я и не могу никуда ехать. На какие шиши, спрашивается?

Фред не считал неожиданную потерю денег таким уж непреодолимым препятствием. Он прикинул, что сможет перехватить где-нибудь пару сотен франков, к тому же со дня на день ему должны были выдать зарплату, и выходило, что он мог одолжить мне необходимую сумму. До рассвета мы обсуждали этот вопрос, само собой обильно орошая его спиртным. Когда я добрался до постели, в ушах вовсю трезвонили вестминстерские колокола и скрипучие бубенчики под окном. Мне снился грязный Лондон, укутанный роскошным снежным одеялом, и каждый встречный радостно приветствовал меня: «Счастливого Рождества!» — разумеется, по — английски.

В ту же ночь я пересек Ла-Манш. Эта была та еще ночь. Все попрятались по каютам и там дрожали от холода. У меня с собой была стофранковая бумажка и какая-то мелочь. И все. Мы решили, что, добравшись до места, я телеграфирую Фреду, а он сразу высылает мне деньги. Я сидел в салоне за длинным столом, прислушиваясь к разговорам. Я судорожно размышлял, каким образом растянуть эти сто франков на подольше, ибо сомневался, что Фред сможет немедленно достать деньги. Обрывки фраз, доносившихся до моего уха, подсказали мне, что все разговоры сегодня вертятся вокруг денег. Деньги. Деньги. Всегда и везде одно и то же. Надо было случиться, что именно в этот день Англия, морщась от нежелания, выплатила долг Америке. Англия всегда держит слово. Это пережевывалось со всех сторон, я был готов придушить всех за их распроклятую честность.

Я собирался менять стофранковую бумажку только в случае крайней необходимости, но вся эта околесица, что Англия держит слово и то, что, как я заметил, во мне узнали американца, достали меня с такой силой, что я приказал принести мне пива и сэндвич с ветчиной. Это повлекло за собой неизбежное общение со стюардом. Он хотел узнать мое мнение о сложившейся ситуации. Видно было, что он считал тяжким преступлением то, что мы сделали с Англией. Больше всего я боялся, как бы он не взвалил ответственность за происходящее на меня, раз уж меня угораздило родиться в Америке. На всякий случай я сказал, что понятия ни о чем не имею, что меня все это не касается и что мне абсолютно безразлично, заплатит Англия долг или нет. Но он не успокоился. Нельзя безразлично относиться к тому, что происходит у вас на родине, даже если эта родина и совершает ошибки, пытался донести до меня стюард. Плевать мне и на Америку, и на американ-

415

цев, отозвался я... Я сказал, что во мне нет ни грамма патриотизма. Проходивший мимо моего столика мужчина при этих словах остановился и стал прислушиваться. Я решил, что это либо шпион, либо сыщик. Немедленно сбавил тон и повернулся к мужчине, сидевшему возле меня, который тоже попросил пива и сэндвич.

Он с явным интересом воспринял мою тираду. Спросил, откуда я и что намереваюсь делать в Англии. Я сказал, что хочу отметить здесь Рождество, и затем в порыве откровенности поинтересовался, не знает ли он, где найти самую дешевую гостиницу. Он объяснил, что долгое время отсутствовал и вообще не слишком хорошо знает Лондон. Сказал, что последние годы жил в Австралии. На мою беду рядом случился стюард, и молодой человек, оборвав себя на полуслове, начал допытываться у него, не знает ли тот в Лондоне какого-нибудь приличного, но недорогого отеля. Стюард подозвал официанта и задал ему тот же самый вопрос, и тут-то подошел похожий на шпика человек и прислушался. По серьезности, с которой обсуждался этот вопрос, я понял, что допустил серьезную ошибку. Подобные вещи нельзя обсуждать со стюардами и официантами. Ощущая на себе подозрительные взгляды, пронизывающие меня насквозь, как рентгеновские лучи, я залпом осушил остатки пива и, словно желая доказать, что деньги волнуют меня меньше всего, приказал принести еще. Повернувшись к молодому человеку, спросил, не могу ли угостить его. Когда стюард вернулся с напитками, мы увлеченно обсуждали вельды Австралии. Он заикнулся было насчет гостиницы, но я прервал его, сказав, чтобы он выбросил это из головы. Это всего лишь праздное любопытство, добавил я. Мое заявление поставило его в тупик. Несколько секунд он стоял, не Зная, что делать, и неожиданно, в порыве дружеских чувств, заявил, что с удовольствием пригласит меня к себе, в собственный дом в Нью-Хэвене, если я надумаю задержаться там на ночь. Я от души поблагодарил его, попросив не волноваться за меня и пояснив, что мне все равно нужно будет вернуться в Лондон. Это не имеет значения,

добавил я. И понял, что вновь ошибся, ибо непостижимым образом это стало важным абсолютно для каждого из присутствующих.

Делать было нечего, поэтому я смиренно внимал молодому англичанину, который в Австралии, вдали от родины вел довольно странную жизнь. Он пас баранов, и сейчас захлебывался словами, вспоминая, как их что ни день кастрировали чуть ли не тысячами. Не дай бог зазеваешься. Сложность заключалась в том, что в яйца барана нужно было вцепиться зубами, мгновенно отхватить их ножом и

416

быстренько выплюнуть. Он пытался подсчитать, сколько дар яичек прошли через его руки и зубы, пока он жил в Австралии. За этой сложной арифметикой он время от времени машинально вытирал рот.

— У вас, должно быть, до сих пор во рту престраннейший вкус, — заметил я, невольно коснувшись губ руками.

— Это не так противно, как кажется, — спокойно ответил он. — Со временем ко всему привыкаешь. Правда, совсем не противно... Сама по себе мысль гораздо более отвратительна, чем действие. Да разве мог я представить, покидая уютный английский дом, что мне придется отплевываться бараньими яйцами, чтобы заработать на жизнь? Ко всему на свете привыкаешь, даже к мерзости.

Я сидел и думал о том же. Думал о том времени, когда выжигал кустарники в апельсиновой роще в Чула Виста. По десять часов в день под палящим солнцем носился от одного горящего куста к другому, нещадно кусаемый несметными полчищами мух. И ради чего? Чтобы доказать самому себе, что меня ничем не проймешь? Я набросился бы на любого, кто осмелился бы косо посмотреть на меня тогда. Потом вкалывал могильщиком — чтобы доказать, что я не гнушаюсь никакой работы. Гробокопатель! С томиком Ницше под мышкой, заучивающий последнюю сцену «Фауста», когда выдается свободная минутка. Верно подметил стюард, сказав, что англичанам никогда не обойти нас. Показался причал. Последний глоток пива, чтобы перебить вкус бараньих яичек, и щедрые чаевые официанту — дабы доказать, что и американцы порой платят свои долги. Неожиданно я с беспокойством обнаруживаю, что рядом никого, кроме грузного англичанина в длинном свободном пальто, перехваченном поясом, и клетчатой кепке. В любом другом месте клетчатая кепка смотрелась бы нелепо, но у себя дома он волен делать все, что ему заблагорассудится, больше того, меня даже восхитил его вид, такой внушительный и независимый. Может, англичане не так уж и плохи, задумался я.

На палубе темно, моросит. В мой прошлый приезд в Англию мы поднимались по Темзе, тоже было темно, моросил дождь, все вокруг были одеты в черное, с пепельно-серыми лицами, а покрытые сажей, закопченные дома казались мрачными и зловещими. Проходя каждое утро по Хай-Холборн-стрит, я видел самых респектабельных, жалких оборванных нищих, каких только сотворил Господь. Серых, бледнолицых ничтожеств в котелках, в визитках и с тем нелепым респектабельным видом, который только англичане могут напускать на себя, попадая в разные пере-

417

дряги. Я опять втянулся в английский, и, должен сказать, он мне ни капельки не нравится: он звучит елейно, льстиво, подобострастно, липко. Произношение — это та черта, которая делит людей на классы. Мужчина в клетчатой кепке и широком пальто вылитый осел, напыщенный, чванливый; он и с грузчиками изъясняется на каком-то птичьем наречии. Я все время слышу слово «сэр». Разрешите, сэр? Куда вы сказали, сэр? Да, сэр. Нет, сэр. Черт подери, я уже вздрагиваю от этих «да, сэр», «нет, сэр». Жопа ты, сэр, выругался я про себя.

Иммиграционная служба. Жду, пока до меня дойдет очередь. Как всегда, впереди сволочи с толстой мошной. Очередь почти не движется. Счастливчики, прошедшие контроль, ждут, пока осмотрят их багаж. Снуют грузчики, похожие на навьюченных ишаков. Передо мной осталось только двое. В руках у меня паспорт, билет, багажные квитанции. И вот я у цели, протягиваю паспорт. Он смотрит на большой лист бумаги, находит в нем мое имя, что-то отмечает.

— Как долго вы собираетесь пробыть в Англии, господин Миллер? — спрашивает он, держа паспорт наготове.

— Неделю, может две.

— Вы ведь направляетесь в Лондон, не так ли?

— Совершенно верно.

— В какой гостинице вы хотите остановиться, господин Миллер?

Меня начинают забавлять эти вопросы.

— Я еще не решил, — отвечаю я, улыбаясь. — Может, вы мне что-нибудь посоветуете?

— У вас есть друзья в Лондоне, господин Миллер?

— Нет.

— Не сочтите за нескромность вопрос, что вы собираетесь делать в Лондоне?

— Вообще-то я хотел немного отдохнуть. — Я все еще улыбаюсь.

— Надеюсь, у вас при себе достаточно денег, чтобы прожить в Англии?

— Я тоже на это надеюсь, — беспечно отвечаю я, улыбка не сходит с моего лица. Меня начинает раздражать его придирчивость, такими вопросами только людей запугивают.

— Будьте добры, не будете ли вы столь любезны показать мне ваши деньги, господин Миллер?

— Бога ради, пожалуйста. — Я лезу в карман джинсов и извлекаю то, что уцелело от ста франков. Вокруг меня раздаются смешки. Я тоже делаю попытку рассмеяться, но мне это не слишком удается. Мой мучитель издает слабый

418

звук, похожий на кудахтанье, и, буравя меня взглядом, произносит с сарказмом:

— Вы ведь не собираетесь надолго задерживаться в Лондоне, господин Миллер, не правда ли?

И при каждой фразе «господин Миллер»! Этот сукин сын, кажется испытывает мое терпение. Мною начинает овладевать беспокойство.

— Послушайте, — дружелюбно говорю я, пытаясь сохранять беззаботный вид. — Неужели вы думаете, что я собираюсь жить на э т о. Как только остановлюсь в гостинице, я свяжусь с Парижем, мне пришлют деньги. Я уезжал второпях и...

Он нетерпеливо перебивает меня. Не затруднит ли меня назвать свой банк в Париже.

— У меня нет счета в банке, — вынужден признать я. Мой ответ производит очень плохое впечатление на слушателя. Чувствую, как вокруг сгущается враждебность. Стоящие в очереди люди поставили на пол свои чемоданы, словно в ожидании долгой осады. Паспорт, который он держал в руках, как миниатюрную святыню, он же кончиками пальцев кладет на стойку, будто это серьезная улика.

— Откуда вы намереваетесь получить деньги? — вкрадчиво, как никогда, спрашивают меня.

— От моего друга, мы живем вместе в Париже.

— А у него есть банковский счет?

— Нет, но у него есть работа. Он работает в «Чикаго Трибьюн».

— И вы полагаете, что он вышлет вам деньги на отпуск?

— Не полагаю, а знаю, — резко отвечаю я. — Какой смысл мне вам врать? Я же сказал, что уезжал в спешке. Мы условились, что мне пришлют деньги, как только я приеду в Лондон. Кроме того, это мои деньги, а не его.

— Вы предпочли доверить-деньги ему вместо того, чтобы держать их в банке, я правильно понял, господин Миллер?

Я начал потихоньку закипать.

— Видите ли, там не такая уж большая сумма, и вообще я не очень хорошо понимаю, о чем мы спорим. Если вы мне не верите, готов подождать прямо здесь. Пошлете телеграмму и выясните все сами.

— Одну минутку, господин Миллер. Вы упомянули, что проживаете вместе... в гостинице или в квартире?

— В квартире.

— На чье имя она снята?

419

— На его. Дело в том, что мы снимаем ее вместе, но на имя друга, так как он француз, и так было проще уладить все формальности.

— Вы храните у него ваши деньги?

— Нет, не всегда. Понимаете, я покидал Париж при необычных обстоятельствах. Я...

— Минуточку, господин Миллер, — мне делают знак выйти из очереди. Одновременно он подзывает одного из своих помощников и отдает ему мой паспорт. Последний забирает его и скрывается за ширмой неподалеку. Я стою, наблюдая за тем, как проходят контроль остальные.

— Вы пока можете пройти багажный досмотр, — его голос выводит меня из транса. Я подхожу к навесу и открываю чемодан. Поезд ждет. Он похож на упряжку лаек, готовых в любой момент сорваться с места. Паровоз пыхтит и выпускает клубы пара. Наконец я возвращаюсь обратно и оказываюсь напротив своего собеседника. Оставшиеся пассажиры торопливо теснят друг друга, спеша поскорее закончить с досмотром.

Из-за ширмы появляется длинный, тощий таможенник с моим паспортом в руке. Его вид говорит о том, что он заранее уверен в моей неблагонадежности.

— Господин Миллер, вы американский гражданин?

— Как видите. — Да, от этого пощады не дождешься. Чувство юмора у него

отсутствует начисто.

— Сколько времени вы живете во Франции?

— Года два, может три. Там же написано... А в чем собственно дело? При чем тут это?

— Вы ведь собирались провести в Англии несколько месяцев, не так ли?

— Да нет. Я собирался провести неделю или дней десять, и все. Но теперь...

— И вы приобрели визу сроком на год, собираясь провести здесь всего неделю?

— Я и обратный билет купил, если вас интересует.

— Обратный билет можно выбросить, — отвечает он, злобно скривившись.

— Если человек — идиот, то конечно можно. Я до этого еще не дошел. Послушайте, в конце концов, мне уже надоел весь этот бред. Я переночую в Нью-Хэвене и завтра же сяду на пароход. Я передумал проводить отпуск в Англии.

— Не стоит так торопиться, господин Миллер. Надо во всем разобраться.

В эту секунду раздался паровозный свисток. Пассажиры уже заняли свои места, и поезд начал трогаться. Я подумал о чемодане, который отправил багажом в Лондон. В нем почти все мои рукописи и пишущая машинка. Хоро-

420

шенькое дело, подумал я. И все из-за каких-то жалких грошей, брошенных на стойку.

Теперь к нам присоединился толстяк-коротышка с непроницаемо-вежливой физиономией. Судя по его виду, он собирался весело провести время.

Прислушиваясь к стуку колес отходящего состава, я приготовился к самому худшему. Раз уж меня поимели, придется вытерпеть все до конца. Я потребовал, чтобы мне вернули паспорт. Хотите учинить допрос с пристрастием — валяйте. Делать все равно нечего, до прибытия парохода успеем повеселиться.

К моему изумлению, длинный тощий чиновник отказался отдать обратно мой документ. Это привело меня в неописуемую ярость. Я сказал, что немедленно обращусь к американскому консулу.

— Послушайте, вы можете подозревать меня в чем угодно, но это мой паспорт, и я хочу получить его назад.

— Зачем так волноваться, господин Миллер? Вы получите паспорт перед отъездом. Но сначала я хотел бы задать вам несколько вопросов... Как я понял, вы женаты. Ваша жена живет с вами — и вашим другом? Или она в Америке?

— По-моему, вас это не касается. Но раз уж вы сами завели этот разговор, то я вам кое-что расскажу. Я уехал с такой мизерной суммой из-за того, что все отпускные деньги отдал жене. Мы разводимся, на днях она уезжает в Америку. Я отдал ей деньги, поскольку у нее нет ни гроша.

— Могу я узнать, сколько вы ей дали?

— Вы мне задали уже столько вопросов, которых не имеете права задавать, так что почему бы мне не ответить вам и на этот. Если вам так интересно, я дал ей шестьдесят фунтов. Это легко проверить. В моем бумажнике наверняка завалялась квитанция. — Я потянулся за бумажником посмотреть, нет ли там квитанции обменного пункта.

— Но ведь это очень глупо — отдать все жене и прибыть в Англию без единого пенни, или почти без единого пенни за душой?

Я кисло улыбнулся.

— Дорогой мой, я тщетно пытаюсь вам объяснить, что я приехал в Англию не за милостыней. Если вы меня наконец отпустите, то в Лондоне я получу деньги, и все будет о'кей. Мы понапрасну теряем время на разговоры, но попытайтесь меня понять. Я — писатель. Я работаю по вдохновению. У меня нет счета в банке, и я не планирую ничего на год вперед. Когда мне чего-то хочется, я беру и делаю. Вы почему-то считаете, что я приехал в Англию, чтобы... по правде говоря, не знаю, что вам втемяшилось.

421

Мне просто захотелось увидеть Англию, услышать английскую речь, можете вы в это поверить? — и, отчасти, отделаться от жены. Улавливаете смысл?

— Кажется, улавливаю. Вы намерены сбежать от жены и предоставить государству заботиться о ней. А вы уверены, что она не последует за вами в Англию? И как вы собираетесь содержать ее в Англии — если у вас нет денег?

Разговаривать с ним было все равно, что биться лбом о каменную стену. Не начинать же все с начала?

— Послушайте, меня совершенно не волнует ее дальнейшая судьба. Если она захочет, чтобы о ней заботилось государство, право же, это ее личное дело.

— Вы упомянули, что работаете в «Чикаго Трибьюн»?

— Я не говорил ничего подобного. Я сказал, что мой друг, тот, который должен прислать мне деньги, что он работает в «Чикаго Трибьюн».

— Значит, вы никогда не работали в этой газете?

— Работал, но больше не работаю. На днях меня уволили.

Он резко перебил меня.

— Так значит вы выполняли работу в газете в Париже?

— Ну да, я так и сказал. А в чем дело? Почему вы спрашиваете?

— Господин Миллер, я прошу вас показать мне ваше удостоверение личности. Раз вы живете в Париже, у вас должна быть carte d'identite...

Я выудил из кармана carte. Вдвоем они принялись изучать ее.

— Но это вид на жительство неработающего человека — а вы утверждаете, что работали для «Чикаго Трибьюн» корректором. Как вы это объясните, господин Миллер?

— Извините, но, боюсь, что никак. Мне кажется бессмысленным доказывать вам, что я американский гражданин, что «Чикаго Трибьюн» — это американская газета, и что...

— Простите, но почему вас уволили?

— Как раз об этом я и хочу сказать. Дело в том, что французские чиновники, — я хочу сказать, те, кто ведает этой волокитой, относятся к таким вещам примерно так же, как и вы. Я бы до сих пор спокойно сидел в «Чикаго Трибьюн», если бы не зарекомендовал себя плохим корректором. Потому меня и уволили.

— Кажется, вы даже гордитесь этим.

422

— Горжусь. Я считаю, что это свидетельствует о наличии интеллекта.

— Таким образом, оставшись без работы, вы решили немного отдохнуть в Англии. Оформили себе визу на год, запаслись обратным билетом.

— Да, чтобы послушать английскую речь и сбежать от жены, — добавил я.

Тут подал голос круглолицый коротышка. Длинный же, как мне показалось, готов уже был сдаться.

— Вы писатель, господин Миллер?

— Да.

— То есть, вы хотите сказать, что пишете книги, рассказы?

— Да.

— Вы пишете для американских журналов?

—Да.

— Для каких, если не секрет? Можете назвать какие-нибудь?

— Конечно. «Америкен Меркьюри», «Харпер», «Атлан-тик Мансли», «Скрибнер», «Вирджиния Куотерли», «Йейл Ревью»...

— Одну минутку. — Он подошел к стойке, нагнулся и достал откуда-то огромный толстенный справочник. — Америкен Меркьюри... Америкен Меркьюри... — бормотал он, листая страницы. — Генри В. Миллер, да? Генри В. Миллер... Генри В. Миллер... В этом году или в прошлом, мистер Миллер?

— Года три назад — для «Меркьюри», — бесцветно отозвался я.

Такого древнего справочника у него, понятно, под рукой не оказалось. А за последние года два писал ли я для каких-нибудь журналов? Нет, потому что все это время был слишком занят своей книгой.

— А книга вышла? Как зовут американского издателя? Я сказал, что книгу опубликовал англичанин.

— Название издательства?

— «Обелиск Пресс».

Он почесал в затылке. — Английский издатель? — Он не мог вспомнить издательства с таким названием. Подозвал коллегу, успевшего скрыться за ширмой вместе с моим паспортом.

— Вам что-нибудь говорит название «Обелиск Пресс»? — спросил он.

Я понял, что настал момент сообщить им, что английское издательство выпускает книги в Париже. Как они

423

взвились! Оба чуть не взвились до потолка. Английское издательство в Париже! Это же нарушение законов природы! И какие же книги в нем выходят?

— Я написал только одну. Она называется «Тропик Рака».

Тут я перепугался не на шутку, решив, что его сейчас хватит удар. С ним творилось что-то странное. Кое-как он взял себя в руки и голосом, в котором боролись сарказм и учтивость, произнес:

— Ах вот как, господин Миллер, уж не хотите ли вы меня уверить, что пишете еще и книги по медицине?

Я остолбенело уставился на него. Они надоели мне до чертиков, эти двое, сверлившие меня своими маленькими глазками-буравчиками.

— «Тропик Рака», — замогильным тоном медленно ответил я, — это не медицинская книга.

— А какая? — хором спросили они.

— Название, — стал я занудно объяснять, — символично. Тропиком Рака в учебниках называют температурный пояс, который лежит к северу от экватора. Южнее экватора находится Тропик Козерога, это южный температурный пояс. Книга, разумеется, не имеет никакого отношения к климатическим условиям, разве что к ментальному климату, отражающему состояние души. Меня всю жизнь интриговало это название, Тропик Рака, оно часто встречается в астрологии... Этимологически оно происходит от слова «шанкр», означающего «краб». В китайской символике трудно переоценить значение этого зодиакального знака. Краб — единственное живое существо, способное с одинаковой легкостью двигаться взад, вперед и вбок. Само собой, в своей книге я не вдаюсь в эти подробности. Я сочинил роман, точнее, автобиографический документ. Будь у меня с собой мой чемодан, я показал бы вам экземпляр. Думаю, он заинтересовал бы вас. Между прочим, причина, по которой он издается в Париже, в том, что в Англии и Америке его считают чересчур неприличным. Там слишком много рака, надеюсь, вы понимаете...

Эти слова положили конец дискуссии. Длинный сложил бумаги в портфель, надел шляпу, пальто и, нетерпеливо переминаясь, стал дожидаться своего низкорослого напарника. Я опять напомнил им о паспорте. Длинный нырнул за ширму и вернулся с моим документом. Раскрыв его, я увидел, что моя виза перечеркнута жирным черным крестом.

424

Я пришел в неописуемую ярость. Как будто на моем добром имени поставили черную метку.

— В этом городишке есть гостиница, где можно переночевать приличному человеку? — желчно осведомился я, вложив в свой вопрос все презрение, на которое был способен.

Констебль позаботится об этом, — криво улыбнувшись, на ходу бросил долговязый. Я ошарашенно смотрел, как из дальнего неосвещенного угла комнаты ко мне приближался невероятно высокий человек в черном, в большом шлеме на голове, с мертвенно бледным лицом.

— Что все это значит? — не выдержав, завопил я. — Я, что, арестован?

— Не волнуйтесь, господин Миллер. Констебль позаботится о вашем ночлеге и утром проводит вас на корабль, идущий в Дьепп. — С этими словами он вновь собрался уходить.

— О'кей. Но имейте в виду, что я скоро вернусь, может быть, даже на следующей неделе.

В этот момент моего локтя коснулась рука констебля. Я побелел от бешенства, но железная хватка убедила меня в бесполезности дальнейших препирательств. До меня словно дотронулась рука Смерти.

В сопровождении констебля я направился к двери, по дороге вежливо и мирно объясняя, что мой чемодан сейчас находится на пути в Лондон, а в нем остались все мои рукописи и вещи.

— Мы позаботимся об этом, господин Миллер, — ответил он низким, ровным голосом. — Следуйте за мной.

Мы пошли в комнату, где сидел телеграфист. Я дал ему всю необходимую информацию, он же спокойным, дружелюбным тоном успокоил меня, что первое, что он сделает утром, это проследит, чтобы мне были доставлены мои вещи. По тону, которым были произнесены эти слова, я понял, что имею дело с человеком слова. Во мне даже зашевелилось смутное уважение к этому господину. Правда, в тот момент я мечтал только о том, чтобы он наконец отпустил мою руку. Черт подери, не преступник же я в конце концов, и если бы я даже хотел сбежать, то, спрашивается, куда? Не в море же прыгать! Но затевать склоку было явно бессмысленно. Этот человек беспрекословно повиновался приказам свыше, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что вышколенности могла бы позавидовать любая служебная собака. Мягко, но решительно он повел меня к месту моего заключения. Чтобы

425

добраться до него, нам пришлось идти через пустые, еле освещенные комнаты и залы. Каждый раз, перед тем, как открыть очередную дверь, мой конвоир вытаскивал связку ключей и запирал предыдущую. Впечатляюще, ничего не скажешь. Меня начала бить нервная дрожь. И смех, и грех. Одному Богу известно, как повел бы себя констебль, окажись я и вправду опасным преступником. Скорей всего, первым делом надел бы на меня наручники. Наконец мы дошли до моей темницы, которая представляла из себя обычную тусклую залу ожидания. Вокруг не было ни души, в темноте я смог разглядеть лишь несколько длинных пустых скамеек.

— Здесь мы и заночуем, — сообщил констебль тем же ровным спокойным голосом. Голос у него был и вправду приятный. Этот человек начинал мне нравиться.

— Ванная комната там, — добавил он, показывая пальцем на дверь у меня за спиной.

— Умываться я не собираюсь. Но с удовольствием бы сходил в сортир.

— Там есть все необходимое, —' заверил он меня, открывая дверь и зажигая свет.

Я зашел внутрь, снял верхнюю одежду и уселся. Случайно подняв глаза, я в изумлении увидел констебля, примостившегося на маленьком стульчике возле двери. Не то чтобы он пялился на меня в упор, но одним глазком все же приглядывал. Мои внутренности разом свело судорогой. Ну уж это слишком! Надо об этом написать!

Застегиваясь, я высказал некоторое недоумение по поводу такой бдительности. Констебль добродушно отреагировал на мои слова, пояснив, что это входит в его обязанности.

— Я должен не спускать с вас глаз до утра, пока не передам вас капитану. Таков порядок.

— А что, бывает, бегут?

— Не часто. Но сейчас сложилась такая неблагоприятная ситуация, толпы иностранцев пытаются незаконно проникнуть в Англию. Работу ищут, знаете ли.

— Понимаю, — отозвался я. — Все идет вверх дном. Я медленно мерил шагами комнату. И вдруг понял, что

дрожу от холода. Взяв со скамейки пальто, я накинул его

на плечи.

— Хотите, сэр, я разведу огонь? — неожиданно предложил констебль.

Чертовски мило проявлять подобную заботу об арестанте.

426

— Даже не знаю. А вы? Вы сами-то хотите?

— Дело не во мне, сэр. Для вас по закону должен быть разведен огонь, если вы пожелаете.

— Плевать на закон! Если вас не затруднит, давайте разведем. Я могу вам помочь.

— Не беспокойтесь, это входит в мои обязанности, если вы пожелаете. Мне все равно нечего делать, кроме как приглядывать за вами.

— Ну раз так, разожгите, — согласился я. Сев на скамью, я стал наблюдать, как он занялся приготовлениями. Мило, ничего не скажешь, думал я. Значит, законом камин не возбраняется. Ну и дела, черт меня побери! Закон!

Когда огонь разгорелся, констебль предложил мне растянуться на скамейке и устроиться поудобней. Он приволок откуда-то подушку и одеяло. Я лег, не сводя глаз с огня и размышляя о том, как странно устроен мир. То на вас набрасываются чуть ли не с кулаками, то нянчатся, как с младенцем. Все сходится в одном и том же гроссбухе, точно дебит с кредитом. Правительство выступает в роли незримого бухгалтера, который заполняет страницы все новыми и новыми записями, а констебль — лишь разновидность живой промокашки, которой осушают чернила. Случись вам получить пинок под зад или пару зуботычин, — это понимается как бесплатное приложение, и ни в одной книге об этом не говорится ни слова.

Констебль сидел на маленьком стульчике у камина, уткнувшись в вечернюю газету. Он сказал, что почитает, пока я не усну. Это было произнесено вполне по-добрососедски, без тени злобы или сарказма, что разительно отличало его от тех двух ублюдков, от которых я только что отделался.

Понаблюдав за ним некоторое время, я завел с ним разговор о том о сем, стараясь забыть о том, что он тюремщик, а я узник, просто захотелось немного поболтать по-человечески. Его нельзя было обвинить ни в невежестве, ни в глупости, ему нельзя было отказать в восприимчивости. Он поразил мое воображение своим сходством с породистой борзой благородных кровей, получившей и родословную, и воспитание, тогда как те олухи, точно так же находящиеся на государственной службе, были лишь парочкой мелких злобных шавок, подлых лизоблюдов, упивающихся своей грязной работой. Если долг прикажет констеблю убить человека, он, не рассуждая, сделает это, но его можно будет простить. Но эти выродки! Тьфу! Я с отвращением сплюнул в огонь.

427

Я полюбопытствовал, читал ли констебль каких-нибудь серьезных писателей. С удивлением услышал, что он прочел Шоу, Беллока, Честертона и даже Моэма. «Бремя страстей человеческих» он назвал великой книгой. Я был полностью согласен с такой оценкой, поэтому засчитал еще одно очко в его пользу.

— А вы тоже писатель? — осторожно, чуть ли не с испугом спросил он.

— Так, сочиняю понемногу, — скромно ответил я. И тут меня словно прорвало. Запинаясь и спотыкаясь на каждом слове, я повел его по... «Тропику Рака». Я рассказывал ему об улочках и забегаловках. Говорил о том, как пытался втиснуть, уместить все это в книгу, делился своими сомнениями, получилось или нет.

— Но это человечная книга, — заключил я, поднимаясь со скамейки и вплотную приблизившись к нему. — Должен сказать вам, констебль, вы также произвели на меня человечное впечатление. Я получил истинное наслаждение от вашего общества сегодня

вечером и хочу, чтобы вы знали, что я полон уважения и восхищения вами. Надеюсь, вы не сочтете меня нескромным, если, по возвращении в Париж, я пришлю вам экземпляр моей книги.

Он собственноручно вписал в мою записную книжку свое имя и адрес, явно польщенный моими словами.

— Вы очень интересный человек, — сказал он. — Жаль, что нам довелось встретиться при столь плачевных обстоятельствах.

— Не будем об этом. Давайте лучше укладываться. Как вы насчет этого?

— Неплохая идея. Вы устраивайтесь на этой скамейке, а я тут вздремну немного. Кстати, если хотите, я скажу, чтобы утром вам принесли завтрак.

До чего милый, достойный человек, подумал я. С этой мыслью я закрыл глаза и уснул.

Утром констебль проводил меня на судно и сдал на руки капитану. На борту еще не было ни одного пассажира. Помахав констеблю на прощанье, я стоял на носу корабля и долгим нежным взглядом прощался с Англией. Были те редкие тихие утренние часы, когда над головой чистое небо, в вышине парят чайки. Каждый раз, глядя на Англию с моря, я проникаюсь неброской, мирной, дремотной прелестью ландшафта. Англия с такой трогательной робостью спускается к морю, что внутри все замирает в

428

умилении. Все кажется тихим, умиротворенным, цивилизованным. Я стоял, смотрел на Нью-Хэвен, на глазах у меня выступили слезы. Пытался представить себе, где живет стюард, гадал, чем он сейчас занимается, наверное уже проснулся и завтракает или возится в саду. В Англии у каждого должен быть свой сад: таков заведенный порядок, это сразу чувствуется. Никогда я не видел Англию столь прелестной, столь гостеприимной. Мои мысли вновь перенеслись к констеблю: как славно, как гармонично вписывается он в этот пейзаж. Если ему когда-нибудь попадется в руки эта книга, то я хочу, чтобы он знал, что я безгранично сожалею о том, что в присутствии такого тонкого, благородного человека справлял свои естественные надобности. Если бы я мог представить, что ему придется сидеть и наблюдать за мной, то уж как-нибудь бы дотерпел, пока пароход не отчалит от берега. Я хочу, чтобы он знал это. А тех двух подонков — их я предупреждаю, что попадись они мне когда-нибудь, я плюну им в глаза. Да падет проклятие Иова на их головы, и пусть терзаются они до конца дней своих. И сгинут в муках на чужбине!

Самое волшебное утро в моей жизни. Крохотная деревушка Нью-Хэвен, угнездившаяся среди белых меловых утесов. Край земли, с которого цивилизация плавно соскальзывает в море. Я долго стоял, погрузившись в мечты, и на меня снизошли покой и благодать. В такие минуты кажется, что все, что с тобой происходит, происходит к лучшему. Объятый сонным покоем, я вспоминал другой Нью-Хэвен — в штате Коннектикут, где я однажды навещал в тюрьме одного человека. В свое время он работал у меня курьером, и мы незаметно подружились. В один прекрасный день в припадке ревности он выстрелил в свою жену, а потом в себя. К счастью, обоих удалось спасти. Когда его перевели из больницы в тюрьму, я навестил его. Мы долго проговорили, разделенные стальной сеткой. Когда я вышел на улицу, меня внезапно пронзило острое ощущение прелести свободы. Повинуясь неожиданному порыву, я спустился на берег к океану и, глубоко вдохнув, нырнул в воду. Это был один из самых удивительных дней, проведенных мною у океана. Когда я летел с трамплина вниз, мне казалось, что я навсегда покидаю эту землю. Я не собирался расставаться с жизнью, но в тот момент мне было плевать, утону я или нет. Невозможно передать словами ощущение, которое испытываешь, когда бросаешься

429

с земли, оставляя за собой всю эту помойку рукотворной мерзости, которую люди хвастливо именуют цивилизацией. Когда я вынырнул и поплыл, я увидел мир совершенно новыми глазами. Все изменилось. Вышедшие посидеть у моря люди казались до странности разобщенными; они валялись на берегу, словно морские котики, грея на солнце свои бока. Они были начисто лишены элементарных признаков индивидуальности. Были такой же частью пейзажа, как скалы, деревья, коровы на лугу. Для меня остается загадкой, как этим ничтожным существам удалось возвыситься над всеми остальными, стать царями природы. Я воспринимал их как неотъемлемую часть природы, как животных, как растения, не больше. В тот день я почувствовал, что с чистой совестью могу пойти на самое гнусное преступление, прекрасно осознавая его гнусность. Преступление без причины. Да, я чувствовал, что могу запросто убить кого-нибудь, ни в чем не повинного.

Судно взяло курс на Дьепп, и мои мысли потекли по новому руслу. Я никогда прежде не выезжал из Франции и вот возвращаюсь с позорной черной меткой, перечеркнувшей мою визу, мое имя. Что подумают французы? Вдруг они тоже устроят мне перекрестный

допрос? Что я делаю во Франции? Как зарабатываю на жизнь? Не отнимаю ли кусок хлеба у французских рабочих? Не собираюсь ли повиснуть на шее у государства?

Тут меня обуяла паника. Что, если меня не впустят обратно во Францию. Не дай бог, посадят на корабль и отправят в Америку. Я до смерти перепугался. Америка! Быть отправленным в Нью-Йорк и выброшенным на помойку, словно мешок гнилых яблок. Ну нет, если они вздумают выкинуть такой фокус, я выброшусь за борт. Мне ненавистна мысль о возвращении в Америку. Я стремился только в Париж. Никогда в жизни не стану больше жаловаться на судьбу. И пусть остаток дней моих буду там нищенствовать. Лучше быть нищим в Париже, чем миллионером в Нью-Йорке!

Я сочинил грандиозную речь на французском, — собираясь произнести ее перед французскими чиновниками. Я так старался, так увлекся возвышенными оборотами, что не заметил, как мы пересекли Ла-Манш. Как раз пытался проспрягать глагол в сослагательном наклонении, когда впереди неожиданно показалась земля, и пассажиры обле-

430

пили перила. Начинается, мелькнуло у меня в мозгу. Не робей, приятель, выше голову, к черту сослагательное наклонение!

Бессознательно я держался в сторонке от всех, будто боялся запятнать кого-нибудь своим позором. Я не знал, что меня ожидает, когда я сойду на берег — будет ли меня ждать agent*, или просто скрутят руки, как только я спущусь по сходням. Все оказалось куда проще, чем представлялось моему разгоряченному воображению. Когда судно причалило, ко мне подошел капитан и, взяв за руку, — совсем как констебль — подвел меня к перилам, откуда моим глазам открылся берег, где стояли встречающие. Обменявшись взглядом с кем-то на набережной, капитан поднял вверх левую руку, выставив вперед указательный палец, и направился ко мне. Он словно говорил этим жестом:

«Один ест ь!» Один кочан капусты! Одна голова скота! Я был скорее поражен, чем пристыжен. Все оказалось предельно ясно и логично, не придерешься. Как ни крути, я на судне, судно причаливает, меня ищут, спрашивается, к чему возиться с телеграммами или утруждать себя ненужными телефонными звонками, если достаточно одного взмаха руки? Так и проще, и дешевле.

Когда я увидел того, кому предстояло решать мою дальнейшую участь, у меня упало сердце. Им оказался детина устрашающего вида с черными, лихо закрученными усами, в огромном котелке, наполовину прикрывавшем его внушительных размеров уши. Даже издали его руки наводили на мысль об окороках. Излишне говорить, что одет он был во все черное. Все было против меня.

Спускаясь по сходням, я лихорадочно пытался восстановить хотя бы крохотный отрывок своей отрепетированной только что речи. И не мог вспомнить ни одной фразы. Только повторял про себя: «Oui, monsieur, je suis un Ame-ricain — mais je ne suis pas un mendiant. Je vous jure, monsieur, je ne suis pas un mendiant».

— Votre passeport, s'il vous plait.

— Oui, monsieur!**

* Полицейский (фр.).

** — Да. мсье, я американец, но не нищий, клянусь, мсье, я не нищий.

— Ваш паспорт, пожалуйста.

— Да, мсье (фр.).

431

Я знал, что обречен снова и снова повторять «Oui, monsieur». Каждый раз, когда эти слова слетали с моих губ, я проклинал себя. Но что я мог поделать? Это основа основ, которую вдалбливают вам в мозги, как только вы попадаете во Францию. Oui, monsieur! Non, monsieur! Поначалу чувствуешь себя тараканом. Потом незаметно привыкаешь и сам произносишь эти слова, совершенно не вдумываясь в их смысл, подозрительно косясь на каждого, кто обходится без них. Когда попадаешь в затруднительное положение, это первое, что срывается с языка. «Oui, monsieur!» И как заведенный, как старый козел, блеешь одно и то же.

В действительности, я произнес эти слова только раз или два, потому что этот парень был столь же неразговорчив, как и констебль. Я с радостью понял, что его обязанности состояли лишь в том, чтобы сопроводить меня к другому чиновнику, где у меня опять будут требовать паспорт и carte d'identite. Мне вежливо предложили сесть. Я уселся с

громадным чувством облегчения, бросив прощальный взгляд на моего провожатого — где я мог видеть его прежде?

Какой контраст по сравнению с мучениями прошлой ночи! Бросилась в глаза громадная разница: уважение к личности. Мне подумалось: посади они меня сейчас на американское судно, я безропотно воспринял бы свою судьбу. Его речь была внутренне организованна. Он не сказал ничего непонятного, ничего оскорбительного, недоброжелательного или непристойного. Он говорил на своем родном языке, и в нем чувствовалась форма, внутренняя форма, вытекающая из глубокого знания жизни. Такая ясность было тем более поразительна, что вокруг царил хаос. Этот внешний бардак, окружавший его, казался нелепым. Но в то же время он не был нелеп, потому что то, что порождало этот бардак, исходило от человека, от человеческих слабостей, человеческих ошибок. В этом кавардаке чувствуешь себя легко и свободно, ибо это настоящий французский кавардак. После нескольких беглых, формальных вопросов я окончательно успокоился. До сих пор не имея ни малейшего представления о своей дальнейшей судьбе, я был уверен, что каким бы ни был приговор, он не будет ни взбалмошным, ни злобным. Я молча сидел, наблюдая, как он работает. Казалось, здесь не было ничего, что функционировало бы нормально: ручка, промокательная бумага, чернила, линейка. Казалось, он толь-

432

ко-только открыл свой офис, и я у него — первый клиент. В действительности же через него прошли тысячи таких, как я, тысячи, поэтому он не слишком беспокоился, когда дела шли не совсем гладко. Он четко усвоил, что главное — .правильно все записать в соответствующую книгу. В нужных местах поставить соответствующие печати и штампы, необходимые для того, чтобы придать делу законность, и выполнить прочие общепринятые формальности. Кто я такой? Чем занимаюсь? Cane me re -qarde pas! Я буквально слышал, как он проговаривает все это про себя. Он задал мне всего три вопроса. Где родился? Где проживаю в Париже? Давно ли живу во Франции? Из моих ответов он составил прекрасное небольшое досье имени меня, в конце которого поставил в меру витиеватую подпись с положенным количеством завитушек, затем скрепил это прозаическим штампом с нужной печатью. Такова была его работа, и он добросовестно исполнял ее.

Надо признать, он довольно долго провозился с моим делом. Но на этот раз время работало на меня. Я мог торчать тут хоть до самого утра, если это было необходимо. Я чувствовал, что он трудится на мое благо, на благо французов, что наши интересы совпадают, потому что мы оба — разумные интеллигентные люди, и к чему нам доставлять другу другу неприятности. Таких людей французы называют quelconque*, что совсем не то же самое, что Никто в Англии, потому что мистер Любой или мистер Каждый во Франции совсем не то, что мистер Никто в Англии или Америке. Ouelconque — не Никто во Франции. Он — такой же, как и все, просто его история, его традиции, его жизненный путь делают его чем-то большим, чем Некто в других странах. Как и этот терпеливый маленький человечек, эти люди зачастую так себе одеты, у них потертый вид... и подчас... что греха таить... от них дурно пахнет. Они не блещут чистотой, зато знают свое дело, а это, согласитесь, не так уж и мало.

Как я уже сказал, ему потребовалось немало времени, прежде чем он занес в свои книги все данные. Нужно было подложить копирку, оторвать бланки квитанций, наклеить наклейки и так далее. Чтобы не точить новый карандаш, в корпус ручки вставлялся очередной карандаш-

* Некто, какой-нибудь *(фр.).*

433

ной огрызок, затем куда-то запропастились ножницы, завалившиеся, как оказалось, в корзину для бумаг, налить свежих чернил, достать новую промокашку, нужно было сделать массу вещей... В довершение всего в последний момент обнаружилось, что моя французская виза просрочена. Мне деликатно предложили возобновить ее — на случай, если я когда-нибудь надумаю опять попутешествовать. Я не стал спорить, зная наверняка, что пройдет много времени, прежде чем мне взбредет в голову мысль покинуть Францию. Согласился скорее из вежливости и уважения к героическим усилиям, затраченным на меня.

Когда с формальностями было покончено, когда мой паспорт и удостоверение личности благополучно перекочевали ко мне в карман, я с подобающей почтительностью предложил ему посидеть в баре напротив. Он любезно принял мое приглашение, и мы не спеша отправились в бистро у вокзала. Он поинтересовался, нравится ли мне жить в Париже. Интересней, небось, чем в этой дыре, добавил он. Нам почти не удалось поговорить, поскольку поезд отправлялся через несколько минут. Я думал, что на прощанье он не удержится от того, чтобы спросить меня: «Как же вас угораздило так вляпаться?», — но нет, ни малейшего намека.

Мы вернулись на набережную, раздался свисток, мы сердечно пожали друг другу руки, и он пожелал мне счастливого пути. Он помахал рукой и повторил:

— Au revoir, monsieur Miller, et bon voyage!* На этот раз обращение «месье Миллер» прозвучало для меня музыкой, прозвучало абсолютно естественно. Настолько приятно и естественно, что у меня выступили слезы. Да, когда поезд отходил от станции, две слезы, скатившись по щекам, упали мне на руки. Я был спасен, я был среди людей. Во мне все пело «Bon voyage!» Bon voyage! Bon voyage!

Над Пикардией моросил мелкий дождик. Почерневшие соломенные крыши звали и манили к себе, сочная зеленая трава дрожала на ветру. Иногда передо мной начинал маячить океан, чтобы быть тут же проглоченным колышащимися песчаными дюнами, передо мной мелькали фермы, луга, ручьи. Мирный сельский пейзаж, каждый занимается своим делом.

* До свидания, господин Миллер, счастливого пути *(фр.)*.

434

Меня вдруг окатило волной такого счастья, что мне захотелось вскочить и закричать или запеть. «Bon voyage!» Какие слова! Мы всю жизнь проводим в странствиях, постоянно бормоча слова, подаренные нам французами, но разве когда-нибудь у нас бывает этот «bon voyage»? Разве мы осознаем, что, даже спускаясь в бистро или в бакалейную лавку на углу, мы отправляемся в путь, из которого можем не вернуться? Если бы мы осознавали, что каждый раз, выходя из дома, мы отправляемся в путешествие, то, возможно, наша жизнь складывалась бы немножко иначе. Когда мы пускаемся в путешествие до ближайшего магазина, в Дьепп или Нью-Хэвен, или куда-нибудь еще, наша планета тоже пускается в небольшое путешествие, о котором никто ничего не знает, даже астрономы. Но куда бы мы ни отправились, в угловой магазинчик или в Китай, мы путешествуем вместе с матерью нашей Землей, Земля движется вместе с Солнцем, и вместе с Солнцем отправляются в путь другие планеты... Марс, Меркурий, Венера, Нептун, Юпитер, Сатурн, Уран. Весь небосвод совершает путешествие, и, если хорошенько прислушаться, можно услышать «Bon voyage! Bon voyage!» А если замереть и не задавать дурацких вопросов, то поймешь, что главное — отправиться в путешествие, что вся наша жизнь — путешествие, путешествие в путешествии, что смерть — не последнее путешествие, а лишь начало нового, и никто не знает, куда и зачем, но все равно — «bon voyage»! Мне хотелось вскочить и пропеть это в тональности ля-минор. Вселенная представлялась мне опутанной паутиной дорог, порой труднопроходимых и почти невидимых, как пути, по которым движутся планеты солнечной системы, и в этом огромном мглистом скольжении туда и обратно, в призрачных-переходах из реальности в реальность, я видел, как все живое и неживое машет друг другу, тараканы тараканам, звезды звездам, человек человеку, Бог Богу. Закончена посадка Для отправляющихся в Никуда, Bon voyage! От осмоса к катаклизму, все пребывает в безмолвном вечном движении. Сделать остановку, замереть посреди этой сумасшедшей, безумной круговерти, идти в ногу с вселенной, как бы ее ни кидало из стороны в сторону, стать одним целым с тараканами, звездами, богами и людьми, — вот что такое путешествие. И в этом пространстве, в котором мы совершаем свое движение, где оставляем свои невидимые следы, в нем и только в нем можно услышать еле слышное на-

435

смешливое эхо, елейный, противный, слабый, безжизненный английский голос, недоверчиво вопрошающий: «Полноте, мистер Миллер, уж не хотите ли вы сказать, что пишете еще и книги по медицине?» Да, черт подери, теперь я могу утверждать это с полной уверенностью. Да, мистер Никто из Нью-Хэвена, я действительно пишу книги по медицине, прекрасные книги по медицине, которые исцеляют от всех недугов во времени и пространстве. Вот и сейчас, в эту самую минуту я создаю грандиозное слабительное для человеческого сознания: оно называется ощущение путешествия!

Я представил себе того недоумка из Нью-Хэвена, насторожившего уши, чтобы лучше меня слышать; перед ним возникла огромная неясная тень и поглотила его. Только я хотел спросить сам себя: «Где же я видел эту рожу?», как меня вдруг словно озарило вспышкой молнии. Усатый человек из Дьеппа, чье лицо было мне до боли знакомо, теперь я узнал его! — это же Мак Суэйн*! Большой Злой Волк, и Чарли играл Самсона-Борца! Вот и все! Я только хотел привести в порядок свои мысли. Et bon voyage. Bon voyage a tout le monde!*

* Мак Суэйн — американский актер, исполнявший роль Большого Джима Макки, главного противника Чарли в фильме Ч. Чаплина «Золотая лихорадка» (1925).

АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ФРИКАСЕ (Astrological Fricasse)

РАССКАЗ

Astrological Fricasse

Я познакомился с Джеральдом в фойе театра в антракте. Не успели нас представить друг другу, как он поинтересовался датой моего рождения.

— Двадцать шестого декабря 1891 года.. днем, в половине первого... В Нью-Йорк Сити... При стечении Марса, Урана и Луны в восьмой фазе. Устраивает?

Он просиял.

— Вы разбираетесь в астрологии, — обрадовался он, растроганно глядя на меня, словно я был его лучшим учеником.

Наша беседа была прервана появлением очаровательной молодой особы, радостно приветствовавшей Джеральда. Он торопливо познакомил нас.

— 26 декабря и 4 апреля... Козерог с Овном.. Вы прекрасно подходите друг другу.

Я так и не узнал, как зовут очаровательную даму, впрочем, она также не знала моего имени. Для Джеральда это не имело никакого значения. Люди существовали для него лишь постольку, поскольку они подтверждали его астрологические выкладки. Он заранее знал, кто есть кто, — на лету схватывая самую суть. В каком-то смысле он был сродни врачу-рентгенологу. Моментально высвечивал ваш астральный скелет. Там, где непосвященным виделся Млечный путь, Джеральд наблюдал созвездия, планеты, астероиды, падающие звезды и туманности.

— Не затевайте ничего серьезного в ближайшие дни, — мог сказать он. — Лягте на дно. Ваш Марс сходится с Меркурием. Воздержитесь от принятия решений. Дождитесь полнолуния... Вы человек импульсивный, склонный к необдуманным поступкам, я правильно угадал? — Испытующе лукаво он поглядывал на свою жертву, словно предупреждая: «Меня не проведешь, я вижу тебя насквозь».

В антракте все высыпали в фойе, дружно пожимая друг другу руки. Каждого представляли по имени его знака Зодиака. Среди присутствующих в большинстве оказались Рыбы — прохладные, слегка замороженные, в меру доброжелательные, безликие создания, все как на подбор с гла-

439

зами навыкате, вялые и флегматичные, у которых, казалось, в жилах вместо крови течет вода. Меня больше тянуло к Скорпионам и Львам, особенно это касалось представительниц прекрасного пола. Водолеев я старался избегать.

Когда в тот же вечер мы с Джеральдом сидели в ресторане, я уяснил для себя одну важную вещь. Хоть убей, не вспомню, был он Близнецом или Девой, но с уверенностью могу сказать — увертливости и апломба ему было не занимать. Было в нем что-то андрогинное. Присутствие Весов, Львов и Стрельцов вызывало в нем нездоровый ажиотаж. Он то и дело, словно мимоходом, ронял какие-то двусмысленности о Козерогах, — осторожно, словно исподтишка сыпал соль на птичий хвост.

Он без умолку говорил о различных органах человеческого тела, суставах, мускулах, слизистой оболочке и прочих жизненно важных частях организма. Он посоветовал хозяину, которого недавно сбил грузовик, быть поосторожней со своей коленной чашечкой в следующем месяце. Молодой даме слева от меня следовало поберечь почки — из одного из близлежащих домов исходит какое-то пагубное влияние, которое действует на почки и железы внутренней секреции. Интересно, каким астральным сложением обладал он сам — с нездоровым цветом лица, свидетельствующим о плохой печени, и почему бы ему самому не посоветоваться хотя бы с местным фармацевтом.

Я уже проглотил три коктейля с шампанским и соображал довольно туго. То ли он говорил, что следующая неделя обещает быть удачной в финансовых отношениях, то ли что надо опасаться переломанных костей. Но надо сказать, меня это и не особенно интересовало. Любые влияния Сатурна, обнаруженные в моем гороскопе, значат для меня больше, чем все вместе взятые милости великодушного благодетеля Юпитера. Я заметил, что о Венере не было сказано ни единого слова. Похоже, сферу личных отношений он ни в грош не ставил. Он был мастак по части несчастных случаев, прибавок к жалованью, путешествий. Разговор принял вкус давно остывшей яичницы в клинике для ревматиков. Я пытался было завести разговор о Плутоне, потому что эта планета и ее тайны более остальных занимали меня, но он не поддержал меня, напротив, как-то сразу помрачнел и замкнулся. Больше всего он оживлялся, когда ему задавали сугубо земные вопросы, например:

— Как вы считаете, мне не повредит немного спагетти?

— Можно мне заниматься гимнастикой в данное время суток?

440

— Как насчет этой вакансии в Сан-Франциско? Не пора ли подсуетиться?

На подобные вопросы у него всегда был готов ответ. Его самонадеянность не знала границ. Время от времени, желая придать своим словам больший вес и драматизм, он закрывал глаза, словно окидывая мысленным взором астральную карту звездного неба. Он мог предсказывать будущее, правда, довольно неохотно, но странное дело: пока мы разговаривали, ему, как и простому смертному, пришлось купить утреннюю газету,

чтобы узнать, что творится на русском фронте. Спроси я его о положении дел на бирже (не упал ли, допустим, уровень цен), вряд ли он проявил бы большую осведомленность, нежели я. Спустя несколько недель ожидалось затмение Луны, и он зорко следил за всевозможными землетрясениями и колебаниями почвы; к счастью, какая-то богом забытая сейсмографическая станция зафиксировала колебания почвы в пяти-шести тысячах миль от берега в Тихом Океане. Никто не пострадал, разве что какие-нибудь глубоководные чудища...

Где-то через неделю Джеральд позвонил мне и пригласил на новоселье. Он пообещал мне встречу с восхитительной Стрельчихой с грудью, как налитые яблоки, и губами цвета спелой малины.

— Вы очень скоро вступите в фазу повышенной активности, — выпустил Джеральд на прощанье стрелу. В его устах это прозвучало весьма многообещающе. Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что активность сама по себе вещь крайне бессмысленная. Муравьи с пчелами тоже активны, причем, постоянно и что с того? К тому же меня раздражала сама идея активности. Я жил в мире с самим собой и хотел, чтобы все оставалось, как есть, по крайней мере, пока.

Ближе к вечеру мы подъехали к дому Джеральда. Я прихватил с собой двух друзей, Весы и Стрельца. По обеим сторонам улицы вдоль всего квартала тянулась вереница авто, — преимущественно лимузинов — глянцево сверкающих в лучах заходящего солнца. Между холеными, «ливрейными» шоферами уже установились вполне панибратские отношения. Когда мы вылезли из двухместного «фордика», нас удостоили критическими взглядами, смерив с головы до ног.

Новое обиталище Джеральда находилось в милом, небольшом особнячке. Я бы сказал, приятно никаком. Здесь мог жить и состоятельный хиромант, и преуспевающий виолончелист. Гостиная кишела людьми, они сидели, стояли, разговаривали, пили чай, жевали пирожные. Когда мы вошли, Джеральд устремился нам навстречу и стал пооче-

441

редно представлять своим гостям: Весы — Близнецы, Стрелец — Водолей, Лев — Козерог и так далее. Мы чувствовали почти то же самое, что и Алиса, когда она попала в Страну Чудес, а Джеральд при ближайшем рассмотрении был как две капли воды похож на Даму Червей.

Когда все перезнакомились, я пристроился в уголке у окна и огляделся. Интересно, кто пристанет первым. Долго ждать не пришлось.

— Вы увлекаетесь астрологией? — поинтересовалась бледная личность с запавшими глазами и впалыми щеками, безуспешно пытаясь подняться с дивана, где была зажата между двумя дамами с одутловатыми расплывшимися лицами, одетыми так, словно они долго рылись в бабушкиных сундуках.

— Весьма относительно, — ответил я, пожимая его вялую руку.

— Мы все просто без ума от Джеральда. Он настоящий волшебник! Не представляю, что бы мы без него делали. Я промолчал, повисла неловкая пауза. Он продолжал:

— Вы живете в Голливуде, мистер... Простите, запамятовал ваше имя. Меня зовут Хелблингер, Джулиус Хелблингер.

Я еще раз пожал ему руку.

— Рад познакомиться, мистер Хелблингер. Нет, я живу не здесь. Я пришел в гости.

— Вы адвокат, да?

— Нет, я писатель.

— Писатель! Ах, как интересно! В самом деле? Если не секрет, о чем вы пишете?

Тут как нельзя более кстати подоспел Джеральд — он подслушивал разговор и торопливо порхнул к нам, весь трепеща от возбуждения.

— Ни в коем случае не читайте его книги, — начал он, протягивая безвольно болтавшуюся кисть, с которой, будто переломанные, свисали пальцы. — У него извращенный склад ума, не правда ли, Двадцать Шестое Декабря?

Одна из каракатиц пыталась подняться с дивана, опираясь на тонкую трость с золотым набалдашником. Увидев, что она плюхнулась, словно снулая рыба, на мягкое, я поспешил ей на помощь. Случайно мой взгляд упал на ее ноги, похожие на две щепки. Судя по всему, она никогда не ходила дальше, чем от машины до подъезда. На одутловатом белом лице выделялись маленькие птичьи глазки. Проблеск сознания в них отсутствовал, разве что иногда вспыхивал алчный огонек обжорства. Она могла быть сестрой-близнецом Кэрри Нейшн кисти Гранта Вуда, создавшего ее в момент сатанинского просветления. Я без труда

442

представлял ее на лужайке возле собственного дома в Пасадене, поливающую цветы из дырявой лейки. Наверное она проводит день, посещая парикмахера, потом астролога, от астролога направляется к хироманту, потом идет в чайную, где после второй чашки чая начинает ощущать легкое брожение в кишечнике, и поздравляет себя с тем, что ей

больше не нужно принимать ежедневно слабительное. Высшее счастье для нее, — это, без сомнения, хороший стул. Я несильно сдернул ее с дивана, поставил на ноги, слыша, как стучит ее грязное сердце, подражая ржавому хрипу неисправного движка.

— Вы так любезны, — поблагодарила она, тщетно пытаясь изобразить на высеченном из чугуна лице очаровательную улыбку. — Увы, мой дорогой, мои бедные ножки совсем меня не слушаются. Джеральд говорит, что у меня Марс противостоит Сатурну. Приходится нести свой крест. А вы кто. Овен? Хотя нет, дайте подумать... вы Близнец, угадала?

— Совершенно верно, я Близнец, а также моя мать и сестра. Забавно, не правда ли?

— Действительно, — из ее груди рвался хриплый свист, она безуспешно пыталась справиться с головокружением. Кровь хлюпала в ее жилах, словно слизь просачивалась через промокашку.

— Джеральд говорит, что я принимаю все слишком близко к сердцу... А что мне остается, когда правительство сжирает весь доход. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы выиграем войну, но, голубчик, с чем мы останемся, когда она закончится? Я, знаете ли, не становлюсь моложе. У меня осталась только одна машина, и неизвестно еще, не придется ли расстаться и с ней. А каково ваше мнение об этой войне, молодой человек? Эта нескончаемая бойня просто ужасна. Одному богу известно, уцелеем ли мы. Не удивлюсь, если эти япошки вторгнутся в Калифорнию и уведут побережье прямо у нас из-под носа. Что скажете? Вы так терпеливо слушаете... Простите мою болтливость. Старость, дорогой мой! Что вы сказали?

Я не произнес ни слова. Я только улыбался ей, может быть, немного грустно.

— Вы иностранец? — вдруг спохватилась она, на ее лице отразилась паника.

— Американец всего-навсего.

— Откуда вы? Средний Запад?

— Нет, Нью-Йорк. Я там родился.

— Вы уехали оттуда, да? Я не осуждаю вас, там невозможно жить... все эти иностранцы. Я уехала отсюда

443

тридцать лет назад. И никогда не вернулась бы... Oh, леди Эстенброк... Как я рада снова видеть вас. Вы давно приехали?. Я не знала, что вы в Калифорнии.

Я стоял, как дурак, с тростью в руках. Старая сука, казалось, забыла обо мне, хотя я был совсем рядом, готовый в любую минуту подхватить ее трясущуюся бренную оболочку, если она споткнется или грохнется наземь. Наконец, заметив, что леди Эстенброк бросает на меня явно недоуменные взгляды, она слегка шевельнула проржавевшими суставами и легким движением, почти незаметным, дала мне понять, что я не забыт.

— Леди Эстенброк, позвольте представить вам мистера... Прошу прощения, не скажете ли вы еще раз, как вас зовут?

— А я и не говорил вам, — бесцветно ответил я. И выдержав приличествующую паузу, добавил:

— Химмельвейс... Август Химмельвейс.

Леди Эстенброк скривилась, заслышав это жуткое тевтонское имя. Она протянула мне два ледяных пальца, которые я радостно стиснул в непристойно крепком и бодром пожатии. Но не моя экспансивность обеспокоила леди Эстенброк, а та дерзость, с которой мои глаза изучали три вишенки, свисавшие с ее немыслимой шляпки. Только безумная из высшего английского общества могла напялить на себя такое. Она была похожа на даму с портрета подвыпившего Гейнсборо, последние мазки на котором сделал Марк Шагал. Для пущего присутствия имперского духа не хватало лишь букетика спаржи, воткнутого между обвисших пустых грудей. Ее грудь! Мои глаза машинально блуждали по тому месту, где должна быть грудь. Я подозревал, что в последний момент она подложила туда немного эксельсиора (амер. — мягкая упаковочная стружка), возможно, тогда, когда выжимала последнюю каплю духов из пульверизатора. Готов ручаться, она ни разу в жизни никогда не видела своих гениталий. Омерзительное, должно быть, зрелище. Всегда было омерзительным... Если бы не приходилось иногда писать, то про них вообще можно было бы забыть...

— Леди Эстенброк — автор книг о Уинни Уимпл, — поторопилась сообщить пасаденовская рептилия. Я понимал, что меня просто хотели ввести в курс дела, так сказать, au courant, но мне было абсолютно начхать, что из себя представляет эта дама, будь она известной писательницей или чемпионом по крокету. Я равнодушно и спокойно ответил:

— Прошу прощения, но я первый раз в жизни слышу о Уинни Уимпл.

444

Это прозвучало как гром среди ясного неба.

— Позвольте, мистер...

— Химмельвейс, — пробубнил я.

— Позвольте, мистер Химмельвейс, не хотите же вы сказать, что никогда не слышали о Уинни Уимпл. Этого не может быть, все читали про Уинни Уимпл. Где же вы были все это время? Вы что, с луны свалились? Дорогуша, это неслыханно!

Леди Эстенброк снисходительно произнесла:

— Мистер Химмельвейс вероятно читает Томаса Манна, Кроче, Унамуно. Ничего обидного в этом нет. Я ведь сама пишу лишь для того, чтобы не умереть от скуки. И вряд ли когда-нибудь удосужусь прочитать свою писанину. Это же примитив.

— Что вы, дорогая леди Эстенброк, как вы можете говорить такие вещи! Ваши книги восхитительны! Я перечитываю каждую из них по нескольку раз! Каждую! Какая прихотливость! Столько очарования! Не представляю, что бы мы делали без вашей Уинни Уимпл, я серьезно. Барон Хафнейджел! Я должна поздороваться с ним! Прошу прощения, леди Эстенброк!

Она заковыляла в другой конец комнаты, истошно вереща:

— Барон Хафнейджел! Барон Хафнейджел! Леди Эстенброк с осторожностью, словно у нее была хрустальная задница, опустилась на софу. Я предложил ей чаю с пирожными, но она не слышала меня. Стеклянными глазами она уставилась на стоящую на столике фотографию страстной, полураздетой блондинки. Я слегка отодвинулся и тут же уперся в округлые прелести увядающей актрисы. Я хотел было извиниться, но услышал сухой надтреснутый смешок, напоминавший хруст слюды.

— Это всего лишь я... Не стоит извинений, — прожурчала она. — Эскимосы, знаете ли, трутся носами... — Очередной короткий взрыв смеха, словно вызванный падением с лестницы Галли Курчи. Дальше последовало неизбежное:

— Я — Двенадцатое Ноября, а вы?

— Двадцать Шестое Декабря, — ответил я. — Самый настоящий козел с парой рогов.

— Как мило! А я не знаю, кто я, то ли змея, то ли сороконожка. Во мне есть что-то дьявольское и страшно сексуальное.

Она похотливо прищурила фарфоровые глазки.

— Вам не кажется, — она теснее прижалась ко мне, — что надо найти что-нибудь выпить, а? Я все ждала, что вон тот гусь, — жест в сторону Джеральда, — соизволит

445

поухаживать за мной, но, похоже, не дождусь. А что здесь творится? Намечается скандал, или что? Кстати, меня зовут Пегги. А вас?

Я назвался своим именем.

— Официально меня здесь знают как Химмельвейса. — В моем сознании возник образ подмигивающей лошади.

— Официально, — эхом откликнулась она. — Не понимаю. Официально что?

— Бредятина, полный бред. — Я постучал себя по голове.

— Понятно. Я попала на сборище мудаков. Я сразу так и подумала. Послушайте, а из-за чего сыр-бор? Зачем он их собрал? Хочет вытрясти из них монету? Пусть начнет с меня, я устрою ему небольшой сюрприз.

— Вряд ли он станет приставать к вам. Во всяком случае таким образом. — Снова образ подмигивающей лошади.

— Ах, даже так! Все ясно! — Она холодным взглядом окинула собравшихся. — Выбор невелик. Слепцы' — Она смерила презрительным взглядом, явно желая поддразнить, столпившихся вокруг ведьм.

— А вы чем занимаетесь? — неожиданно поинтересовалась она.

— Чем занимаюсь? Пишу...

— А дальше? В самом деле? А что вы пишете? История? Биология?..

— Непристойные книжки. — Я постарался изобразить на лице смущение.

— В каком смысле непристойные? Непристойные-непристойные или просто неприличные?

— Мне кажется просто неприличные.

— Вроде истории леди Чаттерби или Чаттерсли, как там ее звали? Надеюсь, не такое дерьмо? Я засмеялся.

— Нет, нет, совсем другое... Просто порнокнижки. Вы же знаете все эти вещи: душки-крошки-страсти-мордасти...

— Тише! Не забывайте, где находитесь! — она оглянулась украдкой.

— А почему бы нам не найти уголок, где можно спокойно посидеть и поговорить. А что еще вы знаете? Начало прозвучало многообещающе. Как вы сказали, вы — козел, да? Ну, в смысле Стрелец?

— Козерог.

— Козерог. Отлично, пошли! Я забыла, когда вы родились? Я хочу запомнить... Все

Козероги такие, как вы? Боже правый, я-то думала, что я невероятно сексуальна,
446
но, похоже, мне предстоит многому научиться. Пошли туда, где нас никто не услышит. Итак, все сначала. Что вы пишете? Неприкрытые что?

— Душки-крошки-чмок-трах...

Она взглянула на меня, словно собираясь благословить. Потом протянула мне руку.

— Дайте вашу пять, дружище! Мы говорим на одном языке. А теперь попробуйте это немного приукрасить, с того места, где вы остановились. Хорошо было сказано, чистая монета. Расскажите-ка мне о каких-нибудь любовных штучках. Давайте! Смелее! У меня уже намокли штанишки! Придумайте что-нибудь! Немного фантазии! Мать вашу, встретить такого человека! И где! Здесь! Надо выпить! Только не приносите эту прокисшую ослиную мочу! Лучше бурбон, если, конечно, найдете. Подождите, не убегайте. Скажите что-нибудь перед уходом. Начните с крошек, — как в прошлый раз. Только прибавьте что-нибудь этакое. Мы с вами еще прогремим сегодня. Только не говорите таких слов, хорошо? Это слишком грубо. Подойдите, я хочу шепнуть вам кое-что на ухо.

Наклоняясь к ней, я заметил Джеральда, направляющегося прямо к нам.

— Прогоните его, — прошептала моя спутница, — он похож на кусок триппера.

— О чем это вы шепчетесь? — игриво осведомился Джеральд, сияя, как близнецы ХеХе*.

— Э, братец мой, никогда не догадаетесь... Не догадаетесь ведь? — она развязно рассмеялась. По выражению лица Джеральда я понял, что смех получился слишком громким.

Джеральд низко навис над нами и спросил sotto:

— Надеюсь, не о сексе?

Женщина изумленно воззрилась на него, в ее взгляде сквозил притворный ужас.

— Вы ясновидящий! Как вы догадались? Прочитали по губам?

— По вашим губам я могу читать даже в темноте. — Джеральд смерил ее испепеляющим взором.

— Надеюсь, вы не опуститесь до оскорблений. Я и сама немного разбираюсь в этих фокусах. Пусть я и не сильна в астрологии, но вас я раскусила. Ваш номер не пройдет.

— Ш-ш-ш, тише, — Джеральд прижал палец к губам. — Умоляю, только не здесь. Вы ведь не станете меня разоблачать перед всеми!

— Не стану, если вы раздобудете что-нибудь выпить.

— В Китае — символ счастья
447
Где ваши запасы? Я принесу. Скажите только, где взять. А то от вас только лимонада и можно дождаться.

Джеральд начал было опять что-то нашептывать ей на ухо, но в этот момент его ухватила за полы пиджака только что впорхнувшее очаровательное создание.

— Диана! Вы? Вот радость-то! Я и мечтать не мог о вашем приходе! — Он, вальсируя, увлек ее в дальний угол комнаты, не потрудившись даже представить нам гостью. И наверное поздравляя себя с нежданным избавлением.

— Грязный, дешевый потаскун, — процедила сквозь зубы блондинка. — Так и не сказал, где хранится выпивка. Голову, видите ли, потерял от этой Дианы... Ха! Да он грохнется в обморок при виде ... — этой, ну понимаете, о чем я, — мохнатенькой...

В таких местах не дадут спокойно посидеть, обязательно кто-нибудь привяжется. Пока Пегги шарила в буфете в поисках ликера, норвежка с лицом старой девы, разливавшая чай в соседней комнате, решительно направилась ко мне, таща за собой известного психоаналитика — Водолея, явно обойденного вниманием Венеры. Он был похож на дантиста, превратившегося в одинокую крысу. Вставные зубы голубовато поблескивали из-под налипшей жевательной резинки. Рот был растянут в приклеенной улыбке, попеременно выражавшей удовлетворение, подозрение, восторг и омерзение. Норвежка, бывшая медиумом, взирала на него с благоговейным трепетом, ловя каждый вздох, каждый звук, срывавшийся с его губ. Она была классической Рыбой, в ее жилах текло молоко сострадания ближнему. Ей хотелось, чтобы все исстрадавшиеся души приходили излечиваться к доктору Бландербассу. «Это — уникум», — захлебываясь от восторга, рассказывала она, когда доктор откланялся. Она сравнивала его с Парацельсом, с Пифагором и даже с Гермесом Трисмегистом. Слово за слово мы незаметно затронули тему реинкарнации. Она помнила три своих перевоплощения, в одном из которых ей довелось быть мужчиной. Это было во времена фараонов, задолго до того, как церковники извратили древнюю мудрость. Она не спеша плела свою карму, свято веря, что лет так через миллион ей удастся вырваться из колеса жизни и смерти.

— Время — ничто, — полуприкрыв глаза, бормотала она. — Столько нужно сделать...

столько дел... Почему вы не пробуете пирожные? Сама пекла.

Она взяла меня под руку и повела в соседнюю комнату, где разливала чай престарелая дама, чей возраст вполне позволял ей быть Дочерью Революции.

— Миссис фарквар, — сказала моя спутница, продол-

448

жая держать меня за руку, — этот джентльмен хочет попробовать наши пирожные. Мы только что имели грандиозную беседу с доктором Бландербассом, не правда ли? — она заискивающе посмотрела мне в глаза взглядом дрессированного пуделя.

— Миссис Фарквар — настоящая ясновидица, — продолжала она, протягивая мне восхитительное пирожное и чашку чая. — Она дружила с самой мадам Блаватской. Вы, конечно, читали «Тайную доктрину»? Да что я спрашиваю... вы же наш.

Я заметил, что миссис фарквар как-то странно поглядывает на меня. Она смотрела не в глаза, а куда-то поверх, откуда у меня начинали расти волосы на голове. Я решил, что сзади стоит леди Эстенброк, и над моей головой раскачиваются три вишенки.

Тут миссис Фарквар раскрыла рот.

— Какая изумительная аура! Лиловая с цикламеновым оттенком! Только взгляните! — с этими словами она бесцеремонно дернула норвежку за руку, буквально силой заставив ее упасть на колени и тыкая пальцем в пятно на стене, дюйма на три повыше моих сильно поредевших волос.

— Норма, видишь? Сощурь один глаз. Теперь видишь?.. Да вот же она!

Норма скрючилась в три погибели, изо всех сил прищурившись, но была вынуждена признаться, что ничего не видит.

— Это же видно невооруженным взглядом. Ее просто нельзя не увидеть. Смотри-смотри. Сейчас и ты увидишь.

Теперь вокруг меня столпилось уже несколько женщин, квохтая, как наседки, и извиваясь, силились разглядеть сияние, окутавшее мой череп. Одна из них клялась и божилась, что видит его вполне отчетливо, но оказалось, что в зеленых и черных тонах — вместо лилового с цикламеном. Это окончательно вывело миссис Фарквар из равновесия. Она принялась столь яростно разливать чай, что опрокинула полную до краев чашку с горячей жидкостью на свое лавандовое платье. Норма страшно переполошилась. Она бестолково суетилась вокруг миссис Фарквар, ну вылитая мокрая курица.

Когда миссис фарквар выпрямилась, все увидели ужасное пятно. Можно было подумать, что миссис Фарквар, закрутившись с делами, совсем забылась... Я стоял, не сводя глаз с пятна, и непроизвольно провел рукой над головой, словно желая окунуть ее в лиловое сияние собственной ауры.

Откуда ни возьмись появился гладковыбритый, пред-

449

ставительный декоратор интерьеров, типичный «голубой» понимающе улыбнулся мне и вкрадчивым бархатным голосом сказал, что у меня просто сногосшибательная аура.

— Я не видел ничего подобного уже целую вечность! — воскликнул он, небрежным жестом набирая полную горсть домашних пирожных. — Моя собственная настолько безобразна, что о ней даже говорить не хочется... Во всяком случае, мне так говорили. У вас, должно быть, прекрасный характер. От остальных я отличаюсь лишь тем, что я яснослышащий. Моя мечта — иметь дар ясновидения, а вы? или вы им обладаете? Мне кажется, что вы... ах, как глупо с моей стороны спрашивать. С такой аурой, как ваша... — Он слегка придвинулся и игриво вильнул бедрами. Я подумал, что он сейчас взмахнет рукой и закричит «Йо-хо-хо!» Но этого не произошло.

— Вы художник? — отважился спросить я, когда прекратились заигрывания.

— Пожалуй, можно сказать и так, — ответил он, скромно потупившись. — Я люблю прекрасное. И ненавижу точные науки, цифры... Разумеется, большую часть жизни я провел за границей, — это развивает вкус, согласны? Вы бывали во Флоренции? А в Равенне? Флоренция — очаровательное местечко? Зачем мы воюем? Просто голова кругом идет! Кровь! Грязь! Хоть бы англичане пощадили Равенну. Эти ужасные бомбы! Тьфу!..

К нашей беседе присоединилась стоявшая рядом женщина. Удача, пожаловалась она, отвернулась от нее семь лет назад, когда ей гадали по руке на Майорке. К счастью, она отложила кругленькую сумму на черный день — миллион — не моргнув глазом, уточнила она. С тех пор, как она занялась посреднической деятельностью, дела заметно улучшились. Именно благодаря деньгам она смогла заработать себе репутацию. Она только что провернула одно дельце, подыскала кому-то хорошее место за три тысячи в неделю. Еще так будет продолжаться, то голодная смерть ей не грозит. Работой она довольна. Каждый должен найти себе какое-нибудь занятие, чтобы мозги не сохли. Все лучше, чем торчать дома и мучаться вопросом, что еще придумает правительство с твоими денежками.

Я поинтересовался, не связана ли она с Адвентистами Седьмого Дня. Она широко улыбнулась, обнажив золотые зубы.

— Нет, уже не имею. Верую сама по себе.

— А откуда вы знаете Джеральда? — спросил я.

— Ах, Джеральд... — от ее жуткого смеха у меня зашевелились волосы; — Мы познакомились на матче по боксу. Он сидел с каким-то человеком, похожим на индийского

450

набоба, я попросила дать мне прикурить. Он спросил, не Весы ли я. Я не поняла, о чем он спрашивает. Тогда он

сказал:

— Вы родились между первым и пятым октября? Я ответила, что родилась первого октября. — Значит, вы родились под знаком Весов. Я была настолько ошарашена что позволила ему составить мой гороскоп. С тех пор дела пошли в гору. Я была как во сне. До сих пор не могу понять... Что? Невероятно! Просите у кого-то прикурить, а вам в ответ называют дату вашего рождения. Этот Джеральд, он неподражаем. Я шагу не ступлю, не посоветовавшись с ним.

— А вы не можете устроить меня в кино? — полюбопытствовал я. — Джеральд сказал, что у меня сейчас удачное время.

— Разве вы актер? — она выглядела заметно удивленной.

— Нет, писатель. Из меня мог выйти неплохой сценарист, добротный киношный писака, если бы мне представился счастливый случай.

— Как у вас с диалогами?

— Вроде ничего. Хотите послушать? Ну скажем... Идут двое по улице. Они поспешно удаляются подальше с места происшествия. Стемнело, они заблудились. Один из них взвинчен до предела... Диалог...

«Взволнованный человек:

— Не знаешь, куда я мог засунуть эти бумаги? Спокойный человек:

— Строить предположения зачастую то же самое, что изучать траекторию биллиардного шара, катящегося по столу без сукна.

Взволнованный:

— Что? Ах, если они попадут в чужие руки, я пропал. Спокойный:

— Ты и так пропал. Твоя песенка уже спета... Взволнованный:

— Думаешь, меня обчистили, пока мы там стояли? Но почему тогда не взяли мой часы с цепочкой? Как это объяснить?

Спокойный:

— Никак. Я ничего не предполагаю и ничего не объясняю. Я всего лишь наблюдатель. Взволнованный:

— Может, позвонить в полицию? Господи, нельзя же сидеть сложа руки. Спокойный:

— Ты хочешь сказать, что ты должен что-то пред-

451

принять. Лично я собираюсь домой спать. Ну вот, здесь мы и разойдемся. Спокойной ночи, приятных сновидений. Пока!

Взволнованный:

— Ты не можешь бросить меня вот так! Ты хотел сказать, что пойдешь со мной дальше... Ведь так? Спокойный:

— Я всегда говорю только то, что хочу сказать. Спокойной ночи и приятных сновидений.»

— Я могу продолжать в таком же духе еще полчаса. Ну как? Очень плохо? Это экспромт, без подготовки. Если это записать на бумаге, то получится немножко иначе. Если не возражаете, я попробую еще раз. На этот раз, две женщины. Ждут автобуса. Идет дождь, у них нет зонтиков...

— Прошу прощения, — перебила меня мадам Весы, — но мне пора. Рада была познакомиться. Я уверена, что вы без труда найдете себе работу в Голливуде.

Меня оставили, словно забытый мокрый зонтик. Интересно, моя аура еще светится или уже погасла. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания.

Старые перечницы, прополоскав свои кишки тепловатым чаем, засобирались по домам, чтобы успеть к обеду. По очереди они осторожно отрывали свои задницы с насиженных мест и ковыляли к двери, опираясь, кто на трости, кто на костыли, кто на зонтики, а кто на клюшки для гольфа. В конце концов, осталась одна леди Эстенброк. Она о чем-то увлеченно беседовала с толстой кубинкой, одетой в мутоновую шубку от Батрика. Они говорили сразу на нескольких языках. Их леди Эстенброк знала в совершенстве. Я стоял за каучуковым деревом в двух футах позади них, пытаясь разобрать эту белиберду. Когда гости подходили прощаться, леди Эстенброк кренилась

вперед, словно у нее были сломаны суставы:, поворачивалась, словно механическая кукла, и протягивала свою холодную липкую и влажную лапку, на которой, переливаясь, сверкали кольца с драгоценными камнями. Шоферы полукругом стояли у дверей, готовые в любой момент подхватить своих престарелых подопечных. Джеральд каждого своего клиента доводил до автомобиля. Его можно было принять за маститого костоправа, только что положившего в карман солидный гонорар. Когда последние гости ушли, он встал у двери, потирая бровь, вытащил из кармана брюк серебрянный портсигар, зажег сигарету и выпустил из ноздрей тоненькую струйку дыма. Серп полумесяца низко висел над линией горизонта. Джеральд несколько мгновений смотрел на него, сделал еще пару затяжек, отбросил сигарету в сторону. Перед тем, как зайти в дом, он ищущим

452

взглядом обвел опустевшую улицу. На его лице мелькнула тень разочарования; интересующая его особа так и не появилась. Он рассеянно пожевал губами пустоту, причмокнул.

— Проклятье! Совсем забыл! — чуть не вырвалось у него, и он ринулся на кухню, где наверняка припас что-нибудь для «внутреннего употребления».

Леди Эстенброк все еще говорила с кубинкой, на этот раз по-французски. Из нее лились потоки слов о Жан ле Пин, Каннах, По, других известных курортах. Да, она повидала мир, долгое время жила на юге Франции, исколесила Италию, Турцию, Югославию, Северную Африку. Лицо кубинки ничего не выражало, она поигрывала миниатюрным веером с ручкой, выточенной из слоновой кости, скорей всего украденным из какого-то музея. Пот крупными каплями падал на ее гигантский бюст. Она то и дело вытирала гигантскую щель между туго стиснутыми грудями крошечным шелковым платочком. Причем проделывала она это как бы между прочим, ни разу не опустив глаз. Леди Эстенброк делала вид, что не замечает этих неподобающих жестов. Задумайся она хоть на секунду, она бы пришла в ужас. Леди Эстенброк, судя по всему, потеряла интерес к собственной груди в тот момент, когда та высохла и потеряла свою актуальность.

Кубинка была невероятно толста, и стул ей был явно мал. Ей было безумно неудобно. Ее задняя часть свешивалась с сиденья, словно кусок размороженной печени. Когда леди Эстенброк отводила глаза, кубинка украдкой почесывала задницу ручкой крохотного веера. В какой-то момент, не подозревая о моем присутствии, она с остервенением стала чесаться чуть ли не от шеи до того места, где кончалась спина. Ей явно было не до бессвязных высказываний леди Эстенброк. Ее единственным желанием было как можно скорей добраться до дома, содрать корсет и скрестись, скрестись, словно шелудивая собака.

Представьте мое изумление, когда я услышал, что подошедшего к ней невысокого, энергичного, щегольски одетого человека она представила как своего мужа. Мне и в голову не могло прийти, что она может быть замужем, но он стоял передо мной, из плоти и крови, с моноклем в глазу, держа в руках палевые перчатки. Со слов кубинки я понял, что ее муж — итальянский граф, архитектор. В его облике мирно соседствовали упрямство и настороженность, в нем было что-то от хищной птицы и от денди одновременно. Он без сомнения обладал поэтической натурой, из тех, кто в порыве вдохновения сочиняя очередную фразу или интонацию, переворачивает дом вверх дном,

453

прыгает с потолка, раскачивается на люстре. Его легко можно было представить в средневековом камзоле с огромным алым сердцем поперек груди и облегающих икры чулках.

С ангельским терпением, в котором, однако, сквозила злость, он стоял за спинкой стула, на котором сидела его жена, и ждал, пока она завершит seance с леди Эстенброк. Непередаваемая словами мрачная резкость придавала ему сходство с итальянским цирюльником, выжидающим удобный момент, чтобы перерезать горло своей супруге. Я был уверен, что не успеют они усесться в машину, как он схватит ее за горло и не ослабит железной хватки до тех пор, пока она не посинеет и из груди не вырвется хрип.

В комнате осталось человек десять, не больше. В основном Девы и Близнецы. Они пребывали в легком оцепенении, вялой апатии, вызванной изнуряющим, душным зноем и несмолкаемым гудением насекомых. Джеральд был у себя в спальне, на стенах которой горделиво красовались фотографии его любимых кинозвезд — само собой из числа его клиентов. Рядом с ним за письменным столом сидела довольно симпатичная особа. Они были поглощены изучением гороскопа. Я вспомнил, что она пришла с красивым молодым человеком, то ли любовником, то ли мужем, и что они разбежались в разные стороны, едва переступив порог дома.

Молодой человек оказался актером; он снимался в вестернах студии «Юниверсал» и обладал особой привлекательностью человека, находящегося на грани безумия. Он нервно слонялся из угла в угол, метался от одной кучки гостей к другой, ни к кому не

приближаясь слишком близко, пристраивался где-то с краю, некоторое время прислушивался и неожиданно шарахался в сторону, как резвый жеребенок. Я видел, что ему смертельно хочется хоть с кем-нибудь поговорить. Но никто не давал ему такой возможности. Наконец он обессиленно рухнул на диван, рядом с уродливой низкорослой дамой, на которую он даже не обратил внимания. Он безутешно озирался вокруг, готовый взорваться в ответ на любую провокацию.

В дверях появилась женщина с огненно-рыжими, пламенеющими волосами и фиалковыми глазами; ее сопровождал высокий молодой авиатор, с плечами Атланта, резко очерченным лицом и хищным носом, словом, самый настоящий летчик. «Всем привет!» — сказала она, предполагая, как само разумеющееся, что все присутствующие узнали ее. — «Как видите, я пришла... Не ждали?.. Не верите своим глазам, да? Не слышу комплиментов... Я вся обратилась в слух», — казалось, говорила она, усаживаясь

454

на расшатанном стуле, у нее была неестественно прямая спина, можно было подумать, что она проглотила аршин, ее глаза метали искры, носком туфельки она отбивала нетерпеливую дробь. Чопорная безупречность английского произношения резко контрастировала с ее подвижным лицом. Она могла быть Кончитой Монтенегро или Лулу Негоробору. Все, что угодно, но только не цветком Британской империи. Я тихонько поинтересовался, кто она такая. Мне объяснили, что она танцовщица из Бразилии, делающая карьеру на поприще кино.

Бразильский павлин — вот самое подходящее определение для нее. Суета сует! Тщеславие — и только оно! — было написано на ее лице. Она выдвинула стул на середину комнаты — чтобы внимание оцепенелого собрания было всецело отдано ей и никому больше.

— Мы прилетели из Рио, — рассказывала она. — Я всегда путешествую самолетом. Конечно, это экстравагантно, но мне всегда не терпится!.. Собаку пришлось оставить горничной. Я ненавижу эти глупые церемонии... Я...

Я... Я... Я... Я... Похоже, мысль о существовании второго или третьего лица никогда не приходила ей в голову. Даже о погоде она говорила, постоянно вставляя бесчисленные «Я». Она была подобна сверкающему айсбергу, «Я» затопляло собой все вокруг, подчиняло себе все, было необходимо ей, как Иона киту. Мыски ее туфелек пританцовывали в такт ее словам. Элегантные мыски лаковых туфелек, способные выписывать любые замысловатые фигуры. От этих мысков можно было свалиться замертво.

Меня удивила некоторая скованность ее тела. Только пальцы ног и голова жили своей жизнью, — остальное словно было под анестезией. Из глубин этого неподвижного торса шел удивительный голос, обольстительный и отталкивающий одновременно, он очаровывал и вместе с тем нестерпимо резал слух. Каждое слово было заранее отрепетировано и произнесено сотни, а то и тысячи раз. Ее можно было сравнить с крысоловом, насвистывающим одну и ту же мелодию, в цепких, живых глазах читалась смертельная — до слез — скука, она задыхалась от скуки. Она ничего из себя не представляла, никого, кроме себя, не слышала, ее не замутненное мыслью сознание напоминало нержавеющую сталь.

' — Само собой, я Близнец, — доносились до меня ее слова, произнесенные тоном, не оставляющим сомнений в том, что, пролетая над грешной землей, именно ее Господь отметил своим поцелуем. — Да-да, я весьма двойственная натура. — Я... Я... Я... Даже свою двойственность она преподносила с заглавной буквы.

455

В комнату вошел Джеральд.

— Лолита! — воскликнул он, придавая своему фальцету дополнительную визгливую восторженность. — Как мило с твоей стороны! Ты грандиозна! — Он открыл свои объятия, едва касаясь ее кончиками пальцев, как партнер по танцу, восхищенный взгляд жадно обшаривал ее с головы до пят. Джеральд буквально пожирал ее глазами.

Мне надоел этот фарс, мой взгляд остановился на женщине, сидевшей за письменным столом в спальне. Она достала из сумочки носовой платок и поднесла его к глазам. Потом, стиснув руки, вознесла очи. Казалось, она обезумела от горя.

— Дорогая Лолита, как славно, что ты приехала! Ты самолетом? Это прелестно! Ах, душечка, ты такая сумасбродка! Какая восхитительная шляпка... откуда? Конечно из Рио! Надеюсь, ты не торопишься нас покинуть! Мне столько нужно рассказать тебе! Твоя Венера сегодня просто обворожительна!

Лолита без тени смущения внимала потоку комплиментов, который обрушил на нее хозяин дома. Уж она-то знала о положении своей Венеры побольше, чем Джеральд и все магистры черной и белой магии вместе взятые. Ее Венера скрывалась у нее между ног, и самое главное, всегда была в узде. Затмение любовной жизни Лолиты наступало разве что при месячных. Хотя даже они не служили помехой, ибо порой можно обойтись и не

раздвигая ног, а изобретательность Лолиты не знала границ.

Когда она встала, ее тело несколько ожило. От ее бедер, казалось, исходило сияние, незаметное в сидячей позе. Она играла ими так же, как кокетка бровями, — с лукавством изгибая то одно, то другое. Это была скрытая под маской легкого флирта мастурбация, сродни тем штучкам, к которым прибегали благонравные пансионерки, когда их руки были заняты.

С живостью подтаявшей сосульки она продефилировала в спальню. Ее голос зазвучал по-иному. Он шел, казалось, из самого пояса Венеры; он был сочный и жирный, точно редиска в сметане.

— Когда вы освободитесь, — произнесла она, бросив взгляд через плечо на фигуру в спальню, — я бы хотела немного поболтать с вами.

Это прозвучало как: «Побыстрей отделайся от этой сопли в сахаре и я расскажу тебе о своих сногсшибательных похождениях».

— Мы сейчас закончим, — пообещал Джеральд, напряженно поворачивая голову в сторону спальни.

— Поторопись! — предупредила Лолита, — а то я скоро

456

ухожу. — Неуловимое движение левого бедра подстегивало: — Пошевеливайся. Я не собираюсь тут рассиживаться!

В этот момент вошел бразильский воздухоплаватель, нагруженный подносом с сэндвичами и шерри. Лолита с жадностью набросилась на еду. Ковбой с безумным взглядом маньяка вскочил на ноги и без разбора стал хватать руками все, что лежало на подносе. Леди Эстенброк сидела, забившись в свой угол, презрительно ожидая, пока ей передадут блюдо. Все вдруг насторожились. Смолкло гудение насекомых, спала жара. От всеобщей апатии не осталось и следа.

Минута, о которой так долго мечтал ковбой, наконец-то настала. Минута его коронного выхода, которой он немедленно воспользовался. Его глубокий голос, несмотря на истеричные нотки, был тем не менее не лишен обаяния. Он принадлежал к той породе хи-менов, созданных на киностудиях, которые более всего страдают от собственной благоприобретенной мужественности. Ему хотелось поделиться одолевающими его страхами. Было заметно, что он не знает, с чего начать, но он был полон решимости заставить всех себя слушать чего бы ему это не стоило. И вот, словно все весь день только это и обсуждали, он заговорил о шрапнельных ранах. Он хотел заставить всех почувствовать, каково это — быть разорванным в клочья, истекать кровью, — особенно под чужим небом, — без надежды на спасение. Ему до чертиков надоели эти сумасшедшие скачки на диких лошадях, надоело продираться сквозь непролазные заросли колючей чапарелли за сто пятьдесят баксов в неделю. Когда-то он лицедействовал на Востоке, причем был неплохим актером, и хотя звезд с неба он не хватал, тем не менее, он был больше, чем просто ковбой, объезжающий перед камерой лошадей. Он мечтал ринуться очертя голову в ситуацию, в которой раскрылись бы его истинные таланты. Он был голоден, и не исключено, что возможная причина, по которой его жена уединилась с Джеральдом в спальне, крылась в том, что там можно было поесть. Судя по всему, сто пятьдесят долларов в неделю случались раз в месяц, а то и реже, а остальное время им приходилось грызть лошадиную шкуру. Вполне возможно и то, что его жена уединилась с Джеральдом, чтобы выяснить причины импотенции мужа. Множество вопросов висело в воздухе, вне и внутри жестоких описаний шрапнельных ран, от которых застывала кровь.

Это был на редкость решительный дикоглазый молодой человек — настоящий Скорпион. Казалось, будь ему дозволено упасть в корчах на ковер, вцепиться зубами Лолите

457

в лодыжку, запустить бокалом шерри в открытое окно, он так и сделает. Что-то, имеющее весьма смутное отношение к актерской профессии, снедало его изнутри. То ли его незавидное положение в кино. То ли тот факт, что его жена слишком скоро забеременела. То ли масса проблем, связанных с мировой катастрофой. Как бы то ни было, он по всем статьям оказался в мертвой точке, и чем больше он метался, тем сильнее запутывался, тем сильнее затуманивался его рассудок... Если бы хоть кто-нибудь поговорил с ним, если бы хоть кто-нибудь возмутился его дикими, бессвязными высказываниями... Но нет, никто и рта не раскрыл. Все сидели как послушное стадо баранов и наблюдали, как он постепенно увязает в непроходимых дебрях своих кошмаров.

К слову сказать, было довольно трудно уследить, как он сам ориентируется — среди свистящих над головой пуль. Он упомянул как минимум девять различных стран — и все на одном дыхании. Родом он из Варшавы, его бомбили под Роттердамом, морем он добрался до Дюнкерка, его сбили под Фермопилами, он улетел на Крит, где его

подобрали рыбаки, и наконец сейчас он бороздил дебри Австралии, подъедая объедки с тарелок каннибалов. То ли он в самом деле участвовал во всех этих кровавых бедствиях, то ли просто репетировал роль для новой радиопередачи, понять было нельзя. Он использовал все до единого местоимения — личные, возвратные, притяжательные — все без разбора. То он управлял самолетом, то был солдатом, потерявшим свою часть, то флибустьером, идущим по следам побежденной армии. То он жил, питаясь мышами и селедкой, то хлестал шампанское словно Эрик фон Штрохейм. Но всегда и везде, при любом стечении обстоятельств, он был жалок и несчастен. Нет таких слов, чтобы выразить всю полноту его ничтожества и страданий, словами нельзя описать, насколько жалким он хотел предстать в наших глазах, как хотел, чтобы мы поверили и прониклись его мучениями.

Не выдержав эту лихорадочную агонию, я решил побродить по саду вокруг дома. На дорожке, ведущей в сад, я встретил уже знакомого Стрельца Умберто, который только что выскользнул из объятий горбуньи, обезображенной экземой. Мы пошли в сад, где обнаружили столик для пинг-понга. Юная пара, представившаяся братом и сестрой, предложила нам сыграть партию, разделившись на пары. Только мы начали, как на заднем крыльце возник злополучный ковбой; некоторое время он молча и угрюмо изучал нас, потом скрылся в доме. Тут выскочила невероятно загорелая дама, из которой ключом била энергия, и

458

жадно уставилась на нас. Она напоминала быка в юбке — из ноздрей вырывалось пламя, груди колыхались, как зрелые канталупы*. Первый шарик от ее удара раскололся пополам, второй улетел за изгородь, третий попал моему другу Умберто в глаз. После этого она презрительно удалилась, бросив на прощание, что предпочитает бадминтон.

Через несколько секунд вышел Джеральд и попросил остаться на обед. «Оформитель интерьеров самолично готовит для нас спагетти», — сказал Джеральд.

— Не вздумайте сбежать, — предупредил он, притворно грозя нам пальцем.

Мы хором отказались от его приглашения. (Неужели он не видит, что мы умираем от скуки?)

— Вы, что, не любите спагетти? Они не достаточно хороши для вас, да? — Джеральд стал похож на избалованного ребенка, у которого отняли любимую игрушку.

— Может, выпьем немного вина? — предложил я в надежде, что он поймет намек и скажет, что уже готовят коктейли.

— Не волнуйтесь. Вы, Козероги, чертовски практичны. Конечно, у нас найдется что-нибудь для вас выпить.

— А что именно? — поинтересовался Умберто, у которого за весь день изрядно пересохло в горле.

— Ш-ш-ш, тише! Играйте в пинг-понг. Где ваши манеры? — ужаснулся Джеральд.

— Но я умираю от жажды, — продолжал настаивать Умберто.

— Зайдите в дом, я дам вам стакан холодной воды. Вам станет гораздо лучше. Вы слишком взволнованы. Кроме того, вам следует беречь свою печень. Вино для вас яд.

— Тогда предложите мне что-нибудь взамен вина, — потребовал Умберто, твердо вознамеревшись выдавить из хозяина хоть каплю алкоголя.

— Опомнитесь, Стрелец! Извольте вести себя, как джентльмен. Здесь вам не ночлежка какого-нибудь Бэрримора. Идите проветритесь и продолжайте вашу игру. Я пришлю вам очаровательную девушку, она сыграет с вами пару партий. — С этими словами он развернулся и просочился в дверь.

— Как вам это нравится? — взорвался Умберто, отшвыривая ракетку в сторону и натягивая пиджак. — В таком случае я сам найду себе что-нибудь выпить. — Он осмотрелся по сторонам, надеясь, что кто-нибудь составит ему компанию. Брат восхитительной Лео согласился сопровождать его.

* Сорт дыни.

459

— Только не долго! — произнесла жена Умберто. Умберто внезапно вспомнил, что забыл что-то важное. Он подошел к жене и спросил, где ее сумочка.

— Мне нужно немного мелочи. — Порывшись, он выудил оттуда пару чеков.

— Значит, мы не увидим его несколько часов, — заметила его жена.

Не успели они отойти, как появилась обещанная «очаровашка» лет шестнадцати, застенчивая, неуклюжая, усыпанная юношескими прыщами, с морковно-рыжими волосами. Джеральд высунул голову и ободряюще кивнул. Но оказалось, что у всех одновременно пропало желание продолжать игру. Девочка чуть не плакала. Но в этот момент вновь появился бык в юбке; рванувшись к столу, она схватила ракетку.

— Я сыграю с тобой, — сказала она прыщавой красотке, и над головой последней со свистом пронесся шарик.

— Круто... — пробормотал бык в юбке, в нетерпении хлопая себя ракеткой по бедрам,

пока юная разиня ползала на карачках среди розовых кустов в поисках шарика.

Мы сели на крыльцо, наблюдая за этой парой. Сестра Лео с золотыми искорками в глазах с увлечением делилась впечатлениями от австралийских дюн. Она призналась, что приехала в Калифорнию, чтобы быть поближе к брату, чья воинская часть базируется неподалеку. Она устроилась на работу в магазин, в кондитерский отдел, где продает сладости.

— Только бы Родни не напился, — пробормотала она. — Ему много не надо. Умберто не станет спаивать его, как вы думаете?

Мы уверили ее, что ее брат в хороших руках.

— А то влипнет в какую-нибудь историю. Пьяный, он готов приставать к кому угодно. А вокруг столько всякой заразы, вы понимаете, о чем я говорю. Это одна из причин, по которой я стараюсь не оставлять его одного. Ладно, если бы он нашел себе приличную девушку из хорошей семьи, а то все эти женщины... Конечно, все мальчишки иногда цепляют какую-нибудь гадость... Родни не очень любил сидеть дома. Но мы с ним всегда отлично ладили... — Тут она посмотрела на меня и воскликнула:

— Вы улыбаетесь... Я глупости говорю, глупости?

— Что вы, напротив. Меня очень тронула ваша история.

— Тронула? Что вы хотите сказать? Думаете, Родни неженка?

— Я ничего не думаю о Родни.

460

— Вы думаете, что что-то не в порядке со мной.

— Я вообще не думаю, что что-то не в порядке...

— Вы, наверное, решили, что я влюблена в него, да? — Это предположение развеселило ее. — Что ж, если хотите знать правду, я действительно влюблена в него. Не будь он моим братом, я вышла бы за него замуж. А вы?

— Не знаю, — отозвался я. — Мне никогда не доводилось быть сестрой.

На заднем крыльце показалась женщина. Она выбросила мусор в помойное ведро. Странно, она была не похожа на кухарку — у ее был слишком одухотворенный

вид.

— Не простудитесь, — предупредила она. — Здесь очень коварные ночи. Обед скоро будет готов. — Она одарила нас материнской улыбкой, постояла минутку, придерживая руками опущенную матку, и скрылась в доме.

— Кто это? — удивился я.

— Моя мама, — ответила мисс Лео. — Правда, милая?

— В самом деле, — меня удивило, что ее мать прислуживает Джеральду, выполняя грязную работу.

— Она квакерша. Кстати, можете звать меня просто Кэрол. Это мое имя. Мама не верит в астрологию, но она любит Джеральда. Она считает его беспомощным.

— А вы тоже квакерша?

— Нет, я неверующая. Я простая провинциалка. Весьма недалекая.

— Вы мне не кажетесь недалекой.

— Ну может быть, не так уж чтобы совсем... Но все равно...

— С чего вы взяли?

— Я прислушиваюсь к разговорам других. Я знаю, какое впечатление производят мои слова, когда я открываю рот. Видите ли, у меня простые, банальные мысли. Большинство людей так сложны для меня. Я слушаю их, но не понимаю, о чем они говорят.

— Это звучит в высшей степени разумно, — признал я. — Скажите, вы часто видите сны? Вопрос ошарашил ее.

— Почему вы спросили? Откуда вы знаете?

— Все люди видят сны, разве вам это неизвестно?

— Да, я слышала об этом... но вы ведь не это имели в виду. Большинство забывает свои сны, не так ли? Я кивнул.

— А я нет, — неожиданно просияла Кэрол. — Я помню все до мельчайших подробностей. Мне снятся чудесные сны. Может быть, именно поэтому я больше никак не развиваю свой ум. Я вижу сны дни напролет, так же, как и

461

ночью. Это проще, мне кажется. Я предпочитаю видеть сны, нежели размышлять... понимаете, о чем я? Я притворился озадаченным.

— Конечно, вы понимаете, — продолжала она. — Можно долго-долго думать о чем-нибудь и ни до чего не додуматься. Но когда вы спите, у вас есть все — все, что душе угодно, все происходит так, как вам хочется. Наверное, это отупляет, но мне все равно. Я бы не стала ничего менять, даже если бы и могла...

— Послушайте, Кэрол, — перебил я ее, — а вы не могли бы мне рассказать свои сны. Вы можете вспомнить, например, тот, что вы видели вчера? Или позавчера?

Кэрол милостиво улыбнулась.

— Конечно, могу. Я расскажу вам тот, который мне снится постоянно... Хотя слова только портят. Я не могу описать великолепные краски, которые я вижу, или музыку, которую слышу. Даже если бы я была писателем, вряд ли я смогла бы передать их. Во всяком случае, в книжках я не смогла найти ничего похожего на мои сны. Конечно, писателей не очень интересуют сны. Они описывают жизнь или то, о чем люди думают. Наверное, они просто не видят сны, как я. Мне снится то, что никогда не произойдет... не может произойти, мне так кажется... хотя я не понимаю, почему бы и нет. Во сне все происходит так, как нам бы хотелось, чтобы это происходило. Я живу в своем воображении, поэтому со мной ничего не происходит. Я ничего по-настоящему не хочу — просто жить... жить вечно. Возможно, это звучит глупо, но это именно так. Я не понимаю, почему мы должны умирать. Люди умирают, потому что сами этого хотят, так я думаю. Я где-то читала, что жизнь — это лишь сон. Эта мысль крепко засела в моей голове. И чем больше я наблюдаю жизнь, тем более справедливым кажется мне это утверждение. Мы все живем выдуманной нами жизнью... в выдуманном нами мире.

Она умолкла и серьезно посмотрела на. меня.

— Вам не кажутся бессмыслицей мои слова? Я бы не хотела продолжать разговор, пока не почувствую, что вы меня-понимаете.

Я заверил ее, что слушаю очень внимательно, и что все, что она говорит, мне глубоко симпатично. От этих слов она расцвела и несказанно похорошела. Радужная, с поволокой, оболочка глаз вспыхнула золотистыми искорками. Она не сказала ничего, что могло показаться глупым, подумал я, ожидая продолжения.

— Я не рассказала вам об этом, о моих снах, но может быть, вы уже и сами догадались... Я часто заранее знаю,

462

что со мной произойдет. Например, прошлой ночью мне снилось, что я собираюсь на праздник, праздник в лунном свете, там я должна встретить человека, который расскажет мне странные вещи обо мне самой. Над его головой сияние. Он приехал из чужой страны, но он не иностранец. У него мягкий, успокаивающий голос; протяжная, неспешная речь — совсем, как у вас.

— Что вы ожидаете услышать о себе, Кэрол? — я опять перебил ее. — Какие странные вещи?

Она замолчала, словно подыскивая нужные слова. Потом произнесла с неподдельной

искренностью и наивностью:

— Я расскажу вам, что я имею в виду. Нет, не про мою любовь к брату — это же так естественно. Только люди с грязными мыслями считают дикостью любовь между родственниками... Я сейчас не об этом хочу рассказать. А о музыке, которую слышу, и о красках, которые вижу. В моих снах мне слышится не земная музыка, и цвета совсем не те, которые мы видим на небе или на полях. Это Изначальная Музыка, она дала начало всей той музыке, которая существует сейчас, и все теперешние цвета произошли из того, который мне снится. Когда-то они все были одним, говорил тот человек из сна. Но это было миллионы лет назад, сказал он. И когда он сказал это, мне стало ясно, что он тоже понимает. Будто мы были знакомы в другой жизни. Но из его речей мне стало ясно, что о таких вещах очень опасно распространяться на публике. Внезапно я испугалась, что если я не буду соблюдать осторожность, меня сочтут сумасшедшей и упрячут туда, где я никогда больше не увижу снов. Меня страшило не то, что я сойду с ума — а то, что, упрятав меня, они уничтожат мои сновидения, мою жизнь. Тогда этот человек сказал то, что всерьез испугало меня. Он сказал: «Ты уже безумна, милая. Тебе нечего бояться». И исчез. В следующее мгновенье я все увидела в обычных красках, только они были все перепутаны. Трава стала не зеленой, а лиловой; лошади — голубыми; мужчины и женщины — серыми, пепельно-серыми, словно духи дьявола; солнце стало черным, луна — зеленой. Тогда я поняла, что действительно сошла с ума. Я стала искать своего брата и нашла его, разглядывающим себя в зеркале. Я заглянула ему через плечо и не узнала его. Из зеркала на меня смотрел незнакомец. Я позвала его по имени, начала трясти, но он продолжал смотреть на свое отражение. Наконец до меня дошло, что он сам себя не узнает. Боже, подумала я, мы оба безумны. Хуже всего было то, что я больше не любила его. Мне

464

хотелось убежать, но я не могла, меня парализовал страх... И я проснулась.

— Едва ли можно назвать это хорошим сном, не правда, ли?

— Нет, — ответила Кэрол, — иногда так здорово увидеть все перевернутым вверх ногами. Мне никогда не забыть ни того, как прекрасна была трава, ни того, как меня поразило черное солнце... Теперь я вспоминаю, что звезды светили ярко-ярко. Они были почти над головой. Все сверкало и переливалось гораздо ярче, чем на желтом солнце. Вы замечали когда-нибудь, как прекрасно все вокруг после дождя, особенно ближе к вечеру, когда солнце садится? Представьте, звезды у вас над головой сделались в двадцать раз больше, чем мы обычно привыкли их видеть. Вы понимаете меня? Может быть, в один прекрасный день, когда Земля сойдет со своей орбиты, все станет именно так. Кто знает? Миллион лет назад земля выглядела совсем по-другому, правда? Зеленый цвет был зеленее, красный — краснее. Все было увеличено в тысячи раз — по крайней мере, мне так кажется. Некоторые говорят, что мы не видим солнце по-настоящему, только его отблеск. А настоящее солнце, оно такое яркое, что слабый человеческий глаз просто не может вынести его свет. Наши глаза мало что могут увидеть. Забавно, когда закрываешь глаза и засыпаешь, то видишь все гораздо лучше, ярче, чище, прекрасней. Что же это за глаза у нас? Где они? Если одно видение реально, то почему другое — нет? Что же реально? Мы, что, все становимся безумными во сне? А если нет, то почему бы нам не спать всегда? Или это считается ненормальным? Помните, я предупреждала вас, что я глупая. Я вижу все в розовом свете. Но у меня не получается выдумывать их. Да и ни у кого бы не получилось.

Тут вернулись Умберто и Родни с видом рассеянным и радостным. Джеральд лихорадочно суетился, навязчиво предлагая гостям попробовать спагетти. «Они отвратительны, но зато фрикадельки удались», — шепнул он мне на ухо. С тарелками в руках мы робко выстроились перед норвежкой, раздававшей сие блюдо. Все это напоминало то ли столовую, то ли солдатскую кухню. Декоратор интерьеров ходил от одного к другому с миской тертого сыра и посыпал эту свежевыданную блевотину, выдаваемую за томатный соус. Он лучился самодовольством, он так любовался собой, что забыл сам поесть. (А может, он уже был сыт...) Джеральд порхал, как ангелочек, восклицая: «Не правда ли, восхитительный вкус? Вам достались фрикадельки?» Выпорхнув у меня из-за спины, он легонько под-

465

толкнул меня локтем и неслышно прошептал: еле слышно прошелестел: «Ненавижу спагетти... Гадость!»

Эта сцена была прервана появлением очередных гостей — молоденьких существ — возможно, среди них были будущие звезды. Одного из них звали Клод, пухлощекий блондин с вьющимися волосами. Похоже, он знал всех и вся, особенно это касалось женщин, которые сюсюкали и тискали его, словно любимую игрушку.

— А я-то думал, что вечеринка уже закончилась, — извинился он за свой «пижамный» вид. Пронзительным голосом, напоминавшим козлиное блеяние, он завопил на всю

комнату:

— Джеральд! Джеральд! Ну где же ты, Джеральд? (Джеральд тем временем нырнул на кухню, чтобы скрыть свое раздражение.)

— Эй, Джеральд! Когда я наконец получу работу? Джеральд, ты слышишь меня? Когда я начну работать? Джеральд вышел с шипящей сковородкой в руках.

— Если ты не заткнешь свой поганый рот, — произнес он, угрожающе приближаясь к душке Клоду и размахивая сковородкой у него над головой, — я огрею тебя вот этой штукой!

— Но ты обещал, что я получу что-нибудь до конца месяца! — взвизгнул Клод, явно получая удовольствие от того, что поставил Джеральда в неловкое положение.

— Я не обещал этого, — возмутился Джеральд. — Я сказал, что у тебя есть все шансы. Если ты будешь упорно работать. А ты, лентяй, ждешь, когда на тебя посыплется манна небесная. Уймись и съешь немного спагетти. От тебя столько шума... — Джеральд вновь скрылся в кухне.

Клод вскочил на ноги и последовал за ним. Я слышал, как он канючил:

— Джеральдине, я сморозил глупость, да? — его голос звучал все глуше и глуше и в результате совсем стих, словно кто-то зажал ему рот ладонью.

Тем временем стол в гостиной отодвинули к стене, и какая-то молодая пара, интересная и крутая, завертелась в зажигательном ритме джиттербага. Они танцевали в одиночестве: остальные смотрели и восхищенно ахали. У миниатюрной, хорошенькой партнерши, стройной и подвижной, было лицо Нелл Бринкли, загримированной под Клару Бау. Ее ноги дергались, словно у лягушки под скальпелем. Молодой человек, лет девятнадцати был слишком хорош, чтобы его можно было описать. Слова меркли рядом с его красотой. Он был похож на фавна с дрезденского фарфора, типичное дитя Калифорнии, которому было определено стать либо эстрадным певцом, либо современным

466

Тарзаном. Клод смотрел на них с нескрываемым презрением. Он без конца теребил свои непослушные кудри и вызывающе откидывал голову назад.

К моему изумлению, Джеральд вдруг разошелся и начал приставать к жене Умберто. Он был невероятно напорист и потрясающе самоуверен. Джеральд наседал на даму, цокая каблуками, словно петух, вышедший на прогулку. Деликатность и изысканность ему с успехом заменяла поразительная гибкость и артистизм. У него были свои представления об исполнении джиттербага.

Будучи уже навеселе, он остановился перед Умберто и спросил:

— Почему вы не танцуете со своей женой? Она превосходно танцует.

Умберто редко танцевал с женой — это уже давно осталось в прошлом. Но Джеральд был настойчив.

— Нет, вы должны станцевать с ней! — воскликнул он, привлекая всеобщее внимание к Умберто.

Умберто поволокся на нетвердых ногах, с трудом отрывая их от пола и что-то бессвязно бормоча. Он проклинал Джеральда за то, что тот поставил его перед всеми в идиотское положение.

Лолита кипела от ярости, что ее никто не приглашает. Она проплыла через всю комнату, оглушительно стуча каблуками, и подошла к своему бразильцу.

— Нам пора, — прошипела она. — Отвези меня домой Не дожидаясь ответа, она схватила его за руку и потащила прочь из комнаты, весело восклицая голосом, в котором, однако, слышался яд:

— Доброй ночи! Доброй ночи всем! Доброй ночи! (Посмотрите, я покидаю вас, я, Лолита. Я презираю вас. Вы мне до смерти надоели! Я, танцовщица, удаляюсь. Я танцую только перед публикой. Когда я танцую, у всех перехватывает дыхание! Я — Лолита! Мне жаль времени, потраченного на вас...)

В ее звонком медовом голосе слышались отравленные нотки. У двери, где уже торчал Джеральд, чтобы попрощаться с ней, она остановилась, чтобы оглядеть остающихся, посмотреть на эффект, произведенный ее внезапным уходом. Никто не обращал на нее внимания. Необходимо было что-то сделать, что-то из ряда вон выходящее чтобы привлечь к себе внимание. И она громко позвала своим пронзительным, театральным, британским голосом:

— Леди Эстенброк! Прошу вас, на одну минутку! Мне надо вам кое-что сказать...

Леди Эстенброк, сидевшая в кресле, будто ее пригвоздили, с трудом поднялась на ноги. Видимо, ее никогда так

467

не звали, словно на судебное разбирательство, но волнение, охватившее ее при звуке собственного имени, сознание того, что все глаза устремлены сейчас на нее одну, пересилили возмущение и обиду, клокотавшие в ней. Она двигалась, точно корабль,

терпящий бедствие, шляпка сбилась на бок и колыхалась под нелепым углом, внушительный нос-клюв придавал ей сходство с хищной птицей.

— Моя дорогая леди Эстенброк, — Лолита говорила вроде бы приглушенным, замогильным голосом опытной чревовещательницы, который, однако, разносился по всей комнате.

— Надеюсь, вы простите меня за столь поспешное исчезновение. Обязательно приходите на генеральную репетицию, хорошо? Было ужасно приятно повидать вас. Непременно навестите меня в Рио, обещайте! Я улетаю через несколько дней. До свидания, счастливо оставаться! До свидания всем!

Она бросила в нашу сторону легкий снисходительный кивок, словно говоря: «Теперь, когда вы поняли, кто я такая, может быть, в другой раз вы будете более вежливы. Все видели леди Эстенброк, со всех ног ковыляющую ко мне? Мне стоит только пальцем шевельнуть, и весь мир будет плясать вокруг меня».

Ее эскорт, с увешанной медалями грудью, удалился, как и возник — без единого слова. Смерть на поле боя была его единственным шансом прославиться. К тому же это должно было укрепить имидж Лолиты в глазах общественного мнения. В глазах рябило от будущих заголовков первых полос газет. «Отважный бразильский летчик убит в Ливии.» Несколько строк о боевых успехах воздушного аса и длинная душещипательная история о его безутешной невесте Лолите, прославленной танцовщице, играющей главную роль в большой картине совместного производства Мицу—Вайолет—Люфтганза под названием «Роза пустыни». И, конечно, фотографии, демонстрирующие прогремевшие на весь мир бедра Лолиты. А где-нибудь в самом низу или на другой странице маленькими буквами будет «по секрету» сообщено о том, что Лолита, чье сердце навсегда разбито трагической гибелью бразильца, положила глаз на очередного лихого офицера, на этот раз — артиллериста. Их неоднократно видели вместе в отсутствие бразильца. Лолита питала слабость к высоким широкоплечим молодым людям, отличившимся в борьбе за свободу... И т. д. и т. п. до тех пор, пока рекламный отдел Мицу—Вайолет—Люфтганза не сочтет, что тема гибели

468

бразильца исчерпана до конца. Конечно, на следующем фильме не удастся кривотолков, сплетен и шушуканья по углам. А если удача по-прежнему будет сопутствовать Лолите, то артиллериста ждет та же славная участь — геройская смерть. Тогда можно будет надеяться попасть уже на двойной разворот...

Я рассеянно опустился на диван, ровно возле приземистого, словоохотливого создания, которого весь день старался избегать.

— Меня зовут Рубиоль, — пропела она, оборачиваясь и глядя на меня неприятно уплывающим взглядом. — Миссис Рубиоль...

Вместо того, чтобы представиться в ответ, я забормотал:

— Рубиоль... Рубиоль... Где-то я слышал это имя раньше. — И хотя дураку было ясно, что во всех Соединенных Штатах может быть только один такой монстр, миссис Рубиоль засветилась, задохнувшись от удовольствия.

— Вам приходилось бывать в Венеции? А Карлсбаде? — по-птичьи куковала она. — Мы с мужем жили за границей — до войны. Вы, вероятно, слышали о н е м... он очень известный изобретатель. Знаете, эти трехзубые сверла... для бурения нефтяных скважин...

Я улыбнулся.

— Единственные сверла, которые мне доводилось видеть — это в кабинете у зубного.

— У вас не технического склада ум, так? Мы-то страсть как любим всю эту технику с механикой. Время такое. Мы живем в техническом веке.

— Да, я уже это где-то слышал — отозвался я.

— Хотите сказать, что не верите в это?

— Ну что вы, верю. Только нахожу это весьма и весьма прискорбным. Я ненавижу все механическое.

— Живи вы среди нас, вы бы так не говорили. Мы ни о чем другом не говорим. Вам стоит как-нибудь пообедать с нами, вечером... Наши обеденные вечеринки пользуются большим успехом.

Я решил не прерывать ее.

— От каждого требуется какой-то вклад... новая идея... что-то, что заинтересовало бы всех...

— А как у вас кормят? —заинтересовался я. — У вас хороший повар? Меня не волнует, о чем говорят, когда еда хорошо приготовлена.

— Какой вы забавный! — хихикнула она. — Само собой, кормят прекрасно.

469

— Это замечательно. Это интересует меня больше всего. А что у вас подают? Дичь,

ростбифы, бифштексы? Я люблю хороший ростбиф, не слишком пережаренный, с кровью. Еще я люблю свежие фрукты... не эту консервированную дрянь, которую у вас подают в ресторанах. Вы можете сварить настоящий compote? Из слив... Пальчики оближешь! Значит, вы говорите, ваш муж инженер?

— Изобретатель.

— Ах, ну конечно, изобретатель. Это уже лучше. А какой он? Компанейский?

— Вам он понравится. Вы с ним чем-то похожи... Он даже говорит примерно, как вы. — Ее опять понесло. Он такая душка, когда начинает рассказывать о своих изобретениях...

— Вы когда-нибудь ели жареных утят — или фазанов? — перебил я ее.

— Конечно... Так о чем я говорила? Ах да, о моем муже. Когда мы были в Лондоне, Черчилль пригласил его...

— Черчилль? — с идиотским видом переспросил я, словно никогда не слышал этого имени.

— Ну да... Уинстон Черчилль, премьер...

— Ах да, я что-то слышал о нем.

— Эта война будет выиграна в воздухе, так говорит мой муж. Мы должны строить больше самолетов. Поэтому Черч...

— Я ничего не смыслю в самолетах... Никогда не доводилось летать, — вставил я.

— Это не имеет значения, — не растерялась миссис Рубиоль. — Я сама поднималась в воздух всего раза три или четыре. Но если...

— Давайте поговорим о воздушных шарах... Они нравятся мне куда больше. Помните Сантоса Дюмона? Направляясь в Новую Шотландию, он стартовал с верхушки Эйфелевой башни. Это, должно быть, захватывающее зрелище... Так что вы говорили о Черчилле? Простите, я перебил вас.

Миссис Рубиоль изготовилась произнести длинную впечатляющую речь о tete-a-tete ее мужа с Черчиллем.

— Я вам сейчас кое-что расскажу, — не дав ей раскрыть рта, поспешно произнес я. — Больше всего я уважаю обеды, где не скупятся на спиртное. Знаете, все расслабляются, потом возникает спор, кто-то получает удар в челюсть. Обсуждение серьезных проблем за обеденным столом плохо сказывается на пищеварении. Кстати, на ва-

470

щи обеды надо приходить в смокинге? У меня его нет... Я только хотел предупредить вас.

— Приходите в чем хотите, естественно, — миссис Рубиоль едва ли обращала внимание на мои перебивания.

— Отлично! У меня всего один костюм, тот, что на мне. Он не слишком плох, как вы считаете?

Миссис Рубиолъ благосклонно улыбнулась.

— Порой вы напоминаете мне Сомерсета Моэма, — прощебетала она. — Я познакомилась с ним на судне, возвращаясь из Италии. Такой обаятельный скромный человек! Никто, кроме меня, не знал, кто он такой. Он путешествовал инкогнито...

— Вы случайно не заметили, он косолапил?

— Косолапил? — с тупым изумлением переспросила миссис Рубиоль.

— Ну да, косолапил... Разве вы не читали его знаменитейший роман «Бремя ...

— «Бремя страсти»! — воскликнула миссис Рубиоль, счастливая тем, что хоть и неправильно, но все же вспомнила название. — Нет, не читала, но я видела фильм. Он такой мерзкий...

— Он ужасный, но не мерзкий, — отважился возразить я. — По-веселому ужасный.

— Мне совсем не понравилась Анабелл, — сказала миссис Рубиоль.

— Мне тоже. Но зато Бэтт Дэвис была совсем не плоха

— Не помню. А кого она играла? — спросила миссис Рубиоль.

— Дочь стрелочника, разве вы не помните?

— Отчего же, конечно, помню! — воскликнула миссис Рубиоль, тщетно силясь вспомнить то, чего она никогда не видела.

— Помните, она еще грохнулась с лестницы с полным подносом тарелок?

— Да, да, разумеется! Конечно, теперь я все вспомнила Она была прелестна, не правда ли? Какое это было падение!

— Так мы говорили о Черчилле.

— Да, так вот, значит... Постойте, дайте мне подумать.. О чем же я хотела вам рассказать?

— Прежде всего, скажите мне, — заметил я, — правда ли, что он никогда не вынимает изо рта сигару, ни на минуту? Говорят, он даже во сне не расстается с ней. Хотя, это не важно. Я лишь хотел узнать, в жизни он такой же дурак, каким его показывают на экране,

или нет.
471
— Что???? — заверещала миссис Рубиоль.— Черчилль дурак? Несльканно! Да он самый выдающийся человек в Англии!
— Следующий после Уайтхеда, вы хотите сказать.
— Уайтхеда?
— Ну да, человека, который вывел в свет Гертруду Стайн. Вы слышали о Гертруде Стайн? Нет? Ну тогда вы должны были слышать об Эрнесте Хемингуэе.
— Да-да, конечно, теперь припоминаю. Она была его первой женой.
— Совершенно верно, — согласился я. — Они поженились в Понт-Эйвене и развелись в Авиньоне. О Уайтхеде тогда еще никто не слышал. Ему принадлежит крылатая фраза «божественная энтропия»... или это Эддингтон сказал... Не помню точно. Неважно, в общем, году в 1919 Гертруда Стайн написала свои «Нежные бутоны», — Хемингуэй тогда еще не перебесился. Вы помните процесс Ставинского? — когда Ловенштейн прыгнул с аэроплана и упал в Северное море.. С тех пор много воды утекло...
— Я, наверное, в то время была во Флоренции, — сказала миссис Рубиоль.
— А я в Люксембурге. Вам доводилось бывать в Люксембурге, миссис Рубиоль? Нет? Прелестное место. Никогда не забуду завтрак с Великой Герцогиней. Ее нельзя назвать красавицей в общепринятом смысле, эту Великую Герцогиню. А ссора между Элеонорой Рузвельт и королевой Вильгельминой — улавливаете, о чем я? Она тогда страдала подагрой. Да, так что вы хотели сказать о Черчилле?
— Я уже не помню. Вы совершенно запутали меня, — пожаловалась миссис Рубиоль. — Вы скачете с одной темы на другую. Вы очень странный собеседник. — Она вновь было попыталась изречь что-то... — Расскажите немного о себе, — продолжила она. — Вы до сих пор ни слова о себе не произнесли.
— О, это легко исправить, — ответил я. — Что вас интересует? Я был пять раз женат, у меня трое детей, двое из них нормальные. Я зарабатываю 375 тысяч в год, много путешествую, не увлекаюсь ни охотой, ни рыбалкой, люблю животных, верю в астрологию, магию, телепатию, не делаю по утрам зарядку, медленно пережевываю пищу, обожаю землю, мух, всякую заразу, ненавижу аэропланы и автомобили, верю в рассвет и т. д. По случайному стечению обстоятельств родился 26 декабря 1891 года. Это
472
сделало меня Козерогом с двойной грыжей. Всего три года, как я обхожусь без бандажа. Вы слышали о Лурде, городе чудес? Так вот, в Лурде я навсегда расстался с бандажом. Никакого чуда не произошло. Бандаж раскололся, а я был слишком беден, чтобы купить новый. Меня воспитывали в лютеранской вере, а лютеране не верят в чудеса. В гроте Святой Бернардетты я видел множество костылей, горы костылей, но ни одного бандажа. По правде говоря, миссис Рубиоль, грыжа вовсе не так страшна, как о ней говорят. В особенности, двойная грыжа. Срабатывает закон компенсации. Я вспоминаю своего друга, который страдал от сенной лихорадки. Тут действительно есть из-за чего беспокоиться. Конечно, не поедешь в Лурд за излечением от сенной лихорадки. Дело в том, что еще не изобрели лекарства от сенной лихорадки, вам это известно?
Миссис Рубиоль покачала головой с непритворным испугом и изумлением.
— Куда проще, — продолжал я вдохновенно, — бороться с проказой. Вам никогда не доводилось бывать в колонии для прокаженных? А я как-то провел там целый день. Это в районе Крита. Я собирался посетить Кносс, посмотреть на руины, как меня очаровал один доктор с Мадагаскара. Он так увлекательно рассказывал о колонии прокаженных, что я решил поехать вместе с ним. Мы волшебно провели завтрак с прокаженными. Если не ошибаюсь, нам давали вареных омаров с окрой и луком. А какое было вино! Синее, словно чернила. Они называли его «Слезы Прокаженных». Уже потом я узнал, что почва была буквально напичкана кобальтом, магнием, слюдой. Некоторые из прокаженных были довольно состоятельными людьми... как индейцы Оклахомы. И очень жизнерадостными, хотя никогда нельзя было понять наверняка, плачут они или смеются, — так обезображены были их лица. Там был один молодой американец из Каламазу. Его отец владел фабрикой по производству бисквитов в Рей сине. Он был членом Фи-Бета-Каппа клуба Принстонского университета. Интересовался археологией. У него очень рано сгнили руки. Но он научился управлять своими культями. У него был приличный доход и он мог окружить себя комфортом. Он женился на крестьянке... такой же, как и он сам... прокаженной... Уж не знаю, как их там называют Она была турчанка и не понимала ни слова по-английски. Но это не мешало им. Они без памяти любили друг друга. Они общались на языке жестов. Короче, я там превосходно
473
провел время. Вино было превосходным. Вы никогда не пробовали омаров? Сначала резина-резиной, но к этому вкусу быстро привыкаешь. Еда там гораздо вкуснее, чем,

например, в Атланте. Я как-то ел там однажды... У меня чуть не взорвались внутренности. А как вы понимаете, заключенные едят хуже посетителей... Атланта — это настоящая помойка. Кажется, нам давали жареную мамалыгу и свиной жир. На это достаточно было только посмотреть, и желудок взрывался. А кофе! Уму непостижимо! Не знаю, как вы, а я считаю, что кофе должен быть черным. Он должен быть чуть жирным... маслянистым таким. Они говорят, что все зависит от сушилки для кофе, то есть жаровни.

Миссис Рубиоль не имела ничего против сигареты. (Мне показалось, что она лихорадочно озирается в поисках другого собеседника.)

— Моя дорогая миссис Рубиоль, — продолжал я, поднося ей зажигалку и чуть не опалив ей губы. — Мне было весьма приятно побеседовать с вами. Наша беседа доставила мне огромное наслаждение. Вы не знаете, который час? На прошлой неделе я заложил свои часы.

— Боюсь, мне пора, — поспешно произнесла миссис Рубиоль, взглянув на часы.

— Ради бога, не уходите, — взмолился я. — Вы не представляете, как я счастлив общаться с вами. Вы начали говорить о Черчилле, но я грубейшим, возмутительным образом перебил вас...

Миссис Рубиоль, несколько смягчившись, вновь скорчила гримаску...

— Перед тем, как вы начнете, — сказал я, приятно удивившись легкой судороге, исказившей ее лицо, — должен сказать одну вещь. О Уайтхеде. Я недавно упоминал о нем. Так вот, о теории «божественной энтропии». Энтропия — значит остановка ... как у часов. Идея заключается в том, что со временем, или, как говорят физики, с течением времени, все имеет тенденцию останавливаться. Вопрос вот в чем. Что будет, если наша вселенная замедлит свой ход — и вовсе остановится? Вы никогда не задумывались над этим? А в этом нет ничего невозможного. Конечно, Спиноза давным-давно сформулировал свою теорию космологического часового механизма. Из данного пантеизма логически вытекает то, что в один прекрасный день все кончится, так повелел Господь. Греки пришли к тому же выводу лет за пятьсот до Рождества Христова.

474

Они даже вывели идею извечного обновления, а это на порядок выше теории Уайтхеда. Вы наверняка сталкивались с этой идеей. Кажется, она встречается в «Вагнеровском деле». А может еще где-то... Как бы то ни было, Уайтхед, будучи англичанином, принадлежал к правящей верхушке, само собой скептически относился к романтическим идеям девятнадцатого века. Его собственные теории, принципы, разработанные в лаборатории, следовали sui generis над теориями Дарвина и Хаксли. Говорят, что несмотря на строгие традиции, которые не давали ему развернуться, в его метафизике ясно прослеживается влияние Гекеля, — не Гегеля, прошу не путать — которого в свое время называли Кромвелем морфологии. Резюмируя вышесказанное, — с единственной целью, — освежить вашу память... — Я проницательно взглянул на нее, от моего взгляда ее опять передернуло. Я перепугался, что ее вот-вот хватит удар. Я не представлял, о чем говорить дальше, в моей голове не было ни единой мысли. Я просто открыл рот и не раздумывая стал продолжать...

— Всегда существовало две школы мысли, как вы знаете, — о физической природе вселенной. Я мог бы вернуть вас к атомической теории Эмпедокла, для пущей достоверности, но это только уведет нас в сторону от основной проблемы... Я пытаюсь донести до вас, миссис Рубиоль, вот что: когда Гертруда Стайн услышала звон гонга и объявила профессора Альберта Уайтхеда гением, она положила начало полемике, последствия которой будут расхлебывать еще не одну тысячу лет. Повторяю, профессор Уайтхед размышлял над вот какой проблемой: может быть, вселенная — это машина, которая, как и все в мире, замедляет ход, а это влечет за собой в свою очередь неизбежное угасание жизни повсеместно, и не только жизни, но и любого движения, даже движения вселенной. Или в этой вселенной все же незримо присутствует принцип восстановления? Если верно последнее, тогда Смерть теряет свое значение, и все наши метафизические доктрины — сплошная евхаристика и эсхатология. Но я не хочу морочить вам голову этими эпистемологическими тонкостями. В последние тридцать лет наметился сдвиг в направлении, указанном Св. Фомой Аквинским. Рассуждая диалектически, здесь больше не о чем спорить. Мы выбрались на твердую почву... terra firma по Лонгину. Отсюда и растущий интерес к циклическим теориям... доказательство споров, возникших вокруг прохождения через меридиан Плутона, Неп-

475

туна и Урана. Не подумайте, что я детально изучал все эти теории и открытия, ... вовсе нет! Я только хочу отметить, что по странному пространственному параллелелизму, теории, развиваемые в одной области, например в астрофизике, удивительным образом отражаются в остальных сферах, сферах, на первый взгляд, абсолютно не связанных, взять например, геомансию и гидродинамику. Вы тут упомянули аэроплан, его

решающее значение на завершающем этапе этой войны. Все верно. И все же, без точных знаний метеорологических факторов Летающая Крепость превратится в помеху в развитии умелой, подготовленной воздушной армады. Летающая Крепость, миссис Рубиоль, чтобы вам стало ясно, имеет такое же отношение к механической птице будущего, как динозавр к геликоптеру. Покорение стратосферы — это всего лишь ступенька в развитии авиации. Мы лишь подражаем птицам. Чтобы быть более точным, — хищным птицам. Мы создаем воздушных динозавров, полагая испугать полевую мышь. Но нам остается только размышлять о древнем происхождении тараканов, чтобы дать вам наиболее абсурдный пример, чтобы убедиться в том, насколько неэффективно было маниакальное развитие строения скелета у динозавров. Муравья никогда не удастся запутать до смерти, равно, как и кузнечика. Они с нами и в наши дни, поскольку они были с pithecantropus erectus. А где теперь те динозавры, которые странствовали по первобытным степям? Замерзли в тундрах Арктики, как вам известно...

Дослушав до этих слов, миссис Рубиоль внезапно начала по-настоящему трястись. Проследив направление, которое указывал ее нос, ставший голубоватым, словно брюшко кобры, в тусклом свете гостиной, мои глаза увидели нечто, похожее на страшный сон. «Наша прелесть» Клод, сидя на коленях у Джеральда, вливал по глоточку драгоценный элексир в пересохшую глотку Джеральда. Джеральд тем временем играл с золотыми кудрями Клода. Миссис Рубиоль сделала вид, будто ничего не заметила. Она достала маленькое зеркальце и начала усердно припудривать нос.

Из смежной комнаты неожиданно показался Умберто. В одной руке он держал бутылку виски, в другой пустой бокал. Раскланиваясь во все стороны, он нежно всем улыбался, словно благословляя нас.

— Кто это? — пролепетала миссис Рубиоль, силясь вспомнить, где она видела этого человека.

476

— Как же, неужели вы забыли? — удивился я. — Мы виделись с ним в доме профессора Шенберга прошлой осенью. Умберто — помощник гинеколога в санатории для шизофреников в Новой Каледонии.

— Выпить хотите? — предложил Умберто, уставившись в немом изумлении на миссис Рубиоль.

— Конечно, хочет. Дайте сюда бутылку. — Я поднялся, схватил бутылку и прижал ее к губам миссис Рубиоль. Дрожа и задыхаясь, совершенно не соображая, что ей делать, миссис Рубиоль сделала несколько больших глотков и в горле у нее забулькало. Тогда я приложился к бутылке сам и тоже проглотил изрядно.

— Дело принимает интересный оборот, — заметил я. — Вот теперь мы наконец-то можем усесться где-нибудь и спокойно без помех, удобно устроившись, уютно поболтать, вам не кажется?

Умберто настороженно прислушивался, навострив ушки на макушке. В одной руке он по-прежнему держал пустой бокал, другая рука тщетно шарила воздух в поисках бутылки. Казалось, он забыл, что мы забрали ее. Казалось, у него онемели пальцы, свободной рукой он поднял воротник пальто пиджака.

Заметив на столе позади миссис Рубиоль хорошенькую маленькую вазочку, я быстро выбросил из нее уже увядшие цветы и щедрой рукой наполнил ее виски.

— Будем пить отсюда, —предложил я. — Так проще.

— Если не ошибаюсь, вы Рыба, — проговорил Умберто, яростно раскачиваясь над миссис Рубиоль. — Я вижу это по вашим глазам. Не говорите мне, когда вы родились, скажите только дату...

— Он имеет в виду место... широту и долготу. Назовите заодно и азимут; ему будет проще.

— Минутку, минутку, — вмешался Умберто. — Не сбивайте ее с толку.

— Сбиваю? Ничто не собьет с толку нашу миссис Рубиоль. Я прав, миссис Рубиоль?

— Да, — пролепетала она.

Я поднес вазу к ее губам и влил в нее полчашки виски. В столовой Джеральд и Клод продолжали кормление из клювика в клювик. Казалось, они забыли обо всем на свете. В жутковатом, неестественном свете, слившиеся, как сиамские близнецы, они мне живо напомнили акварель, которую я недавно нарисовал. Она так и называлась: «Молодожены».

477

— Вы что-то хотели сказать, — напомнил я, глядя в упор на Умберто, который описывал круги вокруг своей оси и с замороженным изумлением таращился на «молодоженов».

— М-да, — ответствовал Умберто, медленно поворачиваясь в мою сторону, но не в силах отвести глаз от запретного зрелища. — Я хотел спросить, не дадите ли вы мне немного выпить.

— Сейчас я вам налью.

— Куда? — спросил он, глядя в дальний угол комнаты, будто там стояла чистая красивая плевательница, в которой было припрятано охлажденное спиртное.

— Интересно, — продолжал он, — куда запропастилась моя жена. Надеюсь, она не забрала машину. — Он выжидательно протянул свободную руку, словно был уверен, что бутылка вернется в исходное положение сама собой. Это напоминало замедленную съемку фокусника в индийских клубах.

— Ваша жена давно уехала, — сказал я. — С авиатором.

— В Южную Америку? Да она рехнулась! — Он сделал несколько нетвердых шагов по направлению к бутылке.

— Вам не кажется, что надо было бы спросить миссис Рубиоль, не хочет ли она тоже выпить? — намекнул я. Он замер, как вкопанный.

— Выпить? Да она уже и так вылакала не меньше галлона. Или у меня глюки?

— Дорогой друг, да она еще и наперстка не выпила. Она лишь понюхала, вот и все. Дайте-ка мне ваш стакан. Пусть она хоть попробует.

Он машинально протянул бокал. Не успел я его схватить, как он выронил его из рук и, развернувшись на каблуках, шатаясь, побрел на кухню.

— В этом доме должны быть еще стаканы, — хрипло пробормотал он, рассекая столовую, словно она была окутана густым туманом.

— Это ужасно, ужасно, — раздался голос Джеральда. — Стрельцов постоянно мучает жажда. — Пауза. Потом, резко, словно выжившая из ума, раскудахтавшаяся наседка:

— Эй вы, только не переверните там все вверх дном, вы, мелкий пакостник! Стаканы на верхней полке, слева, у стенки. Бестолковый вы стрелок. От этих стрельцов одни неприятности... — Опять тишина. — Между прочим, сей-

478

час полтретьего ночи. А вечер закончился в полночь. Золушка сегодня уже не появится.

— Что такое? — заволновался Умберто, выходя из кухни с полным подносом стаканов.

— Я сказал, что вечеринка давным-давно закончилась. Но вы такая эксклюзивная штучка, что мы сделали для вас исключение — и для ваших друзей, там, в другой комнате. Особенно этот грязный писателишка, ваш приятель. Это самый странный Козерог, какого я только встречал в жизни. Если бы он не был человеком, я бы решил, что он пиявка.

Миссис Рубиоль с немым ужасом посмотрела на меня.

— Как вы думаете, он собирается выставить нас? — вопрошали ее глаза.

— Моя дорогая миссис Рубиоль, — сказал я рассудительно, — он не осмелится выставить нас — это сильно подорвет репутацию этого дома.

— Не хотите ли вы сказать, что выпили эту вазу до дна?

Я буквально чувствовал, как ее бьет нервная дрожь, когда она шатаясь вставала на ноги.

— Сядьте, — невежливо остановил ее Умберто, толкая ее обратно. Он потянулся за бутылкой, вернее туда, где он думал, находится бутылка, и начал разливать так, словно у него на самом деле что-то было в руках. — Сначала надо выпить, — промурлыкал он.

На подносе стояло пять стаканов. Пустых.

— А где остальные? — спросил я.

— Вам мало? Разве этого не достаточно? — Он пошарил под кушеткой, ища бутылку.

— Мало чего? — спросил я. — Я спрашиваю про людей.

— А я пытаюсь найти бутылку. Остальные стаканы на полке, — упрямо ответил Умберто.

— Почему вы не идете домой? — закричал Джеральд.

— Кажется, что нам действительно следует уйти, — сказала миссис Рубиоль, не делая попытки подняться.

Умберто уже наполовину залез под кушетку. Бутылка стояла на полу рядом с миссис Рубиоль.

— Как вы думаете, что он ищет? — спросила она. С отсутствующим видом она потягивала из вазы вино маленькими глотками.

— Выключите свет, когда будете уходить, — крикнул

479

Джеральд. — И непременно заберите с собой Стрельца. Я не собираюсь отвечать за него.

Умберто пытался встать на ноги — с кушеткой на спине и миссис Рубиоль на кушетке. В смятении миссис Рубиоль пролила немного виски Умберто на брюки.

— Кто это писает на меня? — завопил он, совершая какие-то невероятные ухищрения,

пытаясь освободиться от кушетки.

— Если кто-то писает, — подал голос Джеральд, — то это наверняка этот козел Козерог.

Миссис Рубиоль вцепилась в спинку кушетки, словно моряк, чудом выбравшийся из кораблекрушения.

— Лежите спокойно, Умберто, — сказал я, — я вытащу вас.

— Что это на меня упало? — жалобно заныл Умберто. — Какой бардак! — Он ощупал свой зад, думая, уж не приснилось ли ему, что он промок. — Поскольку я не ходил по-большому ... Ха-ха! Кака! Чудесно! — хихикнул он.

Миссис Рубиоль очень рассмешили последние слова. Она издала какие-то кудахтающие звуки и начала задыхаться от смеха.

— Если вы отправитесь спать, все до одного, я не буду возражать! — прокричал Джеральд. — У вас нет чувства собственности? Ни минуты нельзя побыть одному!

Умберто наконец высвободился; он лежал распластавшись на полу и сопел как рыба-кит, вытащенная из воды. Тут в поле его зрения попала бутылка. Он буквально на глазах расплющился, как по волшебству, и потянулся к ней руками, словно это был спасательный крут. Манипулируя таким образом, он обхватил колени миссис Рубиоль.

— Пожалуйста... — прошептала она растерянно.

— Пожалуйста, иди к черту! — ответил Умберто, — сейчас моя очередь!

— Поосторожней с ковром, — заорал Джеральд. — Надеюсь, это не тот козел, у которого были сложности. Туалет наверху.

— Ну это уж слишком, — сказала миссис Рубиоль, — я не привыкла к такому обращению. — Она замолкла с обезумевшим видом. Глядя на меня в упор, она сказала:

— Отвезите меня кто-нибудь домой, пожалуйста.

— О чем разговор! — ответил я. — Умберто отвезет вас на машине домой.

— Но разве он может вести машину — в таком состоянии?

480

— Он может вести в любом состоянии, главное, чтобы под руками был руль. '

— Но может быть, безопаснее будет, если меня отвезете вы?

— Я не умею водить машину. Хотя могу поучиться, — быстро добавил я, — если вы покажете мне, как работает эта проклятая штука.

— Почему бы вам не поехать самой? — осведомился Умберто, вливая в себя еще глоток.

— Я бы давно это сделала, — ответила миссис Рубиоль, но у меня вместо ноги протез.

— Что??? — опешил Умберто. —Вы хотите сказать, что...

Но миссис Рубиоль не дали возможности объяснить, что она хотела сказать.

— Позвоните в полицию! — загудел Джеральд. — Они отвезут вас за бесплатно.

— Отличная мысль! Звоните в полицию, — откликнулся Умберто.

«Неплохая идея!» — подумал я про себя. Я уже собирался спросить, где телефон, но Джеральд опередил меня.

— Друзья мои, он в комнате... Только осторожно, не уроните лампу. — Голос звучал устало.

— А нас не арестуют? — услышал я миссис Рубиоль, идя в соседнюю комнату.

Сняв трубку, я вдруг сообразил, что не знаю, как вызывают полицию.

— Как туда звонить?

— Просто вопите ПОЛИЦИЯ! — посоветовал Умберто. — Вас услышат.

Я вызвал телефонистку и попросил соединить меня с полицией.

— Что-нибудь случилось? — спросила она.

— Нет, мне просто нужно поговорить с дежурным офицером.

Через секунду в трубке раздался хриплый заспанный голос.

— Слушаю!

— Алло! Добрый вечер! — сказал я. Никакого ответа. — Алло, алло, вы слышите меня?— закричал я. После долгого молчания тот же хриплый голос осведомился:

— Слушаю, говорите, что случилось? Умер кто-нибудь?

— Нет, никто не умер.

481

—Говорите же! Вы что, с перепугу язык проглотили?

— Нет, со мной все в порядке.

— Рассказывайте! Облегчите душу! Что случилось, несчастный случай?

— Да нет же, все в порядке. Только...

— Что значит в порядке? А что вы тогда звоните? В чем дело?

— Минутку. Давайте я все объясню...

— Хорошо, хорошо, продолжайте, объясняйте. Но только в темпе. Да поживей! Я не

могу всю ночь сидеть на телефоне.

— Значит так... Дело вот в чем... — начал я.

— Послушайте, давайте без предисловий. Что случилось? Кто пострадал? На вас напали?

— Нет, нет, ничего подобного. Послушайте, мы только хотели узнать...

— Ах вот как! Очень умный, да? Время хотел спросить, да?

— Нет, честное слово. Я не обманываю вас. Я серьезно.

— В таком случае говорите. Если вы не можете говорить, я сейчас пришлю за вами полицейский фургон.

— Фургон? Нет, пожалуйста, не надо фургон. Не могли бы вы прислать машину... Ну, обычную полицейскую машину с радио и всем остальным...

— И с мягкими сиденьями? Я вас понял. Уверен, мы сможем выслать прелестную маленькую машинку. Вам «паккард» или «роллс-ройс»?

— Послушайте, шеф...

— Я вам не шеф! А теперь для разнообразия вы послушайте меня. Заткните свою пасть, вы слышите меня? Сколько вас там?

— Нас тут трое, шеф. Мы думали...

— Трое, говорите? Превосходно! Насколько я понимаю, среди вас дама. Она растянула ногу, правильно? А теперь слушайте. Вы хотите спать по ночам? И вы не хотите, чтобы на вас надели браслеты, да? Вот что я вам скажу! Подите в ванную... положите туда мягкую подушку... и не забудьте одеяла! Теперь все трое полезайте в ванну — слышите меня? — и чтоб я вас не слышал. Эй! Когда вы там удобно устроитесь, включите холодную воду и утопитесь!

Отбой! В трубке раздались короткие гудки.

— Ну что? — проорал Джеральд. — Приедут?

482

— Не думаю. Нам посоветовали забраться в ванну и утопиться.

— А вам не приходило в голову отправиться домой пешком? По-моему небольшая прогулка вам не повредит. Козероги довольно активные существа. — С этими словами он появился из темноты.

— Но у миссис Рубиоль протез, — взмолился я.

— Ничего, допрыгает.

Миссис Рубиоль была оскорблена до глубины души. Она поднялась с неожиданной резвостью и пошла к двери.

— Не отпускайте ее, — закричал Умберто. — Я провожу ее.

— Прекрасно, — проорал Джеральд. — Будьте паинькой, проводите ее и возьмите с полки пирожок. Да не забудьте прихватить с собой этого козла.

Он посмотрел на меня с неприкрытой угрозой во взгляде. Клод в пижаме бочком прокрался к нам. Миссис Рубиоль отвернулась.

У меня возникло предчувствие, что нас сейчас возьмут за шиворот и вышвырнут.

— Минутку, — сказал Умберто, так и не выпустив из рук бутылку. Он тоскливо посмотрел на миссис Рубиоль

— Ну, что еще? — поторопил Джеральд, подходя ближе.

— Но миссис Рубиоль... — запинаясь, начал Умберто. И с болью и изумлением уставился на ее ногу.

— Я тут подумал, — продолжал он, не зная, как сформулировать свою мысль. — Мне пришло в голову, что раз уж мы собрались на прогулку, то если она снимет... то есть, я хочу сказать, что могли бы... — Он беспомощно взмахнул руками. Бутылка выскользнула на пол.

Сидя на полу, не зная, как выразить словами свое беспокойство, Умберто импульсивно пополз к миссис Рубиоль Неожиданно, оказавшись от нее в непосредственной близости, он обхватил ее колени руками.

— Прошу простить, я только хотел узнать, какая... — пробормотал он.

Миссис Рубиоль подняла здоровую ногу и с силой отпихнула Умберто. Он откатился к кривоногой, шаткой этажерке, увлекая за собой мраморную статуэтку. К счастью, она упала на ковер; только рука отломалась у локтя.

— Уберите его отсюда, пока он не перевернул весь дом! — прошипел Джеральд. С этими словами он склонился над распростертой фигурой Умберто и с помощью Клода кое-как усадил его.

483

— Бог мой, да он сделан из резины. — Он чуть не плакал от злости.

Умберто соскользнул на пол.

— Ему надо выпить, — тихо подсказал я.

— Дайте ему бутылку и пусть выкатывается отсюда. Тут вам не винный завод. Втроем

мы стали пытаться поставить Умберто на ноги. Миссис Рубиоль любезно забрала у него из рук бутылку и поднесла ее ко- рту Умберто.

— Есть хочу, — слабо пробормотал он.

— Кажется, он хочет сэндвич, — перевел я, не повышая голоса.

— И сигарету, — прошептал Умберто. — Маленькую затяжку.

—Драконовы яйца! — простонал Клод. — Пойду погрею спагетти.

—Не хочу спагетти, — запротестовал Умберто. — Только фрикадельки.

— Нет, ты будешь есть спагетти, — сказал Джеральд. — Я же ясно сказал, что здесь не винный завод. И не закусочная. Это скорей зверинец.

— Уже поздно, — подал голос Умберто. — Если только миссис Рубиоль...

— Забудьте про миссис Рубиоль, — огрызнулся Джеральд. — Я сам провожу ее домой.

— Какой вы милый! — пробормотал Умберто. Он секунду поразмышлял. — Интересно, почему вы этого не сделали с самого начала? Почему вам это сразу не пришло в голову?

— Ш-ш-ш. Заткнитесь! Вы, Стрельцы, как малые дети. Неожиданно раздался звонок в дверь. Наверняка, полиция.

Джеральд вдруг превратился в электрического угря. Он в мгновение ока сгреб Умберто и усадил на кушетку. Бутылку ногой отбросили под кушетку.

— Теперь слушай внимательно, Козерог, — произнес он, хватая меня за лацканы пиджака. — Быстро думай! Шевели мозгами. Это твой дом и это ты устраивал эту пирушку. Ты это я. Понял? Ситуация под контролем. Кто-то звонил, но он уже ушел. Я присмотрю за Клодом. Иди открывай, — и он исчез словно вспышка молнии.

Я открыл дверь и увидел человека в строгом костюме. Он не спешил врываться и снимать у нас отпечатки пальцев.

— Заходите, — сказал я, стараясь держаться как можно естественней, чтобы все поверили, что это мой дом и что сейчас на дворе белый день.

484

— Где труп? — первое, что я услышал от него.

— Здесь нет никакого трупа. Мы все живы.

— Я вижу.

— Позвольте, я все объясню... — я начал заикаться.

— Успокойтесь, — мягко сказал он. — Все о'кей. Не возражаете, я присяду.

Изо рта у него шел неприятный запах.

— Это ваш брат? — спросил он, кивая на Умберто.

— Нет, постоялец.

— Трепач? Подходящее имя. Простите, вы не предложите мне выпить? Я увидел свет и подумал...

— Дайте ему выпить, — сказал Умберто. — И мне тоже. Не надо мне никаких спагетти.

— Спагетти? — переспросил незнакомец. — Я просил только выпить.

— Вы приехали на машине? — спросил Умберто.

— Нет, — последовал ответ. После короткой паузы он почтительно спросил:

— Тело наверху?

— Здесь нет никакого тела.

— Странно, — удивился посетитель.,— Меня послали забрать тело. — Он был невозмутим, как скала.

— Кто вы? — спросил я. — Кто вас послал?

— А разве вы не вызывали нас? — удивился человечек.

— Никто вас не вызывал.

— Должно быть я перепутал адрес. А вы уверены, что здесь никто не умер, примерно с час назад?

— Дайте ему выпить, — сказал Умберто, пошатываясь. — Я хочу послушать, что он скажет.

— Кто просил вас приехать? — вставил я. — Кто вы?

— Он прав, дайте мне выпить, и я все вам расскажу. Мы всегда сперва принимаем по маленькой.

— Кто это мы? — поинтересовался Умберто, трезвея просто на глазах. — Ну дайте же ему кто-нибудь выпить. И не забудьте про меня.

— А вы астролог? — осведомился человечек.

— Д-да. — Интересно, что он еще спросит.

— Люди говорят вам, когда они родились, да? Но никто никогда не сможет сказать вам, когда умрет, так?

— Здесь никто не умирал. — Его руки пытались нашарить стакан.

— Успокойтесь, пожалуйста. Я верю вам. Но мы не приходим, пока не наступает окоченение.

— Опять это «мы». Кто вы, наконец? Чем вы занимаетесь? — Умберто почти кричал.

485

— Я одеваю их, — вежливо улыбнувшись, ответил человечек.

— А другие, они что делают?

— Они сидят вокруг и весело ждут.

— Чего? — спросил я.

— Ждут клиентов.

Миссис Рубиоль наконец извлекла бутылку из-под кушетки. Я подумал, что должен представить ее.

— Это миссис Рубиоль. Еще одно тело... еще теплое.

— Вы сыщик? — спросила она, протягивая руку.

— Сыщик? С чего вы взяли? Пауза.

. — Миледи, я всего навсего гробовщик. Кто-то позвонил и попросил нас приехать. Я надел шляпу и направился сюда. Мы тут всего в двух кварталах от вас. — Он достал бумажник, вытащил визитную карточку и протянул ей. — МакАллистер и компания. Это мы. Никакого шума, никакой суеты.

— О боже! — воскликнул Умберто. — Гробовщик, ни больше, ни меньше. Нет, я должен съесть фрикадельку. Спотыкаясь, он пошел в столовую. — Эй, — раздался его вопль. — Что происходит? Куда подевались эти субъекты?

Я пошел на кухню. Они словно испарились. Я открыл заднюю дверь и выглянул на улицу. Тишина.

— Удрали, — объявил я. — Давайте заглянем в кладовую и посмотрим, что осталось там. Я бы не отказался от яичницы с ветчиной.

— И я, — присоединился Умберто. — Яичница с ветчиной. — Он замолчал, словно обдумывая что-то. — Как вы думаете, там не завалялась где-нибудь еще одна бутылка?

— Наверняка, завалялась, — заверил я его. — Все перевернем, но найдем. Здесь должна быть золотая жила. Попросите гробовщика вам помочь.

МУДРОСТЬ СЕРДЦА (The Wisdom of the Heart)

ЭССЕ

The Wisdom of the Heart

Никогда не забуду тот вечер, когда мне в руки попал «Воинственный танец». Я сидел в кафе («Букет Алезии»), когда вошел мой хороший приятель Дейвид Эдгар и навязал мне эту книгу. Я тогда жил, можно сказать, по соседству, на «Вилла Сера». Вскоре после этого я отправился в Лондон и там встретился с д-ром Хоу — в его кабинете на Харли стрит.

Приблизительно в то же время я познакомился с двумя другими выдающимися психоаналитиками: д-ром Отто Ранком и д-ром Рене Альенди, чьи работы произвели на меня глубокое впечатление. И примерно тогда же мне попалась первая книга Алана Уоттса «Дух дзен-буддизма».

И где-то в ту же пору я, в поисках места, откуда был бы лучше виден Юпитер, моя счастливая звезда, забрался на крышу своей студии, пришел в неописуемый восторг и, спускаясь по лестнице, оступился и рухнул вниз, вышибив дверь зеркального стекла. На другой день мой друг Морикан, о котором я написал в «Дьяволе в раю», принес мне подробное астрологическое объяснение случившегося.

Без преувеличения, интересное было время.

Каждая книга психиатра, в дополнение к философской основе его лечебной методики, в некоторой степени раскрывает суть проблемы, лицом к лицу с которой его ставит жизнь. Действительно, самый факт написания подобной книги есть с его стороны признание ложности ситуации, в которой находятся пациент и психоаналитик. В попытке посредством просвещения публики расширить сферу своего воздействия, психоаналитик косвенно сообщает нам о желании отказаться от ненужной роли целителя, которую ему навязали. Хотя фактически каждый день он повторяет пациентам ту истину, что они сами должны исцелить себя, на практике количество пациентов растет с угрожающей быстротой, так что порой целитель бывает вынужден искать другого целителя — для себя. Некоторые психиатры всего лишь такие же жалкие, такие же измученные стра-

489

хом человеческие создания, как их пациенты, которые обращаются к ним в поисках облегчения. Многие из них перепутали оправданное принятие на себя роли с самопожертвованием, с напрасным принесением себя в жертву. Вместо того, чтобы, к примеру, раскрывать тайну физического и душевного здоровья, они избирают более легкий путь, обычно имеющий разрушительные последствия, оставляя эту тайну своим

пациентам. Вместо того, чтобы просто оставаться людьми, они пытаются исцелять и обращать в свою веру, стать дарующими жизнь спасателями для того только, чтобы в конце обнаружить, что распяли самих себя. Если Христос умер на кресте, дабы проповедать идею самопожертвования, то это было сделано ради того, чтобы указать на важность этого сущностного закона жизни, а не для того, чтобы люди следовали Его примеру. «Распятие — закон жизни», — говорит Хоу, и так оно и есть, но это должно понимать символически, а не буквально.

Повсюду в своих книгах* он обращается к созерцательному, или Восточному образу жизни и, можно так же сказать, к такого же рода искусству. Искусство жизни основано на ритме: удача—неудача, прилив—отлив, свет—тьма, жизнь—смерть. С принятием жизни — хорошей и плохой, праведной и неправедной твоей и моей — во *всех* ее проявлениях, застывшая оборонительная жизнь, которую клянет большинство людей, превращается в танец, «танец жизни», по выражению Хевлока Эллиса. Истинное назначение танца — *метаморфоза.* Человек может танцевать с горя и от радости; он может танцевать просто так, безо всякой причины, как это доказала Элба Гуара. Но суть в том, что простой акт танца преображает элементы, его составляющие; танец, точно так же, как жизнь, несет в себе свой конец. Приятие этого обстоятельства, *любого* обстоятельства, рождает подъем, ритмический импульс к самовыражению. Умение расслабляться, конечно, первая вещь которой должен научиться танцовщик. Это так же первое, чем должен овладеть пациент, когда он оказывается один на один с психоаналитиком. Это первое, чему должен научиться любой человек, чтобы жить. Это чрезвычайно трудно, ибо означает самоотвержение, полное самоотвержение. Вся концепция Хоу основана на этой простой, но революционной идее полного и безусловного самоотвержения. Это религиозное мироощущение: *приятие* боли

* И Грэм Хоу «Я-субъект и Я-объект», «Вреэдя и дитя» «Воинственный танец»

490

страдания, несчастья и так далее. Это окружная дорога, которая, в конце концов, всегда оказывается самой короткой. Подобное миропонимание подразумевает усвоение жизненного опыта, самоосуществление, послушание и дисциплину: кривая временной дуги естественного развития предпочтительней быстрой, гибельной прямой. Это — путь мудрости, путь, который должен, в конечном счете, быть выбран, потому что все другие пути только подводят к нему.

Немного есть книг о мудрости — или лучше сказать, об искусстве *жить? —* которые подверглись бы столь тщательному изучению, как эти три книги. Профессиональный философ склонен смотреть на них с недоверием из-за откровенной простоты авторских умозаключений. В отличие от психоаналитика, философ-профессионал редко получает радостную возможность видеть свои теории подвергнутыми испытанию. Что касается психоаналитика, то его мысль всегда насущна, как повседневные дела. Он подвергается испытанию в каждый момент своей жизни. В данном случае мы имеем дело с человеком, для которого писать это тайное наслаждение, факт, могущий быть в высшей степени поучительным для многих писателей, тратящих часы, чтобы выдавить из себя мыслишку.

Хоу глядит на мир, который есть здесь и сейчас. Он видит его во многом таким, каким этот мир предстает пациенту, приходящему к нему за помощью. «Истина состоит в том, что мы больны, — говорит он, и добавляет: — причина *болезни в нас самих».* Если с нами что-то не так, заключает он, то это что-то не такого рода, чтобы можно было его излечить палкой или штыком. Исцеление достигается метафизическим путем, а не терапевтическим: дело не в том, чтобы обнаружить и удалить источник боли. «Это как если бы мы изменили карту самой жизни посредством изменения нашего отношения к ней», — поясняет Хоу. Это извечная умственная гимнастика, известная всем мудрецам, которая лежит в самой основе метафизики.

Жизнь, как все мы знаем, — битва, и человек, будучи частью жизни, сам есть воплощение битвы. Если он видит факт и приемлет его, он способен, невзирая на битву, изведать мир души и радоваться ему. Но чтобы прийти к такому концу, который есть начало (ибо мы еще не начинали жить!), человек должен усвоить доктрину приятия, или, что то же самое, безусловного самоотвержения, которое есть любовь. И тут я должен сказать, что, по моему мнению, автор идет дальше любых теорий жизни, какие до сих пор излагали психоаналитики; он показывает себя чем-

491

то большим, нежели врачеватель — художником жизни, человеком, способным избрать самый рискованный курс лечения: неколебимой верой. *Верой в жизнь,* позвольте тут же добавить, верой свободной и гибкой, равной всякой неотложной помощи и достаточно широкой, чтобы включить в себя смерть, так же как другие так называемые беды. Ибо при таком широком и взвешенном взгляде на жизнь, смерть уже не «последний враг» и не «конец»; если, как он подчеркивает, врачевателю и отведена роль,

то это роль «повитухи» смерти. (Читатель, желающий продлить удовольствие, может заглянуть в тибетскую «Книгу мертвых».)

Все представление о четырехмерной реальности, которое составляет метафизику Хоу, покоится на осмыслении приятия. Четвертый элемент — это Время, или говоря иначе, о чем прекрасно знал Гете, — *развитие.* Подобно тому, как семя развивается, растет в естественном ходе времени, так и мир растет, и так же умирает, и так же возрождается вновь. Это полная противоположность ходячему представлению о «прогрессе», запрягшем вместе дьявольских драконов воли, решимости, цели и борьбы — или скорее напротив, спустившем их с цепи. Прогресс, в его западном варианте, это путь напрямик, через непреодолимые препятствия, это создание себе трудностей и помех на всем .протяжении пути, а в итоге — саморазрушение Идея Хоу — это восточная идея, пришедшая к нам с искусством джиу-джитсу, где само препятствие используется для его преодоления. Этот метод столь же пригоден для одоления того, что мы называем болезнью, или смертью, или злом, как и для одоления противника. Секрет состоит в знании, что силой можно управлять, так же, как бояться ее — больше, чем что-либо другое, ее можно обращать во благо или зло, на пользу или во вред в соответствии с желанием. Человек в его настоящем полном страхов состоянии, похоже, имеет лишь единственное желание — бежать куда глаза глядят, и в этом состоянии он пребывает неизбывно как в кошмаре. Он не только отказывается признать свои страхи, хуже того, *он боится своих страхов.* Все кажется бесконечно хуже, чем есть на самом деле, говорит Хоу, «просто *потому,* что мы пытаемся убежать». Это настоящий Рай Невроза, смола страха и тревоги, в которой, пока не сделаем усилия освободиться, мы можем увязнуть навсегда. Воображать, что кто-то посторонний в образе ли психоаналитика, диктатора, Спасителя, или даже Бога, придет

492

освободить нас — чистое безумие. На всех спасательных шлюпок не хватит, и в любом случае, как указывает автор, нужнее спасательных шлюпок — маяки. Более полное, более ясное понимание, а не большее количество спасательных средств.

.У этой философии жизни, в отличие от большинства философий, берущей свои положения из жизни, а не какой-либо теории, множество поразительно разнообразных •источников. Позиция автора охватывает противоположные взгляды на мир; она достаточно широка, чтобы вместить всего Уитмена, Эмерсона, Торо, так же как даосизм, дзен-буддизм, астрологию, оккультизм и так далее. Это глубоко религиозный взгляд на жизнь, признающий «верховенство незримого». Особое место здесь отводится темной стороне жизни, всему тому, что принято считать отрицательным, пассивным, недобрым, женским, таинственным, непостигаемым. «Воинственный танец» заканчивается следующим замечанием: «в любом случае приятие лучше, даже если мы имеем дело с враждебностью нашего противника. Нет иного прогресса нежели тот, который был бы, если б мы могли примириться с ним...» Эта идея примирения, невмешательства, идея жизни в настоящем моменте, с полной отдачей, с безоговорочной верой в ход ее развития, который должен в основном всегда оставаться неведомым для нас, есть главный аспект его философии. Она за эволюцию, а равно и инволюцию, и против революции. Она обращает внимание на душевную болезнь, так же как на сон, грезу и смерть. Она не пытается устранить страх и тревогу, но стремится включить их в единое целое эмоционального бытия человека. Она не предлагает ни панацеи от наших болезней, ни блаженства на небесах: она видит, что проблемы жизни в корне неразрешимы, и милостиво приемлет этот факт. Именно в этом полном признании и приятии конфликта и парадокса мудрость Хоу совпадает со здравым смыслом. В основе тут лежат юмор, веселье, чувство игры — не мораль, но реальность. Это успокаивающая, очистительная, целительная доктрина — скорее раскрытой ладони, нежели стиснутого кулака, скорее самоотвержения, самопожертвования, нежели борьбы, завоевания, идеализма. Медленное, ритмичное движение роста она ставит выше прямого действия, коим добивались бы мнимой нереальной цели, используя скорость и напор. (Не цель ли всегда связана со средствами?) Она пытается избавиться как от врага, так и от пациента, скорее приемля

493

болезнь, нежели медицину или ее проводника; она ставит семя выше бомбы, преображение — выше решения и уникальность — выше нормы.

Кажется, все умные, и даже не умные, люди согласны с тем, что мы сейчас переживаем один из самых мрачных моментов истории. (Однако не очень осознается, что человек пережил немало подобных периодов в прошлом — и уцелел!) Есть такие, кто для собственного успокоения возлагают вину за наше положение на «врагов», кого только не причисляя к ним: церковь, образование, правительство, фашизм, коммунизм, нищету, обстоятельства и так далее. Они тщатся доказать, что «правы», а кто-то другой «не прав». Для них общество состоит в основном из тех, кто отвергает их идеи. Но

общество состоит из душевнобольных и преступников, так же как из праведников и нечестивцев. Общество — это все мы «со всеми нашими достоинствами и пороками, и представлениями о жизни», как говорит Хоу. Общество больно, едва ли кто-нибудь станет отрицать это, и в этом больном обществе существуют врачи, которые «плохо представляют себе, зачем прописывают нам лекарства, мало во что верят, кроме героической хирургии и совершенно необъяснимой способности больного выздоравливать». Служителям медицины не интересно заниматься нашим здоровьем, они ведут сражение с недугом и болезнью. Их деятельность негативна, как и деятельность других членов общества. Подобным образом не видно, чтобы политические деятели были расположены иметь дело с диктаторами-неудачниками, весьма возможно потому, что они сами диктаторы в душе... Такова картина нашего так называемого «нормального» мира, подчиняющегося закону «бесконечного регресса», по определению Хоу.

«Наука подробнейше изучает видимое, но ни во что не ставит незримое. Церковь раздирают внутренние распри, она переживает одну бесплодную ересь за другой, следуя дорогой бесконечного регресса, пока энергично служит алтарям эффективных институтов. Искусство эксплуатирует воспроизводство точных имитаций; его величайшая новация — «сюрреализм», гордящийся своей способностью избегать всяческих ограничений, налагаемых действительностью на здоровую психику. По сравнению с остальным образование более или менее свободно, но оригинальность индивидуальности здесь страдает от методов массового производства специалистов, и высшей награды удостаи-

494

вается напористый талант. Несовершенное законодательство упорно требует агрессивного отношения к агрессивному поведению, тем самым ради установления справедливости нарушая права правонарушителей. Наши развлечения механизированы, чтобы мы не могли развлекаться самостоятельно. Кто сам не умеет играть в футбол, те в болельщицком раже поощряют воплями и освистывают доблестные, но хорошо оплаченные усилия других. Кто не может ни скакать, ни рисковать, те ставят на лошадь. Кто не в силах выносить тишину, те без всяких усилий услаждают свой слух или идут в кинотеатр получить удовольствие от псевдопреимуществ синтетической киноверсии культуры нашего века. Такую систему мы называем нормальной и растим своих детей, что обходится нам так дорого, для жизни в этом безумном мире. Система грозит катастрофой, а мы ни о чем другом не думаем, как лишь бы поддержать ее, и шумно требуем мира, чтобы жить и радоваться ей. Потому что мы живем внутри этой системы, она кажется нам такой же святыней, как мы сами. Этот образ жизни беглецов от реализма, этот хваленый дворец прогресса и культуры — их никогда не должны потрясти перемены. И это нормально! Кто так сказал? И что это значит — нормально?»

«Нормальность, — говорит Хоу, — это рай для беглецов от реальности, ибо это концепция неизменности, ясная и простая». «Лучше, если мы сможем, — утверждает он, — оставаться одни и относиться вполне нормально к своей ненормальности, ничегошеньки не предпринимая, кроме того, что необходимо, чтобы быть самими собой».

Как раз этой способности оставаться в одиночестве и не чувствовать вины или беспокойства .по этому поводу, лишена средняя, нормальная личность. В ней преобладает стремление к внешней безопасности, обнаруживая себя бесконечной погоней за здоровьем, за счастьем, собственностью и тому подобным, и все же реальная безопасность невозможна, потому что никто не может защитить то, что защитить нельзя. Защитить возможно лишь воображаемое, иллюзорное, то, куда прячется душа. Кто, например, мог испытывать чувство жалости к св. Франциску оттого, что он отбросил богатые одежды и дал обет нищеты? Он, я думаю, был первым, кто просил не хлеба, но камней. Питаясь тем, что собирал нищенством, он обрел силу вершить чудеса, дарить радость, какую мало кто дарил миру, и — не последнее из проявлений его мощи — написал самый воз-

495

-вышенный и простой, самый яркий благодарственный гимн «Песнь солнцу». Приемли и радуйся! — внушает Хоу. Бытие это горение, в самом прямом смысле, и если должен быть на земле мир, он наступит тогда, когда главным станет быть, а не иметь.

Всем нам знакомо выражение: «жизнь начинается в сорок лет». Для большинства людей это справедливо, поскольку в среднем возрасте приходят ощущение и понимание того, какой срок жизни нам отпускает смерть. Смысл самоотречения, как объясняет автор, не просто в вынужденном согласии, в унизительной капитуляции перед неотвратимыми силами смерти, но напротив, в изменении ориентиров, переоценке ценностей. Именно в этот критический момент в жизни личности мужское начало уступает женскому. Это обычный процесс, о котором, похоже, заботится сама Природа.

Для пробудившегося индивида, однако, жизнь начинается *теперь, в* любой и каждый миг;

она начинается тогда, когда он понимает, что является частью грандиозного целого, и через это понимание сам обретает цельность. В познании пределов и взаимосвязей он открывает свое вечное «я», дабы с этих пор идти по жизни усмиряя душу и плоть и будучи полностью свободным. Душевное *равновесие, дисциплина, озарение —* вот ключевые слова учения Хоу о цельности, или святости, что то же самое, ибо смысл этих слов един. Здесь нет ничего существенно нового, но всем и каждому необходимо открыть это для себя наново. Как я уже говорил, с подобными мыслями встречаешься у таких поэтов и мыслителей, как Эмерсон, Торо, Уитмен, если называть только некоторые ближайшие к нам имена. В этой философии жизни китайцы воспитывались в течение тысячи лет, но, к сожалению, утратили эту философию под влиянием Запада.

То, что эта древняя философия жизни должна была быть подтверждена практикующим психоаналитиком, «врачевателем», кажется мне одновременно логичным и справедливым. Что может быть большим искушением для врачевателя, чем сыграть роль Бога — и кто лучше его знает природу и мудрость Бога? И. Грэм Хоу человек в расцвете сил, не жалующийся на здоровье, нормальный с ненормальной точки зрения, удачливый в том смысле, какой вкладывается в это слово, и более всего желающий жить своим умом. Он знает, что врачеватель прежде всего художник, а не маг или бог. Выражая публично свои взгляды, он пытается освободить людей от зависимости, которая

496

сама есть выражение болезни. Его интересует не *врачевание,* но бытие. Он пытается не лечить, но возвращать способность радоваться жизни. Его усилия направлены не на уничтожение болезни, но на то, чтобы приять ее и, усвоив, сделать одним целым со светом и здоровьем, которые есть истинное наследие человека. В нем не чувствуется усталости, потому что его философия здоровья не позволила бы ему браться за непосильную задачу. Он все делает легко, соблюдая чувство меры, взвешенно, беря от жизненного опыта ровно столько, сколько способен усвоить. Если он очень толковый психоаналитик, что признают все, даже его недоброжелатели, то это не потому, что он такой *знаток,* а потому, что он такой *человек.* Он постоянно освобождается от лишнего груза, будь это пациенты, друзья, поклонники или собственность. У него, по замечательному китайскому выражению, «живой-и-ненасытный» ум. Он удерживается против течения, не тонет и не делает напрасных усилий перегородить поток. Он очень мудрый человек, живущий в мире с собой и всем светом. Это становится ясно сразу, достаточно просто пожать ему руку.

«Не нужно, — .говорит он в конце «Воинственного танца», — болезненно воспринимать трудности, с которыми мы сталкиваемся, поскольку не так сложно понять, если попытаемся, что сами создаем их себе тем, что пытаемся изменить неизменяемое. «Ограниченный» человек так боится всего чрезмерного, но «Личность» жаждет этого;

«Ограниченному» человеку не по вкусу очень многое, с чем он сталкивается в жизни, он считает это вредным, но для «Личности» все в жизни — хлеб насущный, у него и дверь нараспашку для всех своих врагов; «Ограниченный» человек до ужаса боится, как бы не соскользнуть из света -во тьму, из видимого в невидимое, но «Личность» понимает, что это всего лишь сон или смерть, а они-то есть настоящее отдохновение; «Ограниченному» человеку необходимы «блага» или гольф, чтобы чувствовать себя хорошо, врачи или иные спасители, но «Личность» нутром понимает, истина парадоксальна, и что он в большей безопасности, когда наименее защищен... Война жизни — это одно; война человека — другое, это война с войной, война против войны, нескончаемый регресс наступательного и оборонительного аргумента».

По цитатам может показаться, что «Воинственный танец» я предпочитаю двум другим книгам, но дело не в

497

этом. Может быть, ежедневное столкновение с войной заставило меня ссылаться на эту книгу, в которой по-настоящему говорится о мире. Все три книги одинаково ценны и являют собой разные грани одной и той же безыскусной философии, которая, повторюсь, есть не учение, кое автор блестяще излагает и отстаивает, но жизненная мудрость, возвеличивающая жизнь. У нее нет иной цели, как делать жизнь более похожей на жизнь, как ни странно это может прозвучать.

Всякий, кто углублялся в эзотерические доктрины Востока, непременно увидит, что взгляд на жизнь, изложенный в книгах Хоу, всего лишь повторение древней «Доктрины сердца». Элемент Времени, основополагающий в философии Хоу, — это новая, наукообразная, формулировка следующего эзотерического постулата: нельзя следовать Путем, пока сам не станешь этим Путем. Может, никогда еще за всю свою историю человек не был дальше от Пути, чем в наше время. Век тьмы, как он был назван, — это

переходный период, чреватый катастрофой и прозрением. Хоу не одинок в такой характеристике нашей эпохи: такого же мнения придерживаются честные люди повсюду. Это как точка равноденствия души, крайняя точка, которой мы можем достичь без того, чтобы кончить полным крахом. Это тот миг, когда земля, если пользоваться иной аналогией, словно замирает, как маятник, перед тем, как качнуться назад. В этом есть иллюзия «конца», стаза, по виду напоминающего смерть. Но это лишь иллюзия. Все в этой критической точке зависит от того, как мы воспринимаем этот момент. Если приемлем его как смерть, то можем возродиться и продолжить наше циклическое странствие. Если относиться к нему как к «концу», то мы обречены. Не случайно, что в это время должны были возникнуть известные нам разнообразные философии смерти. Мы находимся на распутье и можем смотреть вперед и оглядываться назад с бесконечной надеждой или отчаянием. Не удивительно и то, что в наше время должно было появиться столь много разнообразных концепций четвертого измерения. Негативный взгляд на жизнь, который на деле есть мертвый взгляд на вещи и который Хоу оценивает как «бесконечный регресс», постепенно уступает позитивному взгляду, которому доступно множество измерений. (Стоит уверовать в четвертое измерение, как открывается множество других измерений. Четвертое измерение — символичное, распахивающее горизонт бесконечного «выхода».

498

С ним время—пространство приобретает всецело иной характер: каждое явление жизни отныне выглядит иначе.)

Умирая, зерно вновь испытывает чудо жизни, но в такой форме, какая непостижима для отдельного живого существа. Ужас смерти более чем вознаграждается неизведанными радостями рождения. Именно в этом, по-моему, различие между учениями о Глазе и Сердце. Ибо, как всем известно, расширяя область знания, мы лишь яснее видим горизонт нашего неведения. «Жизнь — не в форме, но •— в огне», — говорит Хоу. Две тысячи лет, несмотря на явленную нам истинную мудрость учения Христа, мы норовили жить по шаблону, старались оторвать мудрость от знания, вместо того, чтобы почитать ее, старались победить Природу, вместо того, чтобы принять ее законы и жить, повинуясь им. Так что вовсе не удивительно, что психотерапевт, в чьи руки ныне отдает себя, как овцу на заклание, больной и труждающийся, находит необходимым восстанавливать в правах метафизический взгляд на жизнь. (Метафизики не существовало со времен Фомы Аквинского.) Лечение — дело пациента, а не психоаналитика. Мы связаны невидимыми нитями, и сила обнаруживается или отмечается в слабейшем из нас. «Поэзию должны творить все», — сказал Лотреамон, и то же самое должно быть в отношении к реальному прогрессу. Мы должны умнеть вместе, иначе всё тщета и иллюзия. Если мы оказываемся перед дилеммой, лучше остановиться и пристально вглядеться в нее, нежели пытаться поспешно и геройски преодолеть ее. «Истинная жизнь дается не просто, — замечает Хоу, — это приключение, рост, неуверенность, риск и опасность. Но в сегодняшней жизни мало возможностей испытать приключение, кроме как на войне». Это значит, что день за днем уходя от реальных проблем, мы порождаем ересь, где с одной стороны — иллюзорная жизнь с комфортом безопасности и отсутствием боли, а с другой — болезнь, катастрофа, война и так далее. Мы сейчас проходим сквозь Ад, и было бы прекрасно, если б это был настоящий ад и мы действительно прошли через него. Мы, вероятно, не сможем надеяться, пока не станем окончательными невротиками, избежать последствий нашего глупого поведения в прошлом. Те, кто пытается возложить ответственность за опасности, которые нам угрожают, на плечи «диктаторов», могли бы с тем же успехом заглянуть в себя и спросить, когда они действительно «свободны», когда лояльны существующей власти, или когда

499

всего-навсего преданы какой-нибудь другой форме власти, возможно, еще не распознанной. «Преданность любой из систем, психологическая или какая-нибудь иная, — говорит Хоу, — предполагает паническое бегство от жизни». Те, кто проповедуют революцию, тоже защитники статус-кво — своего собственного статус-кво. Всякое решение относительно болезней мира должно охватывать *всё* человечество. Мы обязаны отказаться от своих излюбленных теорий, подпорок и поддержек, ничего не говорить о том, что нас защитит и чем мы владеем. Мы должны стать более ин-клюзивными, то есть открытыми, отказавшись от эксклюзивнбсти, то есть закрытое™. Что нельзя познать и усвоить посредством опыта, накапливается в форме вины и создает сущий Ад, буквальное значение которого — место, где должно сгореть несгоревшее! Учение о реинкарнации включает в себя эту жизненную истину; мы на Западе насмехаемся над этой идеей, но, тем не менее, мы — жертвы единого закона. В самом деле, если кто-нибудь захотел бы попытаться изобразить это место-состояние, что могло бы послужить более точной его иллюстрацией, чем картина мира, который сегодня «у нас на руках?»

Реализм Запада, не отвергнут ли он реальностью? Само это слово превратилось в свою противоположность, и подобное случилось со столь многими нашими словами. Мы пытаемся жить только при свете, а в результате нас объяла тьма. Мы постоянно сражаемся за справедливость и добро, но повсюду видим зло и несправедливость. По верному замечанию Хоу, «если мы непременно желаем достичь идеалов и радоваться достигнутому, то это вовсе не идеалы, а фантазии». Нам необходимо раскрыться, расслабиться, дать себе волю, повиноваться глубинным законам своего существа, чтобы подойти к подлинной дисциплине.

Дисциплину Хоу определяет как «искусство приятия негативного». Оно основано на понимании дуалистичности жизни, на отделении относительного от абсолютного. Дисциплина высвобождает поток энергии; она дает абсолютную свободу внутри относительных ограничений. Человек развивается *вопреки* обстоятельствам, а не благодаря им. Эта жизненная мудрость, известная на Востоке, дошла до нас во множестве обличий, не последнее из которых важная наука символов, известная как астрология. Здесь время и развитие — насущные элементы понимания реальности. По сути, нет хороших или плохих гороскопов, ни хорошего или плохого «расположения звезд»; нет испытания людей

500

или положений моралью или этикой, есть лишь желание постичь значение внутренних и внешних сил и их взаимодействие. Попытка, коротко говоря, приблизиться к целостной картине мира и таким образом обрести устойчивость в движущемся потоке жизни, обнимающем познанное и не познанное. Каждый миг, в соответствии с этой точкой зрения, следовательно, хорош или надлежащ, он — лучший для всякого человека, ибо бесполезность его или плодотворность определяется отношением к нему. В самом подлинном смысле слова мы сегодня можем видеть, как человек вырвал себя из жизненного процесса; он находится где-то на периферии его, крутится, как волчок, все быстрей и быстрей, все меньше способный различать что-нибудь вокруг. Пока он не будет способен на жест приятия, не расстанется с железной волей, которая есть просто выражение его отрицания жизни, он никогда не станет вновь в ее центре и не найдет себя истинного. Не только у «диктаторов» *нездоровая психика,* но у всего этого мира людей;

мы находимся во власти демонических сил, сотворенных нашим страхом и невежеством. Мы инстинктивно всему говорим «нет». Сами наши инстинкты извращены, так что слово «инстинкт» теряет всякий смысл. Цельный человек действует не по инстинкту, а по интуиции, потому что «его желания находятся в согласии с законом, как и сам он». Но чтобы поступать интуитивно, человек должен повиноваться глубинному закону любви, который основан на абсолютной терпимости, закону, который позволяет вещам быть самими собой. Настоящая любовь никогда не усложняет, никогда не оценивает, не отвергает, не требует. Она возвращает жизнь милостью возрождаемого «бесконечного круговорота». Она сжигает, потому что ей ведом истинный смысл самопожертвования. Это — жизнь озаренная.

Идея «бесконечного круговорота», не только того, без чего жизнь не существует, но всего на свете, привносит, если такое возможно, магию в философию Хоу. Это наиболее практичный способ бития, хотя и кажущийся непрактичным. Согласимся мы с этим или нет, есть иерархия бытия, так же как иерархия роли. Лучшие представители рода человеческого всегда были сторонниками «бесконечного круговорота». Они были сравнительно бесстрашны и не искали иного богатства и безопасности, кроме как внутри себя. Отказываясь от всего самого для себя дорогого, они находили путь к высшей ступени жизни. Их пример все еще вдохновляет нас, хотя мы следуем за ними больше

501

из подражания, чем по велению сердца, ежели следуем вообще. Они никогда не пытались руководить, но только водительствовать. Настоящему лидеру нет надобности руководить — он согласен указывать путь. До тех пор, пока мы не станем сами себе лидерами, довольствующимися тем, какие мы есть сейчас, в процессе становления, мы всегда будем слугами и идолопоклонниками. Мы имеем только то, что заслуживаем; мы достигнем бесконечно большего, если умерим желания. Весь секрет спасения заключается в том, чтобы от слова перейти к делу, совершив переворот в самом себе. Вот этот поворот к целостности и вере, *переворот,* в духовном смысле, есть мистическая движущая сила идеи четвертого измерения. Чуть выше я прибегал к слову «спасение», но спасение, как страх или смерть, когда в него поверили и когда его пережили, уже не «спасение». На самом деле спасения не существует, есть лишь безграничные области опыта, подвергающие все большим и большим испытаниям, требующие все больше и больше веры. Волей-неволей мы движемся к Непознанному, и чем скорее и полнее отдадимся новому опыту, тем будет лучше для нас. Само слово, которое сегодня у всех

нас на языке, — *переход* — указывает на растущее осознание, как и на предчувствие этого. А осознавать — значит крепко спать, перестать трястись и дергаться. Лишь тогда, когда мы преодолеем фантазии, желания и грезы, произойдет подлинное превращение, и мы проснемся возрожденными, мечта вновь станет реальностью. Ибо реальность и есть наша цель, как бы мы это ни отрицали. И мы можем достичь ее, лишь все больше раздвигая пределы сознания, пылая все ярче и ярче, пока даже сама память не исчезнет в огне.

Электронная версия книги: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yankoslava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html || Номера страниц - внизу

update 06.05.07

ЧЕРНАЯ ВЕСНА. (Black Spring) Роман

Black Spring

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ОКРУГ

Все, что не *посреди улицы, фальшиво, вторично — иными словами, литература.*

Я патриот. Патриот четырнадцатого округа в Бруклине, где меня воспитали. Остальная часть Соединенных Штатов для меня не существует; разве что как идея, или же история, или литература. Десяти лет от роду я был вырван из родной почвы и пересажен на кладбище, *лютеранское* кладбище, на котором могильные плиты всегда бывали опрятны и венки никогда не увядали.

Однако я родился на улице и воспитывался на ней. «Эта постмеханическая распахнутая улица, где прекраснейшая и галлюцинирующая железная растительность...» и так далее. Рожденный под знаком Овна, который наделяет человека пламенным, активным, энергичным и довольно беспокойным телом. *Да еще с Марсом в девятом доме!*

Родиться на улице — значит всю жизнь скитаться, быть свободным. Это означает случайность и нечаянность, драму, движение. И превыше всего мечту. Гармонию не соотносящихся между собою фактов, которая сообщает твоим скитаниям метафизическую определенность. На улице узнаешь, что такое в действительности человеческие существа; иначе — впоследствии — их изобретаешь. Все, что не посреди улицы, фальшиво, вторично — иными словами, *литература.* Ничто из того, что называют «приключением», никогда не сравнится с духом улицы. Неважно, полетишь ли ты на полюс, будешь сидеть на дне океана с блокнотом в руках, сровняешь один за другим девять городов или, подобно Куртцу, проплывешь вверх по реке и сойдешь с ума. Все равно, сколь бы волнующа, сколь бы нестерпима ни была ситуация — из нее всегда есть выходы, всегда есть изменения к лучшему, утешения, компенсации, газеты, религии. Но когда-то ничего этого не было. Когда-то ты был свободен, дик, смертоносен...

505

Парни, перед которыми ты преклонялся, впервые выйдя на улицу, остаются с тобой на всю жизнь. Они — единственные реальные герои. Наполеон же, Ленин, Капоне — все суть фикция. Наполеон для меня ничто в сравнении с Эдди Карни, который поставил мне первый в моей жизни фонарь под глазом. Ни один из когда-либо встреченных мною людей не выглядел столь величественно, царственно, благородно, как Лестер Ридон, кто одним тем, как вышагивал вдоль улицы, уже внушал страх и восхищение. Жюль Берн отродясь не заводил меня в места, какие извлекал из рукава Стенли Воровски, когда на дворе темнело. Робинзон Крузо страдал нехваткой воображения по сравнению с Джонни Полом. Всех ребят из Четырнадцатого округа по-прежнему осеняет некая аура. Они не были изобретены или придуманы. Они были настоящие. Имена их звенят золотыми монетами: Том Фаулер, Джим Бакли, Мэтт Оуэн, Роб Рэмси, Харри Мартин, Джонни Дани, не говоря уже об Эдди Карни или великом Лестере Ридоне. Вот, даже теперь, произнося «Джонни Пол», я чувствую дурной привкус во рту от этого сочетания имен двух святых*. Джонни Пол был живым Одиссеем Четырнадцатого округа; то, что позже он стал водителем грузовика, не имеет значения.

До великих перемен никто, казалось, не замечал, что улицы уродливы и грязны. Если канализационные люки бывали открыты, ты затыкал нос. Если сморкался — находил в носовом платке не нос, а сопли. Больше было внутреннего покоя, умиротворенности. Имелись салун, бега, велосипеды, верные женщины и скаковые лошади. Жизнь еще двигалась неспешно. По крайней мере, в Четырнадцатом округе. По утрам в воскресенье никто не принаряжался. Если миссис Горман спускалась в своем капоте, с непромытыми глазами, поклониться священнику ("Доброе утро, святой отец!» — «Доброе утро, миссис Горман!»), то улица бывала очищена от всех грехов. Пэт Маккэррен носил в заднем кармане сюртука торчавший наружу оттуда носовой платок; это выглядело мило и весьма уместно, как и трилистник у него в петлице. Пиво пенилось, и люди останавливались поболтать друг с другом.

В мечтах я все возвращаюсь в Четырнадцатый округ, как параноик возвращается к своим навязчивым идеям. При мысли о серо-стального цвета боевых кораблях на Военной верфи они видятся мне лежащими там, в некоем астрологическом измерении, где сам я оказываюсь артиллеристом, химиком, торговцем взрывчаткой, могильщиком,

* Имеются в виду два апостола; Иоанн (по-английски Джон) и Павел (Пол) (прим. перев).

506

коронером, рогоносцем, садистом, законником и тяжущимся, ученым, непоседой, остолопом и наглецом.

Там, где другие, думая о юности, вспоминают прекрасный сад, заботливую мать, отдых на берегу моря, мне вспоминаются — остро, точно вытравленные в памяти кислотой, — мрачные, покрытые сажей стены и трубы жестяного завода напротив и усеивавшие улицу светлые кружки жести, одни яркие и сверкающие, другие ржавые, потускневшие, медно-рыжие, оставляющие след на пальцах; мне вспоминается чугунолитейка, где мерцала красная печь и к этой мерцающей яме подходили мужчины с громоздкими лопатами, а снаружи стояли неглубокие деревянные формы, вроде гробов, с продетыми сквозь них прутьями, о которые ты царапал икры или спотыкался и ломал шею. Помню черные руки формовщиков, испещренные металлической дробью, которая въелась так глубоко, что ее ничто уже не могло вывести — ни мыло, ни трудовой пот, ни деньги, ни любовь, ни смерть. Словно черная отметина на всю жизнь! Ступавшие прямо в пекло, точно чернолапые черти, а позже под слоем цветов, холодные и окостеневшие в своих воскресных костюмах, под дождем, но и тот не в силах смыть въевшийся металл. Все эти красавцы-гориллы, отправлявшиеся к Господу с набрякшими мышцами, люмбаго и черными руками...

Для меня весь мир заключался в пределах Четырнадцатого округа. Все, что происходило вовне, либо не происходило, либо не имело значения. Если мой отец отправлялся за черту этого мира, удить рыбу, для меня это не представляло никакого интереса. Помню только его перегарное дыхание, когда вечером он возвращался домой и, открыв свой большой зеленый садок, вываливал на пол трепыхающихся, пучеглазых чудищ. Если кто-то уходил на войну, мне вспоминалось разве что, как он вернулся воскресным днем и, стоя перед домом пастора, блевал, выворачиваясь наизнанку, после чего вытер все собственным тельником. Таков был Роб Рэмзей сын пастора. Я помню, все любили Роба Рэмзея. Он вышел паршивой овцой в своем семействе. Любили его за то, что был он совсем никчемный и ничуть не переживал по этому поводу. Воскресенье ли, среда ли — ему было все едино. В любой день можно было наблюдать, как он идет по улице, под провисшими тентами, — куртка перекинута через руку, пот градом катится по лицу, ноги заплетаются — широким, Цепким шагом моряка, сошедшего на берег после долгого плавания; из уст его струились табачный сок вместе с добродушными и безмолвными (а порою и громкими, и грязными) проклятиями. Полнейшее воплощение праздности, беззаботности, непристойности, кощунства. Не Божий че-

507

ловек, как его отец, нет. Мужчина, внушавший любовь! Его слабости были человеческими, и он носил их хвастливо, чванливо, насмешливо, как бандерильи. Он шагал вниз по теплой, открытой улице, с ее утечками из газопроводов и воздухом, полным солнца, дерьма и ругани, — и ширинка у него могла быть расстегнута, подтяжки спущены, а тельник в ярких разводах рвоты. Порою он проносился по улице, точно бык, буксуя всеми четырьмя, — и тогда улица, как по волшебству, пустела, словно люки, открывшись, поглотили людскую требуху. Лишь сумасшедший Вилли Мэйн продолжал маячить на козырьке над малярной лавкой, со спущенными штанами, дроча за милую душу. Так они и стояли, бывало, на пару в сухом электрическом потрескивании, посреди улицы, овеваемые утечками газа. Тандем, от которого у пастора разрывалось сердце.

Вот каким он был в ту пору, Роб Рэмси. В непрерывном загуле. Он вернулся с войны при медалях и с горящим нутром. Блевал перед дверью своего дома и вытирал блевотину собственным тельником. Умел очистить улицу быстрее пулемета. *Тьфу на вас!* Это была его манера. А спустя какое-то время, в этой своей теплоте душевной, все в той же милой, беззаботной манере, что была ему свойственна, шагнул с пирса и утопился.

Я так хорошо помню его и дом, где он жил. Потому что именно на пороге Роба Рэмзеямы обычно собирались теплыми летними вечерами и наблюдали за происходившим над салуном по ту сторону улицы. За снованиями туда и обратно всю ночь напролет при открытых окнах, которые никто и не думал занавешивать. Всего в полете камня от маленького варьете под названием «Кутеж». Со всех сторон «Кутеж» был окружен салунами, и в субботние вечера снаружи выстраивалась длинная очередь, теснившаяся, пихавшаяся, извивавшаяся, чтобы пробиться к окошку кассы. В субботний вечер, когда Девушка в Голубом представала во всем своем блеске перед публикой, какой-нибудь дикий матрос с Военной верфи обязательно вскакивал с места и, вцепившись пятерней, отрывал одну из подвязок у Милли де Леон. А чуть позже, той же ночью, парочки непременно направлялись вниз по улице и сворачивали в знакомую дверь. И вскоре уже стояли в спальне на втором этаже салуна — мужчины стягивая с себя плотно облегающие штаны, женщины сдирая корсеты и скребясь, точно обезьяны, — в то время как внизу лилось рекой пиво, откусывались в драке уши, раздавался дикий, пронзительный смех. Все закупоренное там, внутри, и испарявшееся понемногу, точно взрывчатая смесь. И все это открывалось с порога Роба Рэмзея покуда его старик наверху

твердил молитвы над керосиновой лампой, прося, как бесстыжая
508
коза, о конце света, а устав от молитв, спускался вниз в своей ночной рубахе, словно дряхлый гном, и разгонял нас метлой.

С субботнего вечера и до утра в понедельник длился сплошной период событий, перетекавших одно в другое. Еще в субботу поутру — один Бог ведает, каким образом, — ты уже ощущал, что военные суда стали на якорь в большом затоне. Субботним утром сердце мое уже норовило выскочить через рот. Я будто воочию видел, как надраиваются палубы и полируются пушки, и вес этих громадных морских чудовищ, покоившихся на грязной стеклянной глади затона, ощущал на себе восхитительной тяжестью. Я уже мечтал о том, чтобы убежать из дому, отправиться в дальние края. Однако добраться мне суждено было лишь до противоположного берега реки, не севернее Второй авеню и Двадцать восьмой улицы, через Кольцевую линию. Там я играл вальс «Апельсиновый цвет», а в антрактах промывал глаза над железной мойкой. Пианино стояло в самой глубине салуна. Клавиши были совершенно пожелтевшие, и ноги мои не доставали до педалей. На мне был бархатный костюм, поскольку бархат был тогда велением дня.

Все происходившее по ту сторону реки было чистым бредом: посыпанный песком пол, аргоновые лампы, слюдяные картинки, на которых никогда не таял снег, свихнувшиеся голландцы со своими пивными кружками в руках, железная мойка с замшелым слоем слизи, женщина из Гамбурга, зад которой вечно свешивался со стула, двор, задушенный запахом квашеной капусты... Все в трехчетвертном ритме, повторяющемся бесконечно. Я шагаю меж идущих по обе стороны родителей — одна рука в маминой муфте, вторая в отцовском рукаве. Мои веки плотно сжаты, как створки моллюска, которые открываются только для плача.

Все смены приливов, отливов, времен года, пережитые над той рекою, у меня в крови. Я все еще чувствую скользкую поверхность поручня, к которому прислонялся в туман и дождь и который передавал моему холодному лбу пронзительные гудки парома, скользящего прочь со стапелей. Я все еще вижу покрытые водорослями листы обшивки, прогибающиеся от соприкосновения стапелей с бортами, — в то время как глыба круглой кормы скользит вниз и зеленая мутная вода устремляется в проемы между ходящими ходуном и стонущими опорами. А над головою — чайки, кружащие и пикирующие, из чьих грязных клювов вылетают жуткие крики: резкие, гнетущие звуки бездушного пиршества, вцепившихся в отбросы челюстей, шелудивых лап, чиркающих по зеленой пене на воде.
509
Переход от одной сцены, одной поры, одной жизни к другой или к другому свершается неуловимо. Вдруг, шагая по улице, наяву или во сне, впервые сознаешь, что годы пролетели, что все это минуло навсегда и останется жить лишь в памяти; а затем память со странной, захватывающей яркостью обращается на самое себя, и ты без конца переживаешь одни и те же сцены и эпизоды, в мечтательности и задумчивости, — идя по улице, лежа с женщиной, читая книгу, беседуя с незнакомцем... Вдруг, но всегда с ужасающей настойчивостью и с ужасающей точностью, эти воспоминания вторгаются, поднимаются, словно призраки, и пронизывают все фибры твоего существа. И впредь все развивается на перемещающихся уровнях. Параллелограмм, в котором мы падаем с одного яруса нашего эшафота на другой. Впредь мы ходим, расколотые на мириады частей, точно насекомое с сотнями ног, тысяченожка на мягко переступающих лапках, что впитывает атмосферу; ступаем чувствительными отростками, которые жадно пьют из прошлого и будущего, и все, сплавляясь, превращается в музыку и печаль; ступаем по объединенному миру, утверждая нашу раздробленность. И все вещи, по мере того, как мы проходим, распадаются вместе с нами на мириады радужных осколков. Великое дробление зрелости. Великая перемена. В юности мы были целостными, и ужас и боль мира пронизывали нас насквозь. Резкого разделения между радостью и печалью не было: они сливались в одно целое, как явь сливается с грезой и сном. Мы поднимались поутру единым существом, а к ночи погружались в океан, тонули безвозвратно, хватаясь за звезды и лихорадку дня.

А затем наступает время, когда все вдруг, кажется, обращается вспять. Мы живем в уме, в идеях, в осколках. Мы больше не упиваемся дикой, внешней музыкой улиц — лишь вспоминаем. Как маниак, вновь и вновь переживаем мы драму юности. Как паук, что собирает и собирает нить и изрыгает ее в соответствии с навязчивой логарифмической формулой. Если нас приводит в волнение пышный бюст, то это пышный бюст шлюхи, которая как-то дождливой ночью, наклонившись, впервые явила нам чудо огромных молочных полушарий; если нас приводит в волнение отражение на влажной мостовой, то это оттого, что в возрасте семи лет, бездумно глядя на сверкающее, жидкое зеркало улицы, мы были внезапно пронзены предчувствием грядущей жизни. Если нас интригует вид раскачивающейся двери, то это из-за воспоминаний о том летнем

вечере, когда все двери тихо раскачивались и там, где свет склонялся с ласкою к тени, были золотистые икры, кружева, сверкающие солнечные зонты, и сквозь щели в раска-
510
чивающейся двери, словно тончайший песок, сочащийся через слой рубинов, тянулись музыка и благовоние роскошных, неведомых тел. Возможно, когда эта дверь приотворялась и позволяла нам мельком, задохнувшись, увидеть мир за нею — возможно, именно тогда нам впервые открылась великая власть греха, впервые открылось, что здесь, за круглыми столиками, вращающимися в круге света, в то время как ноги наши праздно шаркают по опилкам на полу, а руки касаются холодной ножки бокала; что здесь, за этими круглыми столиками, на которые мы будем позже взирать с такой тоской и таким благоговением; что здесь, говорю я, нам суждено испытать в предстоящие годы металл любви, первые пятна ржавчины, первые черные, цепкие лапы литейной ямы, блестящие кругляши жести на улице, тощие, цвета сажи трубы, голый вяз, который взвивается в свете летних молний, стонет и вскрикивает под хлещущим дождем, тогда как из горячей земли чудесным образом спасаются бегством улитки, а воздух становится синим и сернистым. Здесь, за этими столами, по первому зову, при первом прикосновении руки суждено возникнуть щемящей, острой боли, которая сжимает нутро; вино превращается в наших животах в уксус, и боль поднимается от самых ступней, и круглые крышки столов вертятся, порождая муку и лихорадку у нас в костях, от легкого, обжигающего прикосновения руки. Здесь покоятся, похоронены, легенда за легендой — о молодости и томлении, о диких ночах и таинственных лонах, пляшущих в мокром зеркале мостовой, о женщинах, которые тихо хихикают, скребя себя ногтями, о зверских воплях матросов, о длинных очередях перед зрительным залом, о лодках, задевающих одна другую бортами в тумане, и буксирах, яростно пыхтящих против быстрого течения, в то время как на Бруклинском мосту стоит в агонии человек, выжидая момент чтобы прыгнуть, или чтобы написать поэму, или чтобы кровь покинула его сосуды, ибо стоит ему сделать еще шаг, как его любовь убьет его.

Плазма мечты — боль разделения. Мечта продолжает жить после того, как тело похоронено. Мы ходим по улицам, наделенные тысячей ног и глаз, мохнатыми антеннами, улавливающими малейший код к минувшему и память о нем. В этих бесцельных хождениях взад-вперед мы то и дело останавливаемся, чтобы заглотнуть целиком еще живые лакомства прошлого. Мы раскрываемся, мягкие и податливые, чтобы пить ночь и океаны крови, в которых утоплен сон нашей юности. Мы пьем и пьем, в неутолимой жажде. Никогда нам не обрести вновь целостности, но жить раздробленными, и каждая частичка отделена тончайшей мембраной. Потому, когда флот маневрирует в Ти-
511
хом океане, полная сага юности проносится перед твоим взором, видение распахнутой улицы и крики чаек, кружащих и пикирующих с мусором в клювах; или же слышится звук трубы, и реют флаги, и все неведомые части света проплывают у тебя перед глазами, без дат и без смысла, вращаясь, будто крышка стола, в радужном блеске мощи и славы. Приходит день, когда ты, стоя на Бруклинском мосту, глядишь вниз, в черные раструбы, изрыгающие дым, и сияют пушечные стволы, и пуговицы сияют, и вода чудесным образом растекается надвое под острым, режущим носом корабля, и, словно ледяное крошево и кружево, словно распахиваемая целина и дымная пелена, кипит зеленью и голубизной, с холодным накалом, с охлажденностью шампанского и опаленностью жабер. И нос судна рассекает воды нескончаемой метафорой: тяжелый корпус неумолимо движется вперед, нос все разрезает и разрезает, и вес корабля суть неизмеримый вес мира, погружение в пучину неведомых атмосфер, вглубь неведомых геологических разломов и пустот, где мелодично катятся воды, и звезды опрокидываются и умирают, и ладони тянутся вверх и хватают и вцепляются — никогда не овладевают и не смыкаются, но хватают и вцепляются, — покуда звезды умирают одна за другой, целые мириады, мириады и мириады миров, тонущие в холодном накале, в зелени и синеве закопченной ночи, средь раскрошенного льда и жжения шампанского и хриплых криков чаек, чьи клювы распухли от ракушек, чьи набитые отбросами рты навеки уткнуты под безмолвный киль корабля.

Ты глядишь вниз с Бруклинского моста на островок пены, или озерцо бензина, или сломанную щепку, или пустую шаланду; мир течет мимо, вверх ногами — боль и свет пожирают внутренности, плоть по бокам лопается, прутья вдавливаются в хрящ, сам костяк тела уплывает прочь, в никуда. Пронося сквозь тебя нелепые слова из древнего мира, знаки и знамения, надпись на стене, зазоры в двери салуна, картежников -с их глиняными трубками, худосочное деревце на фоне жестяного завода, черные руки, изъеденные даже в их мертвенности. Ты идешь ночью по улице, мост на фоне неба — как арфа, и гноящиеся глаза сна прожигают дыры в лачугах, лишают невинности стены;

лестницы рушатся в пламени, и крысы прыскают в стороны по потолку; чей-то голос

приколочен к двери, и длинные ползучие твари с мохнатыми усиками и тысячей ног падают с труб, словно капли пота. Ликующие, смертоносные призраки, издающие завывания ночного ветра и проклятия теплоногих людей; приземистые, неглубокие гробы с прутьями, проткнутыми сквозь тело; слюни горя, текущие вглубь холодной, восковой плоти, выжигая мертвые глаза,

512

твердые, выщербленные створки мертвых моллюсков. Ты ходишь по кругу, запертый в круглой клетке, с ускользающим из-под ног дном, со звездами и облаками под эскалатором, и стены клетки вращаются, и нет ни единого мужчины и ни одной женщины без хвоста и когтей, а повсюду вокруг — буквы алфавита, из железа и перманганата. Ты ходишь и ходишь по кругу, вдоль стены круглой клетки, под дробь шквального огня; театр горит, а актеры продолжают произносить свои реплики; мочевой пузырь лопается, зубы вываливаются, но клоунские стенания —. точно звук сыплющейся перхоти. Безлунными ночами ты бродишь по кругу в долине кратеров, долине потухших костров, выбеленных черепов и бескрылых птиц. Все ходишь и ходишь по кругу, ища сердцевинного и сущностного, однако костры прогорели дотла, и сокровенная основа вещей спрятана в пальце перчатки.

А затем однажды, точно плоть вдруг разверзлась и кровь в ее глубине слилась с воздухом, внезапно весь мир грохочет вновь, и самый скелет плавится, как воск. Возможно, именно в такой вот день ты впервые встречаешься с Достоевским. Ты помнишь запах скатерти, на которой покоится книга; смотришь на часы — и на них всего без. пяти минут вечность; считаешь предметы на каминной полке, потому что названия чисел — совершенно новый звук для твоего рта, потому что все новое и старое, либо тронутое и позабытое, есть огонь и галлюцинация. Теперь все дверцы клетки открыты, и в какую бы сторону ты ни пошел — везде прямая, ведущая в бесконечность, прямая, сумасшедшая линия, над которой ревут буруны и огромные глыбы мрамора и индиго пикируют, чтобы отложить свои знобкие яйца. Из волн, отбивая фосфоресцирующий шаг, возникают гордые и гарцующие, вылощенные лошади, что маршировали некогда с Александром, — подтянуто-гордые животы мерцают кальцием, ноздри омыты в опиевом растворе. Теперь всё сплошь снег и вши, и большой пояс Ориона повязан на промежности океана.

Ровно в пять минут восьмого, на пересечении Бродвея и улицы Костюшко, Достоевский впервые промелькнул на моем горизонте. Двое мужчин и женщина оформляли витрину магазина. От середины ляжек и ниже манекены состояли из одной проволоки. Пустые обувные коробки лежали горой возле стекла, как прошлогодний снег...

Именно так возникло имя Достоевского. Ненароком. Как старая обувная коробка. Еврей, который произнес для меня это имя, был толстогуб; он не мог выговорить «Владивосток», к примеру, или «карпатский» — однако «Достоевский» выговаривал божественно. Даже сейчас, говоря «Достоевский», я вижу вновь эти крупные, черничные гу-

513

6bi и тонкую струйку слюны, тянувшуюся, как резина, когда он произносил это слово. Зазор между двумя передними зубами у него был больше обычного; и именно посреди, в этой пустоте, трепетало и растягивалось слово «Достоевский», тонкая, переливающаяся слюнная пленка, в которой собрано было все золото сумерек — ибо солнце как раз заходило над улицей Костюшко, и движение над головой врывалось в весеннюю оттепель чавкающим и перемалывающим шумом, будто манекены на своих проволочных ногах поедали друг друга живьем. Немного позже, придя в страну гуингнмов, я услышал такое же чавкание и перемалывание у себя над головой, и опять слюна во рту мужчины трепетала, и тянулась, и переливчато сияла в лучах умирающего солнца. На сей раз это в Драконовом ущелье:

человек, возвышающийся надо мною с ротанговой палкой в руках и колотящий ею почем зря с дикой ухмылкой араба. Вновь, как если бы мозг мой был маткой, стенки мира расступились. Имя «Свифт» явилось, точно упругая струя мочи, барабанящая по жестяному листу мира. Вверху — зеленый огнеглотатель, чьи нежные кишки обернуты брезентом; два громадных молочно-белых зуба с хрустом обрушиваются на ряд черных от смазки зубьев, переходящий в тир и турецкие бани; зубчатая передача, скользящая поверх станины из выбеленных костей. Зеленый дракон Свифта приводит зубья в движение с нескончаемым звуком барабанящей струи, перемалывая тонкие и уменьшенные в масштабе фигурки лилипутов, величиной с человека, которые всасываются внутрь, будто макароны. В пищевод и из него, вверх и вниз, вокруг плечевых костей и сосцевидного отростка, падая в бездонную яму внутренностей, бурля и выбурливаясь, — пах раздвигается и опадает, зубья движутся неумолимо, перемалывая живьем все тонкие, уменьшенные в масштабе макаронины, свешивающиеся по усам из

алой пасти дракона. Я гляжу в молочно-белый оскал ревуна, вглубь этой фанатичной ухмылки араба, вышедшей из огня Страны Грез, и затем спокойно ступаю на открытое брюхо дракона. Меж безумных ребер скелета, что поддерживает вращающиеся зубья, передо мною расстилается вдаль страна гуингнмов; этот шипящий, барабанящий струею шум у меня в ушах, словно человеческая речь состоит из сельтерской воды. Вверх и вниз над лоснящейся черной лентой, над турецкими банями, через обитель ветров, над небесно-голубыми водами, между глиняных трубок и серебряных шаров, танцующих на струях жидкости: недочеловеческий мир фетровых шляп и банджо, головных повязок и черных сигар; тянучка, протянувшаяся от снега до Виннипега, лопающиеся пивные бутылки, стекловолоконное толокно и горячие tamales, рев при-

514

боя и шкворчание сковороды, пена и эвкалипт, грязь, мел, конфетти, белое женское бедро, сломанное весло; ходящие ходуном деревянные ребра, конструктор-головоломка, не сходящая с лица улыбка, дикая аравийская ухмылка с огненными плевками, алым зевом и зелеными внутренностями...

О мир, задушенный и рухнувший, где крепкие белые зубы? О мир, тонущий вместе с серебряными шарами, пробками и спасательными поясами, — где розовые скальпы? О голость и белочность, о неоперившийся мир, ныне изжеванный в прах, под какою мертвою луною лежишь ты, холодный и мерцающий?

ТРЕТИЙ ИЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ

Исторгать из себя надобно теплое, а поглощать холодное, как учит Трималь-хион, ибо в центре всего — матушка наша земля, круглая и, подобно пчелиному соту, хранящая все благое.

В доме, где я провел самые важные годы своей жизни, было всего три комнаты. В одной из них умер мой дед. В момент похорон мою мать обуяло такое неистовое горе, что она чуть не выдернула старика из гроба. Ну и нелепо же выглядел бедный мой дед, когда по его мертвой физиономии текли слезы дочери. Ни дать ни взять оплакивал собственное погребение.

В другой комнате разродилась двойней моя тетка — такая тощая, такая высохшая, что, услышав слово «двойня», я задался вопросом: отчего двойней? почему не тройней? не четверней? какой смысл останавливаться на достигнутом? Ведь тетка была до того худая, до того костлявая, а комната — маленькая-маленькая, с выкрашенными в зеленое стенами и грязным жестяным умывальником в углу. И все-таки только в ней в этом доме могла произойти на свет двойня— или тройня, или целый выводок дебилов.

Третьей комнатой был закуток, где я по очереди перенес корь, ветрянку, скарлатину, дифтерит и много чего еще — словом, тьму-тьмущую незабываемых детских болезней, обращающих время то в блаженное безвременье, то в нескончаемую муку, особенно когда провидение наградило вас зарешеченным окошком над кроватью и клещами, которыми вцепляешься в прутья, исходя обильным потом, как в тропиках, и, как в тропиках, неудержимо ветвясь, удлиняясь в конечностях, ощущая, как руки превращаются в сочные бифштексы, а ноги наливаются свин-

515

цовои тяжестью или, напротив, становятся невесомей снежинок; между ними пролегают океаны времени, целые световые эры, маленькая горстка мозга редуцируется до размеров песчинки, а пальцы ног безмятежно обращаются в прах и тлен под руинами древних Афин. Потолок этой комнаты сотрясали только глупости. Идиотизм моих предков прогрессировал с каждой новой сваливавшейся на меня болезнью. («Подумай только, как-то раз, когда ты был еще в пеленках, я поднесла тебя к умывальнику и сказала:

«Малыш, тебе ведь больше не хочется сосать из бутылочки, не правда ли?» И ты ответил: «Нет», — а я швырнула бутылку в умывальник».) Неслышным шагом («беззвучно ступая», как говаривал генерал Смердяков) в эту комнату вторгалась мисс Соновская — старая дева без возраста в черно-зеленом платье. И с ней немедленно воцарялся прогорклый запах позапрошлогоднего сыра: похоже, под платьем протухло ее либидо. Но с мисс Соновской в комнате появилось еще кое-что: иерусалимская власяница и пригоршня гвоздей, с такой ожесточенностью вонзенных в ладони Христа, что стигматы остались навеки. Итогом Крестовых походов для мира стала Черная Смерть; итогом Колумбова открытия — сифилис; итогом явления мисс Соновской — шизофрения.

Шизофрения! Сегодня никому уже и в голову не приходит, как это замечательно, что весь мир болен. Точки отсчета — здоровья как показателя нормы — попросту больше нет. С таким же успехом можно возвести в ранг божества... брюшной тиф. Все абсолюты

исчезли; налицо лишь десятки световых лет повернутого вспять прогресса. Задумываясь о веках, без остатка заполненных борьбой всей Европы с Черной Смертью, только и начинаешь сознавать, каким ослепительным блеском может засиять жизнь, стоит лишь нас укусить куда нужно! Лихорадочный танец в самом средоточье конца! Быть может, никогда уже не доведется старушке Европе вновь пуститься в пляс в таком самозабвении. А сифилис! Явление сифилиса, денницей повисшего над мировым горизонтом...

В 1927 году, в Бронксе, мне как-то случилось слушать человека, читавшего вслух из дневника наркомана. Читавший едва выговаривал слова: так его разбирал смех. Что может быть больше дистанции между этими двумя: одним, до такой степени объятым горячечным экстазом, что он едва не раскалывается надвое: ноги высовываются из окна наружу, а туловище в озарении взмывает в комнате к потолку, — и другим (и в точности тем же самым), когда он беззаботно откинулся на спинку стула в Бронксе и хохочет, хохочет до упаду, ибо ему этого попросту не понять.

Увы, необъятное солнце сифилиса заходит. *Низкая об-*

516

личность — таков прогноз для Бронкса, прогноз для Америки, прогноз для всего современного мира. Низкая облачность, сопровождаемая вулканическими смехоизвержениями. На горизонте нет и намека на новые звезды. Грядут *стихийные бедствия...* одни стихийные бедствия и ничего больше.

Я грежу о веке, когда Бог родится заново, когда во имя его люди станут сражаться и убивать друг друга так же, как ныне — и еще долго в будущем — они будут сражаться и убивать друг друга во имя хлеба насущного. Грежу о веке, когда труд будет предан забвению, а книги обретут подобающее им в жизни место, о веке, когда, может статься, книг вовсе не будет, за исключением одной, всеохватной, — Библии. Ибо в моих глазах книга — это человек, а моя книга — не что иное, как я сам: косноязычный, растерянный, бестолковый, похотливый, распущенный, хвастливый, сосредоточенный, методичный, лживый и дьявольски правдивый — словом, такой, какой я есть. Думаю, тот грядущий век не оставит меня без внимания. Тогда-то проступит въяве важность моей истории, и шрам, какой я ныне оставляю на лике мира, обретет значимость. Я не в силах отрешиться от мысли, что творю историю — историю на полях существования, которая, подобно язве, выест без остатка прочую, незначащую историю. Я вижу в себе самом не книгу, свидетельство, документ, но историю нашего времени — историю всякого времени.

Если в Америке я был несчастлив, если требовал для себя больше жизненного пространства, больше приключений, больше свободы выражения, то потому, что все это действительно было мне необходимо. Я признателен Америке: это она побудила меня осознать меру моих потребностей. Там я отбыл срок своего наказания. Ныне у меня нет потребностей. Я — человек без прошлого и без будущего. Я существую, — и этим все сказано. Меня ничуть не волнуют ваши симпатии и антипатии; меня нимало не заботит, соглашаетесь вы со мной или нет. Реши вы сию же минуту захлопнуть эту книгу, я просто пожму плечами. Я отнюдь не пульверизатор, из которого можно выдавить тоненькую струйку надежды. Я предощущаю в Америке источник смертоносного недуга. Я предощущаю в ней черное проклятье, довлеющее над миром. Я предощущаю долгую ночь, неотвратимо спускающуюся на землю; предощущаю, как начинает загнивать у корней гигантский гриб, который отравил весь свет.

Пылающие лихорадочным жаром строки этой книги пишутся в предощущении вселенского конца; и разве имеет значение, наступит он завтра или спустя три сотни лет? И странно ли, что я то и дело сбиваюсь с мысли, побуж-

517

даемый необходимостью вновь и вновь подпитывать тлеющий огонь — подпитывать не только пламенем отваги, но пламенем отчаяния: ведь нет никого, кому я мог бы доверить высказать все это за меня. Мои повторы и топтание на месте, мое нетерпеливое стремление прибегнуть к любым, без изъятий, средствам и способам выражения — все это не что иное, как вид вдохновенного заикания, постигавшего некогда пророков и ясновидцев. У *меня дух захватывает при. мысли о грандиозности этого зрелища — конца света!*

Каждый вечер, после обеда, я выношу во двор мусор. Поднимаясь с пустым ведром вверх, останавливаюсь и выглядываю в лестничное окно, выходящее на Сакре-Кёр, венчающий вершину монмартрского холма. Каждый вечер, вынося во двор мусор, мысленным взором я провижу самого себя возвышающимся в ослепительной белизне на гребне высокого холма. И это видение диктует мне не мысль о Христе, не мысль о кровоточащем сердце Спасителя. Нет, в сердцевине моих озарений — нечто еще более совершенное, нежели Христос, нечто еще более необъятное, нежели сердце, нечто еще более всеобъемлющее, нежели Господь всемогущий: Я САМ. *Я — человек.* И этого для меня достаточно.

Я — человек; есть во мне нечто от Бога и нечто от Дьявола. Каждому — свое. Ничто не вечно, ничто не окончательно. Передо мной неотступно сияет образ нашего тела — божественное триединство пениса и двух яичек. Одесную — Бог-отец; ошуйцу, опустясь чуть ниже, Бог-сын; а меж ними и над ними — Дух Святой. Не могу отделаться от мысли, что святая эта троица — земного происхождения, что ей суждено претерпеть бесчисленные метаморфозы; но до тех пор, пока мы будем выходить из женского лона с руками и ногами, до тех пор, пока нас не перестанут сводить с ума звезды над головой, а трава под ногами — оставаться источником ласки и чуда, до тех пор тело пребудет для нас камертоном тех мелодий, которым суждено срываться с наших губ.

Сегодня третий или четвертый день весны, и я наслаждаюсь теплым солнцем, сидя на плас Клиши. И сегодня, нежась под солнцем, я имею честь заявить вам, что не имеет ни малейшего значения, катится мир к чертям собачьим или нет, праведен он или погряз в грехе, хорош или плох. Он *существует*, — и точка. Мир — он такой, какой есть; а я — это я. Заявляю это не с самоотрешенностью сиднем сидящего на корточках Будды, а проникшись веселой, жестокой мудростью, исполнясь внутренней убежденностью. Все, что находится вовне и внутри меня, — одним словом, *все на свете —* есть результат дейст-

518

вия необъяснимых сил. Хаос, постичь логику которого — задача непосильная. Непосильная *для человека.*

Брожу ли я по улицам в полночный час или рассветный, или в час еще более несуразный, меня не оставляет ощущение тотального собственного одиночества и столь же неподдельной. собственной неповторимости. Ощущение столь отчетливое, сообщающее такую внутреннюю уверенность, что и в шумном людском потоке, где каждый не больше былинки, колеблемой прихотью ветра, я начинаю думать о себе как о единственном представителе рода двуногих, занесенном в бескрайний космос, последнем обитателе земли, гордо шагающем по асфальту просторный обезлюдевших проспектов, минуя гигантские пустующие небоскребы, как о неограниченном властителе планеты, с песней на устах совершающем обход своих необъятных владений. Мне нет надобности засовывать руку в жилетный карман, дабы обрести мою душу: она и без того непрестанно вибрирует под ребрами, разрастаясь, все громче заявляя о себе с каждым куплетом песни. Случись мне даже минуту назад выйти с какого-нибудь официального сборища, на котором раз и навсегда было бы установлено, что все сгинуло, сгинуло окончательно и бесповоротно, в этот самый миг, когда я одиноко брожу по улицам, вплотную уподобясь Богу, все с неизбежностью убеждает меня: это ложь. Смерть, знаки ее присутствия, один сменяя другой, неотвратимо маячат перед моими глазами; однако эта смерть, вершащая неостановимую свою работу, эта вечно бурлящая в сосуде мироздания магма ежесекундной гибели, проникая во все поры сущего, никак не достигнет критической точки, чтобы поглотить и меня; разливаясь кипящими волнами у самых моих ног, ее прибой всегда отстает на шаг, не позволяя мне вкусить собственного конца. Мир — не что иное, как зеркало моего умирания; и гибнет он так же, как я, — не меньше, но и не больше. Кто усомнится, что тысячу лет назад я был несравненно более живым, чем сегодня; но разве не то же и с миром: покрытый погребальной пылью тысячелетия, он ныне мерцает бледной тенью тогдашнего. Когда доживаешь что-то до конца, не находится места ни смерти, ни сожалениям, ни мнимому возрождению; каждый прожитый миг раскрывает более широкие, более ослепительные горизонты, и укрыться от них некуда, разве что в саму жизнь.

Грезы ясновидцев вспыхивают в черепных коробках, а туловища остаются накрепко пригвождены к сиденью электрического стула. Вообразить новый мир значит проживать его день за днем, каждой мыслью, каждым взглядом, каждым шагом, каждым жестом уничтожая и пересоздавая, все время двигаясь в ногу с маячащей впереди

519

смертью. Недостаточно оплевывать прошлое. Недостаточно возвещать приход будущего. Действовать надо, как если *бы* прошлое было мертво, а будущее неосуществимо. Действовать надо, как *если бы* следующий шаг был последним, каковым он в сущности и является. Ведь каждый шаг вперед — последний: с ним сокрушается мир, и собственное я — здесь не исключение. Мы — обитатели планеты, не знающей конца существованию: наше прошлое неиссякаемо, будущее ненаступимо, настоящее нескончаемо. Мир, замкнувшийся в порочном кругу отрицаний, открыт нашему взгляду и доступен осязанию; однако этот видимый мир — еще не мы сами. Что до нас самих, то мы — то, что никогда не завершено, то, что никогда не обретает зримой формы; мы — сущее, но не исчерпывающее; являясь частями неведомой геометрической фигуры, мы несравненно больше нее самой. Что же касается фигуры, то конфигурация ее столь причудлива и сложна, что измыслить ее мог только такой математик, как Господь Бог.

«Смейтесь!» — советовал Рабле. Врачуйте *смехом* все ваши недуги! Господи, но до

чего же трудно глотать эликсир его здоровой, веселой мудрости после всех шарлатанских пилюль и снадобий, которые мы веками заталкивали себе в глотки! Как найти в себе силы смеяться, когда на животе развязалась пуповина? Как найти в себе силы смеяться в юдоли беспросветной печали, какую вселили нам в души все эти певцы бледной немочи, неизреченного томленья, вселенской скорби, самодовольной отрешенности, бесплотной духовности? Я отдаю себе отчет в мотивах, вдохновивших их на отступничество. Я готов отпустить им их гений. Но трудно стряхнуть с себя облако той безнадежности, которой они окутали все вокруг.

Когда я задумываюсь обо всех фанатиках, распятых на кресте, и даже не о фанатиках, а просто-напросто простофилях, обо всех, кто позволил принести себя в жертву во имя идей, утлы моего рта растягиваются в улыбке. Сожгите все корабли, призываю я. Покрепче закупорьте бутылку с джинном Нового Иерусалима! Просто прижмемся друг к другу, живот к животу, прижмемся не *питая надежд!* Чистые и нечистые, праведники и злодеи, лунноликие и блинноликие, остроумцы и тугодумы — пусть те и другие, смешавшись воедино, хоть несколько веков поварятся в этом плавильном котле!

Либо мир повредился в рассудке, либо струна моего инструмента натянута недостаточно туго. Заговори я темно и невразумительно, — и меня тут же поймут. Грань меж пониманием и непониманием не толще волоска; нет, еще тоньше — она меньше миллиметра, эта нить, протянутая в пространстве между Китаем и Нептуном. Независимо от

520

того, сколь точно я формулирую свои мысли, она остается незыблемой; и здесь дело не в точности, ясности и тому подобном. («И тому подобное» в данном случае — не просто фигура речи!) Человеческий ум подвержен погрешностям именно потому, что он — слишком точный инструмент:

нити рвутся, встречая на пути эбен и кедр инородных материй, перетираясь об узлы, связанные из волокон красного дерева. Мы рассуждаем о реальности как о чем-то соизмеримом, вроде фортепианной гаммы или урока физики. А Черная Смерть — ведь она воцарилась с возвращением крестоносцев. А сифилис — с возвращением Колумба. *«Реальность возьмет свое! Реальность первична», —* замечает мой друг Кронстадт. Она вырастет из поэмы, написанной на дне океана...

Прогнозировать ее значит отклониться либо на миллиметр, либо на миллион световых лет. Это отклонение — сумма, вырастающая из пересечения улиц. Сумма — функциональное нарушение, возникающее в результате стремления втиснуть себя в систему координат. А сама система — не что иное, как рекомендация, выданная прежним работодателем; иными словами, рубец, оставленный в наследство былой болезнью.

Это — мысли, рожденные улицей, genus epileptoid*. Бывает, выходишь из дома с гитарой и струны с визгом обрываются — ибо сам замысел не укоренился достаточно глубоко. Для того, чтобы вспомнить сон, глаза надо держать закрытыми и, упаси Боже, не моргнуть. Малейшее дуновение — и вся конструкция мигом разлетится. На улице я отдаюсь на волю деструктивных, противоборствующих стихий, бушующих вокруг меня. Позволяю всему окружающему играть с собой как с песчинкой. Наклоняюсь, чтобы украдкой вглядеться в ход тайных процессов, скорее повинуюсь, нежели руковожу ими.

Целые огромные блоки моей жизни безвозвратно утрачены. Они низвергнуты, обращены в пыль, растворены в досужем трепе, бездумных поступках, воспоминаниях, снах. Никогда не бывало так, чтобы я жил *одной* жизнью — жизнью мужа, любовника, друга. Нет, куда бы я ни попадал, во что бы ни ввязывался, у меня всегда было их множество. Таким образом, все, что бы мне ни вздумалось обозначить как свою историю, теряет очертания, тонет, вязнет в нерасторжимом слиянии с жизнями, драмами, историями других.

Я — человек Старого Света, семя, перенесенное ветром через океан, растение, отказавшееся дать всходы на пло-

* Genus epileptoid *(искаж. лат.)* — буквально: эпилептического рода; *здесь —* разновидность бреда.

521

дородной американской почве. Я принадлежу к тяжелому древу прошлого. Мои корни, физические и духовные, роднят меня с европейцами — с теми, кто были когда-то франками, галлами, викингами, гуннами, татарами, невесть кем еще. Питательная среда для моих тела и души — здесь, где преобладают тепло и гниение. Я горд тем, что не принадлежу этому столетию.

Ради интереса тех звездочетов, кто чувствуют себя неспособными на откровение, прилагаю ниже несколько гороскопических штрихов на полях моей *«Вселенной Смерти»...*

Я — Рак, краб, способный ползти влево, вправо, взад и вперед, как ему заблагорассудится. Среда моего обитания — дикие тропические места, а объект

промысла — взрывчатые вещества, бальзам, мирра, яшма, изумруды и лапки дикобраза. Уран предопределил мою неумеренную приверженность к противоположному полу, горячим потрохам и грелкам. Но доминирует в моем гороскопе Нептун. Это означает, что я состою из водянистой жидкости, что я непостоянен, благороден, необязателен, независим и переменчив. А также задирист. Подложив под зад теплую подушку, могу корчить из себя шута не хуже любого другого, под каким бы он ни родился знаком. Таков автопортрет, в котором дискуссионно только то, чего нет: якорь, колокольчик у локтя, небритая щетина, коровий круп. Короче говоря, я бездельник, пустивший отведенный ему срок по ветру. В доказательство своих трудов праведных мне совершенно нечего предъявить; за исключением моего гения. Однако наступает момент — даже в жизни досужего гения, — когда приходится, высунувшись в окно, исторгнуть из себя избыточное. Если вы гений, вам этого не избежать — хотя бы потому, что вам необходимо что-то свое, четкое, обозримое и осязаемое, что в один прекрасный день не лопнет, как мыльный пузырь, не замрет, как стрелки часов с восьмичасовым заводом! И чем больше балласта вы вышвырнете за борт, тем сильнее возвыситесь над пиететом ваших соседей. Пока не обнаружите, что находитесь один-одинешенек в стратосфере. Тогда привяжите себе на шею камень и прыгайте — ногами вниз. Последнее начисто излечит вас от навязчивой склонности к толкованию сновидений, а заодно и от ртутного стоматита, вызванного втираниями. Вам останется вволю грезить по ночам и вдосталь ржать по утрам.

И вот, с комфортом устроившись у стойки бара «Мальчик с пальчик» и глядя, как снизу вплывают сквозь адские люки эти блинноликие господа в воротничках и подтяжках, волоча за собой локомотивы, рояли, плевательницы, остается только сказать себе: «Чудно! Чудно! Вся эта чертовщина

522

сама приходит ко мне на серебряном блюдечке! Чудно! Великолепно! Поэма сложилась, пока я спал».

То немногое, что довелось мне постичь о писательском ремесле, сводится к следующему: письмо — это вовсе не то, что о нем *принято думать.* Возьмем, например, Вальпараисо. Когда я произношу вслух это слово, оно начинает означать нечто принципиально иное, нежели то, что оно означало до данной минуты. Под ним может скрываться английская шлюха с выбитыми передними зубами, а может и бармен, остановившийся посреди улицы в надежде привлечь потенциальных клиентов. Под ним может прятаться серафим в шелковом хитоне, перебирающий легкими перстами струны черной арфы. А может и одалиска с москитной сеткой, натянутой поверх крутого зада. Оно может содержать любое — или ни одно — из этих значений, однако есть нечто, в чем вы можете быть твердо уверены:

оно должно значить что-то иное, что-то новое. Вальпараисо — оно всегда за пять минут до конца света; его место — на подступах к Перу, если смотреть с этой стороны, а может быть, и дюйма на три поближе. Поправка: плюс-минус один квадратный дюйм — легко объяснима: вас лихорадит, под задом у вас теплая подушка, а в ваших членах (примите во внимание, что и ортопеды не безгрешны) колобродит Дух Святой. Иными словами, «исторгать из себя надобно теплое, а поглощать холодное, — как учит Тримальхион, — ибо в центре всего — матушка наша земля, круглая и, подобно пчелиному соту, хранящая все благое»*.

А теперь, леди и джентльмены, воспользовавшись универсальным консервным ключом, который я держу в руках, я с вашего позволения открою банку сардин. Этому миниатюрному консервному ключику, что у меня в руках, без разницы, что вам требуется вскрыть: банку сардин или аптечный прилавок. Как я уже не раз имел честь упоминать, идет третий или четвертый день весны, и хотя весна эта скупая, сиротливая, навевающая ностальгию, столбик термометра не дает мне спокойно усидеть на месте. Кстати, вы, надо думать, полагаете, что в данный момент я нахожусь на плас Клиши со стаканом аперитива. К слову сказать, это *действительно* имело место, только два или три года назад. Аналогичным образом, я действительно стоял у стойки бара «Мальчик с пальчик», но и это было давным-давно; тогда-то, наверное, краб и начал подъедать меня изнутри.

Все началось в метро, в вагоне первого класса, со слов: *«L'homme que j'etais, je ne le suis plus»***. Проходя мимо

* Аллюзия к роману римского писателя I века н.э. Петрония Арбитра «Сатирикон» (эпизод «Пир у Тримальхиона»).

** Я уже не тот, что прежде (фр.).

523

депо, я был снедаем двумя страхами кряду: одним — что, подними я голову чуть

выше, и глаза выскочат из орбит, и другим — что моя прямая кишка вывалится наружу. Мои внутренности распирало так сильно, что в глазах зарябило и все окружающее приобрело ромбовидное обличье. Подумалось: что будет, объяви однажды весь мир выходной, дабы на досуге поразмышлять о воздействии газов на человеческий организм. Наверняка в такой выходной случится столько самоубийств, что для перевозки тел не хватит вагонов. Проходя мимо депо в Порт, вдыхаю тошнотворную вонь, поднимающуюся от составов для транспортировки скота. Так-то вот: весь сегодняшний и весь вчерашний день (речь веду, конечно, о дне трех- или четырехлетней давности) быки и коровы простояли спина к спине, безмолвно потея от ужаса. Их туши пропитаны ощущением надвигающейся гибели. Прохожу мимо; мой ум как никогда ясен, мысли кристально чисты. Мне так не терпится выплеснуть их наружу, что, кажется, я обгоняю их во тьме. Меня тоже снедает несказанный страх. Меня тоже прошибает потом, по всему телу разливается парализующая истома, во рту поднимается невероятная сухость, от меня тоже исходит ощущение конца. Я скольжу мимо них, как письмо, падающее в почтовый ящик. Нет, не я: скользят мысли, озарения, идеи, вместилищем которых мне выпало на долю быть. Идеи аккуратно классифицированные, разложенные по конвертам, предварительно запечатанные, маркированные, проштампованные. Они, эти идеи, разбегаются кругами, как кольца телефонного провода. Жить с иллюзией или по *ту сторону иллюзий?* — вот в чем вопрос. Я бегу, а во мне растет устрашающе твердый ком с острыми, как у алмаза, гранями; эти грани скрежещут по стеклам и переплетам окон, пролетающих на моем пути. Скот в вагонах мычит и блеет. Агонизирует, скучившись в облаке теплой вони собственных экскрементов. В мои уши снова вторгаются аккорды квартета Ля-минор, душераздирающие вопли обезумевших струн. В меня вселился маньяк: он разит своим смертоносным оружием вправо и влево и успокоится лишь с финальным громовым взрывом всех инструментов. С *чистым изничтожением* — в отличие от любого иного и, следовательно, незавершенного. С таким, после которого уже некому будет подтирать кровь с пола. Сверкающим, как колесо света, стремительно скатывающееся к обрыву, а затем, через край, в черную бездну. Я, Бетховен, — творец этого колеса! Я, Бетховен, низвергаю его в небытие!

А теперь, леди и джентльмены, вы прибываете в Мексику. С этого момента все будет красивым и изысканным, картинно-изысканным, картинно-красивым. Шаг за ша-

524

гом — все более картинно-красивым и изысканно-картинным. Ни сушащегося на веревках белья, ни подтяжек, ни теплых подштанников. Бесконечное лето, и все — в строгом согласии с образцом. Лошадь — так уж лошадь, а не что-то другое. Паралич — так уж подлинный, а не пляска святого Витта. Ни шлюх по утрам, ни гардений в петлице. Ни пота, ни испарины, ни мертвых кошек на тротуарах. А если губы, так уж объятые вечным трепетом. Ибо в Мексике, леди и джентльмены, всегда знойный полдень, фуксии всегда в цвету, а что мертво, то мертво, а не прикидывается таковым. Ложишься в цементный гроб, выключаешься, как газовая горелка, и точка. Если ты преуспеваешь, Мексика — это рай. Если не преуспеваешь, это нищета, нет, *хуже чем. нищета.* Но никаких полунот, никаких мелодических выкрутасов, никаких каденций. Или — или. Или райская амброзия, или грубая обработка почвы. Но никакого чистилища и никаких болеутоляющих. Или Четвертая эклога*, или Тринадцатый аррондисман!**

В СУББОТУ, ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Это лучше, нежели *читать Вергилия.*

Суббота. Миновал полдень — единственный и неповторимый в нескончаемой череде календарных суббот, что, впрочем, не дает ни малейшего повода сближать этот полдень с теми, что наступают по понедельникам или по четвергам. Я бодро кручу педали велосипеда в сторону моста Нейи; позади уже остался крошечный робинзоновский островок с башенкой на дальнем конце; венчающая башенку миниатюрная статуя, кажется, вот-вот затрепещет в воздухе чутким колокольным язычком; и на душе у меня — такое ненарушимое чувство уюта и покоя, что кажется попросту невероятным тот факт, что я родился не здесь, а в Америке. Тихая водная гладь, рыбачьи лодчонки, железные столбы, стоящие на страже канала, лениво ползущие сонные баржи, черные шаланды и торчащие яркими пятнами пиллерсы, ровная безмятежность небес, неторопливые извивы реки, плавная линия возвышающихся над долиной невысоких холмов, непрерывная смена и в то же

* Имеется в виду Четвертая эклога пастушеской поэмы Вергилия «Буколики», воплощающая идиллическую картину «золотого века».

** Тринадцатый аррондисман (округ) — один из округов Парижа; *здесь* — символ социального, материального и духовного неблагополучия.

525

время — умиротворяющее постоянство ландшафта, неисчерпаемость жизни, неостановимо пульсирующей под полотнищем трехцветного флага, — вся неписаная история Сены вольно входит в мои жилы и, без сомнения, войдет в жилы тех, кому доведется следом за мною в какой-нибудь субботний полдень колесить по этим берегам.

Переехав мост в Булони, неожиданно сворачиваю с дороги на Медон и по склону холма спускаюсь к Севру. Проезжая пустынной улицей, замечаю маленький ресторанчик под деревьями; сквозящее сквозь листву солнце высвечивает квадратики столов. Спешиваюсь.

Есть ли на свете что-либо более восхитительное, нежели читать Вергилия или учить наизусть Гёте (*«alles Ver-gangliche ist nur ein gleichnis»** и так далее)? Представьте, есть: это устроить себе пиршество за восемь франков на свежем воздухе в Исси-ле-Мулино. *Pourtant je suis a Sevres***.* Нет нужды подлавливать меня на неточностях. Последнее время я, кстати, подумываю о том, чтобы написать нечто вроде «Journal d'un Fou»***, предположительно обнаруженного в Исси-ле-Мулино. А поскольку главный герой его по большей части списан с меня, то трапезничаю я, натурально, не в Севре, а в Исси-ле-Мулино. Что, спрашивается, может прийти на язык этому герою, когда мимо проплывает официантка с огромной пивной бутылью? *Не лови себя на ошибках, когда пишешь. Объяснять ошибки — дело биографов.* Думаю о моем друге Карле, который вот уже четыре дня не может справиться со словесным портретом женщины, ставшей объектом его очередного шедевра. — Не дается! Не дается! — вздыхает он.. Ну хорошо, вступает в игру герой «Дневника», позволь мне сделать это за тебя. *Начни! —* вот что главное. Допустим, нос у нее не орлиный. Тогда какой: тонкий, нежно очерченный, как у серафимов? Разве в этом дело? Если портрет не задается с самого начала, то потому, что ты описываешь не ту, кого имеешь в виду; больше думаешь о тех, кто будет на него смотреть, нежели о сидящей перед тобой женщине. Вот еще один пример — Ван Норден. Тут уже два месяца как застрял на первой странице своего романа. Каждый раз, что я его встречаю, у него наготове новый зачин. А потом — затор. Вчера он сказал мне: — Понимаешь, в чем моя проблема? Дело ведь не в том, чтобы просто начать:

первая строка задает тональность всей книге. Вот что я придумал позавчера: «Данте написал поэму о пр.....ей».

* «Все быстротечное — символ, сравнение» (нем.) — финальная реплика второй части «Фауста» (пер. Пастернака).

** И, тем не менее, я в Севре *(фр.).*

*** «Дневника сумасшедшего» *(фр.).*

526

Обязательно с отточием: у меня нет ни малейшего желания, чтобы меня разорвали на части цензоры*.

> Вдумайтесь: роман начинается с пр.....ей! С маленькой индивидуальной камеры пыток, до которой, разумеется, не должно быть никакого дела цензорам! Любопытно, не то же ли терзало старину Уитмена, когда он начинал поэму словами: «Я, Уолт, тридцатишестилетний... Я прочен и крепок... Все предметы вселенной, сливаясь воедино, стекаются отовсюду ко мне... Уолт Уитмен, космос, сын Манхэттена, буйный, дородный, чувственный, пьющий, едящий, рождающий... Прочь затворы дверей! И самые двери прочь с косяков!.. Сейчас или позже — все равно для меня... Я таков, каков я есть и не жалуюсь...»**

У Уолта *всегда суббота после полудня.* Если ему трудно описать женщину, он признается в этом и обрывает описание на третьей же строке. А придет очередная суббота, проглянет солнышко, — и он, чем черт не шутит, добавит в своем портрете недостающий зуб или лодыжку. Всему свое время, спешить некуда. Я *принимаю Время абсолютно».* Не то что мой друг Карл: тот, наделенный живучестью клопа, всегда готов наделать в штаны: как же, прошло четыре дня, а в руках у него — всего лишь контур будущего портрета. — Решительно не могу представить себе, что могло бы послужить причиной моей смерти, — обожает приговаривать он, — ну разве что какой-нибудь непредвиденный несчастный случай. — А пофилософствовав и потерев ручонками, запирается в своей комнате избывать собственное бессмертие. Ни дать ни взять клоп, закравшийся под обои.

Жаркое солнце стремится ко мне сквозь навес. А меня между тем пробирает озноб — пробирает от сознания, что срок моего пребывания на земле иссякает так быстро. Иссякает с каждой секундой. Слишкой скупой, чтобы сделать зарубку на память о той, что уже отзвучала, я как одержимый вцепляюсь в секунду, спешащую ей на смену... Есть ли что-либо более восхитительное, нежели читать Вергилия? Да вот это! Растянувшийся до бесконечности миг, еще не обозначивший себя тиканьем или боем, изначальный миг, перед которым меркнут ценности, различия, оттенки. Спонтанный взлет ввысь и наружу

из потаенных

* В оригинале — иронический обыгрыш: английское слово hell *(букв.* ад, преисподняя) согласно цензурным установлениям в Великобритании и США в 20—30-е годы входило в число непечатных.

** Здесь (и *далее*) — вразброс цитируются строки из знаменитой поэтической книги Уолта Уитмена «Листья травы» (пер. К. Чуковского).

527

глубин. Крик, не таящий в себе ни сокровенных истин, ни кладезей вековечной мудрости. Бессмысленное бормотание, нечленораздельный лепет, обращенный ко всем и каждому, без учета наречий и языков. Лепет, в котором грань между разумом и безумием тонка до неразличимости. Лепет, в котором все просто до идиотизма. Блаженный дурман, с высот которого скатываешься на луг доброго здравомыслия, где обитают Вергилий, Данте, Монтень и все остальные, певшие лишь об одном — о восторге мига, единственного бесконечного мига, эхом отозвавшегося в вечности... Бормотание и лепет. Обращенный ко всем и каждому. Миг, когда я подношу стакан ко рту, краешком глаза следя за мухой, уютно примостившейся на моем мизинце; и муха так же неотторжима от этого мига, как рука, стакан, который она держит, пиво, пенящееся в стакане, или мысли, которые оно рождает и оно же уносит в забвение. Миг, открывающий мне, что нет смысла доверяться дорожным указателям типа «В Версаль» или «В Сюрень», проще сказать — всем и всяческим указателям; посещать стоит только те места, куда указатели не зовут. Миг, когда пустынная улица, на которой я остановился перевести дух. вдруг оказывается полным-полна народу, а все примыкающие к ней оживленные проспекты — безлюдными. Миг, когда венцом ожиданий становится любая забегаловка, лишь бы путь в эту забегаловку не был кем-то подсказан. На тарелке передо мною — лучшая пища на свете, хотя, признаться, сквернее едать мне не доводилось. Хлеб, до которого не снизойдет никто, кроме гения: он всегда под рукой, без особых проблем усваивается и — им не объешься. — Как вам рокфор, ничего? — интересуется официантка. Не то слово: *божественен!* Это самый прогорклый, самый червивый, самый омерзительный рокфор, какой когда-либо выходил из недр сыроварни; в нем копошатся черви, во время оно глодавшие плоть Данте, Вергилия, Гомера, Боккаччо, Рабле, Гёте, вообще все черви, появлявшиеся на свет и находившие прибежище в сыре. Чтобы питаться им, надо быть гением. И я, Мигель-Федор-Франсуа-Вольфганг-Валентайн Миллер, готов влезть в этот сыр с головой.

Подъезд к мосту вымощен булыжником. Я еду так медленно, что каждый из них успевает послать четкий сигнал моему спинному хребту, а тот, в свою очередь, — в клетку из кожи и костей, в которой, посверкивая огнями своих семафоров, безраздельно владычествует medulla oblongata*. Предусмотрительно оглядевшись вправо и влево, въезжаю на севрский мост — или любой другой, текут ли под

* Продолговатый мозг (лат.).

528

ним воды Сены, Марны, Луары, Урк, Од или Ло, реки Щэннон или Лиффи, Ист-Ривер или Гудзона, Миссисипи, Колорадо, Амазонки, Ориноко, Иордана, Тигра, Иравади. Пересекая севрский мост, пересекая любой из мостов (а я пересек их все, не исключая и тех, что вознеслись над Нилом, Дунаем, Волгой, Евфратом), я изрыгаю во всю мощь своих легких то, что некогда выкрикнул одержимый, впоследствии получивший известность под именем апостола Павла: — Смерть, где жало твое? — За моей спиной — Севр, впереди — Булонь; но то, что течет подо мною — Сена, рождающаяся в неведомых далях из мириад безымянных ручьев, плавная струя, выходящая на поверхность из-под миллиардов корней, невозмутимое зеркало, неостановимо влекущее вперед облака и дарящее мир былому, Сена, неустанно стремящая вдаль свои тихие воды, пока между зеркалом и облаками свершаю свое поперечное движение я: я, завершенное целое, сложенное из миллионов частиц, я, средоточие вселенной, подводящее итог ее бессчетным векам, я со всем, что движется подо мною и плывет над моей головой, со всем, что пылает во мне, я и все это, объятые общим ритмом движения, — такая Сена, любая Сена, схваченная планкой моста, по которому движется человек на велосипеде, — чудо. *Это лучше, нежели читать Вергилия...*

Возвращаюсь в Сен-Клу. Колеса медленно крутятся, спидометр в серой костяной клетке отщелкивает метры, как кадры кинохроники. Мой манометр в полном порядке;

я держусь за руль велосипеда, и он меня слушается; спускаясь по холму, торможу как положено; с неменьшим удовольствием я мог бы крутить педали на топчаке: тогда надо мною сияло бы зеркало, а под ногами плыла история. Или наоборот. Со всех сторон высвеченный солнцем, я безразличен ко всему, кроме игры света. Вот слева от меня растет холм Сен-Клу, деревья склоняют ветви, даря мне полосы тени, дорога стелется ровно и гладко, миниатюрная статуя сияет на башенке веселым язычком колокола. Любое средневековье — благо, осеняет оно историю или жизнь отдельного человека. Стоит

безоблачная погода, во все стороны протягиваются тропинки, и все они — под гору. Была б моя воля, я не стал бы разравнивать проселочные пути, не стер бы с лица земли ни единого бугорка. Ведь с каждым ухабом в сигнальной башне вспыхивает новый огонек. Мысленно помечаю все оставленные позади неровности Дороги; отныне, чтобы воскресить ход моих размышлений, понадобится лишь еще раз с закрытыми глазами проделать это путешествие, еще раз ощутить кожей эти ухабы.

529

На мосту Сен-Клу спешиваюсь. Спешить мне некуда: так или иначе в запасе у меня весь день. Поставив велосипед под деревом, направляюсь к писсуару. Все, что со мною происходит, — подарок судьбы, даже этот писсуар. Со вкусом облегчаясь, разглядываю фасады домов, пока боковым зрением не замечаю скромного вида молодую женщину, высунувшуюся из окна, чтобы получше рассмотреть меня. О, сколько раз стоял я так, расслабившись у стены в улыбающемся, ласковом мире, жмурясь от теплого солнца и внемля неугомонному птичьему пересвисту, чтобы внезапно обнаружить без стеснения разглядывающую меня из открытого окна женщину, чья улыбка дробится на мельчайшие крошки — крошки, которые воробышки заботливо собирают в клювики, дабы выпустить на земле, где-то рядом с писсуаром, — там, где мелодично журчит вода, где стоит мужчина с расстегнутой ширинкой, извергая на эти тающие крошки кипящее содержимое своего мочевого пузыря. Пока стоишь так, с душой и ширинкой нараспашку, вспоминается каждое отхожее место, куда ступала твоя нога; в памяти воскресают все нежнейшие ощущения, все сладчайшие миги прошлого; мозг преображается в подобие необъятного дивана, утопающего в мягких подушках, а вся жизнь кажется долгой сиестой в знойный день, которому нет конца. Меня вовсе не удивляет, что в центр парижского павильона на Чикагской выставке американцы выдвинули... писсуар. Уверен, именно там — его законное место, и, поступая так, устроители воздали Франции подобающую ей дань. Хотя, пожалуй, и не было острой необходимости водружать над этим экспонатом трехцветный стяг. *Un peu trop fort, co*!* С другой стороны:

как побудить француза понять, что первое, что бросается в глаза заезжему американцу, приводит его в восторг, пробирает, что называется, до самых печенок, — этот вездесущий писсуар? Как втемяшить французу в голову, что американца, с ненасытным интересом разглядывающего *pissotiere** или vespasienne**,* как его ни называть, изумляет прежде всего то обстоятельство, что он — в гуще народа, прекрасно осознающего необходимость время от времени опорожнять мочевой пузырь, а раз так, то и обеспечить этот процесс всем, что для него требуется. Отдающего себе отчет в том, что если этого не будут делать на публике, при свете дня, наверняка будут делать в уединении. Счастливая нация, французы считают, что облегчаться на улице ничуть не более предосудительно, нежели

* Это уж слишком! *(фр.).*

** Французские наименования санитарно-гигиенических приспособлений.

530

в подвальных клозетах, где на вас подозрительно поглядывает какая-нибудь старая карга, бдительно следя, чтобы вы ненароком не нарушили заведенный порядок.

Я привык отливать часто и обильно, в чем принято усматривать признак напряженной умственной работы. Так это или нет, должен признаться, что на улицах Нью-Йорка я нередко впадаю в панику. Хожу, все время вычисляя в уме, где следующий общественный туалет, и гадая, удастся ли мне до него дотерпеть. И если зимой, когда вы голодны и без гроша в кармане, приятно пару минут провести в теплом подвальном клозете, положение в корне меняется, как только приходит весна. Тогда вас так и подмывает освободиться от выпитого в ясном свете солнца, среди людей, которые сверху поглядывают на вас и улыбаются. Спору нет, быть может, женщина, приседающая на горшок по естественной надобности, и не воплощает собой самое завораживающее зрелище на свете; зато ни один нормальный человек не станет отрицать, что созерцать мужчину, остановившегося возле жестяного желоба и взирающего на людскую толчею с довольным, ублаготворенным, чуть рассеянным видом, подметить в его глазах выражение неизъяснимого блаженства — одно удовольствие. И неудивительно: освободить переполненный мочевой пузырь — одна из величайших жизненных радостей.

Есть в Париже несколько писсуаров, в удовольствии посетить которые я никогда не могу себе отказать. В их числе — видавшее виды жерло у здания лечебницы для глухонемых на углу рю Сен-Жак и рю дель Абе-дель-Эпе и еще один — на перекрестке рю д'Асса и рю Гинмер в Люксембургском саду. Здесь-то в одну прекрасную весеннюю ночь, не помню в силу какого стечения обстоятельств, я и обрел заново старого своего друга — Робинзона Крузо. Погрузившись на всю ночь в пленительную магию

воспоминаний, в трепет и боль. В *сладкую* боль, в *сладкий* трепет.

«Чудеса, выпавшие на долю этого человека, — говорится в предисловии к первому изданию книги, — превосходят любые ожидания; жизнь одного смертного вряд ли может вместить большее число самых разнообразных событию». Остров (ныне он известен под именем Тобаго), лежащий в устье многоводной Ориноко в тридцати милях -к северо-востоку от Тринидада. Тот самый, на котором "означенный Крузо в одиночестве прожил целых двадцать ^восемь лет. Следы босой ноги на песке, так выразительно вытисненные на обложке. Дикарь по имени Пятница. Зонтик... Чем эта непритязательная сказка столь властно влекла к себе умы людей XVIII столетия? Voici* Ларусс:

* Вот что пишет *(фр.).*

531

«...la recit des aventures d'un homme qui, jete dans une ile deserte, trouve les moyens de se suffire et meme de se creer uri bonheur relatif, que complete 1'arrivee d'un autre etre humain, d'un sauvage, Vendredi, que Robinson a arrache des mains de ses ennemis... L'interet du roman n'est pas dans la verite psychologique, mais dans L'abondance des details minutieux qui donnent une impression saissante de realite»*.

Итак, Робинзон Крузо не только отыскал способ продолжить существование, но и сам создал для себя относительное счастье! Браво! Наконец-то перед нами человек, способный удовольствоваться *относительным,* счастьем. Как это чуждо англосаксонскому менталитету! Как по-язычески! Осовременив фабулу (т. е. вывернув Ларусса наизнанку), мы тут же обнаружим в романе историю художника, стремящегося выстроить вокруг себя целый мир, историю едва ли не первого подлинного невротика — человека, спровоцировавшего крушение собственного корабля с тем, чтобы вырваться за пределы своей эпохи и зажить самостоятельной жизнью в мире, который он смог бы добровольно разделить с другим — *тёте un sauvage***. Немаловажно, что, дав волю своему невротическому импульсу, он действительно обретает относительное счастье, пусть и в одиночестве на необитаемом острове, не имея под рукой, быть может, ничего, кроме старого ружья и пары рваных штанов. Чистая доска плюс двадцать пять тысяч лет «прогресса» после изгнания из рая, заложенные в его нервных клетках. Просветительская концепция относительного счастья! А когда появляется Пятница (или *Vendredi****), хотя он всего лишь дикарь и не владеет понятным Крузо языком, крут замыкается. Надо бы перечитать эту книгу еще раз; в какой-нибудь дождливый день обязательно это сделаю. Это замечательное произведение, возникшее на головокружительном гребне нашей несравненной фаустовской культуры. За краем горизонта уже ждут своей очереди такие гиганты, как Руссо, Бетховен, Наполеон, Гёте. Цивилизованный мир не спит ночей, зачитывая его до дыр на девяносто семи существующих языках. Это слепок с

* «...повесть о приключениях человека, который, будучи выброшен на необитаемый остров, находит средства к существованию и сам создает для себя относительное счастье, дополняющееся появлением другого человека — дикаря Пятницы, *ко*-торого Робинзон вырывает из рук его врагов... Достоинство романа заключается не в психологической правде, но в обилии частных деталей, создающих впечатление поразительной достоверности» (фр.).

** Он же дикарь *(фр.).*

*** Пятница *(фр.).*

532

реальности XVIII века. Отныне из вольных океанских просторов уже никогда не вынырнет на поверхность необитаемый остров. Отныне, где бы ты ни родился, ты — на необитаемом острове. В душе каждого затаился уголок собственной окультуренной пустыни — островок собственного я, на который его выбросила буря; вопрос о счастье — относительном ли, абсолютном ли — окончательно снят с повестки дня. Отныне участь любого — бежать от самого себя в тщетной надежде обрести несуществующий необитаемый остров, пытаясь еще раз воплотить мечту Робинзона Крузо. Вглядитесь в траекторию классических образцов бегства — бегства Мелвилла, Рембо, Гогена, Джека Лондона, Генри Джеймса, Д. Г. Лоуренса... тысяч таких, как они. Ведь ни одному не суждено было обрести счастье. На долю Рембо выпал рак. На долю Гогена — сифилис. На долю Лоуренса — белая чума. Да, чума — точнее не скажешь! Именуют ли ее раком, сифилисом, туберкулезом или еще каким словом. *Все это чума!* Чума современного прогресса: колонизация, торговля, бесплатные библии, война, эпидемии, механические протезы, заводы, рабы, сумасшествие, неврозы, психозы, рак, сифилис, туберкулез, анемия, забастовки, локауты, голод, нищета мыслей, духовная пустота, тщетность порывов, тревога, отчаяние, скука, самоубийство, банкротство, атеросклероз, мегаломания, шизофрения, грыжа, кокаин, синильная кислота, слезоточивый газ, бешеные собаки, самовнушение, самотерапия, психотерапия, гидротерапия,

электромассаж, пылесосы, редукция слов, геморрой, гангрена. Ни необитаемых островов. Ни рая. Ни счастья — даже относительного. Жители земли бегут от самих себя отчаянно, безоглядно, взыскуя спасения в толще арктических льдов и тропических топях. Очертя голову, карабкаются по склонам Гималаев, рвут на части легкие в заоблачных высях небес...

Видение конца — не оно ли так властно притягивало к себе людей XVIII столетия? Заглянув в бездну, они ужаснулись. Им захотелось двинуться вспять, еще раз укрыться в тепле женского чрева.

ВОТ МОЕ «ДОПОЛНЕНИЕ К ЛАРУССУ»...

В тот день, стоя у писсуара в Люксембургском саду, я подумал: как мало, в сущности, важно, что написано в книге. Реальную значимость придает ей момент прочтения — момент, в котором она выступает лишь как одно из Составляющих, наравне с другими факторами, прочно и навсегда закрепляющими ее место в текучей и изменчивой среде существования: с пронизанным солнечными лучами воздухом в комнате, с ее атмосферой неспешного выздоровления, с ее уютной мебелью, с тряпичным ковром на полу, с неуловимо поселившимися в ней запахами стирки

533

и готовки, смутно ассоциирующимися с материнским началом — необъятным, внушающим трепет, подобно священному животному; с выходящими на улицу окнами, шлющими на сетчатку глаза неровные, удлиненные контуры удаляющихся фигур, кривых, сутулых стволов, ветвящихся троллейбусных проводов; с кошками на крышах, с пугливыми тенями, скачущими на вывешенном для сушки белье, с неостановимо вращающимися дверями салунов, раскрывающимися зонтами, скользящими лошадиными подковами, с шумом снимающимися с места автомобилями, замерзшими стеклами окон, овеянными зеленой дымкой деревьями. Обаяние истории Робинзона Крузо — по крайней мере, в моих глазах — целиком обусловлено моментом, в какой я впервые раскрыл эту книгу. В тогдашнем, исполненном грез и фантомов отрезке моей жизни эта история продолжает жить и поныне — став неумирающей частью полного фантомов существования. В моем личном пантеоне место Робинзона Крузо — рядом с некоторыми песнями Вергилия, а также магической фразой: *«Который час?»* Когда бы я ни вспоминал о нем, мои губы сами собой складываются в рефлекторный вопрос: *«Который час?»* Вергилий видится мне очкастым, лысоголовым ублюдком, откидывающимся на спинку стула и оставляющим на доске жирные пятна; лысым ублюдком, непрерывно разевающим пасть в нескончаемом приступе словесной диарреи, вот уже четыре года не отпускающей его по пять дней в неделю; из огромной пасти со вставными зубами вязко вытекает нечто пророчески-бессмысленное: *«Rari nantes in gurgite vasto»**. Живо припоминаю злорадство, с каким он выговаривал эту фразу — гениальную, если верить лысому очкастому ублюдку. Мы скандировали ее, разбирали по членам предложения и частям речи, мы бесконечно повторяли ее за ним, мы глотали ее, как рыбий жир, пережевывали, как таблетки от поноса, как и он, открывая рты во всю ширь, и по пять дней в неделю год за годом, уподобляясь вконец заезженной граммофонной пластинке, дублировали чудо — пока в один прекрасный день Вергилий не иссяк и не убрался навсегда из нашей жизни.

Однако каждый раз, когда очкастый ублюдок разевал пасть и с его губ с невероятной медлительностью сползала эта фраза, мое сигнальное устройство с завидной оперативностью регистрировало другую, воплощавшую для меня тогда самое главное: *«Который час?»* Скоро — математика. Скоро — большая перемена. Скоро — умываться... У меня

* «Изредка видны пловцы средь широкой пучины ревущей...» (лат.) — ставшая нарицательной фраза из книги первой «Энеиды» Вергилия (пер. С. Ошерова).

534

нет и тени сентиментального пиетета перед Вергилием и его треклятым *«Rari nantes in gurgite vasto».* Готов хоть сейчас заявить под присягой — и не краснея, не заикаясь, не подавая никаких признаков смущения, стыда или запоздалой вины, — что всегда считал (да и ныне не склонен менять свое мнение): и тысяча Вергилиев не стоит одной большой перемены, проведенной в школьном клозете. На переменах мы оживали. На переменах нас, благонравных и желторотых, словно подменяло: хлопая дверьми, ломая запоры, мы перебегали из кабинки в кабинку. Со стороны могло показаться, что нас скопом поразило буйной горячкой. Бомбардируя всех и вся объедками съестного, мы орали, визжали, сквернословили, ставили друг другу подножки, назидательно приговаривая: *«Rari nantes in gurgite vasto».* Шум стоял такой оглушительный, а урон от наших проказ бывал такой ощутимый, что всякий раз, как мы, желторотые и благонравные, нестройной ватагой устремлялись в клозет, за нами туда же следовал преподаватель латыни, а в его отсутствие — учитель истории. Ну и гримасы же корчили эти зануды, чинно стоя с

аккуратными сэндвичами в руках и героически пытаясь сохранять спокойствие в бедламе, учиненном нашей ордой. А едва случалось им выйти на минутку за дверь вдохнуть свежего воздуха, как мы, изо всех сил надрывая глотки, принимались горланить песни — вещь формально не запрещенная, но, понятное дело, заставлявшая наших очкастых менторов (им ведь тоже время от времени приходилось пользоваться уборной!) исходить лютой завистью.

О, незабываемые перемены в клозете! Им я обязан тем, что узнал Боккаччо, Рабле, Петрония, «Золотого осла»*. Можно смело сказать: все лучшее, что мне довелось прочесть, я прочел, сидя на унитазе. На худой конец, мог сгодиться «Улисс»** или детектив. (Впрочем, в «Улиссе» есть пассажи, которых и не прочтешь иначе как на толчке — если, разумеется, хочешь сполна насладиться их содержанием.) Упоминаю об этом не для того, чтобы принизить писательский дар его создателя. Как раз напротив: это лишь еще теснее сближает его с Абеляром, Петраркой, Рабле, Вийоном, Боккаччо — всем этим кругом подлинных, Жизнерадостных творцов, никогда не останавливавшихся

* Широкоизвестный роман римского писателя II в. н.э. Апулея.

** Роман англо-ирландского прозаика Джеймса Джойса (издан в 1922 году), справедливо считающийся библией западного литературного авангарда XX столетия. Долгие годы подвергался Цензурным преследованиям по соображениям общественной благопристойности, как и сочинения Г. Миллера.

535

перед тем, чтобы дерьмо назвать дерьмом, а ангелов ангелами. Вот уж творцы как творцы, не какие-нибудь там «*rarinantes in gargite vasto».* И чем проще, непритязательнее, задрипаннее клозет, тем лучше. (То же можно сказать и о писсуарах.) Так, для того, чтобы до конца оценить Рабле — к примеру, главу «Как заново построить стены Парижа», — могу рекомендовать самый что ни есть обычный деревенский нужник: дощатый сарайчик посреди кукурузных гряд с дверью, сквозь которую проникает узенькая полоска дневного- света. Ни металлических ручек, ни эмалированных бачков для слива, ни розовой туалетной бумаги. Всего-навсего грубо вытесанное сиденье с «очком», в которое может поместиться ваш зад, и еще пара таких же сидений — направо и налево. Если можете предпринять такого рода экскурсию в обществе друга, прекрасно! В хорошей компании от хорошей книги всегда больше удовольствия. В таком нужнике вы проведете вместе с приятелем замечательные полчаса — полчаса, которые останутся в вашей памяти на всю жизнь, вместе с книгой и запахами этого заведения.

Уверяю вас: взяв с собой в клозет настоящую книгу, вы не подвергнете ее ни малейшему риску. Ущерб могут понести одни дрянные книжонки: ведь только их страницами подтираешь зад. Вот одна из таких — «Маленький Цезарь»* (недавно ее перевели на французский и издали в серии «Passions»**). Листаешь страницу за страницей, и тебе кажется: ты снова —- дома, в глаза прут газетные заголовки, слух режет паскудное радио, разъезжаешь в дребезжащих колымагах, глушишь печаль-тоску дешевым джином, .от нечего делать трахаешь кукурузным початком шлюховатых девственниц, от маразма вздергиваешь негров на веревке, а потом поджариваешь заживо. Прочтешь пару глав, — поносом прошибет. Так же, впрочем, действует и «Атлантик мансли», и любой другой толстый ежемесячник. И сочинения Олдоса Хаксли, Гертруды Стайн, Синклера Льюиса, Хемингуэя, Дос Пассоса, Драйзера и т. д. и т. п. Прихватывая их с собою в ватерклозет, почему-то не слышишь предостерегающего позвякивания заветного колокольчика. Нажимаешь рычаг, — и они отправляются в клоаку. В Сену, а затем в Атлантику. Пройдет год, а там, может, и вынырнут вновь где-нибудь на Кони-Айленд, на Мидленд-Бич или в Майами вместе с дохлой рыбой, ракушками, моллюсками, использованными презервативами,

* Криминальный роман американского бульварного беллетриста Уильяма Бернетта (издан в 1927 году).

** «Страсти» *(фр.).*

536

розовой туалетной бумагой, вчерашними новостями газетной полосы, завтрашними самоубийцами...

Нет, хватит воровато заглядывать в замочную скважину! Хватит мастурбировать в потемках! Хватит закатывать глаза в публичных словоизвержениях! *«И самые двери прочь с косяков*!»* Подайте мне мир, где знаком влагалища выступает недвусмысленная вульгарная щель, мир, взыскующий первобытной грации кости, мускула, спинного хребта, мир, пламенеющий главными цветами спектра, мир, не утративший гордости и благоговения перед животным своим началом. Меня с души воротит, когда вместо грубого женского естества мне подсовывают ощипанный, нафабренный, напомаженный, прикидывающийся невесть чем его суррогат. Суррогат с торчащими наружу нервными

окончаниями. Мне осточертело читать, как целыми главами непорочные девы мастурбируют в тиши своих спален, нервно кусают ногти, дергают себя за кудряшки, валяются на постелях, усыпанных хлебными крошками. Нет, мне подавайте погребальные шесты, которые в ходу на Мадагаскаре: шест, а на него нанизано животное, а на нем — еще одно, а на самом верху — Адам и Ева, Ева с недвусмысленной вульгарной щелью между ног. Подавайте гермафродитов, но настоящих, а не этих ублюдочных, расхаживающих по земле с понурым членом или никогда не увлажняющимся влагалищем. Я хочу, чтобы в мир вернулась классическая чистота, при которой дерьмо называлось дерьмом, а ангел — ангелом. Как, к примеру, в Библии — в английской версии короля Иакова. Не в версии Уиклиффа, не в современной, не в греческой, не в древнееврейской, но в той славной, разящей, как дротик, версии Библии, которая была создана, когда английский язык переживал пору своего расцвета; когда с помощью лексикона в двадцать тысяч слов возводился памятник на все времена. Библия на шведском или тагальском, Библия на китайском или готтентотском, Библия, извивающаяся утрем, прокладывая дорогу смыслу, сквозь зыбучие пески французского, — все это фальшь и липа. А вот версия короля Иакова — ту создавала раса костоломов. В ней оживают первобытные мистерии, оживают убийство, поругание, кровосмешение, оживают эпилепсия, садизм, меггаломания, оживают ангелы, бесы, драконы, левиафаны, оживают волшебство, изгнание дьяволов, приворотные 'зелья, заклятие духов, оживают братоубийство, цареубийство, отцеубийство, самоубийство, оживают гипнотизм, анархизм, лунатизм, оживают песня, пляска, игра,

* Цитата из «Листьев травы» Уолта Уитмена (пер. К. Чуковского).

537

оживают глухое, подземное, зловещее, потаенное, оживают мощь, зло и слава, имя которым — Бог. Все вынесено на поверхность во вселенском масштабе, и все — в таком крутом и пряном засоле, что не испортится до следующего ледникового периода.

Итак, да здравствует классическая чистота, — и пусть подавятся господа из почтового департамента!* Ибо чему, в сущности, обязаны классики тем, что живут, а не претерпевают, подобно нам и всему нас окружающему, процесс непрерывного умирания? Что помогает им выстоять против убийственного напора времени, как не соль, сосредоточившаяся в их чреслах? Когда читаешь Петрония, или Апулея, или Рабле, какими близкими они предстают! Этот терпкий привкус соли! Этот запах зверинца! Запах конской мочи и львиных отбросов, смрад, источаемый разинутой пастью тигра, и смрад, исходящий из слоновьего зада. Похоть, бесстыдство, жестокость, праздность, веселье. Неподдельность кастратов. Неподдельность гермафродитов. Неподдельность пенисов. Неподдельность влагалищ. *Неподдельность пиршеств.* Рабле ничего не стоит заново отстроить парижские стены, сложив их из бесчисленных женских чресел. Тримальхиону — засунув в горло соломинку, без остатка выблевать поглощенное, а затем со смаком барахтаться в собственной блевотине. Пока в ложе амфитеатра безучастно клюет носом тучный, обожравшийся извращенец-император, львы, шакалы, гиены, тигры, пятнистые леопарды с хрустом уминают на арене живую, кровоточащую человеческую плоть, а в это время на нее восходят по золотым ступеням, возглашая: *«Аллилуйя!»,* — новые жертвы, новые мученики и глупцы.

Размышляя о клозетах, я переживаю заново некоторые из лучших мгновений моей жизни. Вот писсуар в Булони: прямо передо мною — зеленеющий холм Сен-Клу, сверху из окна на меня смотрит женщина, лучи солнца игриво посмеиваются в зеркальной глади реки. Мысленным взором оглядываю самого себя: странного американца, задавшегося целью передать это безмолвное знание соотечественникам — тем, кто когда-то, повторяя путь моих странствий, на пару минут остановятся в каком-нибудь восхитительном французском уголке, дабы освободить мочевой пузырь. От души желаю им всего лучшего и — ни мельчайшей песчинки в почках.

Пока же беру на себя смелость рекомендовать еще несколько хорошо знакомых мне писсуаров. Быть может, в

* Имеется в виду функция идеологической цензуры литература и искусства, в Западной Европе и США в значительной мере возлагавшаяся на чиновников почтовых ведомств.

538

непосредственной близости от некоторых из них и не окажется женщины, которая улыбчиво взглянет на вас сверху, зато наверняка будет полуразвалившаяся стена, заброшенная колокольня, дворцовый фасад, пестрящая разноцветьем полотняных тентов площадь, фонтан, стайка голубей, книжный киоск, зеленной рынок... Места для писсуаров французы почти всегда выбирают с безошибочной точностью. Мне сразу приходит на память один из них — в Каркасоне: от него открывается великолепный вид на крепость. Он размещен так стратегически точно, что в вашей душе (коль скоро ее не

отягощает безысходная грусть) просто не может не возродиться то же чувство восторга, благоговения и чуда, какое осеняло во время оно утомленного рыцаря или монаха, когда, замедляя шаг у подножия холма — там, где ныне сбегает поток, без остатка унесший из этих краев эпидемию, — он устремлял взор на суровые, обветренные замковые башни, хранящие неколебимое спокойствие на фоне клубящихся облаков.

И тут же вспоминается еще один — тот, что у самого Папского дворца в Авиньоне. Всего в полусотне шагов от небольшой живописной площади, которая в свежести весенней ночи так и шуршит шелками и бархатом, поблескивает масками и конфетти; струя времени течет так неслышно, что чуткий слух, кажется, ловит замирающие звуки рожков; но еще миг — и эта призрачная музыка ночи тонет в ударах гулкого гонга. И всего в полусотне шагов от квартала невысоких домов, освещенных красными фонарями. К вечеру, когда спадает зной, его кривые улочки оживают; у подъездов домов появляются полуодетые женщины; лениво цедя сигаретный дым, они окликают прохожих. Чем ближе ночь, тем теснее смыкается узкое кольцо убогих домишек; выдавливаемые боковыми проулками, к центру высыпают толпы досужих, охочих до плоти мужчин; они беспорядочно толкутся на мостовой, бесцельно снуют, выныривая то тут, то там, подобно ищущим родственного прибежища сперматозоидам, пока их наконец не втянут в себя раскрытые утробы борделей.

Сегодня, стоя у писсуара возле Папского дворца, пульса этой другой жизни почти не ощущаешь. Молчаливый, холодный, похожий на гигантскую гробницу, господствует он над неширокой безлюдной площадью. Напротив — нелепое здание, именуемое Музыкальным институтом. Дворец и институт; так они и взирают друг на друга поверх пустующей мостовой. Нет уже пап. Нет и музыки. Без следа растаяли блеск и говор славной эпохи. Не прячься за институтом маленький суетливый квартальчик, кто мог бы вообразить, какой некогда была жизнь под сводами Папского дворца? Когда эта гробница кишмя-кишела людьми, между

539

резиденцией наместника Божия и извилистыми городскими улочками вряд ли пролегала китайская стена; лачуги со щербатой кровлей, должно быть, простирались до самых дворцовых порталов. Мне что-то подсказывает, что, выходя из своих сверкающих чертогов, святейший отец немедленно оказывался в неразрывной связи со всем, что происходило за их пределами. На фресках и поныне сохранились кое-какие следы бившейся тогда жизни: жизни на вольном воздухе, полнившейся охотой, рыбной ловлей, веселыми играми, соколами, борзыми, дамами, плещущейся на солнце рыбой. Бурной жизни католиков, проходившей на фоне интенсивных синих и зеленых тонов, жизни греха, покаяния и благодати, тонувшей в канареечной желтизне и золотистой охре парадных одежд, в пурпуре кардинальских мантий и розовой свежести родниковых струй. В личных апартаментах палы в уголке дворца, откуда открываются незабываемые авиньонские крыши и разрушенный мост через Рону, в этих апартаментах, где, по слухам, строчились папские буллы, тона фресок и сейчас так свежи, так естественны, дышат такой неподдельной жизнью, что даже немая гробница, в какую превратился ныне дворец, таит в себе больше радости бытия, нежели лежащий за ее пределами мир. Без труда вижу святейшего отца за письменным столом; под рукой у него папская булла, а возле локтя — неимоверных размеров пивная кружка. Вижу и красивую пышнотелую девицу, примостившуюся у него на коленях, а этажом ниже, под сводами огромной кухни, покручиваясь на вертелах, жарятся необъятные бычьи и бараньи туши, и церковники не столь высокого ранга (испокон века они отличались завидным аппетитом) жрут и пьют до отвала под надежной защитой толстых дворцовых стен. И никаких схизм, никакого раскола, никаких споров о содержимом выеденного яйца. Когда наступал черед болезни, она не обходила стороной ни дворцы, ни лачуги, с равной неотвратимостью вселяясь в тучные чресла святых отцов и упругие чресла крестьян. А когда на Авиньон снисходил дух Господень, преградой ему не мог стать Музыкальный институт: нет, этот дух проникал сквозь стены, сквозь тела, сквозь барьеры каст и сословий. В квартале красных фонарей он сиял столь же ярко, сколь и на холме. Избежать этого не дано было и папе, как ни приподнимай он полы своей сутаны. В стенах дворца и за его пределами текла одна и та же жизнь — жизнь, исполненная веры, разврата, кровопролития. Расцвеченная главными цветами спектра. Пронизанная жаром первозданных страстей. Фрески красноречивы. Громче и выразительнее книг по-

540

вествуют они о том, как день за днем протекала эта жизнь. Неважно, что папы бормотали себе в бороду; важно, что они повелевали запечатлеть на фресках. От яркости которых меркнут слова.

АНГЕЛ — МОЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК!

Я намереваюсь рассказать здесь о возникновении шедевра. Шедевр висит передо мною на стене; он уже высох. Я отмечаю это, чтобы запомнить все стадии его рождения, поскольку, быть может, не создам второго такого, как этот.

Мы должны вернуться чуть-чуть назад... Целых два дня во мне идет борьба. Если бы нужно было выразить это ощущение коротко, я сравнил бы себя с загнанным в ствол патроном. Это почти точно определяет мое душевное состояние, ибо, когда я проснулся этим утром, единственное, что помнилось из сна, был мой большой чемодан, смятый, как старая шляпа.

В первый день ощущение еще какое-то неопределенное. Однако оно достаточно сильно, чтобы отбить охоту ко всяким делам. Я напяливаю шляпу и иду на выставку Ренуара, оттуда в Лувр, из Лувра на рю де Риволи — в то ее место, где она больше не напоминает рю де Риволи. Там я три часа сижу, попивая пиво и завороженно глядя на проходящих мимо чудовищ.

На другое утро я встаю убежденный, что предстоит сделать нечто. Я чувствую, как во мне едва уловимо растет напряжение, как у авгуров. Моя записная книжка валяется возле меня. Я хватаю ее и листаю рассеянно. Пролистав, начинаю снова — на сей раз внимательнее. Записи до того неразборчивы, что может уйти год титанических усилий, чтобы прочесть простую фразу. Некоторые строки я и сам уже не в состоянии расшифровать — о них позаботятся мои биографы. Я все еще не могу отвязаться от мысли, что собираюсь написать нечто. Я просто пропускаю страницы записной книжки под пальцем, словно разминая руку. Так мне кажется. Но когда я делаю эти пассы над страницами, что-то фатальное неуловимо быстро происходит со мной.

А происходит то, что я коснулся тетушки Милии. И тут вся жизнь взлетает предо мною, как гейзер, только что вырвавшийся из земли. Я возвращаюсь домой с тетушкой Милией и неожиданно понимаю, что она сошла с ума. Тетушка просит у меня луну. «Вон она! — кричит тетушка. — *Вон* она!»

Эта строка кричит мне примерно в десять часов утра. С того момента и дальше — до четырех утра сегодня — я пребываю во власти невидимых сил. Я отставляю в сторону пишущую машинку и начинаю писать под их диктовку.

541

Страницу за страницей, и память подсказывает, где искать подробности событий. Содержимое всех палок, по которым были рассортированы рукописи, вывалено на пол. Я лежу на полу и, с карандашом в руке, лихорадочно облекаю в словесную плоть костяк черновиков. Это продолжается бесконечно. Все во мне ликует, и в то же время я ощущаю некоторое беспокойство. Если так будет продолжаться и дальше, я рискую заработать геморрой.

Часа в три я решаю взбунтоваться. Пойду куда-нибудь и поем. Может, после ланча все это кончится. Вывожу велосипед, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. Не беру с собой записной книжки — специально. Если диктовка возобновится, tant pis*. Я ушел обедать!

В три часа можно получить только холодную закуску. Я заказываю цыпленка под майонезом. Он стоит несколько больше, чем я обычно трачу, но как раз поэтому я его и заказываю. И, после небольшой дискуссии, крепкое бургундское к нему вместо всегдашнего vin ordinaire. Я надеюсь, что все это отвлечет меня. Вино должно нагнать легкую сонливость.

Пью уже вторую бутылку, и вся скатерть покрыта моими каракулями. В голове невероятная легкость. Я заказываю сыр, виноград и пирожные. Изумляюсь, каков у меня аппетит! Но так или иначе, не похоже, чтобы съеденное попало в мой желудок; такое ощущение, будто кто-то другой съел все это за меня. Ладно, платить-то, по крайней мере, придется мне! В этом сомневаться не приходится... Я расплачиваюсь и выхожу дальше крутить педали. Останавливаюсь у кафе, чтобы выпить чашку черного кофе. Никак .не удается обеими ногами стать на твердую землю. Кто-то не переставая диктует мне — ничуть не заботясь о моем здоровье.

И вот так целый день, можете поверить. Я уже давно сдался. Хорошо, говорю я себе. Если сегодня день *идей,* так тому и быть. Princesse, a vos ordes **. И я работаю, как раб, словно только об этом и мечтал.

После обеда чувствую себя как выжатый лимон. Идеи все еще переполняют меня, но я так измучен, что теперь могу только снова лечь, и пусть они щекочут меня, как электромассаж. Сил у меня в конце концов осталось только на то, чтобы взять какое-нибудь чтиво и отдыхать. В руках у меня старый номер журнала. Вот что отвлечет меня и успокоит. К моему изумлению журнал открывается на словах: «Гете и его демон». Мои

пальцы снова сжимают ка-

* Тем хуже (фр.).

** Приказывайте, государыня (фр.).

542

рандаш, поля страницы покрываются пометками. Полночь. Настроение у меня приподнятое. Диктовка закончилась. Я вновь свободный человек. Меня так распирает от радости, что я думаю, а не прокатиться ли сперва, прежде чем сесть за машинку. Велик стоит тут же, в комнате. Пуд грязи. Я имею в виду, на велико пуд грязи. Беру тряпку и начинаю его протирать. Протираю каждую спицу, смазываю как следует, полирую крылья. Он блестит, как новенький. Поеду-ка в Булонский лес...

Мою руки и вдруг чувствую спазмы в желудке, Я голоден, вот в чем дело. Что ж, теперь, когда мне никто не диктует, я волен поступать, как хочу. Я откупориваю бутылку, отрезаю здоровенный ломоть хлеба, впиваюсь в колбасу. Колбаса сильно начесночена. Прекрасно. В Булонском лесу можно кататься и когда от тебя разит чесноком. Еще немного вина. Еще кусок хлеба. На сей раз у меня нет сомнений в том, что ем я, а не кто другой. Прежний корм оказался не в коня. Ну и аромат же от смеси вина и чеснока! Я тихонько рыгаю.

Присаживаюсь выкурить сигарету. У локтя лежит брошюра примерно в три квадратных дюйма форматом. Она называется «Искусство и безумие». Катание отменяется. Но писать, так или иначе, уже поздно. Меня осеняет: чего мне действительно хочется, так это нарисовать картину. В 1927 или 1928 я готовился стать художником. Время от времени, когда на меня находит, пишу акварели. Происходит это так: возникает желание порисовать акварелью, ты и рисуешь. В психушках пациенты рисуют, что взбредет в их больные головы. Они разрисовывают стулья, стены, столы, кровати... производительность удивительная. Если б мы закатали рукава и взялись за дело с таким же энтузиазмом, как эти идиоты, мы бы горы свернули за свою жизнь!

Пример у меня перед глазами, пример замечательный, и принадлежит он пациенту Шарантона. Я вижу юношу и девушку, стоящих на коленях друг перед другом и держащих в руках огромный замок. Вместо пениса и вагины художник наделил их ключами, большущими ключами, вошедшими один в другой. В замке тоже торчит большой ключ. У них счастливый и немного отрешенный вид... На странице 85 помещен пейзаж. Ни дать ни взять Хилэр Хайлер. Но по-настоящему — лучше любой картины Хайлера. Единственная странность этого пейзажа — три деформированные фигурки на переднем плане. Впрочем, и деформированные-то не слишком — просто их туловища кажутся непропорционально массивными для тонких ножек. В остальном картина настолько хороша, что надо быть настоящим занудой, чтобы придираться к такой мелочи. Кроме

543

того, разве мир настолько совершенен, что в нем не найдется трех человек со слишком массивным туловищем при тонких ногах? Я считаю, что душевнобольные имеют такое же право на собственное видение, что и мы.

Мне не терпится взяться за кисть. Однако теперь мне в голову не приходит ни одной идеи, я не знаю, что рисовать. Диктовка кончилась. Я почти решаюсь скопировать одну из иллюстраций. Но тут мне становится стыдно за себя: копировать работу сумасшедшего — это худший из плагиатов.

Что ж, приступим! Главное — начать! Начну с коня! Я смутно припоминаю коней с этрусских ваз, виденных мною в Лувре. (Примечание: во все великие эпохи искусства лошадь стояла очень близко человеку!) Начинаю рисовать. Начинаю с самого легкого — конской задницы. С небольшого отверстия для хвоста, который можно приделать потом. Едва я принимаюсь за туловище, как сразу замечаю, что оно получается чересчур вытянутым. Не забывай, ты рисуешь коня — не ливерную колбасу! У меня смутное ощущение, что некоторые из тех ионийских коней, что я видел на черных вазах, имели удлиненное туловище; и ноги у них шли откуда-то из середины, очерченные глубокой тонкой линией, на что можно обращать или не обращать внимание, в зависимости от того, как вы чувствуете анатомию. Имея это в виду, решаю рисовать ионийского коня. Но теперь возникают новые трудности. Речь идет о ногах. Воспроизвести форму конской ноги чрезвычайно сложно, если приходится полагаться только на свою память. Я могу припомнить лишь ту часть, которая идет от щетки вниз и называется: *копыто*. Дорисовать остальное — задача непростая, очень непростая. Как и присоединить ноги к туловищу, чтобы они выглядели естественно, а не казались приклеенными. У моего коня уже пять ног: самое простое — переделать лишнюю в фалл ус эректус. Сказано — сделано. И вот мой конь стоит ну прямо как терракотовая статуэтка VI века до нашей эры. Хвоста еще нет, но я оставил место как раз над заднепроходным отверстием. Хвост можно пририсовать в любой момент. Главное теперь — это придать ему жизни, скажем,

поднять на дыбы. Так что я поднимаю ему передние ноги вверх. Теперь одной своей частью он находится в движении, другой — стоит, как вкопанный. Добавив соответствующий хвост, можно превратить его в отличного кенгуру.

Пока я экспериментировал с ногами, брюхо у моей коняги превратилось в не поймешь что. Насколько мог, подправил его — и оно стало похожим на гамак. Если то, что я рисую, в конце концов окажется не похоже на коня, я всегда могу сделать из него гамак. (А не спящих ли в конском брюхе людей видел я на одной из ваз?)

544

Человек, не изучавший внимательно конской головы, не сможет представить себе, как трудно ее нарисовать. Чтобы получилась голова, а не торба с овсом. Нарисовать глаза, да так, чтобы конь не смеялся. Чтобы их выражение было конским, а не человеческим. Но тут я настолько совершенен, что окончательно становлюсь противен самому себе. Я решаю все стереть и начать заново. Но я питаю отвращение к резинке. Лучше переделать коня в динамо-машину или в концертный рояль, чем уничтожать проделанную работу.

Я закрываю глаза и очень спокойно пытаюсь мысленно представить себе коня. Я поглаживаю его гриву, плечи, бока. Мне кажется, что я совершенно отчетливо помню ощущения коня, особенно когда он потряхивает гривой, сгоняя надоедливую муху. И тепло извилистых вен. (В Чула-Виста я, бывало, чистил скребницей ослов перед тем, как отправиться в поле. Я думаю — если б только у меня получилось превратить моего коня в осла, вот было бы здорово!)

Итак, я начинаю все заново — на сей раз с гривы. Конская грива — это нечто особое, совершенно не похожее на косички или распущенные русалочьи волосы. Де Кирико наделяет своих лошадей великолепными гривами. То же самое и Валентин Прэкс. Грива много значит, говорю вам, — это не просто струящаяся волна. В ней — целый океан и бездна мифологии. Конская грива — это нечто иное, нежели волосы, зубы, ногти. Нечто неповторимое... Тем не менее, когда я испытываю затруднения, подобные теперешним: с гривой, с туловищем, я знаю, что позже, когда дойдет до красок, поправлю положение. Рисунок — это лишь предлог для цвета. Цвет — это токката: тогда как рисунок принадлежит к области идей. (Микеланджело был прав, презирая да Винчи. Есть ли какая другая картина столь же уныло, тошнотворно заданная, как «Тайная вечеря»? Есть ли что-нибудь более претенциозное, чем «Мона Лиза»?)

Итак, чтобы оживить гриву, достаточно будет слегка тронуть ее кистью. Брюхо, вижу, все еще немного не то, что нужно. Очень хорошо. Там, где выпуклость, делаю впадину, и наоборот. Неожиданно мой конь пускается вскачь, из ноздрей пышет пламя. Но эти два его глаза — они придают ему глуповатый вид и что-то человеческое. Ergo*, сотрем один глаз. Прекрасно. Он все больше и больше походит на коня. И вид у него становится умнее — как у Чарли Чейза, киноактера.

* Следовательно (лаш.)

545

Чтобы он в любом случае оставался представителем рода лошадиных, я, в конце концов, решаю нарисовать ему полосы. Смысл этой идеи в том, что, если он не перестанет откалывать номера, я могу превратить его в зебру. Итак, я рисую полосы. Теперь, черт бы его совсем побрал, он стал похож на картонного конягу. Полосы сделали его плоским, прилепили к бумаге. Ладно, если снова закрыть глаза, я, пожалуй, смогу припомнить коня с наклейки «чинзано» — у того тоже есть полосы, и премилые. Может, стоит пойти выпить аперитив и посмотреть на бутылку «чинзано». Для аперитива сейчас поздновато. А может, позаимствовать немного, в конце концов. Если сумасшедший способен нарисовать человека на лошади, он способен нарисовать и одну лошадь.

Это удивительно — я нахожу богов и богинь, чертей, летучих мышей, швейные машинки, цветочные горшки, реки, мосты, замки с ключами, эпилептиков, гробы, склепы, — но ни одной чертовой лошади! Если тот ненормальный, что составлял брошюру, хотел дать действительно широкое представление о предмете, он обязан был как-то объяснить это странное упущение. Когда отсутствует лошадь, не хватает чего-то очень существенного! Человеческое искусство непредставимо без изображения лошади. Достаточно намекнуть на то, что символисты и имажисты малость detraques*, или были detraques, на лошадях. Мы хотим знать, читая научную работу о безумии, что стало с лошадью!

Я снова возвращаюсь к пейзажу на странице 85. Картина превосходная, несмотря на жесткую геометричность композиции. (У сумасшедшего невероятная страсть к логичности и порядку, как у француза.) Теперь у меня есть откуда заимствовать: горы, мосты, террасы, деревья.... Одно из больших достоинств искусства сумасшедших — это то, что мост у них всегда мост, а дом — дом. Три человека на переднем плане, балансирующие на своих ножках-спичечках, не столь уж необходимы на моей картине, поскольку у меня есть ионийский конь, который занимает немало места. Я смотрю, куда бы поместить коня, и нахожу, что есть что-то неизъяснимо влекущее и интригующее в

этом пейзаже с его парапетами, снабженными бойницами, остроконечными холмами и домом со столь многими окнами, словно его обитатели до смерти боялись духоты. Это очень напоминает первые образцы пейзажной живописи — и вместе с тем картину нельзя отнести ни к одному из известных периодов. Я бы сказал, что она находится приблизительно где-то между Джотто и Сантосом Дюмоном —

* Помешанные (фр.)

546

неуловимо напоминая улицу постмеханической эры, которая грядет. И вот, имея перед глазами этот образец, я набираюсь мужества. Allons-y!*

Под самым конским задом, где начинается и кончается круп, и где Сальвадор Дали вероятнее всего поместил бы кресло в стиле Людовика XV или часовую пружину, я принимаюсь рисовать легкими штрихами соломенную шляпу, арбуз. Под шляпой я рисую лицо — не особо стараясь, поскольку оно всего лишь деталь, а мои идеи грандиозны и всеобъемлющи. Я рисую как Бог на душу положит, давая руке самой вести прихотливую линию. Следуя этой манере, громадный фаллус эректус, который был сперва пятой ногой, я превращаю, изгибая, в мужскую руку — вот так! Теперь у меня получился мужчина в широкополой соломенной шляпе, почесывающий у коня между ног. Замечательно! Превосходно! Ежели создастся впечатление некоторого гротеска, некоторого несоответствия псевдосредневековому характеру оригинала, я всегда могу объяснить это влиянием fou**, вдохновившего меня. (Здесь мне в первый раз в голову закрадывается подозрение, что у меня тоже не все дома! Но на странице 366 читаю: «Enfin, pour Matisse, le sentiment de 1'objet peut s'exprimer avec toute licence, sans direction intellectuelle ou exactitude visuelle: c'est l'origine de l'expressions»***. Продолжим... После некоторых затруднений с ногами мужчины я решаю проблему следующим образом: располагаю мужчину по пояс за парапетом. Он стоит, опершись о парапет, скорее всего, мечтая, и одновременно почесывает коню ребра. (Во Франции вам не раз встретятся любители постоять, опершись о парапет, и помечтать, глядя на реку, — особенно после того, как опорожнят готовый было лопнуть мочевой пузырь.)

Чтобы быстрее продвинуться дальше, а также посмотреть, сколько останется незаполненного места, я черчу множество смелых диагональных линий, изображая дощатый настил моста. Мост, конь и человек занимают по меньшей мере треть картины. Теперь черед террас, островерхих холмов, трех деревьев, гор со снежными вершинами, домов со всеми причитающимися им окнами. Это как составная картинка-головоломка. Если скала не встает на место, я превращаю ее в угол дома или в крышу другого дома, который не видно. Постепенно я добираюсь до верха кар-

* Вперед! (фр.).

** Помешанный (фр.).

*** «Наконец, для Матисса, чувство объекта может быть выражено со всей возможной свободой, независимо от идеи, которою он руководствуется, либо от внешней точности: таково происхождение экспресии» (фр.).

547

тины, где рама, по счастью, ставит мне предел. Остается расположить деревья — и горы.

На сей раз не получаются деревья. Все что-то выходит не дерево, а букет! Не помогает даже, когда я вонзаю в крону ветвистую молнию, чтобы намекнуть, какого рода предмет изображен. Ладно, превратим некоторые чересчур пышные кроны в летучие облачка. (Лучший способ упростить проблему — это ликвидировать ее.) Но облака выглядят как клочья тонкой оберточной бумаги, которую ветер сорвал со свадебных букетов. Конечно, облако так невесомо, так бесплотно, и все же это не бумага. Все, что имеет форму, обладает незримой сущностью. Микеланджело искал ее всю жизнь — в мраморе, в поэзии, в любви, в архитектуре, в преступлении, в Боге.... (Страница 390: «Si 1'artiste poursuit la creation authentique, son souci est ailleurs que sur 1'objet qui, peut etre sacrifie et soumis aux necessites de l'invention»*.)

Я подхожу к горе — как Магомет. Теперь я начинаю понимать значение внутренней свободы. Гора! Что такое гора? Груда грязи, которая никогда не исчезнет с лица земли, по крайней мере, в историческое время. Но гора — это слишком просто. Мне подавай вулкан. Ведь нужна причина, по которой мой конь храпит и становится на дыбы. Логика и еще раз логика! «Le fou montre un souci constant de logique!» (Les Francais aussi**.) Так-то; я не fou, тем более не французский fou: могу позволить себе кое-какие вольности, особенно если беру за образец картину слабоумного. Поэтому я рисую сперва кратер, потом склоны вулкана, тянущиеся до моста и крыш домов у подножия. Неверные линии я превращаю в трещины в горе — дабы показать разрушения, произведенные вулканом. Это действующий вулкан и из него вырываются клубы дыма.

Когда я кончаю рисовать вулкан, у меня получается рубаха. Ну точно, рубаха! Я различаю ворот, рукава. Не хватает всего лишь фирменной этикетки «Rogers Peet» на внутренней стороне воротничка с указанием размера: 16, или какой там у вас... Одна вещь, однако, получилась хорошо, ни с чем не спутаешь, — это мост. Странно, но если сумеешь изобразить арку, остальное выходит само собой. Разрушить мост сможет только инженер.

Рисунок близок к завершению. Все повисшие линии внизу я свожу вместе и получаются кладбищенские ворота.

* «Если художник стремится к достоверности его творения, он черпает вдохновение из иного источника, нежели объект, каковой надлежит подчинить требованиям творчества» (фр.).

** «Сумасшедший демонстрирует постоянный интерес к логике!» (Опять и француз) (фр.).

548

А в левом верхнем углу, где осталось пустое место рядом с вулканом, я рисую ангела. Это целиком оригинальный образ, продукт моей свободной фантазии, в высшей степени символичный. Это печальный ангел с больным желудком и крыльями, которые поддерживаются зонтичными спицами. Он как будто слетел в cadre* моих идей и мистическим образом парит над диким ионийским конем, который теперь потерян для человека.

Приходилось ли вам когда-нибудь сидеть на железнодорожной станции и, убивая время, наблюдать за людьми? Не правда ли, они сидят как упавшие духом ангелы — с поникшими крыльями и больными желудками? Не в те ли извечные несколько минут, когда они обречены оставаться наедине с собой, их крылья обретают опору в виде зонтичных спиц?

Все ангелы религиозного искусства фальшивы. Если вы желаете увидеть ангелов, пойдите на Центральный вокзал или на вокзал Сен-Лазар. Особенно Сент-Лазар — его Salle des Pas Perdus**.

Моя теория живописи состоит в том, чтобы как можно быстрее сделать эскиз в карандаше и начать шлепать краску. В конце концов, я колорист, а не рисовальщик. Alors***, за краски!

Я начинаю со стены дома — чистой умброй. Мрачновато. Небрежно трогаю соседнюю стену ализариновой малиновой. Пожалуй, слишком красиво, слишком напоминает Италию. В общем, и в цвете я начал не ахти. Получается атмосфера дождливого дня, напоминающая Утрилло. Я не очень люблю тихое слабоумие Утрилло, его дождливые дни, его окраинные улочки. Даже то, как его женщины выставляют зад, мне не нравится... Я беру хлебный нож. Попробую в пастозной манере. Пока я щедро выдавливаю краску из разных тюбиков, мне вдруг взбредает добавить новую деталь в композицию — гондолу. Я помещаю ее прямо под мост, и она тут же пускается в плавание.

Я сразу же понимаю, откуда взялась эта гондола. На днях я видел среди картин Ренуара венецианский пейзаж, конечно, с неизменной гондолой. Сейчас меня занимает, хотя и не слишком, действительно ли то был человек, сидящий в гондоле, — тот черный мазок, неотличимый от Других мазков, которые составляли солнечный свет, неспокойное море, дробящиеся отражения дворцов, парусные лодки и так далее. Это был только мазок, точка в том

* Рама (фр.).

** «Зал утонувших шагов» (фр.)

*** Итак (фр.).

549

феерическом смешении красок — и все же это определенно был человек. Вы даже могли сказать, что он был француз 1870-х, или что-нибудь в этом роде, годов....

Это еще не все о гондоле. За два дня до того, как я отправился в Америку — в 1927 или 1928 году, — мы устроили грандиозное сборище у меня дома. Это было в момент наивысшего расцвета моей карьеры акварелиста.

Мое маниакальное увлечение акварелью началось необычным образом. Толчком к тому, можно сказать, послужил голод. Это да еще необычайные холода. Неделями мы с моим приятелем Джо находили убежище в бильярдных и общественных уборных, где была зверская жара и где не нужно было платить за вход. Возвращаясь однажды вечером в морг, мы заметили в витрине универсального магазина репродукцию Тернера. Все началось именно так, как я рассказываю. Это был один из самых активных, один из самых увлекательных периодов моей бессмысленно прожитой жизни. Когда я говорю, что мы устилали весь пол своими акварелями, я не преувеличиваю. Как только рисунки высыхали, мы развешивали их по стенам, а на другой день снимали и вешали на их место новые. Брали старые акварели и писали на обороте, смывали их, соскабливали ножом и в

этих своих экспериментах нечаянно открыли кое-какие удивительные вещи. Открыли, например, как достичь интересных результатов при помощи кофейной гущи и хлебных крошек, угля и арники; мы клали акварели в ванну и оставляли мокнуть на несколько часов, а после вытаскивали эти каплющие омлеты и, набрав краски на кисть, швыряли ее в картину. Начало всему положил Тернер — и суровая зима 1927—28 годов.

За два вечера до моего отъезда, как я говорил, у меня собралось множество художников, чтобы оценить нашу с Джо работу. Все они славные ребята и не считают зазорным интересоваться любителями. Акварели, как обычно, разложены на полу для просушки. В виде последнего эксперимента мы, со стаканами в руках, перешагиваем через них, расплескивая при этом вино. Поражаемся тому, какой эффект способны произвести грязная пятка или капля вина, с лучшими намерениями падающая с высоты в три фута. Энтузиазм растет. Двое моих друзей, вооружившись кусками угля, обрабатывают стены. Еще один варит кофе, чтобы получить замечательную свежую гущу. А мы, все остальные, пьем.

В самый разгар веселья — часа этак в три утра —

550

появляется моя жена. Вид у нее несколько подавленный. Отведя меня в сторонку, она показывает билет на пароход. Я гляжу на билет и спрашиваю: «Это еще что такое?» — «Пора тебе убираться отсюда», — отвечает она. «Но я не хочу убираться, — говорю я. — Мне и здесь вполне хорошо». «Это и заметно», — отвечает она довольно сардонически.

Тем не менее я еду. И когда мы плывем вверх по Темзе, единственное, о чем я думаю, это о том, что надо посмотреть собрание картин Тернера в галерее Тейта. Наконец я попадаю в галерею и вижу знаменитые полотна Тернера. И к несчастью один из полудурков, гуляющих по залу, проникается симпатией ко мне. Я узнаю, что он сам замечательный акварелист. Работает исключительно при свете лампы. Мне в самом деле не хотелось покидать Лондон, но благодаря тому типу я сделал это с удовольствием. Так или иначе, отплывая из Саутгемптона, я думал про себя: «Теперь круг замкнулся: от витрины универсального магазина к лондонским залам».

Однако продолжим... Эта гондола станет piece de resistance!* Но сперва нужно закончить стены. Я вооружаюсь хлебным ножом, набираю побольше лаковой карминной и наношу на бумагу, обозначая окна. Святый Боже! Дома тут же оказываются объяты пламенем! Ежели я действительно был бы сумасшедшим, а не симулировал безумие, то изобразил бы еще и пожарника, а смелые диагонали мостового настила переделал в лестницу. Но мое безумие принимает форму поджигательства. Мои дома вспыхивают — сперва кармином, потом киноварью и наконец неистовым кроваво-красным. С этой частью картины все окончательно ясно — тут изображен холокост.

Устроенный мною пожар привел к тому, что я подпалил спину коню. Теперь он ни конь, ни зебра. Он превращается в дракона-глотателя огня. На месте отсутствующего хвоста у него — букет фейерверка, а с букетом фейерверка, распускающимся над задницей, даже ионийский конь не может сохранить чувства собственного достоинства. Я б, конечно, мог продолжить и сделать настоящего Дракона, но эти превращения и исправления действуют мне на нервы. Если уж берешься рисовать коня, то и рисуй коня — или убери его совсем. Если начинаешь искажать анатомию животного, так пройди весь процесс филогенеза До конца.

Я замазываю коня темно-зеленым и синим. Внутренним

* Основное блюдо (фр.).

551

взором я, конечно, по-прежнему вижу его. Люди могут взглянуть и удивиться — какое странное темное пятно! какое интересное! Но я знаю, что за ним скрывается конь. За всем на свете стоит какое-нибудь животное: это наше самое неотвязное наваждение. Когда я вижу, как человеческие существа извиваются, протискиваясь к солнцу, я говорю себе: «Извивайтесь, ублюдки, притворяйтесь, сколько хотите, но в глубине своей вы — черепахи или морские свинки». Греки были без ума от коней, и если бы у них хватило мудрости оставаться полуконями, вместо того, чтобы играть в Титана, — что ж, возможно, нам не пришлось бы прилагать таких мифологических усилий.

Когда пишешь акварелью, полагаясь на чутье, все совершается по воле Божьей. Так, ежели внутренний голос приказывает тебе изобразить кладбищенские ворота чистым гиммигутом, ты повинуешься, не выражая недовольства. Не возражаешь, что такой жизнерадостный цвет не подходит для сего унылого сооружения. Может быть, в том есть неведомый смысл. И в самом деле, когда я пишу ворота этой лучезарной льющейся желтой, этой желтой, которая для меня лучше всех других желтых (желтее даже устья Янцзы), я сам сияю, сияю. Вся безотрадность в моей душе, пресыщенность, подавленность исчезают без следа. Я бы не удивился, если это оказалось кладбище Сайпресс-Хиллз, мимо которого проходил столь много лет с чувством отвращения и униженности, на которое оглядывался с высоты эстакады надземки, куда плевал с

платформы, поджидая поезд. Или кладбище Сент-Джон с его идиотскими свинцовыми ангелами, где я работал могильщиком. Или монпарнасское кладбище, которое зимой выглядело словно контуженное. Кладбища, кладбища... Богом клянусь, я отказываюсь от похорон на кладбище! Не будет надо мною стоять никакой полоумный с кадилом и постной физиономией! Не бывать этому!

В то время как подобные мысли проносятся в моей голове, я небрежно вожу сухой кистью по деревьям и террасам. Кроны деревьев теперь блестят, как кольчуга, ветви разрисованы серебряными и бирюзовыми кольцами-звеньями. Рисуй я сейчас сцену распятия, я мог бы украсить тела мучеников бриллиантовыми оспинками. На стене напротив меня висит изображение эфиопской пустыни. Тело распятого Христа, лежащее на земле, усеяно оспинами; кровожадные евреи — чернокожие, эфиопские евреи — швыряют в него железные метательные кольца. На их лицах выражение самой свирепой радости. Я купил эту картину из-за этих оспин, сам тогда не понимая, *почему-*

552

Только теперь я припоминаю одну картину над погребком в Бауэри, носившую название «Заеденная клопами». Случилось так, что я как раз вышел от одного безумца, направляясь домой, — это был профессиональный визит, не лишенный, вместе с тем, приятности. Разгар дня, грязная труба Бауэри давится сгустками харкотины. Сразу за Купер-сквер три оборванца распластались на асфальте под фонарем — картинка а ля Брейгель. В пассаже с дешевыми магазинчиками кишмя кишит народ. Дикая, нечеловеческая песнь несется над улицей, словно человек с мясницким ножом в белой горячке прокладывает себе дорогу. И там, над покосившейся дверью в погребок, намалевана эта картина под названием «Заеденная клопами». Нагая женщина с длинными волосами цвета соломы лежит на кровати и скребет себя. Кровать плавает в воздухе и возле нее приплясывает мужчина со спринцовкой. Вид у него в точности такой же полоумный, как у тех евреев с железными кольцами. Картина вся усеяна точками — означающими космополитичное кровососущее бескрылое сплюснутое насекомое красновато-коричневого цвета с отвратительным запахом, которое населяет дома, постели и проходит под внушительным названием cimex lectularius*.

И вот, взгляните на меня, теперь я наношу стигматы сухой кистью деревьям. Облака усеяны постельными клопами, вулкан извергает постельных клопов; клопы ползут вниз по крутым меловым утесам и топятся в реке. Я как тот молодой иммигрант со второго этажа из стихотворения, кажется, некоего Ивановича, который мечется в постели, мучимый неотвязными мыслями о своей несчастной голодной, никчемной жизни, о том, что все прекрасное для него недостижимо. Вся моя жизнь как будто завязана в этот грязный носовой платок — Бауэри, которую я проходил изо дня в день, год за годом, которая подобна оспе, и чьи следы никогда не исчезают. Если у меня и было тогда имя, так это Cimex Lectularius. Если и был дом, так это скользящее колено тромбона. Если и было страстное желание, так отмыться как следует.

Я в ярости хватаю кисть, макаю поочередно во все краски и мажу, мажу кладбищенские ворота. Я мажу до тех пор, пока нижняя часть картины не покрывается слоем краски, густым, как шоколад, пока от запаха пигмента не начинает свербить в носу. И когда картина окончательно загублена, я некоторое время сижу безрадостно и бесцельно.

* Клоп постельный (лат.)

553

А потом на меня вдруг нисходит настоящее озарение. Я тащу лист к ванной и, хорошенько намочив его, тру щеточкой для ногтей. Я тру и тру, потом переворачиваю вверх ногами, давая стекающим краскам загустеть. Затем осторожно, очень осторожно, расстилаю лист на письменном столе. Это шедевр, говорю вам! Последние три часа я сидел и разглядывал его...

Вы можете сказать, что этот шедевр — просто дело случая, и будете правы! Но тогда то же самое можно сказать и о 23-ем псалме. Каждое рождение чудесно — и вдохновенно. То, что теперь явлено моим глазам, есть плод бесчисленных ошибок, отступлений, уничтожении сделанного, колебаний; оно также плод неизбежности. Вам вздумается верить, что все дело в щеточке для ногтей, в замачивании. Верьте на здоровье. В кого угодно и во что угодно. В Данте, в Спинозу, в Иеронима Босха. В доходность Societe Anonyme*. Внесите в гроссбух: *Тетушка Милия.* Так. Сведите баланс. Не хватает одного цента, да? Если б только можно было достать монетку из кармана и так свести баланс, вы бы сделали это. Но вы имеете дело уже не с реальными центами. Нет такой машины, достаточно умной, которая бы изобрела, подделала тот — не существующий — цент. Мир реального и поддельного остался позади нас. Из вещественного мы сотворили неуловимое.

Как только вам удастся точно свести баланс, вы потеряете картину. Сейчас у вас есть неуловимое, случайное, и вы сидите всю ночь перед раскрытым гроссбухом и колотитесь

о него головой. Баланс не сходится, вы в минусе. Все живое, интересное отмечено знаком минус. Стоит вам найти эквивалент недостающего, как вы оказываетесь — *ни с чем.* У вас будет лишь это мнимое, мимолетное нечто под названием «баланс». О балансе никогда нельзя сказать, что он есть. Это такое же надувательство, как остановка часов или призыв к перемирию. Вы подбиваете баланс, дабы придать себе гипотетического весу, придать смысл вашему существованию.

Я никогда не был способен свести баланс. Всегда я оказываюсь с минусом того или иного. Потому-то у меня есть причина продолжать. Я пытаюсь подвести итог всей своей жизни для того, чтобы остаться ни с чем. Чтобы добиться этого, необходимо расположить бесконечность чисел. Именно так: в жизненном уравнении мой знак — бесконечность. Чтобы оказаться нигде, необходимо пересечь все известные вселенные: необходимо быть везде, чтобы оказаться нигде. Чтобы получить порядок, необходимо

* Акционерное общество (фр.).

554

разрушить все формы порядка. Чтобы достичь безумия, необходимо достичь невероятных степеней здравоумия. Все сумасшедшие, чьи работы вдохновляли меня, обладали толикой холодной рассудочности. Они ничему не научили меня — потому что балансовый отчет, который они завещали нам, был подделан. Их расчеты бесполезны для меня — потому что цифры были изменены. Чудесные бухгалтерские книги с золотым обрезом, которые они завещали нам, обладают жуткой красотой растений, распускающихся в ночи.

Мой шедевр! Он как заноза под ногтем. Я спрашиваю вас, теперь, когда вы смотрите на него, видите ли вы в нем зауральские озера? видите безумного Кощея, балансирующего с бумажным зонтиком? видите троянскую арку, проступающую сквозь дым Азии? видите пингвинов, оттаивающих в Гималаях? видите греков и семинолов, бесшумно проскальзывающих в кладбищенские ворота? видите фреску с верховий Нила с изображением летящих гусей, летучих мышей и вольеров для птиц? видите изумительные седельные луки крестоносцев и слюну, стекающую струёй по ним? видите вигвам, из которых вырывается огонь? видите со щелоком, кости мула и поблескивающую буру? а гробницу Валтасара, или шарящего в ней вурдалака, видите? а новые устья, что проложит себе Колорадо? видите вы морских звезд, лежащих на спине, и вьющиеся вокруг них молекулы? видите слезы в глазах Александра, или скорбь, вызвавшую их? видите чернила, питающие пасквили?

Боюсь, вы ничего этого не видите! Вы видите только бледного посиневшего ангела, заледеневшего у ледников. Вы не видите даже зонтичных спиц, потому что вы не приучены приглядываться к ним. Но вы видите ангела и видите конский зад. И вы можете оставить их себе: *они нарисованы для вас*! Теперь на ангеле нет оспин — только холодное голубое пятно света, которое приносит облегчение его больному желудку и сломанным крыльям. Ангел там для того, чтобы показать вам дорогу на Небо, где всё — плюс, и никаких минусов. Ангел присутствует там как водяной знак, как гарантия того, что вы все видите верно. У ангела не бывает зоба; это у художника бывает зоб. Ангел там для того, чтобы бросить веточку петрушки вам в омлет, вдеть трилистник вам в петлицу. Я могу убрать мифологию из конской гривы; могу убрать желтизну из Янцзы; могу убрать эпоху из человека в гондоле; я могу убрать облака и тонкую бумагу, в которую были завернуты букеты с ветвистой молнией... *Но ангела убрать не могу. Ангел —* мой *водяной знак.*

555

МУЖСКОЙ ПОРТНОЙ

У меня матерь — забавница и шутница!

День обыкновенно начинался так: «Попроси такого-то дать немного денег вперед, в счет заказа, но *будь с ним пообходительнее!»* Они были чувствительными подонками, все эти старые пердуны, которым мы угождали. Одного этого было достаточно, чтобы кого хочешь заставить пойти напиться. Мы располагались как раз против «Бара Олкотта», портные Пятой авеню, хотя и не на ней самой, а рядом. Совместное предприятие отца и сына, в котором кассу держала мать.

По утрам, в восемь или около того, я совершал бодрую интеллектуальную прогулку от Диленси-стрит и Бауэри до ателье за углом «Уолдорф-Астории». Как бы быстро я ни шел, старик Бендикс непременно появлялся раньше меня и скандалил с закройщиком, потому что ни одного из боссов еще не было на работе. И как только так получалось, что нам никак не удавалось прийти раньше старого придурка Бендикса? Делать ему было нечего, этому Бендиксу, как только бегать от портного к рубашечному мастеру, а от него к ювелиру; его кольца то болтались на пальцах, то были тесны, его часы или отставали на двадцать пять секунд или убегали вперед на тридцать три. Он скандалил со всеми,

включая своего семейного врача, с ним из-за того, что тот не смог предотвратить образование песка у него в почках. Если в августе мы шили ему пальто балахоном, то к октябрю оно становилось ему слишком велико или слишком мало. Когда он не мог придумать, на что пожаловаться, то надевал брюки, которые сидели на нем как влитые, чтобы иметь удовольствие устроить разнос брючному мастеру за то, что тесно его, Г. У. Бендикса, яйцам. Жуткий тип. Вспыльчивый, капризный, мелочный, блажной, скаредный, своенравный, злобный. Когда я теперь оглядываюсь на то время и вижу родителя, подсаживающегося, обдавая спиртным духом, к столу со словами: *проклятие, что ж никто из вас не улыбнется, что ж вы такие смурные,* мне становится жаль его и всех мужских портных, которые были вынуждены лизать задницу богачам. Если б не бар Олкотта напротив и не пьянчуги, которые составляли ему компанию, Бог знает, что сталось бы с родителем. Дома он, конечно, не находил понимания. Моя мать совершенно не представляла, каково это, лизать задницу богачам. Единственное, в чем она была дока, так это охать и стенать день напролет, и от ее оханья и стенанья улетучивался хмель из головы и стыли картофельные клецки. Глядя на ее вечное беспокойство, и мы — мой брат и я —

556

стали настолько нервными, что готовы были поперхнуться собственной слюной. Брат был слабоумным и действовал на нервы родителю даже больше, чем Г. У. Бендикс со своим: «Пастор Такой-то собирается в Европу... Пастор Такой-то собирается открыть кегельбан» и так далее. «Пастор Такой-то — осел, — говорил родитель, — и почему клецки холодные?»

Бендиксов было трое — Г. У., который сварливый, А. ф. которого родитель именовал в своем гроссбухе Альбертом, и Р. Н., никогда не посещавший ателье, поскольку был без обеих ног — обстоятельство, однако, не мешавшее ему за должный срок протирать пару брюк. Вживе Р. Н. я никогда не видел. Он был пунктом в книге заказов, о котором и Бунчек, закройщик, упоминал с жаром, поскольку ему всегда перепадал стаканчик шнапса, когда приходило время снимать мерку для новых брюк. Трое братьев вечно враждовали между собой и никогда слова не сказали друг другу в нашем присутствии. Если Альберту, у которого были не все дома и который имел слабость к пестрым жилетам, случалось увидеть на вешалке среди вещей, назначенных к примерке, визитку с пометкой зелеными чернилами на приколотой бумажке: «Г. У. Бендикс», — он придурковато хмыкал и говорил: «Денек сегодня прямо весенний, а?» Делался вид, что человека по имени Г. У. Бендикс не существует, хотя всем без исключения было очевидно, что для призраков мы не шьем.

Из всех братьев я больше других любил Альберта. Он приехал сюда уже в том возрасте, когда кости становятся хрупкими, как стекло. По-стариковски согбенный, он, казалось, постепенно складывается, чтобы вернуться в материнскую утробу. Всегда можно было сказать, когда появится Альберт, по тому переполоху, который творился в лифте — проклятия и скулеж, а затем мягкий удар фиксатора сопровождали процесс точной остановки лифта на нашем этаже. Если при вызове не удавалось остановить лифт с точностью до четверти дюйма с уровнем пола, фиксации не следовало, и Альберту с его хрупкими костями и скрюченным позвоночником требовалась уйма времени, чтобы выбрать, какую кнопку нажать и убраться восвояси со своим пестрым жилетом, новым пестрым жилетом. (Когда Альберт умер, я унаследовал все его жилеты — мне хватило их носить как раз до конца войны.) Если случалось, как это иногда бывало, что родитель отправлялся в бар через улицу, пропустить стаканчик, и в это время появлялся Альберт, все в этот день так или иначе шло кувырком. Я помню периоды, когда Альберт бывал настолько зол на моего старика, что иногда мы не видели его у себя по три дня; между тем картонки с пуговицами для жилета

557

валялись на всех столах и только и разговору было, что о пуговицах для жилета да пуговицах для жилета, будто важен был. не сам жилет, а лишь пуговицы для него. Позже, когда Альберт привык к безалаберности родителя — они привыкали друг к другу двадцать семь лет — он предварительно звонил и ставил в известность, что идет к нам. И прежде, чем повесить трубку, добавлял: «Полагаю, в одиннадцать вас устроит... не причинит неудобства?» Смысл вопроса был двояк. Это и: «Полагаю, у вас достанет вежливости, чтобы быть на месте, когда я приду, и вы не заставите меня болтаться понапрасну полчаса, пока будете пьянствовать с приятелями в баре через дорогу». И: «Полагаю, в одиннадцать часов мало вероятности столкнуться с определенной личностью, обозначаемой инициалами Г. У.?» Так случилось, что за двадцать семь лет, в которые мы пошили, может, 1548 всяческих предметов одежды для троих братьев Бендикс, они ни разу не встретились друг с другом — по крайней мере, в нашем присутствии. Когда Альберт умер, оба его брата, Р. Н. и Г. У., надели траурные повязки на левый рукав всех своих саков и длинных пальто — всех, которые были не черного

цвета, — но ни слова не сказали о покойном, даже о том, кем он был. У Р. Н. была, конечно, уважительная причина не являться на похороны — отсутствие ног. Г. У. был слишком злобным и гордым, чтобы затруднять себя поиском оправдания.

Примерно в десять часов родитель привычно спускался вниз пропустить первый стаканчик. Я по обыкновению торчал у окна, выходившего на гостиницу, и наблюдал за тем, как Джордж Сандуский грузит здоровенные чемоданы в такси. Когда не было чемоданов, Джордж обычно стоял, сцепив руки за спиной, и кивал, и кланялся клиентам, которые проходили мимо него во вращающиеся двери. К тому времени, как я очутился в мастерской и занял свой пост у окна, Джордж Сандуский кланялся, и кивал, и грузил, и распахивал двери уже лет двенадцать. Он был обаятельным человеком с тихой речью и красивыми белыми волосами, сильный, как буйвол. Он поднял свой задолизательный бизнес до высот искусства. Я был изумлен, когда однажды он поднялся к нам и заказал себе костюм. В свободное время он был джентльменом, Джордж Сандуский. Любил неброские тона — костюмы всегда из синего или темно-серого сержа. Человек, знавший, как вести себя на похоронах или на свадьбе.

Когда мы узнали друг друга получше, он дал мне понять, что обрел Иисуса. С его обходительными манерами, с его мускулами и при активном содействии Иисуса, сказал он, ему удалось отложить немного на черный день, обезопасив себя от кошмаров старости. Он был единственным

558

из всех, кого я знал в те времена, кто не застраховал свою жизнь. Он верил, что Господь позаботится о заблудших, как Он позаботился о нем, Джордже Сандуском. Он не боялся, что мир рухнет с его кончиной. До сих пор Господь опекал всех и вся — нет причины думать, что Он оплошает после смерти Сандуского. Когда в один прекрасный день Сандуский уволился, было не легко подыскать человека на его место. Не попадалось никого в должной мере угодливого и масляного. Никто не мог кивать и кланяться, как Джордж. Родитель всегда был очень расположен к Джорджу. Время от времени он упорно повторял попытку уговорить его пойти выпить, но Джордж неизменно отказывался с той привычной и твердой вежливостью, которая принесла ему уважение клиентов Олкотта.

У родителя частенько возникало желание пригласить кого-нибудь выпить, даже такого, как Джордж Сандуский. Обычно это случалось ближе к вечеру в тот день, когда все не ладилось, когда мы не получали ничего, кроме счетов к оплате. Иногда по целым неделям мы не видели заказчиков, а если кто-нибудь и приходил, то лишь для того, чтобы выразить недовольство, попросить что-нибудь переделать, наорать на беднягу мастера или потребовать снизить цену. Подобные вещи приводили родителя в такое уныние, что он ничего уже не мог делать, как только надеть шляпу и отправиться в бар. Вместо того, чтобы, как обычно, перейти улицу, он проходил чуть дальше, нырял в подземку, забираясь иногда аж до «Анзонии», где его идол, Джулиан Легри, занимал номер из нескольких комнат.

Джулиан, в ту порудамский кумир, носил только серые костюмы, всех мыслимых оттенков, но не иначе как серые. Это был убийственно бодрый мордастый английский актер, который болтался без дела и любил поговорить с торговцами шерстью, агентами по продаже спиртного и прочей шушерой. Один его говор вызывал к нему уважение и развязывал у людей языки; он говорил на английском классического театра, проникновенном, прочувствованном, липком английском, на котором даже самая ничтожная мысль звучит внушительно. Джулиан никогда не говорил ничего достойного увековечения, но эта его манера производила магическое действие на его поклонников. Время от времени, когда он и родитель устраивали словесные баталии, к ним присоединялся какой-нибудь вольный стрелок вроде Корза Пейтона, без которого нельзя было представить заречья десятых, двадцатых и тридцатых годов. Корз Пейтон был кумиром Бруклина! Для искусства он значил то же, что Пэт Маккзррен для политики.

Что говорил родитель на этих дискуссиях, для меня всегда оставалось загадкой. За всю жизнь он не прочел ни

559

единой книги, не был он и в театре .с тех пор, как Бауэри ушел в тень Бродвея. Я как сейчас вижу его стоящим у буфетной стойки — Джулиан обожал икру и осетрину, что подавали у Олкотта, — и вылизывающим тарелку, как мучимая жаждой собака. Два кумира дамского племени рассуждали о Шекспире — какая из всех существующих пьес величайшая: «Гамлет» или «Король Лир»? Или же обсуждали достоинства и недостатки Боба Ингерсолла.

За стойкой в ту пору работали трое бесшабашных ирландцев, трое хитрованов ирлашек из тех, кому бары тех лет были обязаны своей притягательностью. Завсегдатаи были столь высокого мнения о них, об этой троице, что почитали за особую честь, если тип вроде Пэтси О'Доуда, к примеру, обзовет кого-либо из них безмозглым пидором, у

которого не хватает ума застегнуть ширинку. И если кто, польщенный вниманием к своей особе, в благодарность спрашивал, не хочет ли он и себе плеснуть того же, Пэтси О'Доуд с презрительной ухмылкой отвечал, что только такой, как вы, способен лить себе в глотку подобную отраву и, с гримасой отвращения, поднимал ваш бокал за ножку и вытирал деревянную стойку, потому что это входило в его обязанности и ему за это платили, но катились бы вы ко всем чертям, если думаете, что соблазните его травить себя всяким пойлом. Чем хлеще были оскорбления, тем большим к нему проникались уважением; финансисты, привыкшие подтирать задницу шелковым платочком, ехали сюда через весь город, едва только закрывалась биржа, чтобы услышать, как этот похабный ирлашка обзовет их проклятыми безмозглыми пидорами. Для них это было прекрасным завершением дня.

Боссом этого развеселого заведения был осанистый коротышка с аристократически изящными ногами и львиной головой. Он вечно расхаживал, выпятив живот, обтянутый жилетом, под которым прятал маленькую плоскую фляжку. Он с высокомерным видом кивал пьянчугам в баре, если те не были постояльцами отеля, в противном случае он замирал на миг, выставив три жирных коротеньких пальца в синих прожилках, а затем, взмахнув усами и фалдами в резвом пируэте, удалялся прочь. Это был единственный враг родителя. Старик просто терпеть его не мог. Ему казалось, что Том Моффет смотрит на него свысока. А потому, когда Том Моффет появлялся у нас, желая сделать какой-нибудь заказ, родитель подметывал лишние десять-пятнадцать процентов к обычной цене — чтобы возместить ущерб, нанесенный его гордости. Но Том Моффет был истинным аристократом: он никогда не интересовался ценой и никогда не платил по счетам. Если мы наседали, требуя, чтобы он заплатил, он приказывал своему бухгал-

560

теру отыскать какой-нибудь ляп в нашем счете. И когда приходил срок заказывать очередную пару фланелевых брюк или визитку, он вплывал к нам, важный, брюшко привычно выставлено вперед, усы нафабрены, штиблеты сияют и скрипят как всегда, и с выражением легкого безразличия, равнодушного презрения приветствовал родителя такими словами: «Ну, вы еще не исправили той своей ошибки?» От чего родитель приходил в бешенство и подсовывал своему врагу Тому Моффету материю из остатков или американскую. По поводу «небольшой ошибки» в нашем счете велась долгая переписка. Родитель бывал вне себя. Он нанимал эксперта-бухгалтера, который выписывал счет в три фута длиной — но все без толку. Наконец родителя осенило.

Однажды ближе к полудню, приняв свою обычную порцию и пообщавшись со всеми торговцами шерстяной тканью и гарнитурой, которые присутствовали в баре, он преспокойно собрал все квитки, выписанные барменом, достал серебряный карандашик, прикрепленный к часовой цепочке, расписался на всех и бросил их через стойку Пэтси О'Доуду, сказав: «Передай Моффету, пусть запишет намой счет». После чего так же спокойно направился, прихватив с собой нескольких закадычных дружков, в обеденный зал и приказал накрыть им стол. И когда Адриан, лягушатник, принес счет, он невозмутимо сказал: «Дай-ка мне карандаш. Так... эти ребята мне как родные. Запиши все на меня». Поскольку обедать в компании куда приятнее, он стал приглашать дружков обедать, говоря всем и каждому:

«Если этот подонок Моффет шьет одежду за наш счет, мы будем есть за его». И с этими словами он командовал подать им сочных голубей или омаров а ля Ньюбург, а чтобы они легче пролетали в глотку — прекрасного мозельского или какого другого вина, которое мог им посоветовать Адриан-лягушатник.

Довольно странно, что Моффет делал вид, что все это его не трогает. Он продолжал как обычно шить себе одежду к зимнему, весеннему, осеннему и летнему сезонам и по-прежнему придирался из-за всякого пустяка к счетам, тем более, что теперь это было легче сделать, поскольку сюда добавлялись чеки из бара, за телефон, голубей, омаров в шампанском, свежую землянику, бенедиктин и так далее и тому подобное. На деле родитель проедал причитавшуюся ему сумму быстрее, чем тонконогий Моффет снашивал одежду. Если он приходил заказать пару фланелевых брюк, родитель проедал их уже на другой день.

Наконец Моффет выказал откровенное желание уладить финансовые недоразумения. Переписка иссякла. Как-то завидев меня в холле, он подошел, похлопал меня по

561

спине и, демонстрируя все свое обаяние, пригласил наверх, к себе в кабинет. Он сказал, что всегда считал меня очень разумным юношей и что мы можем сами решить все дела, не беспокоя родителя. Я взглянул на счета и увидел, что родитель здорово перестарался. Я и сам, возможно, проел несколько пальто-реглан и охотничьих курток. Оставалось одно, если мы собирались сохранить ненавистного клиента, Тома Моффета, а именно — найти ошибку в счете. Я сунул под мышку охапку расписок и пообещал старому прохиндею как следует разобраться в этом деле.

Родитель был доволен таким поворотом. Мы годами пытались найти выход. И вот всякий раз, когда бы Том Моффет ни появлялся, чтобы заказать себе костюм, родитель весело приветствовал его словами: «Ну как, вы еще не исправили ту маленькую ошибку? Вот прекрасный отрез баратеи, который я отложил для вас...» И Моффет мрачнел и расхаживал из угла в угол, точно индюк, хохолок торчком, тоненькие ножки дрожат от злобы. Спустя полчаса родитель стоял у стойки и отмечал событие. «Только что всучил Моффету очередной смокинг, — говорил он. — Между прочим, Джулиан, что бы ты пожелал заказать сегодня на ланч?»

Как я сказал, родитель по обыкновению спускался пропустить чего-нибудь для аппетита ближе к полудню; ланч продолжался у него с полудня и часов до четырех-пяти. Компания в те дни у родителя была замечательная. После ланча эта банда комедиантов, нетвердо державшихся на ногах, вываливалась из лифта — раскрасневшиеся, смачно плюющие, гогочущие — и рассаживалась в кожаные кресла с плевательницей возле каждого. Был среди них Ферд Пэтти, торговавший шелком на подкладку и гарнитурой: клубками ниток, пуговицами, бортовкой, канвой и прочим в том же роде. Громадный, точно лайнер, потрепанный штормами, он всегда ходил в каком-то сомнамбулическом состоянии; он так обессиливал, что едва шевелил языком, но и это слабое шевеление заставляло окружающих помалкивать. Он всегда бубнил что-то себе под .нос — чаще всего, о сыре. Он обожал сыр, особенно шмиеркесе и лимбургер — чем заплесневелей, тем лучше. Когда он не говорил о сырах, то рассказывал байки о Гейне и Шуберте или просил спичку, собираясь пустить ветры, и совал ее себе под сиденье, а мы чтоб объявляли, какого цвета вспышка. Он никогда не здоровался и не прощался, начинал разговор с того места, где останавливался вчера, словно не существовало перерыва во времени. Во всякий час, в девять утра или в шесть вечера, можно было видеть его плетущимся, цепляя ногу за ногу, что-то бормоча, голова опущена долу, под мышкой — образцы товара, изо рта

562

несет гнилью, нос пылает, словно внутри горит красная лампочка. В часы пик он шел через кишевшую машинами улицу, глядя не по сторонам, а исключительно себе под ноги, из одного кармана торчит шмиеркесе, из другого — лимбургер. Выходя из лифта, он всегда не переставая бубнил, нудно и монотонно, что получил новые образцы подкладочного шелка, что сыр вчера вечером был превосходен, и не собираешься ли ты возвращать ему книгу, которую он дал тебе, и лучше заплатить поскорее, если желаешь еще товару или разглядывать похабные картинки, и, пожалуйста, почеши ему спину, чуть выше, здесь, и, прости, он сейчас бзднет, и есть ли у тебя время? он не может торчать тут весь день, лучше скажи родителю, чтобы надевал шляпу, пора спуститься вниз и опрокинуть по стаканчику. Продолжая нудить и жаловаться, он поворачивался на каблуках здоровенных башмачищ и жал на кнопку лифта, а в то время родитель, заломив на затылок соломенную шляпу, скользящим шагом выступал на авансцену, лицо светится любовью и признательностью, и говорил: «А, Ферд, как поживаешь? Рад видеть тебя». И широкая толстая застывшая физиономия Ферда на мгновение расплывалась в дружелюбной ухмылке от уха до уха. Так продолжалось ровно секунду, а потом он орал во всю мощь своих легких — так, что даже Тому Моффету было слышно через дорогу: *«Ну-ка, давай выкладывай деньги или думаешь, черт подери, я бесплатно раздаю?»*

И едва лифт отъезжал, появлялся малыш Рубин из комнаты мелкого ремонта и с безумным выражением во взгляде спрашивал: «Хотите, я спою вам?» Он чертовски хорошо знал, что я хочу этого. И вот он возвращался на скамью, брал в руки пальто, которое сметывал, и запевал, как разудалый казак.

Если бы вам пришлось встретить его, малыша Рубина, на улице, вы б сказали о нем: «Мерзкий пронырливый коротышка». И, может, он был мерзким, пронырливым коротышкой, зато он умел петь, и когда у вас не было ни гроша, он умел расплатиться за обоих, и когда вам было горько, ему было еще горше, а если вы пробовали, выражаясь фигурально, наступить ему на любимую мозоль, он столь же фигурально плевал вам на башмак, а если вы раскаивались — вытирал плевок, и проходился щеткой, и отутюживал складку на брюках, как не смог бы отутюжить сам Иисус Христос.

Все они, в комнате мелкого ремонта, были карликами — Рубин, Рэпп и Хаймовиц. В полдень они доставали большие круглые еврейские булки, мазали их маслом и клали сверху ломтики лососины. Пока родитель заказывал себе голубей и рейнское, Бунчек, закройщик, и три недомерка

563

портняжки восседали на большой скамье среди утюгов, штанин и рукавов и обсуждали, серьезно и важно, всяческие предметы вроде ренты или язвочки в матке у миссис Хаймовиц. Бунчек был рьяным сионистом, членом сионистской партии. Он верил, что евреев ждет счастливое будущее. Но несмотря на все это, не мог правильно выговорить некоторых слов, таких как «отодрать». Всегда у него получалось: «Он

отодраил ее». Кроме странного увлечения сионизмом Бунчек был одержим идеей сшить когда-нибудь пальто с глухим воротом. Чуть ли не все наши клиенты были с покатыми плечами и приличными животиками, особенно старые бездельники, у которых не было иных занятий, как бегать целый день от рубашечного мастера к портному, от него к ювелирам, от ювелиров к дантисту и от дантиста к аптекарю. Всегда возникала необходимость в стольких переделках, что к тому времени, как заказ бывал исполнен и можно было надевать обнову, сезон кончался и приходилось откладывать ее до следующего года, а на следующий год старые бездельники или набирали лишних двадцать фунтов, или теряли столько же, да и какая радость им была носить всю эту одежду, когда сахар в моче или вода в крови, даже если одежда бывала впору.

Был там Пол Декстер, человек, стоивший 10 000 долларов в год, но всегда сидевший без работы. Однажды он почти получил работу, но платили только 9 000 долларов в год, и гордость не позволила ему принять предложение. А поскольку при поисках мифической работы важно было прилично выглядеть, Пол чувствовал, что обязан одеваться у хорошего портного, вроде моего родителя. Когда он найдет, наконец, работу, то отдаст все, что задолжает. В этом Пол никогда не сомневался. Он был кристально честным человеком. Но мечтателем. Он приехал из Индианы. И как все мечтатели из Индианы, он был весь из себя такой приятный, такой обходительный, добродушный, сладкоречивый, что будь он замечен в кровосмесительной связи, и то мир простил бы его. Когда он напяливал галстук что надо, когда трость и перчатки были соответствующими, когда лацканы ложились плавно и башмаки не скрипели, когда в животе булькало полкварты ржаного виски и на улице не слишком лило или мело, тогда он обрушивал на вас такой поток горячей любви и понимания, что даже торговцы всяким портновским прикладом, которых не брало никакое проникновенное слово, бывали сражены на месте. Пол, когда у него все складывалось наилучшим образом, мог подойти к человеку, любому человеку в этом Божьем мире, взять его за отворот пальто и затопить любовью. Никогда я не встречал никого, кто обладал бы такой силой убеждения, таким магнетизмом. Когда любовь начи-

564

нала подниматься в нем, чтобы выхлестнуть наружу, он был непобедим.

Пол говорил: «Начните с Марка Аврелия или Эпиктета, а дальше само пойдет». Он не давал совета изучать китайский или зубрить провансальский: он начинал с падения Римской империи. Моей мечтой в те дни было заслужить одобрение Пола, но ему трудно было угодить. Он хмурился, когда я показывал ему «Так говорил Заратустра». Хмурился, когда заставал меня сидящим с карликами и пытающимся толковать смысл «Созидательной эволюции». Больше всего он не выносил евреев. Когда появлялся Бунчек-закройщик с мелком в руке и метром, висящим на шее. Пол становился чрезмерно вежлив и говорил снисходительным тоном. Он знал, что Бунчек ни в грош его не ставил, но, поскольку Бунчек был правой рукой родителя, он его обхаживал, осыпал комплиментами. Так что в конце концов даже Бунчек вынужден был признать, что в Поле что-то есть, какое-то необыкновенное своеобразие, которое, невзирая на его недостатки, заставляет всех чувствовать расположение к нему.

Внешне Пол был сама жизнерадостность. Но в душе у него царил мрак. Время от времени Кора, его жена, вплывала в ателье и с глазами полными слез умоляла родителя повлиять на Пола. Они обычно стояли у круглого стола подле окна и тихо переговаривались между собой. Она была красивой женщиной, его жена, высокой, статной, голос — глубокое контральто, которое, казалось, дрожало от сдерживаемой муки, когда она называла имя Пола. Я мог видеть, как родитель кладет руку ей на плечо, утешая и без сомнения обещая сделать все возможное. Она любила родителя, мне это было видно. Она обычно стояла вплотную к нему и заглядывала в глаза так, что невозможно было устоять. Иногда родитель надевал шляпу и они вместе спускались на лифте, держась за руки, словно направлялись на похороны. Они шли снова искать Пола. Никто не знал, где его искать, когда у него начинался очередной запой. На несколько дней он исчезал из поля зрения. Ну и конечно, однажды он объявлялся, подавленный, кающийся, приниженный, и умоляя всех простить его. Одновременно он протягивал свой костюм, чтобы его почистили от грязи и пятен блевотины, подштопали на коленях.

После запоев Пол бывал особенно красноречив. Он разваливался в одном из глубоких кожаных кресел — перчатки в одной руке, тросточка — между ног, и закатывал речь о Марке Аврелии. После больницы, где ему вылечили свищ, он стал говорить еще лучше. То, как он усаживался в большое кожаное кресло, заставляло меня думать, что он приходил в ателье явно потому, что нигде больше не мог

565

найти столь располагающего сиденья. Процедура усаживания в кресло и вставания с него была мучительной. Но когда она благополучно завершалась. Пол, казалось, был на седьмом небе от счастья, и речь струилась с его уст волнами бархата. Родитель был готов

слушать его день напролет. Он частенько повторял, что Пол не лезет за словом в карман, и на его языке это означало, что лучше Пола нет на свете человека и что у него пылкая душа. И когда Пол чересчур мучился угрызениями совести, заказывая очередной костюм, родитель успокаивал его, приговаривая: «Ничто не может быть слишком хорошо для тебя. Пол... ничто!»

Должно быть, Пол тоже распознал в моем старике родственную' душу. Никогда прежде не доводилось мне видеть двух людей, глядевших друг на друга с таким восторгом обожания. Порой они стояли друг против друга и смотрели один другому в глаза, пока не выступали слезы. Это правда, ни тот, ни другой не стыдился своих слез — вещи, о которой нынешний мир, похоже, совсем позабыл. Я как сейчас вижу простоватое веснушчатое лицо Пола, его довольно толстые губы', которые подергивались, когда родитель в тысячный раз повторял ему, какой он чертовски замечательный парень. Пол никогда не говорил с родителем о вещах, в которых не разбирался. Но о чем-то простом, обиходном он рассуждал с такой серьезностью, выказывая такую бездну доброты, что душа родителя, казалось, воспаряла к небесам, и когда Пол уходил, вид у него становился похоронным. Он уединялся в своем крохотном уютном кабинете и сидел там в тишине и одиночестве, глядя, словно в трансе, на ряды проволочных корзинок, заполненных неотвеченными письмами и неоплаченными счетами. Когда я видел его в подобном состоянии, это обычно так действовало на меня, что я тихонечко ускользал вниз по лестнице и отправлялся домой по Пятой авеню до Бауэри, от Бауэри до Бруклинского моста, там через мост и мимо вереницы дешевых ночлежек, протянувшихся от здания муниципалитета до Фултон-Ферри. И если дело происходило летним вечером и у дверей ночлежек толпились праздные обитатели, я жадно вглядывался в их изможденные фигуры, думая, сколь много среди них таких, как Пол, и я не понимаю в жизни что-то такое, что делает этих явных неудачников привлекательными для других. Счастливчиков-то я повидал, когда они были без штанов; я видел их скрюченные позвоночники, хрупкие кости, их варикозные вены, опухоли, впалые груди, толстые животы, отвисшие от того, что столько лет мотались, как бурдюки. Да, я хорошо знал все расфуфыренные ничтожества — у нас

566

в списке числились лучшие семьи Америки. А какие нам представали гной и грязь, когда они вываливали перед нами свое грязное белье! Можно было подумать, что, раздеваясь перед своим портным, они испытывали потребность выплеснуть и всю мерзость, что скопилась в прикрытых сверху выгребных ямах, в которые они превратили свои души. Все эти красивые болезни от скуки и богатства. Разговоры о себе ad *nauseam**. Вечно «я», «я». Я и мои почки. Я и моя подагра. Я и моя печень. Когда я думаю о жутком геморрое Пола, о его восхитительном свище, который ему вылечили, о всей той любви и откровении, что ему принесли его опасные раны, он представляется мне не человеком нашего века, но родным братом Моисея Маймонида, который, будучи в плену у мусульман, оставил нам поразительные научные трактаты о «геморроях, бородавках, чирьях» и прочем.

Все эти люди, в которых родитель не чаял души, умирали быстро и внезапно. Пола смерть настигла, когда он был на море. Он утонул близ берега, где воды было по колено. Сказали: сердечный приступ. И вот в один прекрасный день из лифта вышла Кора, облаченная в траур, и залила слезами все ателье. Никогда она не казалась мне такой красивой, такой милой, такой соблазнительной. Особенно ее зад — я помню, как ласкающе облегал бархат ее фигуру. Опять они стояли у круглого стола близ окна, но на сей раз у нее ручьем текли слезы. И опять родитель надел шляпу, и вниз они спустились на лифте, держась за руки.

Вскоре после этого родитель, по какой-то непонятной прихоти, заставил меня навестить жену Пола и принести ей мои соболезнования. Когда я позвонил в двери ее квартиры, меня била дрожь. Я почти ждал, что она выйдет абсолютно голой, может быть, с траурной лентой через груди. Я совершенно потерял голову от ее красоты, ее возраста, ее схожести с дурманящим растением из Индианы, от ее духов. Она встретила меня в траурном платье с низким вырезом, красивом облегающем платье из черного бархата. Я впервые оказался тет-а-тет с женщиной, недавно лишившейся мужа, женщиной, чьи груди, казалось, рыдали навзрыд. Я не знал, что мне говорить, особенно о Поле. Я заикался и краснел, и когда она предложила сесть рядом с ней на кушетку, от неловкости чуть не упал на нее.

Сидим на низкой кушетке, в комнате разливается приглушенный свет, ее крутое бедро трется о мое, мой молодец рвется в бой, и вся эта бодяга о Поле, о том, какой

* До тошноты (лат.)

567

он был замечательный, наконец, я наклонился над ней и, не говоря ни слова, задрал ей платье и заправил молодца куда следует. И когда я начал охаживать ее, она разразилась

стенаниями, исступленными и отчаянными, прерываемыми судорожными всхлипами и воплями восторга, и боли, повторяя без конца: «Этого я от тебя не ждала.. этого я от тебя никогда не ждала!» И когда все было кончено, она содрала с себя бархатное платье, красивое траурное одеяние с низким вырезом, и привлекла к себе мою голову и сказала: целуй меня, и стиснула своими сильными руками так, что чуть не переломила пополам, и стенала, и горько рыдала. А потом встала и несколько минут ходила нагая по комнате. И наконец опустилась на колени перед кушеткой, на которой я лежал, и сказала слабым, полным слез голосом: «Ты обещаешь любить меня всегда, правда? Обещаешь?» Да, отвечал я, шуруя одной рукой у нее меж ног. Да, отвечал я, и сказал себе, каким же придурком ты был, что ждал так долго. Она исходила соком у меня под рукой, такая по-детски наивная, такая доверчивая, почему бы кому-то было не прийти и не понять, что к чему. Она была легкой добычей.

Забавница и шутница! Регулярно, каждый сезон случалось несколько смертей. Когда это бывал славный парень вроде Пола или Джулиана Легри, когда буфетчик, который ковырял в носу ржавым гвоздем, — сегодня дружелюбный и приветливый, завтра мертвый, — но с регулярностью смены сезонов старые кретины отдавали концы один за другим. Alors* ничего не оставалось, как перечеркивать наискось красными чернилами правую колонку в гроссбухе и помечать: «УМЕР». Каждая смерть приносила небольшой заказ — новый черный костюм или же черные повязки на левый рукав пальто. Те, кто заказывал траурные повязки, были, как говорил родитель, скупердяями. И это было так.

Умирали старики, и на их место приходила светская молодежь. *Светская, молодежь!* Этот боевой клич раздавался на авеню всякий раз, когда у нас появлялись фраки на продажу. Славной бандой молодых хлыщей была она, эта светская молодежь. Картежники, ипподромные «жучки», биржевые маклеры, бездарные актеришки, боксеры-профессионалы и тому подобное. Сегодня богачи, завтра без гроша в кармане. Ни чести, ни совести, ни чувства ответственности. Славной компанией гнилых сифилитиков были они, большинство из них. Возвращавшимися из Парижа или Монте-Карло с похабными открытками или

* Тогда (фр.)

568

отличными сизыми шанкрами в паху. Кое-кто с яйцами как бараньи на вертеле.

Барон Карола фон Эшенбах был одним из них. Он зарабатывал кое-какие гроши в Голливуде, изображая наследного принца. В те времена считалось ужасно смешным, когда наследного принца забрасывают тухлыми яйцами. В защиту барона нужно сказать, что он был хорошим дублером наследного принца. Вытянутое лицо с высокомерным носом, нервозная походка, затянутая в корсет талия тощий и затраханный, как Мартин Лютер, угрюмый, хмурый, фанатичный, с оловянным наглым взглядом прусского дворянина. Перед тем, как перебраться в Голливуд, он был. просто ничтожество — сын немецкого пивовара из Франкфурта. Он даже бароном не был. Но после того, как его долго пинали, словно медицинбол, вбили в глотку передние зубы, после того, как горлышко разбитой бутылки оставило глубокий след на его левой щеке, когда он научился щеголять в красном галстуке, поигрывать тросточкой, коротко подстригать усики, как у Чаплина, тогда он стал фигурой Тут он вставил монокль в глаз и начал именоваться бароном Карола фон Эшенбах. И все у него могло бы быть прекрасно, не влюбись он в рыжеволосую статистку, пожираемую сифилисом. Тут ему пришел конец.

Однажды он поднялся к нам на лифте, одетый в визитку и гетры, со свежей алой розой в петлице и моноклем в глазу. Он смотрелся беспечным и франтоватым, и визитная карточка, что он извлек из бумажника, была изукрашена вензелями. Там был изображен герб, как он сказал, принадлежавший его семье девятьсот лет. «Это семейная тайна», — добавил он. Родитель был очень рад иметь среди своих клиентов баронов, особенно, если они платили наличными, как то пообещал наш барон. А кроме того, забавно было видеть, как барон появлялся в ателье, обнимая за талию двух субреток — каждый раз новую парочку Еще забавнее было, когда он приглашал их в примерочную и просил помочь снять брюки. Так заведено в Европе, объяснял он.

Постепенно он познакомился со всей братией, околачивавшейся у нас в холле. Он показывал, как ходит наследный принц, как садится, как улыбается. Однажды принес с собой флейту и сыграл нам «Лорелею». В другой раз появился с торчащим из ширинки пальцем своей перчатки свиной кожи. Каждый день у него был наготове новый фокус. Он был весел, остроумен, занятен. Сыпал шутками, и кое-какие из них были новы. Ему не было удержу.

А потом в один прекрасный день он отвел меня в сторонку и спросил, не мог бы я одолжить ему десять центов — на трамвай. Он сказал, что не может заплатить за

569

костюм, который заказал у нас, но что вскоре надеется получить место тапера в маленьком кинотеатрике на Девятой авеню. И, не успел я что-нибудь сообразить,

заплакал. Мы стояли в примерочной, и занавески, к счастью, были задернуты. Мне пришлось дать ему свой платок, чтобы он утер слезы. Он признался, кто устал корчить клоуна, что заходил к нам каждый день потому, что тут тепло и удобные кресла. И спросил, не мог бы я пригласить его на ланч, а то за последние три дня он ничего не ел, кроме кофе с булочкой.

Я повел его в небольшое немецкое заведение на Третьей авеню, совмещавшее ресторанчик и пекарню. В ресторанной атмосфере он совсем раскис. Он ни о чем не мог говорить, как только о старых временах, временах до войны. Он собирался стать художником, но тут началась война. Я внимательно слушал его, а когда он закончил, пригласил к нам домой к обеду этим же вечером, надеясь, что нам удастся вынести его компанию. Конечно, он придет — в семь часов punkt*. Замечательно.

За обедом он развлекал мою жену всяческими историями. Я промолчал о его обстоятельствах. Сказал только, что он барон — барон фон Эшенбах, друг Чарли Чаплина Моей жене — одной из первых моих жен — чрезвычайно льстило, что она сидит за одним столом с бароном. Пуританская стерва в жизни так не краснела, как в этот раз, когда он рассказал несколько рискованных историй. Они показались ей очаровательными — такими *европейским*. В конце концов, однако, пришло время раскрыть все карты Я старался подбирать выражения, сообщая новость, но какие можно подобрать выражения, когда речь идет о такой вещи, как сифилис? Сначала я сказал не «сифилис», а «венерическая болезнь». Maladi intime, quoi!** Но одно это словечко, «венерическая», заставило мою жену подскочить на стуле. Она посмотрела на чашку, которую барон поднес к губам, потом, умоляюще, на меня, словно желая сказать «Как ты мог привести в наш дом такого человека?» Я увидел, что необходимо брать быка за рога. «Барон намерен остаться у нас на некоторое время, — сказал я спокойно. — Он в трудном положении и ему нужно где-то но чевать». Даю слово, никогда не видел, чтобы настроение женщины менялось так быстро. «Ты! — закричала она»— ты *меня* спросил прежде? А как наш ребенок? Хочешь чтобы все мы заболели сифилисом, так что ли? Разве мало того, что он болеет — хочешь, чтобы и наш ребенок заболел? »

* Ровно (нем.)

** Ну интимная болезнь! (фр)

570

Барон, разумеется, пришел в страшное замешательство от подобной вспышки. Он пожелал тут же уйти. Но я сказал, чтобы он не порол горячку. Мне было не привыкать к таким сценам. Тем не менее он так нервничал, что поперхнулся кофе. Я хлопал его по спине, пока он не посинел. Роза выпала у него из петлицы на тарелку. Это было странное зрелище — словно сгусток крови вылетел у него с кашлем. От этого мне стало чертовски стыдно за жену, и я готов был придушить ее на месте. Пока я вел его в ванную, он продолжал кашлять, брызгая во все стороны. Я велел ему ополоснуть лицо холодной водой. Жена последовала за нами и в убийственном молчании наблюдала за его омовением. Когда он утер лицо, она выхватила полотенце и, распахнув окно ванной, выбросила его на улицу. Тут я не выдержал. Сказал ей, чтобы убиралась прочь из ванной ко всем чертям и занялась своим делом. Но барон встал между нами и обратился умоляюще к жене. «Вы увидите, моя дорогая, и ты, Генри, что вам не придется ни о чем беспокоиться. Я принесу все свои спринцовки и мази и поставлю их в маленьком чемоданчике вот тут — под раковиной. Вы не должны выгонять меня, мне некуда идти. Я несчастный человек. Один на всем белом свете. Вы были так добры ко мне — почему же теперь стали так жестоки? Разве моя вина, что я подцепил сиф? С каждым может случиться такое. Дело житейское. Вот увидите, я отплачу вам сторицей. Я все буду делать. Стелить постель, мыть посуду... Я буду готовить для вас...». Он продолжал в том же роде, не останавливаясь, чтобы перевести дух, из страха, что она скажет «нет». И после того, как пообещал все, что мог, после того, как сотню раз умолял простить его, после того, как стал на колени и попытался поцеловать ей руку, которую она резко отдернула, он сел на стульчак в своей визитке и в своих гетрах и заплакал, заплакал навзрыд, как ребенок. Представьте неживую, стерильную, белоплиточную ванную, дробящийся свет, словно от тысячи зеркал, рассыпанных под увеличительным стеклом, — и эту тень прежнего барона, в визитке и гетрах, с позвоночником, нашпигованным ртутью, который задыхается от рыданий, пыхтя, как паровоз перед отправлением. Я просто не знал, что мне делать. Мужик, вот так сидящий на унитазе и рыдающий, — это действовало мне на нервы. Позднее я привык к этому. Стал толстокожим. Теперь я знаю наверняка, что, не будь тех 250 лежачих больных, которых Рабле должен был навещать дважды в день в лионской больнице, он не был бы столь неистово веселым человеком. Я в этом уверен.

Как бы то ни было, возвращаясь к рыданиям.. Недолгое время спустя, когда на подходе был очередной ребенок и

571

избавиться от него нельзя было никакими средствами, и все же еще надеясь, надеясь на что-то, может, на чудо, — а ее живот разбухал, как спелый арбуз, наверное, уже месяцев шесть или семь, — она поддавалась приступам меланхолии и, лежа на кровати с этим арбузом, лезущим в глаза, принималась рыдать так, что просто сердце разрывалось. Но я мог в это время лежать в дальней комнате на кушетке с большой толстой книгой в руках и слушать ее рыдания, напоминавшие мне о бароне фон Эшенбахе, о его серых гетрах и визитке с отворотами, обшитыми тесьмой, и темно-красной розе в петлице. Ее рыдания звучали для меня как музыка. Она рыдала, стараясь вызвать к себе немного сочувствия, но и капли сочувствия не могла дождаться от меня. Рыдала патетически. Чем больше она впадала в истерику, тем меньше я к ней прислушивался. Это было все равно что слушать шум и шипение набегающих волн летней ночью на берегу: зудение москита способно заглушить рев океана. Как бы то ни было, когда она довела себя до состояния коллапса, когда соседи потеряли всякое терпение и принялись стучать нам в дверь, ее престарелая мать выползла из спальни и со слезами на глазах стала умолять меня пойти к ней и успокоить немного. «Да бросьте вы с ней нянчиться, — ответил я, — сама справится». После чего, прекратив на секунду рыдания, жена вскочила с кровати в дикой, слепой ярости, косматая и всклокоченная, с мокрыми и распухшими глазами, и, вновь захлебываясь слезами, принялась колотить меня своими, кулачками, колотить, пока я не зашелся смехом, да так, что не мог остановиться. И увидев., что я раскачиваюсь от смеха как ненормальный, а она устала колотить меня, и кулачки у нее заболели, она заголосила, как пьяная шлюха:

«Изверг! Сатана!» — и выскочила из комнаты, как усталая собака. Позже, когда я немного успокоил ее, когда понял, что, действительно, она нуждается в паре добрых слов, я завалил ее снова на кровать. Провалиться мне на месте, если после подобных сцен с рыданиями и воплями, она не бывала самой лучшей сучкой,. какую только можно представить! Никогда не слышал, чтобы женщина так стенала, несла невнятицу, как она. «Делай со мной все, что *хочешь! —* говорила она тогда. — Делай, что хочешь!» Я мог поставить ее на голову, изощряться и изгаляться, как вздумается — она только больше входила в раж. Маточная истерия, вот что это было такое! *И да поразит меня Господь,* как говорил благой учитель, *если я лгу хоть единым словом.*

(Господь, упомянутый выше, был определен Св. Августином следующим образом: «Бесконечная сфера, центр коей ВСЮДУ, край же нигде».)

572

Однако ж, *забавница и шутница!* Если дело было до войны и термометр показывал ноль градусов или ниже, если наступал День Благодарения, или Новый Год, или день рождения, или случался какой другой повод собраться вместе, то мы поспешали куда-то всем семейством, чтобы присоединиться к остальным чудищам, составлявшим живые ветви фамильного древа. Я не уставал поражаться тому, сколь жизнерадостны были члены нашего семейного клана, несмотря на несчастья, которые всегда их поджидали. Жизнерадостны несмотря ни на что. В нашей семье были" рак, водянка, цирроз печени, безумие, воровство, лживость, мужеложество, кровосмешение, паралич, глисты, аборты, тройни, идиоты, пьяницы, ничтожества, фанатики, моряки, портные, часовых дел мастера, скарлатина, коклюш, менингиты, выдумщики, бармены и, наконец, — дядюшка Джордж и тетушка Милия. Морг и сумасшедший дом. Веселая компания и стол, ломящийся от доброй снеди, тут: краснокочанная капуста и зеленый шпинат, жареная свинина и индейка и sauerkraut, kartoffel-klosse* и кислый черный соус, редис и сельдерей, откормленный гусь и горох, и морковь, волнистая цветная капуста, яблочное пюре и фиги из Смирны, бананы, большие, как дубинки, коричный кекс и Streussel Kuchen**, слоеный шоколадный торт и орехи, все виды орехов, грецкие, серые калифорнийские, миндаль, пекан, легкое пиво и бутылочное пиво, белое вино и красное, шампанское, кюммель, малага, портвейн, шнапс, острые сыры, пресный и незамысловатый магазинный сыр, плоские голландские сыры, лимбургер и шмиеркесе, домашнее вино, вино из самбука, сидр, шибающий в нос, и сладкий, рисовый пудинг и тапиока, жареные каштаны, мандарины, оливки, пикули, красная икра и черная, копченый осетр, лимонное пирожное безе, дамские пальчики и эклеры в шоколадной глазури, миндальные пирожные и пирожные буше, черные сигары и сигары длинные и тонкие, табак «Бык Дарем» и «Длинный Том» и пенковые трубки и трубки из кукурузной кочерыжки, зубочистки, деревянные зубочистки, от которых на другой день флюс разносит щеку, салфетки в ярд шириной с твои ми инициалами, вышитыми в уголке, и пылающий уголь в камине, и пар из окна — все на свете предстает перед твоими глазами, кроме разве чаши для ополаскивания пальцев.

Холод и малахольный Джордж, у которого лошадь откусила одну руку, который донашивает одежду умерших. Холод и тетушка Милия, ищущая птичек, которых посадила

* Кислая капуста, картофельные клецки *(нем.)*

** Песочный торт (нем.)

573

себе в шляпу. Холод, холод; фыркают буксиры в гавани, волны несут плавучие льдины, тонкие струйки дыма вьются над носом, над кормой. Ветер дует со скоростью семьдесят миль в час; тонны и тонны снега, искрошенного на мелкие снежинки, и у каждой — нож. За окном свисают сосульки, словно штопоры, ревет ветер, дребезжат рамы. Дядюшка Генри распевает «Ура пятерке гунну!» Жилет на нем расстегнут, подтяжки болтаются, на висках набухли жилы. Ура *пятерке гунну!*

В голубятне верхнего этажа разложен стол, шатающийся и скрипучий; внизу — теплая конюшня, лошади, ржущие в стойлах, ржущие и хрустящие сеном, и бьющие Копытом, и топочущие, резкий аромат навоза и конской мочи, сена и овса, попон, от которых валит пар, засохшей жвачки, аромат солода и старого дерева, кожаной сбруи и дубильной коры, который поднимается, словно фимиам от кадильницы, и висит над нашими головами.

Конюшня — это лошади, а лошади — это теплая моча, временами удары копыт по доскам, взмахи хвоста, гулкие залпы и тихое ржание. Плита раскалена и светится, как рубин, воздух сиз от табачного дыма. Повсюду — под столом, на кухонном шкафу, в раковине — бутылки. Малахольный Джордж пытается почесать шею пустым рукавом. Нед Мартин, никчемушный тип, накручивает граммофон; его жена Керри блаженствует, повернув к себе граммофонную жестяную трубу. Мелюзга внизу, в конюшне, играет в темноте в «вонючку». На улице, там, где начинаются хибары, ребятня устраивает каток на пруду. Вокруг все сине от холода, повсюду дым, снег. Тетушка Милия сидит в уголке, перебирая четки. Дядя Нед чинит упряжь Три деда и три прадеда придвинулись к плите и вспоминают франко-прусскую войну. Малахольный Джордж высасывает осадок из бутылки. Женщины все ближе склоняются друг к другу, голоса их становятся все глуше, языки трещат все быстрее. Все по отдельности составляет единую картину, как части разрезной головоломки — лица, голоса, жесты, фигуры. И каждый — сам по себе. Граммофон снова гремит, голоса становятся громче и пронзительнее. И вдруг граммофон умолкает. Мне не полагалось быть там в тот момент, но я там был и все слышал. Я услышал, что толстуха Мэгги, та, что держала салун во Флашинге, так вот эта Мэгги спала с собственным братом, потому-то Джордж и уродился таким. Она спала с каждым встречным — только не со своим мужем. А потом я услышал, что она имела привычку лупить Джорджа кожаным ремнем, лупить до тех пор, пока он не начинал бесноваться. С этого и пошли его припадки. Потом заговорили о Мил, сидевшей

574

в уголке, — другом таком же случае. Она была все равно что дитя. То же можно было сказать и о матери, если уж на то пошло. Большим несчастьем было, что Пол умер. Пол был мужем Мил. Да, все было бы хорошо, не появись та женщина из Гамбурга. Что Мил могла поделать с умной женщиной — хитрой проституткой! Надо бы все-таки придумать, что делать с Мил. Это просто становится опасным. Только на днях ее застали сидящей на плите. К счастью, огонь был не слишком сильный. А представьте, что будет, если ей взбредет в голову поджечь дом — когда все будут спать? Жаль, что она больше не может работать. Последний раз они нашли ей такое замечательное место, у такой доброй женщины. Мил становится ленивой. Слишком хорошо жилось ей с Полом.

Когда мы вышли на улицу, воздух был прозрачным и морозным. Звезды, ясные, искрящиеся, усыпали все небо, а на перилах лежал чистый белый снег, свежевыпавший снег, белый покров, что укутывает грязную грешную землю. Воздух прозрачный и морозный, чистый, как глоток нашатыря, и снежная шкура, ласковая, как замша. Голубые звезды, россыпи звезд, сыплющихся из-под копыт антилоп. Такая дивная, погруженная в глубокое молчание ночь, словно под снегом теплились золотые сердца, словно это горячая немецкая кровь текла в трущобы, чтобы насытить голодных младенцев, чтобы смыть с мира преступность и уродство. Бездонная ночь, и река, скованная льдом, звезды танцующие, кружащиеся, вращающиеся, как вертушка на крыше. По заметенной снегом улице брели мы вразброд, всё семейство. Шагали по чистой белой земной коре, оставляя борозды в снегу, следы ног. Старая немецкая семья, метущая снег рождественской елкой. Все семейство в сборе: дядья, племянники, братья, сестры, отцы, деды. Все семейство: сытые и пьяные и не думающие ни друг о друге, ни о солнце, которое встанет утром, ни о поручениях, которые нужно выполнить, ни о приговоре врача, ни о мучительных, тягостных обязанностях, от которых день становится отвратительным, а эта ночь святою, эта святая ночь голубых звезд и глубоких сугробов, цветущей арники и аммиака, асфоделий и негашеной извести.

Никто не подозревал, что в это мгновение тетушка Милия окончательно сходит с ума, что, когда мы дойдем до угла, она взовьется, как северный олень, и откусит кусочек луны. На углу она прыгнула вперед, как северный олень, и возопила. «Луна, луна!» — возопила она, и тут ее душа вырвалась на свободу, выпрыгнула прочь из тела. Со скоростью восемьдесят шесть миллионов миль в минуту она летела. Дальше, дальше к

луне, и никто даже не успел подумать остановить ее. Вот так это случилось. Мигнула звезда — и свершилось.

575

А теперь я хочу, чтобы вы знали, что те поганцы! сказали мне...

Они сказали: *«Генри, завтра свезешь ее в психбольницу. И не проболтайся там, что мы в состоянии платить за нее».*

Замечательно! *Забавники и шутники!* Наутро мы с ней сели в трамвай и поехали за город. На тот случай, если бы Мил спросила, куда мы направляемся, мне было велено сказать: «В гости к тете Монике». Но Мил ни о чем не спрашивала. Она спокойно сидела рядом со мной и время от времени показывала пальцем на коров. Она видела голубых коров и зеленых. Она знала их клички. Она спрашивала, что происходит с луной в дневное время. И нет ли у меня с собой кусочка ливерной колбасы?

Пока мы ехали, я плакал — не мог сдержаться. Когда люди слишком хороши для этого мира, их должно держать под замком. Это правда, что Мил была ленива. Она такая от рождения. И что Мил плохая хозяйка, тоже правда. И что Мил не умела, когда ей подыскали мужа, удержать его. Когда Пол сбежал с женщиной, из Гамбурга, Мил сидела в уголке и плакала. Все хотели, чтобы она что-нибудь предприняла — всадила в него пулю, устроила скандал, подала в суд на алименты. Мил тихонько сидела, где-нибудь приткнувшись. Мил плакала. ' Мил пала духом. Она была как пара драных носков, которые отшвыривают ногой куда придется. Всегда подворачивалась под руку в самый неподходящий момент.

А потом Пол взял однажды веревку и повесился. Мил, должно быть, поняла, что произошло, потому что стала совсем невменяемой. То ее застали поедающей собственные испражения. То сидящей на плите.

А теперь она очень спокойна и зовет коров по кличкам. Луна действует на нее завораживающе. Она не боится, потому что я с ней, а мне она всегда доверяла. Меня она любила больше всех. Даже когда ее слабоумие стало заметно, она была добра ко мне. Другие были умнее, но сердце у них было злое.

Когда брат Адольф бывало брал ее покатать в коляске, другие говорили: «Мил положила на него глаз!» Но мне думается, что Мил просто болтала с ним так же невинно, как со мной теперь. Мне кажется, что Мил, выполняя супружеские обязанности, должна была предаваться невинным мечтам о подарках, которые подарит всем. Я не думаю, что Мил имела хоть какое-нибудь понятие о грехе, или о вине, или о раскаянии. Я думаю, что Мил родилась слабоумным ангелом. Что Мил была святой.

Иногда, когда ей отказывали от места, меня посылали

576

забрать ее. Мил никогда не знала дороги домой. И я помню как счастлива она бывала, завидев меня. Она простодушно говорила, что хотела бы остаться с нами. Почему нельзя было сделать этого? Я снова и снова спрашивал себя об этом. Почему ей не могли отвести место у огня, где она сидела бы и мечтала, если ей этого хотелось? Почему каждый должен *работать* — даже святые и ангелы? Почему слабоумные обязаны подавать хороший пример?

Теперь я уже думал, что в конце концов для Мил, возможно, будет лучше там, куда я ее везу. Не нужно больше будет работать. Но все-таки я предпочитал, чтобы ей устроили уголок где-нибудь дома.

Мы шагаем по дорожке, усыпанной гравием, к большим воротам, и Мил начинает проявлять беспокойство. Даже щенок понимает, когда его несут к пруду, чтобы утопить. Теперь Мил дрожит. У ворот нас поджидают. Пасть ворот раскрывается. Мил стоит по ту сторону, я — по эту. Ее уговаривают идти с ними. Сейчас уговаривают. Они такие ласковые. Но Мил охвачена ужасом. Она поворачивается и бежит назад. Я еще стою у ворот. Она протягивает руки сквозь прутья и судорожно обнимает меня за шею. Я нежно целую ее в лоб. Ласково расцепляю ее руки. Те снова подходят, чтобы забрать ее. Я должен уйти. Бежать. Однако еще целую минуту стою и смотрю на нее. Ее глаза кажутся огромными. Два огромных круглых глаза — сплошные зрачки, черные, как ночь, смотрят на меня не отрываясь, и в них немой вопрос. Никакой маньяк не может так смотреть. Никакой идиот. Только ангел или святой.

Мил, как я говорил, не была хорошей хозяйкой, но она умела готовить фрикадельки. Вот рецепт, раз уж я заговорил об этом: густая масса, в которую входят мокрый перегной мякиша (замоченного в замечательной конской моче) плюс конское мясо (только щетки над копытами), все это тщательно перемешивается с небольшим количеством колбасного фарша. Потом из этой массы катаются шарики. Салун, который она держала вместе с Полом, пока не появилась женщина из Гамбурга, располагался у самого поворота на Вторую авеню Эл, неподалеку от китайской пагоды, используемой Армией спасения.

Я убежал от ворот и, остановившись у высокой стены, уткнулся в нее, закрыв лицо ладонями, и заплакал так, как не плакал с тех пор, когда был ребенком. Тем временем

Мил посадили в ванну, потом облачили в больничную одежду, волосы на макушке разделили пробором, зачесали вниз и закрутили тугим узлом на затылке. В таком виде никто не выделяется. Все кажутся одинаково чокнутыми —
577

наполовину, на три четверти или только самую малость. Когда просишь: «Можно мне ручку и чернила, написать письмо?», — тебе отвечают: «Можно», — и вручают швабру, драить полы. Когда по рассеянности писаешь на пол, то обязан подтереть за собой. Можешь плакать сколько тебе угодно, но правила нарушать не дозволено никому. В психушке должны быть чистота и порядок, как в любом другом доме.

Раз в неделю Мил разрешили принимать посетителей. Сестры тридцать лет ездили в психушку. Они были сыты ею по горло. Когда они были совсем кнопками, они навещали свою мать на Блэкуэл-айленд. Моя мать всегда просила быть начеку с Мил, не забываться. Когда Мил стояла у ворот, ее глаза были такие блестящие и круглые, а мысли, должно быть, уносились назад со скоростью курьерского поезда. Должно быть, она думала обо всем сразу. Ее глаза были такие большие и блестящие, словно им открылось нечто непостижимое. Блестящие от ужаса, и за ним, в глубине — полный хаос. Это и придавало им такой красивый блеск. Надо сойти с ума, чтобы видеть вещи с такой ясностью и все одновременно. Если ты велик, то можешь пребывать в подобном состоянии постоянно, и люди поверят в тебя, будут клясться тобой, перевернут ради тебя мир. Но если ты лишь частично велик, или просто обычный человек, тогда ты погиб.

По утрам — бодрая интеллектуальная прогулка под грохочущей линией надземки, скорым шагом на север от Диленси-стрит к «Уолдорфу», где накануне вечером родитель проводил время с Джулианом Легри в «Пикок-эли». Каждое утро, шагая от станции надземки «Диленси-стрит» на север к «Уолдорфу», я пишу новую книгу. На форзаце каждой из них желчью выведено: «Остров кровосмешения». Каждое утро моя книга начинается с блевотины вечернего пьянства; в ней распускается огромная гардения, которую я вдеваю в петлицу, петлицу моего двубортного костюма на шелковой подкладке. Я вхожу в ателье в облаке черной меланхолии и нахожу в комнате мелкого ремонта ожидающего Тома Джордана, который желает вывести пятна на ширинке. После того, как, пробегая рысцой по улицам, я написал 369 страниц, бесполезность ритуального «С добрым утром» избавляет меня от банальной вежливости. Как раз этим утром я закончил двадцать третий том моей книги предков, книги, из которой нельзя увидеть даже запятой, поскольку вся она написана экспромтом даже без авторучки. Я, сын портного, собираюсь сказать «С добрым утром» выжившему из ума агенту по продаже шерстяных тканей от Эндикота Мамфорда, стоящему в нижнем белье
578

перед зеркалом и изучающему мешки у себя под глазами. Каждая ветвь и каждый лист фамильного древа покачиваются у меня перед глазами: из безумного черного тумана Эльбы выплывает этот, меняющий свой облик, остров инцеста, порождающий дивную гардению, которую я каждое утро вдеваю в петлицу. Я все-таки собираюсь сказать «С добрым утром» Тому Джордану. Слова готовы сорваться у меня с языка. Я вижу огромное дерево, вырастающее из черного тумана, и сидящую в дупле женщину из Гамбурга, чья задница выпирает сквозь решетчатую спинку стула. Дверь заперта на задвижку и в замочную скважину я вижу ее зеленое лицо, сжатые плотно губы, раздутые ноздри. Малахольный Джордж ходит от двери к двери с почтовыми открытками, откушенная лошадью рука похоронена, пустой рукав хлопает на ветру. Когда все странички календаря, кроме последних шести, сорваны, Малахольный Джордж позвонит в дверь и, с сосульками в усах, станет на пороге и крикнет: «Веселого Рождества!» Это самое безумное древо, когда-либо взращенное Эльбой, чьи ветви все обломаны, листья завяли. Это древо, которое регулярно раз в год кричит: «Веселого Рождества!» Наперекор несчастьям, невзирая на бесконечные рак, водянку, воровство, лживость, мужеложество, параличи, больную печень и так далее.

Я все-таки собираюсь сказать «С добрым утром». Приветствие готово слететь с моих губ. 23 тома Книги Судного Дня написаны с инцестуальной верностью, каждый том — в сафьяновом переплете с замочком и своим ключиком. Налитые кровью глаза Тома Джордана приклеились к зеркалу; они подергиваются, как шкура лошади, сгоняющей муху. Том Джордан вечно или снимает брюки, или надевает их. Вечно застегивает или расстегивает ширинку. Вечно он выводит пятна и заглаживает складку. Тетушка Милия сидит в холодке, в тени фамильного древа. Мать отстирывает пятна блевотины с белья, скопившегося за неделю. Родитель правит бритву. Евреи выползают из тени моста, дни становятся короче, буксиры урчат или ревут, как лягушка-бык, гавань забита ледяным крошевом. Каждая глава этой книги, написанной в воздухе, делает кровь гуще; музыка крови заглушает дикую тревогу, звучащую в мелодии мира. Ночь падает как удар грома, и я оказываюсь на асфальте пешеходной дороги, ведущей в конечном счете никуда, но опоясанной светящимися стрелками, не позволяющими ни повернуть назад, ни

остановиться.

Из тени моста появляется толпа, подползает все ближе И ближе, как стригущий лишай, оставляя за собой громадные гноящиеся болячки, которые идут от реки до реки вдоль 14-й улицы. Эта граница гноя, которая невидимо

579

тянется от океана до океана, резко отделяет языческий мир, который я знаю по нашему гроссбуху, от еврейского мира, о котором собираюсь узнать, вглядываясь в жизнь. Между этими мирами, посередине границы гноя, что идет от реки до реки, стоит маленький кувшин, полный гардений. Это там, далеко, где разгуливают мастодонты, где бизонам травяное раздолье; здесь лукавый, абстрактный мир высится, как утес, в недрах которого похоронено пламя революции. Каждое утро я пересекаю границу с гарденией в петлице и свежим томом, написанным в воздухе. Каждое утро я перебираюсь через ров, полный блевотины, на другой берег, берег прекрасного острова инцеста; каждый день утес вздымается все неприступнее, линии окон прямы, как рельсы, сверкание их ослепительнее сверкания блестящих черепов. Каждое утро ров разевает пасть все грозней.

Мне надо бы сказать сейчас «Доброе утро» Тому Джордану, но слова не идут у меня с языка. Что за утро сегодня такое, что я должен тратить время на приветствия? *Доброе* ли оно, это утро утр? Я теряю способность отличать одно утро от другого. В гроссбухе — мир исчезающего бизона;

по соседству монтажники клепают ребра новых небоскребов. Лукавые восточные люди в свинцовых башмаках и со стеклянными черепами разрабатывают бумажный мир будущего, мир повальной торговли, которая громоздит ящик на ящик, точно упаковочная фабрика, франко-порт Канары. Сегодня еще есть время похоронить умершего; завтра этого времени не будет, потому что тело тут же бросят в яму и горе тому, кто роняет слезу. Это доброе утро для революции, если только вместо шутих есть пулеметы. Сегодняшнее утро будет великолепным, если вчерашнее не принесло полный крах. Прошлое мчится прочь, ров расширяется. Завтрашний день отстоит дальше, чем отстоял вчера, потому что лошадь вчерашнего дня ускакала стремглав, и люди в свинцовых башмаках не могут поймать ее. Между добром утра и самим утром лежит граница гноя, окутывающего зловонием вчерашний день и отравляющего завтрашний. Это утро настолько не в себе, что если б оно было старым зонтиком, малейший чих вывернул бы его наизнанку.

Жизнь растягивается, когда утро принадлежит мне. Каждый день я перевожу черновые наброски в прозу. Каждый день возникает новый мир, самостоятельный и завершенный, и я — бог среди созвездий, столь безумно гордый собой, что не способен ни на. что другое, как петь и творить новые миры. Тем временем старая вселенная рассыпается на куски. Старая вселенная похожа на комнату мелкого ремонта, где гладят брюки, и выводят пятна, и пришивают

580

пуговицы. Старая вселенная пахнет как сбрызнутый шов под поцелуем раскаленного докрасна утюга. Бесконечные переделки и починка, рукав длинен, ворот посажен ниже, пуговица перешита поближе. Но никогда не шьется новый костюм, никогда не происходит акта творения. Есть мир утра, которое начинается каждый день с черновиков, и есть комната ремонта, где вещи бесконечно переделываются и чинятся. И то же самое моя жизнь, через которую проходит швея-ночь. Всю ночь я слышу шипение портновских утюгов, целующих влажные швы; лохмотья старой вселенной падают на пол и их зловоние едко, как уксус

Люди, которых любил мой отец, были слабыми и милыми. Они ушли из этого мира, все до одного, как гаснут сверкающие звезды на восходе солнца. Они уходили спокойно и невозвратно. Ни йоты от них не осталось — ничего, только память об их сиянии и славе. Они плывут ныне во мне, как безбрежная река, полная падучих звезд. Они образуют черный поток реки, который постоянно крутит ось моего мира. Из этого черного, бесконечного, вечно расширяющегося пояса ночи появляется непрекращающееся утро, которое расточается на созидание. Каждое утро река выходит из берегов, оставляя рукава и петлицы и все лохмотья мертвой вселенной разбросанными по берегу, где я стою, созерцая океан утра сотворения.

И стоя на океанском берегу, я вижу малахольного Джорджа, сидящего, прислонившись к стене, в похоронном бюро. На нем его потешная кепчонка, целлулоидный воротничок, галстука нет; он сидит на скамье рядом с гробом, и на его лице нет ни печали, ни улыбки. Он сидит спокойно, как ангел, сошедший с картины еврейского художника. Человек в гробу, на ком еще нет следов разложения, одет в пристойный крапчатый костюм одного с Джорджем размера. На нем воротничок и галстук, и часы в жилетном кармашке. Джордж вынимает труп, раздевает и, пока переодевается в его костюм, кладет на лед. Не желая заимствовать и часы, он кладет их

тоже на лед рядом с покойником. Человек лежит на льду в целлулоидном воротничке на шее. Когда Джордж выходит из похоронного бюро, уже темнеет. Теперь на нем галстук и приличный костюм. Возле угловой аптеки он останавливается, чтобы купить юмористическую книжку, которую увидел в витрине; стоя в вагоне метро он заучивает несколько смешных историй. Это анекдоты Джо Миллера.

В этот самый час тетушка Милия шлет родственникам поздравления ко дню Св. Валентина. На ней серое больничное платье, волосы разделены пробором посередине. Она пишет, что очень счастлива, обретя новых подруг, и что кормят их хорошо. Однако она хотела бы напомнить,

581

что в прошлый раз просила немного Fastnacht Kuchen* — не могут ли они прислать пару кусочков по почте, посылкой? Она пишет, что у них растут чудесные петуньи вокруг мусорного бака возле большой кухни. Она пишет, что в последнее воскресенье зашла очень далеко во время прогулки и видела много северных оленей и кроликов, и страусов. Она каялась, что в письме много ошибок, но тут уж ничего не поделаешь: она никогда не была мастерица писать письма. Здесь все очень добры и у нее много работы. Ей бы хотелось, чтобы как можно скорее прислали немного Fastnacht Kuchen, лучше всего авиапочтой. Она просила директора испечь кекс на ее день рождения, но о ее просьбе забыли. Она писала, чтобы ей прислали несколько газет, потому что она любит смотреть объявления. Однажды она там видела шляпку, как она думает, из Блумингсдейла, по сниженной цене. Может быть, они смогут прислать ей и шляпку вместе с Fastnacht Kuchen? Она всех благодарит за милые открытки, которые они прислали на последнее Рождество — она хорошо помнит эти открытки, особенно ту, с серебряными звездами. Все у них нашли ее очень красивой. Она писала, что скоро будет ложиться спать и помолится за них всех, потому что они всегда были добры к ней.

Смеркается — всегда почти в один и тот же час, — и я стою, глядя в зеркало океана. Ледяное время, ни мчащееся, ни ползущее, но замерзшее, лежащее на льду в целлулоидном воротничке — если б только у него еще встал, это было бы здорово... чертовски здорово! В темном холле внизу Том Джордан ждет родителя, чтобы отправиться гульнуть. С ним две ядреные бабищи и одна из них поправляет подвязку; Том Джордан помогает ей. В тот же, предвечерний, как я сказал, час миссис Лоусон идет по кладбищу, чтобы снова взглянуть на могилу своего дорогого сына Ее дорогой мальчик, говорит она, хотя тому было тридцать два, когда он гигнулся семь лет назад. Говорили, что от ревматизма сердца, но на самом деле дорогой мальчик сломал столько венерических целок, что когда из него выкачали весь гной, смердел, как бочка золотаря. Миссис Лоусон, похоже, ничего этого не помнит. Тут лежит ее дорогой мальчик Джек, и могила всегда ухожена; в ее сумочке припасен кусочек замши, чтобы каждый вечер полировать надгробие.

Те же сумерки, мертвяк лежит на льду, родитель стоит в телефонной будке, в одной руке трубка, в другой нечто теплое и влажное и покрытое волосами. Он звонит сказать, чтобы его не ждали к обеду, ему еще нужно избавиться от

* Кекс котрый делается в канун великого поста (нем.).

582

клиента, и он вернется домой поздно, пусть не волнуются. Малахольный Джордж переворачивает страницу книжки Джо Миллера. Где-то возле Мобила разучивают «Сент-Луи блюз», не имея нот перед собой, и люди готовы свихнуться, слушая его каждый день: вчера, сегодня, завтра. Каждый ждет, что его изнасилует, одурманит, раздавит, измочалит новая музыка, которая разносится с испариной асфальта. Скоро повсюду установится один и тот же час, просто подведут часы или подвесят их над землей, как воздушный шар. Это час kaffee-klatschen*, сидящих за семейным столом, перенесших операции по разным поводам, той, с усиками и толстыми кольцами на пальцах, было труднее всех, потому что она могла себе позволить страдать.

Это ошеломительно красивый час, когда каждый живет собственной отдельной жизнью. Любовь и убийство — между ними разница лишь в несколько часов. Любовь и убийство; я чувствую, как это приближается с темнотой:

новые младенцы появляются из чрева, мягкие, с розовой плотью, чтобы быть запеленутыми в колючую проволоку и кричать всю ночь, и гнить, словно падаль, за тысячу миль от ниоткуда. Безумные девственницы с холодным, как лед, джазом в жилах, подбивают мужчин воздвигать новые здания, и мужчины в собачьих ошейниках идут, увязая в дерьме по глаза, так что владыкой волн будет царь электричества. При виде того, что находится в зародыше, я штаны обмочил от страха: совершенно новый мир вылупляется из яйца и, как бы быстро я ни писал, старый мир умирает недостаточно быстро. Я слышу тарахтенье новых пулеметов .и треск миллионов разлетающихся одновременно костей; я вижу мечущихся собак и сыплющихся с неба голубей с письмами, привязанными к лапкам.

Забавник а шутник, к северу ли от Диленси-стрит или к югу, ближе к границе гноя! Мои нежные руки в теле мира, копошатся в его теплых внутренностях, укладывая и перекладывая, кромсая и сшивая вновь. Ощущение теплого нутра, знакомое хирургам, и устрицы, наросты, язвы, грыжи, раковые метастазы, молодые кольраби, хирургические зажимы и щипцы, ножницы и тропические плоды, яды и газы — все набито сюда и тщательно прикрыто кожей. Из протекающих труб любовь бьет фонтаном, как болотный газ: бешеная любовь в черных перчатках и ярких подвязках, любовь, скрежещущая и рычащая, любовь, что спрятана в винной бочке и каждую ночь выбивающая затычку От мужчин, которые прошли через ателье моего отца, несло

* Кумушек (*нем.)*

583

любовью: они были разгоряченные и хмельные, вялые и вальяжные, стремительные яхты, летящие на парусах секса, когда они проплывали мимо меня в ночи, их запах отравлял мои сны. Стоя в центре Нью-Йорка, я мог слышать позванивание коровьих колокольцев, или, только повернув голову, — сладостную музыку похоронных дрог, траурные повязки на всех рукавах. Чуть изогнув шею, я мог оказаться выше самого высокого небоскреба и оттуда смотреть вниз на колеи, оставленные огромными колесами современного прогресса. Мне было не слишком трудно постичь что угодно, если только оно заключало в себе толику скорби и страданий. Ches nous* болели всеми врожденными болезнями — и неврожденными тоже. Мы росли как горный хрусталь, от одного преступления к другому. Водоворот веселья, и в центре — мое двадцатиоднолетие, уже покрытое ярь-медянкой.

И когда я буду не в состоянии что-нибудь вспомнить, я всегда вспомню ту ночь, когда подхватил триппер, а родитель до того упился, что затащил в постель своего дружка Тома Джордана. Это красиво и трогательно — умотать куда-то, чтобы подцепить триппер, в то время, как честь семьи поставлена под угрозу, когда, так сказать, цена ей была номинальная. Умотать на вечеринку и не быть дома, когда мать и отец борются в партере, а щетка работает не зная устали. Не быть дома, когда разливается холодный утренний свет, и Том Джордан стоит на коленях и умоляет о прощении, но даже на коленях не может его вымолить, потому что непреклонное лютеранское сердце не ведает, что такое прощение. Трогательно и красиво прочитать на другое утро в газете, что примерно в то же время предыдущим вечером пастор, заглянувший в кегельбан, был застукан в темной комнате с мальчиком на коленях! Но удручающе трогательно и красиво было, когда я, ничего обо всем этом не зная, пришел на другой день домой, чтобы просить разрешения жениться на женщине, которая годилась мне в матери. И когда я произнес: «Жениться», — родительница схватила хлебный нож и бросилась на меня. Я помню, как выскочил на улицу, что по дороге остановился у книжного шкафа и выхватил книгу. И название книги — «Рождение трагедии». Комично все это: и половая щетка той ночью, и хлебный нож, триппер, пастор, застигнутый на месте преступления, остывающие клецки, мета-стазы рака и так далее... В те времена я считал, что все трагическое существует лишь в книгах, а то, что происходит в жизни, — так, разбавленные опивки. Я думал, что прекрасная книга — это плод того, что есть больного в

* В нашей семье (фр.)

584

сознании. Я совершенно не представлял, что больным может быть весь мир!

Мотаюсь с пакетом под мышкой. Утро, скажем, прекрасное, солнечное, все плевательницы вычищены и блестят. Бормочу под нос, входя в здание «Вулворта»: «Доброе утро, мистер Торндайк, чудесное сегодня утро, мистер Торндайк. Не интересует ли вас костюм, мистер Торндайк?» Этим утром мистера Торндайка не интересуют костюмы: он благодарит меня за визит и бросает мою визитную карточку в мусорную корзину. Как ни в чем ни бывало я пытаю удачу в «Американ экспресс». «Здравствуйте, мистер Гатауэй, какое прекрасное утро!» Мистер Гатауэй не нуждается в хорошем портном — он теперь шьет раз в тридцать пять лет. Мистер Гатауэй слегка раздражен и чертовски прав, считая, что я сам найду выход. Утро чудесное, солнечное, это невозможно отрицать, и потому, чтобы избавиться от дурного привкуса во рту, а заодно полюбоваться гаванью, я сажусь в трамвай, переезжаю мост и заглядываю к одному скупердяю по имени Дайкер. Дайкер занятой человек. Из тех, кому ланч приносят прямо в кабинет и, пока он ест, чистят ему ботинки. Он говорит, что мы можем пошить ему костюм в крапинку, если перестанем донимать его каждый месяц. Девчонке было только шестнадцать, у него и мысли дурной не возникло в отношении ее. Да, с накладными карманами, пожалуйста! Кроме того, он женат и имеет троих детей. И он собирается выставлять свою кандидатуру на пост судьи — в суде по делам о наследстве и опеке.

Приближается время дневного представления. Мчусь обратно в Нью-Йорк и соскакиваю у «Бурлеска», где у меня знакомый билетер. Первые три ряда всегда заполнены судьями и политиками. Крутом темно, Марджи Пиннетти стоит на дорожке для разбега в грязном белом трико. У нее самая восхитительная задница во всем женском составе, и все знают об этом, включая ее самое. После шоу бесцельно слоняюсь по улице, пялясь на кинотеатры и еврейские гастрономические лавки. Недолго стою в грошовом пассаже и слушаю голоса сирен, усиленные мегафонами Жизнь — это сплошной медовый месяц с шоколадным тортом и клюквенным пирогом. Опусти монетку в щель, и смотри, как женщина раздевается на травке. Опусти монетку в щель, и выиграй вставные зубы. Мир каждый вечер обновляется: грязное отдается в сухую чистку, изношенное идет в утиль.

Шагаю по направлению к центру вдоль границы гноя захожу в вестибюли больших отелей. Если хочется, можно сесть и смотреть на проходящих мимо людей. Повсюду что-то случается. Безумное напряжение ожидания чего-то,

Миллер Генри. Избранное: Романы; Повести; Эссе; Рассказы; Автобиография: Пер. с англ. / Сост. Н. Пальцев. — Вильнюс: Полина, 1995. — 749 с., илл. (Короли литературных скандалов).

что должно произойти. С грохотом проносится надземка, гудят клаксоны такси, звенит карета скорой помощи, гремят пневматические молотки строительных рабочих. Мальчишки-посыльные, одетые в затейливые ливреи, разыскивают людей, не откликающихся на вызов. В раззолоченных подземных туалетах мужчины стоят в очереди к кабинкам; крутом плюш и мрамор, аромат дезодоранта, слив работает безотказно. На тротуаре — газетный развал, в заголовках — свежайшие новости: убийство, изнасилование, поджог, забастовки, подлоги, революция. У входа в метро столпотворение. На той стороне, в Бруклине, меня ждет женщина. Она годится мне в матери и хочет, чтобы я женился на ней. Ее сын, больной туберкулезом, настолько плох, что больше уже не встает с постели. Бесшабашная сестренка поднимается в мансарду, чтобы заниматься любовью в то время, как ее сын рвет в кашле легкие. Кроме того, она только что сделала аборт, и я не желаю вновь ее заряжать — по крайней мере, не сейчас.

Час спешки и натиска! и в метро можно быть как в раю. Я прижат к женщине так крепко, что могу чувствовать волосы на ее алозе. Мы так плотно приклеены друг к другу, что костяшки моих пальцев вдавливаются ей в пах. Она смотрит прямо перед собой, в микроскопическую точку у меня под правым глазом. У «Канал-стрит» мне удается поместить на место костяшек пенис. Тот вскакивает как сумасшедший, и независимо от того, в какую сторону дергается вагон, она остается в том же положении:

визави с моим петушком. Даже когда становится свободней, она стоит все так же, подавшись бедрами вперед и не спуская глаз с микроскопической точки как раз под моим правым глазом. На «Бороу-холл» она выходит, ни разу так и не оглянувшись. Я следую за ней на улицу, думая, что она обернется, скажет: «Привет!» —или позволит купить ей шоколадного мороженого, на одну порцию я наскребу Но нет, она летит прочь, как стрела, не повернув головы и на восьмую долю дюйма. Как это им удается, не знаю. Миллионы и миллионы их каждодневно стоят, в платье на голое тело, и удовлетворяются всухую. И что дальше — холодный душ? растирание? Десять против одного, что они бросаются на постель и доканчивают с помощью пальцев.

Так или иначе дело близится к вечеру, и я шагаю по улицам с такой эрекцией, что пуговицы на ширинке того гляди отлетят. Толпа делается все гуще. Теперь в руке у каждого газета. Небо задыхается от иллюминированного торгашества, каждая строка в отдельности гарантирует вам товар, доставляющий удовольствие, полезный для здоровья, долговечный, изысканный, бесшумный, водонепроницае-

587

мый, непортящийся, пес plus ultra*, без которого жизнь будет невыносимой, будто и так не ясно, что жизнь давно невыносима, потому что нет никакой жизни. Уже почти наступил час, когда Хеншке покидает ателье, чтобы отправиться в карточный клуб в центре города. Подходящая несложная работенка на стороне, где он занят до двух часов утра. Ничего особенного делать не надо — просто принять у джентльменов шляпу и пальто, разнести напитки на маленьком подносе, вычистить пепельницы и пополнять спичечницы спичками. В самом деле, работа очень приятная, все так считают. Ближе к полуночи приготовить джентльменам легкую закуску, если они того пожелают. Конечно, еще и плевательницы на нем, и унитазы. Все, однако, такие джентльмены, что это пустяки. И к тому же всегда перепадает немного сырку и крекеров, глоток портвейнчику. Время от времени сэндвич с холодной телятиной на завтра. Настоящие джентльмены! Никто не сможет этого отрицать. Курят наилучшие сигары. Даже окурки покурить приятно. Нет, правда, очень приятная работа!

Приближается обеденное время. Большинство портных закрывают свои заведения. Немногие, у которых нет других клиентов, как только хрупкие старикашки, ждут заказчиков на примерку. Они расхаживают взад и вперед, заложив руки за спину. Все ушли, кроме босса, хозяина ателье, и, может, еще закройщика или того, кто занимается всякой мелкой починкой. Хозяин ломает голову, шить ли ему и дальше в кредит и придет ли чек к тому времени, когда нужно будет платить за аренду. Закройщик бубнит себе под нос: «Ну, конечно, мистер Такой-то, ну, разумеется... да, пожалуй, тут надо поднять самую малость... да, вы совершенно правы... *да,* левый бок немного приспущен... да, через несколько дней все будет готово... да, мистер Такой-то... да, да, да, да, да...» Законченная и незаконченная одежда висит на плечиках; рулоны материи аккуратно сложены на столах; только в комнате ремонта одежды горит свет. Неожиданно звонит телефон. Это мистер Такой-то сообщает, что не может прийти сегодня вечером но ему хотелось бы, чтобы его смокинг отослали прямо сейчас, тот, с новыми пуговицами, которые он выбрал на прошлой неделе, и он очень надеется, что на сей раз смокинг будет хорошо сидеть на нем. Закройщик надевает шляпу и пальто и быстро сбегает по лестнице вниз, торопясь на собрание сионистов в Бронксе. Хозяин остается, чтобы запереть двери и выключить свет, если где-то забыли это сделать. Мальчик, которого он посылает отнести смокинг, это он сам, что не имеет особого значения, потому что он пойдет чер-

* Непревзойденный (лат.)

588

ным ходом и никто ничего не поймет. Никто так не похож на миллионера, как хозяин ателье, доставляющий смокинг мистеру Такому-то. Щеголеватый и элегантный, башмаки сияют, шляпа вычищена, перчатки постираны, усы нафабрены. ' Озабоченный вид у них появляется только тогда, когда они садятся за ужин. Ни аппетита. Ни заказов сегодня. Ни чеков. Они настолько падают духом, что засыпают в десять часов, а когда приходит время идти в постель, больше не могут заснуть.

Бруклинский мост... И это жизнь — такое шатание по улицам, освещенные здания, встречные мужчины и женщины? Я смотрю на их шевелящиеся губы, губы встречных мужчин и женщин. О чем они говорят — некоторые с таким важным видом? Не могу видеть людей столь убийственно серьезных, когда мне во сто крат хуже, чем любому из них. *Единственная* жизнь! и миллионы и миллионы жизней, которые нужно прожить. Пока мне было нечего сказать о моей жизни. Совершенно нечего. Должно быть, я не много стою. Следовало бы вернуться в метро, сграбастать Джейн и изнасиловать прямо на улице. Следовало бы зайти еще раз к мистеру Торндайку и плюнуть ему в лицо. Следовало бы встать на Таймс-сквер, расчехлить свой шланг и отлить в решетку канализации. Следовало бы выхватить револьвер и шандарахнуть, не целясь, по толпе. Родитель живет, как Рейли. Он и его закадычные дружки. А я таскаюсь по улицам, зеленея от злости и зависти. А заявлюсь домой, родительница примется рвать душу своими рыданиями. Невозможно уснуть под ее причитания. Я ее просто ненавижу за эти рыдания. Как я могу идти успокаивать ее, если мне больше всего хочется, чтобы она помучилась?

Бауэри... в этот час на его асфальтовых лугах, зеленых, как сопли, резвятся сутенеры, проходимцы, кокаинисты, нищие, голодранцы, зазывалы, бандиты, китаезы, итальяшки, пьяные ирлашки. Все обалделые от поисков чего бы пожрать и где бы завалиться подрыхать. *Я все шагаю, шагаю, шагаю.* Мне двадцать один, я белый, родился и вырос в Нью-Йорке, мускулист, выгляжу разумным, хороший производитель, не имею дурных привычек и так далее и тому подобное. Запишите это мелком на доске. Продается по номинальной цене. Преступлений не совершал, кроме того, что родился в этой стране.

До меня все в нашем семействе что-то делали своими руками. Я первый ленивый сукин сын с бойким языком и испорченной душой. Я плыву в толпе, слитый с нею. Сшитый и не раз перешитый. Мигают гирлянды реклам — вспыхнут и погаснут, вспыхнут и погаснут. То это шина, то — кусок жевательной резинки. Трагедия в том, что ни-

589

кто не видит выражения безнадежного отчаяния на моем лице. Нас тысячи и тысячи, мы проходим мимо и не узнаем друг друга. Огни дергаются, прыгают электрическими иглами. Атомы мечутся, обезумев от света и духоты. Под стеклом продолжается лесной пожар, но ничего не сгорает. Люди надрываются, ломают мозги, чтобы изобрести машину, которой сможет управлять и ребенок. Если б я только смог найти того гипотетического ребенка, который, предполагается, будет управлять этой машиной, я бы дал ему в руки молоток и сказал: «Уничтожь! Уничтожь!»

«*Уничтожь! Уничтожь!*» Это все, что я могу сказать. Родитель раскатывает в открытой коляске. Я завидую подонку, миру в его душе. С ним закадычный приятель, в брюхе плещется кварта ржаного виски. У меня на ногах от злобы наливаются волдыри. Впереди еще двадцать лет, и с каждым часом злоба растет. Она душит меня. Через двадцать лет не останется никого из ласковых, милых людей, которые с радостью встречают меня. Каждый мой близкий друг, уходящий сейчас, это бизон, исчезающий навсегда. Сталь и бетон окружают меня. Тротуар становится все тверже и тверже. Новый мир вгрызается в меня, отнимает меня у меня. Скоро мне уже не понадобится имени.

Когда-то я думал, что впереди меня ждет много чудесного. Тем не менее, я строил собственный воздушный мир, замок из чистой белой слюны, который возносил меня над высочайшими зданьями, между реальным и неуловимым, в космос, подобно музыке, где все разрушается и гибнет, но где я был свободным, великим, богоподобным, святейшим из святых. Это я, сын портного, воображал та кое. Я, родившийся от малого желудя с огромного и крепкого дерева. Когда я сидел в своей чашечке, как всякий желудь, мне передавалось малейшее сотрясение земли: я был частью великого дерева, частью прошлого, со своею славой и родословной, со своею гордостью, *гордостью.* И когда я упал на землю и зарылся в нее, я вспомнил, кто я и *откуда* пришел. Теперь я потерян, *потерян,* слышите? Не слышите? Я вою и вопию — неужели не слышите? Выключите свет! Разбейте лампочки! Теперь слышите? Вы требуете: «Громче! Громче!». Боже, вы смеетесь надо мною? Или вы слепоглухонемые? Может, мне сорвать с себя одежду? Может, станцевать на голове?

Ну, ладно! Я станцую для вас! Веселый танец, братья, и пусть она кружится, кружится, кружится со мной! Швырните-ка лишнюю пару брюк, пока вы портняжите. И

не забудьте, ребята, чтоб сидели как влитые. Слышите? Пропустите ее! *Забавницу и шутницу!*

590

БРЕДТРЕП КРОНСТАДТ

Вот человек, и ум, и музыка...

Он живет в дальнем конце затонувшего сада, этого дикого поля, сплошь заросшего оглоблями и шипами, гималайскими кедрами и баобабами, этого брезгливого Букстехуде в ромбовидных узорах надкрылий жуков и парусов фелюг. Вы проходите мимо сторожевой будки, где консьерж теребит усы con furioso*, как в последнем акте «Аиды». Они живут на третьем этаже, в квартире с бельведером, украшенном окошком в частом переплете, лепниной из принявших .стойку спаниелей и гроздий жировиков, и полощущимися на ветру нищетой и унынием. Над кнопкой звонка дощечка: БРЕДТРЕП КРОНСТАДТ, поэт-музыкант, ботаник, метеоролог, лингвист, океанограф, старое платье, коллоиды. Ниже предупреждение: «Вытирайте ноги и носы!» Еще ниже прикреплена бутоньерка со старого костюма.

«Что-то есть во всем этом странное, — говорю я своей спутнице, чье имя Дшилли Зайла Бей. — Должно быть, он опять в своем репертуаре».

Мы звоним в дверь и слышим детский плач, раздирающий оглушительный вопль, какой будит живодера, скупщика старых кляч.

Наконец Катя открывает — Катя из Хессе-Кассель, — позади нее, прозрачная, как вода, с куклой цвета старого сухаря в руках, стоит малышка Пинокинни. И Пинокинни объявляет: «Вам придется пройти в гостиную, они еще не одеты». Я спрашиваю, долго ли придется ждать, а то мы умираем с голоду, она успокаивает: «О нет! Они одеваются уже несколько часов. Вы должны взглянуть на новое стихотворение, которое отец написал сегодня, — оно на каминной полке».

И пока Дшилли разматывает серпантин своего шарфа, Пинокинни хихикает и хихикает, ах, я не понимаю, что творится с этим миром, все такое не современное, и не знаете ли вы историю о ленивой маленькой девочке, которая прятала свои зубочистки под матрацем? Очень странная история, отец читал мне ее по толстой страшной книге.

Никакого стихотворения на каминной полке нет, но есть много чего другого — «Анатомия меланхолии», пустая бутылка из-под перно, кусок плиточного табака «Опаловое море», женские шпильки, справочник городских улиц, окарина... и машинка для скручивания сигарет. Под машинкой

* Яростно (илюл.)

591

обрывочные записи, сделанные на меню, на повестках, на туалетной бумаге, на книжечках спичек... «встретить графиню Кэткарт в четыре»... «опалесцирующая джизма Мишле»... «плевки... сокровенные лепестки... туберкулезно-розовы»... «когда Пасха щекочет Приснодеве меж ног, бойся, Англия, подцепить в эти дни трипперок»... «от ихора, что в жилах течет его преемника»... «северный олень, сурок, выдра, водяная крыса».

Рояль стоит в углу, ближнем к бельведеру, — хрупкий черный ящик с серебряными подсвечниками; черные клавиши выгрызены спаниелями. На рояле — альбомы: Бетховен, Бах, Шопен; меж страницами — счета, вещицы из маникюрного набора, шахматные фигуры, мраморные шарики и игральные кости. Если у Кронстадта хорошее настроение, он раскроет альбом «Гойя» и что-нибудь сыграет в до мажоре. Он может играть оперы, минуэты, шотландки, рондо, сарабанды, прелюдии, фуги, вальсы, военные марши; он может играть Черни, Прокофьева или Гранадоса, он может даже импровизировать, одновременно насвистывая, на тему провансальского мотивчика. *Но все обязательно в до мажоре.*

Так что не имеет значения, скольких черных клавиш не достает и размножаются спаниели или нет. Если звонок не звонит, если уборная не работает, если не пишутся стихи, если падает люстра, если не уплачено за жилье, если вода не течет, если прислуга пьяна, если раковина засорена и тянет вонью из мусорного ведра, если сыплется перхоть и скрипит кровать, если плесень выбелила цветы, если убежало молоко, если в раковине грязь и выцвели обои, если новости не новы и не случается катастроф, если несет изо рта и липки ладони, если не тает лед и продавливается педаль — все ерунда и в душе наступает Рождество, потому что все будет звучать в до мажоре, раз ты привык так смотреть на мир.

Дверь неожиданно приоткрывается, впуская громадную эпилепсоидную зверюгу с мицелием усищ. Это Джоката, голоднющий кот, здоровенная содомитская тварь темно-серой масти, с парой черных грецких орехов под несгибаемым хвостом. Он снует по комнате, как леопард, задирает заднюю лапу, как пес, мочится, как сыч.

«Через минуту выйду, — подает голос сквозь филенчатую дверь Бредтреп. — Уже натягиваю брюки».

Тут входит Эльза — Эльза из Бад-Наутейма — и ставит на каминную полку поднос с кроваво-красными рюмками. Тварь скачет и воет, носится и гнусаво вопит: к его мягкому носу, похожему на лист кувшинки, прилипло несколько крупинок кайенского перцу, к кончику носа, мягкому, как пуля дум-дум. Он мечется в диком сиамском бешенстве

592

и его хвостовые позвонки гибче гибчайших сардин. Он когтит ковер и грызет обои, он сжимается, как пружина, и раскрывается, как цветок, он хлещет хвостом, как хлыстом, и мечет мицелий с усищ. Он с ходу впивается в сердцевину стиха Он в до мажоре и сходит с ума. У него глаза, как пуговицы на старомодной жилетке, красны; он косматый и гладкий он бурый, как арника, а после зеленый, как Нил;

он труслив, прилипчив, капризен; он яростно треплет ризы.

Тут входит Анна — Анна из Ганновер-Миндена — и вносит коньяк, красный перец, абсент и бутылку уорчестерширского соуса. И за Анной входят малыши храмовые коты — Лахор, Майсур и Канпур. Они все коты, включая их мамашу. Они катаются по полу — у них ссохшиеся черепа — и зверски насилуют друг друга. И тут появляется сам поэт и спрашивает, сколько времени, хотя время — это слово, которое он вычеркнул из своего словаря, время — родной брат смерти. Смерть — глухонемая старуха, и время — родной ее брат, и теперь проходит мало времени между позывами, и время — это масло, в которое порядочный человек подмешивает спиртное, чтобы его пронесло. Время, говорит он, время, и сыплет немного кайенского перцу в коньяк. Всему свое время, хотя больше я не пользуюсь этим словом, и, говоря так, он исследует хвост Лахора, который завязался узлом, и, почесывая себе копчик, добавляет, что уборную только что отделали серебром и там вы найдете номер «Юманите».

— Вы очень красивы, — говорит он Дшилли Зайла Бей, и в этот момент дверь снова открывается и входит Джил в хламиде цвета нильской зелени.

— Правда, она красива? — обращается он к ней.

Всё вдруг становится красивым, даже эта здоровенная содомитская тварь Джоката с его орехами, коричневыми, как корица, и нежными, как нифелиум.

Труби в раковину и ласкай витой ее конус! У Бреда рези внизу живота, там, где полагается болеть у его жены. Раз в месяц, с регулярностью новолуния, боль возникает и сгибает его в дугу, не помогают никакие мази. Ничего, кроме коньяка с кайенским перцем — чтобы работали мышцы желудка. «Я вам назову три слова, пока гусь переворачивается на сковородке, — говорит он: — чудной, отечный, чахоточный».

«Почему ты не садишься? — спрашивает Джил и поясняет: — Его опять прихватило».

Канпур разлегся на альбоме «24 прелюдии». «Я сыграю вам одну, быструю», — говорит Джеб и, откинув крышку маленького черного ящика, начинает: *плинк, плонк, планк*[1] «А сейчас — тремоло», — объявляет он и принимается быстро-быстро бить пальцами правой руки по белой до-

593

мажорной клавише в середине клавиатуры, и шахматные фигурки и маникюрные принадлежности и неоплаченные счета начинают подпрыгивать и дребезжать, как пьяные «блошки» настольной игры. «Какова техника! — говорит он и глядит тусклыми глазами, опушенными инеем. — Только одно может двигаться так же быстро, как свет, и это ангелы. Одни ангелы могут передвигаться со скоростью света. Тысячу световых лет потребуется, чтобы добраться до Урана, но никто никогда не бывал там и никогда не будет. Возьмите американскую воскресную газету. Кто-нибудь обращал внимание, как читают воскресные газеты? Сперва смотрят картинки, потом страничку юмора, потом спортивную колонку, потом объявления, потом театральные новости, потом книжное обозрение, потом заголовки статей. Схватывание главного. Онтогенез-филогенез. Будь точным, и никогда не придется употреблять такие слова, как: время, смерть, мир, .душа. В каждом .высказывании кроется маленькая неточность, и эта неточность растет и растет, пока высказывание не потеряет смысл. Безупречна одна поэзия, давшая представление о времени. Стихотворение это паутина, которую поэт, вытягивая нить из собственного тела, ткет в соответствии с высшей математикой интуиции. Поэзия всегда права, потому что поэт начинает из сердцевины и идет во вне...» Звонит телефон.

— Пифагор был прав.. Ньютон был прав... Эйнштейн прав...

— Может, ты все же возьмешь трубку? — останавливает его Джил.

— Алло! Oui, c'est le Monsieur Cronstadt. Et votre nom, s'il vous plait?* *Бимберг?* Послушайте, вы же говорите по-английски? Я тоже... *Что?* Да, у меня есть три квартиры — для сдачи в аренду или продажи. *Что?* Да, с ванной, кухней и уборной... Нет, нормальная уборная. Нет, не в коридоре — в квартире. Со стульчаком. Может быть, вы желаете отделанную серебром или золотом? *Что?* Нет, уборную! У меня тут человек из Мюнхена, беженец. *Беженец! Гитлер! Гитлер! Compris?*** Точно. У него на груди

наколота свастика, синего цвета... *Что?* Нет, я серьезен. А вы? *Что?* Послушайте, если желаете говорить о деле, давайте обсудим вопрос о деньгах... *Деньги. Наличные!* Вам придется платить наличными. *Что?* Да, здесь дела ведутся так. Француз не доверяет чекам. На прошлой неделе меня пытались надуть на 750 франков. Да, с американским чеком. *Что?* Если эта не нравится, у меня есть для вас другая, с кухон-

* Да, это мсье Кронстадт С кем я говорю, простите? (фр.)

** Понятно? (фр.)

594

ным лифтом. Сейчас она в некотором беспорядке, но это можно поправить. *Что? О,* что-нибудь тысячу франков. С бильярдной на верхнем этаже... *Что?* Нет... нет... нет. Здесь такого не водится. Послушайте, мистер Бимберг, вы должны усвоить, что здесь Франция. Да, вот так... Конечно, в Риме... Послушайте, позвоните мне завтра утром, идет? Сейчас я обедаю. *Обедаю.* Ем. *Что?* Да, *наличными...* до

свидания!

Вот так, — сказал он, вешая трубку, — делается дела в этом доме. Недурно, а? Недвижимое имущество. Вы друзья, витаете в облаках. Думаете, литература — это все Вот и на обед у вас — литература Ну а в этом доме на ОБЕД.. — гусь, к примеру. Да, кстати, он уже почти готов Anna! Wie geht es? Nicht fertig? Merde alors!* Три девушки... беженки. Не знаю, откуда они взялись. Кто-то дал им наш адрес. Замечательные девушки. Свежие, ядреные, резвые, аппетитные. В Германии им нет места. Эйнштейну ни до чего — он пишет стихи о свете. Эти девочки хотят иметь работу и чтобы было где жить. Вы знаете кого-нибудь, кому нужна горничная? Прекрасные девушки. Хорошо образованные. Но готовить могут только втроем. Лучше всех Катя: умеет гладить. Вот эта, Анна — эта попросила у меня вчера пишущую машинку... хочу, говорит, переписать стихотворение. Я не для того держу тебя здесь, говорю, чтобы ты переписывала на машинке стихотворения. В этом доме я переписываю стихотворения — если таковые имеются. Вид у нее был недовольный. Послушай, говорю, Анна, ты живешь в придуманном мире. Никому на свете не нужны больше стихотворения. Нужны хлеб и масло. Ты можешь производить больше хлеба и масла? Именно этого хочет мир. Выучи французский и сможешь помогать мне в делах с недвижимостью. Ведь людям нужно где-то жить. Забавно, да. Но так устроен нынешний мир. И всегда так было, только прежде люди в это не верили. Мир создан для будущего... для планеты Уран. Никто никогда не попадет на планету Уран, но это не имеет никакого значения. У людей должно быть жилье, хлеб и масло. Ради будущего. *Настоящее?* Нет такой вещи, как настоящее. Есть слово «Время», но никто не в силах объяснить, что это такое Есть прошлое и есть будущее, и Время течет по ним, как электричество по проводам. Настоящее — это наша выдумка, сон... *оксюморон.* Вот слово для вас — дарю, можете забрать с собой. Напишите о нем стихи. Я слишком занят... положение обладателя недвижимостью обязывает к молодому вину подавать гуся под клюквенным соусом... Послушай, Джил, какое слово я искал вчера?

* Анна! Как там дела? Не готов? Ну, дерьмо! (нем., фр.)

595

— Омоплат? — тут же отозвалась Джил.

— Нет, не то. Омо... омо...

— Омафалос?*

— Нет, нет. Омо... омо...

— Вспомнила! — кричит Джил. — *Омофагия!*

— Омофагия, именно! Нравится слово? Берите его себе! В чем дело? Вы не пьете. Джил, где, черт побери, шейкер, который я вчера нашел в кухонном лифте? Можете себе представить — *шейкер для коктейлей!* Так или иначе, вы, друзья, как мне кажется, считаете, что литература это что-то, без чего нельзя прожить. Отнюдь. Литература — это всего лишь литература. Я бы тоже мог заниматься литературой — если бы не надо было кормить этих беженцев. Хотите знать, что такое настоящее? Посмотрите вон на то окно. Нет, не там... выше. *Это!* Каждый божий день они сидят вот так за столом и играют в карты — только он и она. Она всегда в красном платье. А он всегда тасует колоду. *Вот это и есть настоящее.* А если добавить всего одну частицу: «бы», оно станет условным...

— О Боже! — не выдерживает Джил, пойду посмотрю, чем там занимаются эти девчонки.

—— Нет, не ходи! Они только того и ждут — чтобы ты пришла и помогла им. Они должны понять, что это — *реальный* мир. Я хочу, чтобы они уяснили это себе. Потом найду им работу. Я знаю массу мест для них. Пусть сперва приготовят мне поесть.

— Эльза говорит, все готово. Идемте в столовую.

— Анна, Анна, возьми эти бутылки и поставь на стол! Анна беспомощно смотрит на

Бредтрепа.

— Вот те на! Они даже английского не знают. Что прикажете с ними делать? Anna... hier! 'Raus mit 'em! Versteht?** И налей себе, чем моргать, как идиотка.

В столовой разливается мягкий свет свечей, поблескивают приборы. В тот момент, когда все рассаживаются, звонит телефон. Анна, держа в одной руке длинный шнур, переносит аппарат с рояля на буфет за спиной Кронстадта. «Алло! — кричит он. Расправляя шнур, бормочет:,—, прямо кишки какие-то..., — и опять в трубку: — алло1'Oui, madame... je suis le Monsieur Cronstadt... et votre nom, s'il vous plait? Oui, il y a un salon, un entresol, une cuisine, deux chambres a coucher, une salle de bain, un cabinet... oui, madame... Non, ce n'est pas cher, pas cher du tout... on peut s'arranger facilement... comme vous voulez, madame... A quelle heure? Oui... avec plaisir... *Comment?* Que dites! vous? Ah non! au contrair! Ca sera un plaisir... un grand plaisir... Au

* Озорное искажение греческого, слова «омфалос» — пуп

** Анна... вот! Отнеси их тоже! Понимаешь? (нем.).

596

revoir madame!»* — Швыряет трубку. — Kuss die Hand, madame!** Не почесать ли вам спину, мадам? Не угодно ли молока к кофе, мадам? Не желаете ли...?

— Послушай, — говорит Джил, — кто это был, черт возьми? Ты так с ней любезничал. Oui, madame... non, madame!*** Уж не обещала ли она тебе и выпивку покупать? — И повернувшись к нам: — Можете себе представить, я вчера принимаю ванну, а к нему приходит артистка... какая-то шлюшка из «Казино де Пари»... и ведет его в кабак и поит там до потери сознания...

Ты все неправильно рассказываешь, Джил. Дело было так... я показываю ей миленькую квартирку —с кухонным лифтом, — и она спрашивает: не познакомите ли меня с вашей поэзией — poesie... по-французски звучит лучше... ну я веду ее сюда, и она говорит: я опубликую ваши стихи на бельгийском.

— Почему на бельгийском, Бред?

— Да потому что она бельгийка. В любом случае, какая разница, на каком языке опубликованы стихи? Кто-то должен их опубликовать, иначе их никто не прочтет.

— Что ее дернуло— взять и предложить вот так сразу?

— Меня спрашиваешь! Наверное, то дернуло, что они хороши. Почему еще люди хотят напечатать стихи.

— Чушь какая!

— Нет, видели! Она мне не верит.

— Конечно, нет! Если я застукаю тебя здесь с какой-нибудь примадонной, какой-нибудь танцоркой из кордебалета или воздушной гимнасткой — с "кем угодно, кто говорит по-французски и носит юбку, ты мне дорого заплатишь. Особенно если они будут предлагать напечатать твои стихи!

— Вот вам, пожалуйста, — говорит Бредтреп, поблекший и погасший. — Потому я и занимаюсь недвижимостью... Вы, друзья, ешьте, ешьте... Не смотрите на меня.

Он смешивает еще порцию коньяку с перцем.

— Думаю, с тебя достаточно, — говорит Джил. — О Боже, сколько ты уже принял сегодня?

— Забавно, — говорит Бредтреп, — ее я только что —

* Да! Да, мадам... это мсье Кронстадт... с кем имеем честь? Да, гостиная, антресоль, кухня, две спальни, ванная комната, кабинет... да, мадам... Нет, это не дорого, не дорого, за все... это легко ладить... как угодно, мадам... В котором часу? Да... с удовольствием... Каким образом? Что вы говорите? Ах, нет! напротив! Хорошо... прекрасно... До свидания, мадам! (фр.).

** Целую ручку, мадам! (нем.).

*** Да, мадам... нет, мадам! (фр.).

597

как раз перед вашим приходом — ублажил, а себя мне ублажить нельзя...

— Господи, где этот гусь! — поднимается со стула Джил. — Извини меня, но я пойду и посмотрю, чем занимаются девочки.

— Нет, не пойдешь! — заставляет ее сесть обратно Бред. —Мы будем сидеть здесь и ждать... ждать, пока не станет ясно, что происходит. Может быть, гусь никогда не появится. Мы будем сидеть здесь и ждать... ждать вечно... сидеть, как сидим: при свечах, и пустых тарелках, и опущенных шторах, и.. Я просто вижу, как мы сидим тут, а кто-то снаружи возводит вокруг нас стену... Мы сидим тут и ждем, когда Эльза принесет гуся, время идет, становится темно, мы. сидим день, другой, третий... Видите эти свечи? Мы съедим их. А цветы вон там? И их тоже. Мы съедим стулья, съедим буфет, будильник,

съедим котов, съедим шторы, счета и столовое серебро, и обои, и клопов под ними... мы съедим собственное дерьмо и этого хорошенького эмбриончика, которого заполучила Джил... съедим друг друга...

В этот момент входит Пинокинни, сказать спокойной ночи. Голова ее опущена, в глазах — недоумение.

— Что это сегодня с тобой? — спрашивает Джил. — У тебя обеспокоенный вид.

— Ах, не знаю, — отвечает юная особа. — Я хотела спросить о... Это ужасно сложно. Я, правда, не знаю, смогу ли объяснить.

— В чем дело, носатик? — вмешивается Бред. — Говори все как есть, не стесняйся леди и джентльмена. Ты ведь знаешь *его,* да? Ну, выкладывай!

Голова у особы по-прежнему опущена. Уголком глаза она хитро смотрит на отца и вдруг выпаливает: — Что это такое — мир вокруг нас? Для чего мы вообще существуем? Должны ли мы владеть миром? Наш мир единственный или нет, а если единственный, то почему? Вот что мне хочется знать.

Если Бредтреп Кронстадт был изумлен, то не подал виду. Подняв небрежным жестом рюмку с коньяком и добавляя в нее малую толику кайенского перцу, он как ни в чем ни бывало сказал: — Послушай, детка, прежде, чем я отвечу на вопрос, — если ты настегиваешь на этом, — тебе надо определиться с терминами.

Тут из сада доносится долгий пронзительный свист.

— Маугли! — говорит Кронстадт. — Скажи ему, чтобы зашел в дом.

— Поднимайтесь к нам! — кричит Джил, подойдя к окну.

Никакого ответа.

598

— Должно быть, ушел, — говорит Джил. — Я его больше не вижу.

Теперь в саду возникает женский голос: «Il est saoul... completement saoul»*.

— Тащи его домой! Скажи ей, чтобы тащила его домой! — вопит Кронстадт.

— Mon man dit qu'il faut rentrer chez vous... oui chez vous.

— Y'en a pas!** — несется над садом.

— Скажи ей, чтобы не потеряла «Cantos» Паунда, что я ей дал, — выходит из себя Кронстадт. — И больше не приглашай их к нам... повернуться негде. Места только-только для беженцев из Германии.

— Нехорошо это, — говорит Джил, возвращаясь к столу.

— Ты опять не права, — парирует Бред. — Для него это очень хорошо.

— Ох, да ты напился уже, — отмахивается Джил. — Где в конце концов этот проклятый гусь? Эльза! Эльза!

— Забудь о гусе, дорогая! Это все игра. Кто кого пересидит. Правила таковы: «завтра» и «вчера» отменяются, но «сегодня» длится вечно... Не правда ли, было бы замечательно, если бы вы, друзья, сидели здесь, как сидите, а я начал бы уменьшаться и все уменьшался бы... пока не превратился в такусенькую крохотную крохотулечку... так что вам понадобилось бы увеличительное стекло, чтобы разглядеть меня? Я был бы маленьким пятнышком на скатерти и говорил бы — Тимур... *Ти-мур!* А вы — где он? где он? А я — *Тимур,* логофеты, гликофосфаты, Бийанкур, *Ти-мур...* О полн пиит пречудных пречуд... а вы...

— О Боже, Бред, ты пьян! — говорит Джил. И Бредтреп смотрит осовело-весело и таращит шары, косящие зело.

— Сейчас начнет мерзнуть, — говорит Джил, вставая, чтобы найти испанскую шапочку.

— Это правда, — замечает Бред. — Все, что она говорит — правда. Ты думаешь, я очень упрямый. *Ты, —* обращается он ко мне,— ты, со своими монгольскими глаголами, своими переходными и непереходными, разве не видишь, сколь я любезен? Ты все время толкуешь о Китае... *вот он —* Китай, разве не видишь? *Вот...* а что «вот»? Подай шапочку, Джил, мне холодно. Жуткий холод... Пред-ледниковый. Вам-то всем тепло, а я замерзаю. Я чувствую, как снова наползают ледники. Это факт. Все на свете пре-

* — Он пьян... совершенно пьян (фр.).

** — Мой муж сказал, чтобы вы отвели его к себе домой.. Да, к себе. — Шагай! (фр.).

599

красным образом движется, течет, доллар падает, квартиры сданы, беженцы все нашли прибежище, рояль настроен, счета оплачены, гусь готов, и чего мы ждем еще? Очередного *ледникового периода!* Он наступит завтра утром. Вы подойдете к окну и увидите: все сковано морозом. Нет больше проблем, нет истории, ничего нет. Все замерзло. Мы будем сидеть, как сидим, ожидая, когда Анна внесет гуся, и вдруг по нам

поползет лед. Я уже чувствую этот ужасный холод — хлеб весь оброс сосульками, иней посеребрил масло, гусь скукожился, стены первобытно-белы. И этот крохотный ангелочек, этот чудный новый эмбриончик, залетевший под пояс Джил, он замерзнет во чреве, дурачок, скользкий, как плевочек, с ледяными крылышками и губками как улитки. Джаггер; индийский сокол, и повсюду тишина и покой. Скажи хоть теплое слово! У меня ноги окоченели. Геродот рассказывает, что феникс, когда умирает его отец, лепит яйцо из мирры, помещает в него прах и переносит это маленькое мирровое яйцо из аравийской пустыни в Храм Солнца в Гелиополисе, и происходит это раз в пятьсот лет или около того. *Интересно?* Согласно Плинию, каждый раз существует только одно яйцо, и когда птица чувствует приближение конца, она строит гнездо из благовонной кассии и ладана, садится в него и умирает. Из гнезда появляется червячок, который становится фениксом. Потому феникс (bennu) — символ возрождения. *Как тебе эта история?* Мне нужно что-то погорячее. Вот другая... В Болгарии есть нистингары — ходящие по огню. Они танцуют в пламени костра 21 мая на праздник дня святых Елены и Константина. Они танцуют на пылающих углях, пока их лица не исказятся и они не начнут пророчествовать.

— Эта история мне совсем не нравится, — говорит Джил.

— Мне тоже, — соглашается с ней Бред. — Мне нравится первая, о маленьком червячке-душе, вылетающем из гнезда, чтобы возродиться. В Джил сидит один такой... растет себе и растет. Не остановишь. Вчера — головастик, завтра — ягода жимолости. Невозможно сказать, чем ои> будет еще... в конце концов. Он каждый день умирает в гнезде и на другой день рождается вновь. Приложи ухо к ее животу... ты сможешь услышать, как трепещут его крылышки. Фрр... фрр. Без всякого моторчика. Чудеса! Их у нее внутри миллионы, и все трепещут крылышками, мечтая вылететь на волю. Фрр... фрр. И если только взять иглу и проколоть оболочку, они все вылетят наружу... представь себе... огромное облако душ-червячков, миллионы... стая, такая густая, что мы не сможем видеть друг друга... Правда! Незачем писать о Китае. Напиши об *этом!* О том, что

600

находится внутри тебя.. о головокружительном позвоночном столбе... о сперматозоидах и лейкоцитах... каждая из этих вещей — поэма. Медуза — тоже поэма, великолепнейшая поэма. Тычешь ее так и этак, она осклизлая и скользит, она дрожит, как желе, как простокваша, у нее есть кишечник и прямая кишка, она как с оборками абажур. И Маугли в саду, высвистывающий квартирную плату, он — тоже поэма, с большими ушами поэма, с подкачавшим вестибуляром поэма, сочащаяся елеем. У него круглые ушные раковины, как круглые малиновые рюши, зияющие, словно распахнутая карета. Он корчится в горсти утробы, меж тем моллюск подмигивает... он.бродит по докембрийским конторам, травя мерзейших тварей... Маугли.. аугли... молчащий и мучающийся...

— Он сходит с ума, — говорит Джил.

— Опять ты не права, — отвечает Бред. — Я как раз вошел в ум, только это другого рода ум, нежели ты пред ставляешь. Ты думаешь, поэма должна иметь видимый облик. В тот момент, когда ты что-то пишешь, поэма исчезает Поэма это «настоящее», которому нельзя найти определение. Ею живешь. Любая вещь — поэма, если в ней заключено время. Тебе не нужно садиться на паром или ехать в Китай, чтобы написать поэму. Лучшей поэмой, какой я когда-либо жил, была кухонная раковина. Я рассказывал вам о ней? У нее было два крана, одному имя было Фруа, другому — Шо*. Фруа вел жизнь in extenso — полноценную, при помощи резинового шланга, надетого на конец. У Шо с конца вечно капало, точно он подцепил триппер. По вторникам и пятницам он ходил в мечеть, где была лечебница для кранов-венериков. По вторникам и пятницам Фруа приходилось работать за двоих. Он был зверски охоч до работы. Больше ему ничего и не требовалось. Шо, напротив, нужно было улещивать и обхаживать. Надо было предупреждать его: «не торопись», иначе мог обдать кипятком так, что шкура слезет. Изредка они работали в полном согласии, Фруа и Шо, но то было редко. В субботние вечера, моя ноги в раковине, я думал, как совершенен мир, где правит эта пара. Никогда ничего другого, только эта железная раковина и два ее крана. Ни начал, ни концов. Шо — альфа и Фруа — омега. Вечность. Звездные Близнецы, владычествующие над жизнью и смертью. Альфа-Шо течет по всей шкале Фаренгейта, шкале Реомюра, сквозь силовые поля намагниченных металлических опилок и хвосты комет, сквозь бурлящий котел Мауна Лоа, вливаясь в сухой свет кайнозойской луны; Омега Фруа течет сквозь Гольфстрим, по болотному ложу Саргас

* Froid — Холодный, Chaud — Горячий (фр.).

601

сова моря, сквозь сумчатых и ракушки-фораминиферы, сквозь китих и трещины в полярных льдах, сквозь островные вселенные, погасшие катоды, могильный прах, коконы и щупальцы миров несотворенных, миров нетронутых, миров невидимых, миров

нерожденных и потерянных навсегда. Альфа-Шо каплет, каплет; Омега-Фруа трудится, трудится. Руки, ноги, волосы, лицо, тарелки, овощи, рыба вы мыты и отмыты; отчаяние, тоска, ненависть, любовь ревность, преступление... каплют, каплют. Я, Бредтреп, и моя жена Джил, а за нами легионы и легионы... все мы стоим у железной раковины. Всякое семя исчезает в канализации: маленькие канталупки, большие тыквы, икра макароны, желчь, слюна, мокрота, листья латука, кости сардин, уорчестерширский соус, несвежее пиво, моча сгустки крови, овсянка, жевательный табак, цветочная пыльца, пыль, жир, шерсть, бумажные нитки, обгоревшие спички, живые черви, измельченная пшеница, пастеризованное молоко, касторка. Семена тщеты, исчезающие навечно и вечно возвращающиеся в чистых потоках чудесной химической субстанции, которая отвергает названия, разряды, ярлыки, анализы, не желает, чтобы ее качали и распределяли. Возвращающиеся вечно Фруа и Шо, как истина, которую нельзя одолеть. Ты можешь выбирать: горячую или холодную, можешь — тепловатую. Можешь мыть ноги или полоскать горло; можешь промывать глаза от попавшего мыла и испачканный в земле латук; можешь купать новорожденного или омывать окоченевшее тело покойника; можешь мочить мякиш для фрикаделек или разбавлять вино. Вещь первая и последняя. Эликсир. Я, Бредтреп, вкушаю эликсир жизни и смерти. Я, Бредтреп, состоящий из тщеты и К,0, из горячего и холодного и всех промежуточных стадий, оболочки и мерзкой начинки, из тончайшей и неуловимой субстанции, никогда не исчезающей, из крепких черепных швов и твердого уда, из ледяных щелей и пробирок, спермы и пары яиц, сработавшихся вконец, из резинового наконечника и медного крана, из потухших катодов и извивающихся инфузорий, из листьев латука и солнечного света, разлитого по бутылкам... Я, Бредтреп, сидящий у железной раковины, растерянный и восторженный, всегда поэма, не меньше и не больше, железная строфа, стручок в кипятке, потерявшийся лейкоцит. Железная раковина, где я облегчал свою душу, мыл мои нежные ноги, купал первенца, полоскал болящие десны, пел, как водяная черепашка с ромбовидным узором на панцире, и пою сейчас и буду петь всегда, пусть засорены трубы и проржавели краны, пусть утекает время, и я буду всем: настоящим временем, и прошедшим, и будущим. *Пой,* Фруа, пой преходящее! *Пой,* Шо, непреходящее! Пойте альфу и омегу,

602

начало и конец! Пойте аллилуйю! Распевай, о раковина! Распевай, пока мир, бурля, устремляется в тартарары...

И, распевающего громко и ясно, как умирающий раненый лебедь, на кровать мы его отнесли.

В НОЧНУЮ ЖИЗНЬ...

Луна-парк души

Над изножием кровати — тень креста. Я прикован цепями к спинке. Цепи громко лязгают, якорь спущен. Неожиданно чья-то рука хватает меня за плечо. Энергично трясет. Открываю глаза — старая ведьма в грязном капоте Она идет к комоду и, выдвинув ящик, прячет револьвер.

Три комнаты расположены как железнодорожные купе. Я лежу в средней, с книжным шкафом орехового дерева и туалетным столиком. Старая карга сбрасывает капот и в одной сорочке подходит к зеркалу. В руке у нее маленькая пуховка, и она трет ею подмышки, грудь, бедра. И не переставая хнычет, словно идиотка. Наконец она подходит ко мне и обдает ароматным облаком из пульверизатора. Я вижу крыс, кишащих в ее волосах.

Я смотрю, как старая ведьма ходит по комнате. Она как будто в трансе. Остановившись у комода, выдвигает и задвигает ящики, один за другим, безотчетно. Кажется, что она забыла, зачем полезла в комод. Она снова берет пуховку и легко касается подмышек. На комоде лежат серебряные часы на длинной черной ленте. Скинув сорочку, она надевает их на шею; часы достают ей как раз до лонного треугольника. Они тихо тикают, затем серебро чернеет.

В соседней комнате, которая служит гостиной, собрались все родственники. Они расселись полукругом и ждут, когда я зайду к ним. Они сидят, деревянные, обтянутые тканью, как стулья под ними. Вместо бородавок и жировиков у них из подбородков торчит конский волос.

Я вскакиваю с кровати и в одной ночной рубашке принимаюсь отплясывать, как царь Кощей. В ночной рубашке отплясываю, держа над головой зонтик от солнца. Они смотрят на меня, их лица неподвижны, даже намека на улыбку нет. Я пытаюсь их расшевелить: хожу на руках, кручу сальто, сунув пальцы в рот, свищу, словно дрозд. Ни малейшего шепотка одобрения или порицания. Наконец, я принимаюсь фыркать по-бычьи, скакать, изображая эльфа, выхаживать, как павлин, но, поняв, что хвоста у меня нет, останавливаюсь. Единственное, что остается, это с быстротой молнии прочесть

Коран от корки до корки, потом
603
сводку погоды, «Сказание о Старом Мореходе» и Книгу Чисел.

Неожиданно ведьма пускается в пляс, совершенно голая, руки — языки огня. Тотчас же она сшибает подставку для зонтиков, которая с грохотом падает на пол. Из опрокинутой подставки для зонтиков сплошной извивающейся лентой выскальзывают кобры и мгновенно расползаются во все стороны. Они обвивают ножки стола, уволакивают супницу, копошатся в ящиках комода, свисают с картин на стене, с гардинных колец, ползают по матрацу, извиваются в женских шляпках, и при этом шипят, как паровой котел.

Намотав по кобре на каждую руку, я направляюсь к старой ведьме, в глазах у меня смерть. Из ее рта, глаз, волос, даже влагалища выглядывают кобры, раскачиваются и жутко шипят, извергая дым, словно только выброшенные клокочущим кратером вулкана. Посредине комнаты, в которой мы заперты, вырастает непроходимая лесная чаща. Мы стоим в змеином гнезде, и кобры пожирают нас.

Я в странной узкой комнате, лежу на высокой кровати. В боку у меня дыра, чистая, без капли крови. Я уже не могу сказать, ни кто я, ни откуда, ни как попал сюда. Комната очень мала, и кровать, на которой я лежу, располагается у двери. У меня такое чувство, что кто-то стоит на пороге и смотрит на меня. Я боюсь пошевелиться от страха.

Поднимаю глаза и вижу человека, стоящего у порога. На нем серый котелок, надетый набекрень, костюм в шашечку, под носом висячие усы. Он спрашивает мое имя, адрес, профессию, что я здесь делаю, куда направляюсь и тому подобное. Он пытает меня вопросами, на которые я не в состоянии ответить потому, что, во-первых, язык не повинуется мне, а во-вторых, я разучился говорить. «Почему ты молчишь?» — спрашивает он, с глумливой улыбкой склоняясь надо мною, и, взяв свою легкую пальмовую тросточку, тычет ею в дыру у меня в боку. Боль так мучительна, что, похоже, придется заговорить, даже если я проглотил язык, даже если не знаю, кто я или откуда. Обеими руками я пытаюсь разомкнуть стиснутые челюсти, но безрезультатно. Подбородок крошится, как сухая глина, обнажая челюстную кость. «Говори!» — приказывает человек, улыбаясь своей жестокой, глумливой улыбочкой, и, снова взяв трость, протыкает у меня в боку еще одну дыру.

Я лежу с открытыми глазами в холодной темной комнате. Теперь кровать почти касается потолка. Слышно громыхание составов, равномерный ритмичный перестук колес по замерзшей эстакаде, пыхтение локомотива, отрывистое и сдавленное, словно от мороза перехватывает паровозную глотку. В руке я держу куски глины, отвалив-
604
шиеся от подбородка. Зубы стиснуты крепче прежнего, я дышу дырами в боку. В окно мне виден Монреальский мост. Сквозь его фермы вьюга мечет облака снега и паровозные искры. Поезда в огненном венце мчатся над замерзшей рекой. Я вижу тянущиеся вдоль моста закусочные и над ними неоновые пироги и гамбургеры. Внезапно я кое-что вспоминаю. Я вспоминаю, что перед тем, как перейти границу, на вопрос таможенника, есть ли у меня что заявить в декларации, ответил: «Хочу заявить, что я *предатель рода человеческого».* Теперь я отчетливо вспоминаю, что это было, когда я подошел к ленте багажного транспортера следом за женщиной в пышной юбке. Повсюду вокруг нас были зеркала, и над зеркалами — баллюстрада с рядами стоек, ряд за рядом, ряд за рядом, кренящихся, падающих, безумных, как кошмар. Вдали виднелся Монреальский мост и под мостом сплошное поле льда, а надо льдом мчались поезда. Теперь я припоминаю, что, когда женщина повернулась ко мне, я увидел череп и написанное поверх лобной кости — «секс», окаменелое, как ящерица Ее веки опустились и открылась бездонная каверна рта. Я бросился бежать и на бегу пытался прочесть, что написано на боку едущего рядом автомобиля, но успел заметить только последние буквы, в которых не было смысла.

Я стою на Бруклинском мосту и, как всегда, жду, когда подойдет трамвай. В духоте предвечерья город встает, как громадный полярный медведь, отряхая с себя рододендроны. Объемы дрожат в мареве, фермы моста задыхаются от выхлопов, дымы и петли пыли висят покачиваясь, как амулеты. Из сумбура зданий прибойной волной выхлестывает распаренная людская толпа в прилипших брюках и юбках Стеклянный гребень волны разбивается перед извилистой колеёй. Под влажной рекламой — прозрачные ноги амеб карабкающихся на движущиеся подножки, стройные крепкие ноги теннисистов, обернутые в целлофан, белью вены просвечивают сквозь золотистую кожу икр, сквозь мускулы цвета слоновой кости. Город обливается потом в предвечерней духоте. С верхушек небоскребов свисают плюмажи дымов, мягкие, как перья Клеопатры. Плотные удары воздуха, хлопки бит, мягкий бетон, железные рельсы; расплющенные колесами трамваев. Жизнь пишется заголовками высотою в двенадцать футов с

периодами, запятыми и точками с запятой. Моет качается над озерами бензина. С «Империал Велли» катятся арбузы, летят в воду отбросы, палубы надраены, пиллерсы поблескивают, швартовы натянуты, цепи гремят, обдирая мох в клюзах. Горя чая душная мгла обволакивает город, словно пролитая плошка жира, пот струится между ног и по тонким лодыжкам. Осклизлое месиво из рук и ног полумесяцев и флю-

605

геров, малиновок и малины, воланов и янтарных бананов с мякотью лимона в колокольце кожуры. Бьет пять часов, бой несется сквозь копоть и пот предвечерья, от железных балок моста ложатся узкие резкие тени. Катятся трамваи с железными жвалами, вгрызаясь в папье-маше толпы, наматывая ее, как перфоленту.

Заняв место в вагоне, я замечаю знакомого, стоящего на задней площадке с газетой в руке. Его соломенная шляпа сдвинута на затылок, рука лежит на рукоятке тормоза За его ушами паутина тросов, как потроха рояля. Его соломенная шляпа на одном уровне с Чемберсстрит; она похожа на разрезанное яйцо, лежащее на зеленом шпинате бухты. Я слышу, как выступы рулевого колеса со стуком скользят по тупорылому башмаку вагоновожатого. Тросы гудят, мост стонет от восторга. Два маленьких резиновых набалдашника на спинке сиденья передо мною как две черные клавиши рояля. Размером с ластик и некруглые как наконечник трости. Две липкие штуковины, чтобы ослабить силу удара. Глухой стук резинового молотка о резиновую башку.

За городом безлюдье. Ни душевности, ни уюта, ни тесноты, ни толчеи, ни висящей в воздухе мути, ни числителя, ни знаменателя. Это похоже на чтение вечерней газеты глухонемому, который с пальмовой веткой в руке балансирует на вешалке для шляп. На всем выжженном пространстве не отпечатались ни живая рука человеческая, ни глаз, ни голос. Лишь объявления мелом, которые смывает дождь. Всего лишь несколько минут на трамвае, и я в пустыне, нашпигованной шипами и кактусами.

Посреди пустыни стоит купальня, а в ней — деревянная скамья и пила поперек скамьи. У обитого цинком стола, глядя в затянутое паутиной оконце, стоит женщина, которую я когда-то знал. Она стоит посреди пустыни, как скала из камфоры. От ее тела исходит сильный и бледный запах скорби. Она стоит, словно статуя, изображающая расставание. Стоит, высясь надо моею головой, плечами, ее ягодицы хищно-роскошны и немыслимо огромны. Все в ней немыслимо огромно — руки, ноги, бедра, лодыжки Она как конная статуя без коня, гора плоти, съежившаяся до размеров яйца мастодонта. Из бальной залы плоти доносится звонкое, как пение железа, пение ее тела. Девушка моей мечты, какую прекрасную клетку ты делаешь! Только где жердочка для твоих трехпалых лапок? Жердочка, что раскачивается взад-вперед за медными прутьями? Ты стоишь у окна, помертвелая, как канарейка, лапки сведены судорогой, клюв посинел. Твой профиль вырублен мясницким топором. Твой рот — жерло, забитое листьями латука. Мог ли я когда-нибудь представить, что ты можешь

606

оказаться такой невероятно страстной и однолюбой? Дай взглянуть на твои милые шакальи лапы; дай услышать прерывистый глухой хрип твоего сухого дыхания.

Я смотрю сквозь паутину на проворных сверчков, длин ные спинные хребты кактусов, их млечные, меловые выделения, всадников с пустыми тороками, седельные луки, похожие на верблюжьи горбы. Безводная пустыня моей родины, и ее люди цвета пыли, поджарые, с искривленными позвоночниками, носящие шпоры с колесиками. Над цветением кактусов ее город висит вверх ногами, поджарые, цвета пыли люди царапают шпорами небеса. Я сжимаю в объятиях ее бугристые бока, ее гранитные плечи, крепкие дольмены ее грудей, раздвоенные копыта, развевающиеся хвосты. Я прижимаю ее к себе в пене кипящих каньонов под запруженными реками, в чьи струи вплетаются пряди золотого песка — и часы летят незаметно. В слепящем приливе печали мои кости медленно заполняет песок.

На оцинкованном столе, возле которого мы стоим, лежат тупые ржавые ножницы. Она поднимает руку, от которой к туловищу тянется перепонка. Мутно-белое неумолимое движение ее руки словно унылый, хриплый, зло вещий крик уходящего дня, и узы, что связывают нас сплетены из шипов. На висках у меня проступает и засыхает пот, под стянутой кожей тикают часы. Они останавливаются от нервной испарины. Ножницы стригут, лезвия ходят на медленном ржавом гвоздике. Мои нервы скачут по зубьям гребенки, шпоры торчат, раскаленные вены светятся. Неужели всякая боль тупа и терпима, как эта? Я чувствую, как сходится лезвие ножниц и ржавое тупое лезвие кончающегося дня, медленное перепончатое движение насыщенного голода, чистого пространства и звездного неба в руках автомата.

Я стою посреди пустыни, поджидая поезд. У меня в сердце маленький стеклянный колокольчик и под ним — эдельвейс. Все тревоги исчезли. Даже сквозь лед я чувствую цветок, который земля пестует в ночи.

Откидываюсь на спинку роскошного кожаного сиденья— полное впечатление, что

путешествуешь по немецкой дороге. Я сижу у окна и читаю книгу; чувствую, кто-то заглядывает мне через плечо. Это моя собственная книга и в ней есть место, которое меня озадачивает. Я не понимаю самих слов. В Дармштадте мы на минуту выходим из вагона, пока меняют локомотив. Стеклянный навес поднимается до нефа, покоясь на кружевных черных балках. Строгий рисунок навеса очень напоминает мою книгу — когда она лежит раскрытая у меня на коленях, выгнув страницы. В моем сердце расцветает эдельвейс.

607

Ночью, в Германии, когда расхаживаешь взад и вперед по платформе, всегда находится кто-нибудь, кто все раз-объяснит. Круглые головки и продолговатые приходят в соприкосновение в облаке пара, шестерни расходятся и вновь сцепляются. Звук речи, похоже, усваивается лучше, чем язык вещей, словно речь — это пища для ума, насущная, насыщающая, аппетитная. Клейкие ее частицы прилипают к небу и растворяются не сразу, спустя месяцы после поездки, так курильщик, сделав глоток воды, выпускает через нос струйку дыма. Слово «gut»* — самое долгоживущее слово из всех. Кто-то говорит: «Es war gut!»**— и мое брюхо довольно урчит, словно заполучило жирного фазана. Бесспорно, нет ничего лучше, нежели ехать в ночном поезде, когда все пассажиры спят, и извлекать из их открытых ртов великолепные сочные кусочки невыговоренной речи. Когда человек спит, в его сознании происходит тьма событий, оно мчится сквозь них, как поезд сквозь тучу летних мух, затягиваемых в его вихревой поток.

Вдруг я оказываюсь на морском берегу, но память о поезде не оставляет меня. Воспоминание о нем даже не становится менее четким. Оно просто устремилось на океанский берег, словно комета.

Все убогое, поддельное, тонкостенное, как картонное. Кони-Айленд, луна-парк души. Вовсю торгуют павильончики. Полки ломятся от чашек с блюдцами и кукол, набитых трухой, и будильников, и плевательниц. Над каждым павильончиком по три воздушных шарика, как символ надувательства. Прогуливаются евреи в макинтошах, улыбаются японцы, в воздухе стоит запах лука, тянет чадом от жарящихся гамбургеров. Гомон, гомон и, заглушая все, — рокот, ровное шипение и мощный хлопок фейерверка, долгое, без остановки, аденоидное сопение забитой носоглотки над грязным притоном. Позади улицы картонных фасадов фейерверки вспарывают ночь сверкающими, пылающими зубами; моллюски валяются на песке и выпускают струйки озона из анальных отверстий. В океанской ночи «Стипль чез» похож на седую бороду. Все скользит и: крошится, все искрится, колеблется, качается и шатается.

Где тот теплый летний день, когда я впервые увидел землю, устланную зеленым ковром, и мужчин, и женщин, движущихся как пантеры? Где нежная журчащая музыка, поднимающаяся по сочным корням земли, что слышал я? Куда идти мне, если всюду ямы-ловушки и скалящиеся скелеты, мир, вывернутый наизнанку, так что все потроха

* Хороший (нем.).

** Это было хорошо! (нем.)

608

вывалились наружу? Где преклоню я голову, если крутом нет ничего, только медведи, макинтоши, пересвист босяков, разбитый штакетник? Неужели мне вечно'так и шагать по этой бесконечной картонной улице, мимо этих картонных фасадов, которые можно проткнуть пальцем, можно повалить, дунув на них, можно поджечь, поднеся спичку? Мир превратился в таинственный лабиринт, воздвигнутый бригадой плотников в течение ночи. Все — ложь, фальшь. Картон.

Я иду вдоль раскинувшегося океана. Песок усеян людьми-моллюсками, ждущими, чтобы кто-то раскрыл их раковины. Их отчаянные мучения незаметны среди рокота волн и гомона толпы. Отгоревшие фейерверки падают на них, их оглушают вспышки, их топит прибой. Они лежат за картонным фасадом улицы в ночи цвета оникса, и слушают шкворчание жарящихся гамбургеров. Гвалт, гомон, треп и шутки, по длинным гладким желобам катятся шары к маленьким отверстиям, заполненным безделушками: чашками с блюдцами, плевательницами, цветочными горшками и набитыми трухой куклами. Лоснящиеся япошки моют мокрой тряпочкой резиновые растения, армяне крошат лук на микрокосмические частицы, македонцы, у которых руки как черная патока, бросают лассо. Все мужчины, женщины и дети одеты в макинтоши и у всех аденоиды, насморк с кашлем, диабет, коклюш, менингит. Все, что стоит, скользит, катится, кувыркается, вертится, дергается, качается, колеблется и падает, все держится на гайке с болтом. Властелин души — гаечный ключ. Верховная картонная власть.

Моллюски уснули, звезды бледнеют. Все, что есть вода, дремлет сейчас в накладном кармане гиены. Утро встает как стеклянная крыша над миром. Поблескивает гладь:

океан покачивается в безмятежном сне.

Уже не ночь, еще не день. Заря, летящая над легкой рябью на крыльях альбатроса. Все

звуки приглушены, гулки, тусклы, как если б человек все делал под водой. Я чувствую, как вода убывает, без страха не возвратиться; я слышу, как плещут волны, не боясь утонуть. Я иду среди обломков рушащегося мира, но на моих ногах нет синяков от ушибов. Нет предела небу, нет границы между землей и морем. Я перехожу вброд промоины и устья ручьев, ступая в податливом мягком песке. Я не слышу запахов, не слышу звуков, не вижу ничего и ничего не чувствую. На спине или на животе двигайся я, боком, как краб, или по спирали, как птица, ощущение будет одно — блаженно-нежное.

От белого мелового дыхания Плимута по земному хребту пробегают мурашки; кончиком хвоста дракон обвивает осколки континента. Кошмарно-коричневая земля и зеле-

609

новолосые люди, древний образ, возрождающийся в мягкой, молочнй белизне Последний взмах хвоста в нечеловеческом спокойствии равнодушие к надежде, к отчаянию, тоске. Коричневая земля и окисная зелень не игра воздуха или неба, не обман зрения или осязания. Умиротворение и торжественность, нездешнее, непостижимое спокойствие меловых утесов нейтрализуют яд, гибельное, хриплое дыхание зла, висящего над землей, как кончик драконьего хвоста. Я чувствую невидимые когти, что стискивают скалы. Густой, глубинный зеленый цвет земли — это не цвет травы или надежды, но цвет слизи, тины, неколебимого мужества. Мне чудятся коричневые капюшоны мучеников, их спутанные волосы, их острые ногти, прячущиеся в складках грубых одежд, их томление, их опустошенность. Меня неудержимо влечет к этой земле, которая лежит на краю света, к этой бугристой суше, вытянутой, как нежащийся на солнце аллигатор. Из-под ее тяжелого бесполого опухшего века глядит коварный ядовитый моллюск. Разверзающаяся пасть вызывает видение. Кажется, что море и все, кто в нем утонул, их кости, их надежды, их воздушные замки стали белой амальгамой, которая есть Англия.

Мой мозг тщетно ищет некое воспоминание, которое старше любого воспоминания, мифа, высеченного на каменной табличке, спрятанной под горой. В витринах под эстакадой выставлены пироги и гамбургеры; рельсы вскоре делают поворот и на меня вновь обрушиваются старые ощущения, старые воспоминания. Все, что связано с доками и причалами, с пароходными трубами, кранами, поршнями, колесами, мостиками, бриделями; все детали странствия и голода воспроизводятся с механической безотказностью. Я дохожу до перекрестка, и реальная улица раскручивается передо мною, подобно карте, полная навесов и эмблем винодельческих заводов. От полуденной жары по лощеной поверхности карты бегут трещины. Улицы выгибаются и щелкают зубами.

Там, где ржавая звезда отмечает границу прошлого, поднимается частокол острых, треугольных зданий с черными .провалами ртов и обломками зубов. Оттуда несет йодоформом и эфиром, или формальдегидом и нашатырем, или свежерасплавленным оловом, или влажными металлическими изложницами. Здания кренятся, их крыши продавлены и продырявлены. Воздух столь тяжел, столь едок и удушлив, что здания уже не в силах держаться прямо. Подъезды ушли в землю ниже уровня улицы. В воздухе какое-то лягушачье кряхтение и квакание. Сырые, ядовитые испарения окутывают окрестности, как если б фундаменты зданий стояли на болотистой трясине.

610

Когда я прихожу к отцу, я застаю его стоящим у окна и бреющимся, вернее, не бреющимся, а правящим бритву. Раньше он всегда был мне поддержкой, но теперь, когда мне так трудно, он меня не слышит. Теперь я замечаю, какой ржавой бритвой он пользуется. Прежде по утрам, когда я пил кофе, всегда сверкало его лезвие, светлая немецкая сталь, ходившая по гладкой тусклой грани бруска, и белела мыльная пена, как сливки в моем кофе, а на подоконнике рос снежный сугроб, окутывая его слова фетром. Теперь лезвие потеряло свой блеск, снег превратился в слякоть; вместо алмазных морозных узоров на стекле жирные потеки, от которых разит жабами и болотным газом. «Принеси мне червей потолще, — просит он, — и мы уж гольянов-то как-нибудь наловим». Такой вот безнадежный горемыка у меня отец. Я стискиваю его пустые руки через колченогий стол.

Ночь и страшный холод. Опустив голову, бочком подходит ко мне проститутка и, взяв за руку, ведет в отель с голубой эмалевой вывеской над дверьми. Наверху, в комнате я хорошенько рассматриваю ее. Она молода, атлетического сложения и, что лучше всего, совсем темная. Она не знает, как зовут хотя бы одного короля. Не говорит даже на родном языке. Всякий раз, когда я обращаюсь к ней, она присасывается ко мне, словно высасывает горячий жир из мозговой косточки. Она смазывает себя этим жиром. Все это для того, чтобы не мерзнуть зимой, защититься от холода слоем жира, как она объясняет мне в своей бесхитростной манере. Когда весь жир из моих костей высосан, она откидывает покрывало и с поразительной бойкостью начинает свой полет на трапеции.

Комната напоминает гнездо колибри. В чем мать родила она складывается в .шар, лицо между грудей, ладони просунуты между ног. Она похожа на зеленую ягоду, из которой того гляди выскочит косточка.

Вдруг я слышу, как она говорит в этой дурацкой американской манере: «Я могу вот *это,* а вот то не могу!» После чего демонстрирует, что она может. Может что? Ну, принимается, прямо как колибри крылышками, трепетать нижними губами. У нее маленькая поросшая шерстью голова, преданные собачьи глаза. Как у изображения черта на фреске времен расцвета папства. Подобное несоответствие вовсе ошарашивает меня. Я сижу под пневматическим молотом: всякий раз, как я смотрю ей в лицо, я вижу железную щель и в ней человека в железной маске, подмигивающего мне. От этого паясничанья становится жутко, ибо человек подмигивает слепым глазом, слепым, источающим слезы, грозящие перерасти в слезопад.

Если бы ее руки и ноги так не переплелись, если б она

611

не была скользкой, свившейся в клубок змеей, задыхавшейся под маской, я б мог поклясться, что это моя жена Альберта, или если не моя жена Альберта, то другая жена, хотя думаю, что Альберта. Я был уверен, что всегда узнаю Альбертину расщелину, но ежели тело завязано узлом, а между ног — маска, то одну расщелину не отличишь от другой и над каждой сточной трубой — решетка, в каждом стручке — горошина, за каждой щелью — человек в железной маске.

Сидя на стуле возле железной кровати — подтяжки спущены и висят, падающий молот бьет по черепу, — я начинаю представлять себе женщин, которых знал. Женщин, которые от души раздвигали бедра, чтобы врач засунул внутрь резиновый палец и смазал трещины на их эпиглоттисах. Женщин с такой тонкой перегородкой, что простая царапина иглой отзывается подобием Ниагарского водопада в поврежденном мочевом пузыре. Женщин, способных по часу сидеть с вывернутой наизнанку маткой и подштопывать ее. Странных женщин с головой, поросшей шерстью, и собачьими глазами, у которых в непотребном месте спрятаны или будильник или картинка-головоломка, в самый неподходящий момент будильник начинает трезвонить; как раз когда небо озаряется римскими свечами, а влажные искры образуют крабов и морскую звезду, именно тогда непременно головоломка рассыпается, в зад впивается пружина, в палец вонзается ноготь, от корсета несет потом. Странных, с собачьими лицами женщин в жестких воротничках, с отвислыми губами, подергивающимися веками. Толстозадых пляшущих дьяволиц с палатинских фресок, на двери всегда цепочка, а на месте стойки для зонтиков обязательная плевательница. Целлулоидных атлеток, которые лопаются, как шары для пинг-понга, пролетающие над газовой лампой. Необычных женщин — и всегда я сижу на стуле у железной кровати. У них такие умелые пальцы, что молот всегда попадает в мертвую точку на моем черепе, и он трескается по швам. Моя черепушка словно гамбургер в чадной витрине.

Проходя вестибюлем отеля, замечаю, что в "баре собралась толпа. Вхожу туда и вдруг слышу ребенка, вопящего от боли. Ребенок стоит на столе в окружений толпы. Это девочка и на голове у нее, прямо на виске, рана. Над раной пузырится кровь. Только пузырится, не стекает' струйкой по лицу. Когда рана раскрывается, видно, как внутри ее что-то шевелится. Как будто там сидит птенчик. Я подхожу ближе, чтобы лучше видеть. На сей раз мне удается рассмотреть это что-то как следует. Это кукушонок! Все смеются. А ребенок тем временем орет От боли

Я слышу, как в приемной больные кашляют и шаркают

612

ногами; слышу шелест журнальных страниц и громыхание молочного фургона по булыжнику мостовой. Моя жена сидит на белом табурете, а я прижимаю к груди голову ребенка. Рана у нее на голове вздувается и опадает, словно пульсирует рядом с моим сердцем. Хирург весь в белом; он расхаживает взад и вперед, дымя сигаретой. Время от времени он останавливается у окон и смотрит, какая погода на улице. Наконец он моет руки и натягивает резиновые перчатки. Натянув стерилизованные перчатки, он зажигает горелку под ванночкой с инструментами; затем он рассеянно смотрит на наручные часы, перебирает счета на столе. Девочка уже не кричит, а стонет; она вся извивается от боли. Я крепко держу ее руки и ноги. Жду, когда прокипятятся инструменты.

Наконец, хирург готов. Сидя на маленьком табурете, он выбирает среди инструментов нечто длинное, тонкое, с раскаленным концом и безо всякого предупреждения погружает в открытую рану. Ребенок издает жуткий вопль, от которого моя жена без чувств падает на пол. «Не обращайте на нее внимания!» — говорит невозмутимый и сосредоточенный хирург и отодвигает ногой ее тело. «Теперь держите крепче!» И, окунув свой жесточайший инструмент в кипящий антисептик, он вонзает его в висок и держит там, пока рана не вспыхивает пламенем. Затем с той же дьявольской быстротой, внезапно выдергивает инструмент, к ушку которого прицепился длинный белый шнур, постепенно

переходящий в красную фланель, потом в жевательную резинку, потом в воздушную кукурузу и, наконец, в опилки. Как только последняя крупинка опилок извлечена, рана сама собой затягивается, оставляя после себя гладкое ровное место, без малейшего намека на шрам. Ребенок глядит на меня со спокойной улыбкой, слезает с моих колен, уверенно направляется в угол комнаты, где садится играть.

«Это было великолепно!» — восклицает хирург. — Действительно, просто великолепно!»

«Ах так, великолепно!» — кричу я. И, прыгнув, как какой-нибудь маньяк, сшибаю его с табурета на пол и, упершись коленями ему в грудь, хватаю первый попавшийся инструмент и начинаю его кромсать. Я работаю над ним, не зная удержу. Выдавливаю глаза, пробиваю барабанные перепонки, полосую язык, рву трахею, отхватываю нос. Сорвав с него одежду, я прижигаю ему грудь, пока кожа не начинает дымиться, а потом на живую, трепещущую плоть, отвернув лоскут кожи, лью азотную кислоту— пока не раздается шипение сердца и легких. Пока самому не становится тошно от вони.

Ребенок все это время восторженно хлопает ладошка-

613

ми. Я встаю, чтобы найти клюшку для поло, и замечаю жену, сидящую в другом углу. Видно, что, парализованная страхом, она не может подняться. Все, на что она способна, это шептать: «Изверг! Изверг!» В поисках клюшки, я сбегаю вниз по лестнице.

В темноте я как будто различаю фигуру, стоящую у маленького рояля черного дерева. Лампа едва мерцает, бросая, однако, достаточно света, чтобы образовать ореол вокруг головы мужчины. Он в полный голос монотонно читает по огромной железной книге. Бубнит, как раввин свои молитвы. Голова его запрокинута в порыве самозабвения, словно он от природы кривобок. Он похож на сломанный уличный фонарь, светящий в сыром тумане.

По мере того, как тьма сгущается, его голос звучит все монотоннее. В конце концов я уже ничего не вижу, кроме свечения вокруг его головы. Потом и оно исчезает, и я понимаю, что ослеп. Я словно бы тону и передо мною проходит все прошлое. Не только мое личное прошлое, но прошлое рода человеческого, сквозь которое я плыву на спине громадной черепахи. Мы плывем вместе с землей, зигзагами, как плавают змеи; достигаем крайней точки земной орбиты и, как-то нелепо, боком, поворачиваем назад и летим через все пустые дома зодиака. Мы видим странные фантастические фигуры животного мира, забытые народы, поднявшиеся на вершину лестницы для того только, чтобы затем погрузиться на дно океана. И вблизи — красную легкую птицу, летящую, как стрела, всегда на север. Она летит на север над телами мертвых, и поминки над ней справляет сонм духов-червячков, стая, затмевающая солнце.

Тьма медленно, как вуаль от лица, поднимается, и я различаю силуэт мужчины, стоящего у рояля с большой железной книгой в руках. Голова его откинута назад и усталый монотонный голос читает литанию мертвых. Через мгновение он принимается машинально ходить взад и вперед быстрым шагом, словно безотчетно делая разминку. Его движения подчиняются судорожному, механическому ритму, раздражающему стороннего наблюдателя. Его поведение напоминает поведение лабораторного животного, которому удалили часть мозга. Всякий раз как он подходит к роялю, он берет наобум несколько аккордов — плинк, плонк, планк! Быстро подходя к восточной стене, он бормочет — «теория вентиляции»; затем, быстро подходя к западной стене, бормочет опять — «теория противоположностей»; поворачивается на северо-северо-запад, — «теория свежего воздуха это полная чушь». И так далее, и тому подобное. Он движется, как старая четырехмачтовая шхуна, борющаяся со штормом, — руки висят вдоль туловища,

614

голова склонена на бок. Движется быстро и неутомимо, как челнок. Внезапно повернув точно на север, он бормочет — «З как «зебра», «зев», «зуд», «Захария»... никаких признаков Б для «брения..»

Листая железную книгу, я вижу, что это собрание средневековых стихотворений о мумиях; каждое стихотворение содержит описание лечения кожных болезней. Это хроника великой чумы, которую вел монах еврей. Род подробной летописи мора, положенной на музыку трубадурами Записана она нотными знаками, изображающими весь дьявольский бестиарий, вестников нечистой силы или ее приспешников, вроде крота, жабы, василиска, угря, жука летучей мыши, черепахи, белой мыши. Каждый стих содержит рецепт избавления от демонов, проникших под кожу

Мой взгляд переходит с музыкальной страницы на охоту на волка, идущую за воротами. Земля устлана снегом, и на овальном поле возле замка двое рыцарей, вооруженных длинными копьями, добивают зверя. С удивительным изяществом и ловкостью волка подготовили для последнего удара. Какое-то сладострастное чувство охватывает меня, когда я слежу за этим затянувшимся убийством. За мгновение до того,

как копье поражает волка, лошадь и всадник сжимаются мучительно-упругой пружиной и — одновременно все; волк, лошадь и всадник, начинают кружиться вокруг оси смерти. Когда копье проходит сквозь тело волка, земля мягко подается навстречу, горизонт слегка кренится, у неба цвет ножа.

Пройдя колоннаду, я попадаю на тонущие во тьме улицы, которые ведут в город. Дома окружены высокими черными трубами, изрыгающими адский дым. Наконец я подхожу к упаковочной фабрике, из окна которой вижу шеренгу инвалидов, выстроившихся во дворе. Все они без ног, только у некоторых есть руки; их лица покрыты копотью. У каждого на груди медали.

Постепенно я с ужасом и изумлением осознаю, что по длинному желобу, соединенному со стеной, во двор фабрики непрерывным потоком поступают гробы. Когда очередной гроб скатывается по желобу вниз, человек на кошмарных обрубках выходит из шеренги и, задержавшись у желоба на секунду, чтобы приладить гроб на спину, тащится прочь со своей ношей. Конвейер движется безостановочно, беззвучно. По моему лицу струится пот. Я порываюсь бежать, но ноги приросли к полу. Может быть, у меня нет ног. Я так напутан, что боюсь взглянуть вниз. Я хватаюсь за переплет окна и, по-прежнему не смея посмотреть вниз, поднимаю осторожно и опасливо ногу пока наконец не касаюсь рукой лодыжки. Тот же эксперимент проделываю с другой ногой. Затем панически озираюсь в

615

поисках выхода. В комнате, где я стою, в беспорядке свалены пустые ящики; повсюду валяются гвозди и молотки. Я пробираюсь среди ящиков, ища выход. В тот момент, когда дверь обнаруживается, я натыкаюсь ногой на пустой ящик. Я смотрю вниз и, о ужас! ящик не пуст. Я бросаю быстрый взгляд на другие ящики. Они тоже не пусты! В каждом, завернутый в мягкую стружку, лежит скелет. Я бегу, бросаясь из одного коридора в другой, в отчаянных поисках лестницы. Пролетая холлы, я улавливаю смрад бальзамирующей жидкости, идущий из открытых дверей. Наконец, я нахожу лестницу и, уже скатываясь по ступеням, замечаю белый эмалированный указатель на площадке внизу — «Морг».

Ночь; я иду домой. Мой путь лежит через густой парк наподобие того, в котором я часто блуждаю во тьме, когда мои глаза ничего не видят, а слух ловит лишь дыхание стен. У меня такое чувство, будто я нахожусь на острове, окруженный скалистыми бухтами и заливчиками. Кругом те маленькие мостики с бумажными фонарями, грубые скамьи вдоль усыпанных гравием дорожек, пагоды, в которых торговали сластями, сверкающие качели, тенты, гроты, шутихи, завернутые в тонкую китайскую бумагу. Все в точности как всегда, даже скрип деревьев. Только *теперь стоит зима.* Середина зимы, и все дорожки засыпало снегом, глубоким снегом, который сделал их почти непроходимыми.

Наверху вытянутого японского мостика я останавливаюсь и стою, облокотившись о перила, и привожу в порядок мысли. Все дорожки лежат передо мною. Они параллельно убегают в даль. В этом лесистом парке, который я знаю так хорошо, я чувствую себя в полной безопасности. Здесь, на этом мостике я мог бы стоять вечно, уверенный, что цель моя достигнута. Кажется, едва ли есть необходимость проходить остаток пути, потому что я стою на пороге, так сказать, своего царства, и уверенность, что оно уже никуда не денется, успокаивает меня. Как хорошо знаком мне этот маленький мостик, эта роща, поток, бегущий внизу! Здесь я мог бы простоять вечность, отдавшись чувству полного покоя, убаюканный и навек околдованный лепетом струй. Над замшелыми камнями бесконечно кружится и струится вода. Питаемая талым снегом, медлительная на поверхности, быстрая на глубине. Как лед прозрачная под мостом. Столь прозрачная, что я на глаз могу определить глубину. Ледяная прозрачность по шею.

И тут на опушке темной рощи, среди кипарисов и елей появляется призрачная пара; они идут, держась за руки, и движения их медленны и меланхоличны. На призрачной

616

паре вечерние наряды — женщина в платье с низким вырезом, у мужчины в манжетах мерцают запонки. По снегу они идут невесомой поступью, ноги женщины нежные, точеные, руки обнажены. Ни скрипа снега, ни воя ветра. Сверкающий алмазный свет и снежные ручейки, текущие в ночь. Ручейки сыпучего снега, текущие меж елей. Ни хруста челюстей, ни воя волков. Ручьи и ручьи ледяного лунного света, шорох торопливой белой воды и лепестков, обтекающих мост, остров, плывущий в нескончаемом дрейфе, косматые утесы ночи, ее горные долины и бухты, бездонно-черные в серебристом сиянии звезд.

Все дальше они идут в призрачном струении, все дальше, к коленям горной долины и седоусым водам. В прозрачные ледяные глубины потока они уходят, ее обнаженная спина, его поблескивающие запонки, и доносится издалека печальное позванивание стеклянных шторок о металлические шестерни карусели. Вода струится тонким

стеклянным полотном между пушистыми белыми холмами берегов; она мчится под коленями, тащит вперед ампутированные ноги, словно снежная лавина катящая перед собой расколотые пьедесталы. На обледенелых своих обрубках они скользят вперед, их перепончатые крылья распростерты, одежды прилипли к телу. Вода все поднимается, выше, выше, и воздух становится холоднее, снег сверкает россыпью бриллиантов. Тусклая металлическая зелень кипарисов нависает, ложится зеленой тенью на берега, окрашивает ледяные прозрачные глубины потока. Женщина, подобно ангелу, опустилась на реку льда, крылья ее раскинуты, волосы разметались по застывшим стеклянным волнам.

Внезапно, как волокна стекла в голубом пламени, струи оживают, превращаясь в языки огня. По разноцветно пламенеющей улице движутся густые равноденственные толпы. Это улица ранних мук, где дома тянутся вереницей, словно вагоны, а вокруг них ограды из железных пик. Улица, неощутимо поднимающаяся к солнцу и дальше, как стрела, что стремится затеряться в космосе. Там, где ветер крутил вихри с унылым однообразным шумом, где топорщились чопорные самовлюбленные крыши и глухие стены, теперь бурлит, как открытая сбивалка, сточная канава, дома выстроились в одну линию, цветут деревья. Теперь не цель беспокоит меня, но время. Я иду в золотом гуле, сквозь сироп теплых ленивых тел.

Словно блудный сын, я иду по улице моей юности, купаясь в золотой праздности. Я не испытываю ни замешательства, ни разочарования. От шести краев света пришел я обратно окольными путями к центру моей вселенной, где все — перемена и превращение, и белый агнец

617

постоянно меняет шкуру. Когда это было, что я вопил от боли, пробираясь по горным хребтам, когда ранил ступни об острые камни и раковины, переходя вброд медлительные реки, когда в белых от зноя долинах жег меня пот, когда я лизал соленую испарину лимонных полей или корчился в печи огненной, *когда было все это, чего мне никогда не забыть и ушедшее теперь?*

Когда они ехали по этой холодной похоронной улице на катафалке, который я радостно приветствовал, сменил ли я тогда уже кожу? Я был агнцем, но меня превратили в хищного тигра. В редких зарослях я был рожден, закутанный в облако белой шерсти. Одно лишь мгновение пасся я беззаботно, затем ощутил удар лапы. В горячем пламени догорающего дня я слышал дыхание за ставнями; медленно я проходил мимо всех домов, прислушиваясь к толчкам крови. А затем однажды ночью проснулся на жесткой скамье в замерзшем саду на юге. Слышал траурный свист паровоза, видел белый песок дорог, тускло поблескивавших, как проплешины.

Если я странствовал по миру, не чувствуя ни радости, ни боли, то это потому, что в Таллахасси из меня вырвали душу. В углу, против сломанного забора, в меня запустили грязные лапы и грязным ножом вырезали все, что было моим — все святое, интимное, запретное. В Таллахасси из меня вырезали душу; возили по городу и испещряли тигриными полосами. Однажды я с полным правом свистнул удалым посвистом. Однажды я прошелся по улицам, слушая стук крови, пробивавшийся сквозь фильтрованный свет ставен. Теперь внутри меня живет рокот, похожий на рокот карнавала в разгаре. Мои бока взрываются миллионом мелодий шарманки. Я иду по улице ранних мук, где кипит карнавал. Я продираюсь в толпе, расплескивая мелодии, которым выучился. Радостная, праздная греховность качается от тротуара к тротуару. Сплетение человеческой плоти, раскачивающееся, как тяжелый канат.

У спиральных висящих садов казино, где вспыхивают коконы неона, поднимающаяся по окаймленной цветами тропинке женщина останавливается на миг, чтобы взять меня на прицел соблазна. Моя голова сама собой качается из стороны в сторону — дурацкий колокол на колокольне. Когда она уходит, смысл ее слов начинает доходить до меня. *Кладбище,* сказала она. *Вы видели, что они сотворили с кладбищем?* Слоняясь потом, как в горячем давильном прессе, — все окна расшторены, на ступеньках крылец кишит детвора, — я продолжаю думать над ее словами. Слоняясь, как беззаботный ниггер — ворот распахнут, пятки скособочены, пальцы ног растопырены, мошонка как

618

тугой мяч. Меня обволакивает теплое южное благоухание, навеваемое крыльями кондора, и добродушная лень.

Они сотворили с этой улицей то, что Иосиф сотворил с Египтом. Что *они* сотворили? Уже не вы, не они. Землю золотых спелых хлебов, краснокожих индейцев и чернокожих негров. Ни кто эти они, ни где их искать, я не знаю. Знаю только, что они взяли землю и заставили ее улыбаться, взяли кладбище и превратили его в плодородное, стонущее поле. Все надгробные плиты сдвинули, все венки и кресты убрали. Рядом с моим домом стонут под тяжестью урожая затопленные чеки; почва жирна и черна, крепкие, упорные мулы, утопая копытами во влажной земле, тянут плуг, что режет ее, словно мягкий сыр. Все

кладбище поет -изобильным, тучным урожаем. Поет стеблями пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя. Кладбище ломится от съестного, мулы машут хвостами, здоровенные черные негры мычат и поют, пот катится по их ногам.

Вся улица ныне живет с кладбищенской земли. Хватает всем. Даже с лихвой. Излишек остается неубранным, остается петь и танцевать, гнить на корню свидетельством греховности и беспечности. Кому могло пригрезиться, что житейская мудрость бедных усопших шельмецов, разлагающихся в своих гробах под каменными плитами, окажется столь плодотворна? Кто мог бы подумать, что у этих тощих лютеран, этих тонконогих пресвитериан останется столь доброе жирное мясо на костях для такого богатого компоста, для такой прорвы червей? Даже сухие эпитафии, высеченные на могильных камнях, обладали животворящей силой. Лежа в сырой земле, эти распутные, блудливые вурдалаки спокойно претворяют свою власть и славу. Нигде в целом мире не видал я столь буйных кладбищенских цветов. Нигде в целом мире — такого сочного дымящегося навоза. Улица ранних мучений, я обнимаю тебя! Больше нет бледных белокожих лиц, бетховенских черепов, скрещенных костей — эмблемы смерти, тощих ног. Я не вижу ничего, кроме кукурузы и маиса, золотарника и сирени; я вижу простую мотыгу, мула на борозде, широкие плоские ступни с растопыренными пальцами, меж которых вылезает жирная шелковистая земля. Я вижу красные шейные платки, линялые голубые рубахи, широкополые сомбреро, лоснящиеся от пота. Я слышу жужжание мух и ленивых голосов. Воздух звенит от разлитой в нем беззаботной, беспечной радости; воздух звенит от насекомых, чьи крылышки разносят пыльцу и греховные желания. Я не слышу ни колоколов, ни свистков, ни гонгов, ни скрежета тормозов, только звон мотыги, звук падающих капель пота, жужжание голосов и спокойный шум работы. Я слышу гагару и губную гармонику, мягкий звук там-тама, топот

619

скользящих в танце ступней; я слышу звук опускаемых жалюзи и крик осла из торбы с овсом.

Никаких бледных белокожих лиц, благодарение Господу! Кули, черномазый, скво. Все оттенки шоколадного и коричневого, средиземноморский оливковый, гавайский темно-золотой; все чистые цвета и все оттенки цветов смешанных, но никакого белого. Череп и скрещенные кости исчезли вместе с надгробными камнями; белью кости белой расы дали свои плоды. Я вижу, что все, что связано с их именем и памятью о них, стерто с лица земли, и это, это наполняет меня буйной радостью. В открытом поле, где когда-то земля горбилась нелепыми маленькими холмиками, я слоняюсь среди гула голосов, утопая во влажных бороздах ссохшимися ступнями; шагаю по сочным кочанам глины так, что брызги летят, по утрамбованной колесами грязи, по широким зеленым листьям, по раздавленным плодам, терпкому соку маслины. Над жирными могильными червями, загоняя их обратно в землю, шагаю я, и на мне благословение. Как пьяный матрос шатаюсь, мои ноги мокры, руки сухи. Я гляжу сквозь пшеницу на кудрявые облака; мой взгляд скользит по реке, провожая ее низко сидящие суденышки, медленно проплывающий парус и мачту. Я вижу, как солнце тянет широкие лучи и нежно сосет грудь реки. На том берегу торчат шесты вигвамов, лениво вьется дымок. Я вижу томагавк, летящий на знакомые леденящие кровь вопли. Вижу лица, яркие бусы, мягкий танец мокасин, длинные плоские груди и индейского карапуза с косичкой.

Делавары и лакаванны, мононгаэла и могауки, шенандоа и наррагансетты, тускаги, оскалуса, каламазу, семинолы и пауни, чероки, великие Черноногие маниту, навахо: подобно огромному красному облаку, подобно огненному столпу, проходит перед моими глазами видение отверженного величия нашей земли. Я не вижу латышей, хорватов, финнов, датчан, шведов, ирлашек, итальяшек, китаез, поляков, лягушатников, Гансов, мойш. Я вижу иудеев, сидящих в своих вороньих гнездах, запекшиеся лица сухи, как пергамент, головы усохшие и бескостные.

Вновь сверкает томагавк, летят скальпы и по старому руслу реки катится яркое клокочущее облако крови. От горных склонов, из огромных пещер, топей и флоридских болот течет поток забрызганных кровью людей. От Сьёрр до Аппалачей земля дымится от крови убитых. С меня содран скальп, клочья серого мяса свисают на уши; мои ступни обрублены, бока пронзены стрелами. На пастбище, против сломанной ограды я валяюсь и мои внутренности валяются возле меня; весь искромсан и залит кровью дивный белый храм, который был обтянут кожей и мышцами.

620

Ветер несется по моей поврежденной прямой кишке, вопит, как шесть десятков белых прокаженных. В моих пустых потрохах брызжет белое пламя, струя голубого огня, искры сварки. Мои руки выдернуты из суставов. Мое тело — гробница, в которой шарят вурдалаки. Я набит необработанными самоцветами, источающими ледяной блеск. Солнце вонзает лучи, словно копья, мне в раны, самоцветы вспыхивают, желудок вопит. Я не знаю, день сейчас или ночь; раскинутый над миром шатер падает, как оболочка

аэростата. Сквозь жар крови я чувствую холодное прикосновение: шайка китайцев; они тащат меня по горлу реки, ослепшего и беспомощного, захлебывающегося, хватающего ртом воздух, вопящего от бессилия. Вдалеке слышится шум ледяной воды, вой шакалов под елями; в зеленой тьме леса движется пятно света вешнего, синильного света, высвечивающего снег и ледяную глубь потока. Ласкающее слух, приглушенное булькание, тихое смятение, будто ангел, простерши крылья и поджав ноги, проплыл под мостом

Сточнь1е канавы забиты снегом Зима Слепит низкое полуденное солнце. Я иду по улице мимо многоквартирных домов За час или два, пока солнце висит в небе, все превращается в воду, все плывет, течет, журчит. Между краем тротуара и сугробами бежит ручеек чистой голубой воды. Бежит и во мне ручеек, переполняет узкое русло вен. Чистый, голубой поток, омывающий меня изнутри с головы до пят Я совсем растаял, я переполнен льдисто-голубым весельем.

Я иду по улице мимо многоквартирных домов, льдисто-голубое веселье переполняет мои узкие вены. Зимний снег тает, вода в канавах плещет через край. Печаль ушла и вместе с нею радость, растаяла, просачивается тонкой струйкой, утекает в канаву. Неожиданно принимаются звонить колокола, оглушительные похоронные колокола, чьи непотребные, языки своим отчаянным чугунным трезвоном разбивают стеклянные вздутия вен. По талому снегу правит резня: низенькие китайские лошади украшены скальпами, длинными изящно-суставчатыми насекомыми с зелеными жвалами. Перед каждым домом ограда с остриями голубых цветов.

По улице ранних мук шествует ведьма, поднимая вихрь, ее широкие юбки развеваются, под кофтой круглятся черепа. Мы в ужасе убегаем от ночи, листаем зеленый альбом с изысканным орнаментом из передних лапок, выпуклых надбровий. Из-под всех гниющих крылец раздается шипение змей, извивающихся в мешке с горловиной, перехваченной веревкой и затянутой узлом. Голубые цветы пят-

621

нисты, как леопарды, раздавлены, обескровлены, земля — весеннее разноцветье, золотая, цвета костного мозга, светлой костной муки, в небесах три крыла, похоронный марш или белая лошадь нашатырные глаза.

Тающий снег продолжает таять, железо покрывается ржавчиной, распускаются листья. На углу, под эстакадой, стоит человек в цилиндре, синем сержевом костюме и льняных гетрах, с холеными седыми усами. Засов откидывается, и на свет являются потекший табак, золотистые лимоны, слоновьи бивни, канделябры. Мойше Пипик, торговец лимонами, отведавший жареных голубей, извлекает из жилетного кармашка пурпурные яйца и пурпурные галстуки, арбузы и шпинат с короткими черешками, волокнистый, подпорченный дегтем. Пронзительный свист насмешников, шлюхи в боа, воняющие лизолом, ватки, пропитанные нашатырем и камфарой, арахисовые скорлупки, треугольные и сморщенные, — все триумфально катится с утренним бризом. Утренний свет появляется в помятом виде, оконные стекла в грязных разводах, чехлы драные, клеенка выцвела. Идет человек, волосы дыбом, не бежит, не дышит, человек с флюгером, который круто сворачивает за угол, другой, и прибавляет шагу. Человек, который не думает о том, как или почему, а просто идет во тьме беззвездной ночи. Он будит ночь-жалобщицу, маневрируя между ямами и колдобинами, самый полдень в зимнем океане, самый полдень, отдать концы, поднять паруса, право на борт. Флюгер-кораблик снова получил весла, торчащие из бортов, и плывет неслышно. Бесшумно крадется ночь на четвереньках, как ураган. Бесшумно, с грузом карамели и дешевых игральных костей. Сестренка Моника играет на гитаре, ворот блузки распахнут, шнуровка распущена, в ушах широкие плоские серьги. Сестренка Моника вся в пятнах от лимона и камеди, ее глаза белесы, как бельма, мерзки, мерзлы, прищурены, как бойницы.

Улица ранних скорбей расширяется, всхлипывают голубые губы, впереди, над ее окровавленной шее болтается в воздухе альбатрос, не клацают ее булыжные зубы. Человек в цилиндре скрипит левой ногой, чуть дальше, направо, кубинский флаг под планширами облеплен лапшой и ошметками апельсинов, дикой магнолией и засохшей зеленой жвачкой из побегов пальмы с известью. Под серебряной кроватью белый горшок из-под герани, утром две полоски, ночью три. Солонки напевают, просят крови. Кровь появляется белыми всплесками, белыми чавкающими выплесками глины с обломками зубов, слизью, осколками костей. Пол скользок от приходящих и уходящих, от блестящих ножниц, длинных ножей, раскаленных и ледяных щипцов.

622

Снаружи по талому снегу разбегается бродячий зверинец; первыми вырываются на волю зебры с ярко-белыми полосами, следом хищные птицы и грачи, за ними акация, потом бабочки. Зелень сверкает драными пятками, иволга кружится и ныряет вниз, ящерица мочится, шакал урчит, гиены воют и хохочут и снова воют. Все бескрайнее кладбище, осторожно сбрызнутое, с хрустом расправляет в ночи свои суставы. Автоматы

тоже трещат всей своей тяготящей броней, заржавленными шарнирами, разболтанными болтами, простившиеся с верой в консервацию. Масло расцветает огромными венками-вентиляторами, жирное, олеандровое масло, помеченное лапкой ворона и дважды сращенное палачом Джоном Пеньковая-Петля. Масло блестит в морге, сквозь него сочатся бледные лучи луны, запружены устья рек, подрагивают суда, перекрыты каналы. Коричневым коротконожкам бантамкам надрал хохол красный кукарек, шкурка выдры шарит в пойме. У шпорника сокотеченье. Светятся шурфы магнезии, в небе парит острошпорый ***орел.***

Дике и кровава ночь ястребиных когтей, кривых и острых. Дика и кровава ночь хрипящих колоколен и сорванных ставен, и взрывающихся газопроводов. Дика и кровава ночь борющихся тел, поднявшихся дыбом волос, алых от крови зубов и сломанных спин. Мир просыпается, озябший, как заря, и низкое алое пламя ползет над углем ночи. Ломаются гребни в ночи, поют ребра. Дважды заря встает, и вновь скрывается. К запаху талого снега примешивается запах тлена. По улицам раскатывают катафалки, туда и обратно, возницы жуют свои длинные кнуты, белый креп и белью нитяные перчатки.

Дальше на север, к белому полюсу, дальше на юг, к красной цапле, сердце бьется мощно и ровно. Друг за другом, блестящими стеклянными зубами они перерезают невидимые нити. Появляется ширококлювая утка и за нею куница, прижимаясь брюшком к земле. Друг за другом они появляются, созванные со всех концов, хвосты облезлы, лапки перепончаты. Они появляются, накатываясь волнами, снижаются, как трамвайные дуги, скрываются под кровать. Грязь на полу, и странные знаки, окна горят, ничего нет, кроме зубов, а потом рук, потом рыжих волос, потом кочевых голов-луковиц с изумрудными глазами — кометы, что появляются и пропадают, появляются и пропадают.

Дальше на восток, к монголам, дальше на запад, к секвойям, сердце ходит ходуном. Головы-луковицы расхаживают, яйца пощелкивают, бродячий зверинец болтается, как корзина впередсмотрящего на мачте. Побережья на

623

мили устланы красной икрой. Буруны швыряют пеной, хлопают длинными бичами. Прибой ревет под зелеными стенами ледников. Быстрее, быстрее вращается земля.

Из черного хаоса вырвался свет стеблями иллюминаторов. Из недвижного ничто и пустоты — нескончаемое равновесие: Из моржового клыка и дерюжного мешка — эта безумная вещь, называемая сном, который все не кончается, как восьмидневный завод у часов.

СТРАНСТВУЯ ПО КИТАЮ

В нынешней ситуации одиночество меня не страшит. Когда доходит до худшего. рядом всегда Бог.

В Париж, из Парижа, покидаешь Париж или в него возвращаешься, это всегда Париж, а Париж — это Франция, а Франция — это Китай. Все, что для меня непостижимо, простирается высочайшей стеной над горами и долинами, в которых проходят мои дни. Под защитой этой стены я могу жить моей жизнью китайца в покое и безопасности.

Я — не путешественник, не искатель приключений. То, что со мной приключалось, приключалось невольно. Долгие годы пребывал я в темном туннеле, прорываясь к воде и свету. Рожденный на Американском континенте, я был не в силах поверить, что на земле существует место, где человек волен быть собой. Силою обстоятельств я стал китайцем — китайцем в моей собственной отчизне! Стремясь не дать сломить себя мерзостям жизни, в которых я не хотел принимать участия, я пристрастился к опиуму мечты. Так же естественно и неслышно, как сорвавшаяся с дерева ветка падает в Миссисипи, я выпал из потока американского бытия. Я отнюдь не предал забвению испытаний, какие меня постигли, но нет у меня желания ни воскрешать прошлое, ни сожалеть о нем, ни горевать о несбывшемся. Я похож на человека, очнувшегося после долгого сна и обнаруживающего, что он спит. Типичная дилемма предродового периода: живешь еще не родившись, а в момент рождения умираешь.

Рождаешься и возрождаешься бесконечно. Рождаешься, бродя по улицам, рождаешься, сидя за столиком кафе, рождаешься, лежа на шлюхе. Повторяешь этот процесс снова и снова. По жизни движешься быстрым шагом, и воздаяние за это — не просто смерть, но целая череда смертей, сменяющих одна другую. К примеру, не успею я толком

624

почувствовать, что нахожусь на небе, как вдруг врата растворяются и под ногами я чувствую самые натуральные булыжники. *Когда это успел я выучиться ходить? И чьими ногами хожу?* А вот я направляюсь к могиле, спеша на собственные похороны. Слышу лязг лопат, глухие удары комков земли, падающих на гроб. Едва успеваю сомкнуть веки, едва успеваю вдохнуть запах цветов, в море которых меня утопили, и — *трам-тарарам!*

— выясняется, что я пережил очередную вечность. Такого рода обыкновение вдруг исчезать и столь же нежданно возвращаться на землю заставляет меня постоянно быть начеку. Свое тело надо держать в форме, дабы им могли насытиться черви. А душу — душу надо сохранить незапятнанной для Господа Бога.

Нередко в послеполуденный час, сидя за столиком «Ла Фурше», я задаюсь вопросом: «Ну, куда мы сегодня направимся?» А когда наступает вечер, за моими плечами порой путешествие на луну и обратно. Остановившись на перекрестке дорог, я закрываю глаза и по очереди воплощаюсь во все мои разные и бессмертные я. Роняю слезы в стакан с пивом. А ночами, возвращаясь в Клиши, испытываю сходное чувство. Когда бы я ни пришел в «Ла Фурше», я вижу, как от моих ног в разные стороны разбегаются бесконечные дороги, а из моих башмаков вырастают бесчисленные я, обитающие в моем внутреннем мире. Рука в руке провожу я их по тропам, которые некогда исходил один; я называю это самопринудительными экскурсиями в страну жизни и смерти. И беседую с новоявленными компаньонами так же, как разговаривал бы с самим собой, доведись мне родиться и умереть лишь однажды и, следовательно, быть обреченным на полное одиночество. *В нынешней ситуации одиночество меня не страшит. Когда доходит до худшего, рядом всегда Бог.*

Есть что-то магическое в коротком уличном отрезке между Плас Клиши и «Ла Фурше»; почему-то на нем-то и случаются все эти самопринудительные экскурсии. Идти этим путем — словно двигаться от одного солнцестояния к другому. Скажем, я только что встал из-за столика в «Кафе Веплер», держа под мышкою книгу о Воле и Стиле. Быть может, листая ее страница за страницей, я и понял одну-две фразы, не больше. Может, я за весь вечер прочел одну фразу. Может, я вовсе и не сидел за столиком «Кафе Веплер», а всего-навсего, заслышав музыку, покинул клетку своего тела и принялся мерить четвертое измерение. *Куда* же *меня, спрашивается, понесло?* Всего-навсего на самопринудительную прогулку — коротенькую, длиною в полвека, с успехом вместившегося в миг, пока перевертываешь книжную страницу.

625

Выходя из «Кафе Веплер», улавливаю странный, свистящий шум. Нет нужды оглядываться: я и так понимаю, что меня настигает, несясь за мною вдогонку, собственное тело. Обычно в это время суток вдоль проспекта выстраиваются ассенизационные машины. Через тротуар протягиваются гигантские чавкающие черви резиновых шлангов. Толстые черви всасывают содержимое сточных колодцев. Такова, если можно так выразиться, духовная атмосфера, побуждающая меня посмотреть на себя со стороны. Итак, я склоняюсь над раскрытой книгой за столиком кафе; вижу, как через плечо ко мне нагибается шлюха; чувствую на шее ее дыхание. Она ждет, пока я подниму глаза, — очевидно хочет, чтобы я дал ей огонька. Сейчас спросит, что я тут делаю один и не скучно ли мне. Тема книги — Воля и Стиль, и принес я ее с собой потому, что уйти в чтение в шумном кабаке — не просто удовольствие, роскошь, и к тому же вид личной самозащиты. Музыка тоже бывает как нельзя кстати: она стимулирует чувство уединения, ухода в себя. Вижу, как над моей головой повисает верхняя губа шлюхи. Повисает мягким, чувственным треугольником. На высоких нотах он подрагивает, встрепенувшись, как лань над лощиной...

И вот уже я на коротком отрезке меж Плас Клиши и «Ла Фурше». Вдруг из всех тупиков высыпают целые стаи шлюх, взмахивая крыльями, как летучие мыши на свету. Они вцепляются мне в волосы, в уши, в глаза. Тянутся ко мне хищными щупальцами. Всю ночь напролет роятся они вдоль темных каменных стен; у них запах сочной зелени, орошенной недавним ливнем. Они испускают странные сосущие звуки, зазывно клокочут, отчего мои волосы встают дыбом. Роятся колонией вшей, вшей с длинными прожорливыми усиками, всасывающими пот, выступивший на моей коже. И все это: шлюхи, музыка, хищные толпы, стены, свет на стенах, крадущиеся черви ассенизационных шлангов — сливается в призрачную туманность, сгущающуюся в холодный, возвращающий к реальности пот.

Каждый вечер, направляясь в кафе «Ла Фурше», претерпеваю подобное поругание. Каждый вечер меня скальпируют, изничтожают томагавками. И не будь этого, я чувствовал бы себя разочарованным и неудовлетворенным. А так — прихожу домой, стряхиваю с одежды вшей, смываю кровь с тела. Укладываюсь в постель и храплю на весь дом. *Вобщем* это как раз то что нужно! Помогает не одряхлеть телом и не очерстветь душой.

Дом, где я живу, сносят. Растерзанные комнаты бесстыдно таращатся в уличное пространство. Мой дом — тело человека с содранной кожей. Обои висят клочьями, кроватные рамы оплакивают бегство матрацев, от стен от-

626

винчены умывальники. Каждую ночь, прежде чем войти к себе, я задерживаюсь и долго смотрю на это варварство в действии. Оно странно притягивает меня. В конце

концов, стоит ли изумляться ужасному? Каждый человек — музей, вместилище ужасов всего своего племени. Каждый достраивает свое крыло к общему музею ужасов. И вот, возвращаясь по ночам в свое жилье — жилье, которое с каждым днем убывает, — я пытаюсь постичь, какой сокровенный смысл в этом заложен. И чем больше предстают на всеобщее обозрение его интимные места, тем сильнее я влюбляюсь в свой дом. Мне дорог даже старый ночной горшок, который одиноко стоит под кроватью и которым никто не пользуется.

В Америке мне доводилось жить во многих домах, однако внутреннее убранство ни одного из них не запало мне в память. Мне ничего не оставалось, как принимать выпадавшее на мою долю как должное и довольствоваться этим. Однажды я взял напрокат открытую коляску и двинулся в ней по Пятой авеню. Стоял осенний полдень, и я катил по улицам моего родного города. По обеим их сторонам мелькали мужчины и женщины, эти занятные полулюди-полуманекены. Роботы со сверкающими зубами и остекленевшими глазами. Хорошо одетые женщины, каждая во всеоружии дежурной улыбки. Время от времени скалились в улыбках и мужчины, будто прямо в гробах устремлялись на радостную встречу с Небесным Избавителем. И те, и другие шагали по жизни с остекленевшим, неестественным блеском в глазах, красуясь безупречным фасадом и отводя своему природному естеству место в сточной канаве. При мне оказался револьвер, и, выехав на Сорок вторую улицу, я открыл беспорядочный огонь. Никто не обратил на это ни малейшего внимания. Я косил прохожих направо и налево, но толпа не уменьшалась. Живые все с той же рекламной белозубой улыбкой невозмутимо перешагивали через мертвых и шли дальше. Эта жестокая белозубая улыбка застряла в моей памяти. Она снится мне, эта безупречная улыбка Джорджа Ч. Тайлау, плывущая над банановыми рядами в Стипль-чейзе, когда, в кошмарах, я вижу себя тянущим руку за подаянием. Сталкиваясь нос к носу с нищетой, Америка предпочитает улыбку. Ведь улыбнуться — проще простого. Отчего же не улыбнуться, проезжая по проспекту в открытой коляске? Улыбайтесь, улыбайтесь. Улыбайтесь, даже заслышав трещотку смерти: так будет легче для тех, кого вы оставляете. Улыбайтесь, черт вас побери! *Улыбайтесь улыбкой, навечно приклеившейся к лицу!*

Четверг. Я стою в туннеле городского метро, вглядываясь в простые лица европейских женщин. Есть в этих

627

женщинах некая усталая красота, словно на них наложили печать все катастрофы, все испытания, выпавшие на долю старушки Европы. В их лицах запечатлена история их народа; их кожа — свиток, на который занесена летопись долгой борьбы европейской цивилизации за существование. Переселение народов, ненависть и преследования, войны — все это не может не наложить свой отпечаток. Европейские женщины не улыбаются; лица их собраны, сосредоточены, и написанное на них яснее ясного свидетельствует о их расе, национальном характере, истории. На их лицах мне открывается искореженная, многоцветная карта Европы, карта, испещренная линиями железнодорожных, водных и воздушных путей, водоразделами государственных границ, давним, неистребимым соперничеством и предрассудками. Самая хаотичность этих неровных линий, огромные пробелы обозначающие озера и моря, непостижимое мифическое наследие полуостровов — вся эта сумбурность рельефа, спутанность линий становится наглядным воплощением нестихающего единоборства между человеком и реальностью — единоборства, зеркалом которого является и эта книга. Разглядывая Европу на карте, проникаешься странным удовлетворением от того, сколь в действительности необъятен этот континент, на первый взгляд кажущийся небольшим. По сути это даже не континент, а гигантская часть тверди земной, в которую властно вторглись океанские воды. В некоторых слабых точках суша отступила. Нет необходимости быть геологом, чтобы представить себе, каким невероятным поношениям должна была подвергнуться Европа, Европа, с ее голубой сеткой рек, озер, внутренних морей. Можно на глаз оценить и эпические масштабы ее противостояния морю в тот или иной период, и, подчас, всю трагичность этих тщетных попыток. Глядя на карту, кожей чувствуешь, какие роковые климатические метаморфозы сопутствовали этому глобальному смещению пластов. А стоит посмотреть на эту карту опытным взглядом картографа — и не составит труда вообразить, какой вид примет она пятьдесят или сто тысяч лет спустя.

Итак, взирая на соотношение моря и суши — естественных зон обитания людей, видишь и гротескные, уродливые образования, и те, что повествуют о героизме принесенных на алтарь борьбы усилий. В длинных извивах рек прозреваешь утрату веры и мужества, отпадение от благодати, медленное, мучительное истощение души. Видишь, что одни государственные границы уверенно прочерчиваются по естественным рубежам, другие — набросаны легким, колеблющимся пунктиром, зыбким и переменчивым, как ветер. Инстинктивно провидишь, где грядут неиз-

628

бежные климатические изменения, какие плодородные земли со временем истощатся, станут бесплодными пустошами. А теперешние пустыри, напротив, обратятся в цветущие оазисы. Я убежден: в некоторых уголках континента сбудутся предсказания древних пророков. Будут нащупаны незримые нити общности меж нашими праотцами, носителями не познанного еще прошлого, и нашими современниками, носителями не сбывшегося еще настоящего. Титанические сломы былых времен эхом отзовутся в еще более грандиозных исторических сломах, пора которых — грядущее. В летописи нашей планеты в конечном счете значимы лишь эти глобальные сдвиги, пертурбации, смещения геологических пластов; они-то по справедливости и должны стать предметом нашего восторга и преклонения. Представители рода человеческого, мы носим в себе эмбрионы всего, что входит в состав земли, воплощая ее материю и ее метафизику; где бы мы ни были, нам ни за что не отрешиться ни от нашей постоянно меняющейся географии, ни от нашего постоянно меняющегося климата. Карта старой Европы преображается на наших глазах; и никому не дано сказать, где проступят наружу контуры и рубежи нового континента.

Я нахожусь на самой мучительной стадии решительного перелома. Позабыв звуки привычного языка, не научился еще изъясняться на новом. Я — китаец и говорю по-китайски. Я — в неподвижной сердцевине меняющейся реальности, воплотить смысл и значение которой бессилен любой из существующих языков. Если верить показаниям географической карты, я в Париже; если верить данным календаря, пора моего обитания — третье десятилетие XX века. Однако я не в Париже и не в XX веке. Я — в Китае, и нет здесь ни часов, ни календарей. В утлой джонке плыву вверх по Янцзы и жив только потому, что мне удается выловить из воды остатки провизии, за негодностью выбрасываемой за борт экипажем американской канонерки. Целый день уходит у меня на то, чтобы приготовить себе нечто съедобное; у этого нечто — отвратительный вкус, но мой желудок притерпелся ко всему.

Итак, за спиной у меня Лювесьен, под ногами — долина Сены... С четкостью геодезической карты перед глазами простирается весь Париж. Вижу, как замкнутым кольцом улиц (а в нем — еще одно и еще), селеньем внутри селенья, крепостью внутри крепости расстилается он за равниной. Величественный и одинокий, обрубком могучего красного дерева торчит он посреди необъятной долины Сены. То расширяясь, то сужаясь в своих границах, он вечен, хоть и

629

испытывает бесконечные трансформации: из старого рождается новое, старое дряхлеет и гибнет. Но с какой бы высоты, с какого бы расстояния во времени или пространстве на него ни смотреть, дивный город Париж сияет бриллиантом чистой воды, благословенной Меккой, цветущим священным древом, корни которого, протянувшись на бесчисленные подземные мили, проступают наружу на бескрайнем полотне равнины.

В сутолоке и шуме часа пик сижу за столиком и грежу наяву за стаканом аперитива. Погода безветренная, облака недвижно застыли в небе. Из мертвой точки пульсирующего лихорадочной жизнью парижского уголка благоговейно вслушиваюсь в стук нового сердца, забившегося средь окружающего меня хаоса и упадка. Мои ноги упираются в корни таинственного растения, ни возраст, ни имя которого мне неведомы. Спеленутый в коконе времени, я непостижимым образом связан со всей землей и ничто не властно разорвать эту связь. Еще один скиталец, наконец-то обретший исток страстного своего беспокойства, я сижу прямо на улице, слагая свою песню. Песню, которую я слышал ребенком, песню, которую я утратил, оказавшись в объятиях нового мира, песню, которая никогда не вернулась бы ко мне, не сумей я сорвавшейся с дерева веткой нырнуть в океан времени.

В восприятии того, кто вынужден грезить с открытыми глазами, движение обретает обратный ход; сущее дробится на калейдоскопические фрагменты. Проходя сквозь ужас нашего времени, я верю, что только те, у кого достает отваги закрыть глаза, только те, кто прочно отлучен от удела, носящего имя реальности, способны повлиять на нашу судьбу. Сталкиваясь с обыденным ужасом, пронизывающим окружающую нас повседневность, верю, что для того, чтобы обнаружить ту мельчайшую песчинку, каковой суждено перевесить мертвящую, инерционную чашу весов нашего мира, — чтобы обнаружить эту драгоценную песчинку, недостанет ресурсов всей нашей цивилизации. Верю, что лишь визионеру, не испытывающему страха ни перед жизнью, ни перед смертью, по плечу найти ту неизмеримо малую частицу силы, какая *в* мгновение ока способна погрузить в бешеное коловращение космос. Ни на йоту не верю я в медленное и болезненное, упорядоченное и логичное, алогично-беспорядочное эволюционное развитие вещей. Я убежден, что весь мир — а не одна лишь земля и те живые существа, что на ней обитают, или даже целая вселенная, механизмы движения которой мы познали (не исключая и микровселенных, недоступных нашему глазу и

измерительным приборам), — но весь мир, ведомый и неведомый, вывихнув сустав, содрогается от ужаса и
630
боли. Убежден, что, окажись завтра в нашем распоряжении средства, с помощью которых мы могли бы достичь самой отдаленной звезды — одного из тех миров, свет которых, по нашим безумным расчетам, не успеет долететь до земли раньше, чем сама наша земля исчезнет, — так вот окажись мы завтра в одном из таких миров, мы и там обнаружим такой же ужас, такую же боль, такое же безумие. Убежден: если наше движение отвечает ритму движения звезд, вращающихся вокруг нас, с точностью, делающей невозможной взаимное столкновение, значит, мы в неменьшей мере подвержены действию судьбы, промысел которой одновременно являет себя здесь и там, везде и повсюду. И, следовательно, единственная возможность избежать этой вселенской судьбы — одновременно *возжелать этого* всем и каждому: человеку, животному, растению, минералу, камню, дереву, реке, горе. Здесь и там. Везде и повсюду.

В ночь, когда все сущее утратило свои имена, подхожу к уличному тупику и, подобно человеку, подошедшему к самой грани возможного, перескакиваю через пропасть, отделяющую живых от умерших. В момент, пока я перепрыгиваю через кладбищенскую стену, возле которой журчит последний заброшенный писсуар, все мое детство удушающим комком подступает к горлу. Где бы я ни был, я всегда предпринимал отчаянные попытки отогнать прошлое. Однако в последнюю минуту как раз это прошлое — прошлое, в котором тонешь, — с торжеством одерживает верх. Испуская последний вздох, понимаешь, что будущее — не что иное, как мистификация, пыльное зеркало, песок на дне песочных часов, мертвый, холодный шлак в потухшем очаге. Вступая в самый центр Леваллуа-Перре, я прохожу мимо араба, стоящего у входа в тупик. В свете уличного фонаря он застыл как каменный. В нем, похоже, нет ничего человеческого: не знаешь, с помощью какого рычага, рукоятки, пружины, с помощью какого магического прикосновения можно вывести его из транса, в какой он погружен. В ходе дальнейших моих блужданий фигура этого араба все глубже западает мне в сознание. Фигура араба, застывшего под огнем уличного фонаря в непередаваемо глубоком трансе. Фигуры других людей, мужчин и женщин, застывших в холодном поту улиц, — это тени с человеческими очертаниями, впавшие в оцепенение на мельчайших точках окаменевшего пространства. Итак, с того дня, когда я впервые вышел на улицу бросить собственный взгляд на жизнь, ничего не изменилось. То, что мне довелось за это время познать, — фальшиво и бесполезно. И ныне, когда я отрешился от этой фальши, лицо земли предстает мне еще более жестоким, чем вначале. В
631
этой блевотине я появился на свет и в этой блевотине я умру. Выхода нет. Рая, в котором я мог бы укрыться, не существует. Чашки весов точно уравновешены. Нужна всего лишь мельчайшая песчинка, но добыть эту песчинку невозможно. Не хватает духа и воли. Заново воскрешаю в себе смешанное ощущение чуда и ужаса, какое вызывало во мне улица. Вспоминаю дом, где я жил, маску, которую он носил, населявших его демонов, источаемую им тайну;

вспоминаю каждого, кто пересекал горизонт моего детства, чудо, которое он собой воплощал, окружавшую его ауру, прикосновение его тела, исходивший от него запах. Вспоминаю дни недели и повелевавших ими богов, их роковую предопределенность, их аромат, связанную с каждым из них прелесть свежести и новизны или, напротив, ужасающую пустоту и скуку. Вспоминаю дом, в котором мы поселились, и заполнявшие его предметы, одушевлявшие его дух. Вспоминаю уходящие годы с их острыми гранями — как листами календаря, спрятанного в дупле семейного древа. Вспоминаю даже свои сновидения, ночные и дневные. С момента, когда я натолкнулся на араба, длинным, прямым путем приблизился я к вечности — или, по крайней мере, у меня возникла иллюзия, что я двигаюсь прямым и бесконечным путем. Я забыл, что существует такое понятие — геодезическая кривизна; забыл, что сколь бы ни был значителен градус отклонения — то самое место... где застыл араб, — в ходе движения я буду вновь и вновь возвращаться к исходному пункту. На каждом перекрестке будет подстерегать меня застывшая у тупика в мертвом оцепенении фигура с человеческими очертаниями, выхваченная из тьмы слепящим светом уличного фонаря.

Сегодня — пора очередной самопринудительной экскурсии. Я и мое другое я нерасторжимо связаны воедино. Небо висит неподвижно, в воздухе мертвая тишь. По ту сторону охраняющей меня великой стены музыканты наигрывают какой-то мотив. Еще один день перед катастрофой! Еще один! Бормоча про себя что-то подобное, я внезапно резко поворачиваю за кладбищенской стеной на рю де Местр. Непредумышленный поворот направо погружает меня в самое чрево Парижа. Сквозь петляющие, спутавшиеся кишки Монмартра рю де Местр проскакивает рваной ножевой раной. Я набираю шаг как одержимый, сердце исступленно бьется. Завтра все это сгинет, а с ним и я. По ту сторону

стены черти настраивают свои адские инструменты. Скорее, скорее, пока сердце не выскочило из груди!

Забираюсь на монмартский холм; по одну сторону от

632

меня — святой Антоний, по другую — Вельзевул. Когда стоишь на его вершине, купаешься в его непередаваемой белизне. Твердь рассудка маячит в опасной близости от изменчивой морской пучины. Земля колеблется, небо содрогается над головой. Взобраться на холм над щербатыми крышами домов, над видавшими виды ставнями и плюющимися дымоходами...

Там, где рю Лепик делает крутой вираж по склону холма изогнувшись заколкой для волос перед новым подъемом, кажется, будто прибой, отступая, подарил суше сияющий фиорд. Дансинги, бары, кабаре — весь этот бурлящий, колышащийся шелк подсвеченной электричеством ночи бледнеет на фоне бесконечных кафе, ресторанов, закусочных, опоясывающих подножие холма. Париж потирает живот. Париж облизывает губы. Париж смачивает горло перед предстоящей трапезой. Здесь правит тело, здесь оно в своей стихии, здесь его культ не менее впечатляет, нежели фризы египетских пирамид, легенды этрусков, мифы славного прошлого Крита. Все в непрестанном движении, все поражает разнообразием. Теплое прибежище человеческой плоти, гроздь винограда, отливающие алмазным блеском сосуды с медом. Улицы скользят меж моих пальцев роем медоносных пчел. Взвешиваю всю Францию на одной ладони. Я в улье, в теплом чреве Сфинкса. Земля и небо прогибаются под тяжестью живой, изобильной, исполненной радости человеческой утробы. В начале всего сущего — тело. Оно превыше сомнений, разочарований, отчаяния. Тело — это основа, оно неистребимо.

Рю д'0рсель; солнце прячется за горизонт. Может, солнце, а, может, и сама улица, неуютная, как проход. Ведь и моя кровь под собственным весом устремляется в хрупкие, прозрачные сосуды нервов. На подернутьгх грустью фасадах рю Лепик налет сажи, тонкая зеленоватая пыль неумолимого обветшания, печать упадка. И вдруг с места в карьер все меняется. Внезапно улица как бы распахивает челюсти, и в них застывшей белоснежной мечтой, воплощенной в камне грезой высится Сакре-Кёр. Стоит вторая половина дня, и его тяжеловатая белизна давит. Белизна удушающая, печальная, как живот пресыщенной женщины. Кровь струится взад и вперед по жилам, резкость внешних очертаний смягчена мягким светом, огромные, пышные купола упруги, как груди туземки. На головокружительных откосах шипами торчат деревья; их пушистые ветви лениво подрагивают над невидимым потоком, зачарованно бегущим под их корнями. Клочья неба липнут к концам ветвей нежными бумажными полосами, выкрашенными в восточную синь. Ярус за ярусом — зеленеющая земля, усеянная хлебными крошками, запаршивевшими бродячими собака-

633

ми, маленькими каннибальчиками, выскакивающими из сумок кенгуру.

Белизна балюстрад; мощи христианских святых тянут отрубленные конечности в молчаливой агонии. Шелковистые бедра сплетаются в куфические письмена: не то длинноногие шлюхи, не то отощавшие бакланы, не то онемевшие гурии. С оттенком мавританского фатализма все пухлое здание Корана в переплете из белой слоновьей кожи тяжестью своих каменных грудей давит на Париж.

На Монмартр спускается ночь. Ночь воцаряется и на бульварах, ночь с небом цвета адского пламени и — от Клиши до Барбе — орнаментом раскрытых гробниц. Мягкая парижская ночь, словно лестница беззубых десен, на ступенях которой ухмыляются вурдалаки. У подножия холма со всех сторон тихо журчат писсуары, давясь огрызками размякшего хлеба. Именно ночью Сакре-Кёр предстает во всей своей протухшей красоте. В это время белизна его кожи и влажное каменное дыхание давят на кровь, как клапан. Ночь; Париж освобождается от своей белой лихорадочной крови. Песчинки времени сыплются сквозь отверстия ксилофона, круглая тарелка луны тревожным звоном возвещает о его конце, серое вещество плавится в черепе. Перевернутым цилиндром опускается ночь, и изысканные цветы ума, желтые нарциссы и белые маковки, превращаются в сырую, бесформенную массу. На самой вершине монмартрского холма под сводом синего неба гигантские каменные кони бесшумно грызут удила. От стука их копыт на северном Шпицбергене и на южной Тасмании содрогается земля. Весь земной шар вращается на мягкой оси бульваров. Вращается быстрее и быстрее. Быстрее и быстрее; а музыканты по ту сторону стены настраивают свои инструменты. И вновь я слышу вступительные такты танца — танца дьявола с ядом и шрапнелью, танца пламенеющих сердец, вспыхивающих и вопиющих в ночи.

На высоком холме, в весеннюю ночь, один во чреве кита, вишу я вверх ногами с налившимися кровью глазами и белыми, как трупные черви, волосами. Одно чрево, одно тело, один гигантский кит, догнивающий, как зародыш, под погасшим солнцем. Люди и вши, вши и люди, безостановочно устремляющиеся к свалке личинок. Вот весна, о

которой пел Иисус на кресте с губкой у окровавленного рта под лягушечий хор. Ни следа ржавчины, ни нотки меланхолии. В черном горячечном сне голова бессильно клонится к паху, прошлое медленно погружается в океан забвения, небесный образ пригвожден и забрызган грязью. В каждом чреве — скрежет железных подков, в каждой могиле — рокот патронных гильз. Чрево и гильза; а в ложбине чрева великовозрастный дебил собирает лютики. Че-

634

ловек и конь сливаются в одно: руки мягки, копыта раздвоены. С красными зрачками и огневеющими гривами несутся они стройной кавалькадой. Весна врывается в ночь рокотом водопада. Врывается на крыльях кобылиц со вздыбленной гривой и дымящимися ноздрями.

Миную гирлянду надгробий на рю Коленкур. Капает теплый весенний дождь. Подо мною — маленькие белые часовенки, где покоятся усопшие. Сквозь тяжелую решетку моста на землю падают неровные тени. Пробивающаяся местами трава зеленеет ярче, чем днем — эта вспоенная электричеством флора индустриальной эры. Чуть дальше набредаю на мужчину и женщину. На ней соломенная шляпа. В руке у женщины зонт, но она не спешит раскрыть его. Приближаясь, слышу, как с ее губ слетает: *C'est une combinaison*, —* и, полагая, что речь идет о принадлежности дамского туалета, навостряю уши. Увы, на уме у нее, похоже, совсем другого свойства «комбинация»: от нежной парочки скоро начинают лететь пух и перья. —- *Combinaison!*** —* истошно повторяет она, без лишних церемоний молотя своего спутника зонтом. А он, бедолага, только растерянно повторяет: — *Mais non, ma petite, mais non!****

Эта маленькая сценка доставляет мне живейшее удовольствие — не потому, что она с таким рвением орудует зонтом, а потому, что у меня выскочило из памяти второе, скрытое значение этого слова. Оборачиваюсь направо и вдруг узнаю в петляющей, кривой улочке тот Париж, до истоков которого всегда мечтал докопаться. Ведь можно знать наизусть любую парижскую улицу и при этом вовсе не знать Парижа. Но когда ты забыл, где находишься, и с небес мягко капает дождь, тогда инстинктивно, на ощупь находишь улицу, которую в своих снах исходил вдоль и поперек. *И вот она предстает перед тобою наяву...*

Некогда, проходя по этой улице, я увидел лежащего на тротуаре человека. Он лежал на спине с распростертыми в стороны руками, будто его только что сняли с креста. Ни один из прохожих, ни *одна душа* не сделали попытки приблизиться к нему, дабы убедиться, жив он или нет. Так и лежал он с распростертыми руками, не делая ни малейшего движения, не испуская ни малейшего вздоха. Подойдя вплотную, я убедился, что он жив. Он тяжело дышал, а с губ стекала тоненькая струйка табачного сока. Дойдя до угла, я обернулся; мне было любопытно, что будет дальше. И, не успел обернуться, как в мои уши ворвался громкий

* Это надувательство! (фр.).

** Надувательство (фр.). }

*** Да нет же, нет же, малышка! (фр.).

635

взрыв смеха. Внезапно подворотни и фасады магазинов оказались до отказа заполнены людьми. Вся улица ожила в мгновение ока. Уперев руки в боки, мужчины и женщины надрывались от хохота. Не без труда пробившись сквозь толпу, собравшуюся у края тротуара, я вернулся на прежнее место. Мне была непонятна причина этого внезапного оживления, этого спонтанного приступа веселья. Наконец я снова поровнялся с телом лежавшего на обочине человека. Он лежал на спине, как прежде. Над ним стояла собака, с явным удовольствием помахивая хвостом. Стояла, уткнувшись носом в распахнутую ширинку лежавшего. Так вот почему все так заразительно смеялись. Я попытался последовать их примеру, но тщетно. Из моих челюстей не вышло ни звука. Мне стало грустно, невыносимо грустно, грустнее, чем когда-либо в жизни. Не знаю, что тогда на меня нашло...

Вспоминаю все это, поднимаясь по кривой, петляющей улице. Дело было как раз против мясной лавки, над витриной которой нависал красный с белым тент. Перехожу дорогу и вновь вижу на мокром асфальте, в том самом месте, где лежал тогда невезучий бродяга, тело человека с распростерть1ми в стороны руками. Подхожу, чтобы хорошенько рассмотреть его. Да, несомненно это он самый, только сейчас его ширинка застегнута и он *мертв.* Наклоняюсь, дабы безошибочно убедиться в том и в другом. Все так. Это тот же человек, и он *мертв.* Медленно разгибаюсь и отхожу прочь. На углу замедляю шаг. Чего я жду? Стою на одной ноге, готовясь заслышать оглушительный взрыв смеха, с такой остротой врезавшийся мне в память. Ни звука. На улице ни души. Не считая меня самого и мертвеца против мясной лавки. Может быть, я сплю? Поднимаю глаза к названию улицы. Быть может, оно мне знакомо, быть может, если я не сплю, я узнаю его? Дотрагиваюсь до ближайшей стены, отрываю от приклеенной к ней афиши

узкую полоску. Секунду держу ее в руках, затем комкаю и бросаю в канаву. Маленький тугой комочек бодро отскакивает от асфальта и летит дальше, приземляясь в сияющей луже. Судя по всему, это не сон. В момент, когда я убеждаюсь, что не сплю, меня охватывает жуткий страх. *Ведь если я не сплю, значит я свихнулся.* И, что еще хуже, если я сошел с ума, мне так и не удастся никого убедить в том, что я спал или бодрствовал. Но, может, и не будет никакой необходимости что-либо кому-то доказывать, снисходит откуда-то успокаивающая мысль. Ведь я — *единственный,* кому это известно. Я — *единственный,* кого гложут сомнения. Чем больше я об этом думаю, тем вернее убеждаюсь, что всерьез меня тревожит не то, вижу я сон или сошел с ума, а совсем другое: тот человек, что лежит на обочине с распростертыми рука-

636

ми, — *не я ли это?* Ведь если во сне — или в смерти — можно выходить за пределы собственного тела, тогда нельзя исключать возможность, что однажды покинешь его *навсегда.* И будешь вечно блуждать — бестелесно, безлико, безымянно; станешь бесприютной душой, безразличной ко всему на свете, бессмертной, может статься, непогрешимой, как сам Господь Бог; кто знает?

Мое тело: в скольких местах оно побывало, и все они — вовсе незнакомы, никак не связаны с моим я. Сам бог Аякс, похоже, тащил меня за волосы по дальним улицам самых далеких городов — *самых невообразимых городов...* Квебек, Чула Виста, Браунсвилль, Сюрень, Монте-Карло, Черновцы, Дармштадт, Канарские острова, Каркасон, Кёльн, Клиши, Краков, Будапешт, Авиньон, Вена, Прага, Марсель, Лондон, Монреаль, Колорадо Спрингс, Империэл Сити, Джексонвиль, Шайенн, Омаха, Таксон, Блю Эре, Талахассй, Шамони, Гринпойнт, Парадайз Пойнт, Пойнт Лома, Дархэм, Джуно, Арль, Дьепп, Экс-ла-Шапель, Экс-ан-Прованс, Гавр, Ним, Эшвиль, Бонн, Херкимер, Глендёйл, Тикондерога, Ниагара Фоле, Спартанберг, озеро Титикака, Осснинг, Дэннмора, Наррагансетт, Нюрнберг, Ганновер, Гамбург, Лемберг, Ниддс, Калгари, Галвестон, Гонолулу, Сиэтл, Отей, Индианополис, Фейрфилд, Ричмонд, Орандж-Корт-Хаус, Калвер Сити, Рочестер, Ютика, Пайн-Буш, Карсон Сити, Саутолд, Блю Пойнт, Хуарес, Минеола, Спутен Дювил, Потакет, Уилмингтон, Куганз-Блафф, Норт Бич, Тулуза, Перпиньян, Фонтене-о-Роз, Уитком-ин-зе-Мур, Мобиль, Лювесьен... Во всех и каждом из этих мест со мной что-то случалось, подчас фатальное. Во всех и каждом из этих мест оставлял я на тротуаре мертвое тело с распростертыми руками. Во всех и каждом из этих случаев склонялся, чтобы хорошенько рассмотреть себя, убедиться, что лежащее тело не дышит и что это тело — не одно из моих бесчисленных я, но я сам. *И так продолжалось — продолжалось без конца.* И вот я опять скитаюсь, еще живой, но когда начинает капать дождь и я начинаю бесцельно бродить по улицам, я слышу, как позади с клацаньем падают мои бесчисленные я, и спрашиваю себя:

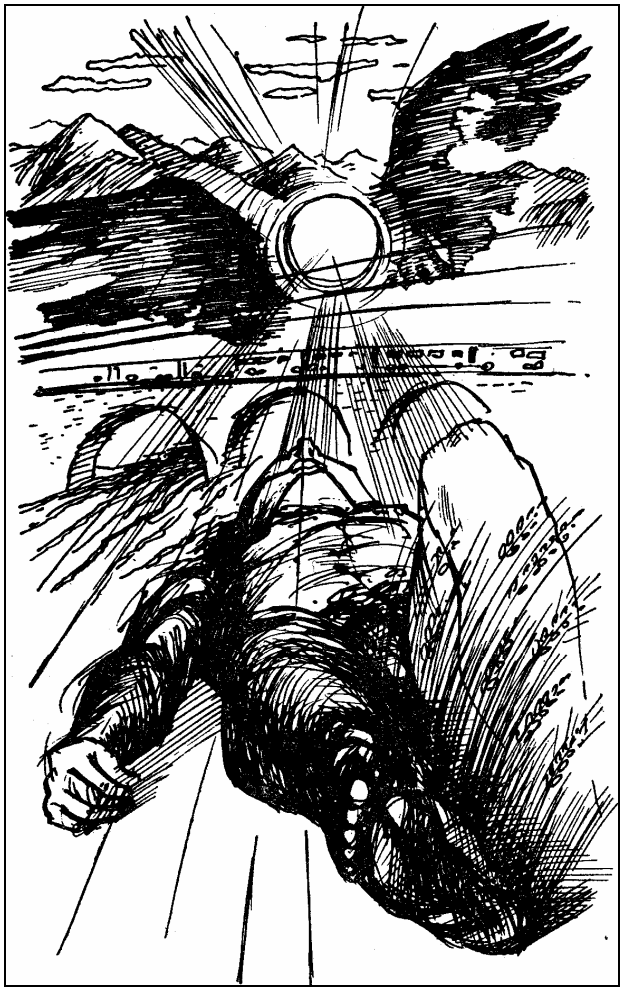
что *дальше?* Можно было предположить, что испытаниям, выпадающим на долю тела, есть предел; оказывается — нет. Так высоко взмывает оно над страданием и болью, что когда все, кажется, окончательно убито, — и тогда остается ноготь на мизинце или клок волос, которые дают побеги; и эти-то бессмертные побеги никогда не иссякают. Таким образом, даже когда вы безоговорочно мертвы и забыты, находится какая-то ничтожно малая частица вашего существа, способная дать побег, и эта частица выживает, сколь бы мертвым ни оказалось прошедшее будущее.

Потому-то в один прекрасный день после полудня я

637

стою под немилосердно жгучим солнцем на маленьком вокзальчике в Лювесьене; значит, ничтожно малая частица меня выжила и дала побег. За окнами — час, когда принимают биржевые сводки, — как говорят, приходящие *«по воздуху».* В бистро, что напротив вокзала, затаилась машина, в машине затаился человек, а в человеке затаился голос. И этот голос — голос стопроцентного взрослого кретина — диктует: «Американская алюминиевая»... «Американская телеграфная и телефонная»... — Он диктует по-французски, и оттого сводка звучит еще более нелепо. И вдруг повторяется история Иакова, вступившего на золотую лестницу: ухо ловит восхитительные райские гармонии. Подобно гейзеру, забившему ослепительно чистой струёй посреди бесплодной пустыни, на сцену скопом выныривает вся Америка: «Америкэн Кэн», «Америкэн Тел энд Тел», «Атлантик энд Пасифик», «Стандард Ойл», «Юнайтед Сигарз», отец Джон, Сакко и Ванцетти, «Юнида Бискит», «Сибоард Эйр Лайн», Саполио, Ник Картер, Трикси Фриганца, Фокси Грэндпа, Голд-Даст-Твинз, Том Шарки, Валеска Суратт, адмирал Шли, Милли де Леон, Теда Бара, Роберт Э. Ли, Маленький Немо, Лидия Пинкхэм, Джесс Джеймс, Энни Оукли, «Даймонд» Джим Брейди, «Шлиц-Мильвоки», Хемп Сент-Луис, Дэниел Бун, Марк Ханна, Александр Доуи, Кэрри Нейшн, Мэри Бейкер Эдди, принцесса Покахонтас, Фэтти Арбакл, Рут Снайдер, Лилиан Рассел, «Слайдинг» Билли Уотсон, Ольга Нетерсол, Билли Санди, Марк Твен, «Фримен энд Кларк», Джозеф Смит, «Неукротимый» Нельсон, Эме Семпл Макферсон, Хорэс Грили, Пэт Руни, Перуна, Джон

Филип Соуза, Джек Лондон, Бейб Рут, Харриет Бичер-Стоу, Аль Капоне, Эйб Линкольн, Бригэм Янг, Рип Ван Винкль, «Крейзи Кэт», «Лиггет энд Майерс», «Холрум Бойз», «Хорн энд Хардарт», Фуллер Брага, «Катценяммер Кидс», «Грустный» Гас, Томас Эдисон, Буффало Билл, «Йеллоу Кид», Букер Т. Вашингтон, Чолгош, Артур Брисбейн, Генри Уорд Бичер, Эрнест Сетон Томпсон, Марджи Пеннетти, «Ригли Сперминт», дядюшка Римус, Свобода, Дэвид Харум, Джон Пол Джонс, «Грейп Нате», Агинальдо, Нелл Бринкли, Бесси Мак-Кой, Тод Слоун, Фрицци Шефф, Лафкадио Хирн, Анна Хелд, маленькая Ева, «Омега Ойл», Мэксин Эллиот, Оскар Хаммерстайн, Восток, братья Смит, Збышко, Клара Кимбалл Янг, Пол Ривир, Сэмюэл Гомперс, Макс Линдер, Элла Уилер Уилкокс, «Корона-Корона», Ункас, Генри Клей, «Вулворт», Патрик Генри, Кремо, Джордж Ч. Тайлау, «Лонг Джон», Кристи Мэтьюсон, Аделина Джини, Ричард Карл, «Свит Кэпоралз», «Парк энд Тилфордз», Джин Иглз, Фанни Херст, Ольга Петрова, «Иейл энд Таун», Терри Макговерн, Фриско, Мэри Кэхилл, Джеймс Дж. Джефрис, Эванджелина, «Сирз-Робэк», салат «сальмагунди», «Дримлэнд»,
638



П. Т. Барнум, луна-парк, Гайавата, Билл Най, Пэт Маккэ-рен, «Раф Райдерз», Миша Элман, Дэвид Беласко, Фэррэгат, «Волосатая обезьяна», Миннегага, «Эрроу Колларз», «Сар райз», «Сан-Ал», Шенандоа, Джек Джонсон, «Маленькая церковь за утлом», Кэб Каллоуэй, Элейн Хаммерстайн, «Кид» Маккой, Бен Ами, Уида, «Пекс Бэд Бой», Патти, Юджин В. Дебс, «Делавэр энд Лэкауэнна», Карло Треска, Чак Коннорс, Джордж Эйд, Эмма Голдман, Сидящий Бык, Пол Дресслер, «Чайлдз», «Музей Губерта», «Бам», Флоренс Миллс, Аламо, Пикок Элли, Помандер Уок, золотая лихорадка, Шипшед-Бей, «Душитель» Льюис, Ми-ми Агулья, хор Гильдии парикмахеров, Бобби Уол-«Пар-кер», м-с Лесли Картер, «Полицейская газета», печеночные пилюли Картера, «Бастанобиз», «Пол энд Джоз», Уильям Дженнингс Брайен, Джордж М. Коухен, Свами Вивекананда, Садакиши Хартман, Элизабет Гарли Флинн, «Монитор» и «Мерримак», кэбмен Снаффи, Дороти Дике, Амато, Сильвестр «Великий», Джо Джексон, Банни, Элси Дженис, Айрин Франклин, блюзы Бийл-стрит, Тед Льюис, «Вайн», «Вумэн энд Сонг», кетчуп «Блю Лейбл», Билл Бейли, Сид Олкотт, «У веселой Женевьевы» и — совсем далеко — «Берега Уобоша»*...

Все американское набегает скопом. И с каждым именем связаны тысячи интимных

подробностей моей жизни. Какому из французов, встречающихся мне на улицах, может прийти в голову, что я ношу в своей черепной коробке целый словарь имен? И с каждым именем — жизнь и смерть? Когда я хожу по улицам с зачарованно-восхищенным видом, ни одной собаке невдомек, по *какой* улице я иду. Разве дано ей знать, что я совершаю прогулку под Великой Китайской Стеной? На моем лице не отражается ничего: ни страдание, ни радость, ни надежда, ни отчаяние. Я брожу по улицам со смиренным выражением кули. Мне доводилось видеть поруганные поля, разграбленные дома, распавшиеся семьи. Каждый город, в котором я побывал, убивал меня: так необъятна была в нем нищета, так бесконечен печальный жребий. Я странствую из города в город, оставляя за собой длинный ряд мертвых и клацающих я. *Но сам. я неустанно продолжаю свое паломничество.* Продолжаю под аккомпанемент музыкантов, настраивающих свои адские инструменты...

* Беспорядочный набор личных имен из всех областей современной и исторической жизни США: общественных и политических деятелей, писателей, артистов, спортсменов; названий фирм и их широко разрекламированных продуктов; индустриальных и банковских компаний, транспортных монополий; ресторанов и кафе, а также популярных ансамблей и героев криминальной хроники.

640

Вчера ночью я опять наведывался в Четырнадцатый округ. Опять набрел на кумира моих юных лет Эдди Карни — парня, которого не видел с тех пор, как переехал в другой район. Высокий и тонкий, он был красив типично ирландской красотой. Он безраздельно владел моим телом и душой. В Четырнадцатом округе было три улицы: Первая Северная, Филмор Плейс и Дриггс Авеню. Ими замыкались пределы ведомого мира. По ту сторону лежала Ультима Туле. То была эпоха горы святого Хуана, «Фри Сильвер», Пиноккио, «Юниды». В гавани, неподалеку от рынка, стояли на приколе военные корабли. Узкая, возле самой обочины, полоска асфальта дарила велосипедистам возможность пулей промчаться на Кони-Айленд и обратно. В каждой пачке сигарет «Свит Кэпорал» таилась фотография: то субретки, то чемпиона по борьбе, то просто изображение флага. Ближе к вечеру Пол Сойер выставлял сквозь решетку своего окна пивную банку и требовал кровяной колбасы. В это же время мимо булочной возвращался домой — и это событие немедленно приобретало первостепенную важность — Лестер Ридон: высокий, рыжекудрый, аристократичный. На южной стороне округа стояли дома адвокатов, врачей, политиков, актеров, управление пожарной охраны, погребальная контора, протестантские церкви, театрик, фонтан; на северной располагались жестяная фабрика, металлоремонтные мастерские, ветеринарная лечебница, кладбище, здание школы, полицейский участок, морг, скотобойня, рыбный рынок, клуб демократической партии. Страх внушали только три человека: погрязший в библейских речениях старик Рэмзей, разносчик слухов и сплетен, бесноватый Джордж Дентон и док Мартин, безжалостный борец с грызунами. Обитатели округа без труда подразделялись на отчетливо обозначенные типы: фигляров, темных мужиков, параноиков, мотыльков, психов, зануд, пьяней, врунов, лицемеров, шлюх, садистов, подлипал, скряг, фанатиков, педиков, уголовников, праведников, аристократов. Дженни Мейн была местная кокетка. Элфи Бечи был мошенник. Джо Геллер был нытик. Стенли был мой первый друг. Стенли Воровски; он был первым, кого я научился уважать как личность. Стенли был аферист. Его не могло устрашить ничто, кроме ремня, который его старик держал в задней комнате своей парикмахерской. Когда старику взбредало в голову поучить сына уму-разуму, отчаянные крики Стенли можно было расслышать и на другом конце квартала. В этом мире все делалось открыто, средь бела дня. Когда Зилберстайн-брючник свихнулся, его разложили прямо на тротуаре перед собственным домом и напялили на него смирительную рубашку. Его жена (она была тогда на сносях) пришла в такой ужас, что выкинула тут же на обочине дороги. Профессор Мартин, неустра-

641

шимый гонитель крыс и прочих паразитов, как раз возвращался домой после основательной поддачи. В карманах пальто он нес двух хорьков, и один из них выскочил наружу. Стенли Воровски немедля загнал его в люк канализации, за что столь же оперативно схлопотал синяк под глазом от профессорского сынка, полоумного Харри. А на чердаке над красильной лавкой, по другую сторону улицы, стоял Вилли Мейн со спущенными штанами и за милую душу дрочил. — Бьёрк! — призывал он. — Бьёрк! Бьёрк! — Появилась пожарная машина; на него направили струю из шланга. Его старик, известная пьянь, не придумал ничего лучше, как вызвать полицию. Легавые не заставили себя ждать и исколошматили старика чуть не насмерть. Тем временем в соседнем квартале Пэт Маккэррен поил своих дружков в баре шампанским. Только что кончилось дневное представление, и девчонки из кордебалета распихивались по задним комнатам со своими приятелями-моряками. А бесноватый Джордж Дентон выезжал в своем фургоне,

в одной руке поводья, в другой — библия. Во всю мочь надтреснутого своего голоса он вопил: «Поелику же вы погрешите против одного из малых сих, погрешите вы против меня», — или еще какой-то бред в том же роде. А миссис Горман — та стояла в дверях в грязном халате, и ее сиськи наполовину вылезали наружу, а она приговаривала почтительно: «Чу-чу-чу, чу-чу-чу!.. — Она была из прихода отца Кэрролла на северной стороне. — Здрасьте, достопочтенный отец, какая хорошая погода сегодня утром!»

И вот вчера после обеда все это вновь нахлынуло на меня; и музыканты по ту сторону стены, и танец, для которого они настраивают инструменты. Мы с Карлом решили устроить себе небольшую пирушку. Накупили одних деликатесов: маслин, томатов, редиски, сардин, сыру, мацы, бананов, яблочного компота, пару литров четырнадцатиградусного алжирского. На улице было тепло и очень тихо. Подзаправившись, мы сидели и курили, почти готовые соснуть: такой вкусной оказалась провизия, и так удобны прямые стулья со светлой обивкой, и над крышами домов стояла такая тишь, что, кажется, сами стены беззвучно вздыхают сквозь окна и проемы. И, подобно многим другим вечерам, после того как мы, ублаготворенные ужином, посидели и покурили молча и в комнате почти стемнело, Карла вдруг понесло. Он принялся рассказывать о себе, о чем-то в своем прошлом, что в молчаливой полутемной комнате, казалось, начало обретать форму — отнюдь не словесную, ибо то, что он тщился мне поведать, было по ту сторону слов. По-моему, я вообще улавливал не слова его сбивчивого монолога, но, скорее, их музыку, их мелодию — сладкозвучную, негромкую, так гармонировавшую с алжирским вином, редиской, маслинами. Он го-

642

ворил о матери, о том, как вышел из ее утробы, а вслед за ним — его брат и сестра; а затем началась война, ему приказали стрелять, а он не смог, и, когда война кончилась, перед ним раскрылись ворота то ли тюрьмы, то ли сумасшедшего дома, куда его запихали, и он оказался свободен, как птица. Не помню уже, как разговор перешел на эту тему. Мы говорили о «Веселой вдове», о Максе Линдере, о венском Пратере — и вдруг очутились в эпицентре русско-японской войны, и в беседе всплыло имя того китайца, которого Клод Фаррер упоминает в своем романе «La Bataille»*. Должно быть, что-то сказанное о китайце разбередило в душе Карла нечто сокровенное, ибо когда он снова открыл рот и, захлебываясь, заговорил о матери, о ее утробе, о начале войны и о том, что «свободен, как птица», я понял, что он так глубоко погрузился в собственное прошлое, что просто грехом было бы его перебить.

— *Свободен, как птица, —* слышатся мне его слова, и перед моими глазами встают распахивающиеся ворота и выбегающие из них люди: все слегка обалдевшие от долгой изоляции и тщетного ожидания, что война окончится. Когда распахнулись ворота, я вновь оказался на улице рядом с моим другом Стенли; мы сидели на приступке перед домом, где вечером ели кислые лепешки. Ниже по улице виднелась церковь прихода отца Кэрролла. А ныне — ныне тоже вечер, в окна врывается звон колоколов, призывающих к вечерне, мы с Карлом сидим в полутемной комнате в мире и покое. Мы в Клиши, и война давно кончилась. Но вплотную подступает черед другой войны; она прячется где-то в темноте; и, быть может, именно темнота побудила Карла вспомнить о материнской утробе и о приближении ночи. Ночи, когда стоишь один на один с внешним миром и, как бы страшно ни было, приходится испить свою чашу до дна. «Мне не хотелось идти воевать, — говорит Карл. — Черт побери, мне же было всего восемнадцать!» Как раз в этот момент кто-то включает граммофон и в уши нам вливается вальс из «Веселой вдовы». За окном все тихо и спокойно — совсем как перед войной. Стенли нашептывает мне на пороге что-то о Боге — о католическом Боге. В вазе на столе еще осталась редиска, и Карл уминает ее в темноте. «Знаешь, хорошо чувствовать, что ты жив, как бы беден ты ни был», — проговаривает Карл с полным ртом. Смутно различаю в темноте, как он протягивает руку к вазе и достает оттуда еще одну редиску. Как хорошо чувствовать, что ты жив! Как бы для того, чтобы убедить самого себя в том, что он жив и свободен, как птица, Карл

* «Битва» (фр.) — роман популярного в начале столетия Французского беллетриста Клода Фаррера, широко эксплуатировавшего в своих книгах мотив противостояния Востока и Запада.

643

отправляет редиску себе в рот. И вся моя улица, свободная, как птица, разражается во мне веселым чириканьем; я вновь вижу мальчишек, которым снесло головы пулей или разворотило кишки штыком, — мальчишек вроде Элфи Бечи, Тома Фаулера, Джонни Данна, Сильвестра Геллера, Харри Мартина, Джонни Пола, Эдди Карни, Лестера Ирдона, Джорджи Мейна, Стенли Воровски, Луиса Пироссо, Робби Хайслопа, Эдди Гормана, Боба Мэлони. Мальчишки с северной стороны округа и мальчишки с южной — всех их свалили в выгребную кучу и развесили на колючей проволоке их внутренности. Хоть бы кто-нибудь из них уцелел! Но нет, не вернулся ни один. Даже великий Лестер

Ридон. Все прошлое сметено с лица земли.

Как хорошо чувствовать себя живым и свободным, как птица. Ворота распахнуты, и я волен странствовать где мне вздумается. Но где Эдди Карни? И где Стенли?

Вот весна, о которой пел Иисус на кресте с губкой у окровавленного рта под лягушечий хор. В каждом чреве — скрежет железных подков, в каждой могиле — рокот патронных гильз. Над павшей утробой небес нависает арка несказанной муки, в которой копошатся черви-ангелы. В последнем чреве последнего кита весь мир превратился в кровоточащую язву. Когда в следующий раз прозвучит труба архангела, впечатление будет такое, словно кто-то нажал кнопку: первый павший обрушится на соседнего, тот на следующего и так без конца по всему миру, от Нью-Йорка до Нагасаки, от Арктики до Антарктики. А когда падет человек, он придавит собою слона, и слон падет на корову, корова на лошадь, лошадь на ягненка, и так, один за другим, полягут все — полягут ротой оловянных солдатиков, сдунутых ветром. Мир вспыхнет и потухнет, как римская свеча. На обезлюдевшую поверхность земли не пробьется ни одна травинка. Сверхдоза снотворного, за которой не следует пробуждение. Ночь и покой, а в них — ни шепота, ни стона. Обволакивающая зловещая тьма, взмах неслышных крыл.

БУРЛЕСК

Сонное спокойствие Швенингена анестезией растекается по жилам.

Стою в баре, гляжу на английскую шлюху с выбитыми передними зубами, и вдруг меня осеняет: *«Не плюйте на пол!»* Всплывает, как из недр давнего сна...

Дело было в баре «У Фредди», что на рю Пигаль, и

644

женоподобный юноша с атласными пальцами, облаченный в прозрачную белую шелковую блузу с широченными рукавами, только что отгнусавил «Прощай, Мексика!» Она сказала, что ничем особенным не занята, так, прохлаждается. Работает в оркестре на крупной радиостанции, да вот незадача — подцепила ящур. Не переставая бегала в клозет и обратно, шурша вышитыми бисером занавесками. У ее арфы прямо-таки ангельский тембр. Моя собеседница была слегка под кайфом, однако держаться старалась как настоящая леди. А в кармане у меня лежало письмо от сумасшедшего Голландца; он только что вернулся из Софии. «В ту субботу — говорилось в нем, — у меня было лишь одно желание: чтобы ты оказался со мной рядом». (Он, правда, не уточнял, где именно.) «Могу сказать тебе одно: после шумного суматошного Нью-Йорка сонное спокойствие Швенингена анестезией растекается по жилам». В Софии Голландец пустился во все тяжкие, взяв себе в любовницы примадонну местного королевского оперного театра. Ибо, добавлял он, чтобы утвердиться в глазах софийского высшего света, ему как воздух необходима была репутация отчаянного донжуана. А теперь он намерен со всем этим завязать и по трезвой лавочке начать новую жизнь в Швенингене.

Весь вечер мне и в голову не приходило вспомнить об этом письме. Но стоило английской шлюхе раскрыть пасть, демонстрируя, что все ее передние зубы выбиты, и в моих глазах опять замелькало: «Не плюйте на пол!» Мы с сумасшедшим Голландцем пробирались через гетто. При этом он был в ливрее рассыльного. Впрочем, в тот день он уже доставил по адресу все, что требовалось, и вечер у него был свободен. Мы двигались по направлению к «Кафе-Рояль», надеясь опрокинуть там кружку-другую пива и посидеть в тишине. Точнее, я снисходил до того, что разрешал ему выпить пива и побыть в моем обществе, ибо, во-первых, я был его начальником, а во-вторых, он находился не на работе и потому мог распоряжаться собой как заблагорассудится.

Мы шли к северу по Второй авеню, пока я внезапно не заприметил витрину с подсвеченным крестом и окружавшей его надписью: «Тот, Кто Уверует В Меня, Не Умрет...» Мы вошли внутрь; кто-то с возвышения обращался к собравшимся: «Приготовьтесь, мисс Пауэлл! Итак, братья, кто приобщит нас к своему свидетельству? Да, гимн 73-й. После собрания все мы отправимся сказать слова утешения страждущей сестре нашей миссис Бланшар. А теперь вос-

645

поем гимн 73-й: *«Господь, укрепи мя на горних высотах...»* Как я уже говорил, когда я увидел, как рабочий красит в яркие, радостные цвета наш новый шпиль, строки этого чудесного старого гимна сами подступили к моим губам. Итак: *Господь, укрепи мя на горних высотах...*

Молитвенный зал был очень мал; со стен отовсюду свисали библейские речения типа «Господь — мой Пастырь» и т.п. Самая заметная надпись красовалась, однако, над алтарем: *«Не плюйте на пол!»* Собравшиеся упоенно распевали гимн 73-й во здравие нового шпиля. Нам повезло больше других: войдя с опозданием, мы и так оказались на

высотах. От нечего делать я принялся читать и перечитывать тексты на плакатах, особенно этот непревзойденный, нависающий над кафедрой: *«Не плюйте на пол!»* Сестра Пауэлл несла вахту на органе; вид у нее был донельзя духовный и целомудренный. Человек на возвышении пел громче других и, хотя явно знал слова наизусть, держал перед собой раскрытую молитвенную книгу. Он напоминал кузнеца при исполнении обязанностей штатного проповедника. Говорил зычно и истово. А между гимнами делал все что мог, дабы побудить собравшихся приобщать друг друга к опыту своих откровений. Время от времени ему помогал человек из публики, скрипучим голосом возглашавший:

«Господа великого и всемогущего славлю-ю-ю!...»

AMEN! GLORY! GLORY! HALLELUJAH!*

— Итак, — рычит кузнец, — кто приобщит нас? Ты, брат Итон, не приобщишь ли нас к своему свидетельству?

Брат Итон поднимается на ноги и печально заявляет: «Он меня выкупил».

AMEN! AMEN! HALLELUJAH!**

Сестрица Пауэлл вытирает ладони платочком. Делает это одухотворенно. Потом невидящим взором вперяется в стену перед собой. Вид у нее такой, будто Господь только что снизошел к ней. Это очень впечатляет.

Братец Итон, которого выкупили, смиренно сидит на месте сложив руки. Кузнец объясняет: существование брата Итона выкуплено драгоценной кровью Сына Божия, пролитой на кресте, на горе Голгофской. *Не хочет ли еще кто-нибудь приобщить нас1* Ну пожалуйста! Чуть позже, продолжает он, мы все вместе навестим страждущую нашу сестру Бланшар, чей горячо любимый сын отошел минувшей ночью. *Итак, кто приобщит нас?..*

* Аминь. Слава. Слава. Аллилуйя! (лат., англ.)

** Аминь. Аминь. Аллилуйя! (лад.).

646

Срывающийся голос с места: «Знаете, не умею я складно свидетельствовать. Но есть одно место, от которого во мне все переворачивается... В послании апостола Павла к колоссянам, глава третья. Вот оно: *«Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего...»* И вправду, братья. Помолчим и подумаем. Встанем на колени и задумаемся о Нем. Вслушаемся в Его голос. В Его свидетельство. Братья, это место... оно мне очень дорого. Послание к колоссянам, глава третья: *«Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего..."*

СЛУШАЙТЕ! СЛУШАЙТЕ! СЛАВЬТЕ ГОСПОДА! АЛЛИЛУЙЯ!

«Сестра Пауэлл, приговьтесь к следующему гимну! — Он вытирает лицо. — Прежде чем мы сойдем бросить последний взгляд на дорогого сына сестры Бланшар, давайте споем еще один гимн: *«Мы обретаем друга в Иисусе!» Я* думаю, все мы знаем его наизусть. Помните: если вы не очистились, омытые кровью Агнца, неважно, в скольких книгах записано ваше имя. Не отверзайте от Него глаз и ушей ваших! Люди, взыскуйте Его ныне и присно... сейчас! Итак, все вместе: *«Мы обретаем друга в Иисусе!..»* Гимн 97-й. Встанем и воспоем, прежде чем все вместе спустимся к сестре Бланшар. Итак, гимн 97-й... *«Мы обретаем друга в Иисусе...»*

Все продумано заранее. Вместе спускаемся к дорогому опочившему отпрыску сестрицы Бланшар. Все без исключения: колоссяне, фарисеи, прелюбодеи, злыдни, треснувшие сопрано — все вместе — бросить последний взгляд... Не знаю, что стало с сумасшедшим Голландцем, алкавшим столь немногого — кружки пива. Выстроившись рядком, тащимся к сестре Бланшар: тромбоны и калиопы, гимн 73-й и грозное объявление *«Не плюйте на пол!»* Брат Причард, будь любезен выключить свет! А вы, сестра Пауэлл, готовы аккомпанировать? Прощай, Мексика! Спускаемся к сестре Бланшар. Сходим вниз, дабы Господь укрепил стопы наши на горных высотах. Справа безносый, слева одноглазый. Кривобокие, докрытые гнойными струпьями, эпилептики с пеной на губах, сладкогласные, праведные, вшивые, дебильные. Все сходим вниз, дабы покрасить шпиль в яркий, радостный цвет. Все братья иудеев. Все воскресаем со Христом и ищем горнего. Братец Итон сейчас пустит по -кругу шляпу, а сестрица Пауэлл сотрет со стен харкотину. Все выкуплены — выкуплены за столько, сколько стоит хорошая сигара. Сонное спокойствие Швенингена анестезией растекается по жилам. Все сообщения доставлены

647

по адресам. К сведению тех, кто отдает предпочтение кремации: у нас заготовлены очень удобные ниши для урн. Тело дорогого опочившего отпрыска сестры Бланшар покоится во льду и вот-вот даст ростки. Приобретая мавзолей, вы с гарантией обеспечиваете место, где члены семьи и близкие могут покоиться один рядом с другим в белоснежной капсуле, высоко поднятой над землей и надежно изолированной от дождя,

сырости и плесени.

Еду в желтом такси к Национальному Зимнему Саду. Спокойствие Швенингена течет по моим жилам. Отовсюду нотными знаками струятся рекламные надписи и славься, Боже великий и всемогущий. Повсюду черный снег, повсюду сползающие с голов черные парики. БУДЬТЕ НАЧЕКУ: НА ЭТОМ ПРИЛАВКЕ СБЫВАЮТ СЛЕГКА ПОДЕРЖАННЫЕ ЦЕННОСТИ!

СЛАВА! СЛАВА! АЛЛИЛУЙЯ!

В меховых манто дефилирует нищета. Есть все на свете: турецкие бани, русские бани, сидячие ванны; нет только чистоты. Клара Боу* дарит вам «Парижскую любовь». По обагренной кровью тундре шныряет призрак Якоба Гордина. Бауэри** вырядилось, как таракан: его выкрашенные в цвета цукатов стены благоухают ароматом мяты.

ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ... ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. Московиц сливается воедино со своим цимбалоном, а цимбалон норовит слиться с замороженным задом Льва Толстого, в фасовке и под соусом ставшим фирменным блюдом ресторана для вегетарианцев. Вся планета выпросталась наизнанку выставляя напоказ прыщи, бородавки, угри, жировики. Больничное оборудование неустанно обновляется, с бокового входа — обслуживание бесплатное. Вниманию всех недужных, всех изнемогших и согбенных, вниманию каждого подыхающего от экземы, галитоза, гангрены, водянки, раз и навсегда: бесплатный вход — сбоку. Воспряньте духом, страждущие! Обратите свои стопы к нам, длиннолицые калиопы! И вы, спесивые фарисеи! Заходите, тут вам обновят железы внутренней секреции за плату, не превышающую стоимости стандартного погребения! Заходите, не раздумывая! Вы призваны Иисусом. Не' медлите:

ровно в семь пятнадцать мы закрываемся.

КАЖДУЮ НОЧЬ ДЛЯ ВАС ТАНЦУЕТ КЛИО!

* Голливудская звезда 1920-30-х годов.

** Существующая в Нью-Йорке с начала века ночлежка для бедных и неимущих.

648

Каждую ночь исполняет свой номер Клио, любимица богов. *Иду, Мамочка! Мамочка, помоги!* Мамочка, я поднимаюсь.

СЛАВА! СЛАВА! К КОЛОССЯНАМ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Матерь всего, что свято, я уже в раю. Стою за спинами последних из последних. На ступеньках церкви застыл епископальный ректор: у него вывалилась прямая кишка. Сползая вниз, она разматывается в грозное предостережение: АВТОМАШИНЫ НЕ ПАРКОВАТЬ. В кассовом отсеке грезят наяву о рыбной ловле на реке Шэннон братья Минские. Кинохроника фирмы «Пате» пощелкивает, как пустой мускатный орех. В гималайских монастырях монахи поднимаются среди ночи вознести молитву за всех, кто спит в этот час, дабы мужчины и женщины во всех частях света могли начать новый день с мысли о том, как они чисты, добры и храбры. Сент-Мориц, гастроли труппы Обераммергау, «Эдип-царь», выставка пекинесов, циклоны, прекрасные купальщицы — мир вращается в барабане захватывающих аттракционов. На мою душу снисходит покой. Будь еще у меня в руках сэндвич с ветчиной и кружка пива, — о, какого друга я обрел бы в Иисусе. Но, как бы то ни было, занавес поднимается. Прав был Шекспир: *все дело — в пьесе.*

А теперь, дамы и господа, начинается самое целомудренное, самое фривольное шоу в западном полушарии. Вашим взорам, дамы и господа, откроются те анатомические зоны, каковые принято именовать, соответственно, надчревными, тазобедренными и подчревными. Эти изысканные зоны (стоимость билета — всего один доллар девяносто восемь центов) никогда еще не бывали достоянием американской зрительской аудитории. Они импортированы специально для вас с рю де ла Пэ королем нью-йоркских евреев Минским. Самое целомудренное, самое фривольное шоу в Нью-Йорке. А пока подметают и проветривают зал, предлагаем вашему вниманию дамы и господа, уникальный набор французских открыток, каждая из которых — гарантированно подлинна. К каждой открытке, дамы и господа, прилагаются подлинные немецкие, ручной работы микроскопы, изготовленные японскими мастерами в Цюрихе. Перед вами — самое целомудренное, самое фривольное шоу в мире. Так говорит сам Минский, король евреев. Представление начинается... представление начинается...

Под покровом тьмы билетеры опрыскивают дохлых и

649

живых вшей, свивших себе гнезда и отложивших личинки в черных курчавых головах тех, кому не по карману роскошь принять дома ванну: в головах бездомных евреев с Ист-Сайда, которые — не иначе как по причине крайней бедности — расхаживают по улицам в меховых полушубках, торгуя спичками и шнурками для ботинок. Внешне они совсем такие же, как бездомные на Плас де Вож, или на Хеймаркет, или на Ковент Гарден; разница лишь в том, что эти люди истово веруют — веруют в чудодейственную Машину

Сложения, придуманную Бэрроузом*. Места у пожарных лестниц заполняют беременные женщины, обязанные своими животами велосипедным насосам. Все эти жалкие обитатели Ист-Сайда счастливы, ибо тут, у пожарных лестниц, стоя одной ногой в облаках, могут без помех жевать сэндвичи с ветчиной. Ненадолго изгоняя из ноздрей запах формальдегида, подслащенный жевательной резинкой «Ригли Сперминт» (пять центов пачка), поднимается занавес. Поднимается над единственной и неповторимой анатомической зоной, о которой чем меньше говорится, тем лучше. Ведь на исходе жизни, когда любовные желания дотлевают мерцающими угольками в камине, не так уж весело вспоминать усеянные ослепительными звездами бананы, медленно проплывающие над плоскими, словно листовое железо, надчревными, тазобедренными и подчревными участками тела. Минский в кассе поглощен своими видениями, его ноги надежно укоренены в горних высотах. Где-то еще играют актеры труппы Обераммергау. Готовя к конкурсу «Голубая лента», расчесывают и купают пекинесов. В кресле-качалке, со ввалившимся животом, горюет сестрица Бланшар. Старость не остановишь, тело бренно, — но грыжа отнюдь не неизлечима. Когда смотришь вниз с пожарной лестницы, глазу открывается бесподобный, изысканный в своем разнообразии натюрморт, точно запечатленный Сезанном: с искореженными урнами, заржавленными консервными ключами, разломанными детскими кроватками, выброшенными жестяными ваннами, отслужившими свое медными баками, терками для мускатных орехов и местами надкушенными животными-хлопушками, каждая в целлофановой обертке. Это — самое целомудренное и самое фривольное шоу, импортированное через океан с рю де ла Пэ. Вы вольны выбрать одно из

* Иронический намек на творчество современника Г. Миллера — американского писателя-авангардиста У. Бэрроуза, автора нашумевших романов «Голый завтрак» и «Мягкая машина»

650

двух: смотреть ли вниз, в черную бездну, или ввысь, в сияющую солнечную высь, где над звездно-полосатым стягом гордо реет надежда на вечную жизнь; и бездна, и высь — гарантированно подлинные. Если вы воскресли со Христом, люди, ищите горнего. Сегодня и каждый вечер на этой неделе за плату меньшую, нежели стоимость стандартного погребения, для вас танцует Клио. Смерть крадется на всех четырех, подползает, как куст трилистника. Ослепительным светом, светом последнего прибежища приговоренных пылает сцена. Появляется Клио. Клио, любимица богов, королева электрического стула.

Сонное спокойствие Швенингена анестезией, растекается по жилам. Послание к колоссянам, глава третья: занавес. Из сумрака ночи встает Клио, в ее чреве — зловонные газы нью-йоркской клоаки. Слава! Слава! Я восхожу. Из сумрака ночи встает старый Бруклинский мост, дряхлая греза, дрожащая в рубище пены и лунном тумане. Шипение и гул пробирают до колик в желудке. Слепящий блеск хризопаза, смешливый отсвет лигроина. Ночь холодна, и мужчины шагают в ногу. Ночь холодна, но королева — нагая, на ней одна портупея. Королева танцует на остывающих угольях электрического стула. Клио, любимица евреев, танцует на кончиках напедикюренных пальцев; ее глаза рвутся из орбит, в ушных раковинах застыла кровь. За небольшую плату она танцует холодную ночь напролет. Эту неделю она будет танцевать каждую ночь напролет — во здравие платиновых мостов. О мужчины, с молоком матери впитавшие преклонение перед звучностью *«vimque cano»*, совершенством двенадцатеричной системы счисления и комфортом салонов «Восточной Прибрежной Авиалинии», не отверзайте восхищенных очей от королевы Таммани-Холла! Вот она перед вами — босая, с чревом, разбухшим от газов клоаки, с нежно вздымающимся в мерном гомеровском ритме пупком. Королева Клио, чище чистейшего асфальта, светлее светлейшего электросвета, Клио, королева и любимица богов, пляшет на асбестовом сиденье электрического стула. Утром она отплывет в Сингапур, Мозамбик, Рангун. Ее барка стоит наготове в сточной канаве. Ее невольники кишат вшами. В глубочайшем чреве ночи танцует она песнь избавления. Все вместе, рядком мы спускаемся в туалет, дабы вос-

* Букв. «Мужа пою...» (лат.) — вошедшая в широкий речевой оборот фраза из «Энеиды» Вергилия.

651

прянуть к горним высотам. Спускаемся в туалет, светлый, сухой, чистый и сентиментальный, как церковный двор.

А теперь, пока занавес опущен, вообразите, что перед вами — безоблачный день и ветер доносит с залива запах моллюсков. Вы фланируете по побережью Атлантики в бетонном костюме и носках с золотой пяткой, и в ваши уши настойчиво рвется шипение поджаривающегося чоп-свэя*. Большая Белая Дорога сияет искорками реклам. Работают станции моментального комфорта. Вы пытаетесь сесть, не нанеся непоправимого ущерба

бетонной складке ваших брюк. Сидите на чистейшем асфальте, и павлины щекочут вам горло. Канавы вдоль тротуаров доверху полны шампанским. Единственный запах — запах моллюсков, доносящийся с залива. Стоит безоблачный день, и все долдонят наперебой. Если такой звуковой фон для вас недостаточен, не стесняйтесь: вставьте себе в зад еще одно радио. На ходу настраиваетесь на Манилу или Гонолулу. Можете положить в ваш стакан с оранжадом еще кусочек льда, а можете разом удалить себе обе почки — что предпочтете. Если у вас сжатие челюстей, тоже не беда: введите себе . через задний проход в организм трубку и вообразите, будто едите. К вашим услугам все на свете: только попросите. Разумеется, при условии, что стоит безоблачный день и ветер доносит с залива запах моллюсков. Отчего так? Да оттого, что Америка — могущественнейшая из стран, созданных Господом Богом, и если вам она не по вкусу, — убирайтесь подобру-поздорову откуда пришли. Нет на свете вещи, которые Америка для вас бы не сделала; только заявите об этом, как подобает мужчине. Вплоть до того, что, сидя на электрическом стуле в момент, когда палач включает ток, вы можете преспокойно читать газетное сообщение о собственной казни; или, если хотите, в ожидании того же момента можете любоваться на собственное фото в газете. Фото человека, сидящего на электрическом стуле.

Непрерывное представление с утра до ночи. Самое фривольное, самое целомудренное шоу на земле. Столь фривольное, столь целомудренное, что погружает в отчаяние и одиночество.

Возвращаюсь назад через Бруклинский мост и сажусь в сугроб напротив дома, где я родился. Меня охватывает неизбывное, душераздирающее одиночество. Нет, я еще не вижу себя за стойкой бара «У Фредди» на рю Пигаль. Не вижу английской шлюхи с выбитыми передними зубами. Вижу одну снежную круговерть и в самом центре ее —

* Национальное китайское мясное блюдо, популярное в США.

652

маленький домишко, где я родился. Где мечтал стать музыкантом.

Сидя перед домом, где я появился на свет, остро ощущаю собственную, ни с чем не сравнимую уникальность. Мое место — место в оркестре, для которого никогда не создавалось симфоний. Все у меня — не в том ключе, не исключая и «Парсифаля». Ну, что касается «Парсифаля», это в общем ерунда, эпизод, однако есть в нем нечто знаменательное. Связующее воедино Америку, мою любовь к музыке, мое абсурдное одиночество...

Стою как-то на галерке в театре «Метрополитэн». Билетов не было, и отыскать себе место я смог только в проходе где-то на уровне третьего ряда. Виден был лишь малюсенький кусочек сцены, да и то если вовсю вытянуть шею. Зато музыку можно было слушать вдосталь — музыку вагнеровского «Парсифаля», с которым я к тому времени успел слегка познакомиться по пластинкам. Целые части его невыразимо скучны — скучнее, чем что-либо написанное в оперном жанре. Но встречаются в этой опере и поистине божественные места; и вот в ходе одного-то из таких божественных мест, когда я стоял, стиснутый со всех сторон, как сардина в банке, со мной приключилось непредвиденное: *у меня возникла эрекция.* Должно быть, женщину, к которой в силу описанных обстоятельств меня крепко прижало, тоже вдохновила неземная музыка Святого Грааля. Мы оба, притиснутые друг к другу, как сардины в банке, исходили пламенем желания. В антракте она вышла в фойе — судя по всему, хотела размять косточки. Я остался, где стоял, гадая, вернется ли она на прежнее место. С первыми тактами увертюры она показалась в дверях. И заняла прежнюю позицию с такой изумительной точностью, будто мы сто лет как женаты. Все последнее действие мы испытывали неизъяснимое блаженство. Ощущение прекрасное и возвышенное одновременно — пожалуй, более близкое к Боккаччо, нежели к Данте, но все равно возвышенное и прекрасное.

Сидя в сугробе напротив дома, где появился на свет, без труда воскрешаю в памяти этот случай. Отчего он так глубоко запал мне в голову? Не знаю; оттого, быть может, что есть в нем что-то и от фарса, и от пропасти, и от душераздирающего одиночества; от снега, от отсутствия красок, от недостатка музыки. С экстатических высот всегда быстро скатываешься. Начинаешь с божественного, а кончаешь темным переулком, из которого за милую душу улепетываешь.

Нарезаешь, например, железо в лавчонке Билла Вудроффа по субботам после обеда. Всего за полдоллара убиваешь на это нудное занятие полдня. Ничего себе рабо-

653

тенка! Потом все мы заходим к нему, рассаживаемся кто куда, поддаем. Когда смеркается, Билл Вудрофф достает бинокль и мы, все по очереди, глазеем на женщину, живущую через двор: она имеет обыкновение раздеваться, не опуская занавесок. Эта затея с биноклем всякий раз выводит из себя жену Билла. Желая с ним поквитаться, она

выходит в комнату в пеньюаре, в котором зияют огромные дыры. Вообще-то его жена была фригидна, но для нее, этакой сучки, было в кайф подойти к кому-нибудь из друзей мужа и заявить: «Потрогай-ка меня здесь; ну как, нравится?..» Билл Вудрофф, похоже, никак не реагировал. «Давай, давай, — бывало, скажет он, — пощупай ее, отведи душу. Она же все равно что льдышка». И вот таким манером обойдет она всех присутствующих и каждый не преминет приложиться к ее деликатному месту. Занятная парочка были эти двое. Порой могло показаться, что они глубоко привязаны друг к другу. И в то же время она постоянно ранила его, не позволяя к себе прикоснуться. «Мы с ней трахаемся не чаще раза в месяц, — рассказывал он друзьям, — и то если *повезет!»* Как-то сказал это прямо ей в лицо, не удержался. На нее, впрочем, это не особенно действовало. От таких вещей она умела смешочком отделываться, как от пустяковых несуразиц.

Будь она просто фригидна, это бы еще куда ни шло. Но она была еще чертовски жадна. Всегда доставала его по части денег. Постоянно проедала ему плешь по поводу каких-то вещей, которых они не могли себе позволить. Это порядком действовало ему на нервы, что нетрудно понять, поскольку он и сам был порядочный скупердяй. Как бы то ни было, однажды ему пришла на ум прекрасная мысль. «Итак, значит, денег тебе подавай? — спрашивает. — Ладно, выдам тебе, пожалуй, малую толику; но не раньше, чем сам получу удовольствие». Ему, бедняге, никогда не приходило в голову, что можно ведь и другую женщину поискать — притом такую, для которой трах сам по себе будет в радость.

Ну, сказано — сделано; и интересно, что всякий раз, как он совал ей в лапу какую-нибудь мелочь, она проявляла ни дать ни взять кроличью сноровку. Он просто диву давался. Никогда не подозревал, что *это* в ней заложено. И так, мало-помалу, начал прирабатывать, чтобы всегда иметь под рукой маленькую заначку, с помощью которой мог бы разохотить свою благоверную как настоящую нимфоманку. (Ни разу, этакий увалень, не додумался, что может вложить свои денежки в другую девчонку. Ни разу!)

Тем временем друзья и соседи Билла Вудроффа начали понемногу открывать для себя, что его жена — вовсе не

654

такая льдышка, какой казалась. Похоже, она по очереди переспала со всеми в округе. А почему не могла подарить того же собственному законному супругу за спасибо — никто понять не мог. Создавалось впечатление, что так она берет реванш. Так уж пошло-поехало с самого начала. И то обстоятельство, фригидна она или нет, не имело ровно никакого значения. Во всяком случае, когда наступала *его* очередь, тут уж она наверняка оказывалась фригидна. Не надоумь его кто-то из знакомых, она бы заставила его до гробовой доски платить за каждый трах.

Ну, он был крутой мужик, Билл Вудрофф. Спору нет, самый прижимистый ублюдок, какой когда-либо рождался на свет, но при надобности умел действовать круто. Прознав о том, что происходит, он и слова не проронил. Сделал вид, будто все в полном порядке. А однажды вечером, когда дело зашло слишком далеко, принялся терпеливо дожидаться, пока она вернется домой — случай необычный, ведь ему приходилось вставать спозаранку, а она заявлялась с первыми петухами. Так вот, дождался он своей благоверной и, когда она влетела со своим чириканьем, чуть-чуть на взводе и неприступная, как обычно, оборвал ее отрывистым: «Где ты была?» В ответ она понесла свое обычное ля-ля. «Вот что, — говорит. — Давай-ка раздевайся и в постель». Чего-чего, а этого у нее на уме не было. И по-своему, всякими экивоками, она дала ему понять, что не в настроении. «Ах, у тебя нет настроения, — протянул он. И добавил: — Что ж, тем лучше, потому что я собираюсь маленько тебя разогреть». Сгребает ее в охапку, привязывает к раме кровати и затем отправляется за бритвенным ремнем. По пути в ванную прихватывает на кухне баночку с горчицей. Взяв ремень, возвращается в спальню и тут задает ей по первое число. А потом втирает горчицу прямо в кровоточащие рубцы. «Надеюсь, на сегодня это тебя согреет, — добавляет он. И с этими словами заставляет ее, изогнувшись в три погибели, раздвинуть ноги. — Ну, — заключает он, не торопясь, — теперь пора расплатиться с тобой как обычно». Вынимает из кармана кредитку, сминает ее в комок и засовывает ей в это самое место... Так-то вышел из положения Билл Вудрофф — по зрелом размышлении, не худшим образом, учитывая, что немало времени пришлось ему проносить на лбу рога, которые наставила ему его жена Ядвига.

А для чего я все это рассказываю? Для того лишь, чтобы продемонстрировать то, о чем еще не было речи. А именно: ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК — ТОТ, КТО УКРОЩАЕТ РОМАНТИКА В СЕБЕ САМОМ.

655

Не забыть внести это в картотеку на букву Р (см. Родственники и т.д.).

А родственники-то тут при чем? спросите вы.

Пожалуй, не при чем. Разве что... Когда подходило время кому-нибудь из нас

навещать тетушку Милию в психушке, мать всегда заготавливала небольшой узелок с гостинцами, аккуратно обертывая салфеткой бутылочку и приговаривая: «Мили всегда любила глотнуть капельку кюммеля». А когда наступала очередь матери совершать этот невеселый вояж, спрашивала: «Ну как, Мили, понравился тебе кюммель?» Тетушка Мили недоумевающе качала головой: она в глаза, мол, не видела никакого кюммеля. «Ну, я всегда считала ее чокнутой, ведь я же посылала ей кюммель», — удовлетворенно заключала мать. Интересно, какой смысл имело вливать по каплям в горло тетушки Мили ликер, если бедняжка была настолько не в себе, что ей впору было глотать собственные экскременты?

Когда день бывал солнечный и мой приятель Стенли получал от своего дяди-гробовщика задание доставить на кладбище труп мертворожденного ребенка, мы садились на паром до Стейтен-Айленда и, едва в поле зрения попадала Статуя Свободы, — раз его за борт! А в пасмурные дни просто заезжали в другую часть города и спускали в канализацию. Для шнырявших в клоаке крыс такие дни. сулили целые пиршества. Пиршества хвостатых обитателей преддверия к подлунному миру. В те дни, помнится, за транспортировку одного мертворожденного давали по десять долларов; покончив с работой и подбив бабки, мы всегда оставались настолько в плюсе, что могли позволить себе роскошь запасти пару бутылок пива на утро. Ибо кто не знает, что от Katzenjammer* нет лучшего средства, нежели стаканчик вчерашнего пива?

Рассказываю о вещах, которые вначале приносили мне облегчение. Вначале; ибо мы пребываем на заре мироздания, в саду, отгороженном от всего окружающего. Небо расчерчено на квадраты, как песчаные дюны; к тому же над нами довлеет не одна небесная твердь, а неисчислимое множество; поверхностный слой любой планеты впечатан в роговицу глаза — вполне человеческого, только не мигающего, не моргающего. Вы намерены написать прекрасную книгу и в ней отразить все, что когда-либо причиняло вам боль или радость. Эта книга, когда она будет написана, получит название *«Введение в бессознательное»*. Вы переплетете ее в белую кожу, а название выгравирует не золотыми буквами на обложке. Эта книга явится историей ва-

* Похмелье *(нем.)*.

656

шей жизни без умолчаний и корректив. Всем безумно захочется прочесть ее: ведь в ней будет полная правда и ничего, кроме правды. От этой истории вы будете смеяться во сне, она может побудить вас разразиться слезами в бальном зале и вдруг осознать, что никто из находящихся вокруг вас не знает, какой вы гений. Как бы они все расхохотались и зарыдали, будь у них возможность прочесть то, что вами еще не написано: ведь каждое слово в ней исчерпывающе правдиво, а никто, кроме вас, еще не осмелился высказать эту исчерпывающую правду; и эта правдивая книга, заключенная в вашей черепной коробке, заставит людей смеяться и рыдать так, как им никогда еще не доводилось.

Вначале это приносит облегчение: мысль о правдивой книге, которой никто еще не прочел, книге, которую вы носите с собой в голове, книге, переплетенной в белую кожу с тисненным золотом названием. В этой книге много несказанно дорогих вам стихов. Из нее некогда выросли Библия, Коран, все священные книги Востока. Все написанные на заре мироздания.

А теперь — чуть подробнее о их содержательной стороне, о творческой истории моей книги, генезис которой я собираюсь изложить...

Открыв ее, вы сразу же заметите, что иллюстрации к ней носят несколько питуитарный характер. Обнаружите, что автор целиком пренебрег оптической иллюзией в пользу постшишковидной перспективы. На фронтисписе — скорее всего автопортрет автора (дадим ему имя Праксус): он стоит в колготках на границе срединного участка мозга. Он всегда носит очки с толстыми полукруглыми стеклами. В обычной жизни автор страдает нормальным зрением, но на фронтисписе он сознательно близорук: ведь его задача — уловить непосредственное течение плазмы сновидения. С помощью приемов сновидческой техники он последовательно отрешается от многих геологических пластов своего сознания, дабы встретиться один на один с собственным потаенным я — нестратифицированной субстанцией полужидкого свойства. Лишь аморфная сторона его натуры обладает значимостью. Отрешаясь от видимого я, он проникает в глубины, лежащие по ту сторону его шизофренических моделей поведения. С наслаждением погружаясь все глубже и глубже в амниотическую жидкость, сливаясь воедино со своим пра-я.

Но что означает, спросите вы, эта птица в его левой руке?

Вкратце вот что: это птица чисто метафизического свойства — дронт из породы живших в четвертичный пе-

657

риод, анатомия которого включает узкое позвоночное отверстие, сквозь которое просачиваются его наставления и проповеди о природе всего на свете. Как физическая

особь он давно исчез; как нечто идеальное — сохраняет свою вещественность, но лишь находясь в состоянии равновесия. Немцы обессмертили его в таком предмете материальной культуры, как часы с кукушкой; в Сиаме его изображение встречается на монетах, относящихся к двадцать третьей династии. Крылья у него, как вы можете заметить, почти атрофировались: это потому, что в состоянии мнимого оцепенения, обусловленного сном, ему нет'необходимости летать; он нуждается в другом — в способности вообразить, что летает. Боковые стенки клюва отчасти утратили свою симметричность — дело в том, что изначальные шаровые опоры он утратил, пролетая над пустыней Гоби. Птица безусловно целомудренная и на редкость чистоплотная. Каждый раз, готовясь претерпеть метаморфозу, она откладывает яйцо в крапинку величиной с орех. В состоянии голода питается абсолютными истинами, но никогда — падалью. Принадлежит к разряду перелетных и, невзирая на свой рудиментарный летательный аппарат, без устали покрывает огромные мысленные пространства.

Прояснив эти детали, мы можем перейти к другому. Например, к странному предмету, болтающемуся у автора на левом локте. Со всем уважением вынужден констатировать, что это объяснить несколько сложнее, поскольку речь идет об образе большой имплицитной красоты, гнездящемся в тканях затылочного участка мозга. Во-первых, хоть этот предмет и соседствует с локтем, внимательно вглядевшись, вы заметите, что он никоим образом с локтя не свешивается. Предмет асимптотально лежит на сгибе кисти и предплечья — иными словами, воплощает скорее символ, нежели точную идейную концепцию. Числа на его нижней чаше соответствуют неким руническим инструментам, положенным в основу такого полезного прибора, как метроним. Эти числа представляют собой базис любой музыкальной композиции, подобно неощутимым факторам в математике. Они призваны вернуть ум к исконным органическим модальностям, дабы в форме и структуре неуклонно присутствовала элегантная логическая последовательность.

Остановившись на этом, позвольте мне добавить, что конической формы предмет на заднем плане с необходимостью допускает лишь один вариант интерпретации: лень. Не натуральную, обычную лень, каковая всесторонне рассмотрена в учении Полена, но некое подобие спазматической флегмы, инициируемой свинцовыми парами наслаж-
658

дения. Едва ли есть необходимость конкретизировать, что нимб, сияющий над этим коническим предметом, — отнюдь не метательный диск (и даже не спасательный крут), но явление чисто эпистемологического характера — иными словами, фантазм, нашедший себе прибежище на меланхолических кольцах Сатурна.

А теперь, дорогой читатель, я вижу, вам не терпится задать мне вопрос прежде, чем я уберу этот портрет с глаз долой, сложив его в свою картотеку на букву П (см. *Петуния и т.д.).* Быть может, перед тем как мы отправимся бросить последний взгляд на лицо нашего дорогого покойника, кто-нибудь захочет приобщить нас к своему свидетельству? Что? Кто-то что-то сказал или это скрипит чей-то башмак? А, меня спрашивают, не гомункулус ли — эта легкая тень, маячащая на линии горизонта. Итак, брат Итон, вас интересует, является ли эта легкая тень на линии горизонта гомункулусом?

Братец Итон не знает, что ответить. Наконец выдавливает из себя: может, да, а может, и нет.

Итак, вы правы и неправы, брат Итон. Неправы, ибо закон залога не допускает того, что называется «уйти в воду»; неправы, ибо уравнение отмечено звездочкой, а фигурирующая в нем стрелка ясно направлена в сторону бесконечности; однако вы и правы, ибо все неверное так или иначе связано с неопределенностью, а для того, чтобы раз и навсегда рассчитаться с мертвой материей, решительно недостаточно клизмы. Брат Итон, то, что вы видите на линии горизонта, — не гомункулус и не дамская шляпка с булавкой. Это тень Праксуса. По мере того, как прибывает Праксус, она в геометрической прогрессии уменьшается. Возвышаясь над третьим лунным сектором, Праксус все более и более активно сбрасывает с себя земной образ. Мало-помалу он освобождается от зеркала субстанциальности. Когда развеется последняя иллюзия, Праксус перестанет отбрасывать тень. Он застынет на сорок девятой параллели ненаписанной эклоги и дотла сгорит в холодном огне. Тогда все уравняется одно с другим, и не останется места паранойе. Тело сбросит свой кожный покров, и части человеческого организма гордо воспарят в свете дня. А если они пересорятся между собой, — в этом случае вам придется перестроить их соответственно их астрологической иерархии. Над потрохами брезжит рассвет. Скоро отпадет потребность и в логике, и в печеночной мистике. Грядут новое небо и новая земля. Человеку дается отпущение грехов. Внести в *картотеку на букву О (см. Обес-смысливание и т.д.).*
659

МЕГАЛОМАНИЯ

Представь себе, что у тебя нет ничего кроме твоего жребия. И сидишь ты у входа в материнское лоно, то ли торжествуя над временем, то ли ожидая, что оно восторжествует над тобою. Сидишь, вознося молитву о том, что тебе абсолютно чуждо. И пребудет чуждо. Навсегда.

Всего красивее город, когда он объят горячкой сладостной смерти. Так долго бросавший вызов природе гулом своих электростанций, зловещим рокотом холодильных установок, беззвучностью пробковых стен небоскребов, в отчаянии громоздит он все новые стены, растворяясь в бездушном сиянии покрытых лаком ногтей, тревожа небесную гладь дикарской пестротой плюмажей. В его замогильных глубинах зацветают бессмертники, присланные по телеграфу. В сейфах подвалов, прорытых на дне речном, спят золотые слитки. Вихри бескрайних пустынь, отливающих мертвым слюдяным блеском, разносят пронзительный визг телефонов.

Когда спускается вечер и смерть играет костлявыми пальцами по позвоночным хрящам, толпы снующих, бегущих, толкающихся горожан становятся гуще. Грудь к груди, локоть к локтю, сардину к сардине сгоняет их в стадо неистребимое одиночество. Когда спускается вечер и бесконечные толпы орошает'сухой дождь электричества, весь вздыбленный город, привстав на задние лапы, сокрушает врата. В лихорадочной спешке обезличенный горожанин распадается на фрагменты; оказавшись один на один с собственным я, он бессильно барахтается в луже своего одиночества.

В этом копошащемся сумбуре чем дольше, тем явственнее различаешь контур одного имени. Печать одного присутствия. Пусть пожимают плечами, пусть делают вид, что оно забыто — печать этого имени в смятенном сознании человеческом столь же глубока, сколь велико расстояние от земли до самой далёкой звезды. Рождая неизбывное одиночество, не ведая границ во времени и пространстве, имя это, делаясь все необъятнее, в конце концов вырастает до того, чем оно всегда было и всегда пребудет:

Богом. Бог молчаливо присутствует в бессмысленной сутолоке людского стада, в его судорожной гонке, в его паническом бегстве. Бог, возгорающийся как звезда на горизонте человеческого сознания: бог бизонов, бог оленей, бог двуногих... Одним словом, *Бог.*

660

Нигде так не значим Бог, как в толпе не ведающих о Нем. Нигде не значим Он так, как в суматохе раннего вечера, когда взбудораженный щекочущей лаской смерти позвоночник диктует мириадам нервных клеток песнь любви, а ей из каждого магазина на Бродвее вторит радио с его микрофонами, рупорами, динамиками, проводниками. Нигде не чувствуешь одиночества острее, нежели в густой, живущей своими заботами толпе, где бесприютного горожанина со всех сторон обступают творения его не знающих отдыха рук, а утративший путеводную нить искатель вот-вот совсем растворится в аморфном самоощущении людского стада. Из беспредельного отчаяния тщетно взыскующих любви одиночек и ткется последняя Божья паутина — финальная цитадель, которую Бог возвел вслед за лабиринтом. Из этого последнего прибежища путь один— на небеса. Отсюда, прочерчивая в прозрачном эфире невидимые траектории, уносишься домой.

Пресытясь своей подпольной жизнью, червь прилаживает себе крылья. Не наделенный ни зрением, ни слухом, ни вкусом, ни обонянием, взмывает в неизвестность. Прочь! Прочь! Прочь из этого мира! На Сатурн, на Нептун, на Вегу — неважно, куда и зачем; только бы дальше, как можно дальше от земли! Но там, в безоблачной синеве, этот червь-ангел с хлопушкой, торчащей из заднего прохода, моментально теряет ориентацию. Начинает пить и есть вверх ногами, спать вверх ногами, спариваться вверх ногами. На минимальной скорости его тело невесомее воздуха; на максимальной единственный итог — мгновенное самовозгорание мечты. Один в безоблачной синеве он мчится на всех парах к Богу. Последний взмах крыльев! Последний сон перед тем, как рождаешься.

Где ныне тот, кто от безбрежных кошмаров взмывал в горние выси? Кто растерянно сник, вновь ощутив под ногами земную твердь, сник с сожженными легкими, ножом, зажатым в зубах, и глазами, вываливающимися из орбит? Сотрясаемый скорбью и болью, бессильно взирая на коллапс подлунного мира? До чего героично с безумным, блуждающим взглядом мнить себя его безраздельным властителем! Как кроваво и огненосно царствие человеческое! ЧЕЛОВЕК! Вглядись: инвалид, проезжающий по улице на низенькой тележке, безногий, безглазый; что он наигрывает н,а маленькой флейте? Катясь по асфальту на колесиках, он играет «Песнь *любви».* А в соседней кофейне— еще один; он застыл неподвижно, наедине со своей грезой и револьвером у сердца; этот человек болен любовью. (Другие уже разошлись по домам; в кофейне за столиком еще

лишь скелет, напяливший шляпу.) Безутешный медлит в своем одиночестве. Револьвер бездействует. Рядом с ним

661

собака и кость на полу. Но собаке нет дела до кости: она одинока. А солнце, врываясь сквозь шторы, зловеще играет на бледных щеках безутешного; солнце, гниющее в небе с насмешливым блеском.

Как прекрасен закат, надвигающаяся зима жизни; гниющее солнце клонится за горизонт, а проворные ангелы с хлопушками, торчащими в заднем проходе, резво взмывают в небесную высь! Тихо, неспешно пройдемся по улицам. Двери гимназий открыты; в них корпеют над партами люди новой породы — люди из труб и цилиндров; каждый шаг их послушен таблице, чертежу, диаграмме. У них — ни глаз, ни ушей, ни носа, ни рта; в суставах — подшипники, коньки на ногах. Они никогда не состарятся; ведь каждый орган легко заменим и фабричной штамповки. Революции и бунты им неведомы. А как нарядны, как многолюдны улицы! Вот у двери в подвал, размахивая топором, вытянулся Джек-Потрошитель; вот на плаху — утешить казнимого — лезет священнослужитель (а ширинку в его сутане прорвал взбунтовавшийся член); проходят чиновники, изнемогая под бременем толстых портфелей; надрывно ревут клаксоны. Не в силах нарадоваться новообретенной свободой, люди теряют голову. Чествуя и обличая кого-то, они без устали митингуют; безрукие роняют слова в восковые цилиндры; бессонные фабрики гудят день и ночь, выбрасывая с конвейеров все больше кренделей и сосисок, все больше пуговиц, больше штыков, кокаина, опиума, все больше топоров, острых, как бритва, все больше пистолетов с автоматическим спуском.

' Нет у меня на памяти более прекрасного дня во всем величественном двадцатом веке, нежели этот: гниющее солнце прячется за горизонт, а инвалид на низенькой тележке играет на маленькой флейте «Песнь *любви».* День этот светит в моей душе таким трагическим блеском, что, будь я по природе и самым большим из земных пессимистов, и то не спешил бы покинуть эту планету.

Какое великолепное зрелище — этот последний взлет в небо из святой цитадели Господней! Сверху земля кажется юной и нежной. Освобожденная от людей; стряхнувшая с себя людей, как изношенную одежду; избыв ненасытных искателей Бога дав сгинуть своему блудливому племени, матерь всего живого вновь плавно и горделиво свершает движение в пространстве. Земля — ведь она не ведает ни Бога, ни милосердия, ни любви. Она — лоно, животворящее и обращающее в ничто. А человек — не дитя земное, он — дитя Божье. Так пусть он и соединяется с Богом:

нагой, надломленный, полный пороков, изверившийся и погрязший в таком одиночестве, на фоне которого самая страшная пропасть не глубже придорожной ямы.

662

Сегодня, когда путь мой лежит на вершину горы, Техника и Прогресс еще могут быть мне во благо. Завтра все столицы мира падут. И каждый цивилизованный человек сгинет, сгинет от яда и стали. Ныне еще можно купаться в роскоши, вслушиваясь в дивные звуки Божьих любовных песен. Ныне еще звучит тихая музыка, сверкает мечта, трепещет галлюцинация. *Истекают последние пять минут!* Звучат громовые аккорды фуги, для которой ее создатель не написал коды. На лету затлевает слетевшая со смычка нота, как одевается плесенью туша, забытая на крюке мясником. Божественный мотив заглушается смертным хрипом и смрадом вселенской гангрены. Едва ощутив прикосновение смерти, весь организм начинает вибрировать в невыразимом экстазе. А за этим приливом невиданных сил наступает агония: изнемогая от хватки костлявой-руки, позвоночный столб уже не различает, тоскует ли чрево по хлебу или по плоти. Все втягивает в себя гигантский водоворот; все тонет в бездонном омуте. Необузданный, невежественный дикарь, едва разогнувшись начавший бег по спирали в погоне за собственным хвостом, неотвратимо близится к роковой середине и вдруг начинает вращаться вокруг самого себя с такой невообразимой быстротой, что каждая частица его души лучится непереносимым, нечеловеческим светом; его, обезумевшего и дрожащего, объятого лихорадкой самосохранения и самопожирания, распинает на центрифуге ярости и шума, прежде Чем он падает в пылающее жерло. Падает неудержимо, как лопнувший воздушный шар, и все, чем он был: туловище, грудная клетка, ребра, кожа, кровь, мышцы, мозг и сердце — становится ужином неведомого каннибала.

Таков этот город; такова эта музыка. Из маленьких черных ящичков течет бесконечная струйка любовной музыки, в шуме которой слышится плач аллигаторов. Все восходят на вершину горы. Стройными рядами. С турбин неземной электростанции низвергаются потоки музыки, которой затопляет улицы Бог. Ведь это Бог поворачивает ручку радиоприемников каждый вечер, когда мы расходимся с рабочих мест. Кому-то он уделяет черствую корку хлеба, кому-то — роллс-ройс. Распихав черствый хлеб по мусорным ящикам, все мы движемся к двери, над которой горит слово «выход». Что же удерживает наши ноги в едином ритме по пути к сияющей вершине горы? *«Песнь*

любви», некогда услышанная в темном хлеву тремя мудрыми сынами Востока. Безногий, безглазый инвалид, проезжая на низенькой тележке по улицам священного города, наигрывал ее мотив на маленькой флейте. Ныне эта песнь струится

663

из миллионов черных ящичков так согласованно, так синхронно, что услышать ее могут даже наши смуглые братья на Филиппинах. Именно эта прекрасная песня вдохновляет нас на строительство самых высоких небоскребов, на спуск на воду самых больших военных кораблей, на перекрытие бетоном плотин и дамб самых бурных рек. Именно она дает нам отвагу одним нажатием кнопки уничтожать миллионы людей. Именно она побуждает нас бесконечно опустошать недра земные.

Восходя на вершину горы, молча обвожу взглядом строгие контуры ваших зданий, которым завтра суждено пасть в огне и дыму. Вглядываюсь в ваши программы мира, которые превратятся в смертоносный свист пуль. Вглядываюсь в ваши сверкающие витрины, полные хитроумных технических изобретений, в которых завтра не будет нужды. Вглядываюсь в ваши усталые лица,, испещренные сеткой морщин, ваши согбенные плечи, ваши впалые животы. Разглядываю каждого в отдельности и всех вас вместе и — как вы смердите, все вы! Смердите, как Бог и Его всепрощающие любовь и мудрость. Бог-каннибал! Бог-акула, на серой шкуре которой нашли себе прибежище паразиты!

Не забудем: именно Бог включает по вечерам радио. Именно Бог застит наши глаза неистовым брезжущим светом. Скоро мы соединимся с Ним, сольемся на Его груди в блаженстве и вечности, правые перед Словом, равные перед Законом. Это пресуществление свершится через любовь — любовь столь великую и всепоглощающую, что рядом с нею шум самой мощной динамо-машины в мире не громче писка попавшего в сетку москита.

А теперь мне пора оставить вас и вашу священную цитадель. Я намерен подняться на вершину горы и переждать там еще какие-нибудь десять тысяч лет, пока вы еще взыскуете света. Мне хочется, чтобы хотя бы на этот вечер вы притушили блеск ваших огней и приглушили звук громкоговорителей. Сегодня вечером мне хочется поразмышлять в тишине и покое. Хочется ненадолго забыть, как вы жужжите в вашем пятнадцатицентовом улье.

Завтра вы вольны довершать свою работу по уничтожению вашего мира. Завтра, может статься, вы будете петь в раю над дымящимися руинами ваших мировых столиц. Но сегодня мне хочется поразмышлять об одном человеке. Об одиноком страннике. О человеке без имени и отчизны. О человеке, которого я уважаю, ибо в нем нет абсолютно ничего общего с вами: о СЕБЕ. Сегодня темой моей медитации стану я сам.

Лувесьен—Клиши—Вилла Се ра, 1934—1935

664

Электронная версия книги: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yankoslava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html || Номера страниц - внизу
update 06.05.07

МОЯ ЖИЗНЬ И МОЯ ЭПОХА (My Life and Times)

автобиография

НЫНЕ

Тому, кто живет разумом, жизнь видится комедией. Для тех, кто живет чувствами или подвержен эмоциям, жизнь — это трагедия.

Начну с того, что большую часть своего времени провожу совсем не так, как хотелось бы. Все потому, что как-никак у меня есть совесть — обстоятельство, о котором я сожалею. Я человек, считающийся со своими обязательствами и обязанностями, а ведь это те вещи, против которых я восставал большую часть своей жизни. Мне хочется сказать: е... я все это, е... я вас всех, вон из моей жизни. Это то, как я чувствую. Повторяю, мне хотелось бы, сколь это возможно, ничего не делать, и отнюдь не в фигуральном смысле. Вести почти растительную жизнь. Конечно, это не в буквальном смысле прозябание, но для меня это означает бездеятельность, игнорирование того, что люди считают важным. Последние двадцать лет я придаю особое значение переходу от действия к созерцанию. Мне гораздо интереснее созерцать, чем что-то делать. Нет ничего такого, чего я действительно хочу достичь, ничто не представляет для меня истинной ценности. Нет ничего настолько важного, чтобы это необходимо было делать, и все же каждый день я заставляю себя тянуть эту лямку, навязанную мне другими. Существует так много проектов. Каждый считает, что обязан знать, чем я занят, что за жизнь я веду, что это значит и т. д. В определенном смысле я чувствую крайнее отвращение, заново перемалывая свою жизнь или планы на будущее.

Я не хочу строить никаких планов, у меня нет конкретных планов на будущее. Каждый день, просыпаясь, я хочу сказать: “Le bel aujourd'hui”*, — как говорят французы, и к этому нечего добавить. Я хочу прожить день по

* Прекрасный день (фр.).

667

тому образцу, какой мне нравится, а никакого образца у меня нет. Я достиг той удивительной, восхитительной стадии в своем развитии, на которой в каком бы то ни было образе жизни попросту нет необходимости. Но на этом все и кончается. Прежде всего, меня слишком хорошо знают:

моего внимания домогаются, и мои друзья часто превращаются в моих злейших врагов. Игнорировать их я не могу и даже не пытаюсь. Фактически выбора не остается. Мы привыкли считать, что у нас есть альтернатива, но ваш темперамент, характер, и предыдущий образ жизни — все, что вы делали в своей жизни — все это диктует ваши поступки, хотите вы того или нет.

Таким образом, в известной мере, я подчас ощущаю себя своей собственной жертвой. Создал произведение, которое многие считают незаурядным, и вот за него и расплачиваюсь. Обо мне говорят: “О, должно быть, сейчас он хорошо устроился. У него есть деньги, красивый дом, бассейн, вокруг всегда девочки”. Ну, это же иллюзия.

Готов признать: жизнь моя и впрямь ничуть не скучна. Мимо меня все время проходит столько людей, я имею в виду друзей и приятелей друзей, и женщин, что я никогда не страдаю от скуки... Иногда мне хочется побездельничать, чтобы ничего не делать и чтобы время тяжелым грузом легло мне на плечи. Но я проклятый, может быть, блаженный, одним словом, человек с вечным двигателем в голове. Колесики никогда не останавливаются. По ночам я по два-три раза вскакиваю, чтобы записать, что я хочу сделать завтра. А завтра я ничего не хочу делать. Но что-нибудь сделаю. Займусь поисками книги, которую давно хотел перечитать. Мой мозг постоянно работает.

В известном смысле, я живу в непрестанном противоречии с самим собой. Хотя и не слишком, я бы сказал, для меня обременительном. Я живу в противоречии, когда говорю, что все эти вещи не имеют значения, — и все же придаю им значимость Это не пустой треп. Все, что я намереваюсь сделать, должно быть выполнено. (Это во мне говорят немецкие гены, которые я ненавижу.) И я это делаю. Выполняю эти приказы, эти импульсы. Я всегда им поддаюсь, я очень ко всему восприимчив. Со мной беседует друг, потом он уходит, невольно заронив мне в голову кое-какие мысли. После его ухода я

записываю, что он сейчас сказал по поводу того или другого, выясняю об этом еще что-нибудь! Понимаете? Такова моя натура!

Сейчас я совершенно не стеснен в деньгах. Наверное, я мог бы прожить года два на свои сбережения — я имею в виду, если деньги совсем перестанут поступать, если больше ничего не заработаю. Тем не менее, думаю, что

668

всегда получу авторский гонорар со своих книг, которого хватит на жизнь. Но, случись такая оказия, я не смог бы жить так, как живу сейчас. Впрочем, и это меня не беспокоит. Теперешний образ жизни на самом деле меня не устраивает. Я всегда жил очень скромно: я не стремлюсь к роскоши. Мне не нравится держать у себя прислугу. Я привык выполнять массу работы по дому. Какое-то время я полностью вел хозяйство. Подметал полы, мыл посуду, • готовил пищу. Мне больше не. хочется этим заниматься, но я умею это делать. Я привык к этому в Париже, где мне приходилось все делать самому. Обычно готовил друзьям какие-нибудь изысканные блюда за такой промежуток времени, что вы никогда не поверите, будто такое возможно. Не знаю, как мне это удавалось. Время от времени я по-прежнему готовлю себе сам.

Идеальный для меня день выглядел бы так: прежде всего мне никто не мешает, никаких телефонных звонков, гостей и важных писем, требующих срочного ответа. День, посвященный самому себе. Ну, тогда я мог решить написать кому-нибудь добровольно, это мое любимое занятие. Я бы встал очень поздно; не раньше, чем почувствовал бы себя полным сил и энергии. Я бы не считался со временем. Который бы час дня ни был — черт с ним! Один из вопросов, докучающих мне больше всего: который час? Вовремя поесть, вовремя сделать то, другое — нет, это я ненавижу. Надо сказать, когда у меня хорошее настроение, Я мог бы даже написать что-то помимо писем, потому что существует много такого, о чем мне все же хотелось бы написать. Я не говорю о большой книге.

Но первым делом я бы всласть поплавал. А потом мне хотелось бы какое-то время в течение дня, предпочтительно после полудня, провести в компании близкого друга и хорошего игрока в пинг-понг, чтобы пару часов поиграть. Насладился бы плаванием, пинг-понгом. И если возможно, отведал бы французской кухни. Затем с удовольствием посмотрел бы хороший фильм, что мне редко удается. Если выбранный фильм мне не нравится, я могу наудачу пойти посмотреть японский. Из десяти — девять мне нравятся. Но если иду на фильм, рекламируемый как сногсшибательная удача, то девять раз из десяти ухожу через десять-пятнадцать минут. Мне редко попадаются первоклассные фильмы. (Удивительное исключение — недавно увиденный мной “Сатирикон” Феллини.) Наконец почитал бы. Всегда читаю перед сном и неизменно у кровати лежат шесть-восемь книг. Читаю то одну, то другую.

Я всегда счастлив видеть у себя женщин, и, конечно, они бывают у меня в гостях. По этой части мне есть что

669

порассказать. Для меня это не самое главное — трахнуться. Мне гораздо интереснее хорошо провести время с женщиной и, если появляется повод лечь в постель, прекрасно, но если — нет, тоже хорошо. Правда, это больше не является sine qua non*. Окружающих меня женщин я оцениваю так же, как вы оценили бы цветы. Они что-то вносят в атмосферу; делают жизнь более интересной. Я всегда предпочитал женское общество мужскому. Но я хороший друг и у меня очень немного близких друзей среди мужчин. Я легко схожусь с людьми, но больше не стремлюсь обзаводиться друзьями. Моя жизнь наполнена друзьями, но они, так сказать, скорее мешают моим успехам, чем способствуют. Это жутко трудно выразить. Это не совсем то, что я имею в виду. Я многим обязан друзьям, но стоит мне заняться тем, чем я хочу, — и именно друзья мешают мне в этом больше, чем недруги. Они отнимают у меня много времени. Не поймите меня превратно. Я ценю дружбу. И отнюдь не мизантроп и, думаю, что лоялен.

Но поскольку я привлекаю внимание стольких людей, они порой досаждают мне, впиваются в меня как клещи. Когда я слышу звонок в дверь, господи! Помню, читал о Д.Г. Лоуренсе, что он обычно прятался в кухне, где угодно, лишь бы его не настигли. “Не говорите, что я дома, — повторяю я без конца. — Скажите, я уехал далеко”.. Не думаю, что такое отношение вызвано возрастом, однако этот фактор не обойдешь. Всю мою жизнь во мне жил невроз страха, совсем как по части телефона — еще со времен работы в “Вестерн Юнион”, когда на столе у меня стояло три аппарата и я пытался разговаривать с тремя корреспондентами одновременно. Что же, посмотреть на меня люди приходят всю

жизнь — в основном незнакомые, которых я не приглашал. К этому можно относиться хорошо, плохо или безразлично: важнее другое: как этим всем управлять? Это — за пределами человеческих сил. Общаться я люблю со своими настоящими друзьями. Порой впускаю к себе незнакомца и он оказывается замечательным человеком. Но это не означает, что я хочу еще раз увидеться с ним. Одной встречи достаточно.

В начале жизни узы дружбы крепки; вы стараетесь решить проблемы друг друга. Что ж, у меня больше нет такой необходимости. Прошло много лет с тех пор, как она у меня возникла.

Есть у меня один очень близкий друг, с которым мы часто видимся. Ему ничего от меня не надо. Его имя — Джо Грей. Я встретился с ним где-то десять лет назад на

* Непременным условием (лат.)

670

одной вечеринке в доме Берни Вульфа. Того самого Берни, который написал “Настоящий блюз”. Вошел Джо, и мы разговорились. Мы проболтали, всего несколько минут, и вот Джо говорит: “Мы выросли в одном районе в Бруклине”. А я ответил: “Так это ты тогда был драчуном?” Видите ли, у него именно такой вид? Мы заговорили о боксе и борцах. Это нас сблизило. Затем он перешел на книги. Рассказал мне обо всем, что читал, и это было великолепно! Как я понял, Байрон был одним из его фаворитов. Он любит Китса и Шелли, но особенно — Байрона и может подробно его цитировать. Когда я переживал один из периодов любовного томления — порядком затянувшийся, — Джо пришел ко мне с маленькими обрывками бумаги, сплошь исписанными цитатами из Байрона. “Думаешь, как ты разочарован? Посмотри, что он сказал!”

Он актер и каскадер — довольно известный среди голливудских киношников. Он абсолютно естественен и никогда ни о ком не говорил гадостей. Однако как-то вечером, в одном из интервью, он, подумать только, взял и играючи прошелся по моим литературным произведениям. Понимаете, что я имею в виду — играючи? Это не его вина. Я хотел, чтобы он был просто самим собой, говорил на своем собственном, очень специфичном жаргоне. У него свой особый, богатый идиомами язык. Он также умеет слушать. Схватывает то, что вы говорите, даже если это выше его понимания. Как-то вечером он пригласил девушку, с которой познакомился на студии. Думаю, американку японского происхождения. Он говорил мне, что она прехорошенькая. Однако рискованно полагаться на его мнение. Первым делом он обращает внимание на женские ножки — он к ним неравнодушен. Затем смотрит на грудь. Грудь должна быть большой. Подозреваю, что на лицо он обращает внимание в последнюю очередь.

Недавно, где-то в прошлом году, я стал снова интересоваться музыкой, в особенности фортепьянной; когда-то давно я сам частенько играл. Мне страшно повезло, что я подружился с Якобом Гимпелом, концертирующим пианистом. Сейчас я два раза в неделю хожу к нему домой, чтобы поприсутствовать на его уроках по мастерству. Должен сказать, что в последние годы один из сильнейших источников вдохновения для меня — посещение этих занятий. Это раскрывает мне весь диапазон новых направлений. Видите ли, большинство его учеников — превосходные пианисты. Каждый исполняет заранее условленное произведение. После первого прослушивания он заставляет их сыграть его еще раз, останавливая и поправляя, точно указывая на ошибки и просчеты в интерпретации. Должен

671

подчеркнуть это слово “интерпретация”; ведь именно это слово интерпретация — одно из самых, значимых для меня. Рассмотрим область астрологии. Существуют астрологи и звездочеты. Однако интересны лишь те, кто обладает даром интерпретации. Научиться составлять гороскоп может любой, но необходимо что-то еще, чтобы дать широкое истолкование человеческого характера и судьбы. Ну, то же самое в музыке, критике, литературе, живописи. Каждый раз на этих занятиях по мастерству я узнаю что-то новое об искусстве интерпретации.

Всерьез я уже не играю на фортепьяно. Время от времени сажусь за него и дурачусь — имитирую сценическую манеру исполнения какого-нибудь пианиста, делаю вид, что играю. Конечно, я улавливаю все фальшивые ноты. Никогда не пытался играть серьезно: это требует слишком больших усилий. Мне, как пианисту, недостает самого важного — таланта. Вот почему я от этого отказался. Я не могу импровизировать и не могу интерпретировать. Умение сыграть сонату Бетховена для меня ничего не значит. Смог бы я когда-нибудь научиться играть ее как мистер Гимпел или его ученики? Никогда, никогда в жизни. Смог бы я научиться играть ее сносно? Возможно. Если не можешь

делать это хорошо, оно не приносит радости. У меня слишком тренированный слух, чтобы удовлетвориться посредственным исполнением.

Все требует времени и дисциплины. Вы должны систематически практиковаться, иначе потеряете свои навыки. Необходимо этим делом жить и делать его каждый день; вот одна из причин, почему столь непостижим такой человек, как Пикассо. Он никогда не утрачивает своей самобытности, ибо постоянно работает. Он больше даже над этим не задумывается. Самобытность уже просто передалась его рукам. Он берет кисть, и она сама подсказывает ему, что делать, по крайней мере, мне так кажется.

Должно быть, в моей натуре есть нечто извращенное. Я имею в виду: меня непрестанно подмывает стать полной противоположностью тому, чем я .являюсь, и одновременно — если уж быть до конца честным и откровенным — меня вполне удовлетворяет, что я таков, каков есть. Мне не так уж хочется меняться. Вот оно, страшное противоречие. Признаюсь в этом безо всякого стыда. Подчеркиваю несопоставимость между “быть” и “делать”, ибо это не просто мой персональный конфликт: это конфликт современного мира. Мы достигли такой стадии, с которой можем критически взглянуть на нашу деятельность (отнюдь не на наше творчество) и признать: она деструктивна. Она под-

672

рывает наше бытие. Бессмысленное копошение, жужжание рабочих пчел в улье — вот чего я не могу принять.

Должен еще кое-что добавить. Всегда есть определенная сторона моей жизни, которую я храню в тайне, — даже от своих ближайших друзей. Об этой потаенной стороне жизни я никогда не пишу, а между тем она является очень важной частью меня. (Есть один небольшой сектор жизни, который постоянно уменьшается в размере, и эта отдаленная часть, эта область души, может быть, самая важная, поддерживает нас, позволяя пройти через те испытания, что подбрасывает жизнь.)

Я — человек, который постоянно влюбляется. Мне говорят, что я неизлечимый романтик. Наверное, так и есть. Во всяком случае, я благодарен тем силам, которые способствуют тому, что я таков. Это заставляет меня печалиться и радоваться; мне бы не хотелось чувствовать иначе. Люди лучше работают, лучше творят, когда они влюблены. Ибо это правда: если ты — человек творческий, тебе приходится много работать. Я часто думаю о Ветхом Завете — как это Бог за шесть дней сотворил мир, затем счел, что он хорош, и на том остановился. Надо думать. Он остался доволен своим творением.

Но для меня эта картина сотворения мира неточна, поскольку процесс творчества непрерывен; однажды вступив на этот путь, становишься неотъемлемой частью собственного творения и уже не можешь остановиться. Все более или менее осведомленные и сообразительные люди понимают, что мы должны играть в жизни какую-то роль. Я не говорю, что мы *выбираем* себе роль; возможно, нам ее навязывают. Но мы действительно убеждаемся, что играем роль. Люди часто говорят: “О, я могу сделать то или мог — другое”, — но это неправда. Выбора нет. Ты таков, каков есть, и таковым останешься. Но обязанность — играть роль (неважно, скромная она или значительная) — придает силу вашему “я”, придает вашей жизни смысл. Вы состоялись как личность, если играете свою роль по мере способностей. Трагедия нашего общества состоит в том, что люди не понимают своей роли, не осознают ее. Их стоит пожалеть.

В каждом интервью меня обязательно спрашивают, как случилось, что я стал писателем. В том, как я на это отвечаю, есть своя доля правды, но не более того: остальное мне неведомо. Я объясняю, что пытался найти себя в чем-то еще, но потерпел неудачу, почему бы не испытать себя на писательском поприще? Это неполный ответ, и тем не менее он правдив. Дело в том, что я боялся стать писателем. Не думал, что хватит способностей — слишком уж

673

капитальная задача. Кто я такой, чтобы заявить: я — писатель? Я имею в виду: писатель с большой буквы — Достоевский, Джойс, Лоуренс и т.д. Так что я оставил за собой эту задачу.

Каждый день люди подавляют в себе инстинкты, желания, порывы, интуицию. Нужно выбраться из е... ловушки, в которую попадаешь, и делать то, что хочешь. Но мы говорим себе “нет”, у меня жена и дети, об этом лучше не думать. Вот каким образом мы каждый день совершаем самоубийство. Было бы лучше, если бы человек занимался тем, что ему нравится, и терпел неудачу, чем становился преуспевающим ничтожеством. Разве не так?

Я считаю, что существование дикого зверя — преследуемого охотником, испытывающего кучу разных страхов — предпочтительнее существованию коммивояжера с портфелем. Ведь это ваша собственная жизнь, *ваша* нищета, ваше несчастье. Вы не перестаете быть себе хозяином. В то время как существование коммивояжера — сплошная шизофрения: с одной стороны, он муж, отец, добытчик хлеба насущного для своего семейства; с другой — наемный раб, пресмыкающийся перед своим боссом, вынужденный делать кучу вещей, которые ему не по нраву. Но когда тебя ограбили и ты вынужден просить о помощи, ты — ничто, ты одинок, беззащитен, брошен на произвол судьбы и ты уязвим. Ты ощущаешь, что все время торгуешь самим собой. Правда, существуют два вида рабства. Вам этого не избежать; и тот, и другой ужасно неприятны. Но, делая то, что вам нравится, вы все же не теряете ощущения независимости, даже если это несет за собой голод и страдание.

Возможно, в этом и заключается сермяжная правда: в конце концов, в высшем смысле слова, жизнь — это *рабство.* Но существует рабство добровольное и вынужденное. По собственной воле себя обрекают на рабство поистине великие личности. Говоря об этом, я не имею в виду себя. Я говорю о гораздо более выдающихся людях — таких, например, как святой Франциск. Он решил посвятить свою жизнь служению человечеству и охотно, даже радостно шел на всякого рода жертвы и унижения.

Меня чрезвычайно интригует мысль, что, возможно, и я, что называется, раздвоенная личность. Недавно мне несколько раз гадали по руке и всегда находили, что линии сердца и ума пересекаются. По общему мнению, это странно. Что это означает? Не знаю. Сначала я решил, что это показатель внутреннего конфликта. Но это больше похоже на противоречие между мыслью и чувством. Тому, кто живет разумом, жизнь видится комедией. Для тех, кто живет

674

чувствами или подвержен эмоциям, жизнь — это трагедия. Мне кажется, что во мне того и другого предостаточно. Меня никогда не покидает ощущение внутренней раздвоенности. Часто рассматриваю два варианта. Я не мыслю логически. Подчас мысли продиктованы моими чувствами. Когда об этом пишу, обычно стараюсь избегать высказываний о том, оптимист я или пессимист. Хотелось бы верить, что существует нечто такое, что стоит выше разноименных полюсов. Полагаю, таково истинное положение вещей.

Слово “мир” обычно подразумевает молчаливое сопоставление с чем-то иным. Задумывались ли вы о том, что я имею в виду, говоря, что такой-то человек — *от* мира сего, Либо, наоборот, *не от* мира сего? Получается, что мир представляет собой нечто такое, против чего человек борется. Он хочет жить в обществе, а не вне его. Стремится приподняться над ним. Тем не менее я действительно верю, что единственный способ доказать, что живешь вне общества, — это полностью его принять. Вам никак не обойти диктуемых обществом условностей. Вы должны примириться со всем, что связано с этим обществом, а потом доказать, что существует нечто большее.

Это вовсе не означает, что вы не должны руководствоваться критериями признания или отторжения. Вы не должны быть жертвой, не должны попасться в ловушку, которую представляет собой общество. Надо суметь проникнуть в него, принять участие в его жизни, осмыслить его суть и при этом сознавать: то, что вами движет и направляет, ведет по жизни, не всецело обусловлено тем обществом, в котором вы живете; существуют и другие факторы, невидимые, неуловимые, непостижимые, которых не включает или не охватывает понятие “общество”.

Я человек религиозный, но не чрезмерно. Давайте это упростим. Когда мы говорим: “Не хлебом единым жив человек”, — это символическое утверждение, изложенное выразительным языком. Оно означает, что отнюдь не борьба за благосостояние: зарабатывать на хлеб насущный, обеспечивать и защищать жену и детей — придает человеку сил и поддерживает. Это нечто, что нельзя потрогать, это духовное начало. Оно не поддается описанию, точному определению. Это больше всего остального: оно включает в себя все.

Мне кажется, это ощущаешь, когда с ним соприкасаешься. Думаю, вы сознаете это, разговаривая с людьми. Одни — слабы духом, другие — сильны. Духовное начало есть у всех, но в некоторых случаях пламя души едва мерцает. Кажется, внутри у большинства людей — только

675

тлеющие угольки. Это понимаешь, противопоставляя их личности вдохновенной, яркой. Те, в ком ярким пламенем горит душа, — экстраординарные образцы рода человеческого.

В основной массе — мы просто человеки. Это правда, но все же, развивая эту идею, мы не очень далеко продвинемся. Относиться к людям как просто к “человекам” — как раз то, против чего я всегда восстаю. Хорошо так говорить в общении, это означает, давайте относиться друг к другу с большей теплотой, по-дружески, с симпатией. Хорошо. Иногда (а я думаю, что даже безгрешные люди стремятся на этом сыграть), иногда людей необходимо простимулировать: нужно их подтолкнуть, потормошить, надавить. Дать тычка, чтобы они проснулись. Из добрых побуждений: чтобы заставить их узнать самих себя, свои возможности. Ведь большинство людей живет гораздо ниже своего потенциала. Когда мы говорим “просто чело-веки”, то имеем в виду тех, кто живет ниже нормы умственного кругозора, кто не стремится его расширить. Они — как мягкая подушка, на которой мы все удобно примостились. На самом-то деле “человеки” — это те, кто нас поддерживает. Это они работают на общество. Но даже они в состоянии заниматься другим делом, более значительным. Не думаю, что так называемая деятельность общества, эта каждодневная, окруженная ореолом работа, действительно так важна. Было бы намного, намного лучше, если бы людям приказали бездельничать, увиливать от своих обязанностей, проводить время в праздности, веселиться, расслабиться, отбросить все заботы и тревоги. Думаю, тогда вся эта работа делалась бы как-то иначе. Ведь это по существу одно и то же: повседневная работа и черная работа.

Иисус сказал: “Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут”. За этим кроется мысль, что мы суетимся, делая эту работу не потому, что ее необходимо выполнять, а потому, что мы — хлопотуны и не знаем, как выплыть в потоке жизни. Предпочитаем отчасти бессмысленную активность насекомого истинной деятельности, возможно, часто не активной, а явно пассивной. Я не призываю к покою и инертности. Я говорю о том, что в наших действиях должен быть здравый смысл, они должны что-то значить. А большая часть того, что мы делаем изо дня в день, бессмысленна.

Собираюсь сказать нечто такое,' что прозвучит полной противоположностью моим предыдущим словам: а ведь очень часто этим парадоксальным свойством обладает истина. Можете рассматривать это: как противопоставление

676

двух составных частей единого целого. Я имею в виду человека, безоговорочно принявшего сегодняшнюю жизнь, который делает это сознательно и обдуманно получает от этого удовольствие. Он почти так же свободен, как человек, порвавший с этой жизнью. Когда полностью что-то признаешь, перестаешь быть жертвой этого. Но таких людей — единицы.

Я часто смотрю на обыкновенных людей, простых, скромных, и завидую им. Восхищаюсь ими. Они не сомневаются, в то время как мы допрашиваем один другого или исследуем общество и пути его развития. Они никогда и голоса не подадут в этом направлении. Они согласны делать то, что им предлагают, и несут свой крест. В каком-то смысле в этом есть некая красота и благородство. Они простодушные люди. Они эмоциональны, даже если благоговейно не выражают это на религиозном языке. На самом деле они действуют как монахи. Они примирились со своею участью. Сейчас мы знаем, что невротик — это человек, имеющий нечто общее с паралитиком. Он не в состоянии ни работать, ни двигаться, ни писать, ни рисовать, ни заниматься любым другим делом. Он постоянно думает, мечтает о будущем или копается в прошлом, осмысливает его с точки зрения идеала. Это его, так сказать, смертный грех. Возьмите, к примеру, сюрреалистов. Посредством автоматического письма они пришли к важному открытию: к тому, что, переставая думать и отдавать себе отчет в важности того, что делаешь, выпускаешь наружу некоего джинна. И этот “джинн” прекрасно знает, что делает.

Так и мне бывало трудно начать писать. Но я начинал. Начинал с того, что первым приходило в голову — обычно полная чепуха. После одной-двух страниц все шло своим чередом. Не имеет значения, с чего вы начинаете — вы всегда вернетесь к самому себе. Вам не дано избавиться от самого себя. Возьмите таких людей, как Флобер, Бальзак, Генри Джеймс, их считают довольно объективными писателями. Они не писали от первого лица. Они создавали типы, выдумывали характеры. Всегда апеллировали к чему-то внешнему. Тем не менее вы всегда узнаете Генри Джеймса, всегда узнаете Бальзака в

том, что они пишут. Например, сравним Тургенева и Достоевского. Достоевский все время выплескивает себя наружу. Тургенев —-блестящий стилист, традиционалист. Но и Тургенев не мог отстраниться от самого себя. Вы узнаете его в каждой строчке. Не имеет значения, как вы приступаете к делу, вы всегда вернетесь к самому себе и наболевшим темам. Кстати, Дали говорил об одержимости художника так, словно сказать просто “художник” значит ничего не сказать —

677

если только он не ненормальный и не одержим навязчивой идеей. И Достоевский, безусловно, был ненормальным человеком. Дали же скорее напоминает мне одержимого навязчивой идеей. И тот, и другой — примеры людей, живущих во власти чего-то большего, чем они сами.

Другие художники пытаются этого избежать. Под “другими” я имею в виду тех, кого мир приемлет более благосклонно, как более совершенных, более изысканных мастеров слова. К примеру, так отнеслись бы к великому романисту Толстому. С другой стороны, вот Диккенс. Абсолютно противоположный тип личности. Кто больше взволновал общество? Я бы сказал, что Диккенс. Я действительно думаю, что Диккенс больше растрогал общество, чем Толстой. Считаю, что Диккенс переживет Толстого. Он апеллировал к более глубоким источникам гуманности. И, кстати, надо заметить, был также большим юмористом. Это его великолепная, замечательная особенность. Он заставляет нас смеяться над собой.

По-моему, Бодлер сказал: “Всегда будь пьян”. Но что это значит? Всегда будь восторженным! Будь всегда полон божественного упоения! Вот каково значение этих слов. Речь шла не о бессмысленном пьянстве. А кто еще прославлял это состояние в своих произведениях, как не Рабле? В одной из моих книг есть занятный отрывок, где я цитирую валлийского писателя Артура Мейкена. Он рассуждает о природе непристойности у Рабле, о многочисленных непристойностях, которыми пестрит его книга. И приходит к приблизительно такому выводу: “Заметьте, это каталог. Это нечто из ряда вон выходящее. Нечто, превышающее норму, некая перегруженность; в нем скрыто что-то, лежащее по ту сторону смысла”.

В западном мире не найдешь двух более отличных друг от друга обществ, чем представляли собой Нью-Йорк и Париж в 1850-е годы; и все же Бодлер нашел для себя нечто родственное в произведениях и личности Эдгара Адлена По. В известном смысле оба были изгоями. По был человеком с весьма сомнительной репутацией. А Бодлер — и того хуже. Он сам так считал. Он наплевал на общество. И все время мы сталкиваемся с такими явлениями, со сходством внешне непохожих городов, разных индивидуальностей.

Мою книгу о Рембо завершает кода, в которой есть нечто сюрреалистическое. Чтобы написать эти две или три страницы, я просмотрел множество книг в поисках дат, имен и названий. Вот что я пытался отразить: по мере того, как XIX век подходил к концу, все выдающиеся художники этой поры становились трагическими фигурами. Как вы

678

знаете, XIX столетие было веком материального прогресса, так называемого просвещения, рационализма и т.д. Однако художники той эпохи против всего этого восставали. Все они были распяты. Многие рано умерли, причем мучительной смертью. Жизнь Ницше оборвалась в психиатрической лечебнице. В возрасте 34 лет друг за другом, в пределах одного и того же года, уходят Ван Гог и Рембо. Это целый каталог несчастий. Однако все эти люди верили, что наступит более счастливая эра.

Я говорю об этих людях с истомленным духом, ибо именно в изгоях обретала себя духовность. И именно духовность подвергалась крестным мукам в XIX столетии. Они стали изгоями как раз в силу того, что пытались сохранить то, что жизненно важно нам. Возьмите Блейка. Он начал в XVIII веке и продолжил в XIX-ом. Он был выдающейся личностью, пророком, человеком-загадкой. Затем идет Ницше. За ним — такой сумасшедший, как Стриндберг. Какой бунт! Как он пригвоздил общество к позорному столбу! Эти индивидуальности показывают, что современный мир распадается на куски. Его дилеммы — дилеммы пигмеев. Такие люди, как Блейк, Ибсен, Ницше, воплотили в своих произведениях специфическую трагедию современного человека. Они провидели ее. Провидели, что произойдет с миром и человеком. Заглянули в самый корень обуревающих человека проблем.

В XIX столетии человек как никогда раньше начал испытывать чувство одиночества, по крайней мере, так я понял из истории. На протяжении века он томится одиночеством и чувствует себя все более и более одиноким, все более и более разобщенным. Его

разбивают вдребезги. В этом мире он ощущает себя потерянным. Он существует сам по себе, чего никогда прежде не было, поскольку в прошлом он был привержен традициям и обычаям. Сегодня горизонт пуст: нет великих поводырей, нет Моисея, который мог бы вывести нас из пустыни. Человеку ныне предстоит спасать себя самому. Ему не к кому обратиться за помощью. Такова отчаянная и в то же время обнадеживающая черта современной эпохи. Человек должен осознать самого себя как нечто большее, чем плоть и кровь, или он погибнет.

Говорят, что у нас никогда не будет другого спасителя. Спасителей хватало. Все они указывали человеку выход. Сейчас он должен выбираться сам. В конечном счете, это неплохая идея. Положение человека сейчас трагично — в том смысле, что на чашу весов поставлена его жизнь. Он действует на свой страх и риск. Жить или умереть. Живи по максимуму! Религиозная история общества сводилась к

679

тому, что человек жил на костылях. Сейчас мы отбрасываем костыли прочь. Теперь у нас появилась альтернатива: принять или отринуть Бога. То, о чем мы мечтаем, может быть воплощено не в туманном будущем, а ныне.

Мышление западного человека вращается вокруг категорий добра и зла. Но метафизика индуизма идет дальше: она предлагает единственное решение — возвыситься над конфликтом, избегнув одностороннего отождествления одного — с добром, другого — со злом. Для этого необходимо видение, способное объять то и другое. Это почти богоподобная позиция, поскольку бесстрастно взирать на человека и сущее — привилегия Бога. Завтра вы умрете; всякое может случиться. Бог не тревожится за вас. Говорят, он присматривает за воробьем. Для меня все это — не более, чем пустой набор слов. Насколько нам известно, Бог никогда ни о ком не заботился. Мы сами о себе заботимся и к тому же сами себя изводим. Так что, когда заходит речь о шизофрении, я не считаю, что сейчас — плохие времена и что когда-то в отдаленном будущем наступит нечто противоположное. Я вообще так не думаю. Считаю, что единственный выход для *homo sapiens* без остатка вымереть. Должен возникнуть иной человек. У него будет иное сознание. Он не будет терзаться нашими проблемами. У него появятся другие. У него не будет того, что я называю низменными, ничтожными проблемами. Самые низменные проблемы, с моей точки зрения, — голод, война, несправедливость. Это проблемы, с которыми следовало покончить мириады лет назад. Любой мыслящий, чувствующий человек выше этого. Для него они уже не проблемы.

Возьмите такого человека, как Кришнамурти: я снова слушал его на днях. Его спросили о продовольствии для Индии и он ответил, что, хотя оно и может облегчить для кого-то существование, данную проблему надо рассматривать гораздо шире. Он— один из немногих в этом мире, кто не сказал: “Понимайте так, понимайте эдак”. Он говорит: “Раскройте глаза, расширьте поле видения!” Он не призывает отправиться в ту или иную церковь и поверить в ту или иную идею. Он говорит, что по существу все религии схожи. Они предлагают уход от действительности, а не разрешение вопроса.

Я обратил внимание, что в литературе и философии как никогда раньше усилилось влияние Востока. Когда мне было восемнадцать, я увлекался китайской философией, а позже — индийской, но когда я говорю о Кришнамурти, все это отступает на второй план. Я тоже верю, что философия никогда не принесла никому никакой пользы. Другое дело — метафизика. Есть игры, в которые играет чело-

680

век. Он обладает интеллектом; следовательно, ему надо найти применение. Это позволяет развлечься, но не более того. Не этим жив человек. Кришнамурти спросили, что он думает о смерти. Он отвечает: “Ну, кто же знает про это?” Как это верно! Никто про это не знает. Зачем об этом беспокоиться? Главное — не бояться. Ученые в известной мере свободны от этого. Ведь они тоже не знают, что их ждет, но не мучаются по этому поводу так, как верующие люди. Они сами ставят перед собой задачи, и задачи эти неизвестных величин. Но они работают беспристрастно. Однако я действительно верю, что человек должен всегда держать перед собой проблему жизни и смерти. Мне не импонирует мысль о том, что задачи непременно должны быть разрешимы. Вам следует принять их близко к сердцу и разрываться на части, пока открыты ваши глаза. Потом эти проблемы исчезают, оседая в сознании.

В каком-то смысле быть писателем сейчас — одно дело и совсем другое — в Париже. Надо заметить, что сегодня писателю проще зарабатывать, его быстрее издают. Но какие издатели и какую литературу? Лучшие произведения не печатают. Для истинно

творческих людей это не выход. Они всегда сталкиваются с трудностями, поскольку всегда опережают свое время. Они всегда будут мучиться, пока мы не создадим качественно другое общество, такое, в котором художника признают тем, кем он поистине является: духовным лидером и целителем. Не думаю, что это случится- в ближайшем будущем.

Мне говорят, что эту сторону жизни я узнал, пока бедствовал в Париже. Но я бы так не сказал. В конце концов, человек богемы — отнюдь не неудачник. Я сам выбрал,эту жизнь, а это совсем другое. В таком положении есть нечто романтическое.

Я влюблен в высказывание, которое когда-то вычитал, а сейчас снова встретил в книге Алана Уоттса. Это высказывание Гаутамы Будды и звучат оно так: “Я не получил ни малейшего удовольствия, полностью осознавая происходящее, и по этой самой причине оно зовется полной, окончательной утратой иллюзий”.

Ритм моей жизни не изменился. Помню, в Париже просыпался поздно, но мне не кажется, что сейчас я достиг должного уровня. Теперь я полюбил полуночные часы. После окончания телевизионных передач и выступлений актеров-комиков я способен читать самые серьезные книги, требующие полного сосредоточения. Я бываю в ударе в полдень (именно в это время я и родился). Астрологи говорят, что часы вашего рождения — ваше лучшее время, и для меня много лет так оно и было. Помню это, поскольку

681

около полудня работается с полной отдачей, как раз в это время жена звала меня, говоря, что готов завтрак. Было трудно остановиться.

Я и кино-, и книгоман, но и то, и другое действует на меня по-разному. Кино удовлетворяет во мне нечто такое, что неподвластно книгам. Прежде всего, фильм утоляет зрительный голод. Кроме того, думаю, одно из значительных различий между ними заключается в том, что фильм не поддерживает тебя так, как книга. Книга — это истинная пища и субстанция, вы ею живете и она вас питает. А фильм, если он хороший, это нечто такое, что доставляет вам несколько приятных минут, не более того. Безусловно, какие-то определенные эпизоды вы можете вспомнить, но он не вселяется в вас на несколько дней подряд (даже самый лучший фильм), тогда как от книги вы не можете избавиться. Вы вновь и вновь проживаете вместе с ней дни, недели, и она снова и снова возвращается к вам. Хорошая книга оставляет у вас неизгладимое впечатление. Фильмы в такой степени на меня не действуют. Что я заметил в отношении кино, так это то, что в подкорку глубоко врезаются определенные герои. Их можно не раз воскрешать в памяти. Что касается книги, то вы никогда не знаете, как же выглядел тот или иной персонаж. Вам приходится подключать воображение.

Кино — сильнодействующий вид искусства. Лично меня оно удовлетворяет больше, чем театр. Когда-то я был большим поклонником последнего. Сегодня же я вряд ли пойду в театр. Не выношу посредственных спектаклей. Плохой фильм я порой могу высидеть, поскольку в нем развивается какое-то действие, точнее сказать, одновременно происходит много всего. Меня удерживает на месте не сюжет. А цвет и движение. Действие. Еще я узнаю типажи, очень близкие Мне. Одни привлекательны, другие относительны, но достопамятны. Наблюдаешь за живыми людьми и в некотором отношении они становятся реальнее, ближе тебе, чем герои книги. Я могу обратиться мыслью к фильмам, которые видел тридцать или сорок лет назад; и поныне помню конкретных персонажей, могу ясно воскресить их в памяти. Персонажей книг я никогда отчетливо себе не представлял. Они оставляют какое-то пятно в памяти, но всегда расплывчатое и неясное.

Мне кажется, что дни печатных изданий и чтения сочтены, их должно заменить что-то еще. Тем не менее, раз уж я писатель и слова так много значат для меня, трудно себе представить, что придет им на смену. Из книг получаешь нечто такое, чего не дает ни один фильм: ассоциации, вызванные словами, идеи, поддающиеся развитию, и

682

т.д. Всего этого никогда не донесешь в фильме. Кино чересчур реально, чересчур конкретно. За что мы любим книги, так это за детали, фантазию, запутанность — за то, на что кино не хватает времени, фильм обречен быть точным. Мы жаждем своего рода неопределенности, некой непостижимой ауры. Кино имеет дело с чем-то реальным. На все иное оно может намекнуть, но, по моему мнению, не в достаточной степени. Но, замечу, мы вполне обошлись бы без большей части издаваемых ныне книг: они не имеют никакой значимости, ничего нам не дают. Само собой разумеется, то же можно сказать и о большинстве выпускаемых фильмов; и все-таки, если бы пришлось выбирать, я бы

посоветовал: поди посмотри приличный фильм вместо того, чтобы тратить время на преобладающую часть современной литературы.

Трагедия кино состоит в том, что оно по большей части производное от литературы. Вот что уродует фильмы. По-моему, мы все же должным образом не развиваем средства и все возможности кинематографа. Мне кажется, он по-прежнему пребывает в зачаточном состоянии. Я бы предложил — отбросьте сюжет. Его не нужно. Соберите актеров, режиссера, оператора и дайте им общую идею того, что должно происходить, а затем начинайте снимать, импровизировать, выстраивать сюжет по ходу дела, *если сюжет так уж необходим.* Безусловно, без него вполне можно обойтись. Именно к этому я и клоню, фильм действует сильнее, если обретает полную независимость — когда подключается фантазия, мечты, видения и всевозможные бессвязные ассоциации. Не всегда все происходящее должно быть объяснено. Допускаю, что это вопрос спорный, — необходим ли сюжет. Я ратую за минимальную форму и в литературе, и в кинематографии. Но я знаю, что форма — важный элемент в создании фильма. И все больше в этом убеждаюсь.

Совсем недавно я посмотрел “Сатирикон” Феллини. Два раза слушал интервью с ним. Он говорил золотые слова. Это слова мыслящего творца. Среднего, зрителя “Сатирикон” шокирует. Спрашивают: “Что он имеет в виду? Что хочет сказать? О чем идет речь?” Отвечаю: не спрашивайте меня. Знаю лишь, что наслаждался каждой минутою этого фильма. Мне абсолютно безразлично, что все это означает. То, что я видел, изумительно. Все удивительно — почему бы нам просто это не смотреть: серию замечательных, интересных, захватывающих самих по себе кадров? Конечно же, в фильме всего намного больше. В принципе не вредно, чтобы был великолепный сценарий; но, может быть, требовать этого — уж” слишком? Сколько вообще на

683

свете великих рассказов, сколько великих романов, сколько великих полотен? А сколько, на сегодняшний день, великих фильмов?

Сейчас мы находимся на стадии зрелости. Если мы искренни с самими собой, то должны согласиться, что, придя в музей, находим очень немного замечательных картин, которые по-прежнему нас захватывают. Девяносто процентов из них — ерунда, не больше того. Музей, этот благочестивый заповедник великих произведений искусства, возможно, был важен в прошлом, но не сегодня. Я спрашиваю — как эти картины действуют на вас сейчас? Имеете ли вы какое-нибудь отношение к ним сегодня? Это как со старыми фильмами: некоторые' из них в свое время считались классикой. Покажите их сегодня, и вам придется сказать: каким же идиотом я когда-то был, что наслаждался такого рода фильмом?

СОЧИНИТЕЛЬСТВО

Сначала я сопротивлялся. Утверждал. что собираюсь писать правду, и да поможет мне Бог. И я считал, что пишу правду. Я понял, что не в состоянии это сделать. Никому не дано запечатлеть *абсолютную правду.*

Я принадлежу к тем писателям, которые могут описывать события лишь спустя много лет. Большая часть их выплеснулась из меня на дистанции в двадцать лет. Может быть, одна-две книги были созданы сразу — такие, как “Тропик Рака” и “Маруссийский колосс”. Но чаще всего я возвращаюсь назад. Однажды я рассказал вам, что за ночь, приблизительно за 12-14 часов, в один присест исписал целый блокнот. Он послужил основой всех моих автобиографических книг. Тем не менее, когда я сажусь писать (я говорю сейчас о большой работе), то лишь заглядываю в свои заметки.

Что касается меня, то вопрос главным образом в том, чтобы настроиться или включиться, быть в “форме” и душой, и телом. Когда ты что-то пишешь, слова должны литься на бумагу, как вода из водопроводного крана. Чем дольше я вынашиваю в себе материал, тем сочнее он становится. Это результат внутренней компрессии. С чего начать? Как начать? Большинство людей впадают в прострацию, лишь посмотрев на чистый лист бумаги. Это слу-

684

чается со всеми. Это то же самое, что смотреть на пустой холст. Я нашел “секрет”, открытый сюрреалистами; он заключался в том, чтобы просто писать обо всем, что взбредет в голову — иными словами, громоздя чепуху без точек, без всякой последовательности, пока не начнет вырисовываться то, что хочешь сказать. Затем весь подготовительный хлам ликвидируешь. Я пишу до тех пор, пока не устану или не исчерпаю тему. Но никогда не позволяю своему мозгу дойти до точки истощения. Однажды я получил хороший урок. Как-то раз написал 45 страниц и свалился без сил. Так что всегда стараюсь сохранить бодрость. Как с бассейном: его никогда не осушаешь — слишком долго его опять наполнять. Думаю, это сказал Хемингуэй, но он вымучивал свои рукописи и, по-моему, не слишком в этом преуспел. Я, так сказать, избавляюсь от излишка и на следующий день продолжаю работать над тем, что осталось. Вот, в общих чертах, мой метод работы. Безусловно, очень часто я отвлекаюсь от темы. Кажется, собираюсь писать о чем-то конкретном, и вдруг меня задевает за живое другая тема, и я переключаюсь на нее. Но главное — не нарушить плавного течения мысли. Сохранить плавность повествования — это главное, что меня заботит.

Я не разрабатываю тему, как другие писатели. Безусловно, мой подход значительно отличается от того, как пишет киносценарист. Ему приходится много всего придумывать, чтобы получить желаемый результат. Меня не заботит конечный результат. Я пишу — вот что важно. Дело не в том, что я написал, а в самом процессе творчества. Поскольку моя жизнь состоит в том, чтобы писать. Самое главное — процесс. Что я пишу, в конечном счете не столь важно. Часто это глупо, нелепо, противоречиво — последнее вообще меня не волнует. Насладился ли я этим? Выложил ли то, что во мне накопилось? Вот что самое главное. И, конечно, я не знаю, что мною движет. Это действительно очень важно. Разница между мною и другими писателями состоит в том, что они всячески стараются исходить из того, что оформилось у них в голове. Я же всячески стараюсь извлечь на поверхность то, что скопилось ниже, в области солнечного сплетения, в подсознании.

У моего друга, живущего в Париже, Альфреда Перле, есть свой уникальный метод. Он кладет на письменный стол часы и говорит себе: “Я собираюсь писать сорок пять минут”. Прошли сорок пять минут, и он перестает писать, даже если остановился на середине предложения. На сегодня он закончил. Я тоже так делал, прекращал писать,

685

остановившись на середине абзаца. Сегодня это раздражало бы многих писателей, они подумали бы: “Как я завтра вернусь обратно к этой мысли?” Меня это никогда не беспокоит, поскольку я считаю, что потерять нить повествования невозможно. Вопрос лишь в том, чтобы восстановить ход мыслей. Возможно, вы и не начнете с данного абзаца, возможно, начнете с чего-то еще, но постепенно, коль скоро эта мысль сидит в вашем подсознании, она в процессе работы заявит о себе. Если не сегодня, значит завтра. А не завтра, так посреди ночи. Меня никогда не волнует, что могу о чем-то забыть. Ничто никогда не забывается, а мысли — в наименьшей степени.

Пруст доказал, что, восстанавливая в памяти какое-то событие, представляешь его себе даже более живо, чем это происходило в действительности. Думаю, это очень точно. Не знаю, почему это так: наверное, дело в том, что, когда пишешь, глубоко чувствуешь, отдаешь себе во всем полный отчет, ты очень насторожен и собран. Твои чувства и ощущения обострены. Конечно, можно слегка и приврать. Все-таки, восстанавливая в памяти какое-то событие, тоже что-то додумываешь. Это ваше дело, и смысл не столько в том, чтобы в точности передать происходящее, сколько в том, чтобы передавать дух, ауру этого события. Я бы сказал, что почти невозможно абсолютно адекватно воспроизвести факт, но, безусловно, можно постараться его реконструировать.

Восстанавливая в памяти свои переживания, я получаю физическое удовольствие — может быть, даже усиливающееся.

Пережитое кажется преувеличенным. Продолжается двойная игра. Сначала совершаешь нечто такое, в чем, так сказать, не отдаешь себе отчета. Не смотришь на себя в зеркало. Потом, описывая, словно смотришься в зеркало и проделываешь все это снова. Склоняешься над самим собой. Когда пишешь, изгибаешься, наблюдая за собой в действии. И знаешь, что в этот момент играешь. Существует разница между сознательным и бессознательным поступком. Я уже говорил, что по-моему, воскрешая в памяти пережитое, испытываешь усиливающееся физическое удовольствие. Это происходит от того, что подлинная ситуация, прожитая тобой, еще не облекалась в слова.

Ты не говорил себе: “О, какой удивительный туман, я ощущаю его прикосновение на своей щеке”. Ты все это *чувствовал,* но не выражал словами. Теперь, когда это *произносишь,* привходит что-то еще.

Твое сегодняшнее ощущение (возможно, связанное с ощущением физическим) окутано словами и их толкова-

686

нием. Самым что ни на есть определенным. Слова значительно отличаются от других средств выражения. Я испытываю глубокое благоговение к слову, потому что в нем кроется то, что я называю мистикой. Сотворение слова — факт абсолютно непостижимый. Мы ничего не знаем о происхождении разговорной речи. Человек никогда не мог описать, как случилось, что он научился говорить. Вам стараются внушить, что сначала он рычал как зверь, то да се, но я этому не верю. Я считаю, за этим кроется нечто гораздо более непостижимое и мистическое. Таким образом, когда прибегаешь к словам (если подсознательно ты — художник и личность творческая), все время отдаешь себе в этом полный отчет. Кстати, именно слова могут подвести вас к поступкам, подвести к мыслям, а не наоборот.

Ну, разумеется, все это: ощущение и физическое чувство — лежат в сфере изобразительных возможностей, а для оттенков существуют имена прилагательные и наречия. Вот ведь какое странное дело — один писатель будет подробно описывать все, о чем бы он ни рассказывал, и это вас не проймет. Вам это надоедает, вы зеваете. Другой использует, допустим, метафоры. Он не вдается в подробности, не анализирует. Это опять же ведет к магии слов, их употребления. Дело не в самих словах, а в том, как они сопоставляются; в этом-то и заключается писательское мастерство. В том, что означают сопоставленные слова, и *как* они сопоставляются, что они *вызывают,* а не что они констатируют. Это целый арсенал изобразительных средств, составляющих писательское искусство.

Испытать чувство удовлетворения писателю еще труднее, чем читателю, и опять же — это дело сугубо индивидуальное. Уверен, что некоторые писатели вымучивают свои произведения. Другие (могу отнести и себя к этой категории) получают удовольствие от самого процесса работы. Я им наслаждаюсь, поскольку слова из меня струятся. Я говорю: “Если бы только имярек увидел меня, увидел бы этот материал выходящим из пишущей машинки, ему бы это понравилось”. Но это очень индивидуально. Некоторые пишут строчку за строчкой, останавливаются, стирают текст, вынимают и рвут страницу и т.д. Я работаю иначе. Просто продолжаю писать, и все. Позже, заканчивая работу, я, так сказать, даю ей отстояться в холодильнике. Не заглядываю в нее месяц-два, чем дольше, тем лучше. Потом нахожу удовольствие в другом. Это радует меня ничуть не меньше, чем процесс работы. Это то, что я называю “занести топор над твоим творением”. Я имею в виду: взять и искрошить его. Сейчас вы видите его с совсем новой, выгодной позиции. У вас на него другие виды.

687

И вы обретаете удовольствие в изничтожении подчас даже наиболее захватывающих эпизодов, поскольку они вас .не устраивают: на ваш критический слух они звучат фальшиво. Они могут быть написаны замечательно, но, как критик, вы воспринимаете их иначе. Я поистине наслаждаюсь этой кровавой стороной игры. Можете этому не поверить, но это правда.

Говорят, Хемингуэй корректировал сделанное на следующий день. А Томас Манн — даже в тот же день. Я слышал, что он писал страницу в день и тогда же вносил правку. Таким образом он наладил серийное производство. Каждый день непременно выдавал страницу. Господи, за 365 дней у тебя выйдет целый талмуд. Да это же непосильный труд! Прямо-таки невозможный! И опять же: кто знает, какой механизм движет каждым человеком, ритмом, в котором он работает? Каждый человек уникален.

Редакторов я предаю анафеме. Ни одному редактору никогда не разрешаю каким-либо образом редактировать свои книги. (Большинство редакторов — неудавшиеся писатели.) Не желаю ни сходиться с ними во мнениях, ни выслушивать их. Не хочу ничего, кроме того, что сказал *я,* хорошо это или плохо. Не хочу никаких усовершенствований, предпринятых кем-то еще. Например, я понял, что сегодня редактору может понравиться произведение молодого писателя, но он настаивает на внесении изменений. Таким образом, рукопись попадает к переписчику, вносящему правку. Когда книга издана, кого считать ее автором?

Я столкнулся с такой ситуацией только в Америке. В Европе ни один редактор никогда не осмелится взять на себя такое и даже не заикнется на эту тему. Но здесь я то и дело на это натыкаюсь. Самые большие привереды — редакторы журналов. Они спрашивают: “Вам не кажется, что этот абзац лучше поставить туда, а не сюда?”. А я отвечаю: “Нет, не кажется. Оставляйте как есть или отдайте назад”. Европейских авторов подобными глупостями не беспокоят. Здесь же мы собираемся довести все до совершенства, но уровень совершенства приравнивается к интересам сбыта. Здесь стремятся угодить среднему читателю. Считают, что знают, что нужно людям. При этом не будучи способны отличить злаки от плевелов.

Некоторые читатели и критики утверждают, что между мною как писателем и человеком существует противоречие. Но как человека они ведь никогда меня не знали! Думаю, в своих книгах я охарактеризовал себя довольно подробно. В них —мое чувственное “я”, мое философское “я”, религиозное “я”, эстетическое “я”. Мне нравится счи-

688

тать себя разносторонне развитым человеком, и, если кто-то не подмечает этого, беседуя со мною, виной тому, наверное, случай. Когда я вспоминаю дни, проведенные мною в Париже в компании закадычных друзей, там мы разговаривали абсолютно другим языком. Разговаривать я могу по-разному. Могу говорить языком улицы, а, если хотите, могу обернуться медоточивым златоустом. Ко Христову дню, говорят, все сгодится.

Когда я пишу от руки, я более искренен. Это потому, что я порываю со своим “литературным” “я”. В момент, когда я сажусь за пишущую машинку, мои пальцы уже задействуют меня, трансформируют, переводят в ранг писателя. Когда я беру ручку, это чуть более обременительно, не столь удобно, не столь естественно, ведь это совсем другое рабочее средство. Приведу пример. Пикассо часто говорил о себе, что, закончив писать картину, если он находил в ней нечто милое и очаровательное, он все замазывал, поскольку это выражало уступчивость его натуры. А он стремился к чему-то такому, кто исходит от его силы воли, с чем он борется, что доставляет не просто удовольствие. Естественно, на машинке я пишу более литературно. Речь становится многословнее и глаже. Тогда как написанное от руки рождается в борьбе, и кажется, что материал исходит из другого источника.

Совсем другое дело — беседа. С некоторыми людьми это поток слов, водопад. С другими я мямлю или помалкиваю. Все зависит от того, насколько люди тебя затрагивают и в каких областях. Зависит от моего настроения, от того, насколько я расслаблен, чувствую ли себя в хорошей форме и расположен ли к разговору, могу ли открыться и высказаться. Это подчинено множеству обстоятельств. Знаю, что до некоторой степени я — актер и что к тому же — все мы очень неискренни (в том смысле, что все мы играем). Мы умеем быть обаятельными (или нам так кажется), дабы произвести впечатление, и все эти обстоятельства влияют на нашу речь. Когда разговариваешь с девушкой, на которую хочешь произвести впечатление, в которую страстно влюблен, или беседуешь с другой девушкой, к которой безразличен, все меняется, не так ли? Так же и с другими людьми. С кем-то хочешь сблизиться, либо хочешь, чтобы он раскрылся, хочешь произвести на него впечатление. Чувствуешь либо зависимость, либо превосходство, бывает по-разному. Когда мы общаемся друг с другом, в действие вступает множество различных факторов.

Беседуя с кем-нибудь лицом к лицу, я стремлюсь говорить серьезно и искренне и вдруг убеждаюсь, что лгу или

689

извращаю мысль, желая удовлетворить сиюминутную прихоть. Мне кажется, я многое понимаю и узнаю о себе. А чего тогда стыдиться? Абсолютно честных людей нет. Все неоднозначно, “обтекаемо”, не делится просто на черное и белое.

Если, описывая конкретный случай, я пишу на машинке, а потом о том же пишу кому-то в письме или рассказываю устно, в каждом случае возникают разные версии. Что-то опускаешь или выделяешь выборочно. Сейчас, сидя за пишущей машинкой, я чувствую, что работаю с полной отдачей. В разговоре могу до конца выразить свои чувства, но с большей долей искренности.

Так или иначе, сознательно или бессознательно, когда я пишу письмо от руки, то, вероятно, приближаюсь к разговору. Поскольку действительно хочу открыть свою душу. Но, стремясь к откровенности, естественно, думаешь о том, как что-то выразить, поведать другому, обсудить с собеседником.

Когда пишешь, получается что-то большее, что-то особенное. Здесь также налицо элемент игры. Обычно осознаешь, чем руководствуешься. Рассказывают про писателей, впадающих от работы в экстаз. Разумеется, через это проходил и я. Слова брались из ниоткуда, из пространства. Я был “жертвой” этих слов. Они лились из меня как из шланга, а я просто переносил их на бумагу. Это были восхитительные моменты и одновременно ужасные, поскольку не можешь закрыть кран этого проклятого шланга. Я часто умолял: “Прекратите! Прекратите! Оставьте меня в покое!” Но такое случается не каждый день. И слава Богу, иначе мы бы умерли от истощения.

По поводу актерских качеств, присущих писателю... Он накладывает грим на вещи и одновременно смотрит в мир. Артистизм писателя не нацелен определенно на публику, но он понимает, что она ему внемлет. Совсем как виртуозу-исполнителю на сцене. Я думаю, в этом действительно есть что-то такое... С другой стороны, когда пишешь письмо другу, пытаешься быть искренним. Когда с кем-то беседуешь, здесь всего понемногу. Это снова игра. В процессе разговора могут возникнуть определенные мысли, которые никогда бы меня не посетили, сиди я за машинкой или сочиняй письмо.

Не думаю, что писатель чувствует себя прекрасно, заново переживая в памяти прошлое. Мне кажется, он радуется тому, что может перенести это на бумагу. Именно способность воссоздать прошлое, а не воспоминания о нем делают тебя счастливым. Думаю, воспоминания вторичны. Во всяком случае, для меня. Меня радует процесс достиже-

690

ния. По крайней мере, так мне это видится. Если вы думаете, что, наверное, я хочу, чтобы мне так казалось, то с моей стороны это бессознательное. Не сомневайтесь; и это вызывает мурашки по телу.

Сначала я сопротивлялся. Утверждал, что собираюсь писать правду, и да поможет мне Бог. И считал, что пишу правду. И понял, что не могу. Никто не способен запечатлеть абсолютную правду. Это невозможно. Этому воспрепятствует ваше “я”. Мне кажется, правда — это нечто такое, что проскальзывает сквозь пальцы. Ее не можешь ухватить. Может быть, ты зацепишь ее в тишине, когда бываешь наедине с самим собой, моментами, и к тому же очень редкими. Думаю, мы сами себя обманываем. Все мы. Мы никогда не живем лицом к лицу с реальным представлением о себе.

Оглядываясь на самого себя, я не вижу *одну* личность. Я вижу много личностей. Порой обнаруживаю в себе определенную личность, которая меня удивляет. Мы не всегда представляем собой единую личность; не подвергаемся этой удивительной эволюции по возрастающей. Это зигзагообразный процесс, вверх и вниз — нет такого замечательного образца поступательного движения, которое можно было бы описать.

Когда я пишу о чем-то забавном, то не останавливаюсь и не задумываюсь над тем, что описываю нечто смешное. Я ничего не обдумываю заранее. Просто записываю свои мысли, а если оказывается смешно или грустно, не контролирую этого. Я не задумываюсь над результатами, правда не всегда. А, говоря о результате, порой пускаюсь в описания, могу остановиться и задуматься над эффектом. Могу сказать: “Вставить это, опустить то, выбрать это”. Поскольку так больше впечатляет. Но не тогда, когда пишу о своих чувствах. Они выступают такими, каковыми являются. Если это смешно, значит смешно, если — нет, значит — нет. Часто, пока я пишу, я смеюсь. Смеюсь. Во всю мощь.

В молодости один день я ликовал, другой — пребывал в депрессии. Позже, в зрелом возрасте, жил более уравновешенно. Мне всегда нравилось слово “приятие”. Для меня это очень емкое слово. Воспринимай жизнь такой, как она есть, наблюдай за ней и принимай ее за то, что она собой представляет, не предавайся иллюзиям и не заблуждайся на ее счет. Когда я избавился от своего “идеализма”, осознал, что это — серьезный шаг на пути к выздоровлению. В “Гаргантюа и Пантагрюэле” Рабле на вратах Телемской обители было начертано: “Fay ce que vouldras!” — другими словами: “Делай что хочешь!” Святой

691

Августин выразил это иначе. Он сказал: “Люби Бога и делай, что хочешь”. Как это прекрасно! Это означает, что важна душа, Святой Дух, — не нравственность, но этика. Тот, у кого в теле здоровый дух, не совершит дурного поступка. Тогда, поступая как хочется, человек может доставить лишь счастье — себе и своему ближнему.

Думаю, о сексуальных отношениях я писал потому, что они составляли столь значительную часть моей жизни. Секс всегда был в ней чем-то доминирующим. Честно говоря, о своих истинных возлюбленных я почти не писал. О некоторых из них — тех,

кого я по-настоящему любил, — вообще не упоминал в своих книгах. Я лишь старался охватить определенный период времени — в семь-восемь лет — с одной женщиной Джун, а в книгах — Моной. А потом — импульсивно маневрировал во всех направлениях. Но главная моя цель заключалась в том, чтобы рассказать о моей жизни с ней.

Как ни странно, литература порнографического характера меня не стимулирует. Она вообще меня не очень впечатляет. Фактически, я бы сказал, она мне неинтересна. Правда, я прочитал не слишком много известных в этой области классиков: не знаю почему; меня на них не тянуло. Я предпочитаю роль пассивного *наблюдателя.* Картины, фотографии мне крайне интересны. Они меня возбуждают. Но описание секса в книгах — нет, не настолько сильно. Разве что пером великого писателя.

Недавно мы беседовали с несколькими молодыми японками. Они сказали, что им омерзительно то, что называют “голубыми” фильмами. Жуткая гадость. Я не согласился. Хочу сказать, что для любого человека противоестественно отводить глаза в сторону, какими бы отвратительными ни были эти фильмы. Есть половой член и есть влагалище, они входят один в другое, и это возбуждает! Отвернуться не можешь. Не можешь, если сам являешься обладателем полового члена или влагалища.

Я читал великих писателей — таких, как Казанова, Рабле, Боккаччо, Петроний Арбитр, автор “Сатирикона”, всеми ими наслаждался в молодости, но не думаю, что сегодня моя реакция была бы такой же. Но *тогда,* конечно, они возбуждали у меня энтузиазм.

Недавно я прочел книгу “Моя тайная жизнь”. Ее порекомендовал мне добрых двадцать лет назад наш, тогда непризнанный, критик. Он сказал: “Из всех прочитанных мною книг этого жанра эта — самая значительная”. Можно быть уверенным, что автор этой книги действительно обожал секс. Он любил женщин исключительно в сексу-

692

альном плане. Каких только женщин, кажется, у него не было. Право же на это были направлены все его помыслы. Он мог свободно распоряжаться деньгами, временем, и знаете, читать его — одно удовольствие, поскольку это чистый секс и ничего больше. Никаких литературных изысков. Совсем никаких. Просто бесконечный перечень половых актов. Поначалу мне показалось это интересным, но, прочитав две-три сотни страниц, я заскучал.

Несмотря на то, что говорят критики, я никогда не писал в таком ключе. Это точно. Я нередко преувеличивал или искажал, ибо я другого типа человек. Его литературный метод не устроил бы меня. Мне необходимо создавать, развивать, выдумывать. Для меня это — основа всего творчества. В конце концов, вопрос полов — это гораздо больше, чем сексуальные отношения. Это — сила, подобная стихии. Она точно так же таинственна и непостижима, как Бог или природа космоса.

Обо мне говорят, что я снабжаю текст сочными эпизодами просто, чтобы возбудить интерес читателя. Это неправда. Знатоки утверждают: “Он хороший писатель, но почему он писал подобные вещи? Он делал это ради денег”. Я имею в виду те ранние книги, где я подробно излагал события своей юности. Но моя ежедневная жизнь бь1ла полна событий предосудительного или сомнительного характера. Она была ими перенасыщена, и, тем не менее, я полагаю, моя жизнь не напоминала жизнь большинства мужчин. Секс для меня не являлся каждодневным занятием. Придавая значение женскому естеству, я всегда был предан самой женщине. Самым интересным для меня была женщина. Разумеется, важно было и естество, но, за редким исключением, все упиралось не в него. Когда мужчины относятся к женщине только как к самке или, точнее, ни к чему, кроме самки, это тоже существенно. Но меня всегда больше интересовала женщина, вся женщина. Более того, меня всегда интересовало, что у нее на душе. О чем она думает? Что у нее за мысли, над которыми я бьюсь? Пойди-ка разберись! Вникни! Поскольку отчасти во мне говорит любопытство детектива. Думаю, не стань я писателем, я мог бы сделать блестящую карьеру сыщика.

Но, возвращаясь к этим предосудительным пассажам моих книг, я добавил бы, что отчасти во мне бессознательно срабатывал артистизм. Дело не только в этом; могу привести вам другое объяснение этих эпизодов. Одно обстоятельство ведет у меня к другому и очень часто — к чему-то крайне противоположному. Мои мысли не выстраиваются в прямую линию. Я разбиваю то, что думаю.

693

Раздумываю во многих различных направлениях. Когда мне в голову приходит какая-то мысль, я сразу прокручиваю ее во многих направлениях и не знаю, с чем согласиться. Вот почему в моих книгах часто творится такой хаос. Я взрываюсь, вот в чем дело.

Другое обстоятельство. Писателю необходимо научиться вовремя ставить последнюю точку, когда пишешь слово “конец”. Я мог продолжать бесконечно. Иногда просто резко обрывая повествование.

Вести записные книжки я начал еще во времена своей юности, в Париже. По-моему, в те дни я всегда носил одну с собой. Я напоминал въедливого репортера. Так добросовестно все записывал, что вы бы решили, что я сотрудничаю в большой, респектабельной газете. Я все принимал к сведению. Хранил ресторанные меню, театральные программки, все. Уйму таких вещей вклеивал в записные книжки, чего там только нет. Сейчас я не очень часто пользуюсь своими записями, но получаю удовольствие, пополняя ими свои блокноты. Они меня воодушевляют. Часто сижу и переписываю свои записные книжки, а потом полностью их игнорирую. Но это для меня некий старт. И то же самое — со словами. Я влюбляюсь в определенные слова, а потом записываю их на большой лист оберточной бумаги.

И только узнав о том, что мне предстоит уехать из Парижа в Грецию и что, возможно, я никогда туда не вернусь, я решил переплести свои записные книжки. У меня их гораздо больше, чем хранится в библиотеке. Некоторые из них я раздарил. Написал семь книг от руки, целых семь, и раздарил их друзьям. Единственной, которую когда-либо напечатали, была небольшая книжка о Хансе Райхле — “Порядок и хаос в понимании Ханса Райхля”. Было бы замечательно когда-нибудь увидеть изданными и остальные книги, хотя я и не намеревался их обнародовать.

Все книги, написанные мною для друзей, я писал от руки. Обычно я все печатаю на машинке, за исключением писем. Когда пишу от руки, у меня создается впечатление, что я более искренен, не столь литературен. За пишущей машинкой у меня все получается слишком гладко. Это напоминает проигрывание фортепьянных гамм. Моими мыслями каким-то образом управляют пальцы.

Я надеюсь вести более размеренную жизнь. Чего бы мне хотелось, так это жить спокойно, мирно и работать. Мечтаю, чтобы обо мне забыли, хочу больше находиться в тишине. У меня нет потребности в рекламе. Она меня травмирует.

694

БИГ СУР

Мужчины не представляют себе, до какой степени женщина может оставаться равнодушной к этой так называемой физической привлекательности, как они порой бывают преданы домашним, безобразным, стареющим мужчинам. Господи! Иногда мне кажется, что эти домашние ублюдки добиваются расположения самых красивых женщин.

Кажется, за всю жизнь я никогда не выбирал себе места для жилья. Меня просто заносило туда волей судеб. Не выбирал я и Биг Сур, штат Калифорния, хотя это единственное место в Америке, которое я мог назвать своим домом.

В июне 1939 года я уехал из Франции в Грецию. Когда я был в Греции, началась война. Американский консул приказал мне вернуться в Нью-Йорк. Именно там я написал книгу “Маруссийский колосс”. Я вложил в нее всю свою душу. В Греции я прожил приблизительно восемь-десять месяцев и убедился, что это подлинный рай. Я всегда считал, что только Франция — моя страна. Пытался даже принять французское гражданство. В то время это стоило определенных денег, а мне никогда не удавалось наскрести необходимую сумму. Если бы удалось, я, безусловно, стал бы гражданином Франции.

Во всяком случае, попав в Грецию, я открыл для себя абсолютно новый мир. Главным образом то был мир природы и древних святынь. Никогда прежде мне не доводилось

бывать .в таких местах, где бы я ощущал, что это святыня. Настолько ошеломляющим было впечатление. С первого взгляда понимаешь, что здесь происходили события беспредельной значимости. А потом — этот свет, невероятный свет греческого неба! Никогда и нигде не видел я ничего подобного.

Я приехал в Грецию по приглашению Лоренса Даррелла. Он побывал в Париже вскоре после прочтения "Тропика Рака". Написал мне дружеское письмо и между нами завязалась переписка. Потом, где-то через год, он неожиданно приезжает с молодой женой. Он уже прожил какое-то время в Греции. У него был дом на острове Корфу, и он принялся убеждать меня поехать с ним. Однако туда я выбрался лишь через несколько лет, и то перед войной. Я

695

и не подозревал, что она начнется. Думал устроить себе годовой отпуск, а потом вернуться во Францию. Если бы не война, я остался бы в Греции навсегда. Она меня устраивала на все сто...

Итак, вспыхнула война, и американский консул в Афинах — кстати, довольно известный писатель, — взял мой паспорт, проставил в нем жирный крест и сказал, что я должен вернуться туда, откуда приехал. Естественно, мне не хотелось возвращаться в Америку, особенно в Нью-Йорк. Я спросил его, могу ли я уехать в Южную Америку или Китай, куда угодно, только не в Америку... "Нет!". Пришлось мне вернуться в Нью-Йорк. Это чуть не разбило мне сердце. Я не хотел этого делать, я покончил с Америкой. Но как удивительно складывается судьба! Спустя два года я оказался в Биг Суре — другом величественном месте, в некотором отношении выгодно отличавшемся от Греции, *моей* Греции. Я прожил там, в Биг Суре, семнадцать лет. А с другой стороны, что это было за место? Горы, небо, море — лишь группка людей. Удивительное ощущение уединенности.

Какое-то время я жил холостяком.

Едва обосновавшись в Биг Суре, я получил известие, что мать при смерти, так что я поспешил в Нью-Йорк, но мать не умерла, тогда не умерла.

Пока я был в Нью-Йорке, я познакомился с девушкой, выпускницей колледжа "Брин-Мор"; она намеревалась поступать в Иельский университет — изучать историю или, скорее, философию истории. Ее звали Джанина Марта Лепская. Она стала матерью моих детей. Тони и Вэл. Но когда я с ней встретился, ей было двадцать. Я увез ее с собой после того, как мы поженились в ратуше Денвера.

В Биг Суре я время от времени получал гонорары, но очень-очень скудные. Жил весьма скромно, тратил мало. У нас был свой огород, моллюсков и рыбу ловили в море. Друзья привозили нам .кое-какие продукты. Мы часто делили их с соседями. К тому же я умел обходиться немногим. Не помню, долго ли мы так просуществовали, но помню, что мой друг, Эмиль Уайт, приехавший на месяц позже меня, жил приблизительно на 10 долларов в неделю. Эта сумма включала все — ренту, еду, сигареты и вино. Представляете себе: 10 долларов в неделю! Времена меняются!

Сначала я жил в местечке, известном сейчас как Нипент, тогда это была лишь деревянная хибара. Однажды меня выселил из нее мой друг со словами: "Иди туда. Ты должен увидеть Биг Сур, и Линда Сарджент, вероятно, пригласит тебя погостить". И она пригласила. Она была сердечной, замечательной женщиной, эта Линда Сарджент.

696

Я писал и рисовал, а она готовила еду — в печке! Я прогостил у нее два месяца, а то и дольше. Потом она забеспокоилась, что я могу остаться под ее крылышком навсегда! У меня не было ни гроша за душой. Я был буквально нищий. Она помогла мне найти жилье, хижину, принадлежащую тогдашнему мэру Кармела Кейту Эвансу. Он предложил мне снять хижину за 10 долларов в месяц. Если мне нечем платить, по его словам, я могу жить в ней бесплатно. Год я прожил в его хибаре на Партингтон-ридж.

Как раз в то время я уехал в Нью-Йорк повидать мать и вернулся назад с женой. Приблизительно через год родилась моя дочь, Валентина. Затем вернулся с войны мэр, и мне пришлось убраться из его хижины. Мы переехали в лачугу на Андерсон-Крик, прямо на скале. Большак, проходящий через Биг Сур, строила колония заключенных. Мы заняли одну из их лачуг за 7 долларов в месяц. Там мы провели второй год совместной жизни.

Тогда я встретил удивительную женщину Джин Уортон, о которой писал в книге "Биг Сур и апельсины Иеронима Босха". Она нас осчастливила. Она владела домом, который сейчас принадлежит мне. Однажды она сказала: "Знаете, этот дом на самом деле подходит вам больше. Почему бы вам его не купить?" Я спросил: "На что? Ведь у меня нет денег". Она ответила: "Если вы хотите купить этот дом, я вам его продам.

Выплачивать можете по мере того, как появятся деньги. Меня это не беспокоит”. Я согласился и через два месяца неожиданно получил первый крупный чек из Франции. Сразу же выплатил полную сумму и добавил 1000 долларов сверх того.

Двое детей стали для меня счастьем. Они родились не дома — мы жили без удобств. В Биг Суре не было врача, а поблизости — ни одного телефона. С момента их рождения я стал очень счастливым человеком.

Когда мои дети были малышами, я часто вставал ночью их покормить. Более того, даже менял им пеленки. В те времена у меня не было машины; я запихивал грязные пеленки в мешок, большой бельевой мешок, и шел за шесть миль к горячим источникам (теперь они в Эсалене), стирал их в горячем ключе, потом тащил домой! Шесть миль! Это *единственный* факт, запомнившийся мне, когда дети пребывали в младенческом возрасте.

Какое-то время, после ухода жены, я жил с детьми один. Для мужчины это самая тяжелая задача — ухаживать за малышами в возрасте от трех до пяти лет, полными кипучей энергии, и сидеть с ними в четырех стенах, особенно во время дождя. Зимой, когда шли дожди, мы жили как на необитаемом острове. Я их кормил, переодевал,

697

мыл, рассказывал сказки. Я ничего не писал. Не мог. Каждый день к полудню валился с ног от усталости! Предлагал: “Давайте вздремнем”. Мы укладывались в постель, все втроем, а потом они начинали ползать, визжать, бороться друг с другом. В конечном счете я вынужден был попросить жену забрать детей к себе. Я их настолько любил, что не мог справиться с ситуацией. Это было нечто такое, чего я никогда не забуду. Думаю, это испытание усилило мое уважение к женщинам. Я понял, какую огромную работу выполняют женщины, замужние женщины, готовя еду, стирая, убираясь, ухаживая за детьми и все такое. Это не дано понять ни одному мужчине, да он с этим и не справится, даже если сам привык к тяжелому труду.

Дети были довольно близки друг к другу по возрасту, с разницей в два с половиной года. Они все время дрались, как заклятые враги. Сегодня они, конечно, закадычные друзья.

Когда Вэл начала ходить, примерно в трехлетнем возрасте, я каждый день брал ее в лес и мы долго гуляли вдоль узкого ручья. Я обращал ее внимание на птиц, деревья, листья, скалы, рассказывал сказки. Потом сажал ее себе на закорки. Никогда не забуду, как мы выучили с ней первую песенку. Это была “Янки-Дудль”. Какое удовольствие гулять и насвистывать с этой крошкой на закорках. Всякий, у кого нет детей, не знает, что такое жизнь. Безусловно, они были для меня огромным счастьем.

И в то же время у меня начались ужасные разногласия с женой. Мы оказались в высшей степени невезучей парой. В крошечной студии, где я работал, было огромное окно. Дети часто приходили и стучали в окно. “Ты можешь выйти? Можешь выйти и поиграть с нами?” Жена запрещала им отрывать меня от работы. Она их наказывала, если они это делали, но я приветствовал эти перерывы. “Разумеется, чем вы хотите заняться? Поиграть в мяч? Погулять? ” — спрашивал я. Думаю, это были самые счастливые дни в моей жизни. Самый интересный для меня возраст у детей с пяти до восьми лет. Даже когда они были поменьше, это все равно было забавно. Только не младенцами. Они должны научиться ходить и хоть что-то говорить. Как-то вечером, за ужином, я начал рассказывать сказку, у которой не было конца. Каждую ночь они говорили: “Расскажи, что было дальше”. И я тут же, не думая, продолжал свой рассказ. Фантастика. Они были очарованы, слушая этот ежедневный сериал. Я совсем не думал. У меня не было на это времени. Сказка просто лилась из меня. Я придумал 'двух неправдоподобных героев, связал их вместе, заставил их совершать сверхъестественные, не-

698

сусветные поступки. Самое главное — действовать! Интересно, что сам я никогда не знал, что будет дальше.

А дальше — дальше последовал развод. Как и принято, миновали семь лет, и брак распался. Лепская от меня ушла.

Через несколько месяцев в мою жизнь вошла другая женщина. Свалилась как гром из ясного неба. Она жила в Лос-Анджелесе и была моей горячей поклонницей. Мы начали переписываться. Она все знала обо мне, была в курсе всего мною написанного. Мы никогда с нею не виделись — до того дня, как она приехала и сказала: “А вот и я”. Это случилось в день первоапрельских шуток. Никогда не забуду! “Если хочешь, я останусь здесь”. Это была Ив.

Мы поженились не сразу. Прожили вместе семь или восемь месяцев, потом провели медовый месяц в Париже и поженились, вернувшись в Биг Сур. Должно быть, ей было самое большее лет 27-28, а мне — около 60. Меня никогда не беспокоила разница в возрасте. И не беспокоит. Не думаю, что можно делать какие-либо определенные выводы, исходя из разницы в возрасте между мужем и женой. Все зависит от человека. Для творческой натуры возраст не имеет большого значения. Посмотрите на Пабло Казальса или Пикассо. С женщиной моложе себя ты выступаешь не только в роли отца, но также в роли наставника и любовника. Что касается заката сексуальных отношений, то это опять же сугубо индивидуально. Я знаю такие браки, где секс практически отсутствует, но людей связывает родство душ. Разумеется, если мужчина старше, то он всегда — на милости молодого парня, красивого и часто безмозглого. Тот может просто взять и отбить женщину, отбить даже у самого необыкновенного мужчины.

Иногда женщина продолжает состоять в счастливом браке с мужчиной намного старше себя, возможно, заводит несколько романов, но и не думает разводиться. Мужчины не представляют себе, *до какой степени* женщина может оставаться равнодушной к так называемой физической привлекательности, как они порой бывают преданы домашним, безобразным, стареющим мужчинам. Господи! Иногда мне кажется, что эти домашние ублюдки добиваются расположения самых красивых женщин!

Меня всегда спрашивают, существует ли сходство между моими женами: полагаю, оно должно существовать. *Иногда,* я сознаю его. Иногда. И тем не менее, если их сравнить, это совершенно разные люди. Кто-нибудь сказал бы, что между ними нет ничего общего. Но *для меня* в них должно быть что-то общее. Скажу вам, что меня привлекает. Мне нравятся сильные женщины. Я человек пассивный, в известной мере слабый. Понимаете, я не отношусь

699

к типу “настоящих мужчин”, и меня всегда влечет к женщинам с сильным характером. Я это заметил. Борьба с ними сводится к борьбе умов. К тому же я убедился, что меня интригуют женщины ускользающие, которые лгут, разыгрывают сцены, сбивают с толку, все время держат в напряжении. По-видимому, мне это доставляет удовольствие!

Впрочем, я считал, что они сильно отличаются друг от друга и по складу ума, и по физическим данным, хотя должен сказать, что, в сущности, все любимые мною женщины были красивы. Большинство моих друзей с этим согласны. Они были сексуальны. Конечно, это важно, но я никогда не ставил это во главу угла. Меня интересует характер женщины, ее индивидуальность, можно сказать, душа. Трудно поверить, но душа женщины — то, что больше всего меня озадачивает.

Мужчины всегда твердят: “Женщины, которых я выбираю”. А я утверждаю, что это они нас выбирают. Здесь нет моей заслуги. Разумеется, я ухаживаю за ними, всячески стараюсь понравиться и все такое, но я не могу сказать: “О, эта телка будет моей. Это мой тип, и я собираюсь ее поиметь”. Далеко не так просто.

Многие мужчины рассматривают взаимоотношения с женщиной с точки зрения секса. Мне же интересна именно *мысль о* сексе. Меня заинтриговывает все, все, связанное с областью секса. Конечно, у меня богатое воображение. Я могу удивляться и озадачиваться тем, как это делается там и сям, везде, какими разнообразными способами и т.д. Но секс — отнюдь не императив. С таким же успехом я могу обойтись без него.

Я действительно считаю, что женщинам трудно со мною жить. И, тем не менее, знаете, мне кажется, что я — самый легкий человек на свете. Но, видимо, во мне есть что-то деспотическое. И, вероятно, критический подход ко всему на свете усугубляется, когда рядом со мной кто-то обитает— неважно, мужчина или женщина. Я склонен изображать все в карикатурном виде. Быстро нахожу чьи-то слабые струнки, чьи-то недостатки и эксплуатирую их. Ничего не могу с этим поделать.

Вот какой я человек. Сначала водружаю женщин на пьедестал, идеализирую их, а потом их же изничтожаю. Не знаю, насколько правдиво звучат мои слова, но, по-видимому, они действительно срабатывают таким образом. И, тем не менее, со всеми — кроме одной женщины — мы остаемся друзьями, добрыми друзьями. Они мне пишут и уверяют, что по-прежнему меня любят и т.д. Как вы это

700

объясните? Они любят меня таким, каков я есть, но жить со мной не могут.

Где бы я ни оказывался, я всегда работаю без особых усилий, наверное, потому, что пишу лишь тогда, когда чувствую к этому тягу. Я никогда себя не заставлял. Писал каждый день, всегда на свежую голову. Я себя дисциплинировал. Пока я жил в Биг Суре,

рано ложился спать. Там не было ни телевидения, ни радио, ничего. В 21.00 я был в постели и просыпался на рассвете. Наблюдал за восходом солнца. После завтрака шел прямо в свой рабочий кабинет и писал до полудня. Потом ложился поспать, а после этого, если чувствовал в себе силы, рисовал. И вместе с тем старался выкроить время, чтобы поиграть с детьми и погулять в одиночестве по холмам или в лесу.

Моим близким другом в Биг Суре, закадычным другом, был Эмиль Уайт, прибывший туда на месяц позже меня. Он был моим ближайшим другом и часто заходил ко мне. Или же я приходил в его хижину на обочине. Наши с ним разговоры в корне отличались от тех, что мы вели раньше в Париже с Майклом Фрэнкелем. Эмиль был беспечен и всегда готов меня покормить. Он также был большим книголюбом. Он еле сводил концы с концами, рекламируя книги по почте. До приезда в Америку его жизнь была полна приключений. В 17 лет его как-то раз приговорили к смертной казни за участие в революционном движении в Венгрии. Он чудом спасся.

В Биг Суре было вообще немало интересных людей. Конечно же, мой ближайший сосед, Гарри Дин Росс, с которым я часто виделся. Он тоже был книгоманом и обладателем замечательной библиотеки, одним из самых начитанных людей, которых я когда-либо знал. Каждый год он перечитывал любимых авторов. Я провел много удивительных часов, беседуя с ним — не только о книгах, но и обо всем на свете. Подобно многим незаурядным личностям, он был самоучкой.

Еще там жил Джек Моргенрат, приехавший из Нью-Йорка. Он был замечательным человеком, к тому же никогда не жил в деревне. Это был прирожденный раввин. В Биг Сур он приехал, потому что мечтал жить той целомудренной жизнью, о которой был наслышан. Поначалу не знал, чем заняться, но вскоре нашел себе работу огородника и ходил по домам. Иногда заходил к нам выпить стакан вина *и* просиживал часами. Мы беседовали о многом, включая религию и философию. Он был кротким, спокойным человеком, воплощением анархизма.

Потом был еще один замечательный парень, которого я вновь встретил во время своего последнего приезда в Биг

701

Сур — Говард Уэлч, мусорщик. Он был очарователен. Приехал из Миссури. Однажды он неожиданно объявился и выразил желание примкнуть к общине Биг Сура. Он заявил: “Не знаю, что я умею делать. У меня нет никаких талантов, но я готов делать что угодно”. Таким образом, поначалу он рыл канавы, мыл посуду, чинил водопровод, брался за любую случайную работу. А как-то раз обнаружил, что нам не хватает именно мусорщика. Нам запрещалось выбрасывать мусор и отбросы в океан. Мы были обязаны перевозить его в Монтерей, за сорок миль! Итак, Говард купил себе несколько огромных бочек и грузовик (кто-то его субсидировал) и каждую неделю собирал наш мусор, взимая за свои труды умеренную плату. Так зарабатывал на жизнь и отнюдь не бедствовал. Он тоже никогда и нигде по-настоящему не учился, но слушать его было одно удовольствие. Подбирал всякий хлам, притаскивал его к себе во двор, сваливал в кучу, копался в ней, сортировал и находил удивительные вещи, выброшенные людьми на помойку. Его дом заполонен этими находками — кроватями, стульями, клетками для птиц, всем. Хочу заметить, что этот человек преуспел в жизни. Не в материальном отношении, а в выражении своей духовности. Этот человек — счастливец. Сейчас он пишет, чертит, рисует и всему научился самостоятельно. Он не знает грамматики, даже неправильно произносит слова, но пишет! Я говорю ему: “Говард, это замечательно. Не переживай, если ничего не напечатают. Тебе нравится писать? Тогда продолжай”. Он ответил: “Генри, ты — единственный, кто направил меня на верный путь”. Под этим он подразумевал: заниматься тем, что тебе нравится и ничем другим. Может быть, мусором распоряжается Бог.

Там жил еще один человек — не помню, упоминал ли я о нем, — с ним я познакомился сразу, как прибыл на Партингтон-ридж. Тогда мы с ним были единственными горными жителями. Он жил на вершине горы. А я — на высоте тысяча футов. Его звали Хайме Ди Анхело, его отец был испанским послом во Франции. Хайме сбежал из Парижа в Америку 19-летним юнцом, чтобы вести жизнь ковбоя. И он им стал. Потом жил с индейцами и заделался шаманом. Он учился в университете Джонса Хопкинса — сначала на антрополога, а позже на врача. Бегло говорил на нескольких языках. Сколотил себе хижину на самом гребне горы. Перед приездом в Биг Сур жил в Сан-Франциско на широкую ногу. В Биг Суре полностью переменил образ жизни. Жил

дикарем, иногда бродил по округе абсолютно голый. Много ездил верхом, часто нагишом. В центре построенного им бетонного дома стояла огромная коло-
702
да для рубки мяса. В нескольких футах от нее — стол, заваленный иностранными словарями. Он написал книгу о происхождении разговорной речи, которую так и не опубликовали, поскольку она была слишком неортодоксальной. Добывал себе пропитание охотой и готовил на костре. Он проделал дыру в крыше, чтобы через нее выходил дым. Его постигла трагическая смерть.

В Кармел Хайлэндс у меня был друг, Эфраим Доунер, художник и прекрасный человек. По дороге домой из Монтерея, куда я ездил за покупками, я останавливался у него и мы обедали. Он был великим кулинаром. А еще мы подолгу играли в пинг-понг. Доунер был очень беден. Зарабатывал гроши. Тем не менее, когда я отправлялся в город, он ждал меня у бензозаправки, чтобы убедиться, хватит ли мне денег на бакалейные изделия. Если ему нездоровилось, он просил хозяина бензоколонки дать мне взаймы. Удивительный человек!

Через полгода после моего приезда, когда по всей округе прошел слух, что я там поселился, ко мне вереницей повалили посетители. Должен сказать, это были гости со всего света. Люди всякого звания, добрые и злые, кто только ко мне не вторгался. Часто, выполняя какую-нибудь тяжелую работу во дворе, когда ко мне заявлялся визитер, я объяснял, что у меня нет времени беседовать с ним , но, если он настаивал на разговоре, то я давал ему лопату или мотыгу и он мне помогал. И все шло своим чередом.

Я никогда не претендую на роль умельца в том деле, какое не могу делать хорошо. Все плотницкие работы брали на себя мои друзья. Я не могу прямо вбить гвоздь. У меня вообще отсутствуют способности к плотницкому делу. Мне всю жизнь везло на друзей; если я не умею что-то делать, то мне с радостью помогают в этом друзья.

Хотя я ничего не строил, безусловно, хватало другой работы, чтобы участок не зарастал кустарниками. Приходилось расчищать землю от зарослей. Не забывайте, когда я впервые приехал туда, в этих местах были буквально джунгли. Чудовищный дубняк по высоте доходил до потолка комнаты и его корни занимали площадь около половины акра, то есть большую часть участка. С помощью друга мне в основном удалось их выкорчевать. Примерно через год я принялся перекапывать весь участок размером в акр. Копал глубокие траншеи, как во время первой мировой войны, чтобы добраться до корней проклятого дубняка. Это была бесполезная работа, поскольку, по-видимому, их корни бесконечны. Я постоянно вел с ними борьбу. Даже когда спускался за почтой, у меня в руке была палка и я крошил вокруг себя заросли. Это был единственный спо-
703
соб проложить себе путь. Но я ничего не строил и не крыл крышу черепицей. Черепичной кровлей занимался мой друг Доунер. Жизнь в Биг Суре была суровой. Приходилось поддерживать превосходную физическую форму. Это была очень активная жизнь. Первые год-два я каждый день поднимался и спускался с этого холма, проходил в один конец расстояние в две мили. Длинный, крутой холм. Я не только гулял, но также таскал на спине тюки, набитые всякой всячиной — бакалейными товарами, керосином для ламп, всевозможными вещами. Часто мне приходилось ходить по два раза, чтобы забрать весь этот хлам. А потом, закончив работу, каждый день я уходил бродить по холмам. Нахаживал за одну прогулку еще четыре-пять миль. Когда дети были маленькими, один из них всегда сидел у меня на закорках.

Один раз я надолго уехал в Европу с Ив, вскоре после ее приезда, а другой — еще с кем-то, что ускорило мой отъезд из Биг Сура.

Видите ли, каждый раз, женившись, я прекращал встречаться с другими женщинами. В моей жизни всегда было много женщин, но обычно я позволял себе эти шалости, если можно это так назвать, в те периоды, когда был холост. Как я уже говорил, когда меня пригласили в жюри Каннского кинофестиваля, я попросил молодую женщину, проживавшую в Биг Суре, сопровождать меня. Ив сказала, что не возражает. Но в тот же день, когда девушка прибыла в Канн, я получил от Ив телеграмму со словами:

“Подаю на развод”.

Вернувшись из Европы, мы с Ив продолжали какое-то время жить вместе. Как вы понимаете, мне было нелегко жить с ней после развода, хотя мы и оставались добрыми друзьями. Все это время дети жили в Лос-Анджелесе со своей матерью, которая опять шла замуж и снова развелась. Дети умоляли меня приехать и общими усилиями

воссоздать семью. Они скучали по мне, мне не хватало их, так что я согласился. Ив осталась в Биг Суре и вскоре вышла замуж за моего ближайшего соседа.

В Париже я вкусил свободы, в Биг Суре —обрел спокойствие души. Думаю, я действительно там полностью интегрировался.

Во время недавней поездки в Биг Сур я не обнаружил никаких радикальных перемен — просто прибавилось домов и людей. Биг Сур остается почти таким же, каким был всегда. Он казался мне первозданным. И, мне кажется, так будет всегда.

Но жить я бы туда не вернулся. Эта часть моей жизни закончена. Стоит мне откуда-то переехать, и я покидаю

704

эти места навсегда. Кроме того, я больше не выдержал бы этой жизни физически. Подъемы и спуски с холма — слишком большая нагрузка для моего артритного бедра. Но как чудесно было в Биг Суре, когда я побывал там в прошлом декабре: и дождь, и все вокруг. Боже, в ту минуту, когда я туда приехал, я спросил себя, как я мог покинуть эти места. Бодрящий воздух, бесконечная линия горизонта. Находясь на своей веранде, выходившей на безбрежный океан, я всегда думал о Китае, до которого — тысячи миль, и о рождении нового общества, возможно, общества мирного созидательного труда.

ЖИВОПИСЬ

Важно *овладеть основами мастерства. а в старости набраться храбрости и рисовать то, что рисуют дети, не обремененные знаниями.*

Мое описание процесса живописи сводится к тому, что ты что-то ищешь. Думаю, любая творческая работа — нечто подобное. В музыке извлекаешь ноту. Она ведет к следующей ноте. Одно определяет другое. Если подходить к этому философски, идея заключается в том, что твоя жизнь — вереница мгновений. В таком случае каждое мгновение определяет последующее. Ты не должен рваться вперед, перемахивая через пять ступенек, поднимайся только на самую ближайшую, и, если можешь этого придерживаться, с тобой всегда все будет в порядке. Люди слишком далеко заглядывают, ищут окольных путей и все такое. Думайте только о ближайшем будущем. Делайте только то, что у вас перед носом. Это так просто, но, по-видимому, лишь немногие способны так жить.

Полагаю, вы не представляете себе, как я начал заниматься живописью. У меня был друг детства, с которым мы продружили всю жизнь, пока он не умер — несколько лет назад. Мы были знакомы с десяти лет. Разница между нами состояла в том, что в десять лет он уже был талантливым художником. Учитель говорил: “Эмиль, иди к доске и нарисуй нам что-нибудь”, и он шел и рисовал. К сожалению, в юности мой друг превратил свой талант в источник дохода. Надо было содержать мать, отца, сестру и брата. Он так никогда и не стал великим художником, но остался тонким ценителем искусства. Мы ночи напролет просиживали с ним, разглядывая книги по искусству, изучая

705

репродукции, обсуждая школы, периоды, технику. Это был очень важный период в моей жизни. Я еще ничего не нарисовал. Считал себя в этой области бездарью.

Положение изменилось, когда я увидел альбом акварелей Георга Гроша. На обложке этого альбома (“Ecce Homo”) — портрет мужчины. Как-то ночью, не знаю, что на меня нашло, я скопировал этот портрет и получилось очень неплохо. “Ей-богу, может быть, я умею рисовать красками”, — сказал я. Вот так я и начал.

В дни юности, когда я впервые взялся за кисть, происходило довольно много событий. Я был тогда отчаянно беден. Все, что я мог сделать, чтобы развлечься, это добыть бумагу — любую бумагу, оберточную, для завертывания мяса, удивительным образом подходящую для определенных занятий, — и рисовать.

Но не надо забывать о моем друге Эмиле, столь замечательно подковавшем меня, привившем мне художественный вкус и благоговение перед искусством. Эмиль Шнеллок из Бруклина. Он был талантлив, но не состоялся как художник. Он стал преподавателем в женском художественном колледже. Должен сказать, что учителем он был превосходным.

Впоследствии я работал с несколькими художниками, моими друзьями, — Эйбом Раттнером, Хилаиром Хайлером, Хансом Райхлем. Я сказал им, что хочу лучше узнать технические приемы. После двух-трех занятий они ответили: “Ну хватит, Генри. Не старайся научиться. Лучше обойдись без этого”. Сообща они отговаривали меня, но в мягкой форме. Они имели в виду, что не хотят убивать те крохи таланта, которые во мне были. К тому же они поняли, насколько я бездарный ученик. И были правы.

Из живописцев я больше других чтил Ханса Райхля — немецкого художника, эмигрировавшего в Париж. Его картины нравились мне даже больше, чем работы Пауля Клее. Пауль Клее и Джон Марин — два мастера акварели, к которым я хотел бы когда-то приблизиться в своей работе, но мне это не удается. И если говорить о том, кто повлиял на меня, то, несомненно, на первое место я поставил бы их и Райхля. Но еще до них, задолго до того, как я о них услышал, это были японские мастера. Они и сегодня остаются моими любимыми художниками и кумирами. Я имею в виду таких живописцев, как Утамаро, Харосиге и Хокусаи. Мне никогда не надоедает смотреть на их картины.

Мне говорят: “В этой работе вы изменили свою манеру”. На это я отвечаю, что они не понимают, о чем говорят. Как вы помните, к этому времени я нарисовал

706

3000 акварелей; я прекрасно помню все свои работы и просто не понимаю, что люди хотят сказать подобными высказываниями. Безусловно, стиль моего письма меняется. Я и сам меняюсь изо дня в день, но это не те радикальные перемены, как, например, у Пикассо, поскольку у меня отсутствует его дарование.

Порой мне бывает жалко Пикассо, хотя я и знаю, что он один из великих, поистине великих людей в таком обществе, как наше. Но я жалею его за то, что он — раб или жертва своих творений, своего рода невольник своей музы. Говорят, он чувствует себя несчастным, если не работает. Он, так сказать, не может наслаждаться жизнью, не работая. Но я должен отметить одно обстоятельство. Мне кажется, все его высказывания — кладезь мудрости, они звучат образно и остроумно. Его можно спросить о чем угодно, даже о том, в чем он ничего не смыслит, и получишь удивительный ответ. Его ум постоянно работает, и это не тот ум, что повторяет без конца: “Я знаю, я это изучал, я к этому готовился”. Нет, это ум острый, неожиданный, спонтанный. Понимаете, я думаю, в мире очень немного настоящих мыслителей, ведь по сути все мы — лунатики; мы не думаем, мы просто реагируем. Говорим то, что слышали, повторяем то, что заимствовали у других. У нас нет собственного мнения. А суждения Пикассо оригинальны, и даже если они сумасшедшие, абсурдные, перевернутые вверх дном, по-моему, они исполнены величайшего смысла.

А сейчас мне вспоминается другой факт, касающийся моей любви к китайской мудрости. Ведь для китайца все эти размышления и муки творчества — просто забава. Он не придает им первостепенного значения. Возможно, это и самая захватывающая игра, но всего лишь развлечение. Живопись — для меня развлечение. Я знаю одно: я хочу рисовать; на самом деле больше ни о чем я не думаю. Мне нравится ощущать в своей руке кисть. Но что это такое, отчего я занимаюсь живописью, что происходит, я никогда не узнаю.

Иногда я смотрю на открытку или рекламу и завожусь: “Как хотелось бы нарисовать нечто подобное”, — говорю я себе. Цветные открытки на самом деле вызывают у меня интерес. Ставлю открытку перед собой и говорю себе, что собираюсь ее скопировать. Это может быть пейзаж: гавань с лодками и здания; конечно же, нарисованный моей рукой, он оказывается совершенно другим, поскольку я неспособен даже толком скопировать.

Было время, когда те или иные страны ассоциировались У меня с определенными оттенками красок. Так Китай

707

я помню — желтый, прежелтый. Китайская желтизна — это нечто такое, что всегда меня очень интересовало. Раньше дни и ночи напролет я просиживал с Эмилем Шнеллоком, моим первым другом и художником. Мы часто говорили об оттенках красок. Однажды я спросил его: “Как у тебя получается золотистый отлив?” Да, я задавал подобные наивные вопросы. Это продолжалось всю ночь, разговор о золотистом оттенке, как его добиться, кто в этом преуспел и т. д. В течение недели или более того я сходил с ума по желтому цвету, все представлял себе в желтых тонах и рисовал желтыми красками.

Кстати, я часто использую губку. Временами добиваешься желаемого эффекта в работе над акварелью. А еще очень люблю — ив этом, наверное, я преуспел больше

всего, — когда у меня ничего не получается. Обычно это лист очень плотной бумаги, который мне жалко выбрасывать. Так что я опускаю акварель в ванночку и изо всех сил тру ее щеткой. Не имеет значения, насколько я смыл краски: следы все равно остаются. Затем переворачиваю обесцвеченный лист другой стороной и рисую на нем что-то прямо противоположное. Тусклый фон неудавшейся картины определяет новую работу.

Такого рода технические приемы можно рассмотреть с философской точки зрения, чего люди, как мне кажется, никогда себе не представляют. В наших руках некая великая сила: способность превращать одно в другое. Когда что-то не получается, ты вынужден устранять неполадки. Мне кажется, это благо ниспослано нам Богом, и это величайшее обстоятельство касается всей вселенной: оно заключается в том, что она поддается изменению. Возможны какие угодно превращения. Человек наделен частицей этой силы: взяться за неудавшееся и проигранное дело и превратить его в нечто новое и удивительное.

Часто случается, что я рисую две человеческие фигуры. Порой трудно определить, кто из них мужчина, а кто — женщина. Много раз, закончив рисовать одну фигуру, я спрашиваю себя, мужчина это или женщина? Это не имеет значения. Нарисую то, что, по моему мнению, является головой мужчины, а потом пририсую этой фигуре грудь, поскольку меня не интересует, кому она принадлежит. Порой грудь — это именно то, что интересно само по себе.

Я всегда в поиске. Чем больше я смотрю на работы Георга Гроша, тем больше восхищаюсь и удивляюсь тому, как искусно он совмещает цвет и рисунок. Он может взять большие пятна — оранжевые, черные, серые, любых оттенков, и сочетать их с затейливо переплетающимися линиями. Полагаю, это настоящее искусство, истинное мас-

708

терство. Он был великим художником. Его ранние работы пронизаны жестокостью, и они так и были задуманы — как осуждение немецкого государства; народу, всей нации вынесен смертный приговор. Не думаю, что даже Гойя обошелся с испанцами так, как Грош — с немцами. Он

оставил на них неизгладимый отпечаток. В его картинах они осуждены навечно. И, тем не менее, эти картины доставляют эстетическое наслаждение, несмотря на страшную и жестокую сюжетную линию.

В моих картинах нет иронии, но я действительно использую множество символов. Знаю, что повторяю их. Некоторые символы появляются неоднократно. Один из них — звезда Давида, и если бы вы спросили, почему, я бы не смог вам ответить. Также часто возникают луна, полумесяц или серп луны. Думаю, это чисто декоративное явление. Но у меня нет никаких побуждений использовать символы. На самом деле, я все делаю бессознательно. Это интересный и странный факт, вот почему так трудно говорить или писать о моих занятиях живописью. Когда я сажусь рисовать, то почти никогда не знаю, что собираюсь изобразить. Иногда у меня есть какие-то наметки; может быть, я хотел бы нарисовать пейзаж, но в процессе работы пейзаж может превратиться во что-то совершенно противоположное.

Я все больше и больше убеждаюсь, что самое правильное, не для всех, а для меня, отнюдь не прирожденного художника, а бесталанного дилетанта, — следовать своей интуиции: пусть кисть в моей руке решает все за меня.

То же самое и с сочинительством. Я стараюсь не думать. Пытаюсь обнажить все то, что рвется изнутри.

Существуют разные виды живописи, и, безусловно, различные школы. Их представители придерживаются определенных идей. Одни следуют этому направлению, другие тому, я — никакому. Меня заносит. Каждая картина— новое приключение.

Астрологические знаки — очень мощные символы и они для меня важны, но я слишком ленив, чтобы сопоставлять их или копировать. Так что я бездумно рисую нечто, напоминающее астрологический знак. Иногда они получаются совершенно удивительно. Безусловно, все символы пробуждают интерес. По моему мнению, единственно точным и стабильным выражением мысли является язык символов. Диапазон нашей разговорной речи крайне ограничен. Язык символов неизменен, неизгладим.

Я часто рисую рыб, потому что мне легко их рисовать. Я не стараюсь изобразить то, что у меня не получается. художник увидит рыбу на одном из моих рисунков и ска-

709

жет: “Знаете, она здесь совсем ни к месту”. Ну и что? Могу поклясться: я никогда не задумывался над тем, почему хотел нарисовать рыбу. Это получается непроизвольно. С таким же успехом я мог нарисовать и что-то другое. Подобные вещи меня не волнуют. Что действительно меня беспокоит, так это утверждение о том, что я рисую как Марк Шагал. Я горячий поклонник его таланта, но у меня никогда и в мыслях не было ему подражать. Не требуется подробного критического разбора, чтобы увидеть разницу между Шагалом и мною.

Я также прихожу в восторг от работ Утрилло и Сера. Я хотел бы найти время и силы для монументальных подробных полотен в духе Сера. У меня много горячо любимых картин, включая творения старых мастеров. А работы таких великих художников, как, например, Леонардо да Винчи, ничего для меня не значат

Иногда мне нравится раскрашивать лист бумаги заранее. Я могу просто наложить несколько тонких слоев на голубой или желтый. Часто прежде, чем начать что-либо рисовать, подбираю красивый фон. Если бумага еще влажная, тем лучше. Мне нравилось то, что происходило, когда краски расплывались, когда они мягко растекались.

Могу сказать вам еще кое-что, о чем вы и не подозреваете. Многое зависит от того, сколько у меня времени. Часто я начинал рисовать свои акварели приблизительно за час до обеда, как раз, когда начинало темнеть. Иногда мне не хочется включать электрический свет. Я смотрю на часы. В моем распоряжении 15-20 минут или полчаса. Это решает, как я буду рисовать.

Обычно я тороплюсь и работаю смелее. За десять или двадцать минут я ухитрялся нарисовать несколько весьма неплохих акварелей. Это на самом деле удивительно, поскольку, думаю, это нередко бывали мои лучшие работы. Всегда, и это действительно так, лучшие акварели у меня получаются тогда, когда я устаю и мне кажется, что я выдохся, не могу приступить к новой работе. Тогда я говорю себе: “Ну, попробую нарисовать еще одну!” И она получается удачной. Когда в вашем распоряжении уйма времени, надлежащий лист бумаги и вы все организовали соответствующим образом, вы не можете рисовать.

Чаще всего мой метод использования красок — случайность. Существует определенная гармония сочетаемых мною цветов, но на самом деле я не обдумываю это заранее. Я не всегда знаю, что получится при наложении одной краски на другую. Но по счастливой или несчастливой случайности, мне довелось жить с несколькими художниками,

710

действительно понимавшими толк в оттенках красок. Они помешались на этом вопросе. Но я никогда не мог всецело стать их преемником.

Художниками, хорошо владеющими цветом, являются дети. Когда они рисуют, то пренебрегают правилами, их движения спонтанны. Они выражают то, что чувствуют. В известном смысле, это противоречит всем критериям. Но это срабатывает, имеет успех. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что у детей это получается. Важно овладеть основами мастерства, а в старости набраться храбрости и рисовать то, что рисуют дети, не обремененные знаниями.

Наложить зеленый на зеленый, голубой на голубой, это всегда приносит блестящий эффект. Если вы ходили в художественную школу, вам обо всем этом рассказывали. Вы знаете заранее, что можно и чего нельзя делать. Потом вам приходится забыть все то, чему вас учили. Намного интереснее самому совершать открытия, чем обучаться этому в школе. Вот почему я вообще против учебы в школе.

Я пытался не посылать своих детей в школу, когда мы жили в Биг Суре, но этому воспротивились местные власти. По-моему, школьное образование действует разрушительно. Оно убивает любознательность и желание учиться. Школа выхолащивает творческое начало. Как только дети выходят из детского сада, начинается промывание мозгов. Думаю, если доходишь до всего своим умом, становишься внутренне богаче. Зачем терять время на учебу? Большинство людей, мечтающих стать художниками, бездарны, так или иначе они останутся у придорожной полосы. Так зачем пускаться в тяжелый путь? Учеба в школе создает иллюзию того, что благодаря знаниям из тебя выйдет художник. Все равно что знать, как правильно писать по-английски. Это имеет весьма отдаленное отношение к мастерству писателя.

Кто я такой? Я, что, взял на себя обязанности критика? Нет, особенно если это касается собственной работы. Когда я смотрю на нее, не знаю, с чем ее соотнести. Для

меня самое главное заключается в удовольствии просто взять в руки кисть и посмотреть, что произойдет. Другое дело, “что произойдет”. Скорее я пускаю все на самотек, чем планирую, воспроизвожу и довожу до конца. Если необходимо вынести приговор моей работе, отрицательный ли, положительный ли, то это должен быть взгляд стороннего наблюдателя, а не исполнителя. Функции исполнителя заканчиваются в тот момент, когда работу оцениваешь.

Естественно, к некоторым картинам я привязан больше, чем к остальным. Кое-какие свои работы, к сожалению, я

711

раздарил. А какие-то мне хотелось бы сохранить просто ради удовольствия смотреть на них. Кто-то может сказать, что некоторые мои картины понятнее, чем другие. Сторонние наблюдатели хотят во всем найти смысл. Хотят оправдать свои ожидания. Они не в состоянии принять картину такой, как она есть, пытаются дать ей название, как-то ее обозначить, проанализировать.

Говорят, во многих картинах лица людей в той или иной степени напоминают мое собственное. Это правда, поскольку я не знаю, как изобразить человеческое лицо в разных ракурсах. Вероятно, иногда мне хотелось бы придать лицу то или иное выражение, но я не знаю, как это сделать.

Помню, на одной из своих картин пытался изобразить город, плывущий по небу, но, не думаю, что мне это удалось. Это те мысли, что приходят на ум. Часто все упирается в вопрос техники. Как, скажите, передать ощущение чего-то плывущего или, к примеру, жидкого? Похоже, многое из того, что рисовал, я никогда не смогу повторить. Если бы мог, то постарался бы передать на бумаге гораздо больше. Помните, какие замечательные слова произнес Хокусаи, когда ему исполнилось 65 лет? Я привел их в начале одной из своих книг. Он сказал, что в 65 только начал осваивать свой метод, а он рисовал с юных лет. В 65 ему удалось его нащупать. В 75 — он мог бы чуть продвинуться вперед, а в сто лет, по его мнению, постиг бы большую часть. В сто лет, не забывайте. И он на самом деле прожил почти до ста.

Говорят, я отношусь к своим работам более критично, чем большинство художников. Иногда у меня хватает наглости критично отнестись к картинам старых мастеров. Хотите, честно скажу, что я думаю? Девяносто процентов того, что называют картинами старых мастеров, может быть выброшено на помойку. То же самое о книгах. У меня такое же отношение и к ним. Очень малая часть культурного наследия, созданного человеком за промежуток времени, названный цивилизацией, которой всего навсего — несколько тысяч лет, вообще представляется мне имеющей какую бы то ни было ценность.

Большинство людей, знающих, что я не художник, а писатель, думают: как здорово я, должно быть, развлекаюсь, рисуя, поскольку мне явно безразлично, что я рисую. Я не так хорошо разбираюсь в живописи, чтобы воспроизвести мысль, идею, выражающую мой бунт против общества.

Я вообще не знаю, почему использую определенные символы. Может быть, чтобы заполнить пространство. Ме-

712

ня все время спрашивают: “Это так или сяк? Я вижу то или это? Я отвечаю: “Это то, что видите вы, а не я”. Существует громадное различие между зрительным процессом и мысленным восприятием. Люди лишь видят глазами, они не проникают душой, а истинный взгляд принадлежит душе. Мы бы ничего не увидели, если бы не приходила в движение душа.

Временами, глядя на мои работы, люди говорят: “Как это получается, что мы не видим никакой порнографии, никаких непристойностей в ваших картинах? Почему это так?” Не знаю, почему. Это никогда не приходит мне в голову, когда я рисую. Мысль — отнюдь не отправной пункт в моей живописи. Я выражаю свои мысли, когда пишу книги. А живопись — это спонтанность, повторяющаяся изо дня в день. Какими бы ни были проявления, на бумаге они обнаруживают себя.

И пока дело обстоит так, ничто другое меня не волнует.

Кстати, совершенно так же я отношусь и к науке. Я в нее не верю. Мне кажется, что девяносто процентов научных изысканий — фикция, хотя остальные десять — открытия. Но ведь это мистика! Это срабатывает с равной силой как в жизни, так и в работе. Думаю, что одним из печальных жизненных фактов является то, что каждый планирует наперед, старается обезопасить себя, пытается поймать за хвост удачу вместо того, чтобы положиться на потусторонние силы. Мы бросаемся из крайности в крайность вместо

того, чтобы “они” вступили в действие, какими бы мистическими эти “они” не были. Предоставьте “им” возможность решать все за вас, поскольку, я думаю, что “они” знают больше, чем вы или я. Вопрос надо ставить не: “А это правда? Этого достаточно?”, а: “Это сработает?” То же самое и в занятиях живописью. Я также убедился, что это срабатывает и когда я пишу, поскольку, часто отступая от правил, я заметил, что так написал лучшие страницы своих книг.

Я не считаю, что наука и магия — сходные явления. Это разноименные полюса. Магия существует с древних времен. Наука появилась недавно. Недавно — может, две тысячи лет назад или десять тысяч лет назад. Годы не имеют большого значения. Прошу прощения за профессорский тон. Я ничего об этом не знаю. Но это моя инстинктивная реакция. Я враг — ученому, а он, думаю, наш противник априори.

В заключение должен рассказать вам кое-что о себе, что многое объясняет. Ни у одного человека в голове не царит такой хаос, как у меня. Люди думают, что я человек организованный. В доме порядок и на письменном столе —

713

порядок. Но в мыслях — неистовый хаос. Не думаю, что мог бы рисовать и писать, не будь мои мысли столь хаотичны. Совсем недавно ученые откопали древнюю рукопись добиблейских времен. Ее надо соотносить с первыми словами Книги Бытия о сотворении мира. В этом манускрипте говорилось, что Бог упорядочит хаос. Это полностью отличается от сотворения мира. Что совершил Бог, так это навел порядок. Другими словами, Он не творил мир.

Художник — всего-навсего человек, обыгрывающий нечто, существующее до него. С моей точки зрения, это — исчерпывающее определение. Артюр Рембо сказал: “Ни один человек никогда ничего не создал”. Человек — не творец. Ему дано лишь воображение и способность обыграть те или иные явления, не более того. Насколько человек в этом преуспевает, зависит от его таланта.

ПАРИЖ

Для меня секс не был ежедневным занятием. Придавая ему определенное значение, я всегда был *предан самой женщине. Больше всего меня интересует* ее *суть.*

Впервые я приехал в Париж за два года до того, как окончательно там осел. Сначала я побывал в Париже со своей женой Джун в 1928 году. У нас было достаточно денег, чтобы прожить почти год. Тогда мы не были в столь бедственном положении, в каком я оказался позже. Очень ясно помню свои первые впечатления о Париже. Наш корабль приплыл в Гавр, затем мы сели в поезд, прибывающий на вокзал Сен-Лазар в Париже. Меня ошеломил сам вокзал с его застекленной крышей и огромным залом ожидания под названием “La Salle de Pas Perdus”*. Это было очень оживленное место; поезд прибыл вечером, в самый час пик — и я не мог, с ходу во все включиться. Я совершенно растерялся. К тому же совсем не говорил по-французски. Ни слова. Знал, как сказать “да”, “нет”, “спасибо”, не более того.

Как мы добыли деньги, чтобы прожить этот год в Европе, — длинная история. Джун, моя новая жена, старалась

* Зал исчезнувших шагов *(фр.)*

714

любыми средствами дать мне возможность стать писателем. Когда мне не удалось пристроить свои произведения — рассказы и стихи в прозе, которые я сам отпечатал, — она принялась продавать их в кафе на Гринвич Виллидж и на Второй авеню. В течение этих дней она перезнакомилась со многими мужчинами; один из них страшно в нее влюбился, вероятно, он годился ей в отцы. Она разыгрывала из себя писательницу, но, конечно же, показывала ему мою рукопись. Тогда я писал роман, и она показала ему отрывки. “Замечательно, — сказал он. — У вас мужской подход. Вы подаете большие надежды”. Поскольку он не очень верил в то, что когда-либо она действительно допишет роман, он пообещал, что если она все-таки его закончит, он даст ей денег, достаточных для самостоятельной жизни в Европе в течение года. Конечно, он и не подозревал о моем существовании. И тут я дописываю роман, она отдает его, и мы получаем деньги на

поездку. Это была одна из моих книг, оставшихся неопубликованными, по-моему, она называлась “Взбесившийся член”.

В те дни центр нашей жизни переместился на Гринвич Виллидж и Ист-сайд, и, особенно, на Вторую авеню, где размещались все иностранные кафе. Потерпев неудачу с продажей рукописей, мы решили торговать вразнос импортными сладостями, которые я повсюду таскал с собой в чемодане. Сначала их взялся продавать *я.* Почти ничего не продал и стал предметом всеобщих насмешек. Тогда Джун, которая была очень красивой женщиной, взяла торговлю в свои руки, и, безусловно, преуспела. Иногда нам за ночь удавалось продать сладостей на 50-100 долларов.

Потом у нас появились деньги на поездку в Европу. Конечно же, тот человек, что дал их Джун, не собирался ехать с ней. Он был женат, связан работой, так что при всем желании не мог себе этого позволить.

Полагаю, у нас в наличии собралась сумма в размере 1500-2000 долларов, не более. Включая проезд. Мы плыли на корабле, французском лайнере — небольшом знаменитом судне, флагмане французского флота того времени.

Через несколько недель мы уехали из Парижа. Решили попутешествовать по Европе. Купили велосипеды, и я научил Джун кататься. По пути из Парижа в Марсель Джун попала в аварию, и наше велосипедное турне закончилось. Иногда мы ехали на поезде за город, какое-то время шли пешком, а потом садились на велосипеды и двигались по тропинкам вдоль каналов. Покупали кусок салями, фран-

715

цузские булки, сыр, фрукты и устраивали что-то вроде пикника. Этот превосходный завтрак обходился нам очень дешево.

Я помню, где мы жили, впервые приехав в Париж. В “Гранд-отеле де ла Франс” на рю Бонапарт, совсем рядом с Галереей изящных искусств. Я ни слова не знал по-французски, но у меня был с собой разговорник. Однажды, когда у нас не было при себе наличных денег, жена предложила мне обратиться к хозяйке гостиницы и попросить у нее взаймы. Я заглянул в разговорник и вместо того, чтобы сказать: “Не могли бы вы *одолжить* нам денег”, сказал: “Могу ли я дать *вам.* взаймы”. Она рассмеялась и ответила: “Конечно!” — но деньги одолжила.

Через год, когда я приехал один, то был очень, очень беден. Жил в постоянном ожидании денег от Джун. Сначала питался в скромном ресторанчике на замечательной маленькой улочке, прямо за плас Сент-Сюльпис, который назывался “Le Gourmet”*. Там хорошо готовили, и обед обходился примерно в 27 франков. Включая вино и десерт. У вас была салфетка с кольцом, которую вы клали на стойку, закончив трапезу; салфетки менялись раз в неделю. Примерно через месяц я решил поговорить с хозяйкой ресторанчика, поскольку знал, что рано или поздно мне придется ей это сказать: “Если потребуется, — не знаю, как я умудрился выучить всю фразу, но я ее осилил, — вы покормите меня в кредит? Могу я по-прежнему у вас столоваться?” И она, не задумываясь, ответила: “Да, конечно”. Прошло несколько недель, и я попросил у нее разрешения питаться в кредит. Должно быть, столовался у нее еще два месяца, и мне ни разу не намекнули про деньги. Это было замечательно. Таков был Париж 1930 года.

Джун жила тогда в Нью-Йорке и по возможности высылала мне деньги. Где она только не работала. Я никогда не знал, как ей удавалось добыть денег, и не слишком вдавался в подробности. Она помогала мне, пока могла, но это продлилось недолго. По какой-то причине ее заработкам пришел конец, и я был загнан в угол. Потом наступили те ужасные дни, когда я просыпался с мыслью встретить знакомое лицо, кого-то, кто бы меня накормил и приютил на ночь, поскольку больше не мог позволить себе жить в гостинице.

* Гурман (фр.)

716

Тогда мне было не до фраков. Важнее было найти еду и ночлег. Это был кошмар. И так продолжалось год.

Потом как-то раз в американском клубе я наткнулся на одного парня, заявившего, что я похож на его бывшего начальника отряда бойскаутов. Он был адвокатом, совсем молодым человеком, мечтающем о карьере писателя. И выпускником Йельского университета. Отнесся ко мне с отеческой заботой. Услыхав о моем безвыходном положении, предложил пожить у него. Вечером я часто готовил ему ужин. Помню большую кухонную плиту, яркое пламя конфорок, снег на оконном стекле (квартира

была огромная). Я убирался в доме, топил камин и к его приходу с работы везде царила идеальная чистота.

В те дни я готовил еду. Не был превосходным поваром, но мог сварганить ужин почти из ничего. Частенько тушил мясо.

Я прожил у него четыре-пять месяцев и все это время писал, даже в самые первые дни. Конечно, тогда я не брался за книги. Это были письма, ставшие основой моих книг, скажем так. Я писал на родину близкому другу-художнику, вдохновившему меня на занятия живописью, Эмилю Шнеллоку. Сейчас выходит сборник моих писем к нему. Каждый день я описывал все, что со мной происходило, что я открыл для себя в Париже. Многие письма послужили материалом для “Тропика Рака”.

Потом я познакомился с Альфредом Перле, ставшим моим закадычным другом на время моего пребывания в Париже. Фред жил в гостинице, очень дешевой, и я часто ждал двух часов дня, пока он закончит работу. Я ждал его в кафе, а потом мы шли в его гостиницу. Это были времена, когда войдя в отель, самый недорогой, вы нажимали на кнопку и дверь открывалась. Проходя мимо окошечка консьержки, вам надо было назвать свое имя и номер комнаты. Когда Фред выкрикивал свое имя, я крался на цыпочках прямо за ним, еле касаясь пола, чтобы не спугнуть портье. Затем приходилось спать в постели с Фредом. Представляете!

Утром, уходя на работу, Фред оставлял мне деньги на камине, чтобы я позавтракал. Если кто-то заходил, я делал вид, что забежал к нему на минутку. Так продолжалось до тех пор, пока он не устроил меня корректором в “Чикаго трибюн”. Платили крайне мало. Обычно мы просаживали недельный заработок за один вечер на вкусный ужин и кино.

717

В конце концов мы решили снять маленькую квартирку в пригороде Парижа; местечко называлось Клиши. Позже я написал об этом эпизоде небольшую книгу — “Тихие дни в Клиши”. Сейчас по ней сняли фильм. Через некоторое время нам удалось купить два велосипеда. По субботам и воскресеньям обследовали окрестности.

Мы проводили много времени, слоняясь по кафе — таким, как “Купол”, “Селект”, “Ротонда” и другие. Когда деньги кончались, искали расписание прибытия кораблей. На них всегда находились студентки колледжей, молодые американки, приезжающие в Париж на каникулы. Мы открыли способ, как поддерживать с ними знакомство. Они покупали нам еду и ссужали нас деньгами. Вдобавок время от времени бесплатно занимались с нами любовью.

Женщины... Всегда было много проституток. Довольно недорогих. Я бы сказал, что сегодня их услуги стоят примерно в двадцать раз дороже. То же самое — и с номерами в гостиницах. Задумайтесь, комната, в которой жил Перле, — убогая лачуга без ванны, туалет в коридоре и т.д. — ну, если я не ошибаюсь, обходилась 3.50-4 доллара в неделю. Знаете, сколько сегодня стоит подобный номер? Около десяти долларов в день. В день!

Всегда вокруг было множество проституток, с некоторыми мы подружились. Одну из них звали мадемуазель Клод, ее историю я описал. Она была довольно необычной девушкой. Жермена (я упоминал о ней в “Тропике Рака”) на самом деле ничего для меня не значила. В то время, когда я работал корректором в “Чикаго трибюн”, неподалеку от редакции было маленькое бистро, где мы обедали после работы. Задняя комната была такой просторной, что вмещала дюжину клиентов. Мы заканчивали работу в два часа дня — время, когда и проститутки прекращали работу, чтобы присоединиться к своим maqueraux*.

В дальней комнате бистро мы все встречались и вместе обедали. Помню алжирскую девушку с большими выразительными глазами, красивую проститутку, к тому же очень начитанную. Мы часто разговаривали с ней о Прусте, Поле Валери, Андре Жиде и т.д. Она хорошо знала их произведения.

Однажды вечером после окончания ее работы я случайно наткнулся на нее. Я тоже отработал свое. На Монмартре есть бар. Вижу, она мертвецки пьяна. Мне нра-

* Сутенерам (фр.)

718

вилась эта девушка и не хотелось, чтобы с ней что-нибудь случилось, поэтому я предложил отвезти ее домой. Только мы прошли несколько кварталов, прямо напротив знаменитого публичного дома, очень популярного, который держали две англичанки, как она решает пописать. Садится на корточки, и из под нее прямо в сточную канаву течет струйка. Следующий факт заключался в том, что она решает заодно и покакать. Затем к

нам подошел полицейский и пригрозил забрать нас в участок. Мне как-то удалось уговорить его этого не делать. Я сажаю ее в такси и отправляю домой. Она ревет белугой.

Не помню, чтобы я когда-либо болел в Париже триппером, но страшно страдал от геморроя. Я не избавился от этой напасти до последнего времени, пока не встретил в Беркли замечательного уролога, после нескольких визитов он сказал: “Знаете, не думаю, что вам стоит и дальше беспокоиться по этому поводу. Если у вас рецидив, просто не позволяйте ему вас беспокоить. Не думайте об этом. Все пройдет. Главное, постарайтесь не волноваться”. Я принял его совет близко к сердцу и больше никогда не страдал от этого недуга.

Как я уже говорил, моим веселым собутыльником в те дни был Альфред Перле. Он бывал у меня почти каждый день, мы общались и мне часто приходилось его кормить. В случае необходимости я мог приготовить еду на пять-шесть человек. Если к обеду приходили девушки, мы всегда умудрялись угостить их отборными винами. Часто к концу обеда напивались. Перле взял на себя роль шута. Однажды вечером, когда он был пьян, одна из девушек спровоцировала его раздеться. Сказано — сделано. Во время резкого танцевального па он смахнул на пол стаканы. К этому времени его пошатывало. Затем он начинает изображать Гитлера, что у него здорово получалось. Подпрыгнув, поскальзывается и падает на осколки стекла. Вскоре по всему телу сочится кровь. Все смеются, включая самого Перле, который к этому времени напоминает кровавое месиво. Когда девушки ушли, я положил его на кушетку в студии. Ночью он с нее упал. Когда забрезжил рассвет, он обнаружил себя лежащим в луже крови и блевотины. И, тем не менее, поднялся и, смеясь, дотащился до ванны.

Сегодня жизнь совсем другая.

Все о том, как и где я жил в Париже, описано в “Тропике Рака”. Я переезжал с улицы на улицу, из отеля в отель, из квартиры в квартиру день за днем. У меня не

719

было постоянного адреса. Я вставал утром, вечно без гроша в кармане, спускался на бульвар Монпарнас, проходил мимо “Купола”, “Селекта”, “Ротонды” в поисках, как я всегда говорю, дружеского лица. Я стал похож на преступника, вглядывающегося в лица прохожих. Он ли — моя продуктовая карточка? Он тот парень, кто мне поможет? Я довольно точно определял людей. Обычно моими благодетелями были американцы или англичане, временами — русские. Редко — французы.

Я самозабвенно врал, от чего, разумеется, никогда не испытывал угрызений совести. Даже сегодня, если надо, я могу соврать, не моргнув глазом. Считаю, что ложь во спасение — это не ложь. Думаю, ложь, не наносящая никому ущерба, ложь, позволяющая тебе уберечь себя от крайности, оправданна. Нет, у меня никогда не возникало никакого чувства вины по этому поводу. Безусловно, я плел самые разные небылицы. Когда вспоминаешь о критическом периоде, когда твоя жизнь висела на волоске, уже не помнишь ни своих действий, ни слов, поскольку это происходило в данную минуту, спонтанно и искренне. Даже если это была ложь, она была истинной. Ее размыло в твоей памяти. У меня никогда не было определенных установок. Я никогда не культивировал это в себе. Всегда действовал интуитивно, бессознательно.

Не помню, как познакомился с литературным агентом. Это был известный писатель Уильям Эспенволл Брэдли. Сначала я показал ему другую книгу (она не особенно его заинтересовала); я написал ее в Америке. А потом — эту новую — “Тропик Рака”, — и он тут же ею загорелся. Сказал, что во всем мире существует только один человек, который осмелился бы ее издать. Речь шла о Джеке Кахане, владельце издательства “Обелиск пресс”. Джек Кахане, англичанин, уроженец Бирмингема. Прожил в Париже много лет и обрел здесь вторую родину. В основном издавал порнографические книги, большую часть которых написал сам под псевдонимом: Время от времени он публиковал книги хороших писателей, таких, как Джойс. Когда Брэ дли принес ему рукопись “Тропик Рака”, он решил вынести ее на суд общественности. Немедленно показал ее своим французским друзьям, писателям и критикам, чтобы те ее оценили. Все отнеслись к ней с энтузиазмом, но никто не верил, что ее можно опубликовать. Считали ее слишком смелой даже для Парижа. Ему потребовалось два, почти три года, прежде чем он отважился на ее публи-

720

кацию. А деньги на первое издание книги предоставила Анаис Нин.

Ожидая выхода книги, Кахане предложил мне написать небольшую монографию о Д. Г. Лоуренсе. Я никогда не собирался писать подобную книгу, хотя очень интересовался

творчеством Лоуренса. Идея Кахане заключалась в том, что моя вторая книга должна носить другой характер, должна некоторым образом создать мне репутацию литературного деятеля. Я решительно возражал. Тогда он сказал: “Ну, вы же, безусловно, можете написать сотню страниц о Лоуренсе, вашем любимце, не правда ли?” Я неохотно согласился. И засел за исследовательскую работу. На основе объемистых конспектов написал 800 страниц и бросил эту затею. Я не смог закончить работу. Основательно запутался.

Думаю, что даже тогда я чувствовал, что у Лоуренса и у меня совершенно разный подход к жизни. Мне казалось, что Лоуренс придает сексу слишком большое значение. Во всяком случае, это скромное поручение написать страниц сто было дано мне на погибель. Я никогда не помышлял о прогулке по лабиринту, из которого не выбраться. Я был настолько поглощен идеями Лоуренса, что уже не различал, где мои мысли и где его. Я убедился, что он, как и я, полон противоречий. Как одержимый, я что-то записывал дни и ночи напролет. Не расставался со своим блокнотом. А в ресторане писал на бумажной скатерти.

До этого случая со мной никогда не происходило ничего подобного, после — такое случалось редко. Этот прецедент помог мне узнать кое-что о себе самом. С одной стороны, я писатель, а с другой — человек, наэлектризованный идеями, — и потому терплю фиаско. Работу над Лоуренсом я оборвал на утверждении, прямо противоположном тому, что говорил вначале. Я совершенно запутался, несмотря на то, что написал несколько абсолютно законченных глав. Сомневаюсь, что когда-либо снова возьмусь писать о чьем-либо жизненном пути и творчестве.

Секс я считаю таким же естественным явлением, как появление на свет или смерть. Не думаю, что это тема для особого обсуждения. Это важная сторона жизни — ее неотъемлемая часть, если хотите, но не понимаю, зачем придавать ей столь большое значение. Тем не менее Лоуренс возвел секс в культ. Он уделял ему особое внимание. Мне кажется, подспудно он имел в виду два возможных пути спасения от действительности: уход в религию или само-

721

забвенное занятие любовью. Что ж, я не считаю секс освобождающей силой. По-моему, Лоуренс придавал этому сверхъестественное значение. Мне понятна его позиция, это был своего рода бунт против морали его времени, но он зашел слишком далеко: проповедовал секс и создавал его приверженцев, что превращало его в посмешище. Он никогда не ладил со своими последователями и, вероятно, в душе от них отрекался.

Если бы когда-нибудь Лоуренс прочитал мои книги, он, наверное, был бы возмущен тем, как я пишу, как описываю сексуальные отношения. Он никогда не употребил бы тех выражений, которые встречаются в моих книгах. Сегодня его произведения кажутся просто невинными детскими забавами. Он никогда не прибегал к ругательствам. В нем чувствовалось нечто пуританское. Возможно это присуще и мне. Я не щеголяю бранной лексикой без необходимости. Это хорошо вовремя и к месту. И должно создавать определенное настроение. Я не сыплю словами из четырех букв по поводу и без повода, как водитель грузовика. Интеллигенты склонны употреблять такого рода выражения для красного словца. Я их за это презираю.

По сути говоря, я не знаю, почему люди поступают так или иначе. Не думаю, что человек делает что-то умышленно или по очевидным причинам. Мотивы наших поступков много глубже, чем нам кажется, и гораздо более темны.

Джун приезжала два-три раза, с промежутками, на несколько недель. Мы по-прежнему были женаты, когда я жил в Клиши. Это было в году 1933 или 1934. В 1934 — я переехал в Виллу Сера; в день моего переезда вышла моя книга “Тропик Рака”. К этому времени Джун уже от меня ушла.

Там все казалось намного проще. Здесь, в Калифорнии, расстояние — важный фактор. Даже прислуга позволяет себе иметь машину. Там же, в Париже, никто из моих знакомых не был владельцем автомобиля. Проехаться в такси — даже это было событием. Совсем другой была окружающая атмосфера. Никто не страдал от отчуждения или отсутствия общения. Мы всегда поддерживали связь друг с другом. Я был эмигрантом в чужой стране, где ощущал себя необычайно свободным.

В Париже я чаще всего общался с Майклом Фрэнкелем, с ним мы вели замечательные беседы. С ним же написали “Письма о “Гамлете”. В первое время он ненадолго приютил меня. Фрэнкель был коммерсантом в полном смысле

722

этого слова. Играл на фондовой бирже и сколотил целое состояние на продаже книг.

Он был писателем и поэтом. Человеком с богатым воображением и блестящей памятью. Во многих отношениях мы были созданы друг для друга, особенно, когда дело доходило до разговоров. Он сдавал мне квартиру, в которой я жил в Париже последние четыре года. Сам жил внизу, на цокольном этаже. По утрам часто будил меня к завтраку. Я готовил завтрак (он ни черта не умел делать), и мы затевали беседу. Потом я кормил его ланчем и ужином! Он мог просидеть у меня до ночи. Не говоря уж об этих изнурительных разговорах.

Он обожал беседовать на тему смерти. Он написал книгу “Смерть-ублюдок”. По его мнению, мы должны пережить все и все преодолеть. Должны пройти по туннелю, чтобы выйти на свет. Он утверждал, что единственной реальной смертью является смерть-при-жизни, отнюдь не телесный конец. Он был метафизиком и логиком. Иудейским племянником Шекспира, с острым как бритва умом раввина.

А как мы ссорились! Именно ссорились. Книга “Гамлет” представляла собой непрерывную дискуссию, растянувшуюся почти на тысячу страниц. Он принадлежал к типу людей, которые верят в силу убеждения. Что касается меня, я ему подыгрывал. От меня требовалось одно — разжигать страсти. Я наслаждался беседой ради беседы, будь что будет. Фрэнкелю всегда хотелось удостовериться, что я его понимаю: “Вы согласны со мной? Вам это понятно?” И так далее. Он вел себя как мэтр.

Мы общались целых пять лет. Потом он уехал из Франции в Америку, там он и умер. Назревала война и каждый год люди думали, что на следующий она разразится. Так продолжалось около пяти лет. Каждый год новый поток беженцев устремлялся в Америку в страхе, что вот-вот грянет война.

Антонен Арто — удивительная личность того времени — был уже совсем сумасшедшим, когда я впервые его увидел. Мы с приятелями сидели на террасе “Купола”, я — спиной к тротуару. Хохотали над чьей-то шуткой. Вдруг чувствую сильный удар по лопаткам. Оборачиваюсь — это Арто. Он решил, что мы смеемся над ним.

Я был довольно близко знаком с Леже. Не помню, как мы познакомились, но запомнилось, что в своей нью-йоркской квартире он несколько раз угощал меня ужином во

723

время оккупации. Эйба Раттнера я впервые встретил в Париже, но не помню при каких обстоятельствах. Мы стали близкими друзьями. Я считаю его великим художником. Знал сына Матисса Пьера: он открыл в Нью-Йорке картинную галерею, но никогда не встречался со стариком. Много позже, на Майорке, у меня произошла короткая встреча с Миро. А потом в моей жизни появился Сутин, живший в доме справа от меня на Вилле Сера. К этому времени он покончил с богемным образом жизни. Страдал болезнью желудка и печени и еще кучей всяких болячек и жил затворником. Время от времени я заходил к нему одолжить нож с вилкой или соль с перцем. Иногда он поднимался ко мне, когда у меня собиралась компания. Он был помешан на Рембрандте, которого боготворил.

На самом деле я никогда не собирался жить в Париже. В 1930 году я уехал из Нью-Йорка с намерением отправиться в Испанию, но доехал до нее лишь много лет спустя. Нет, у меня и в мыслях не было жить в Париже. Я побывал там двумя годами раньше, и меня это не очень впечатлило. Думаю, в каком бы городе вы ни жили, если вы претерпеваете глубокие лишения и не в состоянии что-либо изменить, то учитесь тому, как примириться с ситуацией. А потом открываете для себя удивительные особенности этого города. Так и я среди нищеты и страданий действительно открыл для себя Париж, истинный французский характер и еще много всего, о чем неизменно вспоминаю с благодарностью.

Некоторые люди с трудом понимают, как можно наслаждаться жизнью без гроша за душой. Тем не менее, думаю, что это самый значительный факт моей биографии, когда я остался один, безо всякой поддержки, когда помощи ждать неоткуда. Приходится каждый день обеспечивать себя, изо дня в день учиться жизни. Разумеется, ты страдаешь и чувствуешь себя обездоленным, но это так интересно и так тебя захватывает, что ты полон жизненных сил. Живешь инстинктами на уровне животного. Таким сверхцивилизованным людям, как мы, очень полезно побывать в роли хищной птицы или зверя, каждый раз с жадностью набрасывающихся на еду, просящих милостыню, то и

дело унижаемых подачками, которыми поманят да и бросят. Каждый день надеешься на чудо.

За французское издание “Тропика Рака” я получил весьма скромную сумму. Сначала спрос на него был невелик. Только со входом войск союзников его начали распродавать большими партиями. К тому времени умер Джек

724

Кахане. Умер в тот день, когда объявили войну. Его семнадцатилетний сын Морис принял на себя дела фирмы. Он не смог прислать деньги во время войны — денежные переводы запрещались. Мы были также лишены возможности переписываться, но через несколько месяцев после окончания войны я получил от Мориса письмо. Я много раз рассказывал эту историю — как я жил на берегу океана в маленькой хижине, которую снимал за 7 долларов в месяц. В одной из лачуг для заключенных. И вдруг приходит это письмо с уведомление, что мне причитается примерно 40 тысяч долларов авторского гонорара, с просьбой приехать за ним, поскольку по-прежнему невозможно его переслать. Но я не поехал. У меня уже испортились отношения с женой и я подумал, что не стоит ехать в Париж после столь длительного перерыва с человеком, чуждым мне по духу. Такой случай еще представится, сказал я себе. Деньги никуда не денутся.

Между тем мой хороший приятель, тогдашний генеральный консул в Лос-Анджелесе Рауль Бертран услышал об этой ситуации и пообещал это дело провентилировать. В конечном итоге я получил часть денег, и мне хватило их на дом в Биг Суре, который по-прежнему является моей собственностью.

Вернувшись из Парижа, я узнал о смертельной болезни отца. Он медленно умирал от рака предстательной железы. Я приехал из Европы таким же нищим, как и уезжал. Думал, что у матери нет денег, но позже узнал, что она кое-что скопила. Она никогда не говорила мне об этом и всегда вела себя так, словно у них за душой нет ни гроша. Например, не разрешала отцу покупать даже сигареты; утверждала, что это вредит его здоровью. Представьте себе:

человек умирает от рака, что-то может это изменить? Мне приходилось проносить их тайком. В период, когда отец умирал, я действительно узнал его лучше, чем когда-либо. Мы полностью понимали друг друга. У него было много друзей: все отзывались о нем очень тепло.

Затем пришло время отправиться в путешествие, которое в последствие превратилось в “Кошмар в кондиционированном воздухе”. Я рискнул принять на себя обязательство. Эйб Ратт нер, мой друг — художник из Парижа, составил мне компанию. “Даблдей” согласился издать книгу. В Начезе, штат Миссисипи, я получил телеграмму, что отец при смерти. Я тут же сел в самолет, но прилетел в Нью-Йорк слишком поздно. Он умер в еврейском госпитале. Все наши семейные врачи поумирали, и матери при-

725

шлось обратиться к доктору-еврею. Мать ужасала мысль о том, что ему придется умирать в еврейском госпитале. Как оказалось, умер он умиротворенным. В последние минуты жизни, он рассказывал сиделкам о том, какой я замечательный сын, что было абсолютной неправдой.

Я впервые столкнулся со смертью, увидев в канаве мертвую кошку. Тогда мне было лет пять. На самом деле это было мое первое серьезное потрясение — увидеть уже гниющий окостеневший труп. А еще помню, как, выздоравливая, сидел у окна и наблюдал, как мягко падает снег, и пальцем выводил узоры на покрытом инеем оконном стекле.

Смерть. Она интриговала меня, поскольку последние десять лет я остро сознаю, что однажды умру. Прежде я почти никогда не задумывался о собственной смерти. Что я чувствую? Что думаю об этом? Что ж, никто ничего не знает о смерти! Полная пустота. Никто еще не воскресал из мертвых. Я так сильно люблю жизнь, что мне трудно себе представить, как я с ней расстанусь. Смерть я рассматриваю как переход из одной формы существования в другую. Может быть, происходит перевоплощение, но, если это так, не думаю, что оно соответствует нашим представлениям о нем. То, что мы видим, — превращение. Мы не видим исчезновения. Одно переходит в другое. У меня нет страха перед смертью. Порой я даже зову ее. Иногда, лежа в постели, прекрасно себя чувствуя, говорю: “Сейчас пришло время умереть. Я чувствую себя превосходно, я полон сил. Пусть приходит сейчас. Я готов к встрече с ней”. Так что должен относиться к ней как к случайному соседу в зале ожидания. Помните, что святой Франциск, умирая, сказал:

“Братец Смерть, я о тебе все забыл. Должен написать стихотворение в честь Братца Смерти”. Какой замечательный путь к смерти! Что-то в этом духе чувствую и я.

ДЕТСТВО

Тем не менее, десятилетними мальчишками мы собирались где-нибудь на задворках и давали девчонке пенни, намереваясь ее трахнуть. Делали вид. Было щекотно и приятно.

Я хорошо помню себя в любом возрасте. Период от года до девяти запомнился мне как “рай”. Тогда мы жили
726
в старом районе Бруклина, Уильямсберге. На стыке двух веков, в 1900 году, мы переехали в другой район. Мне как раз исполнилось десять. Жили на улице “ранней скорби”, как я ее прозвал, в населенном немецкими иммигрантами квартале в округе Бушвик. Я ходил в среднюю школу.

Я запомнил этот период главным образом потому, что мне пришлось встретиться с целой ватагой ребят и поладить с ними. У меня произошла с ними стычка, поскольку поначалу они пытались превратить меня в козла отпущения. Тем не менее вскоре я стал их лидером. Когда я впервые прошелся по улице, кто-то из них положил мне на плечо деревяшку. Тогда у ребятишек была такая игра: тебе на плечо кладут деревяшку, и ты обязан к кому-нибудь обратиться, чтобы ее сбросили. Если этого не делаешь, тебя бьют. Драться я отказался, что сочли страшной трусостью. Я объяснил, что знать их не знаю, ничего против них не имею и не вижу повода к драке.

В нашем районе была пресвитерианская церковь, куда я ходил, поскольку при ней создали юношескую военную бригаду. Она называлась “Батарея А береговой артиллерии”. Мы одевались в форму, обучались приемам стрельбы, и в конце концов я поднялся от рядового до младшего лейтенанта. Здесь занимались мальчишки в возрасте от десяти до четырнадцати лет. В то время эти подростковые отряды создавались при нескольких церквах. Я ходил в церковь исключительно по этой причине. На проповеди мне было наплевать. Такова, была единственная религиозная организация, к которой я когда-либо принадлежал.

Улицы были все еще вымощены булыжником, а автомобиль был новшеством. Помню удивительные осенние дни, когда мы собирались на пустыре и рыли пещеры. Иногда стреляли по воробьям и жарили их на костре. У меня был “винчестер” 22 колибра. У большинства мальчишек — винтовки. По поводу оружия ограничений не было, и люди им не злоупотребляли.

Вслед за девчонками мы залезали в подвал и подсматривали за тем, как они писают. Достанет ли струйка до потолка? Что-то вроде этого. Но мы с ними не трахались. Тем не менее, еще десятилетними мальчишками мы собирались на задворках и давали девчонке пенни, намереваясь ее трахнуть. Делали вид. Было щекотно и приятно.

Помню и это; в те дни я многому научился. Получил на пустыре прекрасный инструктаж. В нашей компании был один толстяк по имени Льюис. Он был постарше нас. И
727
часто рассказывал удивительные истории, легенды, мифы, сказки о сверхъестественных силах. От этого парня я почерпнул больше, чем из школы. Мы разговаривали обо всем. Мы были любознательны. А сегодня ребятишки, похоже, скучают, не знают, чем заняться. Мы задавались такими вопросами как: “Кто создал Бога? Откуда взялась дева Мария?” И все в таком духе.

Когда я в конце концов сдал выпускные экзамены в средней школе, тогда мне было лет семнадцать, мы организовали клуб “Мыслители”. Название было ироническим. Среди нас был один парень — страшный молчун, а на самом деле — бестолковщина. Но всегда делали вид, что он великий мудрец, поскольку чаще всего он помалкивал. Безусловно, все мы отдавали отчет в том, что он просто дурак. Отсюда и название — “Мыслители”. Затем появилась еще одна группка в другом районе Бруклина — Гринпойнте. Мы дружили между собой и решили объединиться. Создали клуб из двенадцати членов и назвали его “Обществом Ксеркс”. Общество ничем не занималось и название ровно

ничего не означало. Это был всего-навсего предлог для наших встреч. Все мы закончили среднюю школу, и ни один не пошел в колледж. Все музицировали: один играл на фортепиано, другой — на скрипке, а кто-то хорошо пел. Раз в две недели мы собирались у кого-нибудь дома и всю ночь играла и пели. Представьте себе, как это непохоже на сегодняшний день! Так продолжалось года два-три. У нас не было далеко идущих амбиций, и мы относились друг к другу бескорыстно и с большой теплотой. Родители обеспечивали нас едой и выпивкой, когда мы собирались у кого-то дома.

Тогда мы не нуждались в компании девушек. Время от времени устраивали большие вечеринки и играли в почту, что означало уединиться с девчонкой в темной передней и поцеловаться. Ни у кого из нас тогда не было с девушками близких отношений. Я должен это пояснить. Кажется странным, что в это время я не занимался любовью, но причина в том, что я был безумно, страстно влюблен в свою одноклассницу. Однако у нас никогда не было близости.

Так продолжалось три года! И это было великолепно. Каждый вечер после ужина я шел к ее дому и возвращался назад. До ее дома я доходил почти за час лишь для того, чтобы пройти мимо в надежде, что в этот момент она случайно окажется у окна. Это было сумасшествие, глупость,

728

идиотство, продлившееся три года. Для меня не существовало других женщин, мне это и в голову не приходило. Я думал только о ней. И не представлял себе близости с ней, поскольку преклонялся перед ней.

Приблизительно в это время я три-четыре раза переспал с проститутками. Вообще-то на последнем году учебы в школе я впервые посетил публичный дом и тут же подхватил триппер. Этот бордель находился на 34-стрит, к западу от Херальд-сквер. Эта улица была рассадником публичных домов, где в основном работали француженки. Позже я снова побывал в этом квартале, но пошел уже в другой бордель. И мне как всегда не повезло: я заразился еще раз. Я переболел им два или три раза.

Когда нам было по 18-19 лет, мы придумали для себя это общество “Ксеркс” и развлекались как дети. До 25 лет я играл на фортепиано. Женился на девушке, обучавшей меня игре на рояле. На этом учебе пришел конец. Душой компании были два-три человека. Впоследствии забавно было об этом вспоминать. Среди нас были бездельники, активисты, балагуры, честолюбцы. Сейчас я вижу всю эту градацию очень четко. Мы с одним парнем играли роль клоунов, поддерживающих веселье. Энтузиазм присутствующих спадал, фантазия истощалась — все засыпали. Нам с приятелем так хотелось расшевелить компанию, что мы практически вставали на голову, чтобы вывести своих друзей из сонного состояния. Разыгрывали нечто вроде эстрадного представления: танцевали джигу, пели, рассказывали анекдоты, пародии, все, что угодно, лишь бы расшевелить уставшую компанию. Как наивно все это выглядит сейчас.

В восемнадцать лет я пошел работать клерком в Атлас Портлэнд Симэнт Компани. Это было мое первое место работы после школы. После работы я давал уроки музыки за 35 центов в час. В доме у одной маленькой ученицы познакомился с одной интересной вдовой, подругой матери моей ученицы. Так начался мой первый роман. Он не был лишен романтики, но, безусловно, был полной противоположностью моей первой целомудренной любви. Но к этой женщине, которая была намного старше меня, я испытывал большое чувство. Мы счастливо прожили вместе какое-то время, я даже перевез к ней взятое напрокат пианино. Тогда мне было девятнадцать лет.

По странному стечению обстоятельств моя прежняя возлюбленная жила напротив вдовы. Она уже вышла за-

729

муж и теперь обитала на противоположной стороне улицы. Конечно, узнал я об этом не сразу.

После школь! я шесть недель проучился в Нью-йоркском муниципальном колледже. Что меня доконало, так это “Королева фей” Спенсера. Я заявил, что лучше уйду, чем буду читать подобную ересь. Потом, спустя почти два года, я решил стать инструктором физкультуры. Посещал Школу борьбы Сарджента, что на площади Колумба. Курс был рассчитан на четыре года, но меня не хватило надолго, поскольку отец пил и мать умоляла меня пойти работать к нему, чтобы оградить его от пьянства.* В это время я был в превосходной физической форме. Помешался на своем здоровье и физических упражнениях. Каждый вечер делал зарядку. Стал заядлым велосипедистом. Катался на двухколесном гоночном велосипеде, купленном у гонщиков на Мэдисон-сквер-гарден

после шестидневного велокросса. Я частенько задавал им темп во время гонок. Для меня это было развлечение, а они использовали меня, поскольку я был молод, имел здоровое сердце и не задумывался о том, что могу убиться. Ведь не так-то просто задавать темп велокросса. Эти гонки проходили на живописной гравиевой дорожке из Проспект-парк до Кони-Айлэнд. Шесть миль туда и шесть — обратно.

В определенном смысле в это время на меня оказали влияние другие спортивные фанаты — такие, как Чарлз Этлэс и Бернард Мэк-Фэдден. Я — хиляк, но во мне кипела энергия. Затем наступал период увлечения спортивной борьбой, когда я ходил на встречи по борьбе, чтобы увидеть таких борцов, как Джим Лондос, Человек с тысячью ухваток и Душитель Льюис. Ходил я и на встречи по боксу. Джек Джонсон, Стэнли Кэтчел — я часто бывал на их тренировках. Никогда не видел Джека Джонсона на ринге, но встретил его много лет спустя, а точнее — спустя сорок лет. Он держал небольшой бар на рю Фонтэн в Париже. Даже тогда он, по-моему, все еще был в великолепной форме. Не выглядел опустившимся человеком. Представляете себе его массивную, величественную голову? На стене моей ванной комнаты висит его сегодняшняя фотография. Он был моим кумиром.

Затем пешие прогулки... Я выходил на эстакаде, на остановке Дэлэнси-стрит. Оттуда шел до Пятой авеню и 31 стрит. Это была отличная, почти часовая прогулка. Все это время я казнился тем, что я — писатель, так никогда ничего и не написавший. Лишь однажды я предпринял такого

730

рода попытку. Написал огрызком карандаша полстраницы и бросил. Решил, что никогда не смогу стать писателем. Однако это копилось внутри меня; во время своих прогулок я сочинял всякие истории и новеллы, наполнял их характерами и диалогами. Мне хватило бы материала на несколько книг. Я говорю о том периоде, когда я работал у отца в ателье.

По дороге в ателье я останавливался перед определенной витриной магазина, торгующего рамами для картин, где я впервые увидел японские гравюры. И репродукции Шагала, Утрилло и Матисса. Вот с чего начался мой интерес к живописи. Все это время я неустанно говорил себе, что из меня никогда не получится писатель. Но перечитал книги всех писателей того времени. Например, мне запомнился Джон Дос Пассос, тогда уже довольно известный. Вероятно, мы были сверстниками, а у него уже было имя. Он участвовал в войне и написал об этом книгу. Читая ее, я говорил себе: “Господи, да ведь я могу писать ничуть не хуже”, — но так никогда и не попытался.

Мое настоящее образование началось, когда я ушел из колледжа. Я начал читать те книги, которые мне были интересны, которые утоляли мою жажду знаний. Тогда мне хотелось узнать все обо всем. Я перечитал массу всевозможных книг — о философии, экономике, религии, антропологии, о чем угодно.

Я буквально раздваивался. С одной стороны, мне страшно хотелось заниматься спортом, а с другой — тянуло к литературе. Я читал постоянно и всегда выбирал фолианты поувесистей. Для своих приятелей я был фигурой загадочной. Участвовал во всех соревнованиях, но они не конкурировали со мной. Держали меня за чудака. В конечном счете я от них отошел.

Еще ребенком родители отправили меня в воскресную церковную школу. На самом деле они не были верующими. По вероисповеданию они были-лютеранами, но я не имел ни малейшего представления о том, как выглядит внутри лютеранская церковь. Родители никогда не говорили о религии. Никогда не ходили в церковь. И у меня никогда не возникало такого желания.

Обычно во время воскресной проповеди я умирал от Скуки. Время от времени читать проповедь священник приглашал кого-нибудь из другого прихода. Помню одно воскресенье, когда я вернулся домой из церкви, возбужденный словами проповедника о социализме. В те дни быть

731

социалистом -означало быть настоящим радикалом. Я вернулся из церкви и рассказал родителям об этом удивительном проповеднике. Услышав слово “социализм”, отец' чуть не дал мне затрещину. Он сказал: “Больше никогда не произноси это слово в нашем доме”. Видите ли, отец отличался от деда. Тот придерживался более радикальных взглядов. Он бежал из Германии, чтобы избежать военной службы. Приехал в Лондон и десять лет проработал в суде. Потом стал профсоюзным деятелем и оставался им всю жизнь. Но отец стал владельцем ателье, и в этом заключалась вся разница между ними.

Уже в 21 год я дошел до состояния полного отчаяния. Сижу как-то в парке на Юнион-сквер, в Нью-Йорке. Вижу большую вывеску “Френология”. В кармане — только доллар. Объявление гласит, что цена одного визита — доллар. Я встаю и иду удостовериться в своих возможностях. Френолог, пожилая дама, щупает мою голову — и каково же ее заключение? — “Из вас может получиться отличный юрисконсульт”. Я ушел от нее с чувством полного отвращения и уныния. Надеялся, что она скажет: “Из вас выйдет художник, литератор”. Я не знал, куда податься, к кому обратиться. Не хватало смелости постучаться в дверь к какому-нибудь великому человеку и спросить у него совета.

Я часто ходил на лекции Джона Каупера Поуиса в Лэйбор-Темпл, в Нью-Йорке, что стоило десять центов. Это был очень образованный человек и замечательный писатель. С лицом пророка. Впоследствии, спустя почти сорок лет, я нанес ему визит в Уэльсе. И пересказал его слова, сказанные мне на одной из лекций в те далекие времена. Тогда я был очень робок и неуклюж. Подошел к нему после лекции и не нашел ничего лучшего, как спросить, читал ли он Кнута Гамсуна. Он ответил: “Вы имеете в виду Кнута Гамсуна, норвежского писателя? Нет, извините, не читал. Видите ли, я не знаю норвежского”. Встретившись с ним в Уэльсе, я рассказал ему об этом, и он сказал: “Генри, какой же я был мерзавец! Почему ты не дал мне хорошенько под зад”? Его книги оказали на меня большое влияние.

В неменьшей степени на меня повлиял бывший евангелист Бенджамен Фэй Милз. Обычно он читал лекции на всевозможные темы. К примеру, о Фрейде, тогда мало известном широкой публике. Он вел спецгруппы, курс обучения стоил 100 долларов. Когда он объявил о создании этих спецгрупп, я сказал: “У меня нет денег, но если кто и
732

достоин учиться на ваших курсах, так это я”. Он посмотрел на меня и сказал: “Полагаю, вы, вероятно, правы. Если вы пустите тарелку по кругу после лекций, я разрешу вам посещать курсы бесплатно”.

Ко многим таким людям я бы позвонил в дверь и задал бы несколько вопросов, как делают сейчас мои поклонники. К сожалению, большинство из них я вынужден выпроваживать восвояси. Поначалу я чувствовал себя виноватым, если не выслушивал их, но сегодня мне кажется, что, реагируя таким образом, на самом деле оказывал им услугу. Подростки задают всевозможные вопросы, часто заумные и ставящие в тупик. В итоге я обнаружил, что трачу на них время и внимание, а толку никакого. Я считаю, что давать советы — бесполезная затея. До всего нужно доходить самому. Звучит жестоко, но по существу так оно и есть.

Чтобы начать все с начала, нужно дойти до последней точки. Бог вас не защитит. В конечном счете вы вернетесь к самому себе. На что бы вы ни решились, это вам придется что-то предпринимать. Поступайте так, как вы считаете нужным, и не пытайтесь следовать чьему бы то ни было примеру, поскольку он имел успех. Вы человек другого склада. Вы — это вы. Вы — единственный в своем роде, и у каждого человека своя судьба. Мы можем сколько угодно учиться, слушать величайших учителей и т.д., но наши поступки, наши достижения определяются нашим характером.

Можно превратить зло в добро, кривду в правду. Всегда остается такая возможность. Мир был бы крайне неинтересен, если бы все оставалось таким, как представляется. Я действительно верю в превращение. К примеру, двух людей сажают в тюрьму. Один пребывает в полном отчаянии, освободившись, он может снова совершить убийство. В другом — произойдут некие внутренние перемены и он выйдет на свободу совсем другим человеком.

Мне 21 год, и я все еще живу у вдовы, но мне не терпится от нее вырваться. Я сознавал, что она намного старше меня, и от этого мучился. Представлял себе, как ей стукнет пятьдесят, а мне только двадцать пять. И сбежал в Калифорнию. Нанялся рабочим на ранчо в Отэй, а потом на шесть месяцев — в Чула Виста. Я выжигал кустарники во фруктовом саду, и среди рабочих нашлись ковбои, с которыми я подружился. Одним из них оказался парень из

Монтаны, и мы с ним стали большими друзьями. Однажды он зазвал меня в небольшой мексиканский бордель в Сан-Диего. Туда ходил трамвай, такой же как Тоунервильский. По пути в бордель я увидел афиши, гласящие, что Эмма Голдман читает лекции о Ницше, Достоевском, Ибсене и т.д. Это сыграло решающую роль в моей жизни. Я отправился на эти лекции. После нескольких посещений пришел к выводу, что жизнь

ковбоя не для меня. Ведь я решил стать *ковбоем.* Представляете! Так что я вернулся домой и стал работать у отца.

Пока я трудился в ателье, у нас с отцом были довольно прохладные отношения. Мать надеялась, что я буду препятствовать его выпивкам, следить за ним и все такое, но это было мне не под силу. Он надоедал мне, изводил меня своими ежедневными пьянками. Уже позже, когда я женился во второй раз и столкнулся со всевозможными финансовыми трудностями, я обратился к отцу за помощью. Он верил в то, чем я занимался, хотя никогда не прочел ни .одной сочиненной мною строчки.

Работая у отца, я женился — в первый раз — и у нас родился ребенок. Ночами я просиживал за большим письменным столом, принесенным из ателье. Оттуда же я утянул и огромный, круглый обеденный, вокруг которого могли бы усесться двенадцать человек. Он был полностью красного дерева, великолепный стол, и я часто садился за него и пытался писать. Конечно, безуспешно.

Я не виделся с вдовушкой с тех пор, как уехал на Запад. Я удрал от нее, и она не знала, где меня искать. Однажды вечером я пошел в кино и наткнулся на нее, она работала билетершей. Освещая дорогу фонариком, проводила меня до моего места, присела рядом и зарыдала. “Гарри, — она всегда называла меня Гарри, — как ты мог так поступить с мной?” Я рассказал жене об этой встрече — она была в курсе нашего романа — и предложил поселить ее в нашем доме. Естественно, жена этого не допустила. Но, право же, я был искренен. Я не шутил. Это была одна из тех невероятных ситуаций, которую мог себе вообразить лишь такой дурак, как я.

Полагаю, нет ничего невозможного в том, чтобы мужчина заботился сразу о нескольких женщинах. Да, при условии, что заинтересованные стороны полностью осознают, для чего им это нужно. При первобытно-общинном строе так оно и было, особенно в тех случаях, когда существовал недостаток мужчин или женщин. Мой друг ду-

734

мает, что мужчине следует опекать столько женщин, скольким он способен доставить радость. Но тогда возникают экономические проблемы, разве не так?

Я никогда не распространялся об отце. Он каждый день напивался. Обычно заходил в бар напротив примерно в полдень, чтобы пропустить первую рюмку. Кстати, это был замечательный бар в Уолкотт отеле. Отец ждал, пока я повзрослею и приму на себя ведение дел. Он приглашал меня в отель позавтракать с ним и его собутыльниками. Я участвовал в пиршествах, но никогда не брал в рот ни капли. В то время я вообще не выпивал. Был противником всякой выпивки. Сидел с ним в баре, а все его приятели смеялись и подшучивали надо мной. “Генри, — говорили они, — что ты сегодня пьешь?” А я отвечал: “Воду”. Тогда они хохотали. Я, естественно, свирепел.

Помню, однажды я подрался с одним французом, оскорбившим отца, поскольку тот напился. Как только он не обзывал его. Я подошел и вцепился в него. Вся компания была пьяна, и для меня это была лишь кучка забулдыг. Я был в прекрасной физической форме и, схватив его за горло, протащил по бару. Потом повалил на пол и начал душить. Им пришлось отдирать мои руки от его шеи. Я чуть не задушил его. Рассказываю эту короткую историю, чтобы вы поняли, каким я могу быть жестоким. Я боюсь рассердиться, поэтому столь любезен и миролюбив. Когда я перестаю владеть собой, то вхожу в раж.

Я должен был научиться кроить и все такое, но так никогда и не научился. Вместо этого частенько стоял за столом закройщика и часами болтал с ним, пока отец напивался в баре. Заказчики заглядывали крайне редко.

Этот закройщик был евреем-иммигрантом из Польши, я его очень любил. Я упоминаю о нем в своих книгах. Мы стояли и беседовали, пока он чертил и вырезал выкройки. Он должен был обучить меня, но я так ничему и не научился. Он интересовался литературой. Хорошо знал русскую и еврейскую литературу. Поведал мне обо всех европейских гетто, фольклоре, каббалистике и т.п. Беседуя часами, мы вникали во всевозможные явления. Иногда я уходил в другую комнату, так называемую починочную. Там работали три еврея, вызывающие у меня большой интерес. Один из них был оперным певцом. Я распахивал окна, чтобы его слышали соседи. И говорил: “А сейчас, Рубен, начни с “Паяцев” или с “Бориса Годунова”. Ну и голос! Порой мне казалось, что он мог петь лучше Карузо. Из

735

всех окон доносились аплодисменты. “Еще! Еще!” — и если случайно приходил пьяный отец или заказчик, они удивлялись, что, черт побери, происходит.

Безусловно, наши дела шли неважно. Мы вылетели в трубу. Самое удивительное, что когда ателье окончательно развалилось, и отец остался без гроша, эти славные еврейские портные, работающие у него, предложили оплатить его же долги; были готовы заложить свои вещи, отдать ему свои сбережения и т.д. Я убедил их не делать этого, было уже слишком поздно. Но какие это были замечательные люди. Меня это потрясло.

В ателье я познакомился с одним из самых известных писателей того времени. Однажды из лифта вышел ни кто иной, как Фрэнк Хэррис. Его привел Гвидо Бруно, в ту пору важная шишка в Гринвич-Виллидж. Бруно был выходцем из Югославии и владельцем журнала, выходящего в Виллидже. Он обнаружил, что Фрэнк Хэррис живет на Вашингтон-сквер. Фрэнку Хэррису понадобилось что-то сшить. Безусловно, отец никогда о нем не слышал, а я прочел несколько его книг, и мне до смерти хотелось его увидеть. Отцу нечасто приходилось иметь дело с писателями и художниками, если не считать карикатуриста Робинсона. Художников отец презирал. Он считал их всех чокнутыми, безденежными, безответственными. Фрэнк Хэррим хотел, чтобы ему сшили летний нарядный костюм для прогулок на яхте. Отец показывает ему какой-то материал в широкую полоску — нечто такое, во что одеваются лишь джазисты. Фрэнк Хэррис расхохотался и спросил:

“Неужели вы хотите, чтобы я нарядился в подобные брюки?” А отец ответил: “Почему бы и нет? Вы писатель, представитель богемы. Можете носить что угодно”.

Фрэнк Хэррис был поистинне замечательным человеком. Он быстро обнаружил работающих в дальней комнате портняжек и заметил, что раскройщик — личность весьма незаурядная. Он заговаривал о еврейской литературе, Шекспире, Библии, Оскаре Уайлде. Беседовал с портняжками совершенно на равных. Потом они мне сказали: “Кто этот человек? Должно быть, это удивительный, замечательный человек!”

Обычно я помогал Фрэнку Хэррису надевать брюки, когда он приходил на примерку. На нем никогда не было никакого нижнего белья, что отец считал эксцентричностью. Часто после рабочего дня я был мальчиком на посылках. Как-то раз отец поручил мне отнести ему костюм.

736

Когда я пришел к нему домой, то застал своего любимого писателя в постели с женщиной. Я хотел ретироваться, но он настоял на том, чтобы примерить костюм. Выпрыгнул из постели абсолютно голый и примерил брюки.

Я рассказал ему про свое сочинительство, и впоследствии он опубликовал один из моих рассказов в издавна известном журнале “Персонз”, который он издавал. Позже, когда я приехал в Париж, Фрэнк Хэррис пригласил меня пожить в своем доме в Ницце — бесплатно. Я так и не воспользовался его приглашением. Но как любезно это было с его стороны!

Все, что я вынес для себя из работы в ателье за эти два, три или четыре года, свелось к умению на ощупь определять шерстяные и шелковые ткани и нескольким встречам с Фрэнком Хэррисом. Я хорошо определяю ткани наощупь. И знаю, как подобающим образом должен сидеть костюм. Но это почти все.

Родившись в Бруклине, в семье, не имеющей ни малейшего отношения к искусству, мне было негде встретить творческую личность. Я жаждал встречи с каким-нибудь образованным человеком. Для меня стать писателем было все равно что сказать: “Я собираюсь стать святым, мучеником, Богом”. Это было так же трудно, так же головокружительно, так же маловероятно. Годами я осмеливался лишь мечтать об этом. Я даже не задумывался о том, хватит ли у меня способностей: я хотел стать писателем и только писателем. Но прежде перепробовал уйму других профессий.

Работал кондуктором трамвая, мусорщиком, библиотекарем, страховым агентом, продавцом книг. Служил на телеграфе. Меня просто уволили с одной перспективной должности, которую я занимал в торгово-посылочной фирме. Меня назначили помощником заведующего отделом. Я проработал всего месяц. Мой начальник во мне души не чаял. Был любителем и знатоком литературы. Я не написал ни строчки, но он что-то во мне почувствовал. Я настолько быстро справлялся со своими обязанностями, что у меня не оставалось почти никакой работы. Передо мной лежал открытый “Антихрист” Ницше, которым я тогда увлекался, и я выписывал из него цитаты, когда ко мне вдруг подошел вице-президент, заглянул мне через плечо и спросил:

“Очень интересно, а каким образом это связано с вашей работой?” Я был пойман с поличным и уволен.

Я был женат, имел дочь, был главой семьи и с отчаяния

737

пошел наниматься курьером в компанию “Вестерн Юнион”. Мне почти -28 лет. Я прошу принять меня на должность курьера, и мне отказывают. Это привело меня в такую ярость, что не мог заснуть. На следующее утро я встал и отправился на прием к президенту компании. Меня отослали в контору вице-президента. Я спрашиваю себя:

“Почему, почему я не могу получить самую что ни на есть низкооплачиваемую работу, место курьера?”

В конечном счете меня отослали к главному администратору, который слушал меня около часа, и вместо того, чтобы предложить мне место курьера, сказал: “Мистер Миллер, почему бы вам не возглавить отдел кадров и не стать администратором по найму? Но сначала, чтобы набраться опыта, наденьте форму и поработайте курьером, а я буду перебрасывать вас из отделения в отделение с зарплатой администратора по найму. Об этом не будет знать никто кроме нас двоих, но вы будете работать как администратор”. Таким образом я ходил из одного отделения в другое и носился с места на место. Тогда я узнал жизнь. По правде сказать, я еле выдерживал. На улице была зима, кругом снег и лед. В первый вечер я плелся домой так, словно в ступни ног впивались осколки стекла. А во сне стонал от боли.

Я промучился в ранге администратора по найму четыре с половиной года. После выполнения дневной работы я ужинал с детективом компании. Он приходил, когда контора закрывалась, и мы с ним отправлялись проверять почтовые отделения в поисках маленьких мошенников и бродяг. Мы носились по всем углам и закоулкам Нью-Йорка: Бауэри, Ист-Сайд, Уэст-Сайд, Гарлем, повсюду. Знал его как свои пять пальцев. Каждое утро я должен был являться на работу в восемь. Я редко приходил вовремя. Но когда появлялся в приемной, меня уже ждала целая толпа безработных. Я редко ложился спать раньше двух .часов, а иногда трех или четырех часов утра. В те годы я работал минимум за троих.

Безусловно, я многое почерпнул для себя о человеческой натуре, в особенности о мальчишках. В основном мы имели дело с детьми трущоб, с бродяжками. Среди них попадались удивительные экземпляры. Большинство были мошенниками, но это меня мало волновало. Но они были великими лгунами, многие из них. Почти все дети любят приврать. Самыми отъявленными лжецами всегда оказывались самые смазливые и воспитанные. Вечерами я часто

738

ходил по домам, чтобы выяснить, что к чему. Ребятишки умоляли дать им работу, утверждая, что дома нечего есть, отец болен, то да се, и я приходил к ним домой. Потом я попытался привлечь к ним внимание благотворительных организаций. Им нужна целая вечность, чтобы что-то предпринять. В результате я платил из собственного кармана, чтобы их поддержать. Часто занимал у своих коллег по работе. Не вылезал из долгов. Задолжал всему свету, пытаясь помочь этим ребятишкам.

Я еще не дошел до того предела, когда решился изменить свою жизнь. Этому предшествовало множество событий. Во-первых, я влюбился в молодую женщину, с которой познакомился в дансинге на Бродвее, жена застала нас в постели и подала на развод. Так мы с Джун стали жить вместе. Живя с ней, я бросил работу. Она все время говорила: “Послушай, брось ты эту работу. Начни писать”. Она подталкивала меня к этому.

Однажды я пришел в отделение, собрал все свои пожитки, сложил их в портфель и сказал своему помощнику: “Скажи боссу, что я ухожу прямо сейчас и не нуждаюсь в своем двухнедельном жаловании”. В отделении было полно нанимающихся на работу мальчишек; там всегда толпилось 50-60 ребятишек. Это был сущий ад. В тот день я шел и ощущал себя *свободным* человеком. Неспешно прошелся по Бродвею, это было около десяти часов утра, наблюдая за всеми теми беднягами с портфелями под мышкой, — ходатаями, продавцами, покупателями, просителями и вымогателями. Я сказал: “Нет, это не для меня. Никогда не буду этим заниматься. Впредь собираюсь стать писателем, при этом или выживу или умру”.

Это благодаря Джун, новой жене, я отважился принять такое решение и жить согласно ему. Она очень поддерживала меня, по-настоящему помогала мне. Она в меня верила.

Потом начался период, когда я действительно страдал и голодал, пока не вышла моя первая книга.

Обычно моя влюбленность в одну женщину длится лет семь. После развода с Джун я стал вести более беспорядочную жизнь. Но при нашей совместной жизни я никогда ей не изменял. Я был настолько ею поглощен, был с нею настолько счастлив, особенно в интимных отношениях, что меня не тянуло к другим женщинам.

Но затем начался десятилетний период нищеты, мучительных попыток продать свои сочинения. Желание писать зрело во мне довольно давно. Но дело в том, что я не

739

был уверен в своих способностях. Абсолютно не был уверен. Решил сначала поупражняться. Писал о том, что мне было интересно — о людях и событиях. Отправился знакомиться с издателями. Побывал у доктора Визетелли, редактора Словаря Фанка и Вэгнэлла. Написал статью — длинную, прекрасную статью об изречениях — и продал ее в “Либерти”, пятицентовый журнальчик. Там остались мною довольны. Чуть не взяли меня на должность младшего ре дактора. И заплатили мне долларов триста — в те дни это была приличная сумма. Но так и не напечатали мою статью. Время от времени я об этом справлялся. — Она слишком хороша, — отвечали мне. Слишком хороша! Как вам это нравится? В конечном счете я ухватился за идею попытать счастья в таком журнале, как “Snappy Stories”* и ему подобных. Написал пару рассказов, у меня их не взяли, и я решил послать в редакцию красавицу-жену. Тогда они за них ухватились, продав два-три рассказа, я подумал, зачем ломать голову над новыми сюжетами? Взял предшествующие номера журналов, вырвал из них напечатанные рассказы, изменил начало и конец, имена героев и продал это им. Как и следовало ожидать, они с удовольствием приняли свою собственную галиматью. Таким образом я продал несколько рассказов.

Мы переехали в район Бруклинских высот на 91 Римсэн-стрит, где и началась наша семейная жизнь. Это было красивое местечко. Можно сказать, аристократическое. Мы жили на японский лад. Все должно быть эстетично. Мы жили так, словно у нас водились деньги; около четырех месяцев не платили за квартиру. Хозяин дома и его жена были уроженцами Виргинии. Однажды он постучал в дверь; я был один — и, предположительно, писал. Он спросил: “Мистер Миллер, могу я поговорить с вами? — И присел на кровать. — Мистер Миллер, вы знаете мою жену, а мне нравитесь вы и ваша жена. Но мне кажется, — сказал он, — вы в некотором роде мечтатель. Видите ли, мы не в состоянии держать вас у себя вечно. Нет необходимости платить за прошлое время. Мы знаем, что у вас нет денег. Но не будете ли вы так любезны съехать в благоразумные сроки?” Что за очаровательный человек. Мне на самом деле стало не по себе. Я сказал ему, что, конечно же, заплачу за прошедшие месяцы. — Вы были

* Короткие рассказы (англ.)

740

так добры, — заметил я. Разумеется, я так и не заплатил. Жена больше не работала, а я ничего не продал.

Из-за крайней нищеты нам пришлось жить отдельно. Я поселился у своих родителей, она — у своих. Это было ужасно. Мать говорила: “Если кто-то зайдет, сосед или кто-нибудь из друзей, убирай машинку и прячься в туалет. Не надо, чтобы они знали, что ты здесь живешь”. Иногда я простаивал в этом туалете около часа, задыхаясь от запаха камфарных шариков. Таким образом она хотела скрыть от соседей и родственников, что ее сын — писатель. Всю мою жизнь ей была крайне неприятна мысль о том, что я писатель. Она мечтала, чтобы я стал портным и возглавил ателье. Быть писателем было аналогично преступлению.

Даже самые ранние воспоминания о матери связаны с отрицательными эмоциями. Помню, как сидел на маленьком специальном стульчике на кухне у плиты и мы с ней разговаривали. Большей частью она брюзжала. У меня не осталось приятных воспоминаний о наших беседах. Как-то раз у нее на пальце выросла бородавка. Она спросила у меня: “Генри (учтите, мне было всего-навсего четыре года), что мне делать? — Я ответил: — Срежь ее ножницами”. Бородавку! Не срезайте бородавки! Таким образом у нее начался сепсис. Через два дня она подошла ко мне с забинтованной рукой и сказала: “Ведь это ты сказал мне ее срезать!” И БАЦ, бац, шлепает меня. Шлепает меня! В наказание. За то, что я сказал ей это сделать! Как вам нравится такая мамаша?

Моя сестра родилась умственно отсталой, у нее был ум десятилетней девочки. В детстве она портила мне жизнь, поскольку я должен был ее защищать, когда мальчишки

кричали: “Лоретта сумасшедшая, Лоретта сумасшедшая! ” Они смеялись над ней, дергали за волосы, обзывали. Это было ужасно. Я всегда гонялся за этими мальчишками и дрался с ними.

Мать обращалась с ней как с рабыней. Я приехал в Бруклин на два-три месяца, когда мать умирала. Сестра превратилась в живые мощи. Она ходила по дому с ведрами и щетками, драила полы, терла стены и т.д. Полагаю, матери казалось целесообразным занимать ее домашней уборкой. Мне же это казалось жестокостью. Тем не менее всю жизнь мать терпела ее и, без сомнения, несла свой тяжелый крест.

Понимаете, сестра не ходила в школу, поскольку отставала в развитии. Поэтому мать решила учить ее сама.

741

Мать была никудышной учительницей. Она была ужасна. Часто шпыняла *ее,* давала ей затрещины, приходила в ярость. “Сколько будет дважды два? — и моя сестра, не имевшая ни малейшего представления об ответе, отвечала: — Пять, нет — семь, нет — три”. Полный абсурд. БАЦ. Еще один шлепок или затрещина. Потом мать поворачивалась ко мне и говорила: “Почему я должна нести этот крест? За что мне такое наказание? — Спрашивала меня, маленького мальчика. — За что Бог меня наказывает? ” Вот такая это была женщина. Глупая? Намного хуже.

Соседи утверждали, что она меня любила. Говорили, что на самом деле она была ко мне привязана. Но я никогда не чувствовал с ее стороны тепла. Она ни разу меня не поцеловала, никогда не обняла. Не помню, чтобы когда-нибудь подошел и прижался к ней. Я не знал, что матери это делают, пока однажды не зашел к приятелю домой. Нам было по двенадцать лет. Мы пришли из школы, и я слышал, как его встретила мать. “Джекки, Джекки, — сказала она. — О, дорогой, как ты, как твои дела? ” Она обняла и поцеловала его. Я ни разу в жизни не слышал такого обращения, даже такого тона. Это было для меня открытием. Конечно, в этом тупом немецком квартале жили большие любители муштры, действительно черствые люди. Мои одноклассники говорили мне, когда я заходил к ним домой: — Защити меня. Помоги. Если отец начнет меня бить, схвати что-нибудь и беги.

У нас с матерью не было близости и когда я вырос. Вернувшись из Европы после десятилетнего отсутствия, я увиделся с ней мельком. И мы не общались, пока она не заболела. Тогда я заехал к ней. Однако возникла все та же проблема — между нами не было ничего общего. Самое ужасное, что в это время она действительно умирала. (Понимаете, до этого я как-то раз приезжал к ней, когда предполагали, что она при смерти.) Через три месяца она скончалась. Это было для меня жуткое время. Каждый день я приходил ее проведать. Но даже умирая, она оставалась тем же непреклонным деспотом, диктующим, что я должен делать, и отказывающимся делать то, о чем просил ее я. Я говорил ей: “Пойми, ты лежишь. Тебе нельзя вставать”. Я не говорил ей, что она умирает, но это подразумевалось. “Впервые в жизни я буду говорить тебе, что делать. Сейчас я отдаю распоряжения”. Она приподнялась, подняла руку и погрозила мне пальцем: “Не выйдет, — выкрикнула она”. Это на смертном-то одре, и мне пришлось силой опро-

742

кинуть ее на подушки. Через минуту я выбежал в коридор, плача как ребенок.

Иногда, лежа в постели, я говорю себе: “Ты примирился с миром. У тебя нет врагов. Нет людей тебе ненавистных. Неужели ты не можешь приукрасить образ матери? Может быть, ты завтра умрешь и встретишься с ней на том свете. *Что ты ей скажешь при. встрече?* Сейчас могу вам сказать, что последнее слово осталось за ней.

Когда мы ее хоронили, произошла странная вещь. Был морозный, холодный день, шел сильный снег. Гроб никак не могли опустить в могилу. Как будто она все еще нам противостояла. Даже в похоронном зале, где стоял гроб в течение шести дней до погребения, каждый раз, когда я склонялся над ней, один глаз приоткрывался и вперялся в меня.

1971

БЕССМЕРТИЕ ПЛОТИ И ВЕЛИЧИЕ ДУХА

(вместо послесловия)

Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового — концерты за бесплатно
И башня, чтоб почувствовать — ты вошь.
Иосиф Бродский

Когда речь заходит о Генри Миллере, трудно устоять от двух искушений: начать пересказывать его жизненную "одиссею" и идентифицировать автора с его лирическим героем. В первом, как согласится читатель, здесь никакой необходимости нет (писатель сам рассказал "о времени и о себе" в заключающей этот сборник автобиографической книге "Моя жизнь и моя эпоха", не говоря уже о многих других произведениях, в которых особенно значителен элемент автобиографии); относительно второго...

Относительно второго — чрезмерной идентификации Генри Миллера-художника и Генри Миллера — персонажа вошедших в этот том сочинений в разных жанрах — от романов и повестей до новелл и эссе: внимательному читателю наверняка припомнится лукавое предостережение, делаемое самим прозаиком. Не раз и не два на страницах своих книг он заговорит о бесчисленных "я", составляющих его духовный мир. А духовный мир этот и, в еще большей мере, новаторство его художественного воплощения, по большому счету, в рекомендациях не нуждается.

И все-таки многое в образной системе Миллера-художника властно взывает к прояснению, сопоставлению, подчас — к безоговорочному отрицанию. Это и неудивительно: перед нами — один из самых демонстративно антибуржуазных художников Запада XX столетия.

744

Едва ли сейчас, на пороге нового тысячелетия, в смутную, нелегкую пору, в разгар едва ли не самого бурного десятилетия нашей многотрудной национальной истории на протяжении рекордного по числу войн и катастроф, социально-политических и экологических катаклизмов XX века, стоит всерьез удивляться тому, что из крупнейших писателей США он приходит к нам последним. Слишком многое и в творчестве, и в жизненной ориентации Генри Миллера не могло прийтись по вкусу тем, кто годами дозировали и отмеряли для нас меру "желательного" и "дозволенного", препятствуя изданию хемингуэевского "Колокола" , внося "смягчающие" купюры в книги У. Стайрона и Дж. Апдайка, ниспровергая с высоких трибун Кафку, Джойса, Пруста, Набокова...

Свобода, с которой человек говорит об интимной жизни — своей и своих героев, — тоже не в последнюю очередь показатель раскрепощенности мышления. И если Генри Миллер не выстраивал, подобно Оруэллу, Хаксли и Кёстлеру, антиутопических моделей "светлого будущего", обреченного стать кошмарным настоящим, то сама его эпатирующая этико-социальная "неангажированность" казалась вызовом не только пуритански ориентированным лицам и институтам его заокеанской родины, но и блюстителям "самой передовой" и "единственно верной" социалистической морали.

И все-таки Генри Миллеру в России, хоть и с многолетним запозданием, но повезло. Повезло с момента, когда журнал "Иностранная литература" опубликовал в 1990 году перевод его первого и, быть может, самого дерзкого, самого шокирующего романа "Тропик Рака" — первой части автобиографической трилогии, написанной в парижской эмиграции в 30-е годы. (Вторую и третью части трилогии — романы "Черная весна", 1933, опубликован в 1936, и "Тропик Козерога", 1938, опубликован в 1939 году, — читатель, будем надеяться, уже обнаружил под обложкой этой книги.)

Повезло, ибо публикация перевода "Тропика Рака" (ныне, включая многочисленные книжные издания, он разошелся в рекордном тираже, приближающемуся к миллиону экземпляров) совпала — и стала значимым фактором — в решительной переоценке ценностей, не обошедшей стороной и многие явления и имена в современных литературе и искусстве.

Говоря попросту: роман Г. Миллера читали уже несравненно более *свободные* люди, нежели их сверстники десять—двадцать лет назад. Читали незашоренными глазами, сами избирая для себя в авторском взгляде на жизнь

745

и авторской индивидуальной образно-поэтической системе, сознательно ориентированной на непривычность, ломку установившихся стереотипов близкое, приемлемое, созвучное и отметая чуждое и непонятное.

Можно сказать, что Генри Миллеру вообще крупно повезло в сравнении со многими его собратьями по перу и тем более — по бунтарски-анархическому духу. Ровесник Михаила Булгакова и Осипа Мандельштама, он родился в год смерти одного из своих кумиров — великого французского поэта-символиста Артюра Рембо, дебютировал в литературе в середине десятилетия, когда звезда Булгакова и Мандельштама уже начала закатываться под “гниющим солнцем” (метафора самого Г. Миллера) тоталитарного сталинского режима, пережил с грехом пополам роковое военное десятилетие и, в начале 60-х, удостоился в столь мало отзывчивой к плодам его творчества и “гения” (опять же миллеровское определение собственного таланта, не раз скользящее по страницам его книг) Америке официальных лавров, был даже избран в Национальную академию искусств и литературы, снискал определенное материальное благополучие и умер в 1980 году, чуть-чуть не дожив до 90-летнего юбилея.

Один современный поэт завершал свое стихотворение горько-грустноватым назиданием: “Жить в России надобно долго...” Добавлю от себя: не только в России. Тот же Рембо умер в нищете и безвестности в 37 лет, а на долю еще одного из миллеровских кумиров и учителей — англичанина Дэвида Герберта Лоуренса (у нас приобрел широкую известность его роман “Любовник леди Чаттерли”, 1928) — выпало неполных 45. Так что поразительная жизнестойкость — одно из самых примечательных свойств, присущих миллеровскому лирическому герою, — не подвела и создателя, отмерив ему редкий по продолжительности и творческой насыщенности жизненный срок. Но в конечном счете не это главное.

Главное — в жизнестойкости обширного миллеровского наследия, отмеченного удивительным разнообразием жанровых форм и в то же время — редким постоянством тематики, этико-философской структуры и поэтической образности. Главное — в озадачивающей многозначности его произведений, которые могут быть прочтены и как лирическая пикареска (современная разновидность восходящего к эпохе Возрождения “плутовского романа”), и как своеобразная разновидность сатирико-бытового романа нравов (или, как называл его прародитель этого жанра Бальзак, “физиологического очерка”), и, на ином уровне, как один из новаторских вариантов философского романа XX столе-

746

тия, числящего в ряду своих представителей, наряду с Кафкой, Джойсом и Прустом, Сартра и Камю, Кобо Абэ и Кэндзабуро Оэ, Уильяма Голдинга и Джона Фаулза, Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта. Одним словом, романа экзистенциального.

Трудно поверить, что все это может сочетаться в пределах одной и той же художнической индивидуальности. А ведь Генри Миллер был не только прозаиком, но и одаренным графиком. Неплохо играл на рояле, тонко разбирался в искусстве театра и кино. Дал мозаичную, но в своем роде уникальную картину насыщенной художественной жизни во Франции первой трети нашего века в многочисленных очерках и эссе, составивших больше двух десятков томов. (Два из них — о влиянии на него психоанализа и ряда крупных писателей XIX—XX веков — можно прочитать в этом сборнике. А с более масштабным опытом Г. Миллера в области литературной критики — эссе “Время убийц. Этюд о Рембо”, 1946, не так давно познакомила читателя та же “Иностранная литература”, 1992, № 10.)

Относительно же своих учителей в жизни и в искусстве он сам высказался исчерпывающе — в “Черной весне”, да и в ряде других произведений. Это титаны Возрождения:

Боккаччо, Данте и особенно Рабле. Люди универсальных талантов и дарований. Художники редкостно цельного мировосприятия и, как правило, убежденные оптимисты.

Оптимист ли Миллер, не знаю; на этот счет могут быть разные мнения. Но вот относительно его универсальности у меня сомнений нет ни малейших. Я бы даже сказал, что, вкупе с его, во многом восходящей к сюрреализму, образностью, именно широта

философского мышления прозаика может поначалу поставить в тупик не слишком привыкшего задумываться над книгой и заложенными в ней уроками читателя.

Но что, спрашивается, поделать, если сама эпоха, которую мы переживаем, властно требует от нас переоценки ценностей — идеологических, культурных, собственно эстетических?

И тут самое время задуматься о *мировоззренческих уроках* лирической прозы американского автора, подчас — скажем, в некоторых главах “Тропика Козерога”, на страницах отдельных новелл и эссе, а ярче всего, на мой взгляд — в финальных главах “Черной весны” — перерастающей в философскую поэзию, вызывающую в памяти лучшие произведения, например, Фридриха Ницше.

В чем заключаются эти уроки — тем более для людей, не без ощутимых духовных потерь переживших упадок и

747

крах казавшейся незыблемой “мировой системы социализма”, а ныне испытывающих ощутимые сомнения и в перспективности утверждающегося на территории демократической России' жизнеустройства, название которому, судя по всему, еще не успели придумать?

“Жить с иллюзией или по ту сторону иллюзий? — вот в чем вопрос”, — формулирует эту мировоззренческую дилемму XX столетия Г. Миллер. До тех пор, пока в человеке вера в общественный строй, эстетический канон, даже в неведомое всемогущее существо, управляющее нашими помыслами и поступками, будет преобладать над верой в самого себя, со всеми изъянами и недостатками своей природы, этот человек не будет до конца свободен. Не правда ли, актуально?

Или другое: скользящая во всех книгах Г. Миллера идея космополитичности как естественного (и по многим параметрам превосходящего существующий, отмеченный национальными границами, подчинением индивидуальной человеческой воли государственной идее и т. п.) порядка вещей. У Миллера, отдадим ему справедливость, никогда не было типичного для многих его соотечественников культа американского образа жизни как оптимального во всех жизненных ситуациях. Наоборот, именно в процветающей Америке он провидит эмбрионы вселенской болезни, порабощающей человечество. Человеком Европы аттестует себя американский художник, успевший, прежде чем стать писателем, сменить несколько десятков профессий — от рассыльного, библиотекаря и музыканта в кинотеатре до начальника отдела кадров в транснациональной компании “Вестерн Юнион”. Но даже в отношении горячо любимого Парижа и парижан (а эта сторона творчества Миллера — одна из самых ярких и художественно выразительных) не питает он излишних иллюзий, видя в своих друзьях, знакомых, случайных спутниках, а чаще спутницах, не только привлекательные, но и хищные, порой отталкивающие черты.

Что уж говорить о проявлениях воинственного национализма и шовинизма, находящих порою экстремальные формы и в том климате углубляющегося разобщения, в котором мы пребываем сегодня. Скептически относящийся к формам организованного социального протеста, в этом отношении Генри Миллер поистине бескомпромиссен. Вчитайтесь в великолепный эпизод повести “Тихие дни в Клиши”, рисующий посещение автором и его другом “арианизированного” кафе в предвоенном Люксембурге, — и вам все станет ясно. Включая то, заслуживающее упоминания, обстоятельство, что и со своими родителями

748

будущий писатель расстался не в последнюю очередь потому, что не переваривал их инстинктивного, “нутряного” антисемитизма, свившего себе гнездо не где-нибудь, а в населенном иммигрантами Бруклине, в демократическом районе Нью-Йорка — крупнейшего города страны, широковещательно аттестующей себя как “плавильный котел наций”.

И последнее, но также имеющее отношение к урокам миллеровского творчества современному читателю. Общеизвестно (и долголетний остракизм, которому подверглись лучшие книги писателя в США и других странах английского языка в 30—50-е годы, вплоть до начала сексуальной революции, тому свидетельство: в массовое сознание Запада — а ныне не только Запада — Генри Миллер вошел как апологет сексуальной свободы и ее певец. Не считая целесообразным отрицать ни того, ни другого, рискну обратить внимание тех, кто дал себе труд внимательно прочитать эту книгу, на немаловажное обстоятельство: в глазах автора “Тропиков” секс — не что иное как

существенная (хотя никоим образом не единственная) сфера проявления естественной человеческой природы и заслуживает подробного изображения именно как таковая.

Какой бы яркой ни представала эротика в миллеровской прозе, она никогда не приобретает самодовлеющего значения. Для него непреходяще, важно то, что некогда философ и визионер Ф. Ницше определял, с оттенком усталой неудовлетворенности, как “человеческое, слишком человеческое”.

Случись Генри Миллеру повторить эти слова, в его устах они прозвучали бы высшей похвалой. Похвалой свободному, естественному, красивому человеку. Привлекающему величием духа не меньше, чем совершенством ликующей плоти.

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ

Генри Миллер ИЗБРАННОЕ Романы Эссе Рассказы Автобиография

Ответственный за выпуск *Ш. Куртишвили* Ведущий редактор *Н. Порошина*
Художественный редактор *С. Лузинас* Компьютерный набор *М. Мотеяйтис* Корректор Г. Лазуткина

Подписано в печать 21Л2.94. Формат 84x108/32. Гарнитура Балтика. Бумага офсетная. Печать высокая, усл.-печ. л. 39,48. Уч.-изд. л. 45,6. Тираж 20 000 экз. Заказ № 1497. Издательство “Полина”, 2600, Вильнюс, Шевченкос, 19

Диапозитивов в АООТ “Ярославский полиграфкомбинат”, 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Миллер Г.
Избранное: Романы; Повести; Эссе; Рассказы; Автобиография: Пер. с англ. / Сост. Н. Пальцев. — Вильнюс: Полина, 1995. — 749 с., илл. (Короли литературных скандалов).

ISBN 5-87014-034-X

ISBN 5-87014-032-3

В сборник знаменитого американского писателя Генри Миллера вошли всемирно известные романы “Тропик Козерога” и “Черная весна”, повести “Тихие дни в Клиши” и “Мара из Мариньяна”, эссе, рассказы и автобиография “Моя жизнь и моя эпоха”.